



ЧЕРНЫШЕВСКИЙ
СОЧИНЕНИЯ



ФИЛОСОФСКОЕ НАСЛЕДИЕ

ТОМ 100



Николай Гаврилович
ЧЕРНЫШЕВСКИЙ

**СОЧИНЕНИЯ
В ДВУХ ТОМАХ**

ТОМ 1

**АКАДЕМИЯ НАУК СССР
ИНСТИТУТ ФИЛОСОФИИ
ИЗДАТЕЛЬСТВО
<< МЫСЛЬ >>
МОСКВА - 1986**

ББК 87.3(2)

Ч-49

РЕДАКЦИИ
ФИЛОСОФСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Редколлегия серии:

акад. **М. Б. МИТИН** (председатель), д-р филос. наук **В. В. СОКОЛОВ** (зам. председателя), канд. филос. наук **В. А. ЖУЧКОВ** (ученый секретарь), д-р филос. наук **В. В. БОГАТОВ**, д-р филос. наук **А. И. ВОЛОДИН**, д-р филос. наук **А. В. ГУЛЫГА**, чл.-кор. АН СССР **Д. А. КЕРИМОВ**, д-р филос. наук **В. Н. КУЗНЕЦОВ**, д-р филос. наук **Г. Г. МАЙОРОВ**, д-р филос. наук **Х. Н. МОМДЖЯН**, д-р филос. наук **И. С. НАРСКИЙ**, д-р юрид. наук **В. С. НЕРСЕЯНЦ**, д-р филос. наук **М. Ф. ОВСЯННИКОВ**, акад. **Т. И. ОЙЗЕРМАН**, д-р филос. наук **В. Ф. ПУСТАРНАКОВ**, д-р филос. наук **М. Т. СТЕПАНЯНЦ**, д-р филос. наук **А. Л. СУББОТИН**, чл.-кор. АН УССР **М. М. ХАЙРУЛЛАЕВ**

Редактор издания
и автор вступительной статьи **И. К. ПАНТИН**

Составление и примечания
В. И. ПРИЛЕНСКОГО

Чернышевский Н. Г.

Ч-49 Сочинения в 2-х т. Т. 1/АН СССР. Ин-т философии; Редкол.: М. Б. Митин (пред.) и др., ред. изд. и авт. вступ. ст. И. К. Пантин; Сост. и примеч. В. И. Приленского.— М.: Мысль, 1986.— 805 с., 1 л. портр.— (Философское наследие).

В пер: 3 р. 60 к.

В первый том настоящего издания философских сочинений Н. Г. Чернышевского включены его работы 50-х годов. Магистерская диссертация «Эстетические отношения искусства к действительности», а также цикл работ, примыкающих к ней тематически, дают представление об эстетической концепции мыслителя. Ряд произведений середины 50-х годов раскрывает также процесс формирования его концепции философии истории.

Ч 0302010000-180
004(01)-86

подписное

ББК 87.3(2)

© Издательство «Мысль». 1986

ЧЕЛОВЕК И ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ В ФИЛОСОФСКОЙ КОНЦЕПЦИИ Н. Г. ЧЕРНЫШЕВСКОГО

Прочное наслаждение дается человеку только действительностью; серьезное значение имеют только те желания, которые основанием своим имеют действительность; успеха можно ожидать только в тех надеждах, которые возбуждаются действительностью, и только в тех делах, которые совершаются при помощи сил и обстоятельств, представляемых ею.

Н. Г. Чернышевский

Французский историк О. Минье справедливо заметил: «...недостаточно родиться великим человеком, — нужно еще родиться вовремя». Николаю Гавриловичу Чернышевскому выпала такая доля — завидная и одновременно тяжелая. Вождь разночинских революционеров, продолжатель освободительной традиции, заложенной А. Н. Радищевым, В. Г. Белинским и А. И. Герценом, действовал в переломный период истории России XIX в. — в эпоху крестьянской реформы 1861 г., когда завязывался сложнейший узел противоречий общественной жизни страны, неразрешимость которых на десятилетия вперед определила судьбы ее развития.

«Российские вопросы» — как обновить общественный строй отчины, как освободить народ от крепостничества, поднять на борьбу крестьянские массы, уберечь «простолудинов» от бедствий капитализма — обусловили характер теоретических поисков мыслителя. И все же, если бы Чернышевский ограничился проблемами России, он никогда не сделал бы того, что сделал как социальный мыслитель, философ и особенно как теоретик революции. Ибо, отвергая отсталые российские крепостнические порядки, он, по европейскому летосчислению, находился бы в лучшем случае на уровне 1789 г. и уж никак не в фокусе европейских проблем XIX в. Однако Чернышевский недаром был гениальным мыслителем. Обладая широчайшим теоретическим кругозором, он сумел подойти к российским проблемам под углом зрения проблем всемирно-истории-

ческого развития. И хотя Чернышевскому не удалось до конца понять соотношения сил, составляющих современное ему западное общество, тем не менее в оценке новой исторической ситуации он стоял впереди многих. Западноевропейская социалистическая мысль помогла ему распознать в стихийных выступлениях трудящихся («рабочников») не просто беспорядки, а решающий фактор, способный в будущем обновить общество, направить его развитие по другому руслу. В период, когда основные идеи новой социальной науки были достоянием лишь самых выдающихся умов Запада, Чернышевский понял огромное значение проблем освобождения труда и трудящихся классов. Он предпринял критику буржуазной политической экономии с позиций разработанной им «теории трудящихся», причем сделал это с таким успехом, что предугадал многие стороны развития капитализма. К. Маркс недаром назвал его великим русским ученым и критиком, мастерски выявившим банкротство буржуазной политической экономии¹.

Человек, мыслящий с большой логической строгостью, последовательнее и систематичнее, чем большинство его современников в России, Чернышевский был хорошо знаком со всей предшествующей историей мышления, умел критически рассматривать проблемы в том виде, какой они приобрели в ходе развития теоретической мысли до него. Вот почему генезис его собственной теоретической мысли может быть понят только в контексте всей европейской интеллектуальной традиции, включая классическую немецкую философию, английскую политическую экономию, французский и английский утопический социализм. Вместе с тем Чернышевский был одарен в высшей степени самостоятельным взглядом на вещи. Его мировоззрение представляет собой особый мир абстракций и мысленных ходов, особое видение проблем современной ему действительности и исторических перспектив. Ухватить это видение в рамках традиционного подхода не так-то легко. Следует учитывать своеобразие мышления русского революционного демократа и социалиста, жившего и творившего в России, где не существовало социальных и экономических отношений, сравнимых с теми, которые были уже во Франции и Англии. Отмена крепостного права и освобождение крестьян в России происходили в то время, когда в Западной Европе, по крайней мере во

¹ См.: Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. 23. С. 17—18.

Франции и в Англии, капиталистическое общество уже выявило свою антагонистическую природу и показало свою ограниченность во всемирно-историческом смысле.

По характеру воззрений Чернышевского на первый взгляд следует отнести к просветителям. Во всяком случае, как и все просветители, Чернышевский «одушевлен горячей враждой к крепостному праву и всем его порождениям в экономической, социальной и юридической области»; как и других просветителей, его отличает предчувствие близящегося обновления всего человеческого существования, наступлению которого он содействует защитой разума, свободы личности, цивилизованных форм жизни; наконец, подобно мыслителям XVIII в. он отстаивал интересы народных масс, в России — прежде всего крестьянских, будучи уверен, что падение крепостничества принесет с собой общее благосостояние².

Далее сходство с западноевропейским Просвещением кончается. Дело в том, что в отношении к «просвещению» и «европеизации» (т. е. созданию предпосылок цивилизованности) в России выявлялись две различные тенденции — либеральная и демократическая, точнее, крестьянско-демократическая. Обе тенденции, несмотря на «субъективный социализм» крестьянской демократии, в целом оставались на протяжении XIX в. ограниченными историческими рамками буржуазного строя, хотя и представляли собой существенно различные типы осмысления буржуазного развития. В отличие от Запада основу для идеологии просветительства в России давала не буржуазно-либеральная, а крестьянско-демократическая тенденция, ибо именно крестьяне в России представляли класс, заинтересованный по своему положению в том, чтобы уничтожить все остатки средневековья. И поскольку Чернышевский стоял на точке зрения крестьянской демократии, постольку понятием «просветитель» характеризуется лишь ряд существенных моментов его творчества.

Теоретическое осмысление крестьянско-демократической точки зрения (в противовес либерально-помещичьей и буржуазной) подводило великого русского философа к социалистическому мировоззрению. В его концепции уже намечены основные контуры нового подхода к учению об обществе, философ предвидит иное по сравнению с эпохой падения крепостного права соотношение

² См.: Ленин В. И. Полн. собр. соч. Т. 2. С. 519.

социально-политических сил, новую группировку классов. Именно поэтому он не ограничивается объявлением войны крепостническому строю, но ставит вопрос о капитализме в России, о противоположности интересов труда и капитала, дополняет антикрепостническое «просветительство» анализом противоречий буржуазного строя, уже развившегося на Западе. Поскольку мыслитель ставит вопрос о том, как уберечь крестьянскую массу в России от участи европейских «рабочников», и осознает неизбежность размежевания социальных сил в борьбе за «европеизацию» страны, постольку он поднимается над горизонтом традиционного просветительства. Он не «просветитель» в том смысле слова, в каком был «просветителем» в 60-х годах XIX в., например, «буржуа-манчестерец» Скалдин³, и даже не «революционный просветитель». Он — идеолог крестьянской демократии, противостоявшей буржуазному либерализму, родоначальник (вместе с Герценом) народного социализма в России. При этом благодаря огромной мыслительной культуре и пониманию исторического значения борьбы западноевропейских «рабочников» Чернышевский сумел возвыситься над мелкобуржуазной ограниченностью и сентиментальностью критики капитализма народников следующего поколения, поставивших это течение по ряду вопросов ниже «шестидесятиничества». Чернышевский — социалист по взглядам, по убеждениям, предтеча социал-демократии в России, ученый, выдвинувший перед общественной мыслью проблему исторической альтернативы буржуазному строю в стране «вторичного» развития капитализма.

Формально Чернышевский не создал особой школы. Свои идеи он редко излагал в систематизированной форме, они разбросаны по статьям, рецензиям, написанным по разным поводам, часто сформулированы с нарочитой упрощенностью, искажены необходимостью считаться с цензурой. Охватывая широчайшую область наук (философию, социологию, политическую экономию, историю, эстетику, литературную критику и т. п.), Чернышевский не стремится к построению завершенной теоретической системы. Работы его объединены скорее общей идеей, подходом, убеждением, чем строгой архитектурной.

³ Скалдин (Ф. П. Еленев) — русский буржуазно-либеральный публицист. Материалы его труда «В захолустье и в столице» (1867—1869) были использованы В. И. Лениным для характеристики русского просветительства в работе «От какого наследства мы отказываемся?» (см.: Ленин В. И. Полн. собр. соч. Т. 2).

лософ зачастую не утверждает категорически выдвигаемую точку зрения, не останавливается на ней, но удерживает и позицию противоположную. Это результат осознания сложности, многоплановости исследуемых проблем, исчерпывающе решить которые мыслитель еще не мог, но от которых он и не желал освободиться путем мнимого одностороннего решения. Отсюда развитие мысли на разных, несовпадающих уровнях, несоотнесенность, «несостыкованность» положений друг с другом, противоречивость, порой озадачивающая исследователей. Однако таков характер творчества Чернышевского. Впоследствии ученики Чернышевского из народников попытаются устранить внутренние противоречия доктрины своего учителя, каждый выберет одно из его решений, одну из его формул и все вместе... потеряют богатство и оригинальность теоретического поиска своего учителя.

Подобно тому как философия Бэкона, творца английского материализма, еще скрывала «зародыши всестороннего развития» этого учения⁴, так и воззрение Чернышевского большей частью свободно от односторонностей его последователей. Подобно Бэкону Чернышевский только указывает науке дорогу, он теоретически обосновывает свое представление о будущем обществе. В результате его творчество оказывается средоточием и богатейшим источником идей, обгонявших эпоху. Достижения науки и философии служили ему, как правило, только опорой для дальнейшего самостоятельного движения мысли. Как ученый-политик, он чувствовал себя независимым от философских идолов эпохи и любую теорию воспринимал в тесной связи с жизнью, историей и проблемами своей страны.

Противоречия мысли Чернышевского свидетельствуют, по словам К. Маркса, о «богатстве того жизненного фундамента, из которого, выкручиваясь, вырастает теория»⁵ Вслед за Герценом Чернышевский поднимает проблему пути развития крестьянских стран, подобных России, в эпоху, когда капиталистический способ производства уже обнаружил свойственные ему противоречия и вступил в борьбу «и с наукой, и с народными массами, и с самими производительными силами, которые он порождает»⁶. Во всяком случае кризис, претерпеваемый

⁴ Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. 2. С. 142.

⁵ Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. 26. Ч. III. С. 82.

⁶ Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. 19. С. 402.

капиталистическими структурами на Западе, толкал передовые умы России к поиску новых идей, к обоснованию возможности иного по сравнению с Западной Европой типа общественного развития, включая некапиталистический путь. Однако средств и условий для такого решения проблемы в XIX в. еще не существовало. Им предстояло возникнуть как в ходе буржуазного развития самой России, так и в процессе дальнейшей эволюции всемирного капитализма. Чернышевский же, находясь у истоков нового всемирно-исторического процесса, оказывается не в состоянии решить научным образом вопросы о том, какие силы станут действовать с целью разрешения проблемы, какие элементы этого процесса явятся определяющими, каково будет соотношение между формирующими результат факторами. Поэтому при объяснении возможности некапиталистического пути развития общества мыслитель вынужден ориентироваться на «неотвратимый ход дел», ставить во главу угла абстрактные категории «пользы человека», «расчета выгоды» и т. п.

Дальнейший анализ покажет принципиальное единство подхода Чернышевского к анализу проблем, цельность его позиции как мыслителя-социалиста, неуклонно двигавшегося к постижению новой исторической ситуации, складывавшейся в России. При этом богатство «жизненного фундамента» учения Чернышевского сделало его вклад в теорию революционной мысли в России настолько значительным, что его уже нельзя рассматривать как простое углубление демократической традиции, даже в ее революционном варианте, или как утопический социализм в его «классической» форме. Одним из первых Чернышевский сумел понять, что «европеизация» в странах, подобных России, с необходимостью связана с исторической самостоятельностью «низших сословий». Русское освободительное движение, по его убеждению, не сможет восторжествовать и добиться своих целей, если не примет в итоге характера глубокой социальной революции, преобразующей в интересах трудящихся масс отношения собственности. Задолго до размежевания и открытого столкновения классов на русской политической арене Чернышевский понял антидемократический характер буржуазно-помещичьего либерализма, разглядел физиономию общественных сил, борьба которых на десятилетия вперед определила ход освободительной борьбы в России. И чем дальше продвигалось вперед буржуазное развитие страны, тем явственнее проступало то основное деление

классов и партий, которое в эпоху падения крепостного права едва-едва обозначалось. В этом смысле теория Чернышевского утвердила отчетливо и бесповоротно дух классовой борьбы, который не был забыт в ходе развития российского освободительного движения. На заложенной им традиции формировались целые поколения русских революционеров — от революционных народников 70-х годов до социал-демократов.

* * *

Николай Гаврилович Чернышевский родился 12(25) июля 1828 г. в г. Саратове в семье священника.

В 1836 г. Чернышевский был зачислен в духовное училище, однако фактически не посещал его, так как занимался дома под руководством отца. В шестнадцать лет (1844), минуя низшие классы духовной семинарии, он поступил прямо в старший класс. По свидетельству современников, Чернышевский уже в это время поражал удивительной начитанностью и блестящим умственным развитием. Он знал латинский, греческий, еврейский, французский, немецкий, польский, английский языки и изучал персидский. Его товарищам по семинарии казалась необычной его смелость в споре с учителями.

Можно сказать, что самым главным воспитателем Чернышевского явилась окружающая его жизнь: расправа с «раскольниками», истязание на плацу солдат, тяжесть жизни городских рабочих и крестьян — все то, что он видел собственными глазами или слышал от других с самого детства. Юношу поражала безответность и покорность «белых рабов» самодержавной России, их постоянный страх перед угнетателями. В душе его рос протест против всякого унижения и угнетения человека. Желая с наибольшей пользой служить своему народу, Чернышевский принимает решение оставить семинарию и поступить в университет. 14 августа 1846 г. он был принят на философский (впоследствии — историко-филологический) факультет Петербургского университета.

Во время пребывания Чернышевского в университете (1846—1850) окончательно складывается его мировоззрение. Это были годы революционных потрясений в Западной Европе. Чернышевский помимо университетских курсов изучает современную русскую и западноевропейскую литературу, историю, политическую экономию и философию. Особое предпочтение отдает он трудам В. Г.

Белинского и А. И. Герцена (включая нелегальные произведения). В них Чернышевский находит ответы на вопросы, поставленные тогдашней жизнью. Он общается также с петрашевцами, в частности с А. В. Ханыковым, который знакомит его с учением социалиста Ф. М. Ш. Фурье. В письме своему другу М. И. Михайлову от 15 мая 1850 г. Чернышевский пишет о том, что главными предметами его поклонения в это время являлись Луи-Блан, Б. Ж. Прудон, Л. Фейербах. Именно тогда Чернышевский становится, по его собственному выражению, «партизаном социалистов и коммунистов и крайних республиканцев монтаньяр...» (I, 122)⁷ Правда, некоторое время он отдает дань идее абсолютного монарха, просвещенного и благожелательного (подобно Петру I), однако очень скоро выбирает идеал революционной борьбы за социалистическое переустройство общества.

Поражение революции 1848—1849 гг. в Европе заставляет студента Чернышевского углубиться в историческую и экономическую литературу. Он тщательно изучает труды А. Смита, Д. Рикардо и других экономистов. Читая работы Г. В. Ф. Гегеля, Чернышевский отмечает глубокое противоречие между выдвигаемой в них идеей развития и примирением немецкого философа с современной ему действительностью. Все больше склоняется он к материалистическим идеям Герцена и Белинского. Однако процесс выработки атеистических взглядов протекал не без трудностей. «...Я не знаю, верю ли я в бытие бога, в бессмертие души и т. д.,— читаем мы в дневнике (январь 1850 г.).— Теоретически я скорее склонен не верить, но практически у меня недостает твердости и решительности расстаться с прежними своими мыслями об этом...» (I, 358). Преодолеть религиозное мировоззрение Чернышевскому помогает изучение работы Людвиг Фейербаха «Сущность христианства», с которой он знакомится в 1849 г. К концу пребывания в университете Чернышевский окончательно становится на позиции философского материализма и атеизма. В это же время он усердно изучает естественные науки: физику, астрономию, геологию, биологию и пр.

Однако мысли Чернышевского постоянно обращаются от теории к жизни. В своих записях этого периода он часто

⁷ Здесь и далее в скобках указан курсивом номер тома и после занятой страницы по изданию: *Чернышевский Н. Г.* Полн. собр. соч.: В 15 т. М., 1939—1950. Т. 16 (дополнительный). М., 1953.

говорит о неизбежности народной революции в России. Гражданская казнь петрашевцев (22 декабря 1849 г.), судя по дневникам Чернышевского, вызвала у него ненависть к царским палачам. 20 января 1850 г. он формулирует мысль об уничтожении царской монархии как первой задаче русских революционеров. Вместо монархии, полагает он, в России следует установить демократическую республику, власть должна перейти в руки трудящихся. «Вот мой образ мысли о России: неодолимое ожидание близкой революции и жажда ее, хоть я и знаю, что долго, может быть, весьма долго, из этого ничего не выйдет хорошего, что, может быть, надолго только увеличатся угнетения и т. д. — что нужды? — записывает он в дневнике. — Человек, не ослепленный идеализацией, умеющий судить о будущем по прошлому и благословляющий известные эпохи прошедшего, несмотря на все зло, какое сначала принесли они, не может утраститься этого; он знает, что иного и нельзя ожидать от людей, что мирное, тихое развитие невозможно» (I, 356—357). В мае 1850 г. молодой Чернышевский обдумывает даже план подготовки народного восстания, предполагает выпустить революционные прокламации, мечтает о печатном станке.

Окончив Петербургский университет, Чернышевский в 1851—1853 гг. работает старшим преподавателем Саратовской гимназии. Он старается внести новый дух в преподавание, пробудить умы своих воспитанников, вызвать у них интерес к общественным явлениям, ненависть к крепостному праву, зародить сомнения в религиозных чувствах, заинтересовать историей революций. Своей деятельностью Чернышевский заслужил горячую любовь прогрессивной молодежи и ненависть мракобесов. Условия жизни в провинциальном Саратове не могли не тяготить его, он рвался в Петербург.

26 января 1853 г. Чернышевский познакомился с Ольгой Сократовной Васильевой, дочерью саратовского врача. Как человек глубоко нравственный, честный, он не сразу решает сделать ей предложение: «Я не могу жениться уже по одному тому, что я не знаю, сколько времени пробуду я на свободе. Меня каждый день могут взять»⁸ Бракосочетание, однако, состоялось в апреле 1853 г., а в мае того же года супруги переехали в Петербург.

⁸ Цит. по: *Стеклов Ю. М.* Н. Г. Чернышевский. Его жизнь и деятельность. М.; Л., 1928. Т. I. С. 116.

В Петербурге в январе 1854 г. Чернышевский был назначен учителем во второй кадетский корпус, но методы его преподавания пришлись не по вкусу официальным чинушам. В результате столкновения с одним из офицеров Чернышевский подал в отставку. На этом закончилась его педагогическая карьера. Он обращается к литературной деятельности, благодаря которой Россия, русское освободительное движение обретают великого мыслителя, просветителя, революционера, социалиста. Некоторое время Чернышевский сотрудничал в журналах «Санкт-Петербургские ведомости» и «Отечественные записки», затем в течение нескольких лет — в журнале «Современник».

В 1855 г. Чернышевский сдал магистерский экзамен и защитил диссертацию «Эстетические отношения искусства к действительности». На защите в Петербургском университете состоялся диспут, в ходе которого диссертант твердо отстаивал свои материалистические убеждения. О «предосудительном» содержании диссертации сообщили министру народного просвещения, и ее положили под сукно. Лишь через три с половиной года (29 октября 1858 г.) новый министр народного просвещения Е. П. Ковалевский утвердил присуждение Чернышевскому степени магистра, но этот диплом уже не интересовал мыслителя — он целиком и полностью отдался литературно-общественной работе.

Конец 50-х — начало 60-х годов XIX в. были для России временем подготовки и проведения крестьянской реформы. В вопросе о конкретных мерах по освобождению крестьян от крепостного права столкнулись три социальные силы: аристократическая, помещичье-бюрократическая партия во главе с царем, либералы и разночинская демократия. Идейным вождем последней и выступил Н. Г. Чернышевский.

В этот период в «Современнике» в полную меру развернулся его литературный и публицистический талант. Здесь были напечатаны «Очерки гоголевского периода русской литературы», «Лессинг», «Экономическая деятельность и законодательство», «Капитал и труд», «Критика философских предубеждений против общинного владения», «Антропологический принцип в философии», «Пolemические красоты», «Письма без адреса» и др. Когда в 1856 г. Н. А. Некрасов уехал за границу, фактическим редактором журнала стал Чернышевский. С 1855 по 1863 г. почти в каждом номере «Современника» печаталось по несколько его статей. В журнале активно сотру-

ничали Н. А. Добролюбов, М. Л. Михайлов, М. А. Антонович, М. Е. Салтыков-Щедрин, Н. В. Успенский, Н. Г. Помяловский, Ф. М. Решетников, А. А. Слепцов и др. Влияние Чернышевского на общественную мысль росло. Он стал признанным вождем всех демократических элементов России.

В 1859 г. «Современнику» было разрешено открыть политический отдел. Этот отдел стал вести Чернышевский, откликаясь на все злободневные вопросы. По словам Ю. М. Стеклова, Чернышевский «критиковал и наставлял, бранил и сетовал, не щадя своих сил, гордо и сознательно идя навстречу своей неизбежной гибели»⁹. Чернышевский и его соратники не ограничились легальными методами борьбы против самодержавия. Они тайно печатают революционные прокламации. Перу самого Чернышевского принадлежит, по-видимому, прокламация «Барским крестьянам от их доброжелателей поклон», где со всей глубиной и страстностью показан грабительский характер крестьянской реформы и обоснована необходимость ниспровержения царизма.

Не на шутку напуганное подъемом общественного движения, царское правительство после некоторого замешательства перешло в наступление. В июне 1862 г. после петербургских пожаров, в которых правительство обвинило революционно настроенную молодежь, были закрыты воскресные школы, народные читальни, студенческие организации, приостановлен выход журналов «Современник» и «Русское слово». В июле были арестованы Н. Г. Чернышевский, Н. А. Серно-Соловьевич и Д. И. Писарев, в сентябре — Н. В. Шелгунов и другие деятели революционного движения. Чернышевский был заключен в Алексеевский рavelин Петропавловской крепости. В руках суда не было материалов для законного осуждения, однако царизм не остановился перед беззаконием: в феврале 1864 г. Чернышевский был приговорен к семи годам каторжных работ и к бессрочному поселению в Сибири. Чернышевского судили за то, что он был Чернышевским — социалистом, демократом, революционером. Находясь в условиях заключения, мыслитель написал знаменитый роман «Что делать?», а также повесть «Алферьев», переводил «Всеобщую историю» Ф. Х. Шлоссера, «Историю Англии» Т. Маколея, «Историю Соединенных Штатов» Е. Н. Неймана.

⁹ Стеклов Ю. М. Указ. соч. Т. I. С. 199.

19 мая 1864 г. писатель подвергся унижительному обряду гражданской казни, а затем был сослан в Сибирь. Девятнадцать лет провел Чернышевский в Сибири, и здесь он продолжал работать, писал одно произведение за другим. Чаще всего он уничтожал написанное. До современников дошел его роман «Пролог» и некоторые другие работы. Царское правительство пыталось сломить волю революционера-демократа, вынудить его подать прошение о помиловании. Но мужественный, негибемый революционер до конца остался верен делу, которому он посвятил всю свою жизнь. «Мне кажется, — сказал он в 1874 г., — что я сослан только потому, что моя голова и голова шефа жандармов Шувалова устроены на разный манер, — а об этом разве можно просить помилования?!»¹⁰

В 1883 г. Чернышевского перевели из Сибири в Астрахань под надзор полиции. Это было сделано специально — резкая смена климата не могла не сказаться на здоровье Чернышевского. Это действительно надломило его физически и духовно. Правда, он и здесь писал, в том числе по проблемам философии. Из философских работ этого периода следует отметить «Происхождение теории благотворности борьбы за жизнь». Однако силы иссякали. Незадолго до смерти ему было разрешено переехать в Саратов, где он вскоре, 29 октября 1889 г., умер.

В настоящей статье мы охарактеризуем сначала политические взгляды и философско-социологическую концепцию Чернышевского, в том числе его критику буржуазной философии и политической экономии, вслед за этим кратко остановимся на его эстетике и этике и в заключение дадим оценку поисков русским мыслителем ответа на вопрос о пути развития России к социализму.

* * *

Общественно-политические взгляды великого русского мыслителя охарактеризовать не просто. За десятилетие своей литературной деятельности Чернышевский прошел огромную идейную эволюцию. Начиная с юношеской поры и до момента насильственного устранения его с политической арены он как мыслитель беспрестанно развивался, и, чем дальше, тем полнее и глубже становились его идеи. При анализе его политических взглядов мы

¹⁰ Н. Г. Чернышевский в воспоминаниях современников: В 2 т. Саратов, 1959. Т. II. С. 196.

должны не только учитывать самое зрелое их выражение, но и не упускать из виду пути, по которому шло формирование и развитие представлений просветителя.

Из университета Чернышевский вышел убежденным демократом, революционером, социалистом. Его мысли о судьбе России отличались оптимизмом. Он верил в то, что революционная катастрофа близка. «Неудовольствие народа против правительства, налогов, чиновников, помещиков все растет, — писал он своей невесте О. С. Васильевой. — Нужно только одну искру, чтобы поджечь все это» (1, 418). Однако через некоторое время Чернышевский начинает отдавать себе ясный отчет в страшной отсталости русского крестьянина, его политической неразвитости, царистских иллюзиях.

В январской книжке «Морского сборника» (1855) были помещены ответы 653 раненных под Севастополем матросов. Их спрашивали, в чем они нуждаются, чего желают для себя или родных. «Сколько мыслей родят эти строки, запечатленные такою поразительною правдою! — с горечью отмечает Чернышевский. — Из 653 человек только 43, да и то единственно по повторенному требованию, изъявляют определенные желания и надежды, — и как скромны эти желания! Остальные — говорят только, что поручают себя милости начальства — пусть оно само чем-нибудь наградит их, если находит достойными награды... А большая часть не произносит даже и этих слов... Как ярко обрисовывается одним таким фактом жизнь русского воина, умирающего за отечество, не ожидая воздаяний! Как хорошо обрисовывается ими жизнь русского простолудина вообще!» (2, 582—583).

В этих условиях демократ и социалист Чернышевский занялся тем, чем единственно можно было заниматься в то время в России мыслящему человеку, — просвещением умов относительно неотложных потребностей общественной жизни и характера предстоящих преобразований.

Просветительский период творчества Чернышевского начинается примерно в 1855 г. и заканчивается в середине 1858 г. Он открывается его магистерской диссертацией, где впервые объявляется война устарелому мирозерцанию и провозглашаются основные начала нового мироощущения и жизнепонимания. Чуть позже в «Очерках гоголевского периода русской литературы» (1855—1856), имея в виду полемику между Н. А. Полевым и В. Г. Белинским, Чернышевский напишет: «Эстетические вопросы были для обоих по преимуществу только полем битвы, а предметом

борьбы было влияние вообще на умственную жизнь» (3, 25). Эти слова применимы и к самому Чернышевскому.

В своем стремлении повлиять на мысли и чувства современников Чернышевский исходил из того, что преимущественный интерес у русского образованного общества вызывает литература и потому именно она на первых порах должна взять на себя ведущую роль в деле критики существующего положения. Именно ей русская читающая публика была обязана, по мнению Чернышевского, первыми шагами «по пути умственного и нравственного совершенствования». «Литература у нас,— писал Чернышевский также в «Очерках гоголевского периода русской литературы», — пока сосредоточивает почти всю умственную жизнь народа, и потому прямо на ней лежит долг заниматься и такими интересами, которые в других странах перешли уже, так сказать, в специальное заведывание других направлений умственной деятельности» (3, 303).

Приниженность народа, его покорность существующему, его «неподвижность» Чернышевский считал следствием деградировавшей в ходе истории способности народа мыслить, страстно желать, энергично стремиться к чему-либо. Поэтому задача просветителя, согласно Чернышевскому, заключается в том, чтобы бороться с апатией общества в отношении высших интересов умственной и нравственной жизни, побуждать людей идти вперед, и в этом большое значение имеет личный пример жизни и деятельности передовых людей. «...Существеннейшая польза, какую может принести у нас обществу отдельный подвижник просвещения, посредством своей публичной деятельности,— писал он в статье «Сочинения Т. Н. Грановского» (1856), — состоит не только в том, что он непосредственно сообщает знание — такой даровитый народ, как наш, легко приобретает знание, лишь бы захотел — но еще более в том, что он пробуждает любознательность, которая у нас еще недостаточно распространена. В этом смысле, лозунгом у нас должны быть слова поэта: «Ты вставай, во мраке спящий брат!»» (3, 351—352).

Социальная суть предстоящих преобразований русского общества в то время представляется Чернышевскому еще в общих чертах. В основном это антифеодальные меры в экономической и общественной жизни страны: отмена крепостного права, всесторонняя европеизация страны, защита общенациональных, общегосударственных интересов, которые отождествляются прежде всего с интересами крестьянской массы. Как социалист, выразитель ин-

тересов трудящихся, мыслитель настаивает прежде всего на сохранении «принципа общинного землевладения». Экономическое движение в Европе породило «страдания пролетариата». Чернышевский не сомневается, что в конце концов они непременно будут исцелены, что болезнь эта «не к смерти, а к здоровью», но «врачевание этих страданий требует долгого времени и великих усилий» (4, 341). К счастью, в крестьянской общине Россия имеет «противоядие от болезни», отказываться от которого было бы в данных условиях нерасчетливо и неразумно.

Возможность избежать «язвы пролетариата» с помощью развития страны по пути общинного владения землей Чернышевский считает вполне осуществимой перспективой, поскольку в России в отличие от Западной Европы речь идет о том, чтобы защищать «не теорию, противоречащую фактам, а факт против ошибочной теории» (4, 421). «...Теперь судьба нашего народа на много веков еще в наших руках; через пятьдесят, быть может, через тридцать лет, или — кто знает, замедлится или ускорится неизбежный ход событий? — быть может, и раньше, будет уже поздно поправлять дело» (4, 738). Пример Европы да будет России уроком, убеждает Чернышевский образованное общество. «Теперь мы еще можем воспользоваться этим уроком. Теперь, когда мы еще только предвидим изменения, именно и нужно нам приготовиться к тому, чтобы сознательно встретить события и управлять их ходом...» (4, 746).

С собственно экономической точки зрения у Чернышевского нет ни малейших сомнений в предпочтительности «государственной собственности с общинным владением» по сравнению с частной поземельной собственностью. Но форма владения, понимает он, не исчерпывает всего комплекса мер, в которых нуждается для своих успехов сельское хозяйство, экономика страны. Кроме сохранения общины необходимы «водворение законности, справедливости и правосудия, водворение хорошей администрации, предоставление каждому простора для законной деятельности, [предоставление каждому трудящемуся обязанности содержать своими трудами только себя и своих близких, а не паразитов, ему чуждых или враждебных]» (4, 436). За осуществлением этих условий, надеется Чернышевский, последует и все остальное: «пробуждение промышленной деятельности», развитие городов, усовершенствование средств сообщения и т. п.

Насущность реформ, касающихся элементарных нужд крестьянства, как бы отодвигала в сторону помыслы и соображения обо всем другом, казавшемся в этих условиях чем-то далеким, скажем вопрос о политических силах, способных бороться за достижение поставленных целей. Предстоящие изменения выступают для Чернышевского как общее дело всех без исключения кругов, озабоченных судьбами страны. Подобно большинству социалистов начала XIX в. он полагает, что польза выдвинутых им планов преобразования слишком очевидна, чтобы в этом деле оказались важнее какие-либо посторонние соображения, что провозглашение идеалом «национального интереса», «государственной пользы» заключает в себе великую силу убеждения и пропаганды.

Раскол общества на классы и борьба между ними кажутся Чернышевскому в этот период препятствием на пути социального прогресса. Он, правда, признает, что «обыкновенный путь» к изменению гражданских учреждений нации лежит через «исторические события» (войны, революции), как происходило, например, в Англии и Франции. «Но этот способ,— полагает мыслитель,— слишком дорого обходится государству, и счастлива нация, когда прозорливость ее законодателя предупреждает ход событий» (4, 495). К тому же указанный способ не является единственным; история, по мнению Чернышевского, знает примеры, хотя и немногочисленные, иного, более гуманного пути развития, когда не борьба политических партий и экономических интересов, а наука и литература определяли общественный прогресс. Один из исключительных примеров того — Германия. «В половине XVIII века немцы, во всех отношениях, были двумя веками позади англичан и французов,— пишет мыслитель в статье «Лессинг» (1856).— В начале XIX века они во многих отношениях стояли уже выше всех народов. В половине XVIII века немецкий народ казался дряхлым, отжившим свой век, не имеющим будущности. В начале XIX века немцы явились народом, полным могучих сил...» (4, 7). И все это, по мнению Чернышевского, совершилось благодаря немецкой литературе, которая без всякой посторонней помощи, наперекор всем препятствиям дала немецкому народу «сознание о национальном единстве», пробудила в нем «энергические стремления», «благородную уверенность в своих силах» (см. там же).

Конечно, Чернышевский понимает, что историческое движение Германии в конечном счете было обусловлено

общим ходом европейских событий. Германия пробудилась «из своей нелепой и тяжелой летаргии» благодаря экономическому и политическому воздействию на нее Англии и Франции, опередивших ее в своем развитии. Но это обстоятельство, по мнению Чернышевского, не опровергает, а, напротив, усиливает значение немецкого опыта для России. Оно показывает русскому народу пути ускорения своего развития в XIX в. «при помощи уроков и истин, выработанных жизнью собратий...» (4, 65).

Исходя из этого, Чернышевский определяет и общественную роль литературы. Последняя, доказывает он в «Современнике» в 1857 г., бессильна возбуждать или изменять народные стремления — над ними «владеет могущество событий». «Но как бессильна литература в том деле, относительно которого существует различие партий и интересов, которого желают одни, которому противятся другие, в деле изменения народных обычаев и стремлений, точно так же сильно и незаменимо ничем ее влияние в том деле, относительно которого никогда не бывает разноречия между благоразумными и благонамеренными людьми, — в деле сообщения национальному характеру и национальным стремлениям хода благоразумного и осмотрительного» (4, 770—771).

В наше время нетрудно заметить, что Чернышевский предлагал для устранения глубоких противоречий недостаточные средства, что его представления о возможности гуманизации и ускорения общественного прогресса несостоятельны и утопичны. Но чтобы правильно оценить значение просветительского периода в духовном развитии Чернышевского, важно понять, что его просветительские взгляды вполне соответствовали духу времени. Мирозерцание Чернышевского складывалось в условиях, когда в стране еще не получили сколько-нибудь четкого выражения противоречия и требования различных социальных групп. Удивляться надо, следовательно, не тому, что русский социалист до 1858 г. еще вполне разделяет просветительские иллюзии относительно возможности совместного действия всех сословий во имя «национального интереса», а тому, как быстро он их преодолевает, когда для этого возникают условия.

Обнародование царского рескрипта от 20 ноября 1857 г., последующие рескрипты от 5 и 24 декабря, по-видимому, подкрепляли оптимизм Чернышевского: дело освобождения крестьян вышло наконец за пороги тайных

комитетов и правительство выразило реальное намерение покончить с крепостным правом.

Первым откликом Чернышевского на царские рескрипты была статья «Кавеньяк» (1858). В ней мыслитель указывает на огромные трудности, которые стоят перед «государственным человеком». Последний сплошь и рядом оказывается «в положениях, неразрешимых прежними случаями, потому что в истории ничто не повторяется...» (5, 7). «Государственному человеку» недостаточно воли, доброго намерения. Всем этим обладал, к примеру, диктатор Франции в 1848 г. Кавеньяк, и тем не менее он принес стране «гораздо больше вреда, нежели пользы» (5, 67). Кроме хороших намерений, само собой разумеющихся, «государственному человеку», доказывает Чернышевский, «нужны еще другие, высшие достоинства» — умение решительно действовать, опираясь на людей, «сочувствующих его намерениям», и не оставляя «влияния на ход событий врагам своих намерений» (5, 7; 64). Достоин ли имени «государственного человека» Александр II, покажут события. В отличие от Герцена Чернышевский не спешит сделать вывод, что Александр II «работает с нами — для великого будущего»¹¹, хотя и призывает в статье «О новых условиях сельского быта» (1858), что с делом, которое начал русский император, «может быть сравнена только реформа, совершенная Петром Великим» (5, 65).

Отмена крепостного права задевала интересы самого могущественного сословия в России — дворян. Как поведет себя дворянство, сказать что-либо определенное в начале 1858 г. было трудно. Энтузиазм общества, вызванный обнаружением рескриптов и затем открытием губернских дворянских комитетов для выработки местных проектов крестьянской реформы, заставил на время замолчать ярых крепостников. Почти никто из них поначалу не решался открыто выступить против нового правительственного курса. К тому же мнение основной массы дворянства по вопросу о предстоящей реформе еще только-только складывалось. В литературе оно было представлено прежде всего проектами Ю. Ф. Самарина, А. И. Кошелева, К. Д. Кавелина и др., написанными еще до опубликования рескриптов. Как отмечал Чернышевский, «почти все дельные проекты об уничтожении крепостной зависимости, предшествовавшие административным мерам, были составлены людьми из сословия помещиков» (5, 149).

¹¹ Герцен А. И. Собр. соч.: В 30 т. М., 1958. Т. 13. С. 196.

Следует подчеркнуть, что во всех этих проектах авторы шли дальше правительственной программы.

Но захочет ли все дворянство руководствоваться государственными соображениями, какие интересы — общие или узкокорыстные — победят в нем, — это должно было показать будущее. Во всяком случае, считает Чернышевский, «теперь, когда... теория нескольких отдельных лиц должна стать практикою целого сословия... степень добровольного участия его в совершении этого дела определится степень его прав на уважение других сословий нации, — скажем более, определится степень значения этого сословия в обществе» (5, 150).

Чем ближе к реформе, тем яснее становилось, что помещики в своей массе не способны подняться до общенациональных интересов. Царское же правительство направляло подготовку реформы в бюрократическое русло. В марте 1858 г. Чернышевский помещает в журнале «Атеней» статью-рецензию на повесть И. С. Тургенева «Ася» «Русский человек на rendez-vous», в которой признает: «грустное достоинство» повести в том, «что характер героя верен нашему обществу». В рецензии Чернышевского фигурирует «бедный молодой человек», совершенно не понимающий смысла того дела, «участие в котором принимает». Кто он, этот бедный молодой человек? Он не привык к великому, живому, потому что вся его жизнь буднична и мелка. «...Он робеет, он бессильно отступает от всего, на что нужна широкая решимость и благородный риск...» (5, 167; 168). Чернышевский сравнивает его с игроком, который всю жизнь удачливо играл в «ералаш» по полкопейки серебром; но «посадите этого искусного игрока за партию, в которой выигрыш или проигрыш не гривны, а тысячи рублей, и вы увидите, что он совершенно переконфузится, что пропадет вся его опытность, спутается все его искусство; он будет делать самые нелепые ходы, быть может, не сумеет и карт держать в руках» (5, 168).

«Искусный игрок», привыкший с блеском играть по полкопейки, но делающий постыдным образом «самые нелепые ходы» в крупной игре, — современникам нетрудно было догадаться, о ком идет речь: слишком прозрачен был намек на то, что царь и либеральные круги бессильны провести сколько-нибудь удовлетворительно важное историческое преобразование. Они — Чернышевский подводит читателя к этой мысли — не те люди, которые могут воспользоваться «благоприятным сочетанием обстоя-

тельств», не та партия, которая в состоянии понять требование времени и решить насущные вопросы. Правда, автор рецензии все еще готов желать «добра нашему герою и его собратам», но «против желания нашего,— пишет он,— ослабевает в нас с каждым днем надежда на пронизательность и энергию людей, которых мы упрашиваем понять важность настоящих обстоятельств и действовать соответственно здравому смыслу...» (5, 172).

Нелегко войти во внутренний мир такого мыслителя, как Чернышевский, еще труднее установить переломные моменты процесса формирования его политических взглядов. И все-таки внимательный читатель заметит необычный тон предисловия к «Истории XVIII века» Ф. Х. Шлоссера (март 1858) — печальный и торжественный. Чернышевский как бы прощается со своими прошлыми иллюзиями, прощается с некоторой грустью, как расстаются с юношескими порывами и надеждами. Чтобы вполне понять и по достоинству оценить Шлоссера, говорит Чернышевский, нужно отказаться от «всех обобщений внешности», от «всех прикрас идеализма». Нужно «холодную разборчивость старика соединять с благородством юноши» (5, 176). Конечно, для большинства это будет связано с жертвами: «...быть может, вы потеряете веру почти во всех тех людей, которыми ослеплялись прежде; но зато уже никакое разочарование опыта не сокрушит того убеждения в неизбежности развития, которое сохранится в вас после его строгого анализа...» (там же). Не героев добра и правды, сотканных, как выражается Чернышевский, из «риторических фраз или идеальных увлечений», а «людей простых и честных, темных и скромных, каких, слава богу, всегда и везде будет довольно», вы признаете вместе со Шлоссером (и Чернышевским, добавим мы) «истинно полезными двигателями истории» (там же).

Не следует торопиться с выводами и думать, что начиная с этого момента Чернышевский переходит на точку зрения свержения самодержавия и проповедует идею крестьянской революции. В отличие от некоторых своих соратников Чернышевский в конце 50-х годов не ставил вопроса в форме альтернативы: реформа или революция. Живя в стране, где условия для демократического движения еще только-только складывались, он отдавал себе ясный отчет в том, что выбора между борьбой за реформы и крестьянской революцией не существовало. Революция требует такой сознательности и энергии, такой стойкости

сопротивления, которых не было еще у трудящихся масс ни в России, ни даже на Западе. Другое дело, что массы в конце концов обретут их — в этом Чернышевский нисколько не сомневался, — однако сколько времени потребуется для того, чтобы на смену «темным чувствам или предрасудкам огромного большинства» пришли упроченные привычкой «совершенно новые убеждения», он не знает. Пока же условий для революции нет, революционеру, по его мнению, следует придерживаться иной стратегии — формулировать требования, которые способствуют сплочению достаточно широких общественных кругов. Вот почему программа практических задач, развиваемая Чернышевским в ряде статей, посвященных обсуждению готовящейся реформы, при всей своей выдержанности в демократическом духе отличается умеренностью и реализмом.

В этот период Чернышевский намечает те основные проблемы, которые предстояло решить русской революционной партии, формулирует костяк теоретических и политических идей крестьянской демократии. Это потребовало от ученого анализа интересов различных сословий, в результате которого он пришел к пониманию того, что борьба экономических интересов представляет собой содержание и движущий мотив истории. Нужно было уяснить конкретные цели и пути, которые обеспечили бы переход от потерпевшего банкротство крепостнического строя к обществу, отвечающему интересам широких крестьянских масс. Предпосылкой обоснования нового воззрения явился показ неспособности самодержавия и господствующих классов совершить освобождение крестьянства.

Изменилась и точка зрения Чернышевского на вопрос о соотношении интересов классов в России. Еще в 1857 г. в рецензии на «Письма об Испании» В. П. Боткина Чернышевский называет «бесспорным преимуществом» испанского народа тот факт, что сословия в нем «не разделены между собою ни закоренелю ненавистью, ни существенною противоположностью интересов» — в отличие от других стран Западной Европы. Отсюда Чернышевский делал вывод, что в Испании «все сословия могут дружно стремиться к одной цели» (4, 243). Осуществление общегосударственных интересов, национальных стремлений Чернышевский все еще не связывал с исторической деятельностью определенных социальных сил. По крайней мере в отношении этих стремлений раскол народа «на враждебные касты» не кажется ему неизбежным. Напро-

тив, в странах, думает он, где нация осознает себя «одним целым», национальные стремления осуществляются более или менее безболезненно и легко (см. 4, 236), главное — разбудить в нации «потребность улучшить свой быт», преодолеть рутину, неподвижность, «беззаботность невежества» (4, 245).

Теперь, в 1858 г., «потребность улучшить свой быт» была разбужена, прежняя рутина и неподвижность ушли в прошлое. И что же? Оказалось, что подобно европейскому русское общество расколото на «враждебные касты». «Национальный интерес» предстал и здесь не суммой интересов отдельных сословий, а выражением эгоистических устремлений господствующих слоев, готовых «пожертвовать самыми драгоценными историческими приобретениями», лишь бы сохранить свои привилегии (4, 236). Исторический круг замкнулся. Россия, вступившая на дорогу Запада (правда, в специфической форме «самодержавной революции»), сразу же обнаружила, что единства интересов в современном обществе не существует даже тогда, когда речь идет о ломке заржавелых средневековых форм.

Поставленный перед необходимостью решительного выбора, Чернышевский предпочел миражу единого общенационального интереса суровую правду классовой борьбы. Потерпел крушение не либерализм Чернышевского — либералом он никогда не был, — потерпели крушение иллюзии надклассового социализма и демократизма. От утопического социализма и просветительства Чернышевский делает шаг навстречу революционному социализму и «теории трудящихся».

Показывая обусловленность деятельности классов и партий экономическими интересами, мыслитель впервые в русской литературе дает объяснение происходившей в России борьбе высшего и низшего сословий. Вражда «простолюдинов» и «господствующего сословия» предстает в контексте этой теории не как исключение или нарушение нормального состояния общества, а как закон его существования на определенном этапе. Она выражает факт раскола современного общества на две противоположные части: «...одна живет чужим трудом, другая — своим собственным; первая благоденствует, вторая терпит нужду» (6, 337). Интерес одних заключается в том, чтобы сохранить нынешнее положение вещей, интерес других состоит, напротив, в его изменении. «Это разделение обще-

ства, основанное на материальных интересах, отражается и в политической деятельности» (там же).

Такая позиция вынуждает русского социалиста по-иному оценивать усилия самодержавия по отмене крепостного права.

Он прозорливо указывает, что освобождение крестьян, предпринятое самодержавием, обречено на неудачу, потому что «качество средств» не соответствует задуманному делу. Знакомый с европейской политической историей, Чернышевский не отрицал реформы как одного из путей решения общественных вопросов. Герой его романа «Пролог», написанного в Сибири, Волгин, выражая в данном случае мысли самого автора, говорит: «Возможности реформ я не отвергаю: как отвергать возможность того, что происходит? Происходят реформы, в огромном количестве...» (13, 134). Но тот же Волгин подчеркивает, что он решительно против реформ, «когда нет условий, необходимых для того, чтобы реформы производились удовлетворительным образом» (13, 140).

Нельзя забывать всей сложности общественной ситуации в России накануне реформы. С одной стороны, самодержавие под влиянием поражения в Крымской войне решилось на отмену крепостного права, с другой — помещики, вынужденные принять царские рескрипты, стремились максимально оградить свои привилегии (ни либерально настроенные дворяне, ни тем более откровенные крепостники не выказывали ни малейшего намерения руководствоваться при освобождении крестьян интересами последних). Само же крепостное крестьянство, представлявшее «национальные интересы», в настоящем своем положении оказывалось темной, забитой, политически неподвижной массой. Других общественных сил, заинтересованных в освобождении крестьян, а главное, способных провести отмену крепостного права в интересах последних, в России не существовало. «Есть в истории такие положения, — констатирует в работе «Борьба партий во Франции при Людовике XVIII и Карле X» (1858) Чернышевский, — из которых нет хорошего выхода, — не оттого, чтобы нельзя было представить его себе, а оттого, что воля, от которой зависит этот выход, никак не может принять его. Правда, но что же в таких случаях остается делать честному зрителю? Ужели обманывать себя обольщениями о возможности, даже о правдоподобности такого принятия? Мы не знаем, что ему делать, но знаем, чего он по крайней мере не должен делать: не стараться

ослеплять других, остерегаться заражать других идеологической язвой, если сам по несчастю подвергся ей...» (5, 277). Основной своей задачей в это время философ считает разоблачение либерального предрассудка, «будто государственная власть может заменять собою результаты индивидуальных усилий в общественных делах», воспитание у нарождающейся демократии того чувства «гражданской самостоятельности, которое только одно может успрочить здоровье нации» (5, 402).

В этом отношении представляет интерес запрещенная цензурой статья «Апология сумасшедшего» (1861), в которой Чернышевский достаточно недвусмысленно (хотя и в завуалированной форме — давая якобы оценку реформы Петра I) указывает на подлинные цели «великой реформы». Освобождая крестьян от крепостного права, царское правительство, как когда-то Петр I, руководствовалось не мотивами гуманности, а чисто государственными соображениями. Цель заключалась вовсе не в европеизации России, доказывает Чернышевский, а в «создании сильной военной державы». Этой целью обусловлен характер освобождения и соответственно его результаты. «Результатом деятельности Петра Великого было то, что мы, получив хорошее регулярное войско, стали сильною военною державою, а не то, чтобы мы изменились в каком-нибудь другом отношении» (7, 612). Могут ли быть иными результаты отмены крепостного права, проведенной «силою современного государства» во имя тех же ограниченных целей?¹²

Чернышевский начинает понимать, что источник политической инициативы царизма — это поражение в Крымской войне, доказавшее несостоятельность старого порядка вещей и придавшее силу так называемой либеральной партии, которая требовала уничтожения крепостного права. Однако кризис, порожденный войной, с горечью констатирует мыслитель в «Письмах без адреса» (1862), оказался не настолько глубоким, чтобы вызвать к жизни общественное движение, способное решительно сломать старый строй. Не считая узкого слоя людей, «более или менее думавших об общественных делах», остальная масса населения, в особенности крестьянство,

¹² Совершенно по-иному оценивал Чернышевский Петра в свой «просветительский» период. «Для нас, — писал он в 1855 г., — идеал патриота — Петр Великий; высочайший патриотизм — страстное, беспредельное желание блага родине, одушевлявшее всю жизнь, направлявшее всю деятельность этого великого человека» (3, 136).

более всего заинтересованное в переменах, стояла в стороне от назревших событий. «Привычный произвольный способ ведения дел» был, таким образом, неизбежным результатом слабости освободительного движения (см. 10, 97; 99).

В этих условиях революция (пусть в будущем) представлялась единственным путем действительного преобразования России. В ходе идейной подготовки революции принципиальное значение приобретало разоблачение враждебности либералов интересам народа. Впервые в русской литературе Чернышевский определяет либерализм как одно из течений внутри господствующего класса, несовместимое по своей сути с устремлениями «низших сословий». «Без них, без этих людей,— писал он,— так прочно и добросовестно утвердивших за собой репутацию либералов и демократов, реакционеры были бы бессильны» (7, 697). Оберегая зарождавшееся в России демократическое движение от «идеологической язвы» либерализма, Чернышевский разоблачает бесхарактерность и холопство либералов перед самодержавием, их боязнь революционного движения масс.

Понимание необходимости революции и готовность отдать всего себя революционному делу и одновременно предчувствие невозможности свершения революции при данных условиях — это трагическое противоречие пронизывает все политическое миросозерцание Чернышевского. Как историк он знал, что революция предполагает политическую активность народных масс. Как политик он не имел ответа на вопрос, какие конкретные силы способны пробудить в темном, забитом крестьянстве коллективную волю и направить ее в демократическое русло. Силы, призванные совершить социальный переворот, рисуются философу еще в очень общем плане. Для него это масса эксплуатируемых людей, каждый из которых «не только не получает в свою пользу часть труда или продукта других, но и продуктами своего труда или заслуг пользуется не вполне...» (9, 422). Однако, даже понимая, что время революции еще не пришло, Чернышевский считал важным делом систематическое и терпеливое воспитание революционеров, способных оказаться на высоте исторической задачи, когда ход событий подведет массы к непосредственному натиску на самодержавие и помещиков. В решении этой задачи его роман «Что делать?» (1863) сыграл выдающуюся роль, воспитав несколько поколений беспримерных по силе духа борцов за социализм.

В концепции революционного действия Чернышевского отсутствуют какие-либо политические рецепты. Обобщая опыт революций в Западной Европе, русский демократ формулирует основные правила для политической партии, желающей быть эффективной силой. Такая партия должна опираться прежде всего на поддержку масс, завоевать которую можно лишь при условии, если партия выступит за радикальный переворот в отношениях собственности. Тактическая линия революционеров, подчеркивает Чернышевский, должна строиться с учетом действительных интересов других партий, а не выставляемых ими напоказ лозунгов. Политический деятель, оправдывающий свои неудачи предательством союзников, «обнаруживает только собственную неприготовленность к ведению важных дел» (6, 345). Революционер не должен идеализировать и народ, который в своей массе состоит из «обычных людей», способных под влиянием страсти увлечься, впасть в крайности. Тот, кому «отвратительны сцены, неразрывно связанные с возбуждением народных страстей» (6, 418), не должен браться за ремесло революционера; революция имеет свою логику, и революционеры должны быть готовы, «не колеблясь, принимать такие меры, какие нужны для успеха», не обольщаясь относительно средств, требуемых делом, равно как и «явлений, какие могут вызываться этими средствами» (6, 417).

* * *

Свою работу в области философии великий русский мыслитель рассматривал как продолжение и совершенствование антропологического воззрения Фейербаха на основе новых исторических фактов и достижений научного знания. Антропологический материализм стал той философской базой, опираясь на которую демократы и революционеры в Европе смогли перестроиться и продолжить материалистическую традицию на новой основе, в условиях первой половины XIX в. Впоследствии Чернышевский признавался, что знал «когда-то Фейербаха чуть не наизусть». Фейербах для него — величайший из европейских мыслителей, «отец новой философии», система которого имеет «чисто научный характер» (11, 209; 128). Принципы философии Фейербаха не только не находятся для Чернышевского в прошлом, но и по существу не превзойдены в ходе развития естествознания и исторических наук и изменения условий существования общества. Даже

в 80-х годах XIX в. Чернышевский готов считать философию Фейербаха «лучшим изложением научных понятий о так называемых основных вопросах человеческой любознательности...» (2, 124; 125). Сам Фейербах, понимает Чернышевский, не успел разработать «сообразно с основными научными идеями» ряд проблем, «преимущественно должно сказать это о практических вопросах, порождаемых материальной стороной человеческой жизни» (3, 180). Однако усилиями таких мыслителей, как Сен-Симон, Фурье, Оуэн и др., односторонность науки об обществе преодолена: «Материальные и нравственные условия человеческой жизни, управляющие общественным бытием, были исследованы с целью определить степень их соответственности с требованиями человеческой природы и найти выход из житейских противоречий, встречаемых на каждом шагу, и получены довольно точные решения важнейших вопросов жизни» (там же).

Все имеющиеся факты и проблемы, по мнению Чернышевского, в принципе могут быть объяснены исходя из фундаментальных принципов антропологического материализма. Чернышевский уверен, что антропологическая теория вполне позволяет понять поведение человека в любых условиях — теоретически предположенных или реально существующих. Но на деле — особенно в сфере политического и исторического анализа — мыслителю сплошь и рядом приходилось сталкиваться с проблемами, решение которых либо выводило его за пределы антропологического подхода, либо заставляло отступать от признания универсальности этого подхода. Отсюда своеобразное сосуществование двух уровней в его мировоззрении: абстрактного, утверждаемого на языке профессиональной философии (то, что называется словом «система» и выражается в разработке специальных философских понятий), и конкретного, проявляющегося при анализе реальных общественных ситуаций.

Сосуществование этих уровней мировоззрения свидетельствует, с одной стороны, о громадной силе творческого ума Чернышевского и его умении освобождаться от канонов и ограничений, в том числе и от рамок старого формализма, с другой — о неспособности мыслителя понять, что содержательная интерпретация новых фактов и отношений несовместима с основным принципом антропологизма.

Эта особенность мировоззрения философа порождала и до сих пор порождает в нашей литературе споры по поводу интерпретации его творчества: тот, кто ограничива-

ется рассмотрением «системы», как правило, не видит исторического реализма мыслителя, его движения к материализму в истории; и наоборот, сосредоточившись на «прорывах» Чернышевского к историческому материализму, можно не заметить значения «антропологического метода в философии», забыть, что именно с ним связана философская рефлексия русского демократа. Наша задача в дальнейшем будет заключаться в показе конкретных форм перехода мысли философа от одного мировоззренческого уровня к другому, расхождения и слияния их в политико-философском синтезе.

Нуждается в тщательном рассмотрении и другая проблема — отношение философских взглядов Чернышевского к просветительским идеям. Идею и революционное движение XVIII в., бесспорно, оказало большое воздействие на русского мыслителя. Его рационалистически-материалистическая философия несет на себе явную печать воззрений просветителей. Однако здесь, по нашему мнению, следует остерегаться чрезмерных обобщений и аналогий. Правильно понять философское мировоззрение Чернышевского можно только с учетом сложности и противоречивости процесса его формирования, который совершался в период перехода от эпохи Просвещения и Великой французской революции к эпохе краха буржуазной революционности и нарождения революционности новой, пролетарской. Франция приняла участие в этом процессе событиями революции 1848—1849 гг., в особенности июньским восстанием парижских рабочих, явившимся, по определению Маркса, «первой великой битвой между обоими классами, на которые распадается современное общество»¹³; Англия — движением чартистов; Германия — восстанием силезских ткачей. И везде среди тех, кто расстреливал рабочих и предавал интересы народа, были представители либеральной буржуазии. Подготовка и проведение крестьянской реформы в России продемонстрировали в более отсталых условиях тот же антидемократический характер либерализма, ту же необходимость самостоятельного движения народных масс для осуществления назревших преобразований, что и в странах Западной Европы.

Все эти события существенно раздвинули умственный кругозор Чернышевского. И хотя его стремлению постичь сущность зарождавшегося нового мира препятствовала

¹³ Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. 7. С. 29.

отсталость социально-экономических отношений тогдашней России, в своих трудах по экономике и политике он порой выходит за пределы просветительского понятия индивида, взятого в абстракции от его исторических связей и социальной принадлежности.

Итак, свое философское мировоззрение Чернышевский возводит к антропологическому материализму Фейербаха. До Фейербаха крупнейшим представителем философии являлся для русского мыслителя Спиноза. Ни Локк, ни Юм, ни Кант, ни Гольбах, ни Фихте, ни Гегель не обладали, по мнению Чернышевского, такой силой мысли, как Спиноза. «И до появления Фейербаха надобно было учиться понимать вещи у Спинозы, — устарелого ли, или нет, например в начале нынешнего века, но все равно: единственного надежного учителя» (15, 23). Столь высокую оценку Спинозе Чернышевский дает потому, что видит в нем философа, предвосхитившего антропологический принцип.

Характерно, что французская ветвь материализма XVIII в. оценивается Чернышевским более или менее сдержанно. Конечно, он полностью на стороне просветителей в их борьбе против идеализма и религии, он разделяет их веру в мощь человеческого разума. Находясь в Петропавловской крепости, он находит способ рекомендовать читателям произведения Д. Дидро, в частности «Письмо о Глухих и Немых на пользу слышащим и говорящим». Критикуя в конце 70-х годов Канта, Чернышевский решительно принимает сторону Дидро и его друзей (см. 15, 198). И все же творчество французских материалистов для него воплощает именно буржуазный принцип, хотя и сформулированный в эпоху, когда он был прогрессивным. «Это были времена, — писал он в работе «Капитал и труд» (1860), — когда Вольтер и Даламбер покровительствовали Жан-Жаку Руссо; когда откупщик Эльвесиус (Гельвеций. — *И. П.*) был амфитрионом всех прогрессивистов... То были времена, когда требования среднего сословия выводились из демократических принципов...» (7, 38). Материализм же Фейербаха, по мнению Чернышевского, воплощает демократический принцип, так сказать, по самому своему существу.

В социально-политическом смысле материализм является для Чернышевского знаменем партий, заинтересованных в изменении существующих порядков, в то время как идеализм выражает настроения и мысли тех сил, которые боятся общественных перемен. С рассуждения

о партийности всякой философии начинается знаменитая работа «Антропологический принцип в философии» (1860). Например, «Шеллинг — представитель партии, запуганной революцией, искавшей спокойствия в средневековых учреждениях, желавшей восстановить феодальное государство, разрушенное в Германии Наполеоном I... Гегель — умеренный либерал, чрезвычайно консервативный в своих выводах, но принимающий для борьбы против крайней реакции революционные принципы в надежде не допустить до развития революционный дух, служащий ему орудием к ниспровержению слишком ветхой старины» (7, 223).

Отвергая идеализм как врага научной истины, как философию консервативных сил, Чернышевский тем не менее умел ценить научно значимое содержание немецкой идеалистической философии от Канта до Гегеля, умел видеть противоречие, в котором находилось это содержание с формой его выражения. «...Выводы, делаемые ими (немецкими философами-идеалистами.— *И. П.*) из полагаемых ими принципов, совершенно не соответствуют принципам,— констатирует он вслед за Герценом в «Очерках гоголевского периода...». — Общие идеи у них глубоки, плодотворны, величественны, выводы мелки и отчасти даже пошловаты» (3, 210). Причем речь идет главным образом не о консервативных политических выводах Гегеля — их Чернышевский как социалист и революционный демократ отвергал без всякого колебания, — а о противоречии «принципов» воззрений на мир и «фальшивого содержания, приплетенного к ним», т. е. идеалистической системы взглядов.

Какие же «принципы», или «общие цели», гегелевской философии имел в виду Чернышевский?

Прежде всего принцип единства законов природы — стремление «видеть во всей природе существенное тождество законов, только принимающих различные формы в различных царствах природы» (16, 174). Далее, принцип признания истины в качестве «верховой цели мышления» (3, 207) и отрицания «субъективного мышления». Наконец, философия обязана Гегелю принципом конкретности истины («...каждый предмет, каждое явление имеет свое собственное значение, и судить о нем должно по соображению той обстановки, среди которой оно существует...» — там же). Правда, все эти принципы носят не только философский характер, считает Чернышевский. Современным естествознанием они доказываются «по-

средством самого точного анализа фактов...» (7, 254). Но исторически именно немецкая идеалистическая философия, прежде всего Гегель, позволила науке обнять мир «сетью систематического единства», увидеть «в каждой сфере жизни тождество законов природы и истории с своим собственным законом диалектического развития...» (3, 208).

Развитие немецкой философии, по мнению Чернышевского, завершилось творчеством Фейербаха. Философия тогда «сбросила свою прежнюю схоластическую форму метафизической трансцендентальности и, признав тождество своих результатов с учением естественных наук, слилась с общей теорией обществоведения и антропологии» (3, 179). Прежде всего благодаря Фейербаху материализм получил содержание, соответствующее требованиям наук, и стал основываться, подобно естествознанию, на строгом анализе фактов.

Фейербах, как известно, не понял гегелевской диалектики. Не смог верно оценить ее и русский мыслитель. Несмотря на то что он верно схватывал общий характер философского учения о развитии (ср.: философия обязана Шеллингу и Гегелю «раскрытием общих форм, по которым движется процесс развития» — 5, 363) и оставил блестящие образцы диалектики при анализе конкретных исторических ситуаций, диалектика как наука о мышлении, как теория познания и логика в общем и целом находилась вне сферы его теоретических интересов. Сущность диалектического метода мышления заключалась для него в том, что «мыслитель не должен успокаиваться ни на каком положительном выводе, а должен искать, нет ли в предмете, о котором он мыслит, качеств и сил, противоположных тому, что представляется этим предметом на первый взгляд; таким образом, мыслитель был принужден обозревать предмет со всех сторон, и истина являлась ему не иначе, как следствием борьбы всевозможных противоположных мнений» (3, 207). И сразу характерное пояснение: «Диалектический метод мышления» был выдвинут Гегелем, по мнению Чернышевского, «как необходимое... средство против поползновений уклониться от истины в угождение личным желаниям и предрассудкам» (там же).

Школа Гегеля, таким образом, не прошла для Чернышевского даром, обогатив его высокой по тому времени культурой мышления. Однако следует помнить, что и Фейербах прошел ту же самую школу.

Оба мыслителя оказались не в состоянии соединить диалектику (и логику) с материалистической теорией познания, применить диалектический метод к анализу философии, истории, естествознания. Поэтому понятие диалектики раскрывается у них бедно, неполно, односторонне. «Объяснить действительность, — пишет Чернышевский, — стало существенною обязанностью философского мышления. Отсюда явилось чрезвычайное внимание к действительности, над которою прежде не задумывались, без всякой церемонии искажая ее в угодность собственным односторонним преубеждениям» (3, 207—208).

Преодолеть горизонт философии Фейербаха означало преодолеть антропологический подход к действительности, что реально совпадало с открытием материалистического понимания истории. Конечно, Чернышевский делает шаг в этом направлении. Как ученый-экономист он прекрасно осознавал односторонность критики утопическими социалистами Сен-Симоном и Фурье результатов промышленной революции в Европе. Но чтобы сделать решающий шаг в философии, необходимо было постичь диалектику истории, открыть законы развития общества. Коль скоро Чернышевскому такая диалектика осталась чуждой, многие понятия социальной науки — буржуазия, пролетариат («работники»), противоположность интересов труда и капитала и т. п. — не приобрели у него нового философского смысла и потому не стали фактором обновления его мировоззрения. Эти понятия еще не вступали в противоречие с имеющимися у мыслителя старыми представлениями о сущности человека. Основанием для перестройки образа жизни людей, их общественных отношений и морали выступало для Чернышевского внеисторическое понятие «природа человека», требование перехода к «естественному» (в духе «натуры человека») порядку вещей и просвещение людей относительно их реальных интересов.

Однако, как мы увидим ниже, даже оставаясь в пределах антропологизма, Чернышевский-мыслитель пошел в понимании исторических событий своей эпохи гораздо дальше Фейербаха. Революция 1848—1849 гг. не прошла для него бесследно в отличие от Фейербаха. Он разглядел реальный смысл происходившего в европейском обществе, верно оценил первые шаги пролетариата на политической арене. Не расходясь с Фейербахом в вопросе о существовании философского мирозерцания, в понимании истории Чернышевский оказался выше немецкого мыслителя.

Целью Чернышевского как просветителя — сторонника антропологизма был человек, его благо, его счастье. Причем в его философии человеческое счастье оказывается тоже связанным с природой. Потеснить природу, ограничить ее права означало для Чернышевского дискредитировать ее как основание для выдвижения практических вопросов, порожденных материальной стороной человеческой жизни. Понимание природы для него есть путь к пониманию «природы человека» и справедливому устройству общества. Люди передовые, заботящиеся об истине и благе народа, по мнению философа, должны обратиться к изучению природы и стать на почву естествознания против религии.

В. И. Ленин как-то назвал материализм Фейербаха атеистическим материализмом. В еще большей степени это определение можно отнести к материализму Чернышевского с его пафосом отрицания всех и всяких внешних науке авторитетов. Великие открытия естествознания XIX в. были использованы русским мыслителем прежде всего для опровержения религиозно-идеалистических взглядов.

Природа, по Чернышевскому, является единым самодостаточным целым. Все в ней определено законами, совокупностью переходящих друг в друга различных движений, цепью причин и действий и т. п.; различные свойства материи производят все, что происходит. Каждое явление природы существует не изолированно от целого, а лишь в связи с ним и в зависимости от него. Из единства природы проистекает единство всего существующего. Так, история общества имеет своим основанием и предисловием историю природы.

В «Антропологическом принципе в философии» (1860), например, Чернышевский вслед за Герценом подчеркивает значение химии для естественнонаучного обоснования материализма. «Химия, — утверждает он, — составляет едва ли не лучшую славу нашего века» (7, 248). В свое время открытия Коперника произвели перемену в образе мысли о предметах, по-видимому очень далеких от астрономии. «Точно такую же перемену и точно в том же направлении, только в гораздо обширнейшем размере, производят ныне химические и физиологические открытия: от них изменяется образ мыслей о предметах, по-видимому, очень далеких от химии» (7, 252). Огромное значение химии для общего воззрения на мир Чернышевский усматривал в ее стремлении (и умении) находить генетическую связь между противоположными на первый взгляд

явлениями природы. Там, где «логическое расстояние» от одного качества до другого «безмерно велико», где, точнее говоря, нет «никакого, близкого или далекого, логического расстояния», так как нет логического отношения вообще, там химия открывает связь не по внешним формам, не по явлениям, которые решительно несходны, а «по способу происхождения разнородных явлений из одного и того же элемента при напряжении или ослаблении энергичности в его действии» (7, 242).

Понимание химического процесса в качестве основной формы существования материи давало Чернышевскому серьезные преимущества в борьбе с теологией и идеализмом: с явления жизни срывалась завеса загадочности и таинственности. Однако следует отметить, что универсализация химического процесса приводит Чернышевского к ряду упрощений метафизического характера. Он еще не учитывает, что условия, в которых протекает химический процесс, лежат в общем и целом вне границ химии как таковой. Жизнь есть, разумеется, результат химических процессов, «многосложная химическая комбинация...» (7, 268). Вместе с тем, как отмечал Ф. Энгельс в «Диалектике природы», «когда химия порождает белок, химический процесс выходит за свои собственные рамки... Он вступает в некоторую более богатую содержанием область — область органической жизни»¹⁴. Эту диалектику перехода от одной формы движения материи к другой далеко не всегда умеет ухватить Чернышевский. К тому же количественная трактовка различий, как правило, подмечает у него понимание диалектической связи между количеством и качеством. По его мнению, например, дерево отличается от какой-нибудь неорганической кислоты собственно тем, что кислота — комбинация немногосложная, а дерево — соединение большого числа многосложных комбинаций. «Это как будто разница между 2 и 200, — разница количественная, не больше» (7, 245).

Как желанное естественнонаучное доказательство идеи единства (и развития) в органическом мире Чернышевский воспринял теорию Ч. Дарвина. Мыслитель высоко оценил заслуги английского ученого. В одной из последних своих статей, «Происхождение теории благотворности борьбы за жизнь», он называет Дарвина «первоклассным натуралистом», «преобразователем наук об органических существах». Основная заслуга его, по Чернышевскому,

¹⁴ Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. 20. С. 571.

состоит в доказательстве «генеалогического родства» между видами растений и животных. «... Кто из натуралистов, державшихся учения о неизменности видов,— утверждал Чернышевский,— перешел от него к учению о генеалогическом родстве их, тот перешел под влиянием книги *О происхождении видов...*» (10, 756). Чернышевский, однако, решительно выступил против теории естественного отбора как главного фактора прогресса в органическом мире. Чтобы понять его позицию, следует учитывать, что мыслитель дает оценку теории Дарвина в 80-х годах, когда дарвинизм, несмотря на упорное сопротивление его врагов, уже завоевал прочные позиции в передовой европейской и русской науке. В это время одной из форм борьбы с дарвинизмом стало его опошление, в частности распространение на общество. Этим, по-видимому, объясняется неприятие Чернышевским положения о борьбе за существование. Узко поняв данный принцип, он ошибочно объявляет его мальтузианством и отбрасывает само понятие естественного отбора.

Вот почему мыслитель не совсем справедливо оценивает книгу Дарвина «О происхождении видов», которая, по его мнению, совершила «запоздавший переворот». Мысли о генетической связи в живой природе, указывает Чернышевский, существовали издавна. Но «пока физиология оставалась очень мало разработана, они были неопределенны и фантастичны. С развитием физиологических знаний они освобождались от этих недостатков и, наконец, получили научную обработку в гениальном труде Ламарка «Зоологическая философия» (*Philosophie zoologique*), изданном в 1809 году» (10, 744). Таким образом, уже в эпоху Ламарка, считает Чернышевский, естествознание располагало неопровержимыми истинами, доказывающими факт развития в органическом мире.

Действительно, теория неизменности видов изжила себя гораздо раньше 1859 г., когда вышла в свет работа Дарвина «О происхождении видов». Однако, подчеркивая заслуги предшественников Дарвина, особенно Ламарка, и критикуя Дарвина за ограниченность теоретического кругозора («работает над происхождением объяснения изменений форм организмов, не догадываясь, что не мешало бы ему справиться о мнениях прежних трансформистов» — 10, 766), Чернышевский упускает из виду, что дарвинизм был не учением о развитии органического мира вообще, но теорией биологического процесса. Дарвин ставил задачу не просто подтвердить реальность истори-

ческого процесса образования организмов; его теория развития была призвана объяснить, во-первых, факт целесообразности в живой природе и, во-вторых, отсутствие переходных форм между современными видами. Ламарк, которого так восхваляет Чернышевский, оказался не в состоянии дать удовлетворительное объяснение этим двум кардинальным фактам, а теория Дарвина в общем и целом объяснила их.

Особое место в атеистическом воззрении Чернышевского и других русских революционных демократов занимала борьба с признанием так называемой «свободной воли». Сейчас читателю трудно понять пафос Чернышевского, посвящавшего целые разделы своих работ доказательству вещей, в общем-то простых и само собой разумеющихся для современного человека. Но такая очевидность является результатом исторического развития мысли, и утверждение, например, детерминистического объяснения психики обязано отчасти страстной атеистической проповеди Чернышевского и его соратников.

Зависит ли от нашей воли, с какой ноги мы встаем с постели? Нет, не зависит, доказывает Чернышевский. На самом деле «факты и впечатления» определяют, на какую ногу встанет человек. Если нет никаких особых обстоятельств, он встает на ту ногу, на которую ему удобнее встать сообразно положению его тела в постели. Если появятся особые обстоятельства, «превосходящие своею силою это физиологическое удобство» (10, 260), то они и определяют результат. Например, у человека появилась мысль встать не с правой, а с левой ноги, он делает это. Но тут, замечает Чернышевский, произошла простая замена одной причины — физиологического удобства другой — мыслью доказать свою независимость. И эта мысль не могла явиться без причины. Она навеяна или словами собеседника, или воспоминанием о прежнем споре, или чем-либо другим. «Психология говорит в этом случае то же самое, что говорит в подобных случаях физика или химия: если произошло известное явление, то надобно искать ему причины, а не удовлетворяться пустым ответом: оно произошло само собою, без всякой особенной причины — «я так сделал, потому что так захотел»» (7, 261).

Ни в какой теологии нет надобности при объяснении психических процессов. Физиология и медицина, по Чернышевскому, рассматривают человеческий организм как многосложную химическую комбинацию, находящуюся в многосложном химическом процессе, называемом жиз-

нию. Физиология разделяет этот процесс на несколько «частей». Одна из таких «частей» — ощущение. Чернышевский подчеркивает, однако, что обособление процессов дыхания, питания, кровообращения, движения и ощущения имеет смысл лишь в теории, в действительности же они составляют одно неразрывное целое. Традиционному для теологии разделению природы человека на тело и душу он противопоставляет естественное единство всех процессов, совершающихся в человеческом организме, включая и процессы психические. Так же как ощущение принадлежит известным нервам, так и сознание представляет собой функцию головного мозга.

Чернышевский не развивает дальше это положение. Он лишь указывает, что различие физиологического и психического, материального и идеального не противоречит единству натуры человека, так как вообще «соединение совершенно разнородных качеств в одном предмете есть общий закон вещей» (7, 242). Отрицая принципиальную грань между материальным и идеальным, Чернышевский умеет тем не менее вовремя остановиться. Научное чутье подсказывает ему, что, следуя дальше в этом направлении, можно прийти к вульгарному материализму. К тому же его больше занимали следствия общего материалистического подхода к миру, идущие, так сказать, вверх, а не вниз, — исходя из представления о природном, физическом человеке, он стремился развить мир морали, политики «побуждений человека к действию».

* * *

Революционная крестьянская демократия в России выступила на историческую арену в тот период, когда Запад уже пережил эпоху революций и под влиянием роста пролетарского движения идеологи буржуазии начали отказываться от просветительских идеалов и поворачивать к реакции. В результате буржуазная философская мысль совершила поворот сначала к И. Канту, а затем и к Д. Юму и Дж. Беркли, что знаменовало начало широкого выступления против материализма.

Агностические и идеалистические тенденции еще более усилились в связи с возникновением в начале 80-х годов XIX в. в Германии новейшей формы позитивизма — так называемого эмпириокритицизма. Это реакционное движение буржуазной западноевропейской философии в России нашло благоприятную почву в творчестве писателей

типа В. Лесевича. Последний критиковал Канта «справа»: от кантианства он вполне последовательно перешел к махизму, т. е. юмизму и берклианству.

Народник Н. К. Михайловский, считавший себя продолжателем традиций «шестидесятничества», не шел так далеко. Но он плелся за кантианцем Ф. Ланге и философствующими в духе Канта натуралистами. Михайловский не считал даже нужным отмежеваться от «эмпириокритика» Лесевича, расценив «эмпириокритицизм» как одну из «своеобразных» форм новейшего научного (!) движения. В статье «Идеализм, идолопоклонство, реализм» (1873) Михайловский, как и Ланге, целиком отказался от теории отражения. Разделавшись с «вещью-в-себе» (а на деле с объективной реальностью), Михайловский готов был даже признать призраками «наши познания о природе», правда, призраками, сросшимися с человеком, обусловленными свойствами его природы.

Один из немногих русских мыслителей-демократов, Чернышевский пошел против общего течения. В своих письмах к сыновьям в 70-е годы он высмеивал новых кумиров в философии — О. Конта, Г. Спенсера, Дж. С. Милля, называя их «нынешней знаменитой мелюзгой» (15, 23).

Чернышевский не отрицал общей материалистической направленности философии Конта. Но, как и Белинский в 40-х годах, он едко высмеял претензию Конта на создание всеобъемлющей научной философской системы. Вместе с тем в подходе Чернышевского к контовскому учению появляется и новый момент — мыслитель указывает на связь гносеологии позитивизма с агностицизмом («а, в сущности, это какой-то запоздалый выродок «Критики чистого разума» Канта» — 14, 651). Такая оценка отражает внутреннюю эволюцию позитивизма, разработку Миллем и Спенсером идеалистической гносеологии. Не случайно спенсеровскую гносеологию Чернышевский называет пустословием.

Опровержение материализма со стороны позитивизма сводилось прежде всего к кантианской и юмистской критике естественных наук. Первым эту критику начал Конт своим разделением в духе Канта знания на «метафизическое» и «научное». Однако Конт не дал такому делению гносеологического обоснования. Поэтому его последователи Э. Литтре во Франции и Г. И. Вырубов в России ратовали лишь за запрещение преступать границу «науки» и вторгаться в область «метафизики». Напротив, позити-

висты-эмпириокритики А. Риль, Э. Лаас, Э. Мах, Р. Авенариус, Й. Петцольд начинают уже с обоснования неокантианства и юмизма как гносеологической основы естествознания. Нет философии помимо науки, провозглашал Риль. Однако это означало, что наука, и естествознание в особенности, должна отказаться от «метафизической» веры в существование объективной реальности. «Опыт» является общим основанием науки и философии, доказывал Авенариус и в то же время по-юмистски разделялся с «наивным» (материалистическим) пониманием «опыта».

Чернышевский имел в виду именно эту черту неокантианства и юмизма (которые именовал иллюзионизмом), когда писал: «Он (иллюзионизм.— *И. П.*) очень уважает истины естествознания... Потому-то все естественные науки и подтверждают его выводы. Физика, химия, зоология, физиология, в признательность за его уважение к их истинам, свидетельствует ему о себе, что они не знают изучаемых ими предметов, знают лишь наши представления о действительности, не могущие быть похожими на действительность,— что они изучают не действительность, а совершенно несообразные с нею галлюцинации нашего мышления» (10, 730).

Во всех работах этих лет Чернышевский настойчиво проводит мысль о враждебности кантианства и юмизма естествознанию. Он смеется над натуралистами, щеголяющими «перед публикою в шутовском наряде, которым наградили их за их невежество Беркли, Гьюм и Кант — мыслители, отрицавшие естествознание» (15, 175). Уже Фихте, доказывал Чернышевский, «разбил» Канта и показал, что логическим выводом из его гносеологии является субъективный идеализм. Фихте в отличие от Канта открыто встал на ту точку зрения, на которую «лишь для фокусничества становился временами Кант». Какая же философия получилась в результате этого? «Честная; логичная, но — совершенно сумасбродная» (там же). Чернышевский сравнивает естествоиспытателей-кантианцев с людьми, стремящимися подрубить сук, на котором сидят. Видя «помрачение умов натуралистов от Канта», Чернышевский готов был взяться за «изложение системы Канта», чтобы показать вздорность мнения натуралистов, считающих кантианство «своей» философией, «философией, выведенной из естествознания» (см. там же).

В работе «Характер человеческого знания» Чернышевский разбирает основной довод естествоиспытателей-

агностиков: мы знаем только наши представления о предметах, а самих предметов не знаем. Он справедливо видит в этом шаг к идеализму, поскольку естествоиспытатели заранее исходят из принципиального противопоставления ощущений и предмета и ставят тем самым под сомнение объективную реальность, данную нам в ощущении. «Говорить, что мы имеем лишь знание наших представлений о предметах, а прямого знания самих предметов у нас нет, значит отрицать нашу реальную жизнь, отрицать существование нашего организма» (10, 724). В этом смысле, отмечал Чернышевский, и агностицизм и откровенный идеализм одинаково выступают против материализма, различие тут в форме выражения, а не в принципе. И мыслитель был глубоко прав, когда писал об естествоиспытателе-агностике: «Он не подозревает, что если философствовать с его точки зрения, то логика велит принять выводы тех философов, о которых отзывается он так сурово» (10, 721).

Свое умение проводить материалистическую точку зрения против агностицизма Чернышевский великолепно продемонстрировал при анализе проблемы относительности человеческого знания. «Люди знают очень мало сравнительно с тем, сколько хотелось бы и полезно было бы им знать; в их скудном знании очень много неточности; к нему примешано много недостоверного и, по всей вероятности, к нему еще остается примешано очень много ошибочных мнений. — Отчего это? — Оттого, что восприимчивость наших чувств имеет свои пределы, да и сила нашего ума не безгранична; то есть оттого, что мы, люди, существа ограниченные. Эту зависимость человеческих знаний от человеческой природы принято у натуралистов называть относительностью человеческого знания» (10, 722).

Как мы видим, Чернышевский нисколько не абсолютизировал наши знания. Исходя из принципов антропологического материализма, он отмечал, что знания имеют относительный характер, обусловленный прежде всего природой человека, строением его органов чувств и т. д. Это, однако, не привело Чернышевского к агностицизму и релятивизму. Философ считал, что в человеческих знаниях «всегда оставалась и теперь бесспорно остается примесь недостоверного и ошибочного» (10, 732). Поэтому человеку нужны осмотрительность и осторожность. Но в осмотрительности должен быть «разумный предел», за которым эта осмотрительность превращается в скептицизм. В составе наших знаний, писал он, «находится много, очень

много сведений недостоверных, очень много ошибочных суждений; но есть в их составе такие знания, достоверность которых для каждого образованного человека так непоколебима, что он не может подвергать их сомнению, не отрекаясь от разума» (10, 735).

По мнению Чернышевского, относительность человеческого знания вполне совместима с признанием объективной и абсолютной истины. Факт изменения знаний в ходе развития науки вовсе не свидетельствует об отсутствии абсолютной истины. Происходит «расширение» знания, но прежние сведения остаются верными. Так, например, посредством термометра мы узнали о том, при какой температуре закипает вода и при какой она замерзает. Однако прежние «неопределенные понятия» о воде остались «правдою». Новые знания видоизменили эту «правду» лишь в том смысле, что «дали ей определенность». Во всяком относительном знании есть момент абсолютной и объективной истины.

Правда, Чернышевский не умеет понять до конца диалектику абсолютной и относительной истины. Для него процесс достижения абсолютной истины — это прежде всего процесс увеличения, накопления, «расширения» знаний.

Особое значение для разоблачения «новейшей», позитивистской теории познания имела апелляция Чернышевского (вслед за Фейербахом) к практике. Еще в 50-е годы XIX в. русский просветитель писал: «Что подлежит спору в теории, начистоту решается практикой действительной жизни». В 70—80-е годы, стремясь дискредитировать в глазах естествоиспытателей философию «иллюзионизма», Чернышевский вновь обращается к вопросу о значении практики. Он показывает, что идеализм как точка зрения неприемлем ни в науке, ни в практической жизни. Сами идеалисты, замечает мыслитель, утверждают, что их воззрение имеет право на существование в философской гносеологии. Махисты и им подобные полагают тем самым, что практика не подлежит рассмотрению в учении о познании. Но ведь люди в своей жизненной практике руководствуются разумом, отвечал им Чернышевский. «А в делах науки разум разве теряет права, принадлежащие ему в делах жизни?» (10, 734) — спрашивает философ. Конечно, нет. Точка зрения практики должна быть и точкой зрения философии, гносеологии. Идеализм находится в непримиримом противоречии с практикой.

Свою критику агностицизма и субъективизма Чернышевский подытоживает в предисловии к 3-му изданию работы «Эстетические отношения искусства к действительности» (1888). Он пишет: «...большинство натуралистов, пытающихся строить широкие теории законов деятельности человеческой мысли, повторяют метафизическую теорию Канта о субъективности нашего знания, толкуют со слов Канта, что формы нашего чувственного восприятия не имеют сходства с формами действительного существования предметов, что поэтому предметы, действительно существующие, и действительные качества их, действительные отношения их между собою не познаваемы для нас, и если бы были познаваемы, то не могли бы быть предметом нашего мышления, влагающего весь материал знаний в формы, совершенно различные от форм действительного существования, что и самые законы мышления имеют лишь субъективное значение, что в действительности нет ничего такого, что представляется нам связью причины с действием, потому что нет ни предыдущего, ни последующего, нет ни целого, ни частей, и так далее, и так далее. Когда натуралисты перестанут говорить этот и тому подобный метафизический вздор, они сделаются способны выработать и, вероятно, выработают, на основании естествознания, систему понятий более точных и полных, чем те, которые изложены Фейербахом» (2, 125).

Как видим, Чернышевский был не просто последователем Фейербаха. «Чернышевский, — указывал В. И. Ленин в «Материализме и эмпириокритицизме», — единственный действительно великий русский писатель, который сумел с 50-х годов вплоть до 88-го года остаться на уровне цельного философского материализма и отбросить жалкий вздор неокантианцев, позитивистов, махистов и прочих путаников»¹⁵. В статье «Народники о Н. К. Михайловском» В. И. Ленин еще раз подчеркнул, что «Чернышевский был материалистом и смеялся до конца дней своих... над уступочками идеализму и мистике, которые делали модные «позитивисты» (кантианцы, махисты и т. п.)»¹⁶.

* * *

Обращаясь к *взглядам Чернышевского на историю*, заметим, что и их истолкование вызывало и вызывает споры ученых. Вспомним, например, дискуссию

¹⁵ Ленин В. И. Полн. собр. соч. Т. 18. С. 384.

¹⁶ Ленин В. И. Полн. собр. соч. Т. 24. С. 335.

Г. В. Плеханова и Ю. М. Стеклова. Плеханов доказывал, что, «вообще говоря, будучи последовательным материалистом в своем понимании природы, Чернышевский оставался идеалистом в своем взгляде на историю»¹⁷. Материалистический анализ ряда исторических событий Плеханов склонен был считать исключением из правила. Ю. М. Стеклов же, критикуя ряд неточностей и слабостей в позиции Плеханова, пришел к выводу, что «Чернышевский применял материалистический метод и к истолкованию истории», хотя и «не успел создать насквозь продуманную систему...»¹⁸.

Сегодня, конечно, очевидно, что и та и другая точка зрения односторонни, что оба исследователя абсолютизировали определенные черты воззрения Чернышевского на общество. Постараемся, однако, правильно понять «социологический реализм» Чернышевского¹⁹, выявить гносеологические корни противоречивости взглядов русского социалиста на историю общества.

Существенный недостаток позиции и Плеханова и Стеклова (свойственный в определенной мере и позднейшим исследователям творчества Чернышевского) заключается, на наш взгляд, в их стремлении оценивать концепцию Чернышевского с точки зрения ее соответствия концепции исторического материализма в целом. Однако социологическую доктрину Чернышевского нельзя просто сопоставлять с историческим материализмом. Взгляды Чернышевского на общество, несомненно, означали шаг в направлении материалистического понимания истории. Этот шаг не случайно был сделан мыслителем-социалистом, проницательным критиком буржуазного строя. Материалистическое понимание истории, как отмечал еще А. Лабриола, впервые зародилось в лоне социалистического учения как теоретическое объяснение происхождения социализма и обоснование необходимости и неизбежности его будущего торжества²⁰. Вместе с тем теория Чернышевского имела своим движущим мотивом не исследование, как полагают некоторые авторы, историко-экономического процесса, необходимым продуктом которого являлись буржуазия и пролетариат с их взаимной борьбой, и не поиск средств разрешения противоречий

¹⁷ Плеханов Г. В. Соч. М.; Л., 1925. С. 380.

¹⁸ Стеклов Ю. М. Указ. соч. Т. 1. С. 365.

¹⁹ См.: Ленин В. И. Полн. собр. соч. Т. 2. С. 539.

²⁰ См.: Лабриола А. Очерки материалистического понимания истории. М., 1960. С. 142.

в экономике буржуазного общества, а нечто иное. Свою главную теоретическую задачу ученый видел в преодолении «односторонности» воззрения на человека и общество, связанной с недооценкой роли «материальных условий быта», в доказательстве того, что необходимо «присоединение к политическому и умственному элементам народной жизни натурального элемента» (3, 364), наконец, в выяснении (на основе критики буржуазной политической экономии) условий «нормального экономического порядка», т. е. социалистического устройства жизни. Что же касается путей и средств преобразования общества, то они, по Чернышевскому, целиком зависят от обстоятельств; последние же «имеют характер временный и местный, разнородный и переменчивый» (7, 14). Решение главной теоретической задачи мыслитель искал в сфере науки об обществе, включающей в себя «нравственные науки», политэкономии и историю. Этот синтез общественных наук у Чернышевского мы в дальнейшем и будем именовать его социологической концепцией.

Как отмечалось выше, в своих философских воззрениях Чернышевский во многом следует антропологическому материализму Фейербаха. Социологические идеи русского мыслителя также, на наш взгляд, необходимо анализировать с учетом его своеобразной трактовки «антропологического принципа». Фейербах как основатель антропологического подхода придал ему значение философской программы. В системе философии Фейербаха человек, познав самого себя, становится мерилom всех жизненных отношений, которым он дает оценку сообразно своей сущности. Если французские материалисты XVIII в. противопоставили христианскому богу природу как абсолюта, то Фейербах делает шаг к преодолению противоположности человека и природы. А это требовало приведения «нравственных» (т. е. общественных) наук и самостоятельности людей в соответствие с правильно понятой «природой человека».

Философия Фейербаха, как известно, стала исходным пунктом мировоззренческой эволюции для многих великих мыслителей. Даже К. Маркс и Ф. Энгельс пережили в начале 40-х годов XIX в. ее освободительное влияние. Что же касается Чернышевского, то главное, что он вынес из знакомства с философией Фейербаха, — это представление о «природе» человека как об универсальной точке отсчета «нравственных наук».

Чтобы понять роль антропологизма в формировании социологических идей Чернышевского, важно также знать, как представлял себе Чернышевский задачу науки вообще. «Характер науки есть всеобщность,— провозглашает Чернышевский,— она должна иметь истину... для всякого данного случая» (7, 16), независимо от того, какая это наука — общественная или естественная, политическая экономия или химия, социология или ботаника.

Идеал науки для Чернышевского — это по преимуществу естествознание. Недавно, пишет он в «Антропологическом принципе...», понятие науки стало, хотя бы отчасти, применимо и к «нравственным наукам», к человеку, и это исключительно потому, что их стали разрабатывать «при помощи точных приемов, подобных тем, по которым разрабатываются естественные науки» (7, 258). Антропология, согласно Чернышевскому,— пример истинной науки, ибо представляет собой последовательное приложение естественнонаучного метода к изучению человека. Цель антропологии — познание «натуры человека» и (как для всякой науки) нахождение всеобщих, абстрактных отношений и понятий.

Моделируя «нравственные науки» по образцу естествознания, выдвигая задачу объективно-натуралистического описания общества, Чернышевский не забывает тем не менее о единстве «нравственных наук» и социально-философского знания. «Нравственные науки» призваны, по его мнению, дать ответ на вопрос, что хорошо и что плохо для человека, что способствует благу людей и что ему противоречит, т. е. познавать действительность не просто саму по себе, но с позиции интересов человека, его «натуры». Другими словами, подход Чернышевского к действительности носит нормативный характер. В системе антропологического мирозерцания, надеется Чернышевский, этой «норме» впервые придается объективное значение, поскольку она совпадает с «натурой человека вообще», устанавливаемой точным естественнонаучным путем.

Такой подход к человеку и действительности таил в себе двоякого рода тенденцию. Первая заключалась в освобождении философского воззрения на природу и человека от теологических постулатов. Внутренний мир человека с точки зрения антропологической философии не признается чем-то самостоятельным, наделенным своими собственными, своеобразными законами. Напротив, он целиком и полностью включается в сферу природы. Все

выработанные естествознанием принципы исследования распространяются и на человека как результат признания единства его «натуры». Именно антропологический принцип, по Чернышевскому, позволяет смотреть на человека «как на одно существо, имеющее только одну натуру, чтобы не разрезывать человеческую жизнь на разные половины, принадлежащие разным натурам, чтобы рассматривать каждую сторону деятельности человека как деятельность или всего его организма, от головы до ног включительно, или если она оказывается специальным отправлением какого-нибудь особенного органа в человеческом организме, то рассматривать этот орган в его натуральной связи со всем организмом» (7, 293).

Вторая тенденция связана с ориентацией «антропологического принципа» на человека, на общество. «...Как ни высок интерес, возбуждаемый астрономиею, как ни привлекательны естественные науки, — писал Чернышевский, — важнейшею, коренною наукою остается и останется навсегда наука о человеке» (2, 616). Природа у него, если можно так выразиться, «работает на человека», «человеческое» в «нравственных науках» является точкой отсчета. Преодоление человеческим сознанием всего того, что кажется сверхъестественным, сверхчеловеческим, понимание единства природы и человека означало для Чернышевского не растворение человека в природе, а, напротив, возвеличение его материальных интересов, его «практической жизни», признание самостоятельного творчества человеком нового мира, покоящегося на подлинно человеческих основаниях.

Вслед за французскими материалистами и Фейербахом Чернышевский признает индивидуума первичным элементом, несущим в себе все свойства «человеческого», своего рода кирпичиком, атомом социальной структуры. Общество является не чем иным, как множеством отдельных людей, взаимодействующих друг с другом; законы его существования производны от законов частной жизни индивидуумов. И коль скоро эта точка зрения доводилась просветителями до логического завершения, то оказывалось, что законы общественного целого и «природа человека» как такового, социальная необходимость и потребность самовыражения индивидуума — это одно и то же, по крайней мере в принципе²¹. Как и его предшественники,

²¹ См.: Дробницкий О. Г. Понятие морали: Историко-критический очерк. М., 1974. С. 46.

Чернышевский считает стремление к приятному, к удовольствию коренным свойством человеческой «натуры», проявляющимся так или иначе во всех поступках индивидуума. Человек руководствуется в своей обыденной жизни выгодой, «расчетом пользы», отсюда и возникает воля к тому или иному действию. Комплекс постоянных мотивов и стремлений, целей и ценностей, определяющих жизнедеятельность абстрактного индивидуума, образует то, что называется «натурой человека». Никакой иной натуры, кроме той, которая обусловлена биопсихической конституцией, у людей нет и быть не может.

Чернышевский уверен, что в системе антропологического мирозерцания принципы науки о человеке имеют строго объективный характер, поскольку являются выражением сущностной природы человека. Основная задача философа с этой точки зрения состоит в просвещении людей относительно их пользы, блага, чтобы человек руководствовался своими подлинными интересами и подавлял в себе «извращенные», «ложные» стремления.

По-видимому, перед нами обычный просветительский (в духе XVIII в.) ход мысли: ответив на вопрос, что выгодно и что невыгодно самому индивидууму, просветитель обнаруживает объективный механизм, который заставляет человека, не обладающего свободой воли, быть добродетельным. К последнему он понуждается своим личным интересом. И если тем не менее он действует вопреки своей пользе, то виной тому внешние обстоятельства — законы государства, предрассудки, воспитание и т. п. Стоит устранить причины общественных пороков и создать соответствующие условия, и люди будут естественно побуждаться к социально полезному и нравственному поведению.

Действительно, такой ход мысли содержится в антропологическом мирозерцании Чернышевского. В пределах антропологии для него не существует вопроса об естественной исторической необходимости преобразования мира. Он исходит из того, что «необходимое» в науке (т. е. соответствующее «натуре человека») рано или поздно осуществится в действительности. Почему? Да потому, что истина соответствует интересам и пользе людей: «...то будет принято людьми, как бы ни ошибались они от принятия того, что налагается на них необходимостью вещей» (7, 295). Вот почему для утверждения в жизни «истинных» интересов людей необходимо устранить путы и узы, наложенные невежеством, гнетом предрассудков, необхо-

димо научить людей правильному пользованию разумом. Не случайно знание для Чернышевского — «основная сила, которой подчинены и политика, и промышленность, и все остальное в человеческой жизни» (4, 6).

Однако, хотя Чернышевский и считает «природу человека» отправным пунктом философии, последняя не сводится у него исключительно к натуралистической антропологии. Историческое чутье помогало мыслителю раздвигать узкие рамки исходной абстракции: он дополняет антропологию «наукою о законах общественного материального благосостояния» (политической экономией). Решение практических проблем антропологической философии (что нужно человеку, к чему должно стремиться, какие препятствия стоят перед ним на этом пути и т. п.) связано у социалиста с пониманием новой исторической ситуации в Западной Европе и России.

Как мыслитель-материалист, Чернышевский осознает, что нельзя рекомендовать людям абстрактные нормы нравственности, благодаря которым они якобы смогут стать добродетельными, справедливыми, доброжелательными вне зависимости от условий их жизни. Даже самая совершенная педагогика, если она не соответствует логике действительности, рискует остаться добрым пожеланием, фантазией, бессильной перед необходимостью вещей. Действительность — это прежде всего человек, реальный, телесный, наделенный естественными силами и влечениями. Это также природа, которая его окружает и из которой он черпает все необходимое для поддержания своей жизни, и общественные условия. Чернышевский не сомневается в правильности исходного пункта своей философии. Однако старое воззрение на «жизнь отдельного человека» и соответственно «на жизнь рода человеческого» его уже не удовлетворяет. По мнению мыслителя, до сих пор чрезмерно большое значение придавалось «отвлеченной морали и односторонней психологии». (Заметим, что как раз Фейербах в своем учении о человеке злоупотреблял «отвлеченной моралью».) В жизни человека, в формировании его моральных установок, доказывает Чернышевский, чрезвычайно важную роль играет «материальный быт» («жилище, пища, средства добывания всех тех вещей и условий, которыми поддерживается существование, которыми доставляются житейские радости или скорби» — 4, 356). Это, как выражается Чернышевский, «натурный элемент» жизни, и он должен занять подобающее место в понимании действительности (см. 4, 357; 356).

Таким образом, «натура человека» фиксируется русским социалистом уже не только в биологических, но и в социальных категориях. Он признает, что «природа человека» — это не только то, что присуще индивидууму как таковому, но единство природных и социальных сил, без которого она не существует и не может существовать. Первоначальные границы антропологии раздвигаются: она призвана не только ответить на вопрос, что такое человек вообще, но и определить условия, которые бы обеспечивали присвоение индивидуумом его собственных жизненных сил.

Таким образом, основной мотив материализма Фейербаха — согласование мира с «природой человека» — зазвучал у Чернышевского по-новому. Теперь речь шла уже не о том, чтобы, совершив переворот в сознании, низвести небо на землю. Согласовать мир с понимаемой по-новому «человеческой натурой» значило обнаружить такие материальные условия, которые способствовали бы развитию личности каждого. Чернышевский убежден, что «по сущности своей природы человек есть существо стройное и согласное в своих частях», однако его «натура» искажается под влиянием «противных потребностям человека условий внешней природы...» (5, 607). Коренной источник неблагоприятного влияния — недостаточность средств к удовлетворению потребностей — носит экономический характер, а потому и «самые действительные средства» против него нужно искать в экономической же области. Перестроив современный «экономический быт» на началах, открытых социализмом, люди добьются соответствия действительности интересам индивидуумов. Таким образом, главный вопрос антропологии Чернышевского: «...не могут ли быть отношения между людьми устроены так, чтобы соответствовать потребностям человеческой природы» (9, 334) — вел непосредственно к критике буржуазной политической экономии и к логическому выводу из этой критики — социализму.

Правда, Чернышевский далеко не всегда рассматривал противоречие между «сущностью» человека и его существованием как коллизию внутри определенного социального организма, так же как не всегда он фиксировал объективные исторические условия и механизмы разрешения этого противоречия. Оставаясь в пределах антропологического мирозерцания, мыслитель рассматривает общество («материальные и нравственные условия человеческой жизни» — 3, 180) скорее как среду существования субъ-

екта («человека вообще»). Абстрактный субъект является для него первичным и исходным. О характере того или иного конкретного общества Чернышевский склонен судить не на основании объективного исторического процесса, а исходя из того, какие возможности данное общество предоставляет индивидууму для реализации изначальных стремлений человеческой «натуры». Тем не менее решающий теоретический шаг к пониманию того, как ведут себя действительные люди в действительных исторических условиях, был сделан.

Социологическая концепция Чернышевского появилась на свет в результате критического переосмысления классической политической экономии. Мысль Чернышевского движется в русле тех социалистических течений (Р. Оуэн, социалисты-рикардианцы), которые, как отмечал К. Маркс, «либо сами становятся на точку зрения буржуазной политической экономии, либо исходят в своей борьбе против нее из ее же собственной точки зрения»²².

Как социалист Чернышевский в своих взглядах исходит из того факта, что реальные условия освобождения масс в XIX в. уже не совпадают с условиями, в рамках которых буржуазия освобождала себя и другие классы. Было время, отмечает он в работе «Капитал и труд», когда народ, борющийся под руководством «среднего сословия» против общего врага — феодалов и не имевший никаких стремлений к самостоятельному историческому действию, давал основание идеологам буржуазии думать, что народу не нужно ничего, «кроме тех вещей, которые были нужны для буржуазии...» (7, 38). Но в XIX в., считает Чернышевский, положение изменилось. Интересы среднего сословия разошлись с интересами «простолюдинов» — в Англии они уже ведут себя «как две разные партии, требования которых различны», во Франции «открытая ненависть между простолюдниками и средним сословием... произвела в экономической теории коммунизм» (7, 39).

Поскольку теоретическим выражением системы буржуазной собственности являлась политическая экономия, научная критика капиталистического строя и обоснование социалистического учения совпадают для Чернышевского прежде всего с критикой политической экономии, с фиксацией противоречий, присущих ее определениям и понятиям. «Сущность социализма относится собственно к экономической жизни» (9, 828), — подчеркивает он в приме-

²² Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. 26. Ч. I. С. 347.

чании к переводу работы Дж. С. Милля, хотя и отдает себе отчет в том, что вместе с преобразованием собственности «не в одном экономическом быте должны произойти коренные перемены» (там же).

Чернышевский настаивает, таким образом, на идее об исторически преходящем характере буржуазного строя. Она пронизывает его примечания к «Основаниям политической экономии» Дж. С. Милля и «Очерки из политической экономии (по Миллю)» (1861). Нельзя абсолютизировать капиталистическую организацию общества, говорит русский мыслитель, выдавать ее за единственно возможную форму производства и присвоения материальных и духовных благ. В XIX в. экономические требования общества изменились. Теперь следование целям, к которым стремились классики и основатели политической экономии, означает переработку экономической теории под углом зрения интересов «простолюдинов», интересов, которые во многом «несовместны с выгодами среднего сословия». Среднее сословие испугалось новых требований: «...борясь против них в жизни, оно старается опровергнуть их в теории» (9, 36). Вот почему политическая экономия может продолжить свое развитие только как «теория трудящихся», только в последней научный поиск вполне совпадает с интересами прогрессивного развития общества.

Надо сказать, что включение политической экономии в науку об обществе давало русскому мыслителю серьезные преимущества. Выдвигая «расчет личной выгоды» в качестве одного «из главных руководителей человека», Чернышевский преодолевал границы старого, догегелевского, идеалистического мирозерцания, принимавшего выставляемые напоказ идеальные побудительные мотивы за конечные причины исторических событий. В своих исторических трудах (Предисловие к русскому переводу «Истории XVIII столетия» Ф. Х. Шлоссера, «Борьба партий во Франции при Людовике XVIII и Карле X», «Франция при Людовике-Наполеоне», «Июльская монархия», «Граф Кавур» и др.) он вскрывает подлинные пружины политических событий, показывая, насколько мало действия партий определяются их официальными лозунгами. Великие личности, равно как и партии, классы и массы, по его твердому убеждению, действуют в соответствии со своими интересами, среди которых главное место занимают материальные соображения и выгоды. Не понимать этого значит для него не понимать характера сил, которыми движется история. Другими словами, в политической

экономии «человеческое» перемещалось из отвлеченной психологической области в сферу реальных материальных интересов индивида. «Сфера человеческих побуждений к действию» (7, 283) приобретала благодаря этому своего рода прозрачность: на передний план выступали не теоретические, идеологические, а жизненные, экономические интересы людей.

Далее, политэкономия сделала ясной ограниченность взгляда, согласно которому развитию людей препятствуют либо предрассудки, либо природные условия. Препятствия человеческому прогрессу следует искать прежде всего в экономической жизни общества, в экономическом господстве людей над людьми, осуществляемом в разных исторических формах (рабовладение, крепостничество, капитализм). Экономической иерархии соответствует культурная. И тот факт, что большинство «простолудинов» остаются неразвитыми в нравственном и умственном отношении, объясняется их положением угнетенных и эксплуатируемых. Иными словами, относительный и односторонний характер общественного прогресса, согласно Чернышевскому, — следствие классово-структурной организации общества. Не стоит думать, что антропологический подход тем самым перечеркивается. Нет, и в политической экономии «человеческая точка зрения», по Чернышевскому, сохраняет свою силу. «С человеческой точки зрения весь продукт обязан своим возникновением труду, стало быть, весь он должен составлять принадлежность того самого организма, трудом которого создан» (9, 157). «Антропологический принцип», ставящий во главу угла интересы «человека вообще», выступает здесь в качестве альтернативы не критическому отношению буржуазных экономистов к прогрессу в капиталистическом обществе, абсолютизации этой исторически преходящей формы прогресса.

Наконец, благодаря политической экономии мыслитель получает представление о структуре человеческого общества (о его элементах, месте каждого элемента, их связи между собой). И хотя законов формирования и развития этой структуры при капитализме, а также характера перехода к новой формации Чернышевский еще не знает, важно, что источник движения общества переносится им в экономическую жизнь и признается независимым от субъективных намерений людей. Так, говоря о социалистическом будущем, предсказывая его на основании экономической науки, Чернышевский возвещает о событии, которое, по его убеждению, наступит в силу законо-

мерности, заключенной в ходе исторического развития. Необходимость «принципа товарищества» заключена для него уже «в самом развитии производительных процессов». Вот почему, по мнению Чернышевского, в XIX в. стоять в теории на уровне совершающихся преобразований в экономике и обществе — значит верить в конечное торжество «нового стремления к союзному производству и потреблению».

Признавая экономическую детерминацию общественного поведения людей, постулируя решающую роль в жизни человека материальных интересов, русский мыслитель делает шаг в направлении материалистического понимания истории и общества. Однако не следует преувеличивать этот шаг, а тем более преуменьшать коренное различие между историческим материализмом К. Маркса и рационалистически-экономической концепцией Чернышевского. Фиксируя безусловный факт «надстраивания» сознания людей над их бытием, мыслители в толковании этого факта идут существенно разными путями. Для К. Маркса принципиально важно то, что сознание «надстраивается» разными способами и в разных измерениях, которые сплошь и рядом не подпадают под рациональный контроль индивида. Тот или иной способ осознания с точки зрения философии марксизма должен быть понят, выведен как естественноисторический эффект действия данной социальной системы, без обращения к тому, как индивид сознает себя, чем он идеологически руководствуется, какие мотивы выступают для него на первый план. В социологической же теории Чернышевского, как и в классической политической экономии, сознательное намерение, обдуманная цель выступают рационально контролируемым выражением суммы обусловленных природой и обществом потребностей индивидуума, обобщенных наукой в представлении о человеке как «гомо экономикус». Отсюда — идея рациональной экономики («формула абсолюто наиболее выгоднейшего сочетания элементов производства» — 9, 465), рационально устроенного (согласно «натуре человека») общества и «расчет пользы» в качестве основного мотива человеческих действий.

Иными словами, марксизм как теория и социологические воззрения Чернышевского различаются не по степени только, а принципиально, по существу. Сделать решающий шаг — дополнить экономический детерминизм теорией исторического становления общества в процессе борьбы классов — Чернышевский так и не смог. Для этого

нужно было окончательно преодолеть просветительский рационализм и разработать диалектику как метод социального познания.

Как мыслитель, для которого проблема единства истории имела первостепенное значение, Чернышевский сталкивался со сложной для себя дилеммой: либо признать единство истории на базе признания универсальности капиталистической формы производства («интересов капитала»), либо, встав в оппозицию к идее буржуазного прогресса, попытаться сделать интересы трудящихся руководящей нитью и критерием значимости того или иного исторического явления. Русский социалист не отрицает исторической прогрессивности капитализма, одолевающего средневековье, «рутину и фальшивое самолюбие», быстро развивающего «производство страны». Тем не менее он отказывается признать «нормальность» этого строя, поскольку «в обществах гораздо богатейших» есть классы, находящиеся в «состоянии величайшей бедности» (см. 9, 35; 158; 418). Но, осознав антагонистический характер буржуазного строя, увидев в столкновении интересов эксплуататоров и эксплуатируемых самый глубокий мотив общественной борьбы, социалист Чернышевский оказывается не в состоянии разглядеть специфическую природу пролетариата как субъекта исторического процесса. Для него очевиден примат совокупных родовых интересов человечества над социально обособленными, частными (= буржуазными) интересами, но он еще не понимает, что интерес развития человеческого рода все более начинает совпадать с интересами пролетариата. В конечном счете носителями потребностей общественного прогресса в целом у Чернышевского являются «простолюдины», «низшие сословия», трудящиеся массы. Однако при всей ограниченности это признание перехода ведущей роли в истории от буржуазии, господствующих классов вообще, к «низшим сословиям», к угнетенным и эксплуатируемым, означало новый, более высокий уровень осмысления прогресса. Вместе с тем это порождало новые теоретические трудности и противоречия.

Чернышевский утверждает: главным источником невежества трудящихся масс являются экономические отношения эксплуататорского строя — «без благосостояния ни ум, ни нравственность не могут развиваться» (9, 484). Однако приобрести «благосостояние» и уничтожить существующий порядок «низший класс» сможет лишь тогда, когда приобретет «привычку мыслить», способность су-

дить о вещах «своим умом по своим интересам» (9, 422). Пытаясь разорвать этот порочный круг причин и следствий, Чернышевский обращается к просвещению и постулирует решающую роль научного знания в историческом процессе; в то же время он понимает, что «мысль сама по себе слишком слаба перед тяготением действительности, убеждение в огромном большинстве людей оказывается бессильно перед житейскими надобностями» (9, 483). Перед нами не внешнее противоречие, несогласованность отдельных высказываний, а антиномия мысли, имеющая объективную почву и потому неразрешимая в одной лишь сфере мысли.

Конечно, антропологическому рационалистическому мышлению свойственно искать решение исторической задачи в сфере сознательного действия. Не случайно Чернышевский придавал деятельности «новых людей», их революционному почину важное значение. Последователи Чернышевского, прежде всего революционные народники, довели эту сторону его мировоззрения до логического конца: они уже ставят будущее народа в зависимость от инициативы революционной интеллигенции. Однако сам Чернышевский считал, что начинается новая эпоха в истории — эпоха самостоятельного действия народных масс, о чем свидетельствовало революционное движение 1848—1849 гг. Впервые у «массы простонародья» или по крайней мере «у довольно больших отделов ее», констатирует Чернышевский, появились еще неясные, неосознанные тенденции «к коренному ниспровержению существующего экономического порядка, тенденции, казавшиеся сходными с коммунизмом» (9, 348). Чернышевский понимал, что в лице «работников» европейские народы делают первые шаги в борьбе за новое экономическое переустройство, что «главная масса еще и не принималась за дело, ее густые колонны еще только приближаются к полю исторической деятельности» (7, 666). Тем не менее сомневаться не приходится: массы в состоянии проявить громадную энергию, если они вступают в борьбу, которую считают своим собственным делом.

Вряд ли можно объяснить подход Чернышевского к историческому процессу только исходя из незрелости тогдашней общественной мысли — научного решения проблемы некапиталистического пути в то время не существовало просто-напросто в силу недостаточной объективной зрелости задачи. Кто в состоянии воздействовать извне на сияющую еще крестьянскую массу? Как превратить ее

скрытое недовольство нетерпимыми условиями жизни в открытое возмущение и борьбу? Существует ли возможность уберечь эту массу от нового, капиталистического рабства? Ответы на все эти вопросы предстояло еще выработать революционной мысли и освободительному движению России (да и других стран) в ходе длительного и трудного развития.

Сложнейшие дилеммы, возникавшие перед Чернышевским как политическим мыслителем, рождались не только на почве отсталости России. Ответа на насущные вопросы не давала и история передовых стран. Ломая абсолютизм, сметая феодальные порядки, революции XVII — XVIII вв. создавали не новое «разумное», «свободное» общественное устройство, а новый эксплуататорский строй. Правда, в середине XIX в. в революциях 1848—1849 гг. на арене истории появилась новая сила — пролетариат. Но ни в Англии, ни во Франции он еще не изменил обычного хода вещей. Для действительного целенаправленного вмешательства в исторические события требовалось как понимание глубинных факторов общественного прогресса, так и проверка разных форм революционной деятельности людей.

Опыт истории показал Чернышевскому, что в жизни каждого народа бывают «минуты энергических усилий, отважных решений», когда невежественные массы поднимаются на самоотверженную борьбу. И какими бы краткими по времени ни были эти революционные периоды, чем бы они ни заканчивались, именно им в первую очередь общество обязано своим движением вперед (см. 6, 11—12). Революционные периоды для русского мыслителя — это время исторического творчества масс, когда «делается девять десятых частей того, в чем состоит прогресс...» (6, 13). Вместе с тем мысль Чернышевского напряженно работает над разгадкой парадокса исторического прогресса, когда после кратковременного успеха масс наступает господство нового эксплуататорского класса. В особенности события итальянского Рисорджименто и победа партии Кавура²³ убедили его в том, что «люди

²³ Рисорджименто — национально-освободительное движение итальянского народа против иноземного господства, за объединение Италии (конец XVIII в. — 1861 г.). За лидерство в этом движении боролись демократически-республиканские (Дж. Мадзини, Дж. Гарibaldi и др.) и либеральные (К. Б. Кавур и др.) элементы. Либералы одержали верх, и Италия была объединена в форме конституционной монархии с сохранением значительных феодальных пережитков.

крайних мнений... работают не в свою пользу». Хотя общество продвигается вперед именно усилиями «решительных прогрессистов», которые ведут за собой народ, плоды победы, как правило, достаются «умеренной партии». Верный своему антропологическому принципу, Чернышевский усматривает причину этого явления в господстве «рутины» над жизнью большинства. Революция требует инициативы, огромного напряжения, к чему большинство не привыкло. В результате — усталость и апатия, которые благоприятствуют победе людей типа Кавура — людей «партии рутины». Наиболее радикальные деятели быстро утомляют массу и отвергаются ею как «не соответствующие неопределенности ее тенденций, вялости ее желаний...» (7, 671; 672).

Постепенно у Чернышевского вырастает сложная, хотя и не во всех пунктах завершенная, концепция циклического прогресса в новое время. Исторический результат, более или менее благоприятный для народа, достигается через ряд «кратких периодов усиленной работы» — революций. Каждая из них, хотя и существенно двигает общество вперед, еще не дает желаемого результата, сменяется застоєм, реакцией. Однако реакция в свою очередь невольно готовит приход нового тура революций, когда по закону «физической смены поколений» подрастут люди, «силы которых не изнурены участием в прежних событиях...» (6, 13; 15—16). И так до введения парламентских форм, дающих хотя бы ограниченную возможность для общественной самодеятельности, и в более отдаленном будущем — вплоть до утверждения форм социалистических.

Что же касается исторического прогресса в целом, то Чернышевский приходит к выводу о его неодолимости и вместе с тем сложности, зигзагообразности. В одном из политических обзоров 1859 г. он следующим образом определяет закономерность исторического прогресса: «Закон прогресса — ни больше, ни меньше как чисто физическая необходимость вроде необходимости скалам понемногу выветриваться, рекам стекать с горных возвышенностей в низменности, водяным парам подниматься вверх, дождю падать вниз. Прогресс — просто закон нарастания» (6, 11—12). В другой работе он сравнивает закон хода великих мировых событий с «законом тяготения или органического возрастания» (см. 4, 70). Но было бы упрощением квалифицировать эти высказывания как чисто натуралистическое понимание прогресса. Сущность

теории прогресса Чернышевского менее всего можно свести к сформулированному им самим «закону нарастания». Уже со студенческих лет Чернышевский прекрасно понимал, что прогресс не представляет собой императива или закона. Прогресс и регресс неотделимы у него от условий и ритма социального развития: «...путь, по которому несется колесница истории, чрезвычайно извилист и испещрен рытвинами, косогорами и болотами, так что тысячи напрасных толчков претерпит седок этой колесницы, человек, и сотни верст исколесит всегда для того, чтобы подвинуться на одну сажень ближе к прямой цели» (5, 221).

Почему же, согласно Чернышевскому, прогресс нельзя понимать как непосредственно и непрерывно действующий закон? Прежде всего потому, что народы сталкиваются с препятствиями в виде внешних неблагоприятных обстоятельств, но еще чаще «ограничения прогресса» проистекают из-за помех, создаваемых внутренними противоречиями общественной жизни. Этим объясняется, что «бывают иногда периоды довольно долгого регресса и в самых передовых странах...» (4, 616). Чернышевский понимает, что главной причиной того, что движение истории представляется нам ломаной линией, которая часто меняет свое направление, вытягивается, удаляясь порой на значительное расстояние от своей исходной точки, является антагонистический характер общественного прогресса. Борьба между нациями и борьба между «сословиями», составляющими отдельную нацию, война внешняя и внутренняя и множество иных, более второстепенных факторов, воздействующих на историческое движение,— все это делает понятным, в силу чего «исторический прогресс совершается медленно и тяжело... так медленно, что если мы будем ограничиваться слишком короткими периодами, то колебания, производимые в поступательном ходе истории случайностями обстоятельств, могут затемнить в наших глазах действие общего закона» (6, 12). Однако сложный, маятникообразный характер исторического прогресса, возвраты назад, громадная растрата сил при достижении «грошового» результата не вызывают у Чернышевского пессимизма в отношении развития общества, а служат основанием для трезвого, «сурового» взгляда на течение исторических дел и перспективы будущего.

Из всех отраслей философского знания наиболее систематическую, разработанную форму у Чернышевского имеет, пожалуй, *эстетика*. Даже беглое рассмотрение его эстетического учения заняло бы много места. К тому же такое рассмотрение увело бы нас в сторону от нашего предмета — обрисовки основных философских идей и взглядов, составляющих в целом антропологическое мировоззрение русского революционного демократа. Поэтому из всего эстетического учения мы берем только одну, главную проблему — проблему объективности прекрасного. Анализ ее позволит нам проследить сильные и слабые стороны антропологической эстетики Чернышевского.

Как известно, Чернышевский полностью отверг тот идеалистический взгляд, разделявшийся и гегелевской философией, согласно которому «только произведения искусства истинно прекрасны, между тем как явления природы и действительной жизни имеют только признак красоты» (2, 106). В противовес идеалистической эстетике мыслитель отстаивал «фактическую реальность» прекрасного, возвышенного, комического и т. п. Благодаря материалистическому воззрению, подчеркивал Чернышевский, определениям и категориям эстетики придается объективное содержание — «независимость от фантазии», как он выражался.

Основу эстетического наслаждения Чернышевский усматривал в единстве человека и природы, в том, что человек как высший продукт развития природы чувствует, что самое дорогое для него — жизнь. В «Эстетических отношениях...» ученый следующим образом обосновывает это свое определение сущности прекрасного: «Самое общее из того, что мило человеку, и самое милое ему на свете — *жизнь*; ближайшим образом такая жизнь, какую хотелось бы ему вести, какую любит он; потом и всякая жизнь, потому что все-таки лучше жить, чем не жить: все живое уже по самой природе своей ужасается гибели, небытия и любит жизнь» (2, 10). «Прекрасное есть жизнь» — в этой обобщающей формуле Чернышевского подчеркивается прежде всего объективный характер прекрасного. Казалось бы, такое представление вполне укладывается в рамки антропологического материализма. Однако для Чернышевского эти рамки делаются тесными. Как только философ ставит вопрос о том, почему прекрасное воспринимается разными людьми по-разному, он фактически

покидает антропологическую точку зрения, рассматривающую человека только как биологическое существо. Прекрасное в действительности прекрасно само по себе, но вместе с тем прекрасным нам кажется только то, что соответствует нашему понятию о «хорошей жизни», о «жизни, как она должна быть».

В «Авторецензии» на свою диссертацию Чернышевский дает ясную и выразительную формулировку данной стороны вопроса. Он говорит о сочетании в эстетическом чувстве объективно прекрасного с субъективными воззрениями человека. Отмечая, что Гегель не признавал прекрасного в действительности, он пишет: «...из понятий, предлагаемых г. Чернышевским, следует, напротив, что прекрасное и возвышенное действительно существуют в природе и человеческой жизни. Но с тем вместе следует, что наслаждение теми или другими предметами, имеющими в себе эти качества, непосредственно зависит от понятий наслаждающегося человека: прекрасно то, в чем мы видим жизнь, сообразную с *нашими* понятиями о жизни, возвышенно то, что гораздо больше предметов, с которыми сравниваем его *мы*. Таким образом, объективное существование прекрасного и возвышенного в действительности примиряется с субъективными воззрениями человека» (2, 114—115).

Прекрасное, по представлению «простолюдинов», — это жизнь, содействующая нормальному физическому развитию и здоровью. ««Хорошая жизнь», «жизнь, как она должна быть», у простого народа состоит в том, чтобы сытно есть, жить в хорошей избе, спать вдоволь; но вместе с этим у поселанина в понятии «жизнь» всегда заключается понятие о работе: жить без работы нельзя; да и скучно было бы» (2, 10).

Гегелевская эстетика выводила искусство из недостаточности прекрасного в действительности (в «природе», по гегелевской терминологии). В восполнении недостаточности прекрасного в природе Гегель видел назначение идеала. «...Дух... не в состоянии непосредственно обрести вновь истинную свободу, вновь непосредственно созерцать ее и наслаждаться ею в конечном существовании, его ограниченности и внешней необходимости, и вынужден поэтому осуществить свою потребность в этой свободе на другой, высшей почве. Этой почвой является искусство, а действительностью последнего является идеал»²⁴. Чер-

²⁴ Гегель. Соч. М., 1938. Т. XII. С. 156.

нышевский имел в виду именно гегелевскую эстетику, когда поставил в своей диссертации вопрос, что выше: прекрасное в действительности или прекрасное в искусстве. По сути дела речь шла об объективном источнике прекрасного. Действительность выше искусства, заявляет Чернышевский. Искусство относится к действительности как гравюра к картине. Искусство воспроизводит действительность, прекрасное действительности. Поэтому оно и не может соперничать с действительностью, не может иметь своей целью освобождение прекрасного от недостатков, свойственных якобы действительности и мешающих наслаждению. И здесь в постановке вопроса об объективной природе прекрасного антропологический материалист Чернышевский прав в отличие от идеалиста Гегеля.

Однако ограниченность антропологического материализма помешала Чернышевскому понять, что не природа как таковая, а, выражаясь словами Маркса, «очеловеченная природа», т. е. преобразованная и созданная человеческим трудом действительность, является подлинным источником прекрасного. Само эстетическое чувство, эстетическое отношение человека к действительности не дано от природы, оно общественно по своему существу и возникает исторически, в процессе преобразования природы, общества и самого человека. Не поняв этого, Чернышевский, естественно, не мог понять, как возможна красота в продуктах человеческого труда, как возможно прекрасное в произведениях искусства, например в архитектуре, где не отражается красота природных форм, красота непосредственного явления действительности.

Справедливости ради нужно отметить, что у Чернышевского можно найти глубокие догадки о значении общественного момента в прекрасном. Не говоря уже о том, что он связывал различие эстетических оценок прежде всего с принадлежностью к различным социальным группам, Чернышевский неоднократно говорил о значении «умения и силы человека» в создании красоты.

* * *

Как уже указывалось выше, задачей антропологического учения являлось объяснение причин, определяющих деятельность человека. Решить ее была призвана антропологическая *этика*. «В побуждениях человека,— писал Чернышевский,— как и во всех сторонах его жизни,

нет двух различных натур, двух основных законов, различных или противоположных между собою, а все разнообразие явления в сфере человеческих побуждений к действию, как и во всей человеческой жизни, происходит из одной и той же природы, по одному и тому же закону» (7, 283). Поскольку антропологический материализм знал только одну, естественную «натуру» человека, постольку она и объявлялась основой и источником его поведения. Как всякое живое существо, человек стремится к удовольствию и избегает страдания. Это стремление — естественный закон жизнедеятельности человека. Отсюда следует, что «человек любит прежде всего сам себя» (7, 281), т. е. является эгоистом. Эгоизм, согласно антропологической этике, выступает скрытой пружиной всех человеческих поступков, и самых возвышенных, и самых низменных. «...Все дела, хорошие и дурные, благородные и низкие, геройские и малодушные, происходят во всех людях из одного источника: человек поступает так, как приятнее ему поступать, руководится расчетом, велящим отказываться от меньшей выгоды или меньшего удовольствия для получения большей выгоды, большего удовольствия» (7, 285).

Ни один материалистический принцип не вызывал такой ярости у крепостников в рясах и без ряс, как принцип эгоизма. Это и понятно. Провозглашение принципа эгоизма было, выражаясь словами К. Маркса и Ф. Энгельса, «просвещением, раскрывающим земной смысл политического, патриархального, религиозного и идиллического облачения эксплуатации при феодализме...»²⁵. Рассматривая эгоизм как движущую силу человеческих поступков, русский революционный демократ, с одной стороны, обнажал своекорыстие интересов помещичьего класса, с другой — утверждал законность революционного эгоизма крестьян, стремящихся получить помещичью землю.

Итак, выгода есть единственный источник всех поступков и дел людей. Другими словами, антропологическая этика по существу восстанавливала в правах этическую теорию французских материалистов XVIII в. Как и французские материалисты, Чернышевский утверждал, что естественные потребности определяют поведение человека, что стремление к собственной пользе, эгоизм, составляет общий закон нравственной и общественной жизни людей. Но антропологического материалиста не стра-

²⁵ Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. 3. С. 411.

шит эгоизм человеческой «натуры». Он знает, что при утверждении общественной организации, гармонически сочетающей личные и общественные интересы, эгоизм обращивается альтруизмом. «...При известных обстоятельствах человек становится добр, при других — зол» (7, 264). Только там, где условия жизни не соответствуют «натуре» человека, люди извлекают «приятность себе из нанесения неприятности другим» (там же). Там же, где интерес отдельного человека совпадает с интересом общественным, стремление личности к пользе превращается в добро для других. Таким образом, антропологическое учение Чернышевского о человеке прямо и непосредственно подводило к мысли о необходимости уничтожения феодально-крепостнического строя и установления нового, справедливого общества — социализма.

Своей этикой Чернышевский стремится также способствовать созданию новой морали, которая явилась бы активной силой, направляющей поведение «новых людей». Основная идея принципа «разумного эгоизма» у Чернышевского в том, что поступки человека должны строго согласовываться с его внутренними побуждениями. Разнообразные обстоятельства часто толкают людей к узкому эгоизму. Но тот, кто хочет быть «вполне человеком», должен знать, что «отдельного счастья нет». Естественное стремление к счастью может осуществиться поэтому только в том случае, если посвятить себя борьбе против всего, «что неблагоприятно человеческому счастью». Развитого индивидуума, «разумного эгоиста», его собственный личный интерес толкает на акты благородного самопожертвования; он свободно, без всякой мысли о долге, жертве и воздаянии делает все, что нужно для торжества избранного им идеала. Чернышевский понимал, что революционерам в России предстоят величайшие жертвы, скорее всего верная гибель. Этика «разумного эгоизма» была призвана внушить каждому революционеру, что иного пути к счастью нет. Мыслитель хотел, чтобы каждый воспитывал себя по высшему образцу, а потом поступал бы так, как побуждает его совесть.

Как видим, этическая система «разумного эгоизма» носила рационалистический характер и не выходила за рамки идеализма. Однако в конкретно-политическом плане она отвечала общественной потребности, характеру и настроению «новых людей», способствовала превращению их в реальную революционную силу.

В критике капиталистического общества и в обосновании идеала будущего Чернышевский опирался на таких «первоклассных мыслителей», как А. К. Сен-Симон, Ш. Фурье, Р. Оуэн (см. 9, 355); он ценил У. Годвина (см. 12, 683); использовал в целях пропаганды и некоторые построения Луи-Блана (см. 9, 355—366). Оставаясь в русле утопического социализма, Чернышевский вместе с тем делает по сравнению с утопистами существенный шаг вперед. В предсказаниях будущего он, как правило, отказывается выходить за рамки «отвлеченных» определений, даваемых экономической наукой. В этом смысле следует понимать его заявление: «Я — не социалист в серьезном, ученом смысле слова...»²⁶ Для него очевидна фантастичность картин грядущего у его учителей: «...первые проявления новых общественных стремлений» всегда похожи более «на поэзию, чем на серьезную науку» (7, 156). Он и сам светлую картину будущего общества поместит в романе «Что делать?» в поэтический, мечтательный «Четвертый сон Веры Павловны».

Политическая экономия, считает Чернышевский, потому легла в основу учения социализма, что она первая и единственная пока из общественных наук, которая смогла выработать формулы прогресса. Эти условия заключаются в том, что «труду не следует быть товаром, что человек работает с полной успешностью лишь тогда, когда работает на себя, а не на другого, что чувство собственного достоинства развивается только положением самостоятельного хозяина, что поэтому искать надлежащего благосостояния будет работник только тогда, когда станет хозяином; что с тем вместе принцип сочетания труда и характера улучшенных производительных процессов требует производительной единицы очень значительного размера, а физиологические и другие естественные условия требуют сочетания очень многих разнородных производств в этой единице; и что поэтому отдельные хозяйственники должны соединяться в товарищества» (9, 643). В этом смысле судьба «наемщины» предрешена: необходимость «принципа товарищества» заключена уже «в самом развитии производительных процессов» (9, 222).

Основная черта экономического прогресса в XIX в., считает Чернышевский, заключается в переходе к круп-

²⁶ Лемке М. К. Дело Н. Г. Чернышевского. — Былое. 1906. № 5. С. 102.

ному машинному хозяйству (все отрасли производства постепенно принимают фабричный характер). Равным образом и в земледелии крупное хозяйство имеет «очень хорошие средства к успешному ведению дела», «лучшие орудия», «экономное распределение земли». В этих условиях преимущества частной поземельной собственности и наемного труда, существовавшие когда-то, исчезают: «...общинное владение представляется нужным не только для благосостояния земледельческого класса, но и для успеха самого земледелия» (5, 378). Поэтому возможность обновления социального строя России Чернышевский связывает с крестьянской общиной, при этом учитывая прежде всего то обстоятельство, что она является современницей крупного производства на Западе, требующего перехода к «форме товарищества». Но проблема национального пути развития в общем движении к социализму представляла для него тем не менее большие трудности.

С точки зрения философии истории вопрос о переходе русского общества с низшей фазы развития сразу на высшую, минуя промежуточные, не представлял для Чернышевского особых сложностей. В работе «Критика философских предубеждений против общинного владения» (1858), исходя из диалектического закона отрицания («...повсюду высшая степень развития представляется по форме возвращением к первобытной форме, которая заменялась противоположною на средней степени развития; повсюду очень сильное развитие содержания ведет к восстановлению той самой формы, которая была отвергаема развитием содержания не очень сильным» — 5, 376), русский мыслитель доказывает, что не все процессы действительности обязательно должны проходить все без исключения стадии в своем реальном развитии. При благоприятных обстоятельствах высшая степень развития может быть достигнута без прохождения средних моментов или по крайней мере продолжительность этих моментов может быть сокращена. Ускорение прогресса возможно, по Чернышевскому, лишь под влиянием «высокого развития» общественной жизни, достигнутого передовыми народами. Что же касается вопроса о том, «достигнута ли в настоящее время нашею цивилизациею та высокая ступень, принадлежностью которой должно быть общинное владение» (5, 379), то положительный ответ на него для русского экономиста подразумевается сам собою.

Но то, что представлялось ясным в отвлеченной теории, в применении к реальной жизни оказывалось сложной

проблемой. Крестьянская община могла стать элементом социалистического переустройства только при условии устранения уничтожавших ее «тлетворных влияний», а также при сочетании демократической революции в России и пролетарской на Западе. По крайней мере именно так ставили проблему основоположники научного коммунизма К. Маркс и Ф. Энгельс. Развитие же капитализма в России неизбежно влекло за собой разрушение общины и пауперизацию основной массы крестьянства.

Не следует упрощать дело: сам Чернышевский, идеолог крестьянского социализма, после реформы уже отдает себе отчет в том, что, пока русский народ спит «младенческим сном», община сама по себе не поможет ему избежать бедствий капитализма. В его взглядах на социализм в России все более отчетливо проступает понимание реальной исторической почвы, на которой движение социалистического обновления зарождается, и тех условий, при которых оно может восторжествовать в жизни. Да, принцип общинного землевладения в России действительно согласуется с принципом западноевропейского социализма. «Принцип, положим, действительно один и тот же, но форма, до какой развивается вещь, порождаемая принципом, совершенно не та...» (7, 662).

В статье «О причинах падения Рима» (1860), рассматривая отношение русской поземельной общины к европейскому социализму, Чернышевский уподобляет его отношению старых китайских веревочных мостов к мостам европейским — продукту современной инженерной мысли. Конечно, веревочные мосты облегчали существование китайцев, пока они были не в состоянии построить мосты современные. «Наверное, обычный этот факт окажется полезен и для дальнейшего их прогресса, когда они станут способны завести у себя лучшие пути сообщения по европейской науке» (7, 663). Но смешно надеяться, доказывает Чернышевский, что китайцы сами, без помощи европейской цивилизации смогут в обозримый исторический период научиться строить современные средства сообщения. «Вот точно такого же рода история и с нашим обычным землевладением» (там же). Оно окажется необходимым русскому народу, когда у него разовьется потребность «в лучшем устройстве». Чтобы осуществить переход к общинному устройству жизни, русскому народу, понимает Чернышевский, предстоит преодолеть огромный исторический путь: порвать с азиатчиной в умах и в учреждениях, изменить свои привычки

и нравы, цивилизоваться в европейском смысле этого слова. И поскольку народы Запада в отношении просвещения ушли гораздо дальше, чем Россия, «долго еще вся наша забота должна состоять в том, чтобы догнать других» (7, 617).

Это не только отрицание «самобытности» российского исторического развития, но и признание относительной прогрессивности движения страны по пути капитализма, и прежде всего в том, что касается просвещения народных масс. В данном случае мы имеем дело с рождением того, что Плеханов позже назвал «чувством исторического расстояния». Ученики Чернышевского не смогли удержаться на высоте взглядов учителя. Конечная цель движения будет объявлена ими непосредственной задачей борьбы, а община — единственным и всеспасающим средством от любых социальных зол. И только в результате трудного практического пути поражений, борьбы и разочарований движение приблизится к пониманию исторических задач, стоящих на очереди дня в России. Реализм, свойственный Чернышевскому, возродится, но уже на новой основе и в новой форме — в форме пролетарского социализма.

* * *

При отборе произведений для настоящего двухтомного издания философских сочинений Н. Г. Чернышевского составители столкнулись со значительными трудностями, обусловленными рядом причин. Прежде всего самым характером работ ученого. Поскольку Чернышевский как мыслитель складывался в непосредственной борьбе за решение насущных проблем российского освободительного движения, большинство его работ имеют ярко выраженную полемическую направленность. В результате они оказываются перегруженными посторонними сюжетами, идеи подчас искажены необходимостью считаться с цензурой или, наоборот, сформулированы с парочкой упрощенностью. Кроме того, творчество Чернышевского характеризуется необычайно широким диапазоном, поскольку мыслитель обладал поистине энциклопедической ученостью.

Составители настоящего издания руководствовались стремлением представить прежде всего философское мировоззрение русского мыслителя. Исходя из этого, они сочли необходимым включить в двухтомник не только ряд теоретических работ Чернышевского полностью, но и не-

которые из них в сокращении. Так даны сочинение «Лессинг», примечания Чернышевского к переводу I книги «Оснований политической экономии» Дж. Стюарта Милля, а также «Очерки из политической экономии (по Миллю)». Последние работы посвящены не философским сюжетам, однако ряд мыслей, заключенных в них, имеет большое значение для понимания философских взглядов Чернышевского.

Произведения Чернышевского располагаются в хронологическом порядке. Исключение составляет «Предисловие» к третьему изданию «Эстетических отношений искусства к действительности», помещенное после «Авторецензии» на упомянутую работу. В первый том вошли сочинения, написанные русским мыслителем в 50-х годах, во второй — сочинения 60—80-х годов, а также письма Чернышевского из ссылки сыновьям и философские работы последнего периода его жизни.

ЭСТЕТИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ ИСКУССТВА К ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ

(ДИССЕРТАЦИЯ)

Настоящий трактат ограничивается общими выводами из фактов, подтверждая их опять только общими указаниями на факты. Вот первый пункт, относительно которого должно дать объяснение. Ныне век монографий, и сочинение может подвергнуться упреку в несовременности. Удаление из него всех специальных исследований может быть сочтено за пренебрежение к ним или за следствие мнения, что общие выводы могут обойтись без подтверждения фактами. Но такое заключение основывалось бы только на внешней форме труда, а не на внутреннем его характере¹. Реальное направление мыслей, развиваемых в нем, уже достаточно свидетельствует, что они возникли на почве реальности и что автор вообще придает очень мало значения для нашего времени фантастическим полятам даже и в области искусства, не только в деле науки. Сущность понятий, излагаемых автором, ручается за то, что он желал бы, если б мог, привести в своем сочинении многочисленные факты, из которых выведены его мнения. Но если б он решился следовать своему желанию, объем труда далеко превзошел бы определенные ему границы. Автор думает, однако, что общих указаний, им приводимых, достаточно, чтобы напомнить читателю десятки и сотни фактов, говорящих в пользу мнений, излагаемых в этом трактате, и потому надеется, что краткость объяснений не есть бездоказательность.

Но зачем же автор избрал такой общий, такой обширный вопрос, как эстетические отношения искусства к действительности, предметом своего исследования? Почему не избрал он какого-нибудь специального вопроса, как это большею частью ныне делается?

По силам ли автора задача, которую хотел он объяснить, решать это, конечно, не ему самому. Но предмет, привлечший его внимание, имеет ныне полное право об-

ращать на себя внимание всех людей, занимающихся эстетическими вопросами, то есть всех, интересующихся искусством, поэзией, литературой.

Автору кажется, что бесполезно толковать об основных вопросах науки только тогда, когда нельзя сказать о них ничего нового и основательного, когда не приготовлена еще возможность видеть, что наука изменяет свои прежние воззрения, и показать, в каком смысле, по всей вероятности, должны они измениться. Но когда выработаны материалы для нового воззрения на основные вопросы нашей специальной науки, и можно, и должно высказать эти основные идеи.

Уважение к действительной жизни, недоверчивость к априорическим, хотя бы и приятным для фантазии, гипотезам — вот характер направления, господствующего ныне в науке. Автору кажется, что необходимо привести к этому знаменателю и наши эстетические убеждения, если еще стоит говорить об эстетике.

Автор не менее, нежели кто-нибудь, признает необходимость специальных исследований; но ему кажется, что от времени до времени необходимо также обозревать содержание науки с общей точки зрения; кажется, что если важно собирать и исследовать факты, то не менее важно и стараться проникнуть в смысл их. Мы все признаем высокое значение истории искусства, особенно истории поэзии; итак, не могут не иметь высокого значения и вопросы о том, что такое искусство, что такое поэзия.

⟨В гегелевской философии понятие прекрасного разбивается таким образом:

Жизнь вселенной есть процесс осуществления абсолютной идеи. Полным осуществлением абсолютной идеи будет только вселенная во всем своем пространстве и во все течение своего существования; а в одном известном предмете, ограниченном пределами пространства и времени, абсолютная идея никогда не осуществляется вполне. Осуществляясь, абсолютная идея разлагается на цепь определенных идей; и каждая определенная идея в свою очередь вполне осуществляется только во всем бесконечном множестве обнимаемых ею предметов или существ, но никогда не может вполне осуществиться в одном отдельном существе.

Но⟩ все сферы духовной деятельности подчинены закону восхождения от непосредственности к посредственности. Вследствие этого закона ⟨абсолютная⟩ идея, вполне постигаемая только мышлением (познавание под форму

посредственности), первоначально является духу под формой непосредственности или под формой воззрения. Поэтому человеческому духу кажется, что отдельное существо, ограниченное пределами пространства и времени, совершенно соответствует своему понятию, кажется, что в нем вполне осуществилась идея, а в этой определенной идее вполне осуществилась идея вообще. Такое воззрение предмета есть призрак (*ist ein Schein*) в том отношении, что идея никогда не проявляется в отдельном предмете *вполне*; но под этим призраком скрывается истина, потому что в определенной идее действительно осуществляется до *некоторой степени* общая идея, а определенная идея осуществляется до *некоторой степени* в отдельном предмете. Этот скрывающийся под собою истину призрак проявления идеи вполне в отдельном существе есть прекрасное (*das Schöne*)².

Так развивается понятие прекрасного в господствующей эстетической системе. Из этого основного воззрения следуют дальнейшие определения: прекрасное есть идея в форме ограниченного проявления; прекрасное есть отдельный чувственный предмет, который представляется чистым выражением идеи, так что в идее не остается ничего, что не проявлялось бы чувственно в этом отдельном предмете, а в отдельном чувственном предмете нет ничего, что не было бы чистым выражением идеи. Отдельный предмет в этом отношении называется образом (*das Bild*). Итак, прекрасное есть совершенное соответствие, совершенное тождество идеи с образом.

Я не буду говорить о том, что основные понятия, (из которых выводится у Гегеля определение прекрасного), теперь уже признаны не выдерживающими критики; не буду говорить и о том, что прекрасное (у Гегеля) является только «призраком», проистекающим от непроницательности взгляда, не просветленного философским мышлением, перед которым исчезает кажущаяся полнота проявления идеи в отдельном предмете, так что (по системе Гегеля), чем выше развито мышление, тем более исчезает перед ним прекрасное, и, наконец, для вполне развитого мышления есть только истинное, а прекрасного нет; не буду опровергать этого фактом, что на самом деле развитие мышления в человеке несколько не разрушает в нем эстетического чувства: все это уже было высказано много раз. Как следствие (основной идеи гегелевской системы) и часть метафизической системы, изложенное выше понятие о прекрасном падает вместе с нею. Но может быть

ложна система, а частная мысль, в нее вошедшая, может, будучи взята самостоятельно, оставаться справедливою, утверждаясь на своих особенных основаниях. Поэтому остается еще показать, что (гегелевское определение прекрасного) не выдерживает критики, будучи взято и вне связи с (упавшею ныне системою его метафизики).

«Прекрасно то существо, в котором вполне выражается идея этого существа» — в переводе на простой язык будет значить: «прекрасно то, что превосходно в своем роде; то, лучше чего нельзя себе вообразить в этом роде». Совершенно справедливо, что предмет должен быть превосходен в своем роде для того, чтобы называться прекрасным. Так, например, лес может быть прекрасен, но только «хороший» лес, высокий, прямой, густой, одним словом, превосходный лес; коряжник, жалкий, низенький, редкий лес не может быть прекрасен. Роза прекрасна; но только «хорошая», свежая, неощипанная роза. Одним словом, все прекрасное превосходно в своем роде. Но не все превосходное в своем роде прекрасно; крот может быть превосходным экземпляром породы кротов, но никогда не покажется он «прекрасным»; точно то же надобно сказать о большей части амфибий, многих породах рыб, даже многих птицах: чем лучше для естествоиспытателя животное такой породы, т. е. чем полнее выражается в нем его идея, тем оно некрасивее с эстетической точки зрения. Чем лучше в своем роде болото, тем хуже оно в эстетическом отношении. Не все превосходное в своем роде прекрасно; потому, что не все роды предметов прекрасны. Определение (Гегеля) прекрасного, как полного соответствия отдельного предмета с его идеею, слишком широко. Оно высказывает только, что в тех разрядах предметов и явлений, которые могут достигать красоты, прекрасными кажутся лучшие предметы и явления; но не объясняет, почему самые разряды предметов и явлений разделяются на такие, в которых является красота, и другие, в которых мы не замечаем ничего прекрасного.

Но с тем вместе оно и слишком тесно. «Прекрасным кажется то, что кажется полным осуществлением родовой идеи» значит также: «надобно, чтобы в прекрасном существе было все, что только может быть хорошего в существах этого рода; надобно, чтобы нельзя было найти ничего хорошего в других существах того же рода, чего не было бы в прекрасном предмете». Этого мы в самом деле и требуем от прекрасных явлений и предметов в тех царствах природы, где нет разнообразия типов одного и того

же рода предметов. Так, например, у дуба может быть один только характер красоты: он должен быть высок и густ; эти качества всегда находятся в прекрасном дубе, и ничего другого хорошего не найдется в других дубах. Но уже в животных является разнообразие типов одной породы, как скоро делаются они домашними.

Еще более такого разнообразия типов красоты в человеке, и мы даже никак не можем представить себе, чтобы все оттенки человеческой красоты совмещались в одном человеке.

Выражение: «прекрасным называется полное проявление идеи в отдельном предмете» — вовсе не определение прекрасного. Но в нем есть справедливая сторона — то, что «прекрасное» есть отдельный живой предмет, а не отвлеченная мысль; есть и другой справедливый намек на свойство истинно художественных произведений искусства: они всегда имеют содержанием своим что-нибудь интересное вообще для человека, а не для одного художника (намек этот заключается в том, что идея — «нечто общее, действующее всегда и везде»); отчего происходит это, увидим на своем месте.

Совершенно другой смысл имеет другое выражение, которое выставляют за тождественное с первым: «прекрасное есть единство идеи и образа, полное слияние идеи с образом»; это выражение говорит о действительно существенном признаке — только не идеи прекрасного вообще, а того, что называется «мастерским произведением», или художественным произведением искусства: прекрасно будет произведение искусства действительно тогда только, когда художник передал в произведении своем все то, что хотел передать. Конечно, портрет хорош только тогда, когда живописец сумел нарисовать совершенно того человека, которого хотел нарисовать. Но «прекрасно нарисовать лицо» и «нарисовать прекрасное лицо» — две совершенно различные вещи. Об этом качестве художественного произведения придется говорить при определении сущности искусства. Здесь же считаю не излишним заметить, что в определении красоты как единства идеи и образа, — в этом определении, имеющем в виду не прекрасное живой природы, а прекрасные произведения искусств, уже скрывается зародыш или результат того направления, по которому эстетика обыкновенно отдает предпочтение прекрасному в искусстве пред прекрасным в живой действительности.

Что же такое в сущности прекрасное, если нельзя определить его как «единство идеи и образа» или как «полное проявление идеи в отдельном предмете»?

Новое строится не так легко, как разрушается старое, и защищать не так легко, как нападать; потому очень может быть, что мнение о сущности прекрасного, кажущееся мне справедливым, не для всех покажется удовлетворительным; но если эстетические понятия, выводимые из господствующих ныне воззрений на отношения человеческой мысли к живой действительности, еще остались в моем изложении неполны, односторонни или шатки, то это, я надеюсь, недостатки не самых понятий, а только моего изложения.

Ощущение, производимое в человеке прекрасным, — светлая радость, похожая на ту, какую наполняет нас присутствие милого для нас существа*. Мы бескорыстно любим прекрасное, мы любуемся, радуемся на него, как радуемся на милого нам человека. Из этого следует, что в прекрасном есть что-то милое, дорогое нашему сердцу. Но это «что-то» должно быть нечто чрезвычайно многообъемлющее, нечто способное принимать самые разнообразные формы, нечто чрезвычайно общее; потому что прекрасными кажутся нам предметы чрезвычайно разнообразные, существа, совершенно не похожие друг на друга.

Самое общее из того, что мило человеку, и самое милое ему на свете — *жизнь*; ближайшим образом такая жизнь, какую хотелось бы ему вести, какую любит он; потом и всякая жизнь, потому что все-таки лучше жить, чем не жить: все живое уже по самой природе своей ужасается погибели, небытия и любит жизнь. И кажется, что определение:

«прекрасное есть жизнь»;

«прекрасно то существо, в котором видим мы жизнь такую, какова должна быть она по нашим понятиям; прекрасен тот предмет, который выказывает в себе жизнь или напоминает нам о жизни», —

кажется, что это определение удовлетворительно объясняет все случаи, возбуждающие в нас чувство прекрас-

* Я говорю о том, что прекрасно по своей сущности, а не по тому только, что прекрасно изображено искусством; о прекрасных предметах и явлениях, а не о прекрасном их изображении в произведениях искусства: художественное произведение, пробуждая эстетическое наслаждение своими художественными достоинствами, может возбуждать тоску, даже отвращение сущностью изображаемого.

ного. Проследим главные проявления прекрасного в различных областях действительности, чтобы проверить это.

«Хорошая жизнь», «жизнь, как она должна быть», у простого народа состоит в том, чтобы сытно есть, жить в хорошей избе, спать вдоволь; но вместе с этим у поселянина в понятии «жизнь» всегда заключается понятие о работе: жить без работы нельзя; да и скучно было бы. Следствием жизни в довольстве при большой работе, не доходящей, однако, до изнурения сил, у молодого поселянина или сельской девушки будет чрезвычайно свежий цвет лица и румянец во всю щеку — первое условие красоты по простонародным понятиям. Работая много, поэтому будучи крепка сложением, сельская девушка при сытной пище будет довольно плотна, — это также необходимое условие красавицы сельской; светская «полувоздушная» красавица кажется поселянину решительно «невзрачною», даже производит на него неприятное впечатление, потому что он привык считать «худобу» следствием болезненности или «горькой доли». Но работа не даст разжиреть: если сельская девушка толста, это род болезненности, знак «рыхлого» сложения, и народ считает большую полноту недостатком; у сельской красавицы не может быть маленьких ручек и ножек, потому что она много работает, — об этих принадлежностях красоты и не упоминается в наших песнях. Одним словом, в описаниях красавицы в народных песнях не найдется ни одного признака красоты, который не был бы выражением цветущего здоровья и равновесия сил в организме, всегдашнего следствия жизни в довольстве при постоянной и нешуточной, но не чрезмерной работе. Совершенно другое дело светская красавица: уже несколько поколений предки ее жили, не работая руками; при бездейственном образе жизни крови льется в оконечности мало; с каждым новым поколением мускулы рук и ног слабеют, кости делаются тоньше; необходимым следствием всего этого должны быть маленькие ручки и ножки — они признак такой жизни, которая одна и кажется жизнью для высших классов общества, — жизни без физической работы; если у светской женщины большие руки и ноги, это признак или того, что она дурно сложена, или того, что она не из старинной хорошей фамилии. По этому же самому у светской красавицы должны быть маленькие ушки. Мигрень, как известно, интересная болезнь — и не без причины: от бездействия кровь остается вся в средних органах, приливает к мозгу; нервная система и без того уже раздражительна от всеобщего

ослабления в организме; неизбежное следствие всего этого — продолжительные головные боли и разного рода нервные расстройства; что делать? и болезнь интересна, чуть не завидна, когда она следствие того образа жизни, который нам нравится. Здоровье, правда, никогда не может потерять своей цены в глазах человека, потому что и в довольстве и в роскоши плохо жить без здоровья — вследствие того румянец на щеках и цветущая здоровьем свежесть продолжают быть привлекательными и для светских людей; но болезненность, слабость, вялость, томность также имеют в глазах их достоинство красоты, как скоро кажутся следствием роскошно-бездейственного образа жизни. Бледность, томность, болезненность имеют еще другое значение для светских людей: если поселянин ищет отдыха, спокойствия, то люди образованного общества, у которых материальной нужды и физической усталости не бывает, но которым зато часто бывает скучно от безделья и отсутствия материальных забот, ищут «сильных ощущений, волнений, страстей», которыми придает цвет, разнообразие, увлекательность светской жизни, без того монотонной и бесцветной. А от сильных ощущений, от пылких страстей человек скоро изнашивается: как же не очароваться томностью, бледностью красавицы, если томность и бледность ее служат признаком, что она «много жила»?

Мила живая свежесть цвета,
Знак юных дней,
Но бледный цвет, тоски примета,
Еще милей³.

Но если увлечение бледною, болезненною красотою — признак искусственной испорченности вкуса, то всякий истинно образованный человек чувствует, что истинная жизнь — жизнь ума и сердца. Она отпечатывается в выражении лица, всего яснее в глазах — потому выражение лица, о котором так мало говорится в народных песнях, получает огромное значение в понятиях о красоте, господствующих между образованными людьми; и часто бывает, что человек кажется нам прекрасен только потому, что у него прекрасные, выразительные глаза.

Я пересмотрел, сколько позволяло место, главные принадлежности человеческой красоты, и мне кажется, что все они производят на нас впечатление прекрасного потому, что в них мы видим проявление жизни, как понимаем

ее. Теперь надобно посмотреть противоположную сторону предмета, рассмотреть, отчего человек бывает некрасив.

Причину некрасивости общей фигуры человека всякий укажет в том, что человек, имеющий дурную фигуру, — «дурно сложен». Мы очень хорошо знаем, что уродливость — следствие болезни или пагубных случаев, от которых особенно легко уродуется человек в первое время развития. Если жизнь и ее проявления — красота, очень естественно, что болезнь и ее следствия — безобразие. Но человек дурно сложенный — также урод, только в меньшей степени, и причины «дурного сложения» те же самые, которые производят уродливость, только слабее их. Если человек рождается горбатым — это следствие несчастных обстоятельств, при которых совершалось первое его развитие; но сутуловатость — та же горбатость, только в меньшей степени, и должна происходить от тех же самых причин. Вообще, худо сложенный человек — до некоторой степени искаженный человек; его фигура говорит нам не о жизни, не о счастливом развитии, а о тяжелых сторонах развития, о неблагоприятных обстоятельствах. От общего очерка фигуры переходим к лицу. Черты его бывают хороши или сами по себе, или по своему выражению. В лице не нравится нам «злое», «неприятное» выражение потому, что злость — яд, отравляющий нашу жизнь. Но гораздо чаще лицо «некрасиво» не по выражению, а по самым чертам: черты лица некрасивы бывают в том случае, когда лицевые кости дурно организованы, когда хрящи и мускулы в своем развитии более или менее носят отпечаток уродливости, т. е. когда первое развитие человека совершалось в неблагоприятных обстоятельствах.

Совершенно излишне пускаться в подробные доказательства мысли, что красотою в царстве животных кажется человеку то, в чем выражается по человекообразным понятиям жизнь свежая, полная здоровья и сил. В млекопитающих животных, организация которых более близким образом сравнивается нашими глазами с наружностью человека, прекрасным кажется человеку округленность форм, полнота и свежесть; кажется прекрасным грациозность движений, потому что грациозными бывают движения какого-нибудь существа тогда, когда оно «хорошо сложено», т. е. напоминает человека хорошо сложенного, а не урода. Некрасивым кажется все «неуклюжее», т. е. до некоторой степени уродливое по нашим понятиям, везде отыскивающим сходство с человеком. Формы крокодила, ищерицы, черепахи напоминают млекопитающих живот-

ных, но в уродливом, искаженном, нелепом виде; потому ящерица, черепаха отвратительны. В лягушке к неприятности форм присоединяется еще то, что это животное покрыто холодной слизью, какую бывает покрыт труп; от этого лягушка делается еще отвратительнее.

Не нужно подробно говорить и о том, что в растениях нам нравится свежесть цвета и роскошность, богатство форм, обнаруживающие богатую силами, свежую жизнь. Увядающее растение нехорошо; растение, в котором мало жизненных соков, нехорошо.

Кроме того, шум и движение животных напоминают нам шум и движение человеческой жизни; до некоторой степени напоминают о ней шелест растений, качанье их ветвей, вечно колеблющиеся листочки их,— вот другой источник красоты для нас в растительном и животном царстве; пейзаж прекрасен тогда, когда оживлен.

Проводить в подробности по различным царствам природы мысль, что прекрасное есть жизнь, и ближайшим образом жизнь, напоминающая о человеке и о человеческой жизни, я считаю излишним потому, что <и Гегель, и Фишер постоянно говорят о том>, что красоту в природе составляет то, что напоминает человека (или, выражаясь <гегелевским термином>, предвозвещает личность), что прекрасное в природе имеет значение прекрасного только как намек на человека <великая мысль, глубокая! О, как хороша была бы гегелевская эстетика, если бы эта мысль, прекрасно развитая в ней, была поставлена основной мыслью вместо фантастического отыскивания полноты проявляемой идеи!>. Потому, показав, что прекрасное в человеке — жизнь, не нужно и доказывать, что прекрасное во всех остальных областях действительности, которое становится в глазах человека прекрасным только потому, что служит намеком на прекрасное в человеке и его жизни, также есть жизнь.

Но нельзя не прибавить, что вообще на природу смотрит человек глазами владельца, и на земле прекрасным кажется ему также то, с чем связано счастье, довольство человеческой жизни. Солнце и дневной свет очаровательно прекрасны, между прочим, потому, что в них источник всей жизни в природе, и потому, что дневной свет благотворно действует прямо на жизненные отправления человека, возвышая в нем органическую деятельность, а через это благотворно действует даже на расположение нашего духа.

〈Можно даже вообще сказать, что, читая в эстетике Гегеля те места, где говорится о том, что прекрасно в действительности, приходишь к мысли, что бессознательно принимал он прекрасным в природе говорящее нам о жизни, между тем как сознательно поставлял красоту в полноте проявления идеи. У Фишера в отделении «О прекрасном в природе» постоянно говорится, что прекрасное только то, что живое или кажется живым. И в самом развитии идеи прекрасного слово «жизнь» очень часто попадает у Гегеля, так〉 что, наконец, можно спросить, есть ли существенное различие между нашим определением «прекрасное есть жизнь» и 〈между определением его:〉 «прекрасное есть полное единство идеи и образа»? Такой вопрос рождается тем естественнее, что под «идеєю» 〈у Гегеля〉 понимается «общее понятие так, как оно определяется всеми подробностями своего действительного существования», и потому между понятием идеи и понятием жизни (или, точнее, понятием жизненной силы) есть прямая связь. Не есть ли предлагаемое нами определение только переложением на обыкновенный язык того, что высказывается в господствующем определении терминологиею спекулятивной философии?

Мы увидим, что есть существенная разница между тем и другим способом понимать прекрасное. Определяя прекрасное как полное проявление идеи в отдельном существе, мы необходимо приходим к выводу: «прекрасное в действительности только призрак, влагаемый в нее нашу фантазиєю»; из этого будет следовать, что, «собственно говоря, прекрасное создается нашею фантазиєю, а в действительности (или, 〈по Гегелю〉: в природе) истинно прекрасного нет»; из того, что в природе нет истинно прекрасного, будет следовать, что «искусство имеет своим источником стремление человека восполнить недостатки прекрасного в объективной действительности» и что «прекрасное, создаваемое искусством, выше прекрасного в объективной действительности», — все эти мысли составляют сущность 〈гегелевской эстетике и являются в ней〉 не случайно, а по строгому логическому развитию основного понятия о прекрасном.

Напротив того, из определения «прекрасное есть жизнь» будет следовать, что истинная, высочайшая красота есть именно красота, встречаемая человеком в мире действительности, а не красота, создаваемая искусством; происхождение искусства должно быть при таком воззрении на красоту в действительности объяснимо из совер-

шенно другого источника; после того и существенное значение искусства явится совершенно в другом свете.

Итак, должно сказать, что новое понятие о сущности прекрасного, будучи выводом из таких общих воззрений на отношения действительного мира к воображаемому, которые совершенно различны от господствовавших прежде в науке, приводя к эстетической системе, также существенно различающейся от систем, господствовавших в последнее время, и само существенно различно от прежних понятий о сущности прекрасного. Но с тем вместе оно представляется как их необходимое дальнейшее развитие. Существенное различие между господствующей и предлагаемой эстетическими системами будем видеть постоянно; чтобы указать на точку тесного родства между ними, скажем, что новое воззрение объясняет важнейшие эстетические факты, которые выставлялись на вид в прежней системе. Так, например, из определения «прекрасное есть жизнь» становится понятно, почему в области прекрасного нет отвлеченных мыслей, а есть только индивидуальные существа — жизнь мы видим только в действительных, живых существах, а отвлеченные, общие мысли не входят в область жизни.

Что касается существенного различия прежнего и предлагаемого нами понятия о прекрасном, оно обнаруживается, как мы сказали, на каждом шагу; первое доказательство этого представляется нам в понятиях об отношении к прекрасному возвышенного и комического, которые в господствующей эстетической системе признаются соподчиненными видоизменениями прекрасного, проистекающими от различного отношения между двумя его факторами, идею и образом. (По гегелевской системе) чистое единство идеи и образа есть то, что называется собственно прекрасным; но не всегда бывает равновесие между образом и идею: иногда идея берет перевес над образом и, являясь нам в своей всеобщности, бесконечности, переносит нас в область абсолютной идеи, в область бесконечного — это называется возвышенным (*das Erhabene*); иногда образ подавляет, искажает идею — это называется комическим (*das Komische*)⁴.

Подвергнув критике коренное понятие, мы должны подвергнуть ей и вытекающие из него воззрения, должны исследовать сущность возвышенного и комического и их отношения к прекрасному.

Господствующая эстетическая система дает нам два определения возвышенного, как давала два определения

прекрасного. «Возвышенное есть перевес идеи над формой», и «возвышенное есть проявление абсолютного». В сущности эти два определения совершенно различны, как существенно различными найдены были нами и два определения прекрасного, представляемые господствующею системою; в самом деле, перевес идеи над формой производит не собственно понятие возвышенного, а понятие «туманного, неопределенного» и понятие «безобразного» (*das Hässliche*), (как это прекрасно развивается у одного из новейших эстетиков, Фишера, в трактате о возвышенном и во введении к трактату о комическом); между тем как формула «возвышенное есть то, что пробуждает в нас (или, выражаясь терминами гегелевской школы), — что проявляет в себе) идею бесконечного» остается определением собственно возвышенного. Потому каждое из них должно рассмотреть особенно.

Очень легко показать неприложимость к возвышенному определения «возвышенное есть перевес идеи над образом», после того как сам Фишер, его принимающий, сделал это, объяснив, что от перевеса идеи над образом (выражая ту же мысль обыкновенным языком: от превозможения силы, проявляющейся в предмете, над всеми стесняющими ее силами, или, в природе органической, над законами организма, ее проявляющего) происходит безобразное или неопределенное («безобразное» сказал бы я, если бы не боялся впасть в игру слов, сопоставляя безобразное и безобразное). Оба эти понятия совершенно различны от понятия возвышенного. Правда, безобразное бывает возвышенным, когда оно ужасно; правда, туманная неопределенность усиливает впечатление возвышенного, производимое ужасным или огромным; но безобразное, если оно не страшно, бывает просто отвратительно или некрасиво; туманное, неопределенное не производит никакого эстетического действия, если не огромно или не ужасно. Безобразием или туманною неопределенностью характеризуются не все роды возвышенного; безобразное или неопределенное не всегда имеет характер возвышенного. Очевидно, что эти понятия различны от понятия возвышенного. «Перевес идеи над формой», говоря строго, относится к тому роду событий в мире нравственном и явлений в мире материальном, когда предмет разрушается от избытка собственных сил; неоспоримо, что эти явления часто имеют характер чрезвычайно возвышенный; но только тогда, когда сила, разрушающая сосуд, ее заключающий, уже имеет характер возвышенности или предмет,

ею разрушаемый, уже кажется нам возвышенным, независимо от своей гибели собственною силою. Иначе о возвышенном не будет и речи. Когда Ниагарский водопад, сокрушив скалу, его образующую, уничтожится напором собственных сил; когда Александр Македонский погибает от избытка собственной энергии; когда Рим падает собственной тяжестью, — это явления возвышенные; но потому, что Ниагарский водопад, Римская империя, личность Александра Македонского сами по себе уже принадлежат области возвышенного; какова жизнь, такова и смерть, какова деятельность, таково и падение. Тайна возвышенности здесь не в «перевесе идеи над явлением», а в характере самого явления; только от величия сокрушающегося явления заимствует свою возвышенность и его сокрушение. Само по себе исчезновение от перевеса внутренней силы над ее временным проявлением не есть еще критерий возвышенного. Яснее всего «перевес идеи над формой» высказывается в том явлении, когда зародыш листа, разрастаясь, разрывает оболочку почки, его родившей; но это явление решительно не относится к разряду возвышенных. «Перевесом идеи над формой», гибелью самого предмета от избытка развивающихся в нем сил отличается так называемая отрицательная форма возвышенного от положительной. Справедливо, что возвышенное отрицательное выше возвышенного положительного; потому надобно согласиться, что «перевесом идеи над формой» усиливается эффект возвышенного, как может он усиливаться многими другими обстоятельствами, напр., уединенностью возвышенного явления (пирамида в открытой степи величественнее, нежели была бы среди других громадных построек; среди высоких холмов ее величие исчезло бы); но усиливающее эффект обстоятельство не есть еще источник самого эффекта, притом перевеса идеи над образом, силы над явлением очень часто не бывает в положительном возвышенном. Примеры этого могут быть во множестве отысканы в каждом курсе эстетики.

Переходим к другому определению возвышенного: «возвышенное есть проявление идеи бесконечного», (выражаясь гегелевским языком), или, выражая эту философскую формулу обыкновенным языком: «возвышенное есть то, что возбуждает в нас идею бесконечного». Самый беглый взгляд на трактат о возвышенном в новейших эстетиках убеждает нас, что это определение возвышенного лежит в сущности (гегелевских) понятий о нем. Мало того, мысль, что возвышенными явлениями возбуждается

в человеке предчувствие бесконечного, господствует и в понятиях людей, чуждых строгой науке; редко можно найти сочинение, в котором не высказывалась бы она, как скоро представляется повод, хотя самый отдаленный; почти в каждом описании величественного пейзажа, в каждом рассказе о каком-нибудь ужасном событии найдется подобное отступление или применение. Потому на мысль о возбуждении величественным идеями абсолютного должно обратить более внимания, нежели на предыдущее понятие о перевесе в нем идеи над образом, критику которого было достаточно ограничить несколькими словами.

К сожалению, здесь не место подвергать анализу идею «абсолюта», или бесконечного, и показывать настоящее значение абсолютного в области метафизических понятий; тогда только, когда мы поймем это значение, представится нам вся неосновательность понимания под возвышенным бесконечного. Но и не пускаясь в метафизические прения, мы можем увидеть из фактов, что идея бесконечного, как бы ни понимать ее, не всегда, или, лучше сказать, — почти никогда не связана с идеею возвышенного. Строго и беспристрастно наблюдая за тем, что происходит в нас, когда мы созерцаем возвышенное, мы убедимся, что 1) возвышенным представляется нам самый предмет, а не какие-нибудь вызываемые этим предметом мысли; так, например, величествен сам по себе Казбек, величественно само по себе море, величественна сама по себе личность Цезаря или Катона. Конечно, при созерцании возвышенного предмета могут пробуждаться в нас различного рода мысли, усиливающие впечатление, им на нас производимое; но возбуждаются они или нет, — дело случая, независимо от которого предмет остается возвышенным: мысли и воспоминания, усиливающие ощущение, рождаются при всяком ощущении, но они уже следствие, а не причина первоначального ощущения, и если, задумавшись над подвигом Муция Сцеволы, я дохожу до мысли: «да, безгранична сила патриотизма», то мысль эта только следствие впечатления, произведенного на меня независимо от нее *самым поступком* Муция Сцеволы, а не причина этого впечатления; точно так же мысль: «нет ничего на земле прекраснее человека», которая может пробудиться во мне, когда я задумаюсь, глядя на изображение прекрасного лица, не причина того, что я восхищаюсь им, как прекрасным, а следствие того, что оно уже прежде нее, независимо от нее кажется мне прекрасно. И потому, если бы даже согласиться, что созерцание возвышенного всегда

ведет к идее бесконечного, то возвышенное, порождающее такую мысль, а не порождаемое ею, должно иметь причину своего действия на нас не в ней, а в чем-нибудь другом. Но, рассматривая свое представление о возвышенном предмете, мы открываем, 2) что очень часто предмет кажется нам возвышен, не переставая в то же время казаться далеко не беспредельным и оставаясь в решительной противоположности с идеею безграничности. Так, Монблан или Казбек — возвышенный, величественный предмет: но никто из нас не думает, в противоречие собственным глазам, видеть в нем безграничное или неизмеримо великое. Море кажется беспредельным, когда не видно берегов: но все эстетики утверждают (и совершенно справедливо), что море кажется гораздо величественнее, когда виден берег, нежели тогда, когда берегов не видно. Вот факт, обнаруживающий, что идея возвышенного не только не порождается идеею безграничного, но даже может быть (и часто бывает) в противоречии с нею, что условие безграничности может быть невыгодно для впечатления, производимого возвышенным. Идем далее, пересматривая ряд величественных явлений по мере возрастания эффекта, ими производимого на чувство возвышенного. Гроза — одно из величественнейших явлений в природе; но необходимо иметь слишком восторженное воображение, чтобы видеть какую бы то ни было связь между грозой и бесконечностью. Во время грозы мы восхищаемся, думая при этом только о самой грозе. «Но во время грозы человек чувствует собственную ничтожность пред силами природы, силы природы кажутся ему безмерно превышающими его силы». Что силы грозы кажутся нам чрезвычайно превышающими наши собственные силы, это правда; но если явление представляется непреодолимым для человека, из этого еще не следует, чтобы оно казалось нам неизмеримо, бесконечно могущественным. Напротив, человек, смотря на грозу, очень хорошо помнит, что она бессильна над землею, что первый ничтожный холм непоколебимо отразит весь напор урагана, все удары молнии. Правда, удар молнии может убить человека; но что ж из этого? Не эта мысль причиною, что гроза кажется мне величественною. Когда я смотрю на то, как вертятся крылья ветряной мельницы, я также очень хорошо знаю, что, задев меня, мельничное крыло переломит меня, как щепку, я «сознаю ничтожность своих сил перед силою» мельничного крыла; а между тем едва ли в ком-нибудь взгляд на вертящуюся мельницу возбуждал ощущение возвышенного. «Но здесь

не пробуждается во мне опасения за себя; я знаю, что мельничное крыло не зацепит меня; во мне нет чувства ужаса, какое пробуждается грозюю». — Справедливо; но этим говорится уже совершенно не то, что говорилось прежде; этим говорится: «возвышенное есть ужасное, грозное». Посмотрим на это определение «возвышенного сил природы», которое в самом деле находим в эстетиках. Ужасное очень часто бывает возвышенным, это правда; но не всегда оно бывает возвышенным: гремучая змея, скорпион, тарантул ужаснее льва; но они отвратительно-ужасны, а не возвышенно-ужасны. Чувство ужаса может усиливать ощущение возвышенного, но ужас и возвышенность — два совершенно различных понятия. Идем, однако, далее по ряду величественных явлений. В природе мы не видели ничего, прямо говорящего о безграничности; против заключения, выводимого отсюда, можно заметить, что «истинно возвышенное не в природе, а в самом человеке»; согласимся, хотя и в природе много истинно возвышенного. Но почему же «возвышенна» кажется нам «безграничная» любовь или порыв «всесокрушающего» гнева? Неужели потому, что сила этих стремлений «неодолима», «пробуждает идею бесконечного своею неодолимостью»? Если так, то гораздо неодолимее потребность спать: самый страстный любовник едва ли может пробить без сна четверо суток; гораздо неодолимее потребности «любить» потребность есть и пить: это истинно безграничная потребность, потому что нет человека, не признающего силы ее, между тем как о любви очень многие не имеют и понятия; из-за этой потребности совершается гораздо больше и гораздо труднейших подвигов, нежели от «всесильного» могущества любви. Почему же мысль о еде и питье не возвышенна, а идея любви возвышенна? Непреоборимость не есть еще возвышенность; безграничность и бесконечность вовсе не связаны с идеею величественного.

Едва ли можно после этого разделять мысль, что «возвышенное есть перевес идеи над формою», или что «сущность возвышенного состоит в пробуждении идеи бесконечного». В чем же состоит она? Очень простое определение возвышенного будет, кажется, вполне обнимать и достаточно объяснять все явления, относящиеся к его области.

«Возвышенное есть то, что гораздо больше всего, с чем сравнивается нами». — «Возвышенный предмет — предмет, много превосходящий своим размером предметы, с которыми сравнивается нами; возвышенно явление, которое

гораздо сильнее других явлений, с которыми сравнивается нами».

Монблан и Казбек — величественные горы, потому что гораздо огромнее дюжинных гор и пригорков, которые мы привыкли видеть; «величественный» лес в двадцать раз выше наших яблонь, акаций и в тысячу раз огромнее наших садов и рощ. Волга гораздо шире Тверцы или Клязьмы; гладкая площадь моря гораздо обширнее площади прудов и маленьких озер, которые беспрестанно попадают путешественнику; волны моря гораздо выше волн этих озер, потому буря на море возвышенное явление, хотя бы никому не угрожала опасностью; свиреный ветер во время грозы во сто раз сильнее обыкновенного ветра, шум и рев его гораздо сильнее шума и свиста, производимого обыкновенным крепким ветром; во время грозы гораздо темнее, нежели в обыкновенное время, темнота доходит до черноты; молния ослепительнее всякого света — все это делает грозу возвышенным явлением. Любовь гораздо сильнее наших ежедневных мелочных расчетов и побуждений; гнев, ревность, всякая вообще страсть также гораздо сильнее их — потому страсть возвышенное явление. Юлий Цезарь, Отелло, Дездемона, Офелия — возвышенные личности; потому что Юлий Цезарь, как полководец и государственный человек, далеко выше всех полководцев и государственных людей своего времени; Отелло любит и ревнует гораздо сильнее дюжинных людей; Дездемона и Офелия любят и страдают с такой полной преданностью, способность к которой найдется далеко не во всякой женщине. «Гораздо больше, гораздо сильнее» — вот отличительная черта возвышенного.

Надобно прибавить, что вместо термина «возвышенное» (*das Erhabene*) было бы гораздо проще, характеристичнее и лучше говорить «великое» (*das Grosse*). Юлий Цезарь, Марий не «возвышенные», а «великие» характеры. Нравственная возвышенность — только один частный род величия вообще.

Просмотрев лучше курсы эстетики, легко убедиться, что в нашем кратком обзоре подведены под принимаемое нами понятие возвышенного или великого все его главные видоизменения. Остается показать, как принимаемое нами воззрение на сущность возвышенного относится к подобным мыслям, высказанным в известных ныне курсах эстетики.

О том, что «возвышенность» — следствие превосходства над окружающим, говорится у Канта⁵ и вслед за ним

у позднейших эстетиков (у Гегеля, у Фишера): «Мы сравниваем,— говорят они,— возвышенное в пространстве с окружающими его предметами; для этого на возвышенном предмете должны быть легкие подразделения, дающие возможность, сравнивая, считать, во сколько раз он больше окружающих его предметов, во сколько раз, напр., гора больше дерева, растущего на ней. Счет так длинен, что, не дошедши до конца, мы уже теряемся в нем; окончив его, должны опять начинать, потому что не могли сосчитать, и считаем опять безуспешно. Таким образом, нам кажется, и наконец, что гора неизмеримо велика, бесконечно велика». — «Сравнение с окружающими предметами необходимо для того, чтобы предмет казался возвышенным», — мысль очень близкая к принимаемому нами воззрению на основной признак возвышенного⁶. Но обыкновенно она прилагается только к возвышенному в пространстве, между тем как ее должно одинаково проводить по всем родам возвышенного. Обыкновенно говорят: «возвышенное состоит в превозможении идеи над формой, и это превозможение на низших степенях возвышенного узнается сравнением предмета по величине с окружающими предметами»; нам кажется, что должно говорить: «превосходство великого (или возвышенного) над мелким и дюжинным состоит в гораздо большей величине (возвышенное в пространстве или во времени) или в гораздо большей силе (возвышенное сил природы и возвышенное в человеке)». Из второстепенного и частного признака возвышенности сравнение и превосходство по величине должно быть возведено в главную и общую мысль при определении возвышенного.

Таким образом, принимаемое нами понятие возвышенного точно так же относится к обыкновенному определению его, как наше понятие о сущности прекрасного к прежнему взгляду,— в обоих случаях возводится на степень общего и существенного начала то, что прежде считалось частным и второстепенным признаком, было закрываемо от внимания другими понятиями, которые мы отбрасываем как побочные.

Вследствие изменения точки зрения и возвышенное, подобно прекрасному, представляется нам как явление более самостоятельное и, однако же, более близкое человеку, нежели представлялось. С тем вместе наше воззрение на сущность возвышенного признает его фактическую реальность, между тем как обыкновенно полагают, будто бы возвышенное в действительности только *кажется* возвы-

шенным от вмешательства нашей фантазии, расширяющей до безграничности объем или силу возвышенного предмета или явления. И действительно, если возвышенное существенно есть бесконечное, то возвышенного нет в мире, доступном нашим чувствам и нашему уму.

Но если по определениям прекрасного и возвышенного, нами принимаемым, прекрасному и возвышенному придается независимость от фантазии, то, с другой стороны, этими определениями выставляется на первый план отношение к человеку вообще и к его понятиям тех предметов и явлений, которые находит человек прекрасными и возвышенными: прекрасное то, в чем *мы* видим жизнь так, как *мы* понимаем и желаем ее, как она радует *нас*; великое то, что гораздо выше предметов, с которыми сравниваем его *мы*. Из обыкновенных (гегелевских) определений, напротив, по странному противоречию, следует: прекрасное и великое вносятся в действительность человеческим взглядом на вещи, создаются человеком, но не имеют никакой связи с понятиями человека, с его взглядом на вещи. Ясно также, что определениями прекрасного и возвышенного, которые кажутся нам справедливыми, разрушается непосредственная связь этих понятий, подчиняемых одно другому определениями: «прекрасное есть равновесие идеи и образа», «возвышенное есть перевес идеи над образом». В самом деле, принимая определение «прекрасное есть жизнь», «возвышенное есть то, что гораздо больше всего близкого или подобного», мы должны будем сказать, что прекрасное и возвышенное — совершенно различные понятия, не подчиненные друг другу и соподчиненные только одному общему понятию, очень далекому от так называемых эстетических понятий: «интересное».

Потому, если эстетика — наука о прекрасном по содержанию, то она не имеет права говорить о возвышенном, как не имеет права говорить о добром, истинном и т. д. Если же понимать под эстетикой науку об искусстве, то, конечно, она должна говорить о возвышенном, потому что возвышенное входит в область искусства.

Но, говоря о возвышенном, до сих пор мы не касались трагического, которое обыкновенно признают высшим, глубочайшим родом возвышенного.

Господствующие ныне в науке понятия о трагическом играют очень важную роль не только в эстетике, но и во многих других науках (напр., в истории), даже сливаются с обиходными понятиями о жизни. Поэтому я считаю излишним довольно подробно изложить их, чтобы дать

основание своей критике. В изложении буду я строго следовать Фишеру, которого эстетика ныне считается наилучшею в Германии.

«Субъект по своей природе существо деятельное. Действуя, он переносит во внешний мир свою волю и тем самым приходит в столкновение с законом необходимости, владычествующим во внешнем мире. Но действие субъекта необходимо запечатлено индивидуальной ограниченностью и потому нарушает абсолютное единство объективной связи мира. Это оскорбление есть вина (die Schuld) и отзывается в субъекте тем, что, связанный узами единства, внешний мир весь как одно целое взволновывается действием субъекта и чрез это отдельный поступок субъекта влечет за собою необозримый и непредусмотримый ряд последствий, в которых субъект уже не узнает своего поступка и своей воли; тем не менее он должен признавать необходимую связь всех этих последующих явлений со своим поступком и чувствовать себя в ответственности за них. Ответственность за то, чего не хотел и что, однако, сделал он, имеет для субъекта последствием страдание, т. е. выражение противодействия от нарушенного хода вещей во внешнем мире нарушившему их действию. Необходимость этого противодействия и страдания усиливается тем, что угрожаемый субъект предвидит последствия, предвидит зло себе, но подвергается ему через те самые средства, которыми хотел избежать его. Страдание может усилиться до гибели субъекта и его дела. Но дело субъекта погибает только по-видимому, погибает не совершенно: объективный ряд последствий переживает гибель субъекта и, мало-помалу сливаясь с всеобщим единством, очищается от своей индивидуальной ограниченности, полученной от субъекта. Если субъект, погибая, усваивает себе это сознание правдивости своего страдания и того, что дело его не погибает, а очищается и торжествует его гибелью, то примирение полно, и сам субъект просветленным образом переживает себя в своем очищающемся и торжествующем деле. Все это движение называется судьбою, или «трагическим». Трагическое бывает различных родов. Первая форма его та, когда субъект является не фактически, а только в возможности виновным и когда поэтому сила, его губящая, является слепую силою природы, которая на отдельном субъекте, более отличающемся внешним блеском богатства и т. п., нежели внутренними достоинствами, показывает пример, что индивидуальное должно погибнуть потому, что оно индивидуальное. Погибель

субъекта исходит здесь не от нравственного закона, а от случая, который, однако, находит себе объяснение и оправдание в примиряющей мысли, что смерть — всеобщая необходимость. В трагическом простом вине (die einfache Schuld) возможность вины переходит в действительную вину. Но вина лежит не в необходимом объективном противоречии, а в какой-нибудь запутанности, связанной с действием субъекта. Вина эта нарушает в чем-нибудь нравственную целостность мира. Через нее страдают другие субъекты, и так как вина здесь на одной стороне, то сначала кажется, что они страдают невинно. Но в таком случае субъекты были бы чистым объектом для другого субъекта, что противоречит значению субъективности. Потому они должны открыть в себе слабую сторону какую-нибудь ошибкою, находящеюся в связи с их сильными сторонами, и погибать чрез эту слабую сторону; страдание главного субъекта, как обратная сторона его поступка, истекает силою оскорбленного нравственного порядка из самой вины. Орудием наказания могут быть или оскорбленные субъекты, или сам преступник, сознающий свою вину. Наконец, высшая форма трагического — трагическое нравственное столкновение. Общий нравственный закон дробится на частные требования, которые часто могут находиться в противоположности между собою, так что, удовлетворяя одному, человек необходимо оскорбляет другое. Борьба эта, истекающая из внутренней необходимости, а не из случайностей, может оставаться внутренней борьбою в сердце одного человека. Такова борьба в сердце Антигоны у Софокла. Но как искусство олицетворяет все в отдельных образах, то обыкновенно борьба двух требований нравственного закона представляется в искусстве борьбою двух лиц. Одно из двух противоречащих стремлений справедливее и потому сильнее другого; оно сначала побеждает все, ему сопротивляющееся, и тем самым становится уже несправедливо, подавляя справедливое право противоположного стремления. Теперь справедливость — на стороне, которая сначала была побеждена, и стремление, в сущности более справедливое, погибает под тяжестью собственной несправедливости от ударов противоположного стремления, которое, будучи оскорблено в своем праве, имеет за собой, в начале противодействия, всю силу истины и справедливости, но, побеждая, впадает само точно таким же образом в несправедливость, влекущую за собой гибель или страдание. Прекрасно весь этот ход трагического развивается в «Юлии Цезаре» Шекспи-

ра: Рим стремится к монархической форме правления; представителем этого стремления является Юлий Цезарь; оно справедливее и потому сильнее противоположного направления, стремящегося сохранить издавна установившееся устройство Рима; Юлий Цезарь побеждает Помпея. Но существующее издавна также имеет право существовать (оно разрушается Юлием Цезарем, и оскорбленная им законность восстает против него в лице Брута). Цезарь погибает; но заговорщики сами мучатся сознанием того, что Цезарь, погибший от них, выше их, и сила, которой он был представителем, воскресает в лице триумвиров. Брут и Кассий погибают; но на гробе Брута Антоний и Октавий высказывают свое сожаление о нем. Так совершается, наконец, примирение противоположных стремлений, из которых каждое и справедливо и несправедливо в своей односторонности, которая постепенно сглаживается падением каждого из них; из борьбы и гибели возникают единство и новая жизнь».

Из этого изложения видно, что понятие трагического в немецкой эстетике соединяется с понятием судьбы, так что трагическая участь человека представляется обыкновенно как «столкновение человека с судьбою», как следствие «вмешательства судьбы». Понятие судьбы обыкновенно искажается в новых европейских книгах, старающихся объяснить его нашими научными понятиями, даже связать с ними, потому необходимо представить его во всей чистоте и наготе. Оно через это избавится от несообразного смешения с понятиями науки, в сущности ему противоречащими, и выкажет всю свою неосновательность, которая прячется при новейших переделках его на наши нравы. Живое и неподдельное понятие о судьбе было у старинных греков (т. е. у греков до появления у них философии) и до сих пор живет у многих восточных народов; оно господствует в рассказах Геродота, в греческих мифах, в индийских поэмах, сказках «Тысячи и одной ночи» и проч. Что касается позднейших превращений этого основного воззрения под влиянием понятий о мире, доставленных наукою, эти видоизменения мы считаем лишним исчислять и еще менее находим нужды подвергать их особенной критике, потому что все они, подобно понятию новейших эстетиков о трагическом, представляясь следствием стремления согласить непримиримое — фантастические представления полудикого и научные понятия, — страдают такую же несостоятельностью, как и понятие новейших эстетиков о трагическом: различие только то, что натяну-

тость соединения противоположных начал в предшествующих попытках сближения была очевиднее, нежели в понятии о трагическом, которое составлено с чрезвычайным диалектическим глубокомыслием. Поэтому не считаем за нужное излагать все эти искаженные понятия о судьбе, считая достаточным показать, как угловато виднеется первоначальная основа даже из-под последней и искуснейшей диалектической одежды, которую облеклась она в господствующем ныне эстетическом воззрении на трагическое.

Вот как понимают ход жизни человеческой народы, имеющие неподдельное понятие о судьбе: если я не буду принимать никаких предосторожностей против несчастья, я могу уцелеть, и почти всегда уцелею; но если я приму предосторожности, я непременно погибну, и погибну именно от того, в чем искал спасения. Я собираюсь в дорогу и принимаю все предосторожности против несчастий, могущих случиться в дороге; между прочим, зная, что не везде можно найти медицинские пособия, беру с собою несколько флакончиков с нужнейшими лекарствами и прячу их в боковой карман экипажа. Что необходимо должно выйти из этого по понятиям старинных греков? То, что экипаж мой опрокидывается в дороге, флакончики летят из кармана; опрокидываясь сам, я попадаю виском на один из флакончиков, раздавливая его, осколок стекла врезывается в мой висок, и я умираю. Если бы не взято было мною предосторожностей, не было бы мне никакой беды; но я хотел принять меры против несчастья и погиб от того самого, в чем искал безопасности. Подобный взгляд на человеческую жизнь так мало подходит к нашим понятиям, что имеет для нас интерес только фантастического; трагедия, основанная на идее восточной или старинной греческой судьбы, для нас будет иметь значение сказки, обезображенной переделкою. А между тем все представленное нами изложение понятий о трагическом в немецкой эстетике есть только опыт привести понятие о судьбе в согласие с понятиями современной науки. Это введение понятия о судьбе в науку посредством эстетического воззрения на сущность трагического было сделано с чрезвычайным глубокомыслием, свидетельствующим о великой силе умов, трудившихся над примирением чуждых науке воззрений на жизнь с понятиями науки; но эта глубокомысленная попытка служит решительным доказательством того, что подобные стремления никогда не могут быть успешны: наука может только объяснить происхождение

фантастических мнений полудикого человека, но не примирить их с истиною. Понятие о судьбе родилось и развилось следующим образом.

Одно из действий образованности на человека состоит в том, что она, расширяя круг его зрения, дает ему возможность понимать в истинном смысле явления, не сходные с ближайшими к нему, которые одни только кажутся удобопонятными для необразованного ума, не постигающего явлений, чуждых непосредственной сфере его жизненных отправлений. Наука дает человеку понятие о том, что жизнь природы, жизнь растений и животных совершенно отлична от человеческой жизни. Дикарь или полудикий человек не представляет себе жизни иной, как та, которую знает он непосредственно, как человеческую жизнь; ему кажется, что дерево говорит, чувствует, наслаждается и страдает, подобно человеку; что животные действуют так же сознательно, как человек, — у них свой язык; даже и на человеческом языке не говорят они только потому, что хитры и надеются выиграть молчанием больше, нежели разговорами. Точно так же он воображает себе жизнь реки, скалы; скала — это окаменевший богатырь, сохранивший чувства и мысль; река — это наяда, русалка, водяной. Землетрясения Сицилии происходят оттого, что гигант, заваленный этим островом, старается сбросить тяжесть, которая лежит на его членах. Во всей природе видит дикарь человекоподобную жизнь, все явления природы производит от сознательного действия человекообразных существ. Как он очеловечивает ветер, холод, жар (припомним нашу сказку о том, как спорили мужик-ветер, мужик-мороз, мужик-солнце, кто из них сильнее), болезни (рассказы о холере, о двенадцати сестрах-лихорадках, о цынге; последний — между шпицбергенскими промышленниками), точно так же очеловечивает он и силу случая. Приписывать его действия произволу человекообразного существа еще легче, нежели объяснять подобным образом другие явления природы и жизни, потому что именно действия случая скорее, нежели явления других сил, могут пробудить мысль о капризе, произволе, о всех тех качествах, которые составляют исключительную принадлежность человеческой личности. Посмотрим же, каким образом из воззрения на случай как на дело человекообразного существа развиваются все качества, приписываемые судьбе дикими и полудикими народами. Чем важнее дело, задуманное человеком, тем больше нужно условий, чтобы оно исполнилось именно так, как задумано;

почти никогда все условия не встретятся так, как человек рассчитывал, и потому почти никогда важное дело не делается *именно* так, как предполагал человек. Эта случайность, расстраивающая наши планы, кажется полудикому человеку, как мы сказали, делом человекообразного существа, *судьбы*; из этого основного характера, замечаемого в случае, или судьбе, сами собою следуют все качества, придаваемые судьбе современными дикарями, очень многими восточными народами и старинными греками. Ясно, что самые важные дела именно и служат игралищем судьбы (потому, как мы сказали, что чем важнее дело, тем от большего числа условий оно зависит, и следовательно, тем обширнее в нем поле для случайностей); идем далее. Случай уничтожает наши расчеты — значит, судьба любит уничтожать наши расчеты, любит посмеяться над человеком и его расчетами; случай невозможно предусмотреть, невозможно сказать, почему случилось так, а не иначе, — следовательно, судьба капризна, своенравна; случай часто пагубен для человека — следовательно, судьба любит вредить человеку, судьба зла; и в самом деле у греков судьба — человеконенавистница; злой и сильный человек любит вредить именно самым лучшим, самым умным, самым счастливым людям — их преимущественно любит губить и судьба; злобный, капризный и очень сильный человек любит выказывать свое могущество, говоря наперед тому, кого хочет уничтожить: «я хочу сделать с тобою вот что; попробуй бороться со мною», — так и судьба объявляет вперед свои решения, чтобы иметь злую радость доказать нам наше бессилие перед нею и посмеяться над нашими слабыми, безуспешными попытками бороться с нею, избежать ее. Станным кажутся нам теперь подобные мнения. Но посмотрим, как они отразились в эстетической теории трагического.

Она говорит: «свободное действие человека возмущает естественный ход природы; природа и ее законы восстают против оскорбителя своих прав; следствием этого бывают страдание и гибель действующего лица, если действие было так могущественно, что вызванное им противодействие было серьезно: потому все великое подлежит трагической участи». Природа здесь представляется живым существом, чрезвычайно раздражительным, чрезвычайно щекотливым насчет своей неприкосновенности. Неужели в самом деле природа оскорбляется? неужели в самом деле природа мстит? Нет; она продолжает вечно действовать по своим законам, она не знает о человеке и его делах, о его

счастью и его гибели; ее законы могут иметь и часто имеют пагубное для человека и его дел действие; но на них же опирается всякое человеческое действие. Природа бесстрастна к человеку; она не враг и не друг ему: она — то удобное, то неудобное поприще для его деятельности. В том нет сомнения, что всякое важное дело человека требует сильной борьбы с природою или с другими людьми; но почему это так? Потому только, что, как бы ни было само по себе важно дело, мы привыкли не считать его важным, если оно совершается без сильной борьбы. Так, дыхание важнее всего в жизни человека; но мы не обращаем и внимания на него, потому что ему обыкновенно не противостоят никакие препятствия; для дикаря, питающегося даром ему достаемыми плодами хлебного дерева, и для европейца, которому хлеб достается только через тяжелую работу земледелия, пища одинаково важна; но собирание плодов хлебного дерева — «не важное» дело, потому что оно легко; «важно» земледелие, потому что оно тяжело. Итак, не все важные по существенному значению своему дела требуют борьбы; но мы привыкли называть важными только те из важных в сущности дел, которые трудны. Много есть драгоценных вещей, которые не имеют никакой цены, потому что достаются даром, напр., вода и солнечный свет; и много есть очень важных дел, которым не придается никакой важности потому только, что они делаются легко. Но согласимся с обыкновенною фразеологиею; пусть важны будут только те дела, которые требуют тяжелой борьбы. Неужели эта борьба всегда трагична? Вовсе нет; иногда трагична, иногда не трагична, как случится. Мореходец борется с морем, бурями, подводными скалами; тяжело его поприще; но разве необходимо этому поприщу быть трагичным? На один корабль, который будет разбит бурей о подводные скалы, приходится сотня кораблей, которые невредимы достигают гавани. Пусть всегда нужна борьба; но не всегда борьба бывает несчастна. А счастливая борьба, как бы ни была она тяжела, — не страдание, а наслаждение, не трагична, а только драматична. И не правда ли, что если приняты все нужные предосторожности, то почти всегда дело кончается счастливо? Где же необходимость трагического в природе? Трагическое в борьбе с природою — случайность. Этим одним разрушается теория, видящая в нем «закон вселенной». «Но общество? но другие люди? разве не должен выдержать с ними тяжелую борьбу всякий великий человек?» Опять надобно сказать, что не всегда сопряжены

с тяжелою борьбою великие события в истории, но что мы, по злоупотреблению языка, привыкли называть великими событиями только те, которые были сопряжены с тяжелою борьбою. Крещение франков было великим событием; но где же при нем тяжелая борьба? Не было тяжелой борьбы и при крещении русских. Трагична ли судьба великих людей? Иногда трагична, иногда не трагична, как и участь мелких людей; необходимости тут нет никакой. И даже надобно вообще сказать, что участь великих людей обыкновенно бывает легче участи незамечательных людей; впрочем, опять не от особенного расположения судьбы к замечательным или нерасположения к незамечательным людям, а просто потому, что у первых больше сил, ума, энергии, что другие люди больше питают к ним уважения, сочувствия, скорее готовы содействовать им. Если в людях есть склонность завидовать чужому величию, то еще больше в них склонности уважать величие; общество будет благоговеть перед великим человеком, если нет особенных, случайных причин обществу считать его вредным для себя. Трагична или не трагична судьба великого человека, зависит от обстоятельств; и в истории менее можно встретить великих людей, участь которых была трагична, нежели таких, в жизни которых много было драматизма, но не было трагичности. Крез, Помпей, Юлий Цезарь имели трагическую судьбу; но Нума Помпилий, Марий, Сулла, Август окончили свое поприще очень счастливо. Что можно найти трагического в судьбе Карла Великого, Петра Великого, Фридриха II, в жизни Лютера, Вольтера (самого Гегеля?). Борьбы в жизни этих людей было много; но, говоря вообще, надобно сознаться, что удача и счастье были на их стороне. А если Сервантес умер в нищете, то разве не умирают в нищете тысячи незамечательных людей, которые могли бы не менее Сервантеса рассчитывать на счастливую развязку в жизни и по своей незначительности вовсе не могли подлежать закону трагизма? Случайности жизни безразлично поражают замечательных и незамечательных людей, безразлично благоприятствуют тем и другим. Но продолжаем наш обзор и от общего понятия о трагическом переходим к трагическому «простой вины».

«В характере великого человека, — говорит господствующая эстетическая теория, — всегда есть слабая сторона; в действовании замечательного человека есть всегда что-нибудь ошибочное или преступное. Эта слабость, проступок, преступление губят его. А между тем они необходимо

лежат в глубине его характера, так что великий человек гибнет от того же самого, в чем источник его величия». Не подвержено никакому сомнению, что часто бывает это на самом деле: бесконечные войны возвысили Наполеона; они же и низвергли его; почти то же было и с Людовиком XIV. Но не всегда бывает так. Часто великий человек погибает без всякой вины с своей стороны. Так погиб Генрих IV, и с ним вместе пал Сюлли. До некоторой степени это безвинное падение находим и в трагедиях, несмотря на то, что авторы их бывали связаны своими понятиями: неужели Деждемона была в самом деле причиной своей гибели? Всякий видит, что одни гнусные хитрости Яго погубили ее. Неужели Ромео и Джульетта сами были причиной своей гибели? Конечно, если мы захотим непременно в каждом погибающем видеть преступника, то можем обвинять всех: Деждемона виновата тем, что была невинна душою и, следовательно, не могла предвидеть клеветы; Ромео и Джульетта виноваты тем, что любят друг друга. Мысль видеть в каждом погибающем виноватого — мысль натянутая и жестокая. Связь ее с идеею греческой судьбы и различными ее видоизменениями очень ясна. Здесь можно указать на одну сторону этой связи: по греческим понятиям о судьбе, в гибели своей бывает всегда виноват сам человек; если бы он поступил иначе, его не постигла бы гибель.

Другой род трагического — трагическое нравственного столкновения — эстетика выводит из той же мысли, только взятой наоборот: в трагическом простом вины основанием трагической судьбы считают мнимую истину, что каждое бедствие, и особенно величайшее из бедствий — гибель, есть следствие преступления; в трагическом нравственного столкновения (основываются эстетики гегелевской школы на) мысли, что за преступлением всегда следует наказание преступника или гибелью или мучениями его собственной совести. И эта мысль явным образом ведет свое начало от предания о фуриях, бичующих преступника. Само собою разумеется, что в ней под преступлениями разумеются не в частности уголовные преступления, которые всегда наказываются государственными законами, а вообще нравственные преступления, которые могут быть наказаны только или стечением обстоятельств, или общественным мнением, или совестью самого преступника.

Что касается до наказания посредством стечения обстоятельств, то мы уже давно подсмеиваемся над старинными романами, в которых «всегда под конец торжество-

вала добродетель и наказывался порок». Правда, мы могли бы не забывать при этом, что и в наше время пишутся подобные романы (в пример укажем на большую часть диккенсовых). Но мы во всяком случае начинаем понимать, что земля не место суда, а место жизни. Однако романистам и эстетикам все-таки непременно хочется, чтобы порок и преступление наказывались на земле. И вот явилась теория, утверждающая, что они *всегда* наказываются общественным мнением и угрызениями совести. Но и это бывает не всегда. Что касается до общественного мнения, то оно преследует далеко не все нравственные преступления. А если голос общества не пробуждает ежеминутно нашей совести, то в самой большей части случаев она и не проснется в нас, или, проснувшись, очень скоро заснет. Всякий образованный человек понимает, как смешно смотреть на мир теми глазами, какими смотрели греки геродотовских времен; всякий ныне очень хорошо понимает, что в страдании и гибели великих людей нет ничего необходимого; что не всякий гибнущий человек гибнет за свои преступления, что не всякий преступник погибает; что не всякое преступление наказывается судом общественного мнения, и проч. Потому нельзя не сказать, что трагическое не всегда пробуждает в нас идею необходимости и что вовсе не в идее необходимости основание действия его на человека и сущность его. В чем же сущность трагического?

Трагическое есть страдание или гибель человека — этого совершенно достаточно, чтобы исполнить нас ужасом и состраданием, хотя бы в этом страдании, в этой гибели и не проявлялась никакая «бесконечно могущественная и неотразимая сила». Случай или необходимость — причина страдания и гибели человека, — все равно, страдание и гибель ужасны. Нам говорят: «чисто случайная гибель — нелепость в трагедии», — в трагедиях, писанных авторами, может быть; в действительной жизни — нет. В поэзии автор считает необходимою обязанностью «выводить развязку из самой завязки»; в жизни развязка часто совершенно случайна, и трагическая участь может быть совершенно случайною, не переставая быть трагическою. Мы согласны, что трагична участь Макбета и леди Макбет, необходимо вытекающая из их положения и дел. Но неужели не трагична участь Густава-Адольфа, который погиб совершенно случайно в битве под Люценом, на пути торжества и побед? Определение:

кажется, будет совершенно полным определением трагического в жизни и в искусстве. Правда, что большая часть произведений искусства дает право прибавить: «ужасное, постигающее человека, более или менее неизбежно»; но, во-первых, сомнительно, до какой степени справедливо поступает искусство, представляя это ужасное почти всегда неизбежным, когда в самой действительности оно бывает большею частью вовсе не неизбежно, а чисто случайно; во-вторых, кажется, что очень часто только по привычке доискиваться во всяком великом произведении искусства «необходимого сцепления обстоятельств», «необходимого развития действия из сущности самого действия» мы находим, с грехом пополам, «необходимость в ходе событий» и там, где ее вовсе нет, например, в большей части трагедий Шекспира⁷.

С господствующим определением комического — «комическое есть перевес образа над идеею», иначе сказать: внутренняя пустота и ничтожность, прикрываемая внешностью, имеющею притязание на содержание и реальное значение, — нельзя не согласиться; но вместе с тем надобно сказать, что (Фишер, автор наилучшей эстетики в Германии, слишком ограничил) понятие комического, противопоставляя его, для сохранения (гегелевского) диалектического метода развития понятий, только понятию возвышенного. Комическое мелочное и комическое глупое или тупоумное, конечно, противоположно возвышенному; но комическое уродливое, комическое безобразное противоположно прекрасному, а не возвышенному. Возвышенное, по изложению самого Фишера, может быть безобразным; каким же образом комическое безобразное противоположно возвышенному, когда они различны между собой не сущностью, а степенью, не качеством, а количеством, когда безобразное мелочное принадлежит к комическому, безобразное огромное или страшное принадлежит к возвышенному? — Что безобразное противоположно прекрасному, ясно само по себе.

Окончив разбор понятий о сущности прекрасного и возвышенного, должно теперь перейти к разбору господствующих взглядов на различные способы осуществления идеи прекрасного.

Здесь-то, кажется, сильнее всего выказывается важность основных понятий, анализ которых занял так много страниц в этом очерке: отступление от господствующего

взгляда на сущность того, что служит главнейшим содержанием искусства, необходимо ведет к изменению понятий и о самой сущности искусства. Господствующая ныне система эстетики совершенно справедливо различает три формы существования прекрасного, под которыми понимаются в ней, как его видоизменения, также возвышенное и комическое. (Мы будем говорить только о прекрасном потому, что было бы утомительно повторять три раза одно и то же: все, что говорится в господствующей ныне эстетике о прекрасном, совершенно прилагается в ней к его видоизменениям; точно так же наша критика господствующих понятий о различных формах прекрасного и наши собственные понятия об отношении прекрасного в искусстве к прекрасному в действительности вполне прилагаются и ко всем остальным элементам, входящим в содержание искусства, а в числе их к возвышенному и комическому.)

Три различные формы, в которых существует прекрасное, следующие: прекрасное в действительности (или в природе) (как выражается гегелевская школа), прекрасное в фантазии и прекрасное в искусстве (в действительном бытии), придаваемом ему творческою фантазиею человека). Первый из основных вопросов, здесь встречающихся, — вопрос об отношении прекрасного в действительности к прекрасному в фантазии и в искусстве. (Гегелевская эстетика) решает его так: прекрасное в объективной действительности имеет недостатки, уничтожающие красоту его, и наша фантазия поэтому принуждена прекрасное, находимое в объективной действительности, переделывать для того, чтобы, освободив его от недостатков, неразлучных с реальным его существованием, сделать его истинно прекрасным. Фишер полнее и резче других эстетиков входит в анализ недостатков объективного прекрасного. Поэтому его анализ и должно подвергнуть критике. Для избежания упрека в том, что преднамеренно смягчил я недостатки, выставляемые на вид немецкими эстетиками в объективном прекрасном, я должен буквально привести здесь фишерovu критику прекрасного в действительности (Aesthetik, II Teil, Seite 299 und folg.).

«Внутренняя несостоятельность всей объективной формы существования прекрасного открывается в том, что красота находится в чрезвычайно шатком отношении к целям исторического движения даже и на том поприще, где она кажется наиболее обеспеченною (т. е. в человеке; исторические события часто уничтожают много прекрасного; например, говорит Фишер, реформация уничтожила веселую привольность и пестрое

разнообразие немецкой жизни XIII — XV столетий). Но вообще очевидно, что предполагаемая в § 234 благосклонность случая редко имеет место в действительности. (§ 234 *говорит*: для бытия красоты необходимо, чтобы при осуществлении прекрасного не было вмешательства вредных случайностей (*der störende Zufall*). Сущность случайности состоит в том, что она может быть и не быть, или быть иначе; следовательно, вредная случайность может иногда и не быть в предмете. Потому кажется, что вместе с безобразными индивидуумами должны быть и истинно прекрасные). Кроме того, именно по самой живости (*Lebendigkeit*), составляющей неотъемлемое преимущество прекрасного в действительности, красота его мимолетна; основание этой мимолетности в том, что прекрасное в действительности возникает не из стремления к прекрасному; оно возникает и существует по общему стремлению природы к жизни, при осуществлении которого появляется только вследствие случайных обстоятельств, а не как что-нибудь преднамеренное (*alles Naturschöne nicht gewollt ist*).

... Проблески прекрасного редки в истории; редко вполне прекрасное и в природе вообще. В известном своем письме Рафаэль, живший в стране красоты, жалуется на *carezza di belle donne*⁸; и не часто встречаются в Риме такие модели, какова была Виттория из Альбано во время Румора. «Последнее создание все выше и выше стремящейся природы — прекрасный человек. Правда, *редко* создает она его, потому что слишком много условий, противодействующих ее идеям» (Гёте). Все живущее имеет множество врагов. Борьба с ними может быть возвышенною или комическою; но редки случаи, когда безобразное переходит в комическое или возвышенное. Мы стоим среди жизни и ее бесконечно разнообразных отношений. Потому прекрасное в природе живо; но, находясь среди неисчислимо разнообразных отношений, оно подвергается столкновениям, порче со всех сторон; потому что природа заботится о всей массе предметов, а не об одном отдельном предмете, ей нужно сохранение, а не собственно красота. Если так, то для природы нет потребности поддерживать прекрасным и то немногое прекрасное, которое она случайно производит: жизнь стремится вперед, не заботясь о гибели образа, или сохраняет его только искаженным. «Природа борется из-за жизни и бытия, из-за сохранения и размножения своих произведений, не заботясь о их красоте или безобразии. Форма, от рождения предназначенная быть прекрасною, может случаем повредиться в какой-нибудь части; тотчас же страдают от этого и другие части; потому что природе тогда бывают нужные силы для восстановления поврежденной части, и она отнимает их у других частей, что необходимо вредит их развитию. Существо становится уже не таким, каким должно было быть, а таким, каким может быть» (Гёте, в примеч. к Дидро). Заметно или незаметно, повреждения повторяются и увеличиваются, пока все существо разрушится. Мимолетность, непрочность — скорбная участь всего прекрасного в природе. Не только прекрасное освещение пейзажа, но и цветущая пора органической жизни — одно мгновение. «Говоря строго, можно сказать, что только в продолжение одного мгновения прекрасен прекрасный человек». «Чрезвычайно непродолжителен период времени, в течение которого человеческое тело может называться прекрасным...» (Гёте) Правда, из увядшей красоты юности развивается высшая красота — красота характера, которую воззрение замечает в чертах физиогномии и в поступках. Но и эта красота мимолетна: потому что характер заботится о нравственных целях, а не о красоте фигуры и движений при их достижении... В одно время личность бывает исполнена сознанием своей нравственной цели, является так, как есть, прекрасною в глубочайшем смысле слова; но в другое время человек занят бывает чем-нибудь имеющим только посредственную связь

с целью жизни его, и при этом истинное содержание характера не проявляется в выражении лица; иногда человек бывает занят делом, возлагаемым на него только житейскою или жизненною необходимостью, и при этом всякое высшее выражение погребено под равнодушием или скукою, неохотою. Так бывает и во всех сферах природы, принадлежат ли они или нет к нравственной области... Эта группа сражающихся воинов располагается и движется, как будто бы воспламененная духом Марса; но через минуту она рассыпалась, движения перестали быть прекрасны, лучшие люди лежат ранены или убиты: эти воины не *tableau vivant*⁹, они думают о битве, а не о том, чтоб их битва имела прекрасный вид. Непреднамеренность (*das Nichtgewolltsein*) — сущность всего прекрасного в природе; она лежит в его сущности в такой степени, что на нас чрезвычайно неприятно действует, если мы замечаем в сфере реального прекрасного какой бы то ни было преднамеренный расчет именно на красоту. Красота, сознающая свою красоту и занимающаяся ею, учащаяся перед зеркалом быть прекрасною, суетна, т. е. ничтожна. Аффектация красоты в действительно существующем — совершенная противоположность истинной грации... Случайность, непреднамеренность красоты, ее незнание о самой себе — зерно смерти, но и прелесть прекрасного в действительности; так что в сознательной сфере прекрасное исчезает в ту минуту, как узнает о своей красоте, начинает любоваться на нее. Наивность простого человека погибает, как скоро касается до него цивилизация; народные песни исчезают, когда обращают на них внимание, начинают собирать их; живописный костюм полудиких народов перестает им нравиться, когда они видят кокетливый фрак живописца, пришедшего изучать их; если цивилизация, прельстившись живописным нарядом, хочет сохранить его, он уже обратился в маску, и народ покидает его.

Но благоприятность случая не только редка и мимолетна, — она вообще должна считаться благоприятностью только относительно: вредная, искажающая случайность всегда оказывается в природе не вполне побежденною, если мы отбросим светлую маску, накидываемую отдаленностью места и времени на восприятие (*Wahrnehmung*) прекрасного в природе, и строже всмотримся в предмет; искажающая случайность вносит в прекрасную, по-видимому, группировку нескольких предметов много такого, что вредит ее полной красоте; мало того, эта вредящая случайность вторгается и в отдельный предмет, который казался нам сначала вполне прекрасен, и мы видим, что ничто не изъято от ее владычества. Если мы сначала не замечали недостатков, это произошло из другой благоприятности случая — из счастливого расположения нашего духа, которое делало субъект способным видеть предмет с точки зрения чистой формы. Ближайшим образом такое расположение духа возбуждает в нас самый предмет своею относительною чистотою от искажающего случая.

Надобно только ближе посмотреть на прекрасное в действительности, чтобы убедиться, что оно не истинно прекрасно: тогда будет ясно, что мы до сих пор только скрывали от себя очевидную истину. Эта истина — необходимое и повсеместное владычество искажающего случая. Не мы должны доказывать, что оно простирается решительно на все, а нуждались бы в доказательствах противоположная мысль, нуждалось бы в доказательствах мнение, что, при бесконечно разнообразном и тесном сцеплении всего в мире, какой бы то ни было отдельный предмет может сохраниться в целости от всех препятствий, помех, искажающих столкновений. Мы должны только исследовать, откуда происходит обольщение, говорящее нашим чувствам, будто бы иные предметы составляют исключение из общего закона подвластности искажающему случаю; это мы сделаем впоследствии; а теперь покажем только, что видимые исключе-

ния из общего правила действительно составляют обольщение, призрак (ein Schein). Некоторые прекрасные предметы составляют соединение многих предметов; в этом случае, всматриваясь внимательнее, мы всегда найдем, во-первых, что мы видим эти предметы в такой связи, в таком соотношении только потому, что случайно стали на известное место, случайно смотрим на них с известной точки зрения. Особенно прилагается это к ландшафтам: их равнины, горы, деревья ничего не знают друг о друге; им не может вздуматься соединиться в живописное целое; в стройных очерках и красках мы их видим только потому, что сами стоим на том, а не на другом месте. Но и с этой благоприятной точки зрения мы найдем здесь кустарник, там холм, нарушающий гармонию; тут недостаток возвышения, там — тени; и мы должны будем сознаться, что внутренний глаз переделывал, дополнял, исправлял ландшафт. То же самое бывает и с движущимся, действующею группою живых существ. Иногда сцена может быть и в самом деле полна значения и выражения, но в ней группы, существенно связанные, разделены пространством; внутренний глаз опять уничтожает его, сближает связанное, выбрасывает ненужное, лишнее. Другие предметы прекрасны в отдельности. Тогда мы отказываемся от красоты обстановки, выпускаем обстановку из самого воззрения, совершаем акт отделения предмета от обстановки, большую частью бессознательно и безнамеренно; когда красавица входит в общество, наши глаза устремляются исключительно на нее, мы забываем о других лицах. Но и в том и в другом случае, в отдельном ли предмете мы находим красоту или в сгруппировке предметов, следствие будет одно и то же, если мы строже рассмотрим красоту. На поверхности прекрасного предмета мы откроем то же, что в прекрасной сгруппировке предметов: между прекрасными частями найдутся некрасивые, и найдутся они в каждом предмете, как бы ни благоприятствовала ему каждая случайность. Хорошо еще, что наш глаз — не микроскоп, и простое зрение уже идеализирует предметы; иначе грязь и инфузории в чистой воде, нечистоты на нежнейшей коже разрушали бы для нас всякую красоту. Мы видим только при известной степени отдаления. А отдаленность идеализирует уже сама по себе. Она не только скрывает нечистоту поверхности, но и вообще сглаживает подробности состава тел, приковывающие их к земле, отнимает пошлую ясность, точность, считающую песчинки, ставящую «каждое лыко в строку». Так уже самый процесс зрения берет на себя часть труда возведения предмета к чистой форме. Отдаленность во времени действует так же, как отдаленность в пространстве: история и воспоминание передают нам не все мелкие подробности о великом человеке или великом событии; они умалчивают о мелких, второстепенных мотивах великого явления, о его слабых сторонах; они умалчивают о том, сколько времени в жизни великих людей было потрачено на одеванье и раздеванье, еду, питье, насморк и т. п. Но мало того, что через это скрывается от нас мелочное и мешающее красоте; при внимательном рассмотрении даже в прекраснейшем, по-видимому, предмете мы ясно замечаем очень много важных и важных недостатков. Если бы, напр., в человеческой фигуре и не было отпечатлено никаких искажающих случайностей на поверхности, то в основных формах непременно замечается нами какое-нибудь нарушение пропорциональности. Это ясно будет, как только мы взглянем на гипсовую модель, в точности снятую с действительного лица. Румор в предисловии к своим «Итальянским исследованиям» чрезвычайно перепутал все относящиеся сюда понятия: он хочет обличить ложность фальшивого идеализма в искусстве, стремящегося улучшать природу в ее чистых и постоянных формах; он справедливо говорит против подобного идеализма, что искусство не может переделывать неизменных форм природы, которые даются ему природою

необходимо и неизменно. Но вопрос в том, находятся ли в действительности в совершенно чистом развитии основные, ненарушимые для искусства формы природы. Румор отвечает на это, что «природа не отдельный предмет, представляющийся нам под владычеством случая, а совокупность всех живых форм, совокупность всего произведенного природою, или, лучше сказать, сама производящая сила», — ей должен предаться художник, не довольствуясь отдельными моделями. Это совершенно справедливо. Но Румор впадает потом в натурализм, который хочет преследовать, как и ложный идеализм: его положение, что «природа наилучшим образом выражает все своими формами», становится опасным, когда он прилагает его к отдельному явлению и, противореча тому, что сам сказал выше, утверждает, будто бы в действительности бывают «совершенные модели», как, напр., Виттория из Альбано, которая была «прекраснее всех созданий искусства в Риме, красота которой была недосыгаема для художников». Мы твердо убеждены, что ни один из художников, бравших ее моделью, не мог перенести в свое произведение всех ее форм в том виде, в каком находил, потому что Виттория была *отдельная* красавица, а индивидуум не может быть абсолютным; этим дело решается, более мы не хотим и говорить о вопросе, который предлагает Румор. Если даже согласимся, что в Виттории были совершенные все основные формы, то кровь, теплота, процесс жизни с искажающими красотой подробностями, следы которых остаются на коже, — все эти подробности были бы достаточны, чтобы поставить живое существо, о котором говорит Румор, несравненно ниже тех высоких произведений искусства, которые имеют только воображаемую кровь, теплоту, процесс жизни на коже и т. д.

Итак, предмет, принадлежащий к редким явлениям красоты, как показывает ближайшее рассмотрение, не истинно прекрасен, а только ближе других к прекрасному, свободнее от искажающих случайностей». ¹⁰

Прежде нежели подвергнем критике отдельные упреки, делаемые прекрасному в действительности, смело можно сказать, что оно истинно прекрасно и вполне удовлетворяет здорового человека, несмотря на все свои недостатки, как бы ни были они велики. Конечно, праздная фантазия может о всем говорить: «здесь это не так, этого недостает, это лишнее», но такое развитие фантазии, не довольствующейся ничем, надобно признать болезненным явлением. Здоровый человек встречает в действительности очень много таких предметов и явлений, смотря на которые не приходит ему в голову желать, чтобы они были не так, как есть, или были лучше. Мнение, будто человеку непременно нужно «совершенство», — мнение фантастическое, если под «совершенством» понимать такой вид предмета, который бы совмещал все возможные достоинства и был чужд всех недостатков, какие от нечего делать может отыскать в предмете фантазия человека с холодным или пресыщенным сердцем. «Совершенство» для меня то, что для меня вполне удовлетворительно в своем роде. А таких явлений видит здоровый человек в действительности очень много. Когда у человека сердце пусто, он может давать волю

своему воображению; но как скоро есть хотя сколько-нибудь удовлетворительная действительность, крылья фантазии связаны. Фантазия вообще овладевает нами только тогда, когда мы слишком скудны в действительности. Лежа на голых досках, человеку иногда приходит в голову мечтать о роскошной постели, о кровати какого-нибудь неслыханно драгоценного дерева, о пуховике из гагачьего пуха, о подушках с брабантскими кружевами, о пологе из какой-то невообразимой лионской материи, — но неужели станет мечтать обо всем этом здоровый человек, когда у него есть не роскошная, но довольно мягкая и удобная постель? «От добра добра не ищут». Если человеку пришлось жить среди сибирских тундр или в заволжских солончаках, он может мечтать о волшебных садах с невиданными на земле деревьями, у которых коралловые ветви, изумрудные листья, рубиновые плоды; но, переселившись в какую-нибудь Курскую губернию, получив полную возможность гулять досыта по небогатому, но сносному саду с яблонями, вишнями, грушами, мечтатель наверное забудет не только о садах «Тысячи и одной ночи», но и лимонных рощах Испании. Воображение строит свои воздушные замки тогда, когда нет на деле не только хорошего дома, даже сносной избушки. Оно разыгрывается тогда, когда не заняты чувства; бедность действительной жизни — источник жизни в фантазии. Но едва делается действительность сколько-нибудь сносною, скучны и бледны кажутся нам пред нею все мечты воображения. Мнение, будто бы «желания человеческие беспредельны», ложно в том смысле, в каком понимается обыкновенно, в смысле, что «никакая действительность не может удовлетворить их»; напротив, человек удовлетворяется не только «наилучшим, что может быть в действительности», но и довольно посредственною действительностью. Надобно различать то, что чувствуется на самом деле, от того, что только говорится. Желания раздражаются мечтательным образом до горячего напряжения только при совершенном отсутствии здоровой, хотя бы и довольно простой пищи. Это факт, доказываемый всей историей человечества и испытанный на себе всяким, кто жил и наблюдал себя. Он составляет частный случай общего закона человеческой жизни, что страсти достигают ненормального развития только вследствие ненормального положения предающегося им человека, и только в таком случае, когда «естественная и в сущности довольно спокойная потребность, из которой возникает та или другая страсть, слиш-

ком долго не находила себе соответственного удовлетворения, спокойного и далеко не титанического. Несомненно то, что организм человека не требует и не может выносить титанических стремлений и удовлетворений; несомненно и то, что в здоровом человеке стремления соразмерны с силами организма. С этой общей точки перейдем на другую, специальную.

Известно, что чувства наши скоро утомляются и пресыщаются, т. е. удовлетворяются. Это справедливо не только относительно низших чувств (осозания, обоняния, вкуса), но также и относительно высших — зрения и слуха. С чувствами зрения и слуха неразрывно соединено эстетическое чувство и не может быть мыслимо без них. Когда у человека от утомления исчезает охота смотреть на прекрасное, не может не исчезать и потребность эстетического наслаждения этим прекрасным. И если человек не может целый месяц ежедневно смотреть, не утомляясь, на картину, хотя бы рафаэлевскую, то нет сомнения, что не одни глаза его, но также и чувство эстетическое пресытилось, удовлетворено на некоторое время. Что достоверно относительно продолжительности наслаждения, то же самое должно сказать и об его интенсивности. При нормальном удовлетворении сила эстетического наслаждения имеет свои пределы. Если она иногда переходит их, это бывает следствием не внутреннего и натурального развития, а особенных обстоятельств, более или менее случайных и ненормальных (напр., мы особенно восторженно восхищаемся прекрасным, когда знаем, что скоро должны будем расстаться с ним, что не будем иметь столько времени наслаждаться им, сколько нам хотелось бы, и т. п.). Одним словом, нет, по-видимому, возможности подвергать сомнению факт, что наше эстетическое чувство, подобно всем другим, имеет свои нормальные границы относительно продолжительности и интенсивности своего напряженного состояния и что в этих двух смыслах нельзя называть его ненасытным или бесконечным.

Точно так же оно имеет границы — и довольно тесные — относительно своей разборчивости, тонкости, требовательности или так называемой жажды совершенства. Мы впоследствии будем иметь случай говорить, как многое, даже вовсе не первоклассное по красоте своей, удовлетворяет эстетическому чувству в действительности. Здесь мы хотим сказать, что и в области искусства разборчивость его в сущности очень снисходительна. За одно какое-нибудь достоинство мы прощаем произведению

искусства сотни недостатков; даже не замечаем их, если только они не слишком безобразны. В пример довольно указать на большую часть произведений римской поэзии. Не восхищаться Горацием, Вергилием, Овидием может только тот, у кого недостает эстетического чувства. А сколько в этих поэтах слабых сторон! Собственно говоря, все в них слабо, кроме одного — отделки языка и развития мыслей. Содержания у них или вовсе нет, или оно самое ничтожное; самостоятельности нет; свежести нет; простоты нет; у Вергилия и Горация почти нигде нет даже искренности и увлечения. Но пусть критика указывает нам все эти недостатки — с тем вместе она прибавляет, что форма у этих поэтов доведена до высокого совершенства, и нашему эстетическому чувству довольно этой одной капли хорошего, чтобы удовлетворяться и наслаждаться. А между тем даже и в отделке формы у всех этих поэтов есть значительные недостатки: Овидий и Вергилий почти всегда растянуты; очень часто растянуты и горациевы оды; монотонность во всех трех поэтах чрезвычайно велика; часто неприятным образом бросается в глаза искусственность, натянутость. Нужды нет, все-таки остается в них нечто хорошее, и мы наслаждаемся. Как совершенную противоположность этим поэтам внешней отделки, можно привести в пример народную поэзию. Какова бы ни была первоначальная форма народных песен, но до нас доходят они почти всегда искаженными, переделанными или растерзанными на куски; монотонность их также очень велика; наконец, есть во всех народных песнях механические приемы, проглядывают общие пружины, без помощи которых никогда не развивают они своих тем; но в народной поэзии очень много свежести, простоты — и этого довольно для нашего эстетического чувства, чтобы восхищаться народной поэзией.

Одним словом, как и всякое здоровое чувство, как всякая истинная потребность, эстетическое чувство имеет больше стремления удовлетворяться, нежели требовательности в претензиях; оно по своей натуре радуется удовлетворяясь, недовольно отсутствием пищи, потому готово удовлетворяться первым сносным предметом. Малотребовательность эстетического чувства доказывается и тем, что, имея первоклассные произведения, оно вовсе не пренебрегает второклассными. Рафаэлевые картины не заставляют нас находить плохими произведения Грёза; имея Шекспира, мы с наслаждением перечитываем произведения второстепенных, даже третьестепенных поэтов.

Эстетическое чувство ищет хорошего, а не фантастически совершенного. Потому, если бы в действительном прекрасном было очень много важных недостатков, мы все-таки удовлетворялись бы им. Но посмотрим ближе, до какой степени справедливы упреки, делаемые прекрасному в действительности, и до какой степени справедливы следствия, из них выводимые.

I. «Прекрасное в природе непреднамеренно; уже по этому одному не может быть оно так хорошо, как прекрасное в искусстве, создаваемое преднамеренно». — Действительно, неодушевленная природа не думает о красоте своих произведений, как дерево не думает о том, чтобы его плоды были вкусны. Но тем не менее надобно признаться, что наше искусство до сих пор не могло создать ничего подобного даже апельсину или яблоку, не говоря уже о роскошных плодах тропических земель. Конечно, преднамеренное произведение будет по достоинству выше непреднамеренного, но только тогда, когда силы производителей равны. А силы человека гораздо слабее сил природы, работа его чрезвычайно груба, неловка, неуклюжа в сравнении с работой природы. И потому в произведениях искусства превосходство со стороны преднамеренности перевешивается, и далеко перевешивается, слабостью их в исполнении. Притом же непреднамеренна красота только в природе бесчувственной, мертвой: птица и животное уже заботятся о своей внешности, беспрестанно охорашиваются, почти все они любят опрятность. В человеке красота редко бывает совершенно непреднамеренною: забота о своей наружности чрезвычайно сильна у всех нас. Разумеется, мы здесь говорим не об изысканных средствах подделывать красоту, а подразумеваем постоянные заботы о внешнем благообразии, которые составляют часть народной гигиены. Но если красота в природе в строгом смысле не может назваться преднамеренною, как и все действие сил природы, то, с другой стороны, нельзя сказать, чтобы вообще природа не стремилась к производству прекрасного; напротив, понимая прекрасное, как полноту жизни, мы должны будем признать, что стремление к жизни, проникающее всю природу, есть вместе и стремление к производству прекрасного. Если мы должны вообще видеть в природе не цели, а только результаты, и потому не можем назвать красоту целью природы, то не можем не назвать ее существенным результатом, к производству которого напряжены силы природы. Непреднамеренность (*das Nichtgewolltsein*), бессознатель-

ность этого направления нисколько не мешает его реальности, как бессознательность геометрического стремления в пчеле, бессознательность стремления к симметрии в растительной силе нисколько не мешает правильности шестигранного строения ячеек сота, симметрии двух половин листа.

II. «От непреднамеренности красоты в природе происходит то, что прекрасное редко встречается в действительности». Но, если бы и действительно было так, его малочисленность была бы прискорбна только для нашего эстетического чувства, нисколько не уменьшая красоты этого малочисленного ряда явлений и предметов. Алмазы, величиною в голубиное яйцо, попадают очень редко; любители брильянтов могут справедливо жалеть о том, и все-таки они соглашаются, что эти очень редкие алмазы прекрасны. Но жалобы на редкость прекрасного в действительности не совершенно справедливы; несомненно по крайней мере, что прекрасного в действительности вовсе не так мало, как утверждают немецкие эстетики. Прекрасных и величественных пейзажей очень много; есть страны, в которых они попадают на каждом шагу, например, чтобы не говорить о Швейцарии, Альпах, Италии, укажем на Финляндию, Крым, берега Днепра, даже берега Волги. Величественное в жизни человека встречается не беспрестанно; но сомнительно, согласился ли бы сам человек, чтобы оно было чаще: великие минуты жизни слишком дорого обходятся человеку, слишком истощают его; а кто имеет потребность искать и силу выносить их влияние на душу, тот может найти случаи к возвышенным ощущениям на каждом шагу: путь доблести, самоотвержения и высокой борьбы с низким и вредным, с бедствиями и пороками людей не закрыт никому и никогда. И были всегда, везде тысячи людей, вся жизнь которых была непрерывным рядом возвышенных чувств и дел. То же самое должно сказать и об увлекательно-прекрасных минутах в жизни человека. Вообще нельзя человеку жаловаться на их редкость, потому что от самого человека зависит, до какой степени жизнь его наполнена прекрасным и великим.

Жизнь так широка и многостороння, что в ней человек почти всегда найдет досыта всего, искать чего чувствует сильную и истинную потребность. Пуста и бесцветна бывает жизнь только у бесцветных людей, которые толкуют о чувствах и потребностях, на самом деле не будучи способны иметь никаких особенных чувств и потребностей,

кроме потребности рисоваться. Это потому, что дух, направление, колорит жизни человека придаются ей характером самого человека: от человека не зависят события жизни, но дух этих событий зависит от его характера. «На ловца и зверь бежит». В заключение было бы надобно объяснить насчет того, что специально называется красотой, рассмотреть вопрос о том, до какой степени редкое явление женская красота. Но, быть может, это не совсем уместно в нашем отвлеченном трактате; ограничимся только замечанием, что почти всякая женщина в цвете молодости кажется большинству красавицею,— потому говорить здесь было бы можно разве о неразборчивости эстетического чувства большинства людей, а не о том, что красота редкое явление. Людей прекрасных лицом несколько не меньше, нежели людей добрых, умных и т. д.

Как же объяснить жалобу Рафаэля на недостаток красавиц в Италии, классической стране красоты? Очень просто: он искал наилучшей красавицы, а наилучшая красавица, конечно, одна в целом свете,— и где же отыскать ее? Первостепенного в своем роде всегда очень мало, по очень простой причине: если его соберется много, то мы опять разделим его на классы и будем называть первостепенным то, чего найдется всего два-три индивидуума; все остальное назовем второстепенным.

И вообще надобно сказать, что мысль, будто бы «прекрасное редко встречается в действительности», основана на смешении понятий «вполне» и «первое»: вполне величественных рек очень много, первая из величественных рек, конечно, одна; великих полководцев много, первым полководцем в мире был кто-нибудь один из них. Обыкновенно думают: если есть или может быть предмет X выше находящегося у меня под глазами предмета A , то предмет A низок; но так только думают, не так чувствуют в самом деле, и, находя Миссисипи величественнее Волги, мы продолжаем, однако, считать и Волгу величественной рекою. Обыкновенно говорится, что если один предмет больше другого, то превосходство первого над вторым есть недостаток другого: вовсе нет; в действительности недостаток есть нечто положительное, а не нечто вытекающее из превосходства других предметов. Река, имеющая один фут глубины в некоторых местах, не потому считается мелкою, что есть реки гораздо глубже ее; она мелка без всяких сравнений, сама по себе, мелка потому, что неудобна для судоходства; канал, имеющий тридцать футов глубины, не мелок в действительной жизни, потому что

совершенно удобен для судоходства; никому не приходит и в голову называть его мелким, хотя всякому известно, что Па-де-Кале далеко превосходит его своею глубиною. Отвлеченное математическое сравнение не есть взгляд действительной жизни. Потому, находя предмет *X* прекраснее *A*, мы в действительной жизни нисколько не перестаем находить прекрасным предмет *A*. Положим, что «Отелло» выше «Макбета» или «Макбет» выше «Отелло», — несмотря на превосходство одной из этих трагедий над другой, они обе остаются прекрасными. Достоинства «Отелло» не могут быть вменяемы в недостатки «Макбету», и наоборот. Так мы смотрим на произведения искусства. Если смотреть так же и на прекрасные явления действительности, то очень часто мы должны будем сознаться, что красота одного явления безукоризненна, хотя красота другого еще выше. И в самом деле, разве кто-нибудь называет итальянскую природу не прекрасною, хотя природа Антильских островов или Ост-Индии гораздо богаче? А только с подобной точки зрения, не находящей себе подтверждения в действительных чувствах и суждениях человека, и может эстетика утверждать, будто бы в мире действительности красота есть явление редкое.

III. «Красота прекрасного в действительности мимолетна». — Согласимся; но разве от этого она менее прекрасна? И притом это не всегда справедливо: цветок действительно увядает скоро, но человек долго остается прекрасным; можно даже сказать, что человеческая красота продолжается именно столько, сколько надобно человеку, ею наслаждающемуся. Не совсем, быть может, соответствовало бы характеру нашего отвлеченного трактата вдаваться в подробное доказательство этого положения; поэтому скажем только, что красота каждого поколения существует и должна существовать для этого самого поколения; и нисколько не нарушает гармонии, нисколько не противно эстетическим потребностям этого поколения, если красота его увядает вместе с ним, — у последующих будет своя, новая красота, и жаловаться тут некому и не на что. Быть может, неуместно было бы здесь также вдаваться в подробные доказательства того, что желание «не стареть» — фантастическое желание, что на самом деле пожилой человек и хочет быть пожилым человеком, если только его жизнь прошла нормальным образом и если он не принадлежит к числу людей поверхностных. Но это ясно и без подробных доказательств. Все мы «с сожалением» вспоминаем о детстве, говорим иногда, что «хотели

бы снова перенестись в то счастливое время»; но едва ли кто-нибудь согласился бы на самом деле превратиться в ребенка. То же самое должно сказать и относительно сожалений о том, что «прошла красота нашей юности», — эти слова не имеют реального значения, если юность прошла сколько-нибудь удовлетворительным образом. Пережитое было бы скучно переживать вновь, как скучно слушать во второй раз анекдот, хотя бы он казался чрезвычайно интересен в первый раз. Надобно различать действительные желания от фантастических, мнимых желаний, которые вовсе и не хотят быть удовлетворенными; таково мнимое желание, чтобы красота в действительности не увядала. «Жизнь стремится вперед и уносит красоту действительности в своем течении», говорят (Гегель и Фишер) — правда, но вместе с жизнью стремятся вперед, т. е. изменяются в своем содержании, наши желания, и, следовательно, фантастичны сожаления о том, что прекрасное явление исчезает, — оно исчезает, исполнив свое дело, доставив ныне столько эстетического наслаждения, сколько мог вместить нынешний день; завтра будет новый день, с новыми потребностями, и только новое прекрасное может удовлетворить их. Если бы красота в действительности была неподвижна и неизменна, «бессмертна», как того требуют эстетики, она бы надоела, опротивела бы нам. Живой человек не любит неподвижного в жизни; потому никогда не наглядится он на живую красоту, и очень скоро пресыщает его *tableau vivant*, которую предпочитают живым сценам исключительные поклонники искусства, (презирающие действительность). Но, по их мнению, красота должна быть однообразна в своей вечности, не только вечна; потому против прекрасного в действительности является новое обвинение.

IV. «Прекрасное в действительности непостоянно в своей красоте», — но на это надобно отвечать тем же самым вопросом, как и прежде: разве это мешает ему быть прекрасным по временам? Разве пейзаж менее прекрасен поутру оттого, что красота его померкнет на время с закатом солнца? И опять надобно сказать, что большею частью этот упрек несправедлив; положим, что есть пейзажи, красота которых пропадает с пурпурным озарением утренней зари; но большая часть прекрасных пейзажей прекрасны при всяком освещении; и надобно прибавить, что незавидна красота того пейзажа, который хорош только в данную минуту, а не во все время, пока существует. «Иногда физиогномия выражает всю полноту жизни,

иногда она не выражает ничего» — нет; справедливо то, что иногда физиогномия бывает чрезвычайно выразительна, иногда она гораздо менее выразительна; но чрезвычайно редки минуты, когда физиогномия человека, светящаяся умом или добротой, бывает лишена выражения: умное лицо и во время сна сохраняет выражение ума, доброе лицо сохраняет и во сне выражение доброты, а беглое разнообразие выражения в лице выразительным придает ему новую красоту. Точно так же разнообразие поз придает новую красоту живому существу. Очень часто бывает и то, что исчезновение прекрасной позы одно только и спасает ее драгоценность для нас: «группа сражающихся воинов прекрасна; но чрез несколько минут она уже расстроилась», — а что было б, если б она не расстроилась, если бы схватка атлетов продолжалась целые сутки? Нам наскучило бы смотреть, и мы отвернулись бы, как это, впрочем, бывает часто в действительности. Чем обыкновенно кончается эстетическое впечатление, под влиянием которого держит нас полчаса или час неподвижная, «вечно прекрасная», «вечно неизменная в красоте своей» картина? — Тем, что мы уходим сами, не дождавшись, пока нас «оторвет от наслаждения» мрак вечера.

V. «Прекрасное в действительности прекрасно только потому, что мы смотрим на него с такой точки зрения, с которой оно кажется прекрасным». — Напротив, гораздо чаще случается, что прекрасное прекрасно со всех точек зрения; так, напр., прекрасный пейзаж бывает большею частью хорош, откуда бы ни смотрели мы на него. — Конечно, он бывает в высшей степени хорош только с *одной* точки зрения — но что же из этого? и на произведения живописи надобно смотреть с известного места для того, чтобы они представлялись нам во всей своей красоте. Это следствие законов перспективы, которые одинаково должны быть соблюдаемы при наслаждении прекрасным в действительности и прекрасным в искусстве.

Вообще надобно, кажется, сказать, что все рассмотренные упреки прекрасному в действительности преувеличены, а некоторые совершенно несправедливы; что нет из них ни одного, который прилагался бы ко всем родам прекрасного. Но нами не рассмотрены еще главнейшие, существеннейшие недостатки, открываемые господствующими эстетическими воззрениями в прекрасном действительного мира. До сих пор упреки были обращены на то, что прекрасное в действительности неудовлетворительно для человека; теперь следуют прямые доказательства, что

прекрасное в действительности, собственно говоря, не может и называться прекрасным. Доказательств этих три. Пересмотрим их, начиная с менее сильного и менее общего.

VI. «Прекрасное в действительности или группа предметов (пейзаж, группа людей), или один предмет в отдельности. Вредная случайность всегда портит в действительности группу, кажущуюся прекрасною, внося в нее посторонние, ненужные предметы, мешающие красоте и единству целого; она портит и кажущийся прекрасным отдельный предмет, портя некоторые его части; внимательное рассмотрение покажет нам всегда, что некоторые части действительного предмета, представляющегося прекрасным, вовсе не прекрасны». — Здесь мы опять встречаемся с мыслью, что красота есть совершенство. Но эта мысль только частное приложение общей мысли, что человек удовлетворяется вообще только математически совершенным; нет, практическая жизнь человека убеждает нас, что он ищет только приблизительного совершенства, которое, выражаясь строго, и не должно называться совершенством. Человек ищет только *хорошего*, а не совершенного. Совершенства требует только чистая математика; даже прикладная математика довольствуется приблизительными вычислениями. Искать совершенства в какой бы то ни было сфере жизни — дело отвлеченной, болезненной или праздно-фантазии. Мы хотим дышать чистым воздухом; но замечаем ли мы, что абсолютно чист воздух не бывает нигде и никогда? Мы хотим пить чистую воду, но не абсолютно чистую воду: совершенно чистая (дистиллированная) вода даже неприятна для вкуса. Эти примеры слишком материальны? Приведем другие: разве кому приходила мысль называть неученым человека, которому не *все* известно? Нет, мы и не ищем человека, которому было бы известно *все*; мы требуем от ученого только того, чтобы ему было известно все существенное и чтобы ему было известно очень многое. Разве мы недовольны, напр., историческою книгою, в которой не все решительно вопросы объяснены, не все решительно подробности приведены, не все до одного взгляды и слова автора абсолютно справедливы? Нет, мы довольны, и чрезвычайно довольны, книгою, когда в ней разрешены *главные* вопросы, приведены самонужнейшие подробности, когда *главные* мнения автора справедливы, и в книге его *очень мало* неверных или неудачных объяснений. (Ниже мы увидим, что в сфере искусства мы также довольствуемся приблизительным совершенством.) После этих указаний можно сказать, не

боясь сильного противоречия, что и в области прекрасного действительной жизни мы довольствуемся тем, когда находим очень хорошее, но не ищем совершенства математического, изъятого от *всех* мелких недостатков. Неужели кому-нибудь вздумается говорить, что пейзаж не прекрасен, если на каком-нибудь месте его растут три куста, а лучше было бы, если б росло два или четыре? Вероятно, никому еще из людей, любовавшихся морем, не приходило в голову, что море могло бы быть лучше, нежели оно есть; а если математически строго смотреть на море, то в нем действительно есть недостатки, и первый недостаток — оно не плоская, а выпуклая поверхность. Правда, этого недостатка не видно, его открывает не глаз, а вычисление; можно поэтому прибавить, что смешно и говорить об этом недостатке, которого невозможно заметить, о котором можно только *знать*, но таковы большею частью недостатки прекрасного в действительности: их не видно, они нечувствительны, они открываются только исследованием, а не воззрению. Не забудем же, что чувство прекрасного имеет дело с воззрением, а не с наукою: что нечувствительно, то не существует для эстетического чувства. Но в самом ли деле недостатки прекрасного в действительности большею частью нечувствительны для воззрения? В этом убеждает нас опыт. Нет человека, одаренного эстетическим чувством, которому бы не встречались в действительности тысячи лиц, явлений и предметов, казавшихся ему безукоризненно прекрасными. Но что же особенно важного, когда в прекрасном предмете и заметны для воззрения недостатки? Верно, они слишком неважны, если, несмотря на них, предмет продолжает казаться прекрасным, — если они важны, предмет будет уродлив, а не прекрасен. А неважное не стоит того, чтоб и говорить о нем. И действительно, эстетически здоровый человек не обращает на него внимания. Человеку, не приготовленному специальным изучением новейшей эстетики, странно будет услышать второе доказательство, приводимое в подтверждение того, что так называемое прекрасное в действительности не может быть прекрасно в полном смысле слова.

VII. «Действительный предмет не может быть прекрасен уже потому, что он живой предмет, в котором совершается действительный процесс жизни со всею своею грубостью, со всеми своими антиэстетическими подробностями». — Едва ли можно себе представить высшую степень фантастического идеализма. Как, неужели живое

лицо не прекрасно, а изображенное на портрете или снятое в дагерротип прекрасно? и почему же? Потому, что на живом лице неизбежно бывают всегда материальные следы процесса жизни; потому, что если мы посмотрим в микроскоп на живое лицо, то всегда увидим его, покрытое испариною и т. п. Как, живое дерево не может быть прекрасным потому, что на нем всегда гнездятся мелкие насекомые, питающиеся его листьями? Странное мнение, которое даже не требует опровержения: какое же дело моему эстетическому воззрению до того, чего оно не замечает? может ли производить какое-нибудь влияние на мое ощущение тот недостаток, которого оно не чувствует? В опровержение этого мнения не нужно даже приводить истину, что странно искать таких людей, которые бы не пили, не ели, не имели надобности умываться и переменять белье. Распространяться о подобных требованиях совершенно бесполезно. Лучше рассмотрим одну из тех идей, из которых возник столь странный упрек прекрасному в действительности, идею, составляющую одно из основных воззрений господствующей эстетики. Вот эта мысль: «Прекрасное есть не самый предмет, а чистая поверхность, чистая форма (die reine Oberfläche) предмета». Неосновательность этого взгляда на прекрасное обнаружится, когда мы пересмотрим источники, из которых оно произошло. Прекрасное чаще всего мы видим глазами; а глаза, конечно, видят только оболочку, абрис, наружность предмета, а не внутреннее его сложение. Из этого легко вывести заключение, что прекрасное есть поверхность предмета, а не самый предмет. Но, во-первых, кроме прекрасного для зрения, есть прекрасное для слуха (пение и музыка), в котором нельзя говорить ни о какой поверхности. Во-вторых, не всегда и глазами видим мы только оболочку предмета: в прозрачных предметах мы видим *весь* предмет, все его внутреннее сложение; воде и драгоценным камням именно прозрачность и сообщает красоту. Наконец, человеческое тело, лучшая красота на земле, полупрозрачно, и мы в человеке видим не чисто одну только поверхность: сквозь кожу просвечивает тело, и это просвечивание тела придает чрезвычайно много прелести человеческой красоте. В-третьих, странно говорить, что и в совершенно непрозрачных телах мы видим только поверхность, а не самый предмет: воззрение принадлежит не исключительно глазам, известно, что в нем всегда участвует припоминающий и соображающий рассудок; соображение всегда наполняет материей пустую форму, пред-

ставляющуюся глазу. Человек видит *движущийся* предмет, хотя орган его глаза сам по себе не видит движения; человек видит отдаленность предмета, хотя сам по себе глаз не видит отдаления; так точно человек видит материальный предмет, хотя глаз его видит только пустую, нематериальную, отвлеченную поверхность предмета. Другое основание для мысли: «прекрасное есть чистая поверхность», состоит в предположении, что эстетическое наслаждение несовместимо с материальным интересом, принимаемым в предмете. Не будем входить в рассмотрение того, каким образом надобно понимать отношение материальной интересности для нас предмета и эстетического наслаждения им, хотя это исследование привело бы к убеждению, что эстетическое наслаждение отлично от материального интереса или практического взгляда на предмет, но не противоположно ему. Довольно будет указать на свидетельство опыта, что и действительный предмет может казаться прекрасным, не возбуждая материального интереса: какая же своекорыстная мысль пробуждается в нас, когда мы любуемся звездами, морем, лесом (неужели при взгляде на действительный лес я необходимо должен думать, годится ли он мне на постройку или отопление дома?), — какая своекорыстная мысль пробуждается в нас, когда мы слушаемся шелеста листьев, песни соловья? Что касается человека, мы часто любим его без всяких своекорыстных побуждений, несколько не думая о себе; тем скорее может он эстетически нравиться нам, не возбуждая материального (*stoffartig*) раздумья о наших отношениях к нему. Наконец, ближайшим образом мысль о том, что прекрасное есть чистая форма, вытекает из понятия, что прекрасное есть чистый призрак; а такое понятие — необходимое следствие определения прекрасного как полноты осуществления идеи в отдельном предмете и падает вместе с этим определением.

После длинного ряда упреков прекрасному в действительности, становившихся все общее и сильнее, мы доходим теперь до последней, самой сильной и самой общей причины, почему реальное прекрасное не может быть считаемо действительно прекрасным.

VIII. «Отдельный предмет не может быть прекрасен уже потому, что он не абсолютен; а прекрасное есть абсолютное». — Доказательство действительно неопровержимое (для самой гегелевской школы и многих других философских школ), — принимающих мерилom не только

теоретической истины, но и деятельных стремлений человека абсолютное. Но эти системы уже распались, уступив место другим, развившимся из них по силе внутреннего диалектического процесса, но понимающим жизнь совершенно иначе. Ограничиваясь этим указанием на философскую несостоятельность воззрения, из которого произошло подведение всех человеческих стремлений под абсолют, станем для нашей критики на другую точку зрения, более близкую к чисто эстетическим понятиям, и скажем, что вообще деятельность человека не стремится к абсолютному и ничего не знает о нем, имея в виду различные, чисто человеческие, цели. В этом совершенно сходны с другими чувствами и деятельностями человека чувство и деятельность эстетические. В действительности мы не встречаем ничего абсолютного; потому не можем сказать по опыту, какое впечатление произвела бы на нас абсолютная красота; но то мы знаем, по крайней мере, из опыта, что *similis simili gaudet*¹¹, что поэтому нам, существам индивидуальным, не могущим перейти за границы нашей индивидуальности, очень нравится индивидуальность, очень нравится индивидуальная красота, не могущая перейти за границы своей индивидуальности. После этого дальнейшие опровержения излишни. Надобно только прибавить, что мысль об индивидуальности истинной красоты развита тою же системою эстетических воззрений, которая поставляет мерилom прекрасного абсолют. Из мысли о том, что индивидуальность — существеннейший признак прекрасного, само собою вытекает положение, что мерило абсолютного чуждо области прекрасного, — вывод, противоречащий основному воззрению этой системы на прекрасное. Источник подобных противоречий, не всегда избегаемых системою, о которой мы говорим, — смешение в ней гениальных выводов из опыта и столько же гениальных, но страждущих внутренней несостоятельностью попыток подчинить все их априористическому взгляду, который часто противоречит им.

Теперь просмотрены все упреки, более или менее несправедливо делаемые прекрасному в действительности, и можно приступить к решению вопроса о существенном значении искусства. По господствующим эстетическим понятиям, «искусство имеет своим источником стремление человека освободить прекрасное от недостатков (нами рассмотренных), мешающих прекрасному на степени своего реального существования в действительности быть вполне удовлетворительным для человека. Прекрасное,

создаваемое искусством, свободно от недостатков прекрасного в действительности». Посмотрим же, до какой степени на самом деле прекрасное, создаваемое искусством, выше прекрасного в действительности по свободности своей от упреков, взводимых на это последнее; после того нам легко будет решить, верно ли определяется господствующим воззрением происхождение искусства и его отношения к живой действительности.

I. «Прекрасное в природе непреднамеренно». — Прекрасное в искусстве бывает преднамеренно — это правда; но во всех ли случаях и во всех ли подробностях? Не будем говорить о том, часто ли и в какой степени художник и поэт ясно понимают, что именно выразится в их произведении, — бессознательность художнического действия давно уже стала общим местом, о котором все толкуют; быть может, нужнее ныне резко выставлять на вид зависимость красоты произведения от сознательных стремлений художника, нежели распространяться о том, что произведения истинно творческого таланта имеют всегда очень много непреднамеренности, инстинктивности. Как бы то ни было, обе эти точки зрения известны, и бесполезно здесь останавливаться на них. Но, может быть, излишне сказать, что и преднамеренные стремления художника (особенно поэта) не всегда дают право сказать, чтобы забота о прекрасном была истинным источником его художественных произведений; правда, поэт всегда старается «сделать как можно лучше»; но это еще не значит, чтобы вся его воля и соображения управлялись исключительно или даже преимущественно заботою о художественности или эстетическом достоинстве произведения: как у природы есть много стремлений, находящихся между собою в борьбе и губящих или искажающих своею борьбою красоту, так и в художнике, в поэте есть много стремлений, которые своим влиянием на его стремление к прекрасному искажают красоту его произведения. Сюда, во первых, принадлежат различные житейские стремления и потребности художника, не позволяющие ему быть только художником и более ничем; во-вторых, его умственные и нравственные взгляды, также не позволяющие ему думать при исполнении исключительно только о красоте; в-третьих, наконец, идея художественного создания является у художника обыкновенно не вследствие одного только стремления создать прекрасное: поэт, достойный своего имени, обыкновенно хочет в своем произведении передать нам свои мысли, свои взгляды, свои чувства, а не

исключительно только созданную им красоту. Одним словом, если красота в действительности развивается в борьбе с другими стремлениями природы, то и в искусстве красота развивается также в борьбе с другими стремлениями и потребностями человека, ее создающего; если в действительности эта борьба портит или губит красоту, то едва ли менее шансов, что она испортит или погубит ее в произведении искусства; если в действительности прекрасное развивается под влияниями, ему чуждыми, не допускающими его быть *только* прекрасным, то и создание художника или поэта развивается множеством различных стремлений, результат которых должен быть таков же. Мы готовы, однако же, согласиться, что преднамеренности больше в прекрасных произведениях искусства, нежели в прекрасных созданиях природы, и что в этом отношении искусство стояло бы выше природы, если б его преднамеренность была свободна от недостатков, от которых свободна природа. Но, выигрывая преднамеренностью с одной стороны, искусство проигрывает тем же самым — с другой; дело в том, что художник, задумывая прекрасное, очень часто задумывает вовсе не прекрасное: мало хотеть прекрасного, надобно уметь постигать его в его истинной красоте, — а как часто художники заблуждаются в своих понятиях о красоте! как часто обманывает их даже художнический инстинкт, не только рефлексивные понятия, большею частью односторонние! Все недостатки индивидуальности неразлучны в искусстве с преднамеренностью.

II. «Прекрасное редко встречается в действительности» — но разве чаще оно встречается в искусстве? Сколько ежедневно бывает истинно трагических или драматических событий! А много ли насчитается истинно прекрасных трагедий или драм? Во всех западных литературах три-четыре десятка, в русской — если не ошибаемся, кроме «Бориса Годунова» и «Сцен из рыцарских времен» — ни одной, которая стояла бы выше посредственности. Сколько романов совершается в действительности! А много ли насчитывается истинно прекрасных романов? Может быть, по несколько десятков в английской и французской литературах и пять-шесть в русской. Что скорее можно встретить: прекрасный пейзаж в природе или в живописи? — Почему же так? Потому, что великих поэтов и художников очень мало, как и вообще мало гениальных людей во всяком роде. Если редко бывает в действительности совершенно благоприятный случай для создания прекрасного или возвышенного, то еще реже бла-

гоприятный случай рождения и беспрепятственного развития великого гения, потому что здесь нужно стечение гораздо большего числа благоприятных условий. Этот упрек против действительности еще с большею силою падает на искусство.

III. «Прекрасное в природе мимолетно» — в искусстве оно часто бывает вечно, это правда; но не всегда, потому что и произведение искусства подвержено погибели и порче от случая. Греческие лирики погибли для нас; погибли картины Апеллеса и статуи Лизиппа. Но, не останавливаясь на этом, перейдем к другим причинам невечности очень многих произведений искусства, от которых свободно прекрасное в природе, — это мода и обветшание материала. Природа не стареет, вместо увядших произведений своих она рождает новые; искусство лишено этой вечной способности воспроизведения, возобновления, а между тем время не без следа проходит и над его созданиями. В произведениях поэзии скоро стареет язык, и мы по этой причине не можем наслаждаться Шекспиром, Данте, Вольфрамом так свободно, как наслаждались их современники. Еще гораздо важнее то, что с течением времени многое в произведениях поэзии делается непонятным для нас (мысли и обороты, заимствованные от современных обстоятельств, намеки на события и лица); многое становится бесцветно и безвкусно; ученые комментарии не могут сделать для потомков всего столь же ясным и живым, как все было ясно для современников; притом ученые комментарии и эстетическое наслаждение — противоположные вещи; не говорим уже, что через них произведение поэзии перестает быть общедоступным. Еще важнее то, что развитие цивилизации, изменение понятий иногда совлекает всю красоту с произведения поэзии, иногда превращает его даже в нечто неприятное или отвратительное. Примеров не хотим указывать кроме эклог Виргилия, скромнейшего из римских поэтов.

От поэзии переходим к другим искусствам. Произведения музыки погибают вместе с теми инструментами, для которых были писаны. Вся древняя музыка погибла для нас. Красота старых музыкальных произведений бледнеет с усовершенствованием оркестровки. Краски в живописи очень скоро линяют и чернеют; картины XVI — XVII века уже давно потеряли свою первобытную красоту. Как ни сильно влияние всех этих обстоятельств, не в них, однако же, главная причина мимолетности произведений искусства — она заключается во влиянии на них вкуса эпохи,

почти всегда влиянии модного настроения, одностороннего и очень часто фальшивого. Мода сделала половину каждой драмы Шекспира негодною для эстетического наслаждения в наше время; мода, отразившаяся на трагедиях Расина и Корнеля, заставляет нас не столько наслаждаться ими, сколько подсмеиваться над ними. Ни в живописи, ни в музыке, ни в архитектуре не найдется почти ни одного произведения, созданного за 100 или 150 лет, которое не казалось бы ныне или вялым, или смешным, несмотря на всю силу гения, впечатленную на нем. И современное искусство через пятьдесят лет будет часто вызывать улыбку.

IV. «Прекрасное в действительности непостоянно в своей красоте». — Это правда; но прекрасное в искусстве мертвенно-неподвижно в своей красоте, это гораздо хуже. На живое лицо можно смотреть по нескольку часов; картина надоедает через четверть часа, и редки примеры дилетантов, которые устояли бы час пред картиною. Произведения поэзии живее, нежели произведения живописи, архитектуры и ваяния; но и они пресыщают нас довольно скоро: конечно, не найдется человека, который был бы в состоянии перечитать роман пять раз сряду; между тем жизнь, живые лица и действительные события увлекательны своим разнообразием.

V. «Красота в природу вносится только тем, что мы смотрим на нее с той, а не с другой точки зрения», — мысль, почти никогда не бывающая справедливою; но к произведениям искусства она почти всегда прилагается. Все произведения искусства не нашей эпохи и не нашей цивилизации непременно требуют, чтобы мы перенеслись в ту эпоху, в ту цивилизацию, которая создала их; иначе они покажутся нам непонятными, странными, но не прекрасными. Если мы не перенесемся в древнюю Грецию, песни Сафо и Анакреона покажутся нам выражением антиэстетического наслаждения, чем-то похожим на те произведения нашего времени, которых стыдится печать; если мы не перенесемся мыслью в патриархальное общество, песни Гомера будут оскорблять нас цинизмом, грубым обжорством, отсутствием нравственного чувства. Но греческий мир слишком далек от нас; возьмем ближайшую эпоху. Сколько у Шекспира, у итальянских живописцев такого, что понимается и ценится только тогда, когда мы перенесемся в прошедшее с его понятиями о вещах! Представим пример еще ближе к нашему времени: «Фауст» Гёте покажется странным произведением человеку,

не способному перенестись в ту эпоху стремлений и сомнений, выражением которой служит «Фауст».

VI. «Прекрасное в действительности заключает в себе много прекрасных частей или подробностей». — А в искусстве разве не то же самое, только в гораздо большей степени? Укажите произведение искусства, в котором нельзя было бы найти недостатков. Романы Вальтер-Скотта слишком растянуты, романы Диккенса почти постоянно приторно-сентиментальны и очень часто растянуты; романы Теккерея иногда (или, лучше сказать, очень часто) надоедают своею постоянною претензией на иронически-злое простодушие. Но гении новейшие редко являются путеводителями в эстетике; она преимущественно любит Гомера, греческих трагиков и Шекспира. Гомеровы поэмы бессвязны; Эсхил и Софокл слишком суровы и сухи, у Эсхила, кроме того, недостает драматизма; Эврипид плаксив; Шекспир риторичен и напыщен, художественное построение драм его было бы вполне хорошо, *если б их несколько переделать, как и предлагает Гёте*¹². Перейдем к живописи, и должны будем признаться в том же самом: против одного Рафаэля редко возвышают голос, во всех остальных живописцах давно открыто множество слабых сторон. Но самого Рафаэля упрекают в незнании анатомии. О музыке нечего и говорить: Бетховен слишком непонятен и часто дик; у Моцарта слаба оркестровка; у новых композиторов слишком много шума и трескотни. Безукоризненная опера, по мнению знатоков, одна — «Дон-Жуан»¹³; не знатоки находят его скучным. Если совершенства нет в природе и в живом человеке, то еще меньше можно найти его в искусстве и в делах человека: «в следствии не может быть того, чего нет в причине», в человеке. Широкое, беспредельное поле открывается тому, кто захочет доказывать слабость всех вообще произведений искусства. Само собою разумеется, что подобное предприятие могло бы свидетельствовать о едкости ума, но не о беспристрастии; достоин сожаления человек, не преклоняющийся пред великими произведениями искусства; но простиительно, когда к тому принуждают преувеличенные похвалы, напоминать, что если на солнце есть пятна, то в «земных делах» человека их не может не быть.

VII. «Живой предмет не может быть прекрасен уже и потому, что в нем совершается тяжелый, грубый процесс жизни». — Произведение искусства — мертвый предмет; поэтому кажется, что оно должно быть изъято от этого упрека. И однако же такое заключение поверхностно.

Факты противоречат ему. Произведение искусства — создание жизненного процесса, создание живого человека, который произвел дело не без тяжелой борьбы, и на произведении отражается тяжелый, грубый след борьбы производства. Разве много таких поэтов и художников, которые работают шутя, как шутя, без поправок, писал, говорят, свои драмы Шекспир? А если произведение создано не без тяжелого труда, на нем будут «пятна масляной лампы», при свете которой работал художник. Тяжеловатость можно найти во всех почти произведениях искусства, как бы легки ни казались они с первого взгляда. А если они в самом деле созданы без большого, тяжелого труда, то они будут страдать грубостью отделки. Итак, одно из двух: или грубость, или тяжелая отделка — вот Сцилла и Харибда для произведений искусства.

Я не хочу сказать, что все недостатки, выставляемые этим анализом, всегда до грубости резко отпечатываются на произведениях искусства. Я хочу только показать, что щепетильной критики, которую направляют на прекрасное в действительности, никак не может выдержать прекрасное, создаваемое искусством.

Из обзора, нами сделанного, видно, что если бы искусство вытекало из недовольства нашего духа недостатками прекрасного в живой действительности и от стремления создать нечто лучшее, то вся эстетическая деятельность человека оказалась бы напрасна, бесплодна, и человек скоро отказался бы от нее, видя, что искусство не удовлетворяет его намерениям. Вообще говоря, произведения искусства страдают всеми недостатками, какие могут быть найдены в прекрасном живой действительности; но если искусство вообще не имеет никаких прав на предпочтение природе и жизни, то, быть может, некоторые искусства в частности обладают какими-нибудь особенными преимуществами, ставящими их произведения выше соответствующих явлений живой действительности? быть может даже, то или другое искусство производит нечто, не имеющее себе соответствия в реальном мире? Эти вопросы еще не решаются нашею общею критикою, и мы должны проследить частные случаи, чтобы видеть, каково отношение прекрасного в определенных искусствах к прекрасному в действительности, производимому природою независимо от стремления человека к прекрасному. Только этот обзор даст нам положительный ответ на то, может ли происхождение искусства быть объясняемо неудовлетворитель-

ностью живой действительности в эстетическом отношении.

Ряд искусств начинают обыкновенно с архитектуры, из всех многообразных деятельностей человека для осуществления более или менее практических целей уступая одной строительной деятельности право возвышаться до искусства. Но несправедливо так ограничивать поле искусства, если под «произведениями искусства» понимаются «предметы, производимые человеком под преобладающим влиянием его стремления к прекрасному» — есть такая степень развития эстетического чувства в народе, или, вернее сказать, в кругу высшего общества, когда под преобладающим влиянием этого стремления замышляются и исполняются почти все предметы человеческой производительности: вещи, нужные для удобства домашней жизни (мебель, посуда, убранство дома), платье, сады и т. п. Этруссские вазы и галантерейные вещи древних всеми признаны за «произведения искусства»; их относят к отделу «скульптуры», конечно, не совсем справедливо; но неужели к архитектуре должны мы будем причислять мебельное искусство? К какому отделу отнесены будут нами цветники и сады, в которых первоначальное назначение — служить местом прогулки или отдыха — совершенно подчиняется назначению быть предметами эстетического наслаждения? В некоторых эстетиках садоводство называется отраслью архитектуры, но это явная натяжка. Называя искусством всякую деятельность, производящую предметы под преобладающим влиянием эстетического чувства, должно будет значительно расширить круг искусств; потому что нельзя не признать существенного тождества архитектуры, мебельного и модного искусства, садоводства, лепного искусства и т. д. Нам скажут: «архитектура создает новое, не существовавшее в природе, она совершенно переделывает свой материал; другие отрасли человеческой производительности оставляют свой материал в его первобытной форме», — нет, есть много отраслей человеческой деятельности, не уступающих архитектуре и в этом отношении. В пример представим цветоводство: полевые цветы нисколько не похожи на роскошные махровые цветы, обязанные своим происхождением цветоводству. Что общего между диким лесом и искусственным садом или парком? Как архитектура обтесывает камни, так садоводство очищает, выпрямляет деревья, придает каждому дереву совершенно не тот вид, какой имеет оно в девственном лесу; как архитектура соединяет

камни в правильные группы, так садоводство соединяет в парке деревья в правильные группы. Одним словом, цветоводство или садоводство переделывают, обрабатывают «грубый материал» не менее, нежели архитектура. То же самое надобно сказать и о промышленности, создающей под преобладающим влиянием стремления к прекрасному, например, ткани, которым природа не представляет ничего подобного и в которых первоначальный материал еще менее остался неизменным, нежели камень в архитектуре. «Но архитектура как искусство гораздо более, нежели другие отрасли практической деятельности, подчиняется исключительно требованиям эстетического чувства, совершенно отказываясь от стремления удовлетворять житейским целям». Но какой житейской цели удовлетворяют цветы, искусственные парки? И разве Парфенон или Альгамбра¹⁴ не имели практического назначения? Гораздо в меньшей степени, нежели архитектура, подчиняются практическим соображениям садоводство, мебельное, ювелирное и модное искусства, которым, однако же, не посвящается особенной главы в курсах эстетики. Мы видим причину того, что из всех практических деятельностей одна строительная обыкновенно удостоивается имени изящного искусства не в существе ее, а в том, что другие отрасли деятельности, возвышающиеся до степени искусства, забываются по «маловажности» своих произведений, между тем как произведения архитектуры не могут быть упущены из виду по своей важности, дороговизне и, наконец, просто по своей массивности, прежде всего и больше всего остального, производимого человеком, бросаясь в глаза. Все отрасли промышленности, все ремесла, имеющие целью удовлетворять «вкусу» или эстетическому чувству, мы признаем «искусствами» в такой же степени, как архитектуру, когда их произведения замышляются и исполняются под преобладающим влиянием стремления к прекрасному и когда другие цели (которые всегда имеет и архитектура) подчиняются этой главной цели. Совершенно другой вопрос о том, до какой степени достойны уважения произведения практической деятельности, задуманные и исполненные под преобладающим стремлением произвести не столько что-нибудь действительно нужное или полезное, сколько произвести что-нибудь прекрасное. Как решить этот вопрос, не входит в сферу нашего рассуждения; но как решен будет он, точно так же должен быть решен вопрос и о степени уважения, которой заслуживают создания архитек-

туры в значении чистого искусства, а не практической деятельности. Какими глазами смотрит мыслитель на кашмирскую шаль, стоящую 10 000 франков, на столовые часы, стоящие 10 000 франков, такими же глазами должен смотреть он и на изящный киоск, стоящий 10 000 франков. Быть может, он скажет, что все эти вещи — произведения не столько искусства, сколько роскоши; быть может, он скажет, что истинное искусство чуждается роскоши, потому что существеннейший характер прекрасного — простота. Каково же отношение этих произведений фривольного искусства к безыскусственной действительности? Вопрос решается тем, что во всех указанных нами случаях дело идет о произведениях практической деятельности человека, которая, уклонившись в них от своего истинного назначения — производить нужное или полезное, тем не менее сохраняет свой существенный характер — производить нечто такое, чего не производит природа. Потому не может быть и вопроса, как в этих случаях относится красота произведений искусства к красоте произведений природы: в природе нет предметов, с которыми было бы можно сравнивать ножи, вилки, сукно, часы; точно так же в ней нет предметов, с которыми было бы можно сравнивать дома, мосты, колонны и т. п.

Итак, если даже причислять к области изящных искусств все произведения, создаваемые под преобладающим влиянием стремления к прекрасному, то надобно будет сказать, что произведения архитектуры или сохраняют свой практический характер и в таком случае не имеют права быть рассматриваемы как произведения искусства, или на самом деле становятся произведениями искусства, но искусство имеет столько же права гордиться ими, как произведениями ювелирного мастерства. По нашему понятию о сущности искусства, стремление к произведению прекрасного в смысле грациозного, изящного, красивого не есть еще искусство; для искусства, как увидим, нужно более; потому произведений архитектуры ни в каком случае мы не решимся назвать произведениями искусства. Архитектура — одна из практических деятельностей человека, которые все не чужды стремления к красоте формы, и отличается в этом отношении от мебельного мастерства не существенным характером, а только размером своих произведений.

Общий недостаток произведений скульптуры и живописи, по которому они стоят ниже произведений природы и жизни, — их мертвенность, их неподвижность; в этом все

признаются, и потому было бы излишне распространяться относительно этого пункта. Посмотрим же лучше на мнимые преимущества этих искусств перед природою.

Скульптура изображает формы человеческого тела; все остальное в ней аксессуар; потому и будем говорить о том только, как она изображает человеческую фигуру. Обратилось в какую-то аксиому, что красота очертаний Венеры Медицейской, или Милосской, Аполлона Бельведерского и т. д. гораздо выше, нежели красота живых людей. В Петербурге нет ни Венеры Медицейской, ни Аполлона Бельведерского, но есть произведения Кановы; потому мы, жители Петербурга, можем иметь смелость судить до некоторой степени о красоте произведений скульптуры. Мы должны сказать, что в Петербурге нет ни одной статуи, которая по красоте очертаний лица не была бы гораздо ниже бесчисленного множества живых людей, и что надобно только пройти по какой-нибудь многолюдной улице, чтобы встретить несколько таких лиц. В этом согласится большая часть тех, которые привыкли судить самостоятельно. Но этого собственного впечатления не будем, однако, считать доказательством. Есть другое, гораздо более твердое. Математически строго можно доказать, что произведение искусства не может сравниться с живым человеческим лицом по красоте очертаний: известно, что в искусстве исполнение всегда неизмеримо ниже того идеала, который существует в воображении художника. А самый этот идеал никак не может быть по красоте выше тех живых людей, которых имел случай видеть художник. Силы «творческой фантазии» очень ограничены: она может только комбинировать впечатления, полученные из опыта; воображение только разнообразит и экстенсивно увеличивает предмет, но интенсивнее того, что мы наблюдали или испытали, мы ничего не можем вообразить. Я могу представить себе солнце гораздо больше по величине, нежели каково оно в действительности; но ярче того, как оно являлось мне в действительности, я не могу его вообразить. Точно так же я могу представить себе человека выше ростом, толще и т. д., нежели те люди, которых я видел; но лица прекраснее тех лиц, которые случилось мне видеть в действительности, я не могу себе вообразить. Это выше сил человеческой фантазии. Одно мог бы сделать художник: соединить в своем идеале лоб одной красавицы, нос другой, рот и подбородок третьей; не спорим, что это иногда и делают художники; но сомнительно, во-первых, нужно ли это, во-вторых, в состоянии ли воображение со-

единить эти части, когда они действительно принадлежат разным лицам. Нужно это было бы только тогда, когда бы художнику попадались все такие лица, в которых одна часть была бы хороша, а другие дурны. Но обыкновенно в лице все части почти одинаково хороши или почти одинаково дурны, так что художник, будучи доволен, напр., лбом, должен почти в такой же степени остаться доволен и очертанием носа и ртом. Обыкновенно, если лицо не изуродовано, то все части его бывают в такой гармонии между собою, что нарушать ее значило бы портить красоту лица. Этому учит нас сравнительная анатомия. Правда, очень часто случается слышать: «как хорошо было бы это лицо, если бы нос был несколько приподнят кверху, губы несколько потоньше» и т. п.; — несколько не сомневаясь в том, что иногда при красоте всех остальных частей лица одна часть его бывает некрасива, мы думаем, что обыкновенно, или, лучше сказать — почти всегда, подобное недовольство проистекает или от неспособности понимать гармонию, или от прихотливости, которая граничит с отсутствием истины, сильной способности и потребности наслаждаться прекрасным. Части человеческого тела, как и всякого живого организма, постоянно возрождающегося под влиянием своего единства, находятся между собой в теснейшей связи, так что форма одного члена зависит от форм всех остальных и в свою очередь они зависят от нее. Тем более надобно это сказать о различных частях одного органа, о различных частях лица. Взаимная зависимость очертаний доказывается, как мы говорили, наукою, но и без помощи науки очевидна для всякого, одаренного чувством гармонии. Человеческое тело — одно целое; его нельзя разрывать на части и говорить: эта часть хороша, прекрасна, эта некрасива. И здесь, как во многих других случаях, подборание, мозаичность, эклектизм ведет к несообразностям; принимайте все или не принимайте ничего — только тогда вы будете правы, по крайней мере, с своей точки зрения. Только в уродах, в этих эклектических существах, уместна мерка эклектизма. А оригиналами при изваянии «великих произведений скульптуры», конечно, служили не они. Если бы художник взял для своего изваяния лоб с одного лица, нос с другого, рот с третьего, он доказал бы этим только одно: собственное безвкусие или, по крайней мере, неуменье отыскать действительно прекрасное лицо для своей модели. На основании всех приведенных соображений мы думаем, что красота статуи не может быть выше красоты живого индиви-

дуального человека, потому что снимок не может быть прекраснее оригинала. Правда, не всегда статуя бывает верным снимком с натурщика; иногда «художник воплощает в своей статуе свой идеал», — но каким образом составляется идеал художника, не похожий на его модель, мы будем иметь случай говорить впоследствии. Мы не забываем и того, что, кроме очертаний, в произведении скульптуры есть еще группировка и выражение; но оба эти элемента красоты гораздо полнее, нежели в статуе, мы встречаем в картине; потому и анализируем их, говоря о живописи, к которой переходим.

Живопись с нашей настоящей точки зрения мы должны разделить на изображение отдельных фигур и групп, живопись, изображающую внешний мир, и живопись, изображающую фигуры и группы среди ландшафта, или, выражаясь общее, среди обстановки.

Что касается до очертаний отдельной человеческой фигуры, надобно сказать, что живопись уступает в этом отношении не только природе, но и скульптуре: она не может очерчивать так полно и определенно; зато, распрямляясь красками, она изображает человека гораздо ближе к живой природе и может придавать его лицу гораздо более выразительности, нежели скульптура. Не знаем, до какой степени совершенства дойдет со временем составление красок; но при настоящем положении этой стороны техники живопись не может хорошо передавать цвет человеческого тела вообще, и особенно цвет лица. Краски ее в сравнении с цветом тела и лица — грубое, жалкое подражание; вместо нежного тела она рисует что-то зеленоватое или красноватое; и, говоря безотносительно, не принимая в соображение, что и для этого зеленоватого или красноватого изображения нужно иметь необыкновенное «уменье», мы должны будем признаться, что живое тело не может быть удовлетворительно передано мертвыми красками. Один только из оттенков его передает живопись довольно хорошо — потерявший жизненность, сухой цвет стариковского или загубелого лица. Покрытые оспенными ямочками или болезненные лица также выходят на картинах несравненно удовлетворительнее, нежели свежие, молодые. Наилучшее выходит в живописи наихудшим, наихудшее — наиболее удовлетворительным.

То же самое надобно сказать и о выражении лица. Лучше других оттенков жизни удается живописи изображать судорожные искажения лица при разрушительно-сильных аффектах, напр., выражение гнева, ужаса, сви-

репости, буйного разгула, физической боли или нравственного страдания, переходящего в физическое страдание; потому что в этих случаях с чертами лица происходят резкие изменения, которые достаточно могут быть изображены довольно грубыми взмахами кисти, и мелочная неверность или неудовлетворительность подробностей исчезает среди крупных штрихов: самый грубый намек здесь понятен для зрителя. Удовлетворительнее других оттенков выражения передается также сумасшествие, тупоумие или отсутствие мысли; потому что здесь почти нечего передавать или надобно передать дисгармонию — дисгармония не портится, а развивается несовершенством исполнения. Но все остальные видоизменения физиогномии передаются живописью чрезвычайно неудовлетворительно; потому что никогда не может она достичь нежности штрихов, гармоничности всех мельчайших видоизменений в мускулах, от которых зависит выражение нежной радости, тихой задумчивости, легкой веселости и т. п. Руки человеческие грубы и в состоянии удовлетворительно сделать только то, для чего не требуется слишком удовлетворительной отделки: «топорная работа» — вот настоящее имя всех пластических искусств, как скоро сравним их с природою. Впрочем, живопись (и скульптура) еще больше, нежели очертаниями или выражением своих фигур, гордится пред природой группировкою. Но *эта* гордость еще менее понятна. Правда, искусству иногда удастся безукоризненно сгруппировать фигуры, но напрасно будет оно превозноситься своею чрезвычайно редкою удачею; потому что в действительности *никогда* не бывает в этом отношении неудачи: в каждой группе живых людей все держат себя совершенно сообразно 1) сущности сцены, происходящей между ними, 2) сущности собственного своего характера и 3) условиям обстановки. Все это само собою всегда соблюдается в действительной жизни и с чрезвычайным трудом достигает этого искусство. «Всегда и само собою» в природе, «очень редко и с величайшим напряжением сил» в искусстве — вот факт, почти во всех отношениях характеризующий природу и искусство.

Переходим к живописи, изображающей природу. Очертания предметов, опять, никак не могут быть не только нарисованы рукою, но и представлены воображением лучше, нежели встречаются в действительности; причину объяснили мы выше. Лучше действительной розы воображение не может ничего представить; а исполнение всегда ниже воображаемого идеала. Цвета некоторых

предметов удаются живописи очень хорошо; но есть много предметов, колорит которых она не может передать. Вообще лучше удаются темные цвета и грубые, жесткие оттенки; светлые — хуже; колорит предметов, освещенных солнцем, хуже всего; так же неудачны выходят оттенки голубого полуденного неба, розовые и золотистые оттенки утра и вечера. «Но именно победением этих трудностей прославились великие художники», т. е. тем, что победили их гораздо лучше, нежели другие живописцы. Мы не говорим об относительном достоинстве произведений живописи, а сравниваем лучшие из них с природою. Насколько лучшие из них лучше других, настолько же уступают природе. «Но живопись лучше может сгруппировать пейзаж?» Сомневаемся; по крайней мере, в природе на каждом шагу встречаются картины, к которым нечего прибавить, из которых нечего выбросить. Не так говорят очень многие люди, посвятившие свою жизнь изучению искусства и опустившие из виду природу. Но простое, естественное чувство каждого человека, не вовлеченного в пристрастие художническую или дилетантскую одно-сторонность, будет согласно с нами, когда мы скажем, что в природе очень много таких местоположений, таких зрелищ, которыми можно только восхищаться и в которых нечего осудить. Войдите в порядочный лес — не говорим о лесах Америки, говорим о тех лесах, которые уже пострадали от руки человека, о наших европейских лесах, — чего недостает этому лесу? Кому из видевших порядочный лес приходило в голову, что в этом лесу надобно что-нибудь изменить, что-нибудь дополнить для полноты эстетического наслаждения им? Проезжайте двести, триста верст по дороге — не говорим, в Крыму или в Швейцарии, нет — в Европейской России, которая, говорят, бедна видами, — сколько вам встретится на этом небольшом переезде таких местностей, которые восхитят вас, любясь на которые вы не подумаете о том, что «если бы тут вот это прибавить, тут вот это убавить, пейзаж был бы лучше». Человек с неиспорченным эстетическим чувством наслаждается природою вполне, не находит недостатков в ее красоте. Мнение, будто бы рисованный пейзаж может быть величественнее, грациознее или в каком бы то ни было отношении лучше действительной природы, отчасти обязано своим происхождением предрассудку, над которым само-довольно подсмеиваются в наше время даже те, которые в сущности еще не отделались от него, — предрассудку, что природа груба, низка, грязна, что надобно очищать и ук-

рашать ее для того, чтоб она облагородилась. Это принцип подстриженных садов. Другой источник мнения о превосходстве рисованных пейзажей над действительными анализируем ниже, когда будем рассматривать вопрос, в чем именно состоит наслаждение, доставляемое нам произведениями искусства.

Остается взглянуть на отношение к природе третьего рода картин — картин, на которых изображается группа людей среди пейзажа. Мы видели, что группы и пейзажи, изображаемые живописью, по идее никак не могут быть выше того, что представляет нам действительность, а по исполнению всегда неизмеримо ниже действительности. Но то справедливо, что на картине группа может быть поставлена в обстановке более эффектной и даже более приятной сущности ее, нежели обыкновенная действительная обстановка (радостные сцены часто происходят среди довольно тусклой или даже грустной обстановки; потрясающие, величественные сцены часто, и даже большею частью, — среди обстановки вовсе не величественной; и наоборот, очень часто пейзаж не наполнен группами, характер которых был бы приличен его характеру). Искусство очень легко восполняет эту неполноту, и мы готовы сказать, что оно имеет в этом случае преимущество перед действительностью. Но, признавая это преимущество, мы должны рассмотреть, во-первых, до какой степени оно важно, во-вторых, всегда ли оно бывает истинным преимуществом. — Картина изображает пейзаж и группу людей среди этого пейзажа. Обыкновенно в таких случаях или пейзаж есть только рамка для группы, или группа людей только второстепенный аксессуар, а главное в картине — пейзаж. В первом случае преимущество искусства над действительностью ограничивается тем, что оно сыскало для картины золоченую рамку вместо простой; во втором — искусство прибавило, может быть, прекрасный, но второстепенный аксессуар, — выигрыш также не слишком велик. Но действительно ли внутреннее значение картины возвышается, когда живописцы стараются дать группе людей обстановку, соответствующую характеру группы? Это сомнительно в большей части случаев. Не будет ли слишком однообразно всегда освещать сцены счастливой любви лучами радостного солнца и помещать среди смеющейся зелени лугов, и притом еще весною, когда «вся природа дышит любовью», а сцены преступлений освещать молнией и помещать среди диких скал? И кроме того, не будет ли не совсем гармонирующая с ха-

рактором сцены обстановка, какова обыкновенно бывает она в действительности, своею дисгармониею возвышать впечатление, производимое самою сценою? И не имеет ли почти всегда обстановка влияния на характер сцены, не придает ли она ей новых оттенков, не придает ли она ей чрез то более свежести и более жизни?

Окончательный вывод из этих суждений о скульптуре и живописи: мы видим, что произведения того и другого искусства по многим и существеннейшим элементам (по красоте очертаний, по абсолютному совершенству исполнения, по выразительности и т. д.) неизмеримо ниже природы и жизни; но, кроме одного маловажного преимущества живописи, о котором сейчас говорили, решительно не видим, в чем произведения скульптуры или живописи стояли бы выше природы и действительной жизни.

Теперь нам остается говорить о музыке и поэзии — высших, совершеннейших искусствах, пред которыми исчезают и живопись и скульптура.

Но прежде мы должны обратить внимание на вопрос: в каком отношении находится инструментальная музыка к вокальной, и в каких случаях вокальная музыка может назваться искусством?

Искусство есть деятельность, посредством которой осуществляет человек свое стремление к прекрасному, — таково обыкновенное определение искусства; мы не согласны с ним; но пока не высказана наша критика, еще не имеем права отступать от него, и, подстановив впоследствии вместо употребляемого нами здесь определения то, которое кажется нам справедливым, мы не изменим чрез это наших выводов относительно вопроса: всегда ли пение есть искусство, и в каких случаях становится оно искусством? Какова первая потребность, под влиянием которой человек начинает петь? участвует ли в ней насколько-нибудь стремление к прекрасному? Нам кажется, что это потребность, совершенно отличная от заботы о прекрасном. Человек спокойный может быть замкнут в себе, может молчать. Человек, находящийся под влиянием чувства радости или печали, делается сообщителен; этого мало: он не может не выражать во внешности своего чувства: «чувство просится наружу». Каким же образом выступает оно во внешний мир? Различно, смотря по тому, каков его характер. Внезапные и потрясающие ощущения выражаются криком или восклицаниями; чувства неприятные, переходящие в физическую боль, выражаются разными гримасами и движениями; чувство сильного недовольст-

ва — также беспокойными, разрушительными движениями; наконец, чувства радости и грусти — рассказом, когда есть кому рассказать, и пением, когда некому рассказывать или когда человек не хочет рассказывать. Эта мысль найдется в каждом рассуждении о народных песнях. Странно только, почему не обращают внимания на то, что пение, будучи по существу своей выражением радости или грусти, вовсе не происходит от нашего стремления к прекрасному. Неужели под преобладающим влиянием чувства человек будет еще думать о том, чтобы достигать прелести, грации, будет заботиться о форме? Чувство и форма противоположны между собою. Уже из этого одного видим, что пение, произведение чувства, и искусство, заботящееся о форме, — два совершенно различные предмета. Пение первоначально и существенно — подобно разговору — произведение практической жизни, а не произведение искусства; но как всякое «уменье», пение требует привычки, занятия, практики, чтобы достичь высокой степени совершенства; как все органы, орган пения, голос, требует обработки, ученья, для того чтобы сделаться покорным орудием воли, — и естественное пение становится в этом отношении «искусством», но только в том смысле, в каком называется «искусством» уменье писать, считать, пахать землю, всякая практическая деятельность, а вовсе не в том смысле, какой придается слову «искусство» эстетиком.

Но в противоположность естественному пению существует искусственное пение, старающееся подражать естественному. Чувство придает особенный, высокий интерес всему, что производится под его влиянием; оно даже придает всему особенную прелесть, особенную красоту. Одушевленное грустью или радостью лицо в тысячу раз прекраснее, нежели холодное. Естественное пение как влияние чувства, будучи произведением природы, а не искусства, заботящегося о красоте, имеет, однако, высокую красоту; потому является в человеке желание петь нарочно, подражать естественному пению. Каково отношение этого искусственного пения к естественному? Оно гораздо обдуманнее, оно рассчитано, украшено всем, чем только может украсить его гений человека: какое сравнение между арией итальянской оперы и простым, бедным, монотонным мотивом народной песни! Но вся ученость гармонии, все изящество развития, все богатство украшений гениальной арии, вся гибкость, все несравненное богатство голоса, ее исполняющего, не заменят недостатка искреннего чувства, которым проникнут бедный мотив народной

песни и неблестящий, мало обработанный голос человека, который поет не из желания блеснуть и выказать свой голос и искусство, а из потребности излить свое чувство. Различие между естественным и искусственным пением — различие между актером, играющим роль веселого или печального, и человеком, который в самом деле обрадован или опечален чем-нибудь, — различие между оригиналом и копией, между действительностью и подражанием. Спешим прибавить, что композитор может в самом деле проникнуться чувством, которое должно выражаться в его произведении; тогда он может написать нечто гораздо высшее не только по внешней красивости, но и по внутреннему достоинству, нежели народная песня; но в таком случае его произведение будет произведением искусства или «уменья» только с технической стороны, только в том смысле, в котором и все человеческие произведения, созданные при помощи глубокого изучения, соображений, заботы о том, чтобы «вышло как возможно лучше», могут назваться произведениями искусства; в сущности же произведение композитора, написанное под преобладающим влиянием произвольного чувства, будет создание природы (жизни) вообще, а не искусства. Точно так же искусный и впечатлительный певец может войти в свою роль, проникнуться тем чувством, которое должна выражать его песня, и в таком случае он пропоет ее на театре, перед публикою, лучше другого человека, поющего не на театре, — от избытка чувства, а не на показ публике; но в таком случае певец перестает быть актером, и его пение становится песнью самой природы, а не произведением искусства. Это увлечение чувством мы не думаем смешивать с вдохновением: вдохновение есть особенно благоприятное настроение творческой фантазии; оно и увлечение чувством имеют общего только то, что в людях, одаренных поэтическим талантом и вместе особенною впечатлительностью, вдохновение может переходить в увлечение чувством, когда предмет вдохновения располагает к чувству. Между вдохновением и чувством то же самое различие, какое между фантазией и действительностью, между мечтами и впечатлениями.

Первоначальное и существенное назначение инструментальной музыки — служить аккомпанементом для пения. Правда, впоследствии, когда пение становится для высших классов общества преимущественно искусством, когда слушатели начинают быть очень требовательны в отношении к технике пения, — за недостатком удовлет-

ворительного пения инструментальная музыка старается заменить его и является как нечто самостоятельное; правда, что она имеет и полное право обнаруживать притязания на самостоятельное значение при усовершенствовании музыкальных инструментов, при чрезвычайном развитии технической стороны игры и при господстве предпочтительного пристрастия к исполнению, а не к содержанию. Но тем не менее истинное отношение инструментальной музыки к пению сохраняется в опере, полнейшей форме музыки как искусства, и в некоторых других отраслях концертной музыки. И нельзя не заметить, что, несмотря на всю искусственность нашего вкуса, на изысканное пристрастие ко всем трудностям и хитростям блестящей техники, все продолжают отдавать пению предпочтение пред инструментальной музыкою: едва начинается пение, мы перестаем обращать внимание на оркестр. Выше всех инструментов ставится скрипка, потому что она «ближе всех инструментов подходит к человеческому голосу»; высочайшая похвала артисту: «в звуках его инструмента слышится человеческий голос». Итак, инструментальная музыка — подражание пению, его аккомпанемент или суррогат; в самом пении пение как произведение искусства — только подражание и суррогат пению как произведению природы. После этого мы имеем право сказать, что в музыке искусство есть только слабое воспроизведение явлений жизни, независимых от стремления нашего к искусству.

Переходим к высочайшему и полнейшему из искусств, поэзии, вопросы о которой заключают в себе всю теорию искусства. Неизмеримо выше других искусств стоит поэзия по своему содержанию; все другие искусства не в состоянии сказать нам и сотой доли того, что говорит поэзия. Но совершенно изменяется это отношение, когда мы обращаем внимание на силу и живость субъективного впечатления, производимого поэзией, с одной стороны, и остальными искусствами — с другой. Все другие искусства, подобно живой действительности, действуют прямо на чувства, поэзия действует на фантазию; фантазия у одних людей гораздо впечатлительнее и живее, нежели у других, но вообще должно сказать, что у здорового человека ее образы бледны, слабы в сравнении с воззрениями чувств; потому надобно сказать, что по силе и ясности субъективного впечатления поэзия далеко ниже не только действительности, но и всех других искусств. Посмотрим же, какова степень объективного совершенства содержа-

ния и формы в произведениях поэзии, и может ли она хотя в этом отношении соперничать с природою.

Много говорят о «законченности», «индивидуальности», «живой определенности» лиц и характеров, изображаемых великими поэтами. Но вместе с этим говорят нам, что «это, однако же, не отдельные лица, а общие типы»; после такой фразы было бы излишне доказывать, что самое определенное, наилучшим образом обрисованное лицо остается в поэтическом произведении только общим, неопределенно очерченным абрисом, которому живая определенная индивидуальность придается только воображением (собственно говоря, воспоминаниями) читателя. Образ в поэтическом произведении точно так же относится к действительному живому образу, как слово относится к действительному предмету, им обозначаемому, — это не более как бледный и общий, неопределенный намек на действительность. Многие в этой «общности» поэтического образа видят превосходство его над лицами, представляющимися нам в действительной жизни. Такое мнение основывается на предполагаемой противоположности между общим значением существа и его живую индивидуальностью, на предположении, будто бы «общее, индивидуализируясь, теряет свою общность» в действительности и «возводится опять к ней только силою искусства, совлекающего с индивидуума его индивидуальность». Не вдаваясь в метафизические суждения о том, каковы на самом деле каузальные отношения между общим и частным (причем необходимо было бы прийти к заключению, что для человека общее только бледный и мертвый экстракт из индивидуального, что поэтому между ними такое же отношение, как между словом и реальностью), скажем только, что на самом деле индивидуальные подробности вовсе не мешают общему значению предмета, а, напротив, оживляют и дополняют его общее значение; что, во всяком случае, поэзия признает высокое превосходство индивидуального уж тем самым, что всеми силами стремится к живой индивидуальности своих образов; что с тем вместе никак не может она достичь индивидуальности, а успевает только несколько приблизиться к ней, и что степень этого приближения определяется достоинство поэтического образа. Итак: стремится, но не может никогда достичь того, что всегда встречается в типических лицах действительной жизни, — ясно, что образы поэзии слабы, неполны, неопределенны в сравнении с соответствующими им образами действительности. «Но встречаются ли в действи-

тельности истинно-типические лица»? Достаточно предположить подобный вопрос и не дожидаться на него ответа, как на вопросы о том, действительно ли в жизни встречаются добрые и дурные люди, моты, скупцы и т. д., действительно ли лед холоден, хлеб очень питателен и т. п. Есть люди, которым все надобно указывать и доказывать. Но их нельзя убедить общими доказательствами в общем сочинении; на них можно действовать только порознь, для них убедительны только специальные примеры, заимствованные из кружка знакомых им людей, в котором, как бы ни был он тесен, всегда найдется несколько истинно-типических личностей; указание на истинно-типические личности в истории едва ли поможет: есть люди, готовые сказать: «исторические личности опоэтизированы преданием, удивлением современников, гением историков или своим исключительным положением».

Отчего произошло мнение, будто бы типические характеры в поэзии выставляются гораздо чище и лучше, нежели представляются они в действительной жизни, рассмотрим после; теперь обратим внимание на процесс, посредством которого «создаются» характеры в поэзии, — он обыкновенно представляется ручательством за большую в сравнении с живыми лицами типичность этих образов. Обыкновенно говорят: «Поэт наблюдает множество живых индивидуальных личностей; ни одна из них не может служить полным типом; но он замечает, что в каждой из них есть общего, типического; отбрасывая в сторону все частное, соединяет в одно художественное целое разбросанные в различных людях черты и таким образом создает характер, который может быть назван квинтэссенцией действительных характеров». Положим, что все это совершенно справедливо и что всегда бывает именно так; но квинтэссенция вещи обыкновенно не похожа бывает на самую вещь: теин — не чай, алкоголь — не вино; по праву, приведенному выше, в самом деле поступают «сочинители», дающие нам вместо людей квинтэссенцию героизма и злости в виде чудовищ порока и каменных героев. Все, или почти все, молодые люди влюбляются — вот общая черта, в остальных они не сходны, — и во всех произведениях поэзии мы услаждаемся девицами и юношами, которые и мечтают и толкуют всегда только о любви и во все продолжение романа только и делают, что страдают или блаженствуют от любви; все пожилые люди любят порезонерствовать, в остальном они не похожи друг на друга; все бабушки любят внучат и т. д., — и вот все по-

вести и романы населяются стариками, которые только и дела делают, что резонерствуют, бабушками, которые только и дела делают, что ласкают внучат, и т. д. Но большею частью рецепт не совсем соблюдается: у поэта, когда он «создает» свой характер, обыкновенно носится пред воображением образ какого-нибудь действительного лица; иногда сознательно, иногда бессознательно «воспроизводит» он его в своем типическом лице. В доказательство напомним о бесчисленном количестве произведений, в которых главное действующее лицо — более или менее верный портрет самого автора (например, Фауст, Дон-Карлос и маркиз Поза¹⁵, герои Байрона, герои и героини Жоржа Занда, Ленский, Онегин, Печорин); напомним еще об очень частых обвинениях против романистов, что они «в своих романах выставляют портреты своих знакомых»; эти обвинения обыкновенно отвергаются с насмешкою и негодованием; но они большею частью бывают только утрированы и несправедливо выражаемы, а не по сущности своей несправедливы. С одной стороны, приличия, с другой — обыкновенное стремление человека к самостоятельности, к «творчеству, а не списыванию копий» заставляют поэта видоизменять характеры, им списываемые с людей, которые встречались ему в жизни, представляя их до некоторой степени неточными; кроме того, списанному с действительного человека лицу обыкновенно приходится в романе действовать совершенно не в той обстановке, какой оно было окружено на самом деле, и от этого внешнее сходство теряется. Но все эти перемены не мешают характеру в сущности оставаться списанным, а не созданным, портретом, а не оригиналом. Против этого можно сказать: правда, что первообразом для поэтического лица очень часто служит действительное лицо; но поэт «возводит его к общему значению» — возводит обыкновенно незачем, потому что и оригинал уже имеет общее значение в своей индивидуальности; надобно только — и в этом состоит одно из качеств поэтического гения — уметь понимать сущность характера в действительном человеке, смотреть на него проникательными глазами; кроме того, надобно понимать или чувствовать, как стал бы действовать и говорить этот человек в тех обстоятельствах, среди которых он будет поставлен поэтом, — другая сторона поэтического гения; в-третьих, надобно уметь изобразить его, уметь передать его таким, каким понимает его поэт, — едва ли не самая характеристическая черта поэтического гения. Понять, уметь сообразить или почувствовать инстинктом

и передать понятое — вот задача поэта при изображении большей части изображаемых им лиц. Вопрос о том, что называется «возведением к идеальному значению», «опозитивированием прозы и нескладки жизни», представится нам ниже. Мы нисколько не сомневаемся, однако, что бывает в поэтических произведениях очень много лиц, которые не могут быть названы портретами, которые «созданы» поэтом. Но это происходит вовсе не от того, чтобы не нашлось в действительности достойных натурщиков, а совершенно от другой причины, чаще всего просто от забывчивости или недостаточного знакомства: если в памяти поэта исчезли живые подробности, осталось только общее, отвлеченное понятие о характере или поэт знает о типическом лице гораздо менее, нежели нужно для того, чтобы оно было живым лицом, то поневоле приходится ему самому дополнять общий очерк, оттенять абрис. Но почти никогда эти придуманные лица не обрисовываются пред нами как живые характеры. Вообще, чем более нам известно о характере поэта, о его жизни, о лицах, с которыми он сталкивался, тем более видим у него портретов с живых людей. Трудно не согласиться, что «созданного» в лицах, изображаемых поэтами, бывает и всегда бывало гораздо менее, а списанного с действительности гораздо более, нежели обыкновенно предполагают; трудно не прийти к убеждению, что поэт в отношении к своим лицам почти всегда только историк или автор мемуаров. Само собою разумеется, что всем этим не хотим мы сказать, будто бы каждое слово, произносимое Маргаритою или Мефистофелем, было буквально слышано Гёте от Гретхен и Мерка¹⁶. Не только гениальный поэт, но и самый ненаходчивый рассказчик в состоянии к одной фразе и сделать другую в том же роде, прибавить вступления и переходы.

Гораздо больше бывает «самостоятельно изобретенного» или «придуманного» — решаемся заменить этими терминами обыкновенный, слишком гордый термин: «созданного» — в событиях, изображаемых поэтом, в интриге, завязке и развязке ее и т. д., хотя очень легко доказать, что сюжетами романов, повестей и т. д. обыкновенно служат поэту действительно совершившиеся события или анекдоты, разного рода рассказы и пр. (укажем в пример на все прозаические повести Пушкина: «Капитанская дочка» — анекдот; «Дубровский» — анекдот; «Пиковая дама» — анекдот; «Выстрел» — анекдот и т. д.). Но общий очерк сюжета сам по себе еще не придает высокого поэтического достоинства роману или повести — надобно уметь вос-

пользоваться сюжетом; потому, оставляя без рассмотрения «самостоятельность» сюжета, обратим внимание на то, выше или ниже действительных событий «поэтичность» поэтических произведений со стороны сюжета, как он представляется в них вполне развитым. Как пособия для получения окончательного вывода, выставим несколько вопросов, из которых большая часть разрешаются сами собою: 1) Бывают ли в действительности поэтические события, совершаются ли в действительности драмы, романы, комедии, трагедии, водевили? — Ежеминутно. 2) Истинно ли поэтичны эти события в своем развитии и развязке? Имеют ли они в действительности художественную полноту и законченность? — Как случится; часто не имеют, но очень часто имеют. Есть очень много таких событий, в которых строго поэтическое воззрение не находит никаких недостатков в художественном отношении. Этот пункт решается чтением первой хорошо написанной исторической книги, первым вечером, проведенным в беседе с человеком, много на своем веку выдавшим; разрешается, наконец, первыми взятыми в руки нумерами какой-нибудь французской или английской судебной газеты. 3) Есть ли между этими законченными поэтическими событиями такие, которые могли бы без всякого изменения быть переданы под заглавием: «драма», «трагедия», «роман» и т. п.? — Очень много; правда, что многие из действительных событий неправдоподобны, основаны на слишком редких, исключительных положениях или сцеплениях обстоятельств и потому в настоящем своем виде имеют вид сказки или натянутой выдумки (из этого можно видеть, что действительная жизнь часто бывает слишком драматична для драмы, слишком поэтична для поэзии); но очень много есть событий, в которых, при всей их замечательности, нет ничего эксцентрического, невероятного, все сцепление происшествий, весь ход и развязка того, что в поэзии называется интригою, просты, естественны. 4) Имеют ли действительные события «общую» сторону, которая необходима в поэтическом произведении? — Конечно, ее имеет всякое событие, достойное внимания мыслящего человека; а таких событий очень много.

После всего этого трудно не сказать, что в действительности есть много событий, которые надобно только знать, понять и уметь рассказать, чтоб они в чисто прозаическом рассказе историка, писателя мемуаров или собирателя анекдотов отличались от настоящих «поэтических произведений» только меньшим объемом, меньшим раз-

витиём сцен, описаний и тому подобных подробностей. И в этом находим мы существенное различие поэтических произведений от точного, прозаического пересказывания действительных происшествий. Большая полнота подробностей, или то, что в плохих произведениях приобретает имя «реторического распространения», — вот к чему в сущности приводится все превосходство поэзии над точным рассказом. Мы не менее других готовы смеяться над реторикою; но, признавая законными все потребности человеческого сердца, как скоро замечаем их всеобщность, мы признаем важность этих поэтических распространений, потому что всегда и везде видим стремление к ним в поэзии: в жизни всегда есть эти подробности, не нужные для сущности дела, но необходимые для его действительного развития; должны они быть и в поэзии. Разница только в том, что в действительности подробности никогда не могут быть умышленным механическим растягиванием дела, а в поэтических произведениях они на самом деле очень часто отзываются реторикою, механическим растягиванием рассказа. За что же и превозносят Шекспира, если не за то, что в решительных, лучших сценах он отбрасывает в сторону эти распространения? Но сколько найдется их у него самого, у Гёте и у Шиллера! Нам кажется (может быть, это — пристрастие к своему — родному), что русская поэзия носит в себе зародыши отращения к растягиванию сюжета механически подбирающимися подробностями. В повестях и рассказах Пушкина, Лермонтова, Гоголя общее свойство — краткость и быстрота рассказа. Итак, вообще, по сюжету, по типичности и полноте обрисовки лиц поэтические произведения далеко уступают действительности; но есть две стороны, которыми они могут стоять выше действительности: это украшения и сочетание лиц с теми событиями, в которых они участвуют.

Мы говорили, что живопись чаще, нежели действительность, окружает группу обстановкою, соответствующую существенному характеру сцены; точно так же и поэзия чаще, нежели действительность, двигателями и участниками событий выставляет людей, которых существенный характер совершенно соответствует духу событий. В действительности очень часто мелкие по характеру люди являются двигателями трагических, драматических и т. д. событий; ничтожный повеса, в сущности даже вовсе не дурной человек, может наделать много ужасных дел; человек, которого несколько нельзя назвать дурным, может погубить счастье многих людей и наделать

несчастий гораздо более, нежели Яго или Мефистофель. В произведениях поэзии, напротив того, очень дурные дела делают и люди очень дурные; хорошие дела делают и люди особенно хорошие. В жизни часто не знаешь, кого винить, кого хвалить; в поэтических произведениях обыкновенно положительным образом раздается честь и бесчестье. Но преимущество это или недостаток? — Бывает иногда то, иногда другое; чаще бывает это недостатком. Не говорим пока о том, что следствием подобного обыкновения бывает идеализация в хорошую и в дурную сторону, или, просто говоря, преувеличение; потому что мы не говорили еще о значении искусства, и рано еще решать, недостаток или достоинство эта идеализация; скажем только, что вследствие постоянного приспособления характера людей к значению событий является в поэзии монотонность, однообразны делаются лица и даже самые события; потому что от разности в характерах действующих лиц и самые происшествия, существенно сходные, приобретали бы различный оттенок, как это бывает в жизни, вечно разнообразной, вечно новой, между тем как в поэтических произведениях очень часто приходится читать повторения. В наше время принято смеяться над украшениями, не достигающими из сущности предмета и ненужными для достижения главной цели; но до сих пор еще удачное выражение, блестящая метафора, тысячи прикрас, придумываемых для того, чтобы сообщить внешний блеск сочинению, имеют чрезвычайно большое влияние на суждение о произведениях поэзии. Что касается украшений, внешнего великолепия, замысловатости и т. д., мы всегда признаём возможность превзойти в вымышленном рассказе действительность. Но стоит только указать это мнимое достоинство повести или драмы, чтобы уронить ее в глазах людей со вкусом и низвести из области «искусства» в область «искусственности».

Наш разбор показал, что произведение искусства может иметь преимущество пред действительностью разве только в двух-трех ничтожных отношениях и по необходимости остается далеко ниже ее в существенных своих качествах. Разбор этот можно упрекнуть в том, что он ограничивался самыми общими точками зрения, не входил в подробности, не ссылался на примеры. Действительно, его краткость кажется недостатком, когда вспомним о том, до какой степени укоренилось мнение, будто бы красота произведений искусства выше красоты действительных предметов, событий и людей; но когда посмотришь на

шаткость этого мнения, когда вспомнишь, как люди, его выставляющие, противоречат сами себе на каждом шагу, то покажется, что было бы довольно, изложив мнение о превосходстве искусства над действительностью, ограничиться прибавлением слов: это несправедливо, всякий чувствует, что красота действительной жизни выше красоты созданий «творческой» фантазии. Если так, то на чем же основывается, или, лучше сказать, из каких субъективных причин проистекает преувеличенно высокое мнение о достоинстве произведений искусства?

Первый источник этого мнения — естественная склонность человека чрезвычайно высоко ценить трудность дела и редкость вещи. Никто не ценит чистоты выговора француза, говорящего по-французски, немца, говорящего по-немецки, — «это ему не стоило никаких трудов, и это вовсе не редкость»; но если француз говорит сносно по-немецки или немец по-французски, — это составляет предмет нашего удивления и дает такому человеку право на некоторое уважение с нашей стороны. Почему? Потому, во-первых, что это редко; потому, во-вторых, что это достигнуто целыми годами усилий. Собственно говоря, почти каждый француз превосходно говорит по-французски, — но как мы взыскательны в этом случае! — малейший, почти незаметный оттенок провинциализма в его выговоре, одна не совсем изящная фраза — и мы объявляем, что «этот господин говорит очень дурно на своем родном языке». Русский, говоря по-французски, в каждом звуке изобличает, что для органов его неуволима полная чистота французского выговора, беспрестанно изобличает свое иностранное происхождение в выборе слов, в построении фразы, во всем складе речи, — и мы прощаем ему все эти недостатки, мы даже не замечаем их и объявляем, что он превосходно, несравненно говорит по-французски, наконец, мы объявляем, что «этот русский говорит по-французски лучше самих французов», хотя в сущности мы и не думаем сравнивать его с настоящими французами, сравнивая его только с другими русскими, также усиливающимися говорить по-французски, — он действительно говорит несравненно лучше их, но несравненно хуже французов, — это подразумевается каждым, имеющим понятие о деле; но многих гиперболическая фраза может вводить в заблуждение. Точно то же и с приговором эстетики о созданиях природы и искусства: малейший, истинный или мнимый, недостаток в произведении природы — и эстетика толкует об этом недостатке, шокируется им, готова забы-

вать о всех достоинствах, о всех красотах: стоит ли ценить их, в самом деле, когда они явились без всякого усилия! Тот же самый недостаток в произведении искусства во сто раз больше, грубее и окружен еще сотнями других недостатков, — и мы не видим всего этого, а если видим, то прощаем и восклицаем: «И на солнце есть пятна!» Собственно говоря, произведения искусства могут быть сравнимы только друг с другом при определении относительного их достоинства; некоторые из них оказываются выше всех остальных; и в восторге от их красоты (только относительной) мы восклицаем: «Они прекраснее самой природы и жизни! Красота действительности — ничто пред красотой искусства!» Но восторг пристрастен; он дает больше, нежели может дать справедливость: мы ценим трудность — это прекрасно; но не должно забывать и существенного, внутреннего достоинства, которое независимо от степени трудности; мы делаемся решительно несправедливыми, когда трудность исполнения предпочитаем достоинству исполнения. Природа и жизнь производят прекрасное, не заботясь о красоте, она является в действительности без усилия и, следовательно, без заслуги в наших глазах, без права на сочувствие, без права на снисхождение; да и к чему снисхождение, когда прекрасного в действительности так много! «Все не в совершенстве прекрасное в действительности — дурно; все сколько-нибудь сносное в искусстве — превосходно» — вот правило, на основании которого мы судим. Чтобы доказать, как высоко ценится трудность исполнения и как много теряет в глазах человека то, что делается само собою, без всяких усилий с нашей стороны, укажем на дагерротипные портреты; в числе их найдется очень много не только верных, но и передающих в совершенстве выражение лица, — ценим ли мы их? Странно даже услышать апологию дагерротипных портретов. Другой пример: как высоко уважалась каллиграфия! Между тем довольно посредственно напечатанная книга несравненно прекраснее всякой рукописи; но кто же восхищается искусством типографского фактора, и кто не будет в тысячу раз больше любоваться на прекрасную рукопись, нежели на порядочно напечатанную книгу, которая в тысячу раз прекраснее рукописи? Что легко, то мало интересует нас, хотя бы по внутреннему достоинству было несравненно выше трудного. Само собою разумеется, что даже и с этой точки зрения мы правы только субъективно: «действительность производит прекрасное без усилий» — значит только, что усилия

в этом случае делаются не волею человека; на самом же деле все в действительности — и прекрасное, и непрекрасное, и великое, и мелкое — результат высочайшего возможного напряжения сил, не знающих ни отдыха, ни усталости. Но что нам за дело до усилий и борьбы, которые совершаются не нашими силами, в которых не участвует наше сознание? Мы не хотим и знать о них; мы ценим только человеческую силу, ценим только человека. И вот другой источник нашей пристрастной любви к произведениям искусства: они — произведения человека; потому мы гордимся ими, считая их чем-то не чуждым нам; они свидетельствуют об уме человека, о его силе и потому дороги для нас. Все народы, кроме французов, очень хорошо видят, что между Корнелем или Расином и Шекспиром неизмеримое расстояние; но французы до сих пор еще сравнивают их — трудно дойти до сознания: «наше не совсем хорошо»; между нами найдется очень много людей, готовых утверждать, что Пушкин — всемирный поэт; есть даже люди, думающие, что он выше Байрона: так высоко человек ставит свое. Как отдельный народ преувеличивает достоинство своих поэтов, так человек вообще преувеличивает достоинство поэзии вообще.

Причины пристрастия к искусству, нами приведенные, заслуживают уважения, потому что они естественны: как человеку не уважать человеческого труда, как человеку не любить человека, не дорожить произведениями, свидетельствующими об уме и силе человека? Но едва ли заслуживает такого уважения третья причина предпочтительной любви нашей к искусству. Искусство льстит нашему искусственному вкусу. Мы очень хорошо понимаем, как искусственны были нравы, привычки, весь образ мыслей времен Людовика XIV; мы приблизились к природе, гораздо лучше понимаем и ценим ее, нежели понимали и ценило общество XVII века; тем не менее мы еще очень далеки от природы; наши привычки, нравы, весь образ жизни и вследствие того весь образ мыслей еще очень искусственны. Трудно видеть недостатки своего века, особенно когда эти недостатки стали слабее, нежели были в прежнее время; вместо того чтобы замечать, как много еще в нас изысканной искусственности, мы замечаем только, что XIX век стоит в этом отношении выше XVII, лучше его понимая природу, и забываем, что ослабевшая болезнь не есть еще полное здоровье. Наша искусственность видна во всем, начиная с одежды, над которою так много все смеются и которую все продолжают носить,

до нашего кушанья, приправляемого всевозможными примесями, совершенно изменяющими естественный вкус блюд; от изысканности нашего разговорного языка до изысканности нашего литературного языка, который продолжает украшаться антитезами, остротами, распространениями из *loci topici*¹⁷, глубокомысленными рассуждениями на избитые темы и глубокомысленными замечаниями о человеческом сердце, на манер Корнеля и Расина в беллетристике и на манер Иоанна Миллера в исторических сочинениях. Произведения искусства льстят всем мелочным нашим требованиям, происходящим от любви к искусственности. Не говорим о том, что мы до сих пор еще любим «умывать» природу, как любили наряжать ее в XVII веке, — это завлекло бы нас в длинные суждения о том, что такое «грязное» и до какой степени оно должно являться в произведениях искусства. Но до сих пор в произведениях искусства господствует мелочная отделка подробностей, цель которой не приведение подробностей в гармонию с духом целого, а только то, чтобы сделать каждую из них в отдельности интереснее или красивее, почти всегда во вред общему впечатлению произведения, его правдоподобию и естественности; господствует мелочная погоня за эффектною отдельными слов, отдельных фраз и целых эпизодов, расцвечивание не совсем натуральными, но резкими красками лиц и событий. Произведение искусства мелочнее того, что мы видим в жизни и в природе, и вместе с тем эффектнее, — как же не утвердился мнению, что оно прекраснее действительной природы и жизни, в которых так мало искусственности, которым чуждо стремление заинтересовать?

Природа и жизнь выше искусства; но искусство старается угодить нашим наклонностям, а действительность не может быть подчинена стремлению нашему видеть все в том цвете и в том порядке, какой нравится нам или соответствует нашим понятиям, часто односторонним. Из многих случаев этого угождения господствующему образу мыслей укажем на один: многие требуют, чтобы в сатирических произведениях были лица, «на которых могло бы с любовью отдохнуть сердце читателя», — требование очень естественное; но действительность очень часто не удовлетворяет ему, представляя множество событий, в которых нет ни одного отрадного лица; искусство почти всегда угождает ему; и не знаем, найдется ли, например, в русской литературе, кроме Гоголя, писатель, который бы не подчинялся этому требованию; и у самого Гоголя за

недостаток «отрадных» лиц вознаграждают «высоколирические» отступления. Другой пример: человек склонен к сентиментальности; природа и жизнь не разделяют этого направления; но произведения искусства почти всегда более или менее удовлетворяют ему. То и другое требование — следствие ограниченности человека; природа и действительная жизнь выше этой ограниченности; произведения искусства, подчиняясь ей, становясь этим ниже действительности и даже очень часто подвергаясь опасности впасть в пошлость или в слабость, приближаются к обыкновенным потребностям человека и через это выигрывают в его глазах. «Но в таком случае вы сами соглашаетесь, что произведения искусства лучше, полнее, нежели объективная действительность, удовлетворяют природе человека; следовательно, для человека они лучше произведений действительности». — Заключение, не совсем точно выраженное; дело в том, что искусственно развитой человек имеет много искусственных, исказившихся до лживости, до фантастичности требований, которых нельзя вполне удовлетворить, потому что они в сущности не требования природы, а мечты испорченного воображения, которым почти невозможно и угождать, не подвергаясь насмешке и презрению от самого того человека, которому стараемся угодить, потому что он сам инстинктивно чувствует, что его требование не стоит удовлетворения. Так, публика и вслед за нею эстетика требуют «отрадных» лиц, сентиментальности, — и та же самая публика смеется над произведениями искусства, удовлетворяющими этим желаниям. Угождать прихотям человека не значит еще удовлетворять потребностям человека. Первейшая из этих потребностей — истина.

Мы говорили об источниках предпочтения произведений искусства явлениям природы и жизни относительно содержания и выполнения, но очень важно и впечатление, производимое на нас искусством или действительностью: степенью его также измеряется достоинство вещи.

Мы видели, что впечатление, производимое созданиями искусства, должно быть гораздо слабее впечатления, производимого живою действительностью, и не считаем нужным доказывать это. Однако же в этом отношении произведение искусства находится в гораздо благоприятнейших обстоятельствах, нежели явления действительности; и эти обстоятельства могут заставить человека, не привыкшего анализировать причины своих ощущений, предполагать, что искусство само по себе производит на человека более

действия, нежели живая действительность. Действительность представляется нашим глазам независимо от нашей воли, большею частью не вовремя, некстати. Очень часто мы отправляемся в общество, на гулянье вовсе не за тем, чтобы любоваться человеческою красотою, не за тем, чтобы наблюдать характеры, следить за драмою жизни; отправляемся с заботами в голове, с замкнутым для впечатлений сердцем. Но кто же отправляется в картинную галерею не за тем, чтобы наслаждаться красотою картин? Кто принимает читать роман не за тем, чтобы вникать в характеры изображенных там людей и следить за развитием сюжета? На красоту, на величие действительности мы обыкновенно обращаем внимание почти насильно. Пусть она сама, если может, привлечет на себя наши глаза, обращенные совершенно на другие предметы, пусть она насильно проникнет в наше сердце, занятое совершенно другим. Мы обращаемся с действительностью как с докучливым гостем, спрашивающимся на наше знакомство: мы стараемся запереться от нее. Но есть часы, когда пусто остается в нашем сердце от нашего же собственного невнимания к действительности, — и тогда мы обращаемся к искусству, умоляя его наполнить эту пустоту; мы сами играем пред ним роль заискивающего просителя. На жизненном пути нашем разбросаны золотые монеты; но мы не замечаем их, потому что думаем о цели пути, не обращаем внимания на дорогу, лежащую под нашими ногами; заметив, мы не можем нагнуться, чтобы собрать их, потому что «телега жизни» неудержимо уносит нас вперед, — вот наше отношение к действительности; но мы приехали на станцию и проходим в скучном ожидании лошадей — тут мы со вниманием рассматриваем каждую жестяную бляху, которая, быть может, не стоит и внимания, — вот наше отношение к искусству. Не говорим уже о том, что явления жизни каждому приходится оценивать самому, потому что для каждого отдельного человека жизнь представляет особенные явления, которых не видят другие, над которыми поэтому не произносит приговора целое общество, а произведения искусства оценены общим судом. Красота и величие действительной жизни редко являются нам патентованными, а про что не трубит молва, то немногие в состоянии заметить и оценить; явления действительности — золотой слиток без клейма: очень многие откажутся уже по этому одному взять его, очень многие не отличат от куска меди; произведение искусства — банковый билет, в котором очень мало внутренней ценности, но за услов-

ную ценность которого ручается все общество, которым поэтому дорожит всякий и относительно которого немногие даже сознают ясно, что вся его ценность заимствована только от того, что он представитель золотого куска. Когда мы смотрим на действительность, она сама занимает нас собою, как нечто совершенно самостоятельное, и редко оставляет нам возможность переноситься мыслями в наш субъективный мир, в наше прошлое. Но когда я смотрю на произведение искусства — тут полный простор моим субъективным воспоминаниям, и произведение искусства для меня обыкновенно бывает только поводом к сознательным или бессознательным мечтам и воспоминаниям. Трагическая сцена совершается передо мною в действительности — тогда мне не до того, чтобы вспоминать о себе; но я читаю в романе эпизод о гибели человека — и в моей памяти ясно или смутно воскресают все опасности, в которых я был сам, все случаи гибели близких ко мне людей. Сила искусства есть обыкновенно сила воспоминания. Уж и по самой своей незаконченности, неопределенности, именно по тому самому, что обыкновенно оно только «общее место», а не живой индивидуальный образ или событие, произведение искусства особенно способно вызывать наши воспоминания. Дайте мне законченный портрет человека — он не напомнит мне ни одного из моих знакомых, и я холодно отвернусь, сказав: «педурно», но покажите мне в благоприятную минуту едва набросанный, неопределенный абрис, в котором ни один человек не узнает себя положительным образом, — и этот жалкий, слабый абрис напомнит мне черты кого-нибудь милого мне; и, холодно смотря на живое лицо, полное красоты и выразительности, я в упоении буду смотреть на ничтожный эскиз, говорящий мне обо мне самом. Сила искусства есть сила общих мест. Есть еще в произведениях искусства сторона, по которой они в неопытных или недальновидных глазах выше явлений жизни и действительности, — в них все выставлено напоказ, объяснено самим автором, между тем как природу и жизнь надобно разгадывать собственными силами. Сила искусства — сила комментария; но об этом должны будем говорить мы ниже.

Много нашли мы причин предпочтения, отдаваемого искусству перед действительностью; но все они только объясняют, а не оправдывают это предпочтение. Не соглашаясь, чтобы искусство стояло не только выше действительности, но и наравне с нею по внутреннему достоинству содержания или исполнения, мы, конечно, не можем со-

гласиться с господствующим ныне взглядом на то, из каких потребностей возникает оно, в чем цель его существования, его назначение. Господствующее мнение о происхождении и значении искусства выражается так: «Имея непреодолимое стремление к прекрасному, человек не находит истинно-прекрасного в объективной действительности; этим он поставлен в необходимость сам создавать предметы или произведения, которые соответствовали бы его требованию, предметы и явления истинно-прекрасные». Иначе сказать: «Идея прекрасного, не осуществляемая действительностью, осуществляется произведениями искусства». Мы должны анализировать это определение, чтобы открыть истинное значение неполных и односторонних намеков, в нем заключающихся. «Человек имеет стремление к прекрасному». Но если под прекрасным понимать то, что понимается в этом определении,— полное согласие идеи и формы, то из стремления к прекрасному надобно выводить не искусство в частности, а вообще всю деятельность человека, основное начало которой — полное осуществление известной мысли; стремление к единству идеи и образа — формальное начало всякой техники, стремление к созданию и усовершенствованию всякого произведения или изделия; выводя из стремления к прекрасному искусство, мы смешиваем два значения этого слова: 1) изящное искусство (поэзия, музыка и т. д.) и 2) умение или старанье хорошо сделать что-нибудь; только последнее выводится из стремления к единству идеи и формы. Если же под прекрасным должно понимать (как нам кажется) то, в чем человек видит жизнь,— очевидно, что из стремления к нему происходит радостная любовь ко всему живому и что это стремление в высочайшей степени удовлетворяется живою действительностью. «Человек не встречает в действительности истинно и вполне прекрасного». Мы старались доказать, что это несправедливо, что деятельность нашей фантазии возбуждается не недостатками прекрасного в действительности, а его отсутствием; что действительное прекрасное вполне прекрасно, но, к сожалению нашему, не всегда бывает перед нашими глазами. Если бы произведения искусства возникали вследствие нашего стремления к совершенству и пренебрежения всем несовершенным, человек должен был бы давно покинуть, как бесплодное усилие, всякое стремление к искусству, потому что в произведениях искусства нет совершенства; кто недоволен действительною красотою, тот еще меньше может удовлетвориться красотою, созда-

ваемую искусством. Итак, невозможно согласиться с обыкновенным объяснением значения искусства; но в этом объяснении есть намеки, которые могут быть названы справедливыми, если будут истолкованы надлежащим образом. «Человек не удовлетворяется прекрасным в действительности, ему мало этого прекрасного» — вот в чем сущность и правдивость обыкновенного объяснения, которое, будучи ложно понимаемо, само нуждается в объяснении.

Море прекрасно; смотря на него, мы не думаем быть им недовольны в эстетическом отношении; но не все люди живут близ моря; многим не удастся ни разу в жизни взглянуть на него; а им хотелось бы полюбоваться на море — и для них являются картины, изображающие море. Конечно, гораздо лучше смотреть на самое море, нежели на его изображение; но, за недостатком лучшего, человек довольствуется и худшим, за недостатком вещи — ее суррогатом. И тем людям, которые могут любоваться морем в действительности, не всегда, когда хочется, можно смотреть на море, — они вспоминают о нем; но фантазия слаба, ей нужна поддержка, напоминание — и, чтобы оживить свои воспоминания о море, чтобы яснее представлять его в своем воображении, они смотрят на картину, изображающую море. Вот единственная цель и значенье очень многих (большой части) произведений искусства: дать возможность, хотя в некоторой степени, познакомиться с прекрасным в действительности тем людям, которые не имели возможности наслаждаться им на самом деле; служить напоминанием, возбуждать и оживлять воспоминание о прекрасном в действительности у тех людей, которые знают его из опыта и любят вспоминать о нем. (Оставляем пока выражение: «прекрасное есть существенное содержание искусства»; впоследствии мы подставим вместо термина «прекрасное» другой, которым содержание искусства определяется, по нашему мнению, точнее и полнее.) Итак, первое значение искусства, принадлежащее всем без исключения произведениям его, — воспроизведение природы и жизни. Отношение их к соответствующим сторонам и явлениям действительности таково же, как отношение гравюры к той картине, с которой она снята, как отношение портрета к лицу, им представляемому. Гравюра снимается с картины не потому, чтобы картина была нехороша, а именно потому, что картина очень хороша; так действительность воспроизводится искусством не для сглаживания недостатков ее, не

потому, что сама по себе действительность не довольно хороша, а потому именно, что она хороша. Гравюра не думает быть лучше картины, она гораздо хуже ее в художественном отношении; так и произведение искусства никогда не достигает красоты или величия действительности; но картина одна, ею могут любоваться только люди, пришедшие в галерею, которую она украшает; гравюра расходуется в сотнях экземпляров по всему свету, каждый может любоваться ею, когда ему угодно, не выходя из своей комнаты, не вставая с своего дивана, не скидая своего халата; так и предмет прекрасный в действительности доступен не всякому и не всегда; воспроизведенный (слабо, грубо, бледно — это правда, но все-таки воспроизведенный) искусством, он доступен всякому и всегда. Портрет снимается с человека, который нам дорог и мил, не для того, чтобы сгладить недостатки его лица (что нам за дело до этих недостатков? они для нас незаметны или милы), но для того, чтобы доставить нам возможность любоваться на это лицо даже и тогда, когда на самом деле оно не перед нашими глазами; такова же цель и значение произведений искусства: они не поправляют действительности, не украшают ее, а воспроизводят, служат ей суррогатом.

Итак, первая цель искусства — воспроизведение действительности. Нисколько не думая, чтобы этими словами было высказано нечто совершенно новое в истории эстетических воззрений, мы, однако же, полагаем, что псевдоклассическая «теория подражания природе», господствовавшая в XVII — XVIII веках, требовала от искусства не того, в чем поставляется формальное начало его определением, заключающимся в словах: «искусство есть воспроизведение действительности». Чтобы за существенное различие нашего воззрения на искусство от понятий, которые имела о нем теория подражания природе, ручались не наши только собственные слова, приведем здесь критику этой теории, заимствованную из лучшего курса господствующей ныне эстетической системы¹⁸. Критика эта, с одной стороны, покажет различие опровергаемых ею понятий от нашего воззрения, с другой стороны, обнаружит, чего недостает в нашем первом определении искусства как деятельности воспроизводящей, и таким образом послужит переходом к точнейшему развитию понятий об искусстве.

«В определении искусства как подражания природе показывается только его формальная цель; оно должно, по такому определению, стараться по возможности повторять то, что уже существует во внешнем

мире. Такое повторение должно быть признано излишним, так как природа и жизнь уже представляют нам то, что по этому понятию должно представить искусство. Этого мало; подражать природе — тщетное усилие, далеко не достигающее своей цели потому, что, подражая природе, искусство, по ограниченности своих средств, дает только обман вместо истины и вместо действительно живого существа только мертвую маску»¹⁹.

Здесь прежде всего заметим, что словами: «искусство есть воспроизведение действительности», как и фразу: «искусство есть подражание природе», определяется только формальное начало искусства; для определения содержания искусства первый вывод, нами сделанный относительно его цели, должен быть дополнен, и мы займемся этим дополнением впоследствии. Другое возражение несколько не прилагается к воззрению, нами высказанному: из предыдущего развития видно, что воспроизведение или «повторение» предметов и явлений природы искусством — дело вовсе не излишнее, напротив — необходимое. Переходя к замечанию, что это повторение — тщетное усилие, далеко не достигающее своей цели, надобно сказать, что подобное возражение имеет силу только в том случае, когда предполагается, будто бы искусство хочет соперничать с действительностью, а не просто быть ее суррогатом. Но мы именно то и утверждаем, что искусство не может выдерживать сравнения с живою действительностью и вовсе не имеет той жизненности, как реальная действительность; это мы признаем несомненным.

Итак, справедливо, что фраза: «искусство есть воспроизведение действительности», должна быть дополнена для того, чтобы быть всесторонним определением; не исчерпывая в этом виде все содержание определяемого понятия, определение, однако, верно, и возражения против него пока могут быть основаны только на затаенном требовании, чтобы искусство являлось по своему определению выше, совершеннее действительности; объективную неосновательность этого предположения мы старались доказать и потом обнаружили его субъективные основания. Посмотрим, прилагаются ли к нашему воззрению дальнейшие возражения против теории подражания.

«При невозможности полного успеха в подражании природе оставалось бы только самодовольное наслаждение относительным успехом этого фокус-покуса; но и это наслаждение становится тем холоднее, чем больше бывает наружное сходство копии с оригиналом, и даже обращается в пресыщение или отвращение. Есть портреты, похожие на оригинал, как говорится, до отвратительности. Нам тотчас же становится скучным и отвратительным превосходнейшее подражание пению соловья, как скоро мы узнаем, что это не в самом деле пение соловья, а подражание

ему какого-нибудь искусника, выделяющего соловьиные трели; потому что от человека мы вправе требовать не такой музыки. Подобные фокусы искуснейшего подражания природе можно сравнить с искусством того фокусника, который без промаха бросал чечевичные зерна сквозь отверстие величиною также не более чечевичного зерна и которого Александр Великий награждал медимном чечевицы»²⁰.

Эти замечания совершенно справедливы; но относятся к бесполезному и бессмысленному копированию содержания, недостойного внимания, или к рисованию пустой внешности, обнаженной от содержания. (Сколько перевозимых произведений искусства подпадают этой горькой, но заслуженной насмешке!) Содержание, достойное внимания мыслящего человека, одно только в состоянии избавить искусство от упрека, будто бы оно — пустая забава, чем оно и действительно бывает чрезвычайно часто; художественная форма не спасет от презрения или сострадающей улыбки произведение искусства, если оно важностью своей идеи не в состоянии дать ответа на вопрос: «Да стоило ли трудиться над подобными пустяками?» Бесполезное не имеет права на уважение. «Человек сам себе цель»; но дела человека должны иметь цель в потребностях человека, а не в самих себе. Потому-то бесполезное подражание и возбуждает тем большее отвращение, чем совершеннее внешнее сходство: «Зачем потрачено столько времени и труда? — думаем мы, глядя на него: — И так жаль, что такая несостоятельность относительно содержания может совмещаться с таким совершенством в технике!» Скука и отвращение, возбуждаемые фокусником, подражающим соловьиному пению, объясняются самими замечаниями, сопровождающими в критике указание на него: жалок человек, который не понимает, что должен петь человеческую песнь, а не выделять бессмысленные трели. Что касается портретов, сходных до отвратительности, это надобно понимать так: всякая копия, для того, чтобы быть верною, должна передавать существенные черты подлинника; портрет, не передающий главных, выразительнейших черт лица, неверен; а когда мелкие подробности лица переданы при этом отчетливо, лицо на портрете выходит обезображенным, бессмысленным, мертвым — как же ему не быть отвратительным? Часто восстают против так называемого «дагерротипного копирования» действительности, — не лучше ли было бы говорить только, что копировка, так же как и всякое человеческое дело, требует понимания, способности отличать существенные черты от несущественных? «Мертвая копировка» — вот обыкновенная фраза; но человек не может

скопировать верно, если мертвенность механизма не направляется живым смыслом: нельзя сделать даже верного facsimile²¹, не понимая значения копируемых букв.

Прежде, нежели перейдем к определению существенного содержания искусства, чем дополнится принимаемое нами определение его формального начала, считаем нужным высказать несколько ближайших указаний об отношении теории «воспроизведения» к теории так называемого «подражания». Воззрение на искусство, нами принимаемое, проистекает из воззрений, принимаемых новейшими немецкими эстетиками, и возникает из них чрез диалектический процесс, направление которого определяется общими идеями современной науки. Итак, непосредственным образом оно связано с двумя системами идей — начала нынешнего века, с одной стороны, последних десятилетий — с другой²². Всякое другое соотношение — только простое сходство, не имеющее генетического влияния. Но если понятия древних и старинных мыслителей не могут при настоящем развитии науки иметь влияния на современный образ мыслей, то нельзя не видеть, что во многих случаях современные понятия оказываются сходны с понятиями предшествующих веков. Особенно часто сходятся они с понятиями греческих мыслителей. Таково положение дела и в настоящем случае. Определение формального начала искусства, нами принимаемое, сходно с воззрением, господствовавшим в греческом мире, находимым у Платона, Аристотеля, и, по всей вероятности, высказанным у Демокрита. Их μιμησις²³ соответствует нашему термину «воспроизведение». И если позднее понимали это слово как «подражание» (Nachahmung), то перевод не был удачен, стесняя круг понятия и пробуждая мысль о подделке под внешнюю форму, а не о передаче внутреннего содержания. Псевдоклассическая теория действительно понимала искусство как подделку под действительность с целью обмануть чувства, но это — злоупотребление, принадлежащее только эпохам испорченного вкуса.

Теперь мы должны дополнить выставленное нами выше определение искусства и от рассмотрения формального начала искусства перейти к определению его содержания.

Обыкновенно говорят, что содержание искусства есть прекрасное; но этим слишком стесняется сфера искусства. Если даже согласиться, что возвышенное и комическое — моменты прекрасного, то множество произведений искусства не подойдет по содержанию под эти три рубрики:

прекрасное, возвышенное, комическое. В живописи не подходят под эти подразделения картины домашней жизни, в которых нет ни одного прекрасного или смешного лица, изображения старика или старухи, не отличающихся особенно старческой красотой, и т. д. В музыке еще труднее провести обыкновенные подразделения; если отнесем марши, патетические пьесы и т. д. к отделу величественного; если пьесы, дышащие любовью или веселостью, причислим к отделу прекрасного; если отыщем много комических песен, то у нас еще останется огромное количество пьес, которые по своему содержанию не могут быть без натяжки причислены ни к одному из этих родов: куда отнести грустные мотивы? неужели к возвышенному, как страдание? или к прекрасному, как нежные мечты? Но из всех искусств наиболее противится подведению своего содержания под тесные рубрики прекрасного и его моментов поэзия. Область ее — вся область жизни и природы; точки зрения поэта на жизнь в разнообразных ее проявлениях так же разнообразны, как понятия мыслителя об этих разнохарактерных явлениях; а мыслитель находит в действительности очень многое, кроме прекрасного, возвышенного и комического. Не всякое горе доходит до трагизма; не всякая радость грациозна или комична. Что содержание поэзии не исчерпывается тремя известными элементами, внешним образом видим из того, что ее произведения перестали вмещаться в рамки старых подразделений. Что драматическая поэзия изображает не одно трагическое или комическое, доказывается тем, что, кроме комедии и трагедии, должна была явиться драма. Вместо эпоса, по преимуществу возвышенного, явился роман с бесчисленными своими родами. Для большей части нынешних лирических пьес не отыскивается в старых подразделениях заглавия, которое могло бы обозначить характер содержания; недостаточны сотни рубрик, тем менее можно сомневаться, что не могут всего обнять три рубрики (мы говорим о характере содержания, а не форме, которая всегда должна быть прекрасна).

Проще всего решить эту запутанность, сказав, что сфера искусства не ограничивается одним прекрасным и его так называемыми моментами, а обнимает собою все, что в действительности (в природе и в жизни) интересует человека — не как ученого, а просто как человека; общее-интересное в жизни — вот содержание искусства. Прекрасное, трагическое, комическое — только три наиболее определенных элемента из тысячи элементов, от которых

зависит интерес жизни и перечислить которые значило бы перечислить все чувства, все стремления, от которых может волноваться сердце человека. Едва ли надобно вдаваться в более подробные доказательства принимаемого нами понятия о содержании искусства; потому что если в эстетике предлагается обыкновенно другое, более тесное определение содержания, то взгляд, нами принимаемый, господствует на самом деле, т. е. в самих художниках и поэтах, постоянно высказывается в литературе и в жизни. Если считают необходимою определять прекрасное как преимущественное и, выражаясь точнее, как единственное существенное содержание искусства, то истинная причина этого скрывается в неясном различении прекрасного как объекта искусства от прекрасной формы, которая действительно составляет необходимое качество всякого произведения искусства. Но эта формальная красота или единство идеи и образа, содержания и формы — не специальная особенность, которая отличала бы искусство от других отраслей человеческой деятельности. Действование человека всегда имеет цель, которая составляет сущность дела; по мере соответствия нашего дела с целью, которую мы хотели осуществить им, ценится достоинство самого дела; по мере совершенства выполнения оценивается всякое человеческое произведение. Это общий закон и для ремесел, и для промышленности, и для научной деятельности и т. д. Он применяется и к произведениям искусства: художник (сознательно или бессознательно, все равно) стремится воспроизвести пред нами известную сторону жизни; само собою разумеется, что достоинство его произведения будет зависеть от того, как он выполнил свое дело. «Произведение искусства стремится к гармонии идеи с образом» ни более, ни менее, как произведение сапожного мастерства, ювелирного ремесла, каллиграфии, инженерного искусства, нравственной решимости. «Всякое дело должно быть хорошо выполнено» — вот смысл фразы: «гармония идеи и образа». Итак, 1) прекрасное как единство идеи и образа вовсе не характеристическая особенность искусства в том смысле, какой придается этому слову эстетикою; 2) «единство идеи и образа» определяет одну формальную сторону искусства, несколько не относясь к его содержанию; оно говорит о том, *как* должно быть исполнено, а не о том, *что* исполняется. Но мы уже заметили, что в этой фразе важно слово «образ», — оно говорит о том, что искусство выражает идею не отвлеченными понятиями, а живым индивидуальным фактом; говоря:

«искусство есть воспроизведение природы и жизни», мы говорим то же самое: в природе и жизни нет ничего отвлеченно существующего; в них все конкретно; воспроизведение должно по мере возможности сохранять сущность воспроизводимого; потому создание искусства должно стремиться к тому, чтобы в нем было как можно менее отвлеченного, чтобы в нем все было, по мере возможности, выражено конкретно, в живых картинах, в индивидуальных образах. (Совершенно другой вопрос: может ли искусство достичь этого вполне? Живопись, скульптура и музыка достигают; поэзия не всегда может и не всегда должна слишком заботиться о пластичности подробностей: довольно и того, когда вообще, в целом, произведение поэзии пластично; излишние хлопоты о пластической отделке подробностей могут повредить единству целого, слишком рельефно очертив его части, и, что еще важнее, будут отвлекать внимание художника от существеннейших сторон его дела.) Красота формы, состоящая в единстве идеи и образа, общая принадлежность не только искусства (в эстетическом смысле слова), но и всякого человеческого дела, совершенно отлична от идеи прекрасного, как объекта искусства, как предмета нашей радостной любви в действительном мире. Смешение красоты формы, как необходимого качества художественного произведения, и прекрасного, как одного из многих объектов искусства, было одною из причин печальных злоупотреблений в искусстве. «Предмет искусства — прекрасное», прекрасное во что бы то ни стало, другого содержания нет у искусства. Что же прекраснее всего на свете? В человеческой жизни — красота и любовь; в природе — трудно и решить, что именно — так много в ней красоты. Итак, надобно кстати и некстати наполнять поэтические создания описаниями природы: чем больше их, тем больше прекрасного в нашем произведении. Но красота и любовь еще прекраснее — и вот (большею частью совершенно некстати) на первом плане драмы, повести, романа и т. д. является любовь. Неуместные распространения о красотах природы еще не так вредны художественному произведению: их можно выпускать, потому что они приклеиваются внешним образом; но что делать с любовною интригою? ее невозможно опустить из внимания, потому что к этой основе все приплетено гордиевыми узлами, без нее все теряет связь и смысл. Не говорим уже о том, что влюбленная чета, страдающая или торжествующая, придает целым тысячам произведений ужасающую монотонность; не го-

ворим и о том, что эти любовные приключения и описания красоты отнимают место у существенных подробностей; этого мало: привычка изображать любовь, любовь и вечно любовь заставляет поэтов забывать, что жизнь имеет другие стороны, гораздо более интересующие человека вообще; вся поэзия и вся изображаемая в ней жизнь принимает какой-то сентиментальный, розовый колорит; вместо серьезного изображения человеческой жизни произведения искусства представляют какой-то слишком юный (чтобы удержаться от более точных эпитетов) взгляд на жизнь, и поэт является обыкновенно молодым, очень молодым юношей, которого рассказы интересны только для людей того же нравственного или физиологического возраста. Это, наконец, роняет искусство в глазах людей, уже вышедших из счастливой поры ранней юности; искусство кажется им забавою, приторною для развитых людей и не совсем безопасною для молодежи. Мы вовсе не думаем запрещать поэту описывать любовь; но эстетика должна требовать, чтобы поэт описывал любовь только тогда, когда хочет именно ее описывать: к чему выставлять на первом плане любовь, когда дело идет, собственно говоря, вовсе не о ней, а о других сторонах жизни? К чему, например, любовь на первом плане в романах, которые собственно изображают быт известного народа в данную эпоху или быт известных классов народа? В истории, в психологии, в этнографических сочинениях также говорится о любви, — но только на своем месте, точно так же как и обо всем. Исторические романы Вальтера Скотта основаны на любовных приключениях — к чему это? Разве любовь была главным занятием общества и главною двигательницею событий в изображаемые им эпохи? «Но романы Вальтера Скотта устарели»; точно так же кстати и некстати наполнены любовью романы Диккенса и романы Жоржа Занда из сельского быта, в которых опять дело идет вовсе не о любви. «Пишите о том, о чем вы хотите писать» — правило, которое редко решаются соблюдать поэты. Любовь кстати и некстати — первый вред, проистекающий для искусства из понятия, что «содержание искусства — прекрасное»; второй, тесно с ним соединенный, — искусственность. В наше время подсмеиваются над Расином и мадам Дезульер; но едва ли современное искусство далеко ушло от них в отношении простоты и естественности пружин действия и безыскусственной натуральности речей; разделение действующих лиц на героев и злодеев до сих пор может быть прилагаяемо к произведениям искус-

ства в патетическом роде; как связно, плавно, красноречиво объясняются эти лица! Монологи и разговоры в современных романах немногим ниже монологов классической трагедии: «в художественном произведении все должно быть облечено красотой» — и нам даются такие глубоко обдуманые планы действия, каких почти никогда не составляют люди в настоящей жизни; а если выводимое лицо сделает как-нибудь инстинктивный, необдуманный шаг, автор считает необходимым оправдывать его из сущности характера этого лица, а критики остаются недовольны тем, что «действие не мотивировано» — как будто бы оно мотивируется всегда индивидуальным характером, а не обстоятельствами и общими качествами человеческого сердца. «Красота требует законченности характеров» — и вместо лиц живых, разнообразных при всей своей типичности, искусство дает неподвижные статуи. «Красота художественного произведения требует законченности разговоров» — и вместо живого разговора ведутся искусственные беседы, в которых разговаривающие волею и неволею выказывают свой характер. Следствием всего этого бывает монотонность произведений поэзии: люди все на один лад, события развиваются по известным рецентам, с первых страниц видно, что будет дальше, и не только, что будет, но и как будет. Возвратимся, однако, к вопросу о существенном значении искусства.

Первое и общее значение всех произведений искусства, сказали мы, — воспроизведение интересных для человека явлений действительной жизни. Под действительной жизнью, конечно, понимаются не только отношения человека к предметам и существам объективного мира, но и внутренняя жизнь человека; иногда человек живет мечтами, — тогда мечты имеют для него (до некоторой степени и на некоторое время) значение чего-то объективного; еще чаще человек живет в мире своего чувства; эти состояния, если достигают интересности, также воспроизводятся искусством. Мы упомянули об этом, чтобы показать, как нашим определением обнимается и фантастическое содержание искусства.

Но мы говорили выше, что, кроме воспроизведения, искусство имеет еще другое значение — объяснение жизни; до некоторой степени это доступно всем искусствам: часто достаточно обратить внимание на предмет (что всегда и делает искусство), чтобы объяснить его значение или заставить лучше понять жизнь. В этом смысле искусство ничем не отличается от рассказа о предмете; различие

только в том, что искусство вернее достигает своей цели, нежели простой рассказ, тем более ученый рассказ: под формою жизни мы гораздо легче знакомимся с предметом, гораздо скорее начинаем интересоваться им, нежели тогда, когда находим сухое указание на предмет. Романы Купера более, нежели этнографические рассказы и рассуждения о важности изучения быта дикарей, познакомили общество с их жизнью. Но если все искусства могут указывать новые интересные предметы, то поэзия всегда по необходимости указывает резким и ясным образом на существенные черты предмета. Живопись воспроизводит предмет со всеми подробностями, скульптура также; поэзия не может объять слишком много подробностей и, по необходимости выпуская из своих картин очень многое, сосредоточивает наше внимание на удержанных чертах. В этом видят преимущество поэтических картин перед действительностью; но то же самое делает и каждое отдельное слово со своим предметом: в слове (в понятии) также выпущены все случайные и оставлены одни существенные черты предмета; может быть, для неопытного соображения слово яснее самого предмета; но это уяснение есть только ослабление. Мы не отрицаем относительной пользы компендиумов; но не думаем, чтобы «Русская история» Таппе, очень полезная для детей, была лучше «Истории» Карамзина, из которой извлечена²⁴. Предмет или событие в поэтическом произведении может быть удобопонятнее, нежели в самой действительности; но мы признаем за ним только достоинство живого и ясного указания на действительность, а не самостоятельное значение, которое могло бы соперничествовать с полнотою действительной жизни. Нельзя не прибавить, что всякий прозаический рассказ делает то же самое, что поэзия. Сосредоточение существенных черт не есть характеристическая особенность поэзии, а общее свойство разумной речи.

Существенное значение искусства — воспроизведение того, чем интересуется человек в действительности. Но, интересуясь явлениями жизни, человек не может, сознательно или бессознательно, не произносить о них своего приговора; поэт или художник, не будучи в состоянии перестать быть человеком вообще, не может, если б и хотел, отказаться от произнесения своего приговора над изображаемыми явлениями; приговор этот выражается в его произведении — вот новое значение произведений искусства, по которому искусство становится в число нравственных деятельностей человека. Бывают люди, у которых

суждение о явлениях жизни состоит почти только в том, что они обнаруживают расположение к известным сторонам действительности и избегают других — это люди, у которых умственная деятельность слаба, когда подобный человек — поэт или художник, его произведения не имеют другого значения, кроме воспроизведения любимых им сторон жизни. Но если человек, в котором умственная деятельность сильно возбуждена вопросами, порождаемыми наблюдением жизни, одарен художническим талантом, то в его произведениях, сознательно или бессознательно, выразится стремление произнести живой приговор о явлениях, интересующих его (и его современников, потому что мыслящий человек не может мыслить над ничтожными вопросами, никому, кроме него, не интересными), будут предложены или разрешены вопросы, возникающие из жизни для мыслящего человека; его произведения будут, чтобы так выразиться, сочинениями на темы, предлагаемые жизнью. Это направление может находить себе выражение во всех искусствах (напр., в живописи можно указать на карикатуры Гогарта), но преимущественно развивается оно в поэзии, которая представляет полнейшую возможность выразить определенную мысль. Тогда художник становится мыслителем, и произведение искусства, оставаясь в области искусства, приобретает значение научное. Само собою разумеется, что в этом отношении произведения искусства не находят себе ничего соответствующего в действительности, — но только по форме; что касается до содержания, до самых вопросов, предлагающихся или разрешаемых искусством, они все найдутся в действительной жизни, только без преднамеренности, без *aggrè-re-pensée* ²⁵. Предположим, что в произведении искусства развивается мысль: «временное уклонение от прямого пути не погубит сильной натуры», или: «одна крайность вызывает другую»; или изображается распадение человека с самим собою; или, если угодно, борьба страстей с высшими стремлениями (мы указываем различные основные идеи, которые видели в «Фаусте»), — разве не представляются в действительной жизни случаи, в которых развивается то же самое положение? Разве из наблюдения жизни не выводится высокая мудрость? Разве наука не есть простое отвлечение жизни, подведение жизни под формулы? Все, что высказывается наукою и искусством, найдется в жизни, и найдется в полнейшем, совершеннейшем виде, со всеми живыми подробностями, в которых обыкновенно и лежит истинный смысл дела, которые часто не понима-

ются наукой и искусством, еще чаще не могут быть ими обняты; в действительной жизни все верно, нет недосмотров, нет односторонней узкости взгляда, которою страдает всякое человеческое произведение, — как поучение, как наука, жизнь полнее, правдивее, даже художественнее всех творений ученых и поэтов. Но жизнь не думает объяснять нам своих явлений, не заботится о выводе аксиом; в произведениях науки и искусства это сделано; правда, выводы неполны, мысли односторонни в сравнении с тем, что представляет жизнь; но их извлекли для нас гениальные люди, без их помощи наши выводы были бы еще одностороннее, еще беднее. Наука и искусство (поэзия) — «Handbuch»²⁶ для начинающего изучать жизнь; их значение — приготовить к чтению источников и потом от времени до времени служить для справок. Наука не думает скрывать этого; не думают скрывать этого и поэты в беглых замечаниях о сущности своих произведений; одна эстетика продолжает утверждать, что искусство выше жизни и действительности.

Соединяя все сказанное, получим следующее воззрение на искусство: существенное значение искусства — воспроизведение всего, что интересно для человека в жизни; очень часто, особенно в произведениях поэзии, выступает также на первый план объяснение жизни, приговор о явлениях ее. Искусство относится к жизни совершенно так же, как история; различие по содержанию только в том, что история говорит о жизни человечества, искусство — о жизни человека, история — о жизни общественной, искусство — о жизни индивидуальной. Первая задача истории — воспроизвести жизнь; вторая, исполняемая не всеми историками, — объяснить ее; не заботясь о второй задаче, историк остается простым летописцем, и его произведение — только материал для настоящего историка или чтение для удовлетворения любопытства; думая о второй задаче, историк становится мыслителем, и его творение приобретает чрез это научное достоинство. Совершенно то же самое надобно сказать об искусстве. История не думает соперничествовать с действительною историческою жизнью, сознается, что ее картины бледны, неполны, более или менее неверны или по крайней мере односторонни. Эстетика также должна признать, что искусство точно так же и по тем же самым причинам не должно и думать сравниться с действительностью, тем более превзойти ее красоту.

Но где же творческая фантазия при таком воззрении на искусство? Какая же роль предоставляется ей? Не будем говорить о том, откуда проистекает в искусстве право фантазии видоизменять виденное и слышанное поэтом. Это ясно из цели поэтического создания, от которого требуется верное воспроизведение известной стороны жизни, а не какого-нибудь отдельного случая; посмотрим только, в чем необходимость вмешательства фантазии, как способности переделывать (посредством комбинации) воспринятое чувствами и создавать нечто новое по форме. Предполагаем, что поэт берет из опыта собственной жизни событие, вполне ему известное (это случается не часто; обыкновенно многие подробности остаются мало известны и для связности рассказа должны быть дополняемы соображением); предполагаем также, что взятое событие совершенно закончено в художественном отношении, так что простой рассказ о нем был бы вполне художественным произведением, т. е. берем случай, когда вмешательство комбинирующей фантазии кажется наименее нужным. Как бы сильна ни была память, она не в состоянии удерживать всех подробностей, особенно тех, которые неважны для сущности дела; но многие из них нужны для художественной полноты рассказа и должны быть заимствованы из других сцен, оставшихся в памяти поэта (напр., ведение разговора, описание местности и т. д.); правда, что дополнение события этими подробностями еще не изменяет его, и различие художественного рассказа от передаваемого в нем события ограничивается пока одной формой. Но этим не исчерпывается вмешательство фантазии. Событие в действительности было перепутано с другими событиями, находившимися с ним только во внешнем сцеплении, без существенной связи; но когда мы будем отделять избранное нами событие от других происшествий и от ненужных эпизодов, мы увидим, что это отделение оставит новые пробелы в жизненной полноте рассказа; поэт опять должен будет восполнять их. Этого мало: отделение не только отнимает жизненную полноту у многих моментов событий, но часто изменяет их характер, — и событие явится в рассказе уже не таким, каково было в действительности, или, для сохранения сущности его, поэт принужден будет *изменять* многие подробности, которые имеют истинный смысл в событии только при его действительной обстановке, отнимаемой изолирующим рассказом. Как видим, круг деятельности творческих сил поэта очень мало стесняется нашими понятиями о сущности

искусства. Но предмет нашего исследования — искусство как объективное произведение, а не субъективная деятельность поэта; потому было бы неуместно вдаваться в исчисление различных отношений поэта к материалам его произведения: мы показали одно из этих отношений, наименее благоприятствующее самостоятельности поэта, и нашли, что при нашем воззрении на сущность искусства художник и в этом положении не теряет существенного характера, принадлежащего не поэту или художнику в частности, а вообще человеку во всей его деятельности, — того существеннейшего человеческого права и качества, чтобы смотреть на объективную действительность только как на материал, только как на поле своей деятельности, и, пользуясь ею, подчинять ее себе. Еще обширнее круг вмешательства комбинирующей фантазии при других обстоятельствах: когда, например, поэту не вполне известны подробности события, когда он знает о нем (и действующих лицах) только по чужим рассказам, всегда односторонним, неверным или неполным в художественном отношении, по крайней мере с личной точки зрения поэта. Но необходимость комбинировать и видоизменять проистекает не из того, чтобы действительная жизнь не представляла (и в гораздо лучшем виде) тех явлений, которые хочет изобразить поэт или художник, а из того, что картина действительной жизни принадлежит не той сфере бытия, как действительная жизнь; различие рождается оттого, что поэт не располагает теми средствами, какими располагает действительная жизнь. При переложении оперы для фортепиано теряется большая и лучшая часть подробностей и эффектов; многое решительно не может быть с человеческого голоса или с полного оркестра переведено на жалкий, бедный, мертвый инструмент, который должен по мере возможности воспроизвести оперу; потому при аранжировке многое должно быть переделываемо, многое дополняемо — не с тою надеждою, что в аранжировке опера выйдет лучше, нежели в первоначальном своем виде, а для того, чтобы сколько-нибудь вознаградить необходимымую порчу оперы при аранжировке; не потому, чтобы аранжировщик исправлял ошибки композитора, а просто потому, что он не располагает теми средствами, какими владеет композитор. Еще больше различия в средствах действительной жизни и поэта. Переводчик поэтического произведения с одного языка на другой должен до некоторой степени переделывать переводимое произведение; как же не являться необходимости переделки при переводе собы-

тия с языка жизни на скудный, бледный, мертвый язык поэзии?

Аиология действительности сравнительно с фантазией, стремление доказать, что произведения искусства решительно не могут выдержать сравнения с живой действительностью, вот сущность этого рассуждения. Говорить об искусстве так, как говорит автор, не значит ли унижать искусство? — Да, если показывать, что искусство *ниже* действительной жизни по художественному совершенству своих произведений, значит унижать искусство; но восставать против панегириков не значит еще быть хулителем. Наука не думает быть выше действительности; это не стыд для нее. Искусство также не должно думать быть выше действительности; это не унижительно для него. Наука не стыдится говорить, что цель ее — понять и объяснить действительность, потом применить ко благу человека свои объяснения; пусть и искусство не стыдится признаться, что цель его: для вознаграждения человека в случае отсутствия полнейшего эстетического наслаждения, доставляемого действительностью, воспроизвести, по мере сил, эту драгоценную действительность и ко благу человека объяснить ее.

Пусть искусство довольствуется своим высоким, прекрасным назначением: в случае отсутствия действительности быть некоторою заменою ее и быть для человека учебником жизни.

Действительность выше мечты, и существенное значение выше фантастических притязаний.

Задачею автора было исследовать вопрос об эстетических отношениях произведений искусства к явлениям жизни, рассмотреть справедливость господствующего мнения, будто бы истинно прекрасное, которое принимается существенным содержанием произведений искусства, не существует в объективной действительности и осуществляется только искусством. С этим вопросом неразрывно связаны вопросы о сущности прекрасного и о содержании искусства. Исследование вопроса о сущности прекрасного привело автора к убеждению, что прекрасное есть — жизнь. После такого решения надобно было исследовать понятия возвышенного и трагического, которые, по обыкновенному определению прекрасного, подходят под

него, как моменты, и надобно было признать, что возвышенное и прекрасное — не подчиненные друг другу предметы искусства. Это уже было важным пособием для решения вопроса о содержании искусства. Но если прекрасное есть жизнь, то сам собою решается вопрос об эстетическом отношении прекрасного в искусстве к прекрасному в действительности. Пришедши к выводу, что искусство не может быть обязано своим происхождением недовольству человека прекрасным в действительности, мы должны были отыскивать, вследствие каких потребностей возникает искусство, и исследовать его истинное значение. Вот главные из выводов, к которым привело это исследование:

1) Определение прекрасного: «прекрасное есть полное проявление общей идеи в индивидуальном явлении» — не выдерживает критики; оно слишком широко, будучи определением формального стремления всякой человеческой деятельности.

2) Истинное определение прекрасного таково: «прекрасное есть жизнь»; прекрасным существом кажется человеку то существо, в котором он видит жизнь, как он ее понимает; прекрасный предмет — тот предмет, который напоминает ему о жизни.

3) Это объективное прекрасное, или прекрасное по своей сущности, должно отличать от совершенства формы, которое состоит в единстве идеи и формы, или в том, что предмет вполне удовлетворяет своему назначению.

4) Возвышенное действует на человека вовсе не тем, что пробуждает идею абсолютного; оно почти никогда не пробуждает ее.

5) Возвышенным кажется человеку то, что гораздо больше предметов или гораздо сильнее явлений, с которыми сравнивается человек.

6) Трагическое не имеет существенной связи с идеею судьбы или необходимости. В действительной жизни трагическое большею частью случайно, не вытекает из сущности предшествующих моментов. Форма необходимости, в которую облачается оно искусством, — следствие обыкновенного принципа произведений искусства: «развязка должна вытекать из завязки», или неуместное подчинение поэта понятиям о судьбе.

7) Трагическое по понятиям нового европейского образования есть «ужасное в жизни человека».

8) Возвышенное (и момент его, трагическое) не есть видоизменение прекрасного; идеи возвышенного и прекрасного совершенно различны между собою; между ними нет ни внутренней связи, ни внутренней противоположности.

9) Действительность не только живет, но и совершеннее фантазии. Образы фантазии — только бледная и почти всегда неудачная переделка действительности.

10) Прекрасное в объективной действительности вполне прекрасно.

11) Прекрасное в объективной действительности совершенно удовлетворяет человека.

12) Искусство рождается вовсе не от потребности человека восполнить недостатки прекрасного в действительности.

13) Создания искусства ниже прекрасного в действительности не только потому, что впечатление, производимое действительностью, живее впечатления, производимого созданиями искусства: создания искусства ниже прекрасного (точно так же, как ниже возвышенного, трагического, комического) в действительности и с эстетической точки зрения.

14) Область искусства не ограничивается областью прекрасного в эстетическом смысле слова, прекрасного по живой сущности своей, а не только по совершенству формы: искусство воспроизводит все, что есть интересного для человека в жизни.

15) Совершенство формы (единство идеи и формы) не составляет характеристической черты искусства в эстетическом смысле слова (изящных искусств); прекрасное как единство идеи и образа, или как полное осуществление идеи, есть цель стремления искусства в обширнейшем смысле слова или «уменья», цель всякой практической деятельности человека.

16) Потребность, рождающая искусство в эстетическом смысле слова (изящные искусства), есть та же самая, которая очень ясно выказывается в портретной живописи. Портрет пишется не потому, чтобы черты живого человека не удовлетворяли нас, а для того, чтобы помочь нашему воспоминанию о живом человеке, когда его нет перед нашими глазами, и дать о нем некоторое понятие тем людям, которые не имели случая его видеть. Искусство только напоминает нам своими произведениями о том, что ин-

интересно для нас в жизни, и старается до некоторой степени познакомить нас с теми интересными сторонами жизни, которых не имели мы случая испытать или наблюдать в действительности.

17) Воспроизведение жизни — общий, характеристический признак искусства, составляющий сущность его; часто произведения искусства имеют и другое значение — объяснение жизни; часто имеют они и значение приговора о явлениях жизни.

ЭСТЕТИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ ИСКУССТВА К ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ

Соч. Н. Чернышевского, СПб. 1855

(АВТОРЕЦЕНЗИЯ)

Системы понятий, из которых развились господствующие доселе эстетические идеи, уступили ныне место другим воззрениям на мир и человеческую жизнь, быть может, менее заманчивым для фантазии, но более сообразным с выводами, которые дает строгое, непредубежденное исследование фактов при настоящем развитии естественных, исторических и нравственных наук¹. Автор рассматриваемой нами книги думает, что при тесной зависимости эстетики от общих наших понятий о природе и человеке, с изменением этих понятий должна подвергнуться преобразованию и теория искусства. Мы не беремся решить, до какой степени справедлива его собственная теория, предлагаемая в замену прежней, — это решит время, и сам г. Чернышевский признается, что «в его изложении может найтись неполнота, недостаточность или односторонность»; но действительно, надобно согласиться, что господствующие эстетические убеждения, лишенные современным анализом метафизических оснований, на которых так самоуверенно возвысились в конце предыдущего и начале нынешнего века, должны искать себе других опор или уступить место другим понятиям, если не будут вновь подтверждены строгим анализом. Автор положительно уверен, что теория искусства должна получить новый вид, — мы готовы предположить, что это так и должно быть, потому что трудно устоять отдельной части общего философского здания, когда оно все перестраивается. В каком же духе должна измениться теория искусства? «Уважение к действительной жизни, недоверчивость к априорическим, хотя бы и приятным для фантазии, гипотезам — вот характер направления, господствующего ныне в науке», говорит он, и ему кажется, что «необходимо привести к этому знаменателю и наши эстетические убеждения». Чтобы достичь этой цели, сначала он под-

вергает анализу прежние понятия о сущности прекрасного, возвышенного, трагического, об отношении фантазии к действительности, о превосходстве искусства над действительностью, о содержании и существенном значении искусства, или о потребности, из которой происходит стремление человека к созданию произведений искусства. Обнаружив, как ему кажется, что эти понятия не выдерживают критики, он из анализа фактов старается извлечь новые понятия, по его мнению, более соответствующие общему характеру идей, принимаемых наукою в наше время. Мы сказали уже, что не беремся решать, до какой степени справедливы или несправедливы мнения автора, и ограничимся только изложением их, замечая недостатки, особенно поразившие нас. Литература и поэзия имеют для нас, русских, такое огромное значение, какого, можно сказать наверное, не имеют нигде, и потому вопросы, которых касается автор, заслуживают, кажется нам, внимания читателей.

Но действительно ли заслуживают? — в этом очень позволительно усомниться, потому что и сам автор, по-видимому, не совершенно в том уверен. Он считает нужным оправдываться в выборе предмета для своего исследования:

«Ныне век монографий, — говорит он в предисловии, — и мое сочинение может подвергаться упреку в несовременности. Зачем автор избрал такой общий, такой обширный вопрос, как эстетические отношения искусства к действительности, предметом своего исследования? Почему не избрал он какого-нибудь специального вопроса, как это ныне большею частью делается?» «Автору кажется, — отвечает он в свое оправдание, — что бесполезно толковать об основных вопросах науки только тогда, когда нельзя сказать о них ничего нового и основательного. Но когда выработаны материалы для нового воззрения на основные вопросы нашей специальной науки, и можно, и должно высказать эти основные идеи, *если еще стоит говорить об эстетике*».

А нам кажется, что автор или не совершенно ясно понимает положение дела, или очень скрытен. Нам кажется, что напрасно не подражал он одному писателю, который к своим сочинениям сочинил следующего рода предисловие:

«Мои сочинения — обветшалый хлам, потому что ныне вовсе не следует толковать о предметах, сущность которых разоблачается мною; но так как многие не находят для

своего ума более живого занятия, то для них будет бесполезно предпринимаемое мною издание»².

Если бы г. Чернышевский решился последовать этой примерной откровенности, то он мог бы сказать в предисловии так: «Признаюсь, что нет особенной необходимости распространяться об эстетических вопросах в наше время, когда они стоят в науке на втором плане; но так как многие пишут о предметах, имеющих еще гораздо менее внутреннего содержания, то и я имел полное право писать об эстетике, неоспоримо представляющей для мысли хотя некоторый интерес». Он мог бы также сказать: «Конечно, есть науки, интересные более эстетики; но мне о них не удалось написать ничего; не пишут о них и другие; а так как «за недостатком лучшего человек довольствуется и худшим» («Эстетические отношения искусства к действительности», стр. 86), то и вы, любезные читатели, удовольствуйтесь «Эстетическими отношениями искусства к действительности»». Такое предисловие было бы откровенно и прекрасно.

Действительно, эстетика может представить некоторый интерес для мысли, потому что решение задач ее зависит от решения других, более интересных вопросов, и мы надеемся, что с этим согласится каждый, знакомый с хорошими сочинениями по этой науке. Но г. Чернышевский слишком бегло проходит пункты, в которых эстетика соприкасается с общею системою понятий о природе и жизни. Излагая господствующую теорию искусства, он почти не говорит о том, на каких общих основаниях она построена, и разбирает по листочку только ту ветвь «мысленного дерева» (следуя примеру некоторых доморощенных мыслителей, употребим выражение «Слова о полку Игореве»), которая специально его занимает, не объясняя нам, что это за дерево, породившее такую ветвь, хотя известно, что подобные умолчания нисколько не выгодны для ясности. Точно так же, излагая собственные эстетические понятия, он подтверждает их только фактами, заимствованными из области эстетики, не излагая общих начал, из приложения которых к эстетическим вопросам образовалась его теория искусства, хотя, по собственному выражению, только «приводит эстетические вопросы к тому знаменателю, который дается современными понятиями науки о жизни и мире». Это, по нашему мнению, важный недостаток, и он причиною того, что внутренний смысл теории, принимаемой автором, может для многих показаться темным, а мысли, развиваемые автором, — принадлежащими лично

автору, — на что он, по нашему мнению, не может иметь ни малейшего притязания: он сам говорит, что если прежняя теория искусства, им отвергаемая, сохраняется доселе в курсах эстетики, то «взгляд, им принимаемый, постоянно высказывается в литературе и в жизни» (стр. 92). Он сам говорит: «Воззрение на искусство, нами принимаемое, проистекает из воззрений, принимаемых новейшими немецкими эстетиками (и опровергаемых автором), и возникает из них чрез диалектический процесс, направление которого определяется общими идеями современной науки. Итак, непосредственным образом связано оно с двумя системами идей — начала нынешнего века, с одной стороны, последних *(двух, — прибавим от себя)* десятилетий — с другой» (стр. 90). Как же после этого, спрашиваем мы, не изложить, насколько то нужно, этих двух систем общего воззрения на мир? Ошибка, совершенно непонятная для каждого, кроме, быть может, самого автора, и во всяком случае чрезвычайно ощутительная.

Приняв на себя роль простого излагателя теории, предлагаемой автором, рецензент должен исполнить то, что должен был бы сделать, но не сделал он сам для объяснения своих мыслей.

В последнее время довольно часто различаются «действительные, серьезные, истинные» желания, стремления, потребности человека от «мнимых, фантастических, праздных, не имеющих действительного значения в глазах самого человека, их высказывающего или воображающего иметь их». В пример человека, у которого очень развиты мнимые, фантастические стремления, на самом деле совершенно ему чуждые, можно указать превосходное лицо Грушницкого в «Герое нашего времени». Этот забавный Грушницкий из всех сил хлопочет, чтобы чувствовать то, чего вовсе не чувствует, достичь того, чего ему в сущности вовсе не нужно. Он хочет быть ранен, он хочет быть простым солдатом, хочет быть несчастлив в любви, приходить в отчаяние и т. д., — он не может жить, не обладая этими оболстительными для него качествами и благами. Но какую горестью поразила б его судьба, если б вздумала исполнить его желания! Он отказался бы навсегда от любви, если б думал, что какая бы то ни было девушка может не влюбиться в него. Он втайне мучится тем, что он еще не офицер, не помнит себя от восторга, когда получает известие о желанном производстве, и с презрением бросает свой прежний костюм, которым на словах так гордился. В каждом человеке есть частица Грушницкого. Вообще,

у человека при фальшивой обстановке бывает много фальшивых желаний. Прежде не обращали внимания на это важное обстоятельство, и как скоро замечали, что человек имеет склонность мечтать о чем бы то ни было, тотчас же провозглашали всякую прихоть болезненного или праздного воображения коренною и неотъемлемою потребностью человеческой природы, необходимо требующею себе удовлетворения. И каких неотъемлемых потребностей не находили в человеке! Все желания и стремления человека объявлены были безграничными, ненасытными. Теперь это делается с большею осмотрительностью. Теперь рассматривают, при каких обстоятельствах развиваются известные желания, при каких обстоятельствах они затихают. В результате оказался очень скромный, но с тем вместе и очень утешительный факт: в сущности, потребности человеческой природы очень умеренны; они достигают фантастически громадного развития только вследствие крайности, только при болезненном раздражении человека неблагоприятными обстоятельствами, при совершенном отсутствии сколько-нибудь порядочного удовлетворения. Даже самые страсти человека «кипят бурным потоком» только тогда, когда встречают слишком много препятствий; а когда человек поставлен в благоприятные обстоятельства, страсти его перестают клекотать и, сохраняя свою силу, теряют беспорядочность, всепожирающую жадность и разрушительность. Здоровый человек вовсе не прихотлив. У г. Чернышевского приведено — случайно и в разных местах его исследования — несколько подобных примеров. Мнение, будто бы «желания человеческие беспредельны», говорит он, ложно в том смысле, в каком обыкновенно понимается, в смысле, что «никакая действительность не может удовлетворить их»; напротив, человек удовлетворяется не только «наилучшим, что может быть в действительности», но и довольно посредственною действительностью. Надобно различать то, что чувствуется на самом деле, от того, что только говорится. Желания раздражаются мечтательным образом до горячего напряжения только при совершенном отсутствии здоровой, хотя бы и довольно простой пищи. Это факт, доказываемый всею историею человечества и испытанный на себе каждым, кто жил и наблюдал себя. Он составляет частный случай общего закона человеческой жизни, что страсти достигают неумеренного развития только вследствие ненормального положения предающегося им человека и только в том случае, когда естественная и в сущности

довольно спокойная потребность, из которой возникает та или другая страсть, слишком долго не находила себе соответственного удовлетворения, спокойного и далеко не титанического. Несомненно то, что организм человека не требует и не может выносить слишком бурных и слишком напряженных удовлетворений; несомненно и то, что в здоровом человеке стремления соразмерны с силами организма. Надобно только заметить, что под «здоровьем» человека здесь понимается и нравственное здоровье. Горячка, жар бывает вследствие простуды; страсть, нравственная горячка, такая же болезнь и так же овладевает человеком, когда он подвергся разрушительному влиянию неблагоприятных обстоятельств. За примерами ходить не далеко: страсть, по преимуществу «любовь», какая описывается в сотнях трескучих романов, теряет свою романтическую бурливость, как скоро препятствия отстранены и любящаяся чета соединилась браком; значит ли это, что муж и жена любят друг друга менее сильно, нежели любили в бурный период, когда их соединению мешали препятствия? Вовсе нет; каждому известно, что если муж и жена живут согласно и счастливо, то взаимная привязанность их усиливается с каждым годом и, наконец, достигает такого развития, что они буквально «не могут жить друг без друга», и если одному из них случится умереть, то для другого жизнь навеки теряет свою прелесть, теряет в буквальном смысле слова, а не только на словах. А между тем эта чрезвычайно сильная любовь действительно не представляет ничего бурного. Почему? Потому только, что ей не мешают препятствия. Фантастически неумеренные мечты овладевают нами только тогда, когда мы слишком скудны в действительности. Лежа на голых досках, человек может мечтать о пуховике из гагачьего пуха (продолжает г. Чернышевский); здоровый человек, у которого есть хотя не роскошная, но довольно мягкая и удобная постель, не находит ни повода, ни влечения мечтать о гагачьих пуховиках. Если человеку пришлось жить среди сибирских тундр, он может мечтать о волшебных садах с невиданными на земле деревьями, у которых коралловые ветви, изумрудные листья, рубиновые плоды; но, переселившись не далее как в Курскую или Киевскую губернию, получив полную возможность гулять досыта по небогатому, но порядочному саду с яблонями, вишнями, грушами, мечтатель наверное забудет не только о садах «Тысячи и одной ночи», но и лимонных рощах Испании. Воображение строит свои воздушные замки тог-

да, когда нет на деле не только хорошего дома, даже сносной избушки. Оно разыгрывается тогда, когда не заняты чувства: отсутствие удовлетворительной обстановки в действительности — источник жизни в фантазии. Но едва делается действительность сносною, скучны и бледны кажутся нам перед нею все мечты воображения. Этот неоспоримый факт, что самые роскошные и блестящие, по-видимому, мечты забываются и покидаются нами, как неудовлетворительные, как скоро окружают нас явления действительной жизни, служит несомненным свидетельством того, что мечты воображения далеко уступают своею красотою и привлекательностью тому, что представляет нам действительность. В этом понятии состоит одно из существеннейших различий между устаревшим мирозерцанием, под влиянием которого возникали трансцендентальные системы науки, и нынешним воззрением науки на природу и жизнь. Ныне наука признает высокое превосходство действительности перед мечтою, узнав бледность и неудовлетворительность жизни, погруженной в мечты фантазии; прежде, без строгого исследования, принимали, что мечты воображения в самом деле выше и привлекательнее явлений действительной жизни. В литературной области это прежде предпочтение мечтательной жизни выразилось романтизмом.

Но, как мы говорили, прежде не обращали внимания на различие между фантастическими мечтами и истинными стремлениями человеческой природы, между потребностями, удовлетворения которых действительно требуют ум и сердце человека, и воздушными замками, в которых человек не захотел бы жить, если бы они существовали, потому что в них нашел бы он только пустоту, холод и голод. Мечты праздной фантазии очень, по-видимому, блестящи; желания здоровой головы и здорового сердца очень умеренны; потому, пока анализ не показал, как бледны и жалки мечты фантазии, разгулявшейся на пустом просторе, мыслители обманывались их мнимо блестящими красками и ставили их выше действительных предметов и явлений, какие встречает человек в жизни. Но действительно ли силы нашей фантазии так слабы, что не могут вознестись выше предметов и явлений, которые мы знаем из опыта? В этом очень легко убедиться. Пусть каждый попробует вообразить себе, например, красавицу, черты лица которой были бы лучше, нежели черты прекрасных лиц, виденных им в действительности, — каждый, если только внимательно будет рассматривать образы, создать

которые силится его воображение, заметит, что эти образы нисколько не лучше лиц, которые мог он видеть своими глазами, что можно только думать: «я хочу вообразить себе человеческое лицо прекраснее живых лиц, которые я видел», но в самом деле представить себе в воображении что-либо прекраснее этих лиц он не может. Воображение, если захочет возвыситься над действительностью, будет рисовать только чрезвычайно неясные, смутные очерки, в которых мы ничего определенного и действительно привлекательного не можем уловить. То же самое повторяется и во всех других случаях. Я не могу ясно и определенно вообразить себе, например, кушанье, которое было бы вкуснее тех блюд, которые мне случилось есть в действительности; света ярче того, какой видел я в действительности (так мы, жители Севера, по общему отзыву всех путешественников, не можем иметь ни малейшего понятия об ослепительном свете, проникающем атмосферу тропических стран); не можем вообразить ничего лучше той красоты, которую видели, ничего выше тех наслаждений, какие испытали в действительной жизни. У г. Чернышевского мы находим и эту мысль, но она опять высказана только случайно и вскользь, без надлежащего развития: силы творческой фантазии, говорит он, очень ограничены; она может только составлять предметы из разрозненных частей (напр., вообразить лошадь с птичьими крыльями) или увеличить предмет в объеме (напр., представить орла величиною с слона); но интенсивнее (т. е. прекраснее по красоте, ярче, живее, прелестнее и т. д.) того, что мы видели или испытали в действительной жизни, мы ничего не можем вообразить. Я могу представить себе солнце гораздо большим по величине, нежели каково оно кажется в действительности, но ярче того, как оно являлось мне в действительности, я не могу его вообразить. Точно так же я могу представить себе человека выше ростом, толще и т. д., нежели те люди, которых я видел; но лица прекраснее тех лиц, которые случилось мне видеть в действительности, я не могу вообразить. Между тем говорить можно все, что захочется; можно сказать: железное золото, теплый лед, сахарная горечь и т. д. — правда, воображение наше не может себе представить теплого льда, железного золота, и потому фразы эти остаются для нас совершенно пустыми, не представляющими для фантазии никакого смысла; но если не вникнуть в то обстоятельство, что подобные праздные фразы остаются непостижимы для фантазии, напрасно усиливающейся представить предметы,

о которых они говорят, то, смешав пустые слова с доступными для фантазии представлениями, можно подумать, будто бы «мечты фантазии гораздо богаче, полнее, роскошнее действительности».

По этой-то ошибке доходили до мнения, что фантастические (нелепые, и потому темные для самой фантазии) мечты должны быть считаемы истинными потребностями человека. Все высокопарные, но в сущности не имеющие смысла, сочетания слов, какие придумываются праздным воображением, были объявлены в высочайшей степени привлекательными для человека, хотя на самом деле он просто забавляется ими от нечего делать и не воображает себе под ними ничего, имеющего ясный смысл. Было даже объявлено, что действительность пуста и ничтожна пред этими мечтами. В самом деле, какая жалкая вещь — действительное яблоко в сравнении с алмазными и рубиновыми плодами аладдиновых садов, какие жалкие вещи действительное золото и действительное железо в сравнении с золотым железом, этим дивным металлом, который блестящ и не подвержен ржавчине, как золото, дешев и тверд, как железо! Как жалка красота живых людей, наших родных и знакомых, в сравнении с красотой дивных существ воздушного мира, этих невыразимо, невообразимо прекрасных сильфид, гурий, пери и им подобных! Как же не сказать, что действительность ничтожна перед тем, к чему стремится фантазия? Но при этом упущено из виду одно: мы решительно не можем себе представить этих гурий, пери и сильфид иначе, как с очень обыкновенными чертами действительных людей, и сколько бы мы ни твердили своему воображению: «представь мне нечто прекраснее человека!» — оно все-таки представляет нам человека, и только человека, хотя и говорит хвастливо, что воображает не человека, а какое-то более прекрасное существо; или, если порывается создать что-нибудь самостоятельное, не имеющее себе соответствия в действительности, в бессилии падает, давая нам такой туманный, бледный и неопределенный фантом, в котором ровно ничего нельзя рассмотреть. Это заметила наука в последнее время и признала основным фактом и в науке и во всех остальных областях человеческой деятельности, что человек не может вообразить себе ничего выше и лучше того, что встречается ему в действительности. А чего не знаешь, о чем не имеешь ни малейшего понятия, того нельзя и желать.

Пока не был признан этот важный факт, фантастическим мечтам верили, в буквальном смысле, «на слово», не исследуя, представляют ли эти слова какой-нибудь смысл, дают ли они что-нибудь похожее на определенный образ или остаются пустыми словами. Их высокопарность почитали речительством за превосходство этих пустых фраз над действительностью и все человеческие потребности и стремления объясняли стремлением к туманным и лишеным всякого существенного значения фантомам. То была пора идеализма в обширнейшем смысле слова.

К числу призраков, внесенных в науку таким образом, принадлежал призрак фантастического совершенства: «человек удовлетворяется только абсолютным, он требует безусловного совершенства». У г. Чернышевского опять встречаем в нескольких местах краткие и беглые замечания об этом. Мнение, будто человеку непременно нужно «совершенство», — говорит он (стр. 39), — мнение фантастическое, если под «совершенством» понимать (как и понимают) такой вид предмета, который бы совмещал все возможные достоинства и был чужд всех недостатков, каких от нечего делать может искать в нем праздная фантазия человека с холодным или пресыщенным сердцем. Нет, — продолжает он в другом месте (стр. 48), — практическая жизнь человека убеждает нас, что он ищет только приблизительного совершенства, которое, выражаясь строго, и не должно называться совершенством. Человек ищет только «хорошего», а не «совершенного». Совершенства требует только чистая математика; даже прикладная математика довольствуется приблизительными вычислениями. Требовать совершенства в какой бы то ни было сфере жизни — дело отвлеченной, болезненной или праздной фантазии. Мы хотим дышать чистым воздухом; но замечаем ли мы, что абсолютно чист воздух не бывает нигде и никогда? Ведь в нем всегда есть примесь ядовитой углекислоты и других вредных газов; но их так мало, что они не действуют на наш организм, и потому они нисколько не мешают нам. Мы хотим пить чистую воду; но в воде рек, ручьев, ключей всегда есть минеральные примеси, — если их мало (как всегда и бывает в хорошей воде), они вовсе не мешают нашему наслаждению при утолении жажды водою. А совершенно чистая (дистиллированная) вода даже неприятна для вкуса. Эти примеры слишком материальны? Приведем другие. Разве кому приходила мысль называть не ученым, невеждою человека, которому не *все* в мире известно? Нет, мы и не ищем че-

ловека, которому было б известно *все*; мы требуем от учебного только, чтобы ему было известно *все существенное* и, кроме того, *многие* (хотя далеко не *все*) подробности. Разве мы недовольны, напр., историческою книгою, в которой не все решительно вопросы объяснены, не все решительно подробности приведены, не все до одного взгляды и слова автора абсолютно справедливы? Нет, мы довольны, и чрезвычайно довольны книгою, когда в ней разрешены *главные* вопросы, приведены самонужнейшие подробности, когда *главные* мнения автора справедливы и в книге его *очень мало* неверных или неудачных объяснений. Одним словом, потребностям человеческой природы удовлетворяет «порядочное», а фантастического совершенства ищет только праздная фантазия. Чувства наши, наш ум и сердце ничего о нем не знают, да и фантазия только твердит о нем пустые фразы, а живого, определенного представления о нем также не имеет.

Итак, наука в последнее время дошла до необходимости строго различать истинные потребности человеческой природы, которые ищут и имеют право находить себе удовлетворение в действительной жизни, от мнимых, воображаемых потребностей, которые остаются и должны оставаться праздными мечтами. У г. Чернышевского не столько раз встречаем беглые намеки на эту необходимость, а однажды он дает этой мысли даже некоторое развитие. «Искусственно развитый человек (т. е. испорченный своим противоестественным положением среди других людей) имеет много искусственных, исказившихся до лживости, до фантастичности требований, которым нельзя вполне удовлетворять, потому что они в сущности не требования природы его, а мечты испорченного воображения, которым почти невозможно и угождать, не подвергаясь насмешке и презрению от самого того человека, которому стараемся угодить, потому что он сам инстинктивно чувствует, что его требование не стоит удовлетворения» (стр. 82).

Но если так важно различать мнимые, воображаемые стремления, участь которых — оставаться смутными грезами праздной или болезненно раздраженной фантазии, от действительных и законных потребностей человеческой природы, которые необходимо требуют удовлетворения, то где же признак, по которому безошибочно могли бы мы делать это различие? Кто будет судьей в этом, столь важном случае? — Приговор дает сам человек своею жизнью; «практика», этот непреложный пробный камень

всякой теории, должна быть руководительницею нашею и здесь. Мы видим, что одни из наших желаний радостно стремятся навстречу удовлетворению, напрягают все силы человека, чтобы осуществиться в действительной жизни, — это истинные потребности нашей природы. Другие желания, напротив, боятся соприкосновения с действительною жизнью, робко стараются укрываться от нее в отвлеченном царстве мечтаний — это мнимые, фальшивые желания, которым не нужно исполнение, которые и обольстительны только под тем условием, чтоб не встречать удовлетворения себе, потому что, выходя на «белый свет» жизни, они обнаружили бы свою пустоту и непригодность для того, чтобы на самом деле соответствовать потребностям человеческой природы и условиям его наслаждения жизнью. «Дело есть истина мысли». Так, например, на деле узнается, справедливо ли человек думает и говорит о себе, что он храбр, благороден, правдив. Жизнь человека решает, какова его натура, она же решает, каковы его стремления и желания. Вы говорите, что проголодались? — Посмотрим, будете ли вы прихотничать за столом. Если вы откажетесь от простых блюд и будете ждать, пока приготовят индейку с трюфелями, у вас голод не в желудке, а только на языке. Вы говорите, что вы любите науку, — это решается тем, занимаетесь ли вы ею. Вы думаете, что вы любите искусство? Это решается тем, часто ли вы читаете Пушкина, или его сочинения лежат на вашем столе только для виду; часто ли вы бываете в своей картинной галлерее, — бываете наедине, сам с собою, а не только вместе с гостями, — или вы собрали ее только для хвастовства перед другими и самим собою любовью к искусству. Практика — великая разоблачительница обманов и самообольщений не только в практических делах, но также в делах чувства и мысли. Потому-то в науке ныне принята она существенным критерием всех спорных пунктов. «Что подлежит спору в теории, на чистоту решается практикою действительной жизни».

Но понятия эти остались бы для многих неопределенны, если бы мы не упомянули здесь о том, какой смысл имеют в современной науке слова «действительность» и «практика». Действительность обнимает собою не только мертвую природу, но и человеческую жизнь, не только настоящее, но и прошедшее, насколько оно выразилось делом, и будущее, насколько оно готовится настоящим. Дела Петра Великого принадлежат действительности; оды Ломоносова принадлежат ей не менее, нежели

его мозаичные картины. Не принадлежат ей только праздные слова людей, которые говорят: «я хочу быть живописцем» — и не изучают живописи, «я хочу быть поэтом» — и не изучают человека и природу. Не мысль противоположна действительности, — потому что мысль порождается действительностью и стремится к осуществлению, потому составляет неотъемлемую часть действительности, — а праздная мечта, которая родилась от безделья и остается забавою человеку, любящему сидеть, сложа руки и зажмурив глаза. Точно так же и «практическая жизнь» обнимает собою не одну материальную, но и умственную и нравственную деятельность человека.

Теперь может быть ясно различие между прежними, трансцендентальными системами, которые, доверяя фантастическим мечтам, говорили, что человек ищет повсюду абсолютного и, не находя его в действительной жизни, отвергает ее как неудовлетворительную, которые ценили действительность на основании туманных грез фантазии, и между новыми воззрениями, которые, признав бессилие фантазии, отвлекающейся от действительности, в своих приговорах о существенной ценности для человека различных его желаний руководятся фактами, которые представляют действительную жизнь и деятельность человека.

Г. Чернышевский совершенно принимает справедливость современного направления науки и, видя, с одной стороны, несостоятельность прежних метафизических систем, с другой стороны, неразрывную связь их с господствующею теориею эстетики, выводит из этого, что господствующая теория искусства должна быть заменена другою, более сообразною с новыми воззрениями науки на природу и человеческую жизнь. Но прежде, нежели займемся мы изложением его понятий, составляющих только применение общих воззрений нового времени к эстетическим вопросам, мы должны объяснить отношения, связывающие новые воззрения со старыми в науке вообще. Часто мы видим, что продолжатели ученого труда восстают против своих предшественников, труды которых служили исходною точкою для их собственных трудов. Так Аристотель враждебно смотрел на Платона, так Сократ безгранично унижал софистов, продолжателем которых был. В новое время этому также найдется много примеров. Но бывают иногда отрадные случаи, что основатели новой системы понимают ясно связь своих мнений с мыслями, которые находятся у их предшественников, и скромно называют себя их учениками; что, обнаруживая недостаток

ность понятий предшественников, они с тем вместе ясно высказывают, как много содействовали эти понятия развитию их собственной мысли. Таково было, например, отношение Спинозы к Декарту. К чести основателей современной науки должно сказать, что они с уважением и почти сыновнею любовью смотрят на своих предшественников, вполне признают величие их гения и благородный характер их учения, в котором показывают зародыши собственных воззрений. Г. Чернышевский понимает это и следует примеру людей, мысли которых применяет к эстетическим вопросам. Его отношение к эстетической системе, недостаточность которой он старается доказать, вовсе не враждебно; он признает, что в ней заключаются зародыши и той теории, которую старается построить он сам, что он только развивает существенно важные моменты, которые находили место и в прежней теории, но в противоречии с другими понятиями, которым она приписывала более важности и которые кажутся ему не выдерживающими критики. Он постоянно старается показать тесное родство своей системы с прежнею системою, хотя не скрывает, что есть между ними и существенное различие. Это положительно высказывает он в нескольких местах, из которых приведем одно: «Принимаемое мною понятие возвышенного (говорит он на стр. 21) точно так же относится к прежнему понятию, мною отвергаемому, как предлагаемое мною определение прекрасного к прежнему взгляду, мною опровергаемому: в обоих случаях возводится на степень общего и существенного начала то, что прежде считалось частным и второстепенным признаком, было закрываемо от внимания другими понятиями, которые мною отвергаются, как побочные».

Излагая эстетическую теорию г. Чернышевского, рецензент не будет произносить окончательного суждения о справедливости или несправедливости мыслей автора в чисто эстетическом отношении. Рецензент занимался эстетикою только как частью философии, потому представляет суждение о частных мыслях г. Чернышевского людям, которые могут основательно судить о них с точки зрения специально эстетической, чуждой рецензенту. Но ему кажется, что существенное значение эстетическая теория автора имеет именно как приложение общих воззрений к вопросам частной науки, потому он думает, что будет стоять именно в средоточии дела, рассматривая, до какой степени верно сделано автором это приложение. И для читателей, по мнению рецензента, будет интереснее

эта критика с общей точки зрения, потому что самая эстетика имеет для неспециалистов интерес только как часть общей системы воззрений на природу и жизнь. Быть может, некоторым читателям вся статья кажется слишком отвлеченна, но рецензент просит их не судить по одной наружности. Отвлеченность бывает различна: иногда она суха и бесплодна, иногда, напротив того, стоит только обратит внимание на мысли, изложенные в отвлеченной форме, чтоб они получили множество живых приложений; и рецензент положительно уверен, что мысли, им изложенные выше, относятся к последнему роду, — он говорит это прямо, потому что они принадлежат науке, а не в частности рецензенту, который только усвоил их, следовательно, может превозносить их, как последователь известной школы может хвалить принятую им систему, не замешивая в это дело своего личного самолюбия.

Но излагая теорию г. Чернышевского, мы должны будем изменить порядок, которому следовал автор; он, по примеру эстетических курсов опровергаемой им школы, рассматривает сначала идею прекрасного, потом идеи возвышенного и трагического, потом занимается критикою отношений искусства к действительности, затем говорит о существенном содержании искусства и, наконец, о потребности, из которой оно возникает, или о целях, которые осуществляет художник своими произведениями. В господствующей эстетической теории такой порядок совершенно натурален, потому что понятие о сущности прекрасного — основное понятие всей теории. Не так в теории г. Чернышевского. Основное понятие его теории — отношения искусства к действительности, потому с него и следовало начинать автору. Следуя порядку, принятому у других и чуждому его системе, он сделал, по нашему мнению, важную ошибку и разрушил логическую стройность своего изложения: ему пришлось сначала говорить о нескольких частных элементах из числа многих элементов, составляющих, по его мнению, содержание искусства, потом об отношении искусства к действительности и затем опять о содержании искусства вообще, потом о существенном значении искусства, которое вытекает из его отношений к действительности, — таким образом однородные вопросы разрознены другими, посторонними для их решения вопросами. Мы позволяем себе поправить эту ошибку и будем излагать мысли автора в том порядке, который более соответствует требованиям систематической стройности.

Господствующая теория, поставляя целью человеческих желаний абсолютное и ставя желания человека, не находящие себе удовлетворения в действительности, выше тех скромных желаний, которые могут удовлетворяться предметами и явлениями действительного мира, прилагает это общее воззрение, которым объясняется в ней происхождение всех умственных и нравственных деятельностей человека, и к происхождению искусства, содержанием которого она почитает «прекрасное». Прекрасное, встречаемое человеком в действительности, говорит она, имеет важные недостатки, уничтожающие красоту его; а наше эстетическое чувство ищет совершенства; потому для удовлетворения требованию эстетического чувства, не удовлетворяющегося действительностью, фантазия наша возбуждается к созданию нового прекрасного, которое не имело бы недостатков, искажающих красоту прекрасного в природе и жизни. Эти создания творческой фантазии осуществляются произведениями искусства, которые свободны от недостатков, губящих красоту действительности, и потому, собственно говоря, только произведения искусства истинно прекрасны, между тем как явления природы и действительной жизни имеют только призрак красоты. Итак, прекрасное, создаваемое искусством, гораздо выше того, что кажется (только кажется) прекрасным в действительности.

Это положение подтверждается резкою критикою прекрасного, представляемого действительностью, и критика эта старается обнаружить в нем множество недостатков, искажающих его красоту.

Г. Чернышевский, как поставляющий действительность выше грез фантазии, не может разделять мнения, будто бы прекрасное, создаваемое фантазиею, выше по красоте своей, нежели явления действительности. В этом случае он, прилагая к данному вопросу свои основные убеждения, будет иметь на своей стороне всех, разделяющих эти убеждения, и против себя всех, которые держатся прежних мнений о том, что фантазия может возноситься выше действительности. Рецензент, соглашаясь в общих научных убеждениях с г. Чернышевским, должен также признать справедливость его частного вывода, что действительность по красоте своей выше созданий фантазии, осуществляемых искусством.

Но должно доказать это, — и г. Чернышевский для исполнения этой обязанности сначала пересматривает упреки, делаемые прекрасному живой действительности,

и старается доказать, что недостатки, поставляемые ему в вину господствующею теориею, не всегда в нем находятся, а если и находятся, то вовсе не в такой искажающей громадности, как полагает эта теория. Потом он рассматривает, свободны ли от этих недостатков произведения искусства, и старается показать, что все упреки, делаемые прекрасному живой действительности, прилагаются также к созданиям искусства, и почти все эти недостатки бывают в них более грубы и сильны, нежели каковы они в прекрасном, которое дается нам живою действительностью. От критики искусства вообще он переходит к анализу отдельных искусств и также доказывает, что ни одно искусство — ни скульптура, ни живопись, ни музыка, ни поэзия не могут давать нам произведений, которые представляли бы нечто такое прекрасное, которому не нашлось бы в действительности соответствующих прекрасных явлений, и ни одно искусство не может создать произведений, равных по красоте этим соответствующим явлениям действительности. Но мы должны и здесь заметить, что автор опять делает очень важный недосмотр, перечисляя и опровергая упреки прекрасному в действительности только в том виде, как изложены они Фишером, и не пополняя этих упреков теми, которые высказаны Гегелем. Правда, у Фишера критика прекрасного живой действительности гораздо полнее и подробнее, нежели у Гегеля; но у Гегеля, при всей его краткости, мы встречаем два упрека, которые забыты Фишером и которые чрезвычайно глубоки, — *Ungeistigkeit* и *Unfreiheit* (недуховность, несознательность, или бессмысленность, и несвобода) всего прекрасного в природе³. Надобно прибавить, однако, что эта неполнота в изложении, составляя вину автора, не вредит сущности защищаемых им воззрений, потому что забытые автором упреки могут быть легко отстранены от прекрасного в действительности и обращены на прекрасное в искусстве тем же самым способом и почти теми же фактами, которые находим у г. Чернышевского по поводу упреков в непреднамеренности. Столь же важно другое упущение: в обзоре отдельных искусств автор забыл мимику, танцы и сценическое искусство — он должен был рассмотреть их, хотя бы и считал, подобно другим эстетикам, отраслью пластического искусства (*die Bildnerkunst*), потому что создания этих искусств совершенно отличны по характеру от статуй.

Но если произведения искусства ниже действительности, то из каких же оснований возникло мнение о высо-

ком превосходстве искусства над явлениями природы и жизни? Автор отыскивает эти основания в том, что предмет ценится человеком не только по его внутреннему достоинству, а также по редкости и трудности его получения. Прекрасное в природе и жизни является без особенных забот с нашей стороны, и его очень много; прекрасных произведений искусства очень мало, и они производятся не без труда, иногда чрезвычайно напряженного; кроме того, человек ими гордится, как делом подобном себе человека, — как для француза французская поэзия (в сущности очень слабая) кажется лучшею в мире, так для человека искусство вообще приобретает особенную любовь потому, что оно — дело человека, в его пользу говорит пристрастие к своему, родному; кроме того, искусство, подчиняясь, вместе с художниками, мелочным прихотям человека, на которые не обращают внимания природа и жизнь, и тем самым унижаясь, искажаясь, приобретает, как всякий льстец любовь очень многих; наконец, произведениями искусства мы наслаждаемся, когда хотим, т. е. когда расположены вникать в их красоты и наслаждаться ими, а прекрасные явления природы и жизни очень часто проходят мимо нас в такое время, когда наше внимание и симпатия обращены на другие предметы; кроме того, автор исчисляет еще несколько оснований слишком высокого мнения о достоинстве искусства. Эти объяснения не совершенно полны, — автор забыл очень важное обстоятельство: мнение о превосходстве искусства над действительностью — мнение ученых, мнение философской школы, а не суждение человека вообще, чуждого систематических убеждений; масса людей, правда, ставит искусство очень высоко, быть может, выше, нежели давало бы ему на то право одно внутреннее достоинство, и это пристрастие удовлетворительно объясняется указаниями автора; но масса людей вовсе не ставит искусство выше действительности, напротив, она и не думает сравнивать их по достоинству, а если должна будет дать ясный ответ, то скажет, что природа и жизнь прекраснее искусства. Одни только эстетика, да и то не всех школ, ставят искусство выше действительности, и такое мнение, составившееся вследствие особенных, им только принадлежащих воззрений, должно быть объясняемо этими воззрениями. Именно, эстетика псевдоклассической школы предпочитали искусство действительности потому, что вообще страдали болезнью своего века и кружка — искусственностью всех привычек и понятий: они не в одном искусстве, но и во

всех сферах жизни боялись и дичились природы, как она есть, любили только прикрашенную, «умытую» природу. А мыслители господствующей ныне школы ставят искусство, как нечто идеальное, выше природы и жизни, которые реальны, потому что вообще не успели еще освободиться от идеализма, несмотря на гениальные порывы к реализму, и идеальную жизнь ставят вообще выше реальной.

Возвращаемся к теории г. Чернышевского. Если искусство не может сравниться с действительностью по красоте своих произведений, то оно не может быть обязано своим происхождением недовольству нашему красотой действительности и стремлению создать нечто лучшее, — в таком случае человек давно бросил бы искусство, как нечто совершенно не достигающее своей цели и бесплодное, — говорит он. Потому потребность, вызывающая искусство, должна быть не та, как полагает господствующая теория. До сих пор все, разделяющие с г. Чернышевским основные понятия о человеческой жизни и природе, вероятно, скажут, что выводы его последовательны. Но мы не хотим решать, совершенно ли верно приисканное им объяснение потребности, рождающей искусство; представляем его собственными словами этот вывод, чтобы дать читателям полную возможность судить о его несправедливости или справедливости.

«Море вполне прекрасно; смотря на него, мы не думаем быть им недовольны в эстетическом отношении. Но не все люди живут близ моря; многим не удастся ни разу в жизни взглянуть на него, а им также хотелось бы полюбоваться на море, — и для них являются картины, изображающие море. Конечно, гораздо лучше смотреть на самое море, нежели на его изображение; но за недостатком лучшего, человек довольствуется и худшим, за недостатком вещи — ее суррогатом. И тем людям, которые могут любоваться морем в действительности, не всегда, когда хочется, можно смотреть на море, — они вспоминают о нем; но фантазия слаба, ей нужна поддержка, напоминание, — и, чтоб оживить свои воспоминания о море, чтобы яснее представлять его в своем воображении, они смотрят на картину, изображающую море. Вот единственная цель и значение очень многих (большой части) произведений искусства: дать возможность, хотя в некоторой степени, познакомиться с прекрасным в действительности тем людям, которые не имели возможности наслаждаться им на самом деле; служить напоминанием, возбуждать и оживлять воспоминание о прекрасном в действительности у тех людей, которые знают его из опыта и любят вспоминать о нем. (Оставляем пока выражение: «прекрасное есть существенное содержание искусства»; впоследствии мы подставим вместо термина «прекрасное» другой, которым содержание искусства определяется, по нашему мнению, точнее и полнее.) Итак, первое значение искусства, принадлежащее всем без изъятия произведениям его, — воспроизведение природы и жизни. Отношение их к соответствующим сторонам и явлениям действительной жизни таково же, как

отношение гравюры к той картине, с которой она снята, как отношение портрета к лицу, им изображаемому. Гравюра снимается с картины не потому, чтобы картина была нехороша, а именно потому, что картина очень хороша; так действительность воспроизводится искусством не для сглаживания недостатков ее, не потому, что сама по себе действительность не довольно хороша, а потому именно, что она хороша. Гравюра не думает быть лучше картины, — она гораздо хуже ее в художественном отношении; так и произведение искусства никогда не достигает красоты или величия действительности; но картина одна, ею могут любоваться только люди, пришедшие в галерею, которую она украшает; гравюра расходится в сотнях экземпляров по всему свету, каждый может любоваться ею, когда ему угодно, не выходя из своей комнаты, не вставая с своего дивана, не скидая своего халата; так и предмет, прекрасный в действительности, доступен не всякому и не всегда; воспроизведенный (слабо, грубо, бледно — это правда, но все-таки воспроизведенный) искусством, он доступен всегда и всякому. Портрет человека делается не для того, чтобы сгладить недостатки его лица (что нам за дело до этих недостатков? они для нас незаметны или милы), но для того, чтобы доставить нам возможность любоваться на это лицо даже и тогда, когда оно на самом деле не перед нашими глазами; такова же цель и значение произведений искусства вообще: они не поправляют действительность, не украшают ее, а воспроизводят, служат ей суррогатом».

Автор признает, что теория воспроизведения, им предлагаемая, не есть нечто новое: подобный взгляд на искусство господствовал в греческом мире⁴, но с тем вместе он утверждает, что его теория существенно различна от псевдоклассической теории подражания природе, и доказывает это различие, приводя критику псевдоклассических понятий из гегелевой эстетики: ни одно из возражений Гегеля, совершенно справедливых относительно теории подражания природе, не прилагается к теории воспроизведения; потому и дух этих двух воззрений, очевидно, существенно различен. В самом деле, воспроизведение имеет целью помочь воображению, а не обманывать чувства, как того хочет подражание, и не есть пустая забава, как подражание, а дело, имеющее реальную цель.

Нет сомнения, что теория воспроизведения, если заслужит внимание, возбудит сильные выходы со стороны приверженцев теории творчества. Будут говорить, что она ведет к дагерротипичной копировке действительности, против которой так часто вооружаются; предупреждая мысль о рабской копировке, г. Чернышевский показывает, что и в искусстве человек не может отказаться от своего — не говорим, права, это мало, — от своей обязанности пользоваться всеми своими нравственными и умственными силами, в том числе и воображением, если хочет даже не более, как верно скопировать предмет. Вместо того чтобы восставать против «дагерротипного копирования», — при-

бавляет он,— не лучше ли было бы говорить только, что и копия, как и всякое другое человеческое дело, требует понимания, требует способности отличать существенные черты от неважных? «Мертвая копия» — говорят обыкновенно; но человек не может скопировать верно, если механизм его руки не направляется живым смыслом: нельзя сделать даже верного facsimile, не понимая значения копируемых букв.

Но словами: «искусство есть воспроизведение явлений природы и жизни», определяется только способ, каким создаются произведения искусства; остается еще вопрос о том, какие же явления воспроизводятся искусством; определив формальное начало искусства, нужно, для полноты понятия, определить и реальное начало или содержание искусства. Обыкновенно говорят, что содержанием искусства служат только прекрасное и его соподчиненные понятия — возвышенное и комическое. Автор находит такое понятие слишком узким и утверждает, что область искусства — все интересное для человека в жизни и природе. Доказательство этого положения мало развито и составляет самую неудовлетворительную часть в изложении г. Чернышевского, который, кажется, считал этот пункт слишком ясным и почти не нуждающимся в доказательствах. Мы не оспариваем самого вывода, который принимается автором, а недовольны только его изложением. Он должен был привести гораздо более примеров, которые подтверждали бы его мысль, что «содержание искусства не ограничивается тесными рамками прекрасного, возвышенного и комического», — легко было найти тысячи фактов, доказывающих эту справедливую мысль, и тем более виноват автор, что мало позаботился о том.

Но если очень многие произведения искусства имеют только один смысл — воспроизведение интересных для человека явлений жизни, то очень многие приобретают, кроме этого основного значения, другое, высшее — служить объяснением воспроизводимых явлений; особенно должно сказать это о поэзии, которая не в силах обнять всех подробностей, потому, по необходимости выпуская из своих картин очень многие мелочи, тем самым сосредоточивает наше внимание на немногих удержанных чертах, — если удержаны, как и следует, черты существенные, то этим самым для неопытного глаза облегчается обзор сущности предмета. В этом иные видят превосходство поэтических картин перед действительностью, но выпущение всех несущественных подробностей и передача одних

главных черт — не особенное качество поэзии, а общее свойство разумной речи: и в прозаическом рассказе бывает то же самое.

Наконец, если художник — человек мыслящий, то он не может не иметь своего суждения о воспроизводимых явлениях, оно, волею или неволею, явно или тайно, сознательно или бессознательно, отразится на произведении, которое, таким образом, получает еще третье значение — приговора мысли о воспроизводимых явлениях. Это значение чаще, нежели в других искусствах, мы находим в поэзии.

Соединяя все сказанное, — заключает г. Чернышевский, — мы получим следующее воззрение на искусство: существенное значение искусства — воспроизведение всего, что интересно для человека в жизни; очень часто, особенно в поэзии, выступает на первый план также объяснение жизни, приговор о явлениях ее. Искусство относится к действительности совершенно так же, как история; различие по содержанию только в том, что история говорит о жизни общественной, искусство — о жизни индивидуальной, история — о жизни человечества, искусство — о жизни человека (картины природы имеют только значенные обстановки для явлений человеческой жизни или намека, предчувствия об этих явлениях. Что касается различия по форме, автор определяет его так: история, как и всякая наука, заботится только о ясности, понятности своих картин; искусство — о жизненной полноте подробностей). Первая задача истории — передать прошедшее; вторая, — исполняемая не всеми историками, — объяснить его, произнести о нем приговор; не заботясь о второй задаче, историк остается простым летописцем, и его произведение только материал для истинного историка или чтение для удовлетворения любопытства; исполняя вторую задачу, историк становится мыслителем, и его творение приобретает научное достоинство. Совершенно то же самое надобно сказать об искусстве. Ограничиваясь воспроизведением явлений жизни, художник удовлетворяет нашему любопытству или дает пособие нашим воспоминаниям о жизни. Но если он притом объясняет и судит воспроизводимые явления, он становится мыслителем, и его произведение к художественному своему достоинству присоединяет еще высшее значение — значение научное.

От общего определения содержания искусства натурален переход к частным элементам, входящим в состав этого содержания, и мы здесь изложим взгляды автора на

прекрасное и возвышенное, в определении сущности которых он не согласен с господствующей теорией, потому что она в этих случаях перестала соответствовать настоящему развитию науки. Анализировать эти понятия он должен был потому, что в обыкновенном их определении находится непосредственный источник мысли о превосходстве искусства над действительностью: они служат в господствующей теории связью между общими идеалистическими началами и частными эстетическими мыслями. Автор должен был очистить эти важные понятия от трансцендентальной примеси, чтобы привести их в согласие с духом своей теории.

Господствующая теория имеет две формулы для выражения своего понятия о прекрасном: «прекрасное есть единство идеи и образа» и «прекрасное есть полное проявление идеи в отдельном предмете»; автор находит, что последняя формула говорит о существенном признаке не идеи прекрасного, а того, что называется мастерским произведением искусства или всякой вообще человеческой деятельности, а первая формула слишком широка: она говорит, что прекрасные предметы те, которые лучше других в своем роде; но есть многие роды предметов, не достигающие красоты. Потому он признает оба господствующие выражения не совершенно удовлетворительными и принужден искать более точного определения, которое, как ему кажется, находит в формуле: «прекрасное есть жизнь; прекрасно то существо, в котором мы видим жизнь такую, какова она должна быть по нашим понятиям; прекрасен тот предмет, который выказывает в себе жизнь или напоминает нам о жизни». Представим здесь существенную часть анализа, на котором опирается этот вывод, — разбор принадлежностей человеческой красоты, как ее понимают различные классы народа.

«Хорошая жизнь, жизнь, как она должна быть», у простого народа состоит в том, чтобы сытно есть, жить в хорошей избе, спать вдоволь; но вместе с этим у поселянина в понятии «жизнь» всегда заключается понятие о работе: жить без работы нельзя, да и скучно было бы. Следствием жизни в довольстве при большой работе, не доходящей, однако, до изнурения сил, у сельской девушки будет чрезвычайно свежий цвет лица и румянец во всю щеку — первое условие красоты по простонародным понятиям. Работая много, поэтому будучи крепким сложением, сельская девушка при сытной пище будет довольно плотна — это также необходимое условие сельской красоты: светская «полувоздушная» красавица кажется поселянину решительно «невзрачною», даже производит на него неприятное впечатление, потому что он привык считать «худобу» следствием болезненности или «горькой доли». Но работа не дает разжиреть: если сельская девушка толста, это род болезненности, знак «рыхлого»

сложения, и народ считает толстоту недостатком. У сельской красавицы не может быть маленьких ручек и ножек, потому что она много работает — об этих принадлежностях красоты и не упоминается в наших песнях. Одним словом, в описаниях красавицы в народных песнях не найдется ни одного признака красоты, который не был бы выражением цветущего здоровья и равновесия сил в организме, всегдашнего следствия жизни в довольстве при постоянной и нешуточной, но не чрезмерной работе. Совершенно другое дело светская красавица: уже несколько поколений предки ее жили, не работая руками; при бездейственном образе жизни крови льется в оконечности мало; с каждым новым поколением мускулы рук и ног слабеют, кости делаются тоньше; необходимым следствием всего этого должны быть маленькие ручки и ножки — они признак такой жизни, которая одна и кажется жизнью для высших классов общества, — жизни без физической работы; если у светской женщины большие руки и ноги, это признак или того, что она дурно сложена, или того, что она не из старинной хорошей фамилии. По этому же самому у светской красавицы должны быть маленькие ушки. Мигрень, как известно, интересная болезнь — и не без причины: от бездействия кровь остается вся в средних органах, приливает к мозгу, нервная система и без того уже раздражительна от всеобщего расслабления в организме, неизбежное следствие всего этого — продолжительные головные боли и разного рода нервные расстройства; что делать? и болезнь интересна, чуть не завидна, когда она следствие того образа жизни, который нам нравится. Здоровье, правда, никогда не может потерять своей цены в глазах человека, потому что и в довольстве, и в роскоши плохо жить без здоровья, — вследствие того румянец на щеках и цветущая здоровьем свежесть продолжают быть привлекательными и для светских людей; но болезненность, слабость, вялость, томность также имеют в глазах их достоинство (красоты), как скоро кажутся следствием роскошно бездейственного образа жизни. Бледность, томность, болезненность имеют еще другое значение для светских людей: если поселянин ищет отдыха, спокойствия, то люди образованного общества, у которых материальной нужды и физической усталости не бывает, но которым зато часто бывает скучно от безделья и отсутствия материальных забот, ищут «сильных ощущений, волнений, страстей», которыми придается цвет, разнообразие, увлекательность светской жизни, без того монотонной и бесцветной. А от сильных ощущений, от пылких страстей человек скоро изнашивается: как же не очароваться томностью, бледностью красавицы, если томность и бледность ее служат признаком, что она много жила?

Мила живая свежесть цвета,
Знак юных дней;
Но бледный цвет, тоски премега,
Еще милей.

Но если увлечение бледною, болезненною красотою — признак искусственной испорченности вкуса, то всякий истинно образованный человек чувствует, что истинная жизнь — жизнь ума и сердца. Она отпечатывается в выражении лица, всего яснее в глазах — потому выражение лица, о котором так мало говорится в народных песнях, получает огромное значение в понятиях о красоте, господствующих между образованными людьми; и часто бывает, что человек кажется нам прекрасен только потому, что у него прекрасные, выразительные глаза... Взглянем на противоположную сторону предмета, рассмотрим, отчего человек бывает некрасив. Причину некрасивости общей фигуры человека всякий укажет в том, что человек, имеющий дурную фигуру, — «дурно сложен».

Уродливость — следствие болезни или пагубных случаев, от которых особенно легко уродуется человек в первое время развития. Если жизнь и ее проявление — красота, очень естественно, что болезнь и ее следствие — безобразия. Но человек, дурно сложенный, — также урод, только в меньшей степени, и причины «дурного сложения» те же самые, которые производят уродливость, только слабее их. Горбатость — следствие несчастных обстоятельств, при которых совершалось развитие человека; но сутуловатость — та же горбатость, только в меньшей степени, и должна происходить от тех же самых причин. Вообще, худо сложенный человек — до некоторой степени искаженный человек: его фигура говорит нам не о жизни, не о счастливом развитии, а о тяжелых сторонах развития, о неблагоприятных обстоятельствах. От общего очерка фигуры переходим к лицу. Черты его бывают нехороши или сами по себе, или по своему выражению. В лице не нравится нам «злое», «неприятное» выражение, потому что злость — яд, отравляющий нашу жизнь. Но гораздо чаще лицо «некрасиво» не по выражению, а по самым чертам; они бывают некрасивы в том случае, когда лицевые кости дурно организованы, когда хрящи и мускулы в своем развитии более или менее носят отпечаток уродливости, т. е. когда первое развитие человека совершалось в неблагоприятных обстоятельствах».

Господствующая теория признает, что красота в царстве природы — то, что напоминает нам о человеке и его красоте; потому ясно, что если в человеке красота есть жизнь, то и о красоте природы должно сказать то же самое. Анализ, которым г. Чернышевский подтверждает свое понятие о существенном значении прекрасного, мы упрекием в том, что выражения, употребляемые автором, могут ввести в недоумение, — инстинктивно или сознательно человек замечает связь красоты с жизнью? Само собою разумеется, что большею частью это бывает инстинктивно. Напрасно автор не позаботился указать это важное обстоятельство.

Различие между принимаемым и отвергаемым у автора воззрениями на прекрасное очень важно. Если прекрасное есть «полное проявление идеи в отдельном существе», то прекрасного в действительных предметах нет, потому что идея вполне проявляется только целым мирозданием, а в отдельном предмете вполне осуществиться не может; из этого будет следовать, что прекрасное в действительности вносится только нашею фантазиею, что поэтому истинная область прекрасного — область фантазии, а потому искусство, осуществляющее идеалы фантазии, стоит выше действительности и имеет своим источником стремление человека создать прекрасное, которого не находит он в действительности. Напротив, из понятия, предлагаемого автором: «прекрасное есть жизнь», следует, что истинная красота есть красота действительности, что искусство (как и полагает автор) не может создавать ничего равного по

красоте явлениям действительного мира, и происхождение искусства легко тогда объясняется по теории автора, которую мы изложили выше.

Подвергая критике выражения, которыми определяется в господствующей эстетической системе понятие возвышенного, — «возвышенное есть перевес идеи над формой» и «возвышенное есть то, что пробуждает в нас идею бесконечного», — автор приходит к заключению, что и эти определения неверны, — он находит, что предмет производит впечатление возвышенного, вовсе не возбуждая идеи бесконечного. Потому автор опять должен искать другого определения, и ему кажется, что все явления, относящиеся к области возвышенного, обнимаются и объясняются следующей формулой: «Возвышенное есть то, что гораздо больше всего, с чем сравнивается нами». Так, например, говорит он, Казбек — величественная гора (хотя вовсе не представляется чем-то безграничным или бесконечным), потому что гораздо выше пригорков, которые мы привыкли видеть; так, Волга — величественная река, потому что гораздо шире маленьких рек; любовь — возвышенная страсть, потому что гораздо сильнее ежедневных мелочных расчетов и интриг; Юлий Цезарь, Отелло, Дездемона — возвышенные личности, потому что Юлий Цезарь гораздо гениальнее обыкновенных людей, Отелло любит и ревнует, Дездемона любит гораздо сильнее обыкновенных людей.

Из господствующих определений, отвергаемых г. Чернышевским, следует, что прекрасное и возвышенное в строгом смысле не встречаются в действительности и вносятся в нее только нашу фантазию; из понятий, предлагаемых г. Чернышевским, следует, напротив, что прекрасное и возвышенное действительно существуют в природе и человеческой жизни. Но с тем вместе следует, что наслаждение теми или другими предметами, имеющими в себе эти качества, непосредственно зависит от понятий наслаждающегося человека: прекрасно то, в чем мы видим жизнь, сообразную с *нашими* понятиями о жизни, возвышенно то, что гораздо больше предметов, с которыми сравниваем его *мы*. Таким образом, объективное существование прекрасного и возвышенного в действительности примиряется с субъективными воззрениями человека.

Понятию трагического, которое составляет важнейшую отрасль возвышенного, автор также дает новое определение, чтобы очистить его от трансцендентальной примеси, которою опутано оно в господствующей теории, связывающей его с понятием судьбы, внутренняя пустота которого

доказана теперь наукою. Удаляя, сообразно требованию науки, из определения трагического всякую мысль о судьбе или необходимости, неизбежности, автор понимает трагическое просто как «ужасное в жизни человека».

Понятие комического (пустота, бессмысленность формы, лишенной содержания или имеющей претензию на содержание, несоразмерное ее ничтожеству) господствующей теориею развито так, что соответствует характеру современной науки, потому автор не имеет нужды изменять его, — оно уже и в обыкновенном своем выражении совершенно гармонирует с духом его теории. Таким образом, задача, которую предложил себе автор, — привести основные эстетические понятия в соответствие с настоящим развитием науки, исполнена, насколько то было доступно силам автора, и он заключает свое исследование так:

«Апология действительности сравнительно с фантазиею, стремление доказать, что произведения искусства решительно не могут выдержать сравнения с живою действительностью, — вот сущность моего трактата. Говорить об искусстве так, как говорит автор, не значит ли унижать искусство? — Да, если показывать, что искусство *ниже* действительной жизни по художественному совершенству своих произведений, значит унижать искусство; но восставать против панегириков не значит еще быть хулителем. Наука не думает быть выше действительности; это не стыд для нее. Искусство также не должно думать быть выше действительности; это не унижительно для него. Наука не стыдится говорить, что цель ее — понять и объяснить действительность, потом применить ко благу человека свои объяснения; пусть и искусство не стыдится признаться, что цель его: для вознаграждения человека в случае отсутствия полнейшего эстетического наслаждения, доставляемого действительностью, воспроизвести, по мере сил, эту драгоценную действительность и ко благу человека объяснить ее».

Заключение, по нашему мнению, не довольно развитое. Оно оставляет еще для многих повод предполагать, будто бы значение искусства на самом деле уменьшается, когда отвергаются безграничные панегирики безусловному достоинству его произведений и когда, вместо неизмеримо высоких трансцендентальных источников и целей, источником и целью искусства поставляются потребности человека. Напротив, именно этим и возвышается реальное значение искусства, потому что таким объяснением дается ему неоспоримое и почетное место в числе деятельностей, служащих на благо человеку, а быть во благо человеку — значит иметь полное право на высокое уважение со стороны человека. Человек преклоняется пред тем, что служит ему во благо. Он называет хлеб — «хлеб-батюшка» за то, что питается им; он называет землю — «матушка-земля»

за то, что она кормит его. Отец и мать! Все панегирики ничто пред этими священными именами, все высокопарные похвалы — пустота и ничтожность пред чувством сыновней любви и благодарности. Так и наука достойна этого чувства, потому что служит на благо человеку, так и искусство достойно его, когда служит на благо человеку. А оно много, много блага приносит ему; потому что произведение художника, особенно поэта, достойного этого имени, — «учебник жизни», по справедливому выражению автора, и такой учебник, которым с наслаждением пользуются все люди, даже и те, которые не знают или не любят других учебников. Этим высоким, прекрасным, благодетельным значением своим для человека должно гордиться искусство.

Г. Чернышевский сделал, по нашему мнению, очень прискорбную ошибку, не развив подробнее мысль о практическом значении искусства, о его благодетельном влиянии на жизнь и образованность. Конечно, он этим эпизодом переступал бы границы своего предмета; но иногда такие нарушения систематически необходимы для объяснения предмета. Теперь, несмотря на то, что сочинение г. Чернышевского все проникнуто уважением к искусству за его великое значение для жизни, могут найтись люди, которые не захотят видеть этого чувства, потому что нигде не посвящено ему нескольких отдельных страниц; могут подумать, что он не ценит по достоинству благодетельного влияния искусства на жизнь или преклоняется перед всем, что представляет действительность. Как думает об этом г. Чернышевский, или как будут в этом случае думать о нем другие, для нас все равно: он оставил недосказанными свои мысли и должен отвечать за такое упущение. Но мы должны объяснить то, что забыл объяснить он, чтобы характеризовать отношения современной науки к действительности.

Действительность, нас окружающая, не есть нечто однородное и однохарактерное по отношениям своих бесчисленных явлений к потребностям человека. Понятие это мы встречаем и у г. Чернышевского: «Природа, — говорит он, — не знает о человеке и его делах, о его счастье и гибели; она бесстрашна к человеку, она не друг и не враг ему» (стр. 28); «часто человек страдает и погибает без всякой вины с своей стороны» (стр. 30); природа не всегда соответствует его потребностям; потому человек для спокойствия и счастья своей жизни должен во многом изменять объективную действительность (стр. 99), чтобы при-

способить ее к потребностям своей практической жизни (стр. 59). Действительно, в числе явлений, которыми окружен человек, очень много таких, которые неприятны или вредны ему; отчасти инстинкт, еще более наука (знание, размышление, опытность) дают ему средства понять, какие явления действительности хороши и благоприятны для него, потому должны быть поддерживаемы и развиваемы его содействием, какие явления действительности, напротив, тяжелы и вредны для него, потому должны быть уничтожены или по крайней мере ослаблены для счастья человеческой жизни; наука же дает ему и средства для исполнения этой цели. Чрезвычайно могущественное пособие в этом оказывает науке искусство, необыкновенно способное распространять в огромной массе людей понятия, добытые наукою, потому что знакомиться с произведениями искусства гораздо легче и привлекательнее для человека, нежели с формулами и суровым анализом науки. В этом отношении значение искусства для человеческой жизни неизмеримо огромно. Не говорим о наслаждении, доставляемом человеку его произведениями, потому что толковать о высокой цене эстетического наслаждения для человека — дело совершенно излишнее: об этом значении искусства и без того говорят уже слишком много, забывая другое, более существенное значение искусства, которое занимает теперь нас.

Наконец, г. Чернышевский, нам кажется, сделал также очень важную ошибку, не объяснив отношения современного положительного или практического мирозерцания к так называемым «идеальным» стремлениям человека, — и здесь также часто случается необходимость восставать против недоразумений. Положительность, принимаемая наукою, не имеет ничего общего с тою пошлою положительностью, которая господствует в сухих людях и которая противоположна идеальным, но здоровым стремлениям. Мы видели, что современное мирозерцание считает науку и искусство такими же насущными потребностями человека, как пищу и дыхание. Точно так же оно благоприятно всем другим высшим стремлениям человека, которые имеют основание в голове или сердце человека. Голова и сердце так же необходимы для истинно человеческой жизни, как желудок. Если голова не может жить без желудка, то и желудок умрет с голоду, когда голова не будет приискивать ему питания. Этого мало. Человек — не улитка, он не может жить исключительно только для наполнения желудка. Жизнь умственная и нравственная

(развивающаяся надлежащим образом тогда, когда здоров организм, т. е. материальная сторона человеческой жизни идет удовлетворительно) — вот истинно приличная человеку и наиболее привлекательная для него жизнь. Современная наука не разрывает человека по частям, не искажает его прекрасного организма хирургическими ампутациями, признает равно нелепыми и пагубными устарелые стремления ограничивать человеческую жизнь одною головою или одним желудком. Оба эти органа равно необходимо принадлежат человеку, и равно существенна для человека жизнь и того и другого органа. Потому-то благородные стремления ко всему высокому и прекрасному признает наука в человеке столь же существенными, как потребность есть и пить. Она так же любит, — потому что наука не отвлеченна и не холодна: она любит и негодует, преследует и покровительствует, — она так же любит благородных людей, которые заботятся о нравственных потребностях человека или скорбят, видя, как часто они не удовлетворяются, как любит и тех людей, которые заботятся о материальных потребностях своих собратий.

Мы изложили мысли, высказанные автором, выставляя на вид и поправляя замеченные нами ошибки его. Теперь остается нам произнести свое мнение о его книге. Мы должны сказать, что автор обнаруживает некоторую способность понимать эти общие начала и некоторое умение прилагать их к данным вопросам; у него также заметна способность различать в данных понятиях элементы, согласные с общими воззрениями современной науки, и другие элементы, несогласные с ними. Потому его теория имеет внутреннее единство характера. До какой степени она справедлива, это решит время. Но, охотно признавая, что мысли, изложенные автором, заслуживают внимания, мы с тем вместе должны сказать, что ему почти всегда принадлежит только изложение и применение этих мыслей, которые уже даны ему наукою. Перейдем же к оценке его изложения. Многочисленные ошибки и опущения, нами замеченные, доказывают, что г. Чернышевский писал свое исследование в то время, когда в нем самом еще совершался процесс развития выводимых им мыслей, когда они еще не достигли полной, всесторонней, установившейся систематичности. Если б он повременил издавать свое сочинение, оно могло бы иметь более научного достоинства, если не в сущности, то по крайней мере в изложении. Он сам, кажется, чувствовал это, говоря: «Если эстетические понятия, выводимые мною из господ-

ствующих ныне воззрений на отношения человеческой мысли к живой действительности, еще остались в моем изложении неполны, односторонни или шатки, то это, я надеюсь, недостатки не самых понятий, а только моего изложения» (стр. 8). Надобно сказать что-нибудь и о форме сочинения. Мы ею решительно недовольны, потому что она кажется нам не соответствующею цели автора — возбудить внимание к мыслям, на которых он старается построить теорию искусства. Достичь этой цели он мог, придав своим общим мыслям живой интерес приложением их к текущим вопросам нашей литературы. Он мог показать многочисленными примерами живую связь общих начал науки с интересами дня, которые занимают столь многих.

1855 г.

ЭСТЕТИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ ИСКУССТВА К ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ

(ПРЕДИСЛОВИЕ К ТРЕТЬЕМУ ИЗДАНИЮ)

В сороковых годах большинство образованных людей в России живо интересовалось немецкой философией; лучшие наши публицисты передавали русской публике, насколько то было возможно, идеи, господствовавшие тогда в ней. Это были идеи Гегеля и его учеников.

Теперь в самой Германии остается мало последователей Гегеля; тем меньше остается их у нас¹. Но в конце сороковых и в начале пятидесятых годов его философия властвовала в нашей литературе. Почти все люди просвещенного образа мыслей сочувствовали ей, насколько знали ее из неполных изложений ее нашими публицистами. Немногие, имевшие привычку читать философские книги на немецком языке, были в своих кружках разъяснителями того, что не досказывалось в печатных русских изложениях ее; этих комментаторов слушали жадно, они пользовались глубоким уважением своих любознательных знакомых. При жизни Гегеля единство образа мыслей поддерживалось между его учениками личным его авторитетом. Но уже и при нем появлялись в немецкой философской литературе исследования, в которых излагались выводы из основных его идей, или умалчиваемые, или в случае крайней надобности даже порицаемые им. Важнейшим из таких исследований было анонимное сочинение «Мысли о смерти и бессмертии» («Gedanken über Tod und Unsterblichkeit») ². Оно было напечатано в 1830 году, за год до смерти Гегеля. Когда умер авторитетный учитель, одинаковость мыслей у массы его последователей стала ослабевать, и в 1835 году, по поводу издания трактата Штрауса «Жизнь Иисуса» («Das Leben Jesu»), школа Гегеля распалась на три отдела ³: некоторые остались верны системе осторожного либерализма своего учителя; важнейшими из них были Мишелет и Розенкранц; они образовали отдел, который получил название центра; довольно

многие стали открыто высказывать мнения решительно прогрессивные; сильнейшим представителем этого направления был Штраус; он и шедшие вместе с ним философы образовали левую сторону гегелевской школы; очень многие ученики Гегеля были шокированы резкостью их мнений, в особенности выводами экзегетики Штрауса, и в полемике с левой стороной отбросили все те прогрессивные элементы, которые были соединены с консервативными в системе Гегеля; эта многочисленная группа составила правую сторону. Центральная партия старалась смягчить полемику правой стороны с левою, но это оказалось невозможным; они, идя каждая своим направлением, отходили все дальше и дальше одна от другой, и перед тем временем, когда политические события 1848 года дали массе немецкой публики интересы, перед которыми утратили важность философские споры, разрыв между левой и правой сторонами гегельянцев произвел тот результат, что большинство философов правой стороны уже держалось только терминологии Гегеля, излагая посредством ее идеи XVIII века, а большинство мыслителей левой стороны влагало в рамки гегелевской диалектики содержание, более или менее сходное с так называемой философией энциклопедистов⁴.

Автор «Мыслей о смерти и бессмертии», Людвиг Фейербах, занимался несколько лет трудами по истории новой философии. Вероятно, они содействовали тому, что понятия его приобрели широту, далеко переходившую обычный круг идей немецкой философии, развившейся после Канта. Левая сторона гегелевской школы считала его своим. Он сохранял часть гегелевской терминологии. Но в 1845 году, в предисловии к Собранию своих сочинений, он уже говорил, что философия отжила свой век, что ее место должно быть занято естествознанием. Делая обзор тех фазисов развития, которые проходила его мысль, и показывая при каждом из них, почему она не остановилась на нем, признала его устаревшим и перешла к следующему, он, по изложению основных идей последних своих трудов, говорит: «Но и эта точка зрения не устарела ли?» и отвечает: «К сожалению, да, да!» *Leider, leider!* Это заявление, что он считает устаревшими и такие свои труды, как «Сущность религии» («*Das Wesen der Religion*»)⁵, основывалось на надежде, что скоро явятся натуралисты, способные заменить философов в деле разъяснения тех широких вопросов, исследование которых было до той поры

специальным занятием мыслителей, называвшихся филосо­фами.

Оправдалась ли надежда Фейербаха хотя теперь, боль­ше чем через 40 лет после того, как была высказана? — вопрос, которого я не буду разбирать. Мой ответ на него был бы грустный.

Автор брошюры, к третьему изданию которой пишу я предисловие, получил возможность пользоваться хоро­шими библиотеками и употреблять несколько денег на покупку книг в 1846 году. До того времени он читал только такие книги, какие можно доставать в провинциальных городках, где нет порядочных библиотек. Он был знаком с русскими изложениями системы Гегеля, очень непол­ными. Когда явилась у него возможность ознакомиться с Гегелем в подлиннике, он стал читать эти трактаты. В подлиннике Гегель понравился ему гораздо меньше, нежели ожидал он по русским изложениям. Причина со­стояла в том, что русские последователи Гегеля излагали его систему в духе левой стороны гегелевской школы. В подлиннике Гегель оказывался более похож на филосо­фов XVII века и даже на схоластиков, чем на того Гегеля, каким являлся он в русских изложениях его системы. Чтение было утомительно по своей явной бесполезности для сформирования научного образа мыслей. В это время случайным образом попало желавшему сформировать себе такой образ мыслей юноше одно из главных сочине­ний Фейербаха. Он стал последователем этого мыслителя; и до того времени, когда житейские надобности отвлекли его от ученых занятий, он усердно перечитывал и перечи­тывал сочинения Фейербаха.

Лет через шесть после начала его знакомства с Фейер­бахом представилась ему житейская надобность написать ученый трактат⁶. Ему казалось, что он может применять основные идеи Фейербаха к разрешению некоторых во­просов по отраслям знаний, не входившим в круг иссле­дований его учителя.

Предметом трактата, который нужно было ему напи­сать, должно было быть что-нибудь относящееся к лите­ратуре. Он вздумал удовлетворить этому условию изло­жением тех понятий об искусстве, и в частности о поэзии, которые казались ему выводами из идей Фейербаха. Таким образом, брошюра, предисловие к которой пишу я,— по­пытка применить идеи Фейербаха к разрешению основных вопросов эстетики.

Автор не имел ни малейших притязаний сказать что-нибудь новое, принадлежащее лично ему. Он желал только быть истолкователем идей Фейербаха в применении к эстетике.

Странную несообразность с этим представляет то обстоятельство, что во всем его трактате ни разу не упоминается имя Фейербаха. Дело объясняется тем, что это имя было тогда невозможно употреблять в русской книге. У автора нет и имени Гегеля, хотя он постоянно полемизирует против эстетической теории Гегеля, продолжавшей господствовать тогда в русской литературе, но излагаемой уже без упоминаний о Гегеле. Это имя тоже было неудобно тогда для употребления на русском языке.

Из трактатов по эстетике лучшим считался тогда обширный и очень ученый труд Фишера «Эстетика, или наука прекрасного» («Aesthetik, oder Wissenschaft der Schönen»). Фишер был гегельянец левой стороны, но имя его не принадлежало к числу неудобных, потому автор называет его, когда имеет необходимость сказать, против кого же полемизирует он; и когда надобно приводить подлинные слова какого-нибудь защитника опровергаемых автором эстетических понятий, он делает выписки из «Эстетики» Фишера. «Эстетика» самого Гегеля в то время была устарелой по фактическим подробностям; в этом состояла причина предпочтения, которое отдавалось тогда «Эстетике» Фишера, труду в то время еще новому, свежему. Фишер — мыслитель довольно сильный, но сравнительно с Гегелем он пигмей. Все его отступления от основных идей «Эстетики» Гегеля — порча их. Впрочем, те места, которые приводит автор, излагают идеи Гегеля без всяких перемен.

Прилагая основные идеи Фейербаха к разрешению эстетических вопросов, автор приходит к системе понятий, находящихся в совершенном противоречии с эстетической теорией, которой держится Фишер, гегельянец левой стороны. Это соответствует отношению философии Фейербаха к философии Гегеля даже в том ее виде, какой получила она у мыслителей левой стороны школы Гегеля. Она нечто совершенно иное, чем метафизические системы, самой лучшей из которых в научном отношении была гегелевская. Родство содержания исчезло, осталось только употребление некоторых терминов, общих всем немецким системам философии с Канта до Гегеля. Мыслители левой стороны школы Гегеля видели у Фейербаха, по достижении им самостоятельности, такие желания относительно

общественного быта, которые были и у них самих, как и у огромного большинства просвещенных людей того времени; поэтому они считали его своим. До 1848 года не была замечается ими коренная разница его образа мыслей от их понятий. Она обнаружилась различием взгляда на события весны 1848 года в Германии. Переворот, происшедший в конце февраля во Франции, ободрил партию реформы в Германии: ей показалось, что масса немецкого народа сочувствует ее стремлениям, и в первых числах марта она при одобрении массы горожан захватила власть в Бадене, Вюртемберге, в мелких государствах Западной Германии; несколькими днями позднее произошел переворот в Австрии: Венгрия получила независимость от венского правительства. Через неделю после переворота в Вене произошел переворот в Берлине. Партия реформы получила уверенность, что не только правительства второстепенных и мелких немецких государств, сформированные из ее местных вождей, будут помогать исполнению ее желаний, но и австрийское и прусское правительства, составленные теперь из людей более или менее либерального образа мыслей и патриотического направления чувств, или будут помогать ей, или, по крайней мере, повиноваться ее требованиям. В конце марта собрался во Франкфурте, столице преемник немецкой империи, многочисленный съезд представителей либеральной партии. Они объявили свое собрание (форпарламент, предварительный парламент) имеющим власть и обязанность сделать распоряжения о созвании немецкого парламента («национального собрания»), контролировать действия заседавшего во Франкфурте немецкого сейма, состоявшего по старому устройству из уполномоченных от немецких правительств, и принимать меры, необходимые для того, чтобы все немецкие правительства, в том числе и прусское и австрийское, повиновались этому сейму, постановляющему решения, диктуемые форпарламентом. Действительно, все правительства повиновались, даже и прусское и австрийское повиновались форпарламенту и немецкому сейму, над которым владычествовал он. По всей территории учрежденной в 1815 году федерации государств, называвшейся Немецким союзом, были произведены выборы депутатов в немецкий парламент, который соберется во Франкфурте и установит новое государственное устройство Германии, обратит ее из федерации государств, Staatenbund, в «федеративное государство», Bundesstaat. Национальное собрание (как назывался этот немецкий парламент) открыло

18 мая свои заседания во Франкфурте; все правительства признали его власть. Оно 14 июня выбрало временным правителем Германии эрцгерцога Иоанна, дядю австрийского императора, передавшего ему временное управление Австрией. Он привел в порядок австрийские дела, приехал во Франкфурт и 12 июля принял на себя управление Немецким союзом. Не только австрийское, но и прусское правительство признало его власть. Немецкое национальное собрание занималось составлением конституции немецкого союзного государства. По-видимому, исполнялись надежды немецкой партии реформ.

Вся левая сторона гегелевской школы деятельно участвовала в событиях, имевших своим результатом созвание немецкого национального собрания, повиновение немецких правительств ему, учреждение временного центрального правительства и повиновение всех частных немецких правительств ему.

Фейербах не принял никакого участия ни в агитации, которая привела к этим успехам, ни в совещаниях немецкого национального собрания. Этим он навлек на себя порицания. Когда дело кончилось падением всех надежд партии реформ, он сказал, что с самого начала предвидел полную неудачу, потому и не мог участвовать в деле, которое считал с самого начала не имеющим никаких шансов успеха. Программа партии реформ была, по его мнению, непоследовательна, силы партии реформ были недостаточны для преобразования Германии, надежды ее на успех фантастичны. Когда он высказал это мнение, оно уже казалось справедливым огромному большинству просвещенных людей в Германии. Если б он стал оправдываться раньше, то к несправедливому порицанию прибавилось бы справедливое, что заявлением своего мнения он ослабил партию реформ. Потому он молча выносил упрек в недостатке смелости, в холодности к благу нации. Теперь дело партии реформ было окончательно проиграно, и оправданием своего образа действий он уже не мог поведать ей.

Различие его взгляда на политические события весны 1848 года от взгляда левой стороны гегелевской школы соответствовало различию его системы философских убеждений от тех мыслей, которых держалась она. Философский образ мыслей учеников Гегеля, составивших по его смерти левую сторону гегельянства, был недостаточно последователен, сохранял слишком много фантастических понятий, или принадлежавших специально системе Геге-

ля, или общих ей со всеми метафизическими системами немецкой философии, начиная с Канта, который, восставая против метафизики, сам погружался в нее глубже предшествовавших ему и опровергаемых им немецких философов школы Вольфа. Вместе с тем философы левой стороны гегелевской школы были недостаточно разборчивы в усвоении себе тех взглядов специалистов по естествознанию и по общественным наукам, которые казались прогрессивными; вместе с научной истиной они брали из этих специальных трактатов много ошибочных теорий. Эти слабые стороны образа мыслей философов левой стороны гегелянства с наибольшей резкостью проявляются в трудах Бруно Бауэра, того из ее деятелей, который был умом сильнее всех других, кроме Штрауса. Он несколько раз переходил от одной крайности к другой и, например, начав осуждением экзегетической критики Штрауса за ее разрушительность, сам через несколько времени написал экзегетический трактат⁷, сравнительно с которым экзегетика Штрауса оказывалась консервативной (теорию мифа, которой держался Штраус, Бруно Бауэр заменил теорией личного авторского произвола); потому его труды, свидетельствующие об очень большой силе ума, не приобрели такого влияния на мысли рассудительных людей, как труды Штрауса, всегда остававшегося человеком рассудительным.

Постоянно работая над улучшением своих понятий, Штраус привел их, наконец, в систему, которую изложил в трактате «Старая вера и новая вера» («Der alte und der neue Glaube»). Эта книга вышла в 1872 году. По-видимому, Штраус предполагал тогда, что совершенно очистил свои понятия от метафизических элементов. Так показалось и большинству образованных людей в Германии. На самом деле, он, принимая все выводы естествознания, сохраняет в своих мыслях довольно много метафизических элементов; а теории натуралистов принимает слишком неразборчиво, не имея силы различить в них недоразумения от научной истины.

Фейербах был не таков; его система имеет чисто научный характер.

Но вскоре после того, как он выработал ее, болезнь ослабила его деятельность. Он был еще не старик, но уже чувствовал, что у него не останется времени изложить сообразно с основными научными идеями те специальные науки, которые оставались тогда и остаются до сих пор ученой собственностью так называемых философов, по

неподготовленности специалистов к разработке широких понятий, на которых основывается решение коренных вопросов этих отраслей знания. (Если называть эти науки старыми их именами, то главные из них: логика, эстетика, нравственная философия, общественная философия, философия истории.) Потому-то в предисловии к собранию своих сочинений в 1845 году он уж говорил, что его труды должны быть заменены другими, но что у него уже нет сил произвести эту замену. Этим чувством объясняется его печальный ответ на вопрос, который он предлагает себе: «Не устарела ль и нынешняя твоя точка зрения? К сожалению, да, да!» *Leider, leider!* Действительно ль устарела она? Разумеется да, в том смысле, что центр исследований о наиболее широких вопросах науки должен быть перенесен из области специальных исследований о теоретических убеждениях народных масс и об ученых системах, построенных на основании этих простонародных понятий, в область естествознания. Но этого не сделано до сих пор. Те натуралисты, которые воображают себя строителями всеобъемлющих теорий, на самом деле остаются учениками, и обыкновенно слабыми учениками, старинных мыслителей, создавших метафизические системы, и обыкновенно мыслителей, системы которых уже были разрушены отчасти Шеллингом и окончательно Гегелем. Достаточно напомнить, что большинство натуралистов, пытающихся строить широкие теории законов деятельности человеческой мысли, повторяют метафизическую теорию Канта о субъективности нашего знания, толкуют со слов Канта, что формы нашего чувственного восприятия не имеют сходства с формами действительного существования предметов, что поэтому предметы, действительно существующие, и действительные качества их, действительные отношения их между собою не познаваемы для нас, и если бы были познаваемы, то не могли бы быть предметом нашего мышления, влагающего весь материал знаний в формы, совершенно различные от форм действительного существования, что и самые законы мышления имеют лишь субъективное значение, что в действительности нет ничего такого, что представляется нам связью причины с действием, потому что нет ни предыдущего, ни последующего, нет ни целого, ни частей, и так далее, и так далее⁸. Когда натуралисты перестанут говорить этот и тому подобный метафизический вздор, они сделаются способны выработать и, вероятно, выработают, на основании естествознания, систему понятий более точных и полных, чем те,

которые изложены Фейербахом⁹. А пока лучшим изложением научных понятий о так называемых основных вопросах человеческой любознательности остается то, которое сделано Фейербахом.

Автор брошюры, выходящей теперь новым изданием, высказывал в ней, насколько мог, что придает важность только тем мыслям, которые взял из трактатов своего учителя, — что эти страницы его брошюры составляют все достоинство, какое может быть найдено в ней; те выводы, какие он делал из мыслей Фейербаха для разрешения специальных эстетических вопросов, казались ему в то время правильными; но он и тогда не считал их особенно важными. Он был доволен своим небольшим трудом только в том отношении, что ему удалось передать на русском языке некоторые из идей Фейербаха в тех формах, какие представляла тогда для подобных работ необходимость сообразоваться с условиями русской литературы.

Сделав анализ понятия о прекрасном, автор говорит, что определение этого понятия, кажущееся ему справедливым, составляет, по его мнению, «вывод из таких общих воззрений на отношения действительного мира к воображаемому, которые совершенно различны от господствовавших прежде в науке». Это надобно понимать так: он делает вывод из той мысли Фейербаха, что воображаемый мир только переделка наших знаний о действительном мире, производимая нашей фантазией в угождение нашим желаниям; что эта переделка бледна по интенсивности и скудна содержанием сравнительно с впечатлениями, производимыми на наши мысли предметами действительного мира.

Вообще автору принадлежат только те частные мысли, которые относятся к специальным вопросам эстетики. Все мысли более широкого объема в его брошюре принадлежат Фейербаху. Он передавал их верно и, насколько допускало состояние русской литературы, близко к изложению их у Фейербаха.

Пересматривая его брошюру, мы сделали несколько поправок в тексте. Они относятся исключительно к мелочам. Мы не хотели переделывать перепечатаваемую нами брошюру. В старости не годится переделывать то, что написано в молодости.

1888 г.

О ПОЭЗИИ

СОЧИНЕНИЕ АРИСТОТЕЛЯ. ПЕРЕВЕД, ИЗЛОЖИЛ И ОБЪЯСНИЛ
Б. ОРДЫНСКИЙ. МОСКВА. 1854

Г. Ордынский заслуживает полного одобрения и благодарности за то, что предметом своего рассуждения избрал «Пиитику» Аристотеля: это первый и капитальнейший трактат об эстетике, служивший основанием всех эстетических понятий до самого конца прошедшего века¹. Но точно ли его выбор удачен? Ныне довольно много найдется людей, не считающих эстетики наукою, заслуживающею особенного внимания, готовых даже сказать, что эстетика ни к чему не ведет и ни на что не нужна и что пустоту ее мешает видеть разве только темнота ее. Но, с другой стороны, едва ли из этих многих найдется хоть один, который бы не говорил с улыбкою сострадания о Лагарпе, что «у этого действительно умного и ученого историка литературы нет никаких прочных и определенных оснований для оценки писателей», и который бы не примолвил с сожалением о Мерзлякове, что «этот критик, действительно замечательный по тонкости вкуса, к несчастью, был только «русским Лагарпом» и потому наделал русской критике, может быть, больше вреда, нежели пользы». Такие отзывы, от которых не откажется, вероятно, ни один из современных недоброжелателей эстетики, почти избавляют нас от надобности защищать необходимость этой науки от людей, столь сильно к ней нерасположенных и, однакож, не сомневающихся в необходимости «ясных и твердых общих начал» для критика или историка литературы. Что ж такое и понимается под эстетикою, если не система общих принципов искусства вообще и поэзии в особенности? Мы очень хорошо понимаем, что эстетика заслуживала сильнейших преследований в те времена, когда из-за нее позабывали об истории литературы, на двадцати пяти листах толкуя об «отличных», «очень хороших», «посредственных» и «плохих» строфах какой-нибудь оды, а кончив эту сортировку, опять на

стольких же листах разбирали «сильные» или «неправильные» выражения в этих «отличных», «посредственных» и т. д. строфах. Но когда ж было у нас это время, еще и доселе, к несомненному удовольствию французов, презирающих всякую эстетику, продолжающееся во французской литературе? Оно у нас прекратилось с 1830-х годов, с той поры, как начали мы знакомиться с эстетикой². Ей обязаны мы тем, что в самой плохой русской книге не прочитаем, например, следующего суждения о «великих заслугах Боссюэта», взятого нами из очень порядочной «Истории французской литературы» г. Демажэ (Paris, 1852!!): «Боссюэт один образует отдельный мир в великом литературном мире XVII века. Другие писатели — дети Рима; он переносит на Запад Восток *невероятно смелыми и новыми сочетаниями слов, гигантскими фигурами* (par des alliances de mots d'une hardiesse et d'une nouveauté incroyables, par des figures gigantesques), которых не внушил бы ему европейский вкус, но которые он умеет покорять законам пропорции, внося меру в самую неизмеримость. Таков плод его постоянного занятия» и т. д. Это гениальное по ограниченности своей место так понравилось г-ну Демажэ, что он занял его у другого писателя, очень дельного историка, Анри Мартэна: вероятно, г. Демажэ считает рассуждения о тропях и фигурах, которыми украшены его сочинения!

Будем же благодарны эстетике за то, что она избавила нас от труда читать и писать подобные суждения о Державине и Карамзине. Повторяем: мы понимали бы вражду против эстетики, если б она сама была враждебна истории литературы; но, напротив, у нас всегда провозглашалась необходимость истории литературы; и люди, особенно занимавшиеся эстетическою критикою, очень много — больше, нежели кто-нибудь из наших нынешних писателей, — сделали и для истории литературы³. У нас эстетика всегда признавала, что должна основываться на точном изучении фактов, и упреки в отвлеченной неосновательности содержания могут идти к ней так же мало, как, напр., к русской грамматике. Если же прежде она не заслуживала вражды со стороны приверженцев исторического исследования литературы, то еще менее может заслуживать ее теперь, когда всякая теоретическая наука основывается на возможно полном и точном исследовании фактов. Но мы готовы предполагать, что у нас многие ошибаются еще относительно современных понятий о том,

что такое теория и что такое философия. У нас еще многие думают, что у современных мыслителей господствуют трансцендентальные идеи об «априорическом знании», «развитии науки самой из себя», *ohne Voraussetzung*⁴ и т. п.; смеем их уверить, что, по мнению современных мыслителей, эти понятия были очень хороши и, главное, необходимо нужны, как переходная ступень, в свое время, назад тому 40, 30 или, пожалуй, даже 20 лет, но не теперь: теперь они устарели, признаны односторонними и недостаточными. Смеем уверить, что истинно-современные мыслители понимают «теорию» точно так же, как понимает ее Бэкон, а вслед за ним астрономы, химики, физики, врачи и другие адепты положительной науки. Правда, по этим новым понятиям не написано еще, сколько нам известно, формального «курса эстетики»; но понятия, которые будут лежать в его основании, уж достаточно обозначились и развились в отдельных маленьких статьях и эпизодах больших сочинений⁵. Смеем даже утверждать, что и прежние, ныне устарелые курсы так называемой трансцендентальной эстетики основывают свои положения на гораздо большем числе фактов, нежели думают их противники. Вспомните, что в главнейшем из этих курсов, составляющем всего *три* тома, историческая часть занимает почти *два*, и большая половина третьего наполнена также историческими подробностями⁶. Но мы не хотим предполагать, чтоб противники эстетики в частности или теорий вообще нуждались в этих напоминаниях; не желая представлять их людьми, отсталыми от современного движения мысли, мы скорее предположим другую, чрезвычайно лестную причину нерасположения к эстетике: неприятели ее видят в ней теорию отвлеченную и бесплодную и преследуют ее из сильной приверженности к знаниям «живым», имеющим какое-нибудь серьезное значение для так называемых жизненных вопросов. С этой точки зрения, как увидим ниже, Платон нападал не на эстетику (это было бы еще не так важно, да притом эстетики в платоновом время и не существовало, кроме той, отрывки которой рассеяны в его же собственных сочинениях⁷), — нет, он нападал на самое искусство, и мы только сожалеем, что искусство заслуживало до некоторой степени его нападений, но не можем не сочувствовать и Платону. Если же поэзия, литература, искусство признаются предметом такой важности, что история, например, литературы должна быть предметом всеобщего внимания и изучения, то и общие вопросы о сущности, значении,

влиянии поэзии, литературы, искусства должны иметь огромный интерес, потому что от разрешения их зависит взгляд наш на предмет; а именно для того, чтоб образовался ясный и правильный взгляд, нужны факты. Зачем же и знать их, если не для того, чтоб делать из них выводы? Словом: нам кажется, что весь спор против эстетики основывается на недоразумении, на ошибочности понятий о том, что такое эстетика и что такое всякая теоретическая наука вообще. История искусства служит основанием теории искусства, потом теория искусства помогает более совершенной, более полной обработке истории его; лучшая обработка истории послужит дальнейшему совершенствованию теории, и так далее, до бесконечности будет продолжаться это взаимодействие на обоюдную пользу истории и теории, пока люди будут изучать факты и делать из них выводы, а не обратятся в ходячие хронологические таблицы и библиографические реестры, лишенные потребности мыслить и способности соображать. Без истории предмета нет теории предмета; но и без теории предмета нет даже мысли о его истории, потому что нет понятия о предмете, его значении и границах. Это так же просто, как то, что дважды два — четыре, а единица есть единица; но мы знаем людей, доказывающих, посредством ньютонова бинома, что единица равняется двум...

Впрочем, у нас многое еще имеет интерес новости, многое, кроме нескольких обыкновенно ничтожных книжечек на различных языках, а чаще всего на французском, вроде творений какого-нибудь Мишеля Шевалье и ему подобных «великих ученых», «глубокомысленных и вместе ясных мыслителей», да еще последних номеров *Revue des deux Mondes*⁸, с его великими мудрецами. Эти книги не составляют ни тайны, ни новости ни для кого: зато они служат кодексом для некоторых мыслителей, предметом их глубоких размышлений. По всей вероятности, в них-то и заключается причина отвращения многих от эстетики: эти книги и статьи натолковали нам, в числе многих истин, и ту, что эстетика наука темная, мертвая, отвлеченная, ни к чему не приложимая.

Эстетика наука мертвая! Мы не говорим, чтоб не было наук живей ее; но хорошо было бы, если б мы думали об этих науках. Нет, мы превозносим другие науки, представляющие гораздо менее живого интереса. Эстетика наука бесплодная! В ответ на это спросим: помним ли мы еще о Лессинге, Гёте и Шиллере, или уж они потеряли право на наше воспоминание с тех пор, как мы познако-

мились с Теккереем? Признаем ли мы достоинство немецкой поэзии второй половины прошедшего века?..

Но, может быть, некоторые восстают не против самой пользы и необходимости теоретических выводов, а против стеснения их в узкие рамки системы? Прекрасное побуждение к вражде, если б только оно имело какое-нибудь основание, если б кто-нибудь из современных людей смотрел на чью бы то ни было систему какой бы то ни было науки, как на вечное вместилище всей истины. Но теперь почти все (и составители систем обыкновенно искреннее всех) говорят, что всякая система порождается и разрушается, или, лучше сказать, изменяется вместе с понятиями времени, ее произведшего; теперь никто не принуждает вас «*jugare in verba magistri*»⁹: система — только временный переплет для науки; и если вы действительно выросли выше понятий системы, не отвергать науку будете вы, а создадите новую систему ее — и все будут вам благодарны. Систематичность науки не представляет препятствий к ее развитию. Учите нас, и чем больше нового будет в вашей новой системе, тем больше будет вам славы. А не приведенными в одно стройное целое истинами неудобно пользоваться: кто составил систему науки, тот один сделал науку общедоступною, и его понятия разольются в массу, хотя бы у других были понятия гораздо глубже, нежели у него; что не формулировано, то остается бездейственным.

И лучший пример того, какое важное условие для плодотворности мыслей система, представляет нам «Питика», или, как называет ее г. Ордынский, «Сочинение Аристотеля о поэзии». Аристотель первый изложил в самостоятельной системе эстетические понятия, и его понятия господствовали с лишком 2000 лет; а у Платона больше, нежели у него, найдется истинно великих мыслей об искусстве; может быть даже его теория не только глубже, но и полнее аристотелевой, но она не облечена в систему и до новейшего времени не обращала на себя почти никакого внимания.

Чтоб показать, какой интерес и в наши времена еще имеют эстетические понятия этих людей, живших до нас за 2200 лет, попробуем изложить в кратком очерке самые общие, самые отвлеченные вопросы их эстетики: «об источнике и значении искусства». Конечно, в современной теории решение этих вопросов представляет гораздо более живого и интересного, но... кто, по вашему мнению, выше: Пушкин или Гоголь? Я вчера слышал спор об этом, и на него готовы отвечать Платон и Аристотель. В самом деле,

решение зависит от понятия о сущности и значении искусства. Послушаем же мнения об этом предмете наших великих учителей в деле эстетического суда. Если сущность искусства действительно состоит, как нынче говорят, в идеализации; если цель его — «доставлять сладостное и возвышенное ощущение прекрасного», то в русской литературе нет поэта, равного автору «Полтавы», «Бориса Годунова», «Медного всадника», «Каменного гостя» и всех этих бесчисленных, благоуханных стихотворений; если же от искусства требуется еще нечто другое, тогда... но в чем же, кроме этого, может состоять сущность и значение искусства?

Итак, в чем состоит сущность искусства? Что именно делает живописец, изображая пейзаж или группу людей; поэт, изображая в лирическом стихотворении восторги или страдания любви, в романе или драме — людей с их страстями и характерами? «Он идеализирует природу и людей. Сущность искусства состоит в создании идеалов», отвечает господствующая ныне эстетическая теория: «в человеке есть предчувствие и потребность чего-то лучшего и полнейшего, нежели бледная и скудная действительность («проза жизни», по выражению дюжинных романистов), которой не удовлетворяется его бессмертный дух. Это лучшее и полнейшее (идеал) живо постигается художником и передается жаждущему человечеству в созданиях искусства». Прежняя теория искусства говорила не так*: «искусство — больше ничего, как подражание тому, что мы видим в действительности; картины, статуи, романы, драмы — больше ничего, как копии с подлинников, представляемых художнику действительностью». Эта теория, над которой ныне смеются, потому что знают ее только в искаженной переделке Буало и Баттё, действительно достойной осмеяния, известна под названием аристотелевой. В самом деле, Аристотель признавал ее справедливой: в тех отделениях его трактата «О поэтическом искусстве», в которых находятся общие соображения о происхождении и сущности искусства вообще и поэзии в частности, основная мысль действительно та, что «искусство есть подражание»¹¹. Но совершенно несправедливо было бы считать Аристотеля творцом «теории

* Считаем почти за излишнее замечать, как очевидное для каждого знакомого с предметом, что почти исключительно мы пользовались при этом изложении греческих эстетических понятий прекрасным сочинением Э. Мюллера «Geschichte der Theorie der Kunst bei den Alten». 2. Bde. Breslau, 1834—1837¹⁰.

подражания»: она, по всей вероятности, господствовала еще задолго до Сократа и Платона, а развита у Платона гораздо глубже и многостороннее, нежели у Аристотеля. Полагая основанием своих понятий об искусстве мысль, что она «состоит в подражании», Платон не ограничивается теми довольно недалекими приложениями коренного принципа, какими довольствуется Аристотель. Поэзия есть подражание, говорит Аристотель¹²; следовательно, трагедия есть подражание действиям великих людей, комедия — подражание действиям низких людей; других выводов не найдем у него. Платон, напротив, извлекает из своего понятия об искусстве живые, блестящие, глубоко-мысленные заключения; опираясь на свою аксиому, он определяет значение искусства в жизни человеческой, его отношения к другим направлениям деятельности; вооружаясь ею, Платон уличает искусство в бедности, слабости, бесполезности, ничтожестве. Его сарказмы жестоки и метки, может быть, односторонни, особенно для нашего времени, но во многом справедливы и благородны при всей своей односторонности. Но, чтоб объяснить презрение Платона к искусству, надобно сказать несколько слов о существенном направлении его учения.

Платона многие считают каким-то греческим романтиком, вздыхающим о неведомом и туманном, чудном и прекрасном крае, стремящимся «туда, туда» (*dahin, dahin*)¹³, неизвестно куда, только далеко, далеко от людей и земли... Платон был вовсе не таков. Действительно, он был одарен возвышенною душою и все благородное и великое увлекало его до энтузиазма; но он не был праздным мечтателем, думал не о звездных мирах, а о земле, не о призраках, а о человеке. И прежде всего Платон думал о том, что человек должен быть гражданином государства, не мечтать о ненужных для государства вещах, а *жить* благородно и деятельно, содействуя материальному и нравственному благосостоянию своих сограждан. Благородная, но не мечтательная, не умозрительная (как для Аристотеля), а деятельная, практическая жизнь была для него идеалом человеческой жизни. Не с ученой или артистической, а с общественной и нравственной точки смотрел он на науку и на искусство, как и на все. Не человек живет для того, чтоб быть артистом или ученым (как думали многие великие философы, между прочим, Аристотель), а наука и искусство должны служить для

блага человека. После этого понятно, как Платон должен был смотреть на искусство, которое, большею частью, служит (должно ли служить, это — другой вопрос), а во время Платона почти исключительно служило прекрасною, с тем вместе, чрезвычайно дорогою и, может быть, очень благородною забавою, но все-таки забавою для людей, которым нечего делать, кроме того, как любоваться на более или менее сладострастные картины и статуи да упиваться мелодиею более или менее сладострастных стихов. «Искусство — забава»: этим решено для Платона всё. А что он не клеветал на искусство, признавая его забавою, лучше всего свидетельствует нам один из серьезных поэтов, Шиллер, конечно, не враждебными глазами смотревший на свое искусство: Кант, по его мнению, совершенно справедливо называет искусство *игрою* (или забавою, *das Spiel*), потому что «только играя, человек вполне человек»*. Представим же теперь мнения Платона о значении искусства, выпуская, однако, слишком жесткие из его нападения.

Искусства, говорит Платон, бывают двух родов: производительные и подражательные (по нашей терминологии: практические или технические и изящные). Первые производят что-нибудь нужное для жизни, годное для употребления. Сюда принадлежат, например, земледелие, ремесла, гимнастика, дающая человеку силы, и медицина, дающая ему здоровье. Им полное уважение. Им какое сравнение могут выдержать с ними подражательные искусства (впредь мы, сообразно нынешней терминологии, будем называть их изящными), которые не дают человеку ничего, кроме обманчивых, ни в какое употребление не годных копий с действительных предметов? Их значение ничтожно. К чему они служат? К приятному, но бесполезному препровождению времени. Это игра, пустая в глазах серьезного человека. Но иные игры (напр., гимнастические) имеют серьезную цель; изящные искусства ее не имеют¹⁵. Нет, они стараются только забавлять; они только хотят угодить толпе; они принадлежат к одному разряду занятий с риторикою (искусством подбирать красивые слова) и софистикою (искусством говорить не полезное, а приятное слушателям), с парикмахерским и поварским искусствами. И живопись, и музыка, и поэзия, даже возвышенная и превозносимая трагедия —

* «Об эстетич. воспитан. человека». Письмо 15 и след.¹⁴

искусства угодничества, лести, потому что стараются только об удовольствии, а не о пользе толпы (заметим, что подобным же образом смотрит на изящные искусства автор «Эмиля» и «Новой Элоизы»¹⁶; Кампе, знаменитый немецкий педагог, также говорит: «выпрямь фунт шерсти полезнее, нежели написать том стихов»). А между тем, как высоко ставят себя эти ничтожные искусства! Живописец, например, говорит, что создает и деревья, и людей, и землю, и море! да еще как скоро — в одну минуту! и потом продает вам и землю, и море за золотую монету. Правда, его создания не стоят и медной, потому что они пустые призраки, годные лишь на то, чтоб обманывать ребятишек. И эти фокусники еще не хотят признавать себя подражателями — нет, они говорят вам о творчестве! (Из этого видим, что идея, служащая основанием господствующей ныне эстетической теории, существовала уже и при Платоне: «искусство есть творчество».) И могут ли они дать что-нибудь, кроме плохой, неверной копии? Ведь художнику нет дела до внутреннего содержания: ему нужна только оболочка; он довольствуется поверхностным знанием поверхности предмета: ее копирует он; дальше ее ничего не знает (новейшая эстетика, согласно с этими художниками, или, скорее, с едкими сарказмами Платона, говорящего за них, признает, что «прекрасное, существенное содержание искусства — призрак, пустой призрак», ein Schein, ein reiner Schein, и что искусство имеет дело только с поверхностью, оболочкою предмета, die Oberfläche). Устройство человеческого тела известно врачу — живописец его не знает. Так и поэт не знает основательно жизни и сердца человеческого: это знание достигается только глубоким изучением философии (по нынешней терминологии, «только путем науки»), а не отрывочными наблюдениями собственной опытности, слишком неполной и поверхностной. И заслуживают ли даже имени искусства эти гордые изящные искусства? Нет! Чтоб моя деятельность достойна была имени искусства, мне необходимо иметь ясное сознание о том, что́ я делаю,— художник не имеет его. Столяр, делая стол, знает, что́, зачем и как он делает: живописец и поэт сами не знают истинной природы предметов, которым подражают. Их искусство не искусство, а слепая работа по темному инстинкту, наудачу; они называют это «вдохновением»; на самом деле с вдохновением соединяется у них невежество самоуч-

ки*. Изящные искусства — пустая игра, не заслуживающая имени искусства.

Полемика Платона против искусства чрезвычайно сурова, правда, но порождена высоким и благородным взглядом на человеческую деятельность. И легко было бы показать, что многие из строгих обличений платоновых продолжают быть справедливыми и в отношении к современному искусству. Но гораздо приятнее говорить за искусство, нежели против искусства, и потому, отказываясь от тяжелой обязанности указывать и в новейшем искусстве те слабые стороны, которые общи ему с греческим, мы постараемся только показать, какими ображениями могут быть в наше время смягчены некоторые из безусловных приговоров Платона о ничтожности значения изящных искусств.

Платон восстает против искусства за то, что оно бесполезно для человека. Не будем опровергать этого страшного упрека устарелую мыслью, что «искусство должно существовать для искусства», что «делать искусство служителем человеческих нужд, значит унижать его» и т. п. Мысль эта имела смысл тогда, когда надобно было доказывать, что поэт не должен писать великолепных од, не должен искажать действительности в угоду различным произвольным и приторным сентенциям. К сожалению, для этого она появилась уж слишком поздно, когда борьба была кончена; а теперь и подавно она ни к чему не нужна: искусство успело уж отстоять свою самостоятельность и должно думать о том, как ею пользоваться. «Искусство

* Для объяснения последних слов надобно заметить, что Платон нападает не на «вдохновение», а на то, что очень многие поэты (не говорим уж о других художниках), к величайшему вреду искусства полагаются на одни силы «творческого гения, инстинктом прозирающего в тайны природы и жизни», пренебрегают наукою, которая избавляет от пустоты и ребяческой отсталости содержания:

«Ich singe wie der Vogel singt»¹⁷

говорят они; зато их пение, подобно соловьиной песне, остается годным только для забавы от нечего делать, очень скоро надоедающей, как и слушание соловьиной песни. Прекрасное учение, что поэт пишет по вдохновению, чуджому всякой рассчитанности, и что произведения придумывающего, рассчитывающего поэта холодны, непозитивны, — господствовало в Греции со времен гениального Демокрита. У Аристотеля вдохновение стоит уже на втором плане: он *учит* писать трагедии, подбирать эффектные завязки и развязки по рецепту. Из этого даже видно, что Аристотель, как эстетик, принадлежит временам падения искусства: вместо живого духа, у него ученые правила, холодный формализм. От Горация и Буало, от всех последующих составителей «реторик» и «питик», отличается он только, как гениальный учитель от ограниченных учеников: различие здесь не в сущности понятий, а в степени ума, их развивающего.

для искусства» — мысль такая же странная в наше время, как «богатство для богатства», «наука для науки» и т. д. Все человеческие дела должны служить на пользу человеку, если хотят быть не пустым и праздным занятием: богатство существует для того, чтобы им пользовался человек, наука для того, чтобы быть руководительницей человека; искусство также должно служить на какую-нибудь существенную пользу, а не на бесплодное удовольствие. «Но именно эстетическое наслаждение само по себе приносит существенное благо человеку, смягчая его сердце, возвышая его душу...» Мы не хотим выводить серьезное значение искусства и из этой мысли — справедливой, но еще мало говорящей в пользу искусства. Конечно, наслаждение произведениями искусства, как и всякое (непреступное) удовольствие, производит в человеке светлое, радостное расположение духа; а радостный и довольный человек, конечно, добрее и лучше, нежели недовольный и мрачный. И мы согласны, что, выходя из картинной галереи или из театра, человек чувствует себя и добрее, и лучше (по крайней мере на полчаса, пока не разлетелось эстетическое довольство); но точно так же и из-за сытного обеда человек встает снисходительнее, добрее того, каков был с отощавшим желудком. Благодетельное влияние искусства, как искусства (независимо от такого или иного содержания его произведений), состоит почти исключительно в том, что искусство — вещь приятная; подобное же благодетельное качество принадлежит всем другим приятным занятиям, отношениям, предметам, от которых зависит «хорошее расположение духа». Здоровый человек гораздо менее эгоист, гораздо добрее, нежели больной, всегда более или менее раздражительный и недовольный, хорошая квартира также больше располагает человека к доброте, нежели сырая, мрачная, холодная; спокойный человек (т. е. находящийся не в неприятном положении) добрее, нежели раздосадованный, и т. д. И надобно сказать, что практические, житейские, серьезные условия довольства своим положением действуют на человека сильнее и постояннее, нежели приятные впечатления, доставляемые искусством. Для большинства людей оно — только развлечение, то есть довольно ничтожная вещь, не могущая принести серьезного довольства. И, взвесив хорошенько факты, мы убедимся, что многие самые не блестящие, обыденные развлечения больше вносят довольства и благорасположения в человеческое сердце, нежели искусство: если бы явился между нами Платон, веро-

ятно, сказал бы он, что, например, сиденье на завалине (у поселян) или вокруг самовара (у горожан) больше развило в нашем народе хорошего расположения духа и доброго расположения к людям, нежели все произведения живописи, начиная с лубочных картин до «Последнего дня Помпеи»¹⁸. Польза, приносимая искусством, как одним из источников довольства, развитию всего хорошего в человеке, несомненна, но ничтожна в сравнении с пользой, приносимой другими благоприятными отношениями и условиями жизни; потому и не хотим мы указывать на нее для того, чтоб показать высокое значение искусства в жизни. Правда, обыкновенно влияние искусства на нравственное развитие понимают не так, как мы его представили, и говорят, будто бы эстетическое наслаждение не просто, как источник хорошего расположения духа, смягчает сердце, а непосредственно возвышает и облагораживает душу по возвышенности и благородству предметов и чувств, которыми прельщаемся мы в произведениях искусства; обыкновенно говорят, что представляющееся нам «прекрасным» в искусстве есть уж по этому самому благородное и возвышенное. Но мы, решительно не желая касаться щекотливого вопроса о серьезном значении существенного содержания в большей части произведений искусства, не хотели даже выписывать грозных нападений Платона на искусство за его содержание; тем менее сами будем вдаваться в эти нападения. Напомним только, что искусство должно угождать требованиям публики, а большинство, смотрящее на него как на развлечение, конечно, требует от развлечения не возвышенности или благородства содержания, а грациозности, интересности, забавности, даже легкости. Один из серьезнейших и благороднейших поэтов нашего времени говорит в предисловии к своим песням: «Я хотел бы воспевать вовсе не любовь; но кто стал бы читать мои песни, если б их содержание было серьезно? Поэтому, написав несколько серьезных песен, которые один хотел бы я писать, я должен был потонить их во множестве любовных песенок для того, чтоб вместе с этими приманками публика поглотила и здоровую пищу»¹⁹. Таково почти всегда положение художника, имеющего серьезное и благородное направление (не хотим прибавлять, что не все из художников имеют его). Кому эти краткие намеки покажутся недостаточными, тот пусть потрудится припомнить, что главнейшее содержание поэзии (самого серьезного из искусств) — «любовь», т. е. влюбленность, очень далекая от истинной любви и очень

мало имеющая серьезного значения. Обыкновенная забота искусства — заинтересовать, завлечь, чем и как — все равно.

Но если, стремясь к этой цели, искусство почти всегда позабывает о других, важнейших целях, то надобно признать, что увлекает огромную массу оно очень удачно и этим самым, вовсе о том не думая, содействует распространению образованности, ясных понятий о вещах — всего, что приносит умственную, а потом принесет и материальную пользу людям. Искусство или, лучше сказать, поэзия (одна только поэзия, потому что другие искусства очень мало делают в этом отношении) распространяет в массе читателей огромное количество сведений и, что еще важнее, знакомство с понятиями, вырабатываемыми наукою, — вот в чем заключается великое значение поэзии для жизни.

В наше время странно уже — хотя, быть может, и вовсе еще неизлишне — пускаться в подробные объяснения того, что такое наука, в чем состоит и как велико ее значение для жизни. В науке хранятся плоды опытности и размышлений человеческого рода, и главнейшим образом на основании науки улучшаются понятия, а потом нравы и жизнь людей. Но открытия и соображения науки приносят действительную пользу только тогда, когда разливаются в массе публики. Наука сурова и незаманлива в своем настоящем виде; она не привлечет толпы. Наука требует от своих адептов очень много приготовительных познаний и, что еще реже встречается в большинстве — привычки к серьезному мышлению. Поэтому, чтоб проникнуть в массу, наука должна сложить с себя форму науки. Ее крепкое зерно должно быть перемолото в муку и разведено водою для того, чтоб стать пищею вкусною и удобоваримою. Это достигается «популярным» изложением науки. Но и популярные книги еще не исполняют всего, что нужно для распространения понятий о науке в большинстве публики: они предлагают чтение легкое, но не заманчивое, а большинство читателей хочет, чтоб книга была сладким десертом. Это обольстительное чтение представляют ему романы, повести и т. д. Без всякого сомнения, очень немногие беллетристы думают, подобно Вальтер-Скотту, употреблять свой талант именно для распространения образованности между читателями. Но как из разговора с образованным человеком малообразованный всегда вынесет какие-нибудь новые сведения, хотя бы разговор и не касался, по-видимому, ничего серьезного,

так и из чтения романов, повестей, по крайней мере исторических, даже стихотворений, которые пишутся людьми, во всяком случае стоящими по образованности выше, нежели большинство их читателей, масса публики, не читающая ничего, кроме этих романов и повестей, узнает многое. И нет никакого сомнения, что не только «Юрий Милославский», но даже и «Леонид, или Некоторые черты» и т. д.²⁰ значительно распространили круг сведений своих читателей. Если популярные книги перечеканивают в ходячую монету тяжелый слиток золота, выплавленный наукою, то поэзия пускает в ход мелкие серебряные деньги, которые обращаются и там, куда редко заходит золотая монета, и которые все-таки имеют свою неотъемлемую ценность. Поэзия, как распространительница знаний и образованности, имеет чрезвычайно важное значение для жизни. «Забава» ею приносит пользу умственному развитию забавляющегося; потому, оставаясь забавою для массы читателей, поэзия получает серьезное значение в глазах мыслителя.

Итак, принуждены будучи признать справедливость очень многих нападений Платона на искусство, мы, однако, вправе сказать, что поэзия имеет высокое значение для образованности и идущего вслед за нею улучшения нравов и материального благосостояния; она имеет это значение даже и тогда, когда не заботится о нем. Но много было поэтов, которые сознательно и серьезно хотели быть служителями нравственности и образованности, понимали, что вместе с талантом получили они обязанность быть наставниками своих сограждан. Были такие поэты и во время Платона; достоверно мы знаем с этой стороны Аристофана. «Поэт — учитель взрослых», — говорит он, и все его комедии проникнуты самым серьезным направлением. Излишне и говорить о том, какое важное практическое значение получает поэзия в их руках. Но если Платон впадает в односторонность, считая поэзию только пустою забавою, то за ним остается заслуга, что он смотрел на искусство в связи с жизнью; а оправдание его порицаниям находится в понятиях об искусстве большей части художников и даже философов, которые полагают, что значение искусства не зависит от его житейской пользы, что «служить каким бы то ни было интересам, кроме собственных, унижительно и пагубно для искусства», что «оно само себе цель», что «доставлять эстетическое наслаждение — единственное назначение искусства». Эти господствующие воззрения действительно отнимают у искусства всякое дельное зна-

чение, превращают его в пустую игру и вполне заслуживают грозных изобличений Платона, доказывающего, что, отказываясь от практического значения для жизни, искусство, как и всякое дело, не имеющее такого значения, становится пустою забавою в глазах мыслителя.

Аристотель, уступая Платону в возвышенности требований, гораздо снисходительнее, даже с любовью смотрит на искусство, особенно на поэзию и музыку; его понятия о значении музыки и поэзии не так поучительны, как платоновы, но гораздо многостороннее — правда, с тем вместе иногда и мелочны.

Первую пользу искусства для человека (потому что и Аристотель требует от искусства *пользы*) он видит именно в том, в чем Платон находит причину бледности и ничтожности произведений искусства сравнительно с живою действительностью — в том, что искусство есть подражание. «Стремление к подражанию, которое служит источником искусств, находится в непосредственной связи с любознательностью. Любознательность, заставляющая сравнивать копию с подлинником, — причина и того удовольствия, которое доставляют нам произведения искусства: подражая предмету, а потом сравнивая подражание с оригиналом, мы изучаем предмет, изучаем его легко и скоро; в этом тайна наслаждения, приносимого искусством». Итак, искусство находится в ближайшем родстве с важнейшим и высочайшим стремлением человеческого духа; потому что Аристотель ставит науку выше жизни, умственную деятельность выше практической: образ мыслей, очень легко рождающийся у людей, для которых наука — главнейшая цель жизни. Искусству, этим объяснением его происхождения, назначается очень почетное место среди возвышеннейших направлений человеческого духа; но объяснение страсти к подражанию из любознательности не выдерживает критики. Подражаем вообще мы из желания сделать, а не узнать что-нибудь; подражание — не теоретическое, а практическое стремление. Справедливо только то, что *иногда* (довольно редко) мы читаем произведения поэзии из желания познакомиться с нравами людей, с обычаями народов, далеких от нас, и т. п.; но и читаем мы произведения поэзии обыкновенно вовсе не по этому побуждению, а возникают они решительно не из желания поэта уяснить себе какой-нибудь вопрос (как пишутся ученые трактаты): стремление *создавать* (чрез подражание или «воспроизведение», как выражаются ныне), производить — источник поэтической

деятельности; восхищение творческим талантом, удовольствие, происходящее от сознания гениальности человеческой, — источник наслаждения, доставляемого нам произведениями искусства. Не указываем других источников искусства и наслаждения искусством, потому что это отвлекло бы нас далеко от Аристотеля (точно так же и выше, пополняя мнения Платона, мы ограничились указанием одной только стороны высокого значения искусства, чтобы не вдаваться в излишние подробности).

Но если Аристотель односторонним образом объясняет стремление человека к подражанию и происхождение искусства, то нельзя не отдать ему полной справедливости за то, что он старается отыскать для искусства высокое значение в области умственной деятельности; и если нельзя согласиться с его мнением об источнике искусства вообще, то нельзя без удивления видеть, как верно определяет он отношение поэзии к философии: поэзия, изображающая человеческую жизнь с общей точки зрения, представляющая не случайные и ничтожные мелочи ее, а то, что есть в жизни существенного и характеристического, чрезвычайно много имет, как думает Аристотель, философского достоинства. Она в этом отношении даже гораздо выше, по его мнению, нежели история, которая без разбора должна описывать и важное, и неважное, и существенное, характеристическое, и случайные, не имеющие никакого внутреннего значения факты; поэзия гораздо выше истории также и потому, что представляет все во внутренней связи, между тем как история без всякой внутренней связи, по хронологическому порядку рассказывает разнородные факты, не имеющие между собою ничего общего. В поэтической картине — смысл и связь; в истории — множество не говорящих ничего нужного подробностей, и нет связи; она дает не картины, а только отрывки картин. Вот это глубокомысленное и знаменитое место в переводе г. Ордынского, выписку из которого даем для того, чтобы познакомить читателей с его языком:

«Дело поэта — излагать не столько случающееся, сколько то, что могло бы случиться, т. е. возможное по вероятию или по необходимости. *(Мысль, доселе служащая основанием нашим понятиям о том, как должен поэт пользоваться материалами, доставляемыми ему действительностью, что из них должен он брать для своих картин и что должен отбрасывать.)* Историк и поэт не тем различаются, что говорят один мерною речью, другой — немерною: ведь сочинение Геродота можно было бы переложить в метры, и все-таки в метрах, как и без всяких метров, была бы это история. Различаются они тем, что один излагает случившееся, а другой, что может случиться. Поэтому поэзия глубже и значительнее

истории. Поэзия излагает более общее, история — частное. Общее есть: такому-то лицу что прилично говорить либо делать по вероятию либо необходимости? Этого достигает поэзия, изобретая имена. Частное есть: что сделал Алкивиад, или что с ним случилось? На комедии это очевидно: комики, составляя вымысел из вероятных событий, дают имена произвольные, а не занимаются частностями. Что касается трагедии... в некоторых одно или два имени известных, прочие вымышлены; в иных ни одного известного, как в «Цветке» Агафона: в нем и действия, и имена равно вымышлены, и тем не менее он нравится»²¹.

Ученый отдает искусству справедливость до такой степени, что ставит его выше науки (правда, не своей специальной науки). Явление замечательное... Но мнение Аристотеля об истории требует объяснения: оно приложимо только к тому виду истории, который был известен в его время — это была не собственно история, а летопись. У Геродота действительно нет никакой внутренней связи: все девять книг его «Истории» наполнены эпизодами; он хочет, собственно, писать историю «войны персов с греками» — и успевает начать рассказ о ней только в шестой книге. Ему хочется поговорить обо всем, что только ему известно из истории и нравов знакомых ему народов. Его метод таков: персы воевали с египтянами: поговорим о египтянах — и следует целая книга о Египте же; воевали они также со скифами: поговорим о скифах — и следует целая книга о скифах и Скифии. В каждом эпизоде у него опять новые эпизоды, вплетенные почти так: у египтян главный город Мемфис — описание Мемфиса; я также был в Мемфисе — описание того, что он видел в Мемфисе; между прочим, был я там в одном храме — описание храма; в этом храме видел я жреца — описание жреца и его одежды; жрец этот говорил со мною о том-то — рассказывается, что говорил ему жрец; но другие говорят об этом не так — рассказывается, как говорят об этом другие, и т. д. и т. д. Геродот рассказчик, бывалый человек, и его история похожа на простодушные, интересные, но бессвязные рассказы всех бывалых людей. Фукидид — чисто летописец, правда, ученый и глубококомысленный, но располагающий свою «Историю Пелопонесской войны» таким образом: в шестую зиму войны произошло в Аттике вот что; в эту же зиму в Пелопонессе произошло вот что; в то же время на Корцире произошло вот что; во Фракии произошло тогда же вот что; на Лесбосе — вот что, и т. д. В следующее за тем лето произошло в Аттике то-то и то-то, в Пелопонессе то-то и то-то, и т. д. У Фукидида еще меньше внутренней связи между рассказами, нежели у Геродота; даже ни одно событие не рассказано за один раз: на-

чало, середина и конец его разбросаны в разных книгах по «зимам» и «летам». Очень понятно, как много мелочного и решительно ненужного для характеристики главного события и главных деятелей находится в подобных «историях». Форму науки история приняла только в наше время; у новейших великих историков всегда господствует строгое единство; у них не найдется ненужных мелочей, приводятся факты и черты, только «имеющие общее значение», которого требует Аристотель, то есть только необходимые для характеристики века и людей.

Эти выписки достаточно показывают проницательность и многосторонность аристотелева ума; но при всей своей гениальности, часто он впадает в мелочность от всегдашнего своего стремления найти глубокое философское объяснение не только главным явлениям, но и всем их подробностям. Это стремление, выразившееся в аксиоме одного новейшего философа, соперника аристотелева²²: «все действительное разумно и все разумное действительно», часто заставляло обоих мыслителей придавать важное значение мелочным фактам только потому, что эти факты хорошо подходили под их систему. Превосходный пример этого представляет выписанное нами место из Аристотеля. Совершенно справедливо определяя, что поэзия изображает не мелочи, а общее, характеристическое, в чем находит Аристотель подтверждение своего понятия? — в том, что комикки всегда, а трагикки иногда, дают характеристические имена действующим лицам, т. е. и в оставленном ныне обыкновении выводить на сцену Воробьиных, Правдиных, Прямосудовых, Коршуновых, Разлюляевых (весельчаки), Бородкиных (живущие по старым обычаям), Стародумов и т. д.²³

На нескольких страницах излагаем мы мнения Платона и Аристотеля о «подражательных искусствах», несколько десятков раз пришлось нам употребить слово «подражание», и, однако, до сих пор еще ни разу не встретили читатели обычного выражения «подражание природе» — отчего это? Неужели Платон и, особенно, Аристотель, учитель всех Баттё, Буало и Горацийев, поставляют сущность искусства не в подражании *природе*, как привыкли все мы дополнять фразу, говоря о теории подражания? Действительно, и Платон и Аристотель считают истинным содержанием искусства, и в особенности поэзии, вовсе не природу, а *человеческую* жизнь. Им принадлежит великая честь думать о главном содержании искусства именно то самое, что после них высказал уже только Лессинг и чего

не могли понять все их последователи. У Аристотеля в «Поэтике» нет ни слова о природе: он говорит о людях, их действиях, событиях с людьми, как о предметах, которыми подражает поэзия. Дополнение: «природе» могло быть принято в поэтиках только тогда, когда процветала вялая и фальшивая описательная поэзия (которая едва ли не грозит снова войти в моду) и неразлучная с ней дидактическая поэзия — роды, которые изгоняются Аристотелем из поэзии. Подражание *природе* чуждо истинному поэту, главный предмет которого — человек. «Природа» выступает на первый план только в пейзажной живописи, и фраза «подражание *природе*» послышалась в первый раз из уст живописца; но и живописец произнес ее не в том смысле, какой получила она у современников Дезюльер и Делиля: когда Лизипп (рассказывает Плиний), еще будучи юношей, спросил у знаменитого в то время живописца Эвпомпа: кому из прежних великих художников надобно подражать? Эвпомп отвечал, указывая на толпу людей, среди которой они стояли: «не художникам надобно подражать, а самой природе». Ясно, он говорил о том, что живая действительность должна служить материалом и образцом для художника, а не о «садах», которые воспевал Делиль, и не об «озерах», которые описывались Уордсвортом и Уильсоном в братию²⁴.

Из этого можно Уильсоном убедиться, что многие возражения, делаемые против теории подражания, относятся, собственно, не к ней, а к той искаженной форме, в какой представляли ее теоретики псевдоклассической школы. Здесь не место высказывать личные убеждения, и потому не будем доказывать, что, по нашему мнению, называть искусство воспроизведением действительности (заменяя современным термином неудачно передающее смысл греческого *mimêsis* слово «подражание») было бы вернее, нежели думать, что искусство осуществляет в своих произведениях нашу идею совершенной красоты, которой будто бы нет в действительности. Но нельзя не выставить на вид, что напрасно думают, будто бы, поставляя верховным началом искусства воспроизведение действительности, мы заставим его «делать грубые и пошлые копии и изгоняем из искусства идеализацию». Чтоб не вдаваться в изложение мнений, не общепринятых в нынешней теории, не будем говорить о том, что единственная необходимая идеализация должна состоять в исключении из поэтического произведения ненужных для полноты картины подробностей, каковы бы ни были эти подробности; что если понимать под идеализа-

цией безусловное «облагорожение» изображаемых предметов и характеров, то она будет равняться чопорности, надутости, фальшивому драматизированию. Но вот выписка из аристотелевой «Пиитики», доказывающая, что идеализация, даже в последнем смысле, очень хорошо может входить в систему эстетики, признающую основным началом поэзии подражание или воспроизведение:

«Так как трагедия есть подражание лучшим (*воспроизводит действия и приключения людей с великими, а не мелочными характерами*, сказали бы мы теперь; но Аристотель говорит, увлекаясь Эсхилом и Софоклом: людей, лучших, нежели обыкновенные люди), то должны (*трагики*) подражать хорошим портретистам: они, передавая кого-нибудь в настоящем виде, делают портрет похожим и вместе красивее. Так и поэту, когда он подражает сердитым, ленивым и другим недостаткам в характере имеющим (т. е. *воспроизводит их характеры*), следует таких облагораживать».

«Распалась поэзия на два рода (говорит далее Аристотель), по характеру поэтов: люди солидные описывали высокие дела возвышенных по характеру людей и сначала писали гимны, потом трагедии; люди легкомысленные описывали людей «низких»: они сочиняли сначала ямбы (сатиры), потом комедии»²⁵ Опять какая односторонность! Платону было простительно, говоря об отсутствии серьезного нравственного значения в произведениях искусства, не упомянуть нам о прекрасном исключении, о комедиях Аристофана — вражда Аристофана против Сократа извиняла молчание преданного ученика сократова. Но Аристотель, не могший иметь никакого горького воспоминания против Аристофана, также не хочет замечать высокого значения комедии.

Мысль, что «искусство состоит в подражании» живой действительности и преимущественно воспроизводит человеческую жизнь, беспрекословно считалась справедливою в древней Греции. Платон и Аристотель одинаково полагали ее в основание своих эстетических понятий; они до того были уверены, как и все их современники, в неоспоримой истине этого начала, что везде высказывают его, как аксиому, не думая доказывать его. На чем же основано, что именов «платоновой» называют совершенно другую теорию искусства, решительно противоположную излагаемой Платоном, — теорию, объясняющую начало искусства так: «идея прекрасного, присущая духу человеческому, не находя себе соответствия и удовлетворения

в действительном мире, заставляет человека создавать искусство, в котором находит она себе полное осуществление»? И кто из мыслителей, в самом деле, первый высказал начала такой теории?

В первый раз «идеальное начало» искусства было высказано Плотинем, одним из тех туманных мыслителей, которые называются неоплатониками. У них нет ничего простого, ясного — все таинственно, невыразимо; у них нет ничего положительного, действительного — все заоблачно и мечтательно; все их понятия... но мы ошибаемся: у них нет понятий, потому что понятие есть нечто определенное, доступное простому уму; у них какие-то грезы, которым нет нигде соответствующих предметов, которые постигаются только в состоянии экстаза, когда, посредством искусственного образа жизни, неестественного напряжения ума, человек погружается в таинственный мир, недоступный никаким чувствам. Грезы эти величественны, но величественны только для освободившейся от власти рассудка фантазии; малейшее прикосновение положительной, ясной мысли уничтожает их. Неоплатоники — люди, хотевшие соединить древнюю греческую философию с таинственными азиатскими философемами, придать мечтам распаленной египетской и индийской фантазии форму науки; из этого соединения образовалось у них нечто еще более странное и фантастическое, нежели самые индийские и египетские мудрования. Мысль, возникающая на такой заоблачной почве, едва ли может надолго овладеть положительными и светлыми понятиями народов, у которых есть опытная наука, все подвергающая анализу. Но здесь не место излагать наши понятия об «идеальном начале» искусства: довольно и того, что мы сказали, как странен источник, из которого взято оно. Излагать идеи Плотина о сущности прекрасного мы также не будем, отчасти уж потому, что излагать их значило бы почти то же самое, что излагать господствующие ныне эстетические начала. Впрочем, едва ли справедливо называем мы «современными» мнения об идеальном начале искусства: та система понятий, которой они принадлежали, уже оставлена всеми; она имела только переходное значение и ныне забыта вместе с романтизмом, своим порождением. И если эстетические понятия, разнесенные по свету Шлегелями и их сподвижниками, принятые потом и их противниками, еще не заменились в новейших эстетиках другими понятиями, то это единственно потому, что нынешняя наука,

обращенная на другие вопросы, едва касалась эстетических. Неоплатоники переделали платонову философию на египетский лад; но, будучи совершенно различно от платоновой философии по своей сущности, учение их сохранило черты наружного сходства с нею. Вот причина, по которой Платону было приписано многое, вовсе ему не принадлежащее, в том числе и учение об идеальном начале искусства. Его понятия о красоте, под влиянием системы неоплатоников, были смешаны с понятиями его об искусстве, между тем как красоту видит он в живой действительности, еще высшую красоту находит в идеях и поступках мудреца; из последнего очевидно, что его «прекрасное» вообще то, что мы в обыкновенном разговорном языке называем «прекрасным» (добродетель прекрасна; патриотизм — прекрасное чувство; прекрасно иметь благородный образ мыслей; цветущий сад — прекрасен и т. д.), а не то «прекрасное», о котором говорит эстетика и которое состоит в совершенстве материальной формы, вполне проявляющей свое внутреннее содержание.

Но возвратимся к Аристотелю и его «Пиитике». В ней, кроме изложенного нами учения о происхождении искусства вообще, от которого поспешно переходит он к специальному вопросу о трагедии, мы находим еще довольно много мнений, имеющих интерес и для нашего времени. Скажем несколько слов о них. Мнений же, прилагающихся только к греческой поэзии, имеющих теперь только историческое значение, мы не должны касаться по нашему плану; точно так же должны мы пройти молчанием множество прекрасных мыслей о сущности драматической поэзии, потому что ныне их справедливость известна всем; и если нынешние драматурги не всегда с ними соотнобразуются в своих произведениях, то единственно по недостатку сил или искусства: такова, например, мысль о том, что в драме (Аристотель говорит это о трагедии) самое существенное — действие, при недостатке которого пьеса непременно будет слаба, как бы ни велики были другие ее достоинства; требование, чтоб в пьесе господствовало строжайшее единство действия (считаем излишним повторять давно всеми высказываемую мысль, что кроме единства действия, Аристотель не требует никаких других единств), и т. д.

Очень часто случается слышать мнение, что события из действительной жизни именно так, как случились, не должны быть изображаемы в поэзии; что, например, исторический роман должен непременно переделывать истори-

ческие события по требованиям искусства, «потому что исторический факт, в своей наготе, не имеет никогда достаточного внутреннего единства и сцепления между частями». — Аристотель приходит к этому вопросу по поводу исторических трагедий и решает его так: для поэзии необходимо, чтоб подробности действия вытекали необходимо одна из другой и чтоб их сцепление было правдоподобно; некоторым из действительно случившихся событий ничто не препятствует удовлетворять этому требованию: все в них развилось по необходимости и все правдоподобно — почему же не брать их поэту в их истинном виде? К чему же, после этого, служат все эти вымышленные герои, заслоняющие настоящих героев и введенные только за тем, чтоб своими выдуманными приключениями «придать поэтическое единство» изображению эпохи, как будто нельзя было найти истинно поэтических событий в жизни настоящих героев романа? Но мода на исторические романы прошла, и потому обратим наше замечание на рассказы и драмы из современного быта: к чему это бесцеремонное драматизирование действительных событий, которое так часто встречается в романах и повестях? Выберите связное и правдоподобное событие и расскажите его так, как оно было на самом деле: если ваш выбор будет недурен (а это так легко!), то ваша не переделанная из действительности повесть будет лучше всякой переделанной «по требованиям искусства», т. е. обыкновенно — по требованиям литературной эффектности. Но в чем же тогда выкажется ваше «творчество»? — в том, что вы сумете отделить нужное от ненужного, принадлежащее к сущности события от постороннего.

Фальшивое понятие о необходимости связи между развязкою и завязкою было источником ложного понятия о сущности трагического в нынешней эстетике. Трагическое событие обыкновенно представляют происходящим под влиянием какой-то особенной «трагической судьбы», по которой сокрушается все великое и прекрасное. Аристотель, которому понятие «рока» было гораздо ближе, нежели нам, ничего не говорит о вмешательстве судьбы в участь героев трагедии. Но герои трагические обыкновенно погибают? Это очень просто объясняется у него тем, что трагедия имеет целью возбудить чувства ужаса и страдания; а если развязка будет счастлива, то это впечатление будет сглажено ею, хотя бы и было пробуждено предыдущими сценами. Вы возразите, что лица, погибающие в конце, представляются в начале трагедии мощными,

счастливыми и т. д.? Это также просто объясняется у Аристотеля тем, что контраст поражает сильнее однообразности: увидев здорового — мертвым, счастливого — погибающим, зрители сильнее проникаются ужасом и состраданием, нежели тогда, когда этого контраста недостает. И Аристотель совершенно справедлив, не вводя «судьбы» в понятие трагического: эта внешняя, посторонняя сила только ослабляет внутреннюю связь событий, придавая им направление, не вытекающее из сущности действия, — вот эстетический вред «судьбы» в трагедии. Поэзия должна изображать человеческую жизнь — пусть же она не искажает ее картин посторонними примесями.

Наконец, последнее замечание: главнейшую разницу между гомеровыми эпопеями и позднейшими трагедиями Аристотель поставляет только в том, что «Илиада» и «Одиссея» гораздо длиннее трагедий и не имеют такого строгого единства действия, какое необходимо для трагедий: эпизоды в трагедиях неуместны, в эпопее не вредят красоте целого²⁶ Но различия по направлению, по духу, по характеру содержания между трагедиями и гомеровыми поэмами Аристотель не замечает никакого (различие в способе изложения, конечно, он видит очень хорошо). Напротив, он, очевидно, предполагает существенную тождественность эпического и трагического содержания, говоря, что из «Илиады» или «Одиссеи» можно сделать по несколько трагедий. Надобно ли считать недосмотром Аристотеля несогласие его в этом случае с новейшими эстетиками, полагающими существенное различие между содержанием эпическим и драматическим? Может быть; но скорее можно думать, что наши эстетики полагают слишком глубокое различие, по содержанию, между эпической и драматической поэзией, которые у греков, очевидно, различались одна от другой более формой, нежели содержанием. В самом деле, беспристрастно подумав об этом вопросе (а наши эстетики явно пристрастны к драматической форме, «высочайшей форме поэзии»), едва ли не должно будет заключить, что если многие сюжеты повестей и романов не годятся для драмы, то едва ли есть драматическое произведение, сюжет которого не мог бы так же хорошо (или еще лучше) быть рассказан в эпической форме. Да и то, что некоторые повести и романы (очень хорошие, но мало заключающие в себе действия и много лишних эпизодов и разглагольствований, чего, конечно, нельзя считать достоинством и в эпическом произведении) не могли быть обращены в сносные пьесы, не

происходит ли главным образом оттого, что скука — очень сносная и отчасти даже приятная наедине, в удобные для этого часы, — становится несносной, когда усиливается скукою тысячи скучающих, подобно вам, в душной атмосфере театра? Если присоединить к этому десятки других обстоятельств того же рода — например, неудачность всех аранжировок вообще, упущение из виду, со стороны повествователя, всех сценических условий, стеснительность самой драматической формы, — то увидим, что негодность для сцены многих пьес, переделанных из повестей, достаточно объясняется и без предположения существенного различия между эпическим и драматическим сюжетом.

К «последнему» замечанию позволяем себе прибавить еще одно, уже решительно последнее. Аристотель ставит трагиков выше Гомера и, признавая при всяком случае всевозможные достоинства в его поэмах, находит, однако, что трагедии Софокла и Эврипида несравненно художественнее их по форме (и глубже по содержанию, мог бы он прибавить)²⁷ Не следует ли и нам, по его прекрасному примеру, без ложного подобострастия смотреть на Шекспира? Лессингу было натурально ставить его выше всех поэтов, существовавших на земле, и признавать его трагедии геркулесовыми столбами искусства. Но теперь, когда мы имеем самого Лессинга, Гёте, Шиллера, Байрона, когда прошли причины восставать против слишком усердных подражателей французским писателям, стало, может быть, уже не столь естественно отдавать Шекспиру бесконтрольную власть над нашими эстетическими убеждениями и, кстати и некстати, приводить в пример всего прекрасного его трагедии, находя в них все прекрасным. Ведь Гёте признает же «Гамлета» нуждающимся в переделке? И, может быть, Шиллер не выказал неразборчивости вкуса, переделав, наравне с шекспировым «Макбетом», и расинову «Федру». Мы беспристрастны к давно прошедшему: зачем же так долго медлить признавать и недавно прошедшее веком высшего, нежели прежнее, развития поэзии? Разве ее развитие не идет рядом с развитием образованности и жизни?

Мы старались показать, что, несмотря на односторонность некоторых положений, мелочность многих фактов и выводов и — главнейший недостаток — преобладание формализма над живым учением о прекрасном в поэзии, как следствии развитого наукою таланта и благородного образа мыслей (требования, гораздо сильнее высказанные у Платона, нежели у Аристотеля) — что, несмотря на все

эти недостатки, сочинение Аристотеля «О поэтическом искусстве»* имеет еще много живого значения и для современной теории и достойно было служить основанием для всех последующих эстетических понятий до Вольфа и Баумгартена или даже до Лессинга и Канта (теории Гогарта, Борка и Дидро не имели большого значения, встретив мало сочувствия). Из этого очевидно, как прекрасно сделал г. Ордынский, решившись усвоить русской литературе столь важное для науки сочинение. Действительно, едва ли можно было сделать выбор более счастливым. Точно так же верен был такт, руководивший г. Ордынского и при выборе предметов для прежних сочинений: «О Характерах Феофраста», «О комедиях Аристофана»; точно так же прекрасно было и намерение его перевести Гомера прозою — мысль чрезвычайно верная в своем основании, потому что самые лучшие русские гексаметры — одежда все еще слишком тяжелая и запутанная для Гомера, детски простого душою. Надобно отдать полную справедливость и добросовестности, с которою занимался он каждым своим трудом. Так и в новом его рассуждении нельзя не видеть труда, чрезвычайно добросовестно исполненного. Г. Ордынский исследовал текст аристотелевой «Пиитики» с примерною аккуратностью; воспользовался трудами всех лучших издателей и комментаторов, с истинною ученою скромностью указывая всегда, откуда что почерпнул; перевод текста сделан не наскоро, не кое-как: г. Ордынский взвешивал каждое слово, обсуживал каждое выражение. Одним словом: перевод и комментарии г. Ордынского удовлетворяют большей части условий, от которых зависит достоинство труда. А между тем, нельзя не предвидеть, что его перевод «Пиитики» найдет себе довольно мало сочувствия даже в той немногочисленной части публики, которая специально интересуется классическою литературою; других читателей он решительно оттолкнет. Да и комментарий г. Ордынского, составленный с большим знанием дела и вниманием, едва ли принесет много пользы русским читателям. Перевод г. Ордынского очень тяжел и темен, а комментарий написан почти только в доказательство личных мнений переводчика, утверждающего, что аристотелева книга «О поэтическом искусстве» дошла до нас *вполне*, а не в отрывочном извлечении, как думают

* Перевод заглавия аристотелевой книги *Περὶ ποιητικῆς* «О поэтическом искусстве», подразумевая *τέχνης* (срав. заглавие *τέχνη ῥητορικῆ*), мы считаем более верным, нежели предлагаемый г. Ордынским «О поэзии».

обыкновенно, и что текст этого сочинения или извлечения не испорчен и не нуждается в исправлении. К изложению этого вопроса мы теперь и должны приступить.

Нуждается ли в исправлении текст аристотелевой «Питики»? В какой степени испорчен текст аристотелевых сочинений — очень хорошо показывает даже не филологу судьба их до того времени, когда они стали общеизвестными, что случилось уже через два с половиною века после смерти Аристотеля. Эта история довольно занимательна, и потому перескажем ее в нескольких словах. Аристотель сам при жизни не обнаружил своих сочинений; по смерти его они перешли в руки его ученика Феофраста, который также не обнаружил их, может быть, потому, что Аристотель, подобно Анаксагору, подвергся под конец жизни сильным гонениям за то, что отвергал многобожие; думают даже, что он этими преследованиями принужден был отравить себя. Умирая, Феофраст передал их Нелею Скепсийскому вместе с книгами аристотелевой библиотеки. Нелей продал аристотелеву библиотеку египетскому царю Птолемею Филадельфу, но с самыми сочинениями Аристотеля не решился расстаться: они остались у Нелея. Наследники Нелея были невежды, вовсе не думавшие пользоваться Аристотелем; но они слышали от Нелея, что книги эти чрезвычайно драгоценны; живя в пергамских владениях, они опасались, чтоб цари пергамские, соперничествовавшие с Птолемеями в заведении у себя такой же огромной и полной библиотеки, как александрийская, и повсюду отыскивавшие книги, не взяли у них даром или за ничтожное вознаграждение этой драгоценности; надобно было утаить ее — и они спрятали аристотелевы сочинения в погреб. Долго скрывались они там. Наконец, один богатый африканский библиофил, Апелликон Теосский, узнал случайным образом, где аристотелевы сочинения, и за большую цену купил их. Это было уже во времена Митридата Великого: следовательно, в сыром погребе они должны были пролежать лет сто или полтора, если даже не более. Апелликон нашел их испортившимися от сырости погреба; кроме того, они были источены червями. Как велика должна была быть порча, можно вообразить, припомнив, сколько времени они подвергались ей. Привезши их в Афины, он велел их переписать, *дополняя* по догадкам места, испортившиеся от сырости и червей. По завоевании Афин Силлою апелликонова библиотека была взята победителем и перевезена в Рим. Живший в Риме ученый грек Тираннион получил от Сил-

лы позволение пользоваться его библиотекою и, нашедши там аристотелевы сочинения, сделал с них несколько списков, которые доставил, между прочим, Цицерону, Лукуллу и Андронику Теосскому. Андроник употребил все старание, чтоб привести в порядок доставшийся ему список: разобрал книги по содержанию, снова исправил текст, и в его редакции аристотелевы сочинения распространились между учеными. Надобно думать, что Апелликону достались вместе с оконченными сочинениями и неоконченные; по всей вероятности, было у Аристотеля и по несколько различных списков одного сочинения в различных переделках; вероятно, были в том числе извлечения, черновые бумаги и т. д. Одно из таких извлечений или черновых эскизов, по всей вероятности, и «Пиитика», дошедшая до нас. Этот рассказ некоторые ученые старались опровергнуть; но их возражения слабы, и он остается достоверным. Итак, в беспорядке оставшиеся сочинения Аристотеля, полусгнившие и источенные червями, были два раза дополняемы и исправляемы. Может ли после этого подлежать сомнению, что текст их очень нуждается в очищении и критическом исправлении?

Действительно, аристотелевы сочинения дошли до нас в чрезвычайной беспорядочной виде. Множество из них погребло; другие неудачно составлены из беспорядочно собранных частей, с примесью писанных начерно эскизов, неоконченных отрывков, извлечений, подложных отрывков. Чтоб указать на разительный пример, напомним о характере сборника, называющегося «Аристотелевой Метафизикой» и состоящего из 14 книг. 2-я и 3-я из них, по всей вероятности, не принадлежат Аристотелю; 1-я если и принадлежит ему, то не имеет ничего общего с остальными. «Метафизика» начинается, собственно, только с 4-й книги. 5-я также должна была составлять особенное сочинение и ошибочно введена в состав «Метафизики». За 4-ю по внутренней связи непосредственно должно следовать 6-я. 10-я — повторение 4-й и 5-й; это или извлечение, сделанное каким-нибудь читателем, или черновая рукопись, из которой произошли потом 4-я и 5-я книги; 11-я и 12-я заключают в себе много извлечений из Аристотеля, с прибавлением чуждых ему мыслей — они также сборник, сделанный одним из читателей. Итак, из 14 книг «Метафизики» собственно принадлежат Аристотелю и составляют связное сочинение только 4, 6, 7, 8, 9, 13 и 14 книги; остальные — или составленные из черновых бумаг, или извлечения и компиляции, составленные

из аристотелевых сочинений другими учеными, и не должны входить в состав аристотелевой «Метафизики». Многие из так называемых «аристотелевых сочинений» решительно во всем своем составе только извлечения, сделанные другими философами из его сочинений; так, например, «Большая Этика» — извлечение из его «Этики для Никомаха»; «О мнениях Ксенофана, Зенона и Горгия» — собрание отрывков, в которых именно о Ксенофане и не говорится; «О направлениях и именах ветров» — отрывок из его сочинения «О признаках бурь»; «Проблемы» — позднейшее извлечение из различных его сочинений; «История животных» в 9 или 10 книгах (подлинность одной подлжит сомнению) — отрывок из сочинения, имевшего, по крайней мере, 50 книг; одним словом, половина, если не больше, аристотелевых сочинений, уцелевших от гибели, дошла до нас не в полном и не в настоящем своем виде.

Поэтому несколько не удивительно, если мы должны будем и «Пиитику» Аристотеля признать отрывочным сокращением или черновым эскизом, в котором текст довольно сильно искажен. Не будем пускаться в мелкие доказательства испорченности и неполноты текста; они встречаются на каждом шагу: грамматические ошибки, недомолвки, бессвязность в сочетании предложений попадаются на каждой почти строке; беспрестанно встречаются такие места: «мы здесь должны рассмотреть четыре случая», и рассматриваются только два или три из обещанных четырех; такая критика, очень убедительная для филолога, была бы непонятна без длинных грамматических объяснений. Взглянем только на начало и конец дошедшей до нас «Пиитики» — и они уж дают возможность судить о ее полноте. В самом начале своего сочинения Аристотель говорит, что содержанием ее будут: «эпопея, трагедия, комедия, дифирамбическая поэзия, авлетика и кифаристика» (различные роды лирической поэзии с музыкальным аккомпанементом), а в дошедшем до нас тексте говорится только о трагедии и очень мало об эпопее. Ясно, что до нас дошла только часть сочинения. И действительно, по цитатам из «Пиитики» у других писателей мы знаем, что она состояла из двух (или даже трех) книг. Ясно, что до нас дошла только часть первой книги, в извлечении ли, сделанном другими, или в набросанном начерно эскизе. Оканчивается дошедший до нас текст предложением, в котором стоит союз *μήν*, необходимо требующий соответствующего последующего предложения с союзом *δέ*.

Чтоб дать понятие о необходимости этого дополнения в греческом языке и не знающим греческого языка читателям, скажем, что соответствие союзов μέν и δέ можно уподобить соответствию слов «с одной стороны», «с другой стороны», или «хотя — однако». Вообразим себе, что текст русской книги оканчивается такими словами: «вот что, с одной стороны, надобно сказать о трагедии»... не ясно ли, что текст этой книги остался без конца и ближайшим продолжением должны были быть слова: «а с другой стороны...» Подобным образом оканчивается дошедший до нас греческий текст аристотелевой «Пиитики»*; ясно, что здесь оканчивается только одно отделение книги, и дальше следовало другое отделение о другом роде поэзии — вероятно, о комедии.

Итак, основная мысль рассуждения г. Ордынского: «Пиитика Аристотеля дошла до нас вполне и текст ее не нуждается в исправлении», едва ли может быть признана правдоподобною, а в доказательство ее написан весь комментарий. Поэтому пользоваться им будет неудобно²⁸

Точно так же и его перевод аристотелева текста, вероятно, принес бы гораздо больше пользы, если б не отличался столь же сильным стремлением к оригинальности в языке, как отличается его комментарий стремлением к оригинальности в мнениях. Из небольших выписок, нами приведенных, читатели, конечно, заметили, что г. Ордынский перевел Аристотеля языком очень тяжелым и темным. Мы не говорим, чтоб аристотелеву «Пиитику» прочла вся русская публика, как бы ни был изящен и легок язык перевода, но все-таки она в изящном переводе нашла бы довольно много читателей; а перевод г. Ордынского едва ли привлечет многих; он испытает участь очень дельных переводов Мартынова, которые остались никем не читаны — именно по темноте и тяжеловатости языка. Зачем же г. Ордынский дал нам такой неудобочитаемый перевод, когда в том же самом рассуждении слогом своего комментария показывает он, что умеет писать языком очень понятным и довольно легким? Он говорит в предисловии, что старался перевести как можно ближе к подлиннику — прекрасно! Но, во-первых, всему есть пределы, и заботиться о буквальности перевода с ущербом ясности и правильности языка, значит вредить самой точности перевода, потому что ясное в подлиннике должно быть ясно и в переводе; иначе к чему же и перевод? Во-вторых, перевод

* Περὶ μὲν οὖν τῆς τραγῳδίας εἰρήσθω τοῦτα²⁹.

г. Ордынского, правда, очень близкий, вовсе, однакож, не может назваться подстрочным; в нем очень часто два слова подлинника переводятся одним, одно — двумя словами, даже и там, где можно было перевести слово в слово. Не отступая от подлинника далее, нежели отступает г. Ордынский, можно было дать перевод ясный и удобочитаемый. Не слишком стеснительная близость к подлиннику, а оригинальные понятия г. Ордынского о русском слоге [являются] причиною недостатков его перевода. Он стремится к какой-то изысканной простонародности языка, умышленно не соблюдает правил языка литературного, старается не употреблять слов его, любит слова устарелые или малоупотребительные. К чему это? Пишите, как всеми принято писать; и если у вас есть живая сила простоты и народности в слоге, то она сама собою, без всякой преднамеренной погони, придаст вашему слогу простоту и народность. Всякое преднамеренное стремление к оригинальности имеет следствием вычурность; и нам кажется, что труды г. Ордынского, сохраняя все свое неотъемлемое достоинство, будут гораздо более читаемы и, следовательно, принесут гораздо более пользы, если он откажется от притязаний на оригинальность языка, решительно не нужных для ученого³⁰.

Конечно, мы высказываем эти замечания только потому, что, уважая полезную деятельность г. Ордынского, желаем его трудам приобретать больше и больше сочувствия в русской публике. Простимся же с нашим молодым ученым — конечно, ненадолго — с желанием, чтоб русская литература навсегда сохранила в нем деятеля по части греческой филологии столь же добросовестного и трудолюбивого, каким был он до сих пор.

ОЧЕРКИ ГОГОЛЕВСКОГО ПЕРИОДА РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

(Сочинения Николая Васильевича Гоголя. Четыре тома.
Издание второе. Москва, 1855.

Сочинения Николая Васильевича Гоголя,
найденные после его смерти.

Похождения Чичикова или Мертвые души.
Том второй (пять глав). Москва, 1855)

СТАТЬЯ ПЯТАЯ

Критикою «Телескопа»¹ было положено основание критике гоголевского периода. Это внутреннее родство мысли выразилось и внешним образом в первоначальных отношениях людей, из которых одному досталось на долю начать, а другому — совершить дело водворения у нас справедливых литературных понятий. Но как впоследствии времени эти люди стали чужды друг другу, так и мысль, через них выражавшаяся, достигнув полного развития в слове бывшего ученика, раскрыла в себе содержание, существенно различное от того, что обнаруживала в первых, еще несовершенных своих проявлениях у бывшего учителя². Коренные черты родства между этими двумя ее фазисами указать очень легко: стоит только припомнить общую точку зрения критики Надеждина. Существенным основанием всех его воззрений служили идеи, выработывавшиеся германскою философию. Сообразно духу этой философии, он рассматривал литературу, как одно из частных проявлений общей народной жизни, в связи с другими сторонами жизни; требовал, чтобы она сознала свое назначение — быть не праздною игрою личной фантазии поэта, а выразительницею народного самосознания и одною из могущественнейших сил, движущих народ по пути исторического развития. Вследствие таких высоких понятий о назначении литературы, немецкая философия поставляла необходимостью, чтобы в ее произведениях значительность идеи, без которой форма пуста, соединялась с художественностью формы, осуществляющей идею. От этих эстетических аксиом критика гоголев-

ского периода никогда не отступала. Напротив, чем более она развивалась, тем глубже, полнее и сильнее понимала и выражала эти идеи. Сходство, как видим, заключалось в одинаковости общего начала. Оно очень значительно; его можно назвать настоящим кровным родством. Различие было еще гораздо более важно. Оно зависело от степени развития этого общего начала; оно состояло в глубине и целостности воззрения, в последовательности его приложений и в важности выводов, какие давало его применение к фактам, представляемым литературою. Чтобы видеть, какое огромное расстояние, уже по необходимости, лежавшей в духе времени, не говоря о причинах различия, зависевших от личного характера критиков, отделяло критику гоголевского периода от критики «Телескопа», надобно сообразить, какому изменению подверглись в своем прогрессивном движении те элементы нашей умственной жизни, из взаимного проникновения которых слагается критика, с той поры, когда кончилась журнальная деятельность Надеждина (1834—1836), до той эпохи, когда критика гоголевского периода достигла (1844—1847) крайних пределов развития, положенных ей не столько границами сил и слишком кратковременной жизни человека, бывшего главным ее представителем (силы эти были огромны и раскрывались перед нами далеко не во всей полноте), сколько границами потребностей и требований нашей публики. Надобно припомнить ход постепенного развития у нас научных понятий и литературы в этот период времени, очень непродолжительный, обнимающий всего каких-нибудь двенадцать лет, но ознаменованный в нашей умственной жизни многими очень важными фактами.

Надеждин ввел в наше литературное сознание идеи, выработанные немецкою философию *. Это заслуга очень

* Задолго до Надеждина немецкая философия имела последователей между русскими учеными. Особенного внимания заслуживает то, что ею с любовью занимались в наших духовных академиях. По случаю издания «Логики» Бахмана в русском переводе Надеждин говорит («Молва», 1832, № 20), что в одной из (наших) духовных академий давно уже переведены сочинения Канта, Шеллинга, Фихте, Якоби. Позднее, в Киевской духовной академии, история философии от Канта до Гегеля преподавалась по известному сочинению Мишелета (берлинского). Имена высокопресвященного Филарета, митрополита московского, и пресвященного Иннокентия одесского должны занимать в истории философии у нас такое же место, как и в истории богословия. Всем известны заслуги протоперея Ф. А. Голубинского. Из светских ученых, до Надеждина,

важная. Но Надеждин был последователем Шеллинга, и если принадлежал, как мы говорили, к тем из учеников этого философа, которые развивали его понятия сообразно духу времени, то все, однако же, в сущности оставался учеником Шеллинга. Но система этого мыслителя сама по себе неудовлетворительна, и главное значение ее состоит только в том, что она была зародышем, из которого развилась система Гегеля. Этого философа Надеждин, как по всему видно, никогда не признавал своим руководителем, считая его не более, как даровитым последователем Шеллинга. Понять Гегеля, который дал истинный смысл и настоящую цену неопределенным и отрывочным мыслям Шеллинга, было предоставлено уже следующему поколению, обратившемуся к изучению немецкой философии отчасти по самостоятельному стремлению, отчасти, конечно, благодаря деятельности Надеждина и Павлова. Несколько времени эти юноши абсолютную истину считали учение Гегеля в таком виде, как излагал его этот мыслитель. Но скоро познакомились они с сочинениями учеников Гегеля, которые, с строгою последовательностью развивая существенные идеи учителя, отвергли все, что в его системе противоречило этим основным принципам, и, наконец, преобразовали его систему так, как прежде он преобразовал систему Шеллинга. Без всякого преувеличения, надобно сказать, что так называемую школу Гегеля образовано было совершенно новое философское учение, которому система самого Гегеля служила не более, как предшественницею, только в этом учении получившею свой смысл и оправдание. Тем завершилось развитие немецкой философии, которая, теперь в первый раз достигнув положительных решений, сбросила свою прежнюю схоластическую форму метафизической трансцендентности и, признав тожество своих результатов с учением естественных наук, слилась с общей теориею естествознания и антропологию³

Тогда и увлечение системою Гегеля, которому на время

нельзя не вспомнить о Фесслере, Велланском и в особенности И. Я. Кронберге и М. Г. Павлове. Последний имел даже значительное влияние на молодое поколение, воспитывавшееся в Московском университете, и ему, быть может, даже более, нежели Надеждину, принадлежит слава распространения любви к философии между молодыми литераторами, о которых мы будем говорить. Тем не менее, когда выступил Надеждин, немецкая философия не только для большинства публики, но и для большей части образованнейших писателей наших оставалась еще предметом неслыханным и непостижимым.

совершенно подчинялись молодые русские приверженцы немецкой философии, уступило место новым воззрениям, высказанным его учениками. Предмет этот имеет высокую важность для истории нашей литературы, потому что из тесного дружеского кружка, о котором мы говорим и душою которого был Н. В. Станкевич, скончавшийся в первой поре молодости, вышли или впоследствии примкнули к нему почти все те замечательные люди, которых имена составляют честь нашей новой словесности, от Кольцова до г. Тургенева. Без сомнения, когда-нибудь этот благороднейший и чистейший эпизод истории русской литературы будет рассказан публике достойным образом. В настоящую минуту еще не пришла пора для того.

Таким образом, в течение семи или восьми лет научные понятия, на которых должна основываться критика, прошли два великие фазиса развития и достигли той окончательной ясности, полноты и последовательности, которой недоставало им в системе самого Гегеля, не только в системе Шеллинга, содержащей не более, как отрывочные и неопределенные зародыши того, что было высказываемо Гегелем. И если Шеллинг в настоящее время имеет значение только как непосредственный учитель Гегеля, то и сам Гегель, в свою очередь, имеет значение только как предшественник стройного и полного учения, выработанного его школою из тех принципов, которые в его системе высказывались не более, как в виде темных предчувствий, оставались без приложений и даже были подавляемы противоречащими их существенному смыслу трансцендентальными понятиями, наследием одностороннего идеализма. Только трудами новейших немецких мыслителей философия получила содержание, соответствующее требованиям точных наук, и основалась, подобно естествоведению, на строгом анализе фактов.

Но немецкая философия занималась по преимуществу только самыми общими и отвлеченными научными вопросами. Принципы общей системы воззрений на мир были, наконец, найдены ею и приложены к разъяснению нравственных и отчасти исторических вопросов; зато другие части науки, не менее важные, оставляемы были в Германии без особенного внимания, — преимущественно должно сказать это о практических вопросах, порождаемых материальною стороною человеческой жизни. Французских мыслителей занимали всегда эти предметы более, нежели немецких, но очень долго не постигались ими во всей глу-

бипе и разрешались или поверхностным, или фантастическим образом. Наконец, когда результаты немецкой философии проникли во Францию, а наблюдения, собранные французами, в Германию, пришло время искать положительных и точных решений. Тогда односторонность науки исчезла; ее содержание было уяснено относительно всех ее существенных задач. Материальные и нравственные условия человеческой жизни и экономические законы, управляющие общественным бытом, были исследованы с целью определить степень их соответственности с требованиями человеческой природы и найти выход из житейских противоречий, встречаемых на каждом шагу, и получены довольно точные решения важнейших вопросов жизни. Этот новый элемент также вошел в наше умственное развитие; критика воспользовалась им, и ее основные воззрения во многих случаях получили большую определенность и жизненность.

Таков был ход науки вообще. Мы, насколько то было возможно, следовали развитию общечеловеческих понятий, которые под конец периода, здесь обозреваемого, нимало уже не походили на то, что было нам известно в его начале. Те отрасли науки, которые, имея предметом русский мир, должны быть обрабатываемы силами русских ученых, также сделали в этот промежуток времени очень значительные успехи, преимущественно русская история, от истинных понятий о которой так много зависит и справедливое понимание исторического хода нашей литературы. Около 1835 года, мы, подле безусловного поклонения Карамзину, встречаем, с одной стороны, скептическую школу, заслуживающую великого уважения за то, что первая стала хлопотать о разрешении вопросов внутреннего быта, но разрешавшую их без надлежащей основательности; с другой — «высшие взгляды» Полевого на русскую историю, — через десять лет, ни о высших взглядах, ни о скептицизме нет уже и речи: вместо этих слабых и поверхностных попыток, мы встречаем строго ученый взгляд новой исторической школы, главными представителями которой были гг. Соловьев и Кавелин: тут в первый раз нам объясняется смысл событий и развитие нашей государственной жизни. Около того же времени или несколько раньше подвергается основательному исследованию вопрос о значении важнейшего явления нашей истории — реформы Петра Великого, о которой до того време-

ни повторялись только наивные суждения Голикова или Карамзина. Нет надобности объяснять, как тесно связана с этим делом участь общего взгляда на нашу литературу. Издания Археографической комиссии дали каждому возможность изучать русскую историю по источникам. Самые упорные противники всего нового соглашаются, что изучение русской истории сделало значительные успехи в течение десяти или двенадцати лет, о которых мы говорим.

Но ближайший предмет критики, русская литература, изменилась еще значительнее. Пушкин явился в совершенно новом свете, когда по смерти его обнародованы были произведения, в художественном отношении превышающие все, что было им напечатано при жизни. Гоголь напечатал «Ревизора». Явились Кольцов и Лермонтов. Все прежние знаменитости померкли перед этими новыми. Явилась новая школа писателей, образовавшихся под влиянием Гоголя. Гоголь издал «Мертвые души». Почти в одно время явились «Кто виноват?», «Бедные люди», «Записки охотника», «Обыкновенная история», первые повести г. Григоровича. Переворот был совершенный. Литература наша в 1847 году была так же мало похожа на литературу 1835 года, как эпоха Пушкина на эпоху Карамзина.

В литературах Западной Европы также совершались великие перемены. Виктора Гюго, Ламартина и Шатобриана, которых прежде считали величайшими поэтами нашего века, стали находить слишком фальшивыми, приторными или натянутыми, их не только перестали превозносить, перестали даже бранить. Вместо их, первую славою французской литературы явилась Жорж Санд, с которой началась совершенно новая эпоха. В английской литературе, вместо исторических романов Вальтера Скотта, этнографических романов Купера и фешенебельных изделий Бульвера, общее внимание привлекли романы Диккенса. В немецкой литературе не нашлось преемников не только Гете, но даже и Гофману. В тридцатых годах славу немецкой поэзии отчасти поддерживал Гейне; но скоро и он оказался человеком отсталым от своего времени; о немецкой беллетристике в сороковых годах не было и слухов за границами немецкой земли. Эти факты должны были оказать сильное влияние на понятия об искусстве: кто прочитал и умел оценить Диккенса и Жоржа

Санда, тот не так будет понимать литературу, как поклонник Вальтера Скотта и Купера, не говоря уже о Ламарти-не и Викторе Гюго.

Словом, все кругом совершенно переменялось, и более всего переменялись именно те элементы нашей умственной жизни, от которых непосредственно зависят характер и содержание критики: научные понятия, служащие ей основанием, и отечественная литература.

Условия, в которых действовала критика гоголевского периода, были, как видим, столь новы, что, по необходимости, возлагаемой самою сущностью дела, она должна была раскрывать собою для нашего литературного сознания совершенно новое содержание. Понятия, на которые она должна была опираться, факты, о которых должна была судить, до такой степени превышали своею глубиною и значительностью все, о чем прежде могла говорить русская критика, что все предшествовавшие ей периоды нашей критики должны были померкнуть в наших глазах, как маловажные в сравнении с нею.

Главным деятелем критики гоголевского периода был Белинский. Читатели, быть может, извинят нас, что в настоящей статье мы не даем ни биографических сведений об этом писателе, ни даже его характеристики, потому что сообщение биографических подробностей не входит в план наших «Очерков», ограничивающихся только рассмотрением произведений и не вдающихся в исследования о частной жизни и личном характере писателей. Мы сами первые чувствуем неполноту и, так сказать, отвлеченность этого плана и утешаемся только тем, что и неполный и сухой разбор все-таки имеет некоторое, хотя временное, значение, пока не являются труды более живые и полные. — Впрочем, при изложении развития и смысла критики гоголевского периода, быть может, менее, нежели в каком бы то ни было другом случае, чувствуется потребность в биографических соображениях: в делах, имеющих истинно важное значение, сущность не зависит от воли или характера, или житейских обстоятельств действующего лица; их исполнение не обуславливается даже ничьей личностью. Личность тут является только служительницею времени и исторической необходимости.

Кто вникнет в обстоятельства, среди которых должна была действовать критика гоголевского периода, ясно поймет, что характер ее совершенно зависел от истори-

ческого нашего положения; и если представителем критики в это время был Белинский, то потому только, что его личность была именно такова, какой требовала историческая необходимость. Будь он не таков, эта непреклонная историческая необходимость нашла бы себе другого служителя, с другою фамилиею, с другими чертами лица, но не с другим характером: историческая потребность вызывает к деятельности людей и дает силу их деятельности, а сама не подчиняется никому, не изменяется никому в угоду. «Время требует слуги своего», по глубокому изречению одного из таких слуг.

Итак, оставим в стороне личность Белинского: он был только слугою исторической потребности, и с нашей отвлеченной точки зрения нас интересует только развитие содержания русской критики, во всем существенно важном с необходимостью определявшееся обстоятельствами, созданными историею. И если мы будем иногда упоминать имя Белинского, говоря о той или другой идее, то вовсе не потому, чтобы собственно от его личности зависело выражение этой идеи: напротив, в том, что есть существенного в его критике, лично ему, как отдельному человеку, принадлежат только те или другие слова, употребление того или другого оборота речи, но вовсе не самая мысль: мысль всецело принадлежит его времени; от его личности зависело только то, удачно ли, сильно ли высказывалась мысль.

* * *

Белинский явился на литературное поприще сотрудником Надеждина, как его ученик и продолжатель. Начал он с того самого, на чем остановился Надеждин, — с чрезвычайно резкого и горького отрицания всей нашей литературы, до самого Гоголя, который и сам тогда еще не доказал, что его деятельность положит конец этому отрицанию. Первая значительная статья нового критика — «Литературные мечтания. Элегия в прозе», — помещенная в «Молве»⁴ 1834 года, имеет самый мрачный и беспощадный тон. Уже заглавие указывает на ее прямое происхождение от «Литературных опасений» Надеждина, намекает, что наша так называемая литература не более, как мечта, и говорит, что думать о ней значит наводить на себя тоску.

Еще резче высказывают общее направление статьи эпитафии, выставленные над нею. Их два:

Я правду о тебе порасскажу такую,
Что хуже всякой лжи.

Грибоедов, «Горе от ума».

«Есть ли у вас хорошие книги?» — Нет; но у нас есть великие писатели. — «Так, по крайней мере, у вас есть словесность?» — Нет, у нас есть только книжная торговля.

Барон Брамбеус⁵.

Статья, объявляющая о своем содержании таким заглавием и такими эпитафиями, заключает обзор всей истории нашей литературы от ее начала до 1834 года. Нужно ли говорить, что она совершенно уничтожает ее? Вообще, только четыре писателя, по мнению автора, имеют право называться русскими писателями: Державин, Пушкин, Крылов и Грибоедов. Да и те — что такое успели сделать? Державина спасло от совершенной пустоты только его невежество, — а невежество может ли создать что-нибудь хорошее? Пушкин показал, что у него есть великий талант, но не произвел ничего, достойного своих сил, а теперь (1832—1834) не печатает ничего хорошего: «теперь он умер или, быть может, только обмер на время, — судя по «Анджело» и сказкам, умер». Крылов хорош в баснях — важное богатство для литературы! Грибоедов написал одну комедию, в которой главное достоинство — едкость, а не художественность. Итак, у нас еще нет литературы. Могут ли четыре человека составлять литературу, особенно если явились, как то было у нас, случайно, без предшественников и продолжателей? Литература явится у нас тогда, когда просвещение укоренится на нашей почве; а теперь нам рано и думать о такой роскоши. «Теперь нам нужно учение! учение! учение! а не литература». Тем же духом проникнуто и другое обозрение, явившееся в «Телескопе» через полтора года (1836). Существенная мысль его достаточно выражается самым заглавием: «Ничто о ничем, или отчет г. издателю «Телескопа» за последнее полугодие (1835) русской литературы». Но Гоголь и Кольцов («Миргород», «Арабески» и «Стихотворения Кольцова» явились в 1835 году) уже вынуждают у автора некоторые уступки в пользу надежды на близость лучшей будущности. Обоих он приветствовал с восторгом, и с самого начала, когда самые проникательные из других ценителей

еще не замечали Кольцова и отзывались о Гоголе с благо-склонною снисходительностью, как о человеке, который пишет очень порядочно, он уже оценил их вполне, увидел в их первых произведениях начало новой эпохи для русской литературы и предсказал, какое высокое место они займут в ней. А между тем, Кольцов тогда напечатал только маленькую тетрадку с восемнадцатью пьесами, из числа которых разве шесть или семь были удачны, а Гоголь издал только «Миргород» и «Арабески», ни «Ревизора», ни большей половины его повестей, ни драматических сцен еще не было, — и, однако же, молодой критик не усомнился и тогда назвать его «главою нашей литературы». Эта проницательность, впрочем, покажется нам совершенно естественною, если мы захотим сообразить, что молодому сотруднику Надеждина были даны природою силы сделаться главою нашей критики в начинавшемся тогда новом периоде: само собою разумеется, что он только потому и исполнил свое назначение, что был готов к нему, что носил в своей душе идеал будущего, истолкователем которого был, когда оно осуществилось: трудно ли человеку, наполненному предчувствием, узнать и оценить с первого же взгляда то, чего он ждал, о чем мечтал? Вообще, человек очень легко понимает все сродное с его собственною натурою*.

В этом открываются уже решительные признаки самостоятельности Белинского при самом начале его деятельности, когда он, по-видимому, еще совершенно следовал влиянию своего учителя. На Кольцова Надеждин не обратил внимания; а что касается первых повестей Гоголя, он понимал, что «Вечера на хуторе» и «Миргород» — произведения прекрасные, но всей важности этих явлений не замечал: находил их автора замечательным писателем, от которого надобно ожидать много прекрасного, но и не предполагал в нем корифея совершенно новой будущности. Эта разница объясняется тем, что один в душе совершенно был человеком нового периода, в уме другого

* Вот существенные места из замечательной статьи «О русской повести и повестях г. Гоголя»: «Арабески и Миргород» («Телескоп», т. XXVII).

«Роман и повесть суть единственные роды, которые появились в нашей литературе не столько по духу подражательности, сколько вследствие потребности... Роман все поглотил, а повесть, пришедшая вместе с ним, изгладил даже и следы всего этого, и сам роман с почтением сторонился и дал ей дорогу впереди себя. В русской литературе повесть еще гостья, но гостья, которая вытесняет давнишних хозяев из их жилища...

стремление к будущему боролось с привычками прошедшего и если побеждало их, то после борьбы, помощью умозаключений и соображений, а не мгновенным инстинктивным влечением родственной природы.

У нас еще нет повести в собственном смысле этого слова... Первенство поэта-повествователя остается за г. Полевым. Но в его повестях есть один важный недостаток: в них заметно большое участие ума, для которого самая фантазия есть как бы средство (т. е. *они сочинены, а не созданы, в них нет поэтического творчества*). Посмотрим, нет ли между нашими писателями такого, который был бы поэт по призванию... Мне кажется, что из современных писателей — я не включаю в это число Пушкина, который уже свершил круг своей художнической деятельности (*так тогда думали, потому что после «Бориса Годунова» Пушкин в течение пяти или четырех лет печатал мало замечательного*), никого не можно назвать поэтом с большею уверенностью и нимало не задумываясь, как г. Гоголя...

Способность творчества есть великий дар природы. Творчество бесцельно с целью, бессознательно с сознанием, свободно с зависимостью. Вот его основные законы. (*Излагается эстетическая теория немецкой философии, введенная к нам Надеждиным.*)

Очень нетрудно к этому приложить сочинения г. Гоголя, как факты к теории. Скажите, какое впечатление прежде всего производит на вас повесть г. Гоголя? Не заставляет ли она вас говорить: «Как все это просто, обыкновенно, естественно и верно и, вместе, как оригинально и ново!» Не удивляетесь ли вы и тому, что вам самим не пришла в голову та же самая идея, почему вы сами не могли выдумать этих же самых лиц, так обыкновенных, так знакомых вам, и окружить их этими самыми обстоятельствами, так повседневными? Вот первый признак истинно-художественного произведения. Потом, не знакомитесь ли вы с каждым персонажем его повести так коротко, как будто вы давно знали его, долго жили с ним вместе? Не верите ли вы на слово, не готовы ли вы побожиться, что все рассказанное автором есть чистая правда, без всякой примеси вымысла? Какая этому причина? Та, что эти создания ознаменованы печатью истинного таланта. Эта простота вымысла, эта нагота действия — верные признаки творчества. Это поэзия реальная, поэзия жизни действительной... И возьмите почти все повести г. Гоголя: какой отличный характер их? Что почти каждая из его повестей? Смешная комедия, которая начинается глупостями, продолжается глупостями и оканчивается слезами, и которая, наконец, называется жизнью. И таковы все его повести: сначала смешно, потом грустно. И такова жизнь наша: сначала смешно, потом грустно! Сколько тут поэзии, сколько философии, сколько истины!

В художественных произведениях должно различать характер творчества, общий всем изящным произведениям, и характер колорита, общенный индивидуальностью автора. Я уже сказал, что отличительные черты характера произведений г. Гоголя суть простота вымысла, совершенная истина жизни, народность, оригинальность, — все это черты общие, потом комическое одушевление, побеждаемое глубоким чувством грусти и уныния — черта индивидуальная.

Комизм, или юмор, г. Гоголя имеет свой особенный характер: это юмор чисто русский, спокойный, простодушный, спокойный в самом своем негодовании, добродушный в самом своем лукавстве...

«Портрет» есть неудачная попытка г. Гоголя в фантастическом роде.

Сотрудничество с Надеждиным оставило навсегда довольно резкий отпечаток на некоторых привычках критики гоголевского периода. Самую существенную из этих принятых по наследству особенностей была беспощадная и непрерывная полемика против романтизма. У Надеждина она была едва ли не самой главной задачей всей критики и, очевидно, проистекала из самого положения нашей литературы. С первого взгляда может показаться, что через десять лет в этих непрерывных филиппиках уже не было настоящей надобности. Романтизм, по-видимому, уже перестал быть опасным, его пора было оставить в покое, и несправедливо было бить лежачего врага. Но это заключение окажется ошибочно, если мы пристальнее вникнем в сущность дела. Во-первых, романтизм сделал только наружные уступки, отказался от своего имени, не более, но вовсе не исчез и очень долго старался оснаживать победу у нового направления; он имел еще много последователей в литературе и многих приверженцев в публике. Чтобы указать на факт, относящийся уже к самому последнему времени критики гоголевского периода, припомним, какую ожесточенную и всеобщую вражду встречена была от всех журналов (кроме «Отечественных записок» и потом «Современника») натуральная школа, которая на самом деле, а не только на словах, отказалась от романтических прикрас: все возмущалась тем, что она описывает действительную жизнь в ее истинном виде, а не

Здесь его талант падает; но он и в самом падении остается талантом. Вообще, надобно сказать, что фантастическое как-то не совсем дается г. Гоголю.

Какой же обций результат выведу я из всего сказанного мною? Если я сказал, что г. Гоголь поэт, я уже все сказал, я уже лишил себя права делать ему судебские приговоры. У нас много писателей, некоторые даже с дарованием, но нет поэтов. *(Пушкина автор исключил, как мы видели, из числа действовавших тогда писателей.)* Поэт — высокое и святое слово; в нем заключается неумирающая слава!.. Задача критики: определить степень, занимаемую художником в кругу своих собратьев. По г. Гоголь только еще начал свое поприще; следовательно, наше дело высказать свое мнение о его дебюте и о надеждах в будущем, которые подает этот дебют. Эти надежды велики, ибо г. Гоголь владеет талантом необыкновенным и высоким. По крайней мере, в настоящее время он является главою литературы, главою поэтов; он становится на место, оставленное Пушкиным.

Поэты бывают двух родов: одни только доступны поэзии, у других дар поэзии есть нечто составляющее нераздельную часть их бытия. Первые иногда один раз в целую жизнь выскажут какую-нибудь прекрасную поэтическую грезу и ослабевают в последующих своих произведениях. Другие с каждым новым произведением возвышаются и крепнут. Г. Гоголь принадлежит к числу этих последних поэтов: этого довольно!»

повествует о небывалых в мире злодеях и героях и невиданных красотах природы,— все эти нападения происходили из привязанности к преданиям романтизма. Да и до сих пор романтизм еще живет во всех тех, которые, по добродушной робости или по любви к мишуре, не любят правды, высказываемой без прикрас, и находят, что как поле красно рожью, так речь — ложью, что отрицание бесплодно, что, впрочем, оно уж сделало свое дело, что пора нам обратиться к более благосклонному взгляду на жизнь, и т. д., т. е. тоскуют по блаженной поре Гремных и Лариных, с прочими аркадскими принадлежностями. Если вы хотите испытать, на самом ли деле много еще осталось у нас романтиков, есть для того средство очень легкое: пробный камень для романтизма — критика гоголевского периода; кто не доволен ее мнимую излишней суровостью (разумеется, не по каким-нибудь личным расчетам или лицемерию — о подобных людях нечего и говорить — а по искреннему убеждению), в том не умер романтизм. А таких людей еще набирается довольно много⁶. Ныне можно не обращать на них внимания: для большинства публики их мнения забавны и только, а никак не опасны. Пятнадцать лет тому назад было не то: мнения, которые ныне составляют лишь забаву, утешающую отдельных людей, не имеющих влияния на публику, были очень сильны в литературе. Стоит припомнить, как один из тогдашних критиков не хотел печатать повестей Гоголя в журнале, которому давал направление, и не хотел даже писать разбора его комедии, считая эту пьесу низким фарсом⁷. Основанием его наивных понятий были, конечно, романтические требования возвышенных страстей и идеальных личностей в искусстве. А этот критик в то время считался представителем современной науки. Каковы же были понятия других литературных судей, даже и не подзревавших в искусстве ничего, кроме французских мелодраматических изделий? «Отечественные записки» одни боролись против всех журналов, в этом случае продолжая дело «Телескопа».

Но борьба с романтизмом, которая в критике гоголевского периода более всего остального могла бы казаться простым продолжением мысли Надеждина, сохранила только наружное сходство с его филиппиками, получив мало-помалу совершенно новое содержание. Надеждин восставал против романтизма с учено-литературной точки зрения, доказывая только, что французский новейший романтизм так же мало похож на романтизм средних веков,

как псевдо-классическая литература на греческую, и потому, подобно ей, присвоивает себе ложное имя, а собственно должен считаться не более, как псевдо-романтизмом, жалкой подделкой под истинный романтизм, невозможный в наше время, и потому прославленные псевдо-романтические произведения нелепы в эстетическом отношении. Эту отвлеченную точку зрения ограничивалась его полемика. Критика гоголевского периода смотрела на вопрос шире: она восставляла на романтизм как на выражение натянутых, экзальтированных, лживых понятий о жизни, как на извращение умственных и нравственных сил человека, ведущее к фантазерству и пошлости, самообольщениям и кичливости. Надеждин и не предчувствовал, что сущность псевдо-романтизма заключается не в нарушении эстетических условий; а в искаженном понятии об условиях человеческой жизни; он сам не был свободен в этом отношении от заблуждений, которые ничем не отличались от основной ошибки романтиков, считавших только колоссальные страсти и эффектные явления достойными внимания поэта. Хорошо понимая мелочность того, что романтики воображали себе титаническим, Надеждин слишком склонен был искать поэзию в одном только повышенном, далеко превышающем явления обыкновенной действительности. Не нужно говорить о том, как мало могли подходить под этот идеал писатели, подобные Диккенсу или Гоголю, изображающие повседневную жизнь, — да и не было таких поэтов во времена Надеждина. Все были тогда экзальтированы или старались прикинуться экзальтированными, — разочарованность была только особенным и едва ли не самым натянутым родом экзальтации, — никто не догадывался о лживости экзальтированного взгляда на жизнь. Потому-то и недовольство романтизмом возбуждалось более формальными недостатками его произведений, нежели фальшивостью основного его взгляда на жизнь. Только следующему поколению, воспитанному более положительною философиею и наслаждавшемуся более здоровыми созданиями искусства, представлено было восстать против романтических фантазий не с одной литературной, но и с житейской точки зрения. Словом, Надеждин имел дело с романтизмом, как противуэстетическим явлением в литературе; критика гоголевского периода, разделяя этот взгляд, обращала главное свое внимание на романтиков, как людей, губящих жалким образом свои силы, как на людей, по заблуждению делающихся вредными для самих себя и смешными. Она

заклеймила осмеянным именем романтизма всякую аффектацию, натянутость, болезненную апатию, величающую себя гордым разочарованием, всякую пошлость, прикрывающую себя пышными фразами, всякую реторику в словах и делах, в чувствах и поступках. Борьба с этим романтизмом должна быть вменена в заслугу исключительно ей. В этом деле критика гоголевского периода не имела предшественников и своими едкими насмешками оказала несомненную услугу не только литературе, но и самой жизни; в нем доселе имеет она и долго будет иметь ревностным своим последователем каждого здравомыслящего писателя, потому что борьба против болезненного романтического направления в жизни доселе необходима и будет еще необходима и тогда, когда совершенно забудется имя литературного романтизма. Борьба эта продолжится до той поры, когда люди совершенно отвыкнут обольщаться аффектацией в жизни, когда они привыкнут смеяться над всем неестественным, как пошлым, какими бы выгодными фразами и формами ни прикрывалась его внутренняя пошлость.

Малосведущие или увлеченные горячностью споров противники с диким негодованием вопияли, что критика гоголевского периода святотатственно посягает на славу знаменитых людей нашей литературы, что она разрушает пьедесталы, на которых стоят их величественные статуи, топчет в грязь все, чем должна гордиться наша прошедшая литература, и т. д. и т. д. Если б эти крики были справедливы, мы имели бы другую точку очень близкого сходства между деятельностью Надеждина и его бывшего ученика. К сожалению, они основаны только на незнании или беспомысленности. Дело уничтожения литературных авторитетов вовсе нельзя причислять к новым и существенно-важным целям, достигнуть которых хотела критика гоголевского периода, и если она когда делала что-нибудь в этом роде, то разве относительно авторитетов, далеко не первостепенных и пимало не освященных древностью лет, напр., относительно Марлинского и Полевого. Конечно, для иных и это неприятно, но уж решительно никому не может казаться важным преступлением, по незначительности самого предмета. Что же касается до святотатственного, по мнению некоторых, посягательства на Ломоносова, Державина и других действительно первоклассных писателей, критика гоголевского периода совершенно лишена была возможности придумать что-нибудь в уменьшение их славы по очень простой причине: все, что можно было сказать

в этом смысле, давно уж было высказано или Полевым, или Надеждиным. Обвинять в этом критику гоголевского периода значит приписывать ей заслугу, вовсе не ей принадлежащую*. Ей предстояло дело совершенно другого рода: не увлекаясь ни старым отрицанием, ни еще более старыми панегириками, показать историческое значение различных периодов нашей литературы и замечательнейших ее деятелей, дать нам историю нашей литературы, чего еще не было сделано никем из предшествовавших критиков. Взгляд на литературу, предшествовавшую Пушкину, у критики гоголевского периода был умереннее и снисходительнее, нежели у критики романтического периода; а что касается Пушкина и его сподвижников, критика гоголевского периода почти постоянно должна была противоречить резким приговорам Надеждина. Словом, она не разрушала, а, напротив, воссоздала все, что в прошедшем заслуживало уважения. Иначе и быть не могло: нападать на Ломоносова и Державина, на Карамзина и Пушкина уже было не нужно и неуместно; если когда-то их и превозносили безотчетными панегириками, то это слепое поклонение в образованной части публики давно уже было уничтожено «Телеграфом»⁸ и «Телескопом», и когда явился Гоголь, наступило время говорить о прошедшем с уважением, потому что развившееся из него настоящее стало заслуживать уважения. Так с уважением

* Вообще, надобно заметить, что отрицание, выражающееся печатным образом, принимает формы, гораздо менее жесткие, нежели те, которыми облечается оно в разговорах и частной переписке. Литература в этом случае, как и во многих других, пролагает путь к примирению, как скоро дает простор выражению чувства, которое, оставаясь безвыходным, не знало бы границ своей враждебности. Напрасно было бы воображать, что, например, Полевой, разрушитель устаревших литературных авторитетов, ценил писателей, предшествовавших Пушкину, менее, нежели всякий другой из его современников, имевших хотя некоторое литературное образование и не лишённых вкуса. Напротив, надобно признаться, что каждый из них втихомолку выражался гораздо резче, нежели говорил Полевой. Вот как, например, думал о Державине еще в 1825 году сам Пушкин, великий поклонник старины:

«По твоём отъезде перечел я Державина всего. Вот мое окончательное мнение: этот чудак не знал ни русской грамоты, ни духа русского языка. У Державина должно будет сохранить од восемь да несколько отрывков, а прочее сжечь. Жаль, что наш поэт слишком часто кричал петухом» (*отрывок из письма к Дельвигу, изд. 1855 г., часть I, стр. 156*)⁹.

Кажется, резче этого трудно придумать что-нибудь, и, наверное, в «Телеграфе» не найдется ни одного выражения, которое бы хотя сколько-нибудь подходило к словам Пушкина своєю жесткостью. А кто знает «Телеграф» и «Телескоп», тот знает, что критика гоголевского периода вообще отзывалась о прежних наших писателях с гораздо большею умеренностью, нежели Полевой и Надеждин.

начинают говорить об отцах, когда потомки их заслужат славу.

Откуда же взялось мнение, что одним из дел критики гоголевского периода было уничтожение прежних авторитетов? Не будем говорить о побуждениях, проистекавших из самолюбия многих раздраженных ею тогдашних писателей, которые находили удобным кричать: «вы не верьте, читатели, тому, что говорит этот человек о моих сочинениях; он бранит не только меня, он бранит и Державина, и Ломоносова, он всех великих писателей (в том числе и меня) хочет унижить»; не будем также указывать других подобных расчетов, какие внушаемы были завистью или враждою: все эти жалкие факты не заслуживают того, чтобы вспоминать о них. Обратим внимание только на законные, так сказать, причины, от которых происходило ошибочное мнение, будто уничтожение прежних литературных авторитетов было одним из существенных дел критики гоголевского периода. «Отечественные записки» имели гораздо более обширный круг читателей, нежели «Телескоп» или «Телеграф»; потому даже из старых читателей многие, не знавшие прежних журналов, из «Отечественных записок» в первый раз вычитали суждения о нашей старой литературе, непохожие на безотчетные и неленные похвалы, какие долго повторялись в разных книжках, называвших себя историями русской словесности, критиками и т. п. Сюда надобно причислить и большую часть молодого поколения, не просматривавшего старых журналов и видевшего, что из новых только «Отечественные записки» говорят о Ломоносове и т. д. беспристрастно, между тем как все остальные нападают за то на этот журнал. Молодое поколение, конечно, не ставило этого в вину «Отечественным запискам», — напротив; зато иные сердечно негодовали на молодое поколение, восхищающееся «Отечественными записками», и на «Отечественные записки», поселяющие в молодых людях непочтительность к Ломоносову и т. д. Эти добряки должны были бы помнить, что во время их молодости «Телеграф» говорил о старой литературе без подбострастия, которого они требовали, впрочем, сами не зная, чего требуют; они должны были бы помнить, что уничтожение авторитетов, существовавших до Пушкина, было делом «Телеграфа», а существовавших при Пушкине — делом Надеждина. Что однажды исполнено, того не было уже надобности, да и не могло быть охоты, делать во второй раз. Когда явились Гоголь, Лермонтов и писатели так называемой натураль-

ной школы, возвышать или унижать предшествовавших писателей было уже поздно: надобно было только показать ход постепенного развития русской литературы, в существовании которой до того времени сомневались, и определить отношения между различными ее периодами — вот что, действительно, было делом новым и необходимым. И оно было исполнено Белинским. До него существовала критика, но истории литературы у нас еще не было. Ему обязаны мы тем, что имеем о ней верные и точные понятия.

Но русская литература до Гоголя находилась еще в первых периодах своего развития, из которых каждый предыдущий имеет значение не столько по безусловному совершенству ознаменовавших его явлений, сколько по тому, что служил приготовлением к следующему, более высокому развитию*. Сущность понятий критики гоголевского периода об истории русской литературы состояла в проведении этого основного взгляда чрез все факты. Это послужило для людей, не знавших резкого тона предыдущей критики, новою причиною предполагать, будто бы критика гоголевского периода уничтожает прежние авторитеты: она, видите ли, доказывала, что Державин имеет огромное историческое значение, как представитель екатерининского века в литературе и как один из предшественников и учителей Пушкина, а не говорила — какое преступление! — что Державин имеет более эстетических достоинств, нежели Пушкин. Добрые люди, находившие такие слова дерзкими и унижающими Державина, не догадывались, что этим суждением возвращалось Державину право на славу, которую прежняя критика совершенно отнимала у него, потому что, отрицая эстетические достоинства его произведений, не замечала и исторической их цены. Эти добрые люди не знали того, как судили о Державине писатели пушкинского периода. Тогда без дальних

* Чтобы не подать повода к недоразумению, будто мы без меры превозносим новое насчет старого, скажем здесь кстати, что и настоящий период русской литературы, несмотря на все свои неотъемлемые достоинства, имеет существенное значение, более всего только потому, что служит приготовлением к дальнейшему, будущему развитию нашей словесности. Мы настолько верим в будущее лучшее, что даже о Гоголе не сомневаясь говорим: будут у нас писатели, которые станут на столько же выше его, на сколько выше своих предшественников стал он. Вопрос только в том, скоро ли придет это время. Хорошо было бы, если б нашему поколению суждено было дождаться этого лучшего будущего. Если мы будем говорить о школе Гоголя, то постараемся объяснить причины такого мнения подробнее.

рассуждений решали, что Державин «кричал петухом», и потому его сочинения «должно сжечь». После таких решений, критика, доказывавшая, что Державин имеет большое историческое значение, уничтожала или восстанавливала его славу? Когда утверждали, что она стремилась уничтожить прежние авторитеты, ей приписывали чужую заслугу, — заслугу, говорим мы, потому что уничтожение слепого поклонения кумирам (кумирами называем старые литературные авторитеты не мы: это опять выражение Пушкина о Державине) всегда бывает великою заслугою для умственной жизни общества. Но у критики гоголевского периода так много своих собственных прав на высокое место в истории литературы, что она не нуждается в присвоении чужих. Кроме беспамятности или незнакомства с прежнею критикою, была, впрочем, еще причина считать Белинского первым человеком, заговорившим у нас, что период Пушкина бесконечно выше предшествовавшей нашей литературы: он излагал свой взгляд на историю русской литературы ясно, определительно и подкреплял его доказательствами, а романтическая критика ни о чем не могла говорить без громких фраз и доказательств не представляла, а вместо того скрашивала свои жестокие приговоры рассуждениями о брильянтах и изумрудах, о потомках Багрима и ярких искрах, вылетающих из могущественной груди русского волкана.

Есть также мнение, будто бы критика гоголевского периода простерла свои отрицания до того, что подвергла сомнению существование русской литературы до Гоголя. Это опять было вовсе не ее дело. Известно, что романтические критики прямо утверждали, что русская литература не существует. Это говорил, еще до появления «Телеграфа», Марлинский. Позднее то же самое еще сильнее высказывал Надеждин. Словом, это была общая тема всей нашей критики до самого того времени, когда русская литература получила новое направление, благодаря деятельности Гоголя. Белинский сначала разделял это мнение, потому что в нем было, для тридцатых годов, очень много справедливого. Но заслуга ли или преступление изобрести мысль: «русская литература доселе не существует», нимало не принадлежит это изобретение Белинскому. Напротив, ему принадлежит та заслуга, что, когда через несколько лет положение русской литературы изменилось, он первый понял важность этого изменения и сказал: до сих пор надобно было сомневаться в существовании русской литературы; теперь должно положитель-

но сказать, что она существует. Ему, а не кому-нибудь другому досталось на долю высказать это отрадное убеждение потому, что ему, из наших замечательных критиков, первому судьба назначила действовать в такое время, когда безусловное отрицание всего в нашей литературе сделалось уже несправедливо. Вместо обыкновенной фразы, что он был в нашей критике органом отрицания, надобно сказать, напротив, что он первый, сообразно изменившемуся положению нашей литературы, положил границы отрицанию, которое у Надеждина не имело границ.

Когда литература наша в течение гоголевского периода начала становиться тем, чем должна быть — выражением народного самосознания, и, таким образом, достигла, хотя до некоторой степени, цели, к которой стремилась, тогда и предыдущее развитие ее получило смысл, которого нельзя было заметить в нем прежде; только тогда можно было заметить, что одни явления сменялись в ней другими не напрасно и не случайно, что она имеет свою историю. Критика гоголевского периода заметила и высказала это. Она первая начала утверждать, что наша литература постоянно развивалась, что ее периоды имеют между собою связь, что Державин и Пушкин явились не случайно, как то казалось прежде, и, как мы заметили, Белинский был первым историком нашей литературы*. Недаром его первая значительная статья, отрицающая существование русской литературы, содержанием своим имела подробный обзор ее фактов от Ломоносова до Пушкина.

Но если мы говорим о том, что критика гоголевского периода положила границы отрицанию и дала нам в первый раз историю русской литературы, считавшейся до того времени не более, как случайным, безжизненным и почти всегда бессмысленным отражением различных явлений иноземных литератур, то мы говорим это о позднейшей поре развития критики гоголевского периода, когда она достигла уже полной самостоятельности и когда положение русской литературы существенно изменилось влиянием Гоголя, деятельностью Лермонтова и многочисленных писателей нового поколения, воспитанных отчасти

* Интересно проследить, по статьям Белинского, как изменяющееся положение нашей литературы постепенно приводило критику от надежного отрицания, справедливого в свое время (1834), к убеждению, сделавшемуся столь же справедливым через десять лет: «есть у нас, наконец, нечто достойное называться литературою; она получила, наконец, значение, какого не имела прежде, и мы теперь можем видеть, к какому

Пушкиным и Лермонтовым, а более всего творениями Гоголя и критикой Белинского. Но в 1834—1836 гг. это будущее едва можно было неопределенным образом только предвидеть, и почти все оставалось в настоящем неподвижно. Не было еще достаточных причин существенным образом изменять мнений, представителем которых был Надеждин, и автор статей о Пушкине начал, как мы заметили, почти тем же самым, что говорил Надеждин. Как то всегда бывает, если человек молодого поколения принимает мысль, выраженную его учителем, он придал этой мысли еще больше определенности, нежели она имела у самого Надеждина.

Однако, по исторической необходимости, это скоро должно было измениться: новый период для русской литературы уже начинался. Мы видели, как быстро и верно предугадывал ученик Надеждина, по «Миргороду» и «Арабескам», какого писателя мы будем иметь в Гоголе; скоро «Ревизор» должен был оправдать это предчувствие. Кольцов уже явился, Лермонтов скоро должен был явиться. Мы видели, какое существенное различие между учи-

результату вели, какой смысл имели те литературные явления, которые прежде казались бесплодными и случайными». Вот некоторые выписки, приблизительно обозначающие эпохи этого движения:

1834. (До Гоголя.) «У нас нет литературы». *Литературные мечтания*, «Молва», 1834 г., № 39, стр. 190.

1840. (Гоголь издал свои повести и «Ревизора», но еще не имеет решительного влияния на литературу.) «У нас нет литературы в точном значении этого слова, как выражения духа и жизни народной, но у нас есть уже начало литературы». *Русская литература в 1840 году*, «Отечественные записки», 1841 г., том XIV, Критика, стр. 33.

1843. (Изданы «Мертвые души»; школа Гоголя начинает занимать видное место.) «Песмотря на бедность нашей литературы, в ней есть жизненное движение и органическое развитие; следовательно, у нее есть история. Мы желаем хоть намекнуть на это развитие и проложить другим дорогу там, где еще не протоптано и тропинки». *Первая статья о Пушкине*, «Отечественные записки», 1843 г., том XXVIII, стр. 24.

1847. (Влияние Гоголя решительно торжествует.) «Было время, когда вопрос: есть ли у нас литература? не казался парадоксом и многими разрешен был в отрицательном смысле... Один из величайших умственных успехов нашего времени в том и состоит, что мы открыли, что у России была своя история. То же и в отношении к истории русской литературы... Литература наша дошла до такого положения, что успехи ее в будущем, ее движение вперед зависят больше от объема и количества предметов, доступных ее заведыванию, нежели от нее самой. Чем шире будут границы ее содержания, чем больше будет пищи для ее деятельности, тем быстрее и плодотворнее будет ее развитие. Как бы то ни было, но если она еще не достигла своей зрелости, то уже нашла, нащупала, так сказать, прямую дорогу к ней; а это великий успех с ее стороны». *Взгляд на русскую литературу*, «Современник», 1847 г., № 1, Критика, стр. 4 и 28.

телем и учеником высказалось во взгляде на значение Гоголя и достоинства первых стихотворений Кольцова: один еще не замечал фактов, на которых другой уже основывал свои понятия о русской литературе.

Но коренное различие между понятиями ученика и учителя о русской литературе заключалось тогда (1835—1836) не только в том, что один замечал необыкновенную важность новых фактов, на которые другой медлил обратить надлежащее внимание: и те коренные воззрения, на основании которых произносятся суждения о фактах, были уже не одинаковы. Сотрудник «Телескопа» сделался приверженцем Гегеля, между тем как издатель, не будучи враждебен этому новому фазису развития немецкой науки, оставался, однако ж, в сущности учеником Шеллинга.

Биографические монографии, необходимость которых в настоящее время чувствуется живее, нежели когда-нибудь, должны объяснить нам, когда и как начались тесные дружеские отношения между Н. В. Станкевичем и Белинским. Мы теперь можем положительно сказать только, что они начались очень рано¹⁰; что первым распространителем энтузиазма к Гегелю между молодым поколением в Москве был Станкевич; что он был другом Кольцова; что когда Надеждин, в 1835 году, уехал за границу и заведывание «Телескопом» поручил Белинскому, тотчас появились в этом журнале стихотворения Кольцова, перед тем самым временем отысканного Станкевичем в Воронеже, и чаще прежнего стали являться упоминания о Гегеле, а скоро было напечатано и обширное изложение системы этого мыслителя. Наконец, самое содержание статей, писанных в 1835—1836 годах молодым сотрудником Надеждина, обнаруживает, что он тогда уже находился под сильным влиянием этой новой у нас философии. Вообще, нельзя не видеть, что, в это время, если сохранялись еще в образе воззрений Белинского многие черты непосредственного родства с понятиями, собственно принадлежащими Надеждину, то еще гораздо более находилось тождественного с теми идеями, которые потом с такою пылкостью излагались людьми молодого поколения в «Московском наблюдателе»¹¹, и, во многих частностях продолжая быть учеником Надеждина, его сотрудник совершенно принадлежал всеми стремлениями своими новым идеям, тогда проникавшим в молодое поколение.

Различие в характере книжек «Телескопа», изданных в отсутствие Надеждина его сотрудником, от предыдущих

номеров бросается в глаза. Оно так резко, что если бы издатель был человек неподвижный в умственной жизни, то, по возвращении, остался бы решительно недоволен направлением, приданным его журналу. Но, сколько то видно из фактов, представляемых самим журналом, этого не было. Напротив, оправдывая перед публикою неисправность выхода журнала в свое отсутствие непредвиденными обстоятельствами, Надеждин указывал на достоинство содержания изданных без него номеров, как на доказательство того, что перед отъездом им были приняты все меры, чтобы читатели ничего не потеряли от его поездки за границу. Сотрудник, издавший эти номера, сохранил свое положение в журнале, даже приобрел на его направление более влияния, нежели имел до поездки Надеждина. Критика, относящаяся к произведениям изящной словесности и литературным журналам, перешла совершенно в руки Белинского и получила большее развитие. Себе Надеждин оставил только критические разборы ученых сочинений. Все, что начато было Белинским в отсутствие редактора, продолжалось и при редакторе, до конца «Телескопа». Молодые сотрудники, введенные в журнал Белинским¹², продолжали помещать свои статьи в нем и увлекали журнал вперед; Надеждин отдался молодому поколению. Разногласия от литературных причин не было и, сколько можно судить по самому журналу, не предвиделось*.

«Что́ было бы, если бы не случилось того, что случилось?» Что́ было бы, если бы «Телескоп» не прекратился? Вопросы подобного рода не пользуются репутациею особенного глубокомыслия, и ответы на них не принимаются в особенное уважение, хотя очень часто такие вопросы сами собой навязываются воображению, и ответы на них иногда очень легко подсказываются здравым смыслом.

* Эти выводы основываются на материалах, представляемых содержанием «Телескопа» и «Молвы». Мы очень хорошо понимаем, что один этот источник недостаточен и должен быть дополнен воспоминаниями лиц, бывших тогда близкими к «Телескопу»; и мы были бы очень рады, если бы такие воспоминания явились в печати, хотя бы и обнаружилось ими, что в том или другом случае мы ошиблись. Впрочем, каковы бы ни были отношения редактора «Телескопа» с его главным сотрудником и молодыми друзьями последнего, литературная сторона этих отношений, которая здесь исключительно важна для нас, с удовлетворительною точностью характеризуется данными, находимыми в самом журнале, и выводы, представленные выше, едва ли могут быть существенно изменены биографическими воспоминаниями.

Признаемся, нам хотелось бы, подобно Кифе Мокиевичу, «обратиться к умозрительной стороне» и поразмыслить о «философическом», по его выражению, вопросе, который нам представился. Но мы вспомнили одно из основных положений гегелевой философии, к которой приводит нас «Московский наблюдатель»: «все действительное разумно и все разумное действительно», и заключили, что продолжение существования «Телескопа» было бы неразумно¹³. Потому, оставляя умозрения, будем продолжать историю «разумной» действительности, в «Московском наблюдателе» — редкий случай! — являвшейся на самом деле разумною.

В «Телескопе» молодое поколение пользовалось очень значительным влиянием, получило, наконец, решительный перевес, но все еще не было и не могло быть полным хозяином. По прекращении этого журнала, оно несколько времени не имело органа в литературе, но в 1838 году получило в полное свое распоряжение «Московский наблюдатель». Материальные средства этого журнала были в то время совершенно истощены жалким трехлетним существованием. Молодое поколение располагало богатым запасом энтузиазма и дарований, но не капиталами; потому «Московский наблюдатель» скоро прекратился. Но его кратковременная жизнь при второй редакции была блистательна. Он был прекрасным выражением стремлений молодежи, пылкой и благородной. Главными сотрудниками Белинского были в этом журнале: г. К. Аксаков, г. Боткин, г. Катков, Ключников (— Θ —)¹⁴, Красов и г. Кудрявцев. Невозможно отказать в уважении и сочувствии кружку, состоявшему из таких людей. А мы еще пропустили некоторые имена, еще более выразительные*. Душою их круга был Станкевич. Заведывание журналом принадлежало Белинскому. Все эти люди были тогда еще юношами. Все были исполнены веры в свои благородные стремления, надежд на близость прекрасного будущего. Мудрость устами Гегеля, все разгадавшего, как им казалось, все примирившего Гегеля, раскрыла перед ними тайны, дотоле непостижимые людям. Поэзию упоены были их сердца; слава готовила им венцы за благую весть, провозглашаемую от них людям, и, увлекаемые силою энтузиазма, стремились они вперед:

Как смело, с бодрою охотой,
Мечты надеясь достигнуть,

* Например, Кольцова.

Еще не связанный заботой,
Пускался юноша в свой путь!
Как он легко вперед стремился!
Что для счастливица тяжело?
Какой воздушный рой теснился
Вкруг светлого пути его!
Любовь с улыбкой благосклонной
И счастье с золотым венцом,
И слава с звездною короной
И в свете истина живом...*

Могучая сила
В душе их кипит;
На бледных ланитах
Румянец горит;
Их очи, как звезды
По небу, блестят;
Их думы — как тучи;
Их речи горят.
И с неба, и с время
Покровы сняты...
Шумна их беседа
Раумно идет;
Роскошная младость
Здоровьем цветет...**

И кто хочет перенестись на несколько минут в их благородное общество, пусть перечитает в «Рудине» рассказ Лежнева о временах его молодости и удивительный эпилог повести г. Тургенева.

СТАТЬЯ ШЕСТАЯ

«Московский наблюдатель» был передан в распоряжение друзей Станкевича уже тогда, когда материальные средства к продолжению издания были совершенно истощены и только бескорыстная энергия новых сотрудников могла продлить еще на год существование журнала, доведенного до гибели прежнюю редакцию. Но этот последний, слишком краткий, период жизни «Московского наблюдателя» был таков, что никогда еще ничего подобного, за исключением разве последних книжек «Телескопа», не бывало в русской журналистике. Даже «Телеграф» в свое лучшее время не был так проникнут единством задушевной мысли, не был одушевлен таким пламенным стремлением служить истине и искусству; и если бывали у нас до

* «Идеалы» Шиллера, перевод К. Аксакова, «Московский наблюдатель», т. XVI, стр. 543.

** Из стихотворения Кольцова в память Станкевича¹⁵.

того времени альманахи и журналы, имевшие гораздо большее число сотрудников, уже пользовавшихся громкою знаменитостью, как, например, «Библиотека для чтения» в 1834, пушкинский «Современник»¹⁶ в 1836 году, то никогда еще не соединялось в русском журнале столько истинно замечательных дарований, столько истинного знания и неподдельной поэзии, как в «Московском наблюдателе» второй редакции (томы XVI, XVII и XVIII прежней нумерации и томы I и II новой). В 1838—1839 годах новые сотрудники «Наблюдателя» были юношами, еще почти совершенно безвестными; но почти все они оказались людьми сильными и даровитыми, почти каждому из них суждено было составить себе прочную, благородную, безукоризненную известность в нашей литературе, а некоторым и приобрести блестящую славу; будущность принадлежала им, как и теперь настоящее принадлежит им и тем людям, которые впоследствии прикнули к ним.

«Московский наблюдатель» менее известен, нежели «Телеграф» и «Телескоп»; потому не излишне будет, прежде нежели говорить подробно об его учено-критических воззрениях, сказать два-три слова об общей физиономии последних томов журнала, изданных людьми нового поколения, деятельность которых теперь занимает нас.

До того времени, когда решительное влияние Гоголя на молодые таланты обратило большинство даровитых писателей к предпочтению прозаической формы рассказа, стихотворения были блестящею стороною нашей изящной литературы. «Московский наблюдатель» не имел между своими сотрудниками Пушкина, как альманахи 1823—1833 годов или первые годы «Библиотеки» и (пушкинского) «Современника». Но если взять поэтический отдел «Наблюдателя» весь вместе и сравнить его с тем, что представляла наша поэзия в прежних столь знаменитых ею альманахах и в самом пушкинском «Современнике» (не говоря уже о «Библиотеке», далеко уступавшей в этом отношении «Современнику», «Северным цветам» и проч.), то нельзя не признать, что по отделу поэзии «Московский наблюдатель» был гораздо выше всех прежних наших журналов и альманахов, где, кроме произведений Пушкина и переводов Жуковского, только немногие стихотворения возвышаются над уровнем бесцветной и пустой посредственности, между тем как в «Московском наблюдателе» мы почти не найдем стихотворений, которых нельзя

было бы с удовольствием прочитать и ныне, а напротив, кроме дивных созданий Кольцова, многие другие пьесы остаются до сих пор замечательны и прекрасны *.

* Кроме стихотворений Кольцова, в «Московском наблюдателе» помещались:

Переводы из Гете и Шиллера г. К. С. Аксакова, которого надобно назвать одним из лучших наших поэтов-переводчиков. Мнение, иногда высказываемое ныне, будто стих этих переводов был тяжел, не совершенно основательно; нам кажется, напротив, что мало найдется таких прекрасных и поэтических переводов, как, например, следующая пьеса из Гете («М[осковский] н[аблюдатель]» XVI, 92):

НА ОЗЕРЕ

Как освежается душа
И кровь течет быстрее!
О, как природа хороша!
Я на груди у ней!

Качает наш челнок волна,
В лад с нею весла бьют.
И горы в мшистых пеленах
Навстречу нам встают.

Что же, мой взор, опускаешься ты?
Вы ли опять, золотые мечты?
О, прочь, мечтанье, хоть сладко оно!
Здесь все так любовью и жизнью полно!

Светлою толпою
Звезды в волнах глядите
Туманы грядю
На дальних высях ложатся;
Ветер утра качает
Деревья над зеркалом вод;
Тихо отражает
Озеро спеющий плод.

Приводя это стихотворение, мы имеем целью не только представить доказательство, что не напрасно причисляем переводы г. К. Аксакова, в «М[осковском] н[аблюдателе]» к произведениям, имеющим положительное достоинство: для нас «На озере» послужит поэтическим выражением самой характеристической особенности того мирозерцания, которое господствовало в «Московском наблюдателе».

Переводы г. Каткова из Гейне и отрывки из его прекрасного перевода «Ромео и Джульетта» Шекспира.

Стихотворения Ключникова (— Θ —) и нескольких других более ли менее замечательных талантов.

Стихотворения Красова, который был едва ли не лучшим из наших второстепенных поэтов в эпоху деятельности Кольцова и Лермонтова. Его пьесы давно надобно было бы собрать и издать: они очень заслуживают того, и напрасно мы забываем об этом замечательном поэте.

Мало того, что из многочисленных стихотворений, помещенных в «Московском наблюдателе» второй редакции, только разве немногие могут быть названы слабыми — достоинство, которым не мог похвалиться до того времени ни один из наших журналов, — есть в этой массе пьес другое качество, еще более новое для того времени: пустых стихотворений в ней не найдется решительно ни одного, каждая лирическая пьеса действительно проникнута чувством и мыслью, так что стихотворный отдел «Московского наблюдателя» не может быть и сравниваем с тем, что встречаем в других тогдашних журналах.

Беллетристикою журналы не могли тогда похвалиться: хороших повестей писалось очень мало, потому что всего три-четыре человека умели тогда писать прозу так, что их произведения можно теперь перечитывать без улыбки. Но и по отделу беллетристики «Московский наблюдатель» был едва ли не выше всех остальных своих собратий, печатая повести Нестроева (г. Кудрявцева), за которыми должно остаться одно из самых первых мест в истории возникновения нашей изящной прозаической литературы. В настоящей статье не место оценивать талант Нестроева: это мы надеемся сделать впоследствии¹⁷; но в том нет сомнения, что повести его по своему художественному достоинству должны были занять в истории русской прозы почетное место. Нестроев — писатель с дарованием самостоятельным и сильным, каких тогда было очень немного, или, лучше сказать, почти вовсе не было, кроме таких колоссальных талантов, как Пушкин, Гоголь и Лермонтов.

Таким образом, изящная словесность в «Московском наблюдателе» замечательна по художественному достоинству; но еще гораздо интереснее она в том отношении, что служит вообще верным и полным отражением принципов, одушевлявших общество молодых людей, которые собрались вокруг Станкевича. До того времени только очень немногие из наших поэтов и нувеллистов умели приводить смысл своих произведений в гармонию с идеями, которые казались им справедливыми: обыкновенно повести или стихотворения имели очень мало отношения с так называемым «миросозерцанием» автора, если только автор имел какое-нибудь «миросозерцание». В пример, укажем на повести Марлинского, в которых самый внимательный розыск не откроет ни малейших следов принципов, которые, без сомнения, были дороги их автору, как человеку. Обыкновенно жизнь и возбуждаемые ею убеждения были сами по себе, а поэзия сама по себе: связь

между писателем и человеком была очень слаба, и самые живые люди, когда принимались за перо в качестве литераторов, часто заботились только о теориях изящного, а вовсе не о смысле своих произведений, не о том, чтобы «провести живую идею» в художественном создании (как любила выражаться критика гоголевского периода). Этим недостатком — отсутствием связи между жизненными убеждениями автора и его произведениями — страдала вся наша литература до того времени, когда влияние Гоголя и Белинского преобразовало ее. Литературный отдел «Московского наблюдателя» является едва ли не первым зародышем постоянной гармонии убеждений человека со смыслом его художественных произведений, — той гармонии, которая ныне владычествует в нашей литературе и придает ей силу и жизнь. Молодые поэты и беллетристы, участвовавшие в этом журнале, писали именно о том, что их занимало, а не о каких-нибудь сюжетах, навеянных другими поэтами, смысл которых оставался, бывало, совершенно непонятен для подражателей, очень усердно копировавших внешнюю сторону иностранных произведений: они понимали то, что писали, — качество, которое очень редко замечается у прежних наших литераторов. Из этого общего правила писать произведения, или не имеющие живого смысла, или произведения, смысл которых остается непостижимою тайною для самого автора, исключений бывало очень мало, и «Московский наблюдатель» — первый журнал, в котором мысль и поэзия гармонируют между собою, и в литературном отделе которого постоянно отражаются сознательные стремления. Это первый в ряду таких журналов, какие имеем мы теперь, в которых поэзия, беллетристика и критика согласно идут к одной цели, поддерживая друг друга. Глубокая потребность истины и добра, с одной стороны, с другой — свежая и здоровая готовность любить все, что действительная жизнь представляет удовлетворительного, предпочтение действительной жизни отвлеченному фантазированию, с одной стороны, с другой — чрезвычайное сочувствие тому, что в стремлениях фантазии является здоровым отражением истинной потребности полного наслаждения действительною жизнью, — эти основные черты критической мысли «Московского наблюдателя» составляют существенный характер и литературного отдела в этом журнале. Стремления, одушевляющие его поэзию и беллетристику, видимо проникнуты философскою мыслью, которая владычествует над всем.

Действительно, философское мирозерцание нераздельно владычествовало над умами в том дружеском кружке, органом которого были последние томы «Московского наблюдателя». Эти люди решительно жили только философией, день и ночь толковали о ней, когда сходились вместе, на все смотрели, все решали с философской точки зрения. То была первая пора знакомства нашего с Гегелем, и энтузиазм, возбужденный новыми для нас, глубокими истинами, с изумительною силою диалектики развитыми в системе этого мыслителя, на некоторое время натурально должен был взять верх над всеми остальными стремлениями людей молодого поколения, сознавших на себе обязанность быть провозвестниками неведомой у нас истины, все озаряющей, как им казалось в пылу первого увлечения, все примиряющей, дающей человеку и невозмутимый внутренний мир и бодрую силу для внешней деятельности. Главное значение «Московского наблюдателя» состоит в том, что он был органом гегелевой философии.

Философские стремления теперь почти забыты нашею литературою и критикою. Мы не хотим решать, насколько литература и критика выиграли от этой забывчивости, — кажется, не выиграли ровно ничего, потеряв очень много; но как бы ни решал кто вопрос о значении философского мирозерцания для настоящего времени, каждый согласится, что господство философии над всею умственною нашею деятельностью в начале настоящего периода нашей литературы есть замечательный исторический факт, заслуживающий внимательного изучения. «Московский наблюдатель» представляет первую эпоху этого владычества философии, когда непогрешительным истолкователем ее представлялся Гегель, когда каждое слово Гегеля являлось несомненною истиною и каждое изречение великого учителя принималось его новыми учениками в буквальном смысле, когда не было еще ни заботы о проверке этих истин, ни предчувствия, что Гегель был непоследователен, протворечил сам себе на каждом шагу, что, принимая его принципы, последовательному мыслителю надобно притти к выводам, совершенно различным от выставленных им выводов. Позднее, когда это было замечено, фальшивые выводы были отвергнуты лучшими из бывших последователей Гегеля у нас, и немецкая философия явилась совершенно в другом свете. Но то была уже другая эпоха — эпоха «Отечественных записок»¹⁸, и мы будем говорить о ней в следующей статье, а теперь посмотрим, какую была

гегелева система, пламенным проповедником которой был «Московский наблюдатель».

Программой журнала была первая статья его — предисловие к переводу «Гимназических речей Гегеля» («М[осковский] н[аблюдатель]», XVI, стр. 5—20)¹⁹ Мы приводим в выноске существенные места из этого предисловия, присоединяя к ним объяснение технических терминов гегелевского языка, которые могли бы затруднить тех читателей, которые не привыкли к этой терминологии: они, надеемся, увидят, что дело было очень просто и понятно и что различные толки о мнимой темноте гегелевой философии — чистый предрассудок: нужно только знать смысл нескольких технических слов, и трансцендентальная философия становится для людей нашего времени ясна и проста*.

* Ум — только одна из способностей человека; знание — только одно из его стремлений; потому одно умствование об отвлеченных вопросах не удовлетворяет человека: он хочет также любить и жить, не только знать, но и наслаждаться, не только мыслить, но и действовать. Ныне это понятно каждому — таков дух века, такова сила времени, все объясняющего. Но в XVII веке наука была делом кабинетных тружеников, которые знали только книги, думали только об ученых вопросах, чуждаясь жизни и не понимая житейских дел. Когда жизнь, в XVIII веке, предъявила свои права с такою силою, что пробудила даже немецких ученых, они увидели недостаточность прежней философской методы, основывавшей все на умозаклключениях, принимавшей мерою всему отвлеченные понятия. Но не могли они одним шагом перейти из пыльного кабинета на форум жизни; они были еще слишком далеки от мысли, что все естественные способности и стремления человека должны действовать, должны помогать друг другу в разрешении вопросов науки и жизни. Им показалось, что довольно будет изменить методу умозаклчений, оставляя по-прежнему и сердце и тело человека без внимания. Они думали, что ум не обнимал живую истину во всей ее полноте не потому, что одной головы, без груди и рук, без сердца и осязания, недостаточно человеку; они вадумали попробовать, не удастся ли голове обойтись без помощи остальных членов живого организма, если только голова возьмется за дела, которые принадлежат сердцу, желудку и рукам, — и голова, действительно, придумала «спекулятивное мышление». Сущность этой попытки состояла в том, что ум старался, отвергая отвлеченные понятия, мыслить по так называемым «конкретным» понятиям, — например, думая о человеке, основывать свои заключения не на прежней фразе: «человек есть существо, одаренное разумом», но на понятии о действительном человеке, с руками и ногами, с сердцем и желудком. Это был большой шаг вперед. Гегель является последним и важнейшим из мыслителей, остановившихся на этом первом фазисе превращения кабинетного ученого в живого человека. Конечно, система, основанная на этом способе замещения прежних отвлеченных понятий более живыми воззрениями, была гораздо свежее и полнее прежних, совершенно отвлеченных систем, занимавшихся не людьми, каковы люди в действительности, а призраками, которые созданы прежнею методою мышления, отвергавшею в человеке вся-

Содержание гегелевой философии, в том виде, как изложена она у самого Гегеля и как до мельчайших подробностей принималась за бесспорную истину друзьями Станкевича в 1838—1839 годах, кажется совершенною противоположностью тому образу мыслей, который с таким жаром и успехом излагался потом критиком гоголевского периода в «Отечественных записках» (1840—1846) и нашем журнале (1847—1848); оттого и статьи «Московского наблюдателя», написанные Белинским и его товарищами по убеждениям под исключительным влиянием сочинений Гегеля, представляются, на первый взгляд,

кие способности и стремления, кроме ума, и из всех органов человеческого существа признававшую своим достоинством только мозг. Потому «трансцендентальное» или «спекулятивное» мышление (стремящееся основывать свои умозаключения на понятии о действительных предметах) справедливо гордилось тем, что оно гораздо живее прежней схоластической методы, и старинный метод основывать все на отвлеченных понятиях был заклеймен прозванием «призрачного мышления», принадлежащего «отвлеченному уму, или рассудку» (*Verstand*)²⁰ Все понятия и выводы, составленные на основании этого «отвлеченного, призрачного мышления», были опозорены именем «призрачных понятий», «призрачных выводов», и ученики Гегеля с презрением говорили о всех тех философах, которые строили свои системы не на основании «спекулятивного мышления»: эти люди, по мнению Гегеля и его последователей, не заслуживают даже имени философов, а их системы — «призрачные построения», в которых вместо живой истины даются «отвлеченные призраки». Особенно ему негодования подвергалась французская философия, которая, совершив свое дело, перестала занимать сильные умы, стала занятием фантазеров и болтунов и, действительно, жалким образом измельчала и опоплилась при Наполеоне и во время Реставрации. Тогда во Франции, действительно, каждый под философию понимал всякий вздор, какой только приходил в голову, и, по произволу перемешивая этот вздор с торпливо набранными чужими мыслями, провозглашал себя гением и творцом новой философской системы. Против этих-то фантазий, чуждых научного достоинства, преимущественно и направлено предисловие к речам Гегеля, служащее программой «Московскому наблюдателю». Вот существенные места из этой программы:

«Кто не воображает себя нынче философом, кто не говорит теперь с утвердительностью о том, что такое истина и в чем заключается истина? Всякий хочет иметь свою собственную, партикулярную систему; кто не думает по-своему, по своему личному произволу, тот не имеет самостоятельного духа, тот бесцветный человек; кто не выдумал своей собственной идеи, тот не гений, в том нет глубокомыслия, а нынче, куда вы не обернетесь, везде встречаете гениев. И что ж выдумали эти гении-самозванцы, какой плод их глубокомысленных идей и взглядов, что двинули они вперед, что сделали они действительного?»

«Шумим, братец, шумим», — отвечает за них Репетиллов в комедии Грибоедова. Да, шум, пустая болтовня — вот единственный результат этой ужасной, бессмысленной анархии умов, которая составляет главную болезнь нашего нового поколения, отвлеченного, призрачного, чуждого

совершенно противоречащими статьям, которые тот же самый Белинский писал через несколько лет. Это различие зависит, как мы сказали, от двойственности самой системы Гегеля, от разноречия между ее принципами и ее выводами, духом и содержанием. Принципы Гегеля были чрезвычайно мощны и широки, выводы — узки и ничтожны: несмотря на всю колоссальность его гения, у великого мыслителя достало силы только на то, чтобы высказать общие идеи, но недостало уже силы неуклонно держаться этих оснований и логически развить из них все необходимые следствия. Он провидел истину, но только в самых

всякой действительности; и весь этот шум, вся эта болтовня происходит во имя философии. И мудро ли, что умный, действительный русский народ не позволяет ослеплять себя этим фейерверчным огнем слов без содержания и мыслей без смысла? мудро ли, что он не доверяет философии, представленной ему с такой невыгодной, призрачной стороны? До сих пор философия и отвлеченность, призрачность и отсутствие всякой действительности были тождественны: кто занимается философией, тот необходимо простился с действительностью и бродит в этом болезненном отчуждении от всякой естественной и духовной действительности, в каких-то фантастических, произвольных, небывалых мирах, или вооружается против действительного мира и мнит, что своими призрачными силами он может разрушить его мощное существование, мнит, что в осуществлении конечных (*ограниченных, односторонних*) положений (*суждений*) его конечного (*ограниченного, одностороннего, отвлеченного*) рассудка и конечных целей его конечного произвола заключается все благо человечества, и не знает, бедный, что действительный мир выше его жалкой и бессильной индивидуальности (*личности*)... Жизнь его есть ряд беспрепятственных мучений, беспрепятственных разочарований, борьба без выхода и конца, — и это внутреннее распадение, эта внутренняя разорванность есть необходимое следствие отвлеченности и призрачности конечного рассудка, для которого нет ничего конкретного и который превращает всякую жизнь в смерть. И еще раз повторяю: общая недоверчивость к философии весьма основательна, потому что то, что нам выдавали до сих пор за философию, разрушает человека, вместо того, чтобы оживлять его, вместо того, чтобы образовать из него полезного и действительного члена общества.

Начало этого зла скрывается в реформации. Когда назначение папизма — заменить недостаток внутреннего центра внешним центром — кончилось... реформация потрясла его авторитет... пробужденный ум, освободившись от пеленок авторитета, отделившись от действительного мира и погрузившись в самого себя, захотел вывести все из самого себя, найти начало и основу знания в самом себе... Но ум человеческий, только что пробудившийся от долгого сна, не мог вдруг познать истину: действительный мир истины был не по силам ему, он еще не дорос до него и должен был необходимо пройти чрез долгий путь испытаний, борьбы и страданий, прежде чем достиг своей возмужалости; истина не дается даром: нет! она есть плод тяжких страданий, долгого мучительного стремления... Результатом философии рассудка было (в Германии, у Фихте) разрушение всякой объективности, всякой действительности и погружение отвлеченного пустого Я в самолюбивое эгоистическое са-

общих, отвлеченных, вовсе неопределительных очертаниях; увидеть ее лицом к лицу досталось на долю только уже следующему поколению. И не только выводов из своих принципов не мог он сделать — самые принципы представлялись ему еще не во всей своей ясности, были для

мосозерцание, разрушение всякой любви, а следовательно и всякой жизни, и всякой возможности блаженства... Но германский народ слишком силен, слишком действителен для того, чтобы сделаться жертвою призрака... Система Гегеля венчала долгое стремление ума к действительности:

Что действительно, то разумно; и
Что разумно, то действительно,—

вот основа философии Гегеля.

Обратимся теперь к Франции и посмотрим, каким образом проявилось в ней это разъединение Я с действительностью... Рассудок человека, неспособный проникнуть в глубокое и святое таинство жизни, отвергнул все, что было ему недоступно; а ему недоступно все истинное и все действительное. Вся жизнь Франции есть не что иное, как сознание своей пустоты и мучительное стремление наполнить ее чем бы то ни было, и все средства, употребляемые ею для наполнения себя, призрачны и бесплодны... французы (когда принимают философов) превращают всякую истину в пустые, бессмысленные фразы, в произвольность и анархию мышления и в стряпанье новых идеек...

Эта болезнь распространилась, к несчастью, и у нас... Пустота нашего воспитания есть главная причина призрачности нашего нового поколения. Вместо того, чтобы разжигать в молодом человеке искру божию... вместо того, чтобы образовать в нем глубокое эстетическое чувство, которое спасает человека от всех грязных сторон жизни, — вместо всего этого, его наполняют пустыми, бессмысленными французскими фразами... Вместо того, чтобы приучать молодой ум к действительному труду, вместо того, чтоб разжигать в нем любовь к знанию... его приучают к пренебрежению трудом... Вот источник нашей общей болезни, нашей призрачности! Разверните какое вам угодно собрание русских стихотворений и посмотрите, что составляет пищу для ежедневного вдохновения наших самозванцев-поэтов...

Один объявляет, что он не верит в жизнь, что он разочарован; другой, что он не верит дружбе; третий, что он не верит любви...

Счастье не в призраке, не в отвлеченном сне, а в живой действительности; восставать против действительности и убивать в себе всякий источник жизни одно и то же; примирение с действительностью во всех отношениях и во всех сферах жизни есть главная задача нашего времени, и Гегель и Гете — главы этого примирения, этого возвращения из смерти в жизнь. Будем надеяться, что наше новое поколение также выйдет из призрачности, что оно оставит пустую и бессмысленную болтовню, что оно сознает, что истинное знание и анархия умов и произвольность в мнениях совершенно противоположны; что в знании царствует строгая дисциплина, и что без этой дисциплины нет знания. Будем надеяться, что новое поколение сроднится, наконец, с нашею прекрасною русскою действительностью, и что, оставив все пустые претензии на гениальность, оно ощутит, наконец, в себе законную потребность быть действительными русскими людьми».

него туманны. Следующее поколение мыслителей сделало еще шаг вперед, и принципы, неопределенно, односторонне и отвлеченно высказанные Гегелем, явились во всей своей полноте и ясности; тогда колебаниям не осталось места, двойственность исчезла, фальшивые выводы, внесенные в науку непоследовательностью Гегеля в развитии основных положений, были отстранены, и содержание приведено в гармонию с основными истинами. Таков был ход дела в Германии, таков же был он и у нас. Развитие последовательных воззрений из двусмысленных и лишенных всякого применения намеков Гегеля совершилось у нас отчасти влиянием немецких мыслителей, явившихся после Гегеля, отчасти — мы с гордостью можем сказать это — собственными силами. Тут в первый раз русский ум показал свою способность быть участником в развитии общечеловеческой науки²¹

Пересмотрим же теперь те принципы гегелевой философии, которые могуществом и истинностью своею увлекли людей «Московского наблюдателя» до такой степени, что, в пылу энтузиазма, возбужденного этими высокими стремлениями, были забыты на время все остальные требования разума и жизни, было принято все содержание системы, хвалившейся тем, что она основана на этих глубоких истинах.

Мы столь же мало последователи Гегеля, как и Декарта или Аристотеля. Гегель ныне уже принадлежит истории, настоящее время имеет другую философию и хорошо видит недостатки гегелевой системы; но должно согласиться, что принципы, выставленные Гегелем, действительно, были очень близки к истине, и некоторые стороны истины были выставлены на вид этим мыслителем с истинно поразительною силою. Из этих истин, открытие иных составляет личную заслугу Гегеля; другие, хотя и принадлежат не исключительно его системе, а всей немецкой философии со времен Канта и Фихте, но никем до Гегеля не были формулированы так ясно и высказываемы так сильно, как в его системе.

Прежде всего укажем на плодотворнейшее начало всякого прогресса, которым столь резко и блистательно отличается немецкая философия вообще, и в особенности гегелева система, от тех лицемерных и трусливых воззрений, какие господствовали в те времена (начало XIX века) у французов и англичан: «истина — верховная цель мышления; ищите истины, потому что в истине благо; какова бы ни была истина, она лучше всего, что не истинно:

первый долг мыслителя: не отступать ни перед какими результатами; он должен быть готов жертвовать истине самыми любимыми своими мнениями. Заблуждение — источник всякой пагубы; истина — верховное благо и источник всех других благ». Чтобы оценить чрезвычайную важность этого требования, общего всей немецкой философии со времени Канта, но особенно энергически высказанного Гегелем, надобно вспомнить, какими странными и узкими условиями ограничивали истину мыслители других тогдашних школ: они принимались философствовать не иначе как затем, чтобы «оправдать дороге для них убеждения», т. е. искали не истины, а поддержки своим предубеждениям; каждый брал из истины только то, что ему нравилось, а всякую неприятную для него истину отвергал, без церемонии признаваясь, что приятное заблуждение кажется ему гораздо лучше беспристрастной правды. Эту манеру заботиться не об истине, а о подтверждении приятных предубеждений немецкие философы (особенно Гегель) прозвали «субъективным мышлением», философствованием для личного удовольствия, а не ради живой потребности истины. Гегель жестоко изобличал эту пустую и вредную забаву. Как необходимое предохранительное средство против поплзновений уклониться от истины в угождение личным желаниям и предрассудкам, был выставлен Гегелем знаменитый «диалектический метод мышления». Сущность его состоит в том, что мыслитель не должен успокоиваться ни на каком положительном выводе, а должен искать, нет ли в предмете, о котором он мыслит, качеств и сил, противоположных тому, что представляется этим предметом на первый взгляд; таким образом, мыслитель был принужден обзирать предмет со всех сторон, и истина являлась ему не иначе как следствием борьбы всевозможных противоположных мнений. Этим способом, вместо прежних односторонних понятий о предмете, мало-помалу являлось полное, всестороннее исследование и составлялось живое понятие о всех действительных качествах предмета. Объяснить действительность стало существенною обязанностью философского мышления. Отсюда явилось чрезвычайное внимание к действительности, над которою прежде не задумывались, без всякой церемонии искажая ее в угодность собственным односторонним предубеждениям. Таким образом, добросовестное, неутомимое изыскание истины стало на месте прежних произвольных толкований. Но в действительности все зависит от обстоятельств, от условий места

и времени, — и потому Гегель признал, что прежние общие фразы, которыми судили о добре и зле, не рассматривая обстоятельств и причин, по которым возникало данное явление, — что эти общие, отвлеченные изречения не удовлетворительны: каждый предмет, каждое явление имеет свое собственное значение, и судить о нем должно по соображению той обстановки, среди которой оно существует; это правило выражалось формулой: «отвлеченной истины нет; истина конкретна», т. е. определительное суждение можно произносить только об определенном факте, рассмотрев все обстоятельства, от которых он зависит*.

Само собою разумеется, что это беглое исчисление некоторых принципов гегелевой философии не может дать понятия о поразительном впечатлении, которое производят творения великого философа, который в свое время увлекал самых недоверчивых учеников необыкновенною силою и возвышенностью мысли, покоряющей своему владычеству все области бытия, открывающей в каждой сфере жизни тождество законов природы и истории с своим собственным законом диалектического развития, обнимающей все факты религии, искусства, точных наук, государственного и частного права, истории и психологии сетью систематического единства, так что все является объясненным и примиренным. Время той философии, последним и величайшим представителем которой был Ге-

* Например: «благо или зло дождь?» — это вопрос отвлеченный; определительно отвечать на него нельзя: иногда дождь принесит пользу, иногда, хотя реже, принесит вред; надобно спрашивать определительно: «после того как посев хлеба окончен, в продолжение пяти часов шел сильный дождь, — полезен ли был он для хлеба?» — только тут ответ ясен и имеет смысл: «этот дождь был очень полезен». — «Но в то же лето, когда настала пора уборки хлеба, целую неделю шел проливной дождь, — хорошо ли было это для хлеба?» Ответ так же ясен и так же справедлив: «нет, этот дождь был вреден». Точно так же решаются в гегелевой философии все вопросы. «Пагубна или благотворна война?» Вообще, нельзя отвечать на это решительным образом; надобно знать, о какой войне идет дело, все зависит от обстоятельств, времени и места. Для диких народов пред войны менее чувствителен, польза ощутительнее; для образованных народов война приносит обыкновенно менее пользы и более вреда. Но, например, война 1812 года была спасительна для русского народа; маратонская битва была благодетельнейшим событием в истории человечества. Таков смысл аксиомы: «отвлеченной истины нет; истина конкретна» — конкретно понятие о предмете тогда, когда он представляется со всеми качествами и особенностями и в той обстановке, среди которой существует, а не в отвлечении от этой обстановки и живых своих особенностей (как представляет его отвлеченное мышление, суждения которого поэтому не имеют смысла для действительной жизни).

гель, прошло для Германии. При помощи результатов, выработанных ею, наука сделала, как мы сказали, шаг вперед; но новая наука эта явилась только как дальнейшее развитие гегелевой системы, которая навсегда сохранит историческое значение, как переход от отвлеченной науки к науке жизни.

Таково было значение гегелевой философии у нас: она послужила переходом от бесплодных схоластических умствований, граничивших с апатиею (и невежеством), к простому и светлому взгляду на литературу и жизнь, потому что в ее принципах заключались, как мы старались показать, зародыши этого взгляда. Пылкие и решительные умы, как Белинский и некоторые другие, не могли долго удовлетворяться теми узкими выводами, которыми ограничивалось приложение этих принципов в системе самого Гегеля; скоро заметили они недостаточность и самых принципов этого мыслителя. Тогда, отказавшись от прежней безусловной веры в его систему, они пошли вперед, не останавливаясь, как остановился Гегель, на половине дороги. Но навсегда сохранили они уважение к его философии, которой в самом деле были обязаны очень многим.

Но мы уже говорили, что содержание системы Гегеля совершенно не соответствует тем принципам, которые провозглашались ею, и которые мы указали. В пылу первого увлечения Белинский и его друзья не заметили этого внутреннего противоречия, и ненатурально было бы, если б оно было замечено ими с первого же раза: оно чрезвычайно хорошо прикрыто необычайною силою гегелевой диалектики, так что в самой Германии только самые зрелые и сильные умы и только после долгого изучения заметили это внутреннее несогласие основных идей Гегеля с его выводами. Величайшие из современных немецких мыслителей, не уступающие самому Гегелю гениальностью, долго были безусловными приверженцами всех его мнений, и много времени прошло, пока они успели возвратить себе самостоятельность и, открыв ошибки Гегеля, положить основание новому направлению в науке. Так всегда бывает: сам Гегель долго был безусловным поклонником Шеллинга, Шеллинг — поклонником Фихте, Фихте — Канта; Спиноза, далеко превосходивший гениальностью Декарта, очень долго считал себя его вернейшим учеником.

Мы все это говорим к тому, чтобы показать естественность и необходимость безусловной приверженности к Ге-

гелю, на некоторое время овладевшей Белинским и его друзьями. Они в этом случае разделяли общую участь величайших мыслителей нашего времени. И если потом Белинский негодовал на себя за прежнее безусловное увлечение Гегелем, то и в этом случае имеет он товарищей, не уступающих силою ума ни ему, ни Гегелю*.

Все немецкие философы, от Канта до Гегеля, страдают тем же самым недостатком, какой мы указали в системе Гегеля: выводы, делаемые ими из полагаемых ими принципов, совершенно не соответствуют принципам. Общие идеи у них глубоки, плодотворны, величественны, выводы мелки и отчасти даже пошловаты. Но ни у кого из них эта противоположность не доходит до такого колоссального противоречия, как у Гегеля, который, превосходя всех своих предшественников возвышенностью начал, оказывается, едва ли не слабее всех в своих выводах. И в Германии, и у нас люди ограниченные и апатичные успокоились на выводах, забывая о принципах; но и у нас, как в Германии, эти ученики, слишком верные букве и потому неверные духу, нашлись только между людьми второстепенными, лишенными сил на историческую деятельность и не могшими иметь никакого влияния. Напротив, и у нас, как в Германии, все истинно даровитые и сильные люди, когда прошло первое увлечение, отбросили фальшивые выводы, радостно жертвуя ошибками учителя требованиями

* Один из современных мыслителей говорит о своих прежних сочинениях, написанных в духе Гегеля: «этой путаницы теперь не могу я никак распутать; остается одно: или совершенно зачеркнуть ее, или оставить в прежнем виде — предпочитаю последнее: многие до сих пор еще считают мудростью то, что и мне казалось мудростью, когда я писал эти сочинения, — пусть же они, перечитывая их, видят путь, которым я дошел до своих настоящих убеждений — по моим следам этим людям легче будет дойти до истины». Точно так же и мы должны думать о статьях, писанных Белинским в 1838—1839 годах: кто не в состоянии разделять зрелых и самостоятельных убеждений Белинского, какие выражал он в последнее время, тому принесет пользу чтение его статей в хронологическом порядке, начиная с тех, которыми сам Белинский впоследствии был недоволен: кто стоит еще слишком низко, тому необходимы лестницы, чтобы стать в уровень с своим веком.

Кстати заметим, что в настоящей статье мы пользовались воспоминаниями, которые сообщил нам один из ближайших друзей Белинского, г. А., и потому ручаемся за совершенную точность фактов, о которых упоминаем. Мы надеемся, что интересные воспоминания г. А. — а со временем сделаются известны нашей публике, и спешим предупредить читателей, что тогда наши слова окажутся не более, как развитием его мыслей. За ту помощь, какую оказали нам его воспоминания при составлении настоящей статьи, мы обязаны принести здесь искреннейшую благодарность глубокоуважаемому нами г. А. — у²².

науки, и бодро пошли вперед. Потому ошибки Гегеля, подобно ошибкам Канта, не имели важных последствий, между тем, как здоровая часть его учения действовала очень плодотворно.

Мы нарушили бы закон исторической перспективы, если бы стали говорить о предмете, не имевшем исторической важности, каковы ошибки Гегеля, с такою же подробностью, как о тех его идеях, которые оказали сильное влияние на ход умственного развития. Но так как эти ошибки все-таки исторический факт, хотя и маловажный, то мы не можем совершенно умолчать о них. Ниже читатели увидят в одной из приводимых нами выписок, в чем состояла сущность этих ошибок. Здесь мы должны только повторить, что друзья Станкевича разделяли заблуждение со всеми замечательнейшими немецкими мыслителями современного им поколения: на некоторое время гениальная диалектика Гегеля ослепила всех, так что выводы, противоречившие принципам, всеми принимались ради этих принципов, будто необходимое их следствие.

Нельзя не признаться, что и в Германии и у нас люди, принимавшие все содержание гегелевой системы за чистую истину, вовлекались этим авторитетом во многие и очень важные заблуждения. Немало не защищая того, что действительно было дурного в этих ошибках, надобно, однако ж, заметить, что двадцать лет назад не все то было действительно вредным заблуждением, что ныне было бы непростительным ослеплением: для многих мнений, которые в наше время были бы решительно несправедливыми предубеждениями, тогда еще существовали дельные основания, — быть может, односторонние, быть может, несколько устаревшие, но все-таки заключающие в себе много справедливого. Укажем один пример. Строгие приверженцы немецкой философии со времен Канта, особенно строгие гегелианцы, презирали и отчасти даже ненавидели все французское. Друзья Станкевича разделяли это отращение, и «Московский наблюдатель» весь проникнут «французоедством» (*Franzosenfresserei*), как выражались немцы. Французоедству посвящены многие страницы предисловия к гегелевским речам, служащего, как мы видели, программой журнала. В примечании мы приводим одну из таких страниц*. И нельзя не сказать, что

* «Французы никогда не выходили из области произвольных суждений, и все святое, великое и благородное в жизни упало под ударами слепого мертвого рассудка. Результатом французского философиязма был материализм, торжество неодухотворенной плоти. Во французском

«Московский наблюдатель», ревностно выполняя все другие пункты своей программы, не менее ревностно выполнял и этот пункт. Он пользовался каждым случаем, каждым предлогом, чтобы произнести грозную филиппику или вставить презрительную выходку против французов. Говорит ли он, например, в разборе «Современника» о статье Пушкина «Мильтон», — главное внимание он обращает на те эпизоды, в которых Пушкин подсмеивается над французами — тотчас же выписываются насмешки над Альфредом де-Виньи и Виктором Гюго, замечания о недостатках мольеровых комедий, и т. д., — за то и прибавляет «Московский наблюдатель», что у Пушкина «был верный взгляд на искусство и бесконечное эстетическое чувство». Разбирается ли другой том «Современника», в котором есть отрывок из «Хроники русского в Париже»²³, — почти вся рецензия состоит из выписок тех страниц «Хроники», которые особенно неблагоприятны для французов. Разбирается ли роман г. Вельтмана «Вир-

народе исчезла последняя искра откровения. Христианство, это вечное и непреходящее доказательство любви творца к творению, сделалось предметом общих насмешек, общего презрения, и бедный рассудок человека, неспособный проникнуть в глубокое и святое таинство жизни, отвергнул все, что только было ему недоступно, а ему недоступно все истинное и все действительное. Он требовал ясности — но какой ясности! — не той, которая лежит в глубине предмета: нет, — а на поверхности его; он вздумал объяснить религию — и религия, недоступная для конечных усилий его, исчезла и унесла с собою счастье и спокойствие Франции; он вздумал превратить святилище науки в общенародное знание — и таинственный смысл истинного знания скрылся, и остались одни пошлые, бесплодные, призрачные рассуждения, — и Жан-Жак Руссо объявил, что просвещенный человек есть развращенное животное, и революция была необходимым последствием этого духовного развращения. Где нет религии, там не может быть государства, и революция была отрицанием всякого государства, всякого законного порядка, и гильотина привела кровавый уровень свой и казнила все, что только хоть несколько возвышалось над мысленною толпою».

В «Последнем новоселье» Лермонтов буквально переложил эти слова в стихи:

Негодование и чувству дав свободу
Мне хочется сказать великому народу:
«Ты жалкий и пустой народ!
Ты жалок потому, что вера, слава, гений,
Все, все великое, священное земли,
С насмешкой глупою ребяческих сомнений
Тобой растоптано в пыли.
Из славы сделал ты игрушку лицемерья,
Из вольности — орудье палача,
И все заветные отцовские поверья
Ты им рубил, рубил с плеча...»

гиния» — оказывается, что этот роман можно похвалить только за одно: «многие черты французского верхоглядства схвачены в нем превратно»; говорится ли о «Сборнике на 1838 год» — в этом сборнике очень много стихов, и отчасти даже хороших стихов, но интереснее всего в нем перевод эпиграммы Шиллера, в которой французы называются вандалами. Выписав это стихотворение и похвалив за него Шиллера, критик торжественно восклицает, обращаясь к читателям:

Французы вандалы!!! — слышите ли?

Для большей знаменательности это восклицание напечатано даже отдельною строкою, что и соблюли мы. Говорится ли о возвращении молодых профессоров наших из-за границы — приятнее всего «Московскому наблюдателю» то, что они слушали лекции в Берлине, а не в Париже. Нечего и говорить, пользуется ли «Московский наблюдатель» случаем изобличить французское фразерство и легкомыслие, когда является перевод «Истории Франции» Мишле... тут филиппика достигает страшной беспощадности: едва некоторые специальные ученые получают за свои специальные труды прощение в том, что они французы, — но французские литераторы, поэты, мыслители, все казнятся без всякой милости, от девицы Скюдери до Мишле, от Ронсара до Лерминье. Общего приговора избегает только Беранже, «гуляка праздный»: праздная гуляба — французское дело, об этом они умеют складывать веселенькие песенки, — лучшего у них не нужно и искать. Одним словом, о чем бы речь ни шла, «Московский наблюдатель» таки найдет предлог поразить или кольнуть французов, и общим выводом из всей этой неумолимой полемики выставляется заключение, что, между тем как «влияние немцев на нас благотельно во многих отношениях, — и со стороны науки, и со стороны искусства, и со стороны духовно-нравственной, с французами мы находимся в обратном отношении: мы враждебно-противоположны с ними по сущности нашего национального духа» («Моск[овский] набл[удатель]», том XVIII, стр. 200).

Ныне, когда лучшие из французов отказываются от заносчивых претензий, от презрения к другим народам, когда вся нация оставляет свое прежнее легкомыслие, оставляет даже фразерство, которым так долго жила, когда национальная жизнь обратилась к разрешению истинно-глубоких вопросов, подобная вражда против французов была бы совершенно неосновательна. Но тогда настроение

умов во Франции было совершенно не таково. Те направления мысли, которые ныне приобретают Франции сочувствие серьезных людей, едва только начинали еще обнаруживаться, и притом в странных, еще не определившихся <фантастических> формах, не оказывали еще никакого влияния на жизнь нации, напротив, были осмеиваемы литературою, презираемы государственною жизнью. Все, чем блистала Франция времен первой Империи и Реставрации, было фальшиво и поверхностно или противоречило истинным потребностям нравственной и общественной жизни; все основывалось на недоразумении с одной стороны, на обмане или насилии — с другой. В литературе, например, господствовали две школы, равно фальшивые: одна, — в духе Шатобриана и Ламартина, накидывала на себя маску искусственных восторгов учениями, которых не понимала и о которых в сущности очень мало заботилась; другая накидывала на себя маску утонченной развращенности и мелкого сатанинства (*école satanique*²⁴). Те, которые не были лицемерами идеализма или цинизма, болтали о пустяках. Только Беранже составлял исключение, но Беранже не понимали, считая его не более как певцом гризеток. В науке понятия страшно измельчали, — ученые знаменитости тогдашнего времени были шарлатаны и фразеры, хлопотавшие о примирении непримиримого, об оправдании наукою предрассудков, о сочетании научной истины с произвольными фантазиями. Время теперь обнаружало, что за люди были и чего хотели Кузен, Гизо, Тьер; а они были еще самыми лучшими из тогдашних знаменитостей.

Кстати, припомним, что такое был знаменитый тогда «либерализм», за который особенно прославлялись эти знаменитости. События обнаружили пустоту и решительную бесполезность этого либерализма, хлопотавшего только об отвлеченных правах, а не о благе народа, самое понятие о котором оставалось ему чуждо. У лучших проповедников его это было легкомысленное заблуждение относительно истинных потребностей нации; другие пользовались этим так называемым либерализмом как приманкою для привлечения нацию на свою удочку, — а для чего нужно было им привлечь нацию, оказалось потом, когда они успели захватить власть: они искали власти для того, чтобы набить себе карманы.

Таково было положение Франции и во время Реставрации и в первые годы орлеанской династии. Повсюду

гремели фразы, лишённые смысла, во всем владычествовали легкомыслие и обман. Но более всего должны были возмущаться люди с горячими убеждениями и высокими принципами тем, что у тогдашних французских знаменитостей не было ни решительных принципов, ни строгой последовательности в образе мыслей: всему, чему они верили, верили они только наполовину, робко и церемонно, все, что отрицали, отрицали также только наполовину, все это были люди вроде тех, которых изображал у нас Пушкин в своих героях, — вроде тех, которых Лермонтов заставляет говорить:

Богаты мы, едва из колыбели.
Ошибками отцов и поздним их умом...

К добру и злу постыдно равнодушны,
В начале поприща мы вянем без борьбы...

Тая завистливо от ближних и друзей
Надежды лучшие и голос благородный
Неверием осмеянных страстей.

Едва касались мы до чаши наслажденья,
Но юных сил мы тем не сберегли;
Из каждой радости, бояся пресыщенья,
Мы лучший сок навеки извлекли...

И ненавижим мы, и любим мы случайно.
Ничем не жертвуя ни злобе, ни любви,
И царствует в душе какой-то холод тайны "

От этих бессильных в своем узком и пресыщенном эгоизме людей, конечно, нельзя было надеяться ничего хорошего; от этих выродков, оставшихся после великой внутренней борьбы, которая поглотила все благороднейшие силы французского народа²⁶, конечно, нельзя было ожидать, чтоб они влили новую жизнь в свой народ; они не должны были служить идеалами для нас, чувствовавших в себе избыток свежих, еще нетронутых сил. К таким людям, конечно, не могло лежать сердце пламенных юношей, готовых и любить до самоотвержения и ненавидеть смертельно, жаждавших деятельности и блага. Вражда усиливалась особенно тем, что эти разочарованные, блазированные, проеденные эгоизмом люди считались у нас оракулами: все у нас кричали о французах, все восхищались французами, — а ни для себя, ни тем более для нас французы такого разбора не были ровно ни на что годны. Нам нужен был энтузиазм, перед нами было широкое поле деятельности: как же не возненавидеть было этих людей,

которые могли передать нам только свое бессилие, разочарование и бездействие?

Нелюбовь, заслуженная французами времен первой Империи и Реставрации, незаслуженным образом распространялась и на их предков, и столь же незаслуженным образом подвергались общему осуждению свежие направления мысли, возникавшие в молодом поколении мыслителей, не имевших ничего общего с прежними знаменитостями, людей с твердыми и возвышенными убеждениями, со свежими силами. Виною этой несправедливости был отчасти недостаток знакомства с возникавшими во французской литературе новыми стремлениями, отчасти также и предубеждение, составившееся против всех вообще французов, — а более всего — безусловное поклонение гегелевой системе, как верховной и единственной истине, вне которой ничто не заслуживает внимания.

Поклонение Гегелю в кругу друзей Станкевича доходило, как мы сказали, до крайности, в которой люди талантливые, одаренные самостоятельным умом и стремившиеся вперед не могли долго оставаться. Признаки бессознательного недовольства системой, которую продолжали восхищаться, обнаружились в даровитейших членах дружеского круга тем, что они говорили в гегелевском смысле решительнее и беспощаднее, нежели сам Гегель, сделались, как говорится, ревностнейшими гегелианцами, нежели сам Гегель. Особенно отличался этим Белинский, который вообще был не таков, чтобы отказываться от логических выводов из боязни уклониться от точных слов какого бы то ни было авторитета. Это свидетельство людей, знавших его лично, подтверждается многими его страницами, написанными совершенно в духе Гегеля, но с такою решительностью, которой не одобрил бы сам Гегель. Да и вообще Гегель, говорящий обо всем с беспристрастием поседевшего мудреца, смотрящий на все исключительно глазами кабинетного ученого, чуждого волнениям жизни, не мог долго удержаться в безусловной покорности такого пламенного, проникнутого жизненными стремлениями двадцатипятилетнего человека, как Белинский. Натуры учителя и ученика, потребности двух различных обществ, среди которых они действовали, были слишком несогласны. Белинский скоро отбросил все, что в учении Гегеля могло стеснять его мысль, и вскоре после переезда в Петербург является уже действителем совершенно самостоятельным.

Два обстоятельства помогли этому переходу, необхо-

димому по натуре самого Белинского, совершиться быстрее, нежели совершился бы он без этих обстоятельств: сближение друзей Станкевича с г. Огаревым и его друзьями²⁷ и переезд Белинского из Москвы в Петербург.

Первоначальные влияния, под которыми совершалось развитие г. Огарева и его друзей, были совершенно различны от влияний, которым подчинялся кружок Станкевича. Немецкая философия мало их занимала, как предмет слишком отвлеченный. Их внимание было устремлено на те науки, которые имеют непосредственное отношение к жизни наций. В то время во Франции возникали, как противоречие бездушному и убийственному учению экономистов, новые теории национального благосостояния²⁸. Идеи, одушевлявшие новую науку, высказывались еще в фантастических формах, и предубежденным или руководившимся своекорыстными побуждениями противникам легко было, оставляя без внимания здравые и высокие основные идеи новых теоретиков и выставляя в утрированном виде мечтательные увлечения, которых в начале не избегает ни одна новая наука, осмеивать системы, им ненавистные. Но под видимыми странностями и под фантастическими увлечениями скрывались в этих системах истины и глубокие и благодетельные. Огромное большинство и ученых людей и европейской публики, поверив пристрастным и поверхностным отзывам экономистов, не хотели понять смысла новой науки, все смеялись над несбыточными утопиями и почти никто не считал нужным основательно и беспристрастно изучать их. Г. Огарев и его друзья занялись этими вопросами, понимая чрезвычайную их важность для жизни. С тем вместе, внимание г. Огарева и его друзей было занято историей, особенно новейшею, то есть именно важнейшею для жизни частью ее; и так как в последнее время главным театром исторического развития была Франция, то они интересовались преимущественно ее историей. В литературе они также не отдавали безусловного предпочтения немцам, зная и ценя французских новых писателей, которые тогда еще не господствовали в литературе, но уже доказали, что будут господствовать над нею. Под влиянием этих занятий составились у них твердые и последовательные учено-литературные убеждения.

Таким образом, деятели молодого поколения в Москве были разделены на два кружка, с двумя различными направлениями: в одном господствовала гегелева философия, в другом — занятия современными вопросами истори-

ческой жизни. Много было пунктов, в которых два эти направления могли сталкиваться враждебно; но под видимую противоположность таилось существенное тождество стремлений, несогласных между собою только в том, что было у каждого из них односторонностью, недостатком, но одинаково ставивших себе целью деятельность, плодотворную для развития русского общества, одинаково считавших единственным средством для достижения этой цели оживление нашей литературы и возбуждение нашей мыслительной деятельности, одинаково имевших свой идеал в будущем, а не в прошедшем, относившихся между собою, как теория и практика, которые должны служить взаимным дополнением. Важный вопрос: победит ли чувство существенного единства, или противоречие во второстепенных, но, однако ж, очень важных вопросах, должен был разрешиться так или иначе, смотря по тому, действительно ли люди, служившие представителями этих различных направлений, достойны были сделаться замечательными деятелями в истории развития русского общества, и действительно ли принципы, их воодушевлявшие, были плодотворны. История говорит нам, что обыкновенное явление при падении принципа — непримиримая вражда между его приверженцами из-за второстепенных вопросов, а при развитии принципа — дружное действие людей, согласных в главном, как бы ни были важны второстепенные вопросы, их разделяющие. Отвержение узкого самолюбия, готовность признать правду, которой не замечал прежде, и сделать эту указанную другим правду своим задушевным делом — таково существенное качество истинно замечательных исторических деятелей²⁹

Люди, о которых мы говорили, были призваны играть действительно важную роль в развитии нашего общества; принципы, их одушевлявшие, действительно были живы и плодотворны, — потому эти принципы необходимо должны были слиться, эти люди соединиться. И действительно, люди соединились с такою благородною искренностью и самоотречением от своих односторонностей, принципы слились в одно общее направление с такою совершенною гармониею, что факт этот принадлежит к числу самых редких и возвышающих душу примеров совершенного торжества общей правды над частными недоразумениями, общего стремления служить истине над личными столкновениями.

Первые чувства были, естественно, недружелюбны: обоюдная исключительность мнений возбуждала взаимную неприязнь. Те и другие были недовольны друг другом и долго удерживались от сношений между собою. Друзья Станкевича осуждали г. Огарева и его друзей за то, что они не предаются изучению немецкой философии и не признают, что вся истина заключена в системе Гегеля. Друзья г. Огарева осуждали круг Станкевича за то, что в нем все мысли направлены исключительно к слишком отвлеченному вопросу, и вопросы жизни или оставляются без всякого внимания, или решаются в том апатическом смысле, как велит решать их Гегель. Одни говорили про других: «они пренебрегают истинными принципами»; эти говорили про первых: «они проповедуют апатию в жизни и примиряются со всеми недостатками действительности, восхищаясь тем, что их система оправдывает все на свете». Различные внешние обстоятельства содействовали тому, что личных сношений — которых не желала сначала ни та, ни другая партия — очень долго не существовало между людьми того и другого направления³⁰

Станкевича уже не было в Москве, когда г. Огарев вошел в круг, душою которого прежде был Станкевич, и ввел за собою своих друзей. Если бы Станкевич, кроткий и любящий, был еще между своих друзей, вероятно, сближение произошло бы тогда же. Теперь посредником и примирителем был только г. Огарев. Он один, не имея ни в ком помощников, не успел пересилить противников, каждое свидание которых было жарким спором. Вследствие одного из таких споров, когда Белинский на все вопросы, имевшие целью вынудить у него признание, что не все в действительности может быть оправдано разумом, отвечал, с обычною своею неумолимою последовательностью, признанием разумности всех тех явлений, на которые ему было указано, — вследствие этого спора, доказавшего невозможность поколебать его убеждения, попытки примирения кончились — на время, как увидим, и на очень короткое время³¹

Между тем попытки эти не остались бесплодны, хотя, по-видимому, привели к полному разрыву. Люди, спорившие с Белинским и его друзьями, были изумлены тою непоколебимостью, с какою встречаются последователями Гегеля самые, по-видимому, неопровержимые возражения против системы Гегеля, — тою легкостью, с какою последователи Гегеля находят вполне удовлетворительный для себя ответ на все, что, по-видимому, должно бы смутить

и затруднять их. Противники результатов, до которых доходит гегелева система, увидели, что Гегеля можно победить только его собственным оружием, и принялись за глубокое изучение этого мыслителя. Они приступили к нему с силами ума совершенно зрелого, с пронизательностью, изощренною привычкою к самостоятельному мышлению и богатым опытом жизни, наполненной всевозможными столкновениями, — с запасом твердых убеждений, данных жизнью и строгою наукою. И, как ни трудно устоять против диалектики исполина немецкой философии, — этой изумительно сильной диалектики, облекающей всю его систему броней неразрушимого, по-видимому, единства, — эти люди открыли пробелы и непоследовательности системы Гегеля, увидели погрешности в ее выводах, несогласие принципов ее с результатами, основных идей с применениями, постигли и односторонность принципов, — и могли, наконец, сказать: «теперь мы постигаем все, что постигал Гегель, но постигаем яснее и полнее, нежели он». Таким образом была, по выражению немецкой философии, превзойдена (*überwunden*), очищена от односторонности по смыслу собственных своих основных начал, подвергнута критике и возведена к высшей истине философия Гегеля сильнейшими последователями одного из направлений, между которыми до того времени преградою была система Гегеля. Но глубина и стройность немецких философских систем произвела сильное впечатление на умы тех, которые взялись за изучение философии не столько по расположению к ней, сколько по необходимости открыть слабые ее стороны; сильнейшие из друзей г. Огарева сами получили философское направление; не покидая своих прежних стремлений, напротив, еще более утвердившись в них, они возвели свои убеждения к общим философским принципам и, увидев, как много выигрывают оттого их идеи и в прочности и в стройности, сделались ревностными приверженцами немецкой философии, конечно, уж не системы Гегеля, на которой не могли они остановиться, а новой философии³², последним переходом к которой была система Гегеля.

С другой стороны, подобное расширение умственного горизонта совершилось около того же времени и в сильнейших из друзей Станкевича. До сих пор они, как мы говорили, были связаны между собою совершенною одинаковостью понятий и стремлений, так что особенности отдельных личностей исчезали в единстве общего настроения. Характеризуя «Московский наблюдатель», деятель-

нейшим участником и распорядителем которого был Белинский, мы большую часть наших выписок заимствовали из предисловия к речам Гегеля, писанного не Белинским, а одним из тогдашних его друзей³³, потому что тогда все эти люди писали совершенно в одном и том же духе: разница была только в том, что одни умели писать лучше других, но все, что говорил Белинский, говорили все друзья Станкевича, и, наоборот, Белинский высказывал только то, в чем одинаково были убеждены все. Так продолжалось до приезда Белинского в Петербург. Тут вскоре он сделался совершенно самобытен, и теперь мы должны говорить уже не об общей деятельности прежнего кружка, которого Белинский был только представителем, а о личной деятельности Белинского, ставшего во главе нашего литературного движения и управлявшего этим движением в союзе с новыми сподвижниками, присоединившимися к нему не по духу какого-нибудь кружка, а по самобытному стремлению к одинаковым целям, с сохранением личных особенностей натуры каждого из союзников.

В Москве Белинский, подобно своим друзьям, был совершенно погружен в теоретические умствования и обращал очень мало внимания на то, что делается в действительной жизни. Он твердил, что действительность значительнее всех мечтаний, но, подобно своим друзьям, смотрел на действительность глазами идеалиста, не столько изучал ее, сколько переносил в нее свой идеал, и верил, что идеал этот имеет себе соответствие в нашей действительности, что, по крайней мере, важнейшие элементы действительности сходны с теми идеалами, какие найдены для них в системе Гегеля. Петербург, как известно всем пережившим идеалистический период воззрений, нисколько не удобен для сохранения таких мечтаний. В Петербурге действительная жизнь настолько шумна, беспокойна и неотвязна, что трудно обманываться относительно ее сущности, трудно не разубедиться в том, что она движется вовсе не по идеальному плану гегелевской системы, трудно остаться идеалистом. Петербург, с обычною своею готовностью услужить новому жителю всеми возможными разочарованиями, не замедлил доставить Белинскому обильные материалы для проверки благосклонных к действительности выводов гегелевой системы и внушить ему, что филистерские немецкие идеалы не имеют ровно никакого сходства с русскою жизнью. Пришлось отказаться от уверенности, что гегелевы построения — верные изображения действительной жизни, пришлось критически по-

смотреть и на действительность и на гегелеву систему *. Результатом этой поверки было, для теоретических убеждений — очищение принципов Гегеля от их односторонности, отвержение фальшивого содержания, прилепленного к ним; и вывод новых следствий, в духе строгой современной науки; для жизненных стремлений — отвержение прежнего квиэтизма, разрушаемого действительностью, сохранение высокого убеждения, что разум и правда должны и будут владычествовать в жизни, хотя мы далеки еще от этого времени. Белинский убедился, что действительность заключает в себе очень много ложных и вредных элементов и, посвятив всю свою деятельность водворению в жизни владычества ума и правды, начал неутомимую, беспощадную борьбу со всем, что препятствовало достижению этой цели. Для такой живой природы, как Белинский, переход от абстрактной идеальности, доведшей до квиэтизма и апатии, к живому понятию о действительности был естествен и легок. Система Гегеля на некоторое время увлекла его своим величием, и мы старались показать, что увлечение оправдывалось новостью и глубиной истин, заключавшихся в ее основных идеях; но никогда не удовлетворяла она его своим положительным содержанием, он всегда рвался вперед, негодую на стеснительное бесстрашие Гегеля, всегда вносил в это холодное созерцание патетический жар своей живой природы. Таково же было отношение к Гегелю и других сильных людей между друзьями Станкевича. Из выписок, нами приведенных, можно видеть, чем особенно увлекались они в системе Гегеля, почему особенно дорожили ею. В каждом теоретическом учении соединяются две стороны: от-

* «Москвич очень скоро свыкается с Петербургом, если переедет в него жить. Куда деваются высокопарные мечты, идеалы, теории, фантазии! Петербург, в этом отношении, пробный камень человека: кто, живя в нем, не увлекается водворотом прозрачной жизни, умел сберечь и душу и сердце не на счет здравого смысла, сохранить свое человеческое достоинство, не предаваясь донкихотству, — тому смело можете вы протянуть руку, как человеку. Петербург имеет на некоторые природы отвращающее свойство: сначала кажется вам, что от его атмосферы, словно листья с дерева, спадают с вас самые дорогие убеждения; но скоро замечаете вы, что то не убеждения, а мечты, порожденные праздною жизнью и решительным незнанием действительности, — и вы остаетесь, может быть, с тяжелою грустью, но в этой грусти так много святого, человеческого... Что мечты! самые обольстительные из них не стоят в глазах дельного (в разумном значении этого слова) человека самой горькой истины, потому что счастье глупца есть ложь, тогда как страдание дельного человека есть истина, и притом плодотворная в будущем...» (Статья Белинского «Москва и Петербург» в «Физиологии Петербурга») ³⁴.

влеченное понятие об истине и отношение этого знания к живой деятельности. Гегель ставит знание первую, почти исключительную целью своей системы; следствия этого знания для жизни стоят у него на втором плане. Этот порядок с самого же начала был изменен сильнейшими из друзей Станкевича; они с самого начала говорили: «Философия Гегеля благотворна для жизни, потому надобно изучать истины, ею открываемые» — ясно, что действительная жизнь стоит для них на первом плане, отвлеченное знание имеет уже только второстепенную важность. Люди с такими натурами не могли долго удовлетворяться системою Гегеля: тем или другим путем, они должны были выйти из зависимости от нее, — и, действительно, вышли, кто тем, кто другим путем. Нас здесь занимает Белинский, и мы видели, что его вывело из безусловного поклонения Гегелю ближайшее знакомство с действительностью, быть двигателем которой всегда стремился и был назначен он.

Прежние споры в Москве с друзьями г. Огарева также имели свою долю участия в расширении взглядов Белинского. Правда, во время самых споров никакие возражения не могли нимало поколебать его веры в безусловную справедливость выводов, представляемых системою Гегеля; напротив, как то всегда бывает с людьми сильными и бесстрашными в своей последовательности, споры только утвердили его в прежнем образе мнений, заставили его быть еще последовательнее и строже в своих понятиях, внушили ему сильнейшее желание настаивать на них и доказывать неосновательность всех сомнений в том, что казалось ему истинною. Некоторые из статей, напечатанных Белинским тотчас по переезде в Петербург, написаны под влиянием этого полемического одушевления, и мнения, принадлежавшие всем сотрудникам «Московского наблюдателя», доведены в этих статьях, которые помещены были в «Отечественных записках», до крайности, возбудившей изумление и объясняемой только их полемическим происхождением³⁵. Но важно было уже то, что возражения, предложенные Белинскому его московскими противниками, сильно занимали его, не были им забыты. Когда первые порывы полемики миновались, когда сближение с действительною жизнью начало избличать односторонность прежнего отвлеченного идеализма, Белинский должен был беспристрастнее взглянуть на мнения своих бывших противников, еще так недавно отвергнутые им с высоты идеалистических воззрений. Он увидел, что эти понятия, казавшиеся безусловному последователю систе-

мы Гегеля узкими и поверхностными, гораздо лучше выдерживают поверку фактами, нежели выводы, предлагаемые гегелевою философиею, и что мыслящий человек ничего иного, кроме этих понятий, не может вывести из жизни. Деятели умственного мира разделяются на два класса: одним истина неприятна, если она прежде их высказана кем-нибудь другим, — они готовы брать привилегию на свои мысли, вероятно, по сознанию того, что производительность их в этом отношении слаба, — другие заботятся только об истине, не считая нужным заботиться о привилегиях, — вероятно, потому, что чужды опасения оскудеть умом и обеднеть мыслями; одни не любят отказываться от своих ошибок, — вероятно, по сознанию того, что все их претензии — самолюбивая ошибка; другие чужды этой щепетильности, потому что истина всегда лежала в основании их стремлений. Беллинский принадлежал ко вторым. Он при первом же случае с обычною своею прямою признался, что Петербург научил его ценить воззрения на действительность, о которых прежде он не хотел знать, и что в тех вопросах, о которых шли некогда споры, правда была на стороне людей, отвергавших выводы гегелевой системы, как несообразные с фактами действительной жизни.

Таким образом, исчезли причины разделения, еще незадолго до того времени бывшие препятствием дружному действию лучших людей молодого поколения. Одни, прежде не обращавшие внимания на немецкую философию, сделались теперь ревностными последователями ее, найдя в ее принципах твердое основание для убеждений, которые были приобретены изучением новой истории и современного быта. Представитель другого направления в литературном движении, Беллинский, был приведен наблюдением действительности к различению справедливых начал гегелевой философии от ее односторонних выводов, увидел чрезвычайную важность тех вопросов, на которые в кругу Станкевича обращали слишком мало внимания, и удержал из гегелевой системы только те убеждения, которые выдержали поверку живыми явлениями действительности. Все даровитейшие из бывшего круга Станкевича последовали за ним, если не вышли на ту же дорогу самостоятельно*. Односторонность обоих направлений совершенно сгладилась.

* Читатель понимает, что, говоря здесь исключительно о литературном движении, мы не имеем права упоминать о людях иначе как по

При таком единстве понятий и стремлений должны были сблизиться и люди. Около этого времени возвратился из-за границы Грановский. Чем Станкевич был для своего круга, тем он стал равно для друзей Станкевича и г. Огарева. Грановского невозможно было не полюбить всюю душою каждому благородному человеку. Все, что было в Москве благороднейшего между людьми молодого поколения, соединилось вокруг него. Где был Грановский, там могло быть только одно чувство — чувство братства. Помощником его в этом деле был г. Огарев. Скоро их влиянию подчинились и те, которые жили в Петербурге и провинциях.

Влиянием Грановского, Белинского и других, присоединились к их литературному кругу почти все даровитые люди молодого поколения, уже действовавшие в литературе или выступавшие на этот путь.

Таким образом, из прежних дружеских кругов Станкевича и г. Огарева, с присоединением новых деятелей, составилось одно большое литературное общество, главным органом которого в литературе, до начала нашего журнала, были «Отечественные записки» (с 1840, особенно 1841 до 1846 года); главным действующим в «Отечественных записках» того времени был Белинский. С ним достойным образом разделяли с самого начала честь быть распространителями новых и здравых идей в русской публике некоторые другие люди, о которых мы отчасти уже упомянули, отчасти надеемся сказать, — именно, кроме Грановского, г. Галахов, г. Катков, г. Кетчер, г. Корш, г. Кудрявцев, г. Огарев и другие. Станкевич умер еще до начала этого слияния, Ключников и Кольцов пережили Станкевича лишь немногими годами, как и Лермонтов, который самостоятельными симпатиями своими принадлежал новому направлению, и только потому, что последнее время своей жизни провел на Кавказе, не мог разделять дружеских бесед Белинского и его друзей. Потери эти были вознаграждены присоединением новых людей, которые или примкнули к Белинскому, Грановскому, г. Огареву, или были воспитаны их влиянием. Из них на-

отношениях их к литературе. Без сомнения, в тогдашнем русском обществе на различных поприщах деятельности было много людей, замечательных не менее Белинского; положим, что были такие люди и в кругу Станкевича. Но читатель согласится, что мы можем называть представителем этого круга только Белинского. Мы вовсе не имеем охоты возвышать Белинского насчет кого бы то ни было — он в том вовсе не нуждается — а только излагаем его литературную деятельность.

добно назвать, между прочим, г. Анненкова, г. Григоровича, г. Кавелина, покойных Кронеберга и В. Милютина, г. Некрасова, г. Панаева и г. Тургенева. Более или менее примыкали к тому же кругу или воспитывались влиянием Белинского или Грановского почти все без исключения даровитые люди нового поколения. Г. Краевский, как редактор журнала, служившего органом деятельности Белинского, Грановского, г. Огарева и их друзей, занял очень почетное место в русской литературе, которая, мы с удовольствием можем сказать это, многим обязана ему была в это время, за то, что он предоставил Белинскому в своем журнале положение сообразное в литературном отношении с преобладающею важностью этого лица для журнала.

Около того же самого времени, когда произошло у нас соединение односторонних направлений в одну общую, всеобъемлющую систему воззрений, подобное явление происходило и в Европе. Немецкие ученые начали сознавать, что жизнь имеет свои права не только над деятельностью, но и над наукою; французские ученые и литераторы стали понимать необходимость глубоко исследовать общие понятия, о которых до того времени мало заботились. В той и другой стране прежние односторонние учения стали уступать место новым идеям, которые уже не принадлежали исключительно тому или другому народу, а равно были собственностью каждого истинно-современного человека, в какой бы стране он ни родился, на каком бы языке ни писал. Такое направление умов во всех странах образованного мира к одинаковым воззрениям на все существенные вопросы служило сильною поддержкою единства стремлений у всех истинно-современных людей в каждой стране. Так и у нас, изучением новых явлений, возникавших в умственной жизни главных народов Западной Европы и, при всем различии своего происхождения и формы, проникнутых совершенно одним и тем же духом, укреплялось единство понятий, которыми связывались люди с современным образом мыслей.

Но единство понятий и людей у нас только укреплялось, а не рождено было внешними влияниями. Деятели, стоявшие тогда во главе нашего умственного движения, конечно, ободрялись тем, что согласие с ними всех современных мыслителей Европы подтверждало справедливость их понятий; но эти люди уже не зависели ни от каких посторонних авторитетов в своих понятиях. Мы уже говорили, что тот прогресс в понятиях, который сгладил прежнюю разрозненность, совершился у нас самостоятельным

образом. Тут в первый раз умственная жизнь нашего отечества произвела людей, которые шли наряду с мыслителями Европы, а не в свите их учеников, как бывало прежде. Прежде каждый у нас имел между европейскими писателями оракула или оракулов; одни находили их во французской, другие — в немецкой литературе. С того времени, как представители нашего умственного движения самостоятельно подвергли критике гегелеву систему, оно уже не подчинялось никакому чужому авторитету.

Белинский и главнейшие из его сподвижников стали людьми вполне самостоятельными в умственном отношении.

Этот факт — самостоятельность, которой достигла русская мысль в Белинском и главных его сподвижниках, интересен не потому только, что приятен для нашей народной гордости: он важен в истории наших литературных мнений потому, что им объясняются некоторые отличительные качества трудов Белинского и его союзников, — качества, которых прежде не имела наша критика; им отчасти объясняется и быстрое распространение литературных мнений Белинского в нашей публике.

Человек, мысль которого достигла самостоятельности, определительностью своих понятий и верностью их приложения всегда превосходит тех людей, которые следуют чужим понятиям, не будучи в состоянии подвергнуть критике принципы, которых держатся. До Белинского наша критика была отражением то французских, то немецких теорий, потому вовсе не имела ясности и определенности в своих основных воззрениях, а при оценке существенного смысла и достоинства литературных явлений, если высказывала много верного, то почти всегда или оставляла многое недосказанным, или примешивала к верным замечаниям странные недоразумения. Вообще, мнения лучших критиков, предшествовавших Белинскому, очень скоро, в течение каких-нибудь пяти-шести лет, оказывались устаревшими, неосновательными или односторонними. Так, «Телеграф» был основан в 1825 году, а в 1829 году человек, читавший статьи Надеждина в «Вестнике Европы», уже не мог без улыбки думать о «высших взглядах» Полевого, не мог не убедиться, что Полевой слишком неудовлетворительно понимал значение важнейших явлений в современной ему русской литературе. Суждения самого Надеждина представляют странный хаос, ужасную смесь чрезвычайно верных и умных замечаний с мнениями, которых невозможно защищать,

так что часто одна половина статьи разрушается другою половиною. Напротив, суждения Белинского до сих пор сохраняют всю свою цену, и верность их вообще такова, что люди, восстававшие против него, почти всегда правы были только в том, что заимствовали у него же самого. В последние годы у нас много говорили о неудовлетворительности понятий Белинского; в числе этих эпигонов, воображавших, что пошли далее Белинского, были люди умные и даровитые; но нужно только сличить их статьи с статьями Белинского, и каждый убедится, что все эти люди живут только тем, чего наслушались от Белинского: они толкуют вечно только о том же самом, что говорил Белинский, и если толкуют иначе, так это только потому, что вдаются или в односторонность, или в очевидное пристрастие³⁶. Со времени Белинского материалы для истории литературы деятельно разрабатываются; но вообще, каждое новое исследование ведет только к новому подтверждению суждений, высказанных им.

Самостоятельность его мысли была также одною из главных причин сочувствия, с которым принимались его мнения. Слабая сторона людей, повторяющих чужие мысли, состоит в том, что большею частью они толкуют о предметах, не возбуждающих интереса в публике. Правда всегда правда, но не всякая правда везде и всегда равно важна и равно способна возбудить внимание: у каждого века, у каждого народа есть свои потребности; то, что интересно немцу, часто бывает вовсе не интересно французу или русскому, потому что не имеет прямого отношения к потребностям его жизни. Надобно говорить о том, что нужно нашей публике в наше время. Прежде наша литература слишком часто говорила о предметах, имеющих для нас слишком мало интереса, служа не столько выразительницею наших собственных мыслей, не столько разрешительницею наших собственных недомыслий, сколько отголоском чужих суждений о чуждых нам делах. Белинский всегда говорил о том, что слышать нужно и интересно было именно той публике, которой он говорил.

В следующей статье нам должно будет излагать его деятельность в пору зрелого развития. Характеризуя литературные воззрения Белинского, мы будем обращать главное наше внимание на его позднейшие статьи, потому что до самой смерти своей этот человек шел вперед, и чем далее, тем полнее и точнее выражались его мысли; и, конечно, мы должны будем принимать в основание своих

соображений самое зрелое их выражение. Но прежде нам остается обозначить путь, которым шло развитие его воззрений с того времени, как начали появляться его статьи в «Отечественных записках», до той высоты, на которой застигнут он был смертью. В нескольких словах существеннейшая черта развития критики Белинского с 1840 года может быть определена так:

Критика Белинского все более и более проникалась живыми интересами нашей жизни, все лучше и лучше постигала явления этой жизни, все решительнее и решительнее стремилась к тому, чтобы объяснить публике значение литературы для жизни, а литературе те отношения, в которых она должна стоять к жизни, как одна из главных сил, управляющих ее развитием.

С каждым годом в статьях Белинского мы находим все менее и менее рассуждений об отвлеченных предметах или хотя о живых предметах, но с отвлеченной точки зрения; все решительнее и решительнее становится преобладание элементов, данных жизнью.

СОЧИНЕНИЯ Т. Н. ГРАНОВСКОГО

Том первый. Москва. 1856.

Когда, по смерти замечательного ученого или поэта, даются его друзьями и почитателями обещания издать полное собрание его сочинений, публика не обольщается надеждою, что слова эти непременно будут исполнены; а тому, чтобы обещания исполнились скоро и удовлетворительно, она решительно не верит. И нельзя не сказать, что такая недоверчивость основательна: публика была слишком часто обманываема подобными обещаниями. Лет пять заставили ее ждать дополнительных томов к первому посмертному изданию творений Пушкина (1841 года), и — боже! — каково было это издание! Любители курьезных книг должны дорожить им, как дивом небрежности и неряшества внешнего и внутреннего, как редкостью, достойною занимать место на ряду с тем знаменитым изданием Виргилия, в котором список типографских и других погрешностей наполнил в полтора раза более страниц, нежели самый текст¹. Относительно русской поэзии довольно этого примера. Наука наша еще несчастнее на посмертные издания. Укажем один случай: Прейс, один из первых славянистов Европы, оставил много сочинений; но почти все они хранились еще в рукописи, когда постигла его слишком ранняя смерть. Напечатаны им при жизни были только немногие и небольшие по объему статьи, удивляющие ученостью и глубокомыслием. Важность оставшихся в рукописи трудов его была несомненна. Несколько лет мы постоянно слышали, что рукописи Прейса приготавливаются к изданию... вот прошло десять лет, а еще ни одна строка из них не явилась в печати, да и самые слухи об издании совершенно замолкли: довольно, должно быть, того, что поговорили о нем. Таких фактов можно было бы припомнить десятки. Неудивительно после того, что публика мало надеется на посмертные издания.

Тем более чести друзьям покойного Грановского², которые принятую ими на себя священную обязанность ис-

полняют, как видим, ревностно и честно. Первый том обещанного издания уже в руках публики; второй явится через два или три месяца, и, таким образом, еще до истечения года со времени тяжелой потери, нанесенной не только нашей науке, но и обществу русскому смертью автора, друзья его исполнят ту часть своего долга, совершение которой зависит исключительно от их усердия: два тома эти соединяют в себе все, что было напечатано Грановским при жизни. Остается другая, еще более важная половина дела: напечатать по рукописи Грановского составленную им часть учебника всеобщей истории и, по запискам его слушателей, знаменитые его университетские курсы. Ревность, уже доказанная издателями, ручается за то, что и тут они сделают все зависящее от них для удовлетворения ожиданиям публики. Надобно надеяться, что им удастся дать нам полные курсы Грановского³

Внешний вид издания совершенно удовлетворителен. Цена назначена очень умеренная — три рубля за два большие тома: очевидно, издатели заботятся о том, чтобы дешевизна книги позволяла большинству небогатых читателей приобретать издание. Прекрасный пример, которого не должны были бы дожидаться другие издатели, возбуждающие против себя справедливый ропот за то, что слишком высокой ценою препятствуют должному распространению в массе публики книг, наиболее любимых и необходимых каждому образованному человеку. Г. Кудрявцев, на котором лежат главные труды по изданию, как видно из предисловия, и г. Соловьев, разделявший с ним заботы по редакции, приобретают этим прекрасным делом новое право на признательность публики.

Характер предисловия, приложенного к первому тому, заставляет нас сделать догадку, в справедливости которой нельзя сомневаться, принимая во внимание энергию, с какою друзья Грановского заботятся о его памяти. «Известие о литературных трудах Грановского», написанное г. Кудрявцевым, занимается исключительно характеристикою литературных приемов и привычек покойного историка, нисколько не касаясь его биографии. Это заставляет думать, что жизнеописание его составляет предмет отдельного и обширного труда. В плане издания, объясняемом г. Кудрявцевым, не упоминается о выборе из корреспонденции Грановского, без сомнения, очень важной для его биографии, да и вообще для истории нашей литературы: это служит новым подтверждением выраженной выше догадки. Итак, есть основания думать, что жизнь Гранов-

ского будет нам рассказана со всею возможною в настоящее время полнотою⁴. С живейшим интересом будем ожидать этой биографии, а пока воспользуемся теми сведениями, какие сообщает предисловие, для характеристики привычек Грановского, как литератора.

Грановский писал гораздо менее, нежели должно было желать. Чем объяснить это? Ужели только нелюбовью к механическому труду, соединенному с изложением мыслей на бумаге? Так думали иные. Г. Кудрявцев находил это слишком поверхностное объяснение неудовлетворительным и приводит другие, гораздо вернейшие.

В Грановском (говорит он) соединились два качества, которые не часто встречаются вместе: ум его был столько же ясный и живой, сколько и основательный. Его не удовлетворяло поверхностное знание предмета, первое знакомство с ним. Его не пугали самые трудные задачи науки: он любил брать их «с боя» (как сам же он выразился в одной своей статье), но не довольствовался своею первою победою. Не останавливаясь на первом полученном успехе, он находил в нем лишь новые побуждения к тому, чтобы усилить занятия предметом. Чем больше знакомился он с вопросом, тем больше любил углубиться в него. Однажды выработанная мысль не принимала в нем навсегда неподвижную форму, закрытую для всякого дальнейшего развития. Каждое новое исследование, соприкасающееся с предметом его занятий, вводило его на новые соображения. Оттого нередко случалось, что Грановский, уже обдумавши свой собственный план, или отказывался от него, или отлагал на неопределенное время его исполнение, находя, что он еще не довольно соответствовал современным требованиям науки. Время, между тем, наводило нашего ученого на другие вопросы, и возбужденная ими любознательность вызывала его на новые занятия. Таким образом, несколько обширных планов, задуманных им еще во время пребывания за границею, остались неисполненными, хотя для них уже заготовлено было много материала... С необыкновенною живостью переходя от одного вопроса науки к другому, Грановский никогда, впрочем, не терял из виду прежних задач: напротив, он часто возвращался к ним с новым воодушевлением, — но за то и с большею взыскательностью к самому себе. Не довольно было, чтобы мысль много занимала его: он не прежде приступал к литературной обработке ее, как давши ей созреть в себе и достигнув ясного понимания ее в самых подробностях... Грановский был вовсе чужд того литературного легкомыслия, которое спешит всякую случайно нашедшуюся мысль тотчас передать публике... Говоря о Грановском, как о писателе, не надобно также забывать его в высокой степени симпатическую природу, постоянно обращенную ко всем живым явлениям в современности. Можно сказать, что ни одно замечательное явление в умственном мире и в общественном быту не ускользало от его внимания. Мысль его устремлялась всюду, где только находила след человеческой деятельности... Некоторые читатели были очень изумлены, увидев напечатанное в одном журнале, с именем Грановского, чтение «Об Океании и ее жителях»: с какой стати было ему говорить об Океании? Каким образом мысль историка могла быть завлечена в такую неисторическую страну? Дело, однако, объясняется очень просто. Где только находилось какое-нибудь людское общество, там непременно хотела присутствовать и неутомимая мысль нашего ученого... До нас дошло лишь одно такое

чтение: но читатель может судить по нем, какое обширное изучение предмета автор обыкновенно полагал в основание своих выводов. — Если дальний и малоизвестный свет так много занимал нашего ученого, то можно себе представить, с каким живым интересом следил он за всем тем, что делалось и происходило вокруг него. Современные общественные явления не имели между нами более восприимчивого органа для себя. Все, что было в них как отрадного, так и горького, — все это находило самый искренний и горячий отзыв в его душе... Понятно, что при такой чувствительности к современному, вопросы, предлагаемые наукою о прошлой жизни, нередко уходили на задний план. Это не значит, конечно, чтобы Грановский терял их из виду; но перед лицом великих современных событий они нередко теряли тот животрепещущий интерес, который тотчас ищет себе выхода в литературу... К тому же, общительный от природы, любя более всего живое, свободное слово, он часто довольствовался этим средством сообщения своих мыслей... Оттого-то, между прочим, Грановский предпочитал столько любимую им форму публичных чтений всякому другому способу изложения своих мыслей.

Прибавим к этому другие обстоятельства, на которые намекает г. Кудрявцев, — между прочим, что литературная форма у нас очень узка, если можно так выразиться; что Грановский был доволен своим сочинением только тогда, когда успевал сообщить мысли совершенно художественную форму, под которою, конечно, надобно понимать не только внешнюю обработку слога, но также полноту и ясность развития мысли, — и нам не будет казаться странным, что Грановский писал мало. Это было следствием того, что он верно понимал свое положение и обязанности. У нас в деле науки почти совершенно нет разделения работ, потому что мало людей, приготовленных к ученому труду. Ученый, одаренный способностями, которые ставят его выше толпы, до сих пор еще находится в положении, отчасти сходном с положением Ломоносова: не одно дело, а десять, двадцать дел должен брать он в свои руки, если хочет быть истинно полезен. В Германии, в Англии историк может спокойно обрабатывать избранный предмет, не отвлекаясь ничем — он служитель науки, и только; весь долг его ограничивается тем, чтобы быть трудолюбивым специалистом — остальным потребностям общества удовлетворяют другие люди. У нас положение истинного ученого, каким был Грановский, еще не таково. До сих пор он служитель не столько своей частной науки, сколько просвещения вообще — задача, несравненно более обширная. Известно, что западные ученые почти всегда избирают предпочтительным предметом своих занятий одну какую-нибудь часть истории: иной трудится почти исключительно над разработкою греческой истории, другой — римской, третий — истории Италии или Германии, да и то не во всем ее объеме, а преимущественно или в средние века,

или в эпоху возрождения, или в новое время. Кроме этого небольшого участка, все остальные народы и времена уже не развлекают его сил и внимания: то — особенные участки, о которых нечего заботиться, потому что они обрабатываются другими деятелями. У нас не то: деятелей так мало, что они еще не могут ограничиться разработкою отдельных частей науки — иначе большая часть ее останется еще совершенно чуждою, неведомою нашему обществу; они даже не могут сосредоточить своего внимания на избранной ими специальной науке, — потому что другие, сродные с нею, необходимые для ее успехов отрасли знания не находят еще себе возделывателей; ученый, понимающий свое отношение к потребностям публики, все еще чувствует у нас слишком сильную потребность быть не столько специалистом, сколько энциклопедистом. Не трудное и почетное в ученом смысле дело — заняться разработкою эпохи феодализма или реформации, греческой или немецкой истории — тут можно создать творения капитальные, которыми данный вопрос двинется вперед для науки, и ученая слава наградит труженика. Но то ли у нас нужно? Прежде, нежели заботиться о движении вперед науки, надобно позаботиться о том, чтобы усвоить ее нашему обществу — подвиг вовсе не блестящий, в научном смысле, подвиг не специалиста, увенчиваемого музою Клио, а просветителя своей нации, за отречение от обольщений личной славы вознаграждаемого только сознанием, что он делает полезное для общества дело. Есть люди, которые думают, будто наше общество уже достаточно ознакомилось с наукою в современном ее состоянии, которые даже удивляются богатству и основательности знаний в нашем обществе. «Познания у нас, русских, так разнообразны и обширны (восклицают эти люди, слишком доверчивые к своему), умственные способности так развиты, ясность и быстрота понятий доведены до такой высокой степени, что изумишься поневоле!» («Моск[овский] сбор[ник]», 1846 г., статья г. Хомякова: «Мнение русских об иностранцах», стр. 151). Но в этом изумлении от наших чрезвычайных умственных богатств гораздо больше субъективных, нежели объективных оснований, или, пожалуй, больше доброй воли, нежели основательности. На самом деле у нас очень мало людей, которые следили бы за наукою, — тем больше, разумеется, чести немногим, действительно следящим за нею. Но обязанность их совершенно не та у нас, как на Западе, потому что они должны действовать в обществе, находящемся не на той степени умствен-

ного развития, как западное общество. Там прогресс состоит в дальнейшей разработке самой науки, у нас до сих пор еще в том, чтобы полнее усваивать результаты, которых уже достигла наука; там на первом плане стоят потребности науки, у нас — потребности просвещения.

Грановский понимал это и служил не личной своей ученой славе, а обществу. Этим объясняется весь характер его деятельности. Специальная наука его была история. Чего недостает нам в настоящее время по этой важной отрасли знания? Чем мучится наше общество? Тем ли, что многие очень важные вопросы в этой науке еще не разрешены? Нимало; оно даже не предчувствует существования этих неразрешенных вопросов, и если слышит, что в науке еще не все сделано, то наивно предполагает нерешенными именно те вопросы, которые давно уже объяснены*.

* До какой степени простирается эта ошибка, можно видеть, например, из статьи «Московского сборника», о которой упомянули мы выше. Автор, бесспорно принадлежащий к числу просвещеннейших людей у нас, говорит, между прочим, что наши ученые должны решить те важнейшие вопросы в истории, которые не решены западною наукою, и сетует на наших историков за то, что не двинули этих вопросов вперед, не сказали о них ничего нового. Каковы же задачи, не разъясненные, по мнению автора, наукою? Вот они: «Догадались ли вы, что каждый народ представляет такое же живое лицо, как и каждый человек, и что внутренняя его жизнь есть не что иное, как развитие какого-нибудь нравственного или умственного начала, осуществляемого обществом?» (Об этом давно все твердят с голоса Гегеля: трудно найти историческую книгу за последние двадцать лет, в которой бы дело это излагалось неудовлетворительно; в настоящее время скучно уже и говорить о подобных вещах.) «Самые важные явления в жизни человечества остались незамеченными. Так, например, критика историческая не заметила, что многое утратилось и обмелело в мыслях и познаниях человеческих при переходе из Эллады в Рим и от Рима к романизированным племенам Запада». (С того времени, как принялись за изучение греческих классиков, каждому известно, что греки в науке и поэзии были выше римлян, что Гомер выше Вергилия, перед Платоном и Аристотелем ничтожен Цицерон, как философ, и т. д.; а то, что латинские классики неизмеримо выше средневековых писателей, было всем известно даже в середине века.) «Так разделение Империи на две половины после Диоклетиана и Константина является постоянно делом грубой случайности, между тем, как очевидно оно происходило от разницы между просвещением эллинским и римским». (Да у какого же историка представляется оно делом грубой случайности? И какой историк не понимает и не объясняет, что деление произошло от разности между цивилизацией греческою и римскою мира, Восточной и Западной империи? и т. д., смотр. «Московский сборник», 1846 г., статья г. Хомякова, стр. 157—160.) В истории очень много неразрешенных вопросов; но к ним нимало не принадлежат задачи, на которые указывает русскому историку автор: о предметах, им исчисляемых, ни русский, ни немецкий, ни французский историк не может сказать ничего существенно нового, потому что они объяснены очень удовлетворительно. Говоря о них что-нибудь различное от настоящих решений, давно данных

Возможность подобных недоразумений ясно указывает на то, в чем состоит истинная потребность нашего общества: в настоящее время ему нужно заботиться о том, чтобы короче познакомиться с наукою в ее современном положении. Оно и само требует от своих ученых именно этой, а не какой-нибудь другой услуги: они должны быть посредниками между наукою и обществом. Таков и был Грановский. Но если мы до сих пор еще слишком мало усвоили себе науку, то главною виною этому в настоящее время должны считаться не какие-нибудь внешние препятствия, как то было до Петра Великого, а равнодушие самого общества ко всем высшим интересам общественной, умственной и нравственной жизни, ко всему, что выходит из круга личных житейских забот и личных развлечений. Это наследство котошихинских времен, времен страшной апатии. Привычки не скоро и не легко отбрасываются и отдельным лицом; тем медленнее покидаются они целым обществом. Мы еще очень мало знаем не потому, чтоб у нас не было дарований — в них никто не сомневается, — не потому, чтоб у нас было мало средств — всякий народ имеет силу дать себе все, чего серьезно захочет, — но потому, что мы до сих пор все еще дремлем от слишком долгого навыка к сну. Оттого-то существеннейшая польза, какую может принести у нас обществу отдельный подвижник просвещения, посредством своей публичной деятельности, состоит не только в том, что он непосредственно сообщает знание — такой даровитый народ, как наш, легко приобретает знание, лишь бы захотел — но еще более в том, что он пробуждает любознательность, которая у нас еще недостаточно распространена. В этом смысле, лозунгом у нас должны быть слова поэта:

Ты вставай, во мраке сиящий брат!⁵

Наконец, на людях, щедро наделенных природою и высоко развитых наукою, есть у нас еще обязанность, мало привлекающая силы западных ученых. Общество дает у нас мало опоры научным и человеческим стремлениям; воспитание наше обыкновенно бывает неудовлетворительно: оно не полагает твердых оснований нашей будущей деятельности, не влагает в нас никакого сильного стремления.

наукою, можно разве только повторять контраверсистов и схоластиков, например, в вопросах о Византии Адама Церникава (Zernikaw — Зерников? Жернаков?) — тут будет еще меньше нового и самостоятельного, нежели в согласии с основательными решениями современной науки.

никакого определенного взгляда на самые простые житейские и умственные вопросы. Потому даже в людях наиболее даровитых и развитых, по уму, знанию и положению имеющих призвание быть деятелями просвещения, по большей части не бывает никаких бодрых и решительных стремлений; мысли их колеблются, перепутываются, деятельность не имеет никакой определенной цели; они часто готовы бывают блуждать сами в смутном хаосе недоумений, по воле случая направляясь то туда, то сюда, не приходя и сами ни к чему достойному внимания, не только не проводя за собою других к какой-нибудь возвышенной цели. Для них бывает нужен человек, который постоянно возбуждал бы в них желание искать истинный путь, постоянно указывал бы направление их деятельности, решал бы их недоумения, который был бы для них авторитетом и оракулом. Вообще, часто бывает нужно восставать против слепого увлечения авторитетами; быть может, наступит время, когда люди найдут, что могут обходиться и без авторитетов: тогда люди будут гораздо счастливее, нежели были до сих пор. Но пока — и это «пока» продолжится еще целые века — сила привычки и апатии так еще сильна, что большинство чувствует себя спокойным и уверенным только тогда, когда встречает объяснение стремлениям века и ободрение своим мыслям в каком-нибудь авторитете. Особенно должно сказать это о нашем молодом обществе. Оно не может, кажется, шагу ступить без поддержки какой-нибудь сильной отдельной личности. Явление, если говорить правду, само по себе прискорбное; но что ж делать, когда иначе не бывает в известных периодах развития? Поневоле надобно признать, что люди, которые были авторитетами добра и истины, заслуживают глубокой благодарности за пользу, которую принесли, за успехи, совершенные под их влиянием и пока невозможные без них.

Такова была доля Грановского в деле нашего развития. Он был одним из сильнейших посредников между наукою и нашим обществом; очень немногие лица в нашей истории имели такое могущественное влияние на пробуждение у нас сочувствия к высшим человеческим интересам; наконец, для очень многих людей, которые, отчасти благодаря его влиянию, приобрели право на признательность общества, он был авторитетом добра и истины. Все это, как видим, не принадлежит к числу тех специальных заслуг,

на которых зиждется слава ученого. А, между тем, в них-то именно и должно состоять истинное значение ученого в нашем обществе. То, что стало уже второстепенным делом на Западе, у нас еще составляет существеннейший вопрос жизни; то, чего требует от своих людей Запад, еще не требуется нашим обществом. Люди, которые скорбят о том, что наше общество, наше просвещение и т. д. как две капли воды походят на западное общество, западное просвещение и т. д., оскорбляются фактами, решительно созданными их воображением. Если б мы разделяли их понятия, мы, напротив, повсюду видели бы повод к радости: сходства между нами и Западом пока еще не заметно ни в чем, если хорошенько вникнем в сущность дела.

Так, например, и Грановский был возможен только у нас. Человек, по природе и образованию призванный быть великим ученым и шедший всю жизнь неуклонно и неутомимо по ученой дороге, не оставил, однако, по себе сочинений, которыми наука двигалась бы вперед (единственное средство к приобретению имени великого ученого на Западе), — и, между тем, каждый из нас говорит, что он несомненно был великим ученым и исполнил все, к чему призывал его долг ученого. Кажется, такого суждения нельзя обвинять в подражательности западным примерам; мы не знаем даже, можно ли его сделать вразумительным для немца или англичанина, не обрусевшего в значительной степени. Так и во всем: наше общество все мерит своим аршином, а вовсе не французским метром (хотя он гораздо удобнее) и не английским футом (хотя он и введен у нас, на словах). За оригинальность нашу нечего опасаться: сильнее обстоятельств времени не будет никто, подчиняется им всякий.

Однако, почему же Грановский писал мало и не оставил сочинений, двигающих науку вперед? Потому, что он был истинный сын своей родины, служивший потребностям ее, а не себе. Не знаем, сознавал ли он, на какую высоту становится, какую блестящую славу снискивает, отказываясь от своей личной ученой славы. По всей вероятности, он и не думал об этом: он был человек простой и скромный, не мечтавший о себе, не знавший самолюбия; надобно даже предполагать, что он и не приносил тяжелой для гордости жертвы, отказываясь от легко исполнимого при его силах стремления занять почетное место в науке капитальными трудами. Он просто исполнял свой долг, употребляя свои силы сообразно требованиям занимаемого

им положения в русском обществе. Положение было таково, что все лежавшие на нем требования общества и науки существенно исполнялись живым словом, — и литературная деятельность была для него только повторением, только делом досуга и личной, случайной охоты повторить на бумаге то, что уже достигло своей цели посредством живого слова. Как профессор Московского университета, без всяких сравнений значительнейшего из ученых учреждений России по влиянию на жизнь общества и развитие нашего просвещения, Грановский имел круг деятельности едва ли менее обширный, нежели круг действия литературы. Непринужденность изложения, полнота выражения мысли, какая давалась ему живым словом, не существует в литературе. Какое же побуждение мог он иметь для повторения в искаженном виде того, что уже было сообщено публике? Он не нуждался в литературе, как посреднице между ним и публикою. Но, однако ж, он должен был чувствовать важность литературы, должен был и на нее простирать свое влияние? И для этого точно так же не имел он надобности писать. Его высокий ум, обширные и глубокие познания, удивительная привлекательность характера сделали его центром и душою нашего литературного кружка. Все замечательные ученые и писатели нашего времени были или друзьями, или последователями его. Влияние Грановского на литературу в этом отношении было огромно. Конечно, возможность такого действия через беседу, чрез личные отношения, связывающие людей в один кружок, обуславливается малочисленностью нашего литературного сословия. Ведь если разобрать хорошенько, у нас в этом отношении и до сих пор существует порядок вещей, мало чем отличный от того, что было во времена «Беседы любителей русского слова» и «Арзамаса»⁶: все наши литераторы и ученые наперечет, каждый из них лично знаком со всеми остальными; это совершенно не то, что в Германии, Франции, Англии, где они считаются сотнями и тысячами, где всеобщее знакомство — вещь невозможная. У нас, если хотите, и вообще наука и литература отчасти семейное дело, и, по патриархальному обычаю, в ней устными разговорами и тому подобными до-гуттенберговскими средствами ведется многое, что в какой-нибудь Германии может существовать и обнаружить действие только при помощи типографских чернил.

Таким образом, Грановский удовлетворял всем условиям своего положения, обнаруживал все свое влияние, не нуждаясь в посредстве литературных трудов, которые были для него делом второстепенным. Тем не менее, литературная его деятельность вовсе не так незначительна по объему, как полагали некоторые, не думавшие, чтоб из напечатанного Грановским при жизни составились два большие тома. Что касается важности его сочинений и особенно духа, проникающего все их, тут едва ли может быть место спору. Конечно, как и о всем на свете, об ученом достоинстве сочинений Грановского существуют мнения, не совершенно согласные. Одни, из благоговения к автору, благородная личность и чрезвычайно плодотворная деятельность которого действительно заслуживают всевозможного уважения, готовы поставить его произведения во всех отношениях слишком высоко; другие, не принимая в уважение особенных требований русского общества от науки, находят, что сочинения Грановского не имеют качеств, необходимо требуемых от капитального ученого труда в Германии или Франции. Но дело в том, что разноречие этих, по-видимому, противоположных суждений существует преимущественно только в тоне, а не в самой мысли. Одни, по личным чувствам своим к автору, говорят о его сочинениях голосом любви, другие, также по своим чувствам к личности автора, — голосом недовольства. Но и самые жаркие поклонники Грановского хорошо понимают, что собственно в европейской науке его сочинения не могут произвести эпохи, потому что не таково в настоящее время призвание русских ученых; и самые смелые из восстававших против Грановского признавали в его сочинениях, кроме мастерского изложения и других литературных достоинств, чрезвычайно замечательную ученость и глубокомыслие*.

Действительно, сочинения Грановского, напечатанные при его жизни (суждение о его университетских курсах мы должны отложить до того времени, когда они будут обнародованы), не будучи таковы, чтоб ими производился переворот в науке, как производился он трудами Гизо, Шлоссера или Нибура, показывают, однако же, в авторе такие качества ума и такое обширное знание, что нельзя не

* Мы говорим, конечно, о мнении людей знающих в той и другой партии, не обращая внимания на выходки некоторых несведущих людей, невежество которых было тогда же изблещено.

признать его одним из первых историков нашего века, ученым, который был не ниже знаменитейших европейских историков; что в России не имел он соперников, это всегда было очевидно для каждого. Внимательное и строгое рассмотрение собранных ныне его статей убеждает в том. Панегирики Грановскому не нужны, и потому разбор наш будет совершенно чужд хвалебного элемента; но чем он беспристрастнее, тем несомненное общий вывод, теперь высказанный.

Издатели распределили сочинения Грановского на три отдела: 1) Сочинения общего исторического содержания: «О современном состоянии и значении всеобщей истории»; «О физиологических признаках человеческих пород»; «О родовом быте у древних германцев». 2) Частные исследования: «Судьбы еврейского народа»; «Волин, Иомсбург и Винета»; «Аббат Сугерий»; «Четыре исторические характеристики: Тимур, Александр Великий, Людовик IX и Бэкон»; «Песни Эдды о Нифлунгах» (оба эти отдела вошли в состав первого тома). 3) Критические статьи, из которых составится второй том. Мы не находим причин отступать от этого порядка в своем обозрении.

Речь «О современном состоянии и значении всеобщей истории» была произнесена в торжественном собрании Московского университета в 1852 году. Издатели справедливо почли нужным дать ей первое место в первом отделе, «потому что в ней изложены самые зрелые понятия автора о науке, которая составляла главный предмет его занятий».

История принадлежит к числу тех наук, быстрым усовершенствованием которых гордятся новейшие времена. Надобно даже сказать, что история, как мы ныне понимаем ее, как «изображение постепенного развития жизни рода человеческого», возникла только в последние времена. Ни классический мир, ни средние века не знали ее в этом смысле. Те ученые, которые назначают самый древний срок возникновению настоящего понятия об истории, называют отцом ее великого Вико (в начале прошедшего века), потому что книга Боссюэта (в конце XVII столетия), «Трактат о всеобщей истории», не имеет значения, которое хотели придать ей некоторые французские историки. Другие, с большею основательностью, относят начало всеобщей истории к заслугам Монтескье и Гердера. Еще справедливее судят те, которые говорят, что истинное понятие о всеобщей истории развито преимущественно Кан-

том, его учениками и последователями; но едва ли не ближе всех к истине то мнение, что только нашему веку удалось ясно постичь идею всеобщей истории, потому что только с Гегеля, Гизо, Нибура, Шлоссера начинается деятельная разработка этой идеи; только в творениях этих великих ученых и их последователей мы находим первые значительные опыты дать человечеству полный и точный рассказ о его жизни. Но и эти труды, как ни колоссальны по своему значению, все еще далеко не удовлетворительны. Недостатки их заключаются не в одних частных несовершенствах исполнения, но еще более в недостаточности общего плана, односторонности и неполноте воззрения на жизнь человечества. Жизнь рода человеческого, как и жизнь отдельного человека, слагается из взаимного проникновения очень многих элементов: кроме внешних эффектных событий, кроме общественных отношений, кроме науки и искусства, не менее важны нравы, обычаи, семейные отношения, наконец, материальный быт: жилища, пища, средства добывания всех тех вещей и условий, которыми поддерживается существование, которыми достаются житейские радости или скорби. Из этих элементов только немногие до сих пор введены в состав рассказа о жизни человечества. Так называемая политическая история, то есть рассказ о войнах и других громких событиях, до сих пор преобладает в рассказе историков, между тем как на деле она имеет для жизни рода человеческого только второстепенную важность. История умственной жизни, да и то только в тесном кругу немногочисленных классов, принимающих деятельное участие в развитии наук и литературы, одна только разделяет с политической историей право на внимание автора, — да и только в немногих сочинениях, до сих пор остающихся редкими исключениями в массе исторических книг; да и тут она играет второстепенную роль. История нравов обращает на себя еще гораздо менее внимания. О материальных условиях быта, играющих едва ли не первую роль в жизни, составляющих коренную причину почти всех явлений и в других, высших сферах жизни, едва упоминается, да и то самым слабым и неудовлетворительным образом, так что лучше было бы, если б вовсе не упоминалось. Не говорим уже о том, что в сущности вся история продолжает быть по преимуществу сборником отдельных биографий, а не рассказом о судьбе целого населения, то есть скорее похожа

на сборник анекдотов, прикрываемых научною формою, нежели на науку в истинном смысле слова *.

Чем ближе вникаем мы в труды, совершенные поныне для истории, тем более убеждаемся, что ныне мы имеем только идею о том, чем должна быть эта наука, но едва еще видим первые, односторонние опыты осуществить эту идею. Не будем рассматривать причин, по которым практика так отстала в этом случае от теории: это завлекло бы нас слишком далеко; скажем только, что, с одной стороны, затруднением служат скудость и необработанность материалов для истории тех элементов жизни, которые до сих пор упускались из виду. С другой стороны, едва ли не важнейшим еще препятствием надобно считать узкость и отвлеченность обыкновенного взгляда на человеческую жизнь. Антропология только еще начинает утверждать свое господство над отвлеченною моралью и одностороннею психологию.

Как все еще не установившиеся науки, история часто испытывает изменения, состоящие в том, что внимание исследователей постепенно обращается то на один, то на другой из элементов науки, которые прежде были забываемы. Речь Грановского имеет своим главным предметом одно из значительнейших приобретений, доставленных истории союзом с естественными науками, которых прежде не хотела она знать. При той чрезвычайной важности, какую играет в жизни и должна приобрести в истории натуральная сторона человеческого быта, понятно, что влияние естественных наук на историю должно со временем

* Чтобы указать пример того, как тесен еще горизонт всеобщей истории в лучших сочинениях, приводим план сочинения Гизо, который понял науку шире, нежели кто-нибудь из других великих историков. Заключая первый год своих чтений об «Истории цивилизации», он делает общий обзор содержания своих лекций и говорит, что предметом их была «политическая и церковная история, история законодательства, философии и литературы». Очевидно, что этою программю, кроме политической истории, занимающей первое место, обнимается только часть умственной жизни народа, многие сферы которой остались нетронутыми. О материальной стороне жизни программа и не упоминает. Вообще, Гизо часто повторяет, что излагает историю «внутренней жизни человека и его отношений к другим людям»: об истории отношений человека к природе и не упоминается, а между тем, в природе источники человеческой жизни и вся жизнь коренным образом определяется отношениями к природе. Само собою разумеется, что мы указываем на Гизо не за тем, чтобы укорять его за односторонность, а, напротив, потому, что он в смысле, занимающем теперь нас, стоит выше других историков нашего времени. Программа Шлоссера, другого замечательнейшего историка, по обширности взгляда на содержание своей науки не многим отличается от программы Гизо.

сделаться неизмеримо сильным. В настоящее время еще очень немногие историки предчувствуют это. Грановский принадлежал к числу их. В очерке, который мог быть только плодом глубокого изучения, соединенного с редкою пронизательностью, изобразив развитие идеи всеобщей истории до великого Нибура, давшего в первый раз прочные основания исторической критике, Грановский сосредоточивает мысль на новой эре, возникающей для науки от приложения к ней великих результатов, достигаемых естествознанием. Поводом к этому эпизоду послужил ему вопрос о значении человеческих пород, который раньше других разрешен теперь с некоторою степенью удовлетворительности.

Заслуга Нибура, — говорит Грановский, — не ограничилась введением новых и точных примеров критики. Еще будучи юношею, в частной переписке своей, он высказал несколько смелых и плодотворных мыслей о необходимости дать истории новые, заимствованные из естествознания основы. Историческое значение человеческих пород не ускользнуло от его внимания; но ему не привелось развить вполне и приложить к делу свои предположения об этом столь важном предмете... Около того же времени вопрос о породах начал занимать пытливые умы вне Германии. Форцель, братья Тьерри и другие ученые старались объяснить отношения различных народностей, преемственно господствовавших на почве Франции и Англии. Они озарили ярким светом начало средневековых народов и обществ, но не решились переступить чрез обычные грани исторических исследований и оставили в стороне физиологические признаки тех пород, которых исторические особенности были ими тщателью определены. Надобно было, чтобы натуралист подал, наконец, голос против такого стеснения нашей науки и указал на связь ее с физиологиею. В 1829 году Эдварде издал письмо свое к Амедеу Тьерри о физиологических признаках человеческих пород и отношений их к истории. Высказанные им по этому поводу мысли были приняты с общим одобрением, но до сих пор еще не принесли желаемой пользы... Уступки, сделанные историками новым требованиям, были большею частью внешние. Дальнейшее упрямство, впрочем, невозможно, и история, по необходимости, должна выступить из круга наук филолого-юридических, в котором она так долго была заключена, на обширное поприще естественных наук... Действуя заодно с антропологию, она должна обозначить границы, до которых достигали в развитии своем великие породы человечества, и показать нам их отличительные, данные природою и проявленные в движении событий, свойства... Но не одну эту только сторону граничит история с естествознанием. Еще древние заметили решительное влияние географических условий, климата и природных определений вообще на судьбу народов. Монтескье довел эту мысль до такой крайности, что принес ей в жертву самостоятельную деятельность человеческого духа. Несмотря на то, отношение человека к занимаемой им почве и их взаимное действие друг на друга еще никогда не были удовлетворительным образом объяснены. Великое творение Карла Риттера, принимающего землю за «храмину, устроенную провидением для воспитания рода человеческого», проложило, конечно, новые пути историкам нашего времени; но многие ли воспользовались этими трудными путями и предпочли их прежним, пробитым бесчисленными предшественниками тропинкам?

Вошедший теперь в употребление обычай снабжать исторические сочинения географическими введениями, заключающими в себе характеристику театра событий, показывает только, что значение и успехи сравнительного земледелия обратили на себя внимание историков и заставили их изменить несколько форму своих произведений. Самое содержание не много выиграло от этого нововведения. Географические обзоры, о которых мы упомянули, редко соединены органически с дальнейшим изложением. Предпослав труду своему беглый очерк описываемой страны и ее произведений, историк с спокойною совестью переходит к другим, более знакомым ему предметам и думает, что вполне удовлетворил современным требованиям науки. Как будто действие природы на человека не есть постоянное, как будто оно не видоизменяется с каждым великим шагом его на пути образованности? Нам еще далеко неизвестны все таинственные нити, привязывающие народ к земле, на которой он вырос и из которой заимствует не только средства физического существования, но значительную часть своих нравственных свойств. Распределение произведений природы на поверхности земного шара находится в теснейшей связи с судьбою гражданских обществ. Одно растение условливает иногда целый быт народа. История Ирландии была бы, бесспорно, иная, если бы картофель не составлял главного пропитания для ее жителей...

Вслед за тем Грановский указывает на важнейшие места статьи г. Бэра, одного из тех ученых, которыми можем мы гордиться, «О влиянии внешней природы на социальные отношения отдельных народов и историю человечества». Это сочинение не обратило у нас на себя того внимания, какого заслуживает. Грановский и в этом случае, как в очень многих других, показал себя человеком, который далеко превышает других знанием всего, что совершается в науке, и способностью оценивать по достоинству фазисы ее современного развития. Вообще, даже большая часть людей, стоящих у нас во главе умственного движения, живут, по меткому житейскому выражению, еще «задним числом» и считают новейшим то, что в движении науки было новым десять или двадцать лет тому назад. Слова Пушкина о русских книгах, что в них «русский ум зады твердит», остаются справедливыми до сих пор, и сочинения Грановского принадлежат к небольшому числу исключений из этого правила: из его слов действительно можно «узнавать судьбу земли» *.

* Сокровища родного слова
(Заметят важные умы)
Для лепетания чужого
Пренебрегли безумно мы.
Мы любим муз чужих игрушки,
Чужих наречий погремущки,
А не читаем книг своих.
Да где ж они? Давайте их!

Переходя от фактов, долженствующих служить содержанием истории, к основаниям общего воззрения на эти факты или методы науки, Грановский опять показывает, что в новейшее время понятия об этом вопросе также уяснились. Попытки спекулятивного построения истории, фаталистическое воззрение и, с другой стороны, стремление ограничиться простым переложением летописных сказаний на современный язык обнаружили свою неудовлетворительность. Какой же метод должна принять история? Союз с точными науками должен помочь ей и в этом деле, говорит Грановский:

Ни одно из исчисленных нами воззрений на историю не могло привести к точному методу, недостаток которого в ней так очевиден. Усовершенствованный, или, лучше сказать, созданный Нибуром способ критики приносит величайшую пользу при разработке источников известного рода, но отнюдь не удовлетворяет потребности в приложимом к полному составу науки методе. В этом случае история опять должна обратиться к естествоведению и заимствовать у него свойственный ему способ исследования. Начало уже сделано в открытых законах исторической аналогии. Остается идти далее на этом пути, раздвигая, по возможности, тесные пределы, в которых до настоящего времени заключена была наша наука. У истории две стороны: в одной является нам свободное творчество духа человеческого, в другой — независимость от него. Новый метод должен возникнуть из внимательного изучения фактов мира духовного и природы в их взаимодействии. Только таким образом можно достигнуть до прочных основных начал, т. е. до ясного знания законов, определяющих движение исторических событий. Может быть, мы найдем тогда в этом движении правильность, которая теперь ускользает от нашего внимания. В рассматриваемом нами вопросе статистика опередила историю. «В противоположность принятым мнениям, — говорит Кетле, — факты общественные, определяемые свободным произволом человека, совершаются с большею правильностью, нежели факты, подверженные простому действию физических причин. Исходя из этого основного начала, можно сказать, что нравственная статистика должна отныне занять место в ряду опытных наук». Мы не в праве сказать того же об истории. Пока она не усвоит себе надлежащего метода, ее нельзя будет назвать опытною наукою.

Но к чему же должна вести человека история? Конечно, наука не может быть подчиняема внешним требованиям, ее истины не должны быть искажаемы в удобности частным и временным интересам. В этом заключается справедливость аксиомы — «цель науки есть самая наука». Но каждое знание обращается во благо человеку, и рвение, с которым разрабатывается та или другая отрасль науки, зависит от того, в какой мере удовлетворяет она той или другой, нравственной или житейской, умственной или материальной, потребности человека. Каждое знание оказывает влияние на жизнь, и история, наука о жизни человечества, не должна остаться без влияния на его жизнь;

и кто захочет ныне трудиться над бесполезным для человека?

Современный нам историк не может отказаться от законной потребности нравственного влияния на своих читателей. Вопрос о том, какого рода должно быть это влияние, тесно связан с вопросом о пользе истории вообще... Очевидно, что практическое значение истории у древних, основанное на возможности непосредственного применения ее уроков к жизни, не может иметь места при сложном организме новых обществ. К тому же однообразная игра страстей и заблуждений, искажающая судьбу народов, привела многих к заключению, что исторические опыты проходят бесплодно, не оставляя поучительного следа в памяти человеческой... Тем не менее, нельзя отрицать в массах известного исторического смысла, более или менее развитого на основании сохранившихся преданий о прошедшем... Приведенные нами выше слова Кетле о статистике со временем получат приложение и к нашей науке. Ей предстоит совершить для мира нравственных явлений тот же подвиг, какой совершен естествоведением в принадлежащей ему области. Открытия натуралистов рассеяли вековые и предные предрассудки, затмевавшие взгляд человека на природу: знакомый с ее действительными силами, он перестал приписывать ей несуществующие свойства и не требует от нее невозможных уступок. Успех исторических законов приведет к результатам такого же рода. Оно положит конец песбыточным теориям и стремлениям, нарушающим правильный ход общественной жизни, ибо обличит их противоречие с вечными целями, поставленными человеку природою. История делается, в высшем и обширнейшем смысле, чем у древних, наставницею народов и отдельных лиц и явится нам, не как отрезанное от нас прошедшее, но как цельный организм жизни, в котором прошедшее, настоящее и будущее находятся в постоянном между собою взаимодействии: «История, — говорит американец Эмерсон, — не долго будет бесплодною книгою. Она воплотится в каждом разумном и правдивом человеке. Вы не станете более исчислять заглавия и каталоги прочитанных вами книг, а дадите мне почувствовать, какие периоды пережиты вами. Каждый из нас должен обратиться в полный храм славы. Он должен носить в себе допотопный мир, золотой век, яблоко знания, поход Аргонавтов, призвание Авраама, построение храма, начало христианства, средний век, возрождение наук, Реформацию, открытие новых земель, возникновение новых знаний и новых народов. Надобно, одним словом, чтобы история слилась с биографиею самого читателя, превратилась в личное его воспоминание...»

И за этим воззрением, постигаемым еще немногими, но равно принадлежащим всякому истинно современному историку, Грановский тотчас же выражает сам себя, — быть может, вовсе не сознавая, что говорит уже о себе, характеризует оттенок воззрения, возводимый до просветления грустной науки его кроткою и любящею личностью:

Даже в настоящем, далеко не совершенном виде своем, всеобщая история, более чем всякая другая наука, развивает в нас верное чувство действительности и ту благородную терпимость, без которой нет истинной оценки людей. Она показывает различие, существующее между вечными, безусловными началами нравственности и ограниченным пониманием этих начал в данный период времени. Только такую мерю должны

мы мерять дела отживших поколений. Шиллер сказал, что смерть есть великий примиритель. Эти слова могут быть отнесены к нашей науке. При каждом историческом проступке она приводит обстоятельства, смягчающие вину преступника, кто бы ни был он — целый народ или отдельное лицо. Да будет нам позволено сказать, что тот не историк, кто не способен перенести в прошедшее живого чувства любви к ближнему и узнать брата в отделенном от него веками иноплеменике. Тот не историк, кто не сумел протестовать в изучаемых им летописях и грамотах начертанные в них яркими буквами истины: в самых позорных периодах жизни человечества есть искупительные, видимые нам па расстоянии столетий стороны, и на дне самого грешного пред судом современников сердца таится одно какое-нибудь лучшее и чистое чувство...

Мы так долго останавливались на этой речи, приводили из нее столько отрывков не потому только, что она действительно принадлежит к числу произведений, каких немного в целой нашей литературе: мы считали также нужным, чтобы читатель имел перед глазами пример, на котором мог бы проверять справедливость суждения, которое необходимо высказать прямым образом о собственно ученой стороне сочинений Грановского. Мы упоминали, что некоторые смотрели на нее с недоверчивостью и если не решались, по инстинктивному сознанию своей слабости в научном деле и своей неправоты, высказывать сомнений открыто, то не упускали случаев вернуть какой-нибудь таинственный намек об этом предмете. Мы помним даже, что один полубездарный компилятор, открывший,

Рассудку вопреки, наперекор стихиям ⁸,

что Англия обширнее России, и тем заставивший иных возмечь выгодное мнение о его знаниях, — помним, что он в какой-то географической или статистической статейке дерзнул вставить замечание, что Тамерлан был ничтожный человек, которого могут считать достойным внимания истории только тупоумные и безнравственные люди. Вы, может быть, и не догадались, что это был смертный приговор Грановскому, избравшему Тимура предметом одной из своих публичных лекций, читанных в 1851 году. Возражать подобным приговорщикам, конечно, не стоит; но нравственное уродство доходит иногда до такой нелепости, что интересно бывает рассмотреть причины, его образовавшие. Ценители литературных произведений разделяются на два класса: одни имеют настолько ума и знания, что могут судить о предмете по его внутренним качествам, понимать сущность дела; другие неспособны к этому, по недостаточному знакомству с делом или по непроницательности взгляда. Что ж остается делать последним, ког-

да они одарены таким самолюбием, что непременно хотят делать приговоры о вещах, сущность которых не доступна их пониманию? Они хватаются за внешние признаки и, например, если дело идет о поэтическом произведении, руководятся именем автора: прочтите им «Бориса Годунова», сказав, что эту драму написал бездарный человек, они решат, что драма плоха; прочтите «Таньку, разбойницу Ростокинскую»⁹, сказав, что роман этот написал г. Лажечников, и они скажут, что роман хорош. Это люди простые и невзыскательные. Когда речь пойдет об ученых предметах, иные судьи руководствуются более замысловатыми основаниями: ведь ученость дело мудреное. Зато приметы, по которым она узнается непонимающими ее людьми, очень ясны, так что ошибка невозможна: непонятный язык, тяжелое изложение, множество бесполезных ссылок, заносчивость автора, присвояющего себе все, что сделано другими. Особенно последнее качество полезно: есть люди, которые поверят вам на слово, если вы скажете, что вы первый открыли, что Александр Македонский победил персов, и жестоко будете изобличать ваших предшественников, которые все ошибались и не понимали, что Александр Македонский был герой. Вы можете иных уверить даже в том, что не Колумб, а вы открыли Америку: ведь уверил же в этом очень многих Америк Веспудий. Но горе вам во мнении этих знатоков, если вы не хотите окружать себя ореолом педантизма, если вы с уважением отзываетесь о других ученых, занимавшихся одним с вами предметом, говорите, что истина, ими открытая, действительно есть истина, если вы не выставляете заботливо различия между тем, что в вашем сочинении принадлежит к прежним приобретениям науки и что принадлежит собственно вам, — тогда знатоки, о которых мы говорим, с первого же раза поймут, в чем дело, и догадаются, что вы человек неученый, поверхностный, что вы только переписываете чужие труды, что у вас нет самостоятельного взгляда, и т. д., и т. д. Очень жаль, что таким знатокам не вздумалось оценить творения Гизо, Августина Тьерри, Маколея: мы узнали бы, что все эти писатели были люди малосведущие, поверхностные компиляторы. Да и Шлоссер не ушел бы от этого строгого, но справедливого приговора: ведь у него на каждой странице встречается фраза «в этом случае я совершенно согласен с мнением такого-то и лучшего ничего не умею сказать, как повторить его слова», после чего следует длинная выписка.

Грановский не напечатал при жизни таких обширных и капитальных сочинений, которые могли бы, по своему значению для науки, быть сравниваемы с творениями великих писателей, нами названных. Надобно думать, что издание его университетских курсов значительно изменит это отношение. Но нет надобности ждать, пока его лекции будут напечатаны, чтобы иметь полное право признать в нем не только ученого, имевшего огромное значение для Московского университета, русской литературы, русского просвещения вообще, признать в нем не только первого из немногочисленного круга ученых, занимающихся у нас всеобщую историю, но и одного из замечательнейших между современными европейскими учеными по обширности и современности знания, по широте и верности взгляда и по самобытности воззрения. Та небольшая статья, обзор которой так долго занимал нас, одна может доставить достаточные доказательства тому. Мы нарочно выбрали не другое какое-нибудь сочинение, имеющее более серьезную внешность, а именно эту речь, написанную очень легко и популярно, без всяких внешних признаков учености и глубокомыслия, чтобы пример был тем убедительнее. Если в форму академической речи, которая почти всегда остается набором незначительных общих фраз, Грановский внес глубокое и новое содержание и самостоятельную идею, то тем скорее можно убедиться, что в его трудах более специальных эти достоинства были всегда неотъемлемыми качествами. Взглянем же на ученое достоинство речи, с содержанием которой тот, кто не имел случая прочесть ее прежде, мог ознакомиться через наши извлечения.

Читателю, знакомому с современною историческою литературою, хорошо известно, как немногие из нынешних историков успели понять необходимость того широкого взгляда, который внесен в науку Шлоссером и Гизо. Творения Ранке, Прескотта, Маколяса отличаются великими достоинствами; быть может, в некоторых отношениях эти писатели должны быть поставлены выше Гизо и самого Шлоссера. Но по той тесной программе, которую они считают возможным ограничивать науку, они принадлежат прежнему направлению, обращавшему внимание почти исключительно на политическую историю. Сам Гегель, этот столь широкий ум, в сущности еще не выходил из ее тесных границ. После таких примеров надобно ли говорить о второстепенных ученых? Почти все они продолжают держаться рутины. Слабые признаки того, что программа

Гизо и Шлоссера делается общею программю исторических трудов, видим в том, что уже довольно часто один и тот же человек пишет равно основательные сочинения по политической истории и по истории литературы: в пример укажем на Маколея и Гервинуса. Но эти две отрасли одной науки продолжают оставаться для него различными науками, из которых одной так же мало дела до другой, как лет тридцать тому назад физиологии мало было дела до химии. И заметим, что такая разделенность, так стесняющая горизонт истории, не есть только недостаток выполнения, допускаемый этими историками по трудности в одно время обнять своими исследованиями с равною полнотою ту и другую отрасль исторических материалов: нет, она допускается не слабостью исполнительных сил автора, а преднамеренно принимается его мыслью, как граница, полагаемая идеею самой науки: историк не то чтобы не мог — он просто не находит побуждения, не хочет дать своим исследованиям более широкий объем. Рутинность еще очень сильна. Грановский, напротив того, видит, что даже и та более широкая программа науки, которая у Шлоссера и Гизо до сих пор остается смелым нововведением, должна быть еще расширена присоединением к политическому и умственному элементам народной жизни натурального элемента; мало того, что он требует расширения границ науки, нынешняя односторонность которой чувствуется очень немногими, он видит, что она должна стать на новом, прочном основании строгого метода, которого ей до сих пор недостает. Надобно ли говорить, что этим предсказанием обозначается начало совершенно новой эпохи в науке?

Не должно обманываться тем, что Грановский ссылается в этих случаях на г. Бэра, Кетле, Эмерсона: надобно только присмотреться к его речи, чтобы увидеть тут нечто совершенно другое, нежели простое заимствование мыслей у того или другого ученого. Видно, что мысль крепко принадлежит самому Грановскому, и цитаты имеют целью только доказать, что не он один так думает, что мысль, им высказанная, не его личная выдумка, а вывод из нынешнего положения науки, делаемый каждым проницательным человеком. Только у людей, которым инстинкт говорит, что, во всяком случае, несмотря на все видимые уступки своей собственности другим, они останутся довольно богаты, бывает это стремление указывать на людей, высказывавших ту же самую мысль, которая кажется им справедливою. И, действительно, кто вникнет в понятия

Грановского, тот увидит, что они глубоко самостоятельны и прочувствованы им часто гораздо полнее и глубже, нежели теми людьми, на которых он ссылается. Пример у нас перед глазами: для Эмерсона мысль о значении истории далеко не имеет той важности, какую придает ей Грановский. Надобно еще заметить, что существенные приобретения наукою делаются не другим каким-либо способом, как тем, что к данной науке прилагаются истины, выработанные другою наукою. Так, химия обязана своими успехами введению количественного метода, заимствованного из математики; нравственные науки ныне подчиняются историческому методу и, без сомнения, много от него выиграют. Это до такой степени справедливо, что новая эпоха в науке создается чаще всего не специалистом, который слишком привык к рутине и обыкновенно отличается от своих сотоварищей только большим или меньшим объемом, но не существенным различием в содержании знания, — преобразователями науки бывают обыкновенно люди, первоначально занимавшиеся другою отраслью знания; так, например, Декарт, Лейбниц, Кант были математики, Адам Смит профессор словесности и логики, и т. д. Причина тому очень проста: человек, приступающий к глубокому исследованию с запасом знаний, чуждых другим ученым, легче замечает в новом предмете стороны, ускользающие от их внимания. Свобода от рутины также много значит.

Из специалистов обыкновенно только немногие обладают этими качествами, необходимыми для того, чтобы пролагать в науке новые пути: солидными знаниями в науках, которые не поставлены обычаем в число так называемых вспомогательных наук, и отсутствием рутины. Грановский принадлежал к этим немногим избранникам, и кто внимательно всмотрится в его сочинения, которые, по свидетельству всех знавших его, далеко не могут еще назваться полным отражением его богато одаренной личности, — тот убедится, что и эти немногие и небольшие трактаты дают уже несомненное доказательство того, что Грановский, если бы целью его деятельности была личная слава, мог бы стать на ряду с такими людьми, как Нибур, Гизо, Шлоссер. Но у него была другая цель, более близкая к потребностям его родины: служение отечественному просвещению, — и благословенна память его, как одного из могущественнейших и благороднейших деятелей на этом священном поприще.

Мы не будем теперь подробно разбирать остальных сочинений Грановского, помещенных в первом томе: каждое из них было в свое время основательно рассмотрено нашею ученою критикою; и разве немногие замечания должно было бы прибавить относительно того или другого в отдельности к сказанному уже в наших журналах. Конечно, теперь, когда эти сочинения возможно обозревать в их связи, яснее прежнего становятся идеи, одушевлявшие Грановского, как ученого писателя; но для того, чтобы характеристика их духовного единства была полна и всесторонняя, надобно дожидаться появления второго тома, или, что будет еще лучше, издания его университетских курсов. Мы так и сделаем: если, давая нам второй том, издатели выскажут, как мы ожидаем, надежду, что печатание университетских курсов не замедлится, мы будем ждать этих курсов; если же не выскажется эта уверенность, что за вторым томом скоро явится третий и следующие, мы должны будем ограничиться рассмотрением двух изданных томов как отдельного целого. Тогда все-таки наш обзор будет полнее, нежели мог бы быть в настоящее время. Итак, теперь мы должны сказать только по несколько слов об отдельных статьях, вошедших в состав изданного тома.

За «Речью о значении истории» следует перевод письма известного натуралиста Эдвардса к Августину Тьерри «О физиологических признаках человеческого пород и их отношении к истории», с довольно обширными примечаниями и предисловием самого Грановского. В настоящем издании эта статья представляется как бы приложением к «Речи об истории», говорящей, между прочим, об ученом значении письма Эдвардса. Прекрасный разбор этого труда и вместе «Речи» Грановского был помещен г. Кудрявцевым в «Отечественных записках» (1853 г., т. LXXXVII).

Статью «О родовом быте у древних германцев» мы недавно имели случай рассматривать, говоря о II томе «Историко-юридического архива», в котором она была помещена¹⁰ Здесь прибавим только, что она действительно составила эпоху в прениях о родовом и общинном быте. Исследователи наши увидели необходимость придать более точности своим понятиям об этом важном вопросе нашей истории и заняться ближайшим сравнением форм нашей общины с подобными явлениями у других славянских племен и других европейских народов: тогда только решится, до какой степени надобно считать явления так называемого родового быта свойственными исключительно нашей истории и насколько в них общего с тем, что пред-

ставляет история других народов; решится также, которое из двух различных воззрений на эти явления ближе к истине: то ли, которое существование родового быта признает продолжающимся до Владимира и Ярослава и даже далее, или то, которое утверждает, что во времена, с которых начинаются наши исторические предания, родовой быт уже распался, выделив из себя семью и превратясь в союз отдельных семей, общину. Факты, указанные Грановским, пролили много света на это дело и полагают конец многим ошибочным мнениям о совершенном, будто бы, различии славянской общины от общин, какие застают история у германских и кельтских племен.

До определения своего профессором истории при Московском университете, покойный Грановский, тогда еще ничем не известный молодой человек, написал несколько статей для «Библиотеки для чтения». Каждый знает, каким переделкам редакция этого журнала подвергала печатаемые в нем сочинения, и издатели поступили очень благоразумно, решившись не вносить в собрание сочинений Грановского его статей, помещенных в «Библиотеке для чтения», «не будучи в состоянии отделить от них чужого нароста и отличить те изменения, которые сделаны в них самую редакцию журнала». Они перепечатали только первую из них: «Судьбы еврейского народа», чтобы дать пример начальных трудов Грановского по науке, лучшим представителем которой был он у нас впоследствии времени.

Два исследования: «Волин, Иомсбург и Винета» и «Аббат Сугерий», писанные для получения ученых степеней, имеют много общего: оба они, в угодность обычаю, облечены формою специализма, которой не любил Грановский, и могут совершенно удовлетворить строгих ценителей внешних признаков учености. Оба одинаково имеют предметом специальные вопросы всеобщей истории, обработку которых Грановский вообще не считал делом, должнствующим лежать на русском ученом, занимающемся всеобщей историею. Он выражался об этом так: «Одно из главных препятствий, мешающих благотворному действию истории, заключается в пренебрежении, какое историки оказывают обыкновенно к большинству читателей. Они, по-видимому, пишут только для ученых, как будто история может допустить такое ограничение, как будто она по самому существу своему не есть самая популярная из всех наук, призывающая к себе всех и каждого. К счастью, узкие понятия о мнимом достоинстве науки,

унижающей себя исканием изящной формы и общедоступного изложения, возникшие в удушливой атмосфере немецких ученых кабинетов, несвойственны русскому уму, любящему свет и простор. Цеховая, гордая своею исключительностью наука не в праве рассчитывать на его сочувствие». Официальная цель, с которою написаны оба исследования, поставила Грановского в необходимость сделать уступку обычным требованиям и, сохранив общедоступность и интересность в изложении, дав своим частным темам такое значение, что они получили непосредственное отношение к историческим вопросам действительной важности, он снабдил их аппаратом специальной учености в разных эпизодических отступлениях и многочисленных примечаниях. Рутинисты не могли указать никакого недостатка в этом отношении, хотя и старались найти его, зная мнение Грановского о рутине. Они были побеждены собственным оружием, и когда один из их аколитов отважился было — вероятно, без совета старейшин — выступить гверильясом против «Аббата Сугерия», воображая, что разбирать ученые сочинения так же легко, как переписывать чужие лекции, г. Бабст обнаружил крайнюю несостоятельность внушений, которым поддался этот важный ученый¹¹.

«Четыре исторические характеристики», публичные лекции, читанные в 1851 году, были приняты публикою с обычным восторгом. В самом деле, они соединяют верность ученого понимания с увлекательным изложением; особенно лекция об Александре Македонском возвышается до истинной поэзии: едва ли кто-нибудь изобразил личность гениального юноши с такою верностью и таким блеском, как Грановский.

Лекциям о Тимуре, Александре Македонском, Людовике IX и Бэконе не уступает достоинством статья, заключающая первый том: «Песни Эдды о Нифлунгах». Г. Кудрявцев справедливо называет этот очерк «мастерским» и указывает на него, как на «образчик того, с какою любовью и с каким знанием дела занимался профессор изучением литературных памятников в связи с историею».

ЛЕССИНГ, ЕГО ВРЕМЯ, ЕГО ЖИЗНЬ И ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

[...]

Объясняя жизнь, служа посредницею между чистою отвлеченною наукою и массою публики, доставляя человеку облагораживающее эстетическое наслаждение, пробуждая ум к деятельности, литература всегда имеет большее или меньшее влияние на развитие народов, всегда играет более или менее важную роль в историческом движении.

Но как ни очевидно ее участие в истории, надобно согласиться, что очень редки в жизни человечества те случаи, когда литература, в строгом смысле слова, как мы здесь его употребляем, — то есть поэзия и ученые сочинения, писанные так, что читаются всею массою публики, а не одними специалистами, — редки те случаи, когда литература бывала в историческом движении главною, преобладающею силою. Почти всегда литературные влияния оттеснялись, в развитии народной жизни, на второй план другими, более пылкими чувствами или материальными практическими побуждениями: соперничеством племен и держав, религиею, политическими, юридическими и экономическими отношениями и т. д. Точно такова же была почти всегда и судьба науки. Но чрезвычайная важность науки в жизни и истории нисколько не теряется через это скромное положение: творя тихо и медленно, она творит все: создаваемое ею знание ложится в основание всех понятий и потом всей деятельности человечества, дает направление всем его стремлениям, силу всем его способностям. Наука — чернорабочий, не играющий блистательной роли в обществе; но трудами этого чернорабочего живет все: и государство и семейство, и политика и промышленность; только оплодотворенные знанием стремления человека получают характер, совместный с общим и частным благом, силы человека производят полезное

действие. Литература не имеет этого права считаться первой виновницей всякого прогресса. Она не общая мать всех других деятельностей человека: она сама такая же специальная, частная деятельность, как и все остальное в человеческой жизни, кроме знания. Когда преобладание литературы в историческом движении не очевидно, то и на самом деле она не играет в нем главной роли. Ведь она не создает машин и инструментов, юридических понятий и нравственных отношений, государственной власти и промышленной деятельности, как создает их знание. Пусть политика и промышленность шумно движутся на первом плане в истории, история все-таки свидетельствует, что знание — основная сила, которой подчинены и политика, и промышленность, и все остальное в человеческой жизни. А до литературы нет историку дела, если она насильно не вынуждает у него признания своего исторического могущества; чем не овладеет она сама, в том никто не уступит ей доли.

И, надобно признаться, доля литературы в историческом процессе, никогда не бывая совершенно маловажна, обыкновенно бывала и вовсе не так значительна, чтобы заслуживать особенного внимания. Действительно, литература почти всегда имела для развития человеческой жизни только второстепенное значение. Так, например, в древнем мире мы не замечаем ни одной эпохи, в которой историческое движение совершалось бы под преобладающим влиянием литературы. Несмотря на все пристрастие греков к поэзии, ход их жизни обуславливался не литературными влияниями, а религиозными, племенными и военными стремлениями, впоследствии, кроме того, политическими и экономическими вопросами. Литература была, подобно искусству, лучшим украшением, но только украшением, а не основною пружиною, не главною двигательницею их жизни. Римская жизнь развивалась военною и политическою борьбою и определением юридических отношений; литература была для римлян только благородным отдыхом от политической деятельности. В блестящий век Италии, когда она имела Данте, Ариосто и Тассо, также не литература была основным началом жизни, а борьба политических партий и экономические отношения: эти интересы, а не влияние Данте, решали судьбу его родины и при нем и после него. В Англии, гордящейся величайшим поэтом христианского мира и таким числом первостепенных писателей, какого не найдется, быть может, в литературах всей остальной Европы, вместе

взятых, — в Англии от литературы никогда не зависела судьба нации, определявшаяся религиозными, политическими и экономическими отношениями, парламентскими прениями и газетною полемикою: собственно так называемая литература всегда имела только второстепенное влияние на историческое развитие этой страны. Таково же было положение литературы почти всегда, почти у всех исторических народов.

Исключений из этого обыкновенного порядка случаев, когда литература являлась действительно главной двигательницею исторического развития, очень немногих. Немецкая литература последней половины прошедшего и первых годов нынешнего века есть одно из самых важных между этими редкими явлениями. От начала деятельности Лессинга до смерти Шиллера (до завоевания западной Германии Наполеоном, законодательства Штейна в Пруссии и до распространения философии — явлений, которые овладевают последующим развитием немецкого народа), в течение пятидесяти лет, развитие одной из величайших между европейскими нациями, будущность стран от Балтийского до Средиземного моря, от Рейна до Одера определялась литературным движением. Участие всех остальных общественных сил и событий в национальном развитии должно назвать незначительным сравнительно с влиянием литературы. Ничто не помогало в то время ее благотворному действию на судьбу немецкой нации; напротив, почти все другие отношения и условия, от которых зависит жизнь, не благоприятствовали развитию народа. Литература одна вела его вперед, борясь с бесчисленными препятствиями.

Каковы же были результаты этого пятидесятилетия?

В пятьдесят лет литература совершила для прочного блага немецкого народа более, нежели когда-нибудь было совершено всеми другими общественными силами для какого-нибудь народа во сто, в двести лет. Немецкая литература застала свой народ ничтожным, презренным от всех и презирающим себя, не имеющим даже никакого сознания о своем существовании, грубым до средневекового варварства в одних слоях, развращенным до нравов времен Регентства¹ в других слоях, ничего не желающим, ничего не надеющимся, безжизненным. Она дала ему сознание о национальном единстве, пробудила в нем чувство законности и честности, вложила в него энергические стремления, благородную уверенность в своих силах. В половине XVIII века немцы, во всех отношениях, были двумя века-

ми позади англичан и французов. В начале XIX века они во многих отношениях стояли уже выше всех народов. В половине XVIII века немецкий народ казался дряхлым, отжившим свой век, не имеющим будущности. В начале XIX века немцы явились народом, полным могучих сил, — народом, которому предстоит великая и счастливая будущность, — народом, готовым дать начала обновления для всех других европейских народов, если бы тот или другой из них нуждался в посторонней помощи для своего обновления. Все это совершила литература, наперекор бесчисленным препятствиям, без всякой посторонней помощи, и Шиллер имел полное право прославить немецкую поэзию за то, что ею возвеличен немецкий народ и никто не делит славы этой с немецкими писателями.

«Не было у нашей литературы ни Августов, ни Медичи, не ободрял и не поддерживал ее никто. С отрадною гордостью может сказать немец, что самому себе обязан он всем, в чем ныне честь его».

Kein Augustisch' Alter blühte,
Keines Medicäers Güte
Lächelte der deutschen Kunst;
.....
Rühmend darf's der Deutsche sagen,
Höher darf das Herz ihm schlagen:
Selbst erschuf er sich den Werth! ²

Потому-то немецкая литература в период времени от половины прошлого до начала нынешнего века есть явление величайшей исторической важности, какой не имеют многие другие эпохи литературной деятельности у других народов, блиставшие писателями, которые по поэтическому гению были не ниже или даже и выше корифеев немецкой литературы. Суворов, конечно, был гениальнее Кутузова и Барклая-де-Толли; но дело, совершенное Барклаем и Кутузовым, бесконечно превышает своим историческим значением все дивные подвиги Суворова. Так, Мильтон и Данте, по поэтическому гению, быть может, выше Гёте и Шиллера; но в истории человечества Гёте и Шиллер занимают гораздо более значительное место. То — люди, высокие в своей специальности; это — двигатели исторического развития, имевшие прямое влияние на судьбу человечества, стоящие в ряду великих правителей наций, в одном ряду с Ришелье, Штейном, Робертом Пилем *.

* *Гервинус*, см. особенно предисловие к 1-му и 4-му томам издания 1853 года.

Если бы не вышел из моды старый и в сущности вовсе не бесполезный обычай объяснять в предисловиях к сочинениям, трактующим об ученых предметах, какую пользу приносит вообще знание, какую пользу в частности приносит знание того предмета, о котором трактуется в этом сочинении, и какую пользу в особенности принесет знание этого предмета тем читателям, для которых назначается это сочинение, — если бы не вышел из моды этот старый добрый обычай, мы должны были бы сказать что-нибудь о той особенной пользе, какую можем извлечь мы, русские, из знакомства с судьбами немецкой литературы времен Лессинга, Шиллера и Гёте.

Если бы не вышел также из моды другой старый добрый обычай — проводить параллели между сходными явлениями в истории различных народов, мы могли бы также отыскать некоторые занимательные аналогии между положением немецкой литературы того времени и положением некоторых других литератур в другие времена.

Наконец, если бы не вышли из моды «Разговоры в царстве мертвых»³, мы могли бы выставить Лессинга, разговаривающего, например, с Пушкиным и Гоголем в Елисейских полях: Лессинг расспрашивал бы Пушкина и Гоголя о русской литературе и, в свою очередь, сообщал бы им различные замечания о литературе вообще.

Но «Разговоры в царстве мертвых», исторические параллели вроде Плутарха, предисловия о пользе наук — все это решительно вышло из моды, и мы, не желая прослыть людьми, отставшими от века, отказываемся и от рассуждений о пользе изучения судьбы немецкой литературы для русской литературы, и от идеи вывести Лессинга, разговаривающего с Пушкиным и Гоголем, и повторим только, что важнейшею стороною немецкой литературы от Лессинга до Шиллера надобно считать влияние ее на историческую жизнь немецкого народа. Потому особенно интересно рассматривать ее не в отдельности от других сторон жизни, как чисто художественную деятельность, а в связи с общею историею народа, как силу, властвовавшую над умами, правами и жизненными стремлениями и приготавливавшую события, — словом, смотреть на нее не как на исключительное достояние искусства, а как на один из великих фазисов общей истории народа.

Лессинг был главным в первом поколении тех деятелей, которых историческая необходимость вызвала для оживления его родины. Он был отцом новой немецкой литературы. Он владычествовал над нею с диктаторским мо-

гуществом. Все значительнейшие из последующих немецких писателей, даже Шиллер, даже сам Гёте в лучшую эпоху своей деятельности, были учениками его; оставались учениками его даже тогда, когда восставали против него или по одностороннему увлечению, как писатели «периода бурных стремлений» (Sturm und Drang-Periode), или по тайной зависти, как Гердер и Гёте. Ныне, когда литература в Германии утратила свою преобладающую силу над развитием общественной жизни и безусловное восхищение литературными знаменитостями прежнего времени уступило место другим симпатиям, величие Лессинга возрастает по мере того, как уменьшается авторитет писателей, сменивших его, и по мере того, как очевиднее убеждаются наши современники в односторонности понятий, которыми еще недавно были удовлетворяемы, все более и более научаются они ценить Лессинга. Он ближе к нашему веку, нежели сам Гёте, взгляд его пронизательнее и глубже, понятия его шире и гуманнее. Только еще недавно стали постигать почти беспримерную гениальность его ума, удивительную верность его идей обо всем, чего ни касался он. Слава Лессинга все возрастает и, вероятно, долго еще будет возрастать. Но и теперь стало уже ясно для всех, что только очень немногие из людей XVIII века, столь богатого гениальными людьми и сильными историческими деятелями, могут быть поставлены на ряду с ним по гениальности и огромному историческому значению. Между своими соотечественниками он решительно не находит соперников в своем веке; сам Фридрих II не имел такого сильного влияния на развитие немецкого народа, как Лессинг*.

Мы уже сказали, что немецкую литературу последней половины прошедшего и начала нынешнего века надобно рассматривать преимущественно со стороны ее влияния на жизнь немецкого народа. Деятельность Лессинга, которая будет предметом наших статей, включает в себе начала всего того, чем сильна и благотворна для своего народа была эта литература; всему основанию было положено Лессингом: подвиг его преемников был только осуществлением его мысли, и наибольшую часть того, что считал он нужным совершить, успел совершить он сам, оставив своим преемникам только меньшую и легчайшую половину труда; в великой борьбе, целью которой было возрождение немецкого народа, не только план битвы принадлежит ему,

* Шлоссер, Гервинус, Гиллебранд и проч.

но и победа была одержана им, — Гёте и Шиллер только довершали то, что уже было сделано Лессингом, — их слушали, потому что Лессинг заставил слушать; им сочувствовали, потому что Лессинг заставил сочувствовать идеям, которые выражали они, — и все, что было здорового в их идеях, было им внушено Лессингом. В нем или через него и от него вся новая немецкая литература до смерти Шиллера и до конца плодотворной эпохи в деятельности Гёте.

Мы хотим рассказать, что и как сделал Лессинг для исторического развития Германии, — и нам надобно начать с того, чтобы взглянуть, в каком положении застал он Германию.

Читатель не найдет странным, что изложение деятельности писателя начинается обзором состояния его родины не в одном литературном или умственном отношении, но и в государственном: писатель этот имел могущественнейшее влияние не на одну литературу, а на всю общественную жизнь Германии; результатом его деятельности было не возрождение одной литературы, а возрождение нации. Посмотрим же, в каком положении застал он свой народ.

[...]

Виновицею жалкого состояния литературы всегда бывает публика: если публика многочисленна и проникнута живыми стремлениями, нет в мире силы, которая могла бы остановить развитие литературы, нет затруднений, которые не были бы побеждены требованиями общества. Степень умственного развития в массе немецкой публики совершенно соответствовала общему состоянию литературы. Педантизм, робость, подобострастие и предубеждения всякого рода властвовали в обществе. Мы говорили, что оно разделилось на касты, чуждавшиеся одна другой; главною двигательницею жизни в каждой касте было мелочное тщеславие, преклонение перед высшими, презрение к низшим. Религиозное одушевление исчезло после Тридцатилетней войны⁴, но осталась вражда различных христианских вероисповеданий: католики, лютеране, кальвинисты ненавидели друг друга; религиозные и нравственные понятия были суровы и грубы; вообще умственная жизнь была стеснена предубеждениями и предубеждениями.

Наука, которая должна была бы противодействовать этим неблагоприятным для народного развития отношениям и вести нацию вперед, при распространившейся

привычке к педанству и формализму, получила такой вид, что сама служила одним из главнейших препятствий прогрессу умственной и общественной жизни. Университеты и школы, вообще говоря, не просвещали, а только еще более затуманивали умы. Все науки преподавались с кафедр и разрабатывались в кабинетах, в самой сухой и мертвой форме. Ученый обыкновенно был педантом и формалистом, слепо верившим тому, чему научился от своего бывшего наставника; он без всякой критики копировал факты, не отыскивая в них смысла, заботясь только о систематичности и внешней ученой форме. Мертвый догматизм владычествовал во всех отраслях науки, от философии до изучения древних языков, от законовещения до теории словесности. Параграфы, аксиомы, теоремы, леммы, королларии, подразделения заставляли забывать о живом содержании в нравственных и юридических науках, которые излагались с такую же сухостью, как алгебра или геометрия. В истории больше всего занимались хронологическими и генеалогическими таблицами и мелочными подробностями, не обращая внимания на смысл фактов и связь событий; в законовещении господствовал взгляд совершенно отвлеченный и односторонний, так что применение его к жизни было страшным бедствием для всего народонаселения: юристы были истинными мучителями для Германии; в богословии сохранились понятия, свойственные средним векам, и самый протестантизм стал неподвижен и безжизнен если не больше, то не меньше католицизма. Книги вообще писались так сухо и тяжело, что только записные ученые решались читать их. Еще в 1765 году Зульцер говорил:

«Книги остаются исключительно в руках одних профессоров, студентов и журналистов, и мне кажется, что писать для настоящего поколения — дело, едва ли стоящее труда. Если в Германии существует читающая публика вне круга людей, по ремеслу своему обязанных обращаться с книгами, то я должен признаться в своем невежестве — я не знаю о существовании такой публики. Я вижу за книгами только студентов, кандидатов, там и сям одинокого профессора, изредка проповедника. Общество, в котором эти читатели составляют незаметную — действительно, совершенно незаметную — частицу, не имеет и понятия, что такое литература, философия, что такое разумно нравственные убеждения и вкус».

Картина, составляющаяся из фактов, нами исчисленных, очень мрачна; но никто из знакомых с политическим

и умственным состоянием Германии в половине прошлого века не скажет, чтобы можно было представлять себе это состояние в ином свете.

«Гнуснейшее варварство» (die hässlichste Barbarei) — вот выражение, которым характеризует положение своего отечества около 1750 года Гервинус; а Гервинус принадлежит к числу людей очень умеренных, даже слишком умеренных в своем образе мыслей: он патриот, иногда даже слишком пристрастный к родной стране.

По пришло время, когда ни один из европейских народов не мог оставаться в закоснелости своих недостатков и предубеждений, когда каждая нация почувствовала потребность новой, лучшей жизни, — и Германия пробудилась из своей нелепой и тяжелой летаргии.

Свежим воздухом веяло на нее из Франции, из Англии, — лучи нового света стремились на нее из этих стран, опередивших ее в XVII веке. Крепок был сон, долго медлила Германия пробудиться от него; густ был мрак, тяготивший над нею, но свет-таки восторжествовал над мраком, и открылись, наконец, глаза, отягощенные мертвою дремотою.

Мы видели, что подражание французам в жизни, подражание французам и англичанам в литературе не имело для Германии никаких следствий, кроме дурных, — это потому, что подражание всегда бывает внешним формализмом, убивающим дух, а подражателями бывают только люди ограниченные, лишенные мысли, лишенные собственного содержания. Но кроме внешнего формалистического влияния одного народа на другой есть другое влияние, живое и плодотворное, состоящее в том, что успехи народа, стоящего на высшей степени развития, служат предметом размышления для живых людей другого народа, отставшего на пути развития. Эти люди, занятые мыслью о средствах помочь своему народу, находят в жизни других наций примеры, которыми облегчаются их собственные соображения, находят факты, которыми пользуются они как доказательствами для убеждения массы в необходимости и возможности улучшений, требуемых положением нации. Все народы, двигаясь вперед при помощи успехов, совершенных более счастливыми их собратьями, всегда сначала подчинялись формалистическому влиянию, потому что форма понятнее содержания для неразвитого человека; но потом, когда умственные сношения становились теснее, благодаря формалистическому сближению, начиналась возможность вдумываться и в содер-

жание цивилизованной жизни, формы которой были уже известны. Тогда иноземное влияние переставало быть противоположно народной жизни, — напротив, при помощи уроков и истин, выработанных жизнью собратий, народная жизнь быстро развивалась, — развивалась соответственно собственным потребностям и условиям, то есть вполне самостоятельно, так что исчезал всякий след умственной зависимости от других народов именно в то время, когда сближение с ними начинало приносить обильнейшие плоды.

Так было и с немецким народом. Англия и Франция во всех отношениях стояли выше Германии в конце XVII века. Влияние их на Германию было неизбежно. Оно отразилось во всех сферах жизни, сначала чисто формалистическим образом, — и на первый раз следствия сближения казались неблагоприятными для Германии: мы видели, как сначала были развращены французским влиянием высшие классы, как обесмыслена была литература подражанием французской и английской. Но это было только неизбежное временное зло, предшествующее прочному благу и несущее в себе семена его. Да и само по себе это зло было злом только по сравнению с идеалом народной жизни в будущем, а вовсе не по сравнению с предшествующим ее состоянием. Какова бы ни была подражательная немецкая литература, все ж это была литература, принадлежащая периоду цивилизации, какой прежде не имела Германия. Каковы бы ни были пороки и злоупотребления, введенные в государственную жизнь подражанием французскому двору, бедствия, от них происходившие, были ничтожны в сравнении с тем злом, которое происходило от учреждений и обычаев, развитых самой германскою жизнью: корнем зла был произвол, с одной стороны, подобострастие и апатия, с другой; а эти отношения не были занесены из Франции: они выросли на немецкой почве.

[...]

Ход великих мировых событий неизбежен и неотвратим, как течение великой реки: никакая скала, никакая пропасть не удержит ее, не говоря уже о плотинах произвольно устроиваемых: плотиною ничья сила не пересыплет Рейна или Волги, и всемогущая река одним напором выбросит на берег все сваи и весь мусор, которым дерзкая рука безумца хотела преградить ее течение; единственным результатом безрассудной попытки будет только то, что берег, который спокойно напоялся бы рекою и зеленел

роскошным лугом, будет на время истерзан и обезображен гневом оскорбленной волны,— а река пойдет-таки своим путем, зальет все пропасти, прорвет хребты гор и достигнет океана, к которому стремится. Совершение великих мировых событий не зависит ни от чьей воли, ни от какой личности. Они совершаются по закону столько же непреклонному, как закон тяготения или органического возрастания. Но скорее или медленнее совершается мировое событие, тем или другим способом совершится оно — это зависит от обстоятельств, которых нельзя предвидеть и определить наперед. Важнейшее из этих обстоятельств — появление сильных личностей, которые характером своей деятельности дают тот или другой характер неизменному направлению событий, ускоряют или замедляют его ход и сообщают свою преобладающую силою правильность хаотическому волнению сил, приводящих в движение массы.

Не от появления Лессинга, как мы видели, зависело то, оживится ли или будет погрязать в прежней мертвой апатии немецкий народ. Великое событие приближалось неотвратно и неизбежно. Но без него медленно, беспорядочно совершалось бы то, что при его помощи совершилось быстро, решительно и гармонически. Не было силы в мире, которая могла бы ослепить и оглушить немцев так, чтобы они не видели того, что делается, не слышали того, что говорится в Англии, Франции, Голландии. Не было силы в мире, которая могла бы удержать их от сближения с более образованными и более счастливыми нациями; не было силы в мире, которая могла бы уничтожить необходимость решительного изменения в жизни немецкого народа, когда он довольно познакомился с новым и лучшим порядком жизни у других наций. Роковое событие не зависело от присутствия или отсутствия личности Лессинга.

Но каким путем, какую силою совершится оно? Силою ли военных событий, законодательных и административных мер, силою ли чистой науки или влиянием литературы? Фридрих Великий, мудрый правитель, гениальный полководец, сидел на престоле одного из сильнейших немецких государств; через несколько времени главою империи явился один из благороднейших и благонамереннейших людей в истории, человек, единственною мыслью которого было благо подвластных ему народов, государь, какого не видела земля, быть может, со времен Марка Аврелия. Казалось, возрождение нации должно совершиться через этих государей, путем завоевания и администра-

тивных реформ при Фридрихе, путем законодательных реформ при Иосифе II — и, однако же, оно не совершилось этими путями,— почему не совершилось ими, не место здесь говорить о том,— быть может, потому, что в новой истории вообще оказываются бессильными те личности, которые, слишком полагаясь на свою силу, не ищут помощи своему начинанию в самостоятельной деятельности всей массы народа. Оставалось для возрождения два пути: путь науки и путь литературы. Наука начала совершать свое дело, но она действует медленно; несколько поколений должны были бы смениться, пока чистое знание пропиккло бы в жизнь.

Ускорится ли совершение этого дела вмешательством литературы, этой быстрой посредницы между знанием и жизнью? Тут уже все зависело от того, явятся ли в литературе гениальные деятели, которые верною и сильною рукою поведут и направят литературу к исполнению великого дела, совершение которого предоставлялось ей бессилием военных, законодательных и административных попыток возрождения.

Явился в Германии поэт с великим талантом — Клопшток. Всему благородному, по-видимому, сочувствовал он, всего великого и прекрасного хотел он; но — вина ли то воспитания, вина ли суетных забот о собственном бессмертии, вина ли его болезненной организации, вина ли его рассудка, не довольно пронизательного и светлого — он, снискав чистую и громкую славу своему имени, не мог ничего сделать для своего народа. Перед ним все преклонились; но только немногие читали его, и из читавших никто ничему не научился от него, или, вернее сказать, кто читал его, тот или осуждал его направление, или увлекался на ложный путь, впадал в бесплодную сентиментальность, в туманные грезы, и делался человеком, чуждым жизни, вредным в жизни. Мы встретимся в биографии Лессинга с Клопштоком и его последователями, или союзниками, и там найдем доказательства этому печальному суждению. Итак, от Клопштока немецкий народ не мог ожидать ничего, кроме суетного удовольствия считать у себя одною знаменитостью больше.

Оставались люди, бывшие впоследствии очень полезными, как сотрудники Лессинга; но мы увидим, что это были люди второстепенных дарований, с хорошими стремлениями, но без ясного сознания, как и что нужно делать,— люди с хорошими убеждениями, но без верного такта, без твердого и последовательного образа мыслей,—

люди, которых деятельность, во всяком случае, была бы не бесполезна, но которые не имели силы совершить ничего великого и содействовать совершению чего-нибудь важного могли только под руководством гениального человека, который указывал бы им дорогу, соединял бы и направлял их усилия.

Кроме Лессинга не было в немецкой литературе человека, который мог бы дать ей решительное и плодотворное влияние на судьбу немецкого народа. Будет или не будет немецкая литература сильнейшею двигательницею народной жизни, ускорится ли ее вмешательством развитие народа, или предоставлено будет только медленному действию чистой науки — разрешение этого вопроса совершенно зависело от того, будет ли между немецкими литераторами Лессинг, то есть будет ли гениальный человек, который верно поймет положение и потребности своего народа, постигнет всю важность, которую должна иметь литература для его жизни, твердо и решительно укажет литературе, что и как должна она делать, который, руководя деятельностью других, сам гениальными произведениями доставит литературе преобладающую важность между предметами, возбуждающими интерес в своем народе, сделает литературу средоточием национальной жизни.

В совершении этого дела величие Лессинга.

Он доставил немецкой литературе силу быть средоточием народной жизни и указал ей прямой путь, он ускорил тем развитие своего народа.

Это определение границ исторического значения Лессинга необходимо для того, чтобы предохранить себя от безграничного превознесения его: в самом деле, личность этого человека так благородна, величественна и вместе так симпатична и прекрасна, деятельность его так чиста и сильна, влияние его так громадно, что чем более всматриваешься в черты этого человека, тем сильнее и сильнее проникаешься безусловным уважением и любовью к нему. Гениальный ум, благороднейший характер, твердость воли, пылкость и нежность души, сердце, открытое сочувствию ко всему, что прекрасно в мире, сильные, но чистые страсти, жизнь без тени порока или упрека, полная борьбы и деятельности, — все, чем может быть прекрасен и велик человек, соединялось в нем.

[...]

Гениальный человек, развивая нашу мысль, в то же время обыкновенно поработает ее себе, — все равно, на-

читались ли вы Байрона или Платона, Гёте или Руссо, Жоржа Санда или Аристотеля — вы становитесь в какое-то зависимое положение от вашего путеводного гения, — вы на все смотрите его глазами, чувствуете, что вам нельзя иначе думать — не потому только, что истина его мыслей для вас очевидна, — нет, и потому также, что он положил границы вашему воззрению, как бы независимо от вашей воли, от вашего самостоятельного рассудка, подчинил вас себе, — словом, вы делаетесь то, что называется ученик, последователь, отчасти раб этого человека. Потому-то обыкновенно самые благотворные авторитеты имеют и свою вредную сторону — развивая мысль, они в то же время отчасти сковывают ее. Когда в нации пробужден дух самостоятельной пытливости, эта вредная сторона не имеет важных следствий, — вы подчинились одному авторитету, другой — другому, сотни других не хотят признавать ничьей безусловной власти над своею мыслью, — так, например, в Германии, в одно время, в одной философской области теперь существует бесчисленное множество различных самостоятельных мнений, все допытываются истины, никто не успокоивается готовыми результатами, все самодеятельно стремятся вперед и вперед, и Кант, Фихте, Шеллинг, Гегель, несмотря на всю обаятельную силу своих систем, не могли ни на одну минуту задержать дальнейшего развития мысли, — каждый из них повел ее шагом дальше, и каждый раз, сделав этот шаг, она устремлялась вперед, покидая прежнего учителя, даже низвергая его, если он хотел остановить ее.

Так и должно быть. Не добытый результат важен: все добытые человечеством результаты во всех областях жизни и мысли, как бы ни казались они блестящи по сравнению с прошедшим, все еще ничтожны сравнительно с тем, что должно быть приобретено мыслью и трудом, для обеспечения материальной жизни, для прояснения знаний и понятий. Важнее всех добытых результатов — стремление к приобретению новых, лучших; важнее всего пытливость мысли, деятельность сил. Немногие из гениальных людей так полно воплощали в себе эту пытливость, не успокоивающуюся ни в чем, эту деятельность, вечно стремящуюся к достижению новых результатов, полнейших всего прежнего, — немногие из гениальных людей, говорим мы, были так проникнуты не каким-нибудь определенным и потому ограниченным стремлением к какому-нибудь определенному, ограниченному результату, а жаждою идти все дальше и дальше, вперед и вперед, — чтобы добытые

ими результаты каждому уму служили только опорой, только возбуждением к дальнейшему самостоятельному исследованию. В области поэзии нечто подобное представляет Шекспир. Мы опять обращаемся к этому примеру, чтобы прояснить наше понятие. Кто поймет Шекспира, перед тем исчезают всякие другие авторитеты в поэзии — он выше всех, — а между тем преклонение перед Шекспиром ставит ли поэта в такое зависимое от него положение, как поклонение Байрону или Мильтону, (Жоржу Санду или Руссо)? — нет, кто поклоняется этим поэтам, чувствует непреодолимую склонность подражать им, и истинно талантливые люди делались мильтонистами или (руссоистами, жорж-сандистами или) байронистами, — но, понимать Шекспира — значит чувствовать в себе непреодолимый позыв к самостоятельному творчеству, — быть чуждым всякой мысли о подражании кому бы то ни было, хотя бы и самому Шекспиру *. Из области поэзии переходя в область мысли, можно указать несколько людей, оказывающих подобное же влияние, — таков, например, Монтань, таковы многие скептики, — но все они занимают в истории развития мысли только второстепенное место, и никто из них не имел преобладающего влияния на развитие целой эпохи. Лессинг не имел ничего общего с Монтанем или другими скептиками, — напротив, его убеждения очень определительны и тверды, он, можно сказать, ни в чем не сомневается, — ни в человеке, ни в законах вселенной, — он положительно говорит: «это мы знаем; в этом нечего сомневаться» — но — какое бы убеждение ни высказывал, как бы твердо ни высказывал его, какими бы неопровержимыми доказательствами ни подтверждал его, — все-таки он в конце ставит новый вопрос, все-таки заключает тем, что говорит: «то, что мы теперь знаем, только начало знания; нужно заняться теперь дальнейшими исследованиями, при которых и прежняя истина явится, быть может, в новом виде»; каждое его исследование представляется как будто только одною частью, отрывком, который должен читатель дополнить

* В гораздо меньших размерах можно почти то же сказать о Гоголе, если приводить примеры из нашей литературы. Пушкину подражали талантливые люди, но подражание Гоголю заметно только у писателей мало талантливых. Нынешние даровитые писатели произошли от Гоголя, — а, между тем, ни в чем не подражают ему, — не напоминают его ничем, кроме как только тем, что, благодаря ему, стали самостоятельны, изучая его, приучились понимать жизнь и поэзию, думать своею, а не чужою головою, писать своим, а не чужим пером.

уже сам. В главнейших его ученых сочинениях — «Лаокооне» и «Драматургии» — эта необходимость дальнейшего самостоятельного исследования выражается даже внешним образом: заключая «Лаокоона», он обещает со временем прибавить вторую часть к этому исследованию, которое положительно называет только первую часть; в «Драматургии» также несколько раз говорится, что вся она только первый отдел труда, который должен иметь продолжение; «Листки против Геце» прекращены, можно сказать, в самом начале. В каждой частности слышится тот же вызов читателю на дальнейшее обсуждение дела. Можно сказать, что и общее направление деятельности Лессинга не имеет такой общей темы, которую не сменила бы другая тема, если то потребует развития мысли, — он начал как литературный критик, а кончил теологическими исследованиями, которые, наверное, оставил бы для других изысканий, если бы прожил более.

[...]

Мы видели, что под влиянием Лессинга образовались в немецкой литературе писатели, подобно ему, не сочувствовавшие ни одной из враждовавших партий, — критики, которые, подобно ему, должны были возбуждать к себе одинаковую нелюбовь во всех партиях. Их органом была «Библиотека изящных искусств». Но мнения этих людей были заимствованные, навеянные, не превратившиеся еще в их собственную плоть и кровь, — потому довольно бледные, довольно снисходительные. Эти ученики еще не так сильно прониклись новыми понятиями, чтобы совершенно оторваться от прежних, — не на столько были сильны, чтобы логически провести свой новый принцип по всей системе своих убеждений, — это были люди того характера убеждений, который ныне принято в критике называть «умеренным образом мыслей». Они могут быть очень благородны, очень благоразумны, — но не им увлекать вслед за собою (толпу); они могут быть очень почтенны, но они вовсе не эффектны, если можно так выразиться.

Их учитель был не таков. Он говорил то, что глубоко обдумал и сильно прочувствовал, — его убеждения имели уже логическую стройность и полноту, — он уже не мог делать уступок явлениям, которые не оправдывались его принципом, — он обсудил и безвозвратно осудил все устарелые понятия, — словом сказать, он был то, что теперь называется человек неумолимой логики, человек крайних убеждений.

Бывают эпохи, когда нужны обществу люди умеренных мнений, люди примирения, люди уступок, — они бывают очень полезны в конце борьбы, когда нужно дать пощаду признавшимся в своей бессилии побежденным. Но — начало борьбы, какова была во время Лессинга, имеет другие условия, — тут нужна была энергия. Когда вводится в жизнь новый принцип, прав которого еще не хотели признавать, он должен был со всею силою предъявлять все свои права, должен, не колеблясь, обнаруживать все слабые стороны явлений, неудовлетворительность которых делает появление этого нового принципа историческою необходимостью. (Завоевав персидское царство, Александр мог и должен был сделать уступки смирившимся перед греческою силою и греческою образованностью персам; но если бы он вздумал быть умеренным и уступчивым при Гранине, он только навлек бы на себя общее презрение, и лучше было б ему не переступить за границы своей Македонии. *Parcere victis et debellare superbos* — «Побежденных щади, но прежде смири до земли гордых», говорили римляне.

Забавны могут показаться эти воспоминания об Александре Македонском и римлянах, по случаю тощего критического журнала и бесприютного магистра, который считал бы себя блаженным, если бы мог получить место секретаря при каком-нибудь провинциальном чиновнике, — положение, которого действительно жаждал Лессинг в то время, когда писал свои статейки для «Литературных писем». И прежде всего эти параллели кажутся не только забавны, но и прискорбны нам. Страшно подумать о том, что бывают положения, когда для судьбы целого народа очень важным становится вопрос о каких-нибудь стихках, статейках или повестушках. Но что же делать? — «из песни слова не выкинешь», тем больше из истории не выкинешь факта. Что ж делать, если единственным средством к возрождению целой великой нации оставалось то, что называется мараньем бумаги. Мы видели, что около половины XVIII века мертвящая формалистика и бессмысленный произвол, грубость нравов и эгоизм разврата погружали Германию в какую-то хаотическую летаргию, так что преграждены были всякие обыкновенные пути к полезному действию на состояние нации. Сам Фридрих II, при всей своей гениальности, сорокапятилетними неутомимыми трудами мог создать только такое государство, которое в один день исчезло от прикосновения Наполеона — едва рассеяны были войска прусские под Иеною

и Ауэршта[д]том, как уже и не существовало Пруссии. Сам Иосиф II, при всей своей беспримерно самоотверженной заботливости о благе народном, не мог преобразовать свое государство. Апатия нации, неприготовленность людей к желанию чего-нибудь лучшего отнимала у него и всех подобных ему всякую надежду на успех, — да и не могло являться много подобных ему при общем растлении или равнодушии. Оставался один путь к полезному действию на нацию — литература; писатель не требует ни подготовленности многочисленных сподвижников, — он их сам создает, — ни широких границ, ни больших средств для своей деятельности, — ему нужно только, чтобы в народе была грамотность. Очень может быть, что почти никто не сознавал грустной необходимости германскому народу считать литературу важнейшим своим делом за отсутствием других более прямых способов исторической деятельности, — но в течение полувека все лучшие силы нации инстинктивно обращали свои силы на литературу. В ней одной немецкая нация нашла для себя источник новой, лучшей жизни, и медленно, но прочно возводился великое здание, первым основанием которого легли «Литературные письма» Лессинга.)

Мы не будем здесь излагать содержания лессингова журнала, — это мы сделаем в особенной главе, а теперь скажем только несколько слов об его общем действии, о тех чертах, которыми, со времени «Литературных писем», резко запечатлелась вся жизнь немецкой нации.

Мы видели, какую репутацию имел Лессинг и за что он имел ее. Человек энергического ума и смелого характера, он ненавидел то, что называется «половинчатостью» (Halbheit); чего он хотел, того хотел не шутя, что говорил, то говорил вполне, до конца, — если он не видел возможности или не находил надобности выражать свою мысль во всей ее силе, он лучше вовсе не выражал ее. Поэтому первое впечатление, произведенное «Литературными письмами», было впечатление страшной резкости суждений. Видя необходимость для немецкой литературы в совершенном разрыве с прежними вздорными формалистическими стремленьями, он без всяких церемоний и без малейших уступок доказывал, что все произведения, нравившиеся до той поры публике и превозносимые рецензентами, никуда не годятся, а самые великие литературные знаменитости — или люди бесталанные, или погубившие свой талант (последнее говорил он о Клопштоке, первое — о всех остальных знаменитостях), что все прежние литературные

понятия — чистый вздор. Никаких уступок не делал он заблуждению и безусловно отрицал всякое достоинство в явлениях, важного значения которых не смели отвергать даже люди, принадлежавшие к его школе. В этом состоит очевиднейшее отличие «Литературных писем» от «Библиотеки изящных искусств». Примером его пусть служит знаменитая фраза о Готтшеде как драматурге: «Никто не будет отрицать, — говорила «Библиотека», — что немецкий театр в значительной степени обязан своим первым усовершенствованием г. профессору Готтшеду». — «Я этот никто, — говорит Лессинг, цит[ир]уя слова эти в XVII-м письме, — я совершенно отрицаю это».

Резкость суждений была первым условием сильного влияния «Литературных писем» на публику и писателей. Немецкая мысль была тогда одержима такою вялою дремотою, что только самые сильные толчки могли пробудить ее. В этом отношении, как и во всех других, Лессинг был именно человек, в каком нуждалось то время. Только беспощадная диалектика, не оставлявшая ни одного уступчивого слова для успокоения, могла заставить публику и писателей признаться в том, что литературные дела их действительно в плохом состоянии, и пробудить в них потребность исправления безжалостно раскрытых недостатков.

Теперь мысли, возбуждавшие изумление, когда явились в «Литературных письмах», стали общими местами, суждения о писателях и их произведениях, возбуждавшие негодование, смешанное с удивлением, когда являлись в «Литературных письмах», повторяются в каждом учебнике, — стало быть, энергия выводов и выражения не заводила Лессинга в несправедливую односторонность; но не в том только дело, что он был прав, осуждая Клопштока и Крамера, Готтшеда и Бодмера: не много бы выиграли немцы, если бы научились из «Литературных писем» только верному взгляду на факты, обсуждавшиеся в этом журнале, — факты были вообще не слишком важны и, по правде сказать, не стоило бы труда вовсе и говорить о них, если б немцы были приготовлены к тому, чтоб слушать и понимать суждения о чем-нибудь важнейшем, нежели произведения Готтшеда с его союзниками и противниками. Важно было не столько приобретение немецким обществом суждений о литературных явлениях, сколько то, что вместе с содержанием суждений перешел в немецкую мысль их дух, — дух строгой, не останавливающейся ни перед какими выводами логики, не признающей за за-

блуждением права на уступки, ищущей только чистой истины, какова бы ни была от того судьба наших личных преубеждений и поползновений.

Нелепо было бы нам, людям посторонним, быть безусловными поклонниками немцев и ставить их поэтов и мыслителей идеалами, перед которыми ничтожны, например, поэты и мыслители английские и французские, — сами немцы не впадают в такую ошибку, тем нелепее была бы она у нас. Но беспристрастные люди всех наций согласны в том, что если, вообще говоря, французские или английские писатели имеют во многих отношениях превосходство над немцами *, то по смелости взгляда и логичности выводов немцы стоят далеко выше их. Французы с парадоксальным экстазом провозглашают, сами изумляясь своей смелости, такие мысли, наивность которых кажется пресною для немцев; англичане пресерьезно доказывают справедливость понятий, неленость которых очевидна для немца с первого взгляда, — кроме того, они слишком плохие диалектики сравнительно с немцами. Широта и беспристрастие взгляда чаще встречаются у немца, нежели у кого-нибудь. Несправедливо было бы считать это достоинство особенным качеством немецкой национальности — логическая сила есть общее достояние человеческого ума; но то несомненно, что вследствие привычки к глубокому и беспристрастному мышлению это драгоценное качество сильнее развито в настоящее время в немецкой, нежели в какой бы то ни было другой нации. Нельзя приписывать, конечно, развитие этой привычки исключительно или преимущественно влиянию одного какого-нибудь человека, — оно было следствием общего состояния Германии в половине прошлого века и свойства тех вопросов, на которые первоначально устремились умственные силы немецкого народа. С одной стороны, факты его жизни были так незавидны, что не могли порождать особенного пристрастия к себе: у немцев не было ни блестящей национальной истории, ни блестящих периодов литературы, как у французов и англичан, ни причин гордиться устройством своего внутреннего быта, как у англичан, или умственным владычеством над Европою, как у французов. Они не имели поводов быть пристрастными

* Мы, конечно, говорим вообще о характере литератур, а не о многих писателях, составляющих редкие исключения; Гизо, например, в своей «Истории цивилизации» француз только по изложению, а по духу — немец; Гейне — чистый француз; Мальтус — немец по неуклонной логичности выводов.

ми — не к чему было пристраститься; не имели поводов быть робкими в выводах из опасения коснуться отрицанием чего-нибудь драгоценного — им было нечего беречь и щадить. С другой стороны, первоначальной школой, в которой воспитывалась их мысль, было обсуждение вопросов, более или менее отвлеченных, — литературы, науки, — в этих сферах привыкнуть к смелости и беспристрастию выводов легче, нежели в сфере бытовых и общественных вопросов, где от положительного или отрицательного решения непосредственно зависит все материальное и общественное положение человека. И самая натура вопросов, к которым первоначально обратилась пробуждавшаяся немецкая мысль, и обстоятельства, в которых пробудилась она, развивали в ней склонность и потом привычку к логичности выводов и широте взгляда. Но того нельзя отрицать, что насколько отдельный факт может иметь влияние на развитие в обществе известных стремлений, настолько «Литературные письма» содействовали образованию в немецкой мысли того драгоценного качества, о котором говорили мы. Эти письма были первым и чрезвычайно блестящим указанием пути, по которому пошла немецкая мысль. Действие, произведенное ими, было очень сильно: все могли учиться из этого примера, все почувствовали желание идти по дороге, в первый раз проложенной Лессингом.

По своей натуре, чрезвычайно живой и пылкой, Лессинг вообще был расположен работать именно только над тем, что не могло быть совершено другими; в нем жило инстинктивное влечение гениальных людей устремлять свои силы только на существеннейшую часть дела, представляя другим второстепенным людям то, что уже по силам для них — именно разработку поставленной руководителем задачи и пользование доставленными им к тому средствами; кроме того, он, как мы видели, имел ту особенность, что не любил держать в зависимости от себя волю и ум других, — ему было противно завидное для столь многих положение главы школы, окруженного последователями, — главною его задачею было возбуждение самостоятельной деятельности в других, — как скоро истинный путь был указан, деятельность возбуждена, он чувствовал свое дело совершенным, ему скучно и противно было участвовать в нем долее, стесняя своим превосходством развитие других, — он чувствовал уже влечение обратиться к решению других задач, еще не тронутых. Именно такой характер и был тогда нужен для возрождения немецкой

мысли в мыслителе, который был бы предводителем нового движения. Характер Лессинга как человека соответствовал потребности Германии в таком писателе, который возбуждал бы к деятельности, не отнимая работы у пробужденных умов своим неотступным участием, который научал бы, не подчиняя. Ему скучно было долго оставаться на одном месте или в одинаковых отношениях, — ему нужна была перемена обстановки, разнообразие занятий.

Участие его в «Литературных письмах» было очень непродолжительно, — оно длилось не более того, сколько нужно было, чтобы возбудить напряженное внимание общества к новому критическому направлению и образовать его деятелей, поставить, так сказать, на ноги людей, которые могли бы идти по указанному направлению. «Литературные письма» начались с началом 1759 года, они выходили маленькими еженедельными тетрадками, — первые восемь тетрадок были написаны почти исключительно Лессингом (из девятнадцати «Писем», которые составляют их, только одно шестое написано не Лессингом, — все остальные восемнадцать и общее введение принадлежат ему), — потом он писал много, — около третьей доли всех статей, — до конца октября 1759 года, — потом его статьи стали являться уже очень редко, почти случайно, — потом и вовсе прекратилось его участие, и он только пишет, наконец, заключительное (332-е) письмо, которым в 1764 году оканчивается издание журнала, для которого он в первые два месяца работал один, потом несколько более полугода был одним из самых деятельных участников, но после, в течение четырех с половиною лет, уже не считал нужным принимать участие, когда новое, начатое им направление получило уже возможность продолжаться без его помощи.

Внешнюю причину прекращения постоянной работы Лессинга для «Литературных писем» было то, что он, прожив около двух лет в Берлине, уехал из этого города, — отчасти соскучившись жить в нем, отчасти наскучив добывать себе пропитание литературною работою и подумав о том, чтобы обеспечить несколько свое существование, отчасти, наконец, и то, что ему стало скучно общество берлинских друзей.

Вообще, Лессинг не встречал в жизни таких людей, дружба которых долго сохраняла бы силу над его задушевными стремлениями. Он был слишком многим выше самых лучших из тех, с которыми сводило его взаимное расположение и уважение. Слишком короткие сношения

с кем бы то ни было скоро становились для него отчасти скучными, отчасти стеснительными, и он чувствовал потребность изменить свою обстановку, чтобы дружеские отношения не разорвались его утомлением. Эту черту мы замечаем во многих гениальных людях, — можно сказать, во всех тех из числа их, которые не были подвержены пороку мелкой суетности, находящей удовольствие в порабощении себе кружка поклонников, который воскурял бы им фимиам. Это надобно отличать от холодности или эгоизма. Почти каждый испытывал нечто подобное, когда случалось ему жить в постоянном общении с людьми, стоявшими по уму и развитию ниже его, — как бы сильно ни любил он этих людей, общество их мало-помалу становилось для него скучно, и он, сохраняя готовность делать для них все возможное, начинал думать, что свидания с ними были бы приятнее, если бы сделались реже. Чувство, испытываемое случайно, временно многими из нас, почти постоянно испытывается гениальными людьми. Надолго могут быть приятны постоянные, ежедневные беседы только между людьми, равными между собою. А таких людей почти не приходится встречать человеку, который сам составляет редкое исключение. Отсюда наклонность к уединению, овладевающая теми из людей гениальных, которые могут довольствоваться уединением.

Лессинг был не таков. Он не мог жить без людей, однако же, всякий кружок скоро утомлял его, — отсюда у него происходило стремление к перемене кружков, — и самым легким средством к достижению были переезды с одного места на другое. Ни к одному из своих друзей не охладевал он, но нигде не мог ужиться долго, и тем задушевнее были возвращения его на некоторое время в тот или другой кружок, после двух-трех лет отсутствия, в продолжение которого также поддерживались самые дружеские отношения перепискою. [...] Теория имеет очень сильное влияние на практику. Не довольно было для оживления немецкой поэзии практически ввести в поэзию жизнь: чтобы поданный пример оказал полное влияние на деятелей литературы, надобно было также теоретически разрушить теоретические предрассудки, сбивавшие с толку поэтов. Не довольно было проложить прямой путь, — надобно было также объяснить, что этот путь единственный прямой путь, что кривые пути, казавшиеся прямыми сбившимися с толку людям, действительно кривы. Нужно было создать новую теорию поэзии, разрушив ошибочные

теории, на которые опиралась формалистика и безжизненность.

Это сделал Лессинг своим «Лаокооном». Мы не будем излагать здесь содержание этого исследования о верховном принципе поэзии, отлагая подробный обзор его до другого места, — теперь надобно только сказать о том общем принципе, который поставил Лессинг в «Лаокооне» существенным характером поэзии в отличие от других искусств, особенно от живописи, которой прежняя безжизненная теория подчиняла и тем обессиливала поэзию, требуя от нее того, чего не может она дать, и заставляя ее забывать о том, чем она сильна. Предмет поэзии — действие, сказал Лессинг. Не тело, не природу должна она описывать, — в этом она бессильна, это область живописи, недоступная для поэзии, — она может давать нам понятие только о действии. Живопись изображает самые предметы, поэзия изображает действие предметов на человека, — ей никогда не удастся изобразить пейзаж так отчетливо, как то делает живопись, — но действие этого пейзажа на душу человека изобразит она со всею точностью и живостью, — дело, невозможное для живописи, — а зная действие предмета, мы узнаем и самый предмет, — передайте мне впечатление, производимое пейзажем, и пейзаж жив и отчетлив воссоздается моим воображением, хотя он и не описан у вас. Не описывайте мне в стихах красоту, — описание будет бледно и смутно, но покажите действие красоты на людей, и она живо, живее, быть может, чем на картине, обрисуетея моим воображением. Итак, действие, действие — вот что составляет силу поэзии, составляет ее специальный предмет.

Таким образом, человеческая жизнь поставлялась единственным коренным предметом, единственным существенным содержанием поэзии, драматический элемент признавался основною силою ее. Ничего неподвижного, ничего мертвого и отвлеченного не должно быть в поэзии. Она рассказывает только, каким образом действует обстановка на человека и человек действует на окружающий его мир. Поэзия есть драма жизни*.

* Драматический элемент, конечно, не должно смешивать с драматическою формою. По теории Лессинга, форма рассказа, воспроизводящая все элементы действия полнее и свободнее, нежели односторонняя диалогическая форма драматических сочинений, есть самая совершенная из поэтических форм. В ней более истинного драматизма, нежели в узкой диалогической форме.

Со времен Аристотеля никто не понимал сущность поэзии так верно и глубоко, как Лессинг. Его «Лаокооном», в первый раз в течение двух тысяч лет, были объяснены и оправданы намеки Аристотеля, остававшиеся непонятными до той поры.

Действие, произведенное «Лаокооном» на развитие немецкой литературы, было так же огромно, как действие «Литературных писем» и «Минны фон-Барнгельм». Гёте и потом Шиллер воспитались этою теориею. Сам Гёте, который не любит Лессинга, говорит в своей автобиографии: «Надобно быть юношею, чтобы вообразить себе, какое действие оказал на нас лессингов Лаокоон (Гёте было тогда лет восемнадцать), — он поднял нас из бедной сферы внешних очертаний в свободную область мысли. Разом было низвергнуто искаженное понятие о том, что поэзия должна подражать живописи. Мы были озарены, как молнией, отбросили все прежние понятия, как ветхую рухлядь, нам казалось, что мы спасены теперь от всякого зла».

Влияние «Лаокоона» на главных поэтических деятелей следующего периода немецкой литературы было так решительно, что даже второстепенные, мелочные замечания Лессинга были строго соблюдаемы ими. Укажем два примера. Лессинг, разбирая места, которые считались примерами поэтической живописи у Гомера (он первый сказал, что если есть руководители в искусстве, то этими руководителями должны считаться Гомер и Шекспир, и в написанной части «Лаокоона» все свои выводы основывает преимущественно на анализе Гомера), объясняет, что это не описания предметов, а рассказы о происхождении и судьбе этих предметов, — Гомер не описывает корабля, а рассказывает, каким образом был построен корабль. Этим примером подтверждает он свою мысль, что, если поэту нужно обрисовать черты и принадлежности предмета, приличнее всего ему не прямо изображать их в неподвижном их состоянии, готовыми, как то делает живописец, а все-таки рассказывать для этой цели о движении, переменах действия. У Гёте постоянно соблюдается этот прием. Далее, Лессинг замечает, что у Гомера нет портретов действующих лиц, — он не говорит нам даже, какого роста и какого характера красота была Елена, — а между тем все черты лица Елены очень ясны и живы для его читателя, — это потому, что он рассказывает о впечатлениях, которые производило это лицо на видевших его, — и это опять соблюдается у Гёте: у него нет портретов, есть только рассказы о впечатлениях, производимых лицами.

После таких примеров ясно, до какой степени «Лаокоон» воспитал поэзию Гёте. Гёте, конечно, никто не станет воображать человеком, который мог останавливаться на внешней зависимости от мелочных правил, — если эти детали лессинговой системы отразились на нем, то, конечно, только потому, что он слишком глубоко проникся духом, из которого возникала необходимость таких деталей.

После «Литературных писем» Лессинг начал считаться первым критиком Германии; после «Лаокоона» утвердился его репутация как великого мыслителя и великого ученого; после «Минны фон-Барнгельм» он был признан знаменитейшим из поэтов. Теперь все видели, что он стоит во главе немецкой литературы.

Он был оракулом молодого поколения. Гёте, Гердер, Мерк, изучая его, готовились выступать на дорогу, им открытую. Какое живительное влияние производило прикосновение его мысли и на людей, которые были старше его летами и ученою славою, но не отжили еще свой век в умственном отношении, показывает случайно сохранившийся анекдот о свидании его с Михаэлисом. Около того времени, о котором мы говорили в конце статьи, Лессинг ездил из Берлина в Пирмонт отчасти для развлечения, отчасти для поправления здоровья. На возвратном пути он заехал в Гёттинген, где жил Михаэлис, основатель новой экзегетики. Михаэлис был, как мы упоминали, знаменитый человек еще в то время, когда Лессинг только еще начинал писать и своею похвалою ободрял юношу. Лессинг чувствовал к нему признательность и навестил его. Разговор склонился на теологические науки, в которых Михаэлис по справедливости считался тогда первым специалистом. Лессинг заметил вообще, что наука в Германии остается до сих пор доступна только записным ученым, которые не заботятся о том, чтобы распространять в массе читателей ее результаты. Например, говорил он, перевод Библии Лютера, конечно, уж мог бы быть заменен лучшим и точнейшим — этого никто не сделал, а надобно было бы сделать это и издать новый перевод с пояснительными историческими и археологическими примечаниями, которые, имея ученое достоинство, были бы написаны не для одних специалистов, а для всей массы читателей. Михаэлис до того времени и не думал об этом — теперь мысль заронилась в его ум, — и следствием визита, сделанного ему Лессингом, было появление знаменитого михаэлисова немецкого перевода Библии по плану, изложенному Лессингом.

[...]

Но вот воспиталось новое поколение, — в критике появляются Гердер, Мерк, Лихтенберг, Гёте; в поэзии — Гёте, Ленц, Клиггер, Лейзевиц и, в одно время с ними, около начала 1770-х годов все бесчисленные критики и поэты периода «бурных стремлений». Все они воспитаны преимущественно Лессингом, многие — исключительно Лессингом. Каково-то будет отношение учителя к ним, каково-то будет отношение их к учителю?

Именно тут и обнаружилась самым ярким и редким образом его натура, удивительная по своей необыкновенности, совершенно нормальная по своей разумности. Когда они выступили на сцену, он совершенно сошел с этой сцены, вполне уступая им место. Он перестал работать для поэзии, для литературной критики. «Теперь и без меня довольно исправных работников на этих полях, — мое дело кончено, я стал бы только мешать им; они и без меня сделают все, что нужно, — они умеют и хотят работать, пусть же трудятся, как умеют и как хотят». Роль воспитателя должна кончаться, когда воспитанники совершенно приготовлены.

Значило ли это, что он вполне ими был доволен? Значило ли это, что он увидел себя бессильным побороть их, если не был доволен ими? Или это значило, что он устал работать и рад был случаю бросить работу? В известных отношениях на все эти вопросы надобно отвечать: «да», в других отношениях — «нет».

Новые деятели поэзии и критики сильно возбуждали мысль своего народа, все были проникнуты любовью к добру и истине, многие из них были чрезвычайно даровиты, некоторые — гениальны: во всех этих отношениях Лессинг мог быть совершенно доволен ими. Еще важнее было то, что они были люди независимых мнений и самостоятельных стремлений; их нельзя было ни запугать, ни ослепить авторитетом, они проверяли самым строгим образом каждый авторитет и скорее расположены были, лишь бы только допустила истина, воспротивиться, чем последовать ему, — в таком настроении умственной жизни была существеннейшая историческая потребность, оно требовалось и натурою самого Лессинга, — в этом отношении он мог гордиться своими наследниками. Каждый из них шел по тому пути, какой сам считал лучшим, — но по какому бы пути ни шел кто из них, Лессинг мог видеть, что этот путь в числе многих других путей указан и проложен им, Лессингом. Каждый из них разрабатывал общее

поле по-своему, но поле это было то самое, которое указал Лессинг, и цель у всех была общая, та самая, для которой трудился и он — пробуждение сознания в немецком народе, пробуждение энергии и прямоты в умственной жизни народа.

Люди нового поколения были воспитанники Лессинга и работали, вообще говоря, сообразно примеру, поданному общим учителем. Конечно, мы не можем здесь перечислять все признаки, которыми отразилось изучение его произведений на каждом из этих новых деятелей, — но пусть представителями родовой связи будут два значительнейшие из них, Гердер и Гёте, которые, оставаясь каждый очень многосторонним, все-таки как бы разделили между собою деятельность, обнимавшую у Лессинга равно все стороны литературы, и сделались знамениты, один — по преимуществу теоретическими трудами, другой — осуществлением теории в художественных произведениях.

Гердер до такой степени был пропитан сочинениями Лессинга, что из теоретических произведений учителя не осталось почти ни одного, которое не подало бы ученику случая к сочинению в том же роде, на ту же тему. Лессинг писал «Защитения» (Rettungen — изыскания с целью восстановить добрую славу о характере и нравственных правилах того или другого знаменитого старого писателя, по неосновательным обвинениям прославившего дурным человеком), между прочим «Защитение Горация» — и Гердер написал «Защитение Горация»; Лессинг написал исследование об эпиграмме — и Гердер написал исследование об эпиграмме; Лессинг написал исследование о басне — и Гердер написал исследование о басне; различные рассуждения или отдельные мысли Лессинга породили исследования Гердера «О знании и незнании», «Взгляды на будущность человечества», «Полингенезия» и т. д. «Литературными письмами» Лессинга были порождены «Отрывки для немецкой литературы» Гердера; «Лаокооном» и «Антикварскими письмами» Лессинга — «Критические леса» Гердера и т. д. * Недаром говорил Гердер, что «как он ни бьется, а все-таки единственный человек, интересующий его, — Лессинг». Мы по необходимости указываем только некоторые из тех случаев, когда целое сочинение Гердера все целиком возникло из сочинения, написанного Лессингом; рассматривать связь идей Гердера с идеями Лессинга было бы слишком долго и неуместно здесь, — но легко угадать, до какой степени воз-

* Гервинус.

зрения Гердера обуславливались мыслями, указанными ему Лессингом, если большая часть его сочинений прямо написаны на темы, данные ему Лессингом. И не надобно воображать, чтобы такое отношение существовало только в первый период деятельности Гердера,— нет, оно не изменялось до конца его жизни.

Случайно мы уже приводили несколько суждений Гёте о действии некоторых сочинений Лессинга на развитие самого Гёте,— мы уже видели, как он сам признавался, что «Лаокоон» «озарил его, как молния», и овладел его мыслью на многие годы, что «Эмилия Галотти» «ободрила» его,— прибавим к этому слова Гёте о «Минне фон-Барнгельм»: «Очень сильно подействовала на нас эта пьеса. Действительно, она была блестящим метеором в те темные времена. Она дала нам понять, что существует нечто высшее всего того, о чем знала тогдашняя эпоха». Мы видели также, какой сильный отпечаток на манеру Гёте положили даже второстепенные замечания Лессинга, например, хотя бы о том, что описание предмета должно в поэзии заменяться рассказом его происхождения и судьбы. Число этих примеров легко было бы умножить*. Но мы лучше хотим заменить их несколькими чертами сходства между Лессингом и не одним Гёте, а всеми поэтами той эпохи, которой по духу и манере принадлежат «Вертер» и «Гец фон-Берлихинген».

Лессинг осмелел знаменитое правило о соблюдении в драме трех единств, указал на Шекспира, как поэта, произведения которого должны вечно быть в памяти каждого драматурга,— тотчас после этого является поклонение Шекспиру, подражание Шекспиру, забота о том, чтобы не показаться соблюдающим какое-нибудь из трех единств; преимущественно влиянию Лессинга надобно приписать и преобладание драмы в тот период немецкой литературы; Лессинг писал исключительно драмы, и все начали писать драмы и драмы.

То же самое было и с литераторами, которые действовали на ученом поприще: Лессинг был полигистор⁵, и все захотели быть полигисторами, трудиться не для одной какой-нибудь науки, а для всех гуманитарных наук зараз, от эстетики и философии до древностей и теологии. Лессинг писал все только отрывки, никогда не доканчивая

* Например: Гёте, когда был в Италии, почел необходимостью написать исследование о статуе Лаокоона; перевел сочинения Дидро, на которые указал Лессинг, и проч.

всего сочинения, как сначала хотел написать его, — и все начали писать отрывки, и явилось в немецкой литературе целое племя «фрагментаристов»; Лессинг восставал против цеховой учености и педантства, — и все начали восставать против цеховой учености и педантства. Наконец — общая черта, в которой соединялись и поэты и мыслители периода, следовавшего за «Гамбургской драматургиею» и «Эмилиею Галотти»; Лессинг говорил о самостоятельности, о строжайшем переисследовании всего, что внушается авторитетами, заветцано преданием, о проверке собственным анализом всех правил, всего, что принято нами с детства как аксиома, — независимость мнений стояла для него выше всего, — и самым горячим стремлением периода, начавшегося с 1770 годами, было стремление к проверке, к переисследованию всех правил, всех авторитетов, непринимание ничего на-слово, общим лозунгом всех была самостоятельность и оригинальность.

Сильно было его влияние на эту эпоху и всех лучших ее деятелей: если иметь в виду только общие черты этих людей, то они все сходятся в том, что вышли из Лессинга. Но их крик о самобытности не был пустою претензией: действительно, развившись благодаря Лессингу, ни один из них не утратил через это воспитание ни одной черты, принадлежавшей его личности. Укажем опять на одного из двух главных представителей того времени, на Гердера. О Гёте нечего и говорить: каждому из читателей, конечно, очевидно, что он нимало не напоминает собою Лессинга; о подчиненности его как поэта Лессингу не может быть и речи: он несравненно выше своего воспитателя по поэтическому таланту. Но Гердер, всем обязанный Лессингу, напоминает собою, однако же, вовсе не Лессинга, а другого своего учителя, известного полигистора Гаманна, который недолюбливал Лессинга и составлял решительную противоположность с ним: тот же фосфорический блеск отдельных мыслей, но и тот же восточный тон восторженной речи, та же беспорядица в воззрениях, то же фантазерство, та же раздражительность ипохондрического самолюбия, тот же оттенок чего-то вроде юнгштиллингизма или лафатерщины⁶, — вообще в манере и в воззрениях что-то похожее на Шатобриана. Отчасти превосходством натуры, отчасти влиянием Лессинга значительно сгладились в Гердере эти недостатки и угловатости, но все-таки они остались еще очень резки. Вот один из примеров, по которым можно судить о том, до какой степени отличались следствия лессингова влияния от обыкновенных следствий, ка-

кими отпечатывается на человеке подчинение чьему-нибудь влиянию: Гаманн, гораздо менее Лессинга содействовавший развитию Гердера, отразился в нем со всеми своими недостатками; Лессинг, давший ему все, не навязал ему ничего чуждого его натуре. Не говорим уже о том, что Гаманну Гердер до конца только поддакивал, как авторитету, а с Лессингом с самого начала спорил, как с простым человеком, нисколько не стесняясь, — а пробуждение такой независимости и было существенной потребностью истории, главною задачею Лессинга.

Итак — возвращаемся к нашим вопросам — Лессинг мог быть вполне доволен людьми, которым совершенно уступал критическое и поэтическое поприще? Быть может, именно потому он и сошел с этого поприща, что иного и лучшего, нежели делали они, и не мог желать сделать? — Не совсем.

Все вместе, как одно целое, люди молодого поколения были верны Лессингу. Но в частности каждый из них по кругу своих воззрений и сочувствий был гораздо одностороннее его *. Таков естественный ход исторического развития во всех сферах, что первоначальное равновесие различных элементов, обнимаемых вновь возникшим стремлением, разрушается при дальнейшем движении этого стремления, так что одна сторона его берет перевес над другими, и основное единство распадается на множество направлений, из которых одно, наиболее благоприятствуемое историческими обстоятельствами, становится господствующим, оттесняя все другие на задний план.

Было бы слишком долго и неуместно говорить здесь, почему сильнейшие люди нового поколения, Гердер и Гёте, склонились на ту, а не на другую сторону. Довольно сказать, что сторона, к которой склонялись они, была антипатична Лессингу. У Гердера слабою стороною было излишнее преобладание воображения над рассудком, у Гёте (в ту эпоху, эпоху «Вертера» и увлечения поддельными оссиановскими песнями) сентиментальность.

* Мы говорим о духе, пропикавшем систему воззрений того или другого из новых деятелей, а не о широте круга их занятий, — занятия могли бы быть разделены между различными людьми без вреда для всесторонности духа, их оживлявшего, — но эта всесторонность и была утрачена; а круг занятий у многих из людей нового поколения был чрезвычайно многосторонен. Гёте был в этом отношении даже универсальнее Лессинга, обнимая, кроме тех отраслей знания или мысли, для которых трудился Лессинг, и естественные науки, которые лежали вне круга деятельности Лессинга, хотя и бывшего, подобно Шиллеру, в молодости медиком.

Отсюда происходило пристрастие Гердера к Гаманну, пристрастие Гёте к людям, подобным Лафатеру, уживчивость его с людьми, подобными Юнгу-Штиллингу. Такие предпочтения казались Лессингу неразумными и вредными, и произведения, написанные в этом направлении, фальшивыми. Чтобы не растягивать нашего рассказа, приведем только один пример — суждение Лессинга о «Вертере». Читатели знают, что сюжет этого романа дан Гёте действительным событием — судьбою Иерусалема (сына известного теолога), который лишил себя жизни. Вот знаменитое письмо Лессинга к Эшенбургу об этом романе:

«Чрезвычайно благодарен вам, любезный Эшенбург, за удовольствие, которое доставили вы мне, одолжив роман Гёте. Возвращаю вам его днем раньше условленного срока, чтобы другие поскорее могли насладиться этим удовольствием.

Но как вам кажется: чтобы не наделать больше вреда, нежели пользы, не должно бы это столь теплое произведение иметь коротенький холодный эпилог? Нужно бы несколько слов о том, как развился в Вертере такой странный характер; как другой юноша с подобными наклонностями может уберечь себя от этого. Ведь он, пожалуй, может приять поэтическую красоту за нравственную и вообразить, что если этот человек столь сильно возбуждает наше участие, то значит, что он был *хорош*. А он вовсе не был хорош. И если бы наш Иерусалем* был совершенно в таком душевном состоянии, то я... почти что презирал бы его. Скажите, греческий или римский юноша лишил ли бы себя жизни *так и из-за такой причины?* Наверно, нет. О, они умели не поддаваться фантазерству в любви, и во времена *Сократа* такую *ex erôtos katoché* (коллизию от любви), доводящую до *ti tolmaîn para physin* (до лишения себя жизни), простили бы разве какой-нибудь девочке. Производить таких мелко-великих, презренно-милых оригиналов было предоставлено только нашему ново-европейскому воспитанию, которое так отлично умеет превращать физическую потребность в душевное совершенство. Итак, любезный Гёте, прибавьте в конце еще маленькую главу, и чем циничнее, тем лучше».

Лессинг хотел очистить память своего молодого друга от «презренной слабости», которую взводил на него роман, — для этого он издал сочинения Иерусалема сына, с предисловием, в котором изображал покойного как человека с мужественным характером и светлой головой. Лессинг так сильно возмущался «Вертером» Гёте, что у него однажды мелькнула даже мысль развить эту тему с здоровой мужественной точки зрения: сохранился листок, на котором он набросал в нескольких строках план первой сцены для драмы «*Werther, der bessere*» — «Вертер более достойный уважения».

* Лессинг любил этого несчастного юношу.

Нет надобности доказывать, что Лессинг был прав в своем недовольстве тенденцией, отразившейся на «Вертере»; он верно предугадал, что роман этот будет иметь вредное влияние на молодежь, выставляя в идеальном свете болезненное малодушие своего героя.

Не был доволен Лессинг и тем направлением, какое получила драма в период «бурных стремлений». Он внушал уважение к Шекспиру, — но молодежь, с обыкновенною своею склонностью доводить всякое чувство до крайностей, дошла в энтузиазме к Шекспиру до неслепостей и старалась как можно ближе подражать даже тому, что вовсе не важно в Шекспире и, скорее, составляет его недостаток, нежели достоинство: эксцентричность выражений и другие особенности, объясняемые только вкусом века, в котором жил Шекспир, казались этим драматургам столько же драгоценными и необходимыми принадлежностями «гениальности», как действительные достоинства шекспирических драм. Тогда-то возникло понятие о качествах поэта и его произведений, известное нам по преданиям романтизма: только тот истинный поэт, кто растрепан, кто с пренебрежением смотрит на людей, ведущих себя благоприлично, кто старается каждую строкою своих произведений шокировать рассудительных людей. Это все называлось «гениальностью». Такие эксцентричные замашки сильно не нравились Лессингу, который смотрел на искусство, как древний грек.

Молодежь инстинктивно предчувствовала, что Лессинг не может сочувствовать ее односторонним излишествам, и если многие из новых деятелей литературы — например, Гердер и Лейзевиц — лично были в дружеских отношениях с Лессингом, то иные как-то чуждались его. Любопытное свидетельство последнего оставил Гёте о себе и своих лейпцигских друзьях в своей автобиографии. Весною 1768 года Лессинг приезжал в Лейпциг, — Гёте был тогда студентом Лейпцигского университета (ему было 19 лет). «Бог знает, что такое было у нас тогда в голове, — рассказывает он: — нам вздумалось не только не искать случая видеть Лессинга, напротив, избегать тех мест, где могли бы мы встретить его. Это временное дурачество, которое нередко находит на самолюбивых и капризных юношей, было впоследствии наказано тем, что я уже никогда не имел случая узнать в лицо этого великого и чрезвычайно уважаемого мною человека».

Радуясь вообще пробуждению свежих и могучих сил, стремившихся вообще к целям, которые были также и его

целями, Лессинг замечал в деятельности главных людей молодого поколения и важные ошибки, от которых предвидел дурные следствия, — как то и исполнилось на деле возникновением романтической школы: Шлегели, Тик и проч. произошли из односторонностей, которым поддались Гёте, Гердер и их друзья. Почему же он не боролся против этих уклонений?

Борьба человека старого поколения против молодого поколения всегда бывает безуспешна, хотя бы этот человек и говорил правду. Исторические увлечения не могут быть побеждаемы в самом начале своем отвлеченными рассуждениями, — только тогда они отвергаются обществом, когда они принесут плоды, по которым испытает общество их ошибочность и вредность. С успехом начать борьбу против увлечений сентиментализма и фантазерства можно было только тогда, когда романтизм уже выказал, каковы последствия этих наклонностей, являвшихся вначале идеально-прекрасными, возвышенными и очаровательными, — уже только в наши времена, а не в 1770-ых годах.

Чего невозможно сделать, за то и не принимался Лессинг. Дух века, все живые симпатии нации, все даровитые люди молодого поколения были бы против него, если б он начал борьбу против направления, которое паложило свою печать на «Вертера» и «Геца фон-Берлихингена». Напрасны были бы его усилия — а натура его была такова, что он не делал ничего напрасного. Не в его характере было бороться против нового, он по природе своей был расположен только готовить его. А когда оно было приготовлено его трудом, когда он видел своих воспитанников, которые были уже в силах осуществить его мысль, — он уже терял охоту наблюдать за тем, чтобы эта мысль была во всех подробностях исполнена именно так, как ему казалось лучше, — довольно того, что она исполняется — надобно же дать волю людям; нравственная опека, предохраняя от ошибок, убивает и энергию и разум, если будет простирается далее, нежели надлежит ей по закону природы. В историческом развитии неизбежны увлечения и ошибки — кто хотел бы непременно воспрещать их, воспрещал бы вместе с ними всякое развитие, хотел бы убивать жизнь.

Натура Лессинга была такова, что работа становилась для него утомительна, как скоро он видел, что она может быть удовлетворительно исполнена другими, как скоро он чувствовал, что поставил вопрос в надлежащем свете и вызвал людей для его разрешения. Ему скучно стало

писать для «Литературных писем», когда его трудами были уже достаточно приготовлены люди, могшие продолжать это дело; и теперь, когда были приготовлены люди, могшие продолжать дело, начатое его драмами, «Лаокооном» и «Гамбургскою драматургиею», ему скучно стало писать драмы и заниматься литературною критикою. Эти занятия утомили его, опротивели ему — много раз он отказывался от всяких предложений вновь заняться при том или другом театре делом, которое столь блистательно исполнил при гамбургском национальном театре; после издания «Эмилии Галотти» он во всех письмах говорит, что потерял всякое расположение и всякую способность писать драмы и никогда уже ничего не думает писать в этом роде. Правда, через несколько лет написал еще драму, которая стоит выше всех прежних, которую немцы ставят выше всех произведений самого Гёте, кроме «Фауста», — но она была внушена ему мыслями, уже совершенно чуждыми любви к театру или желанию трудиться для искусства. У ней была другая цель.

Лессинг устал работать — но только для тех целей, достижение которых было теперь обеспечено. Не работать он не мог. Мы знаем, что такое называется в Северо-Американских Штатах колонистом «Дальнего Запада» — это человек, которому скучно жить и работать на тех заселенных полях, обработка которых стала уже доступна силам каждого; он уходит далеко за границы поселений, в неведомые пустыни, прокладывает дорогу среди болот и лесов, поселяется одинок среди диких зверей и враждебных дикарей, прогоняет их, очищает землю от них и открывает для цивилизации обширные, обильные области. Сколько битв выдержал он, сколько лишений перенес он, сколько опасностей и затруднений преодолел он! Но вот безопасен стал занятый им округ, дает уже богатую жатву, — тогда, привлеченные молвою, приходят по проложенной им дороге толпы людей, селятся вокруг него, привольно работают, без всяких лишений, в безопасности начинают веселую и сладкую жизнь. И он мог бы наслаждаться всем, чем наслаждаются они, — именно ему больше всех и должно было бы наслаждаться, потому что все окружающее его благоденствие возникло благодаря его предприимчивости, мужеству и силе. Но нет, ему уже скучно и противно жить на этом привольном, безопасном, роскошном месте, — натура влечет туда, куда еще нет путей, где каждый шаг соединен с лишениями, опасностями и борьбою, — и он, по-

кидая спокойное село, опять идет в пустыню, дальше и дальше, прокладывая путь цивилизации...

Таков был Лессинг. Его трудами была открыта и очищена почва, на которой могла возникнуть богатая литература. Его дело было совершено в этой области. Он устремился к завоеванию новых областей для народной жизни.

Один период в истории немецкого развития был подготовлен и вызван к жизни его трудами. Он начал работать для приготовления следующего периода.

[...]

Результаты борьбы, веденной Лессингом в последние три года его жизни, были громадны. Она приготовила направление последующей немецкой философии, которая только в последнем периоде своего развития стала на ту высоту мысли, которая была указана ей Лессингом, но с самого начала была верна духу, проникавшему его сочинения, написанные по поводу «Вольфенбюттельской рукописи» и споров, ею возбужденных. По плану нашего очерка, имеющего главным предметом одну литературную сторону деятельности Лессинга, мы только в двух-трех словах коснемся отношения между Лессингом и последующими немецкими философами.

Прямых учеником его не был ни один из знаменитых философов, — все они считают своим родоначальником Канта; Фихте говорит, что его система — довершение системы Канта, Шеллинг был продолжателем Фихте, Гегель продолжателем Шеллинга, новая философия произошла из системы Гегеля. Но если мы сравним все эти системы между собою, то увидим, что дух их совершенно различен, — это потому, что у Фихте, Шеллинга и Гегеля были другие учителя, кроме Канта. Они сами признаются, что очень многим обязаны Гердеру и Гёте, под влиянием которых воспиталось их воззрение на мир, — через Гердера и Гёте имел на них влияние и Лессинг, который так могущественно господствовал над развитием Гердера и Гёте. Уж эта одна сторона его действия на них имеет чрезвычайную важность. Но еще гораздо сильнее было то влияние, которое имел он на развитие немецкой философии не посредством того или другого из воспитанных им знаменитых писателей, а силою направления, развитого им в умственной жизни всего народа, среди которого возникли эти философы. Часто, когда говорят об истории философии, имеют в виду только связь философских систем между собою, забывая о связи их с духом времени и общества, в котором они развились, а между тем это забыва-

емое отношение обнаруживало всегда самое решительное влияние на их характер. О философии, в которой общие стремления человечества находят самое прямое выражение, надобно сказать скорее, нежели о какой-нибудь частной науке, что она всегда бывает дочерью эпохи и нации, среди которой возникает.

Из многих сторон родства всех философских систем, возникших после Канта в Германии, с духом, проникавшим сочинения Лессинга, мы заметим только две, связь которых с характером мнений Лессинга особенно ясна будет после того, что имели мы случай сказать выше о его стремлениях.

До Лессинга немецкая философия вообще имела протестантский характер, даже в случаях, когда являлась враждебною христианству. После Лессинга, хотя по-прежнему все главные деятели ее принадлежали протестантской половине Германии, она становится в другое положение. Философское мирозерцание становится столь же независимо от одностороннего протестантского оттенка, как прежде было независимо от католического. Из достоинства протестантской половины Германии философия становится делом общенациональным.

При всем различии в своих принципах и выводах, все немецкие философские системы сходятся в том, что ни одна из них не имеет враждебности против христианства, какую отличались системы некоторых английских и французских философов. Каковы бы ни были понятия того или другого немецкого философа об общей системе мира, но каждый из них на религию смотрит с уважением, высоко ценя важность ее. Все они чужды того сурового ожесточения против религии, которое заметно, например, у Гоббеса, или той насмешки, которая видна у Вольтера. Все они смотрят на религию с серьезностью, полною уважения.

Эти две черты сходства уже достаточно показывают тесное родство последующей немецкой философии с теми стремлениями, которыми одушевлен был Лессинг в своей последней борьбе. Но вполне оценить гениальность его взгляда и силу его влияния может только тот, кто знаком с новейшими немецкими философскими системами, сменившими систему Гегеля⁷: они чрезвычайно близки к тем понятиям, какие были выражены Лессингом. Мы ограничиваемся этими немногими словами, потому что рассмотрение развития философии в Германии не составляет прямого предмета этой биографии; но тот, кто захотел бы

заняться отношениями Лессинга к последующим немецким философам, нашел бы гораздо более признаков его сильного влияния на их системы.

Впрочем, все это не составляет еще главного значения деятельности Лессинга в последние годы его жизни. Еще важнее, нежели влияние его на характер последующих философских систем, было то, что он приготовил ум своего народа для принятия философской мысли. До того времени философия была делом школы, которого чуждалось и пугалось общество, как чего-то не только таинственного, но и ужасного, — философские мысли, как скоро из тесного кружка записных ученых проникали до сведения людей, не имевших науки своею профессиею, были отвергаемы ими как что-то противное всем убеждениям их и всем условиям жизни. Через двадцать лет не так была принята обществом философия Фихте и потом Шеллинга, — напротив, общество встречало философские учения с живым сочувствием, они быстро распространялись в публике и переходили в ее убеждения. Эту перемену надобно отнести всего более к действию статей, написанных Лессингом в последние годы его жизни: они приучили немецкую публику к духу философского исследования.

От замечаний о развитии умственной жизни в Германии, обращаясь к прямому влиянию последнего периода деятельности Лессинга на общественную жизнь, надобно сказать, что оно было также решительно: с той поры начинается заметное и постоянное ослабление неприязни, существовавшей между католиками и протестантами. Главною причиною, поддерживавшею эту неприязнь, надобно считать презрение протестантов к католикам, как людям, зараженным грубейшими суевериями. До Лессинга едва ли кто из протестантов смотрел на особенности, которыми отличалось католичество от протестантства, иначе как на невежественные предрассудки, унижительные для ума человеческого. Нововводители, последователи французских энциклопедистов и английских деистов, были в этом отношении не лучше, а может быть, даже хуже других протестантов. Лессинг стал говорить о католичестве беспристрастно, всегда с уважением, иногда с сочувствием. Это простиралось до того, что многие из его противников обвиняли его в измене лютеранству для католичества, а сам он, когда протестантские богословы ему грозили запрещением писать и юридическим осуждением его сочинений, был уверен, что если бы дело дошло до такой крайности, то он нашел бы защиту у католиков⁸, пе-

ренся дело на решение Имперского совета, в котором католические члены станут на его стороне, когда он им объяснит, что осуждать его значило бы осуждать всех католиков. Пример, авторитет и доказательства Лессинга открыли глаза большинству образованных протестантов, и с того времени насмешки над католиками ослабевают, ослабевает и возбуждаемое ими нерасположение католиков к протестантам, и место неприязни занимает терпимость и взаимное уважение. Мало того: Лессинг развивал перед немцами воззрение, в котором должны сойтись, как братья, и католики и протестанты, и доказывал, что это воззрение, будучи одно достойно человека по своему благородству, в то же время одно только и должно считаться справедливым, потому что оно одно логично, оно одно внушается потребностями человеческой природы и одно может выдержать строгую научную критику. Эта сторона влияния, конечно, казалась самою важною и для Лессинга. Именно желание дать примирительное направление народной жизни и руководило Лессингом в выборе теологических вопросов предметом своей деятельности.

Но, будучи по преимуществу человеком жизни, почему не предпочел он вопросов, более близких к жизни, почему не писал юридических и политических сочинений? По той же самой причине, по которой не писал и чисто философских сочинений, потому, что умственная жизнь его нации не достигла еще в его время той зрелости, чтобы живо интересоваться этими вопросами. Лет двадцать прошло после его смерти до той поры, когда настал для Германии период философских интересов; еще позднее началась для нее пора юридических и гражданских стремлений.

ПИСЬМА ОБ ИСПАНИИ

В. П. Боткина. СПб. 1857 г.

После произведений поэзии путешествия везде составляют самую популярную часть литературы. По числу изданий и по отчетам публичных библиотек видно, что и в Англии, и в Германии, и во Франции рассказы о путевых впечатлениях и приключениях, о природе чужих земель и нравах народов, населяющих эти земли, читаются с большею жадностью, нежели какие то ни было другие книги серьезного содержания. Даже исследования о политических вопросах, даже исторические сочинения не могут отнять у путешествий первенства в этом отношении. В самом деле, путешествие, соединяя в себе элементы истории, статистики, государственных наук, естествоведения и приближаясь к так называемой легкой литературе своею формою, как рассказ о личных приключениях, чувствах и мыслях отдельного человека, в столкновениях его с другими людьми,— людьми, жизнь которых тем любопытнее для нас, что они живут в условиях иной обстановки, нежели публика, для которой предназначается книга,— путешествие совмещает в самой легкой форме самое богатое и заманчивое содержание. Путешествие — это отчасти роман, отчасти сборник анекдотов, отчасти история, отчасти политика, отчасти естествоведение. Каждому читателю дает оно все, что только хочет найти он.

Как везде, и у нас путешествия исстари были любимым чтением. Не заходя в старину слишком далеко, вспомним только, что новейшая русская литература началась «Письмами русского путешественника», которые читались наверное не меньше, нежели «Бедная Лиза» и «Марфа Посадница»¹ «Всемирный путешественник аббата Деллапорта»², несмотря на свою страшную массивность, принадлежал к небольшому числу наиболее распространенных в публике книг. Во времена Екатерины и Александра I, когда, сравнительно, переводилось у нас очень много

книг, путешествий переводимо было едва ли не больше, нежели каких-нибудь других книг серьезного содержания.

Тем прискорбнее, что, когда стала у нас сильнее развиваться оригинальная литература, число путешествий, особенно путешествий по Западной Европе, не было так велико, как можно было бы желать и ожидать. Но все-таки, до последнего десятилетия, количество этих книг было довольно значительно, по сравнению с другими отраслями серьезной литературы. Довольно много выходило даже таких путешествий, которые отличались замечательными достоинствами. Так, например, в десять лет (1836—1846), предшествовавшие последнему десятилетию, из одних воспоминаний наших путешественников по различным странам Западной Европы можно назвать «Записки и воспоминания о путешествии по Англии, Франции, Бельгии и Германии» Симонова; «Очерки Южной Франции и Ниццы» Жуковой; «Воспоминания о Сицилии» г. Черткова; «Путешествие в Мальту, Сицилию, Италию, Южную Францию и Париж» г. Всеволожского; «Париж, путевые заметки» г. В. Строева; «Год в чужих краях» г. Погодина; «Заметки за границею» г. Ф. П. Л.; «Прогулка русского в Помпеи» г. Левшина; «Четыре месяца в Черногории» г. Ковалевского. Не считаем различных «Путевых писем» и т. п. г. Греча.

Конечно, итог этот не велик; можно было бы даже удивиться его скудости, — в десять лет девять сочинений о всех различных странах Западной Европы! Но когда мы сравним с этим количеством число книг того же рода, вышедших в следующее десятилетие, мы должны будем назвать предыдущий период очень обильным. В 1847 году вышло «Путешествие в Черногорию» г. Попова. Затем — до настоящего времени не являлось ни одной хорошей книги, кроме «Италии» г. В. Яковлева.

Таким образом, мы не можем хвалить «Писем об Испании» г. Боткина по сравнению с другими подобными книгами в современной нашей литературе — таких книг нет, и сравнивать «Письма об Испании» у нас решительно не с чем*.

Но тем большую цену приобретает от этого книга г. Боткина, которая по своим достоинствам заняла бы почетное место и в самой богатой литературе. Хотя в пре-

* «Италия» г. Яковлева написана почти исключительно с артистической точки зрения; она говорит преимущественно о картинах природы и произведениях искусства и потому, при всех достоинствах изложения, принадлежит совершенно другому роду, нежели «Письма об Испании».

дисловии автор откровенно говорит, что он счел излишним ссылаться на газетные статьи, путешествия и исторические сочинения, которые служили ему пособием при составлении этих писем, и что многим из прочитанного воспользовался он, имея единственно в виду уяснения предмета для читателей, но тем не менее читатели не могут не быть благодарны автору за то, что он так умно воспользовался прочитанным и умел представить такую живую и полную картину страны, им описываемой. «Письма об Испании» помещались первоначально в «Современнике» (1847 и 1848 годов), и потому неуместно было бы нам распространяться в похвалах им, — да это и не нужно: все, читавшие наш журнал в то время, как он украшался письмами г. Боткина, слишком хорошо помнят его блистательные очерки Испании. Известность книги, о которой мы должны говорить, уже составлена, и нам остается только сделать обзор содержания этих «Писем» как одного цельного сочинения, проникнутого строгим единством воззрения.

Никто не знал происхождения первоначальных обитателей Испании, но надобно предположить, что они пришли туда с северо-востока, через Пиренеи. Финикийне и греки находились с ними в сношениях и основали по морскому берегу несколько городов, преимущественно для торговых целей. Затем карфагеняне короткое время владели Испанией и наконец римляне, под властью которых находилась она почти пятьсот лет. В начале V столетия после Р[ожества] X[ристов]а вторглись туда германские племена, — преимущественно вестготы, владычество которых пало пред храбростью и религиозным энтузиазмом арабов. Только на северо-восточной оконечности Испании сохранился небольшой остаток христианского владычества.

В продолжение 780 лет (от 712 до 1492) была Испания частью христианскою, частью магометанскою страной. Разъединение, внутренние междоусобия, честолюбие дворянства и ошибочная политика — все это замедляло окончательное решение борьбы между двумя племенами. Только женитьба Фердинанда Арагонского на Изабелле Кастильской (1469), соединив до того времени отдельные два государства в одну цельную Испанию, дала возможность уничтожить последние остатки арабского владычества. Затем открытие Америки и усмирение самостоятельного и неукротимого феодального дворянства, казалось, надолго положило прочную основу государственному могуществу Испании. Вскоре затем, при Карле V, городо-

вые общины, бывшие препоною королевской власти, потеряли свою силу после известного восстания, окончившегося поражением их в битве Вильяларе 23 апреля 1521 года³.

Карл V, первый король всей Испании, возвел эту страну на вершину могущества; но вместе с тем обозначаются уже и в то время первоначальные причины ее последующего упадка и постоянно возрастают в страшной постепенности. Мы припомним здесь только самые главные из них, чтоб сделать понятными позднейшие события ее истории.

Благотворные основания испанского государственного права не только не имели никакого дальнейшего развития, но, из преувеличенного опасения всякого противодействия, королевская власть уничтожила все гарантии прежнего общественного устройства. Создания кортесов были совсем прекращены, и они утратили все свое прежнее значение. Вместе с этим исчезновением государственной жизни, открытие Америки бросило нацию в совершенно другое направление. Какого-то особого рода лихорадочная деятельность охватила Испанию. Много героических подвигов вызвала она, но вместе с тем и много самых ужасных варварских дел. Непостижимая жажда обогащения повела за собой многочисленные переселения в Америку, значительно ослабившие Испанию, чему также способствовали многие войны, предпринятые без достаточных причин, неискусно веденные и несчастливо окончившиеся.

Нигде закон христианской любви и милосердия не получил такого странного и сурового извращения, как в Испании, и нигде не служил он предлогом к таким зверским жестокостям и преследованиям. По своей фанатической основе и тиранским формам инквизиция имела самое вредоносное влияние на ум и на жизнь целого народа. Она и ее ослепленные ревнители способствовали к совершенно безумному, несправедливому и жестокому изгнанию мавров из Испании. Через это в сильнейшей степени уменьшилось и народонаселение, и образование, и деятельность, а бедность увеличилась до такой степени, что даже и до сих пор видны страшные следы ее.

Все это совпало вместе с другим, беспримерным в истории несчастьем. Ни один из последующих королей Испании, начиная с мрачного Филиппа II, не был сколько-нибудь мудрым, благодетельным властелином. Напротив, их духовная посредственность и ничтожность, можно сказать, увеличивалась с каждым поколением; и кроме того,

не было ни одного великого министра, который бы (как, например, Ришелье во Франции) мог заменить их неспособность. Несколько лучше, да и то в ничтожной степени, были короли ее из дома Бурбонов; при Карле III (от 1739 до 1788) даже были попытки некоторого возрождения. Но, несмотря на трехвековое, жалкое, сонное, постоянно угнетавшее управление, в народе сохранились еще и жизненная сила и мужество к настоящему обновлению.

Между тем, внутри самого государства держались взаимно враждебные провинциальные разделения: Бискайские провинции, по происхождению своему, языку, нравам и учреждениям, отделялись от прочей Испании; Астурия и Галиция напоминали собою средневековое состояние; араговец гордился своими прежними политическими правами и ни в чем не хотел равняться с кастильянцем; Каталония пробовала несколько раз приобрести самостоятельность; в Валенсии, Гренаде, Кордове и вообще в Андалузии живы были следы восточного влияния. Всюду господствовала любовь не только к старинным, давностью освященным учреждениям, но вместе с нею и к сохранению всех укоренившихся вредных обычаев; на всякое нововведение народ смотрел с недоверчивостию и враждебностию. И, однако ж, в продолжение этих темных времен своей истории испанцы сохранили свое врожденное верное чувство всего великого и благородного. Как ни трудно иностранцам сохранять беспристрастие при обсуждении такого совершенно особенного народного характера, по тем не менее почти все они согласны в том, что испанец полон преданности и верности в своем расположении,— горяч и страстен в ненависти,— терпелив, честен, надежен, умерен, одарен самым живым воображением и самым щекотливым чувством чести.

Все эти различные явления исторической жизни испанского народа отражаются в «Письмах» г. Боткина и придают особенную ясность его взгляду на характер и нравы народа, особенный интерес его очеркам.

До г. Боткина у нас так мало было писано об Испании, что большая часть русских читателей воображали эту страну каким-то громадным цветником, расширяя на весь полуостров тот благоухающий сад, который цвел под балконом Лауры:

Приди, открой балкон. Как небо тихо!
Недвижим теплый воздух; ночь лимоном
И лавром пахнет...

(«Каменный гость».)

На самом деле Испания вовсе не такова. Ее природа скорее напоминает Африку, нежели Европу: степь, выжженная солнцем, угрюмая, грозная степь, среди которой рассеяны дивно роскошные оазисы, поражающие не столько своею грациозностью, сколько величественностью. Только очень немногие местности, как Гренада, вполне грациозны, — общий характер страны — величие, часто отзывающееся печально-страстным характером. Г. Боткин мастер изображать природу, потому что умеет сочувствовать ей, любить ее.

«Красота Испании давно вошла в поговорку (говорит он); с давних пор поэты воспевают ее апельсиновые и лимонные рощи... увы! Это одно из заблуждений, существующих насчет Испании. Впрочем, может статься, за несколько сот лет оно было и иначе, теперь же ничего нельзя себе представить унылее этой природы. Но унылость эта необыкновенно величавая. Представьте себе, что нигде не встречаешь дерева, по окраинам полей одни только кусты розмарина; изредка маленькие деревни, без зелени, выкрашенные темно-глинистою краскою, — и деревни эти так редки, что, встречая одну, давно забыл уже о предшествовавшей. Глаза свободно пробегает пространство в 8, 10 верст, не встречая на нем ни одного жилища, ни одной малейшей рощицы олив, ничего, кроме душистых кустов розмарина; все это объята самою прозрачною, чистейшею атмосферой. Вероятно, на этой почве могли бы расти и дуб, и липа, и каштан; в Испании богатство лежит у ног человека, — стоит только наклониться за ним; но испанцы еще не любят наклоняться».

Таково было впечатление, произведенное на него равнинами Кастилии. Проехав с севера на юг почти всю Испанию, из Севильи — этого города, который мы привыкли было воображать потонувшим среди бесконечных лимонных и апельсиновых рощ, он пишет:

«Находясь в самом сердце Андалузии, могу, наконец, положительно сказать: красота испанской природы, о которой столько наговорили нам поэты, есть не более, как предрассудок. Я разумею здесь красоту природы в том смысле, как представляют ее себе видевшие Италию. Правда, на юге Испании растительность так величава и могущественна, что перед ней растительность самой Сицилии кажется северною, но это только редкими местами; африканское солнце, так сказать, насквозь прожигает эту землю; в Алмерии, например, уже три года как не было дождя, и жители южных берегов Испании беспрестанно переселяются во французские владения Африки. Здесь часто случается, что на три мили в окружности невозможно найти воды. Не думайте, однако ж, чтоб эта пламенная природа не имела своей особенной, только ей одной свойственной красоты. Она здесь не разлита всюду, как в Италии; в ней нет мягких, ласкающих итальянских форм: здесь она или уныла и дика, или поражает свою тропическою, величавою роскошью. По дороге из Кордовы в Севилью, например, возле иного *cortijo* * нет ничего, кроме одинокого

* Так называются здесь маленькие фермы (дворики).

апельсинового дерева; но надобно видеть, что это за могучий ствол и как широко раскинулось оно своими густыми ветвями: апельсиновые деревья Сицилии покажутся перед ним не более, как отростками. Здесь каждую минуту чувствуешь, что имеешь под ногами огненную землю, не любящую золотой середины, на которой или корчится от зноя всякое растение, или там, где влаге удастся охладить жгучие лучи солнца, растительность вырывается на воздух с такою полнотою красоты и силы, с такою роскошью, что здесь, особенно в горах, эти чудные оазисы среди каменных пустынь производят совершенно особенное, электрическое впечатление, о котором не может дать понятия кроткая и ровная красота Италии. Здесь и пустыня (*despoblado*), и голые, рдеющие на солнце скалы, и растительность дышат какою-то сосредоточенной, пламенной энергией».

Одно только из наших обыкновенных мнений о характере испанской природы вполне подтверждается г. Боткиным, — мнение о дивной чистоте ее атмосферы, об ослепительности солнечного блеска, почти непрерывно озаряющего горы и долины Пиренейского полуострова. Там, где горизонт стеснен громадными, скалистыми горами, — а большая часть Испании прорезывается горными хребтами, — тропическое солнце придает новую чудную энергию пейзажу яркими тонами, в которые одеваются горы под его блеском.

«Для меня, жителя северных равнин, южные горы имеют какую-то необъяснимую прелесть; глаза, привыкнув с младенчества свободно уходить в смутную даль, ограниченную темною и мертвою линиею горизонта, с какою-то ненасытною негою блуждают по этим высотам, на которые каждый час дня кладет свои особенные тоны колорита. В равнинах — природа только на первом плане, так сказать, у ног; дальше — одно небо и пустое пространство, которое невольно склоняет к задумчивости и грусти: отсюда, вероятно, и склонность к мечтательности в жителях равнин. В горах надо проститься с этой туманной беспредельностью: глаза всюду встречают не однообразную, серую даль, а яркие переливы зелени, или утесы и скалы, которым солнце и воздух сообщают нежные радужные цвета. Я думаю даже, что живописец, живущий в равнинах, едва ли будет хорошим колористом: только в горах можно понять все очарование солнца и тени и радужную их игру. Утром горы лежат в синем, чуть прозрачном тумане, сквозь который едва отделяются их очертания; облака, застигнутые на отлогостях и в ущельях затишьем вечера, ранним утром розовые, потихоньку встают и уходят; постепенно, как солнце возвышается, туман становится прозрачнее и голубее; вот начинают обозначаться зеленые отлогости, красноватые скалы, темные ущелья. В этой воздушной, радужной игре цветов и лучей есть что-то музыкальное; не живопись — перед этими красками все наши краски кажутся грязью, — а симфония, сыгранная оркестром, может только дать понятие об этом чудном разнообразии и гармоническом сочетании цветных тонов. Как смелы, резки и вместе нежны эти переходы! Каждая неровность, каждый уступ кладут свои оттенки, которые беспрестанно меняются с движением солнца, пробегающие тени облаков еще более разнообразяют эту игру света. В полдень туман исчезает, оставив по себе лишь прозрачный голубой пар, в котором чувствуется что-то знойное и сонное.

Есть в полдne минута, когда солнце стоит на самой высоте горизонта и лучи его падают перпендикулярно: яркость их так сильна, что все разнообразие горных тонов исчезает, утопая в свете; горы теряют свою массивность и становятся воздушными, словно прозрачными: в эти минуты они принимают какой-то идеальный вид.

Чем ниже опускается солнце, тем становится золотистее светло-голубой эфир, облегающий горы: снова начинает выступать разнообразие цветных тонов. Но косвенные лучи солнца уже изменили прежнее расположение их: зелень, скалы и ущелья начинают выступать с новыми оттенками. Постепенно исчезает золотистый пар, раскрывая горы во всей их осязательной массивности. Радужная дымка, лежавшая на них с самого утра, совершенно исчезла: теперь картина гор начинает походить на заключительные, восходящие аккорды симфонии. В эти минуты чувствуешь, что то же очарование, которое для ушей лежит в звуках, для глаз заключается в цветах. Вот горы покрылись золотисто-палевым цветом; но скоро начинают пробегать по ним легкие, лиловые тоны, и все сильнее, и все гуще, и через минуту горы облиты лиловым сиянием; как нежатся, утомленные яркостью прежних цветов, глаза на этом мягком, ласкающем цвете, с каким-то задушевым стремлением хочешь подолее насмотреться на него! но все больше и больше рдеют лиловые горы, и мгновенно разливается по ним яркий огненный пурпур; с минуту стоят они словно объятые красным пламенем... нет сил смотреть на этот ослепительный блеск... он слабеет уже, — это заключительный аккорд горной симфонии. Последние кровавые лучи заката едва на мгновение обольют еще горы алым светом, как уже низовые отлогости их тонут в сером ночном тумане; солнце скрылось, и только легкое розовое мерцание догорает кой-где на высоких вершинах.

И каждый день с ненасытною ногою смотрю я на горы, и каждый день все мне кажется, что только сейчас увидел их. Сколько раз благоприволья я судьбу за то, что я родился и вырос в стране равнин и унылой природы, а не на юге: тогда бы мои глаза давно привыкли к горным красотам южной природы и не ощущали бы этого наслаждения, сердце не билось бы этим блаженством; я не чувствовал бы тогда во всем существе своем этой неги, которая проникает мой организм среди южной природы».

Как в Африке, в Испании — где нет обильной воды, там величественная пустыня, где есть вода — там чудная сила растительности; и где почва орошается ручьями — только там действительно вся местность превращается в исполинский цветник. Немного таких мест — зато они очаровательны, и самое очаровательное из них Гренада:

«В жизнь мою не забуду того впечатления, какое испытал я, когда на другой день после моего приезда сюда пошел я по Гренаде. Представьте себе, в продолжение пяти месяцев привыкнув видеть около себя природу суровую, почти всюду сожженную солнцем, небо постоянно яркое и знойное, не находя места, где бы прохладиться от жару — вдруг неожиданно найти город, утонувший в густой, свежей зелени садов, где на каждом шагу бегут ручьи и разносится прохлада... нет! это можно оценить только здесь, под этим африканским солнцем. По городу только и слышался шум воды и журчанье фонтанов в садах. Здесь первая комната в каждом доме — сад. Часто попадаются садики снаружи, обнесенные железными решетчатыми заборами и наполненные густыми купами

цветов, над которыми блестят струйки фонтанов; цветы и на террасах и на балконах *; а когда я подошел к холму Альгамбры, до самого верху покрытому густою рощею, и не умею передать этого ощущения. Три дня горной дороги верхом, под этим знойным солнцем, просто сожгли меня; голова моя и все тело горели. Передо мной было море самой свежей зелени; прохлада, отраднейшая прохлада охватила меня. Лучи солнца не проникали сквозь гущу листьев; ручьи журчали со всех сторон; по дорожкам фонтаны били листвою чистою, холодною водою. Чем выше я поднимался, тем прохладнее становилась тень. Никогда я не видал такого разнообразия, такой свежести зелени! Дикий виноград обвивался около дубов, олеандр сплетался с северным серебристым тополем, из плакучей ивы весело торчали ветви душистого лавра, гранаты возле вязов, алоэ возле лип и каштанов — всюду смешивалась растительность юга и севера. Вот климат Гренады и вот одно из ее очарований: это огонь и лед, зной и прохлада, и чем жар жгучее, тем сильнее тает снег на Сиерре, и тем стремительнее бегут ручьи и фонтаны. Это слияние воды и огня делает климат Гренады единственным в мире. Прибавьте к этому, что если ветер со стороны Сиерры Невады, то, несмотря на весь зной солнца, воздух наполнен прохладой. В этих густых аллеях редко кого встретишь — самая пустынная тишина; но все вокруг журчит и шелестит, словно роща живет и дышит. Местами стоят скалы, покрытые зеленым мхом; по иным тоненькими сверкающими ленточками бегут ключи. Это не походит ни на какой сад в Европе, — это задумчивость севера, слитая с влажною, сверкающею красотою юга. Я лег на прохладный мох первого попавшегося камня и долго лежал, вслушиваясь в журчанье ручьев, словно в какие-то неясные, но сладкие душе мелодии».

Нетрудно решить, от самых ли условий климата и местности зависит унылый и пустынный характер природы в нынешней Испании, или виноват в том народ, населяющий эту страну. Земля, еще не заселенная людьми, может иметь цветущий вид, — она может быть покрыта девственными лесами, роскошными лугами и пажитями. Но как скоро человек овладевает странюю, это первобытное состояние природы уничтожается его потребностями, — он сжигает и вырубает леса, и как скоро население становится многочисленным, самые поля лишаются той чистой растительности, которою очаровывали прежде, почва теряет влажность с истреблением лесов и обнажается или зарастает печальными и уродливыми травами, вроде полыни, репейника, бурьяна. Только неутомимое трудолюбие человека может сообщить природе новую, высшую красоту взамен дикой, первобытной красоты, неудержимо исчеза-

* Нигде я не видал такой страсти к цветам, как в Гренаде. Кроме того, что каждая женщина непременно носит в волосах свежие цветы, здесь даже принадлежит к хорошему тону по праздникам выходить из дому с хорошим букетом в руках и дарить из него по несколько цветов встречающимся знакомым дамам. По праздникам бочонки продавцов воды обвиты виноградными ветвями, а те, которые возят их на осле, даже и ослов упряжут виноградом.

ющей под его ногами. Человек должен ухаживать за лесами, стеречь их, чтобы сохранить от истребления часть их, нужную для его материальных потребностей и эстетического наслаждения, должен заменить садами другую часть; он должен одеть землю нивами и искусственными лугами взамен не выносящих его прикосновения первобытных трав. Где является человек, там природа должна воссоздаваться трудом человека. Народ вносит запустение и одичалость в свою страну, если не вносит в нее культуру. И если вы видите печальную, унылую страну, имеющую оседлое население, не вините в том природу страны, — нет, знайте, что народ, ее населяющий, не хочет или не может трудиться. Природа, конечно, гораздо беднее запасами красоты в Голландии, Гольштинии, нежели в какой бы то ни было другой европейской стране, — и, однако же, Голландия и Гольштиния радуют глаз своими цветущими полями и веселыми рощами. Есть страны, в которых не может жить оседлое население, — за их красоту не отвечает человек. Но где есть возможность провести воду, — где живут земледельцы, там унылость страны свидетельствует только, что народ не может или не хочет жить в своей стране так, как должен жить счастливый народ, — не может или не хочет трудиться.

Мы сказали: «не может или не хочет» — второе из этих слов совершенно излишнее. Не хочет трудиться только тот, кто не имеет возможности трудиться в благоприятных для труда условиях. Не знаем, можно ли считать леность естественным пороком даже у немногих отдельных лиц: обыкновенно, стоит только всмотреться ближе в историю ленивца, и мы убедимся, что не природа создала его ленивцем, а обстоятельства отняли у него охоту работать. Но если поверхностные наблюдатели могут еще думать, что иные отдельные люди от природы расположены к лености, то совершенно нелепо и ненатурально воображать, чтоб целый народ мог иметь по природе особенное влечение к этому пороку. Нет, человек по природе своей находит наслаждение в труде, имеет естественную потребность работы, томится тоскою, если не работает, если бездействие не есть только отдых после работы, отдых, вызывающий на новую работу с свежими силами. Когда вы видите целое население целого округа, обезображенное кретинизмом или колтуном, вы не говорите, что по своей натуре оно должно быть уродливо, — вы приписываете его физическую болезненность неблагоприятному влиянию местных физических условий его жизни. Точно так же, когда

вы видите целое племя, предавшееся тому или другому пороку, не говорите, что в натуре самого племени лежит этот порок: он развился наперекор натуре, вследствие неблагоприятных обстоятельств. Переселенные в чистую атмосферу, кретины становятся здоровы, во втором или третьем поколении становятся и красивы не менее других счастливых племен. Точно так же ленивый, пьяный, буйный ирландец, переселившись в Северную Америку, где труд его вознаграждается, становится деятельным и трезвым человеком с благородными манерами.

Есть избитая фраза: «южные народы ленивы; знойный климат расслабляет их энергию» — это избитая фраза, и больше ничего. Пороки и добродетели не принадлежат исключительно тому или другому земному поясу; — между бурятами или самоедами сластолюбие не менее сильно, нежели между жителями Отаити, и страсть к наркотическим средствам везде одинаково сильна, — мало разницы в том, опьяняется ли человек грибом-мухомором, или пенником, или опиумом, или настоем того корня, которым угощали Кука жители Сандвичевых островов. Подобно разврату, подобно страсти к затемнению рассудка наркотическими средствами, и леньность развивается не вследствие климатического влияния, а вследствие исторических отношений, и, подобно тем порокам, исчезает с переменою обстоятельств народной жизни. Во времена Цезаря и Тацита германцы, британцы, галлы были отчаяннейшими лентяями, ничуть не хуже нынешних киргизов или туркменцев⁴. Римляне, конечно, не ленились пахать в те времена, когда Регул сам обрабатывал свое маленькое поле. Все привычки народа зависят от обстоятельств его жизни.

Теперь испанцы ленивы. Но г. Боткин замечает, что трудно найти в мире такого хорошего работника, как испанец, когда испанец, наконец, принимается за работу. Почему же он так редко считает нужным приниматься за работу? — Ему нужно очень немного, говорит г. Боткин: потребности испанца очень ограничены и очень легко удовлетворяются в его теплом климате, при чрезвычайном плодородии земли. Это совершенно справедливо. Но есть и другая причина, которую также указывает г. Боткин: праздность считается в Испании гораздо почетнейшим препровождением жизни, нежели труд, так что бедный кавальеро скорее пойдет в лакеи, нежели займется каким-нибудь ремеслом, — будучи лакеем, он сохраняет свое почетное право — ровно ничего не делать. В Испании действительно можно часто встретить слугу, который гордит-

ся древностью и высоким благородством своей фамилии и гордится основательно, потому что имеет в руках генеалогические пергаменты. Само собою разумеется, каково служат эти лакеи, — вот случай, свидетельствующий о том, как успешно они отстаивают свою привилегию — ничего не делать:

«Недавно в Гренаде я был свидетелем презабавной сцены. У меня здесь есть знакомый француз, химик и дагеротипист. На днях прихожу я к нему; он держал в руке письмо и звал своего слугу, чтобы послать его отнестись письму по адресу. Слуга только что воротился из аптеки, куда ходил за каким-то химическим составом. Он вошел в комнату, жалуюсь на жар, важно посмотрел на француза и решительно объявил, что он теперь не может идти, потому что очень жарко.

— Но мне надо непременно послать это письмо! — кричал разгорячившийся француз. — Ваша милость разговаривает, как какой-нибудь идалго. Уж лучше бы вашей милости оставаться при своих дипломах.

— А ваша милость думает, что у меня нет дипломов? — возразил очень спокойно слуга: — есть, да еще такие, каких нет у вашей милости.

— Так зачем же ваша милость пошли в слуги?

— Зачем? затем, чтоб не работать, *para no trabajar*».

Не должно дивиться этому понятию «благороднее быть ничего не делающим лакеем, нежели трудящимся ремесленником или купцом» — совершенно подобные явления мы встречаем и в других странах, — например, в наших западных губерниях очень многие шляхтичи служат теперь лакеями, как прежде, во времена польской независимости, служили паразитами у магнатов, с радостью подвигаясь всяким проделкам со стороны своих патронов, лишь бы только есть даровой хлеб. И если мы вспомним историю, мы увидим, что эти странные понятия — естественное следствие исторических отношений народа. Семьсот лет испанцы вели непрерывную борьбу с маврами, — все энергические люди целой нации посвящали свои силы исключительно войне, снискивали себе и средства для жизни и почетное имя в обществе мечом, а не мирными промыслами, которые доставались в удел только людям, не имевшим смелости духа, и потому естественно должны были не пользоваться особенным уважением. Войны прекратились, но старое презрение к робкому труду осталось в умах.

Есть и третья причина этого явления, которая также не ускользнула от внимания г. Боткина. Эта причина, быть может, важнейшая из всех, — долговременное отсутствие хорошего управления в стране. Сами испанцы, по словам г. Боткина, говорят о своем управлении таким образом. Сан-Яго, национальный святой Испании, по кончине своей,

предстал пред богом, который, за святость его земной жизни, обещал угоднику исполнить все, чего ни попросит он. «Сан-Яго просит, чтобы бог даровал Испании плодотворное солнце, изобилие во всем.— Будет, был ответ.— Храбрость и мужество народу, продолжал Сан-Яго, славу его оружию.— Будет, был ответ.— Хорошее и мудрое правительство.— Это невозможно: если ко всему этому в Испании будет еще хорошее правительство, то все ангелы уйдут из рая в Испанию».

Трудолюбивые привычки могут развиваться или сохраниться в народе только при хорошем управлении, которое обеспечивает каждому неприкосновенность собственности, приобретаемой его трудом, и ограждает его труд от препятствий и обременений, каким он подвергается, как скоро является произвол с беспорядками и злоупотреблениями, необходимыми своими спутниками. Ирландец в своей родине старается работать как можно меньше, потому что все выработанное должен будет отдать за наем земли,— испанец также не видит,— или, по крайней мере, до недавнего времени не видел пользы для себя в трудолюбии, потому что не был обеспечен от грабительств.

Не будем много говорить о страшной неурядице, господствовавшей в Испании со времен Филиппа II,— эта плачевная история, продолжавшаяся около трехсот лет, вся передается одним словом: произвол, безграничный и вместе бессильный произвол тяготел над несчастною страной во все течение этого долгого периода. Мы много читались в газетах о беспорядках и злоупотреблениях, о грабежах и разорениях, которым подвергалась Испания с того времени, как появились имена хретиносов и карлистов⁵, с их бесконечными стычками, контрибуциями, расстреливаниями и т. д., и т. д.; — вся эта неурядица, как ни страшна и ни нелепа она, однако же далеко не так произвольна, бестолкова и гибельна, как порядок, или, вернее сказать, беспорядок дел, угнетавший Испанию до той эпохи. Как ни велики бедствия, которыми мучилась эта страна в последние десятилетия,— прежде было в ней нечто еще худшее, еще более тяжкое, которое исключительно виновно и во всех страданиях настоящего.

«Испания полна уныния; народ ее словно находится в том тяжком забытии, какое испытывает человек, долго находясь на морозе. Не в настоящем должно искать причин этим тяжким политическим страданиям; они в прошедшем, они далеко позади. На междоусобную войну в Испании смотрели, как на событие необыкновенное и неожиданное. Но разве эта война не есть результат зол предшествовавших? Это та же самая болезнь,

только вышедшая наружу. И прежде наваррского восстания в Испании была междоусобная война, предпринятая инквизициею против всякой живой, благотворной мысли, против всякого развития человеческих способностей. Настоящее положение Испании есть только преобразование этой внутренней, душевной борьбы в борьбу с оружием в руках, уготованную тремя веками невежественной, фанатической, безнравственной администрации.

Ни новое политическое устройство Испании, ни даже прежнее причиною несчастий ее. Правда, инквизиция, монахи были для нее страшным злом; но ведь феодальное устройство Испании было общее с Европою; отчего же оно только на Испании оставило такие губительные следы. Не оттого ли, что в Европе при дурном устройстве было всегда правительство, которое хотя иногда было так же дурно, но всегда более или менее вращалось в кругу идей современной себе цивилизации. В Испании ни в какое время, ни в какой форме не было правительства: был только один произвол со всеми своими заблуждениями и личными страстями; никогда администрация не имела других законов, кроме собственного каприза и своих личных интересов. Так было прежде, то же и теперь. Три века правительственного безумства не прошли даром: тяжело легли они на благородной стране. Мудрено ли, что народ ее теперь равнодушно смотрит на все эти конституции, говоря про себя свое любимое *que importa* (что за нужда). Он знает, что над этими конституциями есть иная высшая власть — анархия.

При таком положении дел не могла сохраниться в нации привычка трудиться. Кому охота работать, когда плоды трудов истребляются или похищаются?

«Но, могут сказать, если история Испании объясняет развитие привычки к бездействию, к лежанию на боку, то все-таки это объяснение нимало не оправдывает испанцев: разве не сами они довели себя до такого положения, в котором невозможно было им работать?» — И на это опять надобно сказать: все зависит от обстоятельств, — они дают направление жизни целого народа, как и жизни отдельного человека; они столь же часто губят нас посредством наших так называемых добрых качеств, как и посредством наших недостатков, — и, наоборот, столь же часто обращают нам в пользу наши недостатки, как и наши добрые качества. Не судите о нравственных или умственных качествах человека по его счастью или несчастью в жизни, —

Сколькох добрых жизнь поблекла,
Сколькох низких рок щадит!
Нет великого Патрокла, —
Жив презрительный Терсит...

И уцелел Терсит именно потому, что был подл и труслив, — умер Патрокл именно потому, что был благороден и силен душою. Несправедливо вдаваться в крайность и, для противоречия бездушному правилу судить о достоинстве человека или народа по его участи, говорить, что

все прекрасное обречено судьбою на погибель, — нет, прогресс и развитие не пустые слова. Но власть обстоятельств всесильна, и надобно ближе вникать в обстоятельства дела, чтобы судить о том, действительно ли слаб или силен, хорош или дурен страдающий или торжествующий.

Обстоятельства неблагоприятно расположились для Испании; они расположились так, что именно лучшие качества испанского народа обратились во вред ему. Укажем хотя один пример — инквизицию, которая из всех зол, губивших Испанию, была пагубнейшим. Конечно, мы не чувствуем ни малейшего влечения защищать инквизицию или хвалить испанский народ за то, что он имел у себя это учреждение. Но, однако, в чем же состоит сущность дела? В том, что испанцы, по своему глубокому и сильному характеру, серьезно, искренно приняли тот идеал, который был идеалом всех западных европейских народов в средние века. Другие народы, можно сказать, только шутили, забавлялись между дел этим идеалом, не имея ни столько пламенной твердости в характере, ни столько преданности убеждению, чтобы серьезно устремить свои силы на осуществление этого идеала. Испанцы принялись за это дело серьезно, — «и погубили себя», — скажете вы. Так, погубил себя, но осудите ли вы человека, который по ошибке отравил себя и своих друзей ядом, считая этот яд жизненным бальзамом, осудите ли вы его, если он пожертвовал своими сокровищами для приобретения этого мнимого жизненного бальзама?

Ослепление у испанцев было общее со всеми западными народами средних веков, — за это нельзя их винить. Они одни действовали совершенно искренно и серьезно, — в этом они были выше других. Они погубили себя, но погубили именно потому, что имели сильный и возвышенный характер.

Мы сказали об инквизиции, страшнейшем из ложных принципов, погубивших Испанию. Всмотритесь в историю средних веков, XVI и XVII столетий, — вы увидите, что точно так же и все остальные ложные принципы, содействовавшие гибели Испании, были общи испанцам с другими тогдашними народами Западной Европы. Заблуждение в убеждениях было одинаково повсюду, — но убеждение было у испанцев искреннее, серьезнее, нежели у какого-нибудь другого народа, — этим они погубили себя, — но за искренность и серьезность упрекать нельзя, и те же самые качества характера, которые обращаются во вред, когда

служат к достижению ложных целей, приносят благо, когда посвящаются на осуществление истинных целей.

Испания доведена была обстоятельствами до состояния самого жалкого; она очень долго не могла избавиться и теперь только начинает избавляться от бедствий, угнетавших ее, — и процесс внутреннего брожения, которым совершается возрождение этого народа, так тяжел и продолжителен, задерживается такими частыми и прискорбными рецидивами, что естественно рождается мысль: приведет ли все это брожение к чему-нибудь лучшему, или Испания не суждено оправиться от своего долговременного унижения и страдания? Г. Боткин не колеблется утверждать, что Испанию ожидает лучшая будущность, — и, несмотря на всю видимую беспорядочность в истории последних ее десятилетий, нельзя, действительно, сомневаться в том, что многое стало ныне в этой стране лучше, нежели было за тридцать лет, что успехи развития, еще слишком незначительные сравнительно с тем, что надлежит совершить, уже, однако, не могут назваться ничтожными, и что каково бы ни было настоящее состояние Испании, но эпоха возрождения уже началась для нее. В этом убеждает постепенное распространение просвещения, заметное усиление умственной деятельности в нации, столь долго дремавшей, — всего более убеждают в возможности возрождения качества, сохраненные испанским народом. Он даровит, благороден и тверд духом, — и если он выдержал трехвековое бедствие, не утратив душевных сил, то, конечно, способен возродиться, когда влияние неблагоприятных обстоятельств на его судьбу ослабеет.

Испания была очень надолго задержана в своем развитии, — во многих отношениях даже подалась назад под гнетом обстоятельств, сравнительно с прежней степенью своего развития. Но эти тяжелые обстоятельства не могли, однако, подавить врожденных дарований испанского народа:

«Во многих отношениях Испания столько же принадлежит к средним векам, сколько к нашему времени; многое в ней странно, но не бессмысленно. Она много назади, но далеко не поражена тою нравственною окаменелостью, которая заставляет отчаиваться за будущность народа. Скорее должно удивляться, соображая исключительные, роковые обстоятельства, которые так долго сдерживали политическую жизнь Испании, как она не еще более назади, как еще успела она сохранить в себе эти энергические семена жизни.

Всего более заставляет верить в будущность Испании редкий ум ее народа. Когда имеешь дело с людьми из простого народа, совершенно лишенными всякого образования, невольно изумляешься их здравому

смыслу, ясному уму, легкости и свободе, с какими они объясняются. В этом отношении они, например, далеко выше французских крестьян. В них нет их грубости, их умственной тяжеловатости. Умственная сфера испанца не велика, но то, что он понимает, он понимает верно; и если воспитание и здравые идеи разовьют их умственные способности, испанцы внесут тогда и в высшие сферы жизни это прямодушие, эту отчетливость, которые, кажется, врождены им, и которые теперь прилагаются у них только к самым мелким интересам. Среди этих бесчисленных смут, раздирающих Испанию, чувствуешь какую-то необходимость беспрепятственно оглядываться назад, хотя бы для того, чтобы сколько-нибудь облегчить настоящее от ошибок и несчастий, завещанных ему прошедшим, для того, чтоб сохранить веру в народ, который, несмотря на три несчастных века, умел сберечь в себе свои природные качества, столь прекрасные и драгоценные».

Не только живость, здравость ума сохранилась в испанце: вековое унижение и угнетение не могло подавить в нем и удивительного его благородства, доходящего до самой утонченной деликатности. Единственный верный признак невозвратного падения народа — то, когда народ мелок и низок душою, продажен и подл; единственный прочный залог народной будущности — сохранение в народе благородных чувств. В этом отношении испанцы могут гордиться своими правами:

«Испанец прежде всего *caballero*⁷. Вскоре по приезде моем в Мадрид я отыскивал одну улицу, где мне надобно было сделать визит. Улица была далеко, и я расспрашивал о ней у прохожих. Между прочим, отнесся я к одному бедно одетому человеку. «Если хотите, я провожу вас туда», — ответил он. Мы пошли. Дорогой вздумал я сделать еще несколько визитов и, намереваясь заплатить этому человеку за труд его, просил дожидаться меня на улице. Визиты мои продолжались часа три: вожатый мой говорит мне, наконец, что он не может более оставаться со мною. Я подаю ему дуру (5 руб. асс [игнациями]), благодаря его за одоление. «No, señor, по *tuchisimas gracias*». (Нет, сударь, нет, покорнейше благодарю.) — «Но почему же вы не хотите получить за ваши труды, я отнял у вас время...» — «No, señor, *gracias, soy pobre, pero soy caballero*». (Нет, сударь, благодарю — я беден, но я кавалер), — и, раскланявшись, кастильянец ушел от меня, оставив меня в замешательстве и с деньгами в руке. Никогда не случалось мне, давая за труды прислуге, встретить недовольную мишу. Если слуга испанский очень доволен, это выражается только тем, что он прибавит к своему обычному «*gracias*» (благодарю), «*gracias, caballero*» (благодарю, кавалер). Вообще чувство личного достоинства в этом народе поразительно; недаром существует у него поговорка: король может делать дворянами, один бог делает кавалерами».

Разделение народа на враждебные касты бывает одним из сильнейших препятствий улучшению его будущности, — в Испании нет этого пагубного разделения, нет непримиримой вражды между сословиями, из которых каждое было бы готово пожертвовать самыми драгоценными историческими приобретениями, лишь бы только

нанести вред другому сословию, — в Испании вся нация чувствует себя одним целым. Эта особенность так необычайна среди народов Западной Европы, что заслуживает величайшего внимания, и уже одна, сама по себе, может считаться ручательством за счастливую будущность страны.

«При наружности, почти совершенно сходной со всеми неограниченными монархиями, Испания на самом деле имела историческое развитие, совершенно различное от остальной Европы; кроме того, элементы, из которых сложилось испанское общество, и по началу своему и по направлениям, совершенно различны от тех, которые лежат в основе прочих европейских государств. Посмотрите, например, на положение и значение дворянства испанского. Во Франции — стране равенства, народ враждебно смотрит на дворянство и аристократию; в Испании, где чувство равенства гораздо сильнее, аристократия не только не возбуждает против себя ни ненависти, ни зависти, но пользуется в народе уважением. Мне кажется это обстоятельство довольно любопытным, и я, имея теперь под рукою некоторые материалы, хочу воспользоваться ими, чтоб сказать несколько слов о дворянстве в Испании и об отношении его к народу. Мне кажется, что, уяснив себе эти отношения, мы будем лучше понимать современные события в Испании и еще более извиним народ ее за его равнодушие к ним.

После падения Римской империи (простите, что я начинаю так издаലെка) вся Европа была завоевана и занята варварами, племя победившее и племя побежденное поселились на одной и той же земле, одни как властители, другие как вассалы. Ведь история Франции и Англии есть ничто другое, как постепенное освобождение племени завоеванного. Казалось бы, что французская революция, провозгласив политическое, гражданское и религиозное равенство, должна была заглушить самое воспоминание о прежней взаимной борьбе и ненависти; но такова глубина этой ненависти, что она пережила даже и самую причину ссоры.

В Испании не найдете вы ничего подобного; здесь дворянин не горд и не спесив, престолюпец к нему не завистлив; между ними одно только различие — богатство, и нет никакого другого. Здесь между сословиями царствует совершенное равенство тона и самая деликатная короткость обращения, и не только граждане, но мужик, чернорабочий, водонос обращаются с дворянином совершенно на равной ноге. Если им открыт вход в дом испанского гранда, они пойдут туда, придут, сядут и говорят с своим благородным хозяином в тоне совершеннейшего равенства. Причина таких удивительных для нас отношений должна заключаться в самой истории Испании, и именно в том, что в Испании никогда не было плебейства, простоародья, что испанский мужик не принадлежит к племени завоеванному, а дворяне к племени завоевательному. Новая Испания началась с изгнания мавров; только с этого времени здесь ведут свое начало права на владение землею. Но самое это изгнание показывает, что в Испании остались одни только победители. Известно, как после завоевания маврами всей Испании горсть смелых и непреклонных людей, укрепившихся в горах Астурии, сделала впоследствии спасителем и знаменосцем национальной независимости. По мере того, как силы их увеличивались, завоевали они постепенно провинции Леон, Кастилия, Арагон, оттесняя мавров далее и далее, и наконец взятие Гренады уничтожило политическое значение мавров в Испании. Быть низкого происхождения, по понятиям испанца, значило иметь в своих жилах кровь арабскую, кровь племени вдвойне презираемого, как неверное и как по-

бежденное. По той же самой причине дворянство испанца состоит прежде всего в том, чтоб быть старинным христианином; и это одно достоинство старинного христианина, — если его считает за своего родом самый последний носильщик, он гордится им. и в глазах его оно равняет его с самыми важными лицами в государстве. Между здешними *aquadores* (водоносцами), которые все почти из Астурии, много дворян; они знают это и величаются своим происхождением. *Jo soy mejor que mi amo* (я больше дворянин, я благороднее моего хозяина), говорит *aquador*, приняв гордый вид и держа свое ведро воды на плече. И действительно, самые старые и благородные фамилии стараются отыскивать начало своих родов преимущественно в Астурии. А так как в прочих провинциях все равно участвовали в изгнании арабов, то всякий гордится на свой манер, и все обращаются между собой на равной ноге, потому что, повторяю, самое великое и гдавное событие испанской истории есть борьба против исламизма; от нее ведут начало свое и собственность и дворянство.

Причина того всеобщего уважения, которым всегда пользовалось в народе дворянство, заключалась в том, что предки его были первоначальными освободителями Испании от ига арабов. Тогда как народ занимался земледелием, дворянство билось с неверными и расширяло границы испанского христианства. Отсюда происходит почтение, оказываемое ему народом, но опять в этом почтении не было ничего подданнического, именно потому что между дворянином и самым последним мужиком здесь не лежала бездна завоевания, как в остальной Европе, а только одна различная степень деятельности и храбрости. Теперь несколько слов о владениях дворянства.

Короли Кастильи и Арагона обыкновенно награждали за услуги, оказанные им в войнах против арабов, частью завоеванных земель. Иногда эти маленькие владетели, имея деньги, прикупали себе новые участки; случалось также, что иной *caballero* строил себе крепость вблизи арабской границы и держался в ней с своим гарнизоном; крестьяне приходили селиться под защитою крепости, и когда испанская граница распространялась дальше, владетель крепости естественно становился и владетелем земли, которую он долго покровительствовал и защищал от нападений арабов. Таким образом владения дворянства в источнике своем, как видите, ничего не имели ненавистного для народа. Майоратство⁶, учреждение чисто феодальное, беспрестанно сосредоточивало и без того значительные владения в одних лицах, которые чрез это становились по могуществу своему почти независимыми от короля, — так что теперь, при всем своем жалком состоянии, при всей разоренности своей, дворянство испанское, после уничтожения монастырей и конфискации их имений, составляет в Испании класс самых больших владетелей и имеет в своих руках самые лучшие земли.

Но по этой же самой причине, по феодальной значительности своей, дворянство испанское никогда не было в милости у королей. Во многих случаях, когда тяжкие войны истощали денежные средства королей, они принимались поверять драгоценные грамоты своих предшественников, по которым дворянство владело землями, и если эти грамоты оказывались неточными (а в этом случае придирались ко всему), их объявляли недействительными, и отобранные имения поступали снова в королевскую казну. Но совершенный упадок испанского дворянства начался со вступления на испанский престол Бурбонов. Когда, по интригам Людовика XIV, слабоумный Карл II, распорядившись Испаниею, как своею частною собственностью, завещал ее внуку Людовика XIV, дворянство испанское было против этого завещания и держало сторону австрийского дома. Этого Бурбоны, разумеется, не забывали, и с тех пор прекратилось политическое значение дворянства в Испании. Бурбоны, кроме упомина-

нутых поверок прежних дарственных грамот, постоянно держали дворянство вдали от правительства. С тех пор не встречается уже в истории Испании ни одного из старых дворянских имен, знаменитых при прежней испанской монархии; вместо их являются на сцену иностранцы, дворянство второстепенное или вовсе новое.

Удаленная от правительства, аристократия испанская, наконец, постепенно утратила и свои предания и способности. Дети ее, владея, подобно английской аристократии, огромными состояниями, но не имея перед собою никакого поприща для политической деятельности, совершенно пренебрегали всяким основательным образованием и наконец даже в Испании отличались своим невежеством; забавы, беспутство и расточительность были их единственными занятиями. Следствием этого сделалось то, что дворянство испанское стало еще беднее. Большая часть знатных фамилий обременена долгами: и как большие землевладельцы, они чрезвычайно пострадали в войну за независимость, с 1808 по 1814 год, а уничтожение майоратства теперь нанесло последний удар и их значению больших земельных владетелей.

Я говорил выше о равенстве тона и обращения, которое установила здесь между дворянством и народом одинаковость племени; но если от отношений чисто нравственных перейдем к интересам положительным, материальным, к отношениям землевладельца и наемщика земли, то еще становится понятнее, как это национальное единство, выработанное в Испании своеобразным историческим развитием, имело влияние не на одну только всеобщую вежливость обращения, но и на собственность, — этот общий источник всех политических ссор, — так что и собственность здесь носит на себе глубокие следы этого уроденного равенства.

Дворянство истари чрезвычайно кротко обращалось с наемщиками своих земель; есть крестьянские семейства, которые в продолжение 200 и 300 лет имеют в найме ту же землю, так что давность этих отношений придала им особенный семейный характер. Кроме того, большие земельные собственности владельца, продолжительность и прочность, которую майоратство вводило во взаимные интересы, часто позволяли собственнику отсрочивать плату за наем, что почти невозможно в тех странах, где дробность и беспрепятственное движение собственности заставляет всякого скорее самому искать кредита, нежели давать его. Самые законы особенно покровительствовали наемщику. Хотя здесь в каждой провинции свои обычаи и законы, и можно их изучать только на местах, но есть из них некоторые, общие всем средним и южным провинциям и которые особенно замечательны. Например, если наемщик дурно платит, то владелец не может принуждать его к исправнейшему платежу; если он вовсе не платит, владелец может отказать ему, но должен предупредить его об этом за год вперед, в иных провинциях за два года. Если другой наемщик предлагает владельцу дороже, прежний, давши такую же цену, имеет право остаться, даже против воли владельца. В Андалузии и Эстремадуре наемщик может, несмотря на заключенное условие, требовать после жатвы переценки земли; а так как оценщики всегда берутся из класса земледельцев, то наемщик никогда не останется в накладе от переценки. Вы видите, что если здесь кто и терпит, то уже вовсе не крестьянин. Кроме этого здесь еще существует следующего рода наем: землевладелец уступает свою землю на условии ежегодной и раз навсегда определенной платы; и с сей минуты наемщик, платя исправно условную сумму, пользуется землею, как своею полною и неограниченною собственностью; он может на ней строить, садить, — удесятерять ценность земли; владелец никогда не смеет требовать с него ничего больше условной платы. Упадок ценности в деньгах несколько не изменяет силу раз навсегда сделанного условия, так что есть много семейств, владеющих

значительным количеством земли за самую, по теперешним ценам, ничтожную плату.

После всего этого можно ли опасаться здесь таких народных движений, какие несколько раз потрясали Германию, Англию, Францию? Можно ли бояться извержений народного волкана в стране, где у самого беднейшего мужика есть всегда вдоволь хлеба, вина и солнца и где даже у нищего есть на зиму и шерстяные штаны и шерстяной плащ! Вот почему здесь народ так равнодушно смотрит на политические события. Как нация он без всякого сомнения бесконечно выиграет от возрождения Испании, но собственно как народ, в своих отношениях к дворянству, к среднему сословию — ясно, что не он именно должен особенно нуждаться в освобождении. Если здесь что действительно страдает, так это интересы среднего сословия — просвещение, торговля, промышленность...

Наслышавшись о серенадах, шелковых лестницах и, особенно наслушавшись «Дон Жуана», мы часто воображаем себе Испанию страной распущенных правов, цинизма, разврата, — на самом деле это вовсе не так. Свобода правов действительно велика в Испании, страсти действительно пылки, но там не знают холодного, продажного разврата, который один точит нравственные силы народа. Теперь мы настолько знаем Восток, что не верим в нравственность, охраняемую гаремами и евнухами. Сравнивая различные цивилизованные нации, мы видим, что именно те страны, где наиболее допускается свобода правов, отличаются наибольшею чистотою нравственности, — в пример довольно указать на Северо-Американские Штаты. После этого мы легко поверим, что Испания есть одна из тех стран, где отношения между мужчинами и женщинами наиболее чисты. Любовь и поэзия неразлучны в Испании, а где поэзия, там не может быть разврата; и Севилья, знаменитая своими серенадами, в нравственном отношении стоит, без всякого сомнения, выше, нежели большие города чопорных и лицемерных северных стран. Описание севильских правов — одно из лучших мест в книге г. Боткина:

«По вечерам с 8 и 9 часов начинается гулянье на *alameda del Duque*. На юге нет наших долгих сумерек: ночь наступает тотчас по заходе солнца. *Alameda del Duque* — небольшая площадь, обсаженная высокими, густыми акациями и освещенная множеством фонарей; по обеим сторонам сделаны скамьи, среди огромный фонтан широким, рассыпающимся букетом бросающий воду и постоянно освежающий удушливый воздух. Около площади расположены кофейные, лавочки с холодной водою, лимонадом. *Alameda del Duque* — царство черных севильянок. Не ужасно ли, что эта поэтическая красота не показывается при дневном свете, а бывает видима только по ночам. К счастью для меня, теперь стоят яркие, лунные ночи. Что за живые разговоры, что за откровенный смех раздаются на этом гулянье! О свободе, царствующей здесь, в Европе не имеют понятия: здесь словно каждый у себя дома. Эта

непринужденность, этот громкий смех, эта живость разговоров, как все это не походит на европейские гулянья, а тем менее на наши, на которые мужчины и женщины выходят с такими патынутыми, заученными лицами и манерами. Но что особенно замечательно — эта непринужденность, эта свобода проникнута здесь самою изящною вежливостью; это не заученная, не условная вежливость, принадлежащая в Европе одному только хорошему воспитанию, а, так сказать, врожденная; вежливость и деликатность чувства, а не одних внешних форм, как у нас, и которая здесь равно принадлежит и гранду и простолюдину. Испанец вежлив не из приличия, не с одними только порядочно одетыми людьми, — в этом отношении здесь одежда не значит ничего, — он равно вежлив со всеми, и денди здесь не стыдится поклониться одетому в плащ с заплатами, или сказать, что он *знаком* вон с тем лавочником. У женщин, в живости разговора, иногда мантилья спадет с головы; эти муриловские головки с пардом или жасмином в великолепных волосах, освещенные луною, производят впечатление обаятельное; ночной запах цветов, особенно нарда, страшно раздражает нервы: надобно быть здесь, среди этой жаркой ночи, освежаемой фонтаном, ходить между этими толпами золотистобледных женщин, одинаково одетых в черное, одинаково покрытых черными кружевными мантильями, видеть эту яркую живость физиономий, этот африканский блеск глаз, сверкающих из-за веера, наконец, дышать воздухом, напоенным пардом и жасмином из этих волос, — словом, надобно испытать одну такую ночь, чтоб понять это очарование Севильи.

На *alameda* не слышно слов *señor* и *señora*, а только *doña Dolores*, *don Fernando*, *doña Angeles*, *don Luis*; здесь еще более, чем в средней Испании, следуют обычно звать друг друга по именам. Подумаешь, что находишься на каком-нибудь семейном празднике. А как вам покажется следующий обычай: на *alameda* можно заговорить с своим соседом или с *соседкой* на скамье... не смейтесь над моими словами, но судите о Севилье по обычаям европейским и не спешите из этого заключать о *легкости* севильянок. Здесь это не удивляет, не оскорбляет женщины: здесь это в правах. От этого нет города в Европе, в котором было бы больше случаев к знакомству и сближению. Но, по странному противоречию, для девушек здесь больше свободы, нежели для женщин. В Севилье вообще женщин втрое более, нежели мужчин; следствием этого то, что здешние девушки томятся не одной только любовью, но и желанием выйти замуж, и в андалузских правах каждой девушке иметь своего *novio* — жениха. Если вы понравились девушке, она тотчас даст вам это заметить; заговорите с ней, когда она вечером прогуливается, и, хоть бы с матерью, она ответит вам и скоро позволит притти ночью к ее окну. Прогулка по Севилье ночью особенно интересна. Беспреданно видишь у окон мужчин в плащах и андалузских шляпах: на ночные беседы у окон и балконов непременно ходит в простонародном костюме. Мужчина, при вашем приближении, заворачивается в плащ так, что закрывает им свое лицо; разговор прервался — и, проходя мимо окна, вы увидите в стороне его два сверкающих глаза... глаза андалузки и в темноте сверкают! Но остерегайтесь по несколько раз проходить перед окном, у которого идет таинственная беседа: вас могут принять за подсматривающего соперника, а здесь никто не ходит на ночное свидание, не запасаясь стилетом или, по крайней мере, ножом. Даже ночные патрули уважают кавалеров ночи, позволяя себе только невинные остроты на их счет. Мать знает, что дочь ее разговаривает по ночам у окна с молодым человеком; дочь говорит, что это ее *novio* — жених. Большая часть браков составляется посредством этих ночных разговоров; случается, что иные разговаривают так по целому году и после женятся, выдавая только или у окна, или в церкви. Если *novio* отстал, на девушку это не бросает ни малейшей тени, да и на

его место тотчас же является другой. Сколько иностранцев, приехав сюда на неделю, заживают здесь по году и более, между тем как в Севилье, кроме «бега быков» и плохого театра, нет никаких развлечений. Но эти нравы имеют столько романтической прелести, в этих чудных женщинах столько потребности любить (здесь это их единственное занятие!), и я понимаю, как в двадцать лет, при горячей крови, пылком, увлекающемся сердце, и если, при этом, стремление к наслаждениям преобладает над всеми другими стремлениями, — я понимаю, как можно в Севилье прожить целые годы в самом блаженном сне, который, право, стоит многих других, *деловых* снов. Но я должен, однако ж, сказать, что здешние молодые люди жалуются на севильских девушек, будто они имеют постоянную целью выйти замуж и в своих сближениях с молодыми людьми, в своих ночных свиданиях у окон, следуют советам матерей, с которым будто бы заключен у них оборонительный и наступательный союз. Впрочем, мне случилось удостовериться и в противном. Я знаком здесь с одним молодым американцем из Нового Орлеана: он приехал взглянуть на Севилью. — и живет здесь уже восьмой месяц. Он любит и любим. Мать запретила даже его любезной сидеть по ночам у окна, оконная рама заделана железом, но дочь все-таки нашла средство видаться с ним... Правда, что здесь нет ничего легче, как познакомиться с девушкой и получить от нее свидание у окна, но между этого рода сближением и ее любовью — далеко. Первое есть, может быть, не более, как страшное средство раздражить чувственность и привязанность, чтоб заставить жениться: другое... да другое не требует объяснений...

Андалузка в высшей степени кокетлива; она тотчас чувствует на себе глаз мужчины и никогда не переносит его равнодушно. Надобно привыкнуть к тону севильских женщин: в их манере есть что-то резкое; но это резкое не от грубости, а от необыкновенной живости, стремительности чувств; может быть, отсюда происходит и фамильярность здешних женских обществ, фамильярность, исполненная самого тонкого, так сказать, внутреннего приличия, этой изящной вежливости, так не похожей на приторную церемонность северных обществ (не исключая и парижского), которую, бог знает почему, считают за хороший тон. При всеобщей одинакости черного платья и мантиль севильянкам невозможно щеголять модными костюмами: их главное щегольство в маленьких ножках, и надобно сказать, что их руки и ноги — формы совершеннейшей. Если о *породе* женщин можно судить по рукам, ногам и носу, то, без всякого сомнения, порода андалузок самая совершеннейшая в Европе. Я думаю, щегольство маленькой ножкой заставляет севильянок даже выносить страдания: они носят такие башмаки, в которых нет возможности поместиться никакой ноге в мире: кроме того, их башмаки едва охватывают пальцы ноги. Глаза севильянок состоят из мрака и блеска, *mucho negro* у *mucho luz*, — много тьмы и много света, — как выражается одна севильская песня, и действительно, за черным блеском их не видать белка, и столько в них дерзкой выразительности, что, поверьте, нужно обжиться здесь для того, чтоб не чувствовать от них особенного волнения. У испанцев есть особенный глагол — *ojea*, бросать взгляд, и каждая севильянка владеет этим в совершенстве. Она сначала потупляет глаза и, поровнявшись с вами, вдруг скидывает их: внезапный блеск и пристальность взгляда действуют, как электричество. А это еще взгляд равнодушный!

Здесь женщины ничего не читают; и это отсутствие всякой начитанности придает андалузкам особенную оригинальность: их не конулись книжность, вычитанные чувства, идеальные фантазии, претензии на образованность. Ведь остроумное невежество лучше книжного ума. Невежество севильянки при ее живом воображении, при огненной движи-

мости ее чувств, при этой врожденной, свойственной одним южным племенам тонкости ума, исполнено предести увлекательной, перед которою так называемая образованность европейских дам кажется приторною книжностью. Нигде не встречал я такого странного слияния детской наивности с дерзостью и удалю: это и ребенок и вакханка вместе. В наружности севильянки нет и тени того спокойствия, которое более или менее отличает женщин всех наций в Европе: это в высшей степени нервическая натура, но только не в болезненном, северном смысле этого слова. Я думаю, никакая женщина в Европе не может возбудить к себе такого энтузиазма, как андалузка. В глазах их нет выражения кротости, как в глазах северных женщин: в их глазах блестит смелый дух, решительность, сила характера. Того, что мы называем женственностью, сердечностью, — не ищите у них. В кокетстве андалузки проступает что-то тигровое, в их улыбке есть что-то дикое: чувствуешь, что самое прекрасное лицо тотчас может принять выражение свирепое... и что ж удивительного! эти обаятельные головки, эти женщины с невообразимою некою движений, эти глаза, о выразительности которых невозможно иметь понятия, не быв в Андалузии, — они пылче утром наслаждались убийством, равнодушно смотрели на лошадей, которых внутренности влячилились по земле, они знают до тонкости все подробности смертных судорог, они смотрели на смерть с увлечением, со страстью... а вечером вы слышите здесь, как слышал я вчера, поздно возвращаясь к себе домой, меланхолические аккорды гитары, и те же уста задумчиво поют:

Mas vale trocar
Placer por dolores
Que estar sin amores... ¹⁰

«Лучше променять радость на горе, чем жить без любви.

В счастье и умереть сладко; жить в забвении — все равно что не жить: лучше переносить страданье и печаль, чем жить без любви.

Жизнь без любви — пропадающая жизнь, а уметь употребить жизнь важнее самой жизни; лучше томиться, перенося горести, чем жить без любви».

Испанский народ сохранил в себе плодотворные залоги быстрых успехов на пути развития: живость ума, благородство характера, свежесть и энергию чувства. Между народами Западной Европы трудно указать такой, который стоял бы выше его по всем этим качествам. Напротив, над большею частью цивилизованных наций испанский народ имеет бесспорное преимущество в одном чрезвычайно важном отношении: испанские сословия не разделены между собою ни закоренелюю ненавистью, ни существенною противоположностью интересов; они не составляют каст, враждебных одна другой, как то видим во многих других западных европейских землях; напротив, в Испании все сословия могут дружно стремиться к одной цели. Одно только существенное препятствие мешает теперь блистательному возрождению Испании, — но это препятствие так губительно, что до сих пор совершенно останавливало всякий прогресс, — выше мы называли это препятствие леностью, привычкою к бездействию и говорили об

исторических причинах, породивших эту пагубную привычку к бездействию. Теперь надобно нам ближе определить ее характер и указать обстоятельства, которыми до сих пор поддерживается она.

Бездействие может происходить от бессилия или от беззаботности. Не знаем, есть ли на самом деле племена бессильные, как часто говорят. Но ни в каком случае нельзя назвать бессильным испанского племени. Его бездействие — следствие беззаботности. Вот как, например, смотрит испанец на государственные дела своего отечества:

«Политическая Испания есть какое-то царство призраков. Здесь никак не должно принимать вещи по их именам, но всегда искать сущности под кажимостью, лицо под маскою. Сколько уже лет говорят в Европе об испанской конституции, о партиях, о журналистике, разных политических доктринах, о воле народа и т. п.; все это слова, которые в Европе имеют известный, определенный смысл, — приложенные же к Испании имеют свое особое значение. Прежде всего надо убедиться в том, что массы, народ здесь совершенно равнодушны к политическим вопросам, которых они, к тому же, несколько не понимают. Кастильцу-простоту нужно работать, может быть, только две недели в году, чтоб вснахать свое поле и собрать хлеб, да еще большею частью приходят жать его валенсианцы; остальное время он спит, курит, ест и несколько не заботится о всем том, что лично до него не касается.

«Испания, удрученная тремя веками самой ужасной администрации, подпавшая двум чужестранным династиям, из которых первая начала жестокостью, насилием и кончила решительным идиотизмом, — другая почти непрерывно занималась одними дворцовыми интригами, — бедная Испания силится разбить теперь эту кору невежества, под которою столь долго томилась она. Глубоко ошибаются те, которые судят об Испании по французским идеям, по французскому общественному движению. Кроме множества радикальных различий, не должно забывать, что Франция была приготовлена пятьюдесятью годами философской литературы. В Испании, после писателей ее «золотого века», в продолжение двух веков не было другой литературы, кроме проповедей духовенства, которое, конечно, всеми силами старалось о поддержании старого общественного устройства, в котором само господствовало. Посмотрите теперь на испанские журналы всех партий! Меня больше всего поражает в них решительное отсутствие всякой рассудительной теории, даже всякой практической мысли. Идей нет, — есть одни лица и имена; ни один вопрос государственного устройства не подвергается анализу. Перевороты в Испании не могут выйти из масс, которые даже не имеют о них понятия. Здесь самый бедный, последний мужик всегда вдоволь имеет хлеба, вина и солнца, здесь у самого нищего есть на зиму и шерстяные панталоны и толстый шерстяной плащ, тогда как французский мужик, например, и зиму и лето прикрывается одною тощею, холстинною блузой. Кроме того, этот народ одарен удивительным чувством повиновения: лучший пример — все царствование Фердинанда VII. Испанцу словно недостушна никакая общая идея, хотя отвлеченное понятие об общем деле».

Видите ли, ему нет охоты позаботиться об этом, он махнул рукою на все, воображая, что эти дела — не его

дела: «пусть себе идут, как хотят,— лично мне ни тепло, ни холодно не будет от общего порядка дел».

Надобно ли говорить, что такое равнодушие возможно только при совершенном невежестве? Невежество — вот коренная язва Испании.

Привычка довольствоваться в жизни слишком малым, обходиться без всяких удобств — вот другой источник этой беззаботности. До последнего времени испанец не чувствовал надобности ни в хорошей мебелировке дома, ни в хороших товарах, ни в удобных путях сообщения; комнаты самых богатых людей были до последнего времени мебелированы самым скудным образом, платье шилось из плохих материалов, пища соответствовала мебелировке и качеству материй, и когда испанец пускался в путь, он не чувствовал беспокойства, медленности и дороговизны езды верхом на мулах, по убийственно дурным дорогам — «что-нибудь» и «как-нибудь» совершенно удовлетворяло его, — лучшего ничего и не воображал он себе.

Наш век неблагоприятен таким невзыскательным понятиям о житейских удобствах, неблагоприятен и для невежества. Прежде люди могли успокаиваться на том, чтобы жить как-нибудь, лишь бы не умереть голодною и холодною смертью. Теперь в душе каждого неизгладимо впечатлелась мысль о благосостоянии, по крайней мере, в житейском быту. Испанцы уже чувствуют необходимость в железных дорогах, в дешевых и хороших товарах, в развитии торговли, промышленности. Этого чувства уже довольно — оно приведет за собою все остальное; кто начал думать о благосостоянии, тот скоро поймет, что ни одно из условий благосостояния не может существовать без разумного порядка дел, которым бы обеспечивались приобретения каждого отдельного лица, скоро поймет, что возможность благосостояния для отдельного лица обуславливается общим хорошим порядком дел. А чтобы водворить такой порядок дел, нужно знание, и потому стремление к материальному довольству всегда влечет за собою пробуждение жажды знаний, оживление умственной деятельности в нации. Невеждою может оставаться только тот, кто, находясь в жалком положении относительно своего житейского быта, не чувствует неудовлетворительности этого жалкого положения. Потребность улучшить свой быт необходимо влечет за собою потребность умственного труда.

Испания вошла уже в такую тесную связь с остальною Европою, что не может оградить себя от сочувствия

стремлениям века. Единственные важные недостатки, которыми страдает испанский народ, — беззаботность невежества и равнодушие к улучшению материального быта, — эти недостатки прямо противоположны потребностям и стремлениям нашего века, и потому нет нужды в особенной отважности, чтобы решиться сказать: недостатки эти должны исчезнуть, и исчезнуть быстро.

Мы сделали много выписок из книги г. Боткина, но читатели, помнящие его «Письма об Испании», видят, что мы касались почти исключительно только одной стороны разнообразного содержания, представляемого его рассказами. Не одна природа и общественная жизнь Испании занимают его внимание — частный быт, памятники искусства, исторические воспоминания не меньше этих предметов интересовали его и являются не менее интересными читателю в его описаниях.

Мы не можем не обратить особенного внимания читателей на «Письма об Испании», ибо, повторяем, подобного рода путешествия, в которых серьезность взгляда соединяется вместе с глубоким поэтическим чувством, являются не часто.

[«РУССКАЯ БЕСЕДА» И СЛАВЯНОФИЛЬСТВО]

Холодно, отчасти насмешливо, отчасти даже как-то неприязненно смотрела до сих пор на «Русскую беседу»¹ почти вся наша публика. Почти все наши журналы, когда говорили о ней, говорили с ирониею или с укоризнами. Едва ли не один только «Современник» доказывал, что между славянофилами и огромным большинством образованных людей, отвергающим славянофильские идеи о русском воззрении, существуют, выше этого раздорного пункта, точки сходства во мнениях, согласия в желаниях². Многим из уважаемых нами людей такой взгляд на славянофилов показался совершенно ошибочным, чуть ли не преступным перед Европою и просвещением. Большинство продолжало смотреть на славянофилов не как на людей, которые, ошибаясь во многом и важном, о важнейших и существеннейших вопросах жизни (потому что есть в жизни нечто важнее отвлеченных понятий) думают правдиво и благородно, — нет, как на людей, которые, ради осуществления своих туманных и ошибочных теорий о народности в науке, готовы пожертвовать и наукою, и благами цивилизованной жизни, и всем на свете.

Наконец-то, после напрасного годовичного ожидания, дождалась мы от публики более благоприятных отзывов о мнениях, органом которых служит «Русская беседа». Не знаем, решатся ли отказаться сразу от своих предубеждений журналы, до сих пор не видевшие ничего хорошего в «Русской беседе», — решатся ли они признаться, что славянофилы одушевляются не одною мечтою о небывалом и невозможном специально-русском построении науки на фантастических основаниях, но также, — и еще больше, — стремлениями, свойственными каждому образованному и благородному человеку, каковы бы ни были его теоретические заблуждения. Быть может, журналы, глумившиеся над славянофилами, почтут нужным умолчать о впечат-

лении, которое произвела на большинство мыслящих людей первая книга «Русской беседы» за нынешний год. Но у нас нет ни причины, ни желания не сказать с радостью, что впечатление это вообще было очень благоприятно для «Русской беседы» и славянофилов. Публика, наконец, получила в этой книге доказательства, что для славянофильского журнала существуют интересы, более дорогие и живые, нежели мечты, которые не могут встретить в большинстве ни сочувствия, потому что отвлечены и неприложимы к делу, ни одобрения, потому что не велики ни к чему хорошему, если бы были осуществимы.

Это благоприятное впечатление произведено преимущественно двумя превосходными статьями г. Самарина, помещенными в критике. Мы не будем подробно говорить о том, почему и как действуют они на каждого благомыслящего человека самым выгодным образом — мы надеемся, что те из наших читателей, которые еще не знают этих статей, познакомятся с ними из самой «Русской беседы». Одобряемые теперь благоприятным расположением публики к «Русской беседе», мы хотим сказать, с какой точки зрения образ мыслей, называемый славянофильством, заслуживает, если не полного одобрения, то оправдания и даже сочувствия; не усомнимся указать даже те частные вопросы, о которых славянофилы думают, как нам кажется, справедливее, нежели многие из так называемых западников. Читатели видят, что не всех западников мы считаем одинаково безошибочными во мнениях; точно так же мы говорим не о всех без исключения людях, называющих себя славянофилами, что у них есть нечто важнейшее и лучшее, нежели идеи о русском воззрении. В самом деле, обе партии одинаково считают в своих рядах людей, не имеющих почти ничего общего между собою, кроме того или иного взгляда на отношение народности к общей человеческой науке. А этот вопрос, служащий основанием для разделения партий, далеко не имеет, по нашему мнению, той всепоглощающей важности, какую ему приписывают; и между людьми, согласными в его решении, могут быть разногласия по другим, гораздо существеннейшим вопросам. Как из западников, так и славянофилов мы признаем достойными особенного сочувствия только тех, которые справедливо думают об этих важнейших вопросах. Если бы, например, между западниками нашлись люди, восхищающиеся всем, что ныне делается во Франции (а такие есть между западниками), мы не назвали бы их мнения достойными особенного одобрения, как бы громко

ни кричали они о своем сочувствии к западной цивилизации, — потому что и во Франции, как повсюду, гораздо более дурного, нежели хорошего; с другой стороны, как бы ни заблуждались в своих понятиях о допетровской Руси люди, в настоящем одобряющие только то, что действительно достойно одобрения, и желающие всех тех улучшений, каких должен желать образованный человек, — мы все-таки почли бы мнения таких людей в сущности добрыми, потому что действительные стремления относительно настоящих дел важнее всяких отвлеченных мечтаний о достоинствах или недостатках отдаленного прошедшего. Только славянофилы последнего рода придают жизнь и смысл своей партии, потому только о них мы и будем говорить, оставляя без внимания людей, которые, по недостатку умственного развития, по отсталости или по увлечению бесплодными мечтами, были бы одинаково ничтожны или вредны, что бы ни говорили об отношениях народности к общечеловечности.

Лучшие люди славянофильской партии — люди с горячею преданностью своим убеждениям; уж этим одним они полезны в нашем обществе, самый общий недостаток в котором не какие-нибудь ошибочные понятия, а отсутствие всяких понятий, не какие-нибудь ложные увлечения, а слабость всяких умственных и нравственных влечений. Прежде, нежели желать того, чтобы все твердо держались образа мыслей, который кажется кому-нибудь из нас справедливейшим, надобно признавать настоятельнейшую потребностью русского общества пробуждение в нем мысли и способности к приятию каких-либо умственных убеждений, каких-либо нравственных влечений, каких-либо общественных интересов. А исполнению этого дела славянофилы стараются содействовать всеми силами и, как люди горячих убеждений, очень полезным образом действуют на пробуждение умов, доступных их влиянию.

Этого права их считать людьми полезными для общества никто, кажется, не отрицает; но многие думают, что польза, приносимая ими делу пробуждения мысли в русском обществе, далеко превышает вредом, какой они приносят успехам общества, наполняя мысль человека, ими пробуждающегося к жизни, совершенно ложным содержанием, стремясь дать ей направление, совершенно превратное.

Не оправдывая всего того, что говорят даже лучшие представители славянофильства, человек, любящий родину и принимающий выводы науки на Западе, должен,

однако же, сказать, что столь общее отрицание всякой справедливости в славянофильстве неосновательно, должен признать, что из элементов, входящих в систему этого образа мыслей, многие положительно одинаковы с идеями, до которых достигла наука или к которым привел лучших людей исторический опыт в Западной Европе.

Начнем хотя с тех враждебных чувств к нынешней Европе, в которых обыкновенно обвиняются славянофилы. Конечно, грубо понимаемое, такое обвинение будет совершенно клеветою на них, — всему действительно великому и хорошему в Западной Европе они сочувствуют не менее самых заклятых западников и, конечно, никому не уступят ни в уважении к таким людям, как Роберт Пиль или Диккенс, Штейн или Гегель, — ни в искренности желания как можно ближе и полнее познакомить русских с благотворными плодами западного просвещения. (Просим не забывать, что мы говорим о лучших представителях славянофильства, а не о тех людях между ними, прегрешения которых против западной цивилизации легко прощаются, как грехи неведения.) Беспристрастный человек должен назвать предубеждением мнение, будто они враждебны европейскому просвещению. Но то правда, и в том признаются они сами, что они не считают слишком завидным нынешнее положение народной жизни в Западной Европе. За эту строгость нельзя их винить. Недаром путешественники, отправляющиеся в Западную Европу с ожиданием найти там земной рай, возвращаются разочарованными, если ищут, например, в Париже чего-нибудь, кроме палероляльских удовольствий и модных портных. Масса народа и в Западной Европе еще погрязает в невежестве и нищете; потому, она еще не принимает разумного и постоянного участия ни в успехах, делаемых жизнью достаточного класса людей, ни в умственных его интересах. Не опираясь на неизменное сочувствие народной массы, зажиточный и развитой класс населения, поставленный между страхом вулканических сил ее и происками интриганов, пользующихся рутинною и невежеством, предается своекорыстным стремлениям, по невозможности осуществить свой идеал, или бросается в излишества всякого рода, чтобы заглушить свою тоску. Многие из лучших людей в Европе до того опечалены этим злом, что отказываются от всяких надежд на будущее; другие доказывают, что с течением времени зло не уменьшается, а возрастает. Первые, конечно, не правы, но вторые говорят правду. Действительно, язва пролетариата все расширяется, даже физическая органи-

зация племен слабеет, так что, вообще говоря, даже средний рост уменьшается. Всего прискорбнее здесь то, что главным источником нищеты и бедствий в Западной Европе надобно считать не недостаточность средств к быстрому и коренному улучшению народного быта, а дурное и несправедливое распределение этих средств или недоброжелательство к улучшению народного быта со стороны людей, держащих в руках эти средства и, по своекорыстному расчету, не применяющих их к делу. Мы представим только один случай для примера. Положительный расчет показывает, что если бы во Франции поля возделывались при помощи средств, предлагаемых естественными науками и механикою, и по системе, указываемой политической экономией (общинное возделывание земли при помощи улучшенных машин), жатва более нежели удвоилась бы. А между тем во Франции недостает хлеба. Если бы земледelec во Франции пользовался сам плодами своих трудов, он жил бы безбедно, — а он терпит нужду. Еще безотраднее положение фабричных и заводских работников, которым еще легче было бы иметь изобилие во всем, нужном для жизни. Но весь труд во французском обществе производится под гнетом своекорыстных эксплуататоров, которые могут быть прекрасными людьми, но которые, как всякий человек, заботятся о собственных, а не о чужих выгодах, думают об увеличении своих доходов, а не об улучшении участи зависимого от них рабочего населения. <Все делается по системе, заклеименной именем L'exploitation de l'homme par l'homme³.> Точно таков же порядок экономических отношений и во всей остальной Западной Европе. Это факт, обнаруженный лучшими людьми самой Западной Европы и принуждающий их негодовать на действительность, их окружающую.

Таково же и положение умственной жизни на Западе. Правда, наука сделала великие успехи, но еще слишком мало имеет влияния на жизнь. Большинство не только народа, но даже образованных классов, погружено еще в дикие понятия, свойственные скорее временам кулачного права, нежели веку цивилизации. Когда лучшие люди в Западной Европе сравнивают образ мыслей огромного большинства своих сограждан с гуманными идеями современной науки, они приходят в отчаяние, видя, что несомненнейшие умственные и нравственные истины ее, достоверные, как аксиомы геометрии, ясные, кажется, как свет дневной, остаются еще неведомы или непоняты никем, кроме горсти немногих избранных, еще бессильных

над нравами и стремлениями общества, по своей малочисленности. Приведем опять хотя один пример. При нынешнем развитии государственного порядка, когда масса побеждающего народа уже не грабит и не обращает в личное рабство своим сочленам всю массу побежденного народа (как то было при завоевании германцами провинций Римской империи), разумна и полезна только та война, которая ведется народом для защиты своих границ. Всякая война, имеющая целью завоевание или перевес над другими нациями, не только безнравственна и бесчеловечна, но также положительно невыгодна и вредна для народа, какими бы громкими успехами ни сопровождалась, к какому выгодным, по-видимому, результатам ни приводила. Это достоверно, как $2 \times 2 = 4$. А между тем, и во Франции, и в Англии люди, говорившие это во время последней войны с Россиею, были предметом общего посмеяния или негодования.

Злоупотребления, недостатки и бедствия в материальной и умственной жизни народов Западной Европы — это предмет неистощимый. Из тысячи обвинительных пунктов против западно-европейской действительности мы коснулись, и то слегка, без всяких подробностей, лишь двух-трех. Страшную картину современного быта своей родины представляет каждый из западноевропейских писателей, если только он добросовестен и стоит по мысли в уровень с гуманными идеями века. Это прискорбное разноречие действительности с потребностями и идеалами современной мысли с году на год становится тяжелее в Западной Европе.

Что удивительного, что преступного, если это самообличение Европы лучшими из ее детей находит отголосок и у нас? Всякая ложь вредна. Зачем нам оставаться в фантастической уверенности, будто бы Западная Европа — земной рай, когда на самом деле положение народов ее вовсе не таково? Не одни славянофилы стараются вывести нас из этого легкомысленного обольщения, — многие, истинно серьезные мыслители, которых мы имели или имеем, выставляли нам недостатки западноевропейской действительности в самом резком виде. Пусть славянофилы, когда говорят об этом предмете, во многом ошибаются, принимая иное хорошее за дурное или наоборот, — эти частные ошибки не мешают справедливости общей идеи, повторяемой ими, но принадлежащей вовсе не им, а всем лучшим людям Запада, от которых они и узнали

о ней, — не мешают справедливости этой общей идеи: Западная Европа вовсе не рай.

А когда мы подумаем о том, до какой степени у многих из так называемых западников темны еще понятия о том, что хорошо и что дурно в Европе, и как до сих пор очень многим кажется лучшим именно то самое, что есть худшего в Европе, то должны будем признаться, что критика европейского быта, которую славянофилы, прямо или через вторые руки, заимствуют из лучших современных мыслителей, далеко не бесполезна для очищения наших понятий о Европе. Конечно, эта критика соединяется, проходя через уста славянофилов, с примесями, чуждыми, иногда прямо враждебными ее духу, — но мы настолько уверены в здравом смысле русского племени, мало расположенного к отвлеченным фантазиям, что эти примеси внушают нам довольно мало опасения. Здравый смысл и такт действительности, которым очень сильны русские, довольно легко отличат фантастическую примесь от фактов. Притом же примеси, особенно любимые многими из славянофилов, выбраны ими из круга чувств, которые очень антипатичны русскому характеру. Ни заоблачные мечтания, ни самохвальство не в характере у русского человека.

Мало вероятности, чтобы заблуждения, противные племенному характеру, распространились в нации. Но если б это и было вероятно, все-таки надобно было бы сказать, что опасности для народного развития, представляемые этими примесями, менее важны, нежели выгоды, соединенные с некоторыми твердыми убеждениями славянофилов, (убеждениями, которые, будучи последним словом западноевропейской науки и опытности, но не вошедши еще в умственную рутину всех дюжинных западных писателей, живущих рутинными фразами, не получили еще и у нас права гражданства между огромным большинством тех так называемых западников, которые почерпают свои мнения из наиболее распространенных иностранных журналов и книжек, вроде *Journal des Débats*⁴, *Revue des deux Mondes*, сочинений Гизо, Тьера и т. п.

В пример, мы укажем на одно из таких убеждений, осуществление которого стало уже главною историческою задачею для государств, стоящих в челе цивилизации, как Франция и Англия.

Обеспечение юридических прав отдельной личности было существенным содержанием западноевропейской

истории в последние столетия. Совершенного ничего нет на земле, но в чрезвычайно высокой степени цель эта достигнута на Западе. Право собственности почти исключительно предоставлено там отдельному лицу и ограждено чрезвычайно прочными, неукоснительно соблюдаемыми гарантиями. Юридическая независимость и неприкосновенность отдельного лица повсюду освящена и законами и обычаями. Не только англичанин, гордый своею личною независимостью, но и немец, и француз может справедливо сказать, что пока не нарушает законов, он не боится ничего на земле, и что личная собственность его недоступна никаким посягательствам. Но, как всякое одностороннее стремление, и этот идеал исключительных прав отдельного лица имеет свои невыгоды, которые стали обнаруживаться чрезвычайно тяжелым образом, едва он приблизился к осуществлению с забвением или сокрушением других не менее важных условий человеческого счастья, которые казались несовместны с его безграничным применением к делу. Одинаково тяжело для народного благоденствия легли эти вредные следствия на обоих великих источниках народного благосостояния, на земледелии и промышленности. Безграничное соперничество отдало слабым на жертву сильным, труд на жертву капиталу. При переходе всей почти земли в собственность частных лиц явилось множество людей, не имеющих недвижимой собственности,— таким образом возникло пролетариатство. Владельцы мелких участков, на которые распалась земля во Франции, не имеют возможности применить к делу сильнейших средств для улучшения своих полей и увеличения жатв, потому что эти средства требуют капиталов и применимы только к запашкам большего размера. Они обременены долгами. В Англии фермеры имеют капиталы, но зато без значительного капитала невозможно в Англии и думать о заведении ферм, а люди, имеющие значительный запас наличных денег, всегда не многочисленны пропорционально массе народа, — и потому большинство сельского населения в Англии — батраки, положение которых очень печально. В заводско-фабричной промышленности вся выгода сосредоточивается в руках капиталиста, и на каждого капиталиста приходится сотни работников,— пролетариев, существование которых бедственно. Наконец, и земледелие и заводско-фабричная промышленность находятся под властью безграничного соперничества отдельных личностей. Чем обширнее размеры производства, тем дешевле стоимость произведений,

потому большие капиталисты подавляют мелких, которые мало-помалу уступают им место, переходя в разряд их наемных людей, а соперничеством между наемными работниками все более и более понижается заработная плата. Таким образом, с одной стороны, возникли в Англии и Франции тысячи богачей, с другой — миллионы бедняков. По роковому закону безграничного соперничества, богатства первых должны все возрастать, сосредоточиваясь все в меньшем и меньшем числе рук, а положение бедняков становится все тяжелее и тяжелее.

Но и в настоящем положении дел так противуестественно и тяжело для девяти десятых частей английского и французского населения, что необходимо должны были явиться новые стремления, которыми отстранялись бы невыгоды прежнего одностороннего идеала.

Подле понятия о безграничных юридических правах отдельной личности возникла идея о союзе и братстве между людьми; люди должны соединиться в общества, имеющие общий интерес, сообща пользующиеся силами природы и средствами науки для производства и для экономного потребления производимых ценностей. В земледелии братство это должно выразиться переходом земли в общественное пользование; в промышленности — переходом фабричных и заводских предприятий в общественное достояние компании всех работающих на этой фабрике, на этом заводе. Только это новое устройство экономического производства может дать благосостояние целому, например французскому или английскому, племени, и население этих стран, состоящее из тысячи богачей, окруженных миллионами бедняков, превратить в одну массу людей, не знающих роскоши, но пользующихся благоденствием.

Это новое стремление к союзному производству и потреблению является естественным продолжением, расширением, дополнением прежнего стремления к обеспечению юридических прав отдельной личности. В самом деле, не надобно забывать, что человек не отвлеченная юридическая личность, но живое существо, в жизни и счастья которого материальная сторона (экономический быт) имеет великую важность; и что потому, если должны быть для его счастья обеспечены его юридические права, то не менее нужно обеспечение и материальной стороны его быта. Даже юридические права на самом деле обеспечиваются только исполнением этого последнего условия, потому что человек, зависимый в материальных средствах существования, не может быть независимым человеком на

деле, хотя бы по букве закона и провозглашалась его независимость. А при известной густоте населения и при известной степени развития экономических отношений (появление хороших путей сообщения, обширной торговли, механических способов производства и т. д.) материальное благосостояние может быть доставлено массе населения только экономическим соединением производителей для труда и потребления.

Но введение такого порядка дел чрезвычайно затруднено в Западной Европе безграничным расширением юридических прав отдельной личности. Братья в соединении живут гораздо с большим благосостоянием, нежели могли бы жить разделившись, — это истина, известная у нас каждому поселянину («раздел семьи на отдельные хозяйства разоряет семью» — это знает каждый у нас), но, живучи вместе, каждый из братьев должен жертвовать частью своего полновластия родовому союзу, ограничивать свои капризы, противные общей (и в том числе его собственной) пользе).

Однако же, вместо общих размышлений о славянофильстве, к выражению которых были мы ободрены благоприятным впечатлением, произведенным на публику первою книгою «Русской беседы» за нынешний год, пора нам заняться обзорением содержания этой книги, очень замечательной.

О статьях г. Самарина, на которые мы хотели бы особенно обратить внимание каждого из наших читателей, мы ничего не будем говорить; одна из них, написанная по поводу книги графа Орлова, «Очерки похода Наполеона против Пруссии в 1806 году», должна быть прочтена каждым живым человеком, и о ней ничего нельзя сказать, кроме похвал, которые мы уже сказали. Другая — «Несколько слов по поводу исторических трудов г. Чичерина», конечно, оставляет место некоторым очень серьезным возражениям, но сам г. Чичерин, вероятно, не останется в долгу у достойного противника, которого наконец нашел себе⁵. По нашему мнению, замечания г. Самарина таковы, что каждое из них заслуживает серьезного рассмотрения, а некоторые должны быть признаны справедливыми, — например, мысль о необходимости дополнить свидетельства юридических актов, собранные у автора, фактами, встречаемыми в других источниках истории (в иноземных писателях о России, в летописях, народных преданиях и песнях) и представляемыми изучением современного быта; но мы сильно сомневаемся, чтобы от расширения

границ картины просветлили ее краски, как на то, по-видимому, надеется г. Самарин. Заметим также, что ответом на параллели русской системе кормления, находимые г. Самариним в истории западных государств, должно быть не отрицание сходства между сравниваемыми явлениями, а признание этих явлений одинаково невыгодными для государственного благоустройства, с прибавлением того, что в истории западных государств действие принципа, сходного с нашим кормлением, до некоторой степени уравновешивалось влиянием других начал, чего у нас почти не было.

Г. Чичерин, кажется, служит кошмаром «Русской беседы», которая в каждой из пяти вышедших до сих пор книг посвящала обширные статьи опровержению его мнений⁶. И в обозреваемой нами книге, кроме статьи г. Самарина, занимается этим делом еще другая, более обширная статья: «Критические замечания на сочинения г. Чичерина «Областные учреждения в России в XVII веке»», г. Н. И. Крылова. Конечно, эти замечания написаны с ученостью и умом, как и следовало ожидать от ученого, имеющего громкую известность. Но, по меткости и силе возражений, статью г. Самарина надобно поставить выше. Притом же г. Крылов говорит слишком докторальным тоном, — он слишком проникнут мыслью, что имеет дело с бывшим своим студентом. Так некогда поучал г. Погодин гг. Соловьева и Кавелина, которые, однако, справедливо говорили, что извлекают очень мало пользы из его назидательных бесед⁷.

Чрезвычайно интересна по предмету, но суха и отчасти темна по изложению статья г. П. Р.-на «Об устройстве земледельческого сословия в Австрии». Гораздо яснее, хотя и короче, изложено это дело г. Е. Ламанским в «Экономическом указателе» (№ 13)⁸. Важно по множеству новых фактов, извлеченных из рукописных источников, сочинение г. А. Попова, «История возмущения Стеньки Разина». Сколько можно судить по первой части его, напечатанной в обозреваемой нами книге «Русской беседы», автор хочет ограничиться изложением сведений, представляемых его источниками; он избрал себе цель скромную, но полезную, и за извлечение фактов из-под архивного спуда он заслуживает полной признательности.

КАВЕНЬЯК

I

По случаю смерти Кавеньяка в иностранных газетах явилось много статей, обзорающих его государственную деятельность; находя интересными факты, представляемые в некоторых из этих статей, мы приводим здесь, так сказать, свод их. Дела эти нам совершенно посторонние, мы не можем иметь никакого особенного сочувствия ни к одной из партий, участвовавших в событиях, которым подвергалась Франция в последнее время; мы видим только, что каждая из этих партий наделала много ошибок и что вследствие того события имели гибельный ход. Читатель заметит, что этот взгляд господствует в представляемой статье; он заметит также, что этот взгляд нимало не принадлежит нам, — мы только передаем то, что находим в источниках, которыми руководствовались.

Изгнанный из Франции переворотом 2 декабря¹, через несколько времени тихо возвратившийся на родину, чтобы закрыть глаза умирающей матери, потом несколько лет живший в уединении, чуждаясь политических дел, суровый победитель июньских дней долго оставался почти забыт молвою. Последние выборы, на которых его имя было выставлено символом начинающегося противодействия декабрьской системе², (споры его друзей и противников о том, дозволяет ли ему честь дать присягу правительству, законность которого он не признает, худо скрываемые опасения людей 2 декабря, что он, воспользовавшись их собственным примером, произнесет требуемую присягу как формальность, не имеющую внутренней силы, и через то получит возможность явиться в Законодательное собрание представителем протеста против 2 декабря, честная решимость Кавеньяка не делать никакой, даже внешней, уступки тому, что в его глазах было незаконием, — все это снова привлекло) на бывшего диктатора внимание не

только Франции, но и целой Европы. Несколько месяцев все европейские газеты наполнялись соображениями о том, какое значение имеет выбор его в депутаты. Несомненные признаки показали, что приближается время политического оживления для Франции, (что предводители ее политических партий, на время удаленные от государственной деятельности утомлением и апатиею народа, снова будут призваны к участию в исторических событиях требованиями нации, пробуждающейся от дремоты). Кавеньяку очень многие предназначали одну из значительнейших ролей в движении, близость которого равно предвидится во Франции людьми всех мнений. Потому внезапная смерть предводителя «умеренных республиканцев»³ Франции для многих его соотечественников была тяжелою потерей, для многих других — облегчением опасностей. Друзья Кавеньяка прямо выразили свою печаль, но враги его не отважились обнаружить своей радости: боясь признаться в шаткости своего положения тем, когда выразят удовольствие, что смерть Кавеньяка освободила их от одного из их страхов, они поспешили принять вид также огорченный и присоединить свои притворные сожаления к искренней скорби друзей покойного. «Moniteur», «Constitutionnel»⁴ и другие органы декабрьской системы наравне с «чистыми республиканцами» превознесли его «великие, безмерные услуги» Франции, называя его даже «спасителем отечества».

Но если многочисленны во Франции друзья и противники партии, предводителем которой был Кавеньяк, то еще многочисленнее люди, смотрящие на эту партию со спокойным беспристрастием, как на историческое явление, уже отжившее свой век, как на бесцветный остаток старины, бессильный в будущем и на добро и на зло, обсуждающие прошлую ее деятельность без всякого увлечения надеждами или опасениями. Они думают, что в панегириках над гробом Кавеньяка, впушенных одним искренностью чувства, другим — соображениями приличия и расчетливости, гораздо больше реторики или ослепления, нежели основательности. Они находят, что Кавеньяк, заслуживавший полного уважения, как частный человек, качествами своего характера, вовсе недостоин ни удивления, ни даже признательности как государственный человек; что при всем своем желании быть полезным родине он во время своего диктаторства принес ей гораздо больше вреда, нежели пользы, потому что убеждениям, руководившим его действиями, недоставало практичности,

и действия его не соответствовали потребностям общества, которым привелось ему управлять. Его образ мыслей испортил все дело. Высокая честность, энергическая воля, добрые намерения — этих качеств совершенно достаточно для почтенной деятельности в размеренном круге частной жизни, где все определяется обычными отношениями и объясняется многочисленными примерами. Этими достоинствами обладал Кавеньяк; но их мало государственному человеку, который постоянно находится в отношениях очень многосложных, в положениях, неразрешимых прежними случаями, потому что в истории ничто не повторяется, и каждый момент ее имеет свои особенные требования, свои особенные условия, которых не бывало прежде и не будет после. Без достоинств, уважаемых обществом в частном человеке, государственный человек не будет полезен родине; но, кроме их, ему нужны еще другие, высшие достоинства. Он должен верно понимать силы и стремления каждого из элементов, движущих обществом; должен понимать, с какими из них он может вступать в союз для достижения своих добрых целей; должен уметь давать удовлетворение законнейшим и сильнейшим из интересов общества как потому, что удовлетворения им требует справедливость и общественная польза, так и потому, что, только опираясь на эти сильнейшие интересы, он будет иметь в своих руках власть над событиями. Без того его деятельность истощится на бесславную для него, вредную для общества борьбу; общественные интересы, отвергаемые им, восстанут против него, и результатом будут только бесплодные стеснительные меры, которые необходимо приводят или к упадку государственной жизни, или к падению правительственной системы, чаще всего к тому и другому вместе. Так было и с Кавеньяком. Он наделал ошибок, которые дорого стоили Франции и низвергли его собственную власть. В нем не было качеств, нужных государственному человеку.

Не говоря теперь о том, хороши или дурны были цели Кавеньяка, скажем только, что имени государственного человека заслуживает единственно тот правитель, который умеет располагать свои действия сообразно этим целям; а у Кавеньяка каждое правительственное действие противоречило его целям, служило в пользу не ему, а его противникам. Вся его государственная деятельность обратилась только в пользу Луи-Наполеону. Тот плохой госу-

дарственный человек, кто работает во вред себе, в пользу своим противникам.

Но ответственность за ошибки Кавеньяка не должна падать исключительно на него. Она падает на всю ту партию, представителем которой он был, потому что он действовал не по личным своим расчетам и выгодам, а только как слуга известного образа мыслей, общего ему со всею партией «чистых республиканцев»; он постоянно руководился мнениями этой партии; ошибки его — не его личные ошибки, а заблуждения целой партии; ими обнаруживается несостоятельность для Франции того образа мыслей, которого он держался. «Чистые республиканцы» забывали, что политическая форма держится только тем, когда служит средством для удовлетворения общественных потребностей; они воображали, что слово «республика» само по себе чрезвычайно привлекательно для французской нации; они хлопотали о форме, не считая нужным позаботиться о том, чтобы форма принесла с собою исполнение желаний французского народа; они мечтали, что народ, не получая от формы никаких существенных выгод для себя, станет защищать форму ради самой формы. И форма упала, не поддерживаемая народом.

С начала нынешнего века эта ошибка повторялась всеми партиями, господствовавшими во Франции. Каждая, увлекаясь своими формальными пристрастиями, воображала, что и нация разделяет ее пристрастие к известной форме ради самой формы, между тем как нация с восторгом приветствовала новую форму только потому, что ждала от нее блага себе; каждая система воображала, что нация не может жить без нее, и забывала о том, каковы были ожидания нации. Ни от одной системы не дождалась Франция исполнения своих надежд, и как только распространялось в нации мнение, что система не оправдывает надежд, на нее возлагавшихся, система падала. Так покинут был сначала Наполеон, потом покинута реставрация, потом июльская династия, потом и республика Кавеньяка и его друзей. Из истории всех наций и всех эпох выводится точно такой же результат: форма держится, пока есть мнение, что она приносит благо; она падает, как скоро распространяется мнение, что она существует только ради самой себя, не заботясь об удовлетворении сильнейших интересов общества. Форма падает не силою своих врагов, а единственно тогда, когда обнаруживается ее собственная бесплодность для общества.

История диктаторства Кавеньяка очень поучительна потому, что в ней с особенною ясностью раскрывается эта истина. Не силою своих врагов, не стечением неблагоприятных обстоятельств пало правительство Кавеньяка и чистых республиканцев: восторжествовавший противник был совершенно бессилён сам по себе, все обстоятельства благоприятствовали продолжению власти Кавеньяка уже во всяком случае не менее, нежели возвышению Луи-Наполеона; единственно ошибки Кавеньяка погубили его.

Правление Кавеньяка было, как мы сказали, привлечением партии чистых или умеренных республиканцев. Он стал ее предводителем, конечно, благодаря отчасти собственным талантам; но еще более обязан он своим возвышением в этой партии тому уважению, которое имела она к его отцу и особенно к его старшему брату.

Отец диктатора Жан-Батист Кавеньяк был сначала, как и многие другие политические люди Франции, адвокатом. При начале первой революции он сделался жарким ее приверженцем и был выбран членом Национального конвента, в котором поддерживал все решительные меры, казавшиеся тогда нужными для борьбы с вандейцами, эмигрантами и европейскою коалициею. Несколько раз он исполнял важные поручения при армии и в провинциях и, всегда действуя твердо, не запятнал, однако же, себя жестокостями, которыми повредили общему делу некоторые из его товарищей по убеждениям. Он оставил детям имя, уважаемое французскими республиканцами, но знаменитость этому имени дали блистательные таланты его старшего сына Годфруа, который был одним годом старше второго брата, впоследствии сделавшегося диктатором Франции.

Годфруа Кавеньяк, один из замечательнейших публицистов французской республиканской партии при Луи-Филиппе, был сперва, подобно отцу, адвокатом и, подобно отцу, рано оставил для политической деятельности адвокатуру, которая при его чрезвычайных талантах обещала ему огромные богатства. В июле он сражался против Бурбонов⁵, был очень недоволен, когда низвержение Бурбонов послужило только к возвышению Луи-Филиппа, и один из первых начал восставать против новой конституционной формы. Через год орлеанское правительство уже предало его суду, как президента республиканского общества «Amis du Peuple»⁶. Он воспользовался этим случаем, чтобы громко объявить себя республиканцем, — решимость, которую имели тогда очень немногие и которая тем больше

доказывала силу его характера, что пылкая речь в защиту республики была им сказана перед судом, уже за одно это признание имевшим власть осудить его. Заключенный потом в тюрьму, он бежал из нее подземным ходом, который тайком был прорыт в его комнату из соседнего дома. Товарищем его по тюрьме и бегству был между прочим Арман Марра, впоследствии содействовавший возвышению его брата. Пять лет Годфруа прожил в Англии изгнанником. Республиканская партия во Франции была тогда еще очень слаба, и Луи-Филипп совершенно нерасчетливо придавал ей ожесточенными гонениями важность, которой она без того не имела бы. Общественное мнение, возмущенное излишеством этих гонений, вынудило, наконец, амнистию политическим преступникам. Годфруа Кавеньяк долго не хотел ею пользоваться; но крайние республиканцы, находившие, что «National», до той поры важнейший республиканский журнал, не довольно демократичен, убедили Годфруа возвратиться во Францию, чтобы быть главным редактором решительнейшего демократического журнала, который он вместе с Ледрю-Ролленом и стал издавать под именем «La Réforme»⁷ Отличаясь от редакторов «National'я» большею резкостью мнений, Годфруа Кавеньяк был, однако, и от них признаваем главою республиканской прессы во Франции. Действительно, после смерти Армана Карреля она не имела столь даровитого публициста. Изнуренный волнениями политической борьбы, Годфруа умер в 1845 году, за три года до февральских событий. Над могилою его различные партии французских республиканцев клялись забыть все раздоры, их разделявшие. Более нежели кто-нибудь другой после Армана Карреля Годфруа Кавеньяк способствовал распространению республиканских убеждений во Франции при Луи-Филиппе до 1845 года. Все отделы этой партии чрезвычайно уважали его.

Эжен Кавеньяк, младший его брат и воспитанник по убеждениям, родился 15 декабря 1802 года. Окончив курс в Политехнической школе, он сделался офицером; при июльских событиях он первый в своем полку объявил себя против Бурбонов; подобно брату, он был недоволен тем, что июльская революция кончилась в пользу Луи-Филиппа, и вообще известен был в армии как ревностный республиканец. Думая поставить его в затруднительное положение, полковник однажды предложил ему официальный вопрос, прикажет ли он своим солдатам стрелять по народу в случае восстания против Луи-Филиппа. Кавень-

як, не колеблясь, отвечал: «нет». Правительство не могло оставить без наказания офицера, который прямо отказывался защищать его, но с тем вместе не отваживалось и предать военному суду молодого штабс-капитана, который уже пользовался большим уважением в армии. Дело кончилось тем, что полковнику сделали выговор за неуместный вопрос, а Кавеньяка перевели в Алжирию. За республиканский образ мыслей и в особенности за то, что страшный Годфруа Кавеньяк был его брат, Эжену Кавеньяку всячески старались не давать хода, по возможности обходили его чинами, несмотря на блестящие подвиги. Вот один пример. Первым замечательным делом Кавеньяка была защита Тлемсена⁸ в 1836—1837 годах. Оставленный в этом отдаленном передовом укреплении с одним батальоном, без запасов провианта и амуниции, он целый год выдерживал блокаду и отбивал приступы многочисленных арабских отрядов, терпя недостаток во всем. Продовольствие доставалось гарнизону только с битвы. Когда солдаты не могли получать полных порций, Кавеньяк сам брал себе порции еще меньше солдатских, своим примером ободряя их терпеть голод. Алжирская армия удивлялась геройской защите форта, но правительство не хотело награждать республиканца и его отряд. Все представления алжирского главнокомандующего о наградах тлемсенским офицерам были отвергаемы военным министром. Наконец нужно же было наградить Кавеньяка, — ему сказали, что он получит следующий чин; он отвечал, что не примет награды, если не будут награждены также все офицеры его отряда. Мнение армии вынудило эту уступку у министерства.

Несмотря на все затруднения, делаемые министрами Луи-Филиппа служебной карьере республиканца, бывшего братом ненавистному Годфруа, Эжен Кавеньяк в начале 1848 года был бригадным генералом и губернатором Оранской провинции, потому что равно отличался и военными и административными дарованиями. О благосостоянии своих солдат он чрезвычайно заботился; арабы прозвали его «справедливым султаном»; в армии считался он одним из лучших генералов и едва ли не лучшим администратором. Если бы не опальное его имя и не республиканские мнения, он, вероятно, подвинулся бы гораздо быстрее в продолжение своей 14-летней воинской деятельности. Теперь пока он оставался не более как одним из генералов, занимавших в алжирском управлении вторые места после генерал-губернатора. В январе 1848 года

никто не предполагал, чтобы скоро ему пришлось сделаться значительным человеком в государстве.

Но события 24 февраля 1848 года передали управление Францией в руки республиканцев, и господствующей во временном правительстве партией была именно та партия, к которой принадлежал по своим убеждениям Эжен Кавеньяк, — партия умеренных или чистых республиканцев, иначе партия «National'я». Эжен Кавеньяк, хотя и чрезвычайно любил брата, не был таким революционером, как Годфруа; он был, подобно ему, демократом, но вовсе не крайним демократом. Именно таково было и большинство временного правительства, — Марра, Мари, Гарнье-Паже, Араго, Кремье, Дюпон де л'Ор. Все они были друзьями Годфруа Кавеньяка, все сохранили очень сильное уважение к нему, хотя он иногда и упрекал их за то, что они несколько отставали от него.

Алжирская армия, в которой принцы Орлеанского дома имели многих людей, лично им преданных, и вообще пользовались популярностью, внушала временному правительству беспокойство в первые дни нового порядка вещей.

Надобно было отдать команду над нею испытанному республиканцу; из всех алжирских генералов ни на кого временное правительство не могло положиться с такой уверенностью, как на Кавеньяка, и одним из первых декретов, подписанных новыми правителями Франции, было назначение Кавеньяка генерал-губернатором Алжирии.

Он имел столько скромности и прямоты, что сам понял и откровенно высказал причину своего быстрого возвышения в прокламациях, обнародованных им при вступлении в новую должность. «Вы, точно так же, как и я, — говорил он в прокламации к жителям Алжира, — знаете, что память о моем благородном брате, живущая между гражданами, меня избравшими, побудила их вручить мне управление делами Алжирии». То же самое выражал он и в прокламации к жителям Орана: «Моим назначением правительство хотело от имени нации почтить память доблестного гражданина, моего брата».

Этим прямотышным сознанием очень хорошо определяется и личный характер Кавеньяка, и его справедливое понятие о степени своих достоинств. Он сам указывает, что далеко не имеет гения, каким отличался его старший брат; что если бы не блеск, сообщенный его имени деятельностью брата, он не был бы замечен как человек, которого надобно выдвинуть вперед; но только человек, вполне

уверенный, что своими достоинствами оправдает выбор, которым обязан постороннему обстоятельству, уверенный, что никто не назовет его недостойным занятого им места, может так прямо и громко говорить, что еще больше, нежели самому себе, одолжен он своим выбором заслугам другого.

Вскоре представился Кавеньяку другой случай выказать редкую честность своих правил. Жители Алжира хотели выбрать его своим представителем в Национальное собрание. Он решительно отказался от этой чести, говоря, что его положение в Алжире не позволяет ему принимать голоса, подаваемые в его пользу его подчиненными. Он хотел сохранить себя совершенно чистым от всякого подозрения в искательстве, в честолюбии, в желании пользоваться данной ему властью для какой-либо личной выгоды.

Парижское временное правительство давно знало бескорыстие его характера, его недоступность никаким соблазнам. Алжирская армия уже доказала, что вовсе не имеет намерения поднимать междоусобные смуты: она безусловно покорилась правительству, признанному Францией; временное правительство могло оставить Алжирию без Кавеньяка, воспользоваться его военными и административными талантами и редкими качествами его характера в должности еще более важной. Парижские работники, оружием которых восторжествовало восстание и в июле 1830 и в феврале 1848 года, волновались, не видя исполнения своих надежд от нового правительства, поставленного их содействием. Большинство временного правительства состояло из людей, желавших ограничить переворот 24 февраля чисто политическими преобразованиями без изменений в гражданских отношениях между классом капиталистов, с одной стороны, классом, живущим наемной работой, — с другой стороны; эти изменения казались невозможными большинству временного правительства, а между тем их требовали парижские работники, поддерживаемые полным сочувствием своих сотоварищей по всей Франции. Для сопротивления им большинству временного правительства нужно было иметь и сильное войско, и хорошего военного министра, на которого могло бы оно положиться. В правление Луи-Филиппа система подкупов и фаворитизма расстроила военную администрацию, как и все отрасли государственного управления; беспорядки военного управления были таковы, что новое правительство не нашло в конце февраля 20 000 человек, го-

товых к открытию кампании в случае внешней войны, хотя армия считала 400 000 солдат. Нужен был хороший администратор для поправления этих беспорядков. Но потребность в армии на случай внешней войны была в глазах большинства временного правительства еще не такой настоятельной нуждой, как необходимость приготовиться к подавлению восстаний в самом Париже. После 24 февраля войска, побежденные инсургентами, были выведены из Парижа как по требованию победителей, опасавшихся реакции, так и для того, чтобы эти войска, нравственно униженные своим поражением, могли оправиться духом вдали от улиц, напоминавших им о их разбитии. Нужно было теперь снова ввести сильный гарнизон в Париж, сосредоточить войска в окрестностях столицы, сделать заготовления амуниции и т. д. на случай междоусобных смут. Это мог исполнить только такой военный министр, который вполне разделял бы убеждения большинства временного правительства, потому что при малейшей нерешительности он легко мог быть задержан в своих вооружениях усилиями меньшинства временного правительства, находившегося в раздоре с большинством. Кроме всего этого, нужно было в военном министре совершенное бескорыстие, чтобы он, имея в своих руках фактическую силу, не поддавался обещаниям властолюбия, остался верным сановником правительства, а не покушался быть его властелином. Всем этим условиям удовлетворял Кавеньяк. Характер его представлял совершенное ручательство, что он не употребит против правительства силы, которую ему дадут; он был известен как хороший генерал и отличный администратор. Нашлись бы и кроме него генералы, обладающие этими качествами, но было еще условие, которому никто не соответствовал столько, как он. Много было генералов, с радостью готовых драться против «черни», la canaille; но эти генералы были преданы Орлеанскому дому и враждебны республике; было несколько и республиканских генералов, но почти все они поколебались бы двинуть войска против своих соотечественников. Кавеньяк был несомненный республиканец, но с тем вместе готов был повести войска против граждан, сошедшихся принуждать республиканское правительство к уступкам, которых оно не хотело делать. Недаром, когда жители Алжира выразили желание, чтобы в Алжирин военное управление было заменено гражданским, он сделал им строгие упреки и сказал: «Энергия, состоящая в том, чтобы опираться на мнение масс, не исполняя своих обязанностей,— гнусная

энергия, я отвергаю ее. Самый дурной закон лучше беспорядка». Ему послали назначение явиться в Париж для принятия должности военного министра. Он сказал, что примет ее только тогда, если ему позволено будет сосредоточить сильную армию около Парижа,— это было еще в марте, меньшинство временного правительства было тогда еще довольно сильно; оно воспротивилось этому требованию, соответствовавшему желаним большинства, и Кавеньяк отказался от министерского портфеля. Прошло два месяца; отчасти ошибочные действия, еще более нерешительность и бездейственность очень ослабили влияние меньшинства во временном правительстве; выборы в Национальное собрание, произведенные под впечатлением этих ошибок и бездейственности, доставили решительный перевес партии умеренных республиканцев; когда временное правительство сложило свою власть перед Национальным собранием, Собрание передало ее «Исполнительной комиссии»⁹ из пяти членов, между которыми только один не был из умеренных республиканцев; они теперь стали полновластными правителями государства. Требование Кавеньяка сосредоточить сильное войско в Париже, прежде помешавшее вступлению его в министерство, теперь было новой рекомендацией для него, и когда он, избранный в Национальное собрание депутатом от департамента Ло, прибыл в Париж, Исполнительная комиссия тотчас же назначила его военным министром (17 мая).

В Национальном собрании он не был особенно блестящим оратором, но деятельность его по управлению министерством соответствовала надеждам, которые имели на него умеренные республиканцы. Он неутомимо заботился о том, чтобы иметь наготове такие силы, с которыми можно было бы в случае восстания подавить инсургентов.

Случай употребить в дело собранные силы не замедлил представиться. С небольшим через месяц после того, как начал Кавеньяк свои приготовления, восстание вспыхнуло, и вспыхнуло в таких ужасающих размерах, каких не достигала еще ни одна междоусобная битва в Париже, видевшем так много страшных междоусобиц. В продолжение четырех месяцев легкомысленное бездействие и разноречащие распоряжения временного правительства и его наследницы, Исполнительной комиссии, раздражали массу, обманываемую в своих надеждах, исполнение которых было ей формально обещано. Каковы были эти надежды, разумны или неразумны, все равно; дело в том, что их ис-

полнение было формально обещано, дело в том, что были формально подтверждены ожидания, и когда гнев овладел людьми, не видевшими исполнения этим ожиданиям, когда отчаяние овладело людьми, увидевшими, что у них отнимается всякая надежда, удивляться тут нечему. Неудовольствие массы росло с каждым днем, и наконец меры, принятые Исполнительной комиссией по повелению Национального собрания для закрытия так называемых «Национальных мастерских» (Ateliers Nationaux), произвели взрыв.

История Национальных мастерских и трагического их окончания — самый печальный и вместе самый нелепый эпизод в печальной истории столь обильных нелепостями событий, последовавших за февральской революцией. Кого надобно винить за Национальные мастерские? Обстоятельства были так запутаны, ошибок было наделано столько всеми партиями, участвовавшими в управлении Францией после 24 февраля, что ни одна из партий этих не может похвалиться государственным благоразумием в деле Национальных мастерских, как увидим ниже. Но если ответственность за гибельную нелепость должна падать преимущественно на тех людей, которыми она была придумана, которые заведывали ее исполнением, которые не допускали других сделать ничего для ее отстранения, то ответственность за Национальные мастерские прямым образом падает на партию чистых республиканцев. Дело происходило таким образом.

Республика была провозглашена во Франции по настоянию республиканцев и работников. Республиканцы шли впереди, но их требования не имели бы никакой силы, если бы не были поддерживаемы работниками. Но работники увлекались вовсе не теоретическими рассуждениями о качествах республиканской формы политического устройства, — они хотели существенных изменений в своем материальном быте, и когда республиканцы, достигшие власти их силой, показали вид, что хотят ограничиться изменением политической формы, работники потребовали от них на другой же и на третий же день после победы принятия мер к улучшению материального положения низших классов. Способ, которым работники предполагали улучшить свой быт, — учреждение промышленных ассоциаций при вспоможении правительства, — казался республиканцам химерою; нелепою несообразностью с их понятиями о государстве казалось им и то право, которое во мнении работников служило основанием этому способу,

именно «право на труд» (*droit au travail*), право каждого, не находящего себе работы у частных промышленников, получать эту работу от государства, которое таким образом обеспечивало бы средства для жизни каждому, желающему трудиться. Здравый смысл говорил, что если республиканцы не считали возможным удовлетворить этим требованиям, они должны были решительно отвергнуть их. Но отвергнуть их значило бы в ту же минуту лишиться власти, потому что сами по себе республиканцы были бесстрашны и держались только тем, что опирались на работников. Они решились выпутаться из затруднения обещаниями, рассчитывая выиграть время проволочками, надеясь, что настойчивость работников остынет мало-помалу, что дела как-нибудь уладятся счастливыми случайностями, что временное правительство впоследствии приобретет силу воспротивиться работникам. Первая уступка состояла в том, что на другой же день после переворота временное правительство издало декрет (25 февраля), которым объявляло, что государство обязывается обеспечивать существование работника доставлением ему работы в случае надобности, — «право на труд» было, таким образом, формально признано. Через два дня, точнее сообразив убеждения республиканцев, работники увидели, что не будет принято временным правительством никаких действительных мер к исполнению этого обещания, если исполнение его не будет предоставлено человеку, разделяющему в этом случае идеи работников, — и снова явились (27 февраля), требуя, чтобы для этого дела было учреждено особенное «министерство прогресса» и министром был назначен Луи Блан, глава той социальной школы, мнения которой господствовали тогда между парижскими работниками. Луи Блан был одним из одиннадцати членов временного правительства, но не имел в нем никакой силы, встречая безусловное сопротивление со стороны всех своих сотоварищей, кроме одного Альбера, который сам принадлежал к классу работников. Поручить Луи Блану министерство прогресса значило дать ему власть, значило облечь правительственной силой именно те идеи, которые девятерым из одиннадцати членов временного правительства казались гибельной химерой. Оно не могло согласиться на это, но не могло и совершенно отказать работникам, и вот оно придумало вместо министерства прогресса учреждение «Правительственной комиссии» для работников (*Commission du Gouvernement pour les travailleurs*), которая под председательством Луи Блана со-

ставляла бы проекты законов для предложения будущему Национальному собранию. Приняв это поручение, Луи Блан в свою очередь сделал очень важную ошибку. <Он видел, что> эта комиссия, не <имеющая> никакой власти, <учреждается> только для провоочки, с целью замять дело; <это учреждение обманывало> работников наружностью без всякого действительного значения. Нечего уже и говорить о том, что, не имея административной власти, комиссия не могла ничем облегчить состояние работников в настоящем; очевидно было, что и составлять проекты законов временное правительство поручало ей только в той уверенности, что они будут отвергнуты Национальным собранием, — да и сам Луи Блан знал это. Ясно было также, что во всяком случае комиссия вовсе не нужна для составления законов, — их гораздо легче и удобнее было бы обрабатывать без такой многосложной обстановки, какую должны были иметь заседания комиссии. Луи Блан видел, что комиссия придумана только для того, чтобы временному правительству увернуться от требования работников. Ему следовало отказаться от этого обманчивого поручения. Он отказывался и говорил, что должен выйти из временного правительства, которое считает его участие во власти невозможным. Но если бы он не согласился остаться в правительстве, если бы не принял поручения, работники в тот же час поняли бы, что им нечего ждать от временного правительства, они восстали бы против него, произошли бы новые смуты, быть может, новое междоусобие. Это было представлено Луи Блану его товарищами, — и он согласился принять поручение, которое одно могло спасти правительство от разрыва с работниками. Эту уступку с его стороны можно приписывать слабости его характера, если думать, что он, подобно республиканцам, по убеждению не отвращался междоусобий. Но его образ мыслей был таков, что насилие ни в каком случае не может вести ни к чему хорошему, что все в мире лучше, нежели быть виновником смут, — и потому очень может быть, что он уклонился от разрыва не по недостатку характера, а напротив — по твердому убеждению в том, что лучше отказаться от успеха, нежели достигать его путем насилия. В самом деле, Луи Блану тогда нечего было бояться разрыва: в случае борьбы победа несомненно осталась бы на стороне работников, желавших отдать власть в его руки.

Но каковы бы ни были побуждения, заставившие Луи Блана сделать уступку, он уступил. Для комиссии, учрежденной под его председательством, был отведен Люк-

самбургский дворец, в котором две недели тому назад заседала палата пэров¹⁰. Для участия в совещаниях о мерах, касающихся быта работников, были избраны работниками всех промыслов двести пятьдесят депутатов. Но составлять проекты законов, которые не имели вероятности пройти через Национальное собрание, было бесполезно, и комиссия скорее имела характер государственной аудиторией, в которой Луи Блан излагал свою систему, нежели законодательного комитета. Главной целью речей Луи Блана было внушить собравшимся около него депутатам работников, что насильем они ничего не выиграют и должны надеяться только на мирные средства для улучшения своей участи; что путь убеждения и законных выборов — единственный верный путь для исполнения их желаний. Пока продолжались Люксамбургские конференции, они более нежели что-нибудь другое удерживали работников от насильственных действий. Но, с другой стороны, они составляли для работников самое торжественное свидетельство обещаний правительства позаботиться об их участи. Мало того, работники необходимо приходили через них к мысли, что законы и распоряжения, касающиеся положения рабочего класса, могут составляться не иначе, как по совещанию с этим классом, с его одобрения, при его участии. Легко понять, какое впечатление после таких идей должен был произвести на них тот факт, когда потом вдруг им объявили, что ни одна из их надежд не может быть исполнена, что они требуют нелепости, желая, чтобы правительство заботилось о рабочих хотя наполовину того, как заботится о фабрикантах, и что они должны беспрекословно повиноваться всему, что им приказывают, оставляя их между прочим без средств к жизни.

В то время как на Люксамбургских конференциях работники проникались высокими мыслями о приобретенном ими участии в решении вопросов, касающихся их быта, и беспрестанно вспоминали декреты временного правительства, обещавшего доставление работы от государства тем рабочим, которые останутся без работы у частных промышленников, уже оказались¹¹ естественные следствия всякого государственного кризиса: торговые дела приостановились, произошло много банкротств, и оттого частные промышленники должны были сократить работу на своих фабриках, а некоторые даже вовсе закрыть их. Произойти это должно было неизбежно: всегда и везде за каждым государственным кризисом следует промышленный. И в Англии при гораздо меньших усилиях к преоб-

разованиям гораздо меньшим бывает то же: и парламентская реформа, и отменение хлебных законов соединены были с промышленными кризисами. То же было во Франции и при начале реставрации, и после июльского переворота, и после декабрьского переворота. Но если при этих последних кризисах французское правительство могло оставлять на волю судьбы работников, лишившихся работы вследствие промышленного кризиса, нельзя было этого сделать теперь: декрет, признававший право на труд, был еще у всех в руках; работникам еще принадлежало фактическое владычество в Париже, еще не имевшем гарнизона после февральских событий. Нельзя было не позаботиться о тех работниках, которые остались без хлеба. Временное правительство никак не хотело приступить в самом деле к обещанным преобразованиям экономического быта; а все-таки необходимо было сделать то, что должно было, по мнению самих работников, быть только уже результатом этих преобразований, — пришлось дать работу от правительства работникам, оставшимся без занятия на частных фабриках. Временное правительство сделало это так, как делается все делаемое против желания и убеждения, без знания и обдуманности, — сделало так, что вышла совершенно нелепая путаница. Оно поручило одному из своих членов, принадлежавшему к чисто республиканскому большинству и бывшему министром публичных работ, Мари, учредить Национальные мастерские для работников, оставшихся без занятия. Имя «Национальные мастерские» было заимствовано из системы Луи Блана, и потому люди, не знавшие о самом факте ничего, кроме его имени, утверждали потом, что Национальные мастерские произошли от него или его идей. Напротив, они были учреждены его непримиримыми противниками, управлялись людьми, нарочно избранными для того за личную вражду против него, устроены были совершенно наперекор его понятиям и при всей обременительности своей для государства, при всей губительности для частной промышленности долго были приятны временному правительству, искавшему в них опоры против Луи Блана. Нелепее тех оснований, на которых они были созданы, невозможно ничего и придумать.

Надобно давать средства для жизни работникам (так рассчитывало временное правительство) не потому, чтобы это было хорошо, напротив — это очень дурно; но что ж делать, без этого произойдет восстание. Они говорят, что хотят работать; но если им дать занятие их обыкновенной

работой, это будет подрывом частной промышленности. Потому нельзя ткачам давать ткать материи, столярам делать мебель: нужно дать им занятие, которое не входило бы в соперничество с частной промышленностью.

На этих соображениях были устроены Национальные мастерские. Единственная работа, которая не подрывала бы частной промышленности, состояла, по мнению умеренных республиканцев, в том, чтобы копать землю, и всех этих людей — ювелиров, фортепьянщиков, слесарей, портных, ткачей, граверов, наборщиков и т. д. — обратили в землекопов.

Копать землю — это прекрасно; но где взять землю, которую нужно копать? В Париже производились различные земляные работы, особенно по постройке дорог, мостов, укреплений. Еще больше земляных работ предполагалось совершить со временем. Казалось, почему бы не обратиться к людям Национальных мастерских на эти действительно нужные работы, если уж они непременно должны копать землю? Администрация мастерских обратилась к инженерному ведомству, управлявшему всеми земляными работами в Париже, — тут произошла вещь невероятно милая: инженерное ведомство постоянно было во вражде с министерством публичных работ; бюрократическая ссора не постыдилась проявиться и тут, когда дело было так важно для государства: инженеры отвечали, что у них нет никаких работ для администрации Национальных мастерских. Что оставалось делать Мари? Вместо того чтобы призвать на помощь всю силу правительства для усмирения нелепой вражды инженеров, он начал придумывать сам от себя работы, — нужных работ не придумало его министерство никаких, и Национальные мастерские были заняты совершенно пустым пересыпанием земли с одного места на другое, потом опять с этого второго на первое, так, единственно для препровождения времени. Это опять невероятно, но действительно было так. Рабочие Национальных мастерских сначала вырыли рвы и насыпали террасы на Марсовом поле, потом срыли опять террасы и засыпали рвы, потом снова принялись рыть те же рвы и насыпать террасы и т. д.; подобными же упражнениями занимались они и на всех других местностях Парижа, где только было можно потешаться лопатами и заступами.

За это совершеннейшее осуществление нашей поговорки о пересыпании из пустого в порожнее следовало им получать плату от правительства. Таким образом умерен-

ные республиканцы удивительно разрешили задачу: содержать рабочих и заставлять их трудиться, но так, чтобы их труд не был соперничеством частной промышленности.

И сами рабочие, и администраторы Национальных мастерских очень хорошо чувствовали, что их занятия — нелепая пародия труда. Не глупо ли токарю или каретнику копать землю? Заставлять его делать это — значит просто заставлять его бездельничать. Да и вообще заставлять человека делать дело, совершенно ни для чего не нужное, только затем, чтобы потом он мог заняться разделыванием сделанного, — опять-таки нелепость, которой должен совеститься и работник, и надзиратель. Потому очень скоро надзиратели бросили требовать от рабочих труда; рабочим стала омерзительна пошлая возня с лопатами. По общему согласию тех и других установилось, что весь процесс «рабочего дня» состоит лишь в том, чтобы явиться на место работы, как-нибудь провести на этом месте назначенные часы и отправиться назад по окончании их, получив квитанцию за свое присутствие в назначенном месте. Оно действительно так и следовало по самой мысли учреждений.

Не одни люди рабочего класса, но и люди всякого звания предпочитают пользоваться деньгами задаром, если открывается возможность получать задаром столько же денег, сколько и за тяжелый труд. Когда в Национальных мастерских стало нужно только прогуляться от сборного места до какой-нибудь площади поутру и вечером прогуляться с этой площади назад до сборного места, чтобы выдана была квитанция за так называемый «рабочий день», а потом за эту квитанцию выдана была плата не менее той, какая давалась на фабриках, когда таким образом открыты были синекуры для работников, само собою разумеется, что работники стали покидать частные фабрики для Национальных мастерских. И без того вследствие нерешительных, двусмысленных действий временного правительства Париж волновался страхами всевозможных родов, кредит падал, фабрик закрывалось все больше и больше; а тут, привлекаемые даровым жалованьем в Национальных мастерских, многие работники уходили и с таких фабрик, которые могли бы выдержать промышленный кризис. И вот по обыкновению одно бедствие порождало другое и само потом увеличилось от его влияния. Политический кризис привел к промышленному; промышленный кризис окончательно сбил с толку временное правительство, и без того не слишком мудрое; потерявшие

голову правители в торопливом смущении основали широкое дело Национальных мастерских для облегчения зла, но основали в таком нелепом виде, что от них зло могло лишь увеличиваться; вследствие превратных мер правительства кризис возрастал, и число людей в Национальных мастерских увеличивалось с страшной быстротой: одни шли туда потому, что не имели работы на фабриках, другие своим уходом принуждали закрывать фабрики и тем увлекали в Национальные мастерские новые толпы людей, лишавшихся работы. В начале марта Национальные мастерские имели 20 000 работников, действительно не находивших занятия на частных фабриках; в середине июня Национальные мастерские считали уже более 150 000 работников, из которых несколько десятков тысяч сами бросили фабрики и тем лишили работы, может быть, сотню тысяч людей, вовсе не желавших быть тунеядцами, но не видевших себе другого спасения, кроме Национальных мастерских.

Расход государства на их содержание был громаден: каждый месяц Национальные мастерские поглощали несколько миллионов, а работы совершалось ими очень мало, да и та не приносила пользы ни на грош, потому что трагилась на предметы вовсе не нужные. Мало того, что расходы эти составляли в настоящем страшную тягость для казны: в будущем они угрожали еще большей разорительностью, потому что число людей в Национальных мастерских умножалось с каждым днем. Все партии с одинаковым беспокойством смотрели на эту колоссальную нелепость.

Все партии, сказали мы,— это выражение не совсем точно: представители партии умеренных республиканцев во временном правительстве, наравне со всеми жалея о страшной растрате денег на Национальные мастерские, находили в этом своем тупоумном порождении одну сторону, которая утешала их за все расходы. Национальные мастерские находились в заведывании министерства публичных работ, а министерством этим управляли вернейшие люди умеренно-республиканской партии, сначала Мари, потом Трела. Администраторы мастерских все принадлежали к той же партии: Мари, который назначил этих агентов, был очень осмотрителен в их выборе. Особенно могла умеренно-республиканская партия положиться на главного администратора мастерских,— то был Эмиль Тома, честнейший умеренный республиканец, по убеждению смертельный враг всех крайних партий, особенно социа-

листов, сверх того личный враг Луи Блана, который был тогда сильнейшим из предводителей социалистов. Благородный и чрезвычайно гуманный Эмиль Тома пользовался безграничной любовью людей, находившихся под его управлением; он был очень обходителен с работниками своими, заботливо вникал в их нужды, старался во всем помочь им, насколько от него зависело, занимался своими трудными обязанностями с ревностью, доходившей до самоотвержения; его кроткий характер, его ласковая речь, его обязательность привлекали к нему толпы, находившиеся под его начальством. Умеренные республиканцы могли наверное рассчитывать, что его работники пойдут за ним, куда бы он ни повел их.

Это служило им источником великой отрады. В Национальных мастерских умеренные республиканцы видели сильнейшую свою опору против социалистов. В самом деле, работники-депутаты Люксамбургских конференций, имевшие громадное влияние на всех других людей своего класса в Париже, были отвергаемы, осмеиваемы, преследуемы работниками Национальных мастерских; многие из этих депутатов были принуждены удалиться из мастерских. Словом, между Люксамбургом и Национальными мастерскими не было и не могло быть ничего общего. Восстание социалистов грезило умеренным республиканцам каждую ночь, каждый день, но они с некоторой самоуверенностью твердили себе: у нас есть против такого восстания громадная армия.

В самом деле, Национальные мастерские с тем и были устроены, чтобы служить армией против социалистов. Сообразно такому назначению эти мастерские были организованы по военной системе: каждыми десятью работниками начальствовал десятник (*riqueur*); пять десятков составляли взвод (*brigade*) с капралом (*brigadier*); несколько бригад соединилось под начальством поручика (*lieutenant*) и т. д.; у бригад и отрядов, из них составлявшихся, были свои знамена; к сборному месту шли работники из своих жилищ военным строем, с знаменами; еще церемониальнее были их марши от сборного места до места (так называемых) работ и обратно; от сборного места по домам они также расходились военным порядком. Само собой разумеется, эти марши, знамена, это мелочное распределение по чиновничеству и проч. было бы совершенно неуместно, если бы Национальные мастерские устраивались только для прокормления людей, не находящихся себе работы; но они назначались также <в случае смут>

доставлять защитников умеренным республиканцам, и этому назначению совершенно соответствовала их военная организация.

Но в середине июня умеренные республиканцы чувствовали себя уже столь сильными, что могли обойтись без помощи этих союзников. Робость, овладевшая средним и высшим классами после февральских событий, мало-помалу рассеивалась, когда они увидели, что низший класс в массе ожидает улучшения своей участи от закона, не прибегает к насилию; что предводители этого класса, крайние республиканцы и социалисты, не захватывают силою диктатуру в свои руки, а ожидают достичь торжества путем порядка и законности. Этому спокойствию предводителей крайних партий было много причин: уважение к национальной воле, выражение которой они видели в установленном тогда *suffrage universel*¹²; надежда, что результат этого всеобщего права участвовать в выборах будет благоприятен людям, которые считали себя защитниками интересов массы; неуверенность в том, что городские пролетарии будут поддержаны поселянами, Париж будет поддержан провинциями, если фабричные работники в Париже вздумают восстать против буржуазии; несогласия между различными школами и главными людьми этих школ. Мы не можем решить, какое из этих соображений и затруднений имело более силы; противники говорят, что эти люди удерживались опасением восстановить против себя всю Францию присвоением власти; сами они говорят, что только добросовестное отвращение от насилий руководило их действиями; как бы то ни было, но они не прибегли к насильственным мерам, которых ожидали от них противники, — мало того, они все свои усилия напрягли к удержанию массы от всякого насилия. За это противники сочли их людьми, не умеющими извлекать выгоду из обстоятельств, людьми, неспособными к практической деятельности; действительно, они без всяких попыток присвоить себе власть дали пройти тем дням или неделям, когда могли быть страшны своим противникам, и противники ободрились. Некоторые слабые движения, возбужденные интриганамии вроде Бланки, увлекшими вслед за собой опрометчивых (энтузиастов) вроде Барбе и Гюбера, послужили, однако же, поводом выставить честолюбцами, опасными для общественного спокойствия, и тех, которые на самом деле старались предотвратить эти волнения. Некоторые ошибочные меры, принятые временным правительством против их совета, были приписаны их теориям

или желаниям. Таким образом предводители крайних партий были осуждаемы и за волнение 15 мая, когда клубы вторгнулись в Национальное собрание и хотели разогнать его, и за возвышение поземельного налога, декретированное умеренными республиканцами, и за учреждение Национальных мастерских, происшедшее также вопреки их мнениям и вне всякого их участия.

Такие обвинения противоречили фактам, но факты тогда еще не были известны в истинном своем виде,— напротив, они доходили до всеобщего сведения искаженными или преувеличенными. Эти ложные слухи много содействовали упадку меньшинства временного правительства и укреплению власти большинства, состоявшего из умеренных республиканцев. Но всего более, конечно, произошло это просто вследствие естественного закона, по которому за напряжением сил следует усталость, по которому стремительный порыв масс быстро сменяется обычной для них дремотой, по которому люди неопытные беспечно успокаиваются после первого обманчивого успеха. Масса, на сочувствии которой основывалась сила крайних партий, уже воображала себя совершенной победительницей, она воображала, что противники, низвергнутые в феврале, уже бессильны; что умеренные республиканцы, союзники массы в феврале, будут исполнять ее желания, потому что сделали на словах несколько уступок этим желаниям.

Под влиянием всех этих обстоятельств умеренные республиканцы решительно восторжествовали на выборах в Национальное собрание; крайние партии, и прежде имевшие мало влияния на управление делами, совершенно лишились его, когда с открытием Национального собрания временное правительство сложило с себя власть и она была передана Исполнительной комиссии, в которой уже исключительно господствовали умеренные республиканцы.

Теперь эта партия, до сих пор стеснявшаяся в своих действиях противоречием меньшинства временного правительства, могла беспрепятственно принимать меры, казавшиеся ей нужными. Первой из этих мер было призвание сильных отрядов войска в Париж и его окрестности. Крайние партии опирались на парижских работников,— умеренные республиканцы старались, как мы видели, подчинить этот класс своему влиянию; но все-таки он имел других предводителей, его желания были в сущности несогласны с желаниями умеренных республиканцев, его требования казались им гибельными для общества химе-

рами; работники внушали сильное опасение умеренным республиканцам. Для обуздания этих многочисленных недовольных необходимо было войско.

Когда сильное войско было сосредоточено в Париже и его окрестностях, умеренные республиканцы гораздо прямее, нежели прежде, начали говорить, что преобразования, которых желают работники, нелепы, и правительство не может исполнить их. Разочарование овладело умами и тех из работников, которые до сих пор сохраняли надежду на то, что Национальное собрание постановит законы, изменяющие материальное положение рабочего класса. Предводители крайних партий по-прежнему убеждали массу не прибегать к насилиям, ожидать исполнения своих желаний от употребления средств, которые давались к тому законным правом участвовать в выборах. Судя по всему, эти увещания и собственное благоразумие удержали бы низший класс от смут, если бы правительство не приступило к уничтожению Национальных мастерских способом столь же неблагоприятным, как неблагоприятен был способ их учреждения.

Правительство теперь твердо опиралось на армию. Ему уже можно было обойтись без союза с защитниками ненадежными, — надобность, для которой до сих пор содержались Национальные мастерские, прекратилась. Решено было закрыть их. Работники их будут недовольны? Это не важность: при многочисленной армии они не посмеют противиться.

И вот для закрытия Национальных мастерских приняты были быстрые меры — меры, в которых самонадеянное легкомыслие странным образом смешивалось с трусливою торопливостью, грубая жестокость — с изворотливым коварством.

Самый недалекovidный человек мог бы, по-видимому, понять, что опасно вдруг отнимать содержание у массы в 150 000 человек, организованной подобно войску, не предоставив этим людям никаких других средств к существованию; но умеренные республиканцы успокаивались надеждой на силу собранной ими армии и без всяких церемоний вдруг объявили, что Национальные мастерские уничтожаются, потому что государство не может содержать на свой счет огромную толпу тунеядцев.

Прекрасно; но в каком положении видели теперь себя эти 150 000 людей, которых до сих пор кормило правительство? Фабрики были закрыты; промышленный кризис продолжался, и не было даже надежды, что он скоро пре-

кратится. Благоразумие требовало бы от правительства, чтобы оно помогло фабрикам возобновить работу и распускало людей из Национальных мастерских только по мере того, как они могли бы находить себе занятие в частной промышленности. Это не было сделано. Занятий не могли они найти себе никаких. Они оставались без всяких средств к существованию. Они могли только умирать с голоду на улицах Парижа.

Неужели этого не предвидело правительство? Нет, предвидело и потому приняло следующие меры: молодым и здоровым людям предложило оно поступать в солдаты, а тех, которые неспособны сделаться хорошими солдатами, оно приказало развозить из Парижа по провинциальным городам.

Легко было предугадать, какой вид получают в глазах работников эти меры, которые начали приводиться в исполнение без излишнего внимания к желанию или нежеланию воспользоваться ими со стороны работников. «Нас насильно, противозаконно берут в солдаты, нас насильно развозят по разным городам, в которых так же закрыты фабрики, в которых так же нет нам работы, в которых так же останется нам только умирать с голоду, как и в Париже», — иначе не могли думать несчастные. «Нас развозят затем, что в соединении мы сильные; разделив нас, они легче управятся с нами, как хотят».

Ясно было, что Эмиль Тома при своем гуманном характере, при своей заботливости об участи людей, которыми управлял, не согласится быть исполнителем таких мер. Он говорил, что нельзя так круто повернуть этого дела, что надобно приготовить занятие распускаемым работникам, сокращать Национальные мастерские только по мере пробуждения деятельности на частных фабриках и т. п. И вот придумали новую меру, чтобы избавиться от него. Его призвали к министру публичных работ (министром был тогда Трела; Мари, прежний министр, был членом Исполнительной комиссии, руководившей действиями министров), — министр сказал ему, что для закрытия Национальных мастерских нужен администратор с характером более твердым, что если работники узнают об его отрешении, они могут воспротивиться, собраться вокруг прежнего любимого начальника, наделать беспорядков. «Потому немедленно отправляйтесь из Парижа, так чтобы этого никто не знал, оставайтесь в провинции, куда я посылаю вас, пока здесь все будет кончено. Тогда я возвращу вас в Париж». Эмиль Тома доказывал, что его вне-

запное удаление встревожит работников, усилит их подозрения, — напрасно. Он сказал, что по совести не может повиноваться, зная, что его удаление из Парижа будет иметь гибельные следствия. Тогда министр объявил, что принужден выслать его из Парижа насильно, — призвал чиновников, которым поручил взять его под стражу и немедленно уехать с ним из Парижа. Это было исполнено в ту же минуту, и для лучшего сохранения тайны даже семейству Эмиля Тома не было сказано, куда он исчез.

Следствие было совершенно таково, как предсказывал он.

Любимый начальник, которому верили, внезапно исчез — он пошел к министру и не возвращался более. «Он брошен в тюрьму», — говорили одни работники. «Он убит министром», — говорили другие. «Это потому, что он не хотел выдать нас; что же хотят сделать с нами? Как что, разве это не видно? Нас пошлют в Алжирию, где мы погибнем от климата и от кабил¹³; кого не пошлют в Алжирию, кого не берут в солдаты, тех насильно отвозят бог знает куда, развозят по провинциям, чтобы легче было поодиночке зажать нам рот, подавить нас; нас бросят без всяких средств к жизни, мы не найдем работы ни здесь, ни в провинциях — работ нет нигде. Мы обречены погибнуть от голода. Погибнуть от голода! А давно ли даны нам обещания, что каждый, не находящий работы в частной промышленности, получит работу от правительства? Исполняя этот декрет, правительство содержало нас, пока не имело войск, — теперь оно имеет войска и хочет поступить с нами так же, как поступал Гизо. Предатели, они хотят, чтобы мы погибали».

В самом деле, если ни Гизо в феврале, ни Исполнительная комиссия и Национальное собрание в июне не хотели губить работников для собственного удовольствия, то надобно было умеренным республиканцам признаться, что их управление сделало для исполнения требований рабочего класса ровно столько же, сколько и Гизо. Но Гизо по крайней мере не давал обещаний, а теперь дано было формальное обещание декретом временного правительства, еще за несколько недель торжественно подтверждено решением Национального собрания, — надежды были пробуждены, официально признаны справедливыми, — и вдруг правительство совершенно отрекается от всяких обязательств, столько раз данных. (Республиканцы все равно, как и Гизо, говорят: молчите, или мы заставим вас молчать штыками и картечью.)

Сто пятьдесят тысяч человек оставляются без всяких средств к существованию, начальник, которого они любили, коварно отнят у них, их насильно берут и увозят из Парижа, им изменили. А между тем они организованы подобно армии, неужели они отдадутся на жертву без сопротивления?

Ошибки правительства привели к неизбежной междоусобной войне.

В тот же день, как было объявлено решение Национального собрания закрыть Национальные мастерские, как исчез Эмиль Тома и начались наборы работников для поступления в солдаты и для рассеяния по провинциям (22 июня), работники послали депутатов протестовать против этих распоряжений. Член Исполнительной комиссии, бывший министр публичных работ, Мари, принял депутатов очень дурно и сказал, что работникам остается только одно — безусловно повиниться.

На следующее утро (23 июня) вспыхнуло восстание. Целый день оно усиливалось, и вечером Национальное собрание передало исполнительную власть Кавеньяку, который, как военный министр, с самого начала руководил действиями армии. <Париж был объявлен в осадном положении.>

Мы не будем рассказывать подробностей отчаянной борьбы, продолжавшейся три дня; нас, вероятно и читателя также, интересует не стратегическая сторона этого страшного междоусобия, а причины, его вызвавшие, характер его и следствия, к которым оно привело французскую нацию.

Причины мы исчислили; некоторым читателям, быть может, покажется, что наше объяснение неполно, что мы опустили из виду влияние клубов, интриги так называемых демагогов, честолюбие предводителей крайних партий; действительно, всему этому приписывал очень большое участие в июньских событиях отчет, составленный докладчиком следственной комиссии, назначенной по этому делу, Кентеном Бошаром; но этот доклад, внушенный чувством ненависти, давно отвергнут общественным мнением и тогда же отвергался людьми беспристрастными и проникательными. Мы укажем один случай и приведем одно свидетельство, чтобы читатель мог судить о том, как смотрели еще тогда основательные и справедливые судьи на содержание этого доклада.

Следственная комиссия, составленная наполовину из умеренных республиканцев, наполовину из орлеанистов

и легитимистов, которые ободрились после июньских дней, главным виновником смут, обуревавших Францию со времени провозглашения республики до июньских дней, выставила Луи Блана, на которого сваливали также учреждение Национальных мастерских, устроенных будто бы по его плану. Но Луи Блан и Коссидьер, обвиняемый вместе с ним (хотя они были враги между собою), в то время были представителями нации (членами Национального собрания), а представители могли быть подвергаемы судебному преследованию не иначе, как только с разрешения Собрания. Правительство потребовало этого разрешения, — Собранию был предложен вопрос: находит ли оно достаточные поводы подозревать участие Луи Блана в майских и июньских событиях и находит ли нужным предать его суду. Огромное большинство отвечало: «да». Но в числе меньшинства, находившего обвинение неосновательным и улики фальшивыми, был между прочим и Бастиа, известный экономист, который всеми силами боролся против учений, имевших тогда своим представителем Луи Блана. Партия, к которой принадлежал Бастиа, была скандализирована тем, что он подал голос в оправдание Луи Блана, но вот что он писал в тот же вечер к ближайшему из своих друзей, Кудре:

«Ныне на рассвете решено великое дело о докладе следственной комиссии, так тяжело беспокоившее и Собрание и Францию. Собрание дало согласие на судебное преследование Луи Блана и Коссидьера за участие в преступлении 15 мая. У нас, быть может, удивится, что в этом деле я подал голос против правительства. Я хотел было постоянно отдавать моим избирателям отчет в соображениях, по которым подаю так или иначе голос по каждому делу; только недосуг и нездоровье помешали мне исполнить это; но настоящий случай так важен, что я должен объяснить причины моего мнения. Правительство считало отдачу под суд этих двух представителей необходимостью; говорили даже, что только этим оно может удержать на своей стороне национальную гвардию, но мне казалось, что даже и это соображение не дает мне права заглянуть в себе голоса совести. Ты знаешь, что учение Луи Блана не имело, быть может, в целой Франции противника более решительного, нежели я. Я убежден, что эти системы имели губительное влияние на образ мыслей и через то на поступки работников. Но разве мы должны были решать вопрос о справедливости его системы? Каждый человек, имеющий какое-нибудь убеждение, по необходимости считает губительным противное убеждение. Когда католики жгли протестантов, они жгли их потому, что считали их образ мыслей не только ошибочным, но и опасным. По этому принципу нам всем пришлось бы перерезать друг друга.

Итак, надобно было смотреть на то, действительно ли Луи Блан виноват в фактах заговора и восстания? Мне казался он невиновным, и никто, прочитав его защитительную речь, не может не сказать, что он невиновен. А между тем я не могу не помнить, в каких мы теперь обстоятельствах: у нас осадное положение, правильная судебная власть от-

странена, свобода отнята у журналов. Мог ли я выдать двух представителей их политическим противникам в такое время, когда нет никаких гарантий? Это — дело, которому я не могу содействовать, это — первый шаг по пути, на который я не могу вступить.

Я не осуждаю Кавеньяка за то, что он на время отменил действие всех законных гарантий, я думаю, что эта печальная необходимость столь же прискорбна ему, как и нам; притом она может быть оправдана тем, чем оправдывается все, — спасением общества. Но для спасения общества требовалось ли, чтобы двое из наших товарищей были преданы на жертву? Я не думаю. Напротив, мне кажется, что такое дело может только поселить между нами раздор, ожесточить ненависть, положить бездну между партиями не только в Собрании, но и в целой Франции; мне казалось, что при настоящем положении внешних и внутренних дел, когда нация страдает, когда ей нужны порядок, доверие, прочные учреждения, единодушие, — при таких обстоятельствах не время ввергать в раздор представителей нации. Мне кажется, что лучше бы нам забыть о наших жалобах и неприятностях, чтобы позаботиться о благе страны; потому я радовался, что нет ясных фактов в обвинение моих товарищей и что я не обязан выдавать их.

Большинство думало иначе. Дай бог, чтобы оно не ошиблось! Дай бог, чтобы решение, принятое ныне, не сделалось гибельным для республики!

Если ты найдешь нужным, я уполномочиваю тебя послать отрывок из этого письма в газеты.

Через несколько дней, возвращаясь к тому же предмету в другом письме к Кудре, Бастиа продолжает:

«Говорят, что я уступил страху; страх был с другой стороны. Или эти господа (избиратели департамента, представителем которого был Бастиа) думают, что для борьбы против страстей, овладевающих обществом, нужно в Париже менее мужества, нежели в департаментах? Нам грозили гневом национальной гвардии, если мы отвергнем требование судебного преследования. Эта угроза выходила от людей, располагающих военной силой. Стало быть, страх мог заставлять класть черные шары, но не белые шары. Нужна высокая степень нелепости и тупости, чтобы вообразить, будто требуется особенное мужество для подачи голоса в пользу той стороны, на которой стоит насилие, армия, национальная гвардия, большинство Национального собрания, влечение обстоятельства, правительство.

Читал ли ты следственный акт? Читал ли ты показание бывшего министра Трела? В показании говорится: «Я был в Клиши, я там не видел Луи Блана, не слышал, чтобы он был там; но в жестах, в физиономии, в самых звуках голоса работников я видел следы того, что он был там». Высказывалась ли когда-нибудь политическая несправедливость с более опасными тенденциями? Три четверти следственного акта составлены в таком духе!

Словом, сказать по совести... я не думаю, чтобы Луи Блан принимал участие в майском и июньском возмущениях, и этим объясняется, почему я подаю голос против обвинения».

Свидетельство Бастиа в этом случае не может подлежать подозрению; он был самый резкий, самый отважный и самый сильный противник тех людей, которых теперь хотел защитить от обвинений.

В самом деле, невозможно читать обвинительный акт, не видя, что он составлен под влиянием страха и ненависти. Эти чувства и прежде руководили действиями чистых республиканцев относительно партий, разделявших с ними власть от февраля до июня; под влиянием этих чувств учредились и потом были закрыты Национальные мастерские, закрытие которых было ближайшим поводом междуусобия. Влиянием этих чувств было и вообще создано то положение государственных дел во Франции, неизбежным результатом которого было междуусобие. Другие причины, о которых они так много говорили, или вовсе не существовали, или оказывали только ничтожное влияние. Предводители партий, благоприятствовавших требованиям рабочего класса, старались всеми средствами удержать работников в пределах законности, старались отвлечь их от всяких попыток к действию вооруженной силой; многие клубы действовали в противном смысле, но влияние их на массу было незначительно; наконец, ничего подобного заговору не было в междуусобии июньских дней: получив отказ 22 июня ввечеру, работники условились открыто, на площади, что завтра возьмутся за оружие.

Именно отсутствием влияний, чаще всего пробуждавших беспокойства во Франции, июньское междуусобие отличается от других парижских междуусобий; в этом отсутствии обыкновенных элементов мятежей и заключается тайна громадной силы, обнаруженной инсургентами июньских дней, и ужаса, произведенного этой резней. Массы шли на битву без всяких предводителей; ни одного сколько-нибудь известного человека не было между инсургентами. Чего хотели они? Это до сих пор остается смутно для того, кто не считает достаточным объяснением их мятежа перспективу голодной смерти, открывшуюся перед ними. То не были ни коммунисты, ни социалисты, ни красные республиканцы, — эти партии не участвовали в битвах июньских дней; чего хотели они? Улучшения своей участи; но какими средствами могло быть улучшено положение рабочего класса, если бы он одержал верх? Это было темно для самих инсургентов, и тем страшнее казались их желания противникам; чего же они хотели, если не были даже коммунистами? (Победители говорили, что они хотели грабить, но они наличными деньгами расплачивались за все, что брали в лавках. Это открылось после; но в те дни инсургенты казались какими-то варварами, цель которых — разрушение общества.) Отчаяние — вот

единственное объяснение июньских дней, оно составляет отличительный характер этого восстания. Инсургенты сражались не для ниспровержения или установления какой-нибудь политической формы,— они не имели ни определенного политического образа мыслей, ни определенных требований от правительства или общества, кроме одного требования: они хотели иметь работу и кусок хлеба, доставляемый работой, и думали, что противники хотят истребить их, чтобы не давать ни хлеба, ни работы, столько раз торжественно обещанной. Оттого-то и дрались они с таким отчаянным мужеством. Их было тысяч сорок; далеко не все работники Парижа, далеко не все работники Национальных мастерских взялись за оружие: надежды на успех почти не было, инсургенты шли на гибель почти несомненную, и потому к ним не присоединялся никто из работников, сохранивших или хладнокровие в своей горести, или вероятность иметь работу на фабриках. Зато отважившиеся на битву почти безнадежную дрались с энергией, какой не было ни в июле 1830 года, ни в феврале 1848 года. Против них выведены были регулярные войска, гораздо многочисленнейшие, выступала национальная гвардия Парижа, еще более многочисленная, выведена была «подвижная гвардия», *garde mobile*, составленная из отчаянных юношей парижской бездомной жизни, выдвинута была страшная артиллерия тяжелого калибра,— всего было мало, постоянно прибывали по железным дорогам новые войска и новые отряды национальной гвардии из всех городов Франции, и только на четвертый день это громадное превосходство в силах подавило мятеж,— да и этой медленной победой противники инсургентов были обязаны только новой системе борьбы, которую Кавеньяк применил к делу с редким искусством и еще более редкой непоколебимостью.

Система эта состояла в том, чтобы сосредоточивать огромные силы на одном пункте, избранном для наступательного движения, держась на всех остальных пунктах только в оборонительном положении. Наступление имело первой целью разорвать сообщение между различными частями города, бывшими в руках инсургентов; потом, когда эти отрезанные одна от другой части не могли уже подавать помощи друг другу, брать постепенно одну часть за другой. Знатоки военного дела говорят, что этот план был превосходно и задуман и исполнен Кавеньяком и что при всякой другой системе борьбы инсургенты на некоторое время, по всей вероятности, овладели бы всем Пари-

жем. Но и этой системе, доставившей победу, инсургенты долго противились с таким успехом, что 25 июня Кавеньяк еще не ручался за победу и считал опасность столь великой, что вместе с президентом Национального собрания принял меры перенести Собрание и резиденцию правительства в Сен-Клу или в Версаль, если бы инсургенты восторжествовали в Париже. Картечь, бомбы и ядра трое суток осыпали кварталы, занятые инсургентами, — и только это страшное действие артиллерии доставляло перевес регулярному войску. Рукопашные битвы были чрезвычайно упорны. Число убитых с той и с другой стороны остается неизвестным; правительство должно было уменьшить потерю своих защитников и врагов, но и оно показывало ее в пять тысяч; другие известия говорят о десяти и более тысячах, и, быть может, даже эта цифра не достигает еще ужасной действительной потери. Ветераны наполеоновских времен говорили, что никакой штурм неприятельской крепости во времена Первой империи не был так кровопролитен. Есть положительный факт, слишком достоверно свидетельствующий о верности этого впечатления: из четырнадцати генералов, командовавших войсками, шестеро были убиты, пять других были ранены, и только трое уцелели, — да и из этих последних под Ламорисьером были убиты две лошади.

⟨Много злодейств было совершено с обеих сторон в ожесточении битвы, потому что с обеих сторон за сражающимися укрывалось много преступников, пользовавшихся бешенством сражения для насыщения своего зверства. Так, несколькими негодьями со стороны инсургентов был убит генерал Бреа, захваченный в плен, но с противной стороны число страшных примеров жестокости было еще значительнее. Рассвирепевшие солдаты и особенно подвижная гвардия, ворвавшись в дом, занятый инсургентами, часто убивала всех, кого там находила, — стариков, женщин, детей; множество совершенно невинных людей, имевших несчастье попасться в руки армии и подвижной гвардии, были расстреляны по подозрению, что они расположены в пользу инсургентов, — и потом оказалось, что они вовсе не имели и мысли об этом; расстреливание пленных инсургентов было в таком обычае, что об этих случаях никто уже и не говорит; словом, читая рассказы об ужасах, совершенных национальной гвардией, подвижной гвардией и солдатами, видишь, что недаром было потом в употреблении у парижан выражение «Кавеньяковские палачи», *les bourreaux de Cavaignac*.)⟩

Как полководец, Кавеньяк в эти страшные дни действовал превосходно. Все знатоки военного дела утверждают это. Кроме стратегических талантов, он выказал качество еще более редкое — непреклонную энергию воли, когда, несмотря ни на какие просьбы, внушаемые нетерпением, твердо следовал своему плану, который один мог вести к победе, и, действуя шаг за шагом, не сделал ни одного опрометчивого движения. Как частный человек, он также вел себя безукоризненно: напрасно враги его обвиняли, что он употребил какие-нибудь интриги для достижения диктатуры: это низкая клевета; он верно служил Исполнительной комиссии, пока она существовала, и когда она была уничтожена Национальным собранием и вся власть передана ему, то было благоразумным решением самого Собрания, и ни сам Кавеньяк, ни его друзья не сделали ни одного шага, чтобы внушить это решение. По окончании битвы он явился в Собрание, возвращая ему власть, которой был облечен на время битвы, и опять совершенно ничего не искал; когда Собрание просило его сохранить власть и сделаться главой правительства, он, приняв это высокое поручение, нимало не утратил простоты своих нравов, продолжал быть совершенно прежним человеком и постоянно не только говорил, но и действовал совершенно сообразно сущности своих обязанностей, всегда признавая себя только доверенным лицом Собрания, вручившего ему власть, и ни разу не сделал ни одного шага для того, чтобы расширить пределы этой власти или отказать в повиновении Собранию, которое совершенно вверилось его честности. Словом, как частный человек, он выказал характер, достойный Вашингтона. Но как государственный человек, Кавеньяк, к сожалению, не обнаружил ни особенной проницательности, ни особенных дарований: подобно всей своей партии, он поступил вовсе не предусмотрительно и не расчетливо. Великим несчастьем для него и всей партии было уже то, что се ошибками дела были доведены до июньского междоусобия; но в этом не был виноват Кавеньяк, он не управлял государством, не имел значительного влияния на ход событий до июня, — он ограничивался до той поры почти только своими специальными занятиями по должности военного министра и управлял этой частью хорошо. Потому теперь, когда управление перешло в руки его, человека, не причастного прежним ошибкам, правительство умеренных республиканцев могло бы явиться перед нацией как бы отказавшимся, очищенным от прежних гибельных промахов

и восстановить свою популярность. Для этого битву следовало бы вести со всевозможной готовностью к примирению, и тогда генерал, принявший власть среди громов междоусобия, представился бы не столько победителем одного класса своих сограждан во имя других классов, сколько миротворцем. Но Кавеньяк явился не более как только хорошим генералом, смотрящим на гражданские дела глазами своих политических друзей; а политические друзья его, к сожалению, во всем считая себя правыми относительно прошедшего, не находили в самых действиях своего прежнего управления объяснений восстания и потому считали это восстание возникшим единственно вследствие желаний, губительных для общества; они слишком поверили своей фразе, которую любили повторять в апреле и мае: «варвары у ворот наших» — *les barbares sont à nos portes*; они увидели в жалких, голодных рабочих не несчастных, доведенных до безрассудной дерзости отчаянием, а злодеев, принявшихся за оружие чисто с намерением грабить и резать. Сообразно такому понятию и повели они борьбу против них, — не как против сограждан, а будто против каких-нибудь каннибалов, беспощадно, безжалостно. (Ожесточение со стороны национальной гвардии, составившей опору умеренных республиканцев, и зверские поступки со стороны шестнадцатилетних-восемнадцатилетних воинов подвижной гвардии, увлеченных опрометчивостью кипучей молодости и вином, вызвали много примером такой же жестокости со стороны инсургентов — умеренные республиканцы с каким-то самодовольством ослепились этими отдельными случаями, оправдавшими их мнение, и допустили себя совершенно забыть о причинах восстания, лежавших в их собственных действиях.

Битва шла зверски с обеих сторон. Она необходимо должна была оставить много ненавистных следов в памяти обеих сражавшихся сторон. Но пусть инсургенты были варвары, пусть имели право умеренные республиканцы не давать им пощады в битве, превратившейся оттого в резню с расстреливанием пленных, — пусть им извинительно было все это в предположении их, что инсургенты взялись за оружие не для защиты себя от голодной смерти, а для грабежа их, умеренных республиканцев; но вот победа стала решительно склоняться на сторону войска и национальной гвардии.) Наконец инсургенты потеряли всякую надежду на успех. Это было на третий день восстания, на другой день ожесточенной битвы 25 июня. В этот момент

возникали для умеренных республиканцев новые соображения, которыми должен был бы измениться характер следующего дня, если бы умеренные республиканцы были предусмотрительны.

Надежды противников уничтожены. Пусть прежде инсургенты заслуживали истребления как хищные звери; но следует ли теперь доканчивать их истребление, когда они убедились в неизбежности своего поражения? Продолжение борьбы, уже ненужной для отвращения от себя опасности,— опасность уже отвращена,— не введет ли умеренных республиканцев в новую опасность?

С точки зрения собственных убеждений они должны были принять в соображение следующие факты. Они, умеренные республиканцы, хотели утвердить во Франции республиканскую форму правления. Какой класс нации был единственным преданным защитником этой формы? Только класс работников; кроме работников, искренними республиканцами были только немногие отдельные люди, по своей малочисленности не могшие удержаться против высших классов и поселян, желавших низвержения республики. Прежде, положим, работники увлекались губительными химерами,— теперь исчезли их надежды на осуществление этих других желаний; из всех их чувств остается имеющим практическую силу только преданность республиканской форме. Причины, ожесточившие умеренных республиканцев против них, уже не существуют, существует только одно общее обеим сторонам стремление поддержать республику. Ясно было, что (вчерашние враги должны были теперь искать сближения между собою; ясно, что) умеренные республиканцы должны были постараться прекратить борьбу с ними. И каков будет результат, если борьба продолжится до истребления противников? Подавлен будет класс, который один предан республиканской форме,— она останется беззащитна, она падет, и с нею умеренные республиканцы погибнут сами.

Продолжение борьбы было губительно для них. Они должны были искать примирения с укрошенными ныне вчерашними противниками.

Они не только не сделали этого, они отвергли просьбу о примирении или хотя просто о пощаде, с которой пришли к ним инсургенты.

Это было в ночь с 25 на 26 июня. К президенту Национального собрания Сенару и к Кавеньяку явилась депутация инсургентов; она говорила, что инсургенты сдадутся, если им дана будет амнистия. Умеренные республиканцы

отвечали устами Сенара и Кавеньяка, что это предложение — глупость, что покорность от инсургентов только тогда может быть принята, когда они сдадутся безусловно, на жизнь и на смерть. «Иначе нечего и хлопотать вам, являться ко мне,— сказал Кавеньяк депутации.— Я отвергаю всякие другие предложения».

Инсургенты могли ошибаться в значении слов «безусловная сдача на волю победителей»: быть может, умеренные республиканцы после этой сдачи оказались бы милостивее, нежели были до сих пор; но инсургентам натурально мог представляться в их требовании только один смысл, слишком ясно показанный в два предыдущие дня беспощадным употреблением картечи, расстреливанием инсургентов, попадавших в плен, убийствами людей безоружных, стариков и женщин, неистовствами подвижной гвардии. Они в ответе Сенара и Кавеньяка не могли видеть ничего иного, как требование итти под военный суд, по законам которого каждый инсургент подвергался расстреливанию. Умеренные республиканцы должны были знать, что иначе не может быть понято их требование. Отвергая просьбу о прощении, они сами говорили инсургентам: «Теперь вам не остается уже ничего, кроме как биться до последней капли крови, потому что пощады вам не будет».

То и случилось, к чему принуждали они этим инсургентов. На следующее утро (26 июня) с прежней беспощадностью возобновилась битва и кончилась в половине второго часа пополудни (так, как желали умеренные республиканцы) совершенным подавлением инсургентов.

Истребляемые в Париже, они бежали из города, рассеялись по окрестностям. Повсюду были посланы команды ловить их. Их находили попрятавшихся в лесах, скитающихся по полям, и скоро парижские тюрьмы переполнились пленными, переполнились ими казармы парижских фортов, все укрепленные здания в Париже, так что, наконец, пришлось набить ими даже подземный ход, который вел из Тюльери к Сене и который устроил себе на случай бегства Луи-Филипп. Число этих военнопленных простиралось до 14 000 человек.

Они все были отданы под военный суд, почти все приговорены к ссылке, но еще до судебного приговора было уже сделано распоряжение о ссылке их: они были переведены на понтоны для отправления в ссылку. Можно вообразить себе, каков был военный суд при таких наклонностях умеренных республиканцев, при таком громадном числе подсудимых,— это было то, что называется до-

французски суд на скорую руку, justice sommaire. <Нечего говорить о том, много ли было захвачено людей совершенно понапрасну, по ошибке; нечего говорить о том, много ли из этих арестантов, нимало не прикосновенных возмущению, было оправдано и много ли осталось по-прежнему арестантами...>

Само собою разумеется, что общественное мнение, возмущенное этой ссылкой целой массы народа, массы, уже отправленной на понтоны без всякой формы суда, скоро принудило умеренных республиканцев к уступкам. Мало-помалу стали выпускать с понтонов одну партию пленных за другой, но все еще по прошествии целого года оставалось на понтонах несколько тысяч человек.

Ни Орлеанское, ни Бурбонское правительство не доходило до такого произвола. С того времени, как Наполеон в начале своего владычества без суда отправил в ссылку людей, ему опасных, не бывало во Франции подобных примеров. Но и наполеоновская ссылка была ничтожна перед этой произвольной мерой: тогда подвергнуты были произвольному наказанию всего сто, полтора ста человек, теперь подвергались многие тысячи людей.

<Таким-то образом началась диктатура Кавеньяка и полное владычество умеренных республиканцев во Франции. Они утвердились беспощадной победой в ужаснейшей из всех междоусобных битв, когда-либо заливавших Париж кровью; победа была завершена чудовищной ссылкой в противность всем понятиям о правосудии.>

Надобно ли говорить, что в этой ссылке еще более, нежели даже в самой беспощадности битвы, выразилась неспособность умеренных республиканцев понимать свое положение, их непредусмотрительность и бестактность? Государственным человеком достоин называться только тот, в ком благоразумие господствует над увлечениями страстей; но если мы даже извиним ослепление страстью во время борьбы, то по крайней мере по достижении совершенной победы рассудок должен вступить в свои права. Пусть умеренным республиканцам казалось нужно не только усмирить, но и совершенно обессилить работников. 26 июня это было сделано, и военные соображения должны были уступить место правительственным. Самое основное правило политического благоразумия говорит, что при внутренних раздорах победоносная сторона может укреплять свое господство только снисходительностью к побежденной, — так действовали все истинно государственные люди, от Юлия Цезаря до Наполеона. Умеренные

республиканцы не понимали этого. Если бы после своего полного торжества они дали амнистию побежденным, уже переставшим быть для них опасными, они прикрыли бы этой мантией милосердия многие свои ошибки, привлекли бы к себе многих, отчужденных междоусобием. Они этого не сделали, и озлобление, вселенное ожесточением битвы и ужасами победы, раздражалось и усиливалось холодной неуместностью напрасного мщения над людьми, которые уже не могли быть вредны победителям.

Таково было положение дел, когда умеренные республиканцы с диктатурой Кавеньяка приобрели безграничную власть во Франции. Ужасен и противен всем понятиям, — не говорим уже законности или гуманности, но всем понятиям обыкновенного житейского смысла, — был путь, который привел их к этому господству. Все, в чем некогда обвиняли они предшествовавшие правительства, было совершено ими в громаднейших размерах. Убийства в Трансноненской улице, апрельские судебные преследования¹⁴, за которые они так осуждали Орлеанское правительство, были ничтожной шуткой сравнительно с июньскими убийствами, расстреливаниями и ссылкой целых масс. Если бы кто-нибудь сказал умеренным республиканцам накануне февральских событий, что они совершат такие дела для сохранения власти, которую тогда готовились они приобрести, они с негодованием отвергли бы такое предсказание как нелепый бред. А между тем все совершившееся в июне было неизбежным следствием той системы, которая привела их к февральскому торжеству. Если бы предусмотрительность их не была помрачена политической страстью, они в начале 1848 года видели бы, что начинают игру слишком двусмысленную и страшную, — игру, которая необходимо приведет их в случае успеха к зверскому истреблению людей, которых они тогда призывали на помощь себе.

Сами они были малочисленны и слабы в начале 1848 года. Они одни не могли ничего сделать против Орлеанского правительства, которое хотели низвергнуть. Они вздумали вступить в союз с работниками и силой этого класса достигли своей цели.

Но чем они могли возбудить работников? Работники желали не перемены политических форм, а преобразований, которыми улучшилось бы их общественное положение. И вот республиканцы уверили их, что эти улучшения будут произведены республикой. Такой ценой приобрели они союз. Но могли ли они в самом деле исполнить свои

обещания? Нет, желания работников признавали они несбыточными, гибельными химерами. При этом благоразумен ли был союз? Он основывался на самообольщении с обеих сторон. Работники думали получить себе удовлетворение через людей, которые в сущности были так же враждебны их желаниям, как Гизо и Дюшатель. Умеренные республиканцы воображали, что удержать работников им будет так же легко, как и возбудить их. Известно, каковы всегда бывают результаты союзов, основанных на том, что один союзник надеется достичь цели, которая отвергается другим; эти союзы ведут к смертельной вражде между союзниками. Так было и тут. Возбуждая надежды, которых не могли удовлетворить, умеренные республиканцы должны были знать, что им придется отвергать требования, которым они льстили. В этих требованиях работники видели вопрос о жизни и смерти для себя — нельзя было не угадать, что для отвержения этих требований нужна будет смертельная битва против работников.

Но формалисты ничего не предвидят. Умеренные республиканцы легкомысленно повели в феврале против Орлеанского правительства людей, с которыми еще гораздо менее могли ужиться в согласии, нежели с Орлеанским правительством. Если бы они предвидели июнь, они отказались бы от вражды против Орлеанского правительства в феврале.

История возвышения партии умеренных республиканцев представляется поразительным примером того, как неизбежно осуществляется историей правило, внушаемое здравым смыслом и так часто забываемое в увлечении политических страстей: нужно подумать о том, каковы существенные желания людей, прежде нежели искать их содействия. Если бы работники и республиканцы понимали друг друга, они ни в коем случае не начали бы вместе действовать против Орлеанского правительства, потому что между ними было противоречие еще более важное, нежели причины их недовольства министерством Гизо.

Союз их был ненатурален, он привел к нелепости, — нелепость в исторических действиях ведет к событиям, гибельным для страны.

Правда и то, что противоестественный союз между партиями, смертельно враждебными по сущности своих желаний, был произведен столь же противными здравому смыслу действиями Гизо, его покровителей и партизанов. Только самообольщение (Орлеанской системы) породило самообольщение в противниках, — это очевидно для вся-

кого, кто припоминает историю времен, предшествовавших во Франции февральским событиям, и первая вина за ужасы, совершенные после того, падает на людей, которые довели дела Франции до нелепого положения, породившего февральские события. Здесь не место доказывать это, — мы хотели только изложить, каким рядом обманов и насилий умеренные республиканцы должны были выпутываться из того фальшивого положения, в которое стали для низвержения Орлеанской системы, какие нелепости и ужасы были необходимым условием утверждения их власти над Францией. Теперь нам должно рассказать вторую половину их истории; мы знаем, каким образом достигли они власти, теперь посмотрим, каким образом потеряли они власть; за возвышением их быстро последовало падение, и мы увидим, что падение было неизбежным следствием тех фальшивых или жестоких средств, которыми они достигли власти, и той несоответственности их убеждений с потребностями французского общества, которая с самого начала делала для них невозможным прямой и самостоятельный образ действий.

II

Июньская победа передала в руки умеренных республиканцев всю правительственную власть над Францией. Ужасным путем достигли они до этого торжества, и мы видели, что неизбежен был для них этот путь после той основной ошибки, которая сделана была в начале 1848 года умеренными республиканцами и парижскими работниками. Две партии, стремления которых были непримиримо противоположны, соединились тогда между собой для низвержения противников, которые по своим убеждениям гораздо менее разнились от умеренных республиканцев, нежели умеренные республиканцы от своих союзников. Результатом обманчивого союза на словах при полнейшем разномыслии в желаниях была неизбежная необходимость двум на время слившимся партиям тотчас после одержанной в союзе победы вступить между собою в борьбу гораздо более серьезную, нежели та, в которой общими силами они низвергли Орлеанскую систему. Фальшивые исторические положения всегда дорого обходятся государству, но иногда бывают выгодны для тех, которые ставят в них государство, — это тогда, когда одна из партий, вступающих в обманчивый союз, хитрит и коварствует. Но тут обе партии действовали не по хитрому расчету, а по соображениям

при всей своей ошибочности прямодушным, и потому обе проиграли от ошибки, в которую одна увлечена была другою. Парижские работники за союз с умеренными республиканцами расплатились тем, что надолго остались без куска хлеба и тысячами погибли в битве, тысячами были брошены в темницы. Умеренные республиканцы заплатились тем, что пробудили ненависть к себе во всех тех классах населения, любовью которых дорожили.

Очень трудно было положение умеренных республиканцев после июньских дней, хотя вся правительственная власть была в их руках. Сами по себе они были малочисленны и слабы; они могли держаться, только опираясь на другие партии, которые тогда все сливались в два большие лагеря, почти поровну делившие между собою все народонаселение Франции.

С одной стороны, соединились в одну массу все те (партии), идеал которых был не в будущем, а в прошедшем. Некогда они распадались на враждебные партии легитимистов и орлеанистов, смертельно ненавидевшие друг друга. Но теперь вражда их умолкла под грозою, одинаково страшной для всего, чем дорожили все они одинаково. В прежнее время был между ними спор о том, классу землевладельцев или классу капиталистов владычествовать во Франции, фамильным преданиям с придворными нравами и феодальными стремлениями или промышленной спекуляции с биржевыми правилами и узким либерализмом хитрого эгоизма. Теперь тот и другой интерес подвергался одинаковой опасности, и для своего спасения оба они слились в один интерес — интерес возвращения господства над законами и администрацией тому, что называется превосходством по имуществу или значительностью в обществе. Люди, которым лично выгодно это возвращение, немногочисленны во Франции, (как и везде они немногочисленны). Но тогда (во Франции, как и почти всегда во всех странах) каждый из них имел за собою более или менее значительное число клиентов, привыкших слушаться или поставленных в необходимость повиноваться ему. Так за капиталистами шли очень многие из людей, зависевших от них по промышленным делам, и голосу их следовало большинство в сословии торгующих людей и рентьеров, хотя эти маленькие люди, если бы ясно сознавали свои выгоды, могли бы заметить, что биржа и банкиры вовсе не представляют их интересов. За большими землевладельцами во многих провинциях шли поселяне; по воспоминаниям феодальных времен и по ульт-

рамонтанским стремлениям заодно с большими землевладельцами было католическое духовенство, пользовавшееся очень значительным влиянием на поселян. Таким образом лагерь, желавший восстановления старого порядка, располагал очень значительными силами.

С другой стороны, были люди, желавшие, как мы говорили, изменений в материальных отношениях сословий, желавшие законодательных и административных мер для улучшения быта низших классов. Естественно было бы полагать, что вся масса простолюдинов станет на этой стороне. Но знание о новых мерах, предполагавшихся в их пользу, было распространено только между простолюдинами больших городов. Поселянин во Франции ничего не читал, почти не встречал образованных людей, которые рассказали бы ему, в чем дело. Потому реформаторы имели на своей стороне только городских простолюдинов; из сельского населения, погруженного в совершенное незнание, большая половина следовала за своими обычными авторитетами — землевладельцами и духовенством, и только в немногих, ближайших к большим городам округах поселяне сочувствовали идеям городских простолюдинов.

Посредине между этих двух огромных лагерей стояла немногочисленная армия умеренных республиканцев. С тем и другим станом были у ней сильные причины к несогласию, но с тем вместе и важные точки соприкосновения, подававшие возможность к сближению.

От партий, желавших сохранения общественного быта в прежнем его виде, умеренные республиканцы разделялись воспоминаниями жестокой вражды с конца прошлого века до низвержения Орлеанской системы. Еще важнее было разногласие в мнениях о форме правительства. Реакционеры ужасались слова «республика» — не потому, что в самом деле были искренними монархистами, а просто потому, что представляли республику осуществлением безграничной демократии.

От реформаторов умеренные республиканцы отделялись также воспоминаниями о борьбе, которая была менее продолжительна, но еще более жестока, нежели борьба с реакционерами; притом же и воспоминания эти были свежее; последний и самый страшный акт борьбы только что совершился, и продолжались еще его последствия: осадное положение, арест нескольких тысяч человек, стеснение газет и т. д. О коренном разногласии в идеях мы уже говорили: умеренные республиканцы хотели остано-

виться на изменении политической формы, реформаторы утверждали, что оно ничего не значит без изменения в словесных отношениях, которое умеренные республиканцы вместе с монархистами называли нелепой и гибельной химерой.

Причины к раздору были, как видим, чрезвычайно важны. Но отношения между тремя лагерями по материальной силе были таковы, что ни один сам по себе не мог управлять Францией нормальным и прочным образом, — получить решительный перевес в обществе могла каждая из трех главных партий не иначе, как в союзе с другой. Впоследствии времени были заключаемы такие союзы, — значит, они были возможны, несмотря на всю силу взаимных несогласий. Так в конце 1849 года умеренные республиканцы действовали дружно с реформаторами против реакционеров, а позднее — заодно с монархистами против Луи-Наполеона. Но тот и другой союз был слишком позднен. Вовремя враждебные партии не хотели и слышать о прекращении борьбы, которая поочередно погубила их. Теперь нас занимает история умеренных республиканцев; потому, оставляя в стороне ошибки, сделанные другими партиями, мы посмотрим только, какие ошибки были причиной низвержения этой партии (и какими мерами было бы возможно ей предотвратить несчастье, постигшее Францию).

В половине 1848 года все люди всех партий одинаково чувствовали, что первой необходимостью для Франции было учреждение прочного правительства. Прочность не зависела тут от имени и формы, а единственно от того, чтобы партия, которая управляла бы государством, имела бы на своей стороне решительное и прочное большинство в нации. Ни одна из партий, взятых в отдельности, не имела этого большинства, и всего менее могли обольщаться в этом случае умеренные республиканцы, на каждом шагу получавшие доказательства своей малочисленности. Кратчайшим путем к получению поддержки большинства был бы для них прямой союз с одной из двух многочисленных партий. На каких условиях был возможен тогда этот союз?

Реакционеры ужасались слова республика вовсе не потому, чтобы были искренними монархистами: они скоро примкнули к Луи-Наполеону, сопернику Бурбонов и Орлеанского дома. Истинной привязанности к монархической форме у большей части из них было так мало, что они с удовольствием согласились бы на республику, если

бы только сохранилось в этой республике преобладание высших классов. От республиканской формы умеренные республиканцы не могли бы отказаться ни в каком случае, но этой уступки пока от них и не требовалось бы; возможна ли была уступка, которая действительно требовалась реакционерами? Умеренные республиканцы имели чрезвычайное пристрастие называть себя демократами; вот именно эта-то прибавка к слову республиканец и возмущала реакционеров; а между тем был ли в этой прибавке какой-нибудь реальный смысл? Было ли практическое значение? По правде говоря, вовсе нет. Гордясь именем демократов, умеренные республиканцы гнушались именем демагогов, а демагогами называли всех тех, которые хотели действовать возбуждением масс для достижения целей, сообразных с выгодами масс. Какой же реальный смысл оставался после того за именем демократ? Тот, что умеренные республиканцы не хотели допустить такого преобладания аристократических элементов, какое видели в Англии; им больше нравилось устройство Северо-Американских Соединенных Штатов. Но во Франции аристократические элементы вовсе не имеют той силы, как в Англии, и далеко не имели в 1848 году притязания сделать из Франции Англию; все, чего в сущности желали они, ограничивалось спокойствием на улицах и сохранением прежних сословных отношений. В сущности того же самого желали и умеренные республиканцы. К чему же после того было умеренным республиканцам так шумно кричать о своем демократизме, запугивая этим громким словом добрых людей, не замечавших, что демократ становится пустейшим и бессильнейшим из людей, как скоро придумывает разницу между демократизмом и демагогией? Нерасчетливо было со стороны умеренных республиканцев отталкивать от себя реакционеров словом без реального значения; нерасчетливо было и со стороны реакционеров из-за пустой парадной похвалы отстраняться от людей, у которых за душой не было в сущности ничего непримиримого с тогдашними потребностями реакционеров.

Та и другая партия забывали об одинаковости своих настоящих желаний из-за споров об именах и исторических воспоминаниях. Они могли бы действовать дружно, но не хотели того. Реакционеры непременно хотели низвергнуть умеренных республиканцев из-за их пустой претензии на демократизм. Если умеренные республиканцы никак не решались отказаться от пустого слова для при-

влечения на свою сторону реакционеров, то не могли ли они вступить в союз с реформаторами?

Тут недоразумение было еще нелепее. Умеренные республиканцы, восхищаясь своим <ровно ни в чем дельном не состоявшим> демократизмом, еще с большим усердием кричали, что хотя они и демократы, но презирают и ужасаются демагогов. Крик о демагогах был так шумен и производился с таким серьезным выражением лица, как будто в самом деле в 1848 году Франции угрожали какие-нибудь Иоганны Лейденские и Томасы Мюнцеры или по крайней мере Дантоны. А на самом деле, каковы бы ни были идеи реформаторов, но сами реформаторы никак не должны были бы внушать ужаса,—справедливы или ошибочны, практичны или неосуществимы были их мнения, но сами по себе эти люди нимало не походили на возмутителей, опасных для спокойствия парижских улиц. Это были люди не уличных волнений, а ученых рассуждений в тишине кабинета, заваленного головоломными книгами; даже говорить в многочисленном обществе очень немногие из них были способны, и почти каждый из них был силен только с пером в руке, за письменным столом. Действия таких людей не могли в сущности представлять ничего опасного для материального порядка. Но, быть может, их мнения и требования были неудобноисполнимы или опасны?

О их общих теориях мы не хотим здесь говорить потому, что не их партия служит предметом нашей статьи: мы должны показать только их отношения, в последней половине 1848 года, к партии, главой которой был Кавеньяк. После июньских дней те силы, которыми могли бы осуществляться теории реформаторов, были сокрушены и надолго уничтожена всякая надежда реформаторов иметь правительственную власть. Дела приняли такой оборот, что надобно было ждать чрезвычайного влияния реакционной партии на ход событий. Требования реформаторов не простирались уже до того, чтобы их теории приводились в исполнение правительством; они почли бы себя чрезвычайно счастливыми уже и тогда, если бы хотя половина тех обещаний, которые два-три месяца тому назад давались не только умеренными республиканцами, но и реакционерами, была исполнена. И тут были громкие слова, служившие предметом споров, например «право на труд», но под громкими словами скрывались теперь требования самые скромные: хотя сколько-нибудь действительной заботливости со стороны правительства о помощи

стесненному положению низших классов, и реформаторы были бы довольны. Не только умеренные республиканцы, но и все рассудительные люди между реакционерами были убеждены в необходимости позаботиться об улучшении быта низших классов. В большинстве и умеренных республиканцев и даже реакционеров это убеждение было не только внушением расчета, но и искренним желанием. Кроме немногих нравственно-дурных людей, все желали позаботиться о распространении образования между простолюдными, об улучшении их квартир, об улучшении мелкого кредита, к которому они прибегают, об избавлении их от ростовщиков и т. д. Между умеренными республиканцами не было ни одного, который не имел бы этих желаний, а серьезной заботы об исполнении этих желаний было бы довольно для приобретения поддержки со стороны реформаторов. Но вместо того, чтобы заботиться о вещах, которые всем казались и полезны и практичны, умеренные республиканцы предпочли спорить против разных призраков и проводили время в опровержении требований, которых никто не предлагал, но существование которых предполагалось умеренными республиканцами. Самая простая, самая легкая мера вызывала против себя крики о невозможности и опасности, потому что под нею всегда предполагалась какая-нибудь громадная теория. Призрак материальной демагогии, за которую не хотел или не был способен приниматься ни один из реформаторов, и призрак утопических теорий, которых никто не хотел приводить в исполнение в тогдaшнее время, — эти нелепые призраки не давали умеренным республиканцам и подумать о союзе с реформаторами, которых им угодно было воображать себе сумасшедшими людоедами.

Таким образом по существенному положению серьезного дела умеренным республиканцам был бы возможен союз с каким угодно из двух враждебных лагерей, разделявших между собою население Франции. Но отчасти воспоминание о прежних причинах вражды, отчасти громкие слова, пугавшие воображаемым значением, которого не имели, препятствовали сближению. Вероятно, если бы в партии умеренных республиканцев предводители были великими государственными людьми, эти затруднения были бы устранены своевременно, и партия умеренных республиканцев приобрела бы прочную опору себе или от реакционеров, или от реформаторов, смотря по тому, с каким из этих лагерей нашла бы она более точек одинаковости в стремлениях. Нам кажется, что если бы

умеренными республиканцами руководили такие люди, как Ришелье, Штейн или Роберт Пиль, то она предпочла бы сближение с реформаторами. Несмотря на всю жестокость июньских битв и следовавших за ними проскрипций, реформаторы легче, нежели реакционеры, согласились бы поддерживать умеренных республиканцев: после июньских дней реакционеры стали так самоуверенны, что внушали уже чрезвычайно серьезные опасения реформаторам, и таким образом самая жестокость поражения, нанесенного реформаторам умеренными республиканцами, заставляла этих последних быть склонными к поддержке победителей, за которыми выказывались грозные полчища людей, одинаково враждебных и побежденным, и победителям. Но в партии умеренных республиканцев не хватало государственного благоразумия на вступление в решительный союз ни с той, ни с другой из партий, имевших наиболее существенного могущества. Они вздумали держаться собственными силами. Ошибка эта была очень важна; она основывалась на странном самообольщении относительно своих сил. Умеренные республиканцы как будто не знали, что их образ мыслей, основанный на теоретических соображениях, а не на материальных сословных выгодах и потребностях, по необходимости может иметь своими последователями только небольшое число тех людей, которые действуют в жизни не по требованию житейских интересов, а по правилам отвлеченной теории; они воображали, что умозаключения, а не интересы руководят людьми. От людей, впадавших в такое отвлеченное заблуждение, едва ли можно ожидать ловкого практического образа действий; но если бы они действовали практично, то могли бы даже без союза с сильнейшими партиями сделать очень многое для утверждения своих идей в государственной жизни французской нации.

Положим, что они были совершенно неисправимы в основном своем заблуждении, в том, что считали себя гораздо более многочисленными, нежели как были на самом деле; но все-таки они очень хорошо знали, что слишком значительная часть народонаселения Франции не сочувствует их политическим мнениям. Они должны были употребить все заботы, чтобы увеличить число своих приверженцев. Приобретать прозелитов своим убеждениям вовсе не так легко, как находить союзников своим интересам; но все-таки искусный государственный человек может довольно быстро распространить свои понятия в массе, если будет заботиться об удовлетворении тех матери-

альных потребностей нации, которые не противны его убеждениям. Умеренные республиканцы имели в своих руках правительственную власть и при малейшем искусстве в парламентской тактике могли верно рассчитывать на поддержку большинства в Национальном собрании; это было уже очень важное преимущество. Несколько месяцев им оставалось для того, чтобы укрепиться в занимаемом ими положении, и если бы они сумели воспользоваться этим временем, они могли бы утвердиться довольно прочно. Люди, которые, управляя делами несколько месяцев, не будут в конце их гораздо сильнее, нежели были в начале, неспособны управлять делами.

Не вступая в союз с многочисленнейшими партиями, умеренные республиканцы не должны были надеяться на помощь от людей, предводительствовавших этими партиями; но масса никогда не имеет непоколебимых и ясных политических убеждений; она следует впечатлениям, какие производятся отдельными событиями и отдельными важными мерами. Эту массу могли бы привлечь к себе умеренные республиканцы, если бы позаботились о том, чтобы их управление производило выгодные впечатления на массу и удовлетворяло тем ее желаниям, которые могли они исполнить, не изменяя своему образу мыслей.

Государственный бюджет всегда составляет одну из самых общих и сильных причин довольства или недовольства в массах. Франция жаловалась на обременительность податей; особенно силен был общий ропот против обременительных налогов на соль и на вино и против пошлин, собираемых в городах с съестных припасов (*octroi*). С самого Наполеона непрерывно шел этот ропот; каждое правительство, заботясь при своем начале о популярности, обещало отменить налоги на соль и вино; ни одно не считало потом нужным сдержать это обещание, и при каждом перевороте одной из сильнейших причин того глухого неудовольствия, которое предшествовало волнению, был ропот на эти налоги. Соль и вино участвовали в падении Наполеона, Бурбонов и Орлеанской династии. Уничтожить городские пошлины с провизии было бы не менее полезно: пока на них роптали только горожане, но зато от горожан зависела прочность правительства еще больше, нежели от поселян; притом, если существование этих пошлин не беспокоило поселян, то уничтожение их скоро было бы признано за благодеяние и поселянами, потому что увеличилось бы тогда потребление мяса, хлеба и т. д. в городах, стало быть развилась бы торговля

сельскими продуктами. Налоги на соль и вино доставляли государству около двухсот миллионов франков, и при огромности французского бюджета было бы легко произвести эту экономию; если же не хотели сокращать государственных расходов, то желания масс указывали источник, из которого было бы легко с избытком получать эти двести миллионов. Как обременительны казались налоги на вино и соль, так, напротив, чрезвычайно популярно было бы учреждение подати с капитала или с дохода. Ничем нельзя было бы в делах финансовых так угодить массе народа, как обращением косвенных налогов в прямые. Пошлины с съестных припасов поступали в городские доходы, — эти пошлины также легко было бы заменить прямыми налогами.

Кроме постоянных налогов, чрезвычайный ропот был возбужден нелепым временным увеличением поземельного налога на 1848 год. Этот временный добавочный налог равнялся почти половине основного налога и по смете должен был доставить до двухсот миллионов франков, но на деле доставил гораздо менее, потому что никто не хотел его платить. В первой статье мы уже упоминали, что он был одной из главных причин реакции, обнаружившейся против февральского переворота. Надобно было отменить эту неудачную меру, через несколько дней после февральской революции придуманную одним из умеренных республиканцев, Гарнье-Паже.

Эти облегчения были бы необходимы даже в том случае, если бы умеренные республиканцы не хотели сокращать государственных расходов, — в таком случае надобно было бы, как мы говорили, заменить уничтоженные косвенные налоги прямыми; но народные желания требовали значительного сокращения бюджета, который был доведен до страшных размеров расточительным управлением Луи-Филиппа, при котором в течение 18 лет государственные расходы и вместе с ними подати увеличились вдвое. Из 1 800 миллионов франков надобно было бы довести расходы не более как до 1 200 миллионов. Благоразумные политико-экономисты видели в этом государственную необходимость. Умеренные республиканцы признавали справедливость их слов, но ничего важного не сделали для исполнения этой необходимости.

Другим общим желанием дельных людей всех партий было отменение тех излишеств административной централизации, которые обременяли чиновников и самым утомительным образом стесняли деятельность частного чело-

века, ровно никому не принося пользы и ни для чего не будучи нужны. Чтобы починить какой-нибудь дрянной мост через ручей в каком-нибудь селе, надобно было испрашивать разрешения от министра. Постройка домов, мощение улиц — для всего этого нужны были позволения и предписания от парижского правительства. Умеренные республиканцы, конечно, понимали неудобства этого порядка, связывавшего всю Францию, сами реакционеры говорили об этом благообразно. Но и тут ничего не было сделано.

Стеснительные меры, казавшиеся необходимостью после июньских событий, лишали умеренных республиканцев популярности при начале управления Кавеньяка. Ни одна из тех мер, которые мы сейчас перечислили и которые могли бы уменьшить эту непопулярность, не была принята правительством умеренных республиканцев в продолжение трех или четырех месяцев, следовавших за учреждением их правительства. Быть может, достаточным извинением тому могли быть бесчисленные хлопоты и затруднения, в которые впутывалось новое правительство; во всяком случае умеренные республиканцы надеялись через несколько времени продолжать свое управление лучше, нежели начали его. Они надеялись раньше или позже приобрести популярность, которой лишены были летом и осенью 1848 года. Таким образом, по их собственному мнению, весь вопрос состоял в том, чтобы удержать за собою власть до той поры, когда приобретется ими популярность. Выиграть время — для них было бы выиграть дело.

Было несколько средств для них продлить свою власть. Она вручена была Кавеньяку временным образом от Национального собрания, и Национальное собрание сначала не хотело торопить его прекращением этого положения. Зная свою непопулярность в настоящее время, умеренные республиканцы могли бы прибегнуть к средству, которое надолго упрочило бы их тогдашнее положение и даже сделало бы их любимцами народа. Точно так же, как и все французы, они чувствовали желание, чтобы Франция заняла в Западной Европе то первенствующее положение, которым пользовалась при Людовике XIV и при Наполеоне. Они считали унижением для Франции трактаты 1815 года¹⁵. Соседние страны представляли много удобных случаев для начатия войны на Рейне или в Италии. Италия нуждалась в помощи французов против австрийцев. Прирейнские области Пруссии и все государства западной Германии находились в таком <волнении>, что француз-

ская армия могла явиться в Германию союзницею одной из партий, готовившихся вооруженною рукою решать спор о сохранении или изменении порядка дел в Германии. (Нет сомнения в том, что и та и другая война пошла бы удачно для Франции. Слава, которую приобрело бы правительство, польстив победами национальной гордости, придала бы ему и прочность и популярность. Но и на войну не решились умеренные республиканцы.)

Но, не принимая никакой решительной меры, Кавеньяк и его друзья давали проходить одному месяцу за другим, пока уже поздно было вознаграждать потерянное время. Чего же ждали они и на что надеялись? Они, кажется, воображали, что все устроится по их желанию одним магическим действием тех громких слов, в неотразимую очаровательность которых они верили; они, кажется, предполагали, что Франция находит их людьми необходимыми, потому что они сохраняют порядок и с тем вместе защищают слово республика, как будто бы слово республика могло восхищать само собою кого-нибудь, кроме немногочисленных и бессильных теоретиков, и как будто реакционеры не считались гораздо лучшими ревнителями порядка, нежели республиканцы.

Наконец был еще один путь для удержания власти: можно было сохранять свое владычество при помощи (практической) силы, отстраняя формальное выражение национальных желаний. Умеренные республиканцы могли говорить, что партии, разделяющие между собою Францию, находятся в такой вражде между собою, из которой снова легко может возникнуть междоусобная война при первом поводе к тому (и это было бы правда); что потому официальные проявления народной жизни, слишком волнующие массу, как, например, государственные выборы и особенно выбор президента республики, должны быть отложены на некоторое время, пока умы успокоятся. Они не сделали этого, не умели вовремя предвидеть результата, к которому приведет выражение народных симпатий и антипатий при тогдашней перепутанности понятий.

Умеренные республиканцы не имели столько благоразумия, чтобы отсрочить на год или полтора года выбор президента республики. Но когда обнаружилось, что их кандидат Кавеньяк не имеет вероятности быть избранным, у них оставалось еще средство в значительной степени уменьшить вредные для них последствия этой ошибки. Они уже предвидели, что исполнительная власть перейдет в руки кандидата противных им партий. Но в Националь-

ном собрании, у которого законодательная власть могла оставаться еще очень надолго, большинство принадлежало им. Политический расчет должен был говорить им, что следует как можно более увеличить влияние законодательной власти и как можно более подчинить ей исполнительную. Они не сделали и этого, пожертвовав и собственными выгодами, и спокойствием государства отвлеченному соображению о том, что исполнительная власть должна быть сильна и независима.

При самых благоприятных обстоятельствах не могла бы удержать за собою власти партия, действовавшая так непредусмотрительно и нерешительно. В несколько месяцев постепенно исчезло то могущество, которое было утверждено за умеренными республиканцами июньской победой. Напрасно было бы винить в том обстоятельства: если много было в них затруднительного и неблагоприятного, то еще больше было выгодного для умеренных республиканцев; сами по себе они были довольно слабы, но у них в руках было все то могущество, которое дается государственной властью; притом же все другие партии, хотя и более многочисленные, были в то время еще слабее умеренных республиканцев; одни из них были поражены в июне, другие в феврале, и ни одна не успела еще оправиться после поражения. Их слабость доходила до безнадёжности, и ни одна не отваживалась даже и предьявлять притязаний на то, чтобы заступить место умеренных республиканцев в управлении государством. И когда пришло время борьбы за власть, единственным опасным соперником умеренных республиканцев явился кандидат, тогда еще не имевший никакого самостоятельного политического значения и обязанный своим успехом преимущественно тому, что его поддерживали люди, в сущности столько же враждебные ему, как и умеренным республиканцам,— поддерживали оттого, что считали его еще гораздо более слабым, нежели были сами. При таком бессилии соперников легко было бы надолго удержать за собою власть умеренным республиканцам, если бы они были хотя сколько-нибудь практическими людьми. Но за блеском и шумом своих отвлеченных формул они не видели и не слышали ничего, и каждое событие было для них неожиданностью, которой они беззащитно уступали до тех пор, пока, наконец, были совершенно оттеснены от власти, которою не умели пользоваться.

Таков общий характер событий французской истории с конца июня до конца ноября 1848 года. Краткий обзор

этих событий подтвердит старую истину, что непредусмотрительность и нерешительность в государственных делах губительны бывают и для государства и для людей, не умеющих пользоваться властью.

По укрощении восстания Кавеньяк явился в Национальное собрание и объявил, что возвращает ему ту диктаторскую власть, которую получил от него на время битвы. Собрание решило, что опасность еще продолжается, и потому просило Кавеньяка оставаться главою правительства, предоставив ему право по своему усмотрению составить министерство. Выбором министров и других важнейших сановников Кавеньяк и умеренные республиканцы, им руководившие, показали, какими ошибочными соображениями руководились они, когда решили, что диктатура должна быть продолжена. Большинство министров было взято из умеренных республиканцев, но некоторые важнейшие посты были вверены людям из старинных партий, управлявших Францией с 1815 до 1848 года. Военным министром был сделан Ламорисьер, друг принцев Орлеанского дома. Этот выбор не был, впрочем, опасен для республики: человек честный, Ламорисьер не интриговал против правительства, участником которого был. Гораздо больше опасности представляло назначение генерала Шангарнье комендантом парижской национальной гвардии: Шангарнье всячески хлопотал о восстановлении системы, разрушенной в феврале, и был известен неумеренностью своих реакционных стремлений. Выбор его на столь важное место доказывал, что умеренные республиканцы хотят опираться на реакционеров, что свою диктатуру они хотят направить исключительно против реформаторов, которых одних считают опасными для государственного порядка.

Это прямо обнаруживалось речами и действиями умеренных республиканцев в Национальном собрании, о котором пора нам сказать несколько слов, потому что с июля до половины ноября от его решения зависели все важнейшие дела.

Из девятисот «представителей народа», составлявших Национальное собрание, до 350 человек принадлежали разным реакционным партиям. Они сидели на правой стороне зала. Около 300 человек, сидевшие в центре, несколько ближе к левой, нежели к правой стороне, были умеренные республиканцы. Наконец левую сторону занимали крайние республиканцы и реформаторы, которых находилось в Собрании до 250 человек. При таком рас-

пределении (партий очевидно большинство могло составлять) только посредством соединения двух партий из числа трех. Чтобы проводить свои меры, правительство, кроме прямых своих приверженцев, должно было иметь поддержку или от левой стороны, — в таком случае предложения правительства имели бы за себя большинство около 200 голосов, — или поддержку от правой стороны, и в таком случае большинство доходило бы до 400 голосов. Люди, незнакомые с парламентскою тактикою, могут подумать, что при таком распределении голосов для получения поддержки с той или другой стороны центральная партия должна была делать много уступок той партии, голоса которой хочет иметь. Вовсе нет; ни та, ни другая из крайних партий не могла иметь никакой надежды приобрести большинство своими собственными мерами потому, что они встречали бы сопротивление в обеих остальных партиях, стало быть могли иметь большинство только такие меры, которые выходили бы от центральной партии. Она могла по произволу выбрать себе поддержку с той или с другой стороны, и тут должно происходить нечто подобное тому, как бывает при встрече двух продавцов с одним покупщиком: тот и другой продавец нанерерыв друг перед другом понижает цену до последней крайности и рад дольствовать самой незначительной выгодой.

Малейшее предпочтение, оказываемое центральной партией правой стороне над левою или наоборот, уже приобретает ей голоса этой стороны. Мало того: нужно только, чтобы центральная партия выказывала больше нелюбви, например, к левой стороне, нежели к правой, и правая сторона будет самым усердным образом поддерживать центр, хотя бы центр и с нею обходился очень сурово. Это преобладание центра в решении дел доходит до того, что искусные парламентские предводители с центральной партией из 50 человек могут управлять решениями собрания, состоящего из 500 человек. Итак, умеренные республиканцы, имея целую третью часть голосов и занимая средину между двумя крайними партиями, почти равносильными, должны были решительно господствовать в Национальном собрании. Им довольно было решительно отталкивать от себя одну из этих партий, чтобы иметь горячую поддержку со стороны другой. Какую же из двух партий будут они преследовать? — вот вопрос, представлявшийся им после июньских дней. Левая сторона была лишена сильнейших своих предводителей в парламенте и потеряла свою армию вне парламента. Она не могла те-

перь быть опасна, как бы громко ни выражала свой гнев. Всякое снисхождение от центра она приняла бы без всяких условий. Но центр не видел настоящего; ему все чудились страшные призраки июньских дней; он воображал, что завтра, послезавтра могут снова стать на баррикаду сорок тысяч пролетариев, забывая, что уже не осталось в Париже пролетариев, способных драться. Умеренные республиканцы воображали, что через неделю после Иены и Ауэрштета пруссаки могли разбить Наполеона, что Наполеон на другой день после Ватерлоо мог дать новую генеральную битву. Они твердили, что ужасаются страшных замыслов левой стороны. Этим нерасчетливым выражением пустого страха они лишили себя всех выгод своего центрального положения, объявив, что им нет выбора между правой и левой стороной. Естественно стала через это в очень выгодное положение правая сторона. Центр объявлял, что она ему необходима, и она могла дорого продавать свой голос. Под влиянием пустого страха центр так сильно погнулся на правую сторону, что потерял всякое равновесие, и можно было увлекать его все дальше и дальше направо. А между тем опасность ему была после июньских дней справа, а не слева. Силами реакционеров была выиграна июньская победа, и победители, конечно, были гораздо требовательнее, нежели побежденные. Никакие уступки со стороны центра не удовлетворяли правую сторону; с каждым днем она делалась все настойчивее, интриговала смелее и вынуждала у центра новые уступки.

Возвращая диктатуру Кавеньяку, центр прямо говорил, что эта диктатура направлена исключительно против левой стороны и что для поддержания своей власти он будет опираться исключительно на правую сторону. Он давал веру всем слухам о заговорах и замыслах левой стороны и отвергал как клевету все подобные слухи о правой стороне, выставлял опасными все мелкие беспорядки, при которых слышались крики, бывшие лозунгом левой стороны, и оправдывал все подобные случаи, выходявшие с правой стороны. Кавеньяк запретил большую часть газет левой стороны, хотя они нападали только на людей и отдельные распоряжения, а не на самую форму правительства тогдашней Франции, и охранял все газеты правой стороны, хотя они открыто стремились к низвержению той формы правительства, представителем и защитником которой был он, — побежденная революция представлялась ему более серьезным врагом, нежели победоносная реакция. Скоро для обуздания левой стороны были предложены центром

три закона: по первому каждая политическая газета была обязана внести в казну 24 000 франков (6 000 рублей серебром) как обеспечение в уплате штрафов, которые могут быть на нее наложены; по второму назначались тяжелые наказания за газетные статьи, противные общественному порядку; по третьему клубы подвергались строгому полицейскому надзору.

Этими законами совершенно разрушалось равновесие между правою и левою стороною в средствах политической деятельности. Уже и прежде правой стороне было дано гораздо больше простора, нежели левой; теперь последняя была чрезвычайно стеснена, между тем как до правой стороны новые законы вовсе не касались. Правая сторона была гораздо богаче левой: Газеты правой стороны без хлопот взяли у своих патронов требуемые обеспечения: вместо 24 000 каждая из них, не стесняясь, нашла бы и 240 000 франков. Те проступки, которые совершались газетами правой стороны, оставались без преследования, между тем как газеты противной партии беспрестанно отдавались под суд и осуждались на штрафы. Клубы для левой стороны были тем, чем балы, большие обеды и фойе Оперы и Французского театра для правой: преследуя те собрания, в которых рассуждали о политике приверженцы левой стороны, полиция предоставляла полнейшую свободу всем совещаниям правой стороны.

Просим читателя не забывать точки зрения, с которой мы излагаем события. Мы говорим вовсе не о том, хороши или дурны были убеждения той или другой партии. Наша цель вовсе не теоретический разбор различных политических убеждений, существовавших во Франции в 1848 году; до них нам нет никакого дела; до них мало дела даже и французам настоящего времени: в десять лет все эти убеждения совершенно устарели, и нст теперь во Франции человека, который думал бы о вещах точно так, как думал в 1848 году. Но если вопросы и обстоятельства в различных странах и в разное время бывают различны, то правила благоразумия во всех странах вечно неизменны. Только эта сторона событий, сохраняющая навсегда интерес для жизни, интересует нас здесь. Каковы были мнения умеренных республиканцев, нам нет дела; мы хотим только знать, благоразумно ли поступали они; каковы были цели, которые имели они в виду, — вопрос посторонний для нас; нам хочется только показать, что они не умели выбирать средств для достижения целей, и из их ошибок вывести некоторые правила <политического бла-

горазумия, — правила) вроде знаменитого латинского стиха, применяющегося ко всему, что делается на белом свете:

Quidquid agis, prudenter agas, et respice finem, —

«Что бы ты ни делал, поступай благоразумно и рассчитывай последствия своих поступков». Быть может, образ мыслей умеренных республиканцев был вреден для государства; лично мы даже уверены в этом. Быть может, для Франции было счастьем, что вместо Кавеньяка правителем Франции сделался Луи-Наполеон, — многие говорят это. Мы вовсе не сравниваем этих двух людей по образу мыслей; мы рассматриваем только, до какой степени надобно приписать Кавеньяку и умеренным республиканцам торжество Луи-Наполеона, и находим, что они постоянно действовали в пользу ему и во вред себе; а так как они хотели вовсе не того, то мы и находим, что они держали себя нерасчетливо; для того чтобы обнаружить эту нерасчетливость, мы должны показывать, в чем должны были бы состоять для них внушения благоразумия. Быть может, правая сторона по образу мыслей была совершенно справедлива; но ее усиление вело ко вреду центра, потому и не расчетливо поступал центр, содействуя ее возвышению. Он должен был или сам принять мнения правой стороны, или бороться с нею, — он не сделал ни того, ни другого. Правая сторона усиливалась его помощью, а между тем продолжала ненавидеть его, и с каждым днем он должен был уступать шаг за шагом власть врагам, которым сам помогал.

Скоро правая сторона не удовольствовалась тем, что некоторые из важнейших мест в правительстве отданы ей; она стала требовать, чтобы из министерства были удалены люди, ей не нравившиеся. Прежде других был удален в угодность ей министр народного просвещения Карно, которого реакционеры не любили отчасти за его имя, отчасти за то, что он издавна был дружен с людьми, которые были подозрительны реакционерам. Не прошло двух недель после июньской победы, как правая сторона уже потребовала его удаления, и место его отдано человеку правой стороны, известному историку Волабеллю. Через три месяца правая сторона снова потребовала отдачи своим предводителям еще двух мест в министерстве. Сенар, министр внутренних дел, бывший президентом Национального собрания, в июне вместе с Кавеньяком принимал самые крутые меры для подавления инсургентов. Тогда ре-

акционеры превозносили его; но в начале октября уже не хотели терпеть в министерстве человека, которого еще недавно называли одним из спасителей общества. Сенар должен был уступить место Дюфору, и его отвержение правой стороной служило очень ясным предсказанием, что скоро будет отвергнут ею и главный из июньских «спасителей общества», Кавеньяк. Дюфор подобно Ламорисьеру не интриговал по крайней мере против порядка дел, существовавшего тогда во Франции. Но другой член правой стороны, вместе с ним вступивший в министерство Кавеньяка, Вивьен, явно стремился к низвержению правительства, в котором стал участвовать.

Эти смены министров правая сторона уже не выпрашивала как прежде: в октябре она стала так смела, что уже стала отнимать свои голоса у Кавеньяка, когда хотела принудить его к новой уступке. Она уже открыто говорила, что поддержка ее необходима ему, что она чуть ли не из милости держит его президентом исполнительной власти. При таких словах было очевидно, откуда грозит опасность центру; но он оставался непреклонен в своем ужасе перед призраком новых баррикад и делал правой стороне одну уступку за другой.

Вместе с прениями об административных вопросах и текущих происшествиях шли в Национальном собрании прения о конституции. Из всех вопросов о государственном устройстве ближе всего касался судьбы правительства вопрос об отношении исполнительной власти к законодательной. В теории существовало об этом два различные мнения: одни приписывали частые перевороты, раздиравшие Францию в последние 60 лет, тому, что у правительств было будто бы слишком мало силы для сопротивления инсургентам, низвергавшим их одно за другим. Другие указывали на то, что постоянно исполнительная власть во Франции подчиняла себе законодательную и, пренебрегая законным контролем ее, впадала в ошибки, которые и бывали прямой причиной общего неудовольствия, приводившего к насильственным переворотам; из этого они выводили, что для прочности исполнительной власти и сохранения государственного спокойствия законодательную власть во Франции надобно усилить на счет исполнительной, так чтобы контроль первой над последней был действителен. Которое из двух мнений было справедливо в теоретическом отношении, мы не станем рассматривать. Но очевидно было, к которому из этих двух мнений должны были присоединиться умеренные республиканцы.

В Национальном собрании они господствовали; каковы будут стремления исполнительной власти, когда она делается независимой от законодательной, они не знали наверное, но могли предполагать, что она не будет чужда тем преданиям, какие остались от всех французских правительств со времен Наполеона. Эти предания были вовсе не в пользу умеренных республиканцев. Благоразумие ясно указывало им путь. Пусть их теоретические убеждения были бы в пользу независимости исполнительной власти от законодательной; но они должны были понять, что не время им проводить в дело чистую теорию и надобно принять в соображение настоящие привычки, отлагая полное осуществление теории до той поры, когда изменившиеся понятия самой исполнительной власти о своих обязанностях будут служить достаточным ручательством за то, что она не употребит во зло своей независимости. Это было ясно. Но мы должны повторить факт, на который уже много раз приходилось нам указывать. Умеренные республиканцы были теоретики, не понимавшие условий практической жизни. Они во время прений о конституции постоянно поддерживали всевозможную независимость исполнительной власти от законодательной и возвышали ее силы. Кавеньяк и все министры говорили в этом смысле. Но вот дошла очередь до того параграфа, который определял способ избрания президента республики. Тут было два противные мнения, как и обо всем в государственных делах, у правой и левой стороны. Правая сторона хотела, чтобы президент исполнительной власти был избираем непосредственно нацией, — этим возвышалось величие исполнительной власти; левая сторона хотела, чтобы он был избираем Законодательным собранием, — через это, конечно, он становился ниже его. Тут Кавеньяк и министры заметили наконец, что дело идет о сохранении или низвержении тогдашнего порядка вещей во Франции. Они заметили, что при общем неудовольствии нации на них, умеренных республиканцев, при расстройстве партии реформаторов легко могут восторжествовать при выборах президента реакционеры, если выбор будет предоставлен нации. Кавеньяк и министры подали голос вместе с левой стороной в пользу предложения, чтобы президент республики был избираем Национальным собранием. Но было уже слишком поздно. Умеренные республиканцы слишком уже приучены были своими предводителями видеть на левой стороне смертельных врагов всякого общественного порядка и вслед за реакционными журналами кричать: Les

barbares sont à nos portes! Они до того приучены были повертываться направо, что когда теперь их предводители вздумали сделать маневр налево, то были покинуты всем своим войском. Большинство четырехсот голосов было решено, что президент республики будет выбран не Законодательным собранием, а голосами всей нации.

Этим почти решена была судьба умеренных республиканцев, подавших голос против самих себя по неумению соображать результаты своих действий. Трудно было им надеяться на успех своего кандидата при выборе президента голосами всей нации, потому что ничего не сделали они для приобретения популярности, а между тем должны были перед общественным мнением нести ответственность за все те материальные невзгоды, которыми сопровождался февральский переворот.

Нельзя отрицать того, что Кавеньяк и его политические друзья искренно желали отвратить все злоупотребления, облегчить все тяжести, на которые жаловалась нация. Но еще неоспоримее то, что ничего не было сделано ими для исполнения этих желаний. Мы уже говорили о тех преобразованиях, какие надобно было бы сделать в бюджете, чтобы удовлетворить жалобам, которые сильно содействовали февральскому перевороту, и ожиданиям, которые были возбуждены этим переворотом. Реформы, нами указанные, были согласны с убеждениями умеренных республиканцев. Но эта партия была по рукам и по ногам связана реакционерами, провозглашавшими непогрешительность бюджета прежних лет и вопившими против всякой попытки сократить государственные расходы, которыми они пользовались, или заменить распределение налогов, благоприятное для них. Воображая себя в опасности от людей, убитых, сосланных или изгнанных в июне, умеренные республиканцы не могли энергически приняться и за вопрос о децентрализации, потому что всевозможное натягивание административных пружин казалось им нужно для охранения общественного порядка от опасностей слева, которых уже не было. Охотно приняли бы они какие-нибудь прямые меры для улучшения положения низших классов, но все эти меры уже предлагались реформаторами, каждая мысль которых представлялась умеренным республиканцам чем-то разрушительным для общества; а если и приходила умеренным республиканцам в голову какая-нибудь маленькая идейка о каком-нибудь маленьком законе, который бы несколько полезен был народу, реакционеры поднимали вопль, доказывая, что этот

закон был бы подражанием проектам реформаторов,— и действительно нетрудно было доказать это, потому что на самом деле мысли умеренных республиканцев об улучшении состояния простолюдинов были бледными отражениями понятий, высказанных реформаторами,— и бедные умеренные республиканцы с испугом отступались от того из своих сотоварищей, который был обвиняем реакционерами в потворстве реформаторским теориям. Чтобы объяснить нагляднее эту *жалкую* нерешительность, мы укажем на единственную прямую меру, принятую Национальным собранием для улучшения участи работников. Собрание назначило 3 000 000 франков на пособие учреждению ассоциаций между фабричными работниками, то есть для образования чего-то похожего на наши промысловые и ремесленные артели. По-видимому, ничто не могло быть невиннее такого назначения. Но надобно только прочесть доклады и речи, с которыми даны были эти деньги, чтобы понять, с какими чувствами простолюдины должны были встретить этот заем. Вот доклад, представленный Собранию Корбоном от имени комитета, рассматривавшего предложение об этом пособии и рекомендовавшего Собранию принять его.

«Наверное, в нашем Собрании нет ни одного члена, который не желал бы всем сердцем постепенного возвышения сословий, до сих пор сохранившихся в низком положении. С своей стороны мы искренно убеждены, что настанет время, когда большая часть работников перейдет из состояния наемщиков в состояние сотоварищей, как прежде перешли они из рабства в крепостное состояние, из крепостного состояния в вольные наемщики. Но эта перемена будет делом времени и личных усилий работников. Конечно, государство должно помогать ей; но каково бы ни было его участие в медленном осуществлении этого прогресса, участие государства будет в этом деле гораздо меньше, нежели участие, какое в нем должны иметь сами работники. Работник должен быть сыном своего труда, и если он некогда тем или другим способом получит в собственное распоряжение средства для производства своего промысла, этими средствами он должен быть прежде всего обязан собственным усилиям.

Мы знаем, что такой приговор мало удовлетворит ту часть рабочего класса, которую, напротив, уверили, что государство сделает все и что работникам надобно лишь пользоваться его содействием. Недостойны помощи те, которые не имеют мужества помочь сами своим делам, не имеют истинного понятия ни о свободе, ни о равенстве, ни о братстве, те, которые не хотят пытаться поднять себя постоянными и терпеливыми усилиями, а ждут, пока их поднимут другие.

Мы хотим, чтобы государство помогало работникам только пропорционально тем усилиям, которые будут делать они сами для приобретения в свое распоряжение средств к независимому труду.

Мы не исполнили бы всей своей обязанности, если бы не прибавили, что ассоциации, пользующиеся нашей помощью, должны необходимо подчиняться условиям соперничества, без которого нет самой свободы

труда. Мы говорим это именно потому, что работников уверили, будто все их бедствия — результаты соперничества. До известной степени это справедливо; но напрасно от злоупотреблений соперничества заключать, что надобно уничтожить самое соперничество.

Для работников полезно будет услышать, что уничтожить соперничество — просто невозможность.

В самом деле, как уничтожить его? Силою власти? Но власть, которая возьмется за это, будет немедленно низвергнута. Посредством ассоциации, которая послужила бы зерном для всеобщей ассоциации? Но — (Корбон доказывает, что это также невозможно).

К счастью, настало время, когда эти важные вопросы будут обсуждены с национальной трибуны, которая своим авторитетом предостережет работников против идей, помрачивших, к сожалению, слишком многие умы.

Наши прения покажут, сколько правды в тех учениях, которые, прикрываясь формами строгой нравственности, прибегая к языку любви и преданности общему благу, в сущности взывают только к эгоизму и возбуждают против общества ненависть тем более глубокую, что ими раздражаются все желания у людей, не имеющих и необходимого».

С первого взгляда видно, что этот доклад составлен не столько под влиянием мысли провести меру, полезную для работников, сколько под влиянием заботы не показаться союзниками реформаторов и желанья внушить работникам, что их надежды на содействие государства в изменении их быта напрасны. Без всякой надобности Корбон толкует о неизбежности соперничества, о невозможности всеобщей ассоциации работников, которой нет и в помине, твердит, что государство ничего особенного не может сделать для работников, и т. д. Мог ли такой доклад произвести на работников хорошее впечатление? Нет, он представлялся для них выражением антипатии к ним. И как легко приходили им мысли, которыми опровергались рассуждения доклада. Например, при словах «недостойны помощи те, которые не имеют мужества помочь сами своим делам» (*Ceux là ne sont pas dignes d'être aidés qui n'ont pas le courage de s'aider*), — при этих словах, составляющих основную мысль доклада, кому из нуждавшихся в содействии государства не приходило в голову такое возражение: «Но зачем же и существует государство, как не для охранения человека от бедствий, которых не может отворотить его собственное мужество и сила? Если так, полиция должна бы защищать от воров только того, который сам и без полиции в силах прогнать или убить вора; если же разбойники нападут на труса или больного, полиция не должна защищать от них этого человека, потому что «он не имеет мужества помочь себе». Да разве помощь нужна сильным и мужественным, а не слабым и забитым обстоятельствами?»

Но доклад Корбона был еще очень любезен сравнительно с теми речами, какие говорились по этому делу реакционерами. Корбон думал по крайней мере, что в оказываемом пособии есть что-то хоть отчасти справедливое и хотя несколько полезное. Предводитель реакционеров, знаменитый говорун Тьер, своим пискливым голосом кричал, что все это вздор, что деньги эти бросаются в печь, но что он с удовольствием соглашается бросить их в печь, потому что безуспешностью этой нелепой попытки помогать учреждению ассоциаций докажется нелепость самой мысли об ассоциациях, мысли о сумасбродной и безнравственной. «Не три миллиона, а двадцать миллионов следовало бы вам требовать от нас, — говорил он Корбону, — мы дали бы вам их. Да, двадцати миллионов не пожалели бы мы на поразительный опыт, который должен исцелить вас всех от этого колоссального сумасбродства».

Выдачу этих денег считали милостынею и прямо говорили, что бросают их совершенно бесполезно; из этого следовало бы заключать по крайней мере, что пособие оказывается безвозмездно. Вовсе нет: три миллиона назначались вовсе не в безвозмездное пособие, а просто в заем ассоциациям, которые должны были постепенно возвращать в казну сполна всю полученную ими ссуду. Прилично ли, возможно ли кричать, что даришь деньги, когда даешь их займы? Прилично ли тут хвастаться своим великодушием? Прилично ли кричать о пропаже денег? Заем, выдаваемый с такими речами, оскорбит каждого, в ком осталось хоть несколько уважения к себе.

Наконец, не говоря уже обо всем этом, какое впечатление должна была производить самая величина ссуды? 700 000 рублей серебром на целое государство в пособие сословию, составляющему гораздо более семи миллионов человек. Скупость доходила тут до иронии. Какое впечатление должны были производить эти жалкие три миллиона франков по сравнению с десятками миллионов, ежегодно выдававшимися от казны на покровительство биржевым спекуляциям? Но банкиры и биржевые спекулянты как будто от природы получили привилегию на поощрение от французского правительства. Сумм, которые растрачиваются казной для них, не следует сравнивать с деньгами, назначаемыми в пособие черному народу; можно сравнивать по крайней мере величину сумм, назначаемых на разные способы пособия черному народу. В то самое время, как определялось три миллиона для ассоциаций во Франции, ассигновалось 50 миллионов на переселение

пролетариев в Алжирию. Речи и обстоятельства, которыми сопровождался закон об этой колонизации, делали это переселение совершенно подобным ссылке, предпринимаемой для удаления из Франции опасных людей, из которых большинству предстоит на новом месте жительства погибнуть от лишений всякого рода и кабийских пуль. В этом смысле и было принято переселение простолюдинами; они сочли его не результатом заботливости о них, а следствием желанья удалить из Франции предприимчивых и потому опасных простолюдинов. Какое же впечатление производилось на работников сравнением трех миллионов, с упреками и дурными предсказаниями выдаваемых на исполнение задушевного убеждения простолюдинов, и 50 миллионов, назначаемых на ссылку, прикрытую именем колонизации?

Студа на учреждение ассоциаций была единственной сколько-нибудь важной мерой Кавеньяковского правительства для приобретения популярности. Очень мало было принято даже и незначительных мер с этой целью, да и те все были обсуждаемы и исполняемы в таком же духе, как выдача ссуды ассоциациям. Очень натурально, что чувство, с которым народ смотрел на Кавеньяка и его партию после июньских дней, нимало не улучшилось в течение следовавших за тем месяцев. Умеренные республиканцы не сделали совершенно ничего для привлечения к себе народа, и народ продолжал смотреть на них как на людей, от которых нечего ему ждать.

Политика умеренных республиканцев была очень неудачна в делах внутреннего управления. Этот недостаток мог бы до некоторой степени замениться блеском и популярностью внешней политики. Случаев к тому представлялось много, и некоторые из них были до того благоприятны, что самый нерасчетливый человек легко понимал их драгоценность.

Мы укажем только два важнейшие.

Во Франкфурте-на-Майне собрался немецкий парламент с целью дать немецкому народу государственное единство¹⁶. По правилу, нами принятому, мы вовсе не будем рассматривать, хороша или дурна была эта цель, точно так, как мы вовсе не говорили и о том, хороши или дурны были стремления Кавеньяка и его политических друзей. Мы обращаем внимание только на то отношение, какое существовало между потребностями положения, в каком находилось правительство Кавеньяка, и делами Франкфуртского парламента, и хотим показать, что Кавеньяк

и его партия не умели действовать сообразно с своими выгодами. Франкфуртский парламент искал дружбы Франции; он был проникнут теми же понятиями, как и правительство Кавеньяка, — действовал в духе того демократизма, который против так называемой демагогии враждует гораздо сильнее, нежели против реакции. Подобно правительству умеренных республиканцев во Франции, Франкфуртский парламент вышел из революционного движения; подобно умеренным республиканцам Франции, он утвердил свое значение кровопролитным подавлением революционного движения, из которого возник сам; подобно умеренным республиканцам, он был уже в большой опасности от усиливавшейся реакции (от которой скоро и погиб, подобно им); и подобно им совершенно не понимал и не замечал этой действительной опасности, воображая, что опасность грозит ему совсем не с той стороны. Словом сказать, по своим идеям Франкфуртский парламент занимал среди немецких партий точно такое же положение, как правительство Кавеньяка среди французских партий. Союз между правительствами столь однородными казался бы неизбежным. Франкфуртский парламент, не находивший поддержки ни в одном из иностранных правительств, чрезвычайно дорожил надеждой на дружбу с Францией и готов был чрезвычайно дорого заплатить за эту дружбу. Тайные инструкции, данные на этот случай его агенту в Париже, не обнародованы; но хорошо известны мнения людей, господствовавших во Франкфурте, и не трудно отгадать, на какие важные уступки согласились бы они. (В них была одинаково сильна нелюбовь к Пруссии и идея государства, составленного исключительно из немецких элементов. В Рейнской провинции Пруссия владеет несколькими округами, жители которых французы. При ловком ведении дел не было невозможно французскому правительству надеяться на расширение границ Франции с этой стороны. Ничего не стоило Франции оказать стремлению немцев к политическому единству такие услуги, за которые были бы с радостью даны немцами всевозможные вознаграждения. Дипломатическое содействие, несколько сильных мемуаров, несколько твердых инструкций французским посланникам при европейских дворах — вот все, чего требовалось на первый раз.) Но вместо того, чтобы вступить в выгодный союз, французское правительство даже не приняло посланника от Франкфуртского парламента.

Еще яснее немецкого вопроса был итальянский, еще очевиднее была выгода французских правителей принять в нем участие. Не говорим уже о том, что итальянцы проникнуты были чрезвычайным сочувствием к Франции и выступали с теми же лозунгами, которые находились на знамени тогдашнего парижского правительства, — не говорим об этих соображениях, основанных на фактах настоящего; даже дипломатическая рутина требовала, чтобы Кавеньяк принял сторону итальянцев против австрийцев. Австрия была всегда соперницей Франции, издавна дипломатические и военные торжества приобретались Францией преимущественно в борьбе против этой державы. Но и тут правительство Кавеньяка не сделало ровно ничего. Не была подана итальянцам материальная помощь, когда они нуждались в ней; а когда после поражения итальянских армий Франция решилась, наконец, принять посредничество с целью противодействовать слишком сильному перевесу Австрии, дело было ведено чрезвычайно слабо и вяло и кончилось совершенно в пользу Австрии и в стыд Франции.

Таков общий характер управления Кавеньяка. Внутренние вопросы настоятельнейшим образом требовали разрешения, — ничего не было сделано для этого, и путь, избранный правительством Кавеньяка во внутренней политике, прямо противоположен был и смыслу обстоятельств, и выгодам правительства. Слава внешнего могущества, блеск дипломатических и военных торжеств мог бы доставить правительству Кавеньяка ту популярность, которой не могла доставить внутренняя политика, — внешняя война отвлекла бы внимание от внутренних вопросов, соединила бы всю нацию под знаменами правительства, но и этого не поняли и этим не воспользовались умеренные республиканцы.

Таким образом, когда настало время выборов президента республики, умеренные республиканцы не могли похвалиться ничем, кроме июньского кровопролития; ничего не сделали они для смягчения ненависти, возбужденной этими жестокостями в одном из двух лагерей, и своим излишним криком об ужасных намерениях этого лагеря ободрили притязания предводителей противной партии. Ничего не сделали они для нации, оттолкнули от себя одни партии и сделали надменными другие партии.

Тем не менее слабость всех других партий была так велика, что ни одна из них не могла выставить своего кандидата с надеждой на успех. На это рассчитывали

умеренные республиканцы и ожидали, что все благоразумные люди соединятся около их кандидата за недостатком другого.

Действительно, так поступали многие из людей, желавших поддержать новые формы государственного устройства. За Ледрю-Роллена подало голос только меньшинство из тех, которые принадлежали к партиям, выставившим его своим кандидатом; большинство их политических друзей, видя, что Ледрю-Роллен ни в каком случае не будет избран, подали голос за Кавеньяка, для общего интереса пожертвовав своими неудовольствиями против него и умеренных республиканцев.

Многие из людей, которых преследовало правительство Кавеньяка, поддерживали его из преданности интересам Франции. Не так поступили партии, которым оно делало всевозможные уступки: гордость их возросла до того, что они уже не хотели никаких сделок с республиканцами; они дали ненависти до того овладеть собой, что выставили вперед человека, по своим стремлениям гораздо более враждебного им, нежели Кавеньяк, лишь бы только низвергнуть Кавеньяка.

Здесь не место излагать историю Луи-Наполеона Бонапарте до декабря 1848 года. Мы должны только показать его отношения к партиям при тех выборах, которыми рещалась участь Франции.

Партия бонапартистов никогда не исчезала во Франции, но всегда была чрезвычайно слаба, так что вовсе не могла считаться серьезной политической партией; по своему бессилию она не могла быть никому опасна. Она пользовалась совершенным простором для действий благодаря всеобщему невниманию к ней.

Первое, что придало бонапартизму некоторую важность, были неблагоприятные поступки реакционеров и умеренных республиканцев по вопросу о главе бонапартистов Луи-Наполеоне. В феврале он просил у нового правительства разрешения возвратиться во Францию, из которой был изгнан постановлениями прежних правительств. Он уже тогда считал себя претендентом на французский престол; но его притязания были тогда еще бессильны; люди проникательные говорили, что не нужно придавать ему важность, показывая вид, что его опасаются, и предлагали, чтобы ему было позволено возвратиться. Реакционеры и умеренные республиканцы отвергли этот совет. Следствием этого было повторение просьб и жалоб с его стороны. Благодаря отказу ему удалось возбудить

к себе внимание и сожаление во многих. Если с первого раза отказали ему, следовало уже твердо держаться этого решения; но через несколько времени ему позволили возвратиться. Уже успев наделать шума своими просьбами и жалобами, он теперь отважился выставить себя кандидатом в президенты.

Реакционеры не имели кандидата, которого могли бы противопоставить Кавеньяку. Они распадались на несколько партий, из которых ни одна не хотела уступить другой перевеса. Притом же все предводители этих партий были на дурном замечании у народа. Надобно было выбрать нейтральное имя, на котором могли бы соединиться ультрамонтанцы, легитимисты и орлеанисты, — духовенство, аристократы и капиталисты; надобно было отыскать такого кандидата, против которого нация еще не имела бы предубеждения и кандидатство которого обозначало бы только протест против партии, управлявшей Францией с февраля, и не означало бы ничего другого, потому что в этом одном были согласны реакционеры. Этот кандидат реакционеров, которого надобно было найти вне реакционных партий, должен был не представляться для них опасным по своей силе, должен был получить власть из их рук, держаться только их поддержкой и без них не значить ничего. Именно таким человеком представлялся им Луи-Наполеон. Ничтожность его собственной партии была причиной, что на нем остановился выбор реакционеров, которые думали, что как теперь без них он ничего не значит, так и потом ничего не будет значить без них и что они будут управлять его именем.

Таким образом все реакционеры единодушно стали за Луи-Наполеона. Этим приобреталась ему почти половина голосов на выборах.

Тогда масса реформативных партий, увидев, что остается избирать только между Луи-Наполеоном и Кавеньяком, увлеклась ненавистью к умеренным республиканцам за июньские события и решила предпочесть Луи-Наполеона. Умеренные республиканцы доказали, что от них нельзя народу ждать ничего хорошего; Луи-Наполеон будет во всяком случае не хуже, а быть может, окажется и лучше их. Правда, его поддерживают реакционеры, но он сам не принадлежит к ним. Во всяком случае сам по себе он не имеет никакой силы, и его выбор имеет только значение переходного факта, временного перемирия между партиями, из которых еще ни одна не довольно сильна, чтобы одной ей победить умеренных республиканцев и все

другие партии. Его власть будет только до того времени, как мы оправимся от июньского поражения, пусть же до той поры, когда мы в состоянии будем надеяться на победу, продолжается перемирие, и пусть будет власть в нейтральных руках человека, который не может помешать нам, потому что сам по себе бессилен.

Точно так же думали и реакционеры. Правление Луи-Наполеона каждая из их партий принимала только как переходную ступень к собственному торжеству, как перемирие с другими партиями до того времени, как она сама станет сильнее всех других.

Для всех подававших за него голос он казался безопасным орудием для низвержения умеренных республиканцев, казался нейтральным агентом, которому поручается временное ведение дел до той поры, как доверитель сам почтет удобным взять дела из его рук в свои.

Таким образом при выборах президента партии стали в следующее положение относительно трех кандидатов.

За Ледрю-Роллена была только небольшая часть людей левой стороны, — именно только те, которые компрометировали бы свою политическую репутацию, если бы подали голос не за официального кандидата своей партии. Масса этой партии подала голос за Луи-Наполеона.

За Кавеньяка были умеренные республиканцы и сверх того люди, которые никогда не желают никаких перемен, — число последних было в то время разгара политических страстей гораздо менее обыкновенной пропорции.

За Луи-Наполеона были все реакционеры и масса приверженцев левой партии, предводители которой по своему положению перед общественным мнением не могли покинуть Ледрю-Роллена. Все приперженцы реформаторов, не имевшие своего кандидата, подали голос за Луи-Наполеона.

При этом расположении партий все более или менее предвидели результаты выборов; все знали, что Кавеньяк не получит большинства, все были уверены, что коалиция, избравшая своим орудием Луи-Наполеона, составит большинство голосов.

Тут умеренные республиканцы, покидая власть, в первый раз приняли образ действий, соответствовавший обстоятельствам. Дела дошли до такого состояния, при котором все меры воспрепятствовать выбору Луи-Наполеона остались бы напрасными, и правительство Кавеньяка не позволило себе ни одной интриги, ни одного незаконного действия во вред своему противнику. Честность Ка-

веньяка и его друзей в этом отношении заслужила им всеобщее уважение, и действительно она была беспримерна в истории Франции. С незапамятных времен в первый раз французы видели правительство, которое закон ставит выше собственных интересов и не хочет злоупотреблять своей силой для продолжения своей власти. Но и тут мы не знаем, понимали ли умеренные республиканцы, что все попытки сопротивления с их стороны были напрасны; действовали ли они как государственные люди, понимающие состояние дел и сознательно отказывающиеся от невозможного, — или они еще полагали, что могли бы удержаться, если бы прибегли к интригам, стеснительным мерам и открытой силе. По соображению всего, что говорили мы о прежней их неспособности понимать обстоятельства, надобно склоняться к последнему предположению.

Как бы то ни было, правительство Кавеньяка оставило полную свободу выборам, неблагоприятный исход которых предвидело, и с благоговением уступило результату выборов.

В выборах приняли участие 7 324 672 избирателя; из них подали голос:

За Ледрю-Роллена	407 039
» Кавеньяка	1 448 107
» Луи-Наполеона	5 434 226

20-го декабря результат выборов был проверен Национальным собранием. Кавеньяк взошел на трибуну, в немногих, но прекрасных словах выразил свою покорность воле нации и сложил с себя власть.

С этого дня умеренные республиканцы потеряли всякое влияние на ход событий, их политическая роль во Франции окончилась.

Полугодичное их управление Францией дает много уроков людям, думающим о ходе исторических событий. Из этих уроков важнейший тот, на который преимущественно и указывают факты, нами изложенные.

Нет ничего губительнее для людей и в частной и государственной жизни, как действовать нерешительно, отталкивая от себя друзей и робея перед врагами. Честный человек, стремящийся сделать что-нибудь полезное, должен быть уверен в том, что ни от кого, кроме людей, действительно сочувствующих его намерениям, не может он ждать опоры, что недоверие к ним и доверие к людям, желающим совершенно противоположного, не приведет его ни к чему хорошему. Напрасно стал бы он думать, что какими бы

то ни было потворствами может он смягчить партию, которая не одобряет его коренных желаний, — вражда этой партии к нему останется непримирима, и для того, чтобы удержать за собой свои мнимые выгоды, она всегда готова будет погубить человека, намерения которого ей противны <с ними вместе готова погубить государство>, — конечно, погибнет потом и сама, как погибли и французские реакционеры при Луи-Наполеоне, но, ослепленная ненавистью, она не разбирает средств и не предвидит будущего.

Государственный человек не должен вверять ведения дел, не должен оставлять влияния на ход событий врагам своих намерений. Только при этом условии дела пойдут так, как он того хочет.

БОРЬБА ПАРТИЙ ВО ФРАНЦИИ ПРИ ЛЮДОВИКЕ XVIII И КАРЛЕ X

(Mémoires pour servir à l'histoire de mon temps, par Guizot. Tome I-er 1858)

Статья первая

Книга Гизо. — Роялисты и либералы во время Реставрации. — Отношение этих партий к королевской власти и к свободе. — Истинный характер той и другой партии. — *Chambre introuvable*¹ 1815. — Фуше. — Герцог Ришелье. — Амнистия. — Король принужден распустить роялистскую палату. — Ожесточение роялистов против короля и Деказа. — Новая палата. Либералы поддерживают деспотизм, роялисты защищают свободу. — Либералы усиливаются. — Интриги роялистов. — Падение Ришелье. — Деказ торжествует над роялистами. — Вильмен и цензура. — Убийство герцога Беррийского. — Король принужден роялистами удалить Деказа. — Роялисты обещают поддерживать министерство Ришелье. — Они изменяют своему слову. — Оскорбительный адрес. — Король принужден ими отказаться от участия в управлении государством. — Торжество роялистов. — Министерство Вильеля.

(1815—1821)

С год тому назад было объявлено, что автор «Истории цивилизации во Франции» издает записки о своей политической жизни. Все с большим нетерпением ждали обещанной книги. Как бы ни думал кто из нас о государственной деятельности Гизо, каждый был уверен, что воспоминания бывшего министра представят очень много новых и важных фактов. Еще менее можно было сомневаться в том, что чрезвычайно сильный талант автора придаст изложению фактов увлекательность, его взгляду на них — обольстительность. Первый том заманчивых воспоминаний вышел — и оказался, к великому нашему изумлению, книгой сухой, написанной довольно посредственно, прибавляющей очень мало к вещам, уже давно рассказанным всеми, писавшими о том периоде, словом сказать, оказался книгой не замечательною ни в каком отношении.

На многих читателей этот отзыв произведет, вероятно, дурное впечатление, потому что он решительно не соответствует мнению почти всех европейских журналов, объявивших «Записки» Гизо произведением высокого интереса и великого достоинства. Но благоприятные суждения о новой книге Гизо основаны преимущественно на громкой славе ее автора. «Написал знаменитый человек, стало быть в сочинении находятся интерес и мудрость», — умозаключают.

чение, очень удобное для всех тех, которые не умеют или не хотят оценить книгу по ее содержанию; для них обертка — прекрасная руководительница. Другим «Записки» Гизо понравились по другой причине. Книга эта проникнута либеральными идеями и служит сильным косвенным протестом против системы Луи-Наполеона, точно так же, как последние томы «Истории консульства и империи» Тьера, как последние сочинения Дювержье де-Горанна, Токвиля, Монталамбера и проч.² Но мы признаемся, что либерализм гг. Гизо, Тьера, Токвиля и прочих имеет для нас очень мало прелести, и вся эта статья внушена желанием разъяснить причины нашего нерасположения к либерализму подобного рода. Мы судим о книге по самой книге, а не по выставленному на ней имени и не видим особенной пользы в ее тенденции; потому-то и показалась нам она скучной и довольно пустой. Очень вероятно, что следующие томы «Записок» будут гораздо любопытнее: с 1830 года Гизо был уже предводителем партии, имел сильное и самостоятельное участие в государственных делах; его воспоминания об этих временах должны быть интересными. Но в первом томе рассказ доведен только до Июльской революции, а во весь период Реставрации Гизо был далеко не первым человеком своей партии; его действия не имели особенного влияния на события, потому и его воспоминания о своей личной деятельности лишены большой исторической важности; новых фактов о других политических людях того времени он не представил; его рассказ о событиях краток и сух; таким образом с фактической стороны первая часть его «Записок» не имеет почти никакой цены; а что касается мнений, которых он держится при суждении о людях и событиях, эти мнения известны во всей подробности из бесчисленного множества книг, давно написанных другими публицистами школы «*Journal des Débats*»³ Потому-то мы и находим, что первый том «Записок» Гизо не замечателен ни в каком отношении.

Мы ошиблись: в одном отношении книга Гизо очень замечательна. Поразительна та гордая самоуверенность, с которой он, один из самых ненавистных во Франции людей, он, упрямство и грубые ошибки которого вовлекли Францию во все бедствия, испытанные ею в последние десять лет, он, погубивший династию, которой служил, погубивший систему, которую защищал, ввергнувший свою страну в междоусобия, он, истинный виновник железной диктатуры Луи-Наполеона, крестный отец всех Эспина-

сов⁴, говорит о своих действиях как будто о непогрешительных, о своих убеждениях как будто о непоколебимо разделяемых всеми разумными людьми во Франции. Он говорит так, как могли говорить разве Роберт Пиль или Штейн, как будто все соотечественники признают его спасителем отечества.

Ни одного слова в извинение своих ошибок — ошибок он не делал; ни одной фразы, в которой заметно было бы сожаление хотя о чем-нибудь, исправление хоть в чем-нибудь. Он чист и непогрешителен, он мудр и свят перед богом и людьми.

Никакая гордость своим личным умом, никакая уверенность в личной своей правоте недостаточны для сообщения человеку такого непоколебимого, самоуверенного спокойствия за всю свою жизнь, за все свои планы и действия. Нужна для этого другая опора, — Гизо непоколебим потому, что он схоластик. Напрасно ходили люди перед Зеноном, — Зенон продолжал доказывать, что движение невозможно; напрасно жестокий господин сломал ногу (рабу) философу, не признававшему бедственности физического страдания, — Эпиктет сидел с переломленной ногой, доказывая Эпафродиту, что он ошибается, воображая, будто ему, Эпиктету, мучительна боль. Ослепление часто бывает источником странного мужества.

Мы знали, что доктринеры, во главе которых стоял Гизо, были схоластики, доходившие до изумительного ослепления своими отвлеченными формулами; но только последняя книга Гизо показала нам вполне, до какой степени невозмутима никакими фактами была их теоретическая слепота и глухота. В этом смысле «*Mémoires pour servir à l'histoire de mon temps*» — книга очень замечательная как психологический факт. Во всех других отношениях первый том этих мемуаров очень мало любопытен.

Но если не интересна книга, то очень интересно время, о котором она говорит, — время с 1814 до 1830 года, период Реставрации. У нас об этом времени почти ничего не было писано, и мы хотим воспользоваться книгой Гизо как предлогом сказать несколько слов о внутренней истории французского государства при восстановленной династии Бурбонов, — истории, очень мало известной у нас, а между тем заключающей в себе начало и объяснение многого, сбивающего нас с толку при суждениях о нынешней Франции. От времен Реставрации досталось в наследство нашему времени пресловутое и, по правде говоря, превзорное слово «либерализм», которое до сих пор порожд-

дает столько путаницы в головах, столько глупостей в политической жизни и приносит столько бед народу, о благе которого так суетливо и так неудачно хлопотали либералы от Кадикса до Кенигсберга, от Калабрии до Нордкапа.

Впрочем, несмотря на то, что слово «либерализм» повсюду очень употребительно, его значение и в Западной Европе, а тем более у нас остается очень сбивчивым. Либералов совершенно несправедливо смешивают с радикалами и с демократами. Наша статья осталась бы темной или показалась бы нелепой тому, кто привык смешивать эти партии, чрезвычайно резко разнящиеся одна от другой. Здесь нам нет нужды много говорить ни о радикалах, ни о демократах, потому что они не играли первых ролей в эпоху Реставрации и, можно сказать, не составляли еще плотных политических партий во Франции; довольно будет упомянуть о них не более, как настолько, чтобы показать их различие от либералов и тем определить либерализм в точном смысле слова.

У либералов и демократов существенно различны коренные желания, основные побуждения. Демократы имеют в виду по возможности уничтожить преобладание высших классов над низшими в государственном устройстве, с одной стороны, уменьшить силу и богатство высших сословий, с другой — дать более веса и благосостояния низшим сословиям. Каким путем изменить в этом смысле законы и поддержать новое устройство общества, для них почти все равно. Напротив того, либералы никак не согласятся предоставить перевес в обществе низшим сословиям, потому что эти сословия по своей необразованности и материальной скудности равнодушны к интересам, которые выше всего для либеральной партии, именно к праву свободной речи и конституционному устройству. Для демократа наша Сибирь, в которой простонародье пользуется благосостоянием, гораздо выше Англии, в которой большинство народа терпит сильную нужду. Демократ из всех политических учреждений непримиримо враждебен только одному — аристократии; либерал почти всегда находит, что только при известной степени аристократизма общество может достичь либерального устройства. Потому либералы обыкновенно питают к демократам смертельную неприязнь, говоря, что демократизм ведет к деспотизму и гибелен для свободы.

Радикализм, собственно говоря, состоит не в приверженности к тому или другому политическому устройству, а в убеждении, что известное политическое устройство,

водворение которого кажется полезным, не согласно с коренными существующими законами, что важнейшие недостатки известного общества могут быть устранены только совершенной переделкой его оснований, а не мелочными исправлениями подробностей. Радикалом был бы в Северной Америке монархист, в Китае — приверженец европейской цивилизации, в Ост-Индии — противник каст. Из всех политических партий одна только либеральная непримирима с радикализмом, потому что он расположен производить реформы с помощью материальной силы и для реформ готов жертвовать и свободой слова, и конституционными формами. Конечно, в отчаянии либерал может становиться радикалом, но такое состояние духа в нем не естественно, оно стоит ему постоянной борьбы с самим собою, и он постоянно будет искать поводов, чтобы избежать надобности в коренных переломах общественного устройства и повести свое дело путем маленьких исправлений, при которых не нужны никакие чрезвычайные меры.

Таким образом либералы почти всегда враждебны демократам и почти никогда не бывают радикалами. Они хотя политическую свободу, но так как политическая свобода почти всегда страдает при сильных переворотах в гражданском обществе, то и самую свободу, высшую цель всех своих стремлений, они желают вводить постепенно, расширять понемногу, без всяких по возможности сотрясений. Необходимым условием политической свободы кажется им свобода печатного слова и существование парламентского правления; но так как свобода слова при нынешнем состоянии западноевропейских обществ становится обыкновенно средством для демократической, страстной и радикальной пропаганды, то свободу слова они желают держать в довольно тесных границах, чтобы она не обратилась против них самих. Парламентские прения также должны принять повсюду радикально-демократический характер, если парламент будет состоять из представителей нации в обширном смысле слова, потому либералы принуждены также ограничивать участие в парламенте теми классами народа, которым довольно хорошо или даже очень хорошо жить при нынешнем устройстве западноевропейских обществ.

С теоретической стороны либерализм может казаться привлекательным для человека, избавленного счастливой судьбою от материальной нужды: свобода — вещь очень приятная. Но либерализм понимает свободу очень узким,

чисто формальным образом. Она для него состоит в отвлеченном праве, в разрешении на бумаге, в отсутствии юридического запрещения. Он не хочет понять, что юридическое разрешение для человека имеет цену только тогда, когда у человека есть материальные средства пользоваться этим разрешением. Ни мне, ни вам, читатель, не запрещено обедать на золотом сервизе; к сожалению, ни у вас, ни у меня нет и, вероятно, никогда не будет средства для удовлетворения этой изящной идеи; потому я откровенно говорю, что нисколько не дорожу своим правом иметь золотой сервиз и готов продать это право за один рубль серебром или даже дешевле. Точно таковы для народа все те права, о которых хлопочут либералы. Народ невежествен, и почти во всех странах большинство его безграмотно; не имея денег, чтобы получить образование, не имея денег, чтобы дать образование своим детям, каким образом станет он дорожить правом свободной речи? Нужда и невежество отнимают у народа всякую возможность понимать государственные дела и заниматься ими, — скажите, будет ли дорожить, может ли он пользоваться правом парламентских прений?

Нет такой европейской страны, в которой огромное большинство народа не было бы совершенно равнодушно к правам, составляющим предмет желаний и хлопот либерализма. Поэтому либерализм повсюду обречен на бессилие: как ни рассуждать, а сильны только те стремления, прочны только те учреждения, которые поддерживаются массой народа. Из теоретической узкости либеральных понятий о свободе, как простом отсутствии запрещения, вытекает практическое слабосилие либерализма, не имеющего прочной поддержки в массе народа, не дорожающей правами, воспользоваться которыми она не может по недостатку средств.

Не переставая быть либералом, невозможно выбиться из этого узкого понятия о свободе, как о простом отсутствии юридического запрещения. Реальное понятие, в котором фактические средства к пользованию правом поставлены стихией, более важной, нежели одно отвлеченное отсутствие юридического запрещения, совершенно вне круга идей либерализма. Он хлопочет об отвлеченных правах, не заботясь о житейском благосостоянии масс, которое одно и дает возможность к реальному осуществлению права.

Нам кажется, что этих кратких замечаний будет пока достаточно для предварительного объяснения читателю, в каком смысле мы употребляем слово «либерализм».

Само собою разумеется, что теоретическая несостоятельность либерализма чувствуется только теми, кому, кроме юридического разрешения, нужны еще и материальные средства. А у кого эти средства уже есть, тому, разумеется, и не приходит в голову хлопотать о них. Оттого либерализм очень долго был системой, совершенно удовлетворявшей людей с независимыми материальными средствами к жизни и с развитыми умственными потребностями. «Сытый голодного не разумеет», и они никак не могли теоретическим путем дойти до соображения, что потребности народа могут состоять в чем-нибудь ином, нежели либеральные тенденции. Они воображали, что являются истинными благодетелями народа, стараясь доставить ему свободу слова и парламентское правительство. Горький опыт начал разочаровывать либералов. Практические неудачи мало-помалу раскрывают благоразумнейшим из них глаза на теоретические недостатки их системы, и с каждым годом число истинных либералов в Европе уменьшается. Но заблуждения партий долговечны; да и как не быть им долговечными? Если отдельному человеку для приобретения здравых понятий о жизни посредством опыта нужны целые годы, конечно десятки лет нужны для этого собранию множества людей, взаимно поддерживающих один другого в общих заблуждениях. Потому во Франции, как и во всех других странах Западной Европы, продолжают еще существовать и хлопотать либералы, и нельзя сказать, чтобы Франция или вообще Западная Европа была уже вне опасности от их хлопот; да и сами они, к сожалению, все еще не достигли того благоразумия, чтобы избавить себя от бедствий и гонений, совершенно передав заботу о народах другим людям. Нет, они все еще готовы «жертвовать собою для блага свободы».

Нет ничего грустнее, как видеть честных, любящих вас людей, которые лезут из кожи вон от усердия осчастливить вас тем, чего вам решительно не нужно, которые с опасностью жизни взбираются на Монблан, чтобы принести оттуда для вашего наслаждения альпийскую розу — бедняжки! Сколько истрачено денег, времени и сколько честных шей сломано в этом заоблачном путешествии для вашего удовольствия! И не приходило в голову этим людям, что не альпийская роза, а кусок хлеба нужен вам, потому что голодному не до цветков природы или красноречия,

и дивились они и осыпали вас упреками в неблагодарности к ним, в равнодушии к вашему собственному счастью за то, что вы холодно смотрели на их подвиги и не лезли за ними через скалы и пропасти и не поддерживали их, когда они с своей заоблачной вышины падали в бездну. Жалкие слепцы, они не сообразили, что достать для вас кусок хлеба было бы им гораздо легче, не сообразили потому, что и не предполагали, будто кому-нибудь может быть нужна такая прозаическая вещь, как кусок хлеба.

Жаль их потому, что почти все они сломали себе шею, почти без всякой пользы для наций, о которых хлопотали. Еще больше жаль того, что нации не всегда оставались холодны к их стремлениям, иногда ободрялись красноречием и смелостью этих «передовых людей», шли вслед за ними и вслед за ними падали в пропасти.

Таково наше понятие о либерализме вообще, но в каждой стране, в каждую эпоху общая идея принимает особенный характер. Французский либерализм в эпоху Реставрации, самое блистательное и шумное явление в истории либерализма, отличался особенностями, которые раскроются в продолжение нашего рассказа. На первый раз мы предупредим читателя, что если борьба либералов с роялистами составляет сущность французской политической истории в то время, это еще вовсе не значит, чтобы в самом деле либералы были тогда постоянно защитниками хотя той жалкой свободы, которая признается идеей либерализма. Нет, далеко не всегда это было; критика фактов приводит даже к заключению, нимало не согласному с теми ожиданиями, какие можно составить, основываясь на названиях борющихся партий. Дела в это время перепутались очень странно и перепутались именно вследствие того, что имена партий плохо соответствовали их стремлениям. Несоответственность между именем и сущностью привела за собою ненужные союзы, неосновательные симпатии и антипатии. Результатом этого было, что Бурбоны без всякой надобности подвергли себя изгнанию из-за покровительства людям, которые вовсе не были их приверженцами, нация подвергла себя множеству бедствий из-за увлечения людьми, которые вовсе не были защитниками ее прав, и династия, наделав много вреда нации, окончательно оттолкнула ее от себя без всякой надобности. (Мы стараемся объяснить, что такое был либерализм, прозвонивший все уши Европе в эпоху Реставрации, и если нам удастся разоблачить это обманчивое понятие, обнаружит его совершенную пустоту, показать, что между так назы-

ваемыми либералами было с самого начала так же мало здравых понятий о свободе, как и между так называемыми роялистами), что так называемые роялисты так же усердно добивались так называемой свободы, как и либералы, если нам удастся показать, что во Франции при Бурбонах борьба между партиями, шедшая на словах будто бы между свободой и королевским полновластием, в сущности велась не за свободу одними, не за короля другими, если мы покажем, что свобода оставалась тут во всяком случае ровно ни при чем, какая бы из двух партий ни победила, а королевская династия возбудила против себя так называемых либералов только потому, что не умела понять, какого <безграничного> полновластия могла бы достичь, если бы покровительствовала самым крайним либералам или даже пошла бы дальше их, — если нам удастся показать все это, мы думаем, что читатель найдет некоторую назидательность в смешном и грустном ходе событий, общий очерк которого мы хотим изложить. А события были действительно смешны и грустны.

Громом оружия началось, громом оружия кончилось правление Бурбонов. Шестнадцать лет, прошедшие от громовых дней Монмартра и Ватерлооской битвы до трескучих июльских дней⁵, исполнены были отважного движения, речей, восторженных криков, перерываемых только резким стуком барабанов и треском ружейных выстрелов; в чем же смысл и сущность политической истории этих шестнадцати лет? Либералы совершенно ошибались, воображая себя защитниками свободы; роялисты совершенно ошибались, воображая себя защитниками престола; Бурбоны совершенно ошибались, думая, что должны опираться на роялистов; народ совершенно ошибался, воображая, что должен ожидать себе спасения от либералов, — из этой четверной ошибки выходила невообразимо бестолковая путаница. Бурбоны отталкивали себя от либералов, которые одни могли поддержать их, и дружились с роялистами, которые губили их; народ, привязываясь к звонким, но пустым речам либералов, забывал сам заботиться о своих интересах и, не получая никакой выгоды для себя, терпел похмелье на пиру совершенно чужом; либералы при Бурбонах оставались бессильными, потому, что не умели взяться за дело, а при Луи-Филиппе, когда получили силу, осрамили себя, оказавшись худшими друзьями свободы, нежели сами роялисты; наконец роялисты, смешав народ с либералами и думая, что подавить либералов — значит уже не иметь врагов, сами себе рыли могилу,

потому что не соображали, какое действие на народ производят их эволюции в борьбе с либералами. Здравого смысла тут, как видим, очень мало; сущность всей этой путаницы, если разобрать дело хладнокровно, чуть ли не выражена заглавием одной из пьес Шекспира «Комедия ошибок».

Такое неделикатное понятие об истории Франции в 1814—1830 годах вовсе не сообразно с теми высокими теориями, под которые обыкновенно подводится история. «Потребности народа, сила истины — вот основные силы, которыми движется ход событий; прогресс — не пустое слово. Называть путаницей какой-нибудь значительный отдел истории может только тот, кто не доучился и не додумался до глубокого взгляда на историю», — скажут нам люди, успокоительности взгляда которых мы завидуем, не будучи в состоянии достичь высоты таких приятных мирозерцаний. Нам представляется, что на ход исторических событий гораздо сильнее влияние имели отрицательные качества человека, нежели положительные; что в истории гораздо сильнее были всегда рутина, апатия, невежество, недоразумение, ошибка, ослепление, дурные страсти, нежели здравые понятия о вещах, знание и стремление к истинным благам; что всегда грошовый результат достигался не иначе, как растратою миллионов; что путь, по которому несется колесница истории, чрезвычайно извилист и испещрен рытвинами, косогороми и болотами, так что тысячи напрасных толчков перетерпит седок этой колесницы, человек, и сотни верст исколесит всегда для того, чтобы подвинуться на одну сажень ближе к прямой цели. Кто не согласен с нами, великодушно извинит такое наше заблуждение. Но мы — общая участь людей — воображаем, что фактами подтверждается именно наш, а не какой-нибудь другой взгляд.

Кто верит разным либеральным и прогрессивным историям, в которых так превосходно излагается «неукоснительное развитие» рода человеческого и осуществление великих идей, руководящих чуть ли не каждым движением каждого из бесчисленных более или менее великих людей вроде Гизо, Тьера, Талейрана, Меттерниха и пр., кто верит этим историям, тот, конечно, не согласится с нами: он очень твердо знает, что главный смысл шумной борьбы французских партий в 1815—1830 годах был: восторжествует ли во Франции конституционное устройство или королевская власть возвратит себе безграничную силу, какую имела до конца XVIII века. По мнению либераль-

ных историков, борьба шла между свободой и престолом (Франция разделялась на два лагеря, роялистов и либералов), и — все по мнению тех же проницательных людей — либералы и во сне и наяву только то будто бы и видели, как бы им обессилить королевскую власть до крайней степени, а роялисты будто бы всей душой и всем сердцем преданы были королям своим, сначала Людовику XVIII, а по смерти его Карлу X. Совершенно так же принимают дело и реакционеры от де-Местра до Монталамбера. Удивительная проницательность, тем более удивительная, что каждый факт противоречит ее выводам, основанным на одних именах и праздных словах, опровергавшихся самым делом. Действительно, из двух партий, шумно боровшихся во Франции с 1814 до 1830 года, одна называла себя либеральной, а другая роялистской, одна написала на своих знаменах «свобода», а другая — «престол». Но нужна проницательность совершенно особенного рода, чтобы верить этим именам и официальным прозвищам, — проницательность, которая должна предположить также, что гвельфы⁶ были в самом деле не люди, а щенки, как доказывается их именем, а тори в самом деле занимаются тем, что жгут английские деревни, как доказывается опять-таки их именем. Надобно также по этому способу суждения предпологать, что Наполеон, когда двинулся в 1812 году в Россию, начал войну не наступательную, а оборонительную, — он сам так говорил; а когда Нена-Сайб резал англичан в Ханпуре, то делал это, несмотря на свою мухаммеданскую веру, единственно по усердию к Бrame, Вишну и Шиве, — он сам это говорил.

Изумительна податливость людей обманываться официальными словами. Еще изумительнее то, что словам, в которых нет ни капли искренности, верит вполне не только тот, для оболъщения которого они придуманы, но часто и сам тот человек, кто их придумал с целью придать возвышенность и благовидность своим личным расчетам. Так случилось между прочим и во Франции при Бурбонах. Либералы от всей души воображали, что ратуют за свободу, роялисты не менее искренно были убеждены, что ратуют за престол. Но этими словами «свобода» и «престол» нимало не выражались их действительные стремления, и действия их вовсе не соответствовали тостам, которые они пили.

Нужно только вникнуть, из каких людей состояла та или другая партия, чтобы отказаться от доверчивости к ее официальному имени.

Начнем с роялистов. Основу этой партии составляли эмигранты, возвратившиеся во Францию вместе с Бурбонами вслед за победоносными союзными армиями. Нечего говорить о том, что если бы любовь к королю была в них сильнее личных расчетов, не покинули бы они Людовика XVI при начале революции; можно было бы извинить их бегство трусостью, не прибегая к сомнениям в их расположении к монарху, если б не знали мы, что делали они за границей. Когда разгорелись в Париже народные страсти, эмигранты прямо говорили, что для блага Франции надо желать смерти Людовика XVI, который не умеет управлять государством сообразно с пользами аристократии; их тайные агенты возбуждали парижских санкюлотов требовать казни Людовика XVI. Когда было получено известие о его смерти, они с торжеством говорили, что смерть была ему справедливым наказанием за то, что он согласился на уничтожение феодальных прав и на преобразование (гражданских прав) католического духовенства. Малолетний сын Людовика XVI, наследник престола, содержался в плену в Париже, надобно было управлять делами роялистов регенту; по неприкосновенному закону старинной монархии, регентом следовало быть старшему из дядей малолетнего короля; но граф Прованский (впоследствии Людовик XVIII) не нравился эмигрантам, и они упорно требовали, чтобы он уступил власть младшему брату, графу д'Артуа (впоследствии Карлу X). Несколько месяцев продолжалась борьба и, несмотря на сопротивление иностранных дворов, признавших права графа Прованского, эмигранты вытребовали у него титул наместника королевства (*lieutenant général du Royaume*) для своего любимца. Потом при каждом случае недовольства представителем королевской власти они дерзко ссорились с ним, постоянно признавая своим истинным главою не его, а графа д'Артуа. В таком положении оставались они к Людовику XVIII и по возвращении Бурбонов во Францию: постоянно выражая ему свое неудовольствие, они громко говорили, что повинуются не королю, а графу д'Артуа, и постоянно интриговали против всех тех, кого Людовик XVIII удостоивал своим доверием. Хороши монархисты, которые желали насильственной смерти одного короля и не хотели повиноваться другому.

Либералы так же были преданы свободе, как роялисты преданы королю. Либеральная партия состояла около 1815 года из слияния трех главных оттенков: из людей, служивших Наполеону, но не желавших его возвращения,

из настоящих бонапартистов и из приверженцев английской конституции (либералов в точнейшем смысле слова). Едва ли нужно говорить, до какой степени могли быть пылки конституционные желания людей, служивших Наполеону; еще менее могли умирать тоскою о свободе записные бонапартисты: система Наполеона, как известно, мало походила на конституционное правление. Остаются либералы в тесном смысле слова,— те самые люди, которые позднее составили партию орлеанистов. Мы будем иметь случай видеть, как они защищали свободу, когда самовластие казалось для них выгодно. Но в полном блеске их уважение к свободе выразилось после 1830 года, когда они имели власть в своих руках. Самые горячие роялисты 1820 годов не заходили так далеко, как Тьер, Гизо и вся их партия в 1832 и 1835 годах.

Было, правда, в либеральной партии несколько человек, действительно горячившихся из-за свободы, как сами ее понимали, например Лафайет, Войе д'Аржансон, Манюэль; но (во-первых) они по своей малочисленности не имели никакого влияния на ход парламентских прений во время Реставрации (во-вторых, были такие люди и между роялистами, например, Шатобриан). Были и между роялистами люди, действительно преданные королевской династии, например герцог Ришелье; но опять-таки, во-первых, они не имели влияния на свою партию; во-вторых, между либералами было таких людей гораздо больше,— перечислять их всех от Ройе-Коляра до Гизо было бы слишком долго.

В чем же заключались действительные стремления партий, из которых одна выдавала себя защитницей монархической власти, другая — свободы? Они заботились об интересах, гораздо более близких им, нежели престол или свобода. Люди, называвшиеся роялистами, просто хотели восстановить привилегии, которыми до революции пользовались дворянство и высшее духовенство; потому что сами эти люди были из высшего дворянства. Либеральную партию составляли люди среднего сословия: купцы, богатые промышленники, нотариусы, покупщики больших участков конфискованных имений,— словом, тот самый класс, который позднее сделался известен под именем буржуазии; революция, низвергнув аристократические привилегии, оставила власть над обществом в его руках; он хотел сохранить власть.

В той и другой партии этим задушевым стремлениям были подчинены все другие отношения, между прочим

и отношения к королевской власти. Стоило королю показать расположение к среднему сословию, — роялисты начинали проклинать короля, кричать против деспотизма, а либералы рукоплескали самым насильственным распоряжениям королевской власти и рвали в клочки конституцию; разумеется, когда, наоборот, король поддерживал феодальные стремления аристократов, роялисты начинали кричать о неприкосновенности и неограниченности королевской власти, а либералы говорили, что умрут, защищая конституцию.

Разбор действий той и другой партий в 1815—1830 годах на каждом шагу приводит к такому заключению.

Мы не хотели писать полного обзора всех сторон исторического движения за эти годы; развитие науки, литературы, экономические отношения, судебные дела, дипломатические сношения, военные события не входят в наш рассказ, потому что иначе слишком расширился бы его объем: все внимание наше будет обращено исключительно на факты, объясняющие характер политических партий, существовавших тогда во Франции, и сущность внутренней политической истории государства. С той же целью, чтобы не увеличивать до чрезмерности объем этого очерка, мы начинаем его с вторичного возвращения Бурбонов во Францию после Ватерлооской битвы, или второй реставрации, не говоря ни о кратковременном периоде первой реставрации, окончившейся возвращением Наполеона с Эльбы, ни о кратковременном господстве Наполеона во время Ста дней. Обе эти эпохи были только прелюдиями к длинной драме собственно так называемого периода Реставрации, начинающегося после Ватерлоо.

После Ватерлооского сражения Веллингтон был владыкой Парижа; судьба Франции зависела от милости союзных монархов. Союзники требовали от Бурбонов благоразумия и снисходительности к людям, замешанным в события, следовавшие за возвращением Наполеона с Эльбы. Веллингтон громко объявил, что не допустит Людовика XVIII снова принять власть иначе, как если он будет управлять по советам Фуше и сделает его министром: по мнению Веллингтона, только Фуше мог предохранить Бурбонов от нового изгнания. Но события доставили перевес во Франции роялистам. Либералы, пораженные вместе с Наполеоном, которого поддерживали во время Ста дней, почти без борьбы дали восторжествовать роялистам на выборах в палату депутатов. Посмотрим же, как доказали роялисты свою приверженность к монархической власти.

Один слух о ненависти избранных в палату роялистов к Фуше заставил короля отказаться от помощи министра, пользовавшегося доверием Веллингтона и служившего представителем примирения Бурбонов с новой Францией. Роялисты ненавидели Фуше не за те гнусные жестокости, которыми он опозорил себя во время терроризма, — они покровительствовали людям, не менее запятнавшим себя в этом отношении, например, генералу Канюэлю, который так свирепствовал против вандейцев, что был удален от должности комиссарами Конвента и не был потом употреблен ни на какие поручения Наполеоном. Коварство Фуше также не было причиной вражды роялистов к нему; они поддерживали многих людей, не превосходивших Фуше честностью. Но этот министр доказывал Людовику XVIII, что Бурбоны не должны быть слепыми орудиями эмигрантов, что требования крайних реакционеров противны интересам короля; роялисты хотели казнить или сослать более трех тысяч человек; Фуше доказал королю, что такая масса жертв возбудит общее негодование, и настоял на том, чтобы не более пятидесяти семи лиц были преданы суду, говоря, что и это число уже слишком велико. Такого сопротивления гибельному для самих Бурбонов мщению не могли простить эмигранты, и Фуше принужден был против воли короля удалиться из министерства.

Тогда главой министерства сделался герцог Ришелье, памятный у нас заботами об Одессе и лично пользовавшийся особенным благоволением императора Александра⁷. По своим мнениям герцог был ревностный монархист; казалось бы, что роялисты должны доверять ему. По своим отношениям к императору Александру, от которого зависели тогда решения европейских держав о судьбе Франции, он был человеком незаменимым. Если бы роялисты желали избавить народ от унижительных неприятностей в сношениях с Европой, они должны были бы поддерживать Ришелье.

Еще до начала заседаний палаты депутатов роялисты, составлявшие в ней огромное большинство, вынудили у короля отставку министра, услуги которого были чрезвычайно полезны для Бурбонов. Но этот министр служил республике и Наполеону: быть может, роялисты станут соблюдать более умеренности, выкажут себя хорошими подданными теперь, когда король вручил правление новому министру, который преданностью монархическому началу не уступит никому в целой Франции.

На словах палата депутатов пылала усердием к королю. В ней только и речи было, что о короле и безграничной преданности ему; с неистовым восторгом приняла она слова Воблана: «Огромное большинство палаты хочет верно служить королю». Но палате было известно, что король не может быть слишком строг относительно людей, поддерживавших Наполеона; что строгость повредит прочности его престола и может поссорить его с императором Александром и Англией. Роялисты не хотели обращать на то внимания, и как только собралась палата, первым делом ее было представить королю адрес, требовавший мщения. «Мы обязаны, государь,— говорила палата,— требовать у вас правосудия против тех, которые подвергли опасности престол. Пусть они, донныне гордящиеся своей изменой и ободряемые безнаказанностью, будут преданы строгости судов. Палата ревностно будет содействовать составлению законов, необходимых для исполнения этого желания». Правительство, повинувшись требованию, через несколько дней представило проект закона о возмутительных криках, речах и сочинениях; по проекту эти нарушения порядка объявлялись проступками и наказывались тюремным заключением от трех месяцев до пяти лет, лишением гражданских и политических прав и отдачей под надзор тайной полиции. Палата вознегодовала. «Как могло правительство предложить нам такой проект? — говорили роялисты. — Оно называет проступками то, что должно называть преступлениями; наказания назначены слишком легкие, представлять такой проект палате, составленной из роялистов, это — чистая измена». Комиссия палаты, рассматривавшая проект, совершенно переделала его и усилила все наказания. «Наказания должны быть соразмерны преступлениям, — говорил в своем рапорте палате Пакье, докладчик комиссии, — нужно, чтобы быстрота наказания внушала спасительный ужас людям, которые хотели бы подражать преступникам. Все друзья порядка и тишины желают восстановления превентальных судов*. До той поры пусть люди, подлежащие этому закону, судятся уголовным судом; но наказания, назначенные в проекте, слишком легки для них. Мы думаем, что они должны наказываться или изгнанием, (или каторгою,) или ссылкой. Но простое изгнание — наказание ничтожное для них. Их

* Старинные суды, действовавшие по особенным инструкциям, не стесняясь ни законами, ни формами судопроизводства, казнили людей без дальних околичностей полицейским порядком.

должно осуждать на ссылку. Справедливость требует, чтобы они были навеки удаляемы из той земли, на которой недостойны они жить, и посылались влачить под далеким небом жизнь, которую употребили на бедствия отечества и стыд соотечественникам. Сверх того, они должны подвергаться строгому денежному штрафу, наказанию для этих людей более чувствительному, нежели тюрьма, которая показалась бы для них, не знающих стыда, только средством жить в праздности». Другой роялист де-Семезон требовал, чтобы место ссылки было назначено непременно за пределами Европы и чтобы в некоторых случаях, например за поднятие трехцветного знамени⁸, назначалась вместо ссылки смертная казнь. «Согласен на закон,— шутливым тоном сказал третий роялист Пье,— только с небольшой переменой, именно, чтобы вместо ссылки поставлена была смертная казнь,— перемена, как видите, пустая». Палата весело захохотала остроте. Один из депутатов отважился было сказать: «Положим смертную казнь за поднятие трехцветного знамени вследствие обдуманного заговора, по неужели казнить человека, который сделал бы это просто под пьяную руку?» Громкий ропот прервал его. Все ораторы, говорившие потом, обвиняли не только министерский проект, но и предложение комиссии в излишней слабости. Правительство уступило требованиям палаты и согласилось на изменения, сделанные комиссией.

С этой минуты палата решительно берет в свои руки верховную власть. Она не доверяет министрам короля, переделывает все их законы. Министры ничтожны перед ней; король должен покоряться ей беспрекословно. Со времен Конвента не было законодательного собрания, которое недоверчивее смотрело бы на исполнительную власть и щекотливее выставляло бы при всяком случае свои права. Роялисты вынудили у министерства отмены гарантий, ограждавших личность гражданина от полицейского произвола, вынудили множество других крутых мер, и, наконец, один из них, Лабурдонне, под ироническим именем амнистии предложил закон, страшным образом расширявший разряды лиц, подвергавшихся ответственности за участие в событиях Ста дней. Это предложение было сделано в тайном комитете палаты, поручено рассмотрению тайной комиссии, которая не хотела открывать предмета совещаний самому правительству. Амнистия Лабурдонне подвергала смертной казни или ссылке около тысячи двухсот человек. Члены комиссии хотели еще увеличить это число. Ужас овладел Парижем, до которого

доносились слухи о намерениях палаты. Правительство, испуганное путем, на который ведет его палата, решилось предупредить ее, чтобы не навлечь на династию Бурбонов непримиримой ненависти нации. Весь кабинет торжественно явился в палату с проектом закона, составленным в духе гораздо более кротком. Палата передала проект министерства на рассмотрение прежней комиссии, негодую на преступную снисходительность правительства. Комиссия переделала проект в духе Лабурдонне. «Не слушайте софизмов гибельной филантропии, служащей орудием обмана в устах ваших врагов,— говорил роялист Бодрю, когда начались прения в палате после прочтения доклада комиссии: — наказывайте, не колеблясь, иначе ошибетесь; предложение комиссии выше всяких возражений». — «Провидение предает, наконец, в ваши руки злодеев,— вскричал Лабурдонне,— вечное правосудие сберегло их среди опасностей именно для того, чтобы непреложно показать суетность их коварства. Они говорят, что они прощены королем при его возвращении; нет, это прощение, подобно печати отвержения, положенной на челе первого братоубийцы, хотело сохранить их от человеческого суда для предоставления вечному мщению; но мучение Каина нечувствительно для их ожесточенных сердец; вы, малодушные, непредусмотрительные законодатели, вы видите ковы этих людей, ставших позором нации, и не накажете их! Нет, эта палата, цвет нации, надежда всех истинных французов, сумеет предупредить новые преступления своей энергией». По окончании прений докладчик комиссии Корбьер объявил, что комиссия не может сделать никакой уступки министрам. Министры решились прибегнуть к последнему средству. Герцог Ришелье, бывший тогда первым министром, встал, попросил президента палаты прекратить на время заседание и вышел из залы в сопровождении своих товарищей. Через час, возвратившись на трибуну, он объявил палате, что имел совещание с королем, которому изложил ход прений, и теперь должен сообщить палате желание короля. Он соглашается на некоторые изменения, предлагаемые комиссией, но самым безусловным образом отвергает те многочисленные исключения из амнистии, которых требует комиссия. «Да будет мне позволено заклинать вас не делать закона милости причиной раздора,— заключил Ришелье свою речь.— После потопа бедствий, наводнявших нашу несчастную Францию, пусть закон об амнистии явится на

нашем политическом горизонте как символ примирения и спасения для всех французов».

Министры прибегали к чрезвычайному способу укротить безрассудную мстительность роялистов. Во время прений указывать на прямую волю короля противно обычаям парламентской системы. Но министры извинялись отчаянностью своего положения: роялисты принуждали правительство к таким несвоевременным мерам, которые за несколько месяцев пред тем были причиной изгнания Бурбонов и неминуемо должны были вновь привести их к падению. Роялисты могли бы негодовать на министров, упросивших короля вмешаться в прения; но если они действительно были верными подданными короля, им оставалось теперь только покориться его воле. Они и не думали о том. «Конечно, господа, — сказал Бетизи, — нам очень грустно становиться в противоречие с желаниями короля; мы дали ему столько доказательств верности, преданности и любви, двадцать пять лет нашим лозунгом было восклицание: жить для короля, умереть за короля! Но, господа, не забудем девиза наших отцов: бог, честь и король; и если непреклонная честь обязывает нас на время воспротивиться воле короля; если, недовольный сопротивлением своих верных слуг своему королевскому милосердию, он отвращает на время от нас свой милостивый взгляд, мы скажем: ура, король, и против его воли! *Vive le roi, quand même!*» Министры не нашли, что возразить ему, и проект закона, противный воле короля, был почти единодушно принят палатой среди громких рукоплесканий. Из 366 членов только 32 депутата либеральной партии подали голос за министерство и короля.

Точно таково же было отношение палаты к министрам и королю по всем другим вопросам; в каждом заседании роялисты представляли своими решениями новые подтверждения тому, что не хотят обращать никакого внимания на интересы царствующей династии, на волю короля, на права королевской власти и что под официальными фразами их о преданности престолу скрывается непреклонная решимость управлять Францией исключительно в интересах эмигрировавшей аристократии и постоянно вынуждать у короля беспрекословное повиновение ей. Не перечисляя всех законов и распоряжений, выражавших коренное разногласие между королем и роялистами, мы упомянем еще только об избирательном законе, от которого должен был зависеть характер власти, управлявшей Францией. Министры представили проект,

по которому королю давалось право причислять к сословию избирателей некоторое количество лиц, не имевших значительной недвижимой собственности, принимавшейся первым условием при составлении списков избирателей. По этому проекту выбор депутата производился прямо всеми избирателями округа. Комиссия палаты, отвергая проект министерства, составила другой закон, по которому совершенно устранялось влияние правительства при составлении списков, и избиратели каждого округа выбирали не прямо депутата, а только вторых избирателей из числа значительных землевладельцев департамента. Эти вторые избиратели, собираясь по департаментам, выбирали депутатов; таким образом по проекту комиссии выборы в палату депутатов отдавались совершенно в руки аристократии, становившейся вполне независимой от короля. Проект министерства был составлен в видах усиления королевской власти; вся либеральная партия палаты единодушно поддерживала его. Проект комиссии, назначенной роялистским большинством палаты, заменял монархическое устройство Франции аристократической республикой; королю оставалось при таком избирательном законе меньше власти, нежели имел венецианский дож; олигархия аристократического парламента становилась на место престола. Все роялисты подали голос за проект, уничтожавший монархическую власть.

Очевидно было, что или должен отказаться от всякого влияния на государственные дела король, стать слугою палаты депутатов, или должна быть распущена эта палата, столь громко вопившая о своем роялизме и столь непреклонно восстававшая против короля. Людовик XVIII видел необходимость распустить палату, и 29 апреля 1816 года заседания палаты были отсрочены, а 5 сентября явилось королевское повеление, объявлявшее, что палата распускается, и предписывавшее произвести новые выборы.

Семь месяцев продолжались заседания роялистской палаты. Пока она еще не начинала своих действий, трудно было не обмануться пышными речами ее членов, изъявлявших безграничную приверженность к престолу, и Людовик XVIII при начале ее заседаний в порыве радости от роялистского состава палаты назвал ее беспримерной палатой (*chambre introuvable*). Это имя оставила за ней история, но в смысле совершенно противном тому, с каким вначале было произнесено оно. Палата 1815 года была действительно беспримерна по вражде против всего того,

на чем должно было утверждаться правительство Бурбонов. Роялисты с первого же раза ограничили монархическую власть так, как ограничил ее Долгий парламент в Англии. Они так же мало доверяли королю, так же упорно противились ему, как республиканцы революционных собраний.

Зато либералы всеми силами старались поддержать министерство, подвергавшееся постоянным оскорблениям и поражениям от роялистов. Обе партии действовали в духе, совершенно противном своим формальным провозищам. Либералы подавали голос за короля, роялисты — против короля.

Но все, что мы видели до сих пор, было бледно и слабо в сравнении с бурными движениями, возбужденными королевским повелением 5 сентября.

Если бы надобно было смотреть на это повеление как на фазис борьбы между властью короля и парламентским правлением, то, без сомнения, защитники парламентского правления огорчились бы таким проявлением королевского произвола, как распускание палаты за несогласие с мнениями королевских советников. Но они пришли в восторг. Либералы приветствовали повеление, распускавшее палату, как бессмертное благодеяние; они забывали все преследования, которым подвергались от министра полиции Деказа, энергического любимца короля: Деказ склонил короля и своих товарищей распустить палату, и либералы провозглашали его спасителем Франции. «Я не буду теперь жаловаться,— писал Деказу один из генералов либеральной партии, шесть месяцев уже содержащийся в тюрьме по капризу министра,— я согласен платить годом свободы за каждое повеление, подобное изданному вами».

Если бы роялисты были приверженцы монархической власти, они радовались бы блистательному доказательству силы короля, выразившемуся распусканием палаты. Напротив, они были раздражены до последней степени. Их представитель в королевской фамилии, граф д'Артуа, называл Деказа изменником. Несмотря на все цензурные строгости Вильмена, бывшего потом при Гизо министром народного просвещения, а теперь управлявшего цензурой, журналистика роялистской партии осыпала проклятиями ненавистное повеление. Шатобриан, замечательнейший представитель роялистов в журналистике, писал: «Какие побуждения склонили министров воспользоваться правом короля распускать палату? Партия, влекущая Францию

к гибели, боялась, что палата раскроет королю истинные желания Франции. Но пусть не теряют мужества добрые французы, пусть они толпой идут на выборы, но пусть не доверяют они обману: им будут говорить о короле, о воле короля. Не поддавайтесь этой уловке: спасите короля против его воли — *sauvez le roi quand même*».

Все люди, защищавшие гражданское равенство французов перед законом, противившиеся восстановлению старинных привилегий и феодальных несправедливостей, назывались в то время у правительства революционерами; все, принимавшие какое-нибудь участие в событиях революции, были казнены, изгнаны или заключены в темницу. Однакоже роялисты говорили, что король подпал влиянию революционеров, заставивших его мстить роялистам за изгнание членов Конвента, которых тогда называли царубийцами, и Шатобриан восклицал: «Бонапарте имел на службе революционеров, презирая их, ныне хотят иметь их на службе в почете. Могли ли ожидать роялисты, что такие люди будут слугами законных королей? Якобинцы, испуская крик радости во всеуслышание своим братьям в остальной Европе, вышли из своих берлог, явились на выборы, сами изумляясь тому, что их призывают на выборы, что их ласкают как истинных опор престола».

Таким образом герцог Ришелье, эмигрант и друг русского императора, становился якобинцем и революционером; якобинцем становился Деказ, расстрелявший и казнивший в угодность роялистам сотни людей от Нея и Лабедойера до самых безвестных простолюдинов. Сам Людовик XVIII не избежал этого обвинения: «Он смолodu имел склонность к якобинству; он либеральничал еще в 1788 году при собрании нотаблей, предшествовавшем конституционному собранию», — говорили роялисты.

Ярость их была очень натуральна: новый закон о выборах, отдававший власть в их руки, был отвергнут палатой пэров, потому что вышел из палаты депутатов в редакции ликуда негодной в чисто техническом отношении. Составить другого закона палата депутатов еще не успела, когда была распущена, и выборы должны были производиться по правилам, существовавшим прежде. Правила эти были чрезвычайно односторонни, совершенно исключая от участия в выборах не только простолюдинов, но и большую часть среднего сословия. Тем не менее они не отдавали всей силы исключительно в руки аристократов; общественное мнение имело при них некоторое, хотя и слабое, влияние на результат выборов. Роялисты раз-

дражили своей мстительностью всю Францию, встревожили каждое семейство намеками на конфискацию всех имуществ, приобретенных во время республики и империи, и не могли теперь ожидать того успеха на выборах, какой имели в 1815 году. Действительно, около половины роялистских депутатов прежней палаты потерпели неудачу. В палате 1815 года они имели огромное большинство; в новой палате из 259 членов роялистов было около 100. Теперь они надолго должны были отказаться от надежд восстановить феодальное устройство, о котором мечтали. Король отнял у них эту возможность, чтобы самому не лишиться престола; зато король был для них ненавистен, и они стали нападать на королевскую власть с яростью, которой могли бы позавидовать санкюлоты 1792 года⁹.

При проверке выборов в одном из первых заседаний новой палаты Вильель, один из предводителей роялистов, явился уже горячим защитником свободы против вмешательства административных властей в выборы. Издатель одного роялистского журнала Робер был арестован, и журнал его запрещен; в предыдущие месяцы, когда господствовали роялисты, запрещение либеральных журналов было делом ежедневным, и чуть ли не в каждой тюрьме королевства сидели журналисты, арестованные без суда роялистами. Но когда власть обратилась против роялистов, они подняли крик о ненарушимых правах свободы, и тот самый Пье, который с милой шутливостью требовал смертной казни за словесные и печатные проступки, теперь явился истинным Мильтоном, провозвестником свободы слова: «В деле Робера, — говорил он, — я вижу нечто более, чем незаконный арест и произвольное запрещение журнала; я вижу в нем восстановление пытки».

Зато либералы, еще недавно кричавшие о свободе, теперь единодушно подавали голоса в оправдание всех произвольных действий министерства: постоянным большинством 160 голосов были отвергаемы все жалобы новых защитников свободы, было оправдано вмешательство министров при выборах и арест Робера и запрещение его журнала. Либералы поддерживали всю систему Деказа, систему цензуры и противных конституции законов. Вильмен противозаконно стеснял роялистскую журналистику и запрещал роялистские журналы. Знаменитый друг свободы мышления и по тогдашнему мнению либералов великий философ Ройе-Коляр говорил в ответ роялистам: «Нельзя отрицать того, что, где есть партии, там журналы перестают быть органами личных мнений

и, предаваясь интересам партий, становятся орудием их политики, театром их битв, и свобода журналов обращается только в свободу необузданных партий».

Правительство не могло не отблагодарить либералов за такую безграничную приверженность и представило палате новый закон о выборах, по которому избирателем был каждый гражданин, платящий 300 франков прямых податей, то есть каждый зажиточный человек, без различия в том, движимая или недвижимая собственность составляет его имущество. Число избирателей вследствие этого закона возросло до 90 000 человек, из которых огромное большинство принадлежало к среднему сословию, враждебному феодальным правам. Не нужно и говорить о том, что роялисты, решительно убиваемые этим проектом, восстали против него; но замечательно то, что они, недовольные проектом за уничтожение привилегии больших землевладельцев-аристократов над купцами и землевладельцами среднего сословия, вдруг обратились в защитников демократии и упрекали новый закон за его аристократизм: «Вы хотите повергнуть всю нацию перед золотым тельцом, — восклицал Лабурдонне, предводитель роялистов, — вы хотите поработить нацию самой жестокой, самой наглой аристократии. Неужели пролито столько крови, принесено столько жертв только для того, чтобы притти к такому результату, постепенно уничтожить все провозглашенные вами права и отдать под иго политического рабства нацию, восставшую с песнями свободы? А ты, французский народ, слишком легковерно служивший орудием для всех честолюбцев, узнай по крайней мере теперь, кто твои враги, кто твои друзья!» Защита свободы должна быть всегдашнею обязанностью демократов, и другой роялист, Корне д'Энкур, прибавлял: «Произвольными законами заменены постановления конституции, потом и эти законы заменены простыми повелениями короля, потом и королевские повеления заменены инструкциями от министров, и эти инструкции толкуются в свою очередь по произволу префектами. Министр полиции стал великим избирателем королевства. У нас нет ни закона об ответственности министров, ни личной свободы, ни свободы печати, ни свободы выборов. Проект настоящего закона не ограждает ни свободы выборов, ни независимости палаты; я его отвергаю».

Но роялисты, сделавшиеся страстными защитниками свободы, не убедили либералов позаботиться о ней и избавить нацию от порабощения аристократией золотого тель-

ца. Проект был принят, и 5 февраля 1817 года новый закон о выборах был обнародован. Либералы в своем ревностном усердии к правительству пошли еще далее. Они приняли два закона, действительно противоречащие и конституции и самым основным понятиям о политической свободе.

Первый из этих законов отдавал на произвол администрации личную свободу, неприкосновенность которой провозглашалась конституцией. Правда, по прежнему закону, составленному в 1815 году, администрации предоставлялось еще больше произвола; новым законом смягчались постановления прежнего; но все-таки он был противен свободе и конституции. Однакоже либералы поддерживали его; это тем страннее, что, присоединив свои голоса к голосам роялистов, противившихся закону, они могли бы отвергнуть его, и тогда конституция вошла бы в силу, личная свобода была бы ограждена. Но в таком случае потерпели бы поражение министры, представившие проект, а для либералов сохранение министерства, враждебного роялистам, было важнее, нежели восстановление свободы. Зато роялисты, год тому назад постановившие гораздо более деспотический закон, теперь кричали о нестерпимом нарушении свободы новым законом.

Та же самая история была и с законом, ограничивавшим свободу журналистики.

Либералы усердно поддерживали министерство, а между тем оно продолжало, как в 1815 и 1816 годах, подвергать тюремному заключению и смертной казни самым произвольным и противозаконным образом множество людей. Чтобы дать понятие о том, как и за что погибали тогда люди во Франции, мы упомянем только об одном случае. Отставной капитан кавалерии Велю был призван в суд за то, что назвал свою лошадь казаком. «Как могли вы дать своей лошади имя, драгоценное для всех добрых французов?» — спросил судья. «Я купил ее у русского офицера и назвал казаком, как назвал бы нормандцем, если бы купил у нормандца», — отвечал капитан. «Но вы должны были знать, что вы оскорбляли народ, мужеству которого Франция отчасти обязана восстановлением законной власти». Капитан Велю не нашелся, что отвечать на такое нелепое обвинение. Ему объявили, что он предается превопальному суду. Тюремное заключение так подействовало на расстроенное военной службой здоровье капитана, что он умер. После этого не нужно говорить, какова была участь людей, обвинявшихся в нерасположении к правительству, а тем более в каких-нибудь зло-

умышлениях против него, обыкновенно изобретенных усердием шпионов.

По закону, изданному 5 февраля 1817 года, каждый год подвергалась новым выборам одна пятая часть палаты депутатов. Прошло два таких срока, в оба раза выборы сильно не благоприятствовали роялистам; они видели, что скоро совершенно исчезнут из палаты, и не имели надежды ни при каких обстоятельствах возвратить себе силу в ней под влиянием закона 5 февраля. В этом отчаянном положении они прибегли к разным интригам, чтобы запугать монархов Священного союза; граф д'Артуа послал к этим государям тайную записку, доказывавшую, что если не будет отменен закон 5 февраля, то Франция снова упадет во власть революционеров, массами проникающих в палату при каждом новом выборе. Французское министерство получило предостережения от союзных держав. Герцог Ришелье, до той поры совершенно не занимавшийся внутренними делами Франции, ограничиваясь исключительно дипломатическими заботами, и не знавший ни положения, ни духа внутренних партий, пришел в ужас и решился последовать предостережению, которое считал личным мнением русского императора. Но Деказ не обманулся уловками роялистов: он понял, что их ложные известия вовлекли в ошибку дипломатов Священного союза; он очень хорошо знал, много ли революционных опасностей в либерализме, и понимал, что гибельны для престола Бурбонов могут быть только роялисты, но никак не либералы. Он воспротивился изменению прежней системы и вместе с несколькими другими министрами подал в отставку. Без Деказа Ришелье не мог управлять делами и также подал в отставку. Людовик XVIII поручил Деказу составить новое министерство.

И так герцог Ришелье, три года бывший главой министерства, сделался частным человеком. Франция была обязана ему тем, что союзные монархи поступили с нею в 1815 году гораздо снисходительнее, нежели как предполагалось. При известии о возвращении Наполеона с Эльбы Талейран, бывший французским уполномоченным на Венском конгрессе, до того растерялся, что пожертвовал всеми выгодами отечества. По ходатайству герцога Ришелье император Александр I убедил своих союзников значительно смягчить условия мира с Францией после Ватерлооской битвы. Ришелье благодаря расположению русского императора избавил Францию от платежа многих сотен миллионов франков. Потом также по его ходатайству

был двумя годами сокращен срок квартирования союзных войск во Франции. Этим Франция избавлялась от унижения видеть себя под наблюдением иностранных армий и снова выигрывала несколько сот миллионов. Словом сказать, не было в то время человека, которому Франция была бы так много обязана, как герцогу Ришелье. Теперь, переставая быть министром, он делался бедняком. Франция должна была обеспечить от нищеты старость человека, оказавшего ей безмерные услуги и для службы ей отказавшегося от блестящего и прочного положения в России. В палаты пэров и депутатов было внесено предложение «назначить герцогу национальное вознаграждение, соразмерное огромности его услуг и его бескорыстию». Министерство предложило палатам назначить ему в виде пенсии майорат в 50 000 франков из недвижимых государственных имуществ.

Если роялисты действительно были преданы престолу, они могли бы сказать против этого предложения разве то, что пенсия должна быть назначена гораздо больше. Монархические чувства герцога были вне всяких сомнений. Услуги его Бурбонам были безмерны. Не только приверженность к престолу, но и простое чувство приличий запрещало роялистам восставать против пенсии: герцог Ришелье вышел из министерства именно потому, что по желанию роялистов хотел изменить закон о выборах. Наконец чрезвычайное благородство, с которым он, узнав о намерении назначить ему пенсию, отказывался от нее, должно бы зажать рот каждому сколько-нибудь благородному человеку, хотя бы и недовольному герцогом. Но Ришелье распустил роялистскую палату 1815 года и тем разрушил перевес роялистов: этого не могли они простить ему, и предложение о пенсии подняло с их стороны самый неприличный крик. Они выставляли подобную награду примером, опасным для будущего времени; спрашивали, почему же не назначается такая же награда всем бывшим товарищам Ришелье по министерству: если действия министерства заслуживают награды, то несправедливо давать награду одному министру, а не всем; наконец, говорили они, если Ришелье был хорошим министром, то почему же он не остался министром? Он вышел в отставку, значит он сам видит, что его управление не годится для Франции, и после того как же можно награждать министра, который сам осудил себя своей отставкой?

Речи роялистов были так обидны, что когда большинство палат назначило ему пенсию, он пожертвовал ее в пользу бордосских госпиталей.

В то время как роялисты своими оскорблениями герцогу Ришелье доказывали, что прекрасно умеют ценить преданность и услуги престолу, либералы продолжали столь же ясно показывать, как ненарушимы для них права свободы. Из множества фактов мы приведем один, в котором самую лестную роль играл Вильмен, до сих пор с блестящим красноречием рассуждающий о любви к свободе и в своих книгах, и в заседаниях Французской академии. Мы уже упоминали, что он тогда управлял цензурной частью. При молчании, наложенном на газеты, довольно сильный интерес в публике пробуждали статьи *Bibliothèque historique*¹⁰, печатавшей разные документы и рукописи, относившиеся к прошедшему времени. Издатель ее Гоке вздумал было поместить в прибавлении к одной из своих книжек «Разговор между изгнанником и членом палаты 1815 года». Статья эта самым мягким образом намекнула, что преследования 1815 года были слишком суровы. Она была напечатана, но еще до выпуска книжки Гоке решился уничтожить этот разговор, чтобы не подвергать себя опасности. «Где же прибавление к этому номеру?» — сказал Вильмен, когда Гоке принес ему на рассмотрение книжку. Гоке отвечал, что прибавление уничтожено. Тогда Вильмен стал просить у него двух экземпляров прибавления лично для себя. «Дайте их мне не как официальному лицу, для моей частной библиотеки», — говорил он. Гоке долго не соглашался, наконец уступил просьбам Вильмена и принес ему два экземпляра прибавления; через несколько часов в типографию Гоке явилась полиция и захватила те экземпляры прибавления, которых не успели еще уничтожить рабочие, истреблявшие эту макулатуру. Гоке был подвергнут суду за то, что дал два экземпляра Вильмену, (и через два дня подвергся наказанию). Он был на три месяца заключен в тюрьму; дела его в это время расстроились, и, обанкротившись, он скоро умер от печали.

Такие либералы, разумеется, не могли служить представителями страстей и интересов, двадцать лет тому назад вызвавших французскую революцию. Образованные простолюдины чуждались их почти столько же, сколько и роялистов. Не находя себе выражения ни в партиях, разделявших палаты, ни в журналистике, революционные идеи тем сильнее волновали людей, остававшихся в сто-

роне от публичного участия в государственных делах. Скоро явились фанатики, молчаливые и скрытные, но тем более решительные. Один из них, Лувель, решился убить герцога Беррийского, который один из всех Бурбонов мог иметь потомство и продлить свою династию. 13 февраля 1820 года он железной полосой, заостренной в виде кинжала, смертельно поразил принца при выходе из оперы. Этот человек вовсе не был либералом; он не имел понятия о прениях, которые с таким шумом велись в палатах и возбуждали такие опасения в правительстве. Лувель был простым рабочим у королевского седельщика. «Что вас побудило совершить преступление?» — сказал ему Деказ на допросе. «Я считаю Бурбонов злейшими врагами Франции», — отвечал этот человек. «Зачем же вы в таком случае покусились на жизнь именно герцога Беррийского?» — «Затем, что он моложе других принцев королевского дома и, вероятно, он имел бы потомство». — «Раскаиваетесь ли вы в своем поступке?» — «Нисколько». — «Возбуждал ли вас кто-нибудь, был ли кто вашим сообщником?» — «Никто».

Действительно, Лувель не имел сообщников, но за его преступление расплатился Деказ, конечно столь же гнушавший им, как и самые пылкие роялисты.

Роялисты обрадовались несчастью, постигшему королевскую фамилию. Оно дало им желанный случай низвергнуть ненавистного министра. Когда на другой день открылось заседание палаты депутатов, Клозель де-Куссерг, один из отважнейших между роялистами, вошел на трибуну. «Министры должны быть обвиняемы в публичном заседании пред лицом Франции, — сказал он. — Я предлагаю палате составить акт обвинения против господина Деказа, министра внутренних дел, как сообщника в убийстве...» Крики негодования раздались со стороны министерских членов и прервали его речь. Но роялисты достигли своей цели через несколько дней. «Безрассудный, вы испортили дело, — сказал Вильель Клозелю, когда он сошел с трибуны, — вместо прямого участия в убийстве надобно было обвинять Деказа просто в измене».

Деказ был обязан своей властью чрезвычайно личному расположению Людовика XVIII. Он был любимым собеседником старого короля; он один умел развлекать его скуку; старик толковал с ним обо всем, чем интересовался сам: о городских новостях, о латинских классиках, о французской литературе, о своих сочинениях. Он одного дня не мог прожить без Деказа и называл его своим сыном.

Оставшись с ним наедине, король залился слезами: «Дитя мое, — говорил он, — роялисты начнут с нами страшную войну; они воспользуются смертью моего племянника; они нападут не на твою, а на мою систему; не тебя одного ненавидят они, а также и меня». Деказ отвечал, что как ни прискорбна была бы ему отставка в связи с таким страшным случаем, но он готов удалиться из министерства для спокойствия короля. «Нет, нет, — горячо вскричал Людовик XVIII, — ты не покинешь меня, я требую, чтобы ты остался! Они не разлучат нас». Вечером был созван совет из министров и нескольких доверенных лиц для соображений о мерах, требуемых обстоятельствами. «Господа, — сказал Людовик XVIII, обращаясь к собранию, — роялисты наносят мне последний удар; они знают, что система господина Деказа — моя система, и обвиняют его, будто он убил моего племянника! Не первую клевету подобного рода возводят они на меня. Я хочу, господа, спасти отечество без них».

Но мог ли дряхлый старик выдержать борьбу с непримиримыми врагами своего любимца, восторженно схватившимися за счастье, доставленное им рукой Лувеля? На другой день в заседании палаты депутатов 15 февраля Клозель де-Куссерг снова вошел на трибуну и объявил, что не отступает от своего обвинения. «Я передал господину президенту следующее предложение, — сказал он: — имею честь предложить палате составить обвинение против господина Деказа, министра внутренних дел, как виновного в измене по смыслу 56-й статьи конституции». Роялисты не имели большинства в палате, обвинение было отвергнуто. Но у них были другие пути к достижению своей цели. Сила роялистов сосредоточивалась в тайном обществе, известном под именем конгрегации. Тайные иезуиты, овладевшие отцом убитого принца и братом короля, графом д'Артуа, были руководителями этого общества. Оно повсюду имело агентов, располагало огромными суммами, но скрывало свои действия так искусно, что очень немногим людям во Франции были известны даже имена людей, управлявших конгрегацией; она действовала так хитро, что в те времена многие историки и публицисты даже отвергали существование ее политических интриг. Только после 1830 года, когда найдены были тайные бумаги конгрегации, обнаружилась вся обширность ее влияния на ход событий. «Преступление Лувеля не повлекло за собою немедленного падения фаворита, — писали предводители конгрегации своим сочленам в департаментах. — Но не

смущайтесь. Мы стацим его с места силой, если сам король не захочет прогнать его; а между тем организуйтесь; ни в руководстве, ни в деньгах у вас не будет недостатка». Роялистские салоны волновались. «Деказ,— говорили там,— продал монархию революционерам; кровь герцога Беррийского запечатлевает союз его с либералами. Вы увидите, что следствие против убийцы, которому он дал полную свободу совершить свое дело, будет заглушено, и будут приняты все предосторожности, чтобы скрыть от Франции бездну заговора». Деказ хотел бороться, опираясь на либералов, и роялисты приходили в неистовство: «Поверит ли Европа? — восклицал «*Journal des débats*», бывший тогда органом роялистов.— Этот министр, политика которого ужасает народы и царей, он, бывший до сих пор всемогущим против верных подданных, бессильным против изменников и убийц, он, вместо того чтобы расквваться, грозит, вместо того чтобы скрыть мучения своей совести в темном уединении, он хочет, можно сказать, завладеть престолом! Неужели принимает нас за нацию идиотов этот Бонапарте лакейской? Четыре года наша несчастная страна оставлена была игрушкой в руках блудного сына; он не умеет держать бразды правления в слабых своих руках, и потому французы соглашаются жить рабами!»

Руководимые конгрегацией граф д'Артуа, герцог и герцогиня Ангулемские явились к Людовику XVIII и потребовали удаления Деказа. «Граф Деказ защищал мою власть против людей, не повиновавшихся закону и принуждавших меня итти путем, который я осуждаю,— сказал Людовик.— Этим он исполнял обязанность верного министра. Он не предлагал ничего такого, что не было бы сообразно с моими повелениями. В палате могут отделять волю моих министров от моей воли,— это понятно; но могут ли делать это различие, чистосердечно и не оскорбляя меня, члены моего семейства? Объявляю вам,— заключил король, разгорячившись от противоречия,— что я никогда не знал человека с сердцем более открытым и искренним, чем граф Деказ. Я убежден, что он пожертвовал бы жизнью за моего племянника, как пожертвовал бы за меня. Я уважаю заблуждение вашей скорби; моя скорбь не менее мучительна, но она не сделает меня несправедливым». Но принцы продолжали настаивать, и слабый старик не мог выдержать борьбы. Утомленный противоречием, он сказал наконец: «Вы так хотите, постараюсь исполнить ваше желание». Но уступка была следствием бессилия, а не со-

гласия. «День разлуки с тобою — печальнейший день моей жизни,— сказал он Деказу, передавая ему требование роялистов.— Ах, дитя мое, не тебя, а меня хотят они погубить!» Роялистам мало было лишить короля услуг преданного и любимого министра, они требовали непременно, чтобы Деказ удален был из Парижа, из Франции. Людовик принужден был уступить. Деказ отправился посланником в Лондон, в почетную ссылку. Скорбь короля от этой потери была беспредельна. Через несколько месяцев одна мать, несчастиями разлученная с детьми, говорила ему о своей тоске по них — глухие стоны прервали ее рассказ, она взглянула на короля — у него на глазах были слезы: «Ах, и у меня отняли сына,— проговорил он, рыдая.— Они были безжалостны, они отняли его у меня!» Он говорил о Деказе.

На место Деказа Людовик XVIII призвал Ришелье. Но политические огорчения были слишком свежи в памяти герцога: два раза он отказывался от поручения составить новое министерство, не желая вновь подвергаться злобе роялистов. Наконец Людовик XVIII призвал к себе вместе с ним графа д'Артуа, и этот глава роялистов дал «честное слово благородного человека» (*sa parole de gentilhomme*), что его партия будет поддерживать Ришелье. Только тогда Ришелье согласился. Мы говорили о безграничной преданности герцога Ришелье династии Бурбонов. Его министерство было составлено из людей с монархическими убеждениями, столь же несомненными. Если бы роялисты действительно хлопотали о строго монархических началах, они могли бы быть довольны новым кабинетом. От их имени, с их согласия граф д'Артуа, называвшийся их главою, обещал поддерживать Ришелье. Посмотрим, как они сдержали это слово.

Новое министерство с самого начала исполнило все явные желания роялистов. Оно восстановило цензуру, которой требовали роялисты, потому что находили себя бесильными выдерживать борьбу с либералами перед публикой. Оно изменило закон о выборах, так что большие землевладельцы получили в свои руки исключительную власть назначать депутатов,— это было постоянной целью желания роялистов, потому что значительные поместья почти исключительно принадлежали эмигрантам, потомкам старинных феодалов. При Наполеоне три четвертых части богатых землевладельцев были из старинных знатных фамилий; по возвращении Бурбонов эта пропорция стала еще гораздо больше. Действительно, новый закон

сделал роялистов исключительно господствующим сословием в государстве. Либеральная партия, с каждым годом усиливавшаяся в палате при действии прежнего закона, дававшего участие в выборах владельцам поместий средней величины и купцам, вдруг почти совершенно исчезла из палаты после новых выборов. Весь состав администрации был изменен в угодность роялистам: подозрительные им лица тысячами были отставлены от должностей и заменены их клиентами. Наконец, по-видимому, в состав самого министерства были приняты трое предводителей роялистской партии. *«Казалось бы»* министерство всем этим довольно доказывало свое желание управлять государством сообразно с явными требованиями роялистов; нет нужды говорить, что все второстепенные дела велись в том же духе, в каком преобразована была администрация и изданы важнейшие законы. Мало того, уступчивость министерства к роялистам доходила до беспрецедентных границ: когда роялисты бывали недовольны той или другой подробностью какого-нибудь закона, составленного министерством в их духе, министры если не могли согласиться на перемены, предлагаемые роялистами, то просто молчали и при баллотировке не подавали голоса, чтобы не обидеть взъскательных союзников даже самым мелочным разноречием. Но роялисты, не смягчаясь никакой снисходительностью министерства, продолжали каждый день, на каждом шагу язвить и поражать его. Их горячность против министров пренебрегала даже основными правилами парламентской благопристойности. Вот один случай, могущий дать о том понятие. Однажды, жалуюсь роялистам на их беспрестанные выходки против министерства, оказавшего им так много услуг, министр иностранных дел Пакье отважился напомнить про обещание поддержки, данное роялистами новому кабинету при вступлении его в дела. «Ораторы, ныне нападающие на нас и выставяющие нас своим друзьям людьми, не заслуживающими доверия, — сказал он, — должны были бы говорить это тогда, когда заключался союз между ними и нами, а не теперь, когда они получили все выгоды от этого союза». В ответ на это де-Лабурдонне напал на личность самого Пакье за то, что Пакье не был эмигрантом. Пакье оправдывал себя тем, что вся нация оставалась во Франции в эпоху Республики и Империи. Удалять от дел людей, служивших при Наполеоне, значило бы отталкивать от правительства девяносто девять сотых частей нации, сказал он. «Тогда по крайней мере мы не видели бы в министерстве ни вас, ни других

вам подобных», — закричал в ответ Лабурдонне. «Достопочтенные члены, конечно, не захотят формально обвинять нас», — сказал Пакье. «Нет, обвиняем», — отвечал Кастельбажак, другой роялист. Эти ответы казались еще недостаточны для Лабурдонне. Через несколько дней, возвращаясь к прежнему предмету, он прибавил: «Я спрошу у господина Пакье, думает ли он, что хотя один честный человек может находиться в политических сношениях с ним?» Слушая такие непримиримые выходки, Казимир Перье имел полное право заметить: «Странное дело, министры не хотят видеть, что партия, властвующая над ними, уже не хочет их терпеть; пусть они сколько хотят умоляют, унижаются: их последний час пробил».

В самом деле, роялисты Вильель и Корбьер, бывшие членами министерства, объявили намерение удалиться от должностей, не дожидаясь конца даже первой сессии, бывшей после нового закона о выборах, доставившего перевес роялистам. Напрасно Ришелье и Пакье думали купить их содействие новой уступкой, предлагали им портфели: Вильель и Корбьер удалились из Парижа, чтобы не участвовать в совещаниях кабинета, и скоро подали в отставку.

Чего же хотели роялисты? Чем были недовольны они, когда Ришелье и его товарищи с полной готовностью исполняли все их требования? подумает читатель. Нет, последнее выражение не точно; пусть читатель припомнит, что мы постоянно употребляли фразу: «все явные требования роялистов», а не говорили просто: «все требования». Дело в том, что у этой партии задушевными желаниями были стремления, о которых не находила она полезным говорить публично. Каково было отношение этих задушевных мыслей к королевской власти, покажет пока один пример. Министры внесли закон о муниципальном устройстве, то есть об организации городской и сельской администрации. Почти все местные начальства избирались по этому проекту богачейшими землевладельцами; администрация почти вся переходила во власть потомства древних феодалов; кажется, роялисты могли быть довольны. Но назначение префекта предоставлялось королю. Роялисты вскипели негодованием на такой деспотизм. Они хотели до поры до времени кричать, что они — роялисты, то есть люди, исключительно преданные царствующей династии; но уже и теперь находили нужным вести дела так, чтобы королю не оставлялось ни малейшего участия

в управлении государством. В самом деле, зачем королю власть, если могут отнять ее у него люди, столь преданные ему, как роялисты?

Тогда-то Людовик XVIII из глубины оскорбленной души воскликнул: «Я отдавал им права моей короны; они отвергают меня. Это — хороший урок». В самом деле, к чему принимать в подарок то, что можно взять по праву собственной силы или интриги? Уступка стеснительна, она обязывает быть снисходительным; насильственная победа лучше: завоеватель не обязан быть благодарен.

Роялисты благодаря закону о выборах, составленному министерством Ришелье, видели себя властелинами Франции, к чему же было им церемониться с королем? И потому, когда снова собралась палата депутатов в конце 1821 года, роялисты, при своем огромном большинстве в ней могшие действовать уже откровеннее прежнего, первым своим долгом почли нанести личную дерзкую обиду королю: нужно же было доказать (этому старику), что они сильнее его. Каждая сессия палат по общему обычаю всех парламентских правительств начинается составлением адреса в ответ на речь, произносимую королем при открытии парламента. Правительство, зная враждебный дух палаты депутатов, постаралось до того сгладить тронную речь, чтобы в ней не осталось ничего, кроме общих фраз, и не было ни малейшего предлога к какой-нибудь придирке в ответном адресе. Напрасно. Обычной фразы всех без исключения тронных речей о мирных отношениях правительства с иностранными державами было достаточно роялистам, чтобы найти случай к личной обиде короля. «Наши отношения с иностранными державами не переставали быть дружескими, и я имею твердую уверенность, что они останутся такими же впредь», — сказал король в тронной речи. Комиссия роялистов, составлявшая адрес, предложила палате отвечать на это следующими словами: «Мы радуемся, государь, постоянно дружеским отношениям вашим с иноземными державами в справедливой уверенности, что мир, столь драгоценный, не куплен жертвованиями, несовместными с честью нации и достоинством короны».

Министры ужаснулись, когда докладчик комиссии, горячий роялист Делало, прочел палате проект адреса. Пакье тотчас же вошел на трибуну и потребовал уничтожения параграфа, обидного для короля. «Король не может унижать достоинства своей короны, — сказал он, — всякий намек об этом непочтителен, и палата не захочет подать

такой пример». — «Как! — вскричал де-Серр, министр внутренних дел. — Ваш президент пойдет сказать королю в лицо, что палата имеет справедливую уверенность, что король не наделал низостей! Это — смертельная обида». Но министры ошибались, полагая обязанностью роялистской палаты не наносить оскорбления королю: она иначе понимала свой долг. «Если допустить теорию министров, — отвечал Делало от имени комиссии, — то ответы палаты на тронные речи должны бы ограничиваться простым парафразом тронных речей, предназначенным скрывать от короля всякую истину. Обязанность палаты не такова. Говоря от имени страны, палата обязана говорить с монархом таким языком, который высказывал бы королю о правительственных действиях не мнение министров, а мнение Франции». Адрес, составленный комиссией, был принят без всяких изменений палатой по огромному большинству голосов.

Людовик XVIII был глубоко оскорблен. По обычному порядку аудиенция для представления адреса королю назначалась президенту, вице-президентам и особенной депутации, избираемой палатой на этот случай, в тот же самый день, как он был принимаем палатою. Теперь король целых три дня не назначал этой аудиенции; наконец было объявлено палате, что король допускает к представлению адреса только президента палаты, с вице-президентами, не желая принимать депутацию. Президент, явившись на аудиенцию, хотел по обычаю прочесть адрес. Людовик, сидевший с гневным лицом, остановил его, взял у него бумагу и, не взглянув на нее, сказал:

«Я знаю адрес, представляемый вами.

В изгнании, среди преследований, я поддерживал мои права, честь моего дома и французского имени. Занимая престол и окруженный моим народом, я негодую при одной мысли, чтобы я мог когда-нибудь пожертвовать честью моей нации и достоинством моей короны.

Я хочу думать, что большая часть тех, которые втирали этот адрес, не взвесили всех его выражений. Если бы они имели время обсудить их, они не допустили бы предположения, о котором я как король не должен говорить, о котором я как отец желал бы забыть».

Король мог оскорбляться, сколько его душе было угодно, но он должен был покоряться. Министерство прибегло к новым уступкам, чтобы смягчить роялистов. Негодование короля мало подействовало на них; нужно было гнев заменить смирением. Министерство представило

проекты двух законов, которыми думало угодить роялистам, кричавшим против вольнодумства газет. Оно предложило усилить и продлить еще на пять лет временно существовавшую тогда цензуру. («Продлить цензуру еще на пять лет,— вскричал составитель адреса Делало, обращаясь в пылкого защитника свободы,— да вам, королевские министры, нужна цензура, чтобы подавлять всякое общественное мнение, всякую истину, всякую совесть! Вам нужен мрак для исполнения ваших замыслов, вы ненавидите свет, боитесь его, бежите его, но свет неизбежен; он обнимает вас, он преследует вас; он выдаст ваши преступные замыслы, вы не избежите истины, вы не избежите правосудия. За ваши замыслы вы будете отвечать вашими головами».) Но роялисты вдруг обратились в яростных защитников свободы и проклинали деспотические желания министров.

С каждым днем нападения роялистов на кабинет становились ожесточеннее. Ни одно действие, ни одно слово правительства не избегало самых бурных порицаний. Король должен был уступить. Ришелье и его товарищи подали в отставку. Граф д'Артуа ввел к королю Вильеля для составления нового, чисто роялистского министерства. 15 декабря 1821 года было обнародовано королевское повеление, назначавшее Вильеля министром финансов, Корбьера — министром внутренних дел и других предводителей роялистской партии — министрами других департаментов. Изнуренный шестилетней борьбой король отступился от всякого участия в управлении государством. «Наконец г. Вильель торжествует,— писал он к одному из своих друзей.— Я мало знаю людей, входящих с ним в мой кабинет; надеюсь, они будут так рассудительны, что не последуют слепо всем страстям роялистов. Впрочем, я удаляюсь в ничтожность с настоящей минуты. *Au reste je m'annule dès ce moment*».

Действительно, король был принужден роялистами отказать от всякой мысли об участии в правлении. Даже список нового министерства был составлен без малейшего вмешательства его воли. Конгрегация выбрала своих членов в министры, кого и как хотела, даже не совещаясь с королем.

Так держали себя роялисты относительно королевской власти. Не только тогдашние либералы, умеренные представители скромных желаний среднего сословия, но самые заклятые республиканцы не могли бы топтать и власть, и личность короля с такой непреклонной дерзостью.

Вступление роялистов в кабинет короля было, по собственному выражению короля, аннулированием короля.

Путем беспощадной борьбы против короля достигли роялисты власти. Посмотрим теперь, на достижение каких целей будут они употреблять свою власть. Быть может, цель не совсем похожа на средства; быть может, действия роялистского правительства окажутся более согласны с интересами престола и царствовавшей династии, нежели способы, которыми роялисты захватили власть.

Статья вторая и последняя

Министерство Вильеля.— Испанская экспедиция.— Полное владчество роялистов.— Они издают законы, противные интересам монархической власти.— Ультрамонтанцы и белое духовенство.— Карл X.— Выдача вознаграждения эмигрантам.— Восстановление майоратств.— Распадение между роялистами; оппозиция Шатобриана и оппозиция Лабурдонне.— Закон о книгопечатании.— Новые выборы.— Падение Вильеля.— Умеренное министерство Мартиньяка.— Оно беспокоит иезуитов.— Роялисты обращаются против Карла X.— Путешествие Карла X по восточной Франции.— Роялисты убеждают его прекратить снисходительность к либералам.— Министерство Полиньяка.— Отношения партий перед июльскими днями.— Политика, наиболее выгодная для династии.— Союз династии с роялистами совершенно противен ее интересам.— Отношения либералов к народу.— Характер министерства Полиньяка.— Беспокойство овладевает Францией.— Адрес палаты депутатов.— Она распущена.— Новые выборы.— Слухи о насильственных мерах.— Русский император и Меттерних хотят спасти Карла X.— Июльские повеления.— Катастрофа.— Поведение роялистов.— Крайняя трусость либералов.— Безвредность их торжества для королевской власти и бесполезность его для народа.

(1821—1830)

Первый важный вопрос, представившийся министерству Вильеля, был возбужден испанскими делами. Нам нет нужды излагать события, вследствие которых Фердинанд VII, король испанский, принужден был в 1820 году восстановить конституцию, которую принял при своем возвращении в Испанию в 1814 году. Довольно будет сказать, что часть аристократии, а еще более иезуиты, игравшие до того времени при дворе важнейшую роль, были страшно недовольны принятием конституции и во многих местах пытались поднимать восстания, чтобы низвергнуть ее вооруженной рукой. Испанское духовенство, находившееся под влиянием иезуитов, принимало главнейшее участие в этих восстаниях; архиепископы и епископы были чаще всего предводителями инсургентов. Но их усилия были напрасны: инсургенты были побеждены повсюду и при-

нуждены искать убежища в Пиренейских горах на французских границах.

Во Франции испанские события пробуждали самый живой интерес: либералы и роялисты видели своих братьев в испанских приверженцах и противниках конституции. Роялистские журналы громко требовали, чтобы Франция послала в Испанию войско на помощь инсургентам.

Но Людовик XVIII был чрезвычайно мало расположен тратить деньги и кровь своих подданных на восстановление беспорядочного и чрезвычайно жестокого управления, которым Фердинанд VII восстановил против себя всех, защищавших его корону против Наполеона. Французский король говорил о характере Фердинанда VII в выражениях столь резких, что мы не хотим здесь повторять их, считая его человеком, не заслуживающим ни малейшего сочувствия или уважения.

Мнение Людовика XVIII, конечно, не имело тогда большой важности во Франции: роялисты, как мы видели, отняли у короля влияние на дела. Гораздо важнее было то, что Вильель, душа министерства, также не хотел помогать инсургентам. Французские финансы только еще начинали приходить в нормальное положение после страшных жертвований, каких стоили наполеоновские войны, а потом примирение с Европой. При всех своих недостатках Вильель имел одно достоинство: он старался соблюдать экономию в государственных расходах и хотел восстановить равновесие в бюджете. Войною в Испании расстроились бы французские финансы, потому Вильель никак не соглашался на нее. Отрывки из его дружеских писем к Шатобриану, бывшему посланником на Веронском конгрессе¹¹, могут доказать искренность и твердость его отращения против испанской экспедиции. «В нынешнем году за всеми расходами останется 25 000 000 франков,— писал он.— Зачем эти несчастные иностранные дела мешают такому благосостоянию? Война будет иметь губительное влияние на наши фонды, нашу морскую торговлю, нашу промышленность. Несмотря на продажные декламации нескольких газет (Вильель говорит о роялистских газетах, требовавших войны), здравое и общее мнение отвергает войну; постарайтесь, мой друг, всеми силами отворотить это несчастье. Да пощадит бог наше отечество и Европу от этой войны, которая,— предсказываю с полным убеждением,— будет губельна для Франции».

Действительно, при одном слухе о войне государственные фонды понизились на девять франков; финансовые операции для правительства стали затруднительны, торговля упала.

Газеты, поддерживавшие правительство, доказывали неуместность войны; но они были малочисленны; огромное большинство роялистских газет настойчиво требовало войны, повинуюсь внушениям конгрегации. Инструкции этого тайного общества произвели в действиях французского правительства явления почти беспримерные в истории. На Веронском конгрессе должен был обсуждаться испанский вопрос. Уполномоченным от Франции был послан на конгресс министр иностранных дел Монморанси. Министерство, руководимое Вильелем, дало ему инструкцию, по которой он должен был всячески стараться избавить Францию от обязательства вмешиваться в испанские дела. Конгрегация приказала ему действовать иначе, и Монморанси придал переговорам об Испании оборот, совершенно противный своим инструкциям. Министерство не могло терпеть такого нарушения обязанностей, и Монморанси был удален. Место его занял Шатобриан. Знаменитый поэт был другом Вильеля, но поступил еще лучше, нежели Монморанси. Первый французский уполномоченный, действуя против своих обязанностей, по крайней мере сообщал о том главе министерства; Шатобриан почел выгоднейшим для своих целей обманывать кабинет. В депешах к Вильелю он представлял в фальшивом свете совещания конгресса; запутывая переговоры таким образом, чтобы Франция получила от Европы поручение послать войско в Испанию, он представлял себя кабинету верным исполнителем инструкций министерства и обманул Вильеля до такой степени, что по возвращении в Париж сделался министром иностранных дел.

Мы не говорим уже о сопротивлении роялистов желаниям короля, — они давно не щадили его, давно лишили его власти; их поступки в испанском деле представляют особенность более замечательную: правительство было составлено по их желанию из вернейших предводителей их собственной партии; они идут наперекор даже этому министерству, они заставляют агентов министерства изменять ему. В истории дипломатии интрига и обман вовсе не редкость; но до такой степени дипломатической измены, как Шатобриан, не доходили ни пошлые агенты Помпадур и Дюбарри, ни сам Талейран. Посланники Людовика XV

обманывали свое министерство, но они могли извиняться по крайней мере тем, что действуют сообразно тайным инструкциям короля. У Шатобриана не было и этого извинения. Он обманывал и короля, и министров вместе. Все законные власти Франции были преданы им за один раз в угодность людям, не имевшим никакого права руководить хотя бы самым ничтожным делом, преданы в угодность людям, которые не смели даже публично произносить своего имени, скрываясь от взоров нации. Министры Людовика XV, обманывавшие друг друга, были по крайней мере во вражде между собою; притом же они и не имели притязания выдавать себя за честных людей; Шатобриан обманывал своего друга, обманывал в то самое время, когда возвышался в министры его доверием и не переставал считать себя человеком благородным. Таковы-то были интриги тайных руководителей роялистской партии, что даже люди, по природе своей честные, не колеблясь, совершали низости по их внушению. Если б мы не знали, кто управлял конгрегацией, руководившею роялистами, мы уже по этим одним признакам безошибочно отгадали бы иезуитов.

Знаменитое иезуитское правило говорит, что цель оправдывает средства: быть может, Шатобриан и ему подобные, не пренебрегая никакими средствами для возвращения произвольной власти над Испанией Фердинанду VII, могли по крайней мере оправдываться сами перед собою возвышенностью своей цели. Нет, Шатобриан думал о Фердинанде точно так же, как и Людовик XVIII, и очень хорошо знал, что его жестокие капризы были и будут стыдом для имени Бурбонов. Конечно, большая часть роялистов думала точно так же о человеке, которому хотела помогать.

Зачем же в таком случае они так ревностно хлопотали об испанской экспедиции? Предводителями испанских инсургентов были иезуиты, управлявшие Фердинандом; руководителями роялистов были иезуиты, управлявшие конгрегацией. Потому и король, и роялистское министерство должны были отказаться от убеждения, что испанская экспедиция будет вредна для Франции.

Приближалось время, когда должна была собраться палата депутатов. Министры совещались о том, какая политика по испанскому вопросу будет выражена в тронной речи. Не дальше как за семь месяцев перед тем при открытии предыдущей сессии король говорил: «Только зложелательность может приписывать нашим действиям на-

мерение вмешаться в испанские дела». Теперь Вильгель снова утверждал, что тронная речь должна отвергать испанскую экспедицию, требуемую большинством роялистских газет. Но Корбьер, министр внутренних дел, показал ему письмо от одного из роялистских депутатов, который писал: «Министры компрометируют свое положение, замедляя вступление наших войск в Испанию. Их колебание до того раздражает роялистов, что все вновь избранные депутаты показывают твердую решимость низвергнуть министерство, если тронная речь не будет содержать формального, положительного объявления о немедленном вторжении в Испанию». Некоторые другие министры подтвердили предостережение своего товарища. Вильгель должен был уступить. Тронная речь положительно объявила, что сто тысяч войска готовы вступить в Испанию. Вся Франция волновалась от негодования; государственные фонды упали еще на четырнадцать франков, с 89 на 75.

Вильгелью приходилось теперь играть такую же роль, до какой прежде унижал он герцога Ришелье. Он должен был трепетать роялистского большинства палаты депутатов, то есть трепетать своей собственной партии.

Испанская экспедиция была удачна в военном отношении; крайние роялисты торжествовали. Вильгель должен был исполнять все их требования. На первый раз эти требования относились к двум предметам. Роялисты желали воспользоваться своим торжеством, чтобы как можно долее удержать за собою власть. Они хотели, чтобы прежний пятилетний срок существования палаты был заменен семилетним и произведены были новые выборы. С тем вместе они требовали, чтобы власть духовенства над гражданскими делами была увеличена. Вильгель уступил в том и другом.

Продолжительный срок бессменного существования одной и той же палаты депутатов давал ей больше независимости от правительства. Это не нуждается в объяснениях. Но для тех читателей, которые незнакомы с положением французского духовенства, нужно сказать несколько слов о характере той части духовенства, пользам которой служили роялисты.

Несмотря на безбрачие приходского духовенства в католических землях, между приходским или белым духовенством и монахами существует в них коренная разница, которая во Франции обнаруживается сильнее, нежели где-нибудь. Нет надобности быть католиком, чтобы сочувст-

довать потребностям приходского духовенства во Франции. Большая часть его отличается христианскими добродетелями. Исполняя свои религиозные обязанности, приходский священник во Франции вообще чуждается политических интриг; он верен своей национальности и не питает вражды к светской власти, в которой, напротив, ищет себе опоры против самовластия ультрамонтанцев¹². Совершенно иное дело французские монахи. Как бы ни назывался на бумаге их орден, почти все они иезуиты; разные названия, придумываемые ими для себя, служат только к тому, чтобы скрыть принадлежность их к иезуитскому ордену. Между тем как приходское духовенство вообще поддерживает национальные интересы, иезуиты все поголовно ультрамонтанцы, и интересы Франции для них ничтожны в сравнении с выгодами ордена и папской власти, которая обыкновенно находится под их влиянием. Все проницательные французские правительства со времен Генриха IV, какие бы чувства ни питали относительно католической религии, находились в необходимости бороться против ультрамонтанцев. От этих явных или тайных иезуитов происходят все скандалы, которыми компрометируется католицизм во Франции. Они заводят в семействах интриги, чтобы доставлять своим конгрегациям богатые пожертвования, из которых почти каждая соединена с отнятием имущества у законных наследников. Их конгрегации ведут обширные торговые спекуляции всякого рода, приобретают огромные поместья и дома, вообще владеют громадными богатствами, между тем как приходское духовенство вообще терпит сильную нужду. Почти все французские епископы и прелаты выходят из конгрегаций и остаются под их влиянием. Из двадцати французских епископов едва ли найдется один, который не был бы ультрамонтанцем, то есть иезуитом, врагом французской национальности и гражданского французского правительства, каково бы оно ни было.

Когда говорится о политической силе духовенства во Франции, тут всегда разумеется исключительно ультрамонтанская партия, состоящая из различных конгрегаций и владеющая почти всеми епископствами. Она враждебна национальному приходскому духовенству, но чрез епископов имеет над ним полную власть, которой пользуется чрезвычайно притеснительно.

Таким образом, когда мы слышим о вражде или дружбе французского правительства с духовенством, вовсе не надобно полагать, чтобы этим означалось покровительство

или гонение со стороны правительства относительно огромного большинства французского духовенства. Напротив, дело идет только об отношениях правительства к иезуитам, располагающим конгрегациями и властью епископов, посредством которой они угнетают белое духовенство, то есть огромное большинство духовного сословия во Франции. Вообще приходское духовенство, достойное всякого уважения, отдыхало во Франции только тогда, когда правительство вооружалось против ультрамонтанской партии, называющей себя исключительно представительницею католических интересов, но в сущности заботящейся вовсе не о пользах религии, а единственно о приобретении богатств и о подчинении светской власти иезуитскому влиянию.

Так и в настоящем случае дело шло вовсе не о том, чтобы улучшить положение французского духовенства вообще, а исключительно о доставлении богатств и власти членам конгрегации. Почти все приходские священники во Франции, как мы сказали, жили скудно, получая очень небольшое жалованье. Конгрегация, заставляя министерство Вильеля исполнять свои требования, и не подумала об улучшении состояния этих бедняков. Она требовала только, чтобы епископам, находившимся под властью иезуитов, было отдано управление светскими училищами, как было в старину, и чтобы епископам возвращена была гражданская власть, которой пользовались они в XVIII веке. То и другое было исполнено. Иезуиты овладели министерством народного просвещения. Все профессора, не расположенные к иезуитам, в том числе Гизо, были удалены от чтения лекций. Префекты и вся провинциальная администрация должны были повиноваться епископам.

Кто хотя несколько знаком с французской историей, тот знает, что монархическая власть во Франции возвысилась борьбою против притязаний ультрамонтанизма. Теперь правительство было принуждено подчиниться ему. Светское могущество духовенства, то есть епископов и монастырей, составляло одну основу феодального порядка, враждебного монархической власти. Другой основой феодализма было могущество светских аристократов, пользовавшихся почти самодержавною властью в своих огромных поместьях. Одной цели роялисты достигли, надобно было позаботиться о достижении другой. Первым шагом к тому представлялось вознаграждение эмигрантов за поместья, конфискованные во время революции.

Пока был жив Людовик XVIII, феодалы никак не могли исполнить этого своего желания. Но теперь счастье было решительно на их стороне. 16 сентября 1824 года Людовик XVIII скончался, и на французский престол вступил граф д'Артуа, бывший до сих пор предводителем роялистов, по крайней мере по имени, если не на самом деле, и слепым орудием в руках конгрегации.

Далеко уступая умственным способностям Людовику XVIII, Карл X не замечал противоположности между желаниями роялистов, стремившихся восстановить феодальное устройство, и потребностями королевской власти, которая усилилась во Франции беспощадным сокрушением силы феодалов и могла поддерживаться только в таком случае, если продолжала защищать от них нацию. Роялисты могли теперь действовать отважнее прежнего благодаря иезуитам, совершенно ослепившим нового короля. В минуту смерти Людовик XVIII призвал ребенка, на котором покоились надежды продолжения старшей линии Бурбонов, и, благословляя его, печально сказал: «Пусть бережет мой брат корону этого ребенка»¹³. Он предчувствовал, что доверие Карла X к роялистам будет губительно для его династии.

Действительно, быстро последовали один за другим законы, восстанавлившие против королевской власти национальное чувство, возвышавшие феодализм на счет королевской власти. Из них мы упомянем только о немногих важнейших.

Первым делом роялистов при новом короле было потребовать вознаграждение за поместья, конфискованные у эмигрантов. Напрасно самыми точными расчетами доказывалось, что милости, какими пользовались эмигранты в течение десяти лет, прошедших со времени Реставрации, с избытком вознаграждали всю потерю, понесенную ими прежде. Доходы проданных поместий не простирались и до 50 миллионов франков; эмигранты под формую жалованья и пенсий уже получали ежегодно от государства более 70 миллионов. Но дохода им было мало; они желали восстановления владений, которые ставили бы их в независимость от королевской власти. Вильгельм должен был предложить закон о выдаче роялистам тысячи миллионов франков за имения, проданные во время революции. Повидимому, роялисты могли быть довольны: оценка, составленная ими самими, показывала, что ценность проданных имуществ не превышала этой суммы. Но ревностнейшие роялисты напали на проект Вильгельма за его пре-

ступную снисходительность к революционерам. «Указы-вают на статью конституции, гарантирующую покупателям конфискованных имений неприкосновенность их собственности, — говорил Лабурдонне. — Но эта статья была и могла быть только простой политической мерой; она могла обеспечивать покупателям владение купленными имуществами, но не могла дать им права собственности на эти имущества. Право собственности дается только исполнением условий, которым подлежит всякая продажа имущества по распоряжению государственной власти; именно тут необходима была бы выдача вознаграждения прежнему владельцу до вступления покупателя во владение продающимся имуществом. Одно из двух: или так называемые национальные собрания времен революции были собраниями незаконными, и в таком случае все их декреты — только насильственные меры, лишённые законной силы; этими мерами у эмигрантов могло быть отнято фактическое пользование имуществами, но не могло быть отнято законное право собственности; или же революционные собрания были законной властью, — тогда эмигранты, по закону лишившись своих имуществ, не имеют никакого права ни на малейшее вознаграждение. Проект, представленный министрами, обманывает все надежды. Он не даёт эмигрантам столько, чтобы удовлетворить их и тем обеспечить покупателей конфискованных имуществ от дальнейших требований со стороны эмигрантов. Этот проект — чистый обман». Таким образом Лабурдонне довольно ясно намекал, что эмигранты могут быть довольны лишь одним тем, когда продажа поместий будет объявлена не имеющей законной силы, и поместья будут отняты у настоящих владельцев и возвращены прежним. Другой роялист, де-Бомон, высказался ещё прямее: «Король не имеет власти утверждать незаконную конфискацию имуществ целого класса своих подданных, как не имеет власти отнимать имущество у отдельного человека. Конституция, гарантируя продажу конфискованных имуществ, имела в виду только одно то, чтобы оградить покупателей от судебного преследования со стороны законных владельцев за несправедливое пользование доходами поместий в прежние годы. Что же нужно сделать теперь? — вернуть каждому то, что ему принадлежит: поместья вернуть эмигрантам, а покупателям выдать вознаграждение». Либералы справедливо утверждали с своей стороны, что проект, представленный министерством, составляет только первый шаг на пути вознаграждения эмигрантам. «Мы теперь

только вступаем на дорогу вознаграждений,— сказал генерал Фуа, один из немногих либеральных членов палаты.— Закон этот объявляет эмигрантов имеющими право на получение всей ценности их проданных имений. Они скажут, что им заплатили не всю ценность этих имений, и останутся кредиторами общества, кредиторами тем более грозными, что овладели всеми правительственными местами. Естественным залогом, обеспечивающим кредитору долг, служит поместье, за которое взыскивается долг. Какой же покупатель заснет спокойно под страхом такого долга?» Действительно, покупщики конфискованных имений должны были опасаться всего. Даже де-Бомон не высказал еще последней задушевной мысли роялистов. Он говорил о возвращении поместий эмигрантам, но упоминал о вознаграждении покупателей. Когда прения разгорячили членов палаты, явился оратор, высказавшийся откровеннее. Дюплесси де-Гренедан потребовал возвращения поместий эмигрантам без всякого вознаграждения покупателям. Давать им вознаграждение, по его словам, значило бы признавать их права и делать им уступку; а покупка, ими сделанная, была незаконна; следовательно, они не имеют никаких прав, завладели поместьями как грабители и, подобно грабителям, не могут быть вознаграждаемы. «Девятая статья конституции,— прибавлял он,— говорит: собственность объявляется неприкосновенной; но тут дело идет только о настоящем, а не о будущем времени; конституция не говорит, что собственность навсегда останется неприкосновенной. Если вникнуть в истинный смысл статьи, мы увидим, что она может относиться только к собственности, приобретенной законным образом. Было слишком нелепо перетолковывать закон так, чтобы придавать ему смысл о неприкосновенности собственности, даже приобретенной воровством. В девятой статье конституции подразумевается слово «законный», истинный смысл ее таков: собственность неприкосновенна, когда приобретена по актам, имеющим законную силу».

Намерение роялистов выразилось ясно; трудно описать волнение, произведенное в массе среднего сословия и даже простолюдинов этими прениями. Поместья, конфискованные у эмигрантов, были распроданы по большей части мелкими участками; число покупателей было огромно. Со времени конфискации прошло около 30 лет; большая часть купленных тогда земель перешла уже в другие руки по наследству или через продажу законным путем. Теперь всем этим владельцам угрожала опасность потерять иму-

щество. Династия подвергалась опасности для того, чтобы потомки прежних феодалов могли восстановить свою независимость от короны.

Но для восстановления феодального права недостаточно было стремиться к возвращению феодалам их прежних владений; надобно было также позаботиться о том, чтобы могущество знатных фамилий не уменьшалось от раздробления поместий по праву наследства, принятого французским законодательством. Через несколько времени после принятия закона о выдаче эмигрантам миллиарда франков министерство представило палате пэров закон, восстанавливавший право первородства, которым в средние века поддерживалось феодальное устройство. По гражданскому кодексу — часть отцовского имения переходит непременно в наследство детям, которые все получают поровну; другая часть предоставлена свободному распоряжению отца и может быть завещана им кому угодно; если же он не сделает распоряжения, она также делится поровну между детьми. Роялисты еще не отваживались требовать изменения всех этих постановлений. Они требовали, чтобы та часть имущества, которой может располагать отец по завещанию, не делилась поровну между детьми при отсутствии завещания, а вся переходила к старшему сыну в тех случаях, когда имущество состоит из поземельного владения, платящего не менее 300 франков прямых податей. Сверх того, предоставлялось владельцу такого поместья обращать его в субституцию, то есть делать его майоратом, который бы уже не подлежал при следующих поколениях разделу и вечно оставался бы в руках одного только старшего потомка по нисходящей линии, который притом не мог при своей жизни продать ни всего имения, ни какой-либо части его.

Влияние права первородства и субституций на политическое устройство общества известно каждому. Неминуемым следствием этих учреждений бывает образование поземельной аристократии, быстро приобретающей больше силы, нежели сколько силы остается у короны. При субституциях и праве первородства титул короля может сохраняться, но власть его исчезает, и государство, нося имя монархии, в сущности становится олигархической республикой.

Проект закона, предлагавшийся теперь, конечно должен был служить только первым шагом к совершенному отменению раздела недвижимой собственности между старшим сыном и другими детьми, с предоставлением

всего наследства одному старшему сыну. К счастью, палата пэров отвергла этот проект.

Вильель в глубине души был очень рад несогласию палаты на проект, представленный от его имени. Он сам не одобрял этой меры, как и многих других, которые должен был принимать, подчиняясь требованиям конгрегации.

После смерти Людовика XVIII конгрегация приобрела такое могущество, что уже далеко не каждый роялист мог получить ее покровительство; число прозелитов было громадно; иезуиты, руководившие конгрегацией, стали очень разборчивы в раздаче своих милостей. Многие из роялистских членов палаты были обойдены местами, не получили просимых наград для своих родственников, оттого в роялистской партии начались раздоры. Предводителем недовольных был Шатобриан. Вильель не мог простить ему обмана в испанском вопросе. Тщеславный поэт не был способен заниматься делами в кабинете министерства, но в аристократических салонах провозглашал себя истинным главою министерства, свысока третируя Вильеля; этим усиливался раздор между двумя министрами. Наконец Шатобриан, сердясь на Вильеля за собственную свою ничтожность в деловом отношении, начал и в палате говорить двусмысленные речи. Доведенный до крайности, Вильель отнял у него портфель иностранных дел. Лишившись места, Шатобриан вдруг обратился в противника стеснительных мер, которых прежде требовал с большею горячностью, нежели кто-нибудь. Он сделался журналистом и органом своим избрал «*Journal des Débats*». Министерство не имело более опасного врага.

Кроме недовольных по личным расчетам, были роялисты, недовольные Вильелем по различию в политических мнениях. С одной стороны, многие видели, что конгрегация заходит слишком далеко, что, например, угрозы покупщикам конфискованных имуществ и усилия восстановить право первородства приведут их партию к падению; они требовали политики более осторожной, какой хотел бы следовать и сам Вильель, если бы мог. С другой стороны, находились роялисты, заметившие, что с Вильелем, от природы расположенным к осмотрительности, никогда не пойдут феодальные преобразования так быстро, как хотелось бы этим фанатикам, чуждым всякого благоразумия. Роялисты, бывшие умереннее Вильеля, сгруппировались около Шатобриана, который теперь очень любовно толковал о конституции, прежде казавшейся ему источником всяких бедствий. Роялисты, осуждавшие мед-

ленность Вильеля, имели своим предводителем Лабурдонне, которого не любила конгрегация и потому не допускала в министерство. Обе эти партии постоянно усиливались в палате и начали думать уже о низвержении Вильеля.

Конгрегация вынудила министерство составить проект нового закона о книгопечатании. Обе партии роялистов, недовольные Вильелем, соединились с либералами против нового закона, и Лабурдонне, глава самых горячих роялистов, заговорил языком совершенно либеральным; он обвинял министров в нарушении конституции. «Утомленная политическими волнениями,— говорил он,— Франция хочет покоя. Надежду достичь и сохранить его она поставила в союзе династии с конституцией. Напрасно горсть людей, увлекаемых страстями или руководимых воспоминаниями, надеется разорвать связь между этими двумя гарантиями общественного порядка. Вся Франция равно отвергает и тех, которые желали бы конституции без династии, и тех, которые желали бы династии без конституции; Франция желает, Франция поддерживает тех, которые сумеют неразрывными узами связать эти два блага. Успех ожидает их, если они открыто пойдут под знаменем конституционного легитимизма. Франция обещаны были конституционные учреждения. Франция поддерживает конституцию во всей ее целостности. Я подаю голос против министерского проекта». Два или три года тому назад Лабурдонне призывал небесное мщение и уголовные наказания на людей, защищавших конституцию; теперь он сам объявлял, что не хочет поддерживать Бурбонов иначе, как под условием соблюдения конституции. Это было дурным предзнаменованием для министерства. Правда, закон был принят, несмотря на оппозицию Лабурдонне; но из 367 депутатов уже 134 положили черный шар; еще недавно в урне бывало не более 12 или 15 черных шаров.

Принятый палатой депутатов проект закона был перенесен в палату пэров; она отвергла его большинством 113 голосов против 43. Уже давно оппозиция взяла верх в палате пэров. Министерство должно было прибегнуть к назначению 70 или 80 новых пэров, чтобы возвратить себе большинство в верхней палате; но почти все эти назначения надобно было сделать из палаты депутатов. Взяв из нее 60 или 70 министерских членов, Вильель слишком ослабил бы в ней свое большинство, и без того быстро уменьшавшееся. С другой стороны, Вильель предвидел, что отсрочивать новые выборы в палату депутатов до ис-

течения семилетнего срока ее существования было бы очень опасно. Роялисты с каждым днем восстанавливали против себя общественное мнение. Хотя сословие тогдашних избирателей исключительно ограничивалось большими землевладельцами, жаркими роялистами, но и они начинали понимать, что реакция против либерализма переходит границы благоразумия. Вильель знал, что через два года роялисты потерпят поражение на выборах. Он надеялся, что в настоящую минуту еще успеет привести выборы к выгодному для роялистов результату. Он решился распустить палату, в которой не надеялся удержать за собою большинство, ожидая, что новые депутаты будут благоприятнее ему. Действительно, распушение палаты оставалось для него единственным средством избежать судьбы, которая постигла герцога Ришелье. Давно уже он был принужден слепо исполнять даже и те требования палаты депутатов, которых совершенно не одобрял. Скоро палата низвергла бы его, если б он не предупредил удара, распустив ее.

Расчет Вильеля был справедлив; министр ошибся только в одном: надобно было распустить палату гораздо раньше; роялисты господствовали в ней слишком долго. Они успели слишком ясно высказать свои намерения. Сам Вильель так долго подчинялся их неосторожным желаниям, что успел уже безвозвратно компрометировать свое министерство. Выборы, назначенные в ноябре 1827 года, произведены были под влиянием совершенного недоверия нации к людям, которым покровительствовала конгрегация.

Хотя немногочисленные избиратели составляли среди нации совершенно исключительный кружок, но все-таки не могли они не подчиняться до некоторой степени голосу общественного мнения. В прежней палате из десяти членов девять были роялисты; в новой голоса разделялись так: около 170 роялистов, составлявших правую сторону, около 170 либералов, составлявших левую сторону, и в центре около 50 членов, бывших прежде горячими роялистами, но теперь увидевших опасность пути, по которому шли роялисты, и начавших действовать самостоятельно.

На другой же день после того, как стал известен результат выборов, Вильель увидел необходимость выйти в отставку. Центр и левая сторона, составлявшие теперь большинство, не хотели и слышать о переговорах с ним; но публика долго ждала перемены министерства, потому что

Карл X, соглашаясь с Вильелем в необходимости переменить министерство, отвергал не только либералов, не только депутатов центра, но и всех роялистских предводителей, которые в прошлой сессии действовали против Вильеля.

Наконец необходимо было решиться потому, что заседания новой палаты приближались. Душою нового кабинета был Мартиньяк, роялист, близкий по своим мнениям к Вильелю, но чуждый связям с конгрегацией и потому могший действовать умереннее. Остальные члены министерства также все были роялисты, понимавшие необходимость разорвать связи с конгрегацией, погубившей Вильеля. В каком духе начнет действовать палата, это зависело от небольшого числа членов, составлявших центр. Их голоса давали большинство левой или правой стороне; во всяком случае министерство должно было управлять в их духе.

Первым испытанием силы и взаимных отношений партий служит выбор президента палаты. По тогдашнему правилу палата выбирала пять кандидатов, одного из которых король утверждал президентом. С нетерпением ожидали, чьих кандидатов будет поддерживать центр. Большинство получили два депутата из центра и трое из левой стороны: центр вошел в союз с левой стороной. В досаде на депутатов центра король утвердил президентом одного из кандидатов левой стороны, Ройе-Коляра. Министерство увидело теперь необходимость делать многочисленные уступки центру и левой стороне, плотно соединившимся для составления большинства.

Итак, либералы пользовались теперь довольно значительным влиянием на решение палаты. В каком духе изменятся законы и администрация по требованию этой партии, которую провозглашали враждебной Бурбонам? Семь лет она подвергалась непримиримому преследованию от роялистского министерства, пользовавшегося большинством в палате и властью вовсе не по собственной силе, а только благодаря покровительству Бурбонов: быть может, она теперь покажет нерасположение к Бурбонам? Королем был теперь тот самый граф д'Артуа, который в течение целых сорока лет был из всех Бурбонов самым жесточайшим врагом либерализма: быть может, либералы подумают о стеснении власти, которой располагает их непримиримый гонитель? Читатель едва ли будет ожидать этого после тех фактов, какие представлены в нашем очерке. Либералы теперь видели, что министерство не

враждебно им. Каковы бы ни были чувства Карла X, он прежде всего помнил обязанности светского человека, талантами которого обладал в совершенстве; либералы часто являлись теперь во дворец по своим близким отношениям к министерству; король принимал их любезно. Этого было довольно, чтобы они прониклись самыми наивными надеждами. Они воображали, что король понял вред, какой принесла ему ненужная преданность его крайним роялистам; они уже думали, что король разделяет чувства французского общества и готов поддерживать новые интересы против феодальных стремлений. Заблуждение было чрезвычайно нелепо: люди не меняются, имея 65 лет от роду. Но забавные надежды либералов показывали, до какой чрезвычайной степени было сильно в них желание действовать заодно с королевской властью. Они только о том и мечтали, каким бы образом примирить Бурбонов с французской нацией и упрочить их престол.

В течение полутора года, пока либералы господствовали в палате, напрасно стали бы мы искать между решениями палаты хотя одного, сколько-нибудь ограничивающего преимущества королевской власти. Перемен было произведено много, но ни одна из них не касалась прав престола. Читатель знает, что иначе и не должно было быть. Дело шло о том, каковы будут взаимные отношения разных государственных сословий между собою, каковы будут законы о наследстве, каково будет отношение светского национального образования к иезуитскому и т. п. Во всех этих спорах королевская власть могла бы оставаться совершенно хладнокровной зрительницей; ее собственное положение могло нимало не изменяться от торжества той или другой партии. Если король участвовал в борьбе, то единственно как союзник той или другой партии, из которых и та и другая равно нуждалась в его покровительстве и готова была бы самым усердным образом служить его интересам, лишь бы только он поддерживал ее интересы. Мы возвратимся к этому предмету, а теперь повторим только, что чрезвычайно сильно должны были желать либералы союза с королевской властью, если надеялись на возможность союза даже с Карлом X, который более сорока лет был слепым орудием феодальной партии, и если при первом ослаблении его гонений отказывались от всякого воспоминания о его вражде к ним.

Правда, роялисты кричали, что либералы заставляют короля разрушать свою собственную власть, а Карл X доверчиво слушал обвинения против министров, будто бы

изменяющих интересам династии. Но какими действиями либералов и министерства возбуждались такие возгласы, лучше всего покажет нам ход прений о деле, возбудившем наибольшее неудовольствие в роялистах. Эти же самые прения представят нам новое доказательство того усердия к королевской власти, которым так хвалились роялисты.

Если мы скажем, что прения шли о распоряжении, поразившем роялистов в самое сердце, то читателю останется очень небольшой выбор между разными предположениями о предмете такого распоряжения. Читатель без ошибки может сказать, что либералы и министерство коснулись или феодальных прав светской аристократии, или господства иезуитов над французским духовенством: ничто другое не могло бы довести роялистов до крайнего ожесточения. Действительно, дело шло об иезуитах. Комиссия, назначенная палатой, открыла, что иезуиты, господствуя под разными именами над университетским правлением, отважились уже без всякого прикрытия взять в свои руки восемь семинарий, назначенных для образования приходских священников. Между тем по закону орден иезуитов был изгнан из Франции с конца XVIII века, и законы, его уничтожавшие, не были отменены: сама конгрегация, руководившая Вильелем, не отваживалась формально восстановить орден и упорно отрицала его существование во Франции. Теперь палата потребовала действительного исполнения законов, уничтожавших иезуитский орден. Министры видели необходимость исполнить это всеобщее желание французского общества, потому что никто не мог отрицать противозаконности допущения иезуитов во Францию. Министры убедили короля издать два повеления, которыми отнималось у иезуитов управление школами, открыто им отданными. Иезуиты не изгонялись из королевства, как следовало бы по закону: либералы, как видим, были очень уступчивы; они настояли только на том, чтобы преподавание не дозволялось таким лицам, которые принадлежат к какому-нибудь из орденов, не допускаемых французскими законами. Мягкость либералов простиралась до того, что даже имя иезуитов не было упомянуто в королевских повелениях: министры ограничились деликатным обозначением их под формою общей фразы об орденах, не допускаемых законом.

Мало того, королевские повеления, отнимавшие управление над школами у иезуитов, назначили в пособие духовным семинариям 1 200 000 франков; казалось бы, такой подарок достаточно свидетельствовал об отсутствии

нерасположения к духовенству в либералах. Прибавим, что министром духовных дел был назначен человек из духовного сословия. Но этот человек, аббат Фетрье, епископ Бовесский, не был иезуит, а король, хотя и со всевозможной мягкостью, решился отстранить иезуитов от преподавания. Этого было довольно для того, чтобы все роялисты подняли ожесточенный крик против личности короля и королевской власти. Роялистские газеты объявили аббата Фетрье Юлианом-отступником, а Карла X — Нероном и Диоклетианом. Епископы собрались и обнародовали декларацию, отвергавшую права королевской власти и говорившую следующим образом: «Нижеподписавшиеся епископы в тайне святилища пред лицом всемогущего судии с мудростью и незлобием по словам божественного учителя рассматривали вопрос о том, что они обязаны воздавать кесарю и что обязаны воздавать богу. Совесть отвечала им, что лучше повиноваться богу, нежели людям, когда повиновение, которым они прежде всего обязаны богу, несовместимо с повиновением, требуемым у них людьми, и по примеру апостолов они говорят: «Non possumus, не можем повиноваться»». Под этой декларацией подписались почти все французские епископы.

По-видимому, король был совершенно в своем праве, предписывая исполнить закон. Роялисты громко объявили, что не могут повиноваться королю, и решили напечатать декларацию епископов в числе ста тысяч экземпляров для раздачи во всех церквях королевства. Правительство принуждено было обратиться к папе; он объявил королевские повеления совершенно справедливыми. Тогда епископы должны были покориться по крайней мере формальным образом; но сопротивление роялистов воле короля не окончилось: с той поры одним из лозунгов роялистской партии становится непреклонная защита совершенной независимости преподавания от правительства. Наблюдение правительства за преподаванием, заговорили роялисты, нарушает свободу совести; оно нарушает конституцию; оно составляет ужасное варварство. В течение тридцати лет, прошедших с того времени, роялисты ни на минуту не прекращали ожесточенных нападений на всякую власть, мешавшую иезуитам снова овладеть светским и духовным образованием.

Феодально-иезуитская партия скоро успела снова овладеть Карлом X, и король с нетерпением смотрел на министерство, не угождавшее всем ее требованиям. Обстоятельство, собственно истолкованное ошибочным обра-

зом, доставило роялистам случай убедить его в том, что он вовсе не нуждается в поддержке либералов.

Осенью 1828 года Карл X вздумал присутствовать при маневрах кавалерийского корпуса, собранного близ Люневилля. Восточные департаменты наиболее проникнуты либеральным духом. Масса французского населения была тогда убеждена, что Карл оставил свое прежнее нерасположение к либералам. В самом деле, домашние сношения его с предводителями роялистов оставались придворной тайной; напротив, при всех официальных случаях король был очень любезен с либералами; пожаловал даже орден Почетного Легиона одному из главных между ними, Казимиру Перье; министерство открыто опиралось на либеральную партию в палате. Обманутые этими наружными признаками, жители восточных департаментов с энтузиазмом встречали Карла во время его поездки, приветствуя в короле мнимого покровителя либеральной партии. Непроницательный Карл X совершенно обманулся в смысле приема, какой находил повсюду; он вообразил, что радостные приветствия свидетельствуют не об удовольствии народа от либеральных мер министерства, а просто о безотчетной привязанности нации к Бурбонам. Он возвратился из путешествия с преувеличенными понятиями о своем могуществе над умами французов и через несколько времени, повинувшись внушениям роялистов, решился заменить прежних министров другими, вполне выражавшими тенденцию самых опрометчивых роялистов. 8 августа 1829 года Мартиньяк и его товарищи были уволены, и власть вручена министерству, председателем которого явился князь Полиньяк, представитель партии, неумолимо-враждебной всем новым интересам и самым жарким образом кричавшей о необходимости восстановить старинные феодальные учреждения. Роялистские газеты во всеуслышание растолковали намерения нового кабинета; Франция увидела, что Карл X безвозвратно и безусловно сделал себя исполнителем реакционных желаний роялистской партии. С этой минуты политика партий отказывается от прежних колебаний между свободой и поддержкой правительства. Либералы становятся решительными противниками, роялисты — действительно приверженцами короля, согласившегося быть слепым орудием феодальной партии. Скоро борьба из палаты депутатов переходит на улицу и кончается падением Бурбонов вместе с роялистами, увлекавшими их к гибели ради

достижения целей, не имевших никакого интереса для самой династии и полезных только для феодалов.

Здесь перед последней катастрофой мы остановимся, чтобы, бросив общий взгляд на прошедшее время, точнее объяснить себе, какими отношениями была вызвана и решена эта катастрофа.

Три силы участвовали в подготовке насильственной развязки: королевская власть, либералы и роялисты; исход борьбы, ими начатой, был решен внезапным вмешательством четвертой силы, на которую до той поры никто не обращал внимания, никто не рассчитывал, — вмешательством народа.

Мы ставим совершенно различными силами короля и роялистов; точно так же мы совершенно различаем народ от либералов. Многие сливают обе побежденные силы в одно неразрывное целое, обе победившие силы также смешивают в одном понятии. После предыдущего очерка читатель, вероятно, согласится, что династия и роялисты, действуя заодно в последнем акте реставрации, вступали между собою только в союз, зависевший от временных обстоятельств, не имевший ничего неизбежного по существенным интересам той и другой силы, совершенно различным. Факты, которые представляются нам ниже, укажут, что и союз народов с либералами был явлением только временным. Будем же строго различать один от другого эти четыре элемента и, выставив сущность каждого из них в тогдашней Франции, покажем их взаимные отношения, под влиянием которых совершились июльские дни.

Начнем с королевской власти, направление которой решило ход событий. Монархическая власть может существовать в двух формах: самодержавной и конституционной. Все факты прошедшего говорят, что неограниченная форма монархии возникла из борьбы между аристократией и демократией, опираясь на демократию. В Греции тираны были предводителями демократов и получили свою власть низвержением аристократического устройства обществ. Императоры в Риме также вышли из предводителей демократической партии. То же было во всех новых государствах Западной Европы. Особенно резко выражается это в истории Франции. Вся сила королей была приобретена борьбой против феодалов, в которой короли опирались на массу народа. Людовик XI и Ришелье, наиболее содействовавшие утверждению самодержавия во Франции, оба ненавидели аристократов не меньше, чем Робеспьер, и казнили их с такой же беспощадностью. Сам

Людовик XIV, пока еще сохранял умственные силы, держал аристократов под очень суровым ярмом. Подобное явление продолжается до сих пор в тех государствах Западной Европы, где сохраняется монархия свободной от конституции. Австрия победила конституционные стремления только тем, что в 1848—1849 годах была поддержана демократическими славянами своих восточных областей против аристократических венгров, составлявших главную силу конституционной партии. Этот факт очень знаменателен. Сербы, кроаты, словаки были демократами вдвойне: и по внутреннему своему устройству, и по своему отношению к венграм. У них нет в самых их племенах аристократического элемента; с тем вместе все их племена в общей массе были подчинены венгерскому племени, как будто низшее сословие высшему. Точно так же и венгры были вдвойне аристократами: внутри их племени властвовали аристократические учреждения и предания, а все племя в целом составляло аристократию венгерского королевства среди подчиненных славянских племен. Таких фактов, когда абсолютизм австрийский торжествовал над своими внутренними врагами только силою низших сословий, бесчисленное множество в его истории. Припомним еще только два случая. Когда галицийские аристократы стали страшны, Вена дала некоторый простор русинскому простонародью, и радикальное движение 1846 года возвратило ей абсолютную власть над Галицией. Через два года Кудлич на венском сейме отвергал всякое примирение своего сословия с тем классом, который всего сильнее поддерживал конституционное стремление. С другой стороны, история конституционных правительств показывает, что они держались преимущественно силою аристократии. Классический пример тому представляет Англия. В самом деле, логическая необходимость приводит к восстанию против неограниченной формы сословие богатых и могущественных фамилий. Они находят обеспечение своей громадной собственности и своему личному достоинству только тогда, когда достигают независимого управления государственными делами. Неограниченная власть монарха представляется для них силой, которая может лишит каждую фамилию ее богатств, может изменить и общественное положение всего их сословия. При том же неограниченная монархия всегда управляла государством посредством бюрократии, подрывающей все основы аристократического устройства.

Таким образом, если бы Бурбоны во время реставрации заботились о выгодах своей власти, они нашли бы самым выгодным для себя делом поддерживать народ против аристократии. Это стремление возвысило бы их над обеими боровавшимися партиями, которые обе были ограничены узким кругом аристократических понятий. Доказывать аристократизм роялистов нет нужды. Но должно привести хотя два-три факта, которые показали бы ту же тенденцию и в либерализме времен реставрации. Первым и самым ясным признаком аристократических тенденций может служить симпатия либералов к английскому устройству, в котором и до сих пор преобладает, а тогда исключительно владычествовала аристократия. Знаменитейшими учителями либералов были Монтескьё и Бенжамен Констан. «Дух законов» Монтескьё, служивший настольной книгой для либералов, с первой строки до последней внушен безграничным удивлением к английскому государственному устройству¹⁴ Бенжамен Констан, преемник Монтескьё в деле теоретического образования либеральной партии, также почти все свои мысли заимствовал у англичан. Даже второстепенные наставники либералов, как, например, Ройе-Коляр, были все проникнуты тем же духом, которого и до сих пор держатся представители французской либеральной партии в строгом смысле слова от Ремюза и Дювержье де-Горанна до Гизо. Иначе быть не могло уже по одному общественному положению либералов. Масса этой партии состояла из людей богатых или по крайней мере очень зажиточных. Они были совершенно довольны прежним (1817—1820 гг.) избирательным цензом в 300 франков прямых податей; при таком цензе большинство людей их партии уже делалось избирателями, а этот ценз предполагает капитал не менее 60 000 франков. Либеральные газеты очень часто прямым образом высказывали свое отвращение от мысли опираться на низшие классы. Приведем один пример из того времени, когда уже предвиделась близость решительной битвы, когда либералы старались собрать все свои силы и дорожили каждым союзником: даже и в то время они резко отвергали призыв народа к участию в политических делах. За два или за три дня до объявления войны знаменитыми июльскими повелениями¹⁵ один из роялистских журналов, смеясь над стремлением либералов доставить власть торговому сословию, говорил: «Либералы не хотят ни владычества солдат, ни владычества мужиков; они хотят владычества купцов. Но чем же мужики хуже купцов? Пусть либералы

подумают, что против купцов можно поставить мужиков». Угроза была, конечно, далека от исполнения; роялисты, уверенные в своих силах, не имели еще серьезной мысли обратиться за помощью к поселянам; но в их журналах уже довольно часто являлись тогда намеки о возможности подобной политики. Они уже говорили, что если либералы недовольны тогдашним (1820—1830 гг.) избирательным цензом в 1 000 франков, то можно вместо понижения ценза совершенно отменить его и предоставить право голоса каждому французу, без различия состояния. Таким образом уже намекалось на политику, следовать которой начали роялисты после 1830 года, когда их лозунгом сделался *suffrage universel*. Теперь, пока угроза не была еще серьезна, либералы могли бы оставить ее без ответа, если бы сколько-нибудь колебались обнаружить свои чувства к низшим сословиям. Но они никогда не хотели пользоваться содействием простонародья и потому, не колеблясь, приняли вызов роялистов высказаться об этом предмете. Вот что отвечал роялистам «National», бывший тогда представителем крайнего либерализма между большими газетами: «Газета, совершенно сочувствующая министерству, говорит нам: «Не хотят ли штыков, ни деревянных башмаков, хотя торговых свидетельств. Чем же торговые свидетельства лучше деревянных башмаков? Советуем подумать об этом». Эта черта еще лучше истории оратора угольщика (об этой истории мы должны будем упомянуть после) характеризует отчаянное положение наших реакционеров. Они стали в противоречие с общественным мнением страны, не могут жить в согласии ни с палатами, законными представительницами страны, ни с газетами, столь же законными ее представительницами, ни с независимыми судебными властями, подчиненными одному закону; разумеется, после этого нужно им искать нацию вне той нации, которая читает газеты, которая интересуется прениями палат, которая располагает капиталами, управляет промышленностью и владеет землей; им надобно спуститься до низших слоев населения, где уже не встречается общественного мнения, где едва ли находится какой-нибудь политический смысл, где копошатся тысячи существ, добрых, прямых, простодушных, но легко обманываемых и ожесточаемых, живущих со дня на день, проводящих каждый час своей жизни в борьбе с нуждой, не имеющих ни времени, ни физического и умственного отдыха, необходимого, чтобы хотя иногда подумать о политических делах. Вот нация, которую окружить престол

хотели бы некоторые из наших реакционеров. В самом деле, кто отвергает законы, тот должен броситься в объятия черни». Такой язык был обычным у либералов, когда заходила речь о простом народе. Он достаточно свидетельствует, похожи ли были сколько-нибудь либералы на демагогов. Отношение между ними и роялистами было таково же, как между вигами и тори в Англии. Обе враждовавшие партии отвращались не только демагогии, но и всякого демократизма; разница между ними была лишь в том, что одна партия была более исключительна в своем аристократизме, чем другая; одна хотела исключительной аристократии богатых землевладельцев из старинных фамилий, как тори в Англии; другая, подобно вигам, опиралась на промышленные интересы и, понимая невозможность аристократии в смысле XVII века, расширяла круг этого понятия на все сословие, пользующееся фактическим перевесом в народной жизни. Одна партия хотела вернуть власть над народом сословию, некогда господствовавшему, но утратившему свою силу вследствие революции; другая хотела сохранить преобладание настоящих властелинов общественной жизни; но та и другая одинаково хотела подчинения народа немногочисленному сословию.

При таких обстоятельствах какой путь был самым выгодным для королевской власти? На какую из трех существовавших во Франции сил должна она была опираться: на массу народа, на либералов или роялистов? Здравый смысл указывал на союз с народом, как на самую выгодную политику. Народ в то время еще не думал о политических правах; забота о его материальном благосостоянии была бы совершенно достаточной приманкой для приобретения его преданности Бурбонам. Если Бурбонам были противны конституция и свобода книгопечатания, они только в народе нашли бы союзника, не требовавшего этих вещей. Не имея ни в роялистах, ни в либералах покровителей себе, оставаясь совершенно беспомощным, народ очень дешево продал бы свой союз. Чтобы купить его любовь, довольно было одной той политики, которой следует каждое дельное правительство и в самодержавных, и в конституционных, и в республиканских государствах, довольно было заботы о возвышении благосостояния в низших классах, от которого, как известно, зависят и увеличение государственных доходов, и внешнее могущество государства. Требуя наименее пожертвований, союз династии с народом приносил и наиболее выгод. В ежед-

невных мелких делах правительственной жизни влияние народа чувствуется мало. Не только в самодержавных государствах, но и в Англии и в Соединенных Штатах правительство может издавать множество законов и распоряжений, независимо от народного желания или участия, встречая одобрение или осуждение только в партиях высшего и среднего сословий. Но какова бы ни была государственная политика, она всегда, удовлетворяя одной части этих сословий, возбуждает неудовольствие в другой, по неизбежной противоположности различных общественных интересов и теорий. Таким образом политическая жизнь всегда является тяжбой некоторой части образованных сословий против другой части тех же сословий и против правительства, проводящего интересы этой части. Известно, что тяжба оканчивается в первой инстанции только тогда, когда предмет ее ничтожен: когда же проигрыш одной стороны и выигрыш другой значителен, за решением первой инстанции неизбежно следует апелляция как в частном, так и в государственном процессе. Пока недовольная политикой правительства часть образованных сословий не видит никаких важных мер или не убедилась в непреклонности направления со стороны другой части, пользующейся силою правительства, процесс остается, так сказать, в первой инстанции, ограничиваясь словами и бумагой. Но неизбежно идет это дело к дальнейшему развитию, при котором первоначальные средства ведения тяжбы представляются для проигрывающих уже неудовлетворительными, и должна быть призвана в помощь высшая сила. В государственном процессе после первой инстанции, после слова и бумаги этой высшей инстанцией представляется фактическое, физическое могущество, лежащее во всей целостности населения. Таким образом коренное основание всех государственных отношений заключается в расположении населения, как при частных отношениях оно заключается в законе. Я, частный человек, удерживаю свои права только тем, что при всяком важном столкновении указываю на закон. В государственном процессе ту же роль играет население, и в сущности все основано на предполагаемой вероятности образа его действий в пользу той или другой стороны.

Таким образом и Бурбоны могли оставаться совершенно спокойными за свою власть, если бы надеялись, что сила, на апелляцию к которой переносится дело, объявит себя в их пользу при случае апелляции. Если бы население было за них, они могли <бы> с равнодушной улыбкой

смотреть на борьбу парламентских партий, пока им хотелось смотреть на нее, и могли бы легко сокрушить ту или другую партию или и обе партии разом, когда бы им то вздумалось; но к своему несчастью они вовсе не думали сделаться покровителями народных интересов. Чем объяснить эту губительную ошибку? Как могли они лишиться себя союза, возможного за столь дешевую цену и ограждавшего их от всяких опасностей? На этот вопрос само собою найдется ответ после, когда рассмотрим отношения и интересы двух других общественных сил, либерализма и роялизма, а теперь, занимаясь соображением о том, какие союзы наиболее выгодны были для королевской власти, мы должны поочередно рассмотреть отношения интересов ее к двум другим силам тогдашней Франции, к роялизму и либерализму.

Отвергнув наимыгоднейший для себя союз, оставив народ в пренебрежении, династия могла еще избирать между двумя партиями, на которые разделялись средний и высший классы. Содействие той и другой партии одинаково не могло быть приобретено иначе как подчинением правительства конституционному порядку. Относительно либералов, вообще известных за приверженцев конституции, неизбежность этой уступки не нуждается в доказательствах; нам кажется, что читатель видел ту же самую необходимость относительно роялистской партии, которая обманывала многих своим именем, говорящим о какой-то особенной преданности престолу.

Мы говорили о вражде роялистов к тем королям, которые не поддавались безусловно их требованиям, говорили, что они интриговали для отнятия жизни у Людовика XVI, преследовали Людовика XVIII, что задушевной их мыслью было заставить его отказаться от престола. Во все те периоды, когда роялисты не располагали безусловно правительственной властью (при министерствах Ришелье, Деказа и Мартиньяка), они энергически требовали уменьшения правительственных прав. Когда же они располагали правительственной властью (при министерстве Вильеля), они пользовались ею исключительно для доставления денежного и политического могущества прежним феодальным классам, но не издали ни одного закона, которым увеличивались бы права короля. Избирательный ценз в 1 000 франков, восстановление майоратств, выдача миллиарда франков эмигрантам — все эти меры были выгодны

исключительно только старинным аристократическим фамилиям, не имея ровно никакой связи с интересами королевской власти. Наконец, когда роялисты склонили Карла X на издание знаменитых июльских повелений, они опять имели в виду только выгоды феодальной партии, и перемены, вводимые этой экстренной мерой в устройстве Франции, не приносили никакой выгоды королевской власти. Одно из этих повелений изменяло способ выборов в палату депутатов так, чтобы богатые землевладельцы без всяких соперников посылали в палату своих партизанов. Палата состояла бы исключительно из роялистов — для них, разумеется, это было очень приятно. Но что выигрывала королевская власть? Изменялись ли отношения палаты к ней? Сущность конституционного правления состоит в том, что король ничего не может делать без согласия министров, а министрами назначаются те люди, которых желает большинство палаты, низвергающее их, как скоро становится недовольно ими, — изменялся ли сколько-нибудь этот порядок? Ограничивалось ли влияние палаты депутатов на министерство, от имени короля управляющее государством сообразно воле не короля, а палаты? Немало. Палата продолжала быть источником и властителем правительства, король по-прежнему оставался в зависимости от ее желаний. Другое повеление восстанавливало цензуру для газет и ставило их в совершенную зависимость от министерства. Тут опять очевидно выигрывали роялисты: первое повеление отдавало в их руки палату депутатов и министерство, потому они через министерство владычествовали бы над газетами. Не приобретая власти над министерством, король не приобретал ничего через расширение министерского господства над газетами. Не служа к увеличению его власти, цензура с тем вместе вовсе и не нужна была для ограждения его прав или его личного достоинства: газеты и без цензуры не могли и не имели охоты восставать против его личности и его прав. Не могли, потому что он был огражден от их нападений особенными законами, существовавшими прежде. Не имели охоты, потому что полемика в газетах, подобно прениям в палатах, относилась вовсе не к лицу или правам короля — он был выше прений и полемики, — а только к министерству, налагаемому на короля не его волею, а волею палаты депутатов, и к мнениям партий, которые, повторяем, спорили между собою вовсе не об интересах короля, а о своих собственных интересах, не имевших никакой связи с ин-

тересами династии. Королю цензура была не нужна, и ее восстановление не увеличивало его прав. Прочитав июльские повеления, погубившие Бурбонов, каждый убедится, что король не мог для себя извлечь из них никакой выгоды и что роялисты, заставляя его делать опасную для престола попытку, имели в виду единственно свою пользу. Вообще, как мы сказали, если залогом союза короля с либералами могло быть только конституционное устройство, то роялисты никогда не думали уступать большей ему власти: они были в этом отношении требовательны никак не менее либералов.

Напротив, они были более требовательны. Союзник вообще показывает себя тем уступчивее, чем более убежден, что наше доброе расположение к нему зависело совершенно от нашей воли; он тем менее ценит нашу дружбу, чем сильнее убежден, что мы не можем сблизиться с его врагами, как бы ни держал он себя относительно нас. Роялисты были уверены, что Бурбоны никак не вздумают серьезно отказаться от покровительства, то есть в сущности от служения их партии; они считали себя имеющими как бы прирожденное право на королевское благорасположение, потому очень равнодушно принимали все, что делали для них Бурбоны, и чрезвычайно обидчиво сердились на династию за малейшее невнимание к их желаниям. Они воображали себя как будто благодетелями Бурбонов, смотрели на них, будто на своих неоплатных должников, обязанных быть предупредительными, любезными до подобострастия к их партии вообще и к каждому из них в особенности. Совсем иное было положение либералов. Они видели, что Бурбоны имеют гораздо больше склонности к роялистам, нежели к ним, потому принимали за чрезвычайную уступку, за достойное самой выпренней благодарности самоотречение каждую малейшую — хотя бы даже только видимую — снисходительность Бурбонов к либеральной партии. Роялисты держали себя в Тюильри домашними людьми, очень бесцеремонными товарищами хозяина, с которым щепетливо считались каждым сколько-нибудь неприятным для них словом. Но стоило королю сказать при каком-нибудь официальном приеме хотя одно мягкое слово либералу, и вся либеральная партия приходила в восторг. Давая королю медные гроши, роялисты требовали взамен золотых монет; либералы готовы были безвозмездно принести в жертву и себя и все свои богат-

ства, лишь бы только он согласился принять их *. Конечно, либералы жаловались на Бурбонов, но их жалобы имели тон отвергаемой дружбы. Либералы желали не падения Бурбонов, а только обращения их к либерализму для их собственной выгоды. До такой степени чуждалась либеральная партия мыслей, враждебных интересам династии, что не хотела верить падению Бурбонов даже тогда, когда оно было уже решено битвою на парижских улицах, и если в ком еще остается сомнение об искренней преданности либералов Бурбонам, последние остатки недоверия будут рассеяны рассказом о том, как держали себя либералы в продолжение переворота, против желания либеральной партии произведенного парижским населением.

Союз с либералами должен был бы казаться Бурбонам приятнее дружбы с роялистами, потому что либералы были меньше требовательны, нежели роялисты. С тем вместе он был бы и гораздо важнее для прочности династии. Конечно, ни роялисты, ни либералы не составляли массу населения во Франции; мы уже говорили много раз, что если бы династия опиралась на народ, она могла бы господствовать над обеими партиями, из которых каждая оставалась бы в таком случае гораздо слабее династии. Но мы также говорили, что династия не озаботилась привлечь к себе массу населения заботами о ее выгодах, и народ, никем не призываемый к участию в делах, не налагал еще

* Нет надобности напоминать читателю, что мы говорим о массе либеральной партии, о собственно так называемых либералах. Из 221 либералов, вотиравших знаменитый адрес 1829 года (о котором будем говорить ниже), было пять или шесть человек, имевших другие чувства, но эти люди исчезали в массе, на которую вовсе не имели влияния. Орлеанская партия до 1830 года не смела и думать о близком исполнении своих желаний и была чрезвычайно малочисленна, — к Лафиту примкнуло несколько депутатов только уже вследствие июльских событий, да и то по невозможности найти иное спасение своим монархическим убеждениям, кроме возведения на престол принца Орлеанского. Республиканцев до 1830 года было во всей Франции всего несколько человек, да и те даже среди июльского торжества инсургентов не считали возможным учреждение республики во Франции, — республика представлялась для них отвлеченным и дальним идеалом вроде того, как какому-нибудь китайцу ныне может представляться обращение Китая в европейское государство, чего, конечно, ни один рассудительный человек в Китае не может ожидать видеть при своей жизни. Надобно строго различать теоретические убеждения от стремлений, питаемых человеком относительно практической жизни настоящего времени, определяемых надеждою на возможность. Теоретически каждый из нас скажет, что лучше было каждому без исключения русскому молодого поколения учиться в университете, — на практике мы восхищались бы уже и тем, если бы найдена была возможность хотя одному из десяти наших молодых соотечественников кончать курс в уездном училище.

свою тяжелую руку ни на одну из двух чашек весов политического могущества. На политической арене были только либералы и роялисты. Которая же из двух партий сильнее? В этом не могло быть никакого сомнения. В руках либералов была вся торговля, вся промышленность Франции, они владычествовали на бирже; они располагали кредитом. От Лафита, богатейшего банкира тогдашней Франции, до последнего лавочника или хозяина какой-нибудь маленькой мастерской все буржуа были проникнуты либерализмом. На стороне роялистов была только большая поземельная собственность; но если каждый роялистский землевладелец в отдельности был богаче либерала-землевладельца, владевшего имением средней величины, то массе либералов даже и из поземельной собственности принадлежала часть более значительная, нежели массе роялистов, потому что при раздробленности имений вследствие революционных продаж участки средней величины занимали более значительное пространство территории, нежели огромные поместья, уцелевшие от феодальных времен.

Сами по себе либералы были сильнее роялистов; но еще гораздо выгоднее был для династии союз с ними потому, что он обезпечивал бы их от всякой опасности со стороны массы населения. Это соображение было так просто, что не могло бы ускользнуть ни от одного из друзей династии, если бы они хотя сколько-нибудь знали чувства народа. К сожалению, из людей, близких к Бурбонам, не было ни одного, знающего народ, а были очень многие без всякого понятия о чувствах народа, питавшие к нему недоверие и передавшие это недоверие Бурбонам. По странному сочетанию противоречащих идей в одной и той же голове, сочетанию, которое так часто встречается в жизни, эти люди и сами Бурбоны, не заботясь об удовлетворении народных желаний и нужд, не заботясь даже о том, чтобы хотя сколько-нибудь ознакомиться с ними, питая ужас к каждому движению народа, лелеяли себя уверенностью, что и без всяких посредничеств масса населения проникнута непоколебимой преданностью к Бурбонам.

Мы видели, какой политики требовали со стороны Бурбонов их собственные выгоды и как не нужен, как противен истинному положению их интересов был их союз с роялистами; чтобы еще яснее убедиться в этом, нам должно теперь посмотреть на взаимные отношения общественных сил, спустившись на низшую ступень общественной лестницы, которую мы обозревали с верши-

ны ее. Изложив интересы королевской династии, мы теперь попробуем изложить чувства и интересы массы населения.

Она, как мы говорили, не принадлежала собственно ни к роялистам, ни к либералам. Необходимость слишком тяжелого и продолжительного физического труда для скудного поддержания жизни не оставляла ей в период реставрации во Франции, как до сих пор не оставляла нигде и никогда в новой Европе, времени для постоянного занятия государственными делами. Не имея ни навыка к тому, ни образования, нужного для того, чтобы составить себе систему политических убеждений, народ обыкновенно даже не хотел присматриваться к вещам, которые делаются и говорятя высоко над ним в парламенте, в журналистике и в административных сферах. Но эта масса, обыкновенно остающаяся неподвижной в политическом волнении, играющем на поверхности национальной жизни, не лишена совсем преданий и чувств, которые приводят ее в движение, когда затрагиваются.

Во французском народе самым живым преданием было воспоминание о национальной славе, какой блистала Франция при Наполеоне. Под этим воспоминанием таилось еще более сильное чувство привязанности к новому гражданскому устройству и ненависти к старинным феодальным правам, разрушенным революцией. Народ дорожил новыми учреждениями потому, что они улучшили его материальное положение сравнительно с той судьбой, какую имел он в прежние времена. Но, с другой стороны, улучшение, хотя и очень чувствительное, не было так велико, чтобы масса народа была очень довольна своим настоящим.

По сущности своих понятий народ не имел сознательного предпочтения к той или другой политической системе. Конституцию, или, как тогда называли, «Хартию» (la Charte), он едва знал по имени, не связывая никакого смысла с этим словом. Да и самое слово далеко не каждому городскому работнику было известно, — о поселянах нечего и говорить; о том, что он нимало не дорожил этим словом, излишне и упоминать.

Королевская власть, говорили мы, очень легко могла привлечь народ на свою сторону покровительством его материальному благосостоянию; но она не позаботилась об этом. Однакоже, когда король являлся в провинциях или присутствовал на торжественных церемониях в Париже, толпы народа теснились на дороге и приветствовали его

радостными криками. Это происходило не более, как от наивного уважения простых людей к внешнему блеску, но перетолковывалось придворными как свидетельство глубокой привязанности народа к династии. Такое ошибочное понимание дела погубило Бурбонов, ободрив Карла X рискнуть на решительную битву изданием июльских повелений. Но во всяком случае хорошие встречи, какими обыкновенно приветствовал народ короля, доказывали, что масса народа даже в начале 1830 года еще не была решительно враждебна к Бурбонам.

Напротив, она была всегда враждебна к роялистам, не потому, чтобы считала их врагами конституции, о которой сама она не заботилась, а потому, что они были эмигранты, потомки прежних феодалов; народ предполагал в них желание восстановить старинное феодальное устройство, вспоминал, что они сражались против Франции.

Тем самым, что боролись против роялистов, либералы приобретали в народе некоторую популярность, хотя очень мало заслуживали ее. Надобно перечитать прения палат, надобно перечитать сочинения либералов времен Реставрации, чтобы постичь всю невероятную беззаботность их о выгодах массы населения. Они забывали о народе, подобно Бурбонам и роялистам; а когда и случалось им говорить от имени низших классов, они почти постоянно употребляли его имя понапрасну, не умея выразить желаний, понять нужд простонародья. В программе либералов не было ни одной фразы, которая касалась бы средств или по крайней мере выражала бы желание улучшить положение низших классов. Доказательством тому может служить каждое из их знаменитых прений в палате депутатов, каждая из их знаменитых битв на поприще журналистики, каждый их политический манифест. Повсюду провозглашаются отвлеченные политические теории, имеющие занимательность только для зажиточных и образованных людей, нигде ни одной фразы о реформах, которыми непосредственно улучшался бы простонародный быт. В пример сошлемся на один из этих актов, могущий быть самым поразительным подтверждением нашего суждения. Когда войска были принуждены выступить из Парижа, когда либералы спешили восстановить королевскую власть перенесением ее на герцога Орлеанского, чтобы не дать времени возникнуть в вооруженной массе простонародья требованию республиканской формы, либеральные члены палаты депутатов издали прокламацию, в которой совместили все надежды и желания, способные, по их мне-

нию, увлечь победоносных парижан на сторону вновь учреждаемого правительства. Парижское простонародье безусловно владычествовало тогда над судьбой Парижа и Франции, — либеральные депутаты, конечно, в эту минуту старались по необходимости самым ярким образом высказать все, что в их намерениях могло быть приятно простонародью. Каков же план их правительственной системы? Какие улучшения они обещают народу? Обещаний очень много, и они вот какого рода: верность конституционным началам; восстановление национальной гвардии, избирающей своих офицеров, — она будет охранять конституцию; назначение городских и областных чиновников по выбору; суд присяжных по обвинениям против газет со стороны правительства; точное определение ответственности министров перед палатой депутатов; отмена произвола правительства над судьбою офицеров; ограничение средств для министра к подкупу депутатов повышением в должностях.

Как? Только-то? Да, только. Для неверящих мы сообщим самый текст прокламации, — пусть они увидят, что мы не пропустили ни одного обещания *. Какую же выгоду получил бы народ, если бы даже все эти обещания были исполнены? Разберем их пункт за пунктом. «При герцоге Орлеанском будет строго соблюдаться конституция» —

* Вот текст прокламации к народу, изданной палатой депутатов 31 июля:

«Французы, Франция свободна. Деспотизм поднимал свое знамя. Героическое население Парижа низвергло его. Вызванный пападением на битву, Париж доставил своим оружием торжество священному делу, которое тщетно торжествовало на выборах. Власть, отнимавшая наши права, возмущавшая наше спокойствие, угрожала и свободе, и порядку. Мы снова приобретаем и порядок, и спокойствие. Нет уже опасности для прав, приобретенных прежде; нет уже преграды между нами и правами, которые еще остается нам приобрести.

Правительство, которое немедленно обеспечило бы нам эти блага, составляет первую потребность отечества. Французы, те из ваших депутатов, которые находятся в Париже, собрались и в ожидании правильного действия палат пригласили француза, который сражался только за Францию, а не против нее, герцога Орлеанского, к принятию на себя обязанностей наместника королевства. Они видят в этом средство водворением мира довершить торжество справедливейшего самоотвержения.

Герцог Орлеанский предан национальному и конституционному интересу. Он всегда защищал его дело и исповедывал его принципы. Он будет уважать наши права, потому что получит от нас свои права. Мы дадим себе законами прочные гарантии, необходимые для утверждения непоколебимой свободы:

Восстановление национальной гвардии с участием граждан, ее составляющих, в избрании ее офицеров;

очень приятно будет это образованным классам, обеспеченным в своем существовании; но мы уже много раз говорили, что все конституционные приятности имеют очень мало цены для человека, не имеющего ни физических средств, ни умственного развития для этих десертов политического рода.

Участие граждан в составлении муниципального и департаментского управления;

Суд присяжных для процессов газет и книг;

Законное определение ответственности министров и второстепенных агентов управления;

Законное упрочение положения военных;

Новые выборы для депутатов, получивших должность от правительства.

По согласию с главою государства мы дадим нашим учреждениям развитие, в котором они нуждаются.

Французы, герцог Орлеанский сам уже высказался языком, приличным свободной стране. Он говорит, что палаты соберутся немедленно. Они примут меры для упрочения царства законов и ограждения прав нации.

Конституция отныне будет истиною».

Мы привели этот документ между прочим и потому, что он написан Гизо и был первым актом нового периода его политической жизни, когда он является уже одним из важнейших государственных людей Франции.

В комиссии, назначенной для составления прокламации, кроме Гизо и Вильмена, представителей умеренного оттенка либеральной партии, находились Бенжамен-Констан и Берар, принадлежавшие к самым требовательным либералам. Таким образом, прокламация, вышедшая из совещаний комиссии, может считаться самым верным выражением политической программы целой либеральной партии.

Прокламацию герцога Орлеанского, на которую ссылается прокламация депутатов, по-настоящему не стоило бы и приводить, потому что в ней не заключается ничего, кроме общих фраз с неосновательной похвалой герцога самому себе за мужество, которого он не оказывал. Однако приведем и ее, чтобы читатель видел совершенную пустоту этого документа, также решавшего судьбу Франции.

«Жители Парижа!

Депутаты Франции, ныне собравшиеся в Париже, выразили желание, чтобы я прибыл в столицу для исполнения обязанностей наместника королевства.

Не колеблясь, явился я разделять ваши опасности, стал среди героического населения, чтобы употребить все мои силы для предотвращения междоусобной войны и анархии. Вступая в Париж, я с гордостью надел славную трехцветную кокарду, которую восстановили вы и которую долго послал сам я.

Палаты скоро соберутся; они примут меры для упрочения царства законов и ограждения прав нации.

Конституция отныне будет истиною.

Людовик-Филипп Орлеанский».

Мы приведем также программу самой крайней из партий, игравших заметную роль в июльские дни. Составители этой программы, которая осталась недействительной, потому что показалась всем благоразумным людям слишком уже отважной, были не просто либералы, а республи-

«Будет восстановлена национальная гвардия» — в скобках надобно читать: с довольно дорогим мундиром, который удалит от участия в ней простолюдина, — это будет удоволь-

канцы, то есть горсть людей, ушедших неизмеримо далеко вперед от либералов. Но что же и эта программа обещала собственно для народа? Ровно ничего дельного не обещала она, — вот ее текст, слишком оправдывающий наше грустное суждение:

«Франция свободна.
Она хочет конституции.

Она дает временному правительству только право призвать ее к установлению формы правления.

В ожидании того, пока она выразит свою волю новыми выборами, уважение к следующим принципам:

Отменение монархической власти;

Управление государством исключительно людьми, получающими власть от избрания нации;

Вручение исполнительной власти президенту, избираемому на время;

Прямое или косвенное участие всех граждан в избрании депутатов;

Свобода исповеданий; отмена привилегий, даваемых государством одному исповеданию перед всеми другими;

Ограждение армейских и флотских офицеров от произвольного удаления министрами в отставку;

Учреждение национальной гвардии по всему пространству Франции; этой гвардии вверяется охранение конституции;

За эти принципы мы жертвовали жизнью; в случае нужды мы будем поддерживать их законным сопротивлением с оружием в руках».

Как видим, эта программа отличается от прокламации депутатов тремя существенными пунктами: требованием республиканской формы, требованием уничтожения палаты наследственных пэров (оно заключается в выражении: управление государства исключительно людьми, получающими власть от избрания нации), наконец требованием предоставления избирательных прав всему населению Франции (*Suffrage universel*), а не одним более или менее зажиточным людям.

Спрашиваем теперь: какое из этих требований имеет целью существенное улучшение простонародного быта? Чем легче простому народу становится платеж податей, отправление военной повинности, чем улучшаются его отношения к землевладельцам и хозяевам фабрик от замены слова «король» словом «президент» и тому подобных чисто отвлеченных реформ государственного устройства?

Позднее программа республиканцев была не такова. Они трубили не об одних пустых словах, имеющих смысл для праздных политических споров, — они требовали также: уничтожения обременительных для простонародья налогов на соль, вино и другие жизненные потребности, вообще изменения системы податей для облегчения простонародья; уменьшения армии и изменения системы конскрипции (сокращение срока службы, отмена увольнений от личной службы поставкою наемщика и проч.); они требовали реформы гражданских законов, невыгодных для простолюдина; требовали, чтобы образование сделалось доступным для всех состояний. Надобно, впрочем, прибавить, что все эти требования в 1848 году оказались пустыми словами, — республиканцы не умели совершить ни одной из реформ, обещавших улучшение народного быта по их программе.

ствие, предоставленное людям, могущим тратить деньги на маскарадные костюмы. Но хотя бы и без дорогого мундира — что за радость ходить в караул и на смотры человеку, у которого недостает времени для отдыха после 14 часов работы в сутки? Это право напоминает рассказ старика у г. Печерского о том, как Ваське дали «особенные права». «Выборная администрация» — известно, как дорожит простонародье правом выборов. «Изъятие газет от произвола министров» — но простонародье не читает газет по своему безденежью и безграмотности, какое ему дело до независимости журналистики и свободы прений? «Ограждение офицеров от такого же произвола» — об этом нечего говорить. Затем следует ограждение непреклонных убеждений либеральных депутатов от искушения быть подкупленными, и перечисление всех этих благ кончается комплиментами принцу Орлеанскому, — о народе и его судьбе, как видим, действительно нет ни слова. Как нет? Мы позабыли: ведь прокламация начинается комплиментами мужеству парижан, — либералам, как видим, не была известна русская поговорка: «соловья баснями не кормят»; это бы еще ничего, но жаль, что и народ не знал этой поговорки, — иначе с какой стати было бы ему умирать на баррикадах, когда вся награда ему за битву должна была ограничиться комплиментами его мужеству?

Либералы совершенно ничего не делали и не хотели делать для народа; но тем не менее независимо от их собственной воли образовались отношения, которые в случае надобности обеспечивали им содействие народа, — мы старались показать, что эта готовность массы стать за либералов была ими не заслужена, далее мы увидим, что они даже не умели предчувствовать ее, но она существовала.

Самым сильным и самым общим основанием ее было то, что либералы боролись против партии, подозреваемой народом в стремлении восстановить прежний порядок дел и за то ненавистной народу. «Враг наших врагов — друг нам» — это заключение слишком часто ведет к самым горьким разочарованиям; очень часто случается людям, руководясь им, попадать из Сциллы в Харибду, или по русской поговорке — «из огня в полымя»; но тем не менее редко успевают беречь себя от него даже такие опытные в политических делах, такие осторожные и недоверчивые люди, как дипломаты. Что же удивительного, если простой народ мало-помалу поддался этой мысли? Феодалы нападали на новые учреждения, дорогие народу; либералы за-

щищали эти учреждения, — чего же больше? Масса стала доверчива к ним. Правда, защищались эти учреждения либералами вовсе не в том духе, не с теми целями, с какими вводились; смысл одних и тех же слов не был в 1820-тых годах таков, каков был тридцать, сорок лет тому назад. Но где же было народу разбирать такие тонкости? Не у него одного, и у большинства людей образованных сильнейший элемент в умственной жизни — рутинка; народ привык любить известные слова и не мог не иметь симпатии к защищавшим эти слова.

Кроме этого общего основания, было другое, более частное, но во многом с ним сходное и почти столь же сильное. Нападая на новые учреждения, реакционеры позорили и все правительства, существовавшие на этих началах, в том числе они беспощадно бранили Наполеона. Либералы сами были не очень расположены к Наполеону — и в 1814 и в 1815 годах оба раза их нерасположение сильно содействовало падению его. Но роялисты заходили в своей ненависти уже слишком далеко, — либералы, разгорячаемые постоянным спором с ними о всем на свете, принялись пылко защищать и Наполеона. А для народа Наполеон и трехцветное знамя империи были символами славы Франции, побед ее. Либералы явились народу защитниками национальной славы. Это было тем неизбежнее, что роялисты с принцем Конде сражались в рядах коалиционных армий против Франции — как же было либералам не нападать на измену родине, когда изменниками были их враги?

Наконец очень важную роль во всем деле, кончившемся июльскими днями, играл Беранже. Едва ли кто имел такое сильное влияние на исход тогдашних событий, как он. Его песни действительно были любимы народом. Он ненавидел Бурбонов, и народ постепенно привыкал к чувству, которое внушал ему певец его лишений, его надежд. А Беранже ненавидел Бурбонов за то, что они были орудием реакционеров.

Наши рассуждения вышли очень длинные, и нам пора было бы их кончить. Но прежде, чем возвратимся к рассказу о ходе событий, мы хотим оправдаться перед читателем в упреке, которого не только ожидаем, но даже желали бы. Вероятно, не за одну длинноту упрекнул наше длинное изложение возможного и разумного, — читатель скажет также, что оно лишено всякого реального основания. Мы говорим, что легче и выгоднее всего был бы для Бурбонов союз прямо с народом мимо всяких союзов с ли-

бералами или роялистами, но что когда уже не захотели Бурбоны этого союза, натуральнее всего было бы им, если бы только они понимали свои выгоды, соединиться с либералами; что все разумные соображения о собственных интересах, о собственном спокойствии, не говоря уже о славе, должны были сделать Бурбонов покровителями либералов. Все это так, скажет читатель, но рассуждать о подобных вещах — значит то же самое, что доказывать выгодность течения Волги с юго-востока на северо-запад, от Камышина к городу Либаве: вещь оно была бы прекрасная, слова нет, но совершенно несообразная с законами природы. Бурбоны по своей истории, по своей натуре, по всей своей обстановке не могли действовать иначе, нежели как действовали. Так, к сожалению, совершенно так. Напрасно очевиднейшая выгода, настоятельнейшая необходимость указывала им иной путь — в них не было сил итти по этому счастливому пути, в них не было даже способности видеть этот путь. Так, рассудок чуть ли не совершенно бессилен в истории. Напрасно говорить о нем, это пустая идеология. Но если так, почему же не понимают люди хотя этого? Если ослепление рутинной и обстановкой сильнее собственных выгод в человеке, почему же мы не принимаем этого факта, не соображаем с ним наших отношений к человеку?

Есть в истории такие положения, из которых нет хорошего выхода, — не оттого, чтобы нельзя было представить его себе, а оттого, что воля, от которой зависит этот выход, никак не может принять его. Правда, но что же в таких случаях остается делать честному зрителю? Ужели обманывать себя обольщениями о возможности, даже о правдоподобности такого принятия? Мы не знаем, что ему делать, но знаем, чего он по крайней мере не должен делать: не стараться ослеплять других, остерегаться заражать других идеологической язвой, если сам по несчастию подвергся ей, — оставим надежды ребятам, взрослому человеку неприлично ожидать виноградных гроздов на терновнике. (Пусть евангельская притча о дереве, не приносящем добрых плодов, будет руководительницей наших мыслей. Нет, она кажется суровой нашему мягкому уму — мягкому до того, что иногда чувствуешь искушение приписывать это качество просто размягчению мозга.)

Но возвратимся же, наконец, к рассказу о событиях.

Назначение Полиньяка министром было принято всей Францией как следствие решимости Карла X выйти из границ законности для упрочения колебавшегося господ-

ства роялистов. Либералы ужасались, ожидая насильственных мер. Даже многие роялисты, сохранявшие некоторое благоразумие, видели необходимость предупредить короля, что советы слишком опрометчивых товарищей их могут быть для него губельны.

В самом деле, глава министерства Полиньяк был величайший фанатик феодальной партии. Давно он мечтал о сильных средствах к восстановлению старинного порядка. Вильгель, опасаясь неосторожных советов его Карлу X, отправил молодого придворного посланником в Лондон; недовольный умеренностью Мартиныяка, король стал думать о вручении управления своему любимцу, который совершенно сходил с ним в убеждениях. Полиньяк был вызываем в Париж для совещаний с королем, — результатом совещаний была решимость идти до последних крайностей для поддержания господства роялистов. Средство к тому найдено было в 14-м параграфе конституции, который давал королю право «издавать распоряжения и повеления, нужные для безопасности государства». До сих пор все партии соглашались, что тут разумеются единственно административные распоряжения, которыми определялись бы только меры и способы исполнения изданных правительным образом законов, а никак не распоряжения, которыми бы отменялись или нарушались законы. Но конгрегация, управлявшая Карлом X и Полиньяком, убедила их в возможности и необходимости другого толкования. Король и его любимец приготовились, если не найдут покорности в палатах, избираемых законным образом, без их согласия изменить основные законы королевства.

Слухи о такой решимости распространились в публике. Министерские газеты подкрепляли их, доказывая необходимость крайних средств со стороны министерства. «Уступок больше не будет, — восклицали они, — битва между правительством и революцией возобновлена». Надобно заметить, что под именем революции на языке роялистов разумелись все новые учреждения в гражданском быту; каждый, находивший невозможным полное возвращение к старине, назывался у них революционером, в том числе даже Ройе-Коляр, при Наполеоне постоянно рисковавший жизнью для Бурбонов, и Гизо, бывший посредником между Бурбонами и остававшимися во Франции роялистами во время Ста дней. «Игра началась, — восклицали роялистские газеты, — и надобно знать, что поставлено на карту с той и другой стороны. Мы ставим на карту престол. Это наша последняя ставка: идет ва-банк против ре-

волюции». Но трудно будет управлять государством в противность желанию большинства или с нарушением парламентских форм, возражали осторожнейшие из роялистов, предвидевшие опасность игры, начинаемой фанатиками. Министерские газеты отвечали на их предостережения презрительным гневом. «Есть люди, говорящие о большинстве палат, — они удивляют нас. Скажите, важно или не важно покончить с революцией? Вы говорите: да. Прекрасно. Но если большинству палаты придет в голову думать не так, неужели следует отказаться от спасения? Это было бы забавно. Когда план составлен, когда он необходим, следует исполнять его до конца; иначе нельзя спасти общество». Из таких слов были очевидны намерения министерства. Оно решилось не обращать внимания на волю парламентского большинства.

Доведенные до крайности либералы ожидали спасения себе и престолу от приближавшегося собрания палат. Парламентские каникулы кончались. 2 марта 1830 года начались обычным церемониалом заседания палат. Тронная речь открыто выразила намерение правительства прибегнуть к чрезвычайным мерам в случае несогласия большинства с системой министерства. «Пэры Франции, депутаты департаментов, — сказал Карл X, — я не сомневаюсь в вашем содействии к совершению добра, мною желаемого. Вы с презрением отвергнете коварные внушения, распространяемые зложелательством. Но если бы преступные интриги противопоставили моей власти препятствия, которых я не должен, которых я не хочу предвидеть, я нашел бы силу победить их в моей решимости охранять общественное спокойствие».

Вызов был сделан. Не оставалось сомнения в том, что министерство хочет считать преступлением сопротивление палат его системе и намерено прибегнуть к вооруженной силе для подавления беспорядков, которых ожидало само от своих распоряжений. Указание на вооруженную силу было тем оскорбительнее, что не оправдывалось никаким предлогом. Во всей Франции господствовал ненарушимый порядок. Никто из противников министерства не думал переступать границ закона. Все осуждали опрометчивость речи. Но министерские газеты почли нужным комментировать тронную речь следующими словами: «Мы напомним, что Георг III английский публично благодарил солдат, стрелявших по черни, которая собралась освободить из тюрьмы Уилькса, мятежного члена палаты общин». Мало было общей угрозы вмешательством вооруженной

силы; надобно было еще пояснить, что она будет призвана именно против палаты депутатов. Большинство палаты хотело исполнить свою обязанность, выразив королю опасение о гибельности политики, принятой его министрами. Комиссия палаты составила проект адреса, проникнутый тоном почтительным, но печальным. Она считала обязанностью палаты открыть Карлу X глаза на несогласие политики его министров с чувствами нации.

«Среди единодушных чувств уважения и привязанности, которыми окружает вас ваш народ (говорил адрес), обнаруживается в умах живая тревога, возмущающая спокойствие, которым Франция начала наслаждаться, иссушающая источники ее благоденствия и в случае продолжения могущая сделаться гибельной для ее тишины. Совесть, честь, та верность, которой мы поклялись вам и которую навсегда соблюдем, возлагают на нас обязанность открыть вам причину этой тревоги.

«Государь! Конституция, которой мы обязаны вашему августейшему предшественнику и упрочить которую твердо намерено ваше величество, освящает право участия страны в обсуждении общественных интересов. Это участие, как и следовало, производится не прямым, а посредственным образом; степень его мудро измерена, оно заключено в точные границы, и мы никогда не допустим, чтобы кто-нибудь осмелился переступить эти границы; но результат его положителен, потому что оно делает постоянное согласие политических видов вашего правительства с желаниями вашего народа необходимым условием правильного течения общественных дел. Государь! Наша верность, наша преданность престолу обязывают нас сказать вам, что это сочувствие не существует.

Высокая мудрость вашего величества да будет судьей между теми, которые не доверяют нации столь спокойной, столь верной, и между нами, с глубокой уверенностью излагающими вашему сердцу скорбь целого народа, желающего пользоваться расположением и доверием своего короля. Преимущества короны вашего величества дают вам средство упрочить между государственными властями гармонию, первое и необходимое условие силы престола и величия Франции».

Комиссия, составившая проект, старалась избежать в нем всякого выражения, похожего на требовательность. Она хотела только указать на несогласие большинства с министрами, оставляя королю совершенную свободу в выборе средств для восстановления согласия. Адрес не

говорил даже о необходимости перемены министерства. Он говорил только, что король, сохраняя министерство, должен распустить палату или наоборот, сохраняя палату, изменить политику министерства.

Умеренные роялисты согласились на проект адреса вместе с либералами. Он был принят большинством 221 голоса против 181.

Незначительность большинства, принявшего адрес и составленного голосами умеренных роялистов, показывала, каких ничтожных уступок было бы достаточно для примирения с палатой. Довольно было бы министерству отказаться от своих совершенно излишних угроз, не вызываемых ничем. Но крайние роялисты были глухи. 18 марта адрес был представлен; 19 марта заседания палаты отсрочены; через несколько времени она была объявлена распущенной, и назначены новые выборы. Нельзя было сомневаться в том, что эти выборы еще менее прежних будут благоприятны министерству, которому оставалось тогда или удалиться, или прибегнуть к незаконным средствам. Двое из министров, видевшие безрассудство остальных, вышли в отставку. Полиньяк заменил их другими, более решительными.

Действительно, все члены прежней палаты, вотировавшие адрес, были избраны вновь; большая часть крайних роялистов прежней палаты не попала в новую. Но и новая палата была проникнута преданностью к Бурбонам. На выборах либеральных членов это чувство выражалось с совершенной ясностью; они одобряли адрес прежней палаты, но понимали его в том смысле, какой придавал ему Дюпен старший: «Коренное основание адреса — глубокое уважение к лицу короля; он выражает высочайшее благоговение к древней династии Бурбонов; он представляет владычество законной династии не только как легальную истину, но и как общественную необходимость, которая ныне для всех здравых умов является результатом опыта и убеждения». Словом сказать, ни либералы, ни умеренные роялисты, составлявшие большинство, не дерзали и в глубине своих мыслей касаться прав престола. Они находили только, что политика крайних роялистов несовместна с положением дел. Крайние роялисты имели теперь выбор между двумя решениями: или оставить хотя на время министерство, чтобы дать успокоиться общественному мнению, или подвергнуть престол страшной опасности из-за желания удержать власть в своих руках. Они избрали последнее.

Палаты должны были собраться 3 августа. Еще в начале июля, когда сделался известен результат новых выборов, министры окончательно составили план своих действий. Они положили, пользуясь четырнадцатым параграфом конституции, распустить новую палату прежде, нежели она соберется, изменить одной волей правительства закон о выборах и восстановить цензуру. Совещания министров хранились в глубочайшей тайне, но она не могла скрыться от придворного круга. Все посещавшие дворец догадывались, что приближается время насильственных мер, о которых давно говорили газеты. Крайние роялисты с восторгом передавали друг другу выдуманный анекдот об угольщике, который будто бы сказал королю: «Государь! Угольщик — господин в своем хозяйстве, будьте господином в своем».

Иностранные посланники, слышавшие о намерении Полиньяка, единогласно осуждали его; самодержавные государи Европы разделяли мнения проницательных дипломатов о неблагоприятности мер, на которые склонили Карла X его опрометчивые советники. Меттерних, конечно, не слишком любил конституционный порядок, но и он говорил французскому посланнику при венском дворе: «Нельзя вашему правительству насильственно изменять законов, которыми оно недовольно; единственное средство ему для этого — действовать с согласия палат; другого пути Европа не может одобрить; насильственные меры погубят династию». Люди, желавшие предупредить бедствие, искали другого советника, голос которого внушал бы еще больше уважения французскому королю. Они просили русского императора не оставить Карла X своими советами, и покойный государь Николай Павлович имел с французским посланником при нашем дворе Мортмаром разговор, после которого посланник должен был написать Полиньяку: «Мнение императора таково, что, нарушив конституцию, французское правительство подвергнется катастрофе. Если король захочет прибегнуть к насильственным мерам, он понесет за них ответственность, прибавил император; Карл X должен помнить, что союзники по Парижскому трактату приняли на себя ручательство в сохранении французской конституции». Через несколько времени болезнь принудила Мортмара возвратиться во Францию; графиня Нессельроде дала ему письмо к королю, в котором снова напоминалось, что русский император решительно не одобряет никаких мер, противных конституции.

В Петербурге и в Вене знали о приготовляемых повелениях. Но либералы все еще не хотели верить в их исполнение. Они так были преданы династии, что отталкивали от себя мысль о близости катастрофы. Сами за себя они так боялись волнений, что и в министрах предполагали такое же отвращение от поступков, могших вызвать мятеж в Париже. Они не только не думали воспользоваться насильственными мерами министров для возбуждения народа, они даже были уверены, что народ не может быть возбужден к сопротивлению. За два дня до издания повелений один из предводителей либеральной партии Одиллон Барро отвечал говорившим о возможности волнений: «Вы верите в восстание! О, боже мой! Если конституция будет низвергнута, вас поведут на эшафот, а народ, сложа руки, станет смотреть на это». За два дня до катастрофы он не верил ей и не предчувствовал ее последствий.

Вечером того дня, когда были подписаны повеления, герцог Орлеанский, которому они давали престол, также еще не хотел верить их возможности. Ревностный роялист Витроль, усердию которого Бурбоны больше всего были обязаны тем, что по взятии Парижа в 1814 году союзные монархи вспомнили о них, описывал герцогу дурные признаки, замеченные им поутру в Сен-Клу. Министры скрывались от него, но он предполагал что-то очень недоброе. «Но что же они хотят сделать? — с беспокойством сказал герцог Орлеанский. — Ведь они не могут же обойтись без палат, не могут выйти из конституции».

Советы Меттерниха и русского императора, просьба Вильеля и всех роялистов, не разделявших ослепления крайней партии, были напрасны. 24 июля министры собрались для окончательного просмотра приготовленных ими повелений. Один из них, Гернон Ранвиль, пытался убедить короля и своих товарищей отложить на несколько времени эти повеления. Другой министр, д'Оссе, желал по крайней мере знать, какими силами будут они располагать для усмирения мятежа. «Имеете ли вы в Париже хотя тысяч тридцать войска?» — спросил он Полиньяка. «Не тридцать, а сорок две», — отвечал Полиньяк, перебрасывая через стол ему список войск. «Как, — вскричал д'Оссе, — я вижу здесь только тринадцать тысяч! Тринадцать тысяч на бумаге. — это значит, что на битву только можно вывести семь или восемь тысяч». Но Полиньяк и большинство министров никак не предполагали серьезного восстания. В самом деле, либералы и осуждали по своим убеж-

дениям всякую попытку мятежа, и боялись волнений; народу не было никакой разумной выгоды вступаться в распри между двумя партиями, из которых ни одна не была его партией. Если бы народ не увлекся надеждой на людей, вовсе не заслуживающих этой надежды, Полиньяк был бы прав. Он ошибся только тем, что не принял в расчет бедственного положения народа: отчаяние вовлекло народ в опрометчивость.

24 июля заготовленные повеления были рассмотрены и одобрены министрами. 25 июля министры снова собрались в Сен-Клу, где жил король. Они собрались подписать эти повеления. Молча сели они вокруг стола. По правую руку Карла X был дофин, его сын, по левую руку — Полиньяк. Д'Оссе возобновил свои вчерашние замечания. «Вы отказываетесь подписать?» — сказал Карл X, д'Оссе взял перо и подписал. Экзальтированная решимость, смешанная с беспокойством, выражалась на его лице и лицах его товарищей. Один Полиньяк блистал радостью. Карл X также весело ходил по зале. «Что вы так смотрите?» — сказал он, проходя мимо д'Оссе, глаза которого печально обозревали залу. «Государь, я смотрел, нет ли здесь портрета Страффорда», — отвечал министр¹⁶.

26 июля явились в «Монитере» пять повелений. Первым из них отменялась свобода тиснения¹⁷; вторым распускалась палата депутатов; третьим изменялся закон о выборах; четвертым назначались новые выборы в палату депутатов по измененному закону; пятое содержало некоторые частные распоряжения, вытекавшие из второго.

Либералы и умеренные роялисты были поражены печалью и ужасом. Несколько либеральных членов распущенной палаты депутатов сошлись к Казимиру Перье, одному из своих предводителей. Все были в каком-то оцепенении. «Что нам делать, что нам делать?» — повторяли они друг другу. Никто не знал, что отвечать. Один заикнулся было, что должно протестовать. «Нет, мы теперь не имеем права протестовать, мы уже лишены звания депутатов», — отвечали ему. Другие депутаты собрались у де-Лаборда, туда явился Казимир Перье и объявил, что по распусчении палаты они уже не имеют звания депутатов, что министры ссылаются на конституцию, опираясь на четырнадцатый параграф ее, что, стало быть, остается одна надежда — на самого короля, который раньше или позже увидит ошибочность пути, на который увлекли его. Весь этот день прошел спокойно. По-видимому, министры торжествовали. Но масса медленна в своих движениях. На другой день

началось в ней брожение, которого не замечалось накануне. Через два дня войска были принуждены выступить из Парижа после упорного сражения с простым народом.

Мы не станем рассказывать ход этой битвы: она велась не либералами, и нам нет нужды упоминать о фактах, не относящихся к цели нашего рассказа. Мы хотели только рассматривать интересы и действия двух политических партий, вражда которых составляет самую заметную сторону политической истории Франции в эпоху Реставрации. Только их действия будут занимать нас и в июльские дни.

История роялистов в эти дни очень коротка и проста: они вовлекли несчастного Карла X в гибельную борьбу, которая даже при самом счастливом исходе не могла бы принести ровно никакой пользы для королевской власти, — вовлекли в борьбу единственно с целью восстановления старинного устройства, в сущности враждебного интересам престола. Не трудно догадаться, как должны были поступать такие друзья. Пока волнение только что разыгрывалось, они воображали его ничтожным и чрезвычайно радовались ему: теперь-то будет на их улице праздник! Одной сеткой прикроют они либералов! Они уже сочинили распоряжения об арестовании тех, головами которых особенно интересовались (хотя совершенно напрасно, потому что из этих голов большая часть не стоила гроша). Но вот дело начало принимать сомнительный оборот — что тут стали делать роялисты? Ни один, разумеется, не шевельнул пальцем для защиты короля, ввергнутого им в гибель. Хотя бы кто-нибудь из людей, для пользы которых Карл X жертвовал собою, взял ружье для его защиты — не взял ни один. Что уже говорить о риске жизнью за престол? Хоть бы один из роялистов подал кусок хлеба, чашку воды несчастным солдатам, которые сражались в душных улицах, под знойным июльским солнцем, изнемогали от голода и жажды, — и этого никто из роялистов не сделал. Те, которые были в Сен-Клу, до последней минуты хлопотали только о том, чтобы скрыть от короля истинное положение дел. Это им удалось превосходно: до той минуты, когда измученные, разбитые войска, отступая из Парижа, пришли в Сен-Клу, Карл X был уверен, что мятеж подавляется, что вот-вот, через час, через полчаса явится к нему депутация Парижа с просьбой о пощаде раскаявшемуся городу. Эта история известна, рассказывать ее нечего. А что же делали те роялисты, которые находились на месте возмущения? Немногие, честнейшие, покрепче заперлись в свои дома, чтобы даже невзначай как-нибудь не

подвергнуться опасности; другие, порасчетливее, уже завязывали сношения с победителями, и, например, великий референдарий¹⁸ Семонвиль разъезжал в коляске по Парижу, непристойными словами ругая безумцев, издавших несчастные повеления. Это — история также известная.

История либералов так же хороша, хотя не так коротка. Мы уже видели их подвиги 26 июля. На другой день, когда некоторые отчаянные головы начали битву, масса либералов перетрусила еще больше. «Плохи дела! — говорил один либеральный мануфактурист своим друзьям. — Дать народу оружие — он пойдет сражаться; не дать — он пойдет грабить». Понятие о движении народа у либералов неотразимо связывалось с понятием грабежа, — таких-то людей бедный Карл X считал революционерами! Но что-то поддельвал, например, Лафайет, ужасный предводитель республиканцев? А вот что: по вечеру пришли было к нему посоветоваться несколько воспитанников политехнической школы. Им отвечали, что Лафайет почивает, и будить его нельзя. А что же вообще поддельвали либеральные депутаты? Они с похвальной неутомимостью опять-таки собрались у Казимира Перье доказывать друг другу, что не имеют никакого права протестовать, а некоторые прибавляли, что надобно написать письмо к королю — содержание письма можно было читать на их лицах: почти все трусили так, что даже не старались скрывать своего смутения. Даже Вильмен, который не отличался, как увидим ниже, особенно отважными намерениями, говорил, оглядывая дрожавших товарищей: «Не ожидал я найти столько трусов в одной комнате!» Хозяин Казимир Перье, всегда славившийся пылкостью либеральных речей в палате, дрожал чуть ли не больше всех. У дверей дома под окнами залы, где совещались депутаты, собралось несколько человек молодежи. На них ринулся отряд конницы — напрасно толкались в запертую дверь безоружные юноши, чтобы укрыться от атаки, — дверей не велели отворять, и несчастные были изрублены под глазами депутатов, и дверь не отворилась спасти их. Зато доктор Тибо, приятель генерала Жерара (тоже одного из предводителей либеральной партии), явился к Витролю просить его ехать в Сен-Клу, чтобы искать примирений с Карлом X.

Ночью (с 27-го на 28-е) население Парижа готовится к битве. С раннего утра начинается она уже в серьезных размерах. Опять являются к Лафайету воспитанники политехнической школы, которые уже и накануне дрались. Республиканский вождь проснулся, — теперь они уже не

уйдут без его совета. «Посоветуйте вашим товарищам держать себя смиренно», — говорит он им. В 12 часов утра депутаты опять собрались, на этот раз у Одри де-Пюйраво, одного из немногих, выказавших мужество в эти дни. Он знал, каковы его товарищи, и пригласил молодежь собраться на дворе своего дома, чтобы уравновесить другим страхом страх, внушаемый Полиньяком. Моген, также отличавшийся мужеством, начал совещание словами: «Совершается революция, мы должны руководить ею; предлагаю составить временное правительство, требую, чтобы оно было учреждено немедленно». — «Временное правительство? — восклицают в ужасе Себастиани, Шарль Дюпен, Казимир Перье. — Что вы? Да ведь это значило бы нарушать законный порядок! Останемся в пределах закона!» Разумеется, предложение было отвергнуто. Но восстание с того утра охватило уже весь Париж; многие части войска дерутся неохотно, некоторые отряды уже колеблются, готовы присоединиться к инсургентам, другие отряды отступают из улиц, которые должны были очистить, успех инсургентов вообще становится вероятен. Депутаты видели это, притом же со двора слышны крики революционеров. Мужество депутатов под этими влияниями возвышается до того, что Гизо читает сочиненную им протестацию депутатов, — вчера депутаты отвергали мысль о ней, теперь согласились напечатать ее. Зато сколько революционной отваги было в этой протестации! Инсургенты, вчера кричавшие только «да здравствует конституция!», ныне уже сражались при криках «долой Бурбонов!» Протестация депутатов была наполнена выражениями ненарушимой верности к королю. Уважение к законному порядку простиралось до того, что депутаты даже не называли себя депутатами, а только «правильно избранными в депутаты»: они признавали этим силу повеления, распустившего палату и лишившего их звания депутатов. Они говорили не о воле самого Карла X, а только «о советниках, обманувших намерения монарха». Еще два дня назад журналисты издали протестацию гораздо более твердую и подписались под ней. Депутатам, не потерявшим рассудка от робости, совестно было сравнить свою прокламацию с прокламацией журналистов; но они не отважились подвергать прениям проект ее, видя, что при всеобщей робости их товарищей прения поведут только к ослаблению выражений, и без того уже трусливых. Они поспешили убедить собрание поскорее принять проект. Но тут возник вопрос о том, подписывать ли протестацию. Без

подписей она не имела никакого значения; но большинство депутатов не хотело рисковать, и протестация была послана в типографию газеты «Temps»¹⁹. Издатель газеты принес бумагу обратно, говоря, что он не хочет напечатать без подписей такое трусливое объявление, за которое все станут смеяться над ним, если не будут знать имена авторов. Это было уже в четыре часа вечера; инсургенты приобрели много новых успехов; мужество депутатов возросло до того, что они после многих споров отважились согласиться на перечисление в заголовке бумаги всех депутатов, находившихся в Париже, без различия присутствовавших и не присутствовавших на совещании; штука хорошая: ведь это были не подписи, а просто исчисление имен, оставлявшее каждому из упомянутых лиц совершенную свободу сказать потом, что его имя помещено в списке без его согласия и ведома. Всех депутатов на совещании было только сорок один; имен было выставлено шестьдесят три. «Вот и прекрасно, — с иронией сказал Лафит. — В случае поражения никто из нас не подписывал, а в случае победы подписали все». Особенной трусостью по-прежнему отличались знаменитый Казимир Перье и генералы Себастиани и Жерар. Большинство собравшихся депутатов следовало примеру их осторожности. Единственное спасение себе видели они в переговорах с Карлом X, которые при посредстве доктора Тибо вел Витроль. В первый раз Витроль нашел Карла X не расположенным слушать никаких предложений. Когда он возвратился с этими известиями к вечеру, Тибо снова просил его ехать в Сен-Клу с новыми просьбами. «Скажите, что с готовностью исполнят все для охранения королевского согласия от оттенка принужденности, — говорил Тибо. — Если нужно, высшие корпорации парижского управления, члены кассационного суда и апелляционного суда отправятся в Сен-Клу в мундирах; таким образом снисходительность короны не будет казаться уступкой необходимости, а только милостивым ответом на просьбы». Кроме Карла X, депутаты обращались с просьбами к маршалу Мармону, командовавшему войсками в Париже. (Но явиться в главную квартиру маршала представлялось делом столь опасным, что только люди действительно мужественные приняли эти поручения своих товарищей и) Лафит, говоривший с маршалом от их имени, соблюдал достоинство. Он прямо сказал, что если противозаконные повеления не будут отменены, то он «отдаст свою жизнь и состояние в распоряжение парижан». Когда предложения, переданные через Мармона,

были отвергнуты в Сен-Клу, он сдержал свое слово. Из ста человек либеральных депутатов, находившихся в Париже, человек десять выказали такую же смелость; все остальные были без памяти от ужаса. Уже предвиделось, что завтра ни одного солдата не останется в Париже. Уже предвиделось, что инсургенты провозгласят завтра низвержение Бурбонов; но Казимир Перье, вернейший представитель большинства либералов, все еще повторял: «Бурбоны — лучшее правительство для Франции, лишь бы только они отказались от ультра-роялистов». Два раза собирались депутаты этим днем, в двенадцать часов и в четыре часа; в десять часов вечера было назначено третье собрание. Инсургенты приобрели много новых успехов: кроме дворцов Тюильрийского и Луврского и парижской ратуши, почти уже весь город был в их власти; войска были изнурены, отступали со всех позиций, упали духом; переговоры в Сен-Клу и с Мармоном не привели ни к чему; ход событий требовал, наконец, со стороны депутатов мер более решительных. Они чувствовали, что совещание, назначенное в десять часов, не может кончиться одними словами, и что же они сделали? На прежних собраниях из ста или больше человек присутствовало до сорока. В десять часов явились в назначенное место едва десять человек; из них человек семь выказывали мужество; другие трое или четверо явились будто бы только за тем, чтобы показать, каково должно быть состояние духа у остальных, не отважившихся явиться. Лафайет, Лафит, Одри де-Пюйраво, де-Лаборд объявили, что надобно, наконец, прекратить беспорядочное кровопролитие и что они решились назавтра руководить движениями инсургентов. Гизо сидел молча и неподвижно. Себастиани с волнением объявил, что не может присутствовать при таких совещаниях, и, обратившись к другому депутату, Мешену, сказал: «уйдемте». Оба ушли. И остальные разошлись, не решившись ни на что, назначив только новое совещание в шесть часов утра на другой день. При выходе Лафайет был встречен восклицаниями собравшейся толпы. Когда он сел в карету, один из инсургентов подошел к нему и сказал: «Генерал, я буду говорить от вашего имени; я скажу, что вы приняли начальство над национальной гвардией». (Заметим, что национальная гвардия в случае волнений собирается для того, чтобы быть посредницей между войсками и инсургентами; таким образом командование ею имело бы характер не мятежа, а примирения.) «Что вы хотите де-

лять, — закричал приятель Лафайета Карбонель. — Вы хотите, чтобы генерала расстреляли?»

Поутру в шесть часов (29 июля) явилось в назначенное место (в дом Лафита) так же мало депутатов, как вечером накануне. Огромное большинство все еще не верило близости победы. Ночью инсургенты заняли городскую ратушу; войска, кроме двух-трех казарм, оставались только во дворцах. Но перепуганным либералам отступление солдат казалось их сосредоточением с какими-то страшными целями. Многие уже думали только о средствах оправдаться перед Полиньяком. В девять часов явились к Лафиту еще не более десяти человек. Но инсургенты против ожидания либералов сохраняли все свои позиции, с успехом напали на войска; Мармон, вчера отвергавший просьбу депутатов о перемирии, теперь уже сам предлагал его. Понемногу депутаты ободрялись, и к двенадцати часам собралось их уже около 30 человек. Лафит открыл заседание изложением необходимости принять деятельное участие в событиях. Лафайет, наконец, объявил готовность взять начальство над национальной гвардией. В эту минуту приходит известие, что Луврский дворец занят инсургентами. До сих пор депутаты слушали Лафита и Лафайета с унылым молчанием, теперь у них развязывается язык, Гизо одобряет намерение Лафайета. Но предложение Могена составить временное правительство все-таки отвергнуто; по предложению Гизо, депутаты решают составить только муниципальную комиссию для управления Парижем в отсутствие правильных властей; таким образом они еще остаются, по своему любимому выражению, «в границах законности». Большинство все еще трепещет ответственности перед Бурбонами. Но вот раздается шум у дверей залы: сержант Ришмон просит, чтобы его впустили; прислуга не соглашается: как можно войти солдату в салон к важным сановникам? Он грозит лакеям эфесом своей сабли и входит в зал. Офицеры и солдаты 53-го линейного полка прислали его объявить, что полк переходит на сторону народа. Депутаты посылают за полком; двор Лафитова дома наполняется солдатами. Депутаты в восторге. Вдруг раздается залп. Невыразимое смятение овладевает ими. Все лица бледнеют. «Нам изменили, нас идут арестовать! Это королевская гвардия гонит инсургентов». Все бросаются бежать. В зале, на лестнице страшная толкотня; многие депутаты вылезают в окна, чтобы спрятаться в саду; двоих нашли потом спрятавшимися в конюшне. В миг Лафит остается в зале один с своим племянником;

что же такое случилось? Солдаты 6-го линейного полка последовали примеру 53-го и, переходя на сторону народа, выпустили на воздух свои заряды. Много времени прошло, пока депутаты оправались от страха и собрались вновь; а между тем одно за другим приходили известия о взятии Тюильри, об отступлении королевских войск к Булонскому лесу, о совершенном очищении Парижа от войск. Когда депутаты успокоились и воротились в залу, битва была уже совершенно кончена. Тогда и Казимир Перье, снова сделавшийся героем, каким являлся в старину на прениях палаты, принял назначение быть членом муниципальной комиссии.

В числе депутатов, разбежавшихся от Лафита, уже не было пяти или шести человек, имевших действительное мужество. Одри де-Пюйраво ушел провожать Лафайета в парижскую ратушу; трое или четверо других с утра того дня управляли инсургентами. Но и они взялись за дело тогда, когда победа уже была решена. Быть может, сами по себе они решились бы на участие в сопротивлении раньше, но робкие товарищи господствовали и над ними.

Лафайет и муниципальная комиссия явились в парижскую ратушу уже по окончании борьбы. Как выигралась победа, ни мало не зависело от них. Но управлять победоносным делом они были не прочь. Впрочем, в этом занятии они оказались совершенно несостоятельными. Власть, которой они ничем не заслужили, скоро была взята из их слабых рук людьми, еще менее разделявшими опасности, но более ловкими в интригах. Заметим кстати еще одну черту: на крыльце парижской ратуши Лафайет увидел молодого человека с трехцветной кокардой и приказал снять ее: как видим, даже и после совершенной победы в его уме еще не было твердой мысли, что белая кокарда — символ владычества Бурбонов — кончила свое существование.

Опасности уже не было: даже в Сен-Клу убедились, что дальнейшая борьба невозможна. Тогда депутаты начали действовать смелее. Они видели, что парижские инсургенты никак не хотят покориться Бурбонам. Первой мыслью либеральных депутатов было искать других путей к скорейшему восстановлению монархической власти. Депутация за депутацией отправлялась от них на дачу герцога Орлеанского с просьбой, чтобы он принял на себя управление Францией и титул наместника королевства. Изложение происков, интриг и хитростей, которыми была достигнута эта цель, не входит в границы нашего рассказа.

Заметим только, что если бы дело зависело от большинства либералов, Бурбонская династия не перестала бы царствовать во Франции. Несмотря на их чрезвычайную робость, находились даже и 30-го числа между ними люди, протестовавшие в пользу Бурбонов против герцога Орлеанского. В собрании депутатов, составившем формальное приглашение герцогу явиться в Париж для управления Францией, Вильмен говорил: «Вы не имеете права располагать короной». Только твердость Лафита, искренно преданного Луи-Филиппу, удержала депутатов от новых попыток для восстановления Бурбонов.

Таковы-то были люди, которых Бурбоны считали готовыми к мятежу. Не только приготовить мятеж или управлять им, но и принять участие в нем никто из них не решился. Он так же ужаснул либералов, как и роялистов. Обе партии одинаково не умели даже предвидеть его. Насколько позволила им робость, либералы в продолжение волнений делали все, чтобы предохранить династию от падения. Они делали ей постоянные предложения примириться с Парижем. Когда же инсургенты против воли либералов низвергли династию, они поспешили восстановить монархию при помощи единственного принца, пользовавшегося популярностью. Они так спешили этим делом, что перешли ему власть без всяких условий, и герцог Орлеанский вступил на престол с теми же самыми правами, какими пользовались Бурбоны. После июльских дней роялисты лишились всякого влияния на правительство, перешедшее исключительно в руки либералов; но, сравнивая власть Луи-Филиппа с властью Людовика XVIII, мы не заметим никакого уменьшения в ней от победы либералов. Правда и то, что не либералы одержали эту победу: они только присвоили ее себе.

Либеральные историки могут находить чрезвычайный прогресс в Орлеанском правительстве сравнительно с Реставрацией. Некоторых перемен во многих частностях и даже в общем духе управления нельзя не признать. Иезуиты утратили прежнюю силу над правительством; газеты, хотя и не могли назвать себя совершенно независимыми от произвола, как в Англии, все-таки сделались несколько самостоятельнее; судебное сословие также приобрело несколько большую независимость от произвола министров и с тем вместе несколько больше прежнего стало подчиняться общественному мнению; оттого правосудие улучшилось; избирательный ценз был значительно понижен. Таких частностей можно набрать много. Но

главная перемена состояла в том, что опасность, грозившая новому гражданскому устройству при Бурбонах, теперь миновалась. Впрочем, цена этого выигрыша значительно понижается тем, что и при Бурбонах опасность ограничивалась только словами; на самом же деле самые безрассудные ультра-роялисты и даже сам Полиньяк не отваживались предпринять ничего существенно важного к восстановлению средневековых злоупотреблений. Они мечтали о старинном порядке, кричали о нем, но едва задумывали начать что-нибудь важное для исполнения своих планов, как уже отступали перед действительностью. С 20-го года феодальная партия управляла государством беспрекословно. Что же особенного осмелилась она сделать для осуществления своих теорий? Она составила закон о майоратствах, но такой робкий закон, который мог только раздражать своей несовременностью, а никак не изменить гражданских отношений на самом деле, да и от того она отказалась при первой неудаче. Важнее была выдача вознаграждения эмигрантам. Но как ни кричали некоторые ораторы о политическом значении этой меры, в сущности она осталась не более как выдачей пособия членам и клиентам придворного круга. Бесспорно роялисты враждовали против нового гражданского устройства; но оно укоренилось уже так прочно, что изменить его не было возможности, и вражда оставалась бессильна. Во всяком случае, разумеется, имела некоторую важность перемена, уничтожившая даже угрозы на словах тому, что не было никогда в опасности на деле. Хотя очень мало, но все-таки несколько выиграл новый гражданский порядок через замещение Карла X, Полиньяка и Шатобриана Луи-Филиппом, Гизо и Казимиром Перье.

Мы не напрасно кончили исчисление выгод новой системы сопоставлением собственных имен: в перемене фамилий состояла существеннейшая часть переворота. В эпоху Реставрации правительственная власть находилась в руках старинных феодальных фамилий; при Орлеанской династии управляли Францией люди среднего сословия. И прежде управление велось в интересах среднего класса: вести его иначе не было физической возможности; но все-таки кое-что успевали сделать потомки феодалов и для своего сословия. Теперь средний класс был избавлен от этих мелочных неприятностей. Сам управляя всеми делами, он мог, разумеется, лучше соблюдать свои интересы, нежели соблюдались они людьми другого сословия, хотя и не бывшими в состоянии нарушить выгод среднего со-

словия ни в чем существенно важном, но все-таки старавшимися по возможности вредить ему в пустяках.

Выигрыш государства был хотя и не велик, но все-таки несомненен: оно избавилось от опасений, правда, лишенных фактического основания, но тем не менее тревоживших его. Выигрыш среднего сословия был довольно велик. Королевская власть ничего не проиграла от июльского переворота. Что же выиграл простой народ, силой которого среднее сословие освободилось от своих противников? Простой народ сражался без всяких определенных собственных требований; он увлекся тяжестью своего положения к участию в вопросах, чуждых его интересам; он не озаботился продать свое содействие, не выторговал себе никаких условий прежде, чем примкнуть к той или другой стороне. Разумеется, он не получил ничего.

Напрасная борьба династии против новых интересов, нимало не враждебных выгодам королевской власти; напрасный союз ее с партией, от торжества которой не могла она желать никакой пользы для себя, против партии, искренно желавшей союза с династией, выгодного для династии; оставление народа беззащитным и безнадежным вследствие противоестественного союза династии с феодалами; увлечение народа отчаянием к восстанию, гибель династии без пользы для народа — вот в коротких словах история реставрации. Реакционеры понесли наказание, которого заслуживал их эгоизм; но грустно то, что династия ради удовольствия этих бездушных эгоистов готовила себе ненужную гибель.

ПРЕДИСЛОВИЕ К РУССКОМУ ПЕРЕВОДУ ИСТОРИИ XVIII СТОЛЕТИЯ ШЛОССЕРА

Шлоссер вовсе не похож на тех блистательных рассказчиков, знаменитейшим представителем которых теперь считается Маколей. Его изложение совершенно лишено драматизма и ярких картин; у него нет даже плавности, часто недостает даже внешней связности в рассказе, — иной раз он, не договорив одного, переходит к другому, а еще чаще случается, что одно и то же он повторяет четыре или пять раз. Мало того, что изложение у него не обработано, даже язык его неправилен, шероховат, небрежен, так дурен, что каждый дюжинный фельетонист пишет лучше его. Читая его, вы читаете будто бы не книгу, изданную для публики, а черновые тетради, не просмотренные автором.

И, однакоже, этот человек, говорящий таким небрежным языком, бессвязно, иногда вяло, этот человек занимает первое место между всеми современными нам историками. Он не увлекает вас живостью или прелестью рассказа, как Маколей или Мишле; вы сначала досадуете на очевидные недостатки его повествования, досада сменяется у вас иногда улыбкой, — так странна кажется вам его нескладница. Но это только на первых порах знакомства с ним. Едва вы прочтете несколько десятков страниц в его книге, в вас начинает пробуждаться чувство, которого вы никак не ожидали, — чувство уважения к нему. Чем ближе вы знакомитесь с ним, тем более растет это чувство, и скоро в дурном рассказчике, говорящем вяло и небрежно, вы видите мудреца, у которого, кто бы вы ни были, как бы ни горды были вы своей житейской опытностью и своим умом, вы учитесь понимать события и людей. Мало-помалу он овладевает вашими понятиями так, что вы как будто видите его, с брызгливой гримасой говорящим о тех изящных историках, которыми вы прежде увлекались: *was für elende Menschen, die alle diese Lappalien erzählen und be-*

wundern! — «что за жалкие люди эти господа, с восторгом рассказывающие такой пошлый вздор!», и вы соглашаетесь с ним.

Да, этот плохой рассказчик в самом деле мудрец, если можно кого-нибудь назвать мудрецом. Ничем не подкупится, ничем не обольстится он: ни блеск, ни гений, ни софизмы панегиристов, ни даже собственные желания, ничто не отуманит его зоркого взгляда, не смягчит его строгого приговора. Он знает людей, как их знали Монтэнь и Маккиавелли. Но с тем вместе он верит в правду, он любит человека. Потому речь его, суровая и печальная, разрушая ваши иллюзии, укрепляет ваши убеждения во всем истинно добром и высоком. Сроднившись с ним, вы, может быть, перестанете видеть в истории тот непрерывный, ровный прогресс в каждой смене событий и исторических состояний, который чудился вам прежде; быть может, вы потеряете веру почти во всех тех людей, которыми ослеплялись прежде; но зато уже никакое разочарование опыта не сокрушит того убеждения в неизбежности развития, которое сохранится в вас после его строгого анализа; и если вы перестанете представлять героями добра и правды почти всех тех, кто прежде являлся вам в ореоле, сотканном из риторических фраз или идеальных увлечений, зато укрепится ваше доверие к будущим судьбам человека, потому что вместо героев истинно полезными двигателями истории вы признаете людей простых и честных, темных и скромных, каких, слава богу, всегда и везде будет довольно.

Чрезвычайно здравый взгляд на человеческую жизнь — вот чем велик Шлоссер. Многие хвалятся тем, что не принадлежат ни к какой партии; почти всегда это бывает самообольщением и, вслушавшись в слова человека, гордящегося своим беспристрастием, вы скоро замечаете, что и он также руководился предубеждениями, как те, которых осуждает за пристрастный взгляд, что и он, подобно другим, — человек партии. О Шлоссере этого нельзя сказать. Он не хвалится беспристрастием, но действительно беспристрастен, насколько то возможно человеку; он не принадлежит ни к какой партии, — не потому, чтобы у него не было своего образа мыслей, очень точного и непреклонного, но потому, что его понятия о людях и событиях основаны не на личных желаниях и привязанностях, а на опыте долгой жизни, честно проведенной в искании добра и правды. Чтобы разделять этот взгляд, надобно отказать от всех обольщений внешности, от всех прикрас

идеализма, но сохранить молодое стремление ко всему истинно благотворному для людей, нужно холодную разборчивость старика соединять с благородством юноши. Таких людей не так много, чтобы они могли составить особую партию. Немногие достигают такой зоркости и беспристрастия; потому немногие могут во всем соглашаться с Шлоссером. Почти каждому из нас будут неприятны многие из его суждений; одному одни, другому другие; но в читателе, любящем чистую правду больше, нежели потворство своим предубеждениям, после каждого разноречия с Шлоссером останется впечатление: если мне кажется, что он неправ, то едва ли это не кажется мне потому, что я не могу еще отказаться от приятного мне обольщения.

Тацит как рассказчик гораздо выше Шлоссера; но в том, что составляет главнейшее достоинство Тацита, в строгом и совершенно здоровом понимании людей и жизни, из новых историков ближе всех подходит к Тациту Шлоссер.

Мы не говорим о других достоинствах автора «Истории XVIII столетия», о его громадной учености, о добросовестности, с которой пять раз проверяет он каждое свое слово, прежде чем напишет его, о том, как верно представляет он посредством краткого указания двумя-тремя словами связь и зависимость событий в своем, по-видимому, бессвязном рассказе. Самое изложение Шлоссера, его небрежный и неправильный язык начинает нравиться, когда вчитаешься в него: он груб и небрежен, но эта грубость от силы, эта небрежность — от сознания своих внутренних достоинств; наконец находишь странную прелесть в этом прямодушном отвращении от наряда, в этой простой речи, которая ведется как будто среди домашнего бесцеремонного круга.

Теперь несколько слов о русском переводе, начало которого ныне издается.

Шлоссер груб и небрежен; этих качеств он не хочет скрывать в себе, и мы не считали нужным прятать их при переводе. Читатель найдет в переводе очень много фраз вовсе неизящных, иногда неловких; если они сохраняют Шлоссеру для русского читателя ту же физиономию, с какой хотел он являться запросто перед своими немцами, читатель одобрит нас за то, что мы шероховатую простоту речи не изменили приглаженностью, над которой так брюзгливо смеется автор.

У Шлоссера много выписок из французских, английских и других источников, особенно в примечаниях. Он эти выписки представляет в подлиннике, без перевода на немецкий язык. Так как наш перевод делается для обширной публики, не имеющей привычки к чтению на иностранных языках, то мы почли удобным для читателя переводить все эти выписки немецкие, французские, английские, латинские и итальянские на русский язык.

Часто Шлоссер ссылается на сочинения, которые легко доступны его немецкой публике, но которых не существует в русском переводе. Часто он упоминает о фактах, которые легко узнает немец из книг, находящихся у каждого под рукою в Германии, но о которых нечего прочесть на русском языке. К русскому переводу необходимо прибавить много выписок и примечаний, без которых мог обходиться немецкий автор. Надобно также сказать, что мы хотели бы дать читателю рассказ о главных фактах и важнейших деятелях XVIII века более подробный, нежели какой дается у Шлоссера. Если мы захотели помещать эти дополнительные примечания при тех самых страницах перевода, к которым они относятся, этим чрезвычайно замедлилось бы печатание перевода; притом же примесь этих дополнительных при чтении спутывала бы впечатление, производимое рассказом автора, с другими разнохарактерными мнениями. Эти соображения склонили нас к тому, чтобы наши дополнительные примечания печатать отдельно от текста. Из них составитя три или четыре тома, которые будут изданы по окончании перевода.

ТЮРГО

**Его ученая и административная деятельность
или начало преобразований во Франции XVIII века.**

Сочинение *С. Муравьева*, Москва, 1858 года.

Г. Муравьев довольно исключительно держался начал системы, с которой мы никогда не соглашались. Знаменитый принцип Гурне *laissez faire, laissez passer*¹, принимаемый за основание не только теории, но и практики многочисленную школу французских экономистов, чуть ли не кажется и ему не только временной потребностью истории, развивающейся резкими переходами из одной односторонней крайности в другую, но и вечным идеалом экономического устройства; идеалом, держаться которого будет не только возможно когда-нибудь по истечении столетий, по развитию механических средств до того, что от безмерного производства вещи потеряют свою меновую ценность, в том роде, как ныне воздух не имеет ее, но которого можно исключительно держаться и в настоящее время, когда владычествует золото, торговля, конкуренция, привилегия и монополия всякого рода, когда существует антагонизм между излишком у одних и нуждою у других. Читатель знает, что мы не разделяем такого убеждения, и если бы мы непременно обязаны были выставлять в книге г. Муравьева все те места, с которыми мы несогласны, и объяснять причины, по которым находим их не совсем справедливыми, мы должны были бы переписать чуть ли не половину страниц его труда с прибавлением замечаний, на которые потребовалось бы вдвое больше страниц. Но мы не хотим делать этого; мы лучше хотим просто сказать, что книга г. Муравьева, как труд одного из последователей школы Сэ², подлежит всем тем возражениям и заслуживает, с другой стороны, многих из тех похвал, которые применяются вообще ко всей школе. Этим отзывом мы ограничим суждение об общих идеях книги; изложение

книги мы должны похвалить: у г. Муравьева не заметно пустых, самолюбивых претензий, которыми так легко щеголять; он скромно и внимательно воспользовался материалами, какие мог иметь; для человека, знакомого с французскою литературою политической экономии, эти материалы покажутся очень обыкновенными, но для массы публики *Collection des économistes*³ и тому подобные сборники и сочинения не служат настольными книгами; потому в русской литературе труд г. Муравьева далеко не бесполезен. Он собрал много фактов, рассказал их довольно ясно, — будем ему благодарны.

Этим ограничится наш разбор труда г. Муравьева. Но мы хотим, вовсе не споря с автором, изложить о предмете его сочинения мнение, которое считаем подходящим к истине ближе, нежели взгляд школы Сэ.

Место не позволяет нам исследовать, по примеру г. Муравьева, теорию меркантилистов; мы сосредоточим наше внимание исключительно на теории физиократов и на деятельности самого Тюрго, как ни хотелось бы нам показать, что напрасно так презрительно отзывается о меркантилистах школа Сэ, когда сама еще по уши сидит в меркантилизме (нам приятно было бы также доказать, что похвалы и порицания, которыми награждает она физиократов и меркантилистов, хороши были для публики, все могут быть обращены в порицание ей самой, что, например, если заслуживают одобрение физиократы за верное понимание недостатков и потребностей своего времени, то вовсе не заслуживают одобрения экономисты, в 1858 году ограничивающиеся пониманием тех потребностей общества, какие были в 1776 году; что если достойны порицания меркантилисты, признававшие золото богатством по преимуществу, то нельзя восхищаться и учеными, признающими удовлетворительность экономического порядка, основанного на владычестве золота. Эти и тому подобные темы представляются нам очень заманчивыми, но мы отлагаем их развитие до другого раза, а теперь займемся одним Тюрго).

Прежде всего мы хотим показать, как смотрят на Тюрго и физиократов экономисты школы, по-видимому зачисляемой г. Муравьевым. С этой целью мы отказываемся от претензии на оригинальность, и читатель вероятно не подосаует на нас за то, что вместо очерка, какой могли бы представить мы сами, он прочтет очерк гораздо красноречивейший.

Над комнатами г-жи де-Помпадур в Версале были

темные антресоли; там жил доктор фаворитки Франсуа Кене, человек ученый и умный, проводивший свою жизнь в размышлениях о земледелии, в исчислении его произведений и стремившийся основать на этих исчислениях новую науку. Под ногами его переплетались политические и любовные интриги, а в его тесной квартире собирались за столом философы того времени: Дидро, д'Аламбер, Эльвесиус, Бюффон; собирались друзья, скоро ставшие его учениками, и в числе их человек, который в свою очередь стал учителем, — Тюрго.

Кене вырос в деревне, он внимательно анализировал то, что видел вокруг себя, и сохранил от деревенской жизни воспоминания, придававшие его беседам грацию и колорит, которых не находим в его сочинениях. Авторитетность его речи, его опытность, оплодотворенная размышлением, новизна его взгляда или скорее его определений, систематичность его ума — все это дало ему прозелитов, которых его скромность превратила в почтительных поклонников. Скоро вокруг его кресла составила школа, наполнившая шумом и жизнью вторую половину XVIII века. Предвидя adeptов в своих посетителях, он то беседовал с одним, с другим из них наедине, то, собирая их вместе, излагал им с оборотистой серьезностью теории, которые потом имели неизмеримое влияние на ход событий и сущность которых такова:

Человек живет материальными продуктами. Откуда он получает их? Из земли. Итак, существенный характер богатства — его материальность, а истинный источник его — земля.

Но что нужно, чтобы земля служила человеку?

Во-первых, нужна годность поля для обработки, нужны строения для земледельца, конюшни для лошадей, магазины для сельских продуктов. Это называется поземельными затратами.

Что нужно еще? Нужен скот, нужны плуги, разные земледельческие орудия, нужны семена. Это называется первоначальными затратами.

Но это еще не все. Нужны также расходы на множество разных работ, на засев, на обработку земли, на сбор жатвы; нужны также расходы на содержание земледельческих работников, на прокормление домашних животных. Это называется ежегодными затратами.

Из этих трех родов затрат, равно производительных, потому что их общее содействие порождает жатву, позе-

мельные затраты делаются собственником; первоначальные и ежегодные затраты делаются человеком, обрабатывающим землю.

Теперь предположим, что жатва собрана; расходы, сделанные вами для того, чтобы получить этот сбор, нужно будет снова делать вам, чтобы получить новый сбор; таким образом на семена, на корм для скота, на плату рабочим вам понадобится сумма, по крайней мере равная той, какая была нужна в прошедшем году. К этой сумме надо прибавить другую, назначенную на исправление повредившегося плуга или на возобновление других орудий, испортившихся от долгой службы, или на приобретение новой лошади, вместо лошади ставшей неспособною к работе. Таким образом из настоящей жатвы надобно для получения следующей жатвы вычесть: 1) всю сумму ежегодных затрат; 2) сумму на ремонт первоначальных затрат. Это вычеты, остающиеся в руках у возделывающего землю.

Остаток есть процент на поземельные затраты, это доход собственника, или поземельный доход.

Налог не может касаться вычетов, остающихся у возделывателя, иначе нанесется смертельный удар будущей жатве, потому что от уменьшения издержек, которых требует обработка, пострадает обработка, а излишнее сокращение законных выгод возделывателя заставит его покинуть деревню и обратиться к городской промышленности. Таким образом, остается истинно свободным, подлежащим произвольному распоряжению только один из всех родов дохода, даваемых жатвой,— это доход собственника, или чистый доход. Стало быть, на нем должен лежать весь налог.

Но если чистый доход, слишком угнетаемый налогом, потеряет ту значительность, чтобы заинтересовать собственника в возделывании земли, то капитал не замедлит покинуть земледелие. Тогда возделанные поля заменятся пустынями, и великий источник довольства, богатства национальной жизни иссякнет. Из этого следует, что увеличение чистого дохода должно составлять высшую цель правительственных забот. Потому правительство без боязни может вызывать дороговизну продовольствия. Высокая цена хлеба обогатит собственника. Собственник, обогащаясь, будет привязываться к земле; земля с улучшением обработки умножит свои дары, и при распространении изобилия по всей нации посредством обменов ману-

фактурный работник для уплаты за вздорожавший хлеб будет иметь повысившуюся заработную плату*.

Таковы были первые выводы Кене; из них легко уже предугадать результат учения, по-видимому столь простого и бесхитростного. Как! Превозносимым спасительным средством представлялось повышение цены на хлеб! Дороговизна продукта, которого бедняк получает и без того в количестве, едва достаточном для поддержания жизни. Теория говорила народу, что если насущный хлеб его вздорожает, то и работа народа через несколько времени повысится в цене; но какова будет судьба народа в течение того времени, пока не восстановится равновесие? Да и после того, если мы согласимся, что повышение цены хлеба вознаградится совершенно равным повышением заработной платы (а это подлежит еще сильному сомнению), — если и будет так, какое же вознаграждение придется несчастному, который, не находя работы, не получает платы? Какое вознаграждение придется работнику, постигнутому внезапной болезнью? Кене забывал, что цифры в его итогах представляют людей и что есть положения, в которых дороговизна хлеба бывает смертным приговором. Потому поднялось сильное неудовольствие, когда тайна новой школы, наконец, разгласилась. Народ, по выражению Гальяни, плохой исследователь причин, но великий знаток результатов, боялся потерять все то, что по идеям новой школы должны были выиграть собственники. Он не доверял теории, отрицавшей солидарность человечества и выдававшей свою основную мысль неблагоприятными, невозвратными словами: одни земледельцы составляют производительный класс; остальные сословия — класс бесплодный.

Действительно, таков был необходимый вывод из основной идеи доктора Людовика XV. Объяснив землю единственным источником богатств, он был принужден признать производительным классом одних земледельцев. Ремесленник, купец, доктор, философ, ученый, артист — все они принадлежат к бесплодному классу (*classe stérile*) **.

* Очевидно, что распределение земледельческих затрат на три разряда Кене составил сообразно системе половничества, почти исключительно господствовавшей тогда во Франции. По этой системе владелец земли давал половнику готовые здания; потому Кене и причисляет их ценность к поземельным затратам.

** Мы не во всем согласны с очерком, которым пользуемся. Не все примеры выбраны здесь удачно. Труд доктора действительно самый про-

Правда, что у Кене и его школы это выражение не совсем соответствовало настоящей их мысли; они вовсе не отвергали пользы различных занятий, которые оказывались как будто бесполезными по их терминологии; но с экономической точки зрения они считали эти занятия имеющими только второстепенную полезность. Один из них, быть может превосходивший всех других блеском ума, Бодо писал к г-же ***, излагая основные мысли своей школы: «Сядь за простой завтрак, вы видите вокруг себя собрание произведений всех климатов и обоих полушарий. Эти чашки и этот поднос сделаны в Китае; этот кофе родился в Аравии; сахар, который вы кладете в него, возделан в Америке; металл вашего кофейника происходит из Потози. Этот лен, привезенный из Риги, обработан голландской промышленностью; наши деревни доставили на ваш завтрак только хлеб и сливки». И показавши, что весь земной шар, посредством чудес промышленности и торговли, служит завтраку его корреспондентки, автор называет не более как приятными и считает не более как достойными приличного вознаграждения все эти услуги, для которых надобно было перевозить тысячи препятствий, презреть бесчисленными опасностями, с мужеством, с энергией, иногда принимавшей ошибочное направление, но все-таки могущественною, — надобно было с торжеством переплыть моря и победить природу.

Если мы спросим, на чем основывалось безотчетное преимущество, отдаваемое Кене и его учениками земледельцам, вот ответ:

изводительный труд; предохраняя или восстанавливая здоровье, доктор приобретает обществу все те силы, которые погибли бы без его забот; точно так же ученый трудится производительно, когда занимается предметом, могущим распространить знание природы или содействовать просветлению ума; но есть много наук, подобных геральдике, пустых по своему предмету и затемняющих ум своей фальшивостью. Мы не думаем, чтобы труды таких ученых, как Несецкий (автор польского генеалогического гербовника), могли быть названы производительными, а при нынешнем состоянии наук большинство ученых трудится над подобными предметами. Из ремесленников непроизводительен труд всех тех, которые производят предметы роскоши. К сожалению, большая часть художников и артистов трудятся для искусства в таком направлении, которое также не может быть названо производительным. Они обыкновенно служат только прихотям роскоши. Из занятий, допускаемых общественною совестью, почти каждое при соблюдении известных условий может быть производительным, то есть служить на пользу людям; но должно признаться, что в настоящее время находится очень много занятий, производимых в направлении совершенно праздном или даже прямо убыточном обществу. Мерилом тут служит классификация общественных потребностей.

«Ремесленник трудясь, философ размышляя, купец перевоза товары, артист доставляя нам наслаждение, — все они требуют средств к существованию. Откуда же получают ими средства существования, как не из земли? Таким образом земля кормит тех, которые не обрабатывают ее, кормит излишком, остающимся от пропитания тех, которые обрабатывают ее. Этим чистым доходом содержатся все труды промышленности, торговли, умственной деятельности. Поземельный собственник, владелец чистого дохода, — вот истинный раздаватель щедрот природы, сокровищ земли, вот истинный кассир промышленности. Кто, кроме хозяина, возделывающего землю, создающего чистый доход, имеет право на почетный титул производителя? Конечно, ремесленник увеличивает ценность материи, которую перерабатывает; но что из того, если в продолжение своей работы он потребляет равную ценность? Имя производителя заслуживает один тот, кто создает не для себя одного, а также и для других. Это хозяин, обрабатывающий землю, потому что он извлекает из нее, во-первых, свое продовольствие и сверх того, во-вторых, чистый доход, то есть средства, на которые содержится источник, из которого почерпают торговцы, артисты, мануфактуристы, медики, писатели, адвокаты, ученые, словом сказать — все, которые, не обрабатывая земли, составляют другую деятельную часть человечества».

Таким образом учение Кене, названное физиократиею, правлением природы, разделяло общество на три класса: класс собственников, составлявший подразделение производительного класса; класс земледельцев или в собственном смысле производительный класс, наконец бесплодный класс, заключающий в себе ремесленников, купцов, артистов.

Если бы физиократы по крайней мере почтили именем производителя страдальца, изнемогающего и умирающего, проводя борозду, на которой созреет колос! Но они боялись бы оскорбить хозяина, нанимающего работников, если бы поставили в один разряд с ними бедного поселянина, им нанимаемого; и в их глазах даже среди сельского населения отличительным признаком производительного класса был не труд, а расходование денег*.

* В тогдашней Франции, как мы заметили в одном из прежних примечаний, почти все пространство земли обрабатывалось по системе по-

Напротив, как завидна, как блистательна была роль, предоставляемая физиократами собственнику! Возведенный ими на первое место в производительном классе, он представлялся облеченным высшей общественной должностью, и для исполнения этой высокой должности ему надобно было только пользоваться своим имуществом. Он один сидел за столом пиршества, его роль была спокойно потреблять свои доходы, а ремесленники и другие члены бесплодного класса приносили к его столу плоды своей промышленности и своего таланта в обмен за остатки его трапезы.

А между тем по странному опасению собственники были поражены ужасом. Кене, как мы видели, требовал, чтобы все налоги были заменены одним поземельным налогом. Собственники увидели только эту сторону теории, которая до чрезвычайности преувеличивала их важность, назначала им пышную праздность и стремилась заменить деревенской аристократией прежнюю военную аристократию. Собственники не заметили, что посредством повышения ценности хлеба Кене хотел косвенным образом собирать с промышленности то увеличение налога, которым, по-видимому, грозила его система доходам собственников.

Но физиократы пользовались при дворе силою, при помощи которой могли смело бороться с противниками. Г-жа Помпадур ограждала их учителя своей могущественной дружбой, а Людовик XV защищал их своей беззаботностью. Когда в конце 1758 года Кене издал свою «Экономическую таблицу», первые оттиски сделал король своими руками. Скоро Кене приобрел пылких и преданных помощников. Их тяжелые и темные сочинения принесли бы, впрочем, довольно мало пользы новому учению, если бы оно из книг не перешло в летучие листки. Кене один из первых приветствовал общественное мнение как властелина новых времен. Когда один сановник сказал при нем: «государства управляются аллебардой», он отвечал: «а кто управляет аллебардою?» Физиократы поняли важность журналов, и у них явились журналы.

ловничества, изредка по системе фермерства. Таким образом, огромное большинство сельского населения было исключено из участия в пользовании чистым доходом или рентой. И если получение поземельной ренты составляет признак производителя, то, разумеется, наемные работники или половники не могли назваться производителями в строгом смысле.

В то же время образовалась другая школа. Гурне, столь же страстный поклонник торговли, как Кене поклонник земледелия, наблюдал явления, порождаемые старою системою запрещений, таможен, привилегий, цеха. Он видел фабриканта, боровшегося с фабричными регламентами, торговца, боровшегося с пошлинами, работника, порабощенного цехами. Сколько законов, статутот, регламентов нужно было тогда знать и пересмотреть, чтобы выткать штуку какой-нибудь материи! Если она не была правильно разбита на куски по три локтя, если она не имела указанной длины и ширины, если в основе было больше указанного числа нитей, то грозили штрафы и процессы. И что это были за процессы, в которых фабрикант, не умевший читать, был судим инспектором, не умевшим ткать! Давно уже народы по преимуществу коммерческие, англичане, голландцы, сбросили эти путы, казавшиеся им последними остатками варварства; и Гурне, путешествовавший из любознательности, занимавшийся сам торговлей, видевший от Кадикса до Гамбурга всемирную торговлю в широких размерах, извлек из своей долгой опытности нелюбовь к вмешательству власти в экономические отношения. Нужна была формула для начинавшейся эпохи владычества индивидуализма; Гурне нашел ее: *laissez faire, laissez passer*.

Легко угадать точку естественного несогласия школы Гурне со школою физиократов. Мыслители, поклонявшиеся промышленности и торговле, могли ли согласиться на признание превосходства за земледелием? Действительно, в этом вопросе они помирились не без труда. Но обе школы имели одну общую тенденцию — индивидуализм; и общим девизом их стала формула: *laissez faire, laissez passer*.

В самом деле глава физиократов свою теорию чистого дохода завершал признанием безграничной свободы собственника. Он хотел, чтобы собственник, один, подвергаясь налогу, мог по своему капризу возвышать цену хлеба, держать его в магазинах, не пуская в продажу, вывозить его за границу, словом — располагать хлебом как угодно, находя единственное ограничение своему произволу в таком же праве других собственников.

Таким образом два человека, вышедшие из различных точек, один воспитанный на ферме, другой воспитанный в купеческой конторе, прошедши некоторое пространство на поле теории различными дорогами, вдруг встретились на перекрестке, где надписью столба было слово: свобода. Важно было бы хорошенько понять это слово. Скольких

бедствий избежали бы народы, если бы поняли, то нет свободы там, где слабый остается беспомощным. Но прежние стеснительные регламенты так утомили людей, что почти все мыслители безусловно склонялись к противоположному принципу, к простому освобождению индивидуума от всяких обязательств. Собственник и купец, богач и бедняк, каждый предоставлялся теперь самому себе. Думали, что каждый лучше всех других понимает свою выгоду; будущность открывалась этому гордому чувству. Не нужно более ни надсмотрщиков, ни сторожей, ни застав; не нужно опеки, хоть бы с нею уничтожалась и защита.

Потому-то обе школы слились в одну, и под общим именем экономистов они пошли, соединив свои знамена, к двоякому торжеству среднего сословия в земледелии и торговле.

Тюрго — тот человек XVIII века, в котором соединились обе школы; в его трактате «*Sur la Formation et la Distribution des richesses*»⁴ выразились все их учения. Напрасно стали бы мы искать в этом трактате новых взглядов, поразительных открытий могущественного гения: Тюрго был почтительным учеником Кене; если сам он, как мы сказали, был почтен именем учителя, он обязан тем исключительно уважению, какое внушал его возвышенный характер. Но историческую важность его сочинения приобретают именно от верности, с какою воспроизведены в них стремления, идеи, софизмы целой школы.

Трактат об образовании и распределении богатств не говорит ничего нового о разделении общества на три класса, о преимуществе земледелия, о сущности и происхождении чистого дохода; он только повторяет мысли, которые мы уже видели у Кене. Потому мы рассмотрим в книге Тюрго только отношение теории экономистов к простолюдинам.

Вот что говорит Тюрго: «Простой работник, не имеющий ничего, кроме своих рук и своего промысла, получает что-нибудь только чрез то, когда ему удастся продать другим свой труд. Он продает его дороже или дешевле; но эта цена, более или менее высокая, зависит не от него одного: она проистекает из условия, заключаемого им с нанимающим его. Наниматель платит ему за работу как можно дешевле; имея выбор между большим числом работников, он предпочитает того, который работает дешевле. Итак, работники принуждены понижать цену наперобой одни пред другими. Во всех отраслях работы должно

происходить и происходит, что плата работника ограничивается той цифрой, какая необходима для доставления ему его пропитания».

Да, описание феномена очень верно с фактами. Действительно, так происходит при владычестве индивидуализма в обществе, где каждый имеет в виду только самого себя, на этой арене, где, влекомые конкуренцией, несчастные пролетарии принуждены оспаривать друг у друга работу как будто добычу, с опасностью губить друг друга. Но разве это не беспорядок, не несправедливость, не насилие? Когда с одной стороны сильный, с другой — слабый, свобода сильного разве не угнетение слабого? Глубокие вопросы, их не предлагает себе Тюрго! Принцип, найденный в наши времена, бесчестная и жестокая формула: «чужих дел знать не хочу, в мои никто не мешайся», *chacun pour soi, chacun chez soi* — эта формула, к сожалению, была принимаема Тюрго; а раз допустив принцип, как остановить вывод, если вывод из него губителен? «Так должно происходить». Да, конечно, «должно происходить», что доля работника уменьшается до границ необходимого для его существования, когда мы возьмем за точку отправления право индивидуальности; но так ли было бы при системе взаимного обеспечения?

Тюрго превосходно доказывает, что труд рабов мало производителен, потому что работник недостаточно заинтересован в успехе труда; но он позабывает это соображение, когда речь идет о труде работника, свободного по имени, на факте — раба нищеты. Тюрго не возмущается очевидною и несправедливою неравномерностью в страданиях и выгодах при слепой диктатуре системы *laissez faire* — он видит в этом натуральный порядок; он описывает факт и боится судить о нем.

Чрезвычайно живым и пронизательным образом Тюрго перечисляет услуги капитала в промышленности и показывает их важность; но, подобно всей школе, представителем которой он является, Тюрго совершенно произвольно и фальшиво смешивает капитал с капитализмом, из необходимости капитала выводя законность владычества капиталиста. И, кроме того, разве труд не так же необходим, как и капитал? И если капитал есть богатство прошлого, разве не труд извлечет из него богатство будущего? И когда вам говорят, что заработанная плата должна ограничиваться необходимо-нужным для пропитания, неужели не даст на то ответа ваше сердце, если не дала голова? Странные и печальные увлечения логики в ошибоч-

ной или неполной системе! Тюрго, человек благородной души, был до того увлечен своим принципом, что теоретически оправдывал ростовщиков. Понятно еще было бы, если бы он, провозглашая право заимодавца, основывал его на общественной пользе; но нет, это право казалось Тюрго столь безусловным, столь независимым от всякой идеи общего блага, что он не хотел даже, чтобы основанием процентов поставляли услугу, оказываемую заимодавцем должнику*; нет, чтобы заимодавец имел право требовать всего, что хочет, довольно было, по мнению Тюрго, что «он — хозяин своих денег».

Какое сравнение с благородными, достойными возвышенного гения прекрасными словами Лоу: «Деньги в ваших руках только затем, чтобы вы пользовались ими, давали им обращение, для удовлетворения ваших нужд и желаний; если вы не хотите сами пользоваться, ваши сограждане должны пользоваться ими; вы не можете лишать себя и других права ими пользоваться, не совершая несправедливости и преступления пред государством».

Сравните эти два учения и решите, которое лучше.

Не скроем: Тюрго в великолепных выражениях провозгласил «право работать». Без сомнения, это будет одним из прав его на честь в потомстве. Тогда еще не рушилось устройство, в котором осмеливались объявлять работу феодальной привилегией сюзерена, — тогда большою заслугою было поставить право работать в числе неотъемлемых прав человека.

Но не станем обманывать себя: Тюрго никогда не достигал того, чтобы признать за человеком «право иметь работу». Он хотел, чтобы беднякам была предоставлена свобода развивать свои способности, но он не допускал того, что общество обязано давать им средства достигать развития. Он хотел, чтобы уничтожены были препятствия, могущие возникать от вмешательства регламентации, но

* Вот собственные слова Тюрго: «Выгода, которую можно извлечь из денег, полученных взаймы, без сомнения, бывает одною из самых обыкновенных причин того, что кредитор решается занимать с платежом процентов; эта выгода — один из источников легкости, какую находит он в уплате процентов; но вовсе не она составляет источник права заимодавца требовать процентов; этому праву достаточным основанием служит то, что он хозяин своих денег, и это право неразлучно связано с собственностью. Он хозяин своих денег, стало быть волен оставить их у себя, нет ему никакой обязанности давать их в заем; потому, если он дает их в заем, он может поставлять этому займу какое хочет условие».

он не возлагал на общество обязанности служить опорой для бедных, слабых, непросвещенных. Словом, он допускал право искать работы, а не право иметь ее — различие существенное, до сих пор еще не вполне понятое.

«Какая польза была, если говорили пролетарию: «Ты имеешь право работать», когда он отвечал: «Как же я воспользуюсь этим правом? Я не могу обрабатывать землю для себя,— родившись, я нахожу ее уже занятою. Я не могу заняться ни охотою, ни рыбною ловлею,— это привилегия владельца. Я не могу собирать плодов, возращаемых богом на пути людей,— эти плоды поступили в собственность, как и земля. Я не могу ни срубить дерева, ни добыть железа, которые необходимы для моей работы: по условию, в котором я не участвовал, эти богатства, созданные, как я думаю, природой для всех, разделены и стали имуществом нескольких людей. Я не могу работать иначе, как по условиям, возлагаемым на меня теми, которые владеют средствами для труда. Если, пользуясь так называемою у вас свободою договоров, эти условия чрезмерно суровы; если требуют, чтобы я продал и тело, и душу; если ничто не защищает меня от несчастного моего положения или если, не имея во мне надобности, люди, дающие работу, оттолкнут меня,— что будет со мной? Найдется ли у меня сила восхищаться тем, что у вас называется уничтожением произвольных стеснений, сделанных людьми, когда я безуспешно борюсь с условиями жизни? Буду ли я свободен, когда подвергнусь я рабству голода? Право работать будет ли казаться мне драгоценно, когда мне придется умирать от беспомощности и отчаяния при всем моем праве?»

Таким образом право, понимаемое экономистами в абстрактном смысле, было не более как призраком, способным только держать народ в мучении вечно обманываемой надежды. Право в том смысле, как определяли его экономисты XVIII века, как понимал и провозглашал его Тюрго, могло служить только к замаскированию несправедливостей, которые должны были возникнуть из господства индивидуализма, к замаскированию варварства, оставившего бедняка в беспомощности.

Мало того, чтобы сказать: «ты имеешь право»; надобно дать возможность, дать средства пользоваться этим правом.

Мы видели, как ложно и опасно было учение экономистов XVIII века. Но не будем опрометчиво винить их. Они с слепую страстью приняли принцип индивидуализма

потому, что противоположный принцип, принцип власти, вызвал против себя безусловную реакцию как необходимость той эпохи. Когда палка искривлена в одну сторону, ее можно выпрямить, только искрививши в противную сторону: таков закон общественной жизни. Будем уважать его, хотя он прискорбен; будем признательны даже к ошибавшимся за их ошибку, если она содействовала исправлению других более важных и губительных ошибок. Но только для тех сохраним наше удивление, которые, опережая свою эпоху, имели славу предусматривать зорю грядущего дня, имели мужество приветствовать его приход. Возвышать независимый и гордый голос, когда против вас шумит мнение современного общества; бороться с силою, которая оклеветает вас, на пользу толпы, которая не понимает или не знает вас; в самом себе находить свое ободрение, свою силу, свою надежду; с непреклонной душой, с святою жаждою справедливости итти к цели, не озираясь, идет ли за вами толпа, и достигнуть высот, только путь к которым можно указать оставшему своему поколению, и кончить жизнь в горьком одиночестве своего ума и своего сердца — вот что достойно вечного удивления, и в честь тех, которые были способны к такому подвигу, должна возжигать свой фимиам история.

Мы изложили учение Тюрго. Деятельность его была деятельностью доброго гражданина и преданного общему благу администратора. Будучи правителем (интендантом) Лимузенской провинции в то самое время, когда писал свою книгу, он заставил любить, благословлять себя. Благородным употреблением своих доходов он облегчал участь бедняков. Он пролагал дороги. Он научил народ благотельному разведению картофеля. Он уничтожил в своем интендантстве дорожную повинность. Но заметим, что добро, внушаемое ему чувствами сердца, Тюрго мог совершать часто не иначе, как поступая противоположно своим сочинениям. «Он боролся с эгоизмом, — говорит жаркий его панегирист, Дер, в биографии, приложенной к его сочинениям в «Collection des économistes» Гильомена, — он энергически боролся с эгоизмом, иногда прибегая даже к понудительным мерам», — но ведь это значило переступать узкие принципы, на которых сам он основывал право заимодавца. Он устроил (во время голода) «благотворительные мастерские» (ateliers de charit) — разве это не было вступлением в систему вмешательства государства в промышленные отношения? В начале инструкции благотворительным комитетам, которые заведовали

этими мастерскими, он написал трогательные, дивные слова: «Облегчение бедствий страдальцев — общая обязанность, общий долг», — разве это не значило осуждать теорию конкуренции, предающей судьбу бедняка произволу случая? Да, Тюрго не всегда был верен своим принципам: не осуждайте его за то, в том слава его.

〈Теперь можно судить о том, как〉 сильна была школа, провозглашавшая в XVIII веке индивидуальное право. Но и общественное право также находило себе защитников, хотя и оставалось в разноречии с общим направлением умов. Из мыслителей, занимавшихся специально экономическими вопросами, такими защитниками были Мабли, Морелли, — но их усилия изменить господствующее направление оставались напрасны. Напрасно также шли против него Жан-Жак Руссо в «*Contrat social*», Эльвесиус в некоторых местах своего «*Traité de l'homme*»⁵, Дидро в некоторых из лучших своих сочинений. Индивидуализм непреодолимо овладевал обществом. Мабли сам чувствовал это, и многие страницы его сочинений показывают, что он не скрывал от себя могущества идей, которые оспаривал. Школа экономистов с каждым днем становилась сильнее, и пришел час, когда она достигла правительственной власти.

10 мая 1774 года Людовик XVI вступил на престол; через три месяца Вольтер писал: «Если Людовик XVI будет продолжать, как начал, перестанут говорить о веке Людовика XIV. Он, кажется, благоразумен и тверд, итак, он будет великим и добрым государем. Счастливы те, кому двадцать лет, как ему, — они долго будут наслаждаться счастьем его царствования».

Но царствование это началось ошибкой. Людовик XVI, человек строгой нравственности и серьезного характера, взял себе первым министром и руководителем старого развратника, в котором легкомыслие служило только прикрасой систематической испорченности. Скоро по воле графа Морепá все министры заменились новыми. Д'Эгильон уступил место Верженну; Мюи сделался военным министром; Мопу был заменен Мироменилем; Тюрго, сначала сделанный морским министром, скоро получил должность генерал-контролера финансов вместо аббата дю-Терре. В лице Тюрго экономисты достигли власти и не сомневались, что благодаря энергии и бесстрашию нового генерал-контролера их идеи будут, наконец, блистательным образом применены к управлению.

Мы видели Тюрго писателем и администратором: каков он будет министром?

Тюрго имел прекрасную и внушавшую почтение наружность. Воспитанный для духовного звания, у которого похитила его философия, он принес в светское общество привычки чистой нравственности; облагораживаемые его гордостью, они заставляли смиряться легкомыслие других сановников. Если бы довольно было иметь обширные знания для преобразования и успокоения большого, волнуящегося общества, Тюрго был бы достойнее всех руководить реформами в стране, угрожаемой бурными потрясениями: он испытал свои умственные силы во всех отраслях науки и осмотрел, так сказать, все знания.

Но уму его недоставало широты, недоставало ему мощного далекого взгляда, который разом измеряет все результаты принципа. Отсюда его ошибки и противоречия. Бесспорно, он любил народ, — ведь он разрушил монополию цеховых корпораций и тиранию дорожной повинности; но что же предложил он взамен прежнего угнетения? Давая человеку достоинство, он делал его одиноким, его величие он основывал на эгоизме, он провозглашал под именем конкуренции войну между интересами, под именем свободы — оставление бедного беспомощным; он вводил для сильных покровительство системы *laissez faire*, для бедных — произвол случая. Не удивляйтесь, если он в своем Лимузенском интендантстве показывал отеческую заботливость о народе; если, провозгласивши в теории законность лихоимства, он косвенными путями пытался действовать против его унижительного и жестокого владычества; если он силой власти организовал вспоможение бедным, проповедуя в своих книгах поклонение индивидуальному праву, — этому идолу, которому принесено было потом столько человеческих жертв. Тюрго был человек, действительно желавший добра, — мог ли он как практический деятель не опровергать часто своими распоряжениями свои теоретические ошибки? Самая резкая черта его жизни это — именно противоположность между прекрасными его действиями и ложными его понятиями.

Каковы бы ни были его теоретические недостатки, в то время можно было противопоставить ему только одного соперника. Неккеру не могли простить презрения к модным тогдашним мыслителям, гордой независимости его ума. Он изобличил лживость пышных фраз о свободе, которыми <усыпляют> страдания обманутой массы; он понял и отважился сказать, что право жить и быть счастли-

вым — пустой призрак для человека, не имеющего средств к тому; что свобода бедняка — только особенный вид рабства; что все притязания отдельной личности должны иметь мерилom и ограничением общее благо, а судьей — государство.

По высоте мыслей Неккер был, без всякого сомнения, выше Тюрго.

Но идеи Тюрго чрезвычайно облегчали обязанность правителя. Разрушить ограничения и потом оставить все произволу, — вот роль правительства по теории Тюрго. Неккер, напротив, возлагал на правительство обязанность столь же тяжелую, как и высокую. С бдительным участием следить за тревожным существованием бедняка среди запутанных явлений общественной жизни; заботиться о средствах существования для всех и об участии каждого в священной области труда; быть сильным за слабых, прозорливым за непросвещенных; защищать если не счастье, то по крайней мере кусок хлеба для массы против бездушного царства конкуренции и беспорядков всеобщего антагонизма — вот какими обязанностями, вот какими заботами, по мнению Неккера, заслуживалась честь управлять государством.

Это значило требовать в министре (соединения) таких качеств, каких не дала природа самому Неккеру; потому, достигнув власти, он должен был пасть под бременем собственной идеи.

Опираясь на безусловный принцип, имея целью только разрушать, предоставляя результаты разрушения на проницательность частного интереса, Тюрго мог идти вперед без оглядки. Не мог иметь этой свободы Неккер, проникнутый желанием все устроить и все предусмотреть. Вошедши на высоту власти, он почувствовал, что его силы, его решимость ниже его идеала, в нем явилась робость, что он сам не удовлетворит своим требованиям; он стал колебаться между стыдом быть посредственным или бесполезным и между страхом излишней смелости; он явился тем более нерешителен и смущен, чем дальновиднее был его взор: нерешительность — слабая сторона проницательности.

Тюрго явился выше, Неккер ниже своих сочинений в своей министерской деятельности.

Как только вступил в управление финансами, Тюрго ввел в него учение экономистов, и 13 сентября 1774 года эдикт совета разрешил свободную торговлю хлебом во всем королевстве. Экономисты были в восторге. Тогда Неккер

взялся за перо и написал книгу, в которой есть страницы, равно достойные государственного человека и поэта, которая вся от начала до конца проникнута серьезным красноречием и силой сдержанного чувства. Вопрос о хлебной торговле он взял только как случай восстать, во имя народных польз, против системы индивидуализма. Неккер восходил к основным началам общественного устройства и подвергал их анализу, равно возвышенному и смелому.

〈Тот, кто вначале поставил несколько столбиков вокруг участка и бросил в него посев, неужели на этом одном основании мог получить исключительную привилегию на эту землю для своих потомков до конца веков? Нет, отвечал Неккер: «такое преимущество не могло принадлежать этой малой заслуге». Право собственности, по мнению Неккера, было основано на предположении своей полезности для общества; у тех, которые отваживались выставлять основанием своего права только самое это право, он спрашивал: «Скажите, разве ваша купчая крепость записана на небесах? Или вы принесли вашу землю с соседней планеты? Или есть у вас какая-нибудь сила кроме той, которую дает вам общество?»

Не менее справедливо Неккер определял свободу. Он не удивлялся, что в тогдашнюю эпоху для людей, натерпевшихся долгого угнетения, одно слово «свобода» было уже очарованием и слово «запрещение» отзывалось в их душе как звук еще несломанной цепи; но от его взгляда не ускользнуло, что среди всеобщей борьбы, при неравенстве орудий, свобода служит только маской угнетения. Неужели во имя свободы можно позволить сильному человеку приобретать выгоды на счет слабого? А по выражению Неккера «сильный человек в обществе — это собственник; слабый человек — человек без собственности».

И чтобы лучше показать, к каким несообразностям может приводить идея права, когда смысл ее не истолковывается сердцем, он прибегал к поразительной гипотезе. Он предполагал, что некоторое число людей нашли средства присвоить себе воздух, как другие присвоили землю; потом он представлял, что они изобретают трубы и воздушные насосы, посредством которых могут сгустить или разредить воздух в данном месте: неужели этим людям позволили бы произвольно распоряжаться дыханием человеческого рода?»

Неккер не нападал на право собственности в его корне, потому что дорожил свободой; но мерилom собственности и свободы он поставлял общую пользу. Прилагая эти

принципы к вопросу о хлебной торговле, он выводил из них следствия, прямо противоположные системе экономистов. Отдельному человеку, говорящему «я хочу делать то, что мне угодно», он противопоставлял общество, говорящее: «я не хочу, чтобы человек мог делать то, что мне вредно».

Под тем предлогом, что заработная плата приходит в соразмерность с ценою продуктов первой необходимости, физиократы утверждали, что дороговизна съестных припасов вовсе не противна выгодам народа. Неккер энергически опровергал этот опасный софизм. Хлеб подымается в цене ныне, а через два, через три месяца увеличивается моя заработная плата. В ожидании этого неужели мне должно умирать с голоду? (Неккер восклицал: «Спросите у этого наемного работника, плату которого стараются по возможности понизить, желает ли он дороговизны съестных припасов? Если бы они умели читать, они были бы очень изумлены, узнав, что от их имени требуют дороговизны»).

Книга кончалась следующими словами: можно сказать, что небольшое число людей, разделив между собой землю, составили законы для обеспечения своих участков против массы людей, вроде того, как поставлены загородки в лесах против диких зверей. Установлены законы, ограждающие собственность, правосудие и свободу, но почти еще ничего не сделано для самого многочисленного класса граждан. Какая нам польза от ваших законов о собственности, — могут сказать они: — мы ничего не имеем; от ваших законов о правосудии? — нам не о чем вести тяжбу; от ваших законов о свободе? — если мы не будем работать завтра, мы умрем.)

В апреле 1775 года Неккер явился пред генерал-контролером с просьбой о разрешении напечатать свою книгу. Их свидание имело торжественную холодность. На гордость банкира министр отвечал холодностью. Неккер держал в руке свою рукопись и предлагал не издавать ее, если она покажется способною нарушить порядок. Тюрго с презрительным равнодушием отвечал, что не видит неудобства в обнародовании подобных теорий и не боится ничего. Собеседники расстались врагами.

При смутах, возникших в Париже по случаю дороговизны хлеба, Тюрго не сохранил спокойствия государственного человека: но по крайней мере он выказал твердость убеждения. И как легко забыть этот случай, перечисляя множество услуг, ознаменовавших или, лучше

сказать, обесмертивших управление Тюрго! Он прекратил постыдные выгоды, дававшиеся придворным откупщикам; отменил ответственность богатых членов общины за исправность платежа податей всеми остальными; уничтожил множество местных сборов и частных привилегий, возвышавших цену на съестные припасы; освободил поселянина от обязанности выставлять подводы при проходе войск; заслужил одобрение всего Парижа, отняв у госпиталя Hôtel Dieu⁶ привилегию продавать мясо в продолжение великого поста; улучшил водяные пути сообщения; заболтался об усовершенствовании дорог и почтовых сообщений; разрушил феодальные препятствия свободной торговле винами; содействовал учреждению дисконтной кассы для понижения процентов; уменьшил прежний дефицит с двадцати двух миллионов до 15 и притом единственно помощью экономии; оживил кредит честным исполнением обязательств, — сделать все это в двадцать месяцев значило сделать больше, нежели самые могущественные и сильные министры делали в продолжение многих лет.

Но опираясь на Мальзерба, которому доставил место в министерстве, Тюрго думал нанести старому общественному устройству удары еще более решительные. При тогдашнем стремлении публики к переменам сильное впечатление произвела брошюра, написанная под его влиянием. Она требовала отмены дорожной повинности; имя автора не было выставлено на ней; предполагали, что написал ее Вольтер. В лагере привилегированных поднялся вопль печали и страха; предводитель аристократии, принц Конти, негодует; пылкий оратор парламента д'Эпремениль произносит грозные речи; парламент запрещает брошюру. Это значило делать вызов Тюрго; он принял бой, и 3 февраля 1776 года парламенту был сообщен эдикт, отменявший дорожную повинность. Министр заменял ее поземельным налогом, от которого освобождались земли духовенства, но которому подвергались вместе с землями престолюдинов дворянские поместья. Можно вообразить себе, каковы были ремонстрации парламента. «Французский народ подлежит подушным окладам без всякого ограничения (*est taillable et corvèable à volonté*), — восклицает парламент, — это основной закон, которого не может изменять король». Орган аристократии, высокомерный принц Конти, осмелился утверждать, что нельзя заменять дорожную повинность никакою другою податью, потому что эта повинность, исключительно лежащая на простом народе, составляет признак его различия от бла-

городных (и уничтожить ее значило бы снимать с мужицкого лба приращенное клеймо рабства). Какой скандал в подобном сопротивлении, обесчещенном подобными основаниями! Тюрго удвоил свою твердость. Он победоносно отвечал в совете на возражения Миромениля, восторжествовал над недоброжелательностью Морепа, увлек за собой Людовика XVI; и в королевском заседании 12 марта 1776 года парламент был принужден внести в свой протокол эдикт, уничтожавший дорожную повинность и цеховые корпорации.

Через два месяца, окруженный союзом яростных врагов, коварно преданный своими товарищами, лишенный помощи Мальзерб, удалившегося в изнеможении из министерства, покинутый графом Морепа, оставленный без защиты Людовиком XVI, Тюрго лишился власти, и его противники стали хлопотать о восстановлении того, что он разрушил.

Мы привели этот очерк, чтобы показать, как смотрят на физиократов и на Тюрго ученые той школы, на мнения которой г. Муравьев обратил, как нам кажется, слишком мало внимания, слишком доверчиво принимая взгляд противной школы. Теперь нам легко обозначить разницу физиократов от людей, которые воображают себя продолжателями их благородных усилий.

Разница вовсе не в том, что физиократы при младенческом состоянии науки принимали начало, односторонность которого обнаружена Адамом Смитом, а нынешние поклонники выставленной физиократами формулы *laissez faire, laissez passer* видят ошибочность их мнения о том, будто бы только одно земледелие — источник производства. На стороне физиократов тут действительно ошибка, но эта ошибка состоит скорее в неудачном выборе терминов, еще не достигших нынешней определительности, нежели в существенном смысле понятий, которые они только не умели выразить с достаточною верностью. Если мы не будем придираться к словам, в неудовлетворительности которых каждое предыдущее поколение легко может быть уличаемо последующим, если мы захотим вникнуть в основную мысль физиократов и выразить ее той терминологией, какую приняли бы они сами, если бы располагали учеными пособиями, находящимися в руках нынешних экономистов, их знаменитое учение об исключительной производительности земледелия может быть представлено в следующем виде.

Земледелие и другие промыслы, состоящие в прямом отношении к земле, извлекают из нее продукты; часть этих продуктов обращается непосредственным образом на поддержание человеческой жизни, другая часть передается для обработки таким промыслам, которые уже не извлекают из неорганической природы никаких новых масс вещества, а только видоизменяют различным образом вещество, добытое первыми промыслами. Таким образом очевидно, что размер этих вторых занятий зависит от величины той части продуктов, которая передается им первыми промыслами. Из этого видно также, что первые промыслы служат основанием для вторых. В главнейшем из этих первых промыслов, имеющих дело непосредственно с землей, именно в земледелии, надобно заметить еще две особенные черты, отличающие его почти от всех других занятий. Оно производит почти исключительно предметы первой необходимости, именно: масса его продуктов состоит в средствах продовольствия. По своему основному характеру оно чуждо стремления служить прихотям роскоши и моды; напротив, очень многие из занятий, состоящих только в переработке уже извлеченных из земли продуктов, обнаруживают стремление служить не столько необходимости существования, сколько простому удовольствию, и вообще наклонны подчиняться прихотям моды и роскоши. Эта разница обнаружится, если мы сравним земледелие даже с такими необходимыми производствами, как, например, выделка сукна или домашней посуды. Другая особенность земледелия состоит в доставлении поземельной ренты, которая характером своим отличается от выгоды, доставляемой затратою капиталов.

Некоторые из французских экономистов школы Сэ не согласятся с понятием о поземельной ренте в этом изложении; но в Англии и Германии никто не будет спорить и против этого последнего пункта. Что же касается до остальных, они и во Франции не найдут противоречия. Таким образом, если физиократы выражали свои мысли неудовлетворительным для нашего времени образом, то существенный смысл их идей о классификации занятий и особенностях земледельческого производства в основании своем был справедлив. Нам кажется, что распространяться о неудовлетворительности выражения в старинных книгах и из этого выводить различие нынешних теорий от старинных учений — значит утешаться своею способностью делать придирки к словам.

Но если мы не находим основательным признавать ко-ренную разницу между физиократами и школой Сэ в тех пунктах, в которых находит она свое превосходство над физиократами, зато, с другой стороны, мы видим различие в самом духе этих двух школ, в их отношениях к недостаткам и потребностям двух эпох, им современных. Мы находим разницу именно в том самом, в чем школа Сэ видит свое сходство с физиократами. Подобно нынешним последователям школы Сэ, физиократы предоставляли все отдельному лицу, думая, что общее благо не требует никаких особенных гарантий в экономической сфере. Мы находим, что смысл этого требования ныне совершенно не тот, какой принадлежал ему во время Кене и Тюрго. Одно и то же слово может быть представителем прогресса или отсталости, смотря по различию времен. Петр Великий строил парусные корабли; это было великим прогрессом. Но если бы теперь, когда доказана неудовлетворительность парусных кораблей по сравнению с пароходными, если бы теперь кто-нибудь стал твердить нам: «стройте только парусные корабли», — такой человек был бы представителем отсталости, регресса. Сорок лет тому назад люди, желавшие улучшить наши пути сообщения, говорили о необходимости соединить гавани Черного моря с центром России посредством шоссе. Кто стал бы ныне доказывать превосходство сообщения Феодосии с Москвой посредством шоссе, заслужил бы только насмешку.

Отношения одного и того же понятия к потребностям различных времен изменяются явлением новых усовершенствований; есть и другой источник перемены. Очень часто случается, что опыт обнаруживает неудовлетворительность средства, которое казалось изъятым от всяких недостатков, пока не было приложено к делу. Это факт, у романтических юношей известный под именем разочарования. Пока во Франции не был приложен к делу *suffrage universel*⁷, очень умные люди полагали, что при помощи его французское правительство устроится гораздо лучше, нежели было прежде. На деле оказалось противное. Пока не было испытано в приложении к Франции английское государственное устройство, почти все умные французы ожидали от него исцеления правительственных недостатков своего отечества. На деле опять оказалось противное. Как быть при таком разочаровании? Умные люди говорят, что оно принуждает к исследованиям двойного рода. Во-первых, надобно подумать, верно ли было наше понятие о принципе, которым мы очаровывались,

и не надобно ли видоизменить формулу, его выражающую; во-вторых, следует подумать, нет ли других принципов, могущих служить ему коррективными средствами. Так, например, умные люди находят, что *suffrage universel* понимался односторонним и узким образом и что каким бы образом ни понимать его, необходимыми коррективными средствами ему должны служить просвещение и децентрализация.

Когда явились физиократы, принцип безответственной свободы индивидуума не был еще испытан на деле; этот принцип, прямо противоположный средневековым злоупотреблениям, казался совершенно достаточным средством для доставления человечеству счастья, отнимавшегося у людей этими злоупотреблениями. С той поры опыт указал многое такое, о чем не догадывались физиократы. Открылось, что, кроме средневековых злоупотреблений, человечество может страдать и от других бедствий, против которых бессилён принцип индивидуальной независимости. Открылось также, что эта независимость понимаема была узким образом. И вот видна теперь из опыта необходимость сочетать с этим принципом другие принципы и понимать его иначе, нежели как понимался он сто лет тому назад.

Непризнание этих потребностей у физиократов было просто незнанием и потому не мешало им оставаться вполне добросовестными: они не принимали в свою теорию некоторых условий истинного экономического идеала потому только, что в те времена опыт еще не указал надобности принимать их необходимыми элементами общей теории; словом сказать, они просто упустили из виду, но не систематически отвергали понятия, которых недоставало в их теории для полного соответствия с экономической истиной. Когда же обстоятельства ярко указывали в каком-нибудь данном случае на пользу мер, не входивших в отвлеченную их систему, они не колеблясь принимали эти меры, потому что главным делом для них было все-таки желание общей пользы, а не пристрастие к системе. Так действовал, например, Тюрго во время голода в Лимузенской провинции.

Не то с нынешними поклонниками исключительных прав индивидуальности. Они держатся своего узкого пути не потому, чтобы не знали фактов, противоречащих прежней системе: они уже обсудили факты со всех сторон и решили систематически перетолковывать их сообразно с выгодами своей теории или отвергать их. Их ошибки —

не от незнания, а от сознательного противоречия. В них система заглушает чувство истины, и самое стремление к добру решили они принимать не более как настолько, насколько оно подходит под их мерку. Это не наивный недосмотр, это закоснелость отсталости.

Оттого одни и те же слова «безусловная независимость индивидуума» имеют совершенно различный характер у физиократов и у школы Сэ. Физиократам не мешали они вести общество вперед; нынешние поклонники формулы *laissez faire, laissez passer* — люди старины, не удовлетворяющие требованиям своего времени⁸. То было время, когда человек рвался из средневековых уз, как птица из клетки. Но теперь птица довольно долго уже летала, куда хотела, и чувствует, что если хорош беспредельный простор поднебесья, то много в нем грозных опасностей, часто бывают непогоды, и что если клетка — плохое гнездо и действительно было нужно вырваться из него, то все же плохо быть вовсе без гнезда, нельзя не позаботиться об устройстве его и нужно думать о том, как бы лучше устроить его.

От теории Тюрго перейдем к практической деятельности его как министра. За нее хвалят его писатели всех экономических школ, но нам кажется, что при многих прекрасных сторонах есть в ней один недостаток. Тюрго был хорошим министром, но напрасно был он министром.

Место генерал-контролера финансов давало, говорят, более 150 000 руб. серебром дохода, узаконенного обычаем; при отставке генерал-контролер получал большую пенсию; по влиянию на внутренние дела он был важнейшим министром в королевстве; генерал-контролер заведывал, кроме финансов, многими из отраслей, принадлежащих ныне министерствам внутренних дел, юстиции, общественных работ. Если бы Тюрго, принимая место контролера, имел в виду почетность его, соединенную с огромными доходами, он не сделал бы ошибки. Но он руководился совершенно иными побуждениями: он хотел ввести порядок в финансы и мирными преобразованиями предотвратить бедствия, которые уже тогда грозили государству. Рассчитывать на возможность этого — значило обольщаться несбыточными мечтами.

В самом деле, хотя несколько присмотревшись к тогдашним обстоятельствам, каждый мог убедиться в невозможности произвести какие-нибудь существенные улучшения.

Характер тогдашней правительственной системы известен. Совершенно ошибаются те, которые думают (определить ее словами), что Франция XVIII века имела (самодержавное правление. Оно) существовало только на словах, а вовсе не в действительности.

〈Самодержавное правление предполагает твердую волю и самостоятельное знакомство с государственными делами в короле или гениальность в первом министре, который, пользуясь непоколебимым доверием короля, может действовать независимо ни от кого. Таковы были Людовик XI, Ришелье и Людовик XIV в первую половину своего царствования. Но качества, нами названные, могут являться только при известных условиях, из которых самое главное — существование упорной борьбы для упрочения правительственной формы. Только тогда человек серьезно занимается делами и развивает в себе мужественный характер, пока вопрос очень близко касается его собственных интересов. Только тогда он ищет гениального помощника и, нашедши, дает ему необходимую власть, когда видит, что без его содействия не может сам сохранить своего положения. Только в таких обстоятельствах являлись истинно великие самодержавные государи и великие министры самодержавия, как показывает история. Но когда форма упрочена, характер дел изменяется, а с ним и характер людей. За победой всегда следует отдых, за усиленной деятельностью — ослабление энергии. Тогда дух, создавший форму, ослабевает, уступая место наслаждению формой, открывается простор наклонностям, не имеющим серьезного значения; дела можно вести так или иначе, уже ничего не теряя в личном положении, которое вне опасности, — они ведутся не в духе необходимости, без строгой последовательности, становятся в зависимость от второстепенных желаний. Твердая воля исчезает, знание дел становится ненужным, без гениальных помощников легко обойтись, они становятся неприятны, потому что требуют энергической последовательности; гораздо удобней кажется вверяться людям, которые уступчивы, которые готовы идти и туда и сюда, по воле минутного расположения; можно удовлетворять наклонности делать выбор между людьми, основываясь не на их собственных качествах, а на своих отношениях к ним, на их приятности для нас и наших близких. Словом сказать, начинается эпоха личных отношений и наступает владычество камариллы, которая скоро так опутывает волю, что она лишается своей само-

стоятельности. Имя остается прежнее, но прежнего духа уже нет.)

С начала XVIII века во Франции владычествует под именем короля камарилла. Она овладевает всей дворцовой жизнью до такой степени, что потомки Людовика XI не могут приобретать знакомства с государственными делами. Камарилла стоит между ними и делами, скрывает все, что может скрыть, показывает в извращенном свете то, чего не может скрыть. Камарилла не допускает развития воли (— она окружает мелочными развлеченнями, оболъщает житейскими удовольствиями, расстраивает единство характера беспорядочностью, изменчивостью своих советов, вытекающих из личного расчета, а не из убеждений, не допуская образовать ни волю, ни ум), она лишает возможности иметь прочный и отчетливый образ мыслей. (Словом, ту личность, около которой вертятся ее мелкие хлопоты, она делает такой же, какова сама,— способной только на мелочи, лишенной и знания и воли во всем серьезном.)

Ментенон, регент, Помпадур, Дюбарри, все другие личности, имевшие главное влияние на дела французского государства в течение трех первых четвертей XVIII века, были олицетворениями камариллы.

Существовало ли достаточное основание предполагать, чтобы с восшествием на престол Людовика XVI изменилось это положение, чтобы вместо управления камариллы возвратились времена Людовика XI или Ришелье? (Ни внешние) обстоятельства (,ни личность нового короля) не допускали такого предположения.

(Обстоятельства —) что же такое важное изменилось в состоянии государства, в отношениях между различными сословиями? Все оставалось по-прежнему. Правительство не имело внутри никаких опасных врагов, ничто не побуждало его отказаться от беззаботного распоряжения государственными делами по личным удобствам и склонностям. Правда, вообще дела шли дурно, но они шли дурно уже в течение восьмидесяти или больше лет. Ни порядка в администрации, ни правосудия не было — но что ж тут важного? До правительства это не касалось — оно не встречало сопротивления своей воле; будучи довольно этим главным обстоятельством, оно не находило нужды быть недовольно администрацией или судебным устройством. Финансы находились в расстроеном положении; ежегодно оказывался дефицит — но что ж и тут важного? Камарилла имела довольно денег, о чем же было ей хло-

потать из-за каких благ думать о серьезных переменах? Государственный долг возрастал — только и всего; но кому до этого дело? Как-нибудь проценты уплачивались при помощи новых займов и новых податей. Каждый смотрит на вещи с своей точки зрения. Экономисты могли находить налоги тяжелыми, дефициты опасными, филантропы могли горевать о бедственном положении народа, философы жаловаться на дурную организацию государственного механизма; но камарилле было очень хорошо и натурально она вовсе не желала изменять такого порядка или отказываться от власти, — уже около века она управляла таким образом, почему же ей не оставаться было по-прежнему в управлении делами?

〈Но король, бесспорно желавший добра, мог взглянуть на вещи иначе и оттолкнуть камариллу от власти? На каком же основании, по каким причинам? Он воспитан был среди камариллы сообразно с ее правилами и расчетами. Она позаботилась не дать ему хорошего образования; она позаботилась не дозволить ему знакомства ни с кем, кроме своих сочленов. Он не знал государственных дел; он не понимал положения королевства; он приучен был смотреть как на людей опасных или как на людей непрактичных на всех тех, которые не сходились в образе своих понятий с камариллой; если бы он был недоволен советниками своего предшественника, он не знал бы, откуда взять других, кроме как из той же камариллы.

Все это он доказал с самого начала.〉 Вступив на престол, Людовик XVI пожелал иметь человека, на которого мог бы полагаться во всем. 〈Кого избрать таким доверенным лицом, он сам не знал — так мало занимался он до той поры государственными делами, что ему были даже неизвестны люди со стороны этих занятий, — он знал, кто хорошо, кто дурно танцует, кто хорошо, кто дурно ездит верхом или стреляет из пистолета, фехтует, кто каков по части волокитства, любезности в обществе, кто знаток в гастрономии, кто знаток в лошадях, но кто знаток в государственных делах, этого ему не случилось узнать; об этом доходили до него такие же темные слухи, как до нас с вами, читатель, о том, какие живописцы или поэты считаются мастерами своего дела в Китае. Слышали мы что-то об этом, но как и что, этого мы хорошенько не припомним; что же ему было делать в таком беспомощном положении? Он обратился за советами к тем же членам камариллы — к кому же иначе? Других людей он не знал и не видал.〉

Ему рекомендовали разных лиц, в том числе Машо и Морепа; он выбрал Морепа, говорят, потому, что приписал ему по ошибке те <смутные> сведения, какие доходили до него о дельности Машо. Но вернее удовлетвориться другою, несомненною причиною предпочтения,— Морепа был рекомендован ему теткой, принцессою Аделаидою.

Морепа сделался почти всемогущим человеком в королевстве. Только иногда, изредка, какую-нибудь хитростью, супруга короля Мария-Антуанетта успевала сделать что-нибудь мимо этого министра в удовольствие тем кавалерам и дамам, которые казались ей особенно приятны на балах и в маскарадах.

Старик Морепа был знаменитый эпикуреец, селадон, шутник. О государственных делах он имел очень мало понятия, все делал по личным отношениям; словом, камарилла могла считать его лучшим своим представителем.

Все шло по-старому; были перемены в лицах, по влиянию разных интриг между камариллою, но в делах не было никакой перемены,— мы видели, что она вовсе и не треволвалась.

Но эпикуреец Морепа любил наслаждения всякого рода; вдруг он обольстился мечтою, что приятно было бы приобрести аплодисменты от парижского партера — не дружите, чтобы это было фигуральное выражение, вовсе нет, понимайте буквально, аплодисменты театрального партера, те самые аплодисменты, которыми награждаются певицы и танцовщицы. Каким бы способом заслужить эти аплодисменты? Не знаем, как разрешилась бы такая задача, если бы не подвернулась тут жена Морепа. Старый греховодник был женат и по обычаю многих старых греховодников сильно трусил жены. Это еще не все. У г-жи Морепа был приятель, аббат Вери. И это не все еще: надобно прибавить, что аббат Вери учился в школе вместе с Тюрго. Теперь вы угадываете, читатель, как попал Тюрго в министры. Аббат Вери сказал г-же Морепа, что с ее стороны будет очень мило, если она похлопочет за его школьного приятеля, Тюрго; г-жа Морепа сказала мужу, что он должен дать повышение отличнейшему человеку, Тюрго, который уж давно интендантом. «Тюрго! Да ведь это отлично! — подумал Морепа.— Во-первых, жена приказывает, а во-вторых, Тюрго приятель с модными писателями, а модные писатели — любимцы парижского партера. Угождая жене, я перебиваю аплодисменты в свою пользу у Вестриса и m-elle Клерон!» Морепа пошел в кабинет короля, и Тюрго пригласили быть министром.

Такими-то судьбами делаются на свете дела, читатель.

Не огорчайтесь этим, а тем паче не осуждайте Морепа. <Вы видите сучок в его глазу — прежде чем укорять за то почтенного человека, посмотрите, нет ли у нас самих бревна в глазу.> Не правда ли, вам случалось определять на вакантное место в вашей прислуге людей, которых вы до той поры в глаза не знали, основываясь только на рекомендации вашей тетушки или кузины, которую просила похлопотать об этом кандидате ее кухарка или горничная? Ведь вы поступали в таком случае ничуть не лучше, нежели Морепа. И что тут дурного? Ведь из числа лакеев, поступавших к вам в услужение таким образом, попадались очень хорошие люди. Ну, вот точно так же и г-ну Морепа попался очень хороший человек. Но вы скажете, что нанять камердинера или повара — вовсе не то, что назначить генерал-контролера. Такое замечание заставляет меня предположить в вас крайнее незнакомство с ходом дел на белом свете. Поверьте, умственные и нравственные качества вашего камердинера гораздо интереснее для вас, нежели были качества генерал-контролера для Морепа. Ведь камердинер, если он плут, украдет у вас жилет, если плохо знает свое дело, то не вычистит вашего сюртука как следует. А какой убыток был бы г-ну Морепа? Разве его деньги крал бы генерал-контролер, если бы оказался плутом? И разве не нашлось бы в управлении генерал-контролера опытных счетчиков, которые стали бы составлять за него отличнейшие сметы расходов и доходов, если бы он оказался не знающим своего дела?

Таковыми-то судьбами, при такой-то обстановке Тюрго получил приглашение быть министром.

Скажите, чего мог надеяться он от принятия такого предложения?

Всякий здравомыслящий человек скажет: он мог надеяться рассчитывать, что будет иметь волю наживаться на своем месте, как его душе угодно, и раздавать доходные места своим приятелям.

Нет, чудак не подумал об этом, а вообразил, что может преобразовать Францию!

И если бы вы знали, какие великолепные планы он составил! Это любопытно: он задумал — извольте-ка прислушаться:

Он хотел: отменить феодальные права; уничтожить привилегии дворянства; пересоздать систему налогов и пошлин; ввести свободу совести; переделать гражданские и уголовные законы; уничтожить большую часть мо-

настырей; ввести свободу тиснения; преобразовать всю систему народного просвещения. (В довершение всего хотел ввести во Франции нечто очень похожее на конституцию.)

Можно ли не посмеяться над простяком?

Разумеется, если бы ему удалось совершить все эти преобразования, не было бы революции. Но спрашивается: откуда бы он взял силу сделать хотя сотую часть того, что хотел сделать?

Не то ли же это самое, как если бы вы, получив приглашение на партию в преферанс, отправились к вашим будущим партнерам с надеждой прочесть им лекцию астрономии?

Странные надежды бывают у людей!

В числе моих знакомых, — вероятно, также и в числе ваших, читатель, — есть такие странные люди. Нельзя не уважать их за чистоту намерений, за преданность общей пользе, но, воля ваша, нельзя не улыбнуться, слушая их⁹.

Чем кончились эти смешные грезы, мы знаем. Как-то врасплох удалось Тюрго провести свои мысли относительно двух очень неважных пунктов своей великолепной программы: об отменении дорожной повинности и уничтожении цеховых корпораций, — тотчас же все увидели, что он человек, вовсе неспособный быть министром, и его попросили удалиться.

Иначе и быть не могло. К чему же служили великолепные надежды? Только к забавному разочарованию.

КРИТИКА ФИЛОСОФСКИХ ПРЕДУБЕЖДЕНИЙ ПРОТИВ ОБЩИННОГО ВЛАДЕНИЯ

(К вопросам по опустылому делу, статья первая)

Wie weh', wie weh'. wie wehe.
Goëthe, «Faust»¹

Предисловие.— Первообытность общинного поземельного владения свидетельствует ли против предпочтения его личной поземельной собственности? — Необходимо ли у каждого народа каждому учреждению проходить все логические моменты развития? — (Регламентация и законодательство)

Долго молчал я в споре, который был поднят мною. Равнодушие, с которым были встречены остальными журналами первые статьи мои и г. Вернадского, служившие на них ответом,— это равнодушие мало-помалу сменилось чрезвычайно живым участием². Вот уж много времени, как не проходит ни одного месяца без того, чтоб не явилось в разных журналах по несколько статей об общинном владении. Все говорили об этом вопросе,— я молчал. Большая часть говоривших о нем нападали и на мое мнение, и на мою личность очень сильным образом,— я молчал, хотя в других случаях не отличался способностью оставлять без ответа нападение на то, что считаю справедливым и полезным, и хотя даже друзья мои всегда замечали во мне чрезвычайную, по их мнению даже излишнюю, любовь к разъяснению спорных вопросов горячею полемикою. Я молчал, несмотря ни на интерес, приобретенный для публики вопросом, который так дорог для меня лично, несмотря на бесчисленные вызовы противников, несмотря на частые побуждения от друзей, упрекавших меня и в лености, и в позорной апатии к общему делу, и в трусости. И теперь, когда берусь я за перо, чтобы снова защищать общинное владение, я выдерживаю сильную борьбу с самим собою и не знаю сам, не лучше ли было бы продолжать мне упорное молчание.

Дело в том, что я стыжусь самого себя. Мне совестно вспоминать о безвременной самоуверенности, с которою поднял я вопрос об общинном владении. Этим делом я стал безрассуден,— скажу прямо, стал глуп в своих собственных глазах.

Возобновляя мою речь об общинном владении, я должен начать признанием совершенной справедливости тех слов моего первого противника, г. Вернадского, которыми он объявлял в самом возникновении спора, что напрасно взялся я за этот предмет, что не доставил я тем чести своему здравому смыслу. Я раскаиваюсь в своем прошлом неблагоразумии, и если бы ценою униженной просьбы об извинении могло покупаться забвение совершившихся фактов, я не колеблясь стал бы просить прощение у противников, лишь бы этим моим унижением был прекращен спор, начатый мной столь неудачно.

«Как? Неужели человек, так громко провозглашавший непобедимость доводов в пользу общинного владения, поколебался в своем убеждении возражениями противников, бессилие которых так высокомерно осмеивал в начале битвы? — подумает читатель. — Неужели он чувствует себя побежденным теми фактами и силлогизмами, которые противопоставлены ему?» О, если бы мой стыд перед самим собою происходил из этого источника! Быть побеждену учеными доводами, конечно, неприятно было бы для самолюбия, особенно когда при этом наносятся еще оскорбления личности побеждаемого; но в таком случае скорбь состояла бы в чувстве мелочном, пошлость которого отняла бы силу открыто признаваться перед публикою в своем стыде. Мой стыд другого рода, и как ни тяжел он, он не боится огласки.

Не возражениями противников позорится моя безрассудная надежда на победу. Пусть противники многочисленны; пусть возражения громадны по объему и количеству; пусть даже некоторые из противников принадлежат к тем людям, одобрением которых я дорожил в других случаях, порицание которых было бы горько для меня в других делах: не ими смущен я. С самого начала я говорил, что по вопросу об общинном владении против меня будет огромное большинство русских ученых и мыслителей и те литературные партии, которые уважаются мною выше всех остальных после той, к которой принадлежу я сам³. Факт, предвиденный и предсказанный мною самим, не мог смутить меня. Напротив, я удивлялся, не встретив враждебности к защищаемому мною делу в некоторых из наших публицистов, имеющих наиболее авторитета во мнении публики и моем собственном. Отрадной для меня неожиданностью было, что эти люди или не напали на защищаемое мною мнение, или даже выражали свое сочув-

ствие к нему *. Не многочисленностью противников был удивлен я, а тем, что их не оказалось еще гораздо больше; удивлен, что в их рядах нет ни одного из тех ученых, противоречие которых было бы для меня действительно тяжело. Если не произвела на меня впечатления огромность числа писателей, восставших против общинного владения, то еще меньше могли поколебать мое убеждение доводы, ими выставленные. В начале спора я указывал обыкновенные источники возражений против общинного владения и книги, руководящие мыслями людей, от которых ожидал я противоречия. Мои предположения, что против меня будут повторять чужие слова, давно известные не мне одному и давно опровергнутые не мною, а европейскими писателями,— эти предположения сбылись даже выше всех моих ожиданий. Ни одного нового или самостоятельного соображения не было представлено русскими противниками общинного владения; все их понятия были целиком взяты из устарелых книг и даже не применены к частному вопросу, к которому большею частью вовсе не шли. Из немногих фактов, на которых опирались эти соображения, также не было почти ни одного, который бы прямо шел к делу; а если которые и шли к делу, то были подбираемы так неосмотрительно, что свидетельствовали в сущности не против общинного владения, а в пользу его. Словом сказать, возражения были до того избиты, что, признаюсь, я не имел интереса прочесть до конца почти ни одной из статей против общинного владения, которые появлялись после того, как я поместил свою последнюю статью против г. Вернадского в ноябрьской книжке «Современника» прошлого года; с первых же страниц каждого возражения я видел, что бесполезно читать эти бледные повторения того, что уже давно наскучило мыслящему человеку в сотнях плохих французских книжек о политической экономии; даже приятность читать гневную брань против себя, приятность, выше которой нет ничего для писателя, любящего колебать старые и надменные предрасудки, не могла пересилить скуку, приносимую вялыми повторениями общих мест старинной экономической школы⁴. Только теперь, решившись возобновить свои статьи об общинном владении, я стал читать эти возражения и убедился, что не сделал ошибки, предположив их вовсе не заслужившими прочтения.

* Я говорю не о славянофилах, которых я могу уважать за многое, по симпатии которых не заслуживаю, как они сами объявляют и как я сам чувствую.

Итак, не сила противников заставляет меня признать, что я заблуждался, начав говорить в защиту общинного владения. Напротив, со стороны успеха именно этой защиты я могу признать за своим делом чрезвычайную удачу: слабость аргументов, приводимых противниками общинного владения, так велика, что без всяких опровержений с моей стороны начинают журналы, сначала решительно отвергавшие общинное владение, один за другим делать все больше и больше уступок общинному поземельному принципу. Теперь нет уже сомнения в том, что большинство литературного мира считает нужным сохранить от вторжения личной частной собственности, по крайней мере на ближайшее время, те части земли, которые до сих пор оставались собственностью или владением общества. Такая уступка после первоначального совершенного и резкого отвержения общественной поземельной собственности во всех ее видах могла бы внушать мне некоторую гордость. Но я стыжусь себя.

Трудно объяснить причину моего стыда, но постараюсь сделать это, как могу.

Как ни важен представляется мне вопрос о сохранении общинного владения, но он все-таки составляет только одну сторону дела, к которому принадлежит. Как высшая гарантия благосостояния людей, до которых относится, этот принцип получает смысл только тогда, когда уже даны другие, низшие гарантии благосостояния, нужные для доставления его действию простора. Такими гарантиями должны считаться два условия. Во-первых, принадлежность ренты тем самым лицам, которые участвуют в общинном владении. Но этого еще мало. Надобно также заметить, что рента только тогда серьезно заслуживает своего имени, когда лицо, ее получающее, не обременено кредитными обязательствами, вытекающими из самого ее получения. Примеры малой выгоды ее при противном условии часто встречаются у нас по дворянским именьям, обремененным долгами. Бывают случаи, когда наследник отказывается от получения огромного количества десятины, достающихся ему после какого-нибудь родственника, потому что долговые обязательства, лежащие на земле, почти равняются не одной только ренте, но и вообще всей сумме доходов, доставляемых помещьем. Он рассчитывает, что излишек, остающийся за уплатою долговых обязательств, не стоит хлопот и других неприятностей, приносимых владением и управлением. Потому, когда человек уже не так счастлив, чтобы получить ренту, чистую от всяких

обязательств, то по крайней мере предполагается, что уплата по этим обязательствам не очень велика по сравнению с рентой, если он находит выгодным для себя ввод во владение. Только при соблюдении этого второго условия люди, интересующиеся его благосостоянием, могут желать ему получение ренты.

На предположении этих двух условий была основана та горячность, с какою я выставял общинное владение необходимым совершением гарантий благосостояния.

Меня упрекают за любовь к употреблению парабол. Я не спорю, прямая речь действительно лучше всяких приточных сказаний; но против собственной природы и, что еще важнее, против природы обстоятельств итти нельзя, и потому я останусь верен своему любимому способу объяснений. Предположим, что я был заинтересован принятием средств для сохранения провизии, из запаса которой составляется ваш обед. Само собой разумеется, что если я это делал из расположения собственно к вам, то моя ревность основывалась на предположении, что провизия принадлежит вам и что приготовляемый из нее обед здоров и выгоден для вас. Представьте же себе мои чувства, когда я узнаю, что провизия вовсе не принадлежит вам и что за каждый обед, приготовляемый из нее, берутся с вас деньги, которых не только не стоит самый обед, но которых вы вообще не можете платить без крайнего стеснения. Какие мысли приходят мне в голову при этих столь странных открытиях? «Человек самолюбив», и первая мысль, рождающаяся во мне, относится ко мне самому. «Как был я глуп, что хлопотал о деле, для полезности которого не обеспечены условия! Кто, кроме глупца, может хлопотать о сохранении собственности в известных руках, не удостоверившись прежде, что собственность достанется в эти руки и достанется на выгодных условиях?» Вторая моя мысль — о вас, предмете моих забот, и о том деле, одним из обстоятельств которого я так интересовался: «Лучше пропадай вся эта провизия, которая приносит только вред любимому мною человеку! Лучше пропадай все дело, приносящее вам только разорение!» Досада за вас, стыд за свою глупость — вот мои чувства.

Но довольно мне говорить о своих чувствах и о собственной личности. Как бы то ни было, но пошло в ход глупым образом начатое мною дело об общинном владении. Не все смотрят на него с тем чувством отвращения и негодо-

вания, какое внушает оно мне теперь, по разрушении надежд, в которых было начато мною. Теперь, я уже сказал, я желал бы, быть может, чтобы все оно пропало. Другие, напротив, хлопочут о том, чтобы привести его к концу, все больше и больше склоняясь к тем мнениям, какие были выражены мною при начале спора об общинном владении. Дело это уже не может быть брошено. А если дело, которому лучше было бы быть брошено, уже не может быть брошено, то нечего делать, надобно участвовать в его ведении.

Резким полемическим тоном был начат мною спор об общинном владении. Крик этот имел одну цель: заставить обратить внимание на предмет его. Теперь общее внимание обращено на предмет речи и нет надобности ей переступить границы спокойного изложения, чтобы быть выслушанной.

Но, — последняя дань полемическому тону, от которого я отказываюсь по вопросу об общинном владении: мало того, что возможно мне обойтись без полемики, — было бы недобросовестно с моей стороны пользоваться этим оружием тогда, когда нужно не столько обличение ошибок, сколько пополнение пробелов, производимых незнанием или забывчивостью. Дозволительно ли полемизировать против человека, который не соглашается с вами только потому, что не знает первых четырех действий арифметики или не подумал о результате, получаемом из сложения двух с двумя? Говорить с ним горячим тоном — это и бесполезно для него, и совестно для вас. Он нуждается в уроке из «начатков учения», — в уроке, изложенном с такою популярностью, которая была бы доступна его силам и пробуждала бы деятельность его мысли.

Степень знакомства с современною наукою и привычки к самостоятельному мышлению, обнаруженная противниками общинного владения, предписывает мне стараться о всевозможной популярности при следующем изложении первоначальных понятий, касающихся вопроса о различных видах собственности на землю, владения и пользования землею. Итак, читатель простит мне, если пайдет, что большая часть наших страниц посвящена изложению фактов и соображений слишком элементарных: при составлении настоящих статей я имел в виду не тот уровень знаний и сообразительности, какой предполагается в большинстве публики, а только тот, какой обнаружен противниками общинного владения.

Прежде нежели вопрос об общине приобрел практическую важность с начатием дела об изменении сельских отношений, русская община составляла предмет мистической гордости для исключительных поклонников русской национальности, воображавших, что ничего подобного нашему общинному устройству не бывало у других народов и что оно таким образом должно считаться прирожденною особенностью русского или славянского племени, совершенно в том роде, как, например, скулы более широкие, нежели у других европейцев, или язык, называющий мужа — муж, а не *mensch*, *homio* или *l'homme* и имеющий семь падежей, а не шесть, как в латинском, и не пять, как в греческом. Наконец люди ученые и беспристрастные⁵ показали, что общинное поземельное устройство в том виде, как существует теперь у нас, существует у многих других народов, еще не вышедших из отношений, близких к патриархальному быту, и существовало у всех других, когда они были близки к этому быту. Оказалось, что общинное владение землею было и у немцев, и у французов, и у предков англичан, и у предков итальянцев, словом сказать, у всех европейских народов; но потом при дальнейшем историческом движении оно малопомалу выходило из обычая, уступая место частной поземельной собственности. Вывод из этого ясен. Нечего нам считать общинное владение особенною прирожденною чертою нашей национальности, а надобно смотреть на него как на общую человеческую принадлежность известного периода в жизни каждого народа. Сохранением этого остатка первобытной древности гордиться нам тоже нечего, как вообще никому не следует гордиться какою бы то ни было стариною, потому что сохранение старины свидетельствует только о медленности и вялости исторического развития. Сохранение общины в поземельном отношении, исчезнувшей в этом смысле у других народов, доказывает только, что мы жили гораздо меньше, чем эти народы. Таким образом оно со стороны хвастовства перед другими народами никуда не годится.

Такой взгляд совершенно правилен; но вот наши и заграничные экономисты устарелой школы вздумали вывести из него следующее заключение: «Частная поземельная собственность есть позднейшая форма, вытеснившая собою общинное владение, оказывавшееся несостоятельным перед нею при историческом развитии общественных отношений; итак, мы подобно другим народам должны покинуть его, если хотим идти вперед по пути развития».

Это умозаключение служит одним из самых коренных и общих оснований при отвержении общинного владения. Едва ли найдется хотя один противник общинного владения, который не повторял бы вместе со всеми другими: «Общинное владение есть первобытная форма поземельных отношений, а частная поземельная собственность — вторичная форма; как же можно не предпочитать высшую форму низшей?» Нам тут странно только одно: из противников общинного владения многие принадлежат к последователям новой немецкой философии; одни хвалятся тем, что они шеллингисты, другие твердо держатся гегелевской школы; и вот о них-то мы недоумеваем, как не заметили они, что, налегая на первобытность общинного владения, они выставляют именно такую сторону его, которая должна чрезвычайно сильно предрасполагать в пользу общинного владения всех, знакомых с открытиями немецкой философии относительно преемственности форм в процессе всемирного развития; как не заметили они, что аргумент, ими выставляемый против общинного владения, должен, напротив, свидетельствовать о справедливости мнения, отдающего общинному владению предпочтение перед частною поземельною собственностью, ими защищаемую?

Мы остановимся довольно долго над следствиями, к каким должна приводить первобытность, признаваемая за известною формою, потому что по странной недогадливости именно эта первобытность служила, как мы сказали, одним из самых любимых и коренных аргументов наших противников.

Мы — не последователи Гегеля, а тем менее последователи Шеллинга. Но не можем не признать, что обе эти системы оказали большие услуги науке раскрытием общих форм, по которым движется процесс развития. Основной результат этих открытий выражается следующей аксиомою: «По форме высшая ступень развития сходна с началом, от которого оно отправляется». Эта мысль заключает в себе коренную сущность шеллинговой системы; еще точнее и подробнее раскрыта она Гегелем, у которого вся система состоит в проведении этого основного принципа чрез все явления мировой жизни от ее самых общих состояний до мельчайших подробностей каждой отдельной сферы бытия. Для читателей, знакомых с немецкою философиюю, последующее наше раскрытие этого закона не представит ничего нового; оно должно служить только к тому, чтобы выставить в полном свете непоследователь-

ность людей, не замечавших, что дают оружие сами против себя, когда налегают с такою силою на первобытность формы общинного владения.

Высшая степень развития по форме сходна с его началом, — это мы видим во всех сферах жизни. Начнем с самой общей формы процесса бытия на нашей планете. Газообразное и жидкое состояние тел — вот исходная точка, от которой пошло вперед образование нашей планеты и жизни в ней. Великим шагом вперед было сгущение газов и отвердение жидкостей в минеральные породы. В благородных металлах и драгоценных камнях планетный процесс дошел до совершенства в этом направлении. Сравните вековую неразрушимость и чрезвычайную плотность золота и платины, еще большую неразрушимость и страшную крепость рубина и алмаза с шаткостью формы, с быстрым процессом химических изменений в газе и жидкости, вы увидите две противоположные крайности. Но что же затем? Истоцилась ли жизнь природы достижением крайней прочности, плотности и неподвижности в минеральном царстве? Нет, мало-помалу на минеральном царстве возникает растительное. С одного шага природа от страшной плотности минералов возвращается к меньшей плотности жидкостей: удельный вес дерева занимает средину между удельным весом разных жидкостей. Мало этого сходства в удельном весе: минеральное основание дерева (обнаруживающееся пепельным остатком по его разложению) принимает в соединении с собой очень значительную массу материи в жидком состоянии: все дерево проникнуто жидким соком, который и составляет двигатель его жизни. Но от неподвижности минерального царства осталась в дереве неподвижность на месте, которое раз занято целым организмом, и неизменность в расположении частей, какое раз приняли они одни относительно других. Внешняя форма дерева также тверда; она только нечувствительно расширяется временем в объеме, но за этим исключением постоянно сохраняет одно и то же очертание. Природа вступает в новый фазис развития, за растительным царством производит животное, и этим шагом она еще приближается к формам бытия, предшествовавшим минеральному царству. В организме животного жидкие элементы занимают еще гораздо больше места, нежели в растении. Они даже достигают самостоятельного отделения от твердых частей, огромными массами собираясь в жилах, в сердце, в желудке и других резервуарах животного организма. Твердая основа, которая

в растении представлялась на первом плане, в животном отступает вовнутрь, облекаясь мягкими покровами мяса и жира; теряя наружное значение, она теряет и ту центральную важность, какую имела в дереве, где все до самой сердцевины было твердо: в животном центральные части, важнейшие по своему значению для организма, так же не тверды, как и наружные покровы остова; твердый остов удерживается единственно как опора для мягких частей. Мало того, что жидкость изгнала минеральную твердость из центральных органов: в эти органы проникли газы: животный организм наполнен воздухом, значительными массами сосредоточивающимся в двух основных органах центральной жизни, в легких и в желудке. От минерального царства в растении сохранялось постоянство внешней формы; в животном наружные очертания постоянно изменяются от непрерывной смены разных положений тела. Не осталось и неподвижности целого организма на одном месте: как частицы воды по закону тяготения и под ударами волн атмосферы вечно движутся с места на место, так и животный организм вечно движется с места на место. Животная жизнь становится все интенсивнее и интенсивнее; проходя от ленивого моллюска, почти прикованного к месту, через высшие формы организма до млекопитающих, она достигает своего зенита в человеке. В чем же состоят материальные отличия этого высшего животного организма от низших? В человеке гораздо более развита нервная система и особенно головной мозг. Что же это за масса, развитие которой составляет венец стремлений природы? Масса мозга — нечто такое неопределенное по своему виду, что как будто бы уже составляет переход от мускулов, имеющих столь определительные качества по своей форме и внутреннему составу, к какому-то полужидкому киселю вроде тех, которыми начинается превращение неорганической материи в органическую. Этот бесформенный кисель сохраняет известное очертание только потому, что удерживается внешними костяными оградками; освободившись от них, он расплывается будто кусок жидкой грязи. В его химическом составе самый характеристичный элемент — это фосфор, имеющий неудержимое стремление переходить в газообразное состояние; венец животной жизни, высшая ступень, достигаемая процессом природы вообще, нервный процесс состоит в переходе мозговой материи в газообразное состояние, в возвращении жизни к преобладанию газообразной формы, с которой началось планетное развитие.

Иной читатель посмеется над этими геологическо-физиологическими рассуждениями в статье о юридическом и социальном вопросе. Мы сами готовы были бы смеяться над обзорами теллурической жизни, служащими подкреплением политико-экономических истин, если б не замечали, как много зависит тот или другой взгляд на какой-нибудь, по-видимому, чисто практический и очень специальный вопрос от общего философского воззрения. В настоящем случае чтение статей против общинного владения убедило нас, что нерасположение к этой форме поземельных отношений основано не столько на фактах или понятиях, специально относящихся к данному предмету, сколько на общих философских и моральных воззрениях о жизни. Мы думаем, что истребить предубеждения по частному вопросу, нас занимающему, можно только изложением здравых понятий, противоположных отсталым философемам или философским и моральным недосмотрам, которыми держатся эти предубеждения. Потому продолжаем философско-физиологические очерки отношений между разными формами жизни, как бы ни казались забавны такие эпизоды в статьях, которые собственно должны бы ограничиваться сферой специальности. Если такие эпизоды и действительно забавны, то мы утешаемся мыслями, что они будут не бесполезны.

Кто не хотел подумывать об общих истинах, изложенных в Гумбольдтовом «Космосе»⁶, тот, конечно, принуждает говорить о них и тогда, когда дело идет о каком-нибудь специальном вопросе.

От общего теллурического процесса перейдем к соотношению форм в более тесных сферах и прежде всего взглянем, например, на характер животной жизни в разных ступенях ее развития. Мы уже видели, что высшее произведение этой жизни, мозговая масса, характером своим напоминает какой-то кисель, почти лишенный тех форм и качеств, какими отличается вообще мясо, составляющее преобладающий элемент животного царства. Низшая ступень животной жизни, проявляющаяся в моллюсках и слизняках, имеет совершенно тот же характер: тело устрицы своим студенистым качеством скорее сходно с мозгом, нежели с мясом. Итак, мы видим опять три формы, из которых высшая (мозг) представляется как будто бы возвращением от второй (мяса) к первобытной форме (студенистое вещество).

Возьмем еще теснейшую сферу жизни, именно два высшие разряда из трех обширных классов, принимаемых

Ламарком, *animalia articulata* и *animalia intelligentia* ' С того момента, как проявляется первый признак интенсивности в животной жизни возникновением членораздельности (*animalia articulata*), мы видим, что каждая из отдельных частей, на которые подразделился организм, имеет как будто бы свою самобытную жизнь, кроме общей жизни целого организма. Из этих низших животных есть такие, которые можно делить на несколько частей, и каждая часть преспокойно будет жить по отделении от других. Чем выше мы будем подниматься по лестнице форм, тем сильнее и сильнее общая жизнь целого организма будет брать перевес над жизнью отдельных членов, и, наконец, в разряде рыб преобладание общей жизни целого организма становится до того громадно, что даже исчезают все отдельные члены, и целый организм сливается в один плотный кусок без всяких перехватов и отростков. Но поднимемся еще выше, и в разрядах птиц и млекопитающих мы уже видим возобновление прежних форм организма, у которого к основному стержню примыкают отростки с различными перехватами по внешней форме. Однако, если по наружности птица и млекопитающее составляют как будто возвращение от одного плотного куска рыбы к членораздельным формам насекомых, то внутренняя жизнь, жизнь ощущений и стремлений, остается в птице и млекопитающем, как в рыбе, вся сосредоточена в одном общем органическом чувстве с подавлением самобытного значения стремлений, свойственных отдельным органам. Зрение, слух, обоняние для млекопитающего имеют только то значение, что служат средствами для приискания пищи, различения предметов и местностей, удобных и здоровых для целого организма, от нездоровых или неудобных и для избежания опасностей. Даже вкус служит почти только для рассортировки различных питательных материалов по степени их здоровости для целого организма. Конечно, кошка должна чувствовать разницу вкуса между грубою говядиною или пулярдкою⁸; но дайте ей вдруг два куска того и другого мяса, она не станет делать выбор между ними и начнет есть тот, который больше или который скорее попался ей под морду. Даже осязание очень мало служит для животных источником удовольствий, независимых от общих потребностей жизни целого организма. Даже половой инстинкт не занимает их собою как самобытный источник ощущений: его отправления служат только средством для освобождения организма от частиц, излишнее накопление которых расстраивает об-

щий порядок в жизни целого организма. Можно сказать, что все ощущения животных и все их стремления являются только видоизменениями общих потребностей и чувств целого организма, именно отправления желудка и чувства здоровья или болезни. Совершенно не такова жизнь человека. Каждое из его чувств достигает самобытного интереса для него; глаз, ухо и каждый из других органов чувств становится в человеке как будто каким-то самобытным организмом с собственной жизнью, с своими особенными потребностями и удовольствиями. Человек не только по внешней форме, как млекопитающее, но и по самой сущности своей жизни представляется как будто бы собранием нескольких сросшихся самобытных организмов, и общая жизнь всего организма удерживает за собою значение как будто только потому, что служит общею поддержкою развития этих отдельных жизней. Чем выше поднимается человек в своем развитии, чем цивилизованнее становится он, то есть чем человечнее становится его жизнь, тем больший и больший перевес берут эти частные стремления каждого органа к самостоятельному развитию своих сил и наслаждению своею деятельностью. Ощущения, доставляемые зрением, слухом и другими физическими чувствами, различные нравственные ощущения, игра фантазии, деятельность мышления все решительнее заслоняют собою интересность общего органического процесса для самого индивидуума, и, наконец, этот процесс (питание) сохраняет только тот интерес, какой придается ему наслаждениями отдельного органа вкуса, и вместо самобытного значения он представляется только средством к удовлетворению частного гастрономического интереса или теряет всякую занимательность для индивидуума. Цивилизованный человек, если развит нормально, говорит подобно Сократу: «Я ем только для того, чтобы жить сердцем и головою»; если развит дурным образом, говорит: «Я ем для того, чтобы наслаждались мой язык и небо». Но никогда цивилизованный человек не чувствует, чтобы сама по себе, без частных гастрономических удовольствий, еда представлялась ему очень занимательным процессом.

Таким образом в конце развития собственно животной жизни, в жизни цивилизованного человека мы видим как будто возвращение той самой формы, какую имела животная жизнь при первом начале своей интенсивности: в цивилизованной жизни человека, как в существовании артикулированных животных, общая жизнь организма

решительно отступает на второй план сравнительно с самобытными отправлениями отдельных органов.

Мы обозрели все сферы материальной жизни, начиная общими теллурическими явлениями ее и переходя к сферам все теснейшим и теснейшим, до царства интенсивной животной жизни, и повсюду видели неизменную верность развития одному и тому же закону: высшая степень развития представляется по форме возвращением к первобытному началу развития. Само собою разумеется, что при сходстве формы содержание в конце безмерно богаче и выше, нежели в начале, но об этом мы будем говорить после.

Быть может, наш очерк материального развития от теллурических состояний до мозговой деятельности был слишком длинен; но мы хотели многочисленными подробностями показать неизменную верность природы тому закону, на речь о котором не к выгоде себе навели полемике наши противники, с необдуманном торжеством налегая на первобытность осуждаемой ими формы одного из общественных учреждений. Мы хотим показать всеобщее господство излагаемого закона во всех проявлениях жизни, и, окончив обзор материальных явлений с этой точки зрения, обратимся к такому же очерку нравственно-общественной жизни, составляющей другую великую часть планетарного развития.

Наш очерк растянулся бы на целые томы, если бы мы захотели упоминать о каждой сфере нравственно-общественного развития, в процессе которой повторяется общий закон, о котором мы говорим. Какую бы сторону жизни ни взяли мы, везде увидим господство общей нормы, открытой новою немецкою философиею, и, приведя наудачу несколько примеров, мы просили бы людей, которые захотели бы сомневаться в общем владычестве этой нормы, указать хотя один факт, на развитии которого не отпечатлевалась бы она.

Начнем хотя с общего органа умственной и общественной жизни, с языка. Филология показывает, что все языки начинают с того самого состояния, представителем которого служит обыкновенно китайский: в нем нет ни склонений, ни спряжений, вообще никаких грамматических видоизменений слова (флексий); каждое слово является во всех случаях речи в одной и той же форме: «я итти дом» говорит китаец вместо нашего «я иду домой». Но язык начинает развиваться, и являются флексии; число их все возрастает и достигает той гибкости всего

внутреннего состава слова, какую видим [мы] в семи [ти]-ческих языках, достигает того страшного изобилия грамматических наращений, какое видим в татарском языке, где глагол имеет семь или восемь наклонений, несколько десятков времен, целые десятки деепричастий и т. д. В нашей семье на высшей точке этого периода стоит санскритский язык. Но развитие идет далее, и в латинском или в старославянском уже гораздо менее флексий, нежели в санскритском. Чем дальше живет язык, чем выше развивается народ, им говорящий, тем более и более обогащается он от прежнего богатства флексий. Нынешние славянские наречия беднее ими, нежели старославянский; в итальянском, французском, испанском и других романских языках флексий меньше, нежели в латинском; в немецком, датском, шведском, голландском меньше, нежели в старонемецком, и наконец английский язык, служащий указанием цели, к которой идут по отношению к своим флексиям все другие европейские языки, почти совершенно уже отбросил все флексии. Подобно китайцу англичанин буквально говорит уже «я итти дом». В начале нет падежей, в конце развития также нет падежей; в начале нет различия по окончаниям между существительным, прилагательным и глаголом, — в конце развития тоже нет различия между ними (like — 1. похожий, 2. сравнивать; love — 1. любить, 2. любовь).

В грамматическом устройстве языка конец сходен с началом. То же самое во всех формах общежительной и умственной жизни, общим условием для существования которой служит язык. Берем прежде всего внешние черты общежития и, во-первых, ту, для которой язык служит не только условием, но и материалом: способ выражения в обращении между людьми.

Вне цивилизации человек безразлично говорит одинаковым местоимением со всеми другими людьми. Наш мужик называет одинаково «ты» и своего брата, и барина, и царя. Начиная полироваться, мы делаем различие между людьми на «ты» и на «вы». При грубых формах цивилизации «вы» кажется для нас драгоценным подарком человеку, с которым мы говорим, и мы очень скупы на такой почет. Но чем образованнее становимся мы, тем шире делается круг «вы», и, наконец, француз, если он только скинул сабо, почти никому уже не говорит «ты». Но у него осталась еще возможность, если захочет, кольнуть глаза наглецу или врагу словом «ты». Англичанин потерял и эту возможность: из живого языка разговорной речи у него

совершенно исчезло слово «ты». Оно может являться у него только в тех случаях, когда по-русски употребляются слова «понеже», «очеса» и т. п.; слово «ты» в английском языке так же забыто, как у нас несторовское «онсица» вместо «этот». Не только слугу, но и собаку или кошку англичанин не может назвать иначе, как «вы». Началось дело, как видим, безразличием отношений по разговору ко всем людям, продолжалось разделение их на разряды по степени почета (немцы, достигнувшие апогея в этом среднем фазисе развития, ухитрились до того, что устроили целых четыре градации почета: 1) Du — это черному народу; 2) Eg — это по выражению <г. Н. де Безобразова⁹> для среднего рода людей; 3) Ihr — это для <человеков>, занимающих средину между людьми среднего рода и благородными; 4) Sie — для благородных потомков великороссийских, суздальских и ост-прейссенских домов, приходит в результате снова к безразличному обращению со всеми людьми.

То же самое и в costume. В патриархальном народе шейх носит точно такой же бурнус, как и последний из бедуинов его племени, и предок великороссийского потомка <г. Н. де Безобразова> носил такую же рубашку с косым воротом, какую носили тогда люди не только среднего, но и подлого рода. Мы вступили в область цивилизации и <г. Н. де Безобразов> надел сюртук, которого не носят люди подлого рода; но люди среднего рода уже начинают носить такой же сюртук и к нашему ужасу все без исключения уже надели пальто, которым прежде отличался от них потомок великороссийского рода; даже люди подлого рода многие надели пальто, и мы с горестью предвидим скоро день, когда потомки великороссийских родов у себя дома будут носить точно такие же блузы, какие уже приняты у петербургских мастеровых, и когда все без исключения люди даже самого подлого рода будут ходить по улицам в пальто такого же покроя, как великороссийские потомки.

Вместе с личным местоимением второго лица и костюмом проходит три фазиса развития и вся манера держать себя. Человек нецивилизованный и неученый прост в разговоре, натурален во всех движениях, не знает заученных поз и искусственных фраз. Но едва помазался он лоском образованности школьной и светской, он начинает держать себя и говорить так, как не умеет простой человек. Развиваясь мало-помалу, это искусство достигает блистательного цвета в разных педантах и педантках науки и свет-

ской жизни, в grécieuses¹⁰, изображенных Мольером, в голевских дамах «приятных во всех отношениях» и уездных франтах. Но человек истинно ученый и человек, получивший истинно светское образование, говорит и ходит, кланяется, садится и встает с такою же простотою и непринужденностью, как совершенно простой человек в своем кругу.

Надобно ли говорить, что подобно этим чертам обращения все общественное устройство стремится к возвращению от рангов и разных других подразделений по привилегиям всякого рода к тому однообразному составу, из которого выделались все бесчисленные рубрики? Распространяться об этом мы не имеем нужды: люди, непоследовательность которых принудила нас делать этот очерк, все утверждают о себе, что они знакомы с политической экономией; в какой угодно экономической книге, даже в Ж.-Б. Сэ и Мишеле Шевалье, найдут они подробнейшее и прекраснейшее объяснение той цели, к которой идет ныне общество по отношению к выделившимся из общего права элементам.

От общего характера общественной жизни и общественного состава перейдем ли к анализу специальных отпавлений общественного организма, повсюду увидим тот же путь развития. Возьмем в пример хотя администратию. Вначале мы видим маленькие племена, из которых каждое управляется совершенно самостоятельно и соединяется в общий союз с другими однородными племенами только в немногих случаях, требующих общего действия, например на случай войны и других отношений к иным народам, также для предприятий, превышающих средства отдельного племени, каковы, например, громадные постройки вроде вавилонской башни и циклопических стен. Каждый член племени связан с другими не только законодательными обязательствами, но живым личным интересом по знакомству, родству и соседским общим выгодам. Каждый член принимает личное и активное участие во всех делах, касающихся того общественного круга, к которому принадлежит. Ученым образом подобное состояние называется самоуправлением и федерацией. Мало-помалу мелкие племена сливаются и сливаются, так что, наконец, исчезают в административном смысле в громадных государствах, каковы, например, Франция, Австрия, Пруссия и т. д. Административный характер обществ на этой ступени развития — бюрократия, составляющая полнейший контраст первобытному племенному быту.

Административные округа распределяются все с меньшим и меньшим отношением к независимым от центрального источника интересам, лежащим в самих жителях. Ни в Пруссии, ни в Австрии округ, соответствующий нашему уезду, не имеет живой связи между своими частями; сохранились живые связи составных частей только в более широком разграничении провинций. Но это является уклоном от общего правила, и при первой возможности производится реформа, какую успела уже совершить Франция разделением на департаменты, лишённые органического единства, взамен прежних провинций. Члены административного округа, не имея между собою живой связи ни по своей истории, ни по своим материальным интересам, с тем вместе лишены прежнего полномочия в управлении делами округа. Всем заведуют особенные люди, называемые чиновниками и полицейскими, по своему происхождению и личным отношениям не имеющие связи с населением округа, передвигающиеся из одного округа в другой чисто только по соображению центральной власти, действующие по ее распоряжению, обязанные отчетом только ей. Житель округа по отношению своему к администрации есть лицо чисто пассивное, *matéria gubernanda*¹¹ Надобно ли говорить о том, что на этой степени общество не может остановиться? Швейцария и Северо-Американские Штаты по административной форме представляются совершенным возвращением от бюрократического порядка к первоначальному быту, какой имели люди до возникновения обширных государств.

Не касаясь политического устройства, история которого также могла бы служить ярким подтверждением доказываемого нами общего господства нормы развития *, мы приведем в пример только еще два общественных учреждения.

Сначала общество не знает отдельного сословия судей: суд и расправа в первобытном племени творится всеми самостоятельными членами племени на общем собрании (мирской сходке). Мало-помалу судебная власть отделяется от граждан, делается монополией особенного сословия; гласность судопроизводства исчезает, и водворяется тот порядок процесса, который нам очень хорошо известен: он был и во Франции, и в Германии. Но вот общество раз-

* Модерантисты могут найти очень недурной очерк одной из сторон политического устройства с этой точки зрения у Гизо, которого они уважают. В «*Histoire de la civilisation en France*»¹² он объясняет постепенные фазисы возрастания и ослабления правительственной власти.

вивается далее, вместо судей произнесение приговора вручается присяжным, то есть простым членам общества, не имеющим никакого ученого приготовления к юридической технике, и возвращается первобытная форма суда (1. судит общество; 2. судят юристы, назначаемые правительственной властью; 3. судят присяжные, то есть чисто представители общества).

Как суд, так и военное дело в первобытном обществе составляет принадлежность всех членов племени, без всякого специализма. Форма военной силы везде сначала одна и та же: ополчения, берущиеся за оружие с возникновением войны, возвращающиеся к мирным промыслам в мирное время. Особенного военного сословия нет. Мало-помалу оно образуется и достигает крайней самобытности при долгих сроках службы или вербовке по найму. На нашей памяти еще было то время, когда у нас солдат становился солдатом на всю свою жизнь, и кроме этих солдат никто не знал военного ремесла и не участвовал в войнах. Но вот сроки службы начинают сокращаться, система бессрочных отпусков все расширяется. Наконец (в Пруссии) дело доходит до того, что решительно каждый гражданин на известное время (два, три года) становится солдатом, и солдатство не есть уже особое сословие, а только известный период жизни каждого человека во всяком сословии. Тут особенность его сохранилась только в условии срочности. В Северной Америке и Швейцарии нет уже и того: совершенно как в первобытном племени, в мирное время войско не существует, на время войны все граждане берутся за оружие. Итак, опять три фазиса, из которых высший представляется по форме совершенным возвращением первобытного: 1) отсутствие регулярных войск; милиция на время войны; 2) регулярные войска; никто, кроме специально носящих мундир, не призывается и не способен участвовать в войне; 3) снова возвращается всенародная милиция, и регулярного войска в мирное время нет.

От устройства военной силы перейдем ли к ее действию, увидим ту же норму развития. В первобытных битвах сражается отдельный человек против отдельного человека, сражение есть громадное число поединков (битвы у Гомера; все битвы дикарей). Но вот состав бьющейся армии получает все больше и больше плотности, и действие отдельных людей сменяется действием массы; в XVII, XVIII столетиях этот фазис достигает своего зенита. Огромные массы стоят друг против друга и стреляют

батальным огнем или идут в штыки, — тут нет отдельных людей, есть только батальоны, бригады, колонны. Русский солдат времен Кутузова стрелял ли в отдельного врага? Нет, целый полк стрелял только в целый неприятельский полк. Неужели на этом остановилось развитие? Нет, появились штуцера, и прежний плотный строй рассыпался цепью стрелков, из которых каждый действует также против одиночного врага, и битва снова принимает гомерическую форму бесчисленного множества поединков.

Мы хотели закончить этим примером. Но зачем же останавливаться на мрачных мыслях о битвах? Дадим для десерта что-нибудь более приятное. Мы пишем не для обыкновенных читателей, а для экономистов отсталой школы; для них самая интересная вещь — внешняя торговля, и для их удовольствия мы займемся этим драгоценным предметом.

У дикарей нет таможенных пошлин, нет ничего подобного протекционизму; каждый торгует с иностранцем на тех же самых правах, как с одноплеменником, сбывает товары за границу и покупает иноземные товары точно с тою же степенью свободы, с какою идет торговля в пределах самого племени туземными произведениями. Но вот люди цивилизуются, начинают заводить фабрики; через несколько времени у них является протекционная система. Иноземные товары облагаются высокими пошлинами и подвергаются запрещениям для покровительства отечественной промышленности. Неужели на этом остановится прогресс? О нет, вот являются Кобден, Роберты Пили и за этими действительно замечательными людьми маленькие и миленькие существа вроде Бастиа; они доказывают, что протекционизм и несправедлив и вреден, под их влиянием тарифы начинают понижаться, понижаться, и общества стремятся к тому самому блаженству свободной заграничной торговли, которым пользовались в первобытные времена своей неразвитости.

Раз начавши говорить о предметах, приятных для экономистов отсталой школы, мы не можем удержаться от желания еще порадовать их беседою, им любезною. Еще больше, нежели о заграничной торговле, любят они говорить о биржевых оборотах, — каково же будет их удивление, если мы скажем, что и биржа, этот предмет их любви и гордости, возникает именно по закону возвращения каждого явления при высшем его развитии к его первобытному началу в формальном отношении. «Как? Вы говорите, что основные формальные черты биржевой тор-

говли — повторение тех качеств, которыми отличается торговля дикарей?» — спросят наши противники. «Точно так, и вы этому не дивились бы, если бы умели понимать смысл того, что излагается в ваших же собственных книгах», — отвечаем мы. Чем торговля, являющаяся по возникновению биржи, отличается по форме от торговли периода, предшествующего бирже? Она ведется в известном, одном, исключительном месте, в известное, одно, исключительное время — неужели вы не замечали до сих пор, что это — черты, принадлежащие базарам и ярмаркам? Теперь вы сами можете построить тройственную формулу, вас удивившую.

У племен и народов, где торговое движение чрезвычайно слабо, оно недостаточно для того, чтобы поддерживаться постоянно и повсеместно, и потому для него удобнее сосредоточиваться в известные сроки в известных местах. Таким образом оно производится на ярмарках и базарах. Но вот торговля развивается. В каждом городе купец имеет ежедневно покупателей (потребителей), повсюду являются лавки и магазины, открытые в течение круглого года ежедневно. С другой стороны, купцов так много и запрос их к производителям так постоянен, что производитель может продать им свой продукт, когда и где ему самому удобнее, — зачем же он станет дожидаться ярмарки или базарного дня? Таким образом ярмарки и базары, существовавшие в Париже, когда этот город в торговом отношении уподоблялся Козмодемьянску и Царевококшайску, исчезли. Но что же далее? Как возникает биржа? Покупщиков и продавцов становится так много, у каждого из них так много торговых дел и справок, что он не успел бы управиться с ними, если бы должен был искать поодиночке каждого из нужных ему людей. Потому необходимо назначить место и время, где и когда сходились бы все эти занятые торговыми оборотами люди. Таким образом возвращается первобытное ограничение торговых сделок известным местом и временем.

Мы нарочно изложили ход этого факта с некоторою подробностью, чтобы видна была совершенная противоположность причин, восстанавливающих первобытную форму в конце развития, с причинами, от которых зависело ее существование при начале развития. Доходя до высокой интенсивности, те самые обстоятельства, которые в менее сильной степени были враждебны первобытной форме, обращаются в неизбежный вызов к ее восстановлению. Первобытная ограниченность торговли известным местом

и временем (ярмарки и базары) была следствием малочисленности торговых сделок. Когда они становятся довольно многочисленными, эта многочисленность действует отрицательно, разрушительно на первобытную форму; но вот торговые сделки, вместо того чтобы быть просто «довольно многочисленными», становятся «чрезвычайно многочисленными», — первобытная форма возвращается. Избыток качества действует на форму способом, противоположным тому способу, каким действовала более слабая степень того же качества.

Чтобы эта формула была яснее, мы дадим грамматическое выражение ее терминам. Превосходная степень действует на форму способом, противоположным тому, каким действует простая положительная степень. Если, например, человек, имеющий *некоторую* справедливость («справедливый», просто, в положительной степени), смотрит на человека, совершившего преступление, как на преступника, на человека, преданного низкому пороку, как на человека низкого, гнушается ими обоими, считает достойным казни одного, претерпеваемых несчастий другого (степень справедливости, выражаемая поговоркою «поделом вору и мѹка», выражаемая также уголовными законами и тем «древним» законом, который говорил: «люби своего друга, ненавидь своего врага»), то человек *чрезвычайно* или *совершенно* справедливый относитя и к преступнику или порочному обратным образом: он видит в нем несчастного, заслуживающего не презрения или отворачивания и ненависти, а сострадания и помощи:

«Слышасте, яко речено бысть древнимъ: возлюбихи искренняго твоего, и возненавидиши врага твоего. Азъ же глаголю вам: любите враги ваша, благословите клянущія вы, добро творите ненавидящимъ вас» *.

И неужели это есть разрушение, отвержение древнего закона? Нет, это есть его исполнение, его завершение:

«Не мните, яко приидох разорити закон и пророки: не приидох разорити, но исполнити» **.

Да, это не только заповедь любви и кротости, это — заповедь совершенной справедливости; высшая справедливость не находит преступников, она находит в дурном человеке только несчастного заблудшего, не подлежащего взысканию: *Summum jus — summa injuria, pariter ac nullum jus*¹³. При отсутствии справедливости преступник из-

* Матф., глава V, стих 43—44.

** Матф., глава V, стих 17.

бегают закона возмездия; при водворении законного порядка он подвергается возмездию, око за око и зуб за зуб; но когда водворяется полная справедливость, преступник изымается от возмездия, *peccati fit injuria*, никто не подвергается страданию ни даже во имя справедливости*.

Собираясь закончить этот очерк, мы хотели представить в заключение его два примера, — и представили четыре или пять, потому только, что не остереглись от множества фактов, представляющихся в подтверждение общей нашей мысли правосудия, к какой бы сфере бытия мысль ни обратилась. Но довольно, довольно. Наш очерк никогда не кончился бы, если мы не сделаем над собою усилия и не остановимся от продолжения этих подтверждений, являющихся нашему анализу в бесчисленном множестве. Общий ход планетарного развития, прогрессивная лестница классов животного царства вообще, высшие классы животных в особенности, физическая жизнь человека, его язык, обращение с другими людьми, его одежда, манера держать себя, все его общественные учреждения — администрация, войско и война, судопроизводство, заграничная торговля, торговое движение вообще, понятие о справедливости — каждый из этих фактов подлежит той норме, о которой мы говорим: повсюду высшая степень развития представляется по форме возвращением к первобытной форме, которая заменялась противоположною на средней степени развития; повсюду очень сильное развитие содержания ведет к восстановлению той самой формы, которая была отвергаема развитием содержания не очень сильным**.

Все изложенное нами должно было быть знакомо тем противникам общинного владения, которые называют себя

* В латинском языке, который довел до крайнего совершенства определение юридических понятий, слово *injuria* (несправедливость, *injuria est, ubi jus deest*) прекрасно выражает развиваемую нами мысль, что какое бы то ни было страдание, по какой бы то ни было причине претерпеваемое человеком, составляет уже несправедливость: *Injuriam passus sum* — это выражение имеет два смысла: 1) я подвергся незаконному лишению, 2) я подвергся какому бы то ни было лишению того, чем пользовался; во втором смысле говорится, например, *injuriae tempestatum, perbrogum, iemprogum* — убытки, приносимые моей ниве непогодами; лишения, которым подвергается мое здоровье от болезней; потери и страдания, наносимые мне неблагоприятными обстоятельствами.

** Повторяем, что если кто-нибудь не захочет согласиться на признание всеобщего и неизменного господства этой нормы во всех без исключения явлениях материального и нравственного, индивидуального и общественного бытия, тот делает нам большое одолжение, указав *хотя один* факт, который не был бы подчинен этому решительно всеобщему закону.

последователями Шеллинга и Гегеля. Каким же образом не догадались они, что, налегая на первобытность этой формы отношений человека к земле, они тем самым указывают в общинном владении черту, сильнейшим образом предрасполагающую к возвышению общинного владения над частною поземельною собственностью? Как могли они переносить вопрос на почву, столь невыгодную для них? Тут один ответ возможен: *Quem Jupiter perdere vult*¹⁴ и т. д., то есть в русской более мягкой форме: кому по натуре вещей нельзя не проиграть дела, тот в довершение своей беды сам делает гибельные для себя недосмотры.

Неужели в самом деле правдоподобно, чтобы один только факт поземельных отношений был противоречием общему закону, которому подчинено развитие всего материального и нравственного мира? Неужели вероятно, чтобы для этого одного факта существовало исключение из закона, действующего столь же неизменно и неизбежно, как закон тяготения или причинной связи? * Неужели при одной фразе «общинное владение есть первобытная форма поземельных отношений, а частная собственность вторая, последующая форма», — неужели при одной этой фразе не пробуждается в каждом, кто знаком с открытиями великих немецких мыслителей, сильнейшее, непреоборимое предрасположение к мнению, что общинное владение должно быть и высшею формою этих отношений?

Действительно, норма, изложенная нами и несомненная для каждого, хотя несколько знакомого с современным положением понятий об общих законах мира, неизбежно ведет к такому построению поземельных отношений:

Первобытное состояние (начало развития). Общинное владение землею. Оно существует потому, что человеческий труд не имеет прочных и дорогих связей с известным участком земли. Номады не имеют земледелия, не производят над землею никакой работы. Земледелие сначала также не соединено с затратою почти никаких капиталов собственно на землю.

* Если кому-нибудь мало покажется приведенных нами подтверждений всеобщности этого закона: «конец развития по форме является возвращением к его началу», для такого скептика мы готовы по первому его желанию показать ту же норму в развитии всех половых и семейных отношений, политического устройства, законодательства вообще, гражданских и уголовных законов, налогов и податей, науки, искусства, материального труда; для всего этого не нужно будет нам ни особенной учености, ни долгих соображений, — нужно только заглянуть, например, хотя в Гегеля: у него все это давным-давно уже доказано и объяснено.

Вторичное состояние (усиление развития). Земледелие требует затраты капитала и труда собственно на землю. Земля улучшается множеством разных способов и работ, из которых самую общую и повсеместную необходимостью представляется удобрение. Человек, затративший капитал на землю, должен неотъемлемо владеть ею; следствие того — поступление земли в частную собственность. Эта форма достигает своей цели, потому что землевладение не есть предмет спекуляции, а источник правильного дохода.

Вот две степени, о которых толкуют противники общинного владения, но ведь только две, где же третья? Неужели ход развития исчерпывается ими?

Промышленно-торговая деятельность усиливается и производит громадное развитие спекуляции; спекуляция, охватив все другие отрасли народного хозяйства, обращается на основную и самую обширную ветвь его — на земледелие. Оттого поземельная личная собственность теряет свой прежний характер. Прежде землю владел тот, кто обрабатывал ее, затрачивал свой капитал на ее улучшение (система малых собственников, возделывающих своими руками свой участок, также система эфитеозов и половничества по наследству с крепостною зависимостью или без нее); но вот является новая система: фермерство по контракту; при ней рента, возвышающаяся вследствие улучшений, производимых фермером, идет в руки другому лицу, которое или вовсе не участвовало, или только в самой незначительной степени участвовало своим капиталом в улучшении земли, а между тем пользуется всею прибылью, какую доставляют улучшения. Таким образом личная поземельная собственность перестает быть способом к вознаграждению за затрату капитала на улучшение земли. С тем вместе обработка земли начинает требовать таких капиталов, которые превышают средства огромного большинства земледельцев, а земледельческое хозяйство требует таких размеров, которые далеко превышают силы отдельного семейства и по обширности хозяйственных участков также исключают (при частной собственности) огромное большинство земледельцев от участия в выгодах, доставляемых ведением хозяйства, и обращают это большинство в наемных работников. Этими переменами уничтожаются те причины преимущества частной поземельной собственности перед общинным владением, которые существовали в прежнее время. Общинное владение становится единственным способом доставить огромному большинству земледельцев участие в вознаграждении, прино-

симом землею, за улучшения, производимые в ней трудом. Таким образом общинное владение представляется нужным не только для благосостояния земледельческого класса, но и для успехов самого земледелия; оно оказывается единственным разумным и полным средством соединить выгоду земледельца с улучшением земли и методы производства с добросовестным исполнением работы. А без этого соединения невозможно вполне успешное производство.

Таково сильнейшее, непреодолимое расположение мысли, к которому приводит каждого знакомого с основными воззрениями современного миросозерцания именно та самая черта первобытности, которую выставляют к решительной невыгоде для себя в общинном владении его противники. Именно эта черта заставляет считать его тою формою, которую должны иметь поземельные отношения при достижении высокого развития; именно эта черта указывает в общинном владении высшую форму отношений человека к земле.

Действительно ли достигнута в настоящее время нашей цивилизацией та высокая ступень, принадлежностью которой должно быть общинное владение,— этот вопрос, разрешаемый уже не помощью логических наведений и выводов из общих мировых законов, а анализом фактов, был отчасти рассматриваем нами в прежних статьях об общинном владении и с большею полнотою будет переисследован нами в следующих статьях, которые обратятся к изложению специальных данных о земледелии в Западной Европе и у нас. Настоящая статья, имеющая чисто отвлеченный характер, должна довольствоваться только логическим развитием понятий, знание которых представляется одним из условий для правильного взгляда на дело, а искажение или незнание которых послужило основною причиною заблуждения для лучших между противниками общинного владения.

Из числа этих общих понятий за изложенным нами положением современной науки о преемственности форм непосредственно следует понятие о том, каждое ли отдельное проявление общего процесса должно проходить в действительности все логические моменты с полной их силою, или обстоятельства, благоприятные ходу процесса в данное время и в данном месте, могут в действительности приводить его к высокой степени развития, совершенно минуя средние моменты или по крайней мере чрезвычайно

сокращая их продолжительность и лишая их всякой оц-
тительной интенсивности.

По методу современной науки разрешение вопроса от-
носительно многосложных явлений облегчается рассмот-
рением его в простейших проявлениях того же процесса.
По этой методе всегда стараются начинать анализ с физи-
ческих фактов, чтобы перейти к нравственным фактам
индивидуальной жизни, которая гораздо сложнее, и, на-
конец, к общественной жизни, которая еще сложнее,
а общественную жизнь стараются рассмотреть по возмож-
ности в первоначальных ее явлениях, наименее сложных,
чтобы облегчить тем анализ чрезвычайно запутанных яв-
лений цивилизации наших стран.

Итак, начнем с процессов физической природы, на-
пример с окисления, которое, достигнув очень высокой
интенсивности, становится горением. Посмотрим, каким
образом этот процесс достигает степени горения сам по
себе, без всяких особенных обстоятельств, например
в дереве.

Ветер наломал огромную кучу высушенных деревьев. Под
влиянием сырости дерево начинает гнить (разлагаться
с поглощением кислорода). От этого процесса внутри кучи
температура все повышается и повышается, гниение все
усиливается с повышением температуры и мало-помалу
достигает той степени окисления, которая называется
брожением. Брожение усиливается, температура все воз-
вышается; наконец из середины кучи начинает идти гнилой
пар, — это значит, температура возвысилась до того, что
центр кучи начал сохнуть от собственного жара. Вот через
несколько времени вместе с паром из одних частей идет из
других уже дым, — центр кучи начал обугливаться. Мало-
помалу из черного угля образуется раскаленный, красный
уголь; масса раскаленного угля увеличивается, и, наконец,
в прилежащих к ней частях вспыхивает пламя.

Какая длинная постепенность, как много степеней!
1) проникновение сыростью; 2) гниение; 3) брожение;
4) просыхание; 5) образование черного угля; 6) превра-
щение черного в раскаленный; 7) появление пламени.
(Этот путь так длинен и труден, что мы не знаем, удава-
лось ли разным массам дерева достичь горения по такому
пути хоть пять или шесть раз от самого начала лесов на
земле до нашего времени.)

Каждая из этих степеней — логический момент в про-
цессе горения дерева. Сколько времени требует такой ход
процесса, мы не беремся решить, но, конечно, требует он

не одну и не две недели. Каково же было бы нам, людям, если бы каждый раз, когда нужно нам пламя, мы должны были бы ждать, пока успеем пропитать сыростью огромную массу дерева, потом она станет гнить, начнет бродить и т. д. Не только пришлось бы тогда роду человеческому вымереть всему, не отведав ни щей, ни супа, вымереть с отмерзлыми ушами и пальцами от первой суровой ночи, но и теперь при одном чтении нашего рассказа об этом процессе читателю приходится скучно и чуть ли не тошно от таких длиннейших рассуждений, ведущих — к чему? — к тривиальнейшему замечанию, что гораздо скорее поленья, положенные в печь, зажигаются прикосновением горячей спички или свечи к подложенной под них бумаге, бересте или лучине. «Неужели я нуждаюсь в доказательствах к подобным выводам?» — с гневом спрашивает читатель. Нет, вы не нуждаетесь, — спокойно отвечаю я, — но нуждаются в них ученые противники общинного владения, показывающие такую сообразительность в своих выводах, такую склонность не признавать тривиальнейших истин и науки и обыденной жизни, такую требовательность на доказательства этим трюизмам (как говорят англичане), такую способность понимать смысл самых яснейших фактов, что вот теперь мы принуждены объяснять им, какой смысл имеет тот очень мудреный факт, что спичка при помощи растопки очень быстро зажигает дрова, положенные в печь, а в следующих статьях будем объяснять, что иной человек умирает бездетным, после другого остается один сын, после третьего человек пять сыновей или больше, также объяснять и доказывать, что солнечные лучи согревают землю и т. д., и т. д. Вы скажете: «Глупо и говорить об этом». Совершенная правда. Но что же делать? Не изложи и не докажи мы всего этого подробно, ученые противники общинного владения сейчас закричат: «Мы не видим, на чем основаны ваши выводы!» и «Ваши выводы неосновательны!» Мы не лишены надежды, что по поводу общинного владения принуждены будем написать целую статью в доказательство существования желудка у человека, — сообразите, каково придется вам, читатель, тогда; утешьтесь же мыслью, что теперь, сравнительно говоря, ваше положение еще довольно сносно. Успокоив вас, продолжаем интересное рассуждение о месте, занимаемом фосфорною спичкою в области философского мирозерцания.

Эта фосфорная спичка даст нам следующие выводы:

1) Когда в одном теле известный процесс достиг высокой степени развития (спичка уже зажглась), то при помощи этого тела он может быть доведен до той же степени развития в другом теле гораздо скорее, нежели как достиг бы без помощи этого опередившего пособника (дрова в печи от нашей спички зажигаются скорее, нежели загорелись бы тогда, когда бы процесс окисления их остался без этого пособия).

2) Это ускорение совершается посредством соприкосновения (зажженная спичка прикладывается к лучине, а лучина положена подле поленьев).

3) Это ускорение состоит в том, что процесс прямо с первой степени пробегает к последней, не останавливаясь на средних (в одну секунду по приложению спички лучина уж производит из себя пламя, через одну минуту производят его и поленья).

4) Средние степени, через которые быстро пробегает процесс, вообще могут быть замечены только теоретическим наблюдением, а не практическим чувством (полено, загораясь от лучины, загоревшейся от спички, действительно несколько подвергается гниению, брожению и т. д., но спросите об этом у вашей кухарки — она никогда не замечала, чтобы сухие поленья, будучи подожжены, подвергались гниению и т. д. Она, напротив, видит, что они «как только подложишь огонь, в то же секунду» (простите неграмматичность ее языка) «так и вспыхнут». На философском языке это отношение выражается так: «не достигая реального осуществления (то есть имеющего практическую осязаемость), эти логические моменты развития не переходят за границы идеального или логического бытия».

5) Если же из быстро пробегаемых моментов некоторые и замечаются практическим ощущением (например, глаз кухарки замечает, что каждая наружная часть полена, прежде нежели даст пламя, несколько чернеет, то есть проходит степень черного обугления, предшествующего вспыхиванию), то они в общем итоге процесса составляют лишь самую ничтожнейшую часть (черные части дерева в каждую данную секунду по массе своей едва ли составляют и одну тысячную часть массы, находящейся в пламени, а по практическому значению своему в отношении к ощущениям и действиям, производимым топкою печи, играют еще менее важную роль, — они разве гомеопатической дозой участвуют в чувстве теплоты, осязаемой ку-

харкою, стоящею у печи, и в кипячении горшка щей, при- ставленного кухаркою к огню).

Эти выводы, столь новые в мире науки, мы изложили с возможною полнотою и с приведением элементов факта, из которых они извлечены нами. Мы опасаемся, что противники общинного владения закричат: «бездоказательно, неосновательно!» Мы желали бы предупредить их <справедливые> сомнения и вместо одного факта (зажигание печки спичкою) анализировать столь же ученым образом двадцать, тридцать столь же многотрудных для понимания фактов, например закваску теста посредством куска кислого теста или дрожжей, отбирание загнивших яблок от свежих, чтобы не испортились свежие, и т. д. Но нельзя же быть слишком предупредительными, наша статья и без того уже чересчур длинна. Читателю, вероятно, слишком довольно и одного анализа растапливания печки. Перейдем же от внешнего физического мира к человеческой индивидуальной жизни и посмотрим, как достигает человек сам собою, без посторонней помощи до употребления той же самой фосфорной спички.

Сначала человек не умеет не только зажигать огня, но и поддерживать зажженного: путешественники говорят о дикарях, которые, подобно обезьянам, любят греться у дерева, зажженного молнией, и горюют, когда оно начинает погасать, но не догадываются подбрасывать в огонь хворосту. Потом человек научается зажигать дерево трением двух кусков дерева — какое торжество для жизни! Но вот придумывают средство ускорять их вспыхивание, вставляя между ними кусок трута. Далее придумывают огниво и кладут на кремь трут. Но трут принимает искру не довольно верно и быстро, — в нем усиливают эту восприимчивость, пропитывая его селитрою. Теперь трут превосходит; но все еще сколько хлопот, чтобы из его тлеющего состояния извлечь пламя: надобно «придуть» его к угольку, потом «придуть» два уголька к лучинке, вложенной между ними. Но вот изобретена серная спичка, прямо сама вспыхивающая от прикосновения к труту: вновь какое великое торжество! Но огниво и кремь кажутся уже слишком хлопотливыми. Вот найдено средство облекать серный конец спички фосфором и упрочивать фосфор в атмосферной среде другими оболочками и примесями.

Какой длинный путь! Человеку нужно было не менее 7345 лет, чтобы пройти его. Каковы же теперь для каждого отдельного человека результаты того, что некоторые люди

дошли столь длинным и трудным процессом до употребления фосфорных спичек? Доставка возможности всем другим людям достичь того же самого, не мучась прохождением этого страшно длинного пути; и выводы для явлений индивидуальной человеческой жизни получаются те же самые, какие были прежде получены нами для явлений физического мира:

1) Когда известный процесс (напр[имер] способ добывания огня) достиг в известном человеке известной степени развития (например, употребления фосфорных спичек), достижение этой степени может быть чрезвычайно ускорено в других людях (именно теперь каким-нибудь дикарям, не умеющим зажигать огня, уже нет нужды тратить 7345 лет, чтобы достичь до фосфорных спичек — употреблению их каждый может выучиться в две секунды, а приготовлению в два часа).

2) Это ускорение совершается через сближение человека, которому нужно достичь высшей степени процесса, с человеком, уже достигшим ее (именно из Парижа человек с фосфорными спичками приезжает в Центральную Африку или дикарь из Центральной Африки в одно из селений, где уже есть фосфорные спички).

3) Это ускорение состоит в том, что процесс развития с чрезвычайной быстротой пробегает с низшей степени все средние до высшей. (Дикарям нет нужды учиться сначала употреблению огнива, потом употреблению серной спички, — они прямо берутся за фосфорную спичку.)

4) При этом ускорении процесса средние степени открываются только теорией, достигают только теоретического существования как логические моменты, почти не достигая или вовсе не достигая реального существования. (Дикари, умеющие теперь добывать огонь только трением двух кусков дерева, выучившись прямо употреблению фосфорных спичек, вообще будут знать только по рассказам, что прежде фосфорных спичек существовали серные, с кремнем и огнивом.)

5) Если же и достигают реального существования эти средние степени, опускаемые ускоренным ходом развития, то лишь в самом ничтожном размере по своей массе и еще в меньшем по практическому значению своей роли. (Очень может быть, что найдутся между дикарями чудачки, которые вздумают возиться с огнивом и серными спичками и тогда, когда выучатся употреблению фосфорных; но эта причуда будет разве у одного человека из десяти тысяч, да и тот будет возиться с огнивом и серными спичками лишь

от безделья и при безделье, а чуть встретится ему нужда работать или потребность быстро добыть огонь, он бросит свою причуду и черкнет по стене фосфорною спичкою.)

Читатель, не оскорбляйтесь этими длинными рассуждениями, имеющими целью доказывать истины столь же сомнительные, как и то, что человек видит предметы глазами, а не ушами, держит карты (когда играет в ералаш) руками, а не носом, и т. п.: из-за вопроса, доказываемого этими трюизмами, велись и ведутся ожесточенные споры, и, поверьте, мы действительно боимся, что о нас закричат: «Это неосновательно! Это бездоказательно!», когда мы в последних строках статьи выскажем смысл этих анализов философского значения фосфорных спичек и способа растапливать печь. Противники, если только предвидят этот смысл (они высказывают такую сообразительность, что мы не поручимся, предвидят ли они его), без сомнения, уже возмущаются духом и вопиют: «Мы этого не знаем, мы этому не верим! Вы говорите неосновательно, бездоказательно!»

Итак, в индивидуальной жизни средние моменты развития могут быть пропускаемы в реальном процессе известного явления, когда человек, в котором этот процесс стоит еще на низкой степени, сближается с человеком, в котором он достиг уже гораздо высшей степени.

Мы доказали это анализом процесса, принадлежащего к механической жизни. То же самое мы увидели бы в каждом другом явлении всякой другой сферы индивидуальной жизни.

Например, письмо, одна из первых основ умственного развития, идет следующим порядком: 1) изображаются самые предметы (на этом остановились мексиканцы); 2) их изображения сокращаются в иероглифы (на этом застает история египтян); 3) иероглифы сокращаются в идеографы (на этом остановились китайцы); 4) из идеографических знаков возникает алфавит, записывающий одну грубейшую часть звуков, согласные, с пропуском гласных (семитическая алфавитная система); 5) из семитического алфавита возникают наши европейские (греческая система, происшедшая из финикийской), в которых гласные звуки записываются наравне с согласными.

Скажите на милость, кому придет в голову, что когда европейцы примутся образовывать дикарей, вовсе не умеющих писать, то эти дикари сначала выучатся писать иероглифами, потом китайскими знаками, потом еврейскими

и, только уже прошедши все эти градации, могут начать писать по европейской системе?

Или в школах этих дикарей надобно будет преподавать географию сначала по гомеровской системе (Океан есть река, и Балтийское море одно и то же с Черным морем, а вся земля имеет вид тарелки), а потом доказывать, что земля совершенно правильный шар, и только потом уже открыть им, что это шарообразное тело — не совершенный шар, а несколько раздуто под экватором и сплюснуто в полюсах?

Мы выбирали такие примеры, которые относились преимущественно к индивидуальной жизни; но по чрезвычайно тесной связи между развитием индивидуума и развитием общества они в значительной степени касались и общественной жизни, например ее материальной обстановки (фосфорная спичка) и умственных успехов (письмо, преподавание наук). Теперь обратимся к таким явлениям, которые принадлежат уже преимущественно к общественной жизни, то есть могут осуществляться не иначе как по инстинктивному расположению или сознательному соглашению общества. Сюда относятся нравы, обычаи, законы и все так называемые общественные учреждения в обширном смысле слова.

Мы сказали, что явления, за анализ которых беремся, принадлежат собственно общественной жизни. Но общественная жизнь есть сумма индивидуальных жизней, и если в индивидуальной жизни процесс явлений может перебегать с низшего логического момента на высший, пропуская средние, то из этого уже очевидно, что мы должны ожидать встретить ту же возможность и в общественной жизни. Это простой математический вывод. В самом деле, пусть не сокращенный благоприятными обстоятельствами ход развития индивидуальной жизни будет выражаться прогрессиєю:

1. 2. 4. 8. 16. 32. 64.....

Пусть в этой прогрессии каждым членом обозначается известный момент не ускоренного благоприятными обстоятельствами развития.

Пусть общество состоит из A членов.

Тогда, очевидно, развитие общества выражается следующею прогрессиєю:

1A. 2A. 4A. 8A. 16A. 32A. 64A.....

Но мы видели, что ход индивидуальной жизни может перебегать с первой ступени прямо на третью или на четвертую или седьмую, и положим, что относительно из-

вестного понятия или факта он пошел по следующему ускоренному пути:

1. 4. 64.....

Тогда, очевидно, и ход общественной жизни относительно этого явления будет:

1А. 4А. 64А.....

Кажется, это ясно. Но противники общинного владения или притворяются незнающими, или действительно страдают незнанием самых первоначальных логических приемов; потому разъясним популярнейшим примером эту и без того ясную теорему.

Одно из общественных учреждений есть военная сила; один из элементов ее — вооружение. Не ускоренное обстоятельствами развитие вооружения таково:

1) обыкновенная дубина; 2) дубина получает каменное или металлическое острие, то есть переходит в копьё, которым или тыкают, держа его в руках, или бросают в неприятеля; 3) уменьшенное копьё последнего рода начинают бросать помощью тетивы, — получаются лук и стрела; 4) совершенствуясь, лук получает линейку с вырезкою для вкладывания стрелы, и образуется самострел; совершенствуясь, линейка с вырезкою превращается в трубочку с продольным разрезом для тетивы; 5) удар тетивы заменяется ударом пороха, лук отпадает, остается трубка, в которой разрез уничтожается, заменяясь затравкою, а стрела сокращается в пулю, — вот уже и ружье, но первоначально это ружье не имеет замка, а зажигается фитилем; 6) изобретается кремневый замок; 7) он заменяется пистонным замком; 8) в стволе ружья делаются нарезки — мы получаем охотничью винтовку; 9) охотничья винтовка не годится для войск, покуда не изобретены для нее особенные пули, — они изобретаются, и вот войско вооружается штуцером.

Вообразим себе, что в Новой Голландии живут еще племена дикарей, не знающих никакого оружия, кроме дубины. Вот открыты золотые россыпи; европейские авантюристы (со штуцерами) проникают в места, еще не посещавшиеся европейцами, и находят этих дикарей: спрашивается, понадобится ли этим дикарям переходить от дубины к копьё, от копьё к луку, от лука к самострелу, от самострела к фитильному ружью и т. д., если они прямо будут выменивать у европейцев штуцера?

Этим не кончилось дело.

С каждым родом вооружения соединены известные построения войска. Копьё, которое держится в руках, со-

здает фалангу; кремневому ружью соответствует сомкнутый строй; штуцеру — рассыпной строй.

Погодите, и этим еще не кончилось дело.

Различные построения требуют различных качеств от воина. Например, в сомкнутом строю солдат, прослуживший всего только один год, никуда не годится. В рассыпном строю он ничуть не хуже солдата, прожившего хотя бы полтора года лет в казармах.

Что же из этого следует? То, что у дикарей, о которых мы говорим, в существовании военной силы будет недоставать многих периодов, через которые прошла она в Европе.

Из нестройной дубино-махающей толпы их военная сила прямо обратится в милицию, подобно северо-американской. Они не будут знать ни казарм, ни регулярных войск, ни всего того, что соединено с этими учреждениями. А с этими учреждениями соединен весь тот порядок вещей, который произвел историю континентальной Европы от Карла VII французского и Карла V испанско-немецкого до вчерашнего дня. Из блаженного общественного быта лужичанских скифов и тацитовых германцев эти дикари перейдут прямо к блаженному быту, о котором мы с вами, читатель, можем только мечтать.

История, как бабушка, страшно любит младших внучат. *Tarde venientibus* дает она не *ossa*, а *medullam ossium*¹⁵, разбивая которые Западная Европа (так больно отбила) себе пальцы.

Но мы увлеклись в дифирамб, заговорили с читателем, — мы забыли, что должны беседовать с противниками общинного владения, то есть заниматься азбукою. Возвратимся же к азбучным понятиям.

Нас занимал вопрос: должно ли данное общественное явление проходить в действительной жизни каждого общества все логические моменты, или может при благоприятных обстоятельствах переходить с первой или второй степени развития прямо на пятую или шестую, пропуская средние, как это бывает в явлениях индивидуальной жизни и в процессах физической природы?

Единство законов во всех сферах бытия, зависимость общественной жизни от индивидуальной, математические формулы — все заставляет решать эту задачу утвердительным образом каждого, имеющего хотя какое-нибудь понятие об истории или современной философии, или хотя

о Гегеле * или даже хотя о Шеллинге, или даже хотя о здравом смысле; совершенная достаточность даже одного последнего качества для разрешения задачи, вероятно, с достаточной ясностью окажется из следующих вопросов:

Низшая форма религии, фетишизм, не знает вражды к иноверцам. Но другие языческие формы религии более или менее наклонны к преследованиям за веру. Грубые народы новой Европы также имели инквизицию. Только в последнее время европейская цивилизация достигла того высшего понятия, что преследование иноверцев противно учению Христа. Спрашивается теперь: когда какой-нибудь народ, погрязавший в грубом фетишизме, просвещается христианством, введет ли он у себя инквизицию или может обойтись без нее? Надобно ли желать и можно ли надеяться, что у этого народа прямо водворится терпимость или он начнет воздвигать костры, и эта средняя степень так необходима в его развитии, что напрасно и удерживать его от гонений на иноверцев?

Какой-нибудь народ, живущий в племенном быте, основные черты которого самоуправление (self-government) и федерация, принимает европейскую цивилизацию; спрашивается, примутся ли у него прямо высшие черты этой цивилизации, столь сродные его прежнему быту, или он неизбежно введет у себя бюрократию и другие прелести XVII века?

Этот народ, не имея ни фабрик, ни заводов, не имел и понятия о протекционной системе; спрашивается, необходимо ли ему вводить у себя протекционизм, через который прошла и от которого отказалась европейская цивилизация?

Число таких вопросов можно было бы увеличить до бесконечности; но кажется, что и сделанных нами уже достаточно для получения полного убеждения в необходимости применять к явлениям общественной жизни все те выгоды, какие нашли мы прилагающимися к явлениям индивидуальной жизни и материальной природы. Не доверяя ни сообразительности, ни памяти противников общинного владения, мы повторим в третий раз эти выводы, чтобы хотя сколько-нибудь впечатлелись они в мысли

* Гегель положительно говорит, что средние логические моменты чаще всего не достигают объективного бытия, оставаясь только логическими моментами. Довольно того, что известный средний момент достиг бытия где-нибудь и когда-нибудь, этим избавляется процесс развития во всех других временах и местах от необходимости доводить его до действительного осуществления, прямо говорит Гегель.

этих ученых людей, и по правилу первоначального преподавания опять-таки к каждому выводу присоединим ссылку на ту черту факта, представителем которой служит вывод. Черты эти мы будем брать из последнего вопроса, для большей определенности применив его хотя к новозеландцам, с которыми нячнутся англичане*.

1. Когда известное общественное явление в известном народе достигло высокой степени развития, ход его до этой степени в другом, отставшем народе может совершиться гораздо быстрее, нежели как совершался у передового народа. (Англичанам нужно было более нежели 1500 лет цивилизованной жизни, чтобы достичь до системы свободной торговли. Новозеландцы, конечно, не потратят на это столько времени.)

2. Это ускорение совершается через сближение отставшего народа с передовым. (Англичане приезжают в Новую Зеландию.)

3. Это ускорение состоит в том, что у отставшего народа развитие известного общественного явления благодаря влиянию передового народа прямо с низшей степени нерескакивает на высшую, минуя средние степени. (Под влиянием англичан новозеландцы прямо от той свободной торговли, которая существует у дикарей, переходят к принятию политико-экономических понятий о том, что свободная торговля — наилучшее средство к оживлению их промышленной деятельности, минуя протекционную систему, которая некогда казалась англичанам необходимостью для поддержки промышленной деятельности.)

4. При таком ускоренном ходе развития средние степени, пропускаемые жизнью народа, бывшего отсталым и пользующегося опытностью и наукою передового народа, достигают только теоретического бытия как логические моменты, не осуществляясь фактами действительности. (Новозеландцы только из книг будут знать о существовании протекционной системы, а к делу она у них не будет применена.)

5. Если же эти средние степени достигают и реального осуществления, то разве только самого ничтожного по

* На север от Франции лежат два большие острова, которые вместе составляют Соединенное королевство Великобритании и Ирландии. Юго-восточная часть восточного острова называется Англиею, а жители ее — англичанами. Новою Зеландиею называется группа из двух больших островов, лежащих не очень далеко от Новой Голландии, иначе называемой Австралией. Противники общинного владения выказывали такую сообразительность, что мы считаем не лишним пояснить употребленные нами собственные имена.

размеру и еще более ничтожного по отношению к важности для практической жизни. (Люди с эксцентрическими наклонностями существуют и в Новой Зеландии, как повсюду; из них некоторым, вероятно, вздумается быть приверженцами протекционной системы; но таких людей будет один на тысячу или на десять тысяч человек в новозеландском обществе, и остальные будут называть их чужаками, а их мнение не будет иметь никакого веса при решении вопросов о заграничной торговле.)

Сколько нам кажется, эти выводы довольно просты и ясны, так что, может быть, не превысят разумения тех людей, для которых писана наша статья.

Итак, два печатные листа привели нас к двум заключениям, которые для читателя, сколько-нибудь знакомого с понятиями современной науки, достаточно было бы выразить в шести строках:

1. Высшая степень развития по форме совпадает с его началом.

2. Под влиянием высокого развития, которого известное явление общественной жизни достигло у передовых народов, это явление может у других народов развиваться очень быстро, подниматься с низшей степени прямо на высшую, минуя средние логические моменты.

Какой скудный результат рассуждений, занявших целые два печатные листа! Читатель, который не лишен хотя некоторой образованности и хотя некоторой сообразительности, скажет, что довольно было просто высказать эти основания, столь же несомненные до тривиальности, как, например, впадение Дуная в Черное море, Волги — в Каспийское, холодный климат Шпицбергена и жаркий климат острова Суматры и т. д. Доказывать подобные вещи в книге, назначенной для грамотных людей, неприлично.

Совершенно так. Доказывать и объяснять подобные истины неприлично. Но что же вы станете делать, когда отвергаются заключения, выводимые из этих истин, или когда вам сотни раз с самодовольством повторяют будто непобедимое возражение какую-нибудь дикую мысль, которая может держаться в голове только по забвению или незнанию какой-нибудь азбучной истины?

Например, вы говорите: «Общинное владение землею должно быть удержано в России». Вам с победоносной отвагой возражают: «Но общинное владение есть первобытная форма, а частная поземельная собственность явилась после, следовательно, она есть более высокая форма поземельных отношений». Помилосердуйте о себе, господа

возражатели, помилосердитесь о своей ученой репутации: ведь именно потому, *именно потому*, именно потому, что общинное владение есть первобытная форма, и надобно думать, что высшему периоду развития поземельных отношений нельзя обойтись без этой формы.

О том, как сильно налегали противники общинного владения на первобытность его, мы уже говорили в начале статьи. Можно предполагать, что теперь они увидели, как странно поступали, и поймут, что та самая черта, которую они воображали свидетельствующую против общинного владения, чрезвычайно сильно свидетельствует за него. Но арсенал их философских возражений еще не истощен. Они с такою же силою налегают и на следующую мысль: «Какова бы ни была будущность общинного владения, хотя бы и справедливо было, что оно составляет форму поземельных отношений, свойственную периоду высшего развития, нежели тот, формой которого является частная собственность, все-таки не подлежит сомнению, что частная собственность составляет средний момент развития между этими двумя периодами общинного владения; от первого перейти к третьему нельзя, не прошедши второе. Итак, напрасно думают русские приверженцы общинного владения, что оно может быть удержано в России. Россия должна пройти через период частной поземельной собственности, которая представляется неизбежным средним звеном».

Этот силлогизм постоянно следовал за их фразами о первобытности как черте, свидетельствующей против общинного владения. Он также выставлялся непобедимым аргументом против нас. Теперь люди, прибегавшие к нему, могут судить сами о том, до какой степени он сообразен с фактами и здравым смыслом.

Кончив дело с предубеждениями против общинного владения, вытекавшими из непонимания, забвения или незнания общих философских принципов, мы в следующий раз займемся теми предубеждениями, которые вытекают из непонимания, забвения или незнания общих истин, относящихся к материальной деятельности человека, к производству, труду и общим его законам. Теперь мы говорили о сообразительности философствующих мудрецов. В следующий раз будем говорить о той же способности экономизирующих мудрецов¹⁶.

Если вы читатель, так счастливы, что не занимались обучением малолетних детей грамоте, вы теперь, пробежав нашу статью, писанную не для вас, человека с обыкновен-

ным запасом сведений, а для мудрецов, изучавших досконально кто Шеллинга, кто Гегеля, кто Адама Смита, — если вы не были учителем приходского училища, то, пробежав эту статью, можете чувствовать, как утомительна, тяжела обязанность этого бедного труженика. Согласитесь, редко приходилось вам испытывать такую страшную скуку, какая производится чтением нашей статьи, весь характер которой выражается такою формулою:

бе — а ба, бе — а ба, баба.

Повторим еще. Это что? — б. А это? — а. Что же выходит? — ба. А это? — тоже б. А это? — тоже а. Что же выходит? — тоже ба. Ну, что же выходит, если сложить вместе? — баба.

Повторим еще:

бе — а ба, бе — а ба, баба.

Повторим еще... и т. д.

Вам было скучно, а ведь вы пробежали статью в полчаса; судите же, каково было нам, писавшим ее, — ведь мы просидели за нею целых три дня.

Но как бедный труженик, приходский учитель, подкрепляет свои силы мыслью о высоком и великом значении своего утомительного дела, так подкреплялись и мы, припоминая, какое важное значение для прояснения всего взгляда на мир имеют трюизмы, изложением которых мы занимались. Они да еще с десяток других подобных трюизмов —

Вот Гегель, вот книжная мудрость.

Вот смысл философии всей ¹⁷

Первый наш трюизм — не судите о нем легко: вечная смена форм, вечное отвержение формы, порожденной известным содержанием или стремлением вследствие усиления того же стремления, высшего развития того же содержания, — кто понял этот великий, вечный, повсеместный закон, кто приучился применять его ко всякому явлению, о, как спокойно призывает он шансы, которыми смущаются другие! Повторяя за поэтом:

Ich hab', mein Sach' auf Nichts gestellt,
Und mir gehört die ganze Welt ¹⁸, —

он не жалеет ни о чем, отживающем свое время, и говорит: «пусть будет, что будет, а будет в конце концов все-таки на нашей улице праздник!»

А второй принцип — о, второй принцип чуть ли не интереснее даже первого. Как забавны для человека, постигшего этот принцип, все толки о <неизбежности того или другого зла, о необходимости нам тысячу лет пить горькую чашу, которую пили другие: да ведь она выпита другими, чего же нам-то пить? Их опыт научил нас, их содействие помогает нам приготовить новое питье, повкуснее и поздоровее.> Все, чего добились другие, — готовое наследие нам. Не мы трудились над изобретением железных дорог, — мы пользуемся ими.

<Не мы боролись с средневековым устройством, но когда падает оно у других, не продержится оно и у нас: ведь мы же в Европе живем, этого довольно, — все хорошее, что сделано каким бы то ни было передовым народом для себя, на три четверти подготовлено уже тем самым и для нас: надобно только узнать, что и как сделано, надо понять пользу, и тогда все будет легко.>

Нас давит времени рука,
Нас изнуряет труд.
Всесилен случай, жизнь хрупка, —
Но то, что жизнью взято раз,
Не в силах рок отнять у нас ¹⁹.

Г. ЧИЧЕРИН КАК ПУБЛИЦИСТ

Очерки Англии и Франции, *Б. Чичерина*. Москва, 1858

Недавно как-то мы отважились изложить мысль необычайно новую и странную: если человек, до пятидесяти лет бывший низким обманщиком и злодеем, попавшись в неожиданную беду, призывает к себе честных людей и говорит: «спасите меня, я буду вашим верным другом», и если честные люди поверят ему, а потом, вывернувшись из беды при их помощи, он начнет куралесить хуже прежнего, причем даст на орехи и своим избавителям, то они сами виноваты в том, что потерпят от него, — зачем было им верить обещанию низкого обманщика? Проницательные люди немедленно сообразили, что мы восстаем против честности и защищаем обманщиков; сообразив это, проницательные люди все поголовно вознегодовали на нашу безнравственность, низость и обскурантизм; проникшись негодованием, они стали выражать его самым благородным и энергическим образом, и словесно, и в письмах, адресованных на наше имя. Мы увидели необходимость принести публичное раскаяние в нашем преступлении и в следующей книжке журнала написали: «Мы совершенно заблуждались, говоря, что словам обманщиков не следует верить; мы должны были только сказать, что злодеи должны подвергаться уголовным наказаниям, и тот, кто по своему излишнему доверию к их словам остановит совершение правосудия над такими людьми, вредит сам себе и целому обществу». Из этих слов проницательные люди немедленно убедились, что мы действительно раскаиваемся в своей прошлой ошибке и смиряемся перед их удивительной проницательностью. Тогда они с удовольствием стали потирать себе руки, говоря: «Ну вот, мы вывели вас опять на прямую дорогу, с которой вы было сбились». — «Правда, точно так», — отвечали мы. Проницательные люди смягчились и даже простили нам прежнюю нашу ошибку за чистосердечное наше раскаяние.

Но увы! Мудрейший из мудрых погрешает семь раз в день; как же нам, обыкновенным смертным, было спастись от нового падения? В то самое время, как мы искренним покаянием искупали один проступок, мы совершали другой, не менее тяжкий: по неразумному легкомыслию мы проговорились о тех чувствах, какие внушает нам восхитительное зрелище подвигов нашей литературы за прошлый год. Проницательные люди опять-таки не замедлили понять истинный смысл нашего грустного сарказма. Мы говорили, что литература едва-едва, да и то спотыкаясь на каждом шагу, плелась вслед за «вялыми обскурантами, не видевшими», куда они идут, но желающими по возможности итти назад, и в этом шествии получила несколько изрядных пинков; проницательные люди тотчас сообразили, что мы не желаем добра литературе. Мы говорили, что обсуждение важных вопросов, умалчивающее о существенной стороне их, касающееся только мелочей, да и то с какою-то вялою слабостью, никак не может назваться удовлетворительным обсуждением, ничего не разъясняет, ни к чему, кроме пошлостей и нелепостей, не приводит; проницательные люди тотчас сообразили, что мы не сочувствуем свободе печатного слова (термин «гласность» мы не решаемся употреблять, — до того он опошлится). Был в наших словах и тот смысл, что каково бы, наконец, ни было безотносительное достоинство советов и объяснений, печего ожидать от них никакой пользы делу, когда советников и объяснителей просто считают злонамеренными, презирают их, гнушаются ими; проницательные люди тотчас же поняли, в чем дело, и сильно обиделись: они сообразили, что мы уважаем их менее, нежели людей, чувства которых избличали перед ними; они сообразили также, что мы хвалим обскурантов и глупцов, и вознегодовали на нас.

Как вы полагали, читатель: можно ли было ожидать, чтобы люди умные, ученые и отчасти знаменитые оказались одаренными такою проницательностью?

Но к чему это предисловие? А хотя бы на первый раз к тому, чтобы доказать необходимость еще другого предисловия.

Мы хотим быть строгими к г. Чичерину. Для вас, читатель, для вас, человек обыкновенный, не одаренный изумительною проницательностью, причины строгости ясны сами по себе, без всяких объяснений. Г. Чичерин пользуется громкою известностью, а люди, пользующиеся известностью, должны быть разбираемы строго; когда речь

идет о них, общественная польза требует не комплиментов, а серьезной критики. Г. Чичерин человек умный и ученый. От умного и ученого человека надобно требовать многого; если он говорит пустяки, его можно по всей справедливости упрекать за это, — снисходительность, на которую имеют право простяки, была бы относительно его неуместна. Это все ясно для вас, читатель, для вас, человек с обыкновенным здравым смыслом. Вы сами догадались бы, что мы строги к г. Чичерину потому, что он знаменитость, и успокоились бы на этом и не осудили бы нас за строгость порицания, если бы оказалось, что порицание основательно.

Но люди проницательные тотчас сообразят, что с этими простыми причинами не следует ограничиваться их догадливости. Г. Чичерин — знаменитость, стало быть, если его порицают, то порицают по каким-нибудь личным расчетам; ведь без особенных личных побуждений нельзя порицать знаменитостей, по мнению проницательных людей. И они нападут на нас за г. Чичерина с таким же восхитительным негодованием, как за Поэрио и за статью о прошлогодней литературе².

Нечего делать, надобно покаяться перед проницательными людьми, от догадливости которых никогда не утаишь самых сокровенных своих мыслей! Да, наша строгость к г. Чичерину происходит из личных побуждений. Каковы эти побуждения, мы должны объяснить, — не ради вас, читатель, человек обыкновенный, а ради людей проницательных.

Г. Чичерин считает себя непогрешительным мудрецом. Он все обдумал, все взвесил, все решил. Он выше всяких заблуждений. Этого мало. Он один имеет эту привилегию на мудрую непогрешительность. Кто пишет не так, как приказывает он, тот человек вредный для России. Он приказывает смотреть на все его глазами, говорить обо всем в его тоне под страхом политической казни. Если вы осмелитесь заметить ему, что он напрасно принял на себя труд приказывать и наказывать, он пожимает плечами и отвечает вам: «Вы, друг мой, человек прекрасной души, но вы глупы. Я один понимаю вещи, вы все ничего не смыслите; слушайте, слабоумные друзья мои, меня, единственного умного человека между вами».

Из этого факта родилась наша статья. Без этого факта не только быть строгими к г. Чичерину, но и говорить о нем мы не захотели бы, потому что не стоило бы труда разбирать его книгу. Положим, что она наполнена стран-

ными понятиями, но мало ли у нас книг, наполненных странными понятиями? Почему же именно ему мы стали бы вменять в упрек то, в чем столько же виноваты десятки других писателей, также пользующихся известностью умных и ученых людей? Его книга не хуже многих других, так пусть бы оставался он с своим авторитетом, довольно безвредным по ограниченности круга людей, имеющих охоту соглашаться с ним.

Но он взял на себя высокомерие приказывать и наказывать, он взял на себя высокомерие объявлять вредными людьми или глупцами тех, кто не покоряется ему, а это уже другое дело. Надобно посмотреть, что это такой за мудрец и владыка появился между нами. Он предписывает нам, какие понятия должны мы иметь. Посмотрим, имеет ли он сам понятие о том, чему учить взялся нас.

Во-первых, он учит, каков должен быть публицист. Это любопытно. Кстати же, он и сам публицист. Посмотрим, как понимает он дело, за которое взялся:

«Когда вследствие исторических обстоятельств один из существенных элементов государства развивается в ущерб другим, тогда общественное мнение, чувствуя невыгоды исключительного направления, естественно влечется в противоположную сторону. Редко при этом сохраняется должное чувство меры. Болезненный опыт, ежечасно ощущаемый гнет делают более живыми представления о темных сторонах известного порядка и заставляют забывать его существенные и благие последствия. Общественное мнение, заходя за пределы разумных требований, идет к полному отрицанию тяготеющего над ним элемента. Так при анархическом разгуле свободы общество воздвигает над собою власть, которая стесняет деятельность граждан даже в самых умеренных ее проявлениях, и, наоборот, когда рука сдерживающей власти чувствуется слишком сильно, общество естественно видит себе спасение только в возможно большем ограничении ведомства правительственных органов.

Публицист, который не старается льстить современному увлечению умов, который имеет в виду не успех, основанный на поклонении современному кумиру, а беспристрастное исследование истинных начал общежития, не должен подчиняться подобным требованиям. Он за случайными не забывает существенного, злоупотребления не скрывают от него благих начал, на которых основывается то или другое учреждение. И взгляд свой, добытый внимательным изучением истории современной жизни, он обязан высказать прямо и откровенно, хотя бы он противоречил временному настроению общества.

Могут говорить о так называемых практических целях, о необходимости ярче выставить недостающую сторону общежития и не дать противоположному мнению орудия, которое может быть употреблено во зло. Не думаю, чтобы практические цели должны были вести к намеренному искажению истины. Известный порядок можно исправить не утаением существенных его сторон, не старанием наложить слишком густые краски на невыгодные его последствия, а разумным его пониманием и беспристрастным исследованием естественных его границ. Одностороннее отрицание ведет со стороны противоположного начала к отрица-

нию столь же одностороннему. Вместо правильного развития, основанного на взаимном понимании, на взаимном уважении различных общественных сил, в обществе водворяется борьба, и чем резче высказываются каждое направление, чем более оно вдается в крайности, тем упорнее взаимное недоброжелательство, тем болезненнее столкновения, тем более жертв и страданий в общественном организме. Повинуясь безусловно временному влечению, общество быстро приходит к разочарованию; слышком напряженные силы преждевременно ослабевают, и люди с грустью окидывают взором свое прошедшее, жалея о неудавшихся попытках, об утраченных силах, об обманутых надеждах». (Предисловие, стр. IX и X).

Все это будет совершенно верно, если вместо слова публицист поставим слово ученый: мы часто слыхивали, что главным достоинством ученого должно быть служение науке, не поддающейся минутным увлечениям общественного мнения. Но в этом ли должно состоять главное качество публициста? На его ли специальной обязанности лежит исследование истинных начал общества? Нет, он выражает и поясняет те потребности, которыми занято общество в данную минуту. Служение отвлеченной науке не его дело; он не профессор, а трибун или адвокат. Г. Чичерин не имеет понятия о качествах той роли, какую берет на себя. Он не замечает, что публицист, воображающий себя профессором, так же странен, как профессор, воображающий себя фельетонистом.

В каждом человеке, для которого главное дело — живые люди, а не отвлеченная наука, главным качеством должна быть способность понимать, в каком положении находится его публика, его слушатели или читатели. Если он начнет проповедывать истины, которые вовсе не относятся к его слушателям, он будет смешон. Лениность — дурной порок; но предположим, что в Англии или в Северной Америке является господин, начинающий ораторствовать против лениности: он будет нелеп, потому что из его слушателей, вся жизнь которых — неутомимая деятельность, ни один не нуждается в предостережениях против лениности. Но еще смешнее, когда оратор начинает предостерегать от исключительного увлечения каким-нибудь хорошим качеством, которое едва-едва, самым слабым образом начинает возникать в его слушателях. Что мы подумали бы о человеке, который стал бы говорить о вреде исключительного пристрастия к общественной тишине в кругу нынешних мексиканцев, каждый год сочиняющих по три революции? Отвлеченные истины могут быть уместны в ученом трактате, но слова публициста должны прежде всего сообразоваться с живыми потребностями

известного общества в данную минуту. Что же мы слышим от г. Чичерина? Он предостерегает нас от одностороннего увлечения каким-то отрицанием чего-то будто бы хорошего, существующего у нас, — чего именно, предоставляем читателю отыскать в отрывке, нами выписанном из него. Вероятно, наше общество страдает необыкновенною живостью и силою чувств, кажущихся г. Чичерину вредными. Вероятно, мы похожи на каких-нибудь северо-американцев, не признающих никакого вмешательства центральной власти в их дела? Вероятно, большинство читателей г. Чичерина ужасные анархисты, которым надобно проповедывать о необходимости некоторого сохранения государственной власти, совершенно ими отвергаемой? (Г. Чичерин русскому обществу проповедует о повиновении властям, — не значит ли это совершенно не понимать характера и положения людей, с которыми имеешь дело?) Кажется, (он) был бы готов доказывать готтентотам вред одностороннего увлечения учеными занятиями, доказывать рыбам опасность излишней болтливости, предостерегать белого медведя от пристрастия к тропическому климату.

Мы не сомневаемся в том, что г. Чичерин проникнут прекраснейшими намерениями, но нас изумляет прелестный такт, с которым он берется за дело, — изумляет верность его взгляда на коренные недостатки нашего общества. Он пишет по-русски, и ему кажется нужным объяснять, что он не намерен потворствовать анархическим стремлениям. Ему кажется, будто наше общество до излишества живо чувствует вредную сторону принципов, господствующих в нем. Мы, видите ли, страдаем избытком одностороннего отрицания, и нас надобно предостерегать от расположения к борьбе, к упорству в столкновениях. Странное понятие о нашем обществе!

Для публициста, кроме знания потребностей общества, нужно также понимание форм, по которым движется общественный прогресс. До сих пор история не представляла ни одного примера, когда успех получался бы без борьбы. Но, по мнению г. Чичерина, борьба вредна. До сих пор мы знали, что крайность может быть побеждаема только другою крайностью, что без напряжения сил нельзя одолеть сильного врага; по мнению г. Чичерина, следует избегать напряжения сил: он не знает, что, одержав победу, войско всегда бывает утомлено и что если оно боится утомления, то незачем ему выходить в поле.

Еще одно любопытное понятие. Г. Чичерин говорит об искажении истины в угодность современному кумиру

общественного мнения. Боже ты мой милостивый! Мы, русские писатели, по мнению г. Чичерина, можем искажать истину из раболепства перед общественным мнением! В каком удивительном положении он видит нас! Читатель! Знали ли вы до сих пор, кто заставляет меня часто лгать перед вами? Вы сами, читатель. Я, видите ли, мог бы говорить с вами обо всем, что хочу и как хочу, но вы, читатель, связываете мне язык вашим деспотизмом. Нет, книга г. Чичерина написана не по-русски, издана не в Москве: он, вероятно, имел в виду северо-американскую публику, которая делает все, что хочет, и заставляет всех преклоняться перед своею волею. Надобно полагать, что г. Чичерину нужен был необыкновенный запас мужества, чтобы защищать бюрократию и централизацию, эти драгоценности, совершенно изгнанные из нашего общества и беспощадно преследуемые в нем. Надобно предполагать, что он писал для общества, над которым владычествуют ультрареспубликанцы, сажающие в тюрьму каждого, кто замолвит слово в пользу монархического порядка.

Итак, главный порок нашего общества состоит в том, что оно слишком страстно, слишком непреклонно, слишком круто проводит свои стремления, <противные к существующему порядку,> и публицист, пишущий по-русски, обязан говорить нам, что мы должны соблюдать умеренность в борьбе, которую ведем так энергически. <Мы теперь заняты беспощадным разрушением всего существовавшего порядка, и> надобно публицисту вразумлять нас, чтобы мы оставили хотя какие-нибудь следы старинных наших учреждений; главное, чего должен остерегаться публицист, это — потворства «современному кумиру нашего временного увлечения». Изумительно, изумительно!

«Из всего предыдущего выходит, что публицист должен становиться на точку зрения беспристрастного наблюдателя, который изучает историю и современную жизнь во всей их многосторонности, не исключая и не осуждая безусловно ни одного из элементов, входящих в их состав. Такое требование, выраженное в виде общей формулы, конечно, не встретит возражений; но пельная скрывать от себя, что как скоро дело доходит до частных, так неизбежны не только разногласия, но и прямые уклонения от принятого начала. Людям, которые увлечены известным направлением или слишком живо ощущают на себе бремя общественных недостатков, не нравятся всякое слово, сказанное в пользу того, что болезненно на них отзывается. Признавая в теории необходимость беспристрастного воззрения, они рошут на него, когда оно является перед ними в осязательной форме. Это можно ожидать в особенности у нас, где гражданская жизнь мало развита и общественные вопросы до сих пор не обсуждались гласно. Мы не привыкли еще обозревать их с различных сторон; мы даже не умеем еще подмечать в суждениях меру и границы.

Слыша похвалу или порицание, мы склонны считать их за выражение мнения безусловного и не обращаем внимания на то, что они высказываются в известных пределах, при известных обстоятельствах. Еще хуже, когда эта непривычка к теоретическим приемам соединяется с недостатком общественной деятельности. Практические столкновения лучше всего показывают естественные границы того или другого общественного начала и необходимость восполнить одно другим. Там, где граждане не принимают живого участия в общественных делах, неизбежно господствует односторонность взглядов, и это ведет иногда к прискорбным явлениям. Нет ничего печальнее общества, которое, чувствуя себя не в силах исправить гнетущее его зло, тратит время в бесплодных воздыханиях, в ожесточенной критике, которое, оставаясь в бездействии, ожидает, чтобы чужая рука сняла тяготеющее над ним бремя. Общество, которое хочет что-нибудь сделать, должно глядеть на вещи прямо и трезво. Первый признак разумной силы есть спокойствие, а спокойствие ведет к ясному и всестороннему пониманию жизненных явлений, без прикрас, без утайки и без раздражения». (Предисловие, стр. XVIII, XIX и XX.)

На все это объяснение в пользу беспристрастия мы будем отвечать только сближением двух мыслей самого г. Чичерина. Он советует нашему обществу иметь всесторонний взгляд, чуждый раздражения, а между тем сам говорит, что в нем «неизбежно» должна господствовать односторонность взглядов. Не бесполезен ли совет удерживаться от того, что неизбежно? И если кто-нибудь станет советовать человеку не быть раздраженным, когда сам признает раздражение неизбежным, не показывает ли он своим советом, что лишен способности понимать условия действительной жизни? Очень жаль, что эти советы не обращены, например, к французам, сардинцам и австрийцам: они ведут войну³, в войне неизбежны сражения, в сражениях неизбежны выстрелы; но мы думали бы посоветовать им, чтобы они сражались, не стреляя из пушек. Дело другое, если вы советуете им кончить войну и разойтись по домам; но нет, г. Чичерин не против развития, он только хочет, чтобы развитие совершалось бесстрастным образом, по рецепту спокойствия и всесторонности. К сожалению, этого никогда не бывало. Человека душит разбойник, и по рецепту г. Чичерина этот человек в то самое время, когда старается отбиться от разбойника, должен спокойно рассуждать о том, что разбойник возникает из исторической необходимости, имеет историческое право существования; что великая Римская империя была основана разбойниками; что если должно уважать римское право, то должно уважать и разбойников, без которых его не было бы,— помилуйте, до того ли человеку, чтобы поминать обо всех этих прекрасных вещах!

Из этих советов быть холодным, бесстрастным, подавлять в себе всякое раздражение мы заключаем, что г. Чичерин знает только, как пишутся ученые книги, но не знает, какими силами развивается общественная жизнь. Он думает быть публицистом, но является школьным учителем, у которого главная забота та, чтобы ученики смиренно сидели по своим местам и слушали его наставления. Первым делом у него выставляется то, чтобы общество отказалось от всяких живых чувств из боязни нарушить теоретическое бесстрастие.

Мы думаем, что г. Чичерин напрасно взялся быть публицистом, если нет у него в груди живого сердца. Нам кажется, что в нем слишком сильна склонность к схоластике. Быть может, мы ошибаемся, и дай бог, чтобы мы ошиблись; но нам кажется, что живой человек при нынешнем положении нашего общества не вздумал бы говорить против «мечтательных отрицателей существующего порядка», против «слишком отважных нововводителей», против «болезненного нетерпения». Быть может, в этих неуместных усилиях подавить то, что, право, вовсе не нуждается в подавлении со стороны г. Чичерина, виновата не натура его, а случайная односторонность его развития; но как бы то ни было, г. Чичерин в настоящее время решительно не понимает, какому обществу он дает свои советы, не умеет судить о том, что уместно и что неуместно в статьях, имеющих претензию руководить нашею общественною жизнью. Только человек, одержимый схоластикою, может воображать, что русскому публицисту надобно быть защитником бюрократии.

Но если г. Чичерин неспособен теперь быть публицистом, которому нужно живое сочувствие к современным потребностям общества, то, быть может, он имеет качества, нужные для школьного учителя. Будем сидеть смиренно по его приказанию и слушать его лекции. Обязывая школьников сидеть смиренно, школьный учитель сам обязан по крайней мере быть порядочно знаком с тем предметом, о котором читает он лекцию. Главные предметы в лекциях г. Чичерина: демократия, централизация и бюрократия. Посмотрим, какое понятие он имеет об этих вещах.

«...относительно гражданского устройства и управления абсолютизм и демократия именно потому и сходятся между собой, что в этой сфере прочнее всего утвердились результаты всей новейшей истории Западной Европы, независимо от бореия партий, независимо от того, куда переносится источник власти. Уничтожение самостоятельных союзов, корню-

рациональных прав, сословных привилегий, вообще уничтожение средневековых форм жизни, основанных на дробности общественного быта, и создание единого государственного тела — вот великое дело, начало которому положили абсолютные государи и которое преемственно перешло и к новой демократии. В этой системе народ представляет единую, естественно расчленяющуюся массу, в которой ни одна часть искусственным образом не перевешивает другой, в которой ни один член не вытягивает из другого жизненных соков. Государственные учреждения с целою системою чиновников составляют общую связь этого тела, общее его строение, по которому совершаются его общественные отправления, а централизация сводит это устройство к единству, установляя центральный пункт, от которого исходит и к которому притекает правительственное движение. Конечно, и здесь могут быть невыгодные стороны, злоупотребления; не оживленная народным духом, эта форма может превратиться в мертвую машину. Но что касается до самой сущности этих установлений, то нет сомнения, что они придают народной жизни такое единство, какого бы она без того никогда не имела. В ней создается общая среда, господствующая над всеми частными стремлениями и интересами; в ней чувствуется единое биение пульса, разливающего кровь по всем членам, и вместе с тем каждая часть свободно занимает то место, к которому она тяготеет по своей природе. Народ перестает быть собранием разнородных частей; он делается общественною единицею, он становится особою, которая живет единою жизнью» (стр. 7 и 8).

В дополнение к этому месту приведем еще следующее:

«Демократические начала проникают и во внутреннее управление Англии. Здесь они являются в виде усиления центральной власти на счет местных. Независимость последних основана на преобладании аристократического элемента в государстве. Поэтому все меры, которые клонятся к уменьшению их значения, к замене даровых должностей, замещаемых богатыми землевладельцами, бюрократиею, доступною всем и каждому, ведут вместе с тем к уничтожению общественного неравенства и преобладанию одного элемента над другим. Конечно, успехи централизации и бюрократии в Англии чрезвычайно медленны; однако они не подлежат сомнению. В течение последнего двадцатипятилетия очевидные злоупотребления показали необходимость преобразовать и подчинить высшему правительству управление общественным призреанием, поставить под надзор центральной власти медицинскую полицию, тюрьмы, воспитательные заведения, наконец в недавнее время и самую полицию городов. Каждый новый закон об администрации, представляемый парламенту, имеет целью усилить центральную власть. Правда, это стремление встречает себе сильное противодействие, но тем не менее оно существует как в правительстве, так и в народе. Вопрос о бюрократии поднят был в последнее время с особенною силою. Война выказала в ярком свете недостатки управления, основанного на привилегиях одного сословия. В то самое время, как раздалась вопли общественного мнения по случаю действий английской армии в Крыму, составила лига в пользу административной реформы. Цель ее — уничтожить в управлении преобладание аристократии и сделать его доступным способностям и талантам, в какой бы сфере они ни проявлялись. Сами государственные люди Англии признают в некоторой степени необходимость преобразования, вследствие чего этот вопрос стоит теперь на первом плане в делах внутренней политики» (стр. 24—25).

Пусть нас извинит г. Чичерин, но мы должны сказать, что его понятия о формах государственного устройства чрезвычайно сбивчивы. Основным принципом его понятий оказывается бюрократическое устройство, и ему представляется, будто демократия похожа на абсолютизм в том отношении, что очень любит бюрократию и централизацию. Но какую централизацию и бюрократию найдет он в Северо-Американских Штатах или в Швейцарии? По существенному своему характеру демократия противоположна бюрократии; она требует того, чтобы каждый гражданин был независим в делах, касающихся только до него одного; каждое село и каждый город независимы в делах, касающихся его одного; каждая область — в своих делах. Демократия требует полного подчинения администратора жителям того округа, делами которого он занимается. Она хочет, чтобы администратор был только поверенным той части общества, которая поручает ему известные дела и ежеминутно может требовать у него отчета о ведении каждого дела. Демократия требует самоуправления и доводит его до федерации. Демократическое государство есть союз республик или, лучше сказать, образуется из нескольких постепенных наслоений республиканских союзов, так что каждый довольно значительный союз состоит, в свою очередь, из союза нескольких округов, — таково устройство Соединенных Штатов. В них каждая деревенька есть особенная республика; из соединения нескольких деревень образуется приход, который опять-таки составляет самостоятельную республику; из соединения нескольких приходов образуется новая республика — графство; из нескольких графств — республиканский штат; из союза штатов — государство. Неужели это сколько-нибудь похоже на бюрократию? В Швейцарии каждый кантон может иметь у себя даже особенное войско. Откуда же взялось у г. Чичерина мнение о бюрократии, как форме демократического устройства? Это просто следствие той путаницы, какую слишком доверчивый ученый может целыми ковшами черпать из великих мыслителей французской мнимо-либеральной, а в сущности реакционной школы. Есть на свете разные мелкие французы, которые многим из нас кажутся великими людьми и которые рассуждают следующим образом: Англия — страна аристократическая, и в ней нет ни централизации, ни бюрократии; Франция — страна демократическая, и в ней есть централизация и бюрократия. Следовательно, централизация и бюрократия суть принадлежности демо-

кратии. Это умозаключение точно такого же рода, как, например, ученые греки, приехавшие в Рим, были развратные трусы; следовательно, просвещение ведет к разврату и трусости. Франция более 200 лет имела абсолютное правительство; в течение этого долгого времени абсолютизм успел выработать соответствующие себе формы управления, бюрократию и централизацию и успел приучить к ним французов. Вековые привычки исчезают не легко и не скоро. Демократия не имеет такой волшебной силы, чтобы один звук этого слова мог перерождать нравы народов в несколько лет; потому французы до сих пор не успели отделаться от бюрократии и централизации, введенной у них *абсолютизмом*, как не успели отделаться от многих других привычек, привитых к ним *абсолютизмом*. Французы, например, до сих пор мечтают о завоеваниях, до сих пор страшно любят щегольство, франтовство, блеск и тому подобные пошлости: неужели все это принадлежности демократии? Нет, это просто догнивающие остатки того порядка дел, какой был у них 100 и 200 лет тому назад. Именно потому, что эти старинные привычки еще недостаточно ослабели между французами, демократическая форма до сих пор не могла утвердиться у них. Наполеон I и реставрация старались воскресить аристократию; Орлеанская династия всячески старалась поддержать ее; Наполеон III в третий раз старается воскресить ее. У французов еще недостает привычки к демократическому устройству, и все их правительства, возникшие из гибели кратковременных попыток к созданию демократического устройства, нимало не могут служить образцами приверженности к тем новым формам, на подавлении которых основывали они свою власть. Наполеон I, Бурбоны, Луи-Филипп, Луи-Наполеон — все они одинаково держались опорой партии застоя или даже чистой реакции. Удивительно ли, что при всех этих управлениях поддерживалась форма администрации, принадлежащая французской старине? Но все те французы, которые действительно, а не на словах только привязаны к демократическому принципу, — все они до одного враждебны теперь бюрократии и централизации. В ненависти к этим формам они не уступают самому заклятому английскому аристократу. Правда, до сих пор не успели они водворить во Франции того устройства, какое желали бы дать своему отечеству; но из этого следует только, что Франция до сих пор не успела получить учреждений, соответствующих ее демократическим стремлениям, а вовсе не то, чтобы цент-

рализация и бюрократия были принадлежностями демократического принципа. Французы похожи на горожанина, недавно переселившегося в деревню и прогуливающегося по полю в палевых перчатках и лакированных сапогах. Должны ли мы заключать по этим принадлежностям его костюма, что палевые перчатки и лакированные сапоги составляют принадлежность истинно-деревенского образа жизни? Надобно полагать, что, поживши в деревне, он отвыкнет от этой великосветской дряни.

Г. Чичерин, воображающий себе демократию по неразвившимся французским ее формам, искаженным сильною примесью старых учреждений, которые уцелели со времен абсолютизма, имеет самое фальшивое понятие о демократии. Не менее фальшиво его понятие о существенном характере абсолютизма, который представляется ему чем-то столь же враждебным аристократии, как демократический принцип. Такой взгляд опять-таки почерпнул он из французских книжек, восхваляющих Мазарини или Ришелье, будто бы благодетелей Франции. Штука в том, что французские короли старались завоевать области, принадлежавшие могущественным феодальным правителям, и, наконец, успели покорить их. Разумеется, пока шла война, была и вражда. Разумеется, обе воевавшие стороны прибегали ко всяким средствам, чтобы достичь победы. Но если теперь австрийское правительство было бы радо произвести революцию в Париже, лишь бы сбить с рук Наполеона III и сохранить Милан и Венецию, из этого еще вовсе не следует, чтобы австрийское правительство отличалось сочувствием к республиканскому устройству и ненавидело деспотизм. Напротив, можно думать, что по своим принципам оно очень мало разнится от своего противника. Точно так герцог бургундский, герцог бретанский ничем не разнились в своих принципах от короля французского, с которым враждовали. Вражда шла только из-за того, что разным герцогам и графам не хотелось потерять своих владений, а королю французскому хотелось приобрести эти области. Чтобы склонить к измене подданных своего врага, король французский мог покровительствовать притесненным горожанам его областей, но зато и какой-нибудь герцог бургундский помогал учреждению демократической республики в Париже. Все это было военною тактикою вроде того, как монголы могли для упрочения своего господства поднимать рязанских князей против московских или московских против тверских. Неужели в самом деле какой-нибудь Мамай или Узбек огорчались от

притеснений, которым какой-нибудь Всеволод или Георгий подвергал соседнее княжество?

Но вот победа была решена, вся Франция соединилась под властью короля, отдельных владений не осталось. Каков принцип известного учреждения, мы можем видеть, когда оно одержит победу и получит полную силу перестроить жизнь по своему духу. Являются ли французские абсолютные короли, начиная с Людовика XIII или даже Генриха II, сколько-нибудь расположенными к «уничтожению сословных привилегий», как думает г. Чичерин? Напротив, они устраивают целое государство таким образом, чтобы весь народ жил исключительно для содержания двора и придворной аристократии. Все подати лежат на простолюдинах, почти вся масса простолюдинов обязана сверх того личными повинностями дворянству. Одни дворяне имеют значение, они одни пользуются покровительством государственной власти. С Людовика XI или, пожалуй, с Филиппа Прекрасного до самого конца XVIII века ни одна из привилегий дворянства не была отменена королевскою властью; напротив, с каждым поколением расширяется их покровительство дворянству и в администрации, и в богатстве, и во всех отношениях официальной жизни. Центр всей жизни есть двор; двор состоит исключительно из аристократов — какая же тут противоположность принципу между абсолютизмом и аристократиею? Напротив, французский король есть представитель и глава аристократического принципа. Он все государство устраивает в духе самой исключительной аристократии. Не понимать этого может только тот, кто не имеет правильного понятия ни об одном из фактов французской истории XVI, XVII и XVIII столетий.

Но от Франции г. Чичерин переходит к Англии. Он видит, что в последнее время заметно стала падать в ней аристократия и быстро усиливается демократический элемент. Как вы думаете, в чем полагает он сущность этого движения? Он до того занят своею теориею неразрывной связи бюрократии с демократиею, что воображает, будто бы сущность развития английских государственных учреждений в наше время состоит в развитии бюрократического начала, которое до сих пор было в Англии слабо к великому сожалению г. Чичерина. Это просто забавно. Из 28 миллионов англичан, шотландцев и ирландцев найдется ли хотя один человек от самого отсталого ультра-тори до самого горячего хартиста, который бы не гнушался бюрократиею, не пришел в неистовство от одной мысли, что

бюрократия когда-нибудь может быть введена в Англии? Английские аристократы очень щедро осыпают своих врагов демократов всяческими упреками, но никто в целой Европе никогда не слыхивал, чтобы они приписывали им склонность к бюрократии. Каждому ребенку известно, что английские демократы с состраданием и презрением смотрят на французское бюрократическое устройство и если сочувствуют каким-нибудь учреждениям, то единственно австралийским и северо-американским, в которых бюрократии еще гораздо меньше, нежели в английских. Рассуждения г. Чичерина об усилении бюрократии в Англии от усиления демократии могут служить самым восхитительным примером того, до какого уклонения от очевидной истины может доводить схоластика, отправляющаяся от фальшивого основания и безбоязненно шагающая кривыми силлогизмами с полным пренебрежением к смыслу фактов. «Бюрократия есть принадлежность демократии. В Англии развивается демократия, следовательно, Англия вводит у себя бюрократию». От Пальмерстона до Эрнеста Джонса, от Росселя до Ферджуса о'Коннора все нововводители — и умеренные либералы, и радикалы, и хартисты Англии — кричат в один голос: «мы гнушаемся бюрократией»; но г. Чичерин мужественно поучает их: «я лучше вас знаю, кто вы таковы: все вы отчаянные бюрократы». Начитавшись его книги, мы думали даже предложить Пальмерстону должность исправника в городе Туруханске; это место совершенно соответствовало бы его склонностям по изображению г. Чичерина; с каким удовольствием писал бы он: «На отношение вашего высокородия за № 15 217 имею честь отвечать, что беспаспортной солдатской жонки Авдотьи Никитиной на жительстве в Туруханском уезде не оказалось».

Впрочем, очень может быть, что г. Чичерин воображает себе бюрократию не в таком виде, как представляется она нам. Быть может, и абсолютизм, и аристократия, и демократия представляются ему вовсе не в том виде, в каком привыкли представлять их себе мы. Действительно, это очень может быть; по крайней мере надобно предполагать, что если бы эти понятия не представлялись ему совершенно различным от обыкновенного понимания способом, то он не наговорил бы о них таких странных вещей, какими наполнена его книга.

Мы вполне выписывали из книги г. Чичерина длинные отрывки, на которых основываем свое заключение, что он

действительно не имеет понятия о существенном смысле тех форм государственного устройства, объяснению которых посвящена вся его книга. Читатели могли убедиться, что мы не взводим на него небылиц, когда говорим, что он не знает ни демократии, ни абсолютизма, ни аристократии, ни бюрократии, ни централизации. Получив такие результаты, мы можем прекратить выписки, потому что вся остальная запутанность понятий в его книге составляет уже естественное следствие отсутствия правильного взгляда на эти основные предметы его рассуждений. Пересмотрим же коротко содержание его книги.

Первая статья «О политической будущности Англии», написанная по поводу книги Монталамбера⁴, начинается утешительным уверением, что вопросы, волнующие Западную Европу, «не имеют для нас жизненного значения». Утешительно это потому, что очень благоприятствует смотреть нам на события Западной Европы «без гнева и пристрастия». Мы готовы были бы думать, что это уверение — просто избитая мысль, употребляющаяся многими из нас по условному правилу, имеющему свою внешнюю выгоду; но отрывки о роли публициста, выписанные нами из предисловия, убеждают нас, что г. Чичерин в самом деле воображает, будто это так и будто это очень утешительно. Это удивительно. Кому не известно, что вот уже очень много лет наша судьба связана с судьбою Западной Европы и каждое важное событие в ней отражается на нас? Фридрих II ограбил Марию Терезию, — и вот мы были запутаны в Семилетнюю войну. Европа стала поклоняться Вольтеру, и у нас началась комедия гуманных возгласов в угодность Вольтеру, лицемерное хвастовство либерализмом; но Вольтер имел у нас много и таких приверженцев, которые не были лицемерами. Вспыхнула французская революция, и характер администрации у нас сделался решительнее, прямее, и пружины действия перестали прикрываться философскими украшениями. Из революции вышел Бонапарт, и мы были запутаны в продолжительные войны, кончившиеся удачно, но разорившие Россию и присоединившие к ней Варшаву. Потом Меттерних основал Священный союз, и кому не известно влияние этого учреждения на судьбу России? Продолжать ли этот перечень? Нам кажется, перечисленных фактов довольно, чтобы отказаться нам от возможности равнодушно смотреть на западноевропейские события. «Перевес либерализма или демократии, успехи революции или удача диктатуры в Западной Европе — все это вопросы, не имеющие

для нас жизненного значения», — этих слов уже достаточно, чтобы показать совершенное отсутствие способности понимать положение России. Впрочем, напрасно мы оставались на этом: мы уже знали, что г. Чичерин не способен быть публицистом, а способен быть только ученым схоластиком. Для схоластика нет надобности понимать отношения своего общества к фактам, которыми он занимается; ему только нужно знать факты.

Но и фактов г. Чичерин не знает сам, а принимает их на веру от других, которые не заслуживали его доверия. Гнилая оппозиция французских академиков называет Монталамбера великим оратором, а его книгу замечательным произведением; г. Чичерин смотрит на вещи не так, как французские академики, и потому мог бы думать о Монталамбере и его книге иначе. Но он принимает этого реакционного болтуна очень серьезно за защитника свободы, за представителя либерализма и серьезно рассуждает о его понятиях, будто бы о мыслях дельного человека. Монталамбер говорит об Англии вздорные общие места вроде того, что «привязанность к старине составляет отличительную черту английского народа», что англичане «отличаются от других народов любовью к разоблачению своих собственных недостатков», что английская аристократия «не враждебна никакому прогрессу»; г. Чичерин очень серьезно повторяет эти пустые слова, или несправедливые, или ровно ничего не выражающие: по всему видно, что Монталамбер для него кажется драгоценным источником сведений об Англии. Человек ученый не должен был бы принимать дрянную брошюру за что-нибудь значительное. Он спорит с Монталамбером очень важно, как будто бы с противником, заслуживающим уважения.

Такое же чрезмерное уважение к пустым репутациям видно в следующей его статье «Промышленность и государство в Англии», составленной по поводу книги Леона Фоше⁵. Леон Фоше был человек довольно трудолюбивый, но вовсе не даровитый. Либерализм его всегда был очень узок и сильно отзывался консерватизмом. Г. Чичерину кажется, что он испортился только с 1848 года. Он думает, что только тогда Леон Фоше «покинул точку беспристрастного наблюдателя и сделался членом партии», что только тогда «примкнул он к тому близорукому большинству французского Законодательного собрания, которое не умело основать новых учреждений». Напрасное прискорбие. Леон Фоше всегда принадлежал к близоруким людям, которые враждовали против новых учреждений. Г. Чиче-

рин не имеет верных сведений об отношениях партий при Орлеанской династии; он не знает характера той оппозиции, которая признавала своим предводителем Тьера, и характера той экономической школы, которая называлась тогда либеральной, но либерализм которой ограничивался хлопотами о понижении тарифа. Впрочем, книга Леона Фоше не есть пустая болтовня, как памфлет Монталамбера: в ней собрано много фактов. Мы не осуждаем г. Чичерина за то, что он вздумал серьезно пользоваться ею. Но любопытен вывод, к которому клонятся все его выписки из Леона Фоше и Лаверня⁶. Мы уже говорили об этом выводе. Г. Чичерин воображает, что сущность реформ, произведенных парламентом в экономическом устройстве Англии, ведет к усилению бюрократии; а между тем из этих реформ все важнейшие состоят в робком, неполном, иногда нелепом удовлетворении некоторым из экономических потребностей английских простолюдинов; и если эти реформы принадлежат к какой-нибудь системе понятий, то разве к системе тех экономистов, которые думают прикрасить ветхое рубище своей теории некоторыми лоскутками социализма. Например, в Англии запретили держать детей на фабричной работе более 12 часов в день; потом запретили нанимать женщин для работы в рудниках; потом предписали, чтобы дети, работающие на фабриках, непременно посещали школу; потом запретили держать женщин на фабричной работе более 12 часов в сутки. По мнению г. Чичерина, это — бюрократия и централизация, а по мнению каждого экономиста, эти постановления принадлежат к тому, что г. Чичерин называет «безумными проявлениями социализма». Таких недоразумений в статье о промышленности Англии множество. Но вот место, которое показывает, что г. Чичерин не знает не только того, к какому порядку идей принадлежат перечисляемые им факты, но не знает даже того, к какому порядку идей принадлежат его собственные мысли. Он начинает говорить о том, что расширение центральной власти, или вмешательство правительства, должно в Англии усилиться еще значительно, нежели насколько усилилось всеми произведенными реформами. Тут мы читаем между прочим следующее соображение:

«Правительству должны подлежать, — говорит г. Чичерин, — все те общественные установления, которые не требуют личной предприимчивости и энергии. Таково, например, застрахование. В наше время оно производится частными компаниями, но нет сомнения, что оно с таким же успехом может быть предпринято правительством. Настоящее место

частного капитала там, где он является орудием личной деятельности; здесь же капитал целого общества служит обеспечением риска, которому подвергается каждый из его членов. Потому мы думаем, что с большим и большим развитием системы застрахования оно поступит, наконец, в ведомство правительственной власти. Самое государство можно в некотором отношении рассматривать как общество взаимного застрахования, составленное целым народом: каждый гражданин уделяет часть своего достояния в общую кассу для того, чтобы получить от государства обеспечение личной своей деятельности».

Мы не станем разбирать, сам ли г. Чичерин написал это место или заимствовал его из Милля; он не отмечает, что заимствовал его, следовательно представляет как свою собственную мысль. Нам остается только поздравить централизацию с приобретением такого нового характера. В старину подобные вещи назывались регалиями, или монополиями, казны, но никак не централизацией, или бюрократиею; ныне называются они иначе; как именно называются ныне они и к какому порядку идей принадлежат, мы не станем говорить. Но скажем, что присвоение государству страхования, по понятиям нынешних экономистов, ничем не отличается от присвоения государству исключительного права иметь железные дороги, от наложения на него обязанности давать работу решительно каждому, не имеющему работы, принимать на общественное содержание каждого бедного и т. д. Если мы не ошибаемся, все эти мысли составляют принадлежность теории, которая заслужила от г. Чичерина название безумной. Нам остается только жалеть, что г. Чичерин, по-видимому, незнаком с этою теориею, а лишь слыхивал о ней от людей, подобных Монталамберу, Токвилю, Сюдру, Луи Ребо. Недурно было бы ему заметить вред, происходящий от этого пробега в знакомстве его с произведениями современной мысли: он украшает свои статьи лоскутами той самой теории, которую упрекает в безумстве.

Точно так же он имел бы совершенно другое понятие о смысле демократического движения в Англии, если бы изучал его по достоверным источникам, например по парламентским прениям, по речам и сочинениям представителей этого движения, а не по книжкам, писанным отсталыми людьми вроде Леона Фоше или реакционерами вроде Монталамбера.

Третья статья «Старая французская монархия и революция» написана по поводу книги Токвиля⁷ Начинается она объяснением, что дурно поступают те историки, которые пишут под влиянием современных политических событий, что историк не должен вносить страстей настоя-

щего в изображение прошедшего. Словом сказать, г. Чичерин очень подробно и хорошо парафразирует известную характеристику летописца в «Борисе Годунове»:

Так точно дьяк, в приказах поседелей,
Спокойно зрит на правых и виновных,
Добру и злу внимая равнодушно,
Не ведая ни жалости, ни гнева.

Пушкин был, вероятно, прав, изображая такими наших летописцев, людей чуждых всякого понятия о жизни, сущих книжников и притом чрезвычайно мало образованных; но г. Чичерин напрасно хочет, чтобы нынешние историки подражали им. Он, по-видимому, не знает истинного смысла тех возгласов об историческом беспристрастии, которыми наполнены все реакционные книги. Реакционеры называют историка беспристрастным тогда, когда он доказывает, что старинный порядок вещей был хорош. Напротив, например книгу г. Чичерина «Областные учреждения»⁸ все реакционеры называют пристрастной и несправедливою за то, что автор совершенно справедливо изобразил в ней старинную систему управления не в розовом свете. Живой человек не может не иметь сильных убеждений. От этих убеждений не отделается он, что бы ни стал делать: писать историю или статистику, фельетон или повесть; все написанное им будет написано для оправдания и развития какой-нибудь мысли, кажущейся ему справедливою. Если вы разделяете эту мысль, вам будет казаться, что писатель изображает жизнь беспристрастно; если вы враждуете против его образа мнений, вам будет казаться, что он изображает жизнь пристрастно и несправедливо. Следовательно, дело не в том, проводит ли историк свои убеждения в своей книге. Не проводить убеждений могут только те, которые не имеют их; а не иметь убеждений могут только или люди необразованные, или люди неразвитые, или люди тупые, или люди бессовестные; дело только в том, хороши ли убеждения, проводимые историком, то есть возникают ли они из желания добра, справедливости и благосостояния людям, или из каких-нибудь принципов, противных благосостоянию общества, и ясно ли понимает историк, какие учреждения и события содействовали и какие мешали осуществлению такого порядка дел, который пользуется его сочувствием. Если убеждения историка честны и если он понимает влияние изображаемых им событий и учреждений на судьбу народа, тогда заслуживает он уважения; и кроме честности

убеждений, другого беспристрастия никогда не бывало ни в каком историке, если он был одарен человеческим смыслом, а не писал как бессмысленная машина. Откуда же взялось у г. Чичерина мнение, что историк должен походить на пушкинского летописца? Опять-таки оно возникло от необдуманного принятия чужих слов на веру. Если бы он сам подумал о том, были ли равнодушны Фукидид, Тацит, Маккиавелли, де-Ту, Тьерри, Шлоссер, Гиббон или даже хотя такие историки, как Гизо, Тьер, Маколей, к тем событиям и людям, о которых писали, он увидел бы, что ни один сколько-нибудь сносный историк не писал иначе как для того, чтобы проводить в своей истории свои политические и общественные убеждения.

Но, приняв на веру чужие слова, лишенные положительного смысла, г. Чичерин вздумал, будто бы Токвиль пишет дурно только потому, что проводит в своей книге политические убеждения известной партии, а не потому, что его убеждения во многом реакционны, во многом вздорны. Мы сочувствуем Токвилю гораздо меньше, нежели г. Чичерину, но должны сказать, что и в его нападениях на Токвиля так же мало ясного понятия о вещах, как в книге самого Токвиля, и притом главные нападения обращены именно на ту сторону, которая одна только и хороша у Токвиля. Среди множества разного вздора в книге Токвиля проводится одна верная мысль, что абсолютизм наделал Франции несравненно больше вреда, нежели пользы. Но абсолютизм учредил бюрократию, а по мнению г. Чичерина, бюрократия — вещь очень хорошая, и вот он считает своею обязанностью вступить за французский абсолютизм против Токвиля. Он надеется защитить дело французских королей, взяв образцовым временем их принципа период раньше того, к которому относится характеристика Токвиля. В XVIII веке, говорит он, абсолютный принцип уже испортился; чтобы оценить его, надобно посмотреть, каков он был прежде. Но сколько мы ни посмотрим, никак не можем заметить, чтобы когда-нибудь защищаемый г. Чичериным принцип не был точно таков же, как в XVIII веке. Нравственные и политические принципы Екатерины Медичи очень хорошо известны; человек без сильного воображения никак не предположит, чтобы она могла сделать сама или допустить других делать что-нибудь действительно полезное для государства. С того времени до XVIII века господствовала та же самая политика, Ришелье и Мазарини наверное не много принесли пользы нации, хотя, быть может, что они умели хорошо

вести дипломатические интриги и выбирать хороших генералов. Но, быть может, и в конце XVI и в XVII веке принцип, защищаемый г. Чичериным, был уже «испорчен». Если так, очень жаль, потому что и Карл VIII и Людовик XII ничем не отличались в своих тенденциях от Генриха II или Людовика XIV. Но г. Чичерин смотрит на дело, вероятно, с иной точки зрения. Главным благодеянием для французской нации он считает то, что она получила политическое единство. О, если завосвывать области и по возможности увеличивать свои владения значит быть благодетелем, то почему же не предполагать, что Аттила и Батый были представителями благодетельнейшего принципа: они хотели доставить всему европейскому человечеству то благо, которым обязаны были французы Филиппу Прекрасному, Людовику XI и другим собирателям земли французской. Результат завоевательной политики, правда, оказался недурен в том отношении, что французская нация соединилась в одно государство. Но людей, занимавшихся этим делом, не стоит называть благодетелями нации, потому что они имели в виду вовсе не пользу нации, а только удовлетворение собственному эгоизму, и одинаково вели всевозможные войны, не разбирая того, полезны ли эти войны для национального единства или нет. Походы на Бургундию, на Бретань происходили из того же самого принципа, как и походы Карла VIII в Италию или Людовика XIV в Германию; разница была не в мысли, а только в том, что одни походы кончались удачно, другие — нет. Немецкий Эльзас был покорен на том же самом основании, как и французская Нормандия. Если завоевание Страсбурга не было внушено высокою идеею народного блага, то не было внушено ею и завоевание Дижона.

Но все-таки надобно же благодарить кого-нибудь за то, что Франция собралась в одно целое из раздробленных герцогств, графств и виконтств. Чтобы узнать, кого должно благодарить за это, надобно только сделать себе вопрос, почему Шампань осталась во владении французских королей, а Италия, несколько раз завоеванная французами, все-таки постоянно отрывалась от французского государства. Ответ ясен: Шампань была населена французами, которые стремились составить одно целое с остальными французами, а в Италии жили итальянцы, которым не было охоты присоединяться к французам. Теперь, кажется, не трудно сообразить, какой силе обязаны французы тем обстоятельством, что соединились в одно государство.

Надобно предполагать, что они были обязаны этим своему собственному стремлению соединиться в одно государство. Потому надобно думать, что если французы должны кого благодарить за могущество, приобретенное Франциею, то должны благодарить за это только самих себя и больше никого. Тот или другой эгоист, тот или другой честолюбец мог находить выгодным для себя стремление к национальному единству, врожденное французам, но не он создал его, он только пользовался им и пользовался почти всегда вредным для самих французозов образом. За что же французам благодарить его, называть представителем каких-то высоких идей, когда все, что было в результате хорошего, произошло благодаря только их собственному национальному чувству? Если мы станем благодарить французских Валуа за то, что при них произошло воссоединение французских провинций, всегда стремившихся к единству, то не должны ли мы благодарить Елизавету английскую за то, что при ней Шекспир написал «Гамлета»? Нам кажется, что за «Гамлета» следует благодарить Шекспира, за французское единство французы должны благодарить самих себя.

Таким образом надобно смотреть на степень заслуги абсолютного принципа в деле соединения французской земли. Этот принцип только эгоистически пользовался силою, существовавшею независимо от него; и если оценивать достоинство этого принципа, надобно смотреть не на то, что приобретал он, потому что приобретение делалось не его заслугами, а национальным чувством, — нет, надобно смотреть только на то, что он делал с приобретенными провинциями. Тут ответ опять короток: искоши веков с самого Гуго Капета до Людовика XIV главною заботою представителей абсолютного принципа было получение возможно бóльшего количества доходов какими бы то ни было средствами, начиная с постоянного разорения всей нации законными и незаконными поборами до нарушения контрактов, продажи должностей и делания фальшивой монеты. Начиная с X и кончая XVII или XVIII веком, принцип, защищаемый г. Чичериным, брал с французской нации все, что только мог взять, и почти постоянно только этим да ведением войн ограничивалась вся государственная деятельность этого принципа. Само собою разумеется, что без исключений ничего на свете не бывает. В течение 800 лет Франция имела двух государей, действительно думавших о благе народа: Людовика Святого и Генриха IV и несколько гениальных министров. Но даже

Генрих IV был занят своей Габриэлью и военными планами гораздо больше, нежели народными нуждами, а Людовик IX не имел успеха ни в одном из своих предприятий, конечно потому, что его характер и его нравственные правила совершенно не соответствовали качествам, каких требует положение, доставшееся ему на долю. Что же касается до великих французских министров, то мы знаем, что Сюлли был отослан в деревню за неуживчивость характера, а Кольбер должен был все свои усилия напрягать к тому, чтобы доставлять Людовику XIV как можно более денег на ведение войны. Итак, остаются только Ришелье и Мазарини. Они действительно управляли государством как хотели; но при известных качествах этих людей кто отважится сказать, чтобы когда-нибудь приходила тому или другому из них в голову мысль о пользе нации?

Мы не надеемся, чтобы г. Чичерин удостоил прочтением нашу статью; мы даже не думаем, чтобы это было нужно, потому как непогрешительный мудрец, он, конечно, не мог бы извлечь никакой пользы из наших замечаний; но если бы он прочел эту статью, он сказал бы, что мы смотрим на историю французского абсолютизма и предшествовавшего ему феодального королевства очень пристрастным образом, забываем все хорошее и выставляем на вид только дурное. Мы точно так же говорим о его взгляде, что он преувеличивает все хорошее, приписывает своему любимому принципу многое такое, чем Франция вовсе не ему обязана. Г. Чичерин скажет, что мы пристрастны, а он беспристрастен; мы, наоборот, говорим, что мы беспристрастны, а он пристрастен. Как разобрать, кто из нас прав, кто нет? Каждый читатель решит это сообразно своему образу мыслей. Кому наш образ мыслей кажется справедливым, тот скажет, что и взгляд наш на французскую историю беспристрастен. Кто, напротив, разделяет убеждения г. Чичерина, тот назовет наши понятия о французской истории чрезвычайно пристрастными. Но мы и не претендуем казаться беспристрастными в глазах каждого. Г. Чичерин претендует, но может быть уверен, что из 10 человек едва ли хотя один признает за ним то беспристрастие, о котором он так хлопочет. Какую же выгоду перед нами, прямо говорящими, что любим одних, не любим других исторических деятелей, доставила ему его забота казаться равнодушным ко всем и ко всему? Этой фальшивой претензией может каждый из нас обольщать сам себя, но другие все-таки не будут обмануты его самообольщением. И, например, о г. Чичерине каждый говорит, что

любовь к бюрократии и централизации заставляет его странным образом преувеличивать все хорошее и уменьшать все дурное в истории французского абсолютизма.

Четвертая, и последняя, статья в книге г. Чичерина «О французских крестьянах» была гораздо менее замечена публикою, нежели три первые статьи. Это дает нам возможность не говорить о ней подробно. Заметим только одно место, интересное для определения нынешнего направления симпатий г. Чичерина. Из трех книг, представленных в заглавии этой статьи, г. Чичерин обращает внимание особенно на две: Дареста и Бонмера⁹. Он характеризует ту и другую. Дарест сам объясняет свое направление следующими довольно странными словами: «Там, где поверхностные историки видели между рабочими классами и высшими сословиями противоборство, существовала, напротив, тесная связь, скажу более — полное почти общение чувств и интересов». Из этого видно, что книга Дареста написана с целью доказать, что мятежи французских крестьян против дворян и страшная ненависть поселян к феодальным господам была явлением мимолетным, неосновательным, и собственно говоря, жалобы крестьян были неосновательны. Сам г. Чичерин прибавляет: «Автор представляет многие средневековые учреждения с слишком выгодной стороны. Он нередко старается объяснить общественной пользой такие права, которые были явным последствием права сильного». Бонмер, напротив того, живо раскрывает всю тяжесть положения поселян и постоянно сочувствует им, не оказывая потворства средневековым гнусностям. Г. Чичерин сочувствует даже французскому абсолютизму, который кажется ему союзником демократии, и не любит самоуправления за то, что в Англии имеет оно аристократический характер. После этого можно было бы ожидать, что к Бонмеру у него будет больше сочувствия, нежели к Даресту, защитнику феодализма. Но нет: Дареста он не лишает своей милости, но Бонмера казнит он нещадно.

«Г. Дарест и г. Бонмер могут служить представителями двух противоположных направлений науки: один слишком старается оправдать все прошедшее, другой слишком старается его унижить. Нельзя не сказать, однако, что первый показал несравненно более исторического и критического такта, нежели последний. И не мудрено: несмотря на некоторую односторонность, он стоит на истинной дороге и смотрит на историю не с точки зрения современной страсти, а как ученый наблюдатель, который изучает лежащие перед ним явления. Книга его может служить лучшим руководством для изучения истории французских крестьян» (стр. 281).

«...Сочинение Бонмера написано с крайне односторонней точки зрения. Г. Бонмер, по-видимому, принадлежит к тому разряду французских демократов-социалистов, которые, подводя все эпохи под исключительную мерку настоящих своих требований, видят в истории не постепенное развитие народа, а постоянную несправедливость, от которой следует отделаться. Это направление вполне отрицательно. Автору нельзя отказать в начитанности, по приобретенный материал употреблен им без всякой критики и с явным пристрастием. Книгу его можно назвать не столько историею крестьян, сколько повествованием об испытанных ими притеснениях. К несчастью, даже и эта одна сторона далеко не удовлетворяет читателя. Весь рассказ преисполнен декламациею, риторическими выходками и преувеличением, которые невольно заставляют заподозреть самую фактическую верность изображений» (стр. 280).

Из этого мы можем видеть, что, несмотря на все свои рассуждения о прогрессе, несмотря на всю нелюбовь к английским аристократическим учреждениям, г. Чичерин не колеблется отдавать преимущество приверженцам старины над людьми, которые кажутся ему слишком живо сознающими вредную сторону старинных учреждений. Дарест оставляет без внимания жизненную сторону учреждений и вносит в средневековые учреждения понятие нового времени с целью показать законность беззакония, пользу насилия; из этого, по-видимому, надобно было бы г. Чичерину заключить, что он лишен всякой способности быть историком; но нет, «он стоит на истинной дорожке, и книга его может служить лучшим руководством, показывая в нем исторический и критический такт». Из этого заключения г. Чичерин сам на себе может видеть, что такое скрывается под фразою об историческом беспристрастии, которою он обольстился: под нею просто скрывается требование, чтобы историк старался оправдывать беззаконие и выставлять хорошие качества феодальных и тому подобных учреждений.

Мы кончили разбор, и нам остается объяснить странные качества, найденные нами в книге г. Чичерина (< остается показать, какой вывод о положении русской литературы можно сделать из качества, найденных нами в одном из ее лучших представителей? >).

Демократия, готовая скорее согласиться на оправдание феодализма, нежели на его порицание, либерализм, состоящий в пристрастии к бюрократии, публицистика, равнодушная к вопросам, ею излагаемым, ученость, не знающая характера событий и людей, известных каждому, — каким образом объяснить эти сочетания каждого качества с признаками, решительно неуместными в нем, эту холодность жара, обскурантизм просвещения, реактивность прогресса, бессмыслие мысли? Мы приведем

сначала общие причины, не относящиеся к лицу, (а принадлежащие почти всей хорошей части нашей литературы). Мы видели, почему французская демократия является с формами бюрократии: она еще слишком слаба, чтобы отвергнуть вьезшуюся в нее старину, противную ее собственной натуре. Она похожа на одного из недавно уволенных наших кантонистов, которые еще все по старой привычке делают под козырек проходящему офицеру, хотя человек, уволенный от военной службы, не должен уже делать под козырек. Все мы воспитаны обществом, в котором владычеству обскурантизм, застою (произвол); поэтому, какими понятиями ни пропитываемся мы потом из книг, все-таки бо́льшая часть из нас сохраняют привычное расположение к обскурантизму, застою (и произволу). Мы похожи на ту ворону, обращенную в соловья, которая часто по рассеянности каркала по-вороньему. Если бы мы все были таковы, нельзя было бы ожидать обществу ничего хорошего при нашем поколении.

Но есть и в Западной Европе люди, у которых под либерализмом скрывается обскурантизм; их образ мыслей нелеп и дурен, но он имеет некоторую связность, в нем нет режущих глаза логических несообразностей. Монталамбер, например, не станет хвалить Робеспьера, не будет восхищаться Кромвелем. Зачем же у наших просвещенных обскурантов такая путаница в понятиях? Почему русский человек способен на одной и той же странице восхищаться Жанной д'Арк и хвалить руанский трибунал, который сжег ее за сношения с бесами? Это происходит от двух причин. Наши либеральные обскуранты набираются, например, своих понятий из отсталых французских книжек; в этих книжках все так хорошо, гладко, связно; но они набиты узкими национальными предубеждениями, нелепость которых слишком заметна каждому иностранцу. Русский ученик по необходимости отбрасывает этот вздор вроде того, что Наполеон в 1812 году не был побежден, что бюллетени его не содержали бесстыдной лжи, что французы — единственная великая нация в свете и в этом качестве никогда не грабили Германию и Италию, а должны для счастья самих немцев владеть всем левым берегом Рейна, и т. д. От этих выпусков оказываются в системе большие пробелы, и русский ученик наполняет их, как умеет, лоскутами фактов и понятий, набранными откуда бог даст. Но мало того, что он сам наделал пробелов необходимыми выпусками: и в полном своем иностранном виде отсталая теория не касалась многих вопросов, специально

важных для русской жизни и неизбежно представляющих мысли русского ученика. Он также старается приискать для них ответы, ввести их в чужую систему. По этим двум причинам жилет из французского атласа покрывают нашивками из английского коленкора, серо-немецкого сукна и русской выбойки. Все эти заплатки не производили бы арлекинского вида, если бы цветом своим подходили к основной ткани. Но главная нелепость состоит именно в том, что цвет заплат совсем не тот, какой нужен для гармонии. Первоначальная теория была составлена, как мы сказали, людьми застоя или реакции с целью охранения и защиты старины. Нам, русским, нечего жалеть в нашей старине и нет охоты защищать ее. Потому приставки наши имеют обыкновенно совершенно не ту тенденцию, как первоначальная теория. До сих пор мы говорили вообще, теперь сошлемся в частности на деятельность самого г. Чичерина в подтверждение последнему обстоятельству. Мы видели, какого оттенка иностранные писатели, изучением которых он занят, из которых он почерпает основные понятия свои о европейской жизни, с которыми он, если и спорит, то не как с противниками своими по принципу, а как с людьми, имеющими только частные недостатки. Эти люди — Токвиль, Леон Фоше, Лавренть, Гизо, Маколей и т. п. господа, то есть это люди так называемого умеренного и спокойного прогресса, иначе сказать, люди, которым застой гораздо милее всякого смелого исторического движения. Он спорит с ними, но и в спорах видно, что он чрезвычайно уважает их, и вообще, как мы сказали, их книги, их теории служат ему главным резервуаром мудрости. Но есть отрасль знаний, о которой они, к несчастью, не писали и которою занимается г. Чичерин. Эта отрасль — русская история. И г. Чичерин написал превосходную книгу о русской администрации в московский период¹⁰. Прочтите эту книгу, и вы почувствуете надобность протереть глаза и снова заглянуть на обертку, чтоб удостовериться, действительно ли эта книга написана тем же г. Чичериным, который написал «Очерки Англии и Франции». Тот ли это человек, который предпочитает Дареста Бонмеру? Ведь об его «Областных учреждениях» все умеренные западноевропейцы буквально сказали бы то самое, что сказал он о книге Бонмера:

«Направление г. Чичерина вполне отрицательное. Автору нельзя отказать в начитанности, но приобретенный материал употреблен им без всякой критики и с явным пристрастием. Книгу его можно назвать не столько историею русской администрации, сколько повествованием

о притеснениях, ею оказывавшихся. К несчастью, даже и эта одна сторона далеко не удовлетворяет читателя. Весь рассказ прѣисполнен декламацией и преувеличением, которые невольно заставляют заподозреть самую фактическую верность изображений. Автор тщательно выбирает из источников всякую частность, которая может сгустить краски на его картине, и чем мрачнее событие, хотя бы оно случилось в каком-нибудь углу государства, тем ярче оно выставляется на вид как характеристическая черта целой эпохи».

Эти слова списаны нами с 280—281 стр. книги г. Чичерина; читатель может сравнить их с отрывком, который представили мы выше из его суждений о Даресте и Бопмере. Нужно было только переменить фамилию и выпустить два-три слова, относящиеся к характеристике слога,— и то самое, что должно служить осуждением Бопмеру, буквально применилось к самому г. Чичерину, которому, впрочем, мы вовсе не ставим в упрек всех тех качеств, какими может возбуждаться подобный отзыв о его книге со стороны умеренных прогрессистов. В самом деле, как легко г. Чичерину опровергнуть их упрек! Он может сказать и действительно говорил: вы заподозреваете фактическую верность моих изображений. Проверьте цитаты, и вы найдете, что я пользовался источниками совершенно добросовестно. Вы говорите, что я выбрал одни мрачные черты,— пересмотрите источники, я предлагаю вам найти какие-нибудь другие черты, кроме найденных мною. Вы говорите, что я преувеличиваю. Я прошу вас показать хотя одно место, в котором я сказал бы что-нибудь кроме того, о чем единогласно свидетельствуют все источники. Г. Чичерин говорил это, и оказалось, что он совершенно прав, оказалось, что не он, а самые источники, самая жизнь наших предков виновата в том, если все содержание его исследования сводится к однообразному результату; что делала администрация в XIII веке? — Грабила. Что делала она в XV веке? — Грабила. Что делала она в XVII веке? — Грабила. Что ж было делать г. Чичерину, если так говорили источники? Он был честен, добросовестен, и если у него не вышла идиллия, не он виноват.

И вот эта примесь собственной честной мысли, собственного добросовестного взгляда к целой массе понятий, на веру принятых из теории застоя, реакции, из теории, отвергающей все те живые силы, без которых невозможен прогресс, из теории людей, думающих взойти на гору без труда, сидящих в болоте, чтобы не подвергнуться одышке от усилий выйти из болота,— вот эта смесь собственной честности и собственного благородства с чужою пошлостью производит тот бессвязный хаос не клещащийся

одно с другим понятий, который отпечатлелся на каждой странице «Очерков Англии и Франции». Это сочетание противоестественно, разнородные элементы хаоса лезут прочь один от другого. Нельзя долго служить Егове и Ваалу вместе. Надобно отказаться от Еговы или сжечь Ваала. Мы смело предсказываем, что г. Чичерин скоро выйдет из той путаницы понятий, в которой находится теперь.

Но в какую сторону он выйдет из нее? Он человек честный, это мы видим, и потому следовало бы ему, когда он двинется с распутия, на котором стоит теперь, пойти по той дороге, по которой идут честные люди, если природа не обделила их умом, как не обделила г. Чичерина. Быть защитником притесняемых или защитником притеснений — выбор тут не труден для честного человека.

Но мы начали с того, что г. Чичерин считает себя непогрешительным мудрецом. Ему трудно будет сознаться, — ни перед нами, ни перед публикой, — для людей с благородной гордостью не трудно сознаваться в своих ошибках перед другими, — нет, перед самим собой ему трудно будет сознаться, что он был введен в заблуждение обманчивым благозвучием ложных слов; что именем беспристрастия прикрывалась вражда против нового для сохранения старинных бедствий, именем справедливости прикрывалось эгоистическое равнодушие к чужим страданиям. Успеет ли он одержать эту победу над самолюбием, успеет ли он стать тем, чем должен бы стать по своей честной натуре, — этого мы не знаем. А если г. Чичерин не успеет одержать победы над чуждыми его благородству понятиями, он не замедлит сделаться мертвым схоластиком и будет философскими построениями доказывать историческую необходимость <каждой статье свода законов> сообразно теории беспристрастия. Потом историческая необходимость может обратиться у него и в разумность.

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

Благоприятна ли для личной свободы теория *laissez faire, laissez passer*¹? — Может ли государство, если бы и захотело, не иметь чрезвычайно сильного влияния на экономическую деятельность частного лица? — При каких условиях прямое вмешательство законодательства в экономические отношения бывает полезно для личной свободы?

Мы беседовали с экономистами отсталой школы об их философских предубеждениях против общинного владения², теперь побеседуем с ними о тех предубеждениях, которые проистекают из основного принципа их собственно экономической теории. Принципом этим служит, как известно, знаменитый девиз: «невмешательство государства, полнейшая свобода частной деятельности». Они утверждают, что кто желает прямого участия законодательства в определении экономических отношений, тот отдает личность в жертву деспотизму общества. Мы постараемся показать, что их собственная теория именно и ведет к этому, а потом изложим те понятия об отношениях государства к экономической деятельности, которые кажутся нам более благоприятными для личной свободы индивидуума и более справедливыми.

Эта статья разделяется на две половины. В первой мы беседуем с экономистами отсталой школы, пробуем принять их теорию и смотрим, к чему она ведет. Убедившись в том, что эта теория повертывается решительно в невыгодную для личности, ищем для личности гарантий, более практических и верных.

Счастливы люди, у которых есть «абсолютный принцип». Им не нужно ни наблюдать фактов, ни думать: у них заранее готово лекарство для всякой болезни, и для всякой болезни одно и то же лекарство, как у знаменитого доктора, каждому пациенту говорившего: «принять слабительного и поставить клистир», *purgare et clystirizare*. Иван сломил ногу, — дать ему слабительного, поставить клистир, он будет здоров, — других средств не нужно. У Петра обнаружилась золотуха, — все-таки других средств не нужно, пусть принимает слабительное и ставит клистир, тоже выздоровеет. Наконец у Павла нет никакой болезни, — нужды нет, пусть принимает слаби-

тельное и ставит клистир: *purgare et clystirizare*, будет еще здоровее. *Purgare et clystirizare*, — как упрощается теория медицины, как облегчается медицинская практика этим талисманом!

Подобными талисманами владеют многие. Для «значительного лица», к которому Акакий Акакиевич обратился по поводу пропажи своей шинели, талисманом было «распечь». Для экономистов отсталой школы таким же талисманом служит прелестный девиз «невмешательство государства». Девизы противоположны, но с равным удобством применяются ко всему. Три четверти английской нации состоят из бездомных бедняков, — как помочь их бедственному положению? Экономисты отсталой школы говорят: «пусть государство перестанет вмешиваться в их дела, пусть уничтожит сбор в пользу бедных»; значительное лицо гоголевской повести говорит: «распечь их!» Французы увлеклись биржевыми спекуляциями до разорительной и безнравственной крайности, — как отвратить это зло? «Пусть государство не вмешивается в экономические отношения», говорят отсталые экономисты; «распечь их!» говорит значительное лицо.

Purgare et clystirizare — как спокойна совесть при таком девизе! Золотуха у Петра мало-помалу проходит, — это от того, что он ставил клистир и принимал слабительное. Нога Ивана, ставленная без лечения, подверглась гангрене, и бедняга умирает, — это от того, что он мало принимал слабительного и не довольно часто ставил клистир. Совесть доктора чиста, тишина его души невозмутима.

Мы не имеем счастья обладать таким всеисцеляющим средством. Правда, есть у нас общая норма для оценки всех фактов общественной жизни и частной деятельности: «благо человека», но эта формула указывает только цель, а не дает готовых средств к ее достижению; так, для расудительного медика есть одна общая норма действия: «здоровье организма», но она также указывает только цель, а еще не определяет средств.

Как все односторонние люди, отсталые экономисты школы невмешательства государства очень полезны в случаях столкновения с какой-нибудь другой односторонностью. Доктор Санgrado³, имевший универсальным средством кровопускание, мог бы с пользой для пациента найти сильное противоречие своей нелепой исключительности в другой столь же нелепой исключительности: *purgare et clystirizare*. Школа невмешательства государства оказывается очень благодетельной для общества в спорах

со школою, для которой универсальным лекарством служит гоголевское правило «распечь их».

Мы не отвергаем того, что в старину принцип *laissez faire, laissez passer* был чрезвычайно полезен, что и теперь во многих странах и во многих случаях он является благотворным, как ни один рассудительный доктор не отвергает чрезвычайной пользы *purgandi et clystirizandi* в очень многих случаях. Мы только думаем, что не во всех болезнях пригодны и достаточны английская соль и промывательное, что медицина не должна ограничивать своих средств ложкой касторового масла и бутылкой молока с чесноком; мы только думаем и постараемся доказать, что принцип *laissez faire, laissez passer* не заключает в себе один полного и готового ответа на всевозможные экономические вопросы, не может считаться исключительным решением всех общественных задач.

Нелегко удерживать других и самому удерживаться от односторонности в практике, где часто один какой-нибудь факт, режущий глаза своей нелепостью, заставляет человека забывать обо всем остальном, кроме средства, служащего противоядием именно против этого факта. Когда у вас перед глазами откуп и пьянство, трудно вам удержаться от проклятия вину; и, например, французу или пруссаку, каждый шаг которого стеснен путами мелочной бюрократии, трудно помнить в столкновениях практической жизни, что только дурная и утрированная форма государственного вмешательства в частные дела должна быть отвергаема, а не самый принцип, и что противная односторонность была бы не менее вредна и даже не менее стеснительна. На практике трудно бывает иногда щадить принцип в споре против формы. Но теперь мы только пишем статью, вы, читатель, будете перелистывать ее; мы оба — в своей комнате, наедине, не занятые никаким практическим делом, никто нам не мешает, нет подле нас никакого ландрата или префекта, мы ушли на несколько часов в теоретическую жизнь, забыли о всех дрязгах, которые ждут нас за порогом нашей комнаты или даже ворвутся в нее через час, через два; мы заняты теперь только отвлеченной теорией, а в теории критика односторонностей чрезвычайно легка.

В теории критика односторонностей так легка, что не бывает даже надобности спорить с противником об основаниях его системы. Можно сказать ему для скорейшего окончания дела: я вперед принимаю за истину все ваши принципы, каковы бы они ни были; потрудитесь высказать

их, и тогда я попрошу вас только не отказываться от того, что вы раз сказали. Мы спорить не будем; я буду развивать только собственные ваши мысли, и вы увидите, что эти принципы ведут к тому самому, против чего вы восстаете. Помните только одно условие: мы предположим, что ваши слова совершенно справедливы и что принципы, вами высказанные, выше всякого сомнения. Я предоставляю вам право иметь какой угодно образ мыслей и требую только одного: считайте ваш образ мыслей справедливым и не отказывайтесь от него. Мы скоро увидим, захотите ли вы сами хвалить его.

Мы на время вполне принимаем за совершенную истину всю теорию *laissez faire, laissez passer* в самом точном и безусловном ее выражении. Вот она:

«Экономической деятельности отдельного лица должна быть предоставлена совершенная свобода. Общество не имеет права налагать на нее никаких стеснений. Государство не имеет права заниматься ни одним из тех предметов деятельности, которые осуществляются или могут быть осуществлены силами отдельного лица. Государство существует только для ограждения безопасности частных лиц и для отвращения стеснений, которые могли бы мешать полнейшему развитию частной деятельности. Иначе говоря, заботе государства подлежит только то, что не достигается и не может быть достигнуто деятельностью частных лиц; иначе сказать, государство есть только страж безопасности частных лиц; безусловная свобода для деятельности частного лица есть верховный принцип общества, и государство должно иметь существование и деятельность только в той мере, какая нужна для осуществления этого верховного принципа. Иначе сказать, идеал государственной деятельности есть нуль, и чем ближе может оно подойти к этому, тем лучше для общества».

Мы выразили теорию *laissez faire, laissez passer* с такой полнотой и точностью, что все остальные экономисты от Бастиа до г. Воловского (мы надеемся скоро сообщить читателю о том, до какой безумной крайности дошел г. Воловский в крестьянском вопросе по ослеплению принципом *laissez faire, laissez passer*) обеими руками готовы были бы подписать изложенную нами теорию и провозгласили бы ее чистейшей эссенцией своего собственного учения.

Итак, мы становимся последователями системы *laissez faire, laissez passer*; постараемся же вникнуть в мысль,

нами безусловно принятую и поставленную выше всякого спора.

«Экономической деятельности отдельных лиц должна быть предоставлена совершенная свобода». Например, если бы я хотел открыть лавку, положим для торговли стеклянной посудой, общество не должно мешать мне открыть ее; и если кто-нибудь захочет помешать мне в этом, государство обязано устранить полагаемое моей свободе стеснение. Быть может, существует корпорация, присвоившая себе монополию торговли стеклянной посудой. Государство обязано отменить монополию и уничтожить привилегированную корпорацию. Но, быть может, корпорация придумала поддерживать монополию не привилегией, этим грубым средством простаков, а другими более хитрыми и удачными способами. Например, располагая огромными денежными средствами, она могла бы закупить на стеклянном заводе всю посуду или, что еще вернее, обязать хозяина завода контрактом, чтобы он не смел продавать посуду с завода никому, кроме этой самой корпорации, — тогда я также был бы лишен возможности открыть лавку стеклянной посуды; для моей экономической свободы было бы то же стеснение, как и прежде, и государство также было бы обязано позаботиться о средствах возратить мне свободу, уничтоженную коварным действием корпорации. Быть может, средства, достаточные и пригодные для прекращения монополии, основанной на привилегии, были бы непригодны и недостаточны против этого более тонкого образа действий; но мы здесь говорим не о том, каковы должны быть средства, употребляемые государством для исполнения своей обязанности, а только о том, какова обязанность государства; она остается одна и та же: устранить стеснение, мешающее мне заняться известным родом торговли. Вы скажете, может быть, что вовсе нет средств отвратить монополию во втором случае, — я этого пока не знаю; но если это так, я говорю, что бывают случаи, в которых государство не имеет возможности исполнить свою обязанность; а неисполнение обязанности есть ее нарушение, и я говорю, следовательно, что бывают случаи, когда государство вынуждается необходимостью нарушать приписанную нами ему обязанность. Итак, одно из двух: или нельзя приписывать государству исключительной обязанности — охранять свободу экономической деятельности, или всегда могут быть найдены государством средства для ее охранения. Мы уже согласились приписать государству эту обязанность, потому должны предполо-

жить, что всегда могут быть найдены средства для ее исполнения.

Согласны ли вы со мною? Если не согласны, то откажитесь, как от нелепой невозможности, от вашей первой мысли: «экономической деятельности отдельного лица должна быть предоставлена совершенная свобода». Но мы уже поставили условием, что ваши мысли безусловно справедливы и что вы не имеете права от них отказываться. Если вы не хотите соблюдать этого условия, — опять-таки полная вам воля; но в таком случае я объявляю, что вы сами не знаете, что говорите, что у вас нет прочного образа мыслей, что я не только не обращаю, но и не имею права обращать ровно никакого внимания на ваши мнения.

Разумеется, вы этого не захотите. Вы думаете, что у вас есть образ мыслей, что он заслуживает внимания, что вы остаетесь ему верны, и вы не откажетесь от ваших слов. Помните же, в чем мы теперь с вами согласились: на государстве лежит обязанность охранять совершенную свободу экономической деятельности отдельного лица. Помните же, что, какой ни представился бы нам случай, мы должны будем отыскивать средства к охранению такой свободы, и если кто-нибудь станет жаловаться на стеснения, мы не можем отказать ему в нашем содействии под предлогом, что нет способов устранить это стеснение. Согласны ли? Я предчувствую, что вас начинает коробить; но что делать? Ведь вы сами объявили ваш образ мыслей справедливым; вы убедили меня принять его; вы не имеете права жаловаться на непрактичность моих слов: они только повторение ваших собственных слов, которые мы с вами уже признали совершенно истинными. Исследуем же далее вашу истину.

«Общество не имеет права налагать на экономическую деятельность отдельного лица никаких стеснений». Вы не думайте, что я поступлю с вами коварно, что я стану придавать вашей теории смысл, которого она не имела в вашем уме, например выводить из нее, будто общество не имеет права налагать податей и повинностей или делать полицейских распоряжений для охранения порядка. Я знаю, что вы хотели понимать вещи рассудительно и что вы — друзья порядка, что, говоря «никаких стеснений», вы подразумевали: «кроме стеснений, действительно нужных для ограждения порядка и для избежания других, более неприятных стеснений». Правда ли, я угадал вашу мысль? Но в таком случае к чему мы пришли? Мы уже не можем отвергать какую-нибудь меру одним восклицанием:

«она стеснительна!» Нет, мы уже обязаны всматриваться, не полагает ли общество, что этим стеснением оно предотвращает какое-нибудь другое стеснение, более тяжелое, или охраняет порядок. И если общество скажет, что оно так думает, мы остаемся безгласны. В какое мы положение стали? Если бы, например, обществу вздумалось постановить правилом, чтобы люди по улицам не могли ходить иначе, как заложив руки за спину, что могли бы мы возразить против этого? Общество сказало бы, что полагает стеснительным для людей ходить, не заложив руки за спину: во-первых, когда руки болтаются или локти выставлены, прохожие беспрестанно задевают друг друга, — это стеснительно, и лучше заложить руки за спину, чтобы меньшим стеснением избежать большего; во-вторых, когда руки заложены за спину, грудь выставляется вперед, дыхание становится легче и шире, легкие развиваются и укрепляются, и через несколько времени человек освобождается от стеснения в груди, которым все городские жители более или менее страдают; стало быть, опять-таки меньшим стеснением отвращается большее. Мы с вами могли бы находить, что все это глупо, но не могли бы сказать, что общество превысило те границы власти, которые мы с вами сами предписали ему. Да то ли еще? Общество тогда могло бы принуждать нас с вами решительно ко всему, что ему вздумается, например хотя бы ходить вверх ногами во время грязи. Оно сказало бы, что ноги можно промочить, а руки не боятся сырости, да и, кроме того, таскать калоши на ногах очень стеснительно, а во время грязи, если ходить на ногах, то необходимо таскать калоши, если же ходить вверх ногами, на руках вместо ног, то от стеснения калошами человек избавляется. «Но послушайте, это однакож явная бессмыслица. Нужно же иметь хоть каплю здравого смысла». Вот оно куда пошло! Так уж понадобился здравый смысл? Я всегда предполагал необходимость в нем; но теперь, к сожалению, мы не имеем права ссылаться на него: ведь мы уже поставили принципом наших рассуждений известную теорию, сказали, что признаем ее безусловно справедливой, — что ж нам теперь делать с здравым смыслом, если он восстает против того или другого приложения нашей теории? Он мешается не в свое дело, мы обязаны прогнать его. Ведь мы уже сказали, что общество может налагать на деятельность частного лица меньшее стеснение, чтобы избежать большего. Кто налагает? Общество. Следовательно, в чьих понятиях определяется, что больше и что меньше? В понятиях

общества. Стало быть, кто судья о том, каким стеснениям должна подвергнуться наша с вами жизнь? Опять-таки общество. Стало быть, общество имеет право сделать с нами совершенно все, что ему угодно, — вот к чему привела нас наша теория. Если, например, общество вздумало бы, что указательный палец стесняет мою деятельность, и велело бы отрезать его или вздумало бы, что смотреть двумя глазами для меня не так удобно, как смотреть одним правым, и велело бы выколоть мне один глаз, — я не мог бы сказать, что оно превышает свои права надо мной. «Но это возмутительно, это бесчеловечно!» — Почему же? — «Да это гнусно!» — Почему же гнусно? — «Да это возмутительно и бесчеловечно!» — Ну вот опять за старое. Я спрашиваю, почему же возмутительно? — «Потому, что это противно чувству справедливости!» — Вот как... Ну, а почему же бесчеловечно? — «Да как же не бесчеловечно резать палец и выкалывать глаз невинному человеку? Ведь этим нарушаются священные права человеческой личности!» Вот оно куда пришло! Справедливость, священные права человеческой личности... Я всегда предполагал, что эти вещи не мешают принимать в соображение; но, к сожалению, теперь мы не можем этого сделать; мы уже взяли известную теорию за безусловную истину, и если справедливости будет ею нарушаться, если священные права человеческой личности будут ею разрушаться, мы можем только пожимать плечами и говорить: жаль, а нечего делать; теория справедлива, следовательно все противное ей — ложь. А другие утешат нас, объяснив, что это только так кажется, будто справедливость и человеческие права нарушаются нашей теорией; а в самом деле нарушения тут никакого нет.

Вы догадываетесь, что прибавкой к словам «общество не имеет права налагать на отдельного человека никаких стеснений» вашей милой оговорки «кроме стеснений, нужных для ограждения порядка и для избежания других более неприятных стеснений», вы обратили вашу теорию свободы в теорию безграничного произвола общественной власти над отдельной личностью, предали личность связанною по рукам и по ногам в жертву необузданнейшего деспотизма. Вы раскаиваетесь в этой прибавке, вы хотели бы взять ее назад, — это вы можете, ведь она была только моей догадкой о смысле вашей теории. Вы сначала одобрили догадку, потом мы с вами увидели, что она нелепа, так бросим ее. Возвратимся к вашей теории без всяких догадок о ее смысле. В теории говорилось: «общество не

имеет права налагать на экономическую деятельность отдельного лица никаких стеснений». Только этих слов вы не можете брать назад по нашему уговору, от всяких дополнений вы можете отказываться. Итак, «никаких стеснений». Ну и прекрасно. Пусть так и будет, без всяких ограничений и исключений. Я чувствую склонность к огородничеству. Прохожу по Обводному каналу, вижу огород, вижу заступ у одной гряды, начинаю копать, душа моя в восторге, моя деятельность полезна обществу, намерения мои чисты. Но приходит сторож, видит незнакомого человека, подозревает во мне намерение воспользоваться его огурцами, призывает будочника, и будочник соглашается с ним, что я не смею заниматься работой на его огороде без его согласия. Что же мне делать? (Если меня не посадили под арест за подозрение в намерении похитить чужую собственность.) Общество говорит: «ты наймись в работники огородника». Но если огородник предлагает мне условия, стеснительные для моей свободы? Например, если он требует, чтобы я каждый день приходил работать к нему? Я этого не могу. Итак, моя деятельность стеснена. Я не восстаю против огородника, он может быть и прав; но по нашей с вами теории общество должно найти средство для меня заниматься огородничеством без стеснения моей свободы. Я предполагаю, что единственное средство к тому: устроить общественный огород, в котором работал бы каждый, когда хочет и сколько хочет. Может быть, это неудобноисполнимо; по нашей теории я не хочу и не должен знать этого. Ведь мы уже видели: теория ставит нас в необходимость предполагать, что способы к доставлению полной свободы экономической деятельности отдельного лица всегда могут быть найдены. Мы с вами вовсе не восстаем против собственности, — сохрани нас бог! — но пример огородника показывает нам, что принадлежность известной собственности известному одному лицу может налагать стеснительные условия на экономическую деятельность других лиц, и наша теория показывает, что на обществе лежит обязанность приискать средства для отстранения этих стеснений. Я предложил одно средство: завести общественный огород. Если оно вам не нравится, приищите другие средства, но, пожалуйста, приищите, потому что иначе вся наша теория *laissez faire, laissez passer* разлетелась бы в пыль, — а ведь мы уже согласились с вами, что она безусловно справедлива. Продолжаем же вникать в ее истины.

«Государство существует только для ограждения безопасности частных лиц и для отвращения стеснений, которые могли бы мешать полнейшему развитию частной деятельности». Только для этого, больше ни для чего. Но и тут хлопот ему будет довольно. «Ограждение безопасности», — в старину, когда люди были глупы, они думали, что безопасность может быть достаточно ограждена карательными средствами (это я говорю как отсталый экономист; а если б я не был связан уговором держаться отсталых мнений, я полагал бы, что и в старину люди не были слишком глупы и никогда этого не думали); но теперь каждый знает, что этого мало. Например, экономическая деятельность чрезвычайно страдает от подделки бумажных денег. Во всех государствах есть очень строгие законы против этого преступления. Но в старину, когда наши ассигнации имели очень грубую гравировку, все-таки чуть ли не в каждой губернии находилось по несколько артистов, успешно производивших подделку при помощи деревянной доски, гвоздя и шила; более замысловатых орудий не было нужно, и рука набивалась к этому делу очень легко. Что же вы думаете? Нашли против доморощенных артистов средство более действительное, нежели строгость наказаний: нынешние кредитные билеты имеют тонкую гравировку, что гвоздем и шилом нельзя их подделать, и разве самый искусный гравер может вырезать порядочную форму для них; притом и бумага для кредитных билетов употребляется совершенно особенная, так что мало быть отличным гравером, нужно иметь еще отличную бумажную фабрику, чтобы подделывать бумажные деньги сносным образом. Кому из отличных граверов, получающих большие деньги за честную работу, придет охота рисковать собою, и какой хозяин отличной бумажной фабрики захочет помогать ему? Ремесло подделки, сильно упавшее, исчезло бы совершенно, если бы не одно обстоятельство: есть много безграмотных людей, которые не могут прочесть на обороте кредитной бумажки бисерного шрифта и не догадываются посмотреть кредитный билет на свет, чтобы видеть, имеет ли бумага надлежащие знаки. Ясно, что распространение грамотности убьет и последние слабые остатки ремесла, прежде процветавшего, несмотря ни на какие наказания. Из этого мы видим, что для ограждения безопасности мало одних карательных законов; нужно также, чтобы нарушение безопасности перестало быть выгодным и нужным для отдельных лиц. Для доморощенных артистов, работающих гвоздем и шилом,

подделка бумажных денег перестала быть выгодной, потому что прекратился сбыт их грубым изделиям; для отдельных граверов и хозяев бумажных фабрик подделка не нужна, потому что у них и без того довольно денег. Приложим эти правила к обыкновеннейшим случаям нарушения безопасности: к убийству, грабежу и воровству. Воровством обыкновенно занимаются люди, дошедшие до нищеты. Стало быть, если государство обязано ограждать безопасность, оно обязано заботиться, чтобы никто не доходил до нищеты. Как это сделать? Я полагаю бы, что следовало бы принимать меры к устройству такого общественного порядка, при котором каждый человек имел бы некоторую собственность и находил бы всегда удобства зарабатывать безбедные средства для жизни честным трудом. Я полагаю бы также, что нужно заботиться об отнятии привлекательности у пороков, доводящих до нищеты. Наконец я полагаю бы, что можно было бы заботиться о смягчении прав. Согласны ли вы на это? Если так, государству будет очень много дела. Например, возьмем из трех задач хоть только одну вторую: отнятие привлекательности у пороков, и возьмем хотя только один порок, например, расточительность. Каждый знает, что она бывает причиной множества бедствий, а экономисты, всматривавшиеся в жизнь поглубже отсталых людей, мнения которых мы приняли на время, находят, что эта слабость производит гораздо более бедствий, нежели самые ужасные пороки. Как же ослабить ее? Вы помните историю Маши и ее мужа:

Белый день занялся над столицей...

Конечно, грех и говорить о расточительности бедной молодой женщины, которая, как видно, не имеет ни кареты, ни даже ложи в Итальянской опере хотя бы в четвертом ярусе; но все-таки к чему приходит дело? Чтобы не огорчать жену отказами, муж трудится выше сил и скоро должен умереть от чахотки. Вот вам и великая беда. Что станет делать несчастная вдова? Ее ожидает нищета, быть может разврат. Притом, как хотите, а все-таки она — убийца мужа. Впрочем, такая развязка — редкий случай. Муж Маши — человек слишком твердого характера, слишком высокого нравственного развития, каких немного:

Человек он был странной породы,
Исключительно честь понимал.

Из целой сотни людей разве двое имеют такую твердость характера и мыслей; остальные известно как поступают для приобретения нужных денег: они не отвергают «прекрасного средства», представляемого находящимся «под рукой казенным сундуком» и тому подобными источниками. Тут уж погибает не одно семейство, а страдает целая нация. Как же ослабить расточительность? Что надобно сделать, чтобы Маша не убивала мужа и не заставляла его подумывать о казенном сундуке? Надобно посмотреть, отчего происходит, чем поддерживается ее слабость к нарядам.

Завтра Маше подруга покажет
Дорогой и красивый наряд, —
Ничего ему Маша не скажет,
Только взглянет... убийственный взгляд!

Значит, покуда не переведутся подруги, у которых много лишних денег на пустые наряды, нельзя вылечить и Машу. Да эта ли одна беда? Муж думает иногда поговорить с Машей, что надобно жить скромнее.

Да обидится гордая теща.

Нельзя жить скромно, иначе перессоришься с родными. Значит, плохо будет дело, пока известный размер расходов считается обязанностью, налагаемой на человека его именем. Да и это еще не все. В самой Маше третья беда, с которой всего труднее справиться —

Все бы вздор... только с Машей не сладишь;
Не втолкуешь...

Маша дурно воспитана. Пока не изменится характер воспитания, ничего порядочного нельзя ожидать.

Посмотрите же теперь: из одного случая, касающегося только одного из многих вопросов, представляемых только одной из трех задач, какие уже обширные обязанности найдены нами для государства. Оно должно позаботиться об уменьшении числа людей, имеющих возможность сорить деньги, которым счета не знают; оно должно позаботиться о прекращении чванства именами; оно должно позаботиться об улучшении воспитания. Какие меры оно примет к тому, мы не знаем; теперь мы не даем советов об употреблении власти, а рассматриваем только пределы власти, определяемые обязанностью правительства забо-

тяться о безопасности. Что бы ни предприняло государство для достижения найденных нами целей, оно останется в пределах своей власти, если мы будем принимать теорию, поставляющую исключительным долгом правительства заботу об одной безопасности.

Если бы, например, какое-нибудь правительство почло нужным для прекращения мотовства конфисковать все имущества, превышающие известную меру; для прекращения хвастовства именами запретить употребление фамильных имен и приказать, чтобы подданные отличались друг от друга только нумерами; для улучшения характера воспитания брать всех детей по достижении пяти или шести лет из отцовского дома и отдавать в какие-нибудь казармы для малолетних,— если бы какое-нибудь правительство почло нужным сделать все это, можно было бы рассуждать о том, приведут ли к желаемому результату, то есть к искоренению расточительности, предпринятые государством меры, но нельзя было бы сказать, что оно превысило меру власти, предоставляемой ему теорией отсталых экономистов, предписывающих ему ограничиваться одним наблюдением за общественной безопасностью. Нарушается ли безопасность преступлениями? Нарушается. Служит ли расточительность одной из причин преступлений? Служит. Вправе ли государство принимать меры для отстранения фактов вредных для безопасности? Не только вправе, но и обязано по принятой на время нами теории. После этого не остается никаких рассуждений.

Государство может резать носы, набивать по хивинскому обычаю конских волос в пятки или по обычаю старинных учителей подвергать всех подвластных ему телесному наказанию каждую субботу, конфисковать имущество, отнимать детей у родителей,— оно вправе делать все это и все другое, что ему вздумается, лишь бы только ему казалось, что это нужно для общественной безопасности. Я знаю, о чем вы опять заговорите,— опять о здравом смысле, о правах человеческой личности. Но, повторяем, мы говорим не о том, какие меры благоразумны, какие нет, какие человечны, какие бесчеловечны,— мы говорим только о том, какие будут законны по нашей теории. Быть может, вы теперь думаете, что напрасно мы допускали ее безусловно, что напрасно не сделали мы оговорки о правах здравого смысла и человеческой личности. Быть может,— по уж выдержим на минуту характер, соблюдем свое обещание твердо держаться теории и про-

смотрим всю ее до конца. А потом, когда пресытимся этой прелестью, посмотрим, много ли останется из нашей теории, если мы подчиним ее требованиям здравого смысла и правам человеческой личности. Быть может, вы пресытились ею даже и теперь; но мы наслышались о ней столько хорошего, что непременно хотим рассмотреть все ее красоты. Почему знать? Может быть, в конце найдется что-нибудь новенькое.

Мы уже знаем, что государство существует только для ограждения безопасности. Этот основной принцип теории развивается и поясняется несколькими перифразами, имеющими, по-видимому, тот же самый смысл. Первый перифраз таков: «иначе говоря, заботе государства подлежит только то, что не достигается и не может быть достигнуто деятельностью частных лиц». Прекрасно; по этому правилу на обязанности государства лежит содержать армию и флот, без которых нет безопасности и которые не могут быть содержимы частными лицами. Но что, если я скажу, что, например, доставление каждому члену общества возможности жить честным трудом (условие также необходимое для общественной безопасности, потому что кто не может жить честным трудом, по необходимости берется за дурные средства) также достигается только общественной волей (законом) и общественной деятельностью, а не деятельностью частных лиц? Вы предчувствуете, куда ведут такие слова. Впрочем, не бойтесь. Я имею в виду пока не простолюдинов, не черные работы, — нет, мы приняли теорию людей богатых и будем говорить прежде всего о так называемых высоких потребностях и занятиях. Например, при нынешнем состоянии мореходства нужна астрономия. Для астрономии нужны между прочим каталоги звезд. Может ли составление каталога звезд окупиться распродажей этой книги, как окупаются вздорные повестушки и пустые статейки? Составление звездного каталога требует многих годов, — чем будет жить составитель до окончания своей работы? По ее окончании книга разойдется в 50 экземплярах, и вместо выгоды ее напечатание дает страшный недочет. Что же из этого следует? Полезный труд должен обеспечивать жизнь трудящегося. Каталог звезд полезен. Но частные люди, в отдельности каждый, не обеспечивают должного вознаграждения за него. Ясно, что государство обязано дать средства для этого труда. Берем другой пример. Предположим, что маленькому мальчику или человеку, страдающему помешательством ума, достался дом; предположим,

что у бедняжки нет близких родственников или что они люди недобросовестные. Вы прерываете меня и говорите, к чему тянуть дело? Ясно, что дом надобно взять в опеку. Ясно ли? Предупреждаем, что выводы из этого довольно важны. Но ни один из отсталых экономистов не думал еще отвергать необходимость опеки в подобном случае. Стало быть, дело можно считать бесспорным. Теперь спрашивается, на чем основана необходимость опеки? На неспособности взятого в пример человека управлять своими делами. На чем же основана его неспособность? На недостаточном или болезненном развитии его ума. Отчего же у маленького ребенка слаб ум? Отчего помешанный лишился рассудка? «Какое мне дело, — отвечаете вы. — Мы говорим не о физиологии и занимаемся не сплетнями, мы решаем практический вопрос, для решения которого все равно, каковы бы ни были причины слабоумия. Общество знает только, что известное лицо не имеет способности управлять своим домом, и больше ничего знать не обязано, а обязано учредить опеку». Помните же, до чего мы дошли: кто не способен оберегать свои выгоды, выгоды того должны оберегаться обществом. Так ли? Если не так, то общество не имеет права учреждать опеки над детьми и лишенными рассудка.

Подведем же итог к результатам, полученным нами: общество должно доставить приличное вознаграждение за труд человеку, желающему и умеющему заниматься честным и полезным трудом, если без вмешательства общества он не находит для себя вознаграждения. Общество обязано принимать на себя заботу о делах таких людей, которые не могут сами охранять своих интересов.

Принимаете ли вы эти выводы? Если не принимаете, вы отказываетесь от собственной вашей теории, а мы уже согласились не отказываться от нее. Кроме того, вы не признаете за обществом таких прав, или, лучше сказать, обязанностей, как, например, учреждение опеки над детьми-сиротами.

Если же вы принимаете эти выводы, ими разрушается вся первая половина вашей теории: на общество налагаются обязанности гораздо более обширные, нежели простая забота о безопасности. В самом деле, разве нарушится безопасность, если жильцы дома, принадлежащего ребенку, не станут ничего платить ему за квартиру, а просто возьмут его на прокормление себе, хотя бы с целью сделать его своим слугой, когда он вырастет? Безопасность лица тут неприкосновенна. «Но страдают его

экономические интересы». Вот именно, о том мы и говорим: стало быть, общество обязано оказывать защиту всякому, чьи интересы пострадали бы без вмешательства общества. Ведь это уже принцип гораздо более обширный, нежели охранение безопасности. После этого, значит, если я заключил невыгодный для меня контракт, то общество может объявить этот контракт недействительным? Ведь мои интересы пострадали бы без этого?

В самом деле удивительно, каким образом одни и те же люди, то есть остальные экономисты, за один прием высказывают два правила, будто бы совершенно согласные: «государство должно заботиться только об ограждении безопасности» и «государство обязано делать то, что не достигается деятельностью частных лиц»? Как не замечали они, что вторая обязанность несравненно обширнее первой? Ведь потребности общества и частных лиц не ограничиваются одной безопасностью; есть также потребности материального благосостояния, нравственного и умственного развития, потребности сердца и мало ли каких других законных потребностей? Ясно, что кто говорит вторую фразу, тот в первой фразе слово «только» должен заменить словом «между прочим».

После этого не нужно нам и говорить о следующем объяснении: «государство есть только страж безопасности частных лиц»; его смысл зависит от слова «только», а мы сейчас видели, что оно должно замениться словом «между прочим». Но любопытно последнее объяснение. «Идеал государственной деятельности есть нуль, и чем ближе может она подойти к этому идеалу, тем лучше для общества». Опять, как не видеть, что это объяснение совершенно разрушает всю прежнюю теорию, по которой забота государства ограничивалась одною безопасностью? Вмешательство государства требуется тем чаще, чем больше совершается преступлений, чем чаще нарушается порядок. Каждому известно, что бедность, невежество, грубость нравов и разврат — главные источники преступлений и нарушений порядка; следовательно, чем больше забот будет употреблять государство на искоренение бедности, невежества, грубости нравов и разврата, тем менее будет ему хлопот, тем менее будет сумма его вмешательств.

Мы уже говорили об этом, приводя в пример Машу и ее мужа. Если самостоятельность общества действительно должна быть целью общественной теории, то очевидно, что этой цели можно достигнуть только покровительством всему, что содействует развитию самостоятельности,—

именно заботой об истреблении бедности, распространении просвещения, о смягчении нравов и об истреблении тех причин, от которых портится характер и получают фальшивое направление человеческие склонности.

В странном виде излагается теория невмешательства государства в экономические отношения. К ней прилагаются объяснения, прямо ей противоречащие. Мы не можем осуждать ученых, бывших первыми ее основателями: они жили в другие времена, они не видели многих фактов, которые теперь перед глазами у каждого. Притом же Адам Смит и ближайшие его последователи вовсе не доходили до той односторонности, против которой восстаем мы. Но непростительно нашим современникам не хотеть замечать того, что каждому бросается ныне в глаза; непростительно искажать для поддержки ветхого те мысли, которые в свое время были двигателями прогресса.

Теория, провозглашавшая невмешательство правительства в экономические отношения, возникла в те времена, когда самая Англия, не говоря уже о континентальных государствах, страдала больше всего от обветшалых средневековых регламентаций. Эти регламентации поддерживались общественной властью. Как же было не говорить тогда умным и честным людям, что вмешательство общественной власти в экономические отношения вредит развитию промышленных сил? В самом деле, в большей части случаев оно было вредно; в самом деле, первой потребностью общества было избавиться от мелочной и нерассудительной опеки. С той поры обстоятельства во многом переменялись. Как и в чем именно, об этом мы говорили уже много раз, да и каждому это больше или меньше известно. Заметим только один общий результат перемены. Читатель знает, что мы имеем в виду исключительно историю Западной Европы. На чем основываются теперь почти все стеснительные меры, принимаемые западными правительствами? Для всех их представляется исключительным оправданием общественная безопасность. Зачем, например, нужны паспорта при въезде в Папскую область, в Ломбардию, в Богемию, в Галицию? «Для общественной безопасности». Зачем нужен стеснительный надзор за жизнью частного лица в Вене, в Праге, в Милане? «Для общественной безопасности». Зачем содержится страшная армия в Австрии, которая едва ли имеет пять гульденов звонкой монеты? «Для общественной безопасности». Словом сказать, какая бы прицепка ни задела вас на континенте Западной Европы, нечего и спрашивать:

откуда она и зачем она? Знайте наперед, что ответ на все один: «это нужно для поддержания порядка и общественной безопасности».

Поэтому нам кажется, что теория, поставляющая исключительной заботой правительства охранение общественной безопасности, не (совсем) сообразна с обстоятельствами настоящего времени для Западной Европы. Фактическая сила правительства над обществом не зависит от теорий, она определяется нравами общества и его потребностями. Теория может только определять предметы, на которые следует обращаться этой силе. Каждому известно, какое действие производится сосредоточением силы в известном направлении, обращением ее деятельности на меньшее число предметов: чем меньше будет их, тем с большей энергией станет охватывать их данная сила. Отсталые экономисты совершенно ошибаются, воображая, что изменяют пропорцию вообще между количеством правительственного вмешательства и количеством самостоятельности общества, когда настаивают на том, чтобы правительство занималось исключительно одним предметом, не касаясь других: сумма административного вмешательства остается все та же самая, только прилагается к одному предмету. Из пяти единиц составляет одна цифра пять, только в том и разница. Но нет, мы ошиблись. Чрезмерным и односторонним сосредоточением сил на одном предмете нарушается прежний общественный баланс. На что бы ни была обращена деятельность правительства, все-таки она постепенно изменяет своим влиянием нравы и потребности общества. Теперь спрашивается: одинаковы ли бывают результаты этого влияния, на какой бы предмет ни была обращена главная масса деятельности? Само собою разумеется, не все равно — гнуть ли на ту сторону, на которую и без того искривлен предмет, или на ту, от которой он уклонился.

Недостаток инициативы со стороны частной деятельности — вот по словам всех экономистов, даже и отсталых, главный порок всех обществ. В каких же сферах этот порок наиболее силен и в каких частная инициатива наиболее сильна? Все мы жалуемся на недостаток самостоятельности, предприимчивости, неослабного контроля со стороны частных лиц в экономической деятельности. Жалоба справедлива, но все-таки из десяти человек девятеро своей головой думают о своих денежных делах, о своих экономических расчетах. То ли в административных, судебных, вообще политических делах? Какое влияние

и какую заботу имеет частный человек на континенте Западной Европы относительно полицейских распоряжений, административных мер, судебных решений? Все это делается без его воли, без его участия, да и внимание его пробуждается тут разве к тем случаям, от которых терпят его экономические интересы, да и то на минуту, без постоянства, без энергии. Потому надобно думать, что важнейший недостаток общественных нравов на континенте Западной Европы состоит именно в отсутствии самостоятельности по делу общественной безопасности. Не будь полиции, ни один квартал не справился бы с ворами; не будь своей армии, вторжение небольшого чужестранного войска было бы достаточно для покорения огромной области. Говорят, будто когда-то, в IV или V веке, толпа из 300 германских дикарей прошла всю нынешнюю Францию и чуть ли не всю Испанию, и все города на дороге платили ей дань; да, кроме того, перерезала она несколько десятков тысяч поселян. Теперь, конечно, не то; но, однакоже, после Ватерлооской битвы целая Франция покорилась несколькими десятками тысяч изнуренных солдат Веллингтона и Блюхера. Величайший негодяй, вредящий десяткам людей, подсмеивается над их негодованием, пока не попадаетея в руки полиции каким-нибудь неловким поступком.

Не знаем, удалось ли нам передать читателю нашу мысль. Но мы хотели сказать, что какова бы ни была степень инициативы частной деятельности в экономической сфере, все же она безмерно больше, нежели та степень самостоятельности, какую внушают нравы Западной Европы частным людям относительно ограждения безопасности.

Поэтому надобно думать, что теория, сосредоточивающая на одном ограждении безопасности всю деятельность государства, ослабляя инициативу частной деятельности в этом отношении, стремится отнять у частного человека возможность и надобность в развитии его сил именно по тому направлению, в котором они наименее развиты. Говоря сравнением, эта теория связывает именно те органы индивидуальной деятельности, которые и без того уже слишком хилы от бездействия.

Вместо того чтобы проповедывать индивидуальную инициативу в экономических делах, при современном положении нравов гораздо полезнее было бы говорить о необходимости ее по исполнению задач общественной безопасности. Усиливая опеку по этим задачам через ограничение правительственной деятельности исключительно ими, теория невмешательства государства в экономи-

ческую деятельность отвлекает от них индивидуальную инициативу, и без того слишком слабую для них.

Правда, само управление составляет предмет желания даже и отсталых экономистов. Но они, обращая все свои мысли на его усиление в экономической деятельности, где оно и без того сильнее, чем в других сферах, поддерживают апатию общества в том направлении, где она всего заметнее и вреднее.

Из этого читатель видит, что мы недовольны теорией невмешательства власти в экономические отношения вовсе не потому, чтобы были противниками личной самостоятельности. Напротив, именно потому и не нравится нам эта теория, что приводит к результатам совершенно противным своему ожиданию. Желая ограничить деятельность государства одной заботой о безопасности, она между тем предает на полный произвол его всю частную жизнь, дает ему полное право совершенно подавлять личность. В самом деле, чего нельзя оправдать под предлогом охранения порядка, и какие меры из всех, кажущихся стеснительными в глазах просвещенного человека, не представляются нужными для охранения общественной безопасности людям менее просвещенным? Реакция всегда являлась для поддержания общественной безопасности. Деспотизм, открытый нами в теории, виден на практике в обществах Западной Европы: повсюду были найдены необходимыми террористические меры для восстановления порядка. Надобно только вспомнить о последней половине 1848 и о следующих годах во Франции, Германии, Италии. Народные массы были взволнованы, и оказалось, что нечем укротить их, кроме физической силы. Почему же оказалось это? Потому что для удовлетворения их требований нужно было энергическое вмешательство западных правительств в экономические отношения, а теория отсталой экономической школы, господствовавшая в образованных классах, не допускала такого вмешательства.

При нынешнем положении дел в Западной Европе эта теория ведет к подавлению личности, к замене законного порядка произвольными мерами, к превращению всей законодательной и административной силы в полицейский и военный надзор для усмирения и наказывания. Кроме Англии, ни одно из государств Западной Европы не могло бы сохранить своего настоящего устройства, если бы не опиралось на вооруженную силу. «Но по крайней мере в Англии общественное устройство поддерживается не вооруженной силой?» Так, но зато английские понятия об

отношениях государства к экономической деятельности частных лиц не похожи на теорию, которая господствует на континенте. Обыкновенно говорят, что в Англии правительство оставляет частному лицу гораздо более самостоятельности, нежели на континенте. Это правда, но, говоря о размере власти, забывают о распределении ее деятельности между разными отраслями общественной жизни. Полиция, администрация, суд — во всем этом государство на Великобританских островах имеет гораздо менее власти, нежели на континенте. Но в экономических отношениях оно оставило за собой гораздо больше власти, нежели сколько оставляется ему теорией *laissez faire, laissez passer* на континенте. Укажем один факт, безусловно осуждаемый всеми отсталыми экономистами: налог для пособия бедным. Мы согласны, что форма употребления этой подати нелепа; что же делать? Она сохранилась от средних веков, а в средних веках не было ничего соответствующего нынешним потребностям. Но мы говорим о принципе этой подати; «государство обязано давать средства для жизни каждому из своих членов». Там, где мог сохраниться этот принцип, несмотря даже на нелепость формы, в которую облечен, там, конечно, понятия об отношении государства к экономической деятельности должны быть совершенно не таковы, как теория безусловного невмешательства. В самом деле, английские экономисты не совсем похожи на тех отсталых французов, из которых обыкновенно черпаются наши понятия о политической экономии. Эти англичане, в своем государстве считающиеся людьми совершенно мирными, могут удивить человека, начитавшегося одних только книжек школы Сэ. В пример мы укажем на Милля, который теперь считается первым экономистом в Англии. Мы слышали, что сочинение Милля переводится на русский язык⁵, и от души желаем скорого исполнения этой полезной мысли. Тогда русская публика увидит, что односторонние доктрины, против которых мы вооружаемся, не составляют сущности строгой экономической науки и должны считаться принадлежностью не всех вообще экономистов, а только отсталых французских писателей. Милль — человек совершенно спокойный, враг всяких фантазий и утопий, и никто в Англии не считает его ни врагом порядка, ни врагом науки; напротив, каждый находит, что он оказал ей больше услуг, нежели какой бы то ни было другой экономист настоящего времени. Каковы же понятия этого спокойного и серьезного ученого? Он говорит о ренте, о наследстве такие вещи, которые совер-

шенно противоречат последователям системы *laissez faire*, *laissez passer*. Он говорит, например, что наследство даже по прямой линии может быть ограничено законом без нарушения собственности; он говорит, что рента составляет собственность государства, а не частных лиц, и если частные лица пользуются ею, то это — монополия, уступленная им государством. Наконец, угодно ли знать, что говорит он вообще о нынешнем экономическом порядке? Вот что. Мы переводим несколько страниц из 1-й главы 2-й книги его сочинения.

«Противники принципа индивидуальной собственности могут быть разделены на два класса: теория одних предлагает безусловное равенство в распределении материальных средств к жизненным наслаждениям; другие допускают неравенство, но только такое, которое было бы основано на принципе справедливости или общей пользы, а не зависело бы только от случая, как многие из нынешних общественных неравенств.

Каковы бы ни были достоинства или недостатки этих различных теорий, по справедливости нельзя назвать их непрактичными. Обыкновенно представляют против системы общинной собственности и равного распределения произведений то возражение, что при ней каждый постоянно старался бы отвиливать от своей доли работы. Но люди, делающие такое возражение, забывают, в каком громадном размере существует то же самое неудобство при системе, по которой производятся ныне девять десятых частей труда. Возражение предполагает, что честного и плодотворного труда должно ожидать только от людей, которые лично сами пользуются результатом своих усилий. Но какая ничтожная часть всего труда, производимого в Англии, производится людьми, трудящимися в собственную свою пользу? От человека, получающего самое низкое, до человека, получающего самое высокое жалованье, от ирландского жнеца или носильщика до верховного судьи или государственного министра, почти все люди, трудящиеся в обществе, вознаграждаются за работу поденной платой или определенным содержанием. Фабричный рабочий имеет в своей работе менее личного интереса, нежели член (коммунистической) ассоциации, потому что не трудится подобно ему для товарищества, в котором сам участвует. Скажут, что хотя большая часть работников и не имеет личного интереса в своем труде, но за ними надзирают, управляют их трудом и исполняют умственную часть труда люди, имеющие в нем личный интерес. Нет, и это можно сказать далеко не обо всех делах. Во всех общественных и во многих, самых больших и самых успешных, частных предприятиях не только черная работа, но также контроль и управление вверены наемным людям. Я высоко ценю одушевление, придаваемое труду той перспективой, когда вся выгода или значительная часть выгоды от усердия в работе достается работнику. Но при настоящей системе производства это побуждение не существует в огромном большинстве случаев. Если бы коммунистический труд и был менее энергичен, нежели труд поселенца-собственника или ремесленника, трудящегося в свою собственную выгоду, то, вероятно, он был бы более энергичен, нежели труд наемного работника, вовсе не имеющего личной выгоды в деле. Небрежность работников составляет самую резкую черту в нынешнем устройстве общества.

Но недостоверно еще и то, чтобы труд коммунистического работника был менее энергичен, нежели труд человека, работающего за собственную

выгоду, как полагают люди, не привыкшие простирать мысль за границы того порядка вещей, который у них под глазами. Люди способны проникаться усердием к общему делу в гораздо большей степени, нежели как представляется возможным в настоящее время. История свидетельствует об успехе, с которым огромные массы людей могут быть направляемы к тому, чтобы каждый из них считал общественный интерес своим собственным. Самой удобной почвой для развития такого чувства была бы (коммунистическая) ассоциация: все честолюбие, вся физическая деятельность, обращенные теперь на эгоистические цели, должны были бы тогда искать себе занятия в другой сфере и естественно нашли бы его в заботе об общественной пользе. И независимо от этого общественного побуждения каждый член ассоциации возбуждался бы влиянием самого всеобщего и самого сильного из личных побуждений — влиянием общественного мнения. Никто не отрицает силу этого побуждения в отворачивании людей от поступков, положительно осуждаемых обществом, и от пренебрежения правилами, соблюдения которых оно требует. Сила соревнования, возбуждающая к самым энергическим усилиям для приобретения похвалы и удивления от других, также очень велика, — это свидетельствует опыту всех случаев, при которых бывает публичное соревнование между людьми, даже и в делах пустых или не приносящих пользы обществу. (Соревнование о том, кто больше сделает для общей пользы, принимается и коммунистами. Потому вопрос, уменьшится ли при коммунизме хотя на сколько-нибудь энергия труда, — вопрос спорный.)

Более серьезным затруднением представляется хорошее распределение труда между членами ассоциации. По какой норме будут соразмеряться различные роды труда? Кто будет судить, например, какое количество ткацкой работы будет равномерно известному количеству пахотной работы? Да и в одном роде трудно ввести равномерность. Номинальное равенство было бы в сущности неравенством, возмутительным для справедливости. Не каждый одинаково способен к всякому труду, и одинаковое количество труда ложится неровным бременем на слабого и сильного, бойкого и медленного. Эти затруднения действительно существовали бы, но можно победить их. Распределение труда соразмерно силе и способности каждого отдельного лица, смягчение общего правила для тех случаев, в которых оно было бы тяжело, — это не такие задачи, с которыми не мог бы справиться человеческий ум, руководимый чувством справедливости. Притом самое неудачное и самое несправедливое разрешение этих задач при системе, стремящейся к равномерности, было бы так далеко от того неравенства или несправедливости, с которой ныне распределяется даже самый труд (не говоря уже о распределении вознаграждения), что сравнительно с неудобствами нынешней системы об этих несовершенствах не стоило бы и говорить.

(Потому, если бы надобно было сделать выбор между коммунизмом со всеми его шансами и между настоящим экономическим порядком со всеми его беспорядками и несправедливостями, когда продукты труда распределяются почти в обратном отношении к труду: самые огромные части произведений труда достаются тем, которые вовсе не трудятся, потом самые большие тем, труд которых совершенно номинальный, и т. д., по нисходящей лестнице, с уменьшением вознаграждения по мере усиления труда, до той последней степени, что самый утомительный и изнурительный физический труд не может рассчитывать, наконец, даже на приобретение необходимого пропитания себе, — если бы надобно было делать выбор между таким порядком вещей и коммунизмом, то каковы бы ни были неудобства коммунизма, — велики или малы, все равно, — они были бы не больше как пылинкой на весах.)

Но,— продолжает Милль,— можно предположить и при господстве частной собственности порядок вещей лучше того, какой видим теперь. В чем состоят перемены, возможные, по мнению Милля, в устройстве частной собственности, мы предоставим читателю искать в самом сочинении Милля. Можем только сказать, что его система не менее коммунизма противна духу отсталой школы, против которой мы спорим: читатель поверит нам, вспомнив хотя о двух частностях, на которые мы уже указывали: на мнения Милля о ренте и о наследстве. Можно кстати прибавить, что в качестве англичанина, более всего думая об Англии, он имеет решительную склонность желать экспроприации английских землевладельцев. Но все это вещи для нас посторонние. Далее он говорит, что в социализме не применяются и те возражения, которые имеют хотя мнимую силу против коммунизма, и) заключает свой обзор следующими словами:

«Даже из нашего краткого очерка должно быть очевидно, что эта система не нарушает ни одного из общих законов, которым подчиняется человеческая действительность, даже при настоящем несовершенстве нравственного и умственного развития; и что было бы чрезвычайно опрометчиво сказать, будто она не может иметь успеха или не может осуществить значительной части надежд, основываемых на ней ее последователями»*.

«Относительно всех оттенков социализма надобно желать того, чего он справедливо требует,— надобно желать ему испытания на деле. Опыты могут производиться в умеренном объеме без всякого личного или денежного риска для кого бы то ни было, кроме лиц, участвующих в опыте. Опыт должен решить, до какой степени и скоро ли та или другая система общей собственности способна заменить собой нынешний порядок дел, основанный на частной собственности».)

Мы привели этот довольно длинный отрывок только для того, чтобы показать, как далеко истинно современные экономисты расходятся в своих понятиях с узколобой школой разных отсталых французики, из книжонок которых обыкновенно почерпаются пышные речи нашими доморощенными противниками общинного владения. Нас упрекают в том, что мы отвергаем «научные истины»: помилосердуйте над этим серьезным термином, милостивые государи, скажем мы в ответ; не профанируйте его приложением его ко всякой ветхой дряни, которую провозглашает какой-нибудь поверхностный или недоучившийся французский пустослов. Какой науки хотите вы искать

* Principles of Political Economy by John Stuart Mill. London. 1857. Часть первая, стр. 246—254 и 263.

у Коклена и Гильйомена? Какая наука согласится иметь своими представителями Бодрильяра или Гарнье? Успокойтесь, милостивые государи! Вовсе не над наукой мы смеемся, а только над ветхой дребеденью, которая вовсе не пользуется одобрением истинно ученых экономистов, думающих своей головой, а не головой стародавних учителей, которые жили в другие времена, были представителями других обстоятельств и других потребностей.

Если мы спорим против теории *laissez faire, laissez passer*, то спорим против нее главным образом как против утопии, недостижимой при нынешнем положении общественных нравов, при котором государство по необходимости имеет очень значительную силу над частной жизнью. Главным источником такой силы мы считаем непривычку частных людей к инициативе. Печальнее всего этот недостаток частной инициативы проявляется именно в той отрасли жизни, которая отдается под безусловную опеку государства теорией его невмешательства в экономические отношения: частная инициатива слабее всего в деле охранения безопасности.

Мы думаем, что если государственная забота будет разделяться на все отрасли жизни, а не сосредоточиваться на одной этой, частная инициатива будет иметь более побуждений к развитию той своей функции, которая до сих пор оставалась особенно слаба. Мы думаем, что деятельность государства в экономической сфере вовсе не так опасна для личной самостоятельности, как в деле охранения безопасности, потому что в экономической сфере частная инициатива чрезвычайно сильна и не может быть подавлена никаким вмешательством. Словом сказать, мы так же сильно хлопочем о развитии личной самостоятельности, как самые рьяные приверженцы отсталой школы; мы думаем только, что наш принцип для развития личной самостоятельности благоприятнее, нежели система *laissez faire, laissez passer*. Мы уже показали, что в теории она ведет к поглощению личности государством, а на практике служит оправданием для реакционного терроризма. Именно поэтому мы отвергли ее, и теперь пора нам заняться изложением тех понятий, которые кажутся нам менее опасными для личной самостоятельности и более рассудительными.

Первое правило рассудительности — принимать в соображение факты. Итак, мы выходим от того факта, что государство существует и пользуется огромной силой. Каковы наши идеалы, теперь не об этом речь. Мы только

рассматриваем, какое распределение государственной власти по разным отраслям жизни неизбежно при данном состоянии общественных нравов; мы принимаем государство и его огромную силу как факт и должны только объяснить себе происхождение и смысл этого факта.

Для чего возникает государство и правительство, служащее органом его? Некоторые предполагают для государства цель более высокую, нежели потребности отдельных лиц, — именно осуществление отвлеченных идей справедливости, правды и т. п. Нет сомнения, что из такого принципа очень легко вывести для государства права более обширные, нежели из другой теории, которая говорит только о пользе частных лиц; но вообще мы держимся последней и выше человеческой личности не принимаем на земном шаре ничего. Будем же говорить об обязанности государства с этой точки зрения, которую принимают почти все экономисты, и в том числе все экономисты отсталой школы. Государство, по нашему мнению, существует только для блага частных лиц; в этом не станут спорить с нами люди, осуждающие нас за привязанность к общинному владению. Теперь предложим несколько вопросов. В чем поставили мы источник и цель правительства? В пользах индивидуального лица. Каких же именно мер могут требовать эти пользы, и к каким отраслям жизни могут относиться обязанности содействовать этим пользам? Само собой разумеется, тут а priori ничего нельзя определить, все будет зависеть от обстоятельств. Мало ли как изменяются надобности и желания человека! Тут границ разнообразию не может быть определено никаких, кроме самого слова «польза». Как же теперь и определить обязанности государства каким-нибудь другим термином? Всякое другое определение не будет соответствовать самому понятию о сущности государства: зачем оно существует, если не для пользы людей? А если существует оно для этой цели, то, конечно, должно удовлетворять всему, что требуется понятием пользы.

Есть разные теории о том, что полезно для людей. Смотри по тому, какую теорию вы примете, будут изменяться ваши понятия об обязанностях государства. Но разница между заслуживающими внимания теориями человеческих потребностей состоит не в том, чтобы одна исключала какие-либо частные средства или деятельности из сферы жизни, а другая принимала их; нет, разница только в том, что, перечисляя разные потребности человека, одна теория выше ставит одни, другая другие; например, по

одной теории на первом месте стоит материальное благосостояние, по другой — нравственное развитие и так далее.

Нам кажется, что теоретические споры об этом не совсем рассудительны: есть довольно много потребностей, одинаково важных с общей точки зрения, и та или другая берет перевес над остальными только на время, по стечению обстоятельств, а с изменением их уступает первенство какой-нибудь другой; следовательно, решение принадлежит уже только практике, зависящей от обстоятельств, а вовсе не теории.

«Но по крайней мере в практике для настоящего времени какую потребность считаете вы настоятельной?» Едва ли рассудительно было бы сказать, что следует считать только одну; скорее можно думать, что при нынешнем положении дел равно настоятельны три потребности: улучшение материального быта массы, расширение просвещения и увеличение индивидуальной самостоятельности. Однакоже, чтобы приблизиться к желаниям экономической школы, отсталые мнения которой мы опровергаем, и чтобы показать необходимость нашего вывода даже при отправлении с точки зрения, по-видимому, самой невыгодной для него, мы согласимся, что потребность индивидуальной самостоятельности составляет главную черту нынешнего положения дел.

Будем же рассуждать, основываясь на принципе развития индивидуальной самостоятельности. Пусть круг действия государства будет определяться преимущественно этой потребностью. Каково будет в таком случае отношение государства к экономической деятельности? Будет ли отвергнута инициатива со стороны государства в экономической сфере?

Ныне, каждый говорит, что все отрасли жизни тесно связаны. Открытие, сделанное ученым, производит переворот в материальном быте; увеличение благосостояния поднимает науку; постройка железных дорог изменяет общественные нравы. Толковать об этом даже скучно, потому что эту мудрость найдете вы в каждом пустейшем фельетоне. Но из этого ясно, что какая бы сфера жизни ни должна была служить коренным поприщем какой-нибудь инициативы, все-таки не останется ни одной сферы жизни, которая могла бы укрыться от действия этой инициативы. Возьмем, например, случай, относящийся прямо к вопросу о личной юридической самостоятельности. В уничтожении крепостного состояния дело идет коренным образом о воз-

вращении гражданских прав людям, которые до сих пор не признавались самостоятельными членами общества. Сомнение тут невозможно: сущность дела состоит в приобретении гражданских прав, в приобретении самостоятельности бывшими крепостными крестьянами; основание вопроса чисто юридическое. Но что же мы видим? С переменной юридических отношений неразрывно соединена экономическая перемена; в юридическом вопросе является экономическая сторона и оказывается столь важной, что совершенно заслоняет собой юридическую сторону от внимания общества. И не думайте, чтобы одно это дело было таково; ныне во всех делах экономическая сторона очень важна. Например, хотя бы дипломатические отношения. Никто не станет отнимать у правительства власти давать аудиенции иностранным посланникам и говорить с ними; но десять слов, сказанных Наполеоном III Губерну на новый год, отняли у европейских капиталистов в одну неделю четыреста миллионов рублей. Не двинулся еще ни один французский солдат к австрийским границам, произнесена была только одна фраза, — и курсы фондов понизились настолько, что тысячи людей сделались богачами, десятки тысяч разорились, сотни тысяч потеряли пятидесятую, двадцатую или даже пятую часть своего состояния. Не употребляйте тут, если не хотите, слово конфискация, по результат фразы, в которой не было ни малейшего намека о промышленности или торговле или о каком-нибудь имуществе, равнялся результату, какой могла бы иметь только самая колоссальная конфискация. «Но это — случай чрезвычайный». Обратимся к обыденным административным и законодательным мерам, которые возникают каждый день, — мы также увидим, что каждая из них производит соответствующую перемену в экономических отношениях. Положим, например, что в Петербурге решено ввести газовое освещение на всех улицах. Наверное, ни один экономист не скажет, что городское начальство или центральное правительство выйдет из круга прямых своих обязанностей, заботясь об освещении города. Но если осветятся газом Коломна и Выборгская сторона, без всякого сомнения цена квартир там несколько поднимется: полицейское распоряжение подарило домохозяевам этих частей выигрыш на доходе в несколько сот тысяч, а на капитале в несколько миллионов. Кончилось ли тем дело? Нет. Число квартир осталось прежнее, число жителей Петербурга также, следовательно пропорция между спросом и предложением квартир по целому

городу осталась одна и та же; но в некоторых частях запрос усилился; очевидно, что он должен в соответственной степени ослабеть в других частях. И действительно, каждый вновь желающий поселиться в Коломне или на Выборгской стороне выбывает из числа желающих оставаться в первой Адмиралтейской или в Литейной части. Уменьшение запроса производит понижение ценности. Сумма уплат за квартиры осталась в целом Петербурге прежняя. Ясно, что она уменьшилась в некоторых частях, если увеличилась в других. Освещение газом Коломны и Выборгской стороны имеет тот же экономический результат, какой имела бы передача домохозяевам этих частей нескольких миллионов, взятых у домохозяев тех частей, которые уже и прежде имели хорошее освещение. Другой пример. Предположим, что правительство упрощает формы делопроизводства. Мы не говорим уже о том, что через это уменьшается масса чиновников: положим, что люди служащие, по необходимости находясь в прямой экономической зависимости от каждой административной меры, не должны приниматься в расчет; но каково влияние упрощения переписки на экономический быт частных людей, не находящихся на службе? Вести дела стало легче, решаются они скорее, ход их понятнее, стало быть, меньше расходов и меньше хлопот каждому, имеющему какое-нибудь дело с полицией, администрацией или судилищем. А из десяти человек девятеро имеют в год хотя одно какое-нибудь дело до власти. Следовательно, все они что-нибудь выигрывают в денежном отношении. Кончилась ли этим экономическая перемена? Опять-таки нет. Если дела ведутся яснее, проще и короче, уменьшается надобность в ходатаях, следовательно теряют все те, которые прежде жили запутанностью и медленностью делопроизводства. Вы скажете: «это и прекрасно: пусть уменьшаются выгоды людей, живущих за счет других». Я согласен, но замечаю, во-первых, что именно таков смысл всех доктрин, желающих разумного участия государства в экономических делах и отвергающих формулу *laissez faire, laissez passer*. Во-вторых, как бы то ни было, а все-таки упрощением делопроизводства передавалась бы одному разряду людей очень значительная масса доходов, теряемых другим разрядом людей.

Но едва ли не напрасно мы говорим о том, что каждое действие государственной власти, к какой бы сфере ни относилось оно прямым образом, к военной или дипломатической, к полицейской или судебной, непременно про-

изводит соответствующую перемену в экономических отношениях, непременно сопровождается передачей известной массы дохода и, следовательно, капитала из рук одних частных людей в руки других частных людей,— напрасно выставляли мы эту сторону всех без исключения правительственных действий в доказательство того, что экономическая сторона частной деятельности никак не может не находиться в огромной зависимости от правительства. Есть другой факт, прямым образом устанавливающий эту зависимость. Никто еще никогда не сомневался в неизбежной связи идеи государства с идеей налогов и податей. Формы государственной власти могут быть чрезвычайно различны, состав бюджета также, но всегда и везде государственная власть имела в своем распоряжении бюджет, везде она определяла налоги и подати, везде определяла предметы их расходования. В этом отношении все равно,— неограниченный ли монарх или конституционный парламент или собрание всего народа называется государственной властью; во всяком случае каждый частный человек должен платить налоги и подвергаться пошлинам, какие установит государственная власть. Надобно ли говорить, в какую великую зависимость от государства ставится через это имущество каждого частного человека и вся его экономическая деятельность? Конфискация — слово ненавистное; но что в ней ненавистного и несправедливого? То, что известное лицо подвергается исключительной мере, не касающейся других; ненавистно и несправедливо то, что с одним поступают не так, как со всеми другими. Конфискация — обратная сторона привилегии. Но если государство поступит несправедливо, предоставив мне одному право пользоваться выгодами, например, торговли с Англией или с Францией, то поступает ли оно дурно, предоставляя каждому своему подданному право вести заграничную торговлю и пользоваться ее выгодами? Ненавистны и несправедливы всякие исключительные меры, обращенные на одно лицо в его выгоду или невыгоду, все равно. Но когда налог одинаково ложится на всех, до кого может касаться, в нем нет несправедливости, это всеми признано. А между тем что такое делает налог? Он берет у частного лица в пользу государства известную долю доходов, то есть известную долю капитала. Если у меня триста десятин земли, дающих каждая по четыре рубля дохода, то для меня все равно, будет ли учрежден налог в один рубль на десятину или прямо была бы взята у меня четвертая часть моей земли: за уплатой налога из

1 200 руб. у меня останется дохода девятьсот рублей; если бы у меня прямо было взято 75 десятин, результат был бы тот же: 225 десятин, оставшиеся у меня и избавленные от налога, давали бы также 900 рублей. Доход был бы одинаков, следовательно и капитал был бы одинаков. В самом деле, давая мне такую цену, чтобы получить с купленного имущества 5 процентов, покупатель дал бы мне за каждую десятину только по 60 руб., когда остается дохода по 3 руб. с десятины, то есть за триста десятин дал бы мне только 18 000 руб.; а если с десятины остаются все 4 рубля дохода, он дал бы за десятину по 80 руб., то есть мои 225 десятин имели бы ту же самую ценность, 18 000 руб. В экономическом отношении налог совершенно равняется тому, как если бы соответственная доля имущества была обращена из частной собственности в государственную.

Если государство беспрекословно пользуется правом присваивать себе посредством налога такую часть имущества, какую почитает удобным, то возможно ли рассудительному человеку, понимающему экономическую сущность налога, сомневаться в праве государства обращать на экономические отношения действие своей власти гораздо более медленное и далеко не столь резкое, именно принимать законодательные меры, какие требуются улучшением быта массы?

Мы говорили о бюджете доходов. Еще поразительнее действие бюджета расходов. (Посредством налога государство берет только такую часть имущества, какая кажется ему нужной; но оно еще не говорит частному отдельному лицу: «ты можешь заниматься таким-то делом или ты не можешь заниматься им; я тебя делаю богачом или лишаю тебя всего состояния».) Бюджет расходов производит такое действие.) Многие лица, не имеющие никакого состояния, получают из государственного бюджета богатые средства для жизни. Мало того, что бюджет дает содержание по несколько тысяч или по несколько десятков тысяч в год тем лицам, которых правительство считает достойными такого содержания, — бюджет во всех государствах служит одним из главных источников возникновения наследственных колоссальных богатств. Подрядчики, поставщики, (откупщики) — все это создания бюджета. (Не только у нас, но и) в Западной Европе почти все громадные богатства приобретены частными людьми или прямо от бюджета или по крайней мере благодаря покровительству государства. Почти вся без исключения земельная собственность (и) в Западной Европе (и у нас)

произошла от пожалований правительства. (В Западной Европе это было давно, однакоже памятно всем. У нас не очень давно, но как-то не столь живо помнится. Впрочем, довольно спросить нам наших отцов и дедов, чтобы узнать, откуда возникли все колоссальные поместья.) Но что говорить о недвижимой собственности, когда в прямой зависимости от бюджета находится даже промышленная деятельность множества лиц? Возьмем в пример хотя суконные фабрики. Что, если бы государству вздумалось одевать солдат вместо суконного платья в бумажное? Кажется, тут не может быть спора о границах его власти: форма мундира, конечно, зависит от правительства. Но от замены суконной шинели плюсовой шинелью на вате прямо погибли бы многие суконные фабриканты. Возьмите какую угодно другую статью государственного расхода, и вы увидите, что на ней держится экономическая деятельность множества людей и что перемена в ней будет прямым уничтожением многочисленных состояний, прямым прекращением целых отраслей прежней экономической деятельности.

Если бы государство совершенно не хотело бы вмешиваться в экономические отношения, оно никак не могло бы избежать чрезвычайно сильного влияния на них; бюджет расходов развивает экономическую деятельность в известных направлениях, бюджет доходов ставит в прямую зависимость от государства все без исключения частные имущества и доходы и, наконец, всякое законодательное постановление, всякое изменение судоустройства, всякая административная или судебная мера имеет своим последствием перенесение известной суммы имущества из одних рук в другие. Это факт неизбежный, неотвратимый никакой теорией науки, никакими желаниями самого правительства. После того люди, толкующие о невмешательстве государства в экономические отношения, непохожи ли на того господина, который толковал о букашках, не замечая слона? Если государство имеет право вести войну, выбирать источники для составления бюджета своих доходов, употреблять, как ему покажется нужным, собираемые им суммы,— если оно таким образом имеет власть над сотнями и тысячами миллионов, то какая тут может быть речь о независимости частной экономической деятельности от государства? Будем говорить откровенно: значительнейшая часть всей экономической деятельности общества находится в прямой зависимости от правительства. Будут ли понимать экономисты, будет ли думать са-

мо государство, что оно должно иметь сильное влияние на частную экономическую деятельность, это все равно: во всяком случае все имущественные отношения частных лиц будут зависеть, как всегда зависели, от государственной власти.

Но есть большая разница в том, сознано ли значение факта, или он происходит бессознательно. Если бы брамин сознавал, что он в каждом глотке воды поглощает миллионы живых существ, он, вероятно, не остановился бы опасением наступить на какую-нибудь букашку своей ногой, когда нужно спешить, чтобы вытащить утопающего из воды. Если бы экономисты отсталой школы понимали неизбежность влияния государства на экономические отношения, они, вероятно, вместо пустых толков об утопической системе невмешательства занялись бы определением истинно полезных предметов и действительно разумных границ для неизбежного вмешательства. Мы попробуем сделать это, принимая за основу тот факт, что государство существует для блага индивидуальной личности. Прежде всего мы рассмотрим, в каком направлении должно производиться влияние государства на распределение имущества в обществе для принесения людям наибольшей выгоды.

Предположим, что у Ивана есть доход в 50 рублей; предположим, что у Петра есть доход в 500 рублей; предположим, что кто-нибудь должен поручить другому лицу дело, дающее 100 рублей дохода: кому из двух, Ивану или Петру, будет выгоднее такая прибыль? Через прибавку 100 рублей доход Петра увеличится всего только на пятую долю, а доход Ивана увеличится в три раза. Ясно, что поручить это дело Ивану — значит принести человеку гораздо более пользы, нежели поручить его Петру. Берем другой случай. Предполагаем, что существует десять человек, имеющих каждый по 50 рублей дохода; предположим, что есть дело, дающее 500 рублей дохода; спрашивается, лучше ли будет сделать участниками в этом деле всех десятерых или поручить его одному? Если поручить одному, он выиграет чрезвычайно много, но выиграет он один; если сделать участниками всех десятерых, состояние каждого улучшится вдвое. Положим, что мы еще не можем из этого решить, какой способ лучше, и поручили все дело одному. Но вот встречается опять подобное дело: если мы поручим его одному тому, кому поручали прежнее дело, его положение улучшится менее нежели вдвое (он имел уже 550 рублей, теперь будет иметь 1050); если же пору-

чить дело остальным девяти, состояние каждого из них улучшится более чем вдвое (каждый имел по 50, теперь будет иметь по $105\frac{1}{2}$ рублей). Ясно, что лучше дать девятерым с лишком вдвое, нежели дать одному менее чем вдвое; ясно, значит, что и в первый раз полезнее было бы призвать к участию всех десятерых, а не сосредоточивать выгоду на одном. Мы говорили о выгодах, теперь подумаем об убытках. Предположим опять Ивана с 50 рублями дохода и Петра с 450 рублями; предположим, что нам нужно получить 100 рублей и что мы имеем право взять их с того и с другого в какой нам угодно пропорции. Если мы разделим требование на обоих поровну, то оказалось бы, что, взяв с Ивана 50 рублей, мы оставили его решительно без копейки, а между тем у Петра взяли только одну девятую часть его доходов. Тут явная неравномерность в обременении. Справедливее будет взять с обоих в равной пропорции, то есть с Ивана только 10, а с Петра 90 рублей. Быть может, если бы мы ближе всмотрелись в необходимые надобности того и другого, мы увидели бы, что можно найти пропорцию еще более справедливую; но пока довольно для нас и того: мы уже видим, каково должно быть вообще влияние государственного участия на экономические отношения. Оно должно стремиться к тому, чтобы выгоды общественной жизни распределялись между членами общества как можно равномернее, а убытки ложились на тех, кто легче может их вынести. Только в этом направлении можно доставлять людям при данном размере национального богатства наибольшую сумму благосостояния.

В этом согласны с нами даже экономисты отсталой школы; но теперь мы должны перейти к предмету, в котором расходимся с их теорией. Определив направление непосредственного участия государства в частных делах, надобно решить вопрос: нуждается ли экономическая деятельность частных людей в прямом содействии государственной власти?

«Как это можно? — кричат экономисты отсталой школы, — такое вмешательство нарушило бы естественный ход вещей. Пусть вещи идут естественным порядком. Насиловать природу нельзя. Всякая искусственность вредна. Искусственными средствами вы ничего не достигнете. Оставьте действовать природу вещей; она лучше вас знает, как и что делать. Неужели вы хотите свой ограниченный ум поставить судьей природы и переделывать ее по вашим теориям?»

Слова эти очень громки и милы, а главное — очень успокоительны. Смысл их таков: будьте людьми, которые, по выражению Гоголя, смотрят на мир, ковыряя пальцем в носу. Но дело в том, что они основаны на гипотезе, которую мы не обязаны принимать без проверки. «Невозможно и вредно переделывать природу вещей». Почему же так? «Потому что в природе все устроено наилучшим образом, так что потребности человеческой природы находят себе наилучшее возможное удовлетворение в случайном сцеплении обстоятельств, так что рассудку не остается надобности и хлопотать об изменении этих обстоятельств для приведения их в лучшее соответствие с потребностями человека». Мы посмотрим, верна ли эта гипотеза.

Все в природе устроено наилучшим образом, — не знаю, с какой точки зрения это справедливо; а с точки зрения человеческих потребностей и удобств оказывается вовсе не то. Например, теперь хлопочут о прорытии Суэзского и Панамского перешейков, — ясно, что эти перешейки чему-то мешают. Французы сверлят в южной половине Алжирии артезианские колодцы, — надобно полагать, что воды в тех местах меньше, нежели нужно человеку. Да что говорить о таких мелочах! Риттер и Гумбольдт давно показали, что расположение Алтайских гор на юге Сибири вовсе неудобно для сибиряков, которым было бы лучше защищаться горами от полюса; они же говорят, что если бы море раздробляло Азию на такие же мелкие куски, как раздроблена Европа, то для азиатцев было бы гораздо лучше. Африкой они решительно недовольны; и если бы только дать им волю, всю бы ее исполосовали длиннейшими и широчайшими заливами, устроили бы в ней по крайней мере два или три Средиземных и Балтийских моря. Нельзя сказать, чтобы они во всем были довольны и Европой: по их мнению, жаль, что горы у ней на юге, а не на севере. Если б их воля, они перенесли бы Балканы в Олонекскую губернию. Это, конечно, не скоро удастся сделать; но что могут, то делают люди, чтобы переработать природу по-своему. Где могут, они стараются осушать болота, направлять течение рек, очищать их устья, строить плотины, проводить каналы и мало ли чего они не делают. Им, видите ли, без этих переделок неудобно жить. Да и что такое вся экономическая деятельность, как не переработка природы для удовлетворения человеческим потребностям? Надобно человеку есть, — ему приходится пахать землю; да еще мало того, что пахать, надобно удобрять ее, надобно переделывать почву. Хочется человеку укрыться от непо-

годы,— опять оказывается, что природа не приготовила для него ничего, кроме пещер, и приходится опять-таки переделывать природу, строить себе жилище. И до чего доходит человек! Отвратительно и подумать: даже те вещи, которые в природном виде могли бы быть для него полезны, он находит все еще неудовлетворительными и старается улучшить их по своим узким соображениям. Например, есть на овце натуральное руно, он этой шерстью не доволен: говорит, будто она груба; начинает перевоспитывать овец, разводит искусственную породу мериносов. Можно питаться говядиной,— он опять-таки находит, что надобно переделать коровью породу, чтобы мяса было больше и чтобы оно было вкуснее. Словом сказать, до чего ни дотронется человек, все не по нем, все не так, все надобно переделывать. Одно из двух: или весь род человеческий с той поры, как начал пахать землю, сумасбродствует и куралесит, или в самом деле внешняя природа неудобна для его потребностей, и надобно ему сильно ее переделывать. Вот вам уже и создается «искусственный» порядок вещей, которого не хотят допускать отсталые эконоmisty. По-нашему, если вооружаться против искусственности, пусть бы воевали не против системы Овэна или Луи Блана, а против утопистов, удобряющих свои поля или хотя бы и без удобрения пашущих землю,— ведь это тоже «насилование натурального порядка».

Человеческое общество развилось под влиянием внешней природы. Мы уже видели, что устройство внешней природы не совсем удовлетворительно для человеческих потребностей; из этого прямо следует, что развитие, происшедшее под влиянием невыгодной обстановки, не может вполне удовлетворять потребностям человека и нуждается в исправлениях, предписываемых рассудком. Самым общим следствием неполной сообразности устройства природы с потребностями человека является недостаточность средств, предлагаемых природой для удовлетворения его потребностей. По натуре своей человек склонен к доброжелательству относительно других людей; но себя каждый любит более всего на свете. Каждый хочет удовлетворить своим потребностям; а средства, предлагаемые природой, для удовлетворения всех людей не окажутся достаточными; из этого возникает вражда между людьми, расстройство лежащего в человеческой природе взаимного доброжелательства. Столкновение интересов приводит к необходимости установить с общего согласия правила, определяющие отношения между людьми в разных сферах их

деятельности. В каждом обществе необходимы правила для государственного устройства, для отношений между частными людьми, для ограждения тех и других правил. Таким образом возникают законы политические, гражданские и уголовные. Дух и размер этих законов могут быть при различных состояниях общества чрезвычайно различны; но без законов, в том или другом духе, в том или другом размере устанавливаемых рассудком и изменяющихся сообразно с обстоятельствами, не может обойтись общество, пока существует несоразмерность между средствами удовлетворения человеческих потребностей и самими потребностями.

Для каждой сферы общественной жизни существуют свои особенные законы: есть правила, определяющие семейную жизнь (законы о браке, об отношениях мужа и жены, родителей и детей); есть правила для развития умственной жизни (законы о воспитании и преподавании); есть правила для отношений между независимыми людьми в государственной их деятельности (законы о правах личности и о степени ее участия в государственной жизни); есть законы для политической деятельности (законы о государственных учреждениях, о формах законодательства и администрации). Каждая из этих сфер жизни имеет свои особенные законы, устанавливаемые рассудком, зависящие от воли общества, изменяющиеся сообразно перемене обстоятельств: как же не иметь таких законов самой важной из всех деятельностей, как не иметь их экономическому производству? Если б оно не имело их, этим нарушалась бы аналогия его с другими деятельностями, нарушался бы основной принцип существования общества, который — одно и то же с существованием законов. Мы видели, что для каждой деятельности не только должны существовать законы, но именно должны существовать специальные законы, относящиеся только к ней и не касающиеся других деятельностей. Для семейного быта неудовлетворительны законы, определяющие вообще отношения между частными людьми по их политическим правам; и наоборот, для политических отношений между независимыми людьми неудовлетворительны семейные законы. Опять было бы странным нарушением и аналогией с другими деятельностями, и основного общественного принципа, если бы экономическая деятельность не нуждалась в своих специальных законах, могла бы удовлетворяться теми правилами, какие существуют для других деятельностей.

Мы видели первую причину для необходимости экономических законов — несоразмерность средств, предлагаемых внешней природой, с потребностями человека. Дисгармония между условиями общей планетной жизни и частными нуждами человеческой жизни представляется первым обстоятельством, требующим вмешательства рассудка для облегчения этой дисгармонии, для смягчения этих столкновений. Вторым источником является дисгармония в самой человеческой природе.

Нет сомнения в том, что по сущности своей природы человек есть существо стройное и согласное в своих частях. В этом убеждает нас и аналогия с другими животными организмами, которые не носят в себе противоречий, и самый принцип единства органической жизни в каждом организме. Но под влиянием противных потребностям человека условий внешней природы самая жизнь человека подвергается уклонениям, и развиваются в ней самой противоречия. Различные потребности, разжигаемые недостатком нормального удовлетворения, достигают крайностей, вредных для самого человека. Все эти крайности еще более искажаются и преувеличиваются влиянием тщеславия, составляющего искажение основного чувства человеческой природы, чувства собственного достоинства. Таким образом, человек подвергается внутреннему расстройству от пороков и экзальтированных страстей. Условия, в которых мы живем, так неблагоприятны для коренных потребностей человеческой природы, что самый лучший из нас страдает этими недостатками. Не забудем, что коренной источник их — несоразмерность средств к удовлетворению с потребностями — имеет чисто экономический характер; из этого уже легко сообразить, что пороки и экзальтированные страсти должны самым прямым образом отражаться в экономической деятельности, да и самые действительные средства против них должны заключаться в экономической области: ведь надобно обращаться против зла в самом его корне, иначе не истребишь зла. Теперь, если эти противные человеческой природе элементы усиливают необходимость законов для каждой сферы общественных отношений, то каким же образом могли бы оставаться чужды подобной необходимости экономические отношения?

Таким образом, если мы взглянем на вопрос с общей теоретической точки зрения, то мнение, будто бы экономическая деятельность не нуждается ни в каких положительных законах, когда остальные деятельности нужда-

ются в них, представится нам чистою нелепостью, нарушением всякой аналогии между проявлениями человеческой деятельности в разных сферах и противоречием основному принципу общества.

Если бы мы хотели придавать какую-нибудь важность разноречию или согласию истинных понятий с мнениями отсталых экономистов, мы остановились бы на этом фазисе человеческого существования, на фазисе, обнаруживающем нелепость отсталой школы экономистов для нашего времени. Если бы мы обращали сколько-нибудь внимания на их суждения о нашем образе мыслей, мы также остерегались бы высказать наши понятия о том, каков должен быть окончательный результат настоящего экономического движения. Но для нас все равно, будут ли называть нас отсталые люди обскурантами, реакционерами или утопистами; и мы так убеждены в нелепости их принципа для нынешней цивилизации, что охотно покажем, когда этот принцип приобретет возможность разумного приложения к жизни; соглашаясь на его возможность в чрезвычайно отдаленном будущем, чрез то самое заслужим имя мечтателей у людей, держащихся его в настоящем.

Мы видели, что необходимость законов возникает из несообразности человеческих потребностей с средствами удовлетворения. Один из самых избитых трюизмов состоит в том, что человек все больше и больше подчиняет себе природу. Когда одно из данных количеств остается неизменным (силы природы), а другое (силы человека) постоянно возрастает и притом чем далее, тем быстрее, то простое арифметическое соображение показывает нам, что второе количество с течением времени необходимо сравняется с первым и даже превзойдет его. Таким образом, мы принимаем за арифметическую истину, что со временем человек вполне подчинит себе внешнюю природу, насколько будет <это> ему нужно, переделает все на земле согласно с своими потребностями, отвратит или обуздает все невыгодные для себя проявления сил внешней природы, воспользуется до чрезвычайной степени всеми теми силами ее, которые могут служить ему в пользу. Этот один путь уже мог бы привести со временем к уничтожению несообразности между человеческими потребностями и средствами их удовлетворения. Но достижение такой цели значительно сократится изменением в размере и важности разных человеческих потребностей. С развитием просвещения и здравого взгляда на жизнь будут постепенно ослабевать до нуля разные слабости и пороки,

рожденные искажением нашей природы и страшно убыточные для общества; будет ослабевать и общий корень большинства этих слабостей и пороков — тщеславие. Итак, с одной стороны, труд будет становиться все производительнее и производительнее, с другой стороны, все меньшая и меньшая доля его будет тратиться на производство предметов бесполезных. Вследствие дружного действия обоих этих изменений люди придут когда-нибудь к уравновешению средств удовлетворения с своими потребностями. Тогда, конечно, возникнут для общественной жизни совершенно новые условия, и между прочим, прекратится нужда в существовании законов для экономической деятельности. Труд из тяжелой необходимости обратится в легкое и приятное удовлетворение физиологической потребности, как ныне возвышается до такой степени умственная работа в людях просвещенных: как вы, читатель, перелистываете теперь книгу не по какому-нибудь принуждению, а просто потому, что это для вас занимательно и что было бы для вас скучно не посвящать чтению каждый день известное время, так некогда наши потомки будут заниматься материальным трудом. Тогда, конечно, производство ценностей точно так же обойдется без всяких законов, как теперь обходится без них прогулка, еда, игра в карты и другие способы приятного препровождения времени. Каждая пробужденная потребность будет удовлетворяться досыта, и все-таки останется за потреблением излишек средств удовлетворения; тогда, конечно, никто не будет спорить и ссориться за эти средства, и распределение их вообще будет обходиться без всяких особенных законов, как ныне обходится без особенных законов пользование водами океана: плыви, кто хочет, — места всем достанет.

Надежда на такое время — простой арифметический расчет. Время это настанет; тут расчет так же верен, как то, что в прогрессии

1. 2. 4. 8. 16...

явятся наконец члены, которые будут более миллионов или какого вам угодно данного числа. Но близко ли или далеко до этих членов, близко ли или далеко это время, — вопрос другой; мы думаем, что оно еще очень далеко, хотя, быть может, и не на тысячу лет от нас, но, вероятно, больше нежели на сто или на полтора ста.

Тогда... О! Тогда будет вполне разумна система, провозглашающая безграничную независимость производства

и распределения богатств от вмешательства общественной власти; тогда будут современны мнения нынешних последователей Жана-Батиста Сэ. Но теперь наши потребности, к сожалению, еще не таковы, чтобы экономическая сфера могла обойтись без своих специальных законов.

Припомним норму поочередного владычества трех форм в каждом явлении⁶. В конце развития экономические понятия будут сходны по форме с теми, от которых началось развитие этой науки. В конце она будет провозглашать, как провозглашала в начале, безграничную независимость индивидуума от всяких стеснений. Мы, к сожалению, живем в периоде переходной формы, отрицающей такую независимость и выставляющей необходимость подчинения экономической деятельности специальным законам. Характер фактов в конце развития также будет иметь сходство с тем, что было при начале. В половине XVIII века, когда явилась политическая экономия, почти не было конкуренции. Со временем конкуренции также не будет; но теперь она существует, и ее существованием обуславливается необходимость понятий, не сходных с теми, какие были порождены ее отсутствием.

«Итак, мы не ошиблись, чувствуя к вам антипатию, предполагая обскурантизм в вашем утопизме, — скажут приверженцы отсталых экономических понятий. — Вот вы сами признаетесь, что хотите регламентации в экономических отношениях».

Что сказать на это? Разве прибегнуть опять к новому трюизму в придачу к тем, которыми наполнены наши статьи? Вражда отсталых людей против новизны основана бывает чаще всего на неспособности различать новое от давнишней старины. Был век регламентации; он проходит; возврат к нему невозможен, и, конечно, всех менее могли бы желать возвращения к отжившему порядку вещей те люди, которые и настоящим порядком недовольны только потому, что находят в нем слишком много старого, отжившего свой век и, следовательно, вредного. Регламентация! Вот в самом деле какая прелесть для нас! Да ведь мы именно потому и расходимся с отсталой школой, что она, гоня и поражая регламентацию одной рукой, удерживает и приголубливает ее другой рукой. По секрету от отсталых экономистов мы сообщим читателю, что они — величайшие регламентаторы, каких только видел свет со времени китайских мудрецов, составивших знаменитую книгу «Десять тысяч церемоний». — «Полноте, как это можно? Каким же образом стали бы поддержкой регламентации те

люди, которые так пылко кричат против нее?» — спросит читатель. Каким образом они стали поддержкой регламентации, это мы увидим после; а теперь скажем, отчего они стали поддержкой ее. Причина очень проста: дело известно, что излишек усердия ослепляет людей до того, что они ничего хорошенько не могут разобрать. Так и экономисты отсталой школы в своей ревности против регламентации не умели хорошенько разобрать, в чем сущность вещи, на которую они нападают, и не заметили разницы между регламентацией, то есть нелепостью, и между законом, достойным своего имени, то есть ограждающим и развивающим свободу, которую давит регламентация. Мы попробуем объяснить эту разницу несколькими примерами, особенно известными в истории регламентации.

Начнем с протекционизма. Он имеет целью покровительствовать развитию домашней промышленности или увеличить государственные доходы. Может ли быть достигнута им та или другая цель? Ослабление торговых сношений с другими народами невыгодно действует и на внутреннюю торговлю, находящую мало возбуждения в заграничном сбыте; мало того, что она ослабевает в целом своем объеме, — она обращается к отраслям производства, наименее производительным, пренебрегая выгоднейшими. Таким образом, вместо того, чтобы поднимать родную промышленность, протекционизм ослабляет и портит ее. Таможенные доходы при протекционном тарифе также уменьшаются, потому что оборот внешней торговли бывает мал. Протекционизм относительно обеих своих целей производит действие, противное тому, какого желал. Мало того, что доход государства уменьшается: расходы по содержанию таможен страшно увеличиваются на усиление пограничной стражи, но контрабанда представляет столько выгод, что при всех преследованиях чрезвычайно развивается. В народе является склонность обманывать правительство, потому что обман легок. Контрабандисты и их патроны умеют избегать наказаний; между тем честные люди вследствие таможенного надзора подвергаются стеснительным обыскам. Таким образом, коренными чертами протекционизма являются следующие факты: 1. Цель, им предположенная, не достигается на практике; 2. Мелочный надзор вводит государство в лишние расходы; 3. Жизнь отдельных людей подвергается мелочным стеснениям; 4. Легкость обмана развивает в нации склонность к нему.

Возьмем другой пример — закон, определяющий норму процентов по займам между частными лицами: в его действии мы увидим те же черты: 1. Вместо того чтобы удерживать проценты на низкой норме, он поднимает ее, затрудняя сделки между людьми, ищущими денег и дающими; 2. Вводит хлопотливый надзор, обременяет полицию и судебные места делами, расходы казны возрастают; 3. Частные люди подвергаются стеснению; 4. Обман легок: нужно только приписывать проценты к капиталу; в народе развивается наклонность обходить закон и обманывать правительство.

Следует ли из неудачи, какую терпит регламентация в своем стремлении увеличить государственные доходы, поднять национальную промышленность и понизить кредитный процент, что сами по себе эти стремления дурны или цель их не достижима? Напротив, цели хороши и достижимы, только нужны другие средства для их достижения. Пусть правительство улучшает пути сообщения, охраняет безопасность лиц и собственности, — тогда промышленность будет развиваться; пусть оно облегчит и обеспечит взыскания по кредитным обязательствам, и тогда процент займов понизится. Из того, что регламентация вредна, не следует, чтобы правительство не могло найти других законодательных мер, ведущих к тому же, что безуспешно хотела и не умела делать регламентация.

Теперь посмотрим, каковы последствия дельного <и разумного> закона. Положим, что издано правило, по которому запрещено в питейных заведениях принимать в залог вещи. Каковы будут последствия этого правила при сколько-нибудь порядочной администрации? 1. За питейными заведениями уже и без того должна бы была наблюдать полиция; следовательно, хлопоты ее не увеличатся от нового положения; напротив, соблазн предаваться пьянству и соединенному с ним буйству сократится; следовательно, и хлопоты полиции при новом правиле будут меньше, нежели до него, — иначе сказать, государственные расходы сократятся. 2. Каждый благоразумный человек будет находить выгоды в поддержании нового правила; стало быть, в народе явится вовсе не желание обходить закон и обманывать власть, а напротив, стремление помогать власти в исполнении закона. Общий голос будет немедленно указывать полиции те из питейных заведений, которые захотели бы нарушить закон. 3. Жизнь частных людей нет нужды подвергать мелочному розыску; полиция не имеет надобности останавливать человека на улице

и спрашивать: куда ты идешь, не в питейное ли заведение? И зачем ты несешь с собой эту вещь, не за тем ли, чтобы променять ее на вино? Преступление в нарушении закона ловится только при самом факте нарушения, и стеснению подвергаются исключительно только нарушители закона и только в самую минуту нарушения. 4. При уменьшении развратного пьянства уменьшается число поводов к убийству, воровству, беспорядкам, уменьшается число поводов к семейным неприятностям и возникающим из них делам; потому каждое дело, возникающее из поимки виновного в промене вещей на вино, предотвращает сотни уголовных, полицейских и тяжёбных дел.

Можно набрать множество примеров подобных законов, которые заслуживают в настоящее время имени дельных <и разумных. Общими признаками всех их должны служить: > при них для администрации меньше хлопот, а для казны меньше расхода, нежели было бы без них; они прямо достигают той цели, к которой стремятся; надзор за их исполнением легок, так как при них для администрации меньше дела, нежели без них, следовательно они уменьшают зависимость частного лица и содействуют развитию в нем самостоятельности. Регламентация, как мы видели, имеет признаки противные: она не достигает своей цели, опутывает жизнь мелочным надзором и развивает качества, делающие нужным усиление административного контроля; наконец она обременяет администрацию и убыточна для казны.

Экономисты отсталой школы не умели заметить этой разницы и вместо того, чтобы хлопотать о замене экономической регламентации разумным законодательством, стали просто толковать о совершенном невмешательстве государства в экономические отношения. В некоторых случаях отмена регламентации действительно не оставляла пробела в общественном устройстве; например, заграничная торговля по своему существенному характеру ничем не разнится от внутренней оптовой торговли, и с отменением протекционного тарифа не появляется нужды ни в каких новых законах, если законы относительно внутренней торговли удовлетворительны. Но один случай не может быть правилом для всех остальных, притом и в нем ненужность особенных законов обуславливается существованием удовлетворительных законов для того дела, к которому относится заграничная торговля, как часть к целому. А что, если какой-нибудь важный факт общественной жизни не имеет для себя законов? Тут, ко-

нечно, открывается простор произволу и беспорядкам. Так и случилось относительно конкуренции, развившейся почти на наших глазах, уже после Адама Смита. Еще хуже бывает, когда средневековые учреждения, возникшие волей общества сообразно известным обстоятельствам, принимаются за натуральный, не подлежащий никакому изменению порядок вещей. Таково положение поземельной собственности на Западе; она возникла из феодализма и в главной массе своей представляется остатком его. Теперь состав и потребности общества вовсе не те, как во времена феодализма; но давность времени заставила забыть об искусственном происхождении западной поземельной собственности, и отсталые экономисты всякое желание нового законодательства по этому важному предмету провозглашают нарушением естественного порядка. Что же хорошего может быть, когда под ложной маской натуральности остается среди нового общества средневековое учреждение? Будучи решительно противно потребностям нового времени, оно будет служить источником еще гораздо большего числа бедствий и худшей путаницы, нежели служило бы совершенное отсутствие всякого порядка.

Подобных учреждений в нынешнем экономическом устройстве Западной Европы еще больше, нежели таких случаев, для которых недостает прочных учреждений.

Поддерживая средневековые учреждения, находящиеся в нелепом разладе с нынешними потребностями, или оставляя важные отрасли общественной жизни без всяких учреждений, теория *laissez faire, laissez passer* мешает возникновению разумного законодательства. К каким последствиям ведет отсутствие или нелепость законов, вещь известная: возникает неурядица, на каждом шагу грозит опасность имуществам, лицам и всему общественному устройству; общество принуждено прибегать к стеснительному полицейскому надзору и непрерывным насильственным мерам для своего охранения. Возникает множество стеснений из нелепого положения дел; каждым новым стеснением нелепость увеличивается; из каждого насилия или придирки возникает необходимость новых стеснений и придирок; словом сказать, отсутствие законов порождает регламентацию. Вот каким образом теория невмешательства государственной власти в экономические отношения, одной рукой поражая регламентацию, другой рукой поддерживает ее. Жизнь частного человека в Западной Европе чрезвычайно стеснена. Англии в этом от-

ношении завидует континент; но сами англичане не находят себя достойными зависти; чтобы убедиться в том, надобно только не почерпать своего знакомства с Англией из дрянных книжонок, сочиняемых на континенте какими-нибудь Монталамберами, а читать то, что пишут о своей жизни дельные англичане. Вероятно, много накапливает у них желчи, если такие люди, как Карлейль, с восторгом говорят о системе правления, бывшей в Пруссии при Фридрихе II. Да что Карлейль! — посмотрите английские газеты: и в них желчь и юмор на каждом шагу. Но и газеты доступны не каждому; так вспомните по крайней мере романы Диккенса: восхищается ли он знаменитой английской свободой? О континенте Западной Европы нечего и говорить: мы уже сказали, что он завидует Англии.

Да и чего иного хотите вы? Где нет закона, там произвол; произвол сам по себе есть стеснение; кроме того, от него возникает множество злоупотреблений и опасностей; где множество злоупотреблений и опасностей, там неизбежны стеснительные меры, то есть регламентация.

Но что же мы считаем дельным и разумным законодательством для экономической сферы? Как бы это объяснить примером, против которого не могли бы спорить даже экономисты отсталой школы? Возьмем в пример хотя акционерные общества: ведь для них были же нужны новые законы, которых не существовало в средних веках. Из этих законов основной один: участники общества отвечают только теми деньгами, которые заплатили за акции; если бы общество обанкротилось, никто из акционеров не отвечал бы за него остальным своим имуществом. Люди, знакомые с нынешним положением промышленности и торговли, знают, как полезно это правило, как сильно оно способствовало к развитию промышленности, сколько тяжеб и неприятностей оно предупреждает, как развивает оно предусмотрительность и рассудительность во всех, имеющих дело с акционерными компаниями. Другое основное правило: акционеры имеют контроль над своим обществом; пользу этого правила для всех частных людей не нужно и объяснять; а от скольких лишних хлопот освобождает оно административную власть! Мы выбрали пример, можно сказать, ничтожный, но и он достаточно показывает, что у нового общества есть по экономической деятельности потребность в таком законодательстве, которого не знала прежняя история.

Других случаев мы приводить не станем, чтобы не называли нас утопистами, как назвал бы Адам Смит уто-

пистами тех людей, которые стали бы ожидать чего-нибудь хорошего для торговли и промышленности от акционерных обществ. Можно только сказать, что если этот гениальный человек не отгадал, какой способ действия будет самым сильным двигателем экономической деятельности через пятьдесят лет после него, то какого же внимания заслуживают полубездарные ученики одного из его учеников, ограничивающие всю будущность человечества рамками своей узенькой теории, составляющей только искажение слов великого шотландского мыслителя?

Каковы экономические потребности при настоящем порядке дел вообще, было бы неуместно излагать в этих статьях, писанных по поводу одного специального вопроса о сохранении у нас общинного владения землей в том размере, в каком оно до сих пор уцелело. Довольно будет рассмотреть, каковы признаки этого учреждения: те ли, которыми отличается регламентация, или те, которые принадлежат разумному экономическому закону.

1. Ведет ли общинное владение к той цели, которой предполагает достичь, или производит следствия, противные своему назначению? Оно претендует на достижение двух результатов: А) Сохранить участие огромному большинству нации во владении недвижимой собственностью; В) Поддержать по возможности равномерное распределение подлежащей ему части недвижимой собственности между лицами, участвующими в ней. Хороши ли эти цели, пока не о том вопрос; вопрос только о том, достигаются ли они. Против этого никогда не спорил никто: для всех, и для приверженцев и для противников общинного владения, очевидно, что при нем действительно огромное большинство нации сохраняет равномерное участие в недвижимой собственности, и нет ни у кого ни малейшего сомнения, что общинное владение в чрезвычайно высокой степени достигает тех целей, к которым стремится.

2. Уменьшаются ли, или увеличиваются хлопоты и расходы общественной власти существованием общинного владения? Увеличивается ли при нем количество случаев для вмешательства центральной или хотя бы провинциальной власти в дела частных людей? Нужен ли мелочной и придирчивый присмотр за частной жизнью для охранения закона об общинном владении? Каждый знает по опыту, что этого нет. По общинному владению возникает в миллион раз меньше юридических споров, нежели по частной собственности: не бывало еще примера, чтобы судебная власть должна была хлопотать о решении дел по

общинному поземельному владению. Если и бывают споры (впрочем, чрезвычайно редкие), они решаются в ту же минуту, когда возникают; решаются теми же людьми, между товарищами которых возникли; решаются с такой простотой, с такой ясностью для всех верною, что оба спорившие признают совершенную основательность решения. По общинному владению для центральной или провинциальной администрации еще меньше хлопот, нежели для судебной власти: жизнь этого факта совершенно вне сферы действий центральной или провинциальной администрации. Это единственный род собственности, охранение которого не доставляет правительству ровно никаких хлопот и не требует от него ровно никаких расходов. И по своему принципу, и по всем подробностям и результатам своего существования общинное владение совершенно чуждо и противно бюрократическому устройству.

3. Теперь не нужно и спрашивать, увеличивается ли, или уменьшается от общинного владения сумма мелочных стеснений для частной жизни. Со стороны правительства не нужно никакого контроля за охранением его: оно охраняет само себя. Следовательно, из всех родов собственности общинное владение есть тот род, который наиболее предохраняет частную жизнь от административного вмешательства и полицейского надзора. Точно то же надобно сказать и о судебных вмешательствах. Общинное владение — такой факт, до которого вообще есть дело только тем лицам, которых оно прямо касается, и только в те немногие минуты, когда пересматривается устройство этого факта для определения его на период времени, во всяком случае довольно продолжительный. Затем во все продолжение этого периода каждый частный человек остается уже совершенно огражден от всякой возможности каких бы то ни было хлопот и споров по охранению своего недвижимого имущества: никто не может даже и подумать вмешаться в его права или оспаривать их, — опасность, которая ежеминутно висит над частной собственностью и беспрестанно хватает того или другого частного собственника, призывая его к тяжбам или административным разбирательствам. Существенное отличие общинного владения от всякого другого рода собственности со стороны юридической безопасности состоит в том, что оно основано исключительно на одном свежем материальном факте, который держится в памяти всех окружающих людей (членов общины) и не может подвергаться никакому оспариванию, между тем как собственность всякого другого рода

зависит от бесчисленного множества фактов, обстоятельств и документов, чуждых публичной известности и часто неизвестных даже тому лицу, к которому они относятся. Положим, например, что известное лицо получило владение частной собственностью по наследству, и возьмем самый краткий и безопасный путь перехода: наследство от отца сыну. Сколько и тут может возникнуть непредвиденных опасностей, сколько может обнаружиться неизвестных документов, противных праву наследника! Во-первых, законен ли был брак, от которого произошел наследник? Законность брака зависит от тысячи отношений, и никогда нельзя поручиться, что все они уже разъяснены и решены в пользу наследника. Во-вторых, действительно ли произошел он от этого брака, а не от его нарушения? Тут опять все зависит от бесчисленного множества доказательств, из которых довольно одного, хотя бы самого пустого, чтобы надолго подорвать безопасность наследника. В-третьих, если известное лицо действительно произошло от законного брака, то личность владельца действительно ли есть та личность, которая признана законным сыном известного лица? В-четвертых, не было ли других законных детей, имеющих такие же права? Всех запутанностей и затруднений, которым может подвергнуться самый факт перехода наследства от известного лица к другому лицу, как его законному сыну, невозможно и перечислить. Но один ли факт перехода подлежит юридическим опасениям? Нет, ведь это только один из бесчисленных фактов, от которых зависит пользование наследством. Положим, что наследство перешло от отца к сыну законно; но должно ли было оно принадлежать отцу? Тут опять возобновляется вся перспектива прежних затруднений и споров. Это ли одно? Та же самая история и относительно деда, и множества других родственников, с тем улучшением, что при каждом шаге назад страшно увеличивается трудность бесспорно опровергнуть сомнение. Ограничивается ли одним этим источником возникновения опасности? Положим, что принадлежность известного имущества известному лицу бесспорна по его происхождению; но не было ли сделано волей предшествовавших ему владельцев каких-нибудь юридических распоряжений, противных переходу? Может быть, существуют завещания, может быть, существуют акты продажи или залога и мало ли каких других актов, противоположных праву наследства. Мы вовсе не хотим сказать, что частная собственность недостаточно ограждена зако-

ном; мы хотим только показать, что, находясь в зависимости от бесчисленного множества фактов, из которых каждый может служить для нее источником юридических споров, она представляет для ограждения законным путем бесчисленное множество сторон, из которых каждая может нуждаться в защите длинным спорным путем, исполненным беспокойств и доставляющим бесчисленное множество хлопот для судебной и административной власти. Мы хотим только сказать, что всего этого бесчисленного множества хлопотливых шансов, требующих правительственного вмешательства, не существует для права общинного владения, которому нужен исключительно один факт, никогда не подвергающийся никаким спорам. Принадлежал ли известный участок общинной земли известному лицу? Все члены общины были на сходке, присвоившей ему этот участок; сомнения и споры тут невозможны, как невозможно спорить о том, в какой губернии лежит какой уезд: это известно всем, кого ни спроси кругом, и охота спорить послужила бы только к общему смеху. Тут нет вопроса о том, действительно ли Иван Захаров есть Иван Захаров, а не какой-нибудь подкидыш или самозванец; действительно ли Иван Захаров — законный сын Захара Петрова; законен ли был брак Захара Петрова; не было ли других детей у Захара Петрова; не было ли завещания у Захара Петрова; не было ли долгов у Захара Петрова, и так далее, и так далее. До всего этого никому дела нет. Принадлежность участка Ивана Захарова так же ясна для всех и так же бесспорна, как принадлежность ему тех мозолистых рук, которыми он кормит свою семью.

Неужели надобно говорить, каковы необходимые последствия для самостоятельности частной жизни от совершенной бесспорности имущества? Неужели надобно говорить, что в этой бесспорности лежит первое и полнейшее условие независимости частного лица? Неужели надобно доказывать, что бесспорность прав частного лица служит первой преградой постороннему вмешательству в его жизнь? Или надобно говорить, что чем проще, очевиднее и бесспорнее факты гражданских отношений частного лица, тем менее предлогов для мелочного контроля и стеснения его жизни?

4. Надобно ли говорить после этого и о том, обман или прямотушие, гражданские пороки или хорошие качества гражданина развиваются общинным владением? Оно основано на материальных фактах, всем известных, не подлежащих ни спору, ни утайке. Мысль об обмане в этих

фактах такая же невозможность, как мысль утаить Волгу или Петербург. Сутяжничество невозможно; права не могут быть потеряны: благоприятствует ли это независимости характера, развитию уверенности в том, что можно обходиться без чужой помощи и протекции, развитию привычки к энергической инициативе?

Еще один вопрос. При общинном владении устройство самой важной части экономического быта каждого частного лица прямым образом связано с его участием в делах общества; решения общества зависят от его участия; он может иметь все то влияние на них, которое доступно его способностям и силе характера; не участвовать в общественных делах со всей возможной для его личности энергией нельзя ему, потому что с ними связан очень важный личный интерес. (Спрашивается теперь, благоприятно ли такое устройство для развития в каждом члене общества охоты и привычки быть гражданином, то есть неослабно смотреть за ходом общественных дел и по мере своих способностей участвовать в их ведении?)

По всем этим признакам нам нетрудно решить, к какому порядку вещей принадлежит общинное поземельное владение: к регламентации или к разумному законодательству. Оно достигает своей цели. Оно не увеличивает, а уменьшает хлопоты и расходы правительства. Оно так просто, что отстраняет нужду во вмешательствах всякой центральной и посторонней администрации. Оно дает бесспорность и независимость правам частного лица. Оно благоприятствует развитию в нем прямоты характера и качеств, нужных для гражданина. Оно поддерживается и охраняется силами самого общества, возникающими из инициативы частных людей. (Нам кажется, что все это вместе составляет натуру разумного законодательства, противоположную регламентации.)

Мы упоминали о том источнике, из которого происходит вражда добросовестной части между отсталыми людьми против новых понятий. Эти бедняжки не могут понять разницы между старым, против чего некогда они боролись честно и полезно, и новым, вступающим в такое же отношение к их обветшалой новизне, обратившейся в рутину. Когда явился Пушкин, все свежие и умные люди стали за него, все обскуранты вооружились против Пушкина. Прошло двадцать или больше лет; обстоятельства во многом изменились,сообразно с ними явились новые требования в поэзии. И вот появились люди, которые стали говорить, что Пушкин уже недостаточен для нашего време-

ни, что нужна теперь и уже возникает новая литература с новыми деятелями, у которых и содержание и форма не похожи на прежние, на то, что было при Пушкине. — «Как? Вы против Пушкина? — возопияли добросовестные отсталые люди. — Значит, вы говорите то же самое, что во времена нашей молодости говорили обскуранты, — ведь они также восставали против Пушкина; значит, вы хотите, чтобы общество восхищалось Сумароковым и Херасковым?» Ну да, друзья мои, вы совершенно отгадали: Гоголь как две капли воды похож на Державина, Щедрин — на Хераскова, Кольцов — на Нелединского-Мелецкого, Некрасов — на Лермонтова). Вы совершенно отгадали, в чем дело.

Как бы растолковать добросовестным отсталым людям, что порядочные люди нового времени проникнуты теми же честными стремлениями, какими были проникнуты порядочные люди прежних поколений, что только обстоятельства переменились во многом, и потому для осуществления тех же стремлений приходится делать не то, что делалось прежде? Как бы растолковать им, что мужик, боронующий землю, продолжает то же самое дело, которое делал, когда пахал ее? Но нет, толковать об этом напрасно. У кого из прежних людей есть способность понимать факты и думать о них своей, а не чужой головой, тот сам давно это знает, и новое время чтит его как полезного деятеля современности наравне с новыми людьми; чтит его выше их, потому что он показал не совсем обыкновенную силу ума и честной твердости, поняв и приняв к сердцу заботы общества, не совсем похожего на то, в котором воспиталась его молодость. Честь ему; он совершает уже второй переход по тяжелому историческому пути и идет наравне с нами или даже впереди нас, делающих наш первый переход. А что до остальных его сверстников, — бог с ними. История обойдется и без них. Пусть себе твердят зады.

Стремления новой школы в экономической науке те же самые, какие были и у старой, когда старая была молода. Только обстоятельства переменились; с ними изменились требования общества, с требованиями общества изменились и понятия о том, что нужно делать ныне для достижения тех целей, к которым стремились и основатели старой школы. Перемена не в предмете желаний: он один и тот же — доставление большего благосостояния человеку и, как необходимейшая гарантия, как важнейший источник всякого благосостояния, развитие самостоятельности отдельного лица. Перемена и не в том, чтобы отвергалось

хотя одно научное понятие, выработанное прежней школой. Не беспокойтесь: никто не отвергает той истины, что ценность вещи зависит от отношения между предложением и запросом, что личный интерес служит сильнейшим или, пожалуй, единственным двигателем всякой деятельности; не беспокойтесь, никто не отвергает этих и других подобных им экономических истин.

Напротив того, на них-то именно и основана новая теория. Их открытие составляет, по мнению новых людей, славу прежней школы. Разница только в том, что к старым открытиям прибавились новые; что прежними теоремами не исчерпывалась вся истина, что в прежней теории открылись пробелы, которые теперь дополнены новой теорией, как и в ней со временем найдутся пробелы, которые будут пополнены трудами следующих поколений.

Теперь мы говорим о том отделе экономической теории, который относится к вопросу об участии общественной силы в экономической деятельности. Старая школа открыла, что один способ этого вмешательства, самый употребительный в те времена, регламентация, — вещь очень вредная. Честь и слава старой школе за это благодетельное открытие. Но что же открылось потом? Открылось, что те области жизни, которые не ограждены от произвола и слепого случая разумным законодательством и рассудительной предусмотрительностью, подвергаются деспотизму произвола. Теория, составленная тогда, когда этот факт еще не был замечен наукой, оказалась недостаточна. Мы разбирали эту знаменитую теорию и видели, что она ведет к пожертвованию правами отдельного человека и его самостоятельностью всем прихотям государства. Кто же верен духу экономической науки и благородных ее основателей, боровшихся против рутинной и произвола: те ли, которые держатся рутинной теории, или те, которые отвергают ее за то, что она ведет к произволу?

Мы видели другой факт. Старая школа требовала натуральности в экономических отношениях и восставала против искусственности; она заметила, что природе противна регламентация. Прекрасно, но что же открылось потом? Было замечено, что вся человеческая деятельность состоит в переделке природы; что каждое действие и каждое желание человека состоит в замене фактов и отношений, даваемых природой, другими фактами и отношениями, более сообразными с потребностями человека. Как согласить это разноречие? Искусственного ничего не должно быть, все должно стремиться к натуральности; и с тем

вместе вся человеческая деятельность состоит в изменении порядка, возникающего независимо от человеческой воли, то есть порядка, даваемого натурой,— как соединить эти различные факты? Ответ ясен. Надобно различать человека от внешней природы, слепое действие сил внешней природы от человеческих желаний, результаты действия сил внешней природы от человеческих потребностей. Мы люди, мы смотрим на все с человеческой точки зрения и не можем смотреть иначе. Из этого ясно, в каком объеме надобно понимать ту природу, с которой должна сообразоваться экономическая деятельность. Эта натура — человек, его силы и потребности. Мы можем браться только за то, что в наших силах. Мы должны делать так, как велят наши потребности. Часть природы, человек старается переделать сообразно себе остальные части. Если вы хотите придать философское выражение этому закону, вы увидите в нем тот же самый закон, по которому теплое тело стремится разлить свою теплоту на все окружающее, лишенное теплоты; тот самый закон, по которому проникается электричеством все соприкасающееся с телом, в котором развивается электричество. Каждый процесс природы стремится охватить всю природу. Человек есть вместилище известного процесса, и, выходя от него, этот процесс, процесс разумного устройства и жизни более энергической, стремится внести более энергическую жизнь и более разумное устройство в остальную природу.

Не беспокойтесь же: тут действует природа; искусственности тут нет, как нет искусственности во всем планетарном процессе, венцом которого является деятельность сил, находящих себе орган в человеке. И особенного тут нет ничего, если одна часть природы, одна ее сила борется против других; все силы природы так действуют, все они в борьбе между собой. Можно прибавить, что нечего сомневаться и в будущей судьбе тех сил, которые представляются нашему сознанию как потребности человека: когда известный процесс является крайним развитием других низших процессов, предшествующих ему, нечего спрашивать о том, удержится ли он и будет ли он усиливаться с каждым часом: пока существуют другие процессы, будет существовать и он; и пока их непрерывное действие будет продолжаться, в каждую данную минуту будут приливаться к нему из них новые силы. Пока остается на земле растительная и животная жизнь, исторический процесс будет неудержимо идти своим чередом.

Мы заговорили философским языком об общих принципах нынешнего воззрения на человеческую жизнь. Что же делать? Каждая частная теория относительно известной сферы жизни сознательно или бессознательно выводится из общего мирозерцания данной эпохи. Нам кажется, что сознательный образ мыслей лучше бессознательного, и, показав коренное основание нынешней теории, мы можем спуститься в область частной экономической науки и изложить ее прозаическим языком нынешние понятия об одном из ее вопросов. Мы писали эту статью с тем, чтобы разъяснить понятия новой экономической школы об отношениях государства к частной инициативе в экономической деятельности. Мы старались показать неудовлетворительность отсталой теории, желающей освободить частную экономическую деятельность от всякого административного и законодательного влияния, но вместо того приходящую к подавлению личности, к отдаче ее на полный произвол государства даже и в экономическом отношении, через сосредоточение всей громадной силы, которой располагает государство, в одном направлении, самом неблагоприятном для самостоятельности индивидуума. Мы старались потом показать, что каковы бы ни были экономические теории общества и государства, все-таки государство имеет громадное влияние на экономическую деятельность и не может не иметь его. Прямым образом экономическая деятельность частных лиц подчинена государству посредством бюджета; косвенным образом она подчиняется влиянию каждой законодательной и административной меры, каков бы ни был прямой предмет государственного действия; следовательно, заключаем мы, вопрос не в том, частная экономическая деятельность будет ли подвергаться сильному и прямому вмешательству государства: иначе быть не может, пока существует государство; вопрос только в том, сознательно или бессознательно будет производиться это вмешательство. Нам кажется, прибавляли мы, что сознательность и в этом случае, как во всех других, лучше бессознательности, потому что сознательное действие может быть управляемо и удерживаемо в известных границах рассудком, а бессознательная сила действует слепо и беспощадно. О направлении, в каком должно производиться влияние государства на экономический быт, мы также говорили; остается сказать о том, в каких границах оно должно удерживаться.

Одну из норм, определяющих границы государственного влияния, мы уже упоминали. Эта норма — здоровый

рассудок, главное правило которого: берись только за то, что возможно. Регламентация тем и нелепа, что хочет сделать невозможное. Мы замечали также, что невозможность часто лежала не в самом предмете, к которому стремились, а в средствах действия, которые были избираемы.

Если бы эта статья не была уже так длинна, мы подробно рассмотрели бы понятия возможности и невозможности с их признаками, — этот предмет очень важен, потому что в нем господствуют чрезвычайно странные предрассудки. Быть может, нам случится заняться им когда-нибудь в другой раз. Теперь заметим только два обстоятельства. Во-первых, часто называют невозможным то, что неприятно. Например, может ли Франция при нынешнем расстроенном положении своего бюджета употребить полмиллиарда франков на заимообразное пособие промышленным товариществам людей, занимающихся черной работой? Единодушный ответ всех обскурантов, реакционеров и отсталых экономистов: «не может». — Почему же? «Ей негде взять такую страшную сумму, в бюджете и без того дефицит, нация и без того обременена налогами, государственный долг и без того громаден». Ну, а Крымскую войну могла ли она вести? Могла истратить на нее более миллиарда? И теперь может начать новую войну, которая будет стоить еще гораздо дороже? Это она не только «может сделать», это она сделала и делает. А, понимаем.

Другое обстоятельство состоит в том, что неумение или нежелание принять нужные средства смешивают с невозможностью предмета, между тем как неудача при неудачном выборе средств доказывает только, что нужно поискать других средств (в большей части случаев нечего и искать: верные средства к достижению цели уже указаны бывають умными людьми, только слушать их не хотят). Например, в Англии государство не успевает улучшить положение бедных классов посредством подати в пользу бедных; из этого заключают, что государство и не может помочь им прямым образом. Но как употребляются деньги, доставляемые этой податью? Обращаются ли они на устранение причин, производящих бедность? Нет, напротив, употребляются так безрассудно, что содействуют усилению этих причин. В корабле оказалась течь; вместо того, чтобы заделать ее, вы только стараетесь вычерпать воду, да еще приделали помпу так неловко, что от каждого удара рукоятки слабеют те пазы, в которых находится щель: удивительно ли, что течь с каждым часом увеличивается

и в трюме вода прибывает? А следует ли из этого, что нельзя избавить корабль от этой беды?

Если есть охота, если есть уменьье, область возможного очень велика; если нет ни охоты, ни уменьья,— ничего нельзя сделать путным образом. Из этого мы видим, что, если речь идет о каком-нибудь отдельном случае, вопрос о возможности чрезвычайно много зависит от качеств государственной власти; из них главное — охота; уменьье всегда приходит вслед за ней.

Второй нормой для определения границ государственного вмешательства служит справедливость. Что такое справедливость, об этом много спорят разные философские и экономические теории. Но если читатель согласен с нами, что человек должен смотреть на все человеческими глазами, он легко сделает выбор между разными решениями. Справедливо то, что благоприятно правам человеческой личности; всякое нарушение их противно справедливости; потому устранение всего противного человеческим правам требуется справедливостью.

⟨При этом надобно заметить, что каждый данный в действительности факт имеет бесчисленное множество сторон и результатов, между которыми всегда есть благоприятные для прав хотя какой-нибудь личности и невыгодные для кого-нибудь. В самом справедливом факте всегда есть стороны не совсем справедливые и наоборот. Как тут решать? Можно ли поколебаться в уничтожении колоссальной несправедливости, хотя бы через это некоторые личности и лишились прежнего благоденствия? На это дает ответ арифметика, руководствоваться которой вообще очень полезно. Она говорит, что сумма, полученная из сложения положительного количества с отрицательным, имеет тот знак, какой принадлежит большему количеству; и если, например, $+ 1\ 000\ 000$ (восстановление прав миллиона личностей) слагается с $- 2$ (нарушение прав личностей), то в результате получится все-таки $+ 999\ 998$, то есть сумма, которая в практической жизни не может быть и различена от одного первого количества, то есть от беспримесной справедливости. Не надобно думать, чтобы этим правилом вводилось что-нибудь новое, что-нибудь такое, чего не было бы в каждом из тех наших действий, которые мы называем справедливыми или добрыми: делая кому-нибудь пользу, мы всегда подаем кому-нибудь повод к жалобе на нас, как бы невинен ни казался наш поступок. Злобные вопли людей, кричащих о нарушении их прав, надобно слушать хладнокровно; и если по хладнокровном

арифметическом разборе дела окажется, что в нем польза для миллиона, а убыток для немногих, надобно, не колеблясь, принимать меры, которые указаны рассудком для исполнения этого дела.)

Изложение нашей теории было очень длинно, потому что на каждом шагу встречались нам предубеждения, требовавшие разбора. Но сущность теории, которая принимается за справедливую и полезную для настоящего времени современными мыслителями, очень проста и немногосложна; ее можно выразить несколькими трюизмами, из которых каждый сам по себе принадлежит к разряду мыслей, подобных знаменитым истинам: «солнце освещает землю; ночью бывает темнее, нежели днем», и т. д. Каждый из них мы отметим особенным значком, чтобы эти золотые изречения не затерялись для потомства.

А. Человек имеет потребности.

В. В числе человеческих потребностей есть такие, которых нельзя не признать законными и неизбежными. Они называются неотъемлемыми потребностями человеческой природы. О них мы и будем говорить.

С. Пока эти потребности какой-нибудь личности не удовлетворены, личность не получила удовлетворения своих прав.

Д. Говорить о правах человеческой личности — значит говорить об удовлетворении потребностей человеческой природы.

Е. Потому все, что ведет к лучшему удовлетворению человеческих потребностей, благоприятно правам личности.

Это первый ряд трюизмов. Вот второй ряд:

Ф. Несправедливость состоит в нарушении человеческих прав.

Г. Справедливость состоит в их охранении, восстановлении и увеличении.

Н. Каждый человек обязан помогать по мере своих сил осуществлению справедливости.

И. Что обязан делать каждый, то обязаны делать все.

Теперь третий ряд:

Ж. Нация состоит из людей.

К. Все люди, составляющие нацию, рассматриваемые как одно целое, называются государством.

Л. Все вместе люди продолжают иметь те же обязанности, какие каждый из них имеет в отдельности.

М. Каждый человек обязан по возможности действовать в пользу справедливости.

Н. Государство также.

Теперь четвертый ряд:

О. Государство располагает известной степенью влияния над национальной жизнью.

Р. Все отрасли жизни тесно связаны между собой.

Q. Когда из предметов, тесно связанных между собой, один подвергается известному влиянию, этому влиянию не могут не подвергаться и все связанные с ним.

Р. Экономическая деятельность есть одна из отраслей жизни.

S. Государство обязано заботиться о том, чтобы его влияние производилось сообразно закону справедливости.

T. Справедливость состоит в удовлетворении человеческих потребностей.

U. Экономическая сторона жизни имеет потребности.

Теперь пятый ряд:

V. Человеческие обязанности ограничиваются пределами возможного и благоразумного.

X. Нормой человеческих действий должна служить справедливость.

Y. Государство состоит из людей.

Но мы утомили читателя этим длинным рядом мудростей, заимствованных как будто прямо из прописей или из прекрасных Premier-Moscou покойницы «Молвы»⁷: «Москва есть первопрестольная столица», и т. п. Да и латинский алфавит уже истощен. Сократим же всю эту мудрость и скажем просто:

Государство не может не иметь прямого влияния на экономическую деятельность. Все те действия, которых требуют здравый рассудок и справедливость, все они составляют не только право, но и прямую обязанность государства.

Короче и проще этой теории, кажется, ничего быть не может; вся она возникает из соединения мыслей, несомненных до наивности и тривиальности. А между тем читатель, будьте уверены, что найдутся люди, которые станут говорить: «какая опрометчивая теория! Сколько в ней софизмов!» Еще больше найдется таких, которые скажут: «ну вот, ведь мы знали, что общинное поземельное владение могут защищать только люди, не дорожащие правами человеческой личности, готовые отдать ее на произвол государства». Пусть говорят. Этих толков мы не боимся. Мы боимся только того, что каждый рассудительный человек скажет: не смешно ли писать длинные статьи в доказательство того, что без всяких доказательств ясно

каждому, думающему своей, а не чужой головой, и известно, по выражению Гоголя, каждому, даже не обучавшемуся в семинарии? Вот этого одного приговора мы и боимся.

А все-таки следующая наша статья, также очень длинная, будет посвящена доказательству той великой истины, что ложка меду, влитая в бочку дегтя, не виновата в том, когда вы, отведывая эту смесь, ощущаете мало сладости⁸.

Проницательный читатель видит, что предметом следующей статьи будут также возражения против общинного поземельного владения: «почему же, дескать, оно не оказывает тех удивительных действий, которые, как вы объясняете, должны происходить из его природы?»

В связи с этим затруднительным вопросом мы будем рассматривать другой, столь же затруднительный вопрос: почему лещ, вытасненный на берег рыболовной сетью, не плавает?

СУЕВЕРИЕ И ПРАВИЛА ЛОГИКИ

Позволительна ли по правилам логики гипотеза о вредном влиянии общинного владения на земледелие? — Что такое называется азиатством и в чем заключаются действительные препятствия успехам нашего земледелия?

Нам, людям просвещенным, чрезвычайно смешны кажутся деревенские простяки, верящие в знахарство и заговоры. Пропадет у бабы холст, который разостлала она белить за огородом, — баба отправляется к знахарю, главе всех окрестных мошенников, и знахарь объявляет ей, что холст найдется в таком-то овине или хлеве. Долго бьет мужика неотвязная лихорадка; призывают знахарку, — она поит его вином, к которому примешан мышьяк, сопровождая лечение причитыванием разных заговоров, и лихорадка проходит, если больной не умрет от мышьяка. И баба, нашедшая свой холст, и мужик, выздоровевший от лихорадки, остаются в твердом убеждении, что действие произведено причитываниями и таинственными жестами, с которыми знахарь гадал о потерянной вещи и знахарка давала лекарство. Какое нелепое, тупоумное суеверие! Но если вместо того, чтобы смеяться над ним, мы захотим разобратить, отчего произошло дикое заблуждение, мы найдем, что сущность его состоит в предположении, будто бы результат произведен фактом, только случайно совпавшим с другими фактами, обратить внимание на которые не хотят суеверные простяки и которые сами по себе уж очень достаточны для объяснения дела. Знахарь имеет сношения с ворами — это известно всем в селе; не было ли бы довольно этого, чтобы понять, как он может указать место украденной вещи, поделившись оброком от простодушной крестьянки со своими агентами-ворами? Мышьяк — лекарство слишком вредное, но радикальное лекарство от лихорадки: не было ли бы довольно этого, чтобы объяснить излечение мужика? Но деревенские невежды, пренебрегая причинами положительными, непременно хотят строить гипотезы о мнимом влиянии таких фактов, которые равно ничем не участвовали в совершении дела.

Если мы не захотим забывать найденной нами существенной черты суеверия, то без всякого затруднения мы найдем слово, которым надобно характеризовать мнение

отсталых экономистов о том, будто бы плохое состояние нашего земледелия имеет какую-нибудь связь с общинным владением. Это мнение, точно так же как вера в силу таинственных жестов знахарства, основывается исключительно на том, что отсталые экономисты непременно хотят придумать гипотезу для объяснения факта, слишком достаточно объясняемого действием причин очевидных и несомненных. В одной статье мы говорили о возражениях против общинного владения, проистекающих от незнакомства с философией, в другой — о возражениях, проистекающих из незнакомства с характером дельного законодательства, из неумения отличить его от бесполовой регламентации; теперь мы будем говорить о предрассудке, возникающем из-за незнакомства с основными правилами логики.

Когда мы хотим исследовать, может ли какое-нибудь обстоятельство считаться причиной известного факта, логика предписывает нам, во-первых, рассмотреть, нужна ли гипотеза о какой бы то ни было лишней причине, или тот факт, происхождение которого мы хотим узнать, совершенно достаточно объясняется действием причин уже известных. Если окажется, что этих несомненных причин уже совершенно достаточно и что нет надобности придумывать новую причину, логика велит нам испытать, нет ли положительных указаний, что факт, происхождение которого мы объясняем, возникает исключительно от этих причин, совершенно независимо от обстоятельства, которому наше суеверие приписывало влияние на него. Для этого логика велит внимательнее обозреть природу и историю, чтобы видеть, не повторяется ли этот факт в полной своей силе и там, где не существует обстоятельства, которое суеверным образом ставится в связь с ним. Для человека рассудительного бывает обыкновенно довольно первой половины исследования; но тот, кто ослеплен суеверием, принужден бывает сознаться в своем заблуждении только по приложению к спорному вопросу и второго способа — способа отрицательной проверки. Положим, например, что я вздумал бы утверждать, будто поднятие ртути в барометрической трубке зависит от свойств стеклянной массы, составляющей стенки этой трубки. Как узнать, основательно ли мое мнение? Каждому известно, что ртуть поднимается в трубке давлением атмосферы, и логика велит прежде всего исследовать, достаточно ли влияния одной этой причины для поднятия ртути на ту высоту, какой она достигает в барометре. Если окажется, что достаточно одного давления атмосферы для произведения этого факта,

рассудительные люди уже видят неосновательность моего мнения о связи этого явления с качествами стекла; но я в упорстве своего ослепления все еще могу твердить: «так, ртуть поднимается давлением атмосферы; но почему знать, не поднимается ли она отчасти также и каким-нибудь свойством стекла?» Чтобы отнять у меня возможность такого пустословия, надобно сделать барометр из железа, кости или какого-нибудь другого материала: когда в роговой или глиняной трубке ртуть будет подниматься точно так же, как в стеклянной, нелепость моей гипотезы обнаружится таким осязательным способом, что, не отказавшись от нее, я представлюсь уже просто или человеком недобросовестным, или тупоумным суевером. Упрямство отсталых экономистов таково, что необходимо довести исследование о предполагаемой связи между низким состоянием земледелия и общинным владением до этого последнего результата. Для них мало будет простого указания на то, что предположение об этой связи — гипотеза совершенно лишняя, потому что и без нее факт слишком достаточно объясняется такими причинами, влияние которых на состояние земледелия несомненно.

Развитие сельского хозяйства в России слабо. Но могло ли оно достичь высокой степени, какова бы ни была у нас система владения землею? Существовало ли у нас до сих пор хотя одно из тех обстоятельств, от которых зависит усиленное развитие земледелия? Не очевидно ли, напротив, что все данные, которыми обуславливается положение сельского хозяйства, находились у нас до сих пор на ступени, чрезвычайно неблагоприятной его успехам? Пересмотрим поочередно главнейшие из этих данных, чтобы видеть, какого развития могло достигать у нас сельское хозяйство при каком бы то ни было способе владения землею.

Статистика говорит, что степень успехов сельского хозяйства везде соответствует густоте населения. Лучше всего в Европе земля обрабатывается в Англии, в Рейнской Германии и в Ломбардии: эти страны имеют от 5 до 6000 населения на квадратную милю. Во Франции, где население простирается до 4000 человек на квадратную милю, земля обрабатывается далеко не с такой заботливостью. В восточных частях Австрийской империи, где население еще реже, обработка земли еще хуже. В собственной Венгрии, где на квадратную милю считается 2500 населения, сельское хозяйство до сих пор остается под господством методов обработки совершенно перво-

бытных. Еще меньше усовершенствований имеет сельское хозяйство в Трансильвании, где приходится на квадратную милю по 2000 человек. Венгрия и Трансильвания до такой степени отстали в методах сельского хозяйства от прочих земель Западной Европы, что статистика, говоря о земледелии в Западной Европе, никак не думает и вспоминать о восточных областях Австрии как о странах, сколько-нибудь похожих в этом отношении на земли более населенные, которые служат исключительным местом усовершенствований в земледелии. У нас нет ни одной губернии, которая густотою своего населения равнялась бы хотя Венгрии, и за исключением одной Московской нет ни одной губернии, которая превосходила бы в этом отношении Трансильванию. Если мы возьмем даже только одни так называемые земледельческие наши губернии, то есть западную часть центральной России, Малороссию и землю черноземной полосы, все-таки в общей сложности мы не получим более 1200 человек на квадратную милю в этом пространстве, где главным образом сосредоточено наше земледелие *. Скажите же, каких усовершенствованных методов, при каком бы то ни было способе владения, можно ожидать в сельском хозяйстве такой страны, которая имеет населения в два раза меньше, чем Венгрия и Трансильвания, где по многоземелию нет надобности в усовершенствованных методах? Если Франция, имеющая около 4000 жителей на квадратную милю, до сих пор держится трехпольного хозяйства, если она до сих пор остается почти совершенно чужда усовершенствованным способам производства, то не безумно ли приписывать мистическому влиянию общинного владения то обстоятельство, что мы, подобно французам, держимся трехпольной системы и, подобно французам, плохо удобряем свою землю? Кто, сравнивши густоту населенности в Европейской России и в Западной Европе будет нуждаться еще в гипотезе о вредном влиянии общинного владения, тот, по нашему мнению, должен в случае болезни лечиться не у докторов, а у знахарей: действие медицинских средств

* Мы отбрасываем губернии Архангельскую, Олонецкую, Вологодскую, Астраханскую и другие, в которых население несравненно меньше. Читатель знает, что если считать эти громадные пустыни, то средняя густота населения в Европейской России едва достигает 650 человек на квадратную милю. Но мы берем только ту половину Европейской России, в которой население по нашей русской норме считается уже довольно густым и которая преимущественно имеется в виду, когда речь идет о земледелии.

ему должно казаться тоже недостаточным, и он должен искать помощи себе в каком-нибудь заговоре колдуна.

Зависимость усовершенствованных способов обработки земли от густоты населения яснее всего выказывают Соединенные Штаты. Они в высокой степени обладают всеми другими условиями, вызывающими усовершенствованное сельское хозяйство: и громадным развитием городов, и превосходными путями сообщения, и страшным богатством капиталов,— всеми этими условиями, которых лишена Россия; они отличаются от Англии только тем, что густота населения в них невелика, и от разницы в этом одном обстоятельстве происходит то, что североамериканец пренебрегает усовершенствованными методами сельского хозяйства. Спросите его, почему он не употребляет на улучшение акра земли в каком-нибудь Огайо по 100 долларов, между тем как англичанин тратит на улучшение своей земли гораздо больше,— он или захохочет, считая вас помешанным, или рассердится, думая, что вы принимаете его за дурачка, над которым можно потешаться. Но если вы объясните ему, что вы спрашиваете серьезно, и докажете, что вы человек не глупый, а только чересчур начитавшийся отсталых экономистов, то он растолкует вам, в чем дело. Он скажет: если я буду обрабатывать свою землю по английской усовершенствованной методе, я не обработаю и третьей части того количества, какое находится у меня теперь под посевом. Земля у нас так дешева, что тратить много денег на ее улучшение еще невыгодно.

Отсталые экономисты вообще так сообразительны, что, пожалуй, тотчас же придумают новую гипотезу, все во вред тому же непостижимому для них общинному владению. Надобно поскорее сделать оговорку, чтобы предупредить их остроумную догадку. Хорошо, скажут они, затрачивать много денег на улучшение земли у нас нельзя потому, что земля слишком дешева и население не имеет такой густоты, как в Англии. Но причиною малой населенности и дешевизны наших земель не должно ли считаться общинное владение? Мы не сами выдумали это остроумное соображение, после которого остается только предположить, что нерасчищенность фарватера наших рек происходит также от общинного владения. Отсталые экономисты действительно говорили, что развитие населения у нас задерживается общинным владением; но это показывает только, что они не читали даже извлечения из рус-

ской истории Карамзина, которое приложено к немецкой грамматике г. Таппе для упражнения в переводах. Иначе они знали бы, что до половины XVII века вся Европейская Россия была театром таких событий, при которых можно дивиться разве тому, что уцелели в ней хотя те малочисленные жители, которых имела она при Петре. Татарские набеги, нашествие поляков, многочисленные шайки разбойников, походившие своей громадностью на целые армии, — все это постоянно дотла разоряло русские области. Они опустошались также страшною неурядицею управления. Мы знаем, что вольные люди записывались за помещиков, лишь бы найти себе какую-нибудь защиту, потому что закон был совершенно бессилён оградить их, — это факт, говорящий о таком положении вещей, соответствие которому в истории Западной Европы представляют лишь те мрачные времена средних веков, когда аллодиальные владельцы принимали на себя феодальную зависимость. Удивительно ли, что при таком положении дел народонаселение оставалось чрезвычайно малочисленным? Только с XVIII века внешние разорители были обузданы и внутренняя администрация стала несколько улучшаться; с тех пор, в течение 160 лет, она постоянно улучшалась, но по нынешнему ее состоянию можно судить о том, какова была она лет 70 тому назад. Если теперь производятся вещи, тысячной доли которых не мог описать Щедрин, то рассказы наших отцов и дедов свидетельствуют, что в их времена господствовал произвол, невероятный даже для нас. Не будет ли явным безрассудством отыскивать каких-нибудь других причин к объяснению того факта, что Россия заселена еще очень слабо? Мы удивляемся не тому, что теперь наше население еще слишком мало; напротив, скорее требовало бы объяснения то обстоятельство, каким образом могло оно увеличиться хотя до настоящей цифры при известной нам судьбе русского народа в этот период. Сравнивая цифру населения собственно русских областей в наше время с населением их за полтора столетия, мы должны приписать натуре русского человека чрезвычайную переносливость — черта, которая обнаруживается также всюю нашею историею и всеми особенностями нашего быта.

Мы сказали только об одной причине неразвитости нашего сельского хозяйства, и эта одна причина — малая населенность даже самых населенных наших земель — уже могла бы служить очень удовлетворительным объяснением тому, что наше земледелие еще не вышло из-под

господства первобытных методов обработки; но сколько есть еще других несомненных причин, действующих в том же направлении. Замечено, например, что развитие сельского хозяйства идет в уровень с развитием городов. Дело очень понятное: методы производства улучшаются тогда, когда нужно усиленное производство; усиление производства возможно только тогда, когда есть сбыт для продуктов. В большой стране города собственного государства должны служить важнейшим местом сбыта сельских продуктов. Потому, чем значительнее пропорция городского населения в общем числе жителей страны, тем высшего развития достигает в ней и земледелие. Противники общинного владения восхищаются английским сельским хозяйством; но ведь в Англии более двух третей населения живет в городах. Один Лондон с принадлежащими к нему местечками представляет массу покупателей хлеба, едва ли не большую, чем все города Русской империи от Петербурга до Якутска*.

В Англии более двух третей населения сосредоточено в городах. В Пруссии городские жители все еще составляют около третьей части всего населения; даже в Австрии в городах живет восьмая часть населения. У нас оно составляет едва двенадцатую часть. Итак, не сравнивая России с Англией, ни даже с Францией и Пруссией, довольно будет заметить, что по пропорции между городским и сельским населением русское земледелие находится в положении, в полтора раза неблагоприятнейшим, чем земледелие Австрии, самой отсталой западной державы по методам сельского хозяйства.

Отсталые экономисты могут в чем угодно обвинять общинное владение. Может быть, оно причиною того, что климат наш суров, что часты у нас засухи; но едва ли даже они дойдут до мысли приписывать ему неразвитость наших городов. А между тем странно сказать, как ни малы наши города, они почти не увеличиваются, как будто бы нет у нас и потребности в них. Одесса, Харьков, еще два, три города — и кончен список всех центров, развиваю-

* В Лондоне с окрестными местечками считается до 3 миллионов жителей, а во всех городах Русской империи — до 5 с половиной миллионов. Но почти во всех наших уездных и даже во многих губернских городах большинство населения занимается хлебопашеством. Эти люди горожане только по имени, а в самом деле они такие же поселяне, как и деревенские мужики, несмотря на свой титул мещан. Нет надобности говорить, что в Лондоне, напротив того, каждый житель не производит, а только потребляет хлеб.

щихся заметным образом. Даже столицы наши увеличиваются далеко не так быстро, как большие города Западной Европы. В Москве, например, с незапамятных времен, чуть ли еще не при Иване III Васильевиче, а наверно при Елисавете Петровне, считали более 300 000 жителей. По прошлогоднему календарю считалось в ней 354 927 жителей. Надобно будет справиться в календаре за нынешний год, не вознаградили ли в последние десять месяцев застой целого столетия. Шутки в сторону. Каких успехов можно ожидать при каком бы то ни было способе землевладения от сельского хозяйства такой страны, где после двух столичных губерний и Херсонской губернии с ее полуиностранною Одессою первое место по пропорции между городским и сельским населением занимают провинции, недавно завоеванные от Турции, как будто бы самые передовые в экономическом развитии*.

Наши города оставались до сих пор какими-то пародиями на города. Но если они представляли для сбыта сельских произведений рынок столь ничтожный, что не могли поднять земледелия, зато есть у нас другой источник сбыта — заграничная торговля. Мы кричим очень много об отправляемом нами за границу хлебе. Но в целые десять лет, с 1844 до 1853 включительно, мы вывезли из всех наших гаваней всех сортов хлеба вместе всего 57 миллионов четвертей, по 5 700 000 четвертей в год, то есть, считая по полторы четверти на продовольствие одного потребителя, весь наш заграничный отпуск равнялся присутствию четырех миллионов потребителей. Из этого следует, что если мы соединим размер внутреннего рынка (городские потребители) с продажей на заграничные рынки, мы получим, что все поощрение нашего земледелия к усиленному производству равнялось потребности 8 миллионов по-

* Для курьеза — именно для курьеза, потому что цифры эти восхитительны, — выписываем верхнюю часть таблицы городского населения из Тенгоборского¹.

На 1000 человек населения считается городских жителей:

Губернии

1. С.-Петербургская	517
2. Московская	258
3. Херсонская (Одесса)	237
4. Таврическая (турецкая цивилизация)	172
5. Бессарабия (турецкая цивилизация)	163
6. Астраханская (калмыцкая цивилизация)	140
7. Курляндия (немцы)	121
8. Харьковская (слава богу, вот и мы, наконец)	114

требителей *. Итак, оба рынка, внешний и внутренний, едва могут производить у нас на земледелие столько возбуждающего влияния, сколько производится в Англии одним внутренним рынком.

Остальные экономисты могут приписать все это общинному владению; но дело известное, что слабое развитие наших городов имеет свою причину неразвитость нашей промышленности и торговли, а отпуск хлеба за границу стесняется отсутствием сносных путей сообщения. Надобно ли говорить, что обе причины, кроме косвенного вреда, приносимого ими земледелию через ограничение заграничного сбыта и городского потребления, страшно вредят сельскому хозяйству и прямым образом? Надобно ли говорить, что, каково бы ни было число жителей в городах, земледелие не может делать успехов в стране, где слабы промышленность и торговля? Надобно ли говорить, что всякое производство, а в особенности земледельческое производство, нуждается для своего развития в удобных путях сообщения? Кому не известно, что Псковская губерния может умереть с голоду прежде, чем получит хотя четверть хлеба из Малороссии, которая в то же время будет страдать от невозможности сбыть куда бы то ни было свой хлеб? Или надобно говорить о том, что наша торговля находится в самом *жалком* положении, а пути сообщения до последнего времени находились еще в худшем?

Есть еще одно важное коммерческое обстоятельство, специальным образом тяготеющее над нашим земледелием. Из всех отраслей производства в сельском хозяйстве всего ощутительнее важность оборотного капитала. Фабрика или завод обыкновенно или создается, или покупается тем самым человеком, который бывает хозяином производства. При покупке или устройстве своего заведения он обыкновенно рассчитывает, чтобы нужное количество капитала оставалось у него для оборота. Не то в сельском хозяйстве. Земля чаще всего достается по наследству, и владелец, не получив вместе с нею оборотного капитала, обыкновенно и не понимает нужды в нем. Земля у него есть, работа даром и справляется крепостными людьми: о чем же еще думать владельцу? Если у него есть деньги, он пускает их в другие предприятия или чаще всего прожигает, а земледельческое производство совершается

* Мы полагаем из 5 с половиною миллионов городского населения до 4 000 000 человек, покупающих хлеб, — цифра слишком высокая — и к ним прибавляем 4 000 000 потребителей, которых мы продовольствуем за границей.

у него решительно без всяких затрат оборотного капитала. Между тем известно, что успехи земледелия находятся в прямой зависимости от величины затрат на оборотный капитал. Каких успехов можно ожидать там, где нет понятия о надобности в оборотном капитале?

Это <дикое> положение приводит нас к одному из основных источников нашей <дикости и> отсталости во всех отношениях — к крепостному праву. Коренным образом крепостное право принадлежит сфере сельского хозяйства, и само собою разумеется, что если оно обессиливало всю нашу жизнь, то с особенной силой должны были отражаться его результаты на земледелии, которое полнее всего подчинялось его силе. Неуместно было бы здесь распространяться об этом предмете,— о нем довольно наговорено в последнее время бесчисленными писателями, которые вдруг обнаружили благороднейшее негодование против бедствия, имевшего привилегию столь долго не вызывать никаких порицаний. Мы сами грешили этими внезапными вснышками благодетства.

В те дни, когда нам было ново
Значение правды и добра²,

и теперь не можем, не краснея, вспоминать о тогдашних наших подвигах. Итак, довольно будет сказать, что цена хлеба зависела от той части его, которая производилась крепостным трудом, то есть не имела ровно никакой цены в глазах владельца, и что крепостное право, переделавши в своем духе все наши обычаи, конечно не могло содействовать ни развитию духа предприимчивости, ни поддержанию трудолюбия в нашем племени. Если бы не было никаких других неблагоприятных обстоятельств, одного крепостного права было бы достаточно, чтобы объяснить жалкое положение нашего земледелия.

Крепостное право было одним из учреждений, ослаблявших народную энергию. Но не одному ему надобно приписывать страшный упадок ее. Крепостное право было только одним из множества элементов, имеющих такое же влияние на силу нации. Мы не хотим теперь перечислять всех этих вредных учреждений: для нашей цели довольно будет обратить внимание только на результат их. Русский народ <живет или, лучше сказать, прозябает или дремлет> в тяжелой летаргии, немногим отличающейся от расположения духа, владычествующего над азиатцами. <Апатия у нас изумительная; она так паразитична, что многие называют нас народом ленивым. Мы не знаем, существуют

ли на свете ленивые народы. Психология говорит, что страсть к деятельности врождена человеку, а физиология объясняет и доказывает это, говоря, что наши мускулы имеют физическую потребность работать, подобно тому как желудок имеет потребность переваривать пищу, нервы — потребность испытывать впечатления, глаза — потребность смотреть, и т. п. Оставляя в стороне этот общий принцип органической жизни, по которому каждая часть нашего организма требует соответственной своему характеру деятельности, мы заметим только, что в нашем климате леньность никак не может находить себе места, если бы и могла принадлежать каким-нибудь другим племенам, живущим под полюсами или под тропиками. Смешно говорить о склонности к лени в человеке, который в пять или шесть месяцев должен заготовить средства к жизни на целый год; но между тем не подлежит сомнению, что мы работаем хуже, нежели, например, англичане и немцы. Это оттого, что энергия труда подавлена в нас вместе со всякою другою энергиею. Исторические обстоятельства развили в нас добродетели чисто пассивные, как, например, долготерпение, переносливость к лишениям (обидам) и всяким невзгодам. В сентиментальном отношении эти качества могут быть очень хороши, и нет сомнения, что они очень удобны для людей, пользующихся ими к своей выгоде; но для развития экономической деятельности пассивные добродетели никуда не годятся. (Как вы хотите, чтобы оказывал энергию в производстве человек, который приучен не оказывать энергии в защите своей личности от притеснений? Привычка не может быть ограничиваема какими-нибудь частными сферами: она охватывает все стороны жизни. Нельзя выдрессировать человека так, чтобы он умел, например, быть энергичным на ниве и безответным в приказной избе тем, чтобы почесывать себе затылок и переминаться с ноги на ногу. Он будет таким же вахлаком и за сохою. Впрочем, об этом предмете можно было бы наговорить слишком много, если бы в самом деле нуждалась в доказательствах мысль, что энергия в русском человеке подавлена обстоятельствами, сделавшими из него какого-то аскета. Возвратимся лучше к той, более отрадней стороне его жизни, которая показывает, что по природе своей он вовсе не предназначен быть апатичным. Когда пробуждается в нем усердие к делу, он обнаруживает чрезвычайно замечательную неутомимость и живость в работе. Но для этого бывает нужно ему увидеть себя самостоятельным, почувствовать себя освобожден-

денным от стеснений и опеки, которыми он вообще бывает подавлен.)

Мы сказали, что не хотим перечислять причин, подавляющих энергию труда в русском народе. Это перечисление было бы слишком огорчительно для нашего с вами патриотизма, читатель. (Мы надеемся, что вы такой же яростный патриот, как и мы; что вы, подобно нам, восхищаетесь нашим общественным устройством во всех его подробностях, начиная с петербургских и кончая сельской администрацией.) Но мы должны обратить внимание на одну сторону народной жизни, которая, сама обуславливаясь благосостоянием и свободой народа, служит коренным источником всех успехов его экономической деятельности. Каждое человеческое дело успешно идет только тогда, когда руководится умом и знанием; а ум развивается образованием, и знания даются тоже образованием; потому только просвещенный народ может работать успешно. В каком же положении наше образование? В целой Западной Европе, имеющей около 200 миллионов жителей, не найдется столько безграмотных людей, как в одной нашей родине; в какой-нибудь Бельгии или хотя бы даже Баварии, при всей отсталости Баварии от других земель Западной Европы, на 5 миллионов населения считается столько же учащихся в школах, сколько в целой России, и число всех грамотных людей в России таково, что едва ли бы достало его на одну провинцию в Прусском королевстве *. О том, насколько распространено у нас высшее образование, нечего и говорить: об этом слишком красноречиво свидетельствуют цифры изданий Гоголя, Пушкина, Тургенева и число экземпляров, в каком издаются наши газеты и журналы **.

* По самым щедрым расчетам предполагается, что из 65 или 70 миллионов жителей Русской империи людей, умеющих читать, набирается до 5 миллионов. Но эта цифра, по всей вероятности, слишком высока. Большинство грамотных людей сосредоточено в городах; в селах едва ли наберется половина того, сколько находится в городах. Но и в городах гораздо больше половины жителей еще не знают грамоте. Судя по этому, едва ли мы ошибемся, положив число грамотных людей в России не превышающим 4 миллионов.

** Все наши ежедневные газеты, вместе взятые, расходятся в числе 30 или много 35 тысяч экземпляров; все большие журналы, вместе взятые, далеко не достигают этой цифры. Предположив для каждого экземпляра даже по 10 человек читателей, мы увидим, что все наше образованное общество едва ли простирается до полумиллиона человек. Во Франции, где чтение распространено меньше, нежели в Германии и Англии, одни только парижские ежедневные газеты печатаются в числе более 200 000 экземпляров (провинциальных газет мы не считаем). Итак,

Как из <апатичности> русского человека в материальной работе проникательные люди вывели, что он от природы расположен к лени, так из слабого развития нашей образованности они заключают, что русское племя мало имеет охоты к просвещению. Обе эти клеветы одинаково тупоумны и нелепы. <Об этих обоих делах надобно сказать одно и то же: «охота смертная, да участь горькая».> Стремление в народе чрезвычайно сильно; но обстоятельства <и учреждения> слишком не благоприятствуют его осуществлению.

Мы перечислили много причин, имеющих губительное влияние на наше земледелие: отсутствие умственного развития в народе, упадок его энергии, крепостное состояние, недостаток оборотного капитала, неразвитость торговли и промышленности, плохое состояние путей сообщения, слабое развитие городов, незначительная степень населенности,— все это такие причины, из которых каждая сама по себе и без содействия других бывает в состоянии задержать сельское хозяйство на низкой степени развития. Из европейских народов нет ни одного, у которого хотя один из этих фактов, враждебных успехам земледелия, имел бы такой обширный размер, как у нас, и нет в Европе ни одного народа, у которого бы соединялись все эти факты, соединенные у нас. Что ж удивительного, если земледелие у нас находится в худшем положении, чем у западных народов? Когда есть так много и столь сильных несомненных причин, производящих данное положение, позволяют ли правила логики придумывать еще гипотетические и мистические причины? При виде фактов, нами перечисленных, говорить, что наше земледелие задерживается общинным владением, значит подражать той даме, которая зимой поехала на бал, накинув на голые плечи только легкую мантилью, а потом, выдержав горячку, приписывала свою болезнь тому обстоятельству, что забыла взять с собою веер. Мы не знаем, имеет ли веер свойство предохранять от простуды; но можно думать, что если б он и был в руках, он не заменил бы для нее шубы и теплых ботинок. Можно полагать, что, каков бы ни был способ землевладения в стране, где население мало,

во Франции приходится один экземпляр газеты на 180 человек, а в России один экземпляр на 2 200 человек. Но всего прелестнее цифры изданий наших классических писателей. Кто из людей сколько-нибудь образованных не читал Гоголя? Число всех экземпляров всех изданий Гоголя не простирается и до 10 тысяч.

города не развиты, путей сообщения нет, торговли и промышленности почти нет, оборотного капитала в земледелии нет, где (обстоятельствами и учреждениями подавлена) в народе энергия и нет простора умственной деятельности, — можно думать, что, каков бы ни был способ владения землею в такой стране, земледелие не могло бы достичь в ней никаких успехов.

Говорить о вредном влиянии общинного владения на земледелие в России — значит приписывать цвету волос или величине усов неподвижность человека, у которого поражены параличом руки и ноги. Нас так восхищает гипотеза о вредном влиянии общинного владения, что мы предложим ряд вопросов, которые все могут быть разрешены посредством вредного влияния общинного владения с таким же успехом, как и вопрос о слабом развитии нашего земледелия.

Почему наши города так плохо развивались до сих пор? Общинное владение мешало их развитию, препятствуя купцам развивать свои дела покупкой земель у поселян. Почему неизмеримые леса наших северных губерний гниют на корню, между тем как средняя и южная Россия нуждается в лесе? Общинное землевладение останавливает поток колонизации, который без него устремился бы в благодатную Олонецкую губернию и пустил бы в торговлю ее леса. Почему ярославские мужики имеют рыжие бороды? Причиною тому должно считаться общинное владение, препятствующее ярославцам походить на французов, имеющих бороды темного цвета. Почему русские экономисты отсталой школы не в состоянии понимать самых простых и ясных фактов? Причиною тому должно считаться общинное владение, задерживающее успехи русских людей как в отношении материальном, так и в отношении умственном.

Задерживая умственное развитие русских экономистов отсталой школы, общинное землевладение препятствует им удовлетворяться предыдущими доказательствами, совершенно достаточными для обыкновенного здравого смысла. Потому мы считаем недостаточным для них предшествующее положительное указание на факты, которые свидетельствуют, что нет надобности в гипотезе о вредном влиянии общинного владения для объяснения неразвитости нашего земледелия: надобно прибегнуть также к отрицательному методу проверки гипотез, чтобы показать еще очевиднейшим образом неуместность их предположения.

На земном шаре находится очень много стран, в которых состояние земледелия не лучше, или немногим лучше, или даже гораздо хуже, чем в России, но которые имеют способ землевладения, могущий, по мнению отсталых экономистов, поднять наше сельское хозяйство, будто бы убиваемое общинным землевладением. Мы сделаем обзор этих стран, чтобы видеть, в состоянии ли господство частной поземельной собственности помочь у нас тому делу, плохое положение которого занимает нас. В Испании положение сельского хозяйства едва ли лучше, чем у нас; многие из условий, не благоприятствующих нашему земледелию, существуют и там, хотя далеко не в такой степени. Население в полтора раза гуще наших земледельческих губерний, пропорция городского населения гораздо значительнее. Средиземное море и Атлантический океан представляют удобный путь сбыта для продуктов целой половины страны; но все-таки сходство с нашим положением довольно велико: население, хотя и больше нашего, все-таки не довольно густо, развитие городов все-таки неудовлетворительно, пути сообщения плохи, оборотных капиталов в земледелии нет, торговля и промышленность очень слабы, и общественные учреждения подавили прежнее просвещение и прежнюю энергию испанского племени. Сходства по этим основным условиям достаточны для того, чтобы земледелие производилось чрезвычайно небрежно, хотя испанцы не имеют и понятия об общинном владении. Дайте им общинное владение или уничтожьте его у нас, положение сельского хозяйства ни у нас, ни у них не изменится, если перечисленные нами условия останутся в прежнем виде. Точно таково же положение вещей в Неаполе и в Папской области, хотя и они не знают общинного владения.

Но если мы хотим видеть в Европе страну, где обстановка земледельческого производства представляет наибольшее сходство с нашей, мы должны взглянуть на Турцию. Не надобно и говорить, что и в ней успехи земледелия задерживаются общинным владением.

Слово Турция пробуждает в нас новую мысль, которая, к сожалению, до сих пор не приходила нам в голову: иначе были бы излишни все наши прежние рассуждения. Европейская Турция до сих пор остается в сущности азиатским государством, хотя и лежит в Европе, не правда ли? Итак, найден нами ключ к объяснению всего, о чем толковали мы с подробностями, которые теперь оказываются совершенно не нужны. Азиатская обстановка жизни, азиатское уст-

ройство общества, азиатский порядок дел, — этими словами сказано все, и нечего прибавлять к ним. Может ли земледелие получить европейский характер при азиатском порядке дел? В самом деле Азия* представляет обширнейший прототип того земледельческого положения, о котором мы говорим, со всеми причинами, производящими его, то есть мешающими ему замениться чем-нибудь лучшим; а между тем Азия точно так же не знает общинного владения землею, как и Западная Европа. Анатолия, Сирия, Месопотамия, Персия, Кабул, Бухара, Хива, Кокан[д] — все эти страны точно так же имеют личную поземельную собственность, как и Англия, Бельгия, Рейнская Германия. Из этого, кажется, можно заключить, что личная поземельная собственность вовсе не служит ручательством за высокое развитие земледелия, что порядок землевладения, будучи необыкновенно важен по своему влиянию на распределение имущества между разными сословиями, не имеет ровно никакого влияния на развитие технической стороны сельского хозяйства. В чьи руки идет сбор хлеба, доставляемый десятиною земли, — вот это решается способом землевладения. Но как обрабатывается эта десятина и как велик сбор хлеба, ею даваемый, это зависит от совершенно других условий, важнейшие из которых мы перечислили. Теперь мы знаем также, как надобно называть совокупность тех условий, при которых обработка земли бывает плоха и сбор хлеба мал: совокупность этих условий, враждебных развитию сельского хозяйства, называется просто — азиатством. (Если бы мы писали статью об общинном владении для обыкновенных читателей, нам не было бы нужды останавливаться на разъяснении, что такое должно разуметь под словом азиатство; но мы пишем для отсталых людей, называющих себя учеными, то есть для людей с понятиями самыми сбивчивыми,

* Под «Азиею» мы разумеем здесь не всю ту часть света, которая известна под этим именем в географии, а только те земли в этой части света, которые издавна знакомы нашему народу и по которым составил он себе понятие об азиатстве. Это — страны, лежащие на запад от Китая и на север от Индии, собственно только мусульманская часть Азии. Столь ученое примечание мы сочли необходимым сделать, имея в виду обыкновенную сообразительность отсталых экономистов, иначе они тотчас возразили бы: «Не явное ли невежество говорить о том, что земля в Азии возделывается дурно, когда известно, что в Китае она обрабатывается самым тщательным образом?» Сделав такое возражение, они остались бы очень довольны собой. К сожалению, наша статья имеет в виду не Китай, где по крайней мере прочность обычая служит некоторым вознаграждением за слабость закона, а только страны, имеющие порядок дел, подобный турецкому, персидскому, хивинскому и кокан[д]скому.

потому, нечего делать, объясним, что обыкновенные, неученые люди понимают под словом азиатство. Если бы остальные ученые могли снисходить до чтения статей, по заглавию своему относящихся к предметам неученым, мы просто указали бы на разбор сочинений г. Островского, помещенный в последних книжках «Современника»³: понятие азиатства изложено в них с большой подробностью и обстоятельностью. Но могут ли люди, воображающие себя учеными, учиться у какого-нибудь не известного западным их авторитетам г.— бова? Повторим же здесь кратко его основные мысли, чтобы познакомить с ними наших отсталых экономистов.

Азиатством называется такой порядок дел, при котором не существует неприкосновенности никаких прав, при котором не ограждены от произвола ни личность, ни труд, ни собственность. В азиатских государствах закон совершенно бессилен. Опирается на него — значит подвергать себя гибели. Там господствует исключительно насилие. Кто сильнее, тот безнаказанно делает над слабейшими все, что только ему угодно, а так как у него нет человеческих понятий, то руководится он в своих действиях только прихотями, добрыми или дурными, — это как случится, но во всяком случае совершенно bestолковыми; эта черта азиатства в разборе сочинений г. Островского очень удачно названа самодурством. Для человека постороннего она составляет самую поразительную особенность азиатского порядка дел. При безграничном владычестве самодурства каждый азиатец в сношениях своих с более сильным человеком руководится исключительно мыслью угождать ему. Угодливость, уступчивость, раболепство — это единственный способ не быть раздавленным от руки сильнейшего. Мы часто обвиняем азиатцев за их раболепство; но что же им делать, когда закон у них, как мы сказали, бессилен? Водворите у них законность, и вы увидите, что они сделаются такими же людьми, как мы, европейцы.)

Мы чувствуем, что (этот эпизод) об азиатстве решительно не достоин той серьезной идеи, которая служит основанием нашей статьи. Но что же делать! Наш язык не выработался настолько, чтобы можно было удовлетворительно выражать им серьезные понятия. Недаром все ученые жалуются на бедность нашей терминологии. Если бы мы писали по-французски или по-немецки, мы, вероятно, писали бы лучше. Но, не удостоившись от судьбы получить такое счастье, мы должны писать на языке, который

по какому-то загадочному случаю устроен так, что никак не сумеешь излагать на нем своих мыслей связно и ясно. Наш язык, орудие слишком непокорное мысли и истине, беспрестанно увлекает писателя в такие отклонения от его идеи, которые могут быть неприятны не только читателю, но и самому автору, но которые должен извинять великодушный читатель. Удержаться на прямой дороге развития идеи нет возможности, когда пишешь по-русски, и писателю остается только, когда он заметит, что уклонился от своей идеи слишком далеко, делать крутые повороты, чтобы взяться опять за дело, ускользнувшее из-под его пера по сбивчивости нашего языка. Мы так и сделаем. Забывая наш неудовлетворительный эпизод об азиатстве, мы беремся опять за логику и смотрим, что велит она делать при рассуждении о неосновательных гипотезах, каково разбираемое нами предположение отсталых экономистов о вредном влиянии, будто бы оказываемом на земледелие нашу систему общинного владения.

Логика говорит, что не довольно опровергнуть ошибочное мнение, а надобно также показать, каким образом могло оно произойти, потому что иначе ошибка оставалась бы делом произвольным, не имеющим достаточных причин, то есть загадочным. Чтобы исполнить это последнее требование логики, нам нужно только рассмотреть посылку, из которой отсталые экономисты выводят свое ошибочное мнение. «Наше земледелие,— говорят они,— задерживается в своем развитии тем, что поземельная собственность не имеет у нас достаточной безопасности». Мысль совершенно справедливая, и ошибка заключается только в том, что причину небезопасности поземельной собственности принимается отсталыми экономистами общинное владение. В статье «Законодательство и регламентация»⁴ мы подробно доказывали, что общинное владение землей из всех форм поземельной собственности форма самая прочная, безопасная, самая свободная от всяких придирок и юридических столкновений. Но мы оканчивали нашу статью согласием в том, что общинное владение при всем своем юридическом превосходстве далеко не оказывает у нас всех полезных действий, каких следует ожидать от его существенного характера. Мы обещались в нынешней статье разобрать причины такого несоответствия между сущностью принципа и его результатами. К тому же самому делу приводит нас и надобность показать причину, вовлекающую отсталых экономистов в их фальшивую гипотезу.

Отыскать причину их ошибки очень легко. Они сравнивают поземельное владение у нас и в Западной Европе; они замечают, что в Западной Европе поземельная собственность безопасна, у нас не имеет безопасности; они видят с тем вместе, что на Западе существует одна форма поземельного владения, у нас — другая. И вот они делают из этих фактов следующее заключение: «В Западной Европе поземельная собственность безопасна, а форму ее там составляет присвоение собственности частному лицу; итак, присвоение поземельной собственности частному лицу дает ей безопасность. У нас, напротив того, поземельная собственность лишена безопасности и с тем вместе имеет форму общинного владения. Итак, форма общинного владения служит причиной небезопасности поземельной собственности».

Эта форма умозаключения очень обыкновенная у людей, не привыкших к логическим приемам: видя два факта известного рода соединенными в одном месте и два факта другого рода соединенными в другом месте, неопытные в логике умы тотчас же заключают без дальнейшего исследования, что в каждой паре фактов существует между двумя явлениями причинная связь. Если бы этот род умозаключений был пригоден для ученых изысканий, наука уже давно постигла бы все тайны природы и общественной истории. Но, к сожалению, логика заклеивала такой легкий способ отыскания истины знаменитую фразою *cum hoc, ergo propter hoc*⁵ и объявила, что подобные умозаключения решительно никуда не годятся. Если бы отсталые экономисты были знакомы с логикой, они знали бы, что все нелепости суеверия были основаны на этой самой форме умозаключения, и знали бы, какое множество примеров приводится этому в логике.

Например, на чем были основаны ауспиции⁶ древних римлян? Однажды перед битвой они слышали ворону, каркающую с правой стороны, и проиграли битву; в другой раз слышали ворону, каркающую с левой стороны, и выиграли битву. Дело ясное: *cum hoc, ergo propter hoc* — совпадает, следовательно имеет причинную связь. Итак, карканье вороны с правой стороны приносит войску гибель, карканье с левой — дает ему победу.

Все суеверия основаны на этой форме умозаключения. Доказывать его нелепость было бы скучно: довольно будет сказать, что суеверную привычку делать заключения по форме, нами указанной, логика велит заменять строгим исследованием положительных причин, прибавляя, что

очень часто могут совпадать между собой факты, тенденции которых противоположны, и что в таком случае результаты слабейшего факта подавляются противоположными результатами сильнейшего факта.

Положительно известно, например, что просвещение облагораживает человека, а благородство противоположно, например, хоть взяточничеству. Между тем сколько мы видим у нас взяточников, кончивших курс в высших учебных заведениях. По способу умозаключения, которого держатся остальные экономисты, вывод из этого совпадения фактов таков: человек, кончивший курс в одном из высших заведений, берет взятки — итак, ученье делает человека взяточником. Логика велит судить об этом иначе. Она говорит: если даже люди образованные становятся взяточниками, несмотря на противоречие между образованностью и взяточничеством, то надобно полагать, что в обстановке, среди которой живут эти люди, есть обстоятельства, столь могущественно влекущие к взяточничеству, что противоположное направление, внушаемое образованностью, может изнемогать под силой этих обстоятельств.

Другой пример. Светское воспитание, хорошо оно или дурно в других отношениях, но имеет ту несомненную хорошую тенденцию, что делает человека деликатным в обращении, отучает его от низких, грязных манер. Но сколько у нас есть людей, получивших светское воспитание, которые чрезвычайно грубы в обращении со своими подчиненными, которые невежливо обращаются с мелкими чиновниками, если бывают в гражданской службе, которые ругают солдат, если бывают офицерами. По умозаключению отсталых экономистов опять выходил бы такой силлогизм: люди, получившие светское воспитание, унижаются до пошлых грубостей — итак, светское воспитание отнимает у человека вежливость. Логика опять говорит напротив: если даже люди, получившие светское воспитание, бывают невежливы, грубы, пошлы в обращении с другими, то надобно думать, что в обстановке, среди которой живут эти люди, есть обстоятельства, столь сильно располагающие к нахальному попиранию всякой слабой личности, что даже вежливость, даваемая светским воспитанием, подавляется этими обстоятельствами.

В подобных случаях логика велит вместо того, чтобы останавливаться на тупоумном предположении «совпадает, следовательно имеет причинную связь», пристальнее всматриваться в обстоятельства, среди которых происхо-

дит явление, чтобы отыскать истинные причины его. Так поступим и мы. Отыскать истинные причины небезопасности нашей поземельной собственности очень нетрудно. Можно даже сказать, что они известны каждому, кроме отсталых экономистов.

Собственность принадлежит к числу общественных учреждений. Чем же ограждается безопасность общественных учреждений? Законами. Прекрасно. Какими способами проявляется в обществе действие законов? Опять каждому известно, что для приведения законов в действие общество имеет два органа: администрацию и судебную власть. Итак, если мы рассуждаем о безопасности какого-нибудь общественного учреждения в известном обществе, то не должен ли нам прежде всего приходиться в голову вопрос о том, каково состояние администрации и судебной власти в этом обществе?

Мы не имеем намерения подробно отвечать здесь на такой вопрос, говорить о взяточничестве, потворстве сильным, нахальстве над слабым, о медлительности, неуменье ничего хорошего исполнить надлежащим образом, о безграничном произволе, соединенном с бессилием, столь же безграничным). Сколько бы ни наговорили мы об этих качествах нашей администрации и судебной власти, мы не сказали бы ничего такого, что не было бы не хуже нас известно каждому из наших читателей. Доказывать эту истину было бы тут не для кого и спорить не с кем. Мы полагаем, что даже отсталые экономисты, так мало понимающие нашу жизнь, понимают, каково положение администрации и судебной власти у нас. (Мы полагаем, что даже и они, подобно нам, скажут: наша администрация до сих пор не была способна удовлетворительным образом ограждать личность и собственность наших сограждан; от судебной власти до сих пор нельзя было у нас обиженному ожидать быстрого восстановления своих нарушенных прав.

Этого довольно для нашей цели.)

Мы нашли коренную причину не только явления, объяснением которого специально занимаемся в этой статье, но и всех тех фактов, которые представлялись нам ближайшими причинами его. Не только слабость успехов нашего земледелия, но и медленность в развитии нашего населения вообще, нашего городского населения в частности, неудовлетворительное состояние наших путей сообщения, торговли, промышленности, недостаток оборотного капитала в земледелии — все это, и не только это, но также

и крепостное право, и упадок народной энергии, и умственная наша неразвитость, — все эти факты, подобно всем другим плохим фактам нашего быта, коренную, сильнейшую причину свою имеют в состоянии нашей администрации и судебной власти. <Весь наш быт во всем, что есть в нем печального, обуславливается этою основною причиною всех зол.

В самом деле, пересмотрим все недостатки его, для всех найдем одну и ту же главную причину. Начнем с экономической стороны. Все неудовлетворительные явления нашего материального быта подводятся под одно общее выражение: «наш народ беден». Если мы сознались в этом общем факте, кажется, не подлежащем спору, мы не станем удивляться ни одному из частных явлений, входящих в состав его или представляющихся его последствиями. Например, может ли быстро увеличиваться население, у которого бедностью отнята возможность вести жизнь в здоровой обстановке и потреблять хорошую пищу? Могут ли быстро развиваться города у бедного народа? Может ли у него процветать торговля, когда у него нет обильного запаса продуктов для обширной торговли или промышленности, когда ему не на что покупать произведений промышленности? Могут ли у него быть достаточные оборотные капиталы в земледелии, когда он вообще терпит чрезвычайный недостаток в капиталах? Словом сказать, в чем бы ни увидели мы недостаток, мы уже вперед сказали о нем, когда произнесли общую фразу: «народ беден».

Но может ли выйти из бедности народ, у которого администрация дурна и судебная власть не исполняет своего предназначения? Разве не каждому известно, что народное благосостояние развивается только трудолюбием и бережливостью? А эти качества могут ли существовать при дурной администрации, при плохом суде? Человек может работать с усердием только тогда, когда никто не помешает его труду и не отнимет у него плодов труда. Этой уверенности нет у человека, живущего в стране, где администрация дурна и суд бессилен или несправедлив. Бережливым можешь быть только при уверенности, что бережешь для себя и своей семьи, а не для какого-нибудь хищника. Если этой уверенности нет, человек спешит поскорее растратить — хотя бы на водку — те скудные деньги, которые успеет приобрести. Распространяться здесь об этом вновь едва ли нужно, потому что много раз говорил об этом «Современник». Приведем только небольшой отрывок из

статьи, которая, по нашему мнению, довольно верно указывает причину зла.

«Кто говорит «бедность народа», тот говорит «дурное управление». Это — единственный источник народной бедности. Но что такое дурное управление? Зависит ли оно от лиц? Нет, каждый видел на опыте, что при самых благонамеренных начальниках порядок дел оставался точно таков, каков был при самых дурных. Мы жили в провинции, губернатором которой был человек честнейший, редкого ума и чрезвычайно хорошо знавший дело *. Каждый житель того края скажет вам, что при нем делалось то же самое, что и до него. Должности продавались с формального торга. Суда и управы не было; грабительство было повсеместное: оно владычествовало в канцелярии губернатора, в губернском правлении, по всем ведомствам и инстанциям. Теперь мы нашли там начальником одного из частных управлений, человека также безукоризненной честности и большого ума **. Но когда, проезжая по провинции, мы спрашивали поселян его управления, меньше ли берут с них взяток, чем прежде, при отъявленных взяточниках или глупцах, они отвечали, что берут с них столько же, как и прежде. Мы поручимся, что и в соседней, также поволжской губернии, где губернатором теперь человек известной честности, дельности и ума⁹, делается то же самое, что делалось прежде; поручимся, что не исправилась администрация и в Р. губернии, где вице-губернатором один из наших благороднейших писателей, характер которого достоин его прекрасных произведений¹⁰. Итак, не личные качества людей причиною дурного управления. Или виновны в нем понятия народа, будто не сознающего всей гнусности гнусных дел? О, нет. Послушайте, как говорят о чиновниках люди всех других сословий: помещики, купцы, духовенство, мещане, крестьяне. Все, кроме берущих взятки, рассуждают о дурном управлении с теми чувствами, которых оно заслуживает. Или дурное управление зависит от привычек? Но нет, мы видим, что самые отъявленные взяточники на казенной службе бывают честными людьми, как помещики и хозяева промышленных заведений. И притом, что значила бы привычка какой-нибудь горсти людей, действия которых осуждаются всем остальным обществом? Эти люди быстро исправились бы или бы уступили место людям другого образа действий,

* Мы говорим о г. К., бывшем саратовском губернаторе⁷.

** Мы говорим о г. М., управляющем удельною конторою⁸.

если бы на их местах возможно было действовать другим образом. И послушайте самых дурных чиновников: редкий из них доволен своим служебным поведением. Напротив, почти все скажут вам, что хотели бы действовать иначе, отправлять свои обязанности честно, и если не делают этого, то лишь потому, что это невозможно. Да, они правы: действительно, они не могут отправлять своих должностей иначе. Мы не говорим о недостаточности жалованья, потому что действуют незаконно и те чиновники, которые получают достаточное жалованье; недостаточность жалованья служит причиной только мелкого, можно сказать невинного и безвредного взяточничества маленьких чиновников. Какой-нибудь бедняжка писец или помощник столоначальника гражданской палаты берет с вас полтинник за то, что сделает для вас справку, — тут нет еще большой беды. Дело не в этом взяточничестве. Нет, вопрос в том, почему дела у нас вообще ведутся незаконно, с получением или без получения взяток, все равно. Если, например, я имею чин коллежского советника (это уже важный чин в провинции), я могу незаконно прибить мещанина, и меня оправдают, не взяв с меня никакой взятки. Зато, если обидит меня генерал (каждый генерал в провинции важнее, нежели в столице генерал-адъютант или действительный тайный советник), его также оправдают, не взяв с него никакой взятки, и от меня не захотят взять даже огромной взятки, чтобы обвинить его. Только в тех случаях дело решается взяткою, когда обе стороны почти равны по общественному положению. Это случаи довольно редкие. Итак, вовсе не о взятках должна быть речь: речь должна быть о том, что вообще у нас дела ведутся незаконно; то, что беззаконие доставляет доход чиновнику, есть уже только следствие системы, а не причины ее. Истинные причины беззаконности — безответственность и беззащитность чиновников. Чиновник наш подлежит одному только контролю — контролю начальства; ни общество, ни товарищи, ни подчиненные не могут ничего сделать с ним, если только начальство довольно им; зато ни общество, ни товарищи, ни подчиненные не могут спасти его, если начальство им недоволено. Он безответственен пред всем и всеми на свете, кроме начальства; зато перед начальством он беззащитен. Лишенный всякой независимости относительно начальства, он может держаться на службе только тем, чтобы угождать ему. Теперь представим себе такой случай. У начальника есть брат, который имеет тяжбу с человеком маленьким. Начальнику

нет времени и охоты вникать в запутанные подробности дела, да если он станет вникать, все дело поневоле представляется ему в свете более благоприятном для его брата, нежели как может представляться постороннему человеку. Дело производится, положим, в уездном суде. Если маленькие чиновники чисты и секретарь уездного суда [не] произведет его, как считает справедливым пристрастный по родству глаз начальника, они навлекут на себя его неудовольствие. То же, что о брате начальника, надобно сказать о других его родных, и о его друзьях, и о его знакомых, и о знакомых его друзей и родственников. Что же будет, если во второй, в третий, в десятый раз члены уездного начальства навлекут на себя неудовольствие начальника? Они беззащитны, они вполне зависят от него. Каким же образом могут они занимать свои места, если часто не нарушают закона для того, чтобы их решения совпадали с предубежденным в пользу известной стороны мнением начальника? И как устоят они против искушения нарушить закон? Ведь это совершенно безопасно: лишь бы был доволен начальник, и никакая ответственность не упадет на них. Таким образом, они должны нарушать закон не для того, чтобы брать взятки, а для того, чтобы не подвергнуться несчастью самим. Вот истинный источник беззаконного ведения дел. А если уже совестью надобно кривить, все равно, будет ли брать взятки, или нет: то почему же и не брать взяток? Когда надобно делать одно и то же — кривить душою — с выгодой и без выгоды, то, конечно, будем даже лучше кривить душою с выгодой. И без того не избежишь греха. Таким образом, взяточничество является только уже результатом предшествующей ему необходимости нарушать закон, по беззащитности исполнителей закона перед сильнейшими и безответственности перед обществом. Чтобы восстановить законность, надобно обратить внимание не собственно на взяточничество, а на эту коренную причину невозможности чиновникам обходиться без нарушения закона. Надобно изменить положение чиновников, дать им возможность не погибать от отказа нарушать закон в угоду сильным людям и, с другой стороны, сделать так, чтобы одно благорасположение начальства не служило для них залогом полной безопасности при нарушении закона. Читатель видит, что для этого должны быть изменены отношения должностной деятельности к общественному мнению. Оно должно получить возможность к тому, чтобы защищать чиновника, исполняющего свой долг, от гибели и подвергнуть ответ-

ственности чиновника, нарушающего закон. Для этого одно средство: надобно сделать, чтобы должностная деятельность перестала быть канцелярскою тайною, чтобы все делалось открыто, перед глазами общества, и общество могло высказывать свое мнение о каждом официальном действии каждого должностного лица».

Мы не знаем, возможно ли при нынешнем устройстве наших общественных отношений осуществление условия, которое предлагается выписанным нами отрывком для прекращения незаконности: быть может, подобная реформа предполагает уничтожение отношений слишком сильных, не поддающихся реформам, а исчезающих только вследствие важных исторических событий, выходящих из обыкновенного порядка, которым производятся реформы. Мы не хотим решать этого, мы не хотим рассматривать, какие обстоятельства нужны для исполнения мысли, изложенной автором приведенного нами отрывка. Но можно сказать, что пока не осуществится изменение, необходимость которого он показывает, все попытки к водворению законности в нашей администрации и судебном деле останутся безуспешными.

Впрочем, рассмотрение средств, которыми могла бы устраниться коренная причина бедности нашего народа — дурное управление, не составляет главного предмета этой нашей статьи. Мы должны показать только, что дурное управление есть общая коренная причина всех тех недостатков, которые задерживают развитие нашего земледелия. Начав с экономической стороны быта, мы сказали, что дурное управление — основная бедность нашего народа, которая, в свою очередь, не дает развиваться ни одному из материальных условий, нужных для успехов земледелия.)

Другая сильнейшая причина нашей бедности (вообще и жалкого положения нашего земледелия в особенности) — крепостное право — произошло некогда от дурного управления и поддерживалось им. О происхождении крепостного права мы заметим только, что это учреждение развилось от бессилия нашей старинной администрации охранить прежние свободные отношения поселян, живших в известной даче, к владельцу дачи и удержать постепенное расширение произвольной власти, захватываемой владельцем над населявшими его землю людьми; заметим еще, что (превращение огромной массы вольных людей в крепостных крестьян никак не могло бы совершиться, если бы управление было способно защищать мелких

вольных людей от произвола сильных соседей). Возможность учредить крепостное состояние происходила только оттого, что вольные люди, слишком плохо защищаемые управлением, терпели слишком много притеснений, так что переставали дорожить своею свободою и не видели слишком большой потери для себя от записи в принадлежность сильному человеку. Излагать подробнее этот предмет, относящийся к старине, было бы неуместно в статье, говорящей о нынешнем положении дел. Мы хотели сказать, что если крепостное право держалось до сих пор, то оно было обязано такой продолжительностью своего существования только дурному управлению. Действительно, каковы бы ни были законы, определявшие права помещиков над крепостными людьми, но если бы даже эти законы соблюдались, то, во-первых, все помещики давно бы перестали находить выгоду в крепостном праве, во-вторых, почти во всех поместьях крепостное право было бы прекращено частными судебными решениями по процессам о злоупотреблении власти. <Мы уже сказали, что не намерены писать филиппик против крепостного права; но мы укажем факт всем известный, если скажем, что трудно было найти поместье, в котором пользование крепостным правом или не превышало бы границы, определенных ему законом, или не употреблялись бы для управления крестьянами средства, запрещенные законом, и не оставлялись бы в пренебрежении обязанности относительно крестьян, возлагаемые законом на помещика. В одних поместьях требовалась барщина выше трех дней, в других — крестьяне подвергались иным притеснениям, в третьих — оставлялись без надлежащего пособия во время неурожая и т. д. Надобно сказать, что эти нарушения законов далеко не всегда проистекали оттого, что помещик был дурным человеком: нет, источник их лежал не в личных качествах отдельных людей, а в самой натуре крепостного отношения. По своей сущности крепостное право ведет к произволу, и какими бы законами ни определялось оно, оно неминуемо влечет и к нарушению, потому что произвол не может ужиться ни с каким законом. Если бы управление действительно хотело и могло преследовать все бесчисленные нарушения законов, неминуемо вытекавшие из крепостных отношений, в каждом поместье беспрестанно возникали бы процессы против помещика, и, измученный справедливыми преследованиями, он давным-давно сам постарался бы вывести свое поместье из крепостных отношений, которые, прибавим, очень мало

доставляли бы ему материальной и денежной выгоды, если бы управление не позволяло далеко превышать законных размеров и средств пользования крепостным правом. Много говорить об этом нет надобности: спросите какого угодно дельного чиновника, он скажет вам, что удовлетворительные формы ведения процессов гражданских и уголовных были невозможны при крепостном праве; а это значит, иными словами, что существование крепостного права было бы невозможно при хорошем управлении.

Если мы посвятили несколько страниц изложению последствий дурного управления в экономической стороне народного быта, то едва ли понадобится нам больше нескольких строк для обнаружения того, что дурное управление было также главной причиной неудовлетворительного развития нравственных и умственных сил народа. Говоря о бедности, производимой дурным управлением, мы уже видели, что оно производит ее через подавление нравственной энергии в народе. Действительно, может ли быть энергичным человек, привыкший к невозможности отстаивать свои законные права, человек, в котором убито чувство независимости, убита благородная самоуверенность? Соединим теперь упадок нравственных сил с бедностью, и мы поймем, почему дремлют также умственные силы нашего народа. Какая энергия в умственном труде возможна для человека, у которого подавлено и сознание своего гражданского достоинства, и даже энергия в материальном труде, который служит школой, подготовляющей человека к энергии в умственном труде?>

Метода лечения знахарей и знахарок представляет драгоценную параллель с тою системою, по которой остальные экономисты думают поправить неприятное для них явление экономического быта, например помочь жалкому положению нашего земледелия. Появился какой-нибудь веред¹¹ на ноге: знахарь, не задумываясь, прикладывает к нему какую-нибудь лепешку и ожидает, что болезнь уступит этому местному медикаменту. О том, отчего произошел веред, он не думает. Он не думает видеть в нем только симптом общего худосочия, только ничтожное обнаружение болезни, недращейся в целом организме, притекающей от испорченности основного процесса организма, от испорченности крови, от расстройства питания. Наука, напротив, говорит, что какое-нибудь, по-видимому местное, поражение очень часто не может быть исцелено никакими припарками и прижиганиями собственно боль-

ного места, что для исцеления болезни, обнаруживающейся этим местным симптомом, больной должен изменить весь образ жизни, чтобы исправился расстроившийся основной процесс организма.

Потому-то и отвратительно нам слышать рассуждения отсталых экономистов о том, как дурное состояние нашего земледелия может быть исправлено приложением местной припарки — уничтожением общинного землевладения и введением на его место частной поземельной собственности. Не потому отвратительно слышать нам эти тупоумные, суеверные рассуждения, что мы — приверженцы общинного землевладения: нет, все равно, мы негодовали бы на них и тогда, когда бы думали, что частная поземельная собственность лучше общинного владения. Каково бы ни было полезное или вредное влияние известной системы землевладения на успехи сельского хозяйства, все-таки это влияние совершенно ничтожно по сравнению с неизмеримым могуществом тех условий нашей общественной жизни, в которых нашли мы истинные причины жалкого положения нашего земледелия. Больной чувствует лихорадочный озноб оттого, что гнилой климат и изнурительный образ жизни развивают в нем чахотку; а вы, милостивые государи, советуете ему лечиться порошком из раковых жерновов. Я не знаю, действительно ли помогают раковые жерновки от лихорадки. Медицина говорит, будто бы это средство совершенно вздорное. Но все равно. Пусть оно будет и превосходным средством от лихорадки, оно все-таки никуда не годится в нашем случае. Болезнь не та, как вы думаете, милостивые государи. Она произошла не от легкой простуды, которую вы хотите лечить вашими милыми раковыми жерновками, и какие лекарства ни употребляйте против озноба, который один замечен вам из всех симптомов страшной болезни, вы не уничтожите не только общей болезни организма, но даже и этого частного ее проявления. Вы только губите больного, заставляя его терять время на пустыах, когда каждый день увеличивает опасность его положения. Всмотритесь получше в состояние организма, и вы найдете, что лихорадочный озноб производится причинами, против которых необходимо употребить средства, совершенно различные от рекомендуемых вами суеверных пустыаков. Вся обстановка жизни больного должна измениться для того, чтобы прекратилось гниение основного органа его тела. А когда его легкие будут здоровы, сам собою, без всяких раковых жерновов исчезнет и мнимый лихорадочный озноб. Поза-

ботьтесь о том, чтобы мы получили хорошую администрацию и справедливый суд, тогда вы увидите, что не нужно будет нашему земледелию прибегать к вашим раковым жерновкам — к разделению общинных земель на потомственные участки, тогда вы увидите, что общинное владение не будет мешать успехам сельского хозяйства, потому что тогда будет исчезать наша бедность, и явятся те условия, которых теперь нет и без которых ни при какой системе землевладения сельское хозяйство не может прийти в удовлетворительное состояние.

ПРИМЕЧАНИЯ УКАЗАТЕЛИ

ПРИМЕЧАНИЯ

Все тексты настоящей публикации воспроизводятся по изданию: *Чернышевский Н. Г.* Полн. собр. соч.: В 15 т. (т. 16 — дополнительный). М., 1939—1953*.

Места, вычеркнутые цензурой или удаленные самим автором или составителем явно по соображениям цензурного характера, вводятся в основной текст в угловых скобках. При работе над примечаниями частично были использованы примечания указанного издания.

ЭСТЕТИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ ИСКУССТВА К ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ (Диссертация)

Во второй половине мая 1853 г. Чернышевский подает прошение в Петербургский университет о допущении к испытаниям на степень магистра и в середине того же года приступает к работе над диссертацией. По ее окончании он передает рукопись на просмотр профессору русской литературы А. В. Никитенко. Официальный отзыв последнего был получен в конце 1854 г., а утверждение университетским Советом состоялось 11 апреля 1855 г. К 3 мая 1855 г. диссертация была отпечатана и опубликована. Публичная защита происходила 10 мая того же года. В качестве официальных оппонентов выступали А. В. Никитенко и М. И. Сухомлинов. Совет университета вынес положительное решение. Степень магистра Чернышевский получил лишь 29 октября 1858 г.

Объектом критики в этой работе стала эстетическая теория Гегеля и его последователя Ф. Т. Фишера. Чернышевский, последовательно опровергая идеалистические выводы гегелевской эстетики, проводит материалистические взгляды на гносеологию и теорию искусства. Основной его тезис «прекрасное есть жизнь» устраняет действие абсолюта в этой области человеческого знания, а утверждение, что искусство — копия жизни («суррогат»), подчеркивает материалистические основы его теории познания. Несмотря на то что эстетическая теория Чернышевского имела и свои слабые стороны, ее воздействие на развитие общественной мысли середины XIX в. можно признать революционизирующим. Появление диссертации в печати вызвало острую полемику. Работа дает довольно ясное представление о мировоззрении Чернышевского, так как вопросы искусства и литературы неразрывно связаны у него с более широкими философскими и общественно-историческими обобщениями.

* Далее ссылки на произведения Чернышевского даются по указанному изданию, первая цифра курсивом обозначает том, следующая — страницу, страницы отделяются точкой с запятой.

¹ 21 сентября 1853 г. Чернышевский писал своим родным: «Диссертацию свою пишу об эстетике. Если она пройдет через университет в настоящем своем виде, то будет оригинальна, между прочим, в том отношении, что в ней не будет ни одной цитаты, а всего только одна ссылка. Если же найдут это не довольно ученым, то я прибавлю несколько сот цитат в три дня» (14, 242). В своем окончательном виде диссертация содержала пространную цитату из Фишера, а также две выписки из Гегеля. Форма, которую избрал в данном случае Чернышевский, отвечала его основным задачам: не разработка специальных вопросов эстетики, а постановка и решение философских проблем в связи с эстетическими теориями. Эстетика, таким образом, являлась для него как бы фоном, на котором им развивались идеи мировоззренческие. — 71.

² Весь предыдущий отрывок, как и ряд последующих, представляет собой пересказ некоторых основных положений из «Эстетики, или Науки о прекрасном» Ф. Т. Фишера (*Fischer. Aesthetik oder Wissenschaft des Schönen. Reitlingen und Leipzig, 1846—1857. Bd 6.*) — 73.

³ Стихи из баллады В. А. Жуковского «Алина и Альсим» (Из Монкрифа) (1814). Первая строка несколько изменена (Собр. соч.: В 4 т. М.; Л., 1959. Т. 2. С. 57). — 78.

⁴ Подробному анализу понятий «возвышенное» и «комическое» посвящена незаконченная статья Чернышевского «Возвышенное и комическое» (2, 159—195). — 82.

⁵ «Критика способности суждения», § 25—26. — 88.

⁶ Ср: «...возвышенно то, в сравнении с чем все другое мало» (*Кант И. Соч.: В 6 т. М., 1966. Т. 5. С. 256.*) — 89.

⁷ С этим мнением Чернышевского не соглашался Г. В. Плеханов, полагавший, что взгляды русского мыслителя на трагическое изложены неудовлетворительно. Он даже считал, что «Гегель, рассматривавший судьбу Сократа как драматический эпизод из истории внутреннего развития афинского общества, глубже понимал трагическое, нежели Чернышевский, которому судьба эта, по-видимому, представлялась просто-напросто ужасною случайностью» (*Плеханов Г. В. Соч. М.; Л., 1925. Т. 6. С. 275*). Оппонентом Плеханова в этом вопросе выступил А. В. Луначарский: «...Чернышевский, в сущности говоря, был вполне прав... Плеханов подменил очень важной, но все-таки специфической и частичной трагедией ту громадную, общую трагедию, которую Чернышевский совершенно реалистически противопоставлял выдумкам, продиктованным классовыми интересами буржуазной демократии» (*Луначарский А. В. Статьи о Чернышевском. М., 1958. С. 28.*) — 101.

⁸ Недостаток прекрасных женщин (итал.). — 103.

⁹ Живая картина (франц.). — 104.

¹⁰ *Fischer. Op. cit. Bd 2. P. 299.* — 106.

¹¹ Подобный подобному радуется (лат.). — 120.

¹² См. диалог Зерло и Вильгельма в романе Гёте «Годы учения Вильгельма Мейстера» (Собр. соч.: В 10 т. М., 1975—1980. Т. 7. С. 239—250; см. также: Т. 10. С. 264). — 125.

¹³ Опера В. А. Моцарта. — 125.

¹⁴ *Альгамбра* (от араб. аль-хамра — красная) — дворец (сер. XIII — кон. XIV в.) мавританских владетелей в Испании на восточной окраине Гранады; яркий образец позднемавританской архитектуры с присущим ей изощренным декоративным богатством. — 128.

¹⁵ Персонаж драмы Ф. Шиллера «Дон Карлос». — 142.

¹⁶ *И. Г. Мерк*, который был дружен с Гёте в молодости, в какой-то мере послужил прототипом *Мефистофеля*. По словам самого Гёте, он и Мерк «относились друг к другу, как Фауст и Мефистофель» (*Эккер-*

ман И. П. Разговоры с Гёте в последние годы его жизни. М., 1981. С. 428; разговор 27 марта 1831 г.).— 143.

¹⁷ Общие места (лат.).— 150.

¹⁸ Имеется в виду эстетическая теория Гегеля.— 156.

¹⁹ Изложение отрывка из введения к «Лекциям по эстетике» (Гегель. Соч. М., 1938. Т. 12. С. 45).— 157.

²⁰ Там же. С. 46—47.— 158.

²¹ Точное воспроизведение (лат.). Букв. *fac simile* — сделай подобное.— 159.

²² Имеются в виду философские системы Гегеля и Фейербаха.— 159.

²³ Подражание, воспроизведение (древнегреч.).— 159.

²⁴ Полное название издания Д. Таппе — «Сокращение Российской истории Н. М. Карамзина, в пользу юношества и учащихся российскому языку, с знаками ударения и с толкованием труднейших слов и речений на немецком и французском языках, и ссылками на грамматические правила». 2 части. СПб., 1819.— 165.

²⁵ Скрытый замысел (франц.).— 166.

²⁶ Руководство, справочник (нем.).— 167.

ЭСТЕТИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ ИСКУССТВА К ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ (Авторецензия)

Авторецензия впервые появилась в журнале «Современник» (1855, № 6) с подписью Н. П.-ъ. Главной причиной, побудившей Чернышевского к ее написанию, было стремление в относительно более свободной по форме журнальной статье осветить те основные положения диссертации, в которых содержалась критика идеалистической концепции Гегеля. В начале авторецензии Чернышевский говорит: «...автор или не совершенно ясно понимает положение дела, или очень скрытен». Подобные замечания довольно прозрачно указывали, что автор был поставлен в тесные цензурные рамки.

¹ Завуалированное указание на материалистическую философию.— 174.

² Свободный пересказ из предисловия Фейербаха к его собранию сочинений: Ludwig Feuerbach's sämtliche Werke. Bd 1—10. Leipzig, 1845—1866.— 176.

³ Два положения, или *упрека*, о которых говорит Чернышевский, содержатся во 2-й главе, в отделе «С. Неудовлетворительность прекрасного в природе» 1-й части гегелевских «Лекций по эстетике» (Гегель. Собр. соч. Т. 12. С. 146—156).— 190.

⁴ См. работу Чернышевского «О поэзии».— 193.

ЭСТЕТИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ ИСКУССТВА К ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ (ПРЕДИСЛОВИЕ К ТРЕТЬЕМУ ИЗДАНИЮ)

Второе издание «Эстетических отношений искусства к действительности» вышло в 1865 г. без имени автора, так как Чернышевский находился в это время в сибирской ссылке. 2 ноября 1877 г. в письме своему старшему сыну Александру Чернышевский писал: «Если бы какой-нибудь издатель полагал, что надобно сделать новое издание «Эстетических отношений...», то я просил бы тебя уведомить меня об этом и при-

слать мне экземпляр книжки; я переделал бы ее. В условия об издании не входи; у меня есть свое предположение о том, как следует издать; я сообщу тебе его, если понадобится; а раньше моего сообщения тебе условий заключать нельзя» (15, 654). Переговоры об издании вел с Л. Ф. Пантелеевым младший сын Чернышевского Михаил (15, 666; 668). 7 мая 1888 г. Главное управление по делам печати сообщило о запрещении выхода в свет подготовленного издания. Впоследствии, весной 1889 г., Л. Ф. Пантелеев, находившийся в Астрахани и встретившийся с Чернышевским, сообщил ему об этом. Работа была запрещена главным образом из-за содержащихся в ней идей Фейербаха (*Пантелеев Л. Ф. Воспоминания*. М., 1958. С. 472—473). Третье издание «Эстетических отношений...» при жизни Чернышевского так и не вышло. Предисловие было опубликовано только в 1906 г. в Полном собрании сочинений Н. Г. Чернышевского, подготовленном его сыном М. Н. Чернышевским. Высокую оценку оно получило в работе В. И. Ленина «Материализм и эмпириокритицизм» (Полн. собр. соч. Т. 18. С. 381, 384).

¹ Характеристику влияния философии *Гегеля* на общественную мысль Германии дает Ф. Энгельс в своей работе «Людвиг Фейербах и конец классической немецкой философии» (Соч. Т. 21. С. 279). Об историческом значении гегелевской системы Чернышевский говорит в «Очерках гоголевского периода русской литературы». — 205.

² Произведение Л. Фейербаха, вышедшее анонимно в 1830 г. в Нюрнберге. — 205.

³ См. об этом: *Маркс К., Энгельс Ф.* Соч. Т. 21. С. 279—280. — 205.

⁴ См. там же. С. 280. — 206.

⁵ Имеется в виду работа «Сущность христианства», вышедшая в 1845 г. — 206.

⁶ Т. е. защитить степень магистра. — 207.

⁷ Имеются в виду работы Б. Бауэра «Критика евангелия от Иоанна» (*Kritik der evangelischen Geschichte des Johannes*. 1840) и «Критика синоптических евангелий» (*Kritik der evangelischen Geschichte der Synoptiker*. 1841—1842. Bd 1—3). — 211.

⁸ Это рассуждение Чернышевского цитирует и комментирует В. И. Ленин в своей работе «Материализм и эмпириокритицизм» (Полн. собр. соч. Т. 18. С. 382, 383). — 212.

⁹ См. там же. С. 383. — 213.

О ПОЭЗИИ

Данная статья, впервые напечатанная в «Отечественных записках» (1854. Т. 96. № 9), представляет собой разбор первого перевода на русский язык «Поэтики» Аристотеля, осуществленного Б. И. Ордынским и вышедшего в 1854 г. под названием «О поэзии». Основное содержание статьи тесно перекликается с теми идеями, которые Чернышевский высказал в магистерской диссертации «Эстетические отношения искусства к действительности», авторецензии на эту диссертацию и в предисловии к ее 3-му изданию. Все эти произведения (как и некоторые другие, например, «Возвышенное и комическое», «Критический взгляд на современные эстетические понятия» — 2, 127—195) позволяют понять суть эстетической теории Чернышевского.

Ссылки на «Поэтику» Аристотеля даются ниже по изданию: *Аристотель*. Соч.: В 4 т. М., 1984. Т. 4. Пер. М. Л. Гаспарова.

¹ Перевод Б. И. Ордынского был неполным — только 18 глав. О переводах трактата Аристотеля на русский язык см.: *Аристотель*. Соч. Т. 4. С. 780. — 214.

- ² Чернышевский имеет в виду деятельность Н. И. Надеждина, которая началась в 30-е гг. XIX в. См. об этом в его 4-й статье «Очерков гоголевского периода русской литературы» (3, 146—147; 163).— 215.
- ³ Подразумевается деятельность В. Г. Белинского.— 215.
- ⁴ Без предпосылок (нем.).— 216.
- ⁵ Подразумеваются философские идеи Л. Фейербаха.— 216.
- ⁶ Имеется в виду «Эстетика» Гегеля.— 216.
- ⁷ Вопросы теории искусства рассматриваются Платоном главным образом в «Ионе», «Федре», «Филебе», «Государстве».— 216.
- ⁸ Популярный французский литературно-политический журнал, основан в 1829 г., политическая ориентация — умеренный республиканизм.— 217.
- ⁹ Клясться авторитетом учителя (лат.). Выражение из послания Горация «Имя твое, Меценат...». Ср. в пер. Н. С. Гинцбурга: «Клятвы слова повторять за учителем не присужденный» (*Квинт Гораций Флакк*. Полн. собр. соч. М.; Л., 1936. С. 285).— 218.
- ¹⁰ История теории искусства у древних: В 2 т. Бреслау, 1834—1837 (нем.).— 219.
- ¹¹ См.: Поэтика 1447 а 15, 1448 б 5—10.— 219.
- ¹² См. там же 1448 б 20.— 220.
- ¹³ Источник выражения — стихотворение Гёте «Миньона» (*Гёте И. В.* Собр. соч. Т. 1. С. 176).— 220.
- ¹⁴ «Письма об эстетическом воспитании человека» (К герцогу Гольштейн-Аугустенбургскому. Письмо 15) (*Шиллер*. Соч.: В 8 т. М., 1950. Т. 6. С. 332—336).— 221.
- ¹⁵ Об этом подробно см. в «Государстве» Платона (Кн. X).— 221.
- ¹⁶ Ж. Ж. Руссо.— 222.
- ¹⁷ Я пою, как поет птица (нем.).— 223.
- ¹⁸ Известная картина К. П. Брюллова.— 225.
- ¹⁹ Речь идет о Генрихе Гейне. Чернышевский дает перевод из предисловия Гейне к его «Книге песен» (*Гейне Г.* Собр. соч.: В 10 т. М., 1956. Т. 1. С. 323—331).— 225.
- ²⁰ «Юрий Милославский» — роман М. Н. Загоскина; «Леонид, или Некоторые черты из жизни Наполеона» — роман Р. М. Зотова.— 227.
- ²¹ *Аристотель*. Поэтика 1451 а 35—б 20.— 230.
- ²² Гегеля.— 231.
- ²³ Герои произведений Д. И. Фонвизина и А. Н. Островского.— 231.
- ²⁴ *Ж. Делиль, У. Уордсворт, Дж. Уильсон* — представители так называемой «озерной школы» («лейкисты») английской поэзии конца XVIII — начала XIX в.— 232.
- ²⁵ *Аристотель*. Поэтика 1448 б 20—25.— 233.
- ²⁶ *Аристотель*. Поэтика 1456 а 10—15; 1461 а 15—1462 б 10.— 237.
- ²⁷ *Аристотель*. Поэтика 1462 а 15— б.— 238.
- ²⁸ Трактат «Поэтика» состоял из двух книг. Сохранилась лишь одна. Так что Чернышевский был прав в своем несогласии с Б. Ордынским.— 243.
- ²⁹ Вот что, с одной стороны, надобно сказать о трагедии (древнегреч.).— 243.
- ³⁰ Замечания, высказанные Чернышевским в адрес Б. Ордынского, вызвали ответную реакцию последнего — статью под названием «Образчик модной критики» в «Москвитяине» (1855. Т. 1. № 2.) В свою очередь Чернышевский отозвался небольшой заметкой «Отзыв г. Ордынского о самом себе и о нашем разборе его книги» в журнале «Отечественные записки» (1855. № 4.—2, 289—290). Б. Ордынский повторно выступил в печати — «Образчик модной рекритики» в «Москвитяине» (1855. Т. 3. № 9). И на этом полемика закончилась.— 244.

ОЧЕРКИ ГОГОЛЕВСКОГО ПЕРИОДА РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Работа была впервые напечатана в журнале «Современник» (1855. № 12; 1856. № 1, 2, 4, 7, 9—12). Она состоит из 9 статей и, по свидетельству самого автора, была задумана как первая часть более обширной работы. Во второй же части он хотел рассмотреть «деятельность русских поэтов и беллетристов, начиная с Гоголя до настоящего времени» (3, 309).

В середине XIX в. в России велась полемика между сторонниками «гоголевского», или общественно-критического (имевшего также название «натуральная школа»), и «пушкинского», или «эстетического» (выражавшего идеи «чистого искусства»), направлений в литературе. Имена Гоголя и Пушкина в данном случае употреблялись весьма условно. Причем имя Пушкина в качестве символа «чистого искусства» использовалось, конечно, неправомерно. «Очерки...» затрагивают не только вопросы литературной критики. Идейный смысл этой работы заключается в попытке Чернышевского дать обстоятельный разбор общественной мысли 30—40-х гг. XIX в. в России, выделить в ней основные направления и тенденции развития, дать им характеристику. Именно поэтому «Очерки...» представляют несомненный интерес для понимания мировоззрения Чернышевского.

Сторонник принципов «чистого искусства», А. В. Дружинин выступил оппонентом Чернышевского, напечатав в журнале «Библиотека для чтения» (1856. № 11—12) статью «Критика гоголевского периода русской литературы и наши к ней отношения» (Дружинин А. В. Литературная критика. М., 1983. С. 122—175), где он прокламирует необходимость «артистического» понимания задач литературы.

В настоящее издание включены лишь 5-я и 6-я статьи из этой обширной работы, так как именно в них сосредоточены философские идеи русского мыслителя.

¹ «Телескоп» — русский «журнал современного просвещения», издававшийся Н. И. Надеждиным (1831—1836) (см. также ниже прим. 13 к с. 268). — 245.

² Имеются в виду Н. И. Надеждин и В. Г. Белинский. — 245.

³ Речь идет об учении Л. Фейербаха. — 247.

⁴ «Молва» — газета, издававшаяся Н. И. Надеждиным в 1831—1836 гг. в Москве. — 252.

⁵ Барон Брамбеус — литературный псевдоним О. И. Сенковского. — 253.

⁶ Подразумеваются А. В. Дружинин и «партия», интересы которой он защищал. — 257.

⁷ Речь идет о С. П. Шевыреве. — 257.

⁸ «Московский телеграф» — журнал, издававшийся Н. А. Полевым в 1825—1834 гг. Закрыт в 1834 г. цензурой. — 260.

⁹ Пушкин А. С. Полн. собр. соч. М., 1937. Т. 13. С. 181—182. — 260.

¹⁰ В 1831 г. — 266.

¹¹ «Московский наблюдатель» — журнал, издававшийся на паритетных началах группой общественно-литературных деятелей (А. С. Хомяков, И. В. Киреевский, М. П. Погодин, С. П. Шевырев, Е. А. Баратынский и др.) в 1835—1839 гг. — 266.

¹² Имеются в виду Н. В. Станкевич, А. В. Кольцов, К. С. Аксаков и др. — 267.

¹³ В 1836 г. журнал «Телескоп» был запрещен. Основанием послужило опубликование известного «Философического письма» П. Я. Чаадаева

(называющегося обычно первым). Автор был официально объявлен «сумасшедшим», а издатель Н. И. Надеждин отправлен в ссылку. — 268.

¹⁴ *Ключников* (—Θ—) — Ключников Иван Петрович (1811—1895), русский писатель, друг В. Г. Белинского, участник кружка Н. В. Станкевича; его псевдонимы также — (—С—), (—)(—), (—Ф—). — 268.

¹⁵ Имеется в виду стихотворение А. В. Кольцова «Поминки» (Николаю Владимировичу Станкевичу) (*Кольцов А. В. Стихотворения*. М., 1978. С. 247—248). — 269.

¹⁶ «Библиотека для чтения» — популярный в 30-е гг. занимательный журнал (так называемое «коммерческое направление»). «*Современник*» — журнал, выходящий в 1836—1846 гг. Основан А. С. Пушкиным, который подготовил четыре тома в 1836 г. и частично I том в 1837 г. — 270.

¹⁷ Существует короткая рецензия Чернышевского «Римские женщины. Исторические рассказы по Тациту П. Кудрявцева. С рисунками. Москва, 1856», напечатанная в журнале «Современник» (1856. № 10—3, 597). — 272.

¹⁸ «*Отечественные записки*» — ежесемейный журнал, издававшийся П. П. Свиньинным в Петербурге в 1820—1830 гг., а также в 1839—1894 гг. (до 1867 г. А. А. Краевским, затем Н. А. Некрасовым, М. Е. Салтыковым-Щедриным, Г. З. Елисеевым). — 274.

¹⁹ Статья вышла анонимно. Автором предисловия и переводчиком «Гимназических речей» Гегеля был М. А. Бакунин, находившийся в 1856 г. в Шлиссельбургской крепости, почему его имя и не могло быть упомянуто. — 275.

²⁰ Разум (нем.). — 276.

²¹ Речь идет о «Письмах об изучении природы» А. И. Герцена, печатавшихся в 1845—1846 гг. в журнале «Отечественные записки». — 279.

²² П. В. Анненкову. — 283.

²³ Автор «*Хроники русского в Париже*» — А. И. Тургенев. — 285.

²⁴ Сатанинская школа (франц.). — 287.

²⁵ Цитата из стихотворения М. Ю. Лермонтова «Дума» (1838). — 288.

²⁶ Имеется в виду Великая французская буржуазно-демократическая революция 1789—1794 гг. — 288.

²⁷ Имеется в виду А. И. Герцен, имя которого не могло быть упомянуто по цензурным соображениям. — 290.

²⁸ Речь идет о теории французских утопических социалистов. — 290.

²⁹ См.: Герцен А. И. Былое и думы. Часть 4. — 291.

³⁰ В 1834 г. А. И. Герцен и Н. П. Огарев были арестованы. Первый был послан в Пермь и затем Вятку, а второй — в Пензу. — 292.

³¹ См.: Герцен А. И. Собр. соч.: В 30 т. М., 1956. Т. 9. С. 22—23. — 292.

³² *Философии* Фейербаха. — 293.

³³ М. А. Бакунины. — 294.

³⁴ *Белинский* был наиболее активным участником сборника «*Физиология Петербурга*, составленная из трудов русских мастеров под редакцией Н. Некрасова». СПб., 1845. Ук. ст. см.: *Белинский В. Г.* Собр. соч.: В 3 т. М., 1948. Т. 2. С. 763—791. — 295.

³⁵ Речь идет о *статьях* А. И. Герцена и М. А. Бакунина. — 296.

³⁶ См. прим. 6 к с. 257. — 301.

СОЧИНЕНИЯ Т. Н. ГРАНОВСКОГО

Статья впервые опубликована в «Современнике» (1856. № 6) посвящена выходу в свет первого тома сочинений Т. Н. Грановского.

Комментируя и объясняя философско-исторические взгляды Грановского, Чернышевский одновременно излагает собственные идеи философии истории. Многие положения Грановского Чернышевский полностью разделяет, в частности мысль о единстве «естествоведения» и истории (понимаемой в данном случае как всеобщая история), роли антропологии в исторических исследованиях и др.

¹ Восемь томов посмертного издания сочинений А. С. Пушкина появились в 1838 г., три дополнительных тома — в 1841 г. Это издание, подготовленное В. А. Жуковским и другими друзьями Пушкина, имело много существенных недостатков. — 303.

² Самое деятельное участие в издании двухтомника сочинений Т. Н. Грановского приняли П. Н. Кудрявцев и С. М. Соловьев — его ученики и последователи. — 303.

³ Университетские курсы Грановского, записанные его студентами, сохранились в архивах и были опубликованы в советское время (Лекции Т. Н. Грановского по истории средневековья (Авторский конспект и записи слушателей). М., 1961; Лекции Т. Н. Грановского по истории позднего средневековья. М., 1971). В подготовке этих изданий активное участие приняла исследовательница наследия Грановского — С. А. Асиновская. Материалы к «Учебнику всеобщей истории» опубликованы в изд.: *Грановский Т. Н.* Соч. М., 1900. — 304.

⁴ В 1897 г. в двух томах вышло издание: Т. Н. Грановский и его переписка (М.). Первый том представляет собой подробный биографический очерк жизни Грановского, написанный А. В. Станкевичем. — 305.

⁵ Цитата из стихотворения А. С. Хомякова «Ночь», опубликованного в «Русской беседе» (1856. № 1). — 309.

⁶ «Беседа любителей русского слова» (1811—1816) — реакционное литературное общество, во главе которого стоял А. С. Шишков. «Арзамас» (1815—1818) — литературное объединение, являвшееся контрагентом «Беседы любителей русского слова» и включавшее в себе таких выдающихся деятелей русской культуры, как В. А. Жуковский, П. А. Вяземский, молодой А. С. Пушкин. — 312.

⁷ *Та и другая партии* — западники и славянофилы, которые вели полемику в 40-х гг. XIX в.; *несведущие люди* — сторонники теории «официальной народности» М. П. Погодин и С. П. Шевырев. — 313.

⁸ Слова Чацкого из комедии А. С. Грибоедова «Горе от ума» (Грибоедов А. С. Избранное. М., 1978. С. 100). — 321.

⁹ «Танька, разбойница Ростокинская, или Царские терема, историческая повесть XVIII столетия с песнями, обрядами и празднествами тогдашнего быта; из преданий русской старины». Соч. Сергея... кого. М., 1834. Ч. 1—4. Идентифицировать псевдоним не удалось. — 322.

¹⁰ Имется в виду рецензия Чернышевского «Архив историко-юридических сведений, относящихся до России, издаваемый Николаем Калачовым. Книжки второй половина первая. Москва. 1855», напечатанная в «Современнике» (1855, № 9. — 2, 735—736). — 326.

¹¹ *Аколитами*, или аколутами (древнегреч. — букв. «сопровождающий»), в древней церкви называли молодых клириков, сопровождавших епископа и исполнявших обязанности нынешних церковных служителей и певчих; *зверильяс*, или герильяс (исп. — воинство, ополчение), — название партизанских отрядов в Испании, игравших заметную роль в борьбе с французскими войсками Наполеона в 1808—1814 гг.; *отважным ученым* иронически именуется Чернышевский профессор Петербургского университета В. В. Григорьева, автора ст. «Т. Н. Грановский до его профессорства в Москве» (Русская беседа. 1856. Кн. 3—4), в которой он неуважительно отзывался о Грановском как ученом и общественном деятеле. — 328.

ЛЕССИНГ, ЕГО ВРЕМЯ, ЕГО ЖИЗНЬ И ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Работа впервые опубликована в журнале «Современник» (1856. № 10—12; 1857. № 1, 3, 4, 6). Чернышевский проводит сравнение историко-культурных процессов, происходивших в Германии XVIII в., с подобными же явлениями в современной ему России. Он приходит к выводу, что между ними существует сходство. Оно выражается в том, что и в той и в другой стране в рассматриваемые периоды особую роль в общественной жизни начинает играть литература. Об этом Н. Г. Чернышевский писал в письме Н. А. Некрасову от 24 сентября 1856 г. (14, 313).

Интересно, что Ф. Энгельс в работе «Эмигрантская литература» отмечает сходство ролей, которые играли в общественно-политической жизни своего времени, с одной стороны, Г. Ф. Лессинг, с другой — Чернышевский и Н. А. Добролюбов. Энгельс прямо называет Чернышевского и Добролюбова «двумя социалистическими Лессингами» (Соч. Т. 18. С. 522).

¹ Время правления во Франции герцога Филиппа Орлеанского в качестве регента малолетнего короля Людовика XV (1715—1723 гг.). — 331.

² Шиллер. Немецкая муза. Выше, в кавычках, прозаический перевод стихотворения, сделанный самим Чернышевским. Ср. пер. А. Кочеткова:

Века Августа блистанье,
Гордых Медичей вниманье
Не пришлось на долю ей;
.....
Может сердце гордо биться,
Может немец возгордиться:
Он искусство создал с а м.

(Шиллер И. Х. Ф. Собр. соч.: В 8 т. М.; Л., 1937. Т. 1. С. 256). — 332.

³ Не совсем ясно, какое сочинение имеет в виду Чернышевский: «Разговоры в царстве мертвых» Лукиана (*Лукиан*. Избр. атеистические произв. М., 1955. С. 98—109) или «Диалоги мертвых древних и новейших лиц» Бернара Ле Бовье де Фонтенеля (1683) (*Фонтенель Б.* Рассуждения о религии, природе и разуме. М., 1979. С. 27—65), которое впервые на русском языке (пер. Ивана Бутовски) вышло под заголовком «Разговоры в царстве мертвых древних и новейших лиц» в 1821 г. — 333.

⁴ Тридцатилетняя война (1618—1648 гг.) происходила между Габсбургским блоком (испанские и австрийские Габсбурги, поддержанные панством, католическими князьями Германии и Польско-Литовским государством) и антигабсбургской коалицией (Франция, Швеция, Голландия, Дания, Россия, в известной мере Англия, поддержанные протестантскими князьями Германии). — 335.

⁵ Полигистор — многознающий (древнегреч.), т. е. ученый, обладающий обширными сведениями в разных отраслях знания. — 357.

⁶ Термины, употребленные Чернышевским, имеют непосредственное отношение к творчеству двух литераторов: Иоганна Каспара Лафатера (1741—1801), цюрихского пастора и писателя, увлекавшегося иррационалистическими исканиями в рамках христианской теологии (хотя в некоторой степени он и был связан с течением «Бури и натиска»), и Иоганна Генриха Юнг-Штиллинга (1740—1817), немецкого мистического писателя. — 358.

⁷ Имеются в виду левое гегельянство и философия Фейербаха. — 365.

⁸ Во всех предыдущих изданиях от католиков, что противоречит смыслу. — 366.

Эта статья-рецензия была впервые опубликована в журнале «Современник» (1857. № 2). В общем положительно оценивая книгу Боткина, Чернышевский все же подвергает критике некоторые ее существенные мировоззренческие положения. В частности, как противник любых теорий национальной исключительности, Чернышевский выступает против утверждения Боткина о якобы природной лени испанского народа. Одновременно автор развивает ряд собственных философско-исторических идей.

¹ «Письма русского путешественника» и «Бедная Лиза» — сочинения Н. М. Карамзина; «Марфа, Посадница Новгородская» — М. П. Погодина. — 368.

² Полное название этой книги — «Всемирный путешествователь, или Познание старого и нового света, то есть: описание всех по сие время известных земель в четырех частях света». Соч. г. аббата де ля Порта. Пер. с французского Я. И. Булгакова: В 27 т. СПб., 1778—1794. — 368.

³ *Битва у Вильяларе* (в окрестностях Милана) — эпизод Итальянских войн (1494—1559). — 371.

⁴ *Трухменцы*, или, правильнее, трухмены (туркмены), — тюркская группа кавказских народов. В XIX в. 19 тыс. трухменов проживало в Ставропольском крае. — 378.

⁵ *Христиносы* (крестиносы) — представители политического течения периода первой карлистской войны (1833—1840) в Испании, объединявшего сторонников регентши Марии Кристины. Оно включало элементы из среды аристократии и чиновничества, значительную часть генералитета и армии, либеральные слои дворянства и интеллигенции, городскую буржуазию, демократические элементы городского населения. *Карлисты* — представители клерикально-абсолютистского течения в Испании, противостоявшего крестиносам. Опирались на реакционное духовенство, титулованную знать и верхушку армии. — 380.

⁶ Строки из баллады ««Торжество победителей» (Из Шиллера)» В. А. Жуковского (1828), с незначительными изменениями (ср.: *Жуковский В. А.* Полн. собр. соч. СПб., 1902. Т. 3. С. 74). — 381.

⁷ Рыцарь, дворянин (исп.). — 384.

⁸ *Майоратство*, или майорат, — порядок нераздельного наследования недвижимого имущества старшим в семье или роде, характерный для правоотношения эпохи феодализма. — 386.

⁹ Аллея герцога (исп.). — 388.

¹⁰ Лучше чередовать наслаждение со страданием, нежели жить без любви (исп.). — 391.

[«РУССКАЯ БЕСЕДА» И СЛАВЯНОФИЛЬСТВО]

Текст представляет собой отрывок из библиографического обзора журнала «Современник» (1857. № 4). Чернышевский освещает полемику между славянофильским журналом «Русская беседа» (издавался в Москве А. И. Кошелевым) и поддерживавшими его «Молвой» и «Москвитянином» и журналом «Русский вестник» (издавался в Москве под редакцией М. Н. Каткова), который отличала умеренно-либеральная программа и который поддерживали «Отечественные записки», «Московские ведомости» и «С-Петербургские ведомости». Позиции как славянофилов, так и западников Чернышевский признавал крайними и неоднократно высказывался по этому поводу. Критикуя по многим пунктам эти мировоззрения, философ все же считал нужным подчеркивать и неко-

торые присущие им достоинства (в частности, антикрепостническую направленность славянофильства).

¹ Журнал «Русская беседа» издавался в 1856—1860 гг. (с 1859 г. редактор И. С. Аксаков).— 395.

² Имеются в виду «Заметки о журналах» (май 1856 г.), автором которых был Чернышевский (3, 651—652).— 395.

³ Эксплуатация человека человеком (франц.).— 399.

⁴ Реакционная французская газета, основанная в 1781 г.— 401.

⁵ Б. Н. Чичерин действительно отвечал Ю. Ф. Самарину в статье «Критика г. Крылова и способ исследования «Русской беседы»» (Русский вестник. 1857. Август. Кн. 2. Сентябрь. Кн. 1).— 404.

⁶ В четырех книгах «Русской беседы» за 1856 г. было опубликовано четыре статьи с критикой работы Б. Н. Чичерина «Областные учреждения в России в XVII в.».— 405.

⁷ Имеется в виду статья М. П. Погодина «О трудах гг. Беляева, Бычкова, Калачова, Попова, Кавелина и Соловьева по части русской истории» (Москвитянин. 1847. № 1).— 405.

⁸ Речь идет о статье Е. И. Ламанского «Барон Брук и финансовые реформы в Австрии» (Экономический указатель. 1857. № 12, 13, 15). Выше статья г. П. Р.-на — т. е. статья Михаила Федоровича Раевского (? — 1884), русского писателя и церковного деятеля, интересовавшегося славянским вопросом и выступавшего под псевдонимом «П. Р.».— 405.

КАВЕНЬЯК

Статья впервые была напечатана в журнале «Современник» (1858. № 1, 3) и является первой из цикла работ Чернышевского, посвященных анализу исторических событий в Западной Европе в Новое время. Тематически к ней близки такие последующие статьи, как «Борьба партий во Франции при Людовике XVIII и Карле X», «Тюрго», «Франция при Людовике-Наполеоне». В настоящей работе Чернышевский на основе разбора политических событий во Франции в 1848 г. дает превосходный пример классовой оценки общественно-политической ситуации и сил, действовавших на политической арене. Большое внимание автор уделяет критике либерализма и реформизма, что было чрезвычайно актуально для России середины XIX в.

¹ Переворот 2 декабря 1851 г. был совершен президентом Французской республики Луи Бонапартом, в результате было распущено Национальное собрание и обнародована новая конституция; Луи Бонапарт стал императором под именем Наполеона III.— 406.

² На выборах депутатов в 1857 г. Кавеньяк был избран депутатом от Парижа, но отказался принести присягу и потому не смог войти в Законодательный корпус; декабрьская система — диктатура реакционной финансовой и промышленной буржуазии, установленная после переворота 2 декабря.— 406.

³ «Умеренные республиканцы» (или «чистые», «трехцветные республиканцы») — буржуазно-либеральная партия.— 407.

⁴ «Moniteur» («Le Moniteur universel») — французская официальная правительственная газета, основанная в 1789 г. «Constitutionnel» — французская газета, основанная в 1815 г.; во времена Июльской монархии и Луи Наполеона — официальный орган.— 407.

⁵ Имеется в виду участие Кавеньяка в революции 1830 г.— 410.

⁶ «Друг народа» (франц.).— 410.

⁷ «National» — французская газета, основанная в 1830 г., орган умеренных республиканцев; «La Réforme» — французская газета, осно-

ванная в 1843 г., орган мелкобуржуазных республиканцев-демократов. Обе газеты были закрыты Луи Наполеоном в 1851 г. — 411.

⁸ Форт в Алжире, захваченный французами в 1836 г., в следующем, 1837 г., был взят арабами. — 412.

⁹ «Исполнительная комиссия» — буржуазное правительство, созданное 10 мая 1848 г., составленное из деятелей правого крыла буржуазных республиканцев. — 416.

¹⁰ См. об этом: Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. 7. С. 15—16. — 420.

¹¹ Т. е. сказались. — 420.

¹² Всеобщее избирательное право (франц.). — 426.

¹³ Кабилы — алжирские и тунисские берберы. — 430.

¹⁴ Убийства на Трансноенской улице — расстрел правительственными войсками парижских рабочих 13—14 апреля 1834 г., выступивших в знак протеста против расправы над рабочим восстанием в Лионе; апрельские судебные преследования — процесс над 164 республиканцами, обвиненными в организации парижского восстания 13—14 апреля. — 442.

¹⁵ Т. е. обременительные для Франции условия второго Парижского мирного договора, заключенного 20 ноября 1815 г. — 454.

¹⁶ Национальное собрание Германии было создано 18 мая 1848 г., однако вследствие партийных разногласий не удалось выработать общую программу объединения страны, и в июне 1849 г. парламент прекратил свое существование. — 468.

БОРЬБА ПАРТИЙ ВО ФРАНЦИИ ПРИ ЛЮДОВИКЕ XVIII И КАРЛЕ X

Работа была опубликована в виде двух статей в журнале «Современник» (1858. № 8—9) и является как бы продолжением цикла работ Чернышевского, посвященных теоретическому анализу общественно-политических событий в Западной Европе первой половины XIX в. Давая критический анализ работы Гизо, Чернышевский главное внимание уделяет рассмотрению либерализма как политической доктрины. В связи с этим он проводит терминологическое исследование понятий «либерализм», «демократизм», «радикализм» и др.

¹ Беспреимная палата (франц.). — 476.

² Вероятно, имеются в виду: первые книги десятитомного труда Дювержье де Горанна «Histoire du gouvernement parlementaire en France 1814—1848» (История парламентского правления во Франции 1814—1848 гг.), русский перевод которого начал выходить в 1857 г.; сочинение А. Токвиля «L'ancien régime et la Révolution» (Старый порядок и революция); работы Ш. Ф. Монталамбера «De l'avenir politique de l'Angleterre» (О политическом будущем Англии, 1855) и «Pie IX et lord Palmerston» (Пий IX и лорд Пальмерстон, 1856). — 477.

³ См. прим. 4 к с. 401. — 477.

⁴ Т. е. министров диктатуры Луи Наполеона; генерал Эспинас, министр внутренних дел и общественной безопасности Франции (1858), отличился тем, что сурово подавлял революционные движения. — 478.

⁵ Нападение союзных войск Париж и его предместье Монмартр подверглись 30 марта 1814 г.; в битве при Ватерлоо (18 июня 1815 г.) армия Наполеона I потерпела поражение от англо-прусских войск, что знаменовало конец так называемых Ста дней Наполеона I (его вторичного прихода к власти после бегства из ссылки на острове Эльба); Июльские дни — революция в Париже в 1830 г. — 484.

⁶ Гвельфы — представители политического течения в Италии XII —

XV вв., противники господства «Священной Римской империи» на Апеннинском полуострове. — 486.

⁷ Ришелье А. Э. дю Плесси. — 490.

⁸ Государственный флаг Французской республики со времен революции 1789 г. — 492.

⁹ *Санкюлоты* (sans-culottes (франц.): sans — без, culotte — короткие штаны) — первоначально презрительный термин аристократов по отношению к городской бедноте. В дальнейшем так стали называть себя сами патриоты, революционеры. — 498.

¹⁰ «Исторической библиотеки» (франц.). — 503.

¹¹ *Веронский конгресс* — совещание членов Священного союза в 1822 г., созванное в связи с восстаниями в Испании против Фердинанда VII. — 514.

¹² *Ультрамонтанцы* — сторонники неограниченной церковной и светской власти римского папы; главный идеолог движения — Жозеф де Местр. — 518.

¹³ Речь идет о сыне убитого герцога Беррийского, являвшегося последним представителем династии Бурбонов. — 520.

¹⁴ *Монтескьё* в этой работе высказал идею о разделении властей на законодательную, исполнительную и судебную. — 534.

¹⁵ *Июльские повеления* (ордонансы) были изданы 26 июля 1830 г. Карлом X. В результате была изменена конституция, распущена палата депутатов, уничтожена свобода печати. — 534.

¹⁶ Подразумевается история английского лорда *Т. В. Стаффорда*, фаворита короля Карла I и яркого защитника абсолютизма, который был обвинен в государственной измене и казнен в 1641 г. по требованию парламента, поддержанному народными массами Лондона. — 557.

¹⁷ Т. е. свобода периодических печатных изданий. — 557.

¹⁸ Член палаты пэров, заведовавший ее печатью и исходящими от нее актами, а также хранивший архив палаты. — 559.

¹⁹ «*Temps*» — французская либерально-республиканская газета. — 561.

ПРЕДИСЛОВИЕ К РУССКОМУ ПЕРЕВОДУ ИСТОРИИ XVIII СТОЛЕТИЯ ШЛОССЕРА

Напечатано в предисловии к т. 1 сделанного Чернышевским русского перевода «Истории восемнадцатого столетия и девятнадцатого до падения французской империи, с особенно подробным изложением хода литературы» Ф. К. Шлоссера, профессора истории при Гейдельбергском университете. В 8 т. Пер. с четвертого, исправленного издания. СПб., 1858—1860. Позже, в библиографическом разделе «Современника» (1860, № 6), Чернышевский дает высокую оценку труда известного немецкого историка. Как бы объясняя причины, побудившие его к переводу этой работы, он, в частности, писал: «Еще драгоценнее для нас был внутренний характер книги Шлоссера: мы не находили историка, который смотрел бы на вещи так рассудительно, как Шлоссер, который бы так заботился только об одной правде, отвергая всякое обольщение» (7, 455).

ТЮРГО

Статья впервые напечатана в журнале «Современник» (1858, № 9). Рецензируемая книга С. Муравьева стала лишь поводом для критики Чернышевским буржуазной экономической теории физиократов и их последователей. Учение физиократов возникло во Франции

в середине XVIII в. и явилось реакцией на меркантилизм. Оно сводилось к требованию невмешательства государства в экономическую деятельность предпринимателей. Его основные представители — Ф. Кенэ, А. Р. Тюрго, В. Мирабо, Г. Летрон, П. Мерсье де ла Ривьер, П. Дюпон де Немур.

¹ Никаких стеснений свободе торговли! (франц.) — принцип французских буржуазных экономистов XVIII в.— 572.

² *Школа Сэ* — направление в буржуазной вульгарной политической экономии, основанное французским экономистом Ж. Б. Сеем (Сэй), который одним из первых провозгласил требования свободы торговли и невмешательства государства в экономическую жизнь.— 572.

³ «Сборник экономистов» (франц.), издававшийся в 50-х гг. XIX в. в Париже и отражавший точку зрения вульгарной политической экономии.— 573.

⁴ «[Рассуждения] об образовании и распределении богатств» (франц.); полное название работы Тюрго: «*Réflexions sur la formation et la distribution des richesses*» (Paris, 1766).— 581.

⁵ «Общественный договор», «Трактат о человеке» (франц.).— 586.

⁶ Божий дом, богадельня (франц.) — так назывались городские больницы во Франции.— 591.

⁷ Всеобщее избирательное право (франц.).— 594.

⁸ Подробнее об этом Чернышевский говорит в работах «Экономическая деятельность и законодательство» и «Суеверие и правила логики». — 596.

⁹ Здесь Чернышевский явно имеет в виду русский либерализм. Его критике он посвятил многие страницы своих работ; см., в частности, ст. «Г. Чичерин как публицист». — 602.

КРИТИКА ФИЛОСОФСКИХ ПРЕДУБЕЖДЕНИЙ ПРОТИВ ОБЩИННОГО ВЛАДЕНИЯ

Впервые статья была опубликована в журнале «Современник» (1858, № 12). В это время обострилось обсуждение вопроса об отмене крепостного права. Чернышевский выступает как поборник общинного владения землей. Для защиты своей позиции он использует диалектические идеи Гегеля. Чернышевский исходит из положений о том, что высшая стадия развития сходна по форме с низшей и что, когда то или иное явление достигло своего высшего развития в одном регионе (в данном случае речь идет об общественном развитии), оно вполне может быть усвоено в другом, в свою очередь не обязательно проходя все те фазисы развития, которые пришлось проделать в первом случае (отсутствие среднего логического момента). Таким образом, выдвигается интересная и плодотворная идея действия законов исторического процесса.

Высокую оценку позиции Чернышевского в вопросе об отмене крепостного права дал В. И. Ленин в своей работе «Что такое «друзья народа» и как они воюют против социал-демократов?» (Полн. собр. соч. Т. 1. С. 291—292).

¹ Увы! Увы! Увы! — *Гёте И. В. Фауст* (нем.). — 603.

² Полемика об общинном владении землей между «Современником» и «Экономическим указателем» (журналом, издававшимся *И. В. Вернадским*) была начата Чернышевским статьей «Заметки о журналах» (февраль и апрель 1857 г.), в которой он выступил как оппонент либеральной журналистики. В частности, он критиковал статью Д. Струкова «Опыт изложения главнейших условий успешного сельского хозяйства» (Экономический указатель. 1857. № 5, 7, 9, 10). На это *И. В. Вернадский*

ответил статьями «О поземельной собственности» (Экономический указатель. 1857. № 22, 25, 27, 29). В июне 1857 г. Чернышевский публикует свою работу «Studien Гакстаузена», а в августе — октябре — «О поземельной собственности», опять с критикой И. В. Вернадского. Об этой полемике сам Чернышевский пишет в первой половине июня 1857 г. А. С. Зеленому (14, 347—348). В полемику включились «Русский вестник», «Русская беседа», «Отечественные записки» и другие периодические издания. Ответом Чернышевского как раз и послужила настоящая статья. — 603.

³ Чернышевский имеет в виду таких русских общественных деятелей, как С. Соловьев, И. Бабст, Ю. Самарин, В. Ламанский, выступления которых против крепостного права им были поддержаны. — 604.

⁴ Имеются в виду русские последователи школы вульгарной политической экономии, наиболее яркими представителями которой были Ж. Б. Сей и Ф. Бастиа, см. также прим. 2 к с. 572. — 605.

⁵ Чернышевский имеет в виду Т. Н. Грановского. — 609.

⁶ «Kosmos» («Вселенная»), один из основных трудов А. Гумбольдта, был издан в 1842—1862 гг. в 5 томах; русский перевод вышел в 1848—1863 гг. (т. 5 не закончен). — 613.

⁷ Животные членистые и животные разумные (лат.). — 614.

⁸ Правильнее *пулярка* — холощенная и специально оформленная курица. — 614.

⁹ Присоединяя к фамилии *Безобразова* частицу «де», Чернышевский иронизирует: Н. А. Безобразов, предводитель петербургского дворянства, весьма кичился принадлежностью к древнему роду. — 618.

¹⁰ Жеманницах (франц.). — 619.

¹¹ Управляемая вещь (лат.). — 620.

¹² Полное название книги Гизо: *Histoire de la civilisation en France depuis la chute de l'Empire Romain jusqu'en 1789*. Paris, 1828. V. 1—4. Русск. пер.: *История цивилизации во Франции от падения Римской империи до 1789 г. М., 1877—1881. Т. 1—4.* — 620.

¹³ Высшее право есть высшая справедливость, равно как и отсутствие права (лат.). — 624.

¹⁴ Когда Юпитер хочет кого-либо погубить... [то лишает его разума] (лат.). — 626.

¹⁵ Поздно приходящим *даст она не кости, а мозг из костей* (лат.). — 637.

¹⁶ Чернышевский посвятил эту работу «Экономическая деятельность и законодательство». — 641.

¹⁷ Цитата из стихотворения Г. Гейне «Доктрина» (1844); ср. в переводе Ю. Тынянова:

Вот тебе Гегеля полный курс,
Вот тебе смысл наук прямой.

(Гейне Г. Собр. соч.: В 10 т. М., 1957. Т. 2. С. 105). — 642.

¹⁸ Цитата из стихотворения Гёте «Vanitas! Vanitatum Vanitas!» (Суета! Суета сует!). Букв. «Я воздвигнул свое дело из ничего, но мне принадлежит весь мир» (нем.), ср. пер. А. Глобы:

Я сделал ставку на ничто,
Гей-го!
Кто в счастье равен мне? Никто!
Гей-го!

(Гёте. Собр. соч. Т. 1. С. 273). — 642.

¹⁹ Не вполне точная цитата из стихотворения Н. А. Некрасова «Новый год». Ср.:

Нас давит времени рука,
Нас изуряет труд,
Всесилен случай, жизнь хрупка,

Живем мы для минут,
И то, что с жизни взято раз,
Не в силах рок отнять у нас!

(Некрасов Н. А. Полн. собр. соч. и писем: В 15 т. Л., 1981. Т. 1. С. 96). — 643.

Г. ЧИЧЕРИН КАК ПУБЛИЦИСТ

Статья впервые напечатана в журнале «Современник» (1859. № 5) и представляет собой своеобразный ответ Чернышевского на программное политическое выступление в апреле 1858 г. Б. Н. Чичерина, опубликовавшего сборник статей «Очерки Англии и Франции». Чернышевский подвергает критике «объективизм» Чичерина, показывая, что в основе любой общественно-политической позиции лежит классовый интерес. Полемика между Чернышевским и Чичериным представляет собой образец идейно-теоретических столкновений между либеральными и революционно-демократическими взглядами на ход исторического развития России в середине XIX в. Большое внимание Чернышевский уделяет отстаиванию принципа классовой борьбы в процессе исторического развития. Работа ясно показывает политическую программу Чернышевского: приверженность идеям демократического социализма и абсолютное неприятие либерально-буржуазных концепций.

Глубокую оценку полемике либералов и демократов дал В. И. Ленин в статьях ««Крестьянская реформа» и пролетарски-крестьянская революция» и «Либералы и свобода союзов» (Полн. собр. соч. Т. 20. С. 174—175. Т. 23. С. 113).

¹ Чернышевский имеет в виду свои выступления в политическом разделе «Современника» (1859. № 3—4), в которых он анализирует последствия сделки неаполитанского либерала К. Поэрио с феодальной монархией и показывает несостоятельность политики либерализма (6, 111—187). — 644.

² Судя по всему, речь идет о статье Н. А. Добролюбова «Литературные мелочи прошлого года» (Современник. 1859. № 1—4). — 646.

³ Речь идет о войне, которая велась в Италии в 1859 г. между объединенной франко-сардинской армией и австрийскими войсками. — 651.

⁴ См. прим. 2 к с. 477. — 659.

⁵ Речь идет о книге Л. Фоме «Etudes sur l'Angleterre» (Исследования об Англии. 1856). — 660.

⁶ Имеется в виду книга Л. Лаверья «Essai sur l'économie rurale de l'Angleterre, de l'Ecosse et de l'Irlande» (Paris, 1854) (Исследование о сельском хозяйстве в Англии, Шотландии и Ирландии). Русский перевод: О земледелии в Англии. М., 1882. — 661.

⁷ Имеется в виду книга А. Токвиля «L'ancien régime et la Révolution» (Старый порядок и революция. 1856). — 662.

⁸ Диссертация Б. Н. Чичерина «Областные учреждения России в XVII в.» опубликована в 1856 г. — 663.

⁹ Имеются в виду книга Дареста де ла Шаванна «Histoire des classes agricoles en France» (История земледельческих классов во Франции. 1854) и книга Эжена Бонмера «Histoire des paysans» (История крестьян. 1856). Чичерин использовал также работу «Histoire des classes rurales en France et de leurs progrès dans l'égalité civile et la propriété» par M. H. Doniol (Дониоль М. Х. История земледельческих классов во Франции и об их успехах в деле гражданского равенства и собственности. 1857). — 668.

¹⁰ См. прим. 8 к с. 663. — 671.

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

Впервые работа напечатана в журнале «Современник» (1859. № 2). В ней Чернышевский продолжает отстаивать позицию, которую занял в полемике по вопросу об отмене крепостного права и которая с наибольшей полнотой отразилась в «Критике философских предубеждений против общинного владения».

¹ См. прим. 1 к с. 572.— 674.

² Чернышевский имеет в виду свою работу «Критика философских предубеждений против общинного владения».— 674.

³ Персонаж романа А. Р. Лесажа «История Жиль Блаза из Сантьяны».— 675.

⁴ Здесь и ниже приводятся отдельные строки из стихотворения Н. А. Некрасова «Маша».— 684.

⁵ Судя по всему, Чернышевский имеет в виду свой собственный перевод книги Дж. С. Милля «Principles of Political Economy, with some of their Applications to Social Philosophy» (Основания политической экономии с некоторыми из их применений к социальной философии), который (с примечаниями Чернышевского) начал печататься в «Современнике» в 1860 г.— 694.

⁶ Этому вопросу посвящена работа Чернышевского «Критика философских предубеждений против общинного владения».— 714.

⁷ *Premier-Moscou* — Московские передовицы (франц.). См. также прим. 4 к с. 252.— 732.

⁸ Чернышевский имеет в виду свою статью «Суеверие и правила логики».— 733.

СУЕВЕРИЕ И ПРАВИЛА ЛОГИКИ

Статья впервые напечатана в журнале «Современник» (1859, № 10) и также посвящена полемике с противниками общинного владения землей. Выступая с резкой критикой «азиатства», Чернышевский имеет в виду государственное устройство самодержавной России.

¹ Речь идет о работе Л. В. Тенгоборского «Essai sur les forces productives de la Russie» (Paris, 1852—1855); русский перевод И. В. Вернадского: О производительных силах России. М.; СПб., 1854—1858.— 741.

² Первые строки стихотворения Н. А. Добролюбова «Наш демон».— 743.

³ Имеются в виду статьи Н. А. Добролюбова «Темное царство», напечатанные в «Современнике» (1859. № 7, 9) за подписью «Н.-бов.».— 750.

⁴ Чернышевский имеет в виду свою статью «Экономическая деятельность и законодательство».— 751.

⁵ После этого, следовательно, по причине этого (лат.) — неправильное умозаключение, логическая ошибка.— 752.

⁶ Гадание на основе наблюдения за полетом вещей птиц.— 752.

⁷ Имеется в виду М. Я. Кожевников, саратовский губернатор в 40—50-х гг. XIX в.— 756.

⁸ Имеется в виду Н. А. Мордвинов, управляющий саратовской удельной конторой.— 756.

⁹ Вероятно, речь идет о К. К. Гроде, самарском губернаторе.— 756.

¹⁰ Вероятно, имеется в виду М. Е. Салтыков-Щедрин, который был одно время вице-губернатором Рязанской губернии.— 756.

¹¹ *Веред* — болячка, стержневой нарыв.— 761.

УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН

- Август Гай Юлий Цезарь Октавиан (63 до н. э.— 14 н. э.), римский император с 27 г. до н. э.— 93, 98
- Аврелий Марк Антонин (121—180), римский император со 161 г., философ — 339
- Аксаков Константин Сергеевич (1817—1860), русский общественный деятель, литератор, славянофил — 268, 271, 272
- Александр I (1777—1825), российский император с 1801 г.— 368, 490, 491, 501
- Александр Македонский (356—323 до н. э.), полководец древности — 84, 158, 322, 328, 345
- Альбер (наст. фам. Мартен) Александр (1815—1895), французский социалист, рабочий, участвовал в восстаниях в Париже в 1832, 1834, 1839 гг., в революции 1848 г.— 418
- Америк Веспуччи, см. Веспуччи
- Анакреон (Анакреонт) (ок. 570—478 до н. э.), древнегреческий поэт — 124
- Анаксагор из Клазомен в Малой Азии (ок. 500—428 до н. э.), древнегреческий философ — 240
- Ангудемские герцог и герцогиня: Ангудемский Луи-Антуан, герцог Бурбонский (1785—1844), старший сын графа Артуа, впоследствии короля Карла X и Марии Терезы Савойской; Ангудемская Мария Тереза Шарлотта (1778—1851), герцогиня, дочь Людовика XVI, супруга Луи-Антуана Ангудемского — 506
- Андроник Теосский (правильно: Андроник Родосский) (I в. до н. э.), философ-перипатетик, живший в Риме — 241
- Анненков Павел Васильевич (1813—1887) (псевд. А.), русский критик и мемуарист — 283, 299
- Антоний Марк (ок. 83—30 до н. э.), римский политический деятель и полководец — 93
- Апеллес (2-я половина IV в. до н. э.), древнегреческий художник — 123
- Апелликон Теосский (ок. II — I вв. до н. э.), античный библиофил, купивший библиотеку Аристотеля — 240, 241
- Араго Доминик Франсуа (1786—1853), французский астроном, физик, политический деятель — 413
- Аржансон Карл Марк Рене Войе де (1796—1862), член Учредительного собрания от умеренной демократической партии — 488
- Ариосто Лудовико (1474—1533), итальянский поэт — 330
- Аристотель (384—322 до н. э.), древнегреческий философ и ученый — 159, 186, 214, 218—220, 223, 228—233, 235—243, 279, 308, 342, 353
- Аристофан (ок. 445—385 до н. э.), древнегреческий комедиограф — 227, 233, 239
- Артуа де, граф, см. Карл X
- Аттила (?—453), предводитель гуннов, возглавлял их опустошительные набеги в Восточную Римскую империю и Сев. Италию — 665

- Бабст Иван Кондратьевич (1823—1881), русский буржуазный историк и экономист — 328
- Байрон Джордж Ноэл Гордон (1788—1824), английский поэт-романтик — 142, 149, 238, 342, 343
- Барбе (Барбес) Арман (1809—1870), французский мелкобуржуазный революционер-демократ — 426
- Барклай-де-Толли Михаил Богданович (1761—1818), генерал-фельдмаршал русской армии, герой Отечественной войны 1812 г. — 332
- Барон Брамбеус, см. Сенковский О. И.
- Барро Камиль Одиллон (1791—1873), премьер-министр Франции с дек. 1848 г. по окт. 1849 г. — 556
- Бастиа Фредерик (1801—1850), французский буржуазный экономист, пропагандист фритредерства — 432, 433, 622, 677
- Баттё Шарль (1713—1780), аббат, французский эстетик — 219, 231
- Батый (первая половина XIII в.), монгольский хан — 665
- Баумгартен Александр Готлиб (1714 или 1717—1762), немецкий философ и эстетик школы Вольфа, профессор философии во Франкфурте-на-Одере — 239
- Бауэр Бруно (1809—1882), немецкий философ-младогегельянец — 211
- Безобразов Николай Александрович (1816—1867), публицист, предводитель петербургского дворянства — 618
- Белинский Виссарион Григорьевич (1811—1848), русский литературный критик, публицист, революционер-демократ — 251, 252, 254, 262—268, 273, 276, 277, 282, 283, 289, 290, 292—302
- Беранже Пьер Жан (1780—1857), французский поэт — 286, 287, 549
- Берар Жозеф Фредерик (1789—1828), французский доктор и философ — 546
- Беррийский (Берри) Шарль Фердинанд де Бурбон (1778—1820), герцог, второй сын графа д'Артуа, впоследствии короля Карла X — 476, 504, 506
- Бестужев Александр Александрович (псевд. Марлинский) (1797—1837), декабрист, писатель — 259, 263, 272
- Бетици, французский политический деятель первой трети XIX в. — 494
- Бетховен Людвиг ван (1770—1827), немецкий композитор — 125
- Блан Луи Жан Жозеф (1811—1882), французский историк, утопический социалист, деятель Июльской революции 1848 г. — 418, 421, 425, 432, 433, 709
- Бланки Луи Огюст (1805—1881), французский революционер, коммунист-утопист — 426
- Блюхер Гебхард Лебрехт (1742—1819), князь Вальштатт, прусский генерал-фельдмаршал — 692
- Бодмер Иоганн Якоб (1698—1783), швейцарский критик и поэт — 347
- Бодо (Baudouin) Никола (1730—1792), французский аббат, экономист, сторонник физиократов — 577
- Бодрильяр Анри Жозеф Леон (1821—1891), французский публицист, политэконом — 698
- Бодру Фредерик (1818—1885), французский политический деятель — 493
- Бомон Гюстав Огюст, де ла Боннипер (1802—1866), французский публицист, внук Лафайета — 521, 522
- Бонмер (Бонмэр) Жозеф Эжен (1813—1891), французский писатель — 668, 669, 671, 672
- Борк Эдмунд (1730—1797), английский государственный деятель и оратор — 239

- Боссюэт (Боссюз) Жак Бенинь (1627—1704), французский писатель, епископ — 215, 314
- Боткин Василий Петрович (1811/12—1869), русский критик, публицист, общественный деятель — 268, 368—370, 372—374, 378, 379, 383, 388, 394
- Бошар (Bauchart) Александр Кентен (1809—1887), французский монархист, докладчик следственной комиссии по делу об Июльском восстании — 431
- Бреа Жан Батист Фидель (1790—1848), французский генерал — 436
- Брут Марк Юний (85—42 до н. э.), в Древнем Риме глава (вместе с Кассием) заговора против Цезаря — 93
- Буало Никола́ (1636—1711), французский поэт, теоретик классицизма — 219, 223, 231
- Бульвер-Литтон Эдвард Джордж (1803—1873), английский писатель — 250
- Бэкон Фрэнсис (1561—1626), лорд Веруламский, английский философ-материалист — 216, 328
- Бэр Карл Максимович (Карл Эрнст) (1792—1876), естествоиспытатель, основатель эмбриологии — 318, 324
- Бюффон Жорж Луи Леклерк де (1707—1788), французский естествоиспытатель — 574
- Вальтер-Скотт, см. Скотт
- Вашингтон Джордж (1732—1799), американский государственный деятель, первый президент США (1789—1797) — 437
- Велланский (наст. фам. Кавунник) Данило Михайлович, русский философ и ученый-медик — 247
- Веллингтон Артур Уэлсли (1769—1852), герцог, английский фельдмаршал (1813) — 489, 490, 692
- Вельтман Александр Фомич (1800—1870), русский писатель — 285
- Вержени Шарль Гравье (1717—1787), граф, французский государственный деятель, при Людовике XVI — министр иностранных дел — 586
- Вернадский Иван Васильевич (1821—1884), русский экономист — 603—605
- Верри Пьетро (1728—1797), граф, итальянский просветитель, философ, экономист — 600
- Веспуччи Америго (ок. 1451/54—1512), мореплаватель — 332
- Вивьен Александр Франсуа (1799—1854), французский адвокат и политический деятель — 462
- Вико Джамбаттиста (1668—1744), итальянский философ и историко-граф — 314
- Вильель (Виллель) Жан Батист (1773—1854), граф, французский государственный и политический деятель — 476, 498, 504, 509, 512, 515, 517, 519, 520, 524—527, 529, 538, 551, 556
- Вильмен Абель Франсуа (1790—1870), французский писатель и государственный деятель — 496, 498, 503, 546, 559, 565
- Вильсон (Уильсон) Джон (псевд. Кристофер Норт) (1785—1854), английский писатель, близкий к «озерной школе» — 232
- Виньи Альфред Виктор де (1797—1863), французский писатель — 285
- Виргилий (Вергилий) Марон Публий (70—19 до н. э.), римский поэт — 109, 303, 308
- Витроль Эжен Франсуа Огюст Арно де (1774—1854), французский политический деятель — 556, 559, 561
- Виттория из Альбано, натурщица времен Рафаэля — 103, 106
- Владимир I Святославович (?—1015), великий князь новгородский (с 969 г.), киевский (с 980 г.) — 327

- Воблан Виено (1756—1845), французский политический деятель — 491
- Волабель Ашиль (1799—1879), министр народного просвещения в кабинете Кавеньяка — 461
- Воловский Луи Франсуа Мишель Раймон (1810—1876), французский политиком и умеренно-либеральный политический деятель — 677
- Вольтер (наст. имя Аруз Франсуа Мари) (1694—1778), французский писатель, философ-просветитель, историк — 98, 365, 586, 591, 659
- Вольф Христиан (1679—1754), немецкий философ-рационалист и математик — 211, 239
- Вольфрам фон Эшенбах (ок. 1170—1220), немецкий поэт-миннезингер — 123
- Вордсворт (Уордсворт) Уильям (1770—1850), английский поэт «озерной школы» — 232
- Галахов Алексей Дмитриевич (1807—1882), русский историк литературы — 298
- Гальяни Фердинандо (1728—1787), итальянский буржуазный экономист — 576
- Гаманн (Гаман) Иоганн Георг (1730—1788), немецкий философ-мистик, критик, писатель — 358—360
- Гарнье-Паже (Гарнье-Пажес) Луи Антуан (1803—1878), французский политический деятель — 413, 453, 698
- Гегель Георг Вильгельм Фридрих (1770—1831), немецкий философ, представитель немецкой классической философии — 73, 74, 80, 81, 89, 98, 114, 190, 193, 205—208, 210—212, 246—248, 266—268, 274—284, 289, 292—297, 308, 315, 323, 343, 364, 365, 398, 610, 626, 638, 642
- Гейне Генрих (1797—1856), немецкий поэт — 250, 271, 348
- Гельвеций Клод Адриан (1715—1771), французский философ-материалист — 574, 586
- Генрих II (1519—1559), французский король с 1547 г. — 657, 665
- Генрих IV (1553—1610), французский король с 1589 г. (факт. с 1594 г.) — 99, 518, 666, 667
- Георг III (1738—1820), английский король с 1760 г. — 552
- Гервинус Георг Готфрид (1805—1871), немецкий историк — 324, 332, 334, 337
- Гердер Иоганн Готфрид (1744—1803), немецкий философ-просветитель — 314, 334, 354—362, 364
- Гернон де Ранвиль (1787—1866), французский политический деятель — 556
- Геродот (между 490 и 480 — ок. 425 до н.э.), древнегреческий историк — 93, 229, 230
- Гёте Иоганн Вольфганг (1749—1832), немецкий мыслитель, писатель и естествоиспытатель — 103, 124, 125, 143, 145, 217, 238, 250, 271, 278, 332—335, 342, 353—364
- Гиббон Эдуард (1737—1794), английский историк — 664
- Гизо Франсуа Пьер Гийом (1787—1874), французский историк — 287, 313, 315, 316, 322—325, 348, 401, 430, 443, 476—478, 484, 488, 496, 519, 534, 546, 551, 560, 562, 563, 566, 620, 664, 671
- Гиллебранд Карл (1829—1884), немецкий историк и публицист — 334
- Гильюмен Жильбер Урбан (1801—1864), французский издатель — 585, 698
- Гоббес (Гоббс) Томас (1588—1679), английский философ-материалист — 365
- Гогарт (Хогарт) Уильям (1697—1764), английский художник, график — 166, 239
- Гоголь Николай Васильевич (1809—1852), русский писатель — 145,

- 150, 218, 250, 252—258, 260—266, 270, 272, 333, 343, 708, 725, 745, 746
- Голиков Иван Иванович (1735—1801), русский историк — 250
- Голубинский Федор Александрович (1797/98—1854), русский философ-идеалист — 246
- Гомер, легендарный древнегреческий эпический поэт — 124, 125, 238, 239, 308, 353, 621
- Гораций (полн. имя Квинт Гораций Флакк) (65—8 до н. э.), римский поэт — 109, 223, 231
- Горгий из Леонтин в Сицилии (ок. 483 — ок. 375 до н. э.), древнегреческий философ, софист — 242
- Готтшед (Готшед) Иоганн Христофор (1700—1766), немецкий писатель, теоретик литературы, критик — 347
- Гофман Эрнст Теодор Амадей (1776—1822), немецкий писатель, композитор, художник — 250
- Грановский Тимофей Николаевич (1813—1855), русский историк — 298, 299, 303—306, 308—314, 316—321, 323—328
- Греч Николай Иванович (1787—1867), русский журналист и писатель — 369
- Грёз Жан Батист (1725—1805), французский художник — 109
- Грибоедов Александр Сергеевич (1795—1829), русский дипломат и писатель — 247, 253
- Григорович Дмитрий Васильевич (1822—1899/1900), русский писатель — 250, 299
- Гуго Капет (ок. 940—996), французский король с 987 г., основатель династии Капетингов — 666
- Гумбольдт Александр (1769—1859), немецкий естествоиспытатель и путешественник — 613, 708
- Гурне Жан Клод Мари Винсент (1712—1759), экономист, один из первых французских физиократов — 572, 580
- Густав Адольф (Густав II Адольф) (1594—1632), король Швеции с 1611 г., полководец — 100
- Гюбер Луи (1815—1865), французский политический деятель — 426
- Гюбнер Иосиф Александр (1811—1892), австрийский дипломат — 701
- Гюго Виктор Мари (1802—1885) — 250, 251, 285
- Д'Аламбер (Даламбер) Жан Лерон (1717—1783), французский математик и философ-просветитель — 574
- Данте Алигьери (1265—1321), итальянский поэт — 123, 330, 332
- Дантон Жорж Жак (1759—1794), деятель Великой французской революции — 449
- Дарест де ла Шаванн Антуан Клеофос (1820—1882), французский историк — 668, 669, 671, 672
- Деаульер Антуанетта (ок. 1637/38—1694), французская поэтесса — 163, 232
- Деказ Луи (1819—1886), герцог, французский политический деятель — 476; 496—498, 501, 504—507, 538
- Декарт Рене (1596—1650), французский философ, представитель классического рационализма — 187, 279, 282, 325
- Делало Шарль Франсуа Луи (1772—1842), французский политический деятель — 510—512
- Дельиль Жак (1738—1813), французский поэт, переводчик Вергилия — 232
- Дельвиг Антон Антонович (1798—1831), русский поэт — 260
- Демажо Жак Клод (1808—1894), французский историк литературы — 215

- Демокрит (ок. 460 — ок. 370 до н. э.), древнегреческий философ-материалист — 159, 223
- Дер (Дэр) Луи Франсуа Эжен (1798—1847), французский буржуазный экономист — 585
- Державин Гаврила Романович (1743—1816), русский поэт — 215, 253, 259—264, 725
- Де Ту, см. Ту
- Джонс Эрнест Чарлз (1819—1869), английский писатель и публицист, чартист — 658
- Дидро Дени (1713—1784), французский философ-материалист — 103, 239, 357, 574, 586
- Диккенс Чарлз (1812—1870), йский писатель — 125, 163, 250, 258, 398
- Диоклетиан (243 — ок. 313/16), римский император в 284—305 гг. — 308, 530
- Дюбарри Мария Жанна (1746—1793), графиня, фаворитка Людовика XV — 515, 598
- Дювержье де Горанн Проспер (1798—1881), французский публицист — 477, 534
- Дюнен Франсуа Пьер Шарль (1784—1873), французский математик, экономист и статистик — 522
- Дюпон де л'Ор Жак Шарль (1767—1855), французский политический деятель — 413
- Дюфор Жюль Арман Станисла (1798—1881), французский политический деятель — 462
- Дюшатель (Дю Шателье) Арман (1797—1885), французский историк и экономист — 443
- Екатерина II (1729—1796), российская императрица с 1762 г. — 368
- Елисавета (Елизавета) Петровна (1709—1761/62), российская императрица с 1741 г. — 741
- Елизавета I Тюдор (1533—1603), английская королева с 1558 г. — 666
- Жанна д'Арк (ок. 1412—1431), народная героиня Франции — 670
- Жерар Морис Этьенн (1773—1852), граф, маршал Франции — 559, 561
- Жорж Занд (Санд) (наст. имя Аврора Дюпен) (1804—1876), французская писательница — 142, 163, 250, 251, 342, 343
- Жукова Мария Семеновна (1804—1855), русская писательница — 369
- Жуковский Василий Андреевич (1783—1852), русский поэт — 270
- Зенон Элейский (ок. 490—430 до н. э.), древнегреческий философ — 242, 478
- Зульцер Иоганн Георг (1720—1779), швейцарско-немецкий философ и эстетик — 336
- Иван III Васильевич (1440—1505), великий князь московский с 1462 г. — 741
- Изабелла Кастильская (1451—1504), королева Кастилии с 1474 г. — 370
- Иннокентий Одесский (в мире Борисов Иван Алексеевич) (1800—1857), русский богослов и церковный проповедник — 246
- Иоанн (1852—1890), эрцгерцог австрийский — 210
- Иоганн (Иоанн) Лейденский (Ян Бокелзон) (ок. 1509—1536), вождь плебейской секты анабаптистов в Северо-Западной Германии, глава Мюнстерской коммуны — 449
- Иосиф II (1741—1790), император «Священной римской империи» с 1765 г., австрийский эрцгерцог с 1780 г. — 340, 346

- Кавелин Константин Дмитриевич (1818—1885), дворянский либерал, правовед, историк, публицист — 249, 299, 405
- Кавеньяк Годфруа Элеонор Луи (1801—1845), французский политический деятель, старший брат Л. Э. Кавеньяка — 410—413
- Кавеньяк Луи Эжен (1802—1857), французский генерал, военный диктатор в июльские дни 1848 г. — 406—416, 431, 433, 435—442, 449, 454, 455, 457, 459, 461—464, 468—474
- Кампе Юлий (1792—1867), немецкий издатель — 222
- Канова Антонио (1757—1822), итальянский скульптор — 130
- Кант Иммануил (1724—1804), немецкий философ, родоначальник немецкого классического идеализма — 88, 206, 208, 211, 212, 221, 239, 246, 279, 280, 282, 284, 314, 315, 325, 342, 364, 365
- Канюзль Симон (1767—1841), барон, французский генерал — 490
- Карамзин Николай Михайлович (1766—1826), русский историк и поэт — 165, 215, 249, 250, 260, 738
- Карл Великий (742—814), французский король с 768 г., с 800 г. император, из династии Каролингов — 98
- Карл II (1665—1700), испанский король — 386
- Карл III (1716—1788), испанский король — 372
- Карл V (1500—1558), император Священной Римской империи (1519—1556), испанский король (Карлос I, 1516—1556) — 370, 371, 637
- Карл VII (1403—1461), французский король с 1422 г. — 637, 665
- Карл VIII (1470—1498), французский король с 1483 г. — 665
- Карл X (1757—1836), французский король в 1824—1830 гг. — 476, 486, 501, 506, 507, 512, 513, 520, 527, 528, 530, 531, 539, 544, 550—553, 555, 557—561, 566
- Карсиль Томас (1795—1881), английский писатель, историк, философ-романтик — 719
- Карно Лазарь Ипполит (1801—1888), французский политический деятель — 461
- Каррель Никола Арман (1800—1836), французский публицист — 411
- Кассий Лонгин Гай (?—42 до н. э.), римский военный и политический деятель — 93
- Кастельбажак Бартеlemi Доминик Жак Арман (1787—1864), маркиз, французский дипломат и государственный деятель — 509
- Катков Михаил Никифорович (1818—1887), русский публицист — 268, 271, 298
- Катон Младший (или Утический) Марк Порций (95—46 до н. э.), римский политический деятель — 85
- Кене (Кенэ) Франсуа (1694—1774), французский экономист, основатель школы физиократов — 574—581, 594
- Кетле Ламбер Адольф Жак (1796—1874), бельгийский математик, астроном, метеоролог, социолог, один из создателей научной статистики — 319, 320, 324
- Кетчер Николай Христофорович (1806—1886), врач и переводчик, друг семьи Герцена — 298
- Клингер Фридрих Максимилиан (1752—1831), немецкий писатель — 355
- Клозель де Куссерг Бертран (1772—1842), французский политический деятель — 504, 505
- Клошток Фридрих Готтлиб (1724—1803), немецкий поэт — 340, 346, 347
- Ключников, см. Ключников
- Ключников Иван Петрович (1811—1895), русский писатель, друг В. Г. Белинского и Н. В. Станкевича — 268, 271, 299
- Кобден Ричард (1804—1865), английский общественный и политический деятель — 622

- Ковалевский Егор Петрович (1809 или 1811—1868), русский путешественник и писатель — 369
- Коклен Шарль (1803—1853), французский политэконом — 698
- Колумб Христофор (1451—1506), мореплаватель — 322
- Кольбер Жан Батист (1619—1683), генеральный контролер (министр) финансов Франции с 1665 г. — 667
- Кольцов Алексей Васильевич (1809—1842), русский поэт — 248, 250, 253, 254, 265—268, 271, 299, 725
- Констан (де Ребек) Бенжамен Анри (1767—1830), французский сатель — 534, 546
- Константин I Великий (ок. 285—337), римский император с 306 г. — 308
- Контти Людовик Франсуа (1717—1777), принц, французский военачальник — 591
- Корбон Клод Антим (1808—1891), французский политический деятель — 465—467
- Корбьер Жак Жозеф (1767—1853), граф, французский государственный деятель — 493, 509, 512, 517
- Корнель Пьер (1606—1684), французский драматург — 124, 149, 150
- Корш Евгений Федорович (1810—1897), редактор «Московских ведомостей», участник кружка Герцена в 40-х гг. — 298
- Коссидьер Марк (1808—1861), французский политический деятель — 432
- Краевский Андрей Александрович (1810—1889), русский издатель и журналист — 299
- Крамер Карл Готлоб (1758—1817), немецкий писатель — 347
- Красов Василий Иванович (1810—1855), русский поэт — 268, 271
- Крез (Крёа) (595—546 до н. э.), последний царь Лидии с 560 г. — 98
- Кремье Исаак Адольф (1796—1880), французский политический деятель — 413
- Кромвель Оливер (1599—1658), деятель английской буржуазной революции XVII в., руководитель индепендентов — 670
- Кронеберг Иван Яковлевич (1788—1838), русский филолог — 247, 299
- Крылов Иван Андреевич (1769—1844), русский писатель — 253
- Крылов Никита Иванович (1807—1879), русский ученый-юрист — 405
- Ксенофан Колофонский (VI—V вв. до н. э.), древнегреческий философ и поэт — 242
- Кудлич (Кудлих) Ханс (1823—1917), австрийский политический деятель — 533
- Кудрявцев Петр Николаевич (псевд. Нестроев) (1816—1858), русский историк и литератор — 269, 272, 298, 304—306, 326, 328
- Кузен Виктор (1792—1867), французский философ-электик — 287
- Кук Джеймс (1728—1779), английский мореплаватель — 378
- Купер Джеймс Фенимор (1789—1851), американский писатель — 165, 250, 251
- Куссерг Клозель де, см. Клозель де Куссерг
- Кутузов (Голенищев-Кутузов) Михаил Илларионович (1745—1813), русский полководец — 332, 622
- Лабард (Лаборд) Александр Луи Жозеф де (1774—1842), французский политический деятель и путешественник — 557, 562
- Лабедойер Шарль Анжелик (1786—1815), французский военный деятель — 497
- Лабурдонне Франсуа Режи (1767—1839), граф, французский полский деятель — 492, 493, 499, 508, 509, 513, 521, 525
- Лавернь Леон Жильон (1809—1880), французский экономист и политический деятель — 661, 671

- Лагарп Жан Франсуа де (1740—1803), французский критик и теоретик литературы — 214
- Лажечников Иван Иванович (1792—1869), русский писатель — 322
- Ламанский Евгений Иванович (1825—1892), русский государственный деятель и финансист — 405
- Ламарк Жан Батист (1744—1829), французский естествоиспытатель — 614
- Ламартин Альфонс Мари Луи де (1790—1869), французский поэт и политический деятель — 250, 251, 287
- Ламорисьер Христофор де (1806—1865), французский генерал и политический деятель — 436, 457, 462
- Лафайет Мари Жозеф Поль (1757—1834), маркиз, деятель Великой французской революции — 488, 559, 562—564
- Лафатер Иоганн Каспар (1741—1801), швейцарский религиозный писатель, врач, философ, пастор в Цюрихе — 360
- Лафит (Лаффит) Жак (1767—1844), французский банкир и политический деятель — 541, 542, 561—565
- Левшин (Лёвшин) Алексей Ираклиевич (1799—1879), русский государственный деятель и писатель — 369
- Ледрю-Роллен Александр Огюст (1807—1874), французский политический деятель и публицист — 411, 471, 473, 474
- Лейбниц Готфрид Вильгельм (1646—1716), немецкий философ-идеалист — 325
- Лейзевиц Иоганн Антон (1752—1810), немецкий писатель — 355, 361
- Ленц Якоб Михаэль Рейнхольд (1751—1792), немецкий поэт и драматург — 355
- Лерминье Жан Луи Эжен (1803—1859), французский юрист и публицист — 286
- Лермонтов Михаил Юрьевич (1814—1841), русский поэт — 145, 250, 261, 264, 265, 271, 272, 288, 298, 725
- Лессинг Готхольд Эфраим (1729—1781), немецкий философ-просветитель и писатель — 217, 231, 238, 239, 329, 331, 333—335, 339—341, 343—347, 349—367
- Лизипп (Лисипп) из Сикиона (ок. I в. до э.), древнегреческий скульптор — 123, 232
- Литке Федор Петрович (псевд. Ф. П. Л.) (1797—1882), русский путешественник, ученый — 369
- Лихтенберг Георг Кристоф (1742—1799), немецкий писатель — 355
- Ломоносов Михаил Васильевич (1711—1765), русский ученый, философ и поэт — 185, 259—261, 264, 306
- Лоу Роберт (1811—1892), английский государственный деятель — 583
- Лувель Пьер Луи (1783—1820), подмастерье, убийца герцога Беррийского (13 февраля 1820 г.) — 504, 505
- Луи Наполеон, см. Наполеон III
- Луи Филипп (1773—1850), король Франции в 1830—1848 гг. — 410—412, 414, 440, 453, 484, 544—546, 556, 564, 565, 566, 655
- Лукулл Луций Луциний (ок. 117 — ок. 56 до н. э.), римский полководец — 241
- Людовик IX Святой (1214—1270), французский король с 1226 г. — 328, 386, 666
- Людовик XI (1423—1483), французский король с 1461 г. — 532, 597, 598, 657, 665
- Людовик XII (1462—1515), французский король с 1498 г. — 665
- Людовик XIII (1601—1643), французский король с 1610 г. — 657
- Людовик XIV Великий (1638—1715), французский король с 1643 г. — 99, 149, 454, 533, 597, 665—667

- Людовик XV (1710—1774), французский король с 1715 г. — 515, 516, 576, 579
- Людовик XVI (1754—1793), французский король в 1774—1792 гг. — 487, 538, 586, 592, 598, 599
- Людовик XVIII (1755—1824), французский король с 1814 г. — 476, 487, 489, 490, 495, 497, 501, 504—507, 510, 511, 514, 516, 520, 524, 538, 565
- Лютер Мартин (1483—1546), деятель немецкой Реформации — 98, 354
- Мабли Габриель Бонно де (1709—1785), аббат, французский писатель и социально-политический мыслитель, утопический коммунист — 586
- Мазарини Джулио (1602—1661), кардинал с 1641 г., французский государственный деятель — 656, 664, 667
- Маккиавелли (Макиавелли) Никколо (1469—1527), итальянский политический мыслитель, писатель — 569, 664
- Маколей Томас Бабингтон (1800—1859), английский историк, публицист и политический деятель — 322, 324, 568, 664, 671
- Мальзерб Кретьен Гийом де Ламуаньон (1721—1794), французский политический деятель, публицист — 591, 592
- Мальтус Томас Роберт (1766—1834), английский буржуазный экономист — 348
- Мари Пьер Тома Амбруаз Амабль (1797—1870), французский деятель — 413, 421, 422, 424, 429, 431
- Марий Гай (ок. 157—86 до н. э.), римский полководец — 88, 98
- Мария Антуанетта (1755—1793), французская королева, жена Людовика XVI — 600
- Мария Терезия (1717—1780), эрцгерцогиня австрийская — 659
- Марк Аврелий, см. Аврелий
- Марлинский, см. Бестужев
- Мармон Огюст Фредерик Людовик Вьесс де (1774—1852), герцог, французский маршал — 561—563
- Марра (Марраст) Арман (1801—1852), французский политический деятель — 411, 413
- Мартиньяк Жан Батист Гаж (1776—1832), французский политический деятель — 513, 527, 531, 538, 551
- Мартынов Иван Иванович (1771—1833), русский переводчик античных классиков — 243
- Мартэн (Мартен) Бон Луи Анри (1810—1883), французский историк — 215
- Машо Жан Батист (1701—1794), французский государственный деятель — 600
- Медичи, династия, правившая во Флоренции в XV—XVIII вв. — 332, 664
- Мерзляков Александр Федорович (1778—1830), русский поэт и критик — 214
- Мерк Иоганн Генрих (1741—1791), немецкий литератор — 143, 354, 355
- Местр Жозеф Маре де (1753—1821), французский политический деятель, религиозный философ, публицист — 486
- Меттерних (Меттерних-Виннебург) Клеменс Венцль (1773—1859), князь, австрийский государственный деятель — 485, 513, 555, 556, 659
- Миллер Иоанн (1752—1809), швейцарский историк — 150
- Милль Джон Стюарт (1806—1873), английский философ-позитивист и экономист — 662, 694, 697
- Мильтон Джон (1608—1674), английский поэт и публицист — 332, 343, 498

- Милютин Владимир Алексеевич (1826—1855), русский публицист, экономист, утопический социалист — 299
- Миромениль Арман Тома де (1723—1796), французский государственный деятель — 586, 592
- Митридат VI Великий Евпатор Дионис (132—63 до н. э.), понтийский и босфорский царь — 240
- Михаэлис Иоганн Давид (1717—1794), немецкий теолог и ориенталист — 354
- Мишелет (Михелет) Карл Людвиг (1801—1893), немецкий философ, правый гегельянец — 205, 246
- Мишле Жюль (1798—1874), французский историк романтического направления — 286, 568
- Моген Франсуа (1785—1854), французский юрист и политический деятель — 560, 563
- Мольер (наст. имя Поклен Жан Батист) (1622—1673), французский драматург и артист — 619
- Монморанси Матье Жан Фелисите де (1760—1826), герцог, французский государственный деятель — 515
- Монталамбер Шарль Форб де Трион (1810—1870), французский писатель и политический деятель — 477, 486, 659—662, 670, 719
- Монтань (Монтень) Мишель де (1533—1592), французский философ-скептик — 343, 569
- Монтескьё Шарль Луи (1689—1755), французский философ-просветитель, историк, писатель — 314, 317, 534
- Мону Рене Никола Шарль Огюстен де (1714—1792), французский политический деятель — 586
- Морелли, аббат, французский публицист XVIII в., утопический коммунист — 586
- Морепа Жан Фредерик Фелиппо де (1701—1791), граф, французский государственный деятель — 586, 592, 600, 601
- Мортмар (Мортемар) Казимир Людовик Викторьен де Рошешуар (1787—1875), герцог, французский государственный деятель, в 1828—1830 гг. был посланником в Петербурге — 555
- Моцарт Вольфганг Амадей (1756—1791), австрийский композитор — 125
- Мюллер Эммануил (1812—1862), французский филолог — 219
- Мюнцер Томас (ок. 1490—1525), вождь крестьянства и городских низов в период Реформации и Крестьянской войны в Германии (1524—1525) — 449
- Надеждин Николай Иванович (1804—1856), критик, журналист и этнограф, редактор «Телескопа» — 246, 247, 252, 254, 256—261, 263—267, 300
- Наполеон I (Наполеон Бонапарт) (1769—1821), французский император в 1804—1814 гг. и в марте—июне 1815 г. — 99, 331, 345, 409, 441, 452, 454, 459, 463, 486—491, 497, 501, 507, 508, 514, 543, 549, 551, 655, 659, 670
- Наполеон (Луи Наполеон Бонапарт) (1808—1873), французский император в 1852—1870 гг. — 408, 410, 447, 461, 471—475, 477, 655, 656, 701
- Ней Мишель (1769—1815), маршал Франции — 497
- Неккер Жак (1732—1804), французский финансист и государственный деятель — 587—590
- Некрасов Николай Алексеевич (1821—1877/78), русский поэт — 299, 725
- Нелединский-Мелецкий Юрий Александрович (1752—1829), русский поэт и государственный деятель — 725

- Нелей Скепсийский (кон. IV — нач. III в. до н. э.), ученик Феофраста — 240
- Нена-Саиб (Нана Сахиб) (род. ок. 1825), индийский феодал, один из вождей национально-освободительного восстания 1857—1859 гг. — 486
- Нерон Клавдий Цезарь Август Германик (37—68), римский император с 54 г. — 530
- Нессельроде (урожд. М. Д. Гурьева) (1786—1849), жена графа Карла Васильевича Нессельроде (1780—1862), русского государственного деятеля — 555
- Нестров, см. Кудрявцев
- Нибур Бартольд Георг (1776—1831), немецкий историк античности — 313, 315, 316, 319, 325
- Николай Павлович I (1796—1855), российский император с 1825 г. — 555
- Никомах из Герасы (ок. 100), древнегреческий математик и философ — 242
- Нума Помпилий, второй царь Древнего Рима, правил в 715—673/72 гг. до н. э. — 98
- Овидий (Публий Овидий Назон) (43 до н. э. — ок. 18), римский поэт — 109
- Овэн, см. Оуэн
- Огарев Николай Платонович (1813—1877), русский поэт, публицист, революционный демократ — 290, 292, 293, 296, 298, 299
- О'Коннор Фергюс Эдуард (1794—1855), один из руководителей чартистского движения, член палаты общин — 658
- Октавий, см. Август
- Ордынский Борис Иванович (1823—1861), филолог, переводчик — 214, 218, 229, 239, 243, 244
- Орлеанский герцог, см. Луи Филипп
- Орлеанский принц, Фердинанд (1810—1842), герцог Шартрский — 541, 548
- Орлов (Орлов-Денисов) Василий Васильевич (1775—1844), граф, генерал, автор военных мемуаров — 404
- Оссе Шарль де (1778—1854), французский политический деятель — 556, 557
- Островский Александр Николаевич (1823—1886), русский драматург — 750
- Оуэн (Овэн) Роберт (1771—1858), английский утопический социалист — 709
- Павлов Михаил Григорьевич (1793—1840), профессор Московского университета, философ-шеллингианец — 247, 248
- Пакье (Паскье) Этьенн Дени (1767—1862), герцог, французский политический деятель — 491, 508—510
- Пальмерстон Генри Джон Темпл (1784—1865), английский государственный деятель — 658
- Панаев Иван Иванович (1812—1862), русский писатель и журналист — 299
- Перье Казимир (1777—1832), французский банкир, государственный деятель — 509, 531, 557, 559—562, 564, 566
- Петр I Великий (1672—1725), русский царь с 1682 г., первый российский император с 1721 г. — 98, 185, 249, 309, 594, 739
- Пиль Роберт (1788—1850), английский государственный деятель — 332, 398, 451, 478, 622
- Платон (428/427—348/347 до н. э.), древнегреческий философ, родо-

- начальник идеализма — 159, 186, 216, 218, 220—225, 227—229, 231, 233, 235, 238, 308, 342
- Плиний Старший (23 или 24—79), римский ученый, писатель — 232
- Плотин (ок. 204/205—269/270), философ, основатель неоплатонизма — 234
- Плутарх из Херонеи (ок. 45— ок. 127), древнегреческий писатель и философ-моралист — 333
- Погодин Михаил Петрович (1800—1875), русский историк, археолог, публицист — 369, 405
- Полевой Николай Алексеевич (1796—1846), русский журналист, историк и писатель — 249, 255, 259, 260, 300
- Полиньяк Огюст Жюль Арман Мари (1780—1847), князь, французский политический деятель — 513, 531, 550, 551, 554—557, 560, 563, 566
- Помпадур Жанна Антуанетта Пуассон де (1721—1764), маркиза, фаворитка Людовика XV — 515, 573, 579, 598
- Помней Гней (106—48 до н. э.), римский полководец и политический деятель — 93, 98
- Попов Александр Николаевич (1820—1877), русский историк — 405
- Попов Нил Александрович (1833—1891/92), русский историк, славист — 369
- Позрио Карло (1803—1867), итальянский государственный деятель — 646
- П. Р., см. Раевский
- Прейс Петр Иванович (1810—1846), один из первых русских славистов — 303
- Прескотт Уильям Гиклинг (1796—1859), американский историк — 323
- Птоломей (Птолемей) II Филадельф, царь эллинистического Египта, правивший в 285—247 гг. до н. э. — 240
- Пушкин Александр Сергеевич (1799—1837), русский поэт — 143, 145, 149, 185, 218, 250, 253, 255, 256, 260—266, 270, 272, 285, 288, 303, 318, 333, 343, 663, 724, 725, 745
- Раевский Михаил Федорович (?—1884) (псевд. г. П. Р.), церковный деятель и писатель, интересовавшийся славянским вопросом — 405
- Ранвиль, см. Гернон де Ранвиль
- Ранке Леопольд фон (1795—1886), немецкий историк — 323
- Расин Жан (1639—1699), французский драматург — 124, 149, 150, 163
- Рафаэль Санти (1483—1520), итальянский живописец и архитектор — 103, 112, 125
- Ребо (Reybaud) Луи (1790—1879), французский экономист, литератор — 662
- Ремюз (Ремюза) (Rémusat) Франсуа Мари Шарль де (1797—1875), французский политический деятель — 534
- Риттер Карл (1779—1859), немецкий географ — 317, 708
- Ришелье Арман Жан дю Плесси (1585—1642), кардинал с 1622 г., глава королевского совета Франции с 1624 г. — 332, 372, 451, 476, 488, 532, 597, 598, 656, 664, 667
- Ришелье Арман Эммануэль дю Плесси (1766—1822), французский и русский государственный деятель — 490, 493, 497, 501—503, 507, 510, 512, 517, 526, 538
- Робер Пьер Франсуа Жозеф (1763—1826), французский юрист, журналист — 498
- Робеспьер Максимильен Мари Изидор де (1758—1794), французский политический деятель, вожь Великой французской революции — 532, 670

- Розенкранц Иоганн Карл Фридрих (1805—1879), немецкий философ, гегельянец — 205
- Ройе-Коляр (Ройе-Коллар) Пьер Поль (1763—1845), французский политический деятель и философ — 488, 499, 527, 534, 551
- Ронсар Пьер де (1524—1585), французский поэт — 286
- Россель Уильям (1639—1683), лорд, английский политический деятель — 658
- Румор Карл Фридрих (1785—1843), немецкий писатель — 103, 105, 106
- Руссо Жан Жак (1712—1778), французский философ-просветитель и писатель — 285, 342, 343, 586
- Салтыков Михаил Евграфович (псевд. Щедрин) (1826—1889), русский писатель — 725, 739
- Самарин Юрий Федорович (1819—1876), русский общественный деятель, публицист, славянофил — 396, 404, 405
- Сафо (Сапфо) (VII—VI вв. до н. э.), древнегреческая поэтесса — 124
- Себастиани Орас (1775—1851), маршал Франции — 560—562
- Семонвиль Шарль Луи Юке де (1759—1839), маркиз, французский государственный деятель — 559
- Сенар Антуан Мари (1800—1885), член французского Учредительного собрания — 439, 440, 462
- Сенковский Осип (Юлиан) Иванович (псевд. барон Брамбеус) (1800—1858), русский писатель, журналист — 253
- Сервантес Сааведра Мигель де (1547—1616), испанский писатель — 98
- Серр Пьер Франсуа Эрколь де (1776—1824), французский политический деятель — 511
- Симонов Иван Михайлович (1794—1855), русский ученый и публицист — 369
- Скотт Вальтер (1771—1832), английский писатель — 125, 163, 226, 250, 251
- Скюдери Мадлена (1607—1701), французская писательница — 286
- Смит Адам (1723—1790), шотландский экономист и философ, один из представителей буржуазной политической экономии — 325, 592, 642, 690, 718, 719
- Сократ (470/69—399 до н. э.), древнегреческий философ — 186, 220, 233, 360, 615
- Соловьев Сергей Михайлович (1820—1879), русский историк — 249, 304, 405
- Софокл (496—406 до н. э.), древнегреческий поэт-драматург — 92, 125, 233, 238
- Спиноза Бенедикт (Барух) (1632—1677), нидерландский философ, пантеист — 187, 282
- Станкевич Николай Владимирович (1813—1840), руководитель московского философско-литературного кружка 30-х гг. — 248, 266—270, 272, 276, 284, 289, 290, 292—298
- Страффорд Томас Вэнворт (1593—1641), английский политический деятель — 557
- Строев Владимир Михайлович (1812—1862), русский журналист и переводчик — 369
- Суворов Александр Васильевич (1729 или 1730—1800), русский полководец, генералиссимус (1799) — 332
- Сулла Луций Корнелий (138—78 до н. э.), римский полководец и политический деятель — 98, 240
- Сумароков Александр Петрович (1717—1777), русский поэт и драматург — 725

- Сцевола Гай Муций (кон. VI — нач. V в. до н. э.), легендарный герой времени борьбы римлян с этрусками — 85
- Сэ (Сэй, Сей) Жан Батист (1767—1832), французский экономист — 572, 573, 593, 594, 596, 619, 694, 714
- Сюлли Максимильтен де Бетюн (1560—1641), французский государственный деятель — 99, 667
- Талейран (Талейран-Перигор) Шарль Морис (1754—1838), французский политический деятель — 485, 501, 515
- Тамерлан, см. Тимур
- Таппе Август Вильгельмович (1778—1830), немецкий пастор, доктор философии и теологии, составитель учебников — 165, 739
- Тассо Торквато (1544—1595), итальянский поэт — 330
- Тацит Корнелий (ок. 58— ок. 117), римский историк — 378, 570, 664
- Теккерей Уильям Мейкпис (1811—1863), английский писатель — 125, 218
- Тенгоборский Людвиг Валериянович (1793—1857), русский экономист, статистик и государственный деятель — 741
- Терре (Террэ) Жозеф Мария (1715—1778), французский политический деятель — 586
- Тибо Антуан Клэр (1765—1854), французский политический деятель — 559, 561
- Тик Людвиг (1773—1853), немецкий писатель-романтик — 362
- Тимур (Тамерлан) (1336—1405), среднеазиатский политический деятель, полководец, эмир с 1370 г. — 324, 328
- Тираннион (ок. I в. до н. э.), ученый-грек при Римском дворе — 240
- Токвиль Алексис Шарль Анри Морис (1805—1859), французский историк, публицист, политический деятель — 477, 662, 664, 671
- Тома Пьер Эмиль (1822—1880), французский писатель — 424, 425, 429—431
- Трела Улис (1795—1879), французский политический деятель — 424, 429, 433
- Ту Жак де (1553—1617), французский историк и государственный деятель — 664
- Тургенев Иван Сергеевич (1818—1883) — русский писатель — 248, 269, 299, 745
- Тьер Луи Адольф (1797—1877), французский государственный деятель, историк — 287, 401, 467, 477, 485, 488, 661, 664
- Тьерри Амедей (1797—1873), брат Огюстена Тьерри — 317
- Тьерри Огюстен (1795—1856), французский историк — 317, 322, 326, 664
- Тюрго Анн Робер Жак, барон де л'Ольн (1727—1781), французский экономист-физиократ — 572—574, 581—592, 594—596, 600—602
- Уилькс (Уилкс) Джон (1727—1797), деятель — 552
- Уильсон, см. Вильсон
- Уордсворт, см. Вордсворт
- Фейербах Людвиг (1804—1872), немецкий философ-материалист — 206—208, 210, 211, 213
- Феофраст (Теофраст) (наст. имя Тиртам) (372—287 до н. э.), древнегреческий естествоиспытатель и философ — 239, 240
- Фердинанд II Арагонский (1452—1516), король Арагона с 1479 г., фактически первый король объединенной Испании — 370

- Фердинанд VII (1784—1833), король Испании в 1808 и 1814—1833 гг. — 392, 513, 514, 516
- Фесслер Игнаций Аврелий (1756—1839), немецкий писатель и русский общественный деятель — 247
- Филарет (в миру Василий Михайлович Дроздов) (1782—1867), московский митрополит с 1826 г. — 246
- Филипп II (1527—1598), испанский король с 1556 г. — 371, 380
- Филипп Прекрасный (Филипп IV Красивый) (1268—1314), французский король с 1285 г. — 657, 665
- Фихте Иоганн Готлиб (1762—1814), немецкий философ, представитель немецкой классической философии — 246, 277, 279, 282, 342, 364, 366
- Фишер Фридрих Теодор (1807—1887), немецкий эстетик, критик — 80, 81, 83, 89, 91, 101, 102, 190, 208
- Фориель (Фориэль) Клод Шарль (1772—1844), французский ученый, историк — 317
- Фоше Леон (1803—1854), французский публицист и политический деятель — 660, 661, 662, 671
- Ф. П. Л., см. Литке
- Фридрих II Великий (1712—1786), прусский король с 1740 г., полководец — 98, 334, 339, 340, 345, 659, 719
- Фуа Максимилиан Себастиан (1775—1825), французский генерал, политический оратор и военный писатель — 522
- Фукидид (ок. 460—400 до н. э.), древнегреческий историк — 230, 664
- Фуше Жозеф (1759—1820), министр полиции Франции — 476, 489, 490
- Херасков Михаил Матвеевич (1733—1807), русский писатель — 725
- Хомяков Алексей Степанович (1804—1860), русский мыслитель, поэт, публицист, славянофил — 307, 308
- Цезарь Гай Юлий (102 или 100—44 до н. э.), римский диктатор с 49 г. — 85, 88, 93, 98, 378, 441
- Цицерон Марк Туллий (106—43 до н. э.), римский государственный деятель, оратор, писатель — 241, 308
- Чертков Александр Дмитриевич (1789—1858), русский археолог и историк — 369
- Чичерин Борис Николаевич (1828—1904), русский философ-гегельянец, теоретик государства и права, историк, публицист — 404, 405, 644—646, 648—652, 654, 656—669, 671—673
- Шангарнье Никола Анн Тсодюль (1793—1877), французский генерал и политический деятель — 457
- Шатобриан Франсуа Рене де (1768—1848), французский писатель-романтик — 250, 287, 358, 488, 496, 497, 513—516, 524, 566
- Шевалье Мишель (1806—1879), французский экономист — 217, 619
- Шекспир Уильям (1564—1616), английский драматург и поэт — 92, 93, 101, 109, 123—126, 145, 149, 238, 271, 343, 353, 357, 361, 485, 666
- Шеллинг Фридрих Вильгельм (1775—1854), немецкий философ, представитель немецкой классической философии — 212, 246—248, 266, 282, 342, 364, 366, 610, 626, 638, 642
- Шиллер Иоганн Фридрих (1759—1805), немецкий поэт, драматург и теоретик искусства — 145, 217, 221, 238, 271, 286, 321, 331—335, 353, 359
- Шлегель Август Вильгельм (1767—1845), немецкий историк литературы и писатель — 234, 362

- Шлегель Фридрих (1772—1829), немецкий филолог, философ, писатель, теоретик романтизма — 234, 362
- Шлоссер Фридрих Кристоф (1776—1861), немецкий историк — 313, 315, 316, 322—325, 334, 568—571, 664
- Штейн Генрих Фридрих Карл (1757—1831), прусский реформатор — 331, 332, 398, 451, 478
- Штраус Давид Фридрих (1808—1874), немецкий философ-младогегельянец — 205, 206, 211
- Эвпомп из Сикиона (ок. 390 до н. э.), древнегреческий живописец — 232
- Эврипид (Еврипид) (ок. 480—406 до н. э.), древнегреческий поэт, драматург — 125, 238
- Эгильон (Эгийон) де (1750—1800), герцог, французский политический деятель — 586
- Эльвесиус, см. Гельвеций
- Эмерсон Ралф Уолдо (1803—1882), американский философ-идеалист, поэт, эссеист — 320, 324
- Эпафродит (II или III в.), известный землемер в Риме — 478
- Эпиктет (ок. 50 — ок. 140), римский философ-стоик — 478
- Эпремениль (Эпремениль-Дюваль) Жан Жак де (1746—1794), французский политический деятель — 591
- Эсхил (ок. 525—456 до н. э.), древнегреческий поэт-драматург — 125, 233
- Эшенбург Иоганн Иоахим (1743—1820), немецкий историк литературы — 360
- Юлиан Отступник (Консервативный) (331—363), римский император с 361 г. — 530
- Юнг-Штиллинг Иоганн Генрих (1740—?), немецкий мистик — 360
- Якоби Фридрих Генрих (1743—1819), немецкий философ-идеалист и писатель — 246
- Яковлев Владимир Дмитриевич (1817—1884), русский писатель — 369
- Ярослав Мудрый (ок. 978—1054), великий князь киевский (1019) — 327

ПРЕДМЕТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ

- Азиатство 749, 750
 Аристократизм 536
 Архитектура 123, 124, 127, 129
 Барщина 760
 Безобразное (безобразие, некра-
 сивость, уродливость, неопре-
 деленное, ужасное, страшное)
 79, 87, 198
 — у Фишера 83, 101
 Бесконечное (безграничное, без-
 граничность) 90
 — идея 85—87
 Буржуазия (среднее сословие,
 средний класс, капиталист,
 класс капиталистов, купцы,
 промышленники, фабрикан-
 ты и т. д.) 402, 403, 414, 445,
 472, 488, 489, 522, 566, 567,
 580, 582
 Виги
 — и торн 536
 Вкус 123
 — искусственный (изысканная
 искусственность) 149, 197
 Возвышенное (возвышенность,
 величественное, великое, гра-
 циозное) 102, 111, 122, 134,
 159, 160, 172, 199
 — определение 89
 — впечатление 83
 — идея 85—87
 — признак 89
 — область 84
 — роды 90 (см. Трагическое)
 — формы 84
 — сил природы 89
 — в пространстве (или во време-
 ни) 89
 — в человеке 89
 — у Гегеля 82—85, 87, 89, 90
 — у Канта 88
 — у Фишера 83, 87, 89, 101
 — и прекрасное 171
 Воззрение (воззрения)
 — субъективные 199
 — у Гегеля 73
 Войны 470, 665
 — бесчеловечные (безнравствен-
 ные) 400
 — разумные (полезные) 400
 Воображение (фантазия) 130,
 139, 193, 198, 352, 615
 — определение 168
 — праздбе (см. Стремления
 фантастические)
 — творческая (комбинирующая,
 вдохновение) 138, 142, 168,
 181
 — мечты испорченного 184
 — образы (воображаемый идеал)
 133, 172
 — и действительность (и дейст-
 вительный мир) 138, 154, 170,
 179, 180, 199, 213
 Гений (гениальный человек, го-
 нимые люди) 341, 342, 349,
 351
 Государство (государственный)
 418, 466, 523, 678, 679, 686,
 687, 689, 695, 698, 700, 717,
 718, 726, 728, 729, 731, 732
 — бюджет (доходы) 452, 453,
 715, 716
 — налоги (прямые и косвенные
 налоги, подати, пошлины)
 453, 575, 580, 703, 704 (см.
 также Рента)
 — расход (расходы) 453, 705, 715
 — власть 699, 702, 706, 707
 — законодательная 456, 462, 463
 (см. Закон)
 — исполнительная 456, 462, 463
 (административная, админи-
 страция) 619, 672, 723, 754,
 755, 759
 — судебная 620, 723, 754, 755
 — формы 703:
 диктаторская (диктатура)
 426, 437, 441, 457 (диктатура
 Кавеньяка) 442, 459;
 монархическая (королевская)
 447, 519: конституционная
 (конституционное правление)
 532, 539; самодержавная (са-
 модержавное правление, не-
 ограниченная форма монар-
 хии, абсолютизм) 532, 533,
 536, 537, 597, 655—658, 667;
 республика (республиканская

- форма) 417, 439, 442, 446—448, 541, 544, 547, 656
- кризис 420
- устройство (общественное устройство) 462
- бюрократический порядок (бюрократия) 619, 620, 654, 655, 657, 658, 670
- и личность 698
- Гражданин 724
- Действительность
 - определение 164, 185
 - объективная (живая, реальная, объективный мир, действительные предметы и явления) 148, 150, 151, 153, 154, 157, 160, 165, 169, 170, 180, 181, 201, 202, 232, 294, 295 (см. также Жизнь действительная)
 - поэтические события в д. 144, 145
 - и подражание (и фантазия) 138, 172, 193, 274
- Демократия (демократизм) (см. также Партия демократическая)
- Деспотизм 479, 693
- Деятельность
 - практическая (человеческая — материальная, умственная (мозговая), нравственная) 172, 186, 220, 616, 712, 726
 - промышленная 705
 - промышленно-торговая 627
 - экономическая 678, 679, 713, 714, 732, 744, 745
 - частная (частная д. (инициатива) в экономической сфере) 675, 692, 698, 728
 - эстетическая 120
 - у Гегеля 280, 282, 284
- Диалектика (диалектический метод) 281, 347
- у Гегеля 280, 282, 284
- Драма 235, 357
- Духовенство (духовное сословие) 472, 518, 529
- белое 519
- высшее 488
- Живопись 123—125, 129, 132—136, 145, 162, 165, 190, 352, 353
- портретная 172, 193, 232, 233
- Жизнь 76, 77, 80, 82, 150, 152, 153, 160, 161, 188
 - действительная (материальная, практическая) 136, 150, 151, 185, 186, 616, 637, 640
 - животная 612, 615
 - индивидуальная 629, 634, 635, 637, 638
 - истинная 78, 79, 197
 - механическая 634
 - народная 378
 - общественная (общежительная) 616, 617, 619, 629, 635 — 638, 675
 - органическая (ж. организма, органический процесс) 615, 744
 - теллурическая (теллурический процесс) 613
 - умственная и нравственная 202, 616, 617
 - впечатление 78
 - явления 151, 153, 165
 - условия наслаждения 185
 - у Гегеля 81 (см. Природа)
- Закон (законы, законодательство) 717, 719, 724
 - всеобщий 625
 - экономические 711 (см. Государство)
- Западники 395—398, 401
- Заработная плата 403, 576, 582, 590
- Затраты (в земледелии)
 - ежегодные 574, 575
 - первоначальные 574, 575
 - поземельные 574—576
- Землевладельцы (земледелец, поземельный собственник, феодалы, аристократы, поземельная (деревенская) аристократия, дворянство) 445, 472, 479, 487—489, 499, 507, 519, 523, 526, 529, 532—534, 539, 544, 548, 575, 576, 578—581, 655—658
- Землевладение (поземельное владение) 741, 746, 748, 752, 762, 763
- Земледелие 403, 580, 592, 735—737, 739—741, 743, 746, 747, 751, 755
 - системы:
 - половничества и эмфитеозов 578—579, 627
 - фермерства 579, 627

(см. также Затраты, см. Производство)

Земледельцы (земледельческий класс, крепостные крестьяне, наемные работники (половники), бедный поселянин, человек, обрабатывающий землю) 575, 578, 579, 623, 627, 628, 701

Знание 330

— у Гегеля 296

Идея 101

— у Гегеля 72, 73, 75, 81, 82, 84, 85

— единство и. и образа 154, 161, 162, 172

— согласие и. и формы 154

Иезуиты 518—520, 524, 529, 530, 565

Императоры

— в Риме 532

Индивидуализм 580, 582, 584, 586, 589

Искусство (искусства) 71, 72, 133, 139, 161, 217

— значение (сущность) 154—157, 159, 164—167, 169, 172, 192—195, 200, 201, 218, 219, 232

— ряд 127 (см. Архитектура, Живопись, Литература, Музыка, Поэзия, Скульптура)

— произведения (художественные произведения) 75, 76, 126, 130, 149—153

— происхождение (или формальное начало) 154, 159, 172, 192

— содержание 157, 159, 160, 195; фантастическое содержание 164

— сфера (область) 160, 172

— форма (формальная красота, сторона) 137, 140, 161, 162, 166, 168, 171, 172

— и история 167, 195, 229, 328, 329

— и наука 226 (см. Красота)

Истина 151, 279—281

История (исторический, и. движение, и. процесс) 167, 195, 217, 231, 314, 330, 336, 359, 362, 408, 550, 569, 609, 649, 752

— есть наука о жизни человечества 319

— политическая 315, 484, 489

— метод 325

— необходимость 345; личность и и. необходимость (потребность) 251, 252, 339, 341

— отношения 378, 379

— события (события в и.) 338, 339, 407, 485

— школы: новая и. школа (Соловьев, Кавелин) 249; скептическая 249

— умственной жизни 315

— и точные науки 319

— и естествознание 316, 317

Капитал (капиталы) 575, 582, 585, 627, 703, 727, 755

— оборотный 742, 743, 746, 747, 754

Касты

— в Испании 384, 391

Католики 366, 367

Класс

— бесплодный: простолюдины, ремесленник, купец, доктор, философ, ученый, артист, фабрикант, медики, адвокаты, писатели 576—581 (см. также Буржуазия, Землевладельцы)

— производительный (производитель) 576, 578, 579, 623 (см. также Земледельцы, Народ, Пролетариат)

Комическое (мелочное, глупое, тупоумное) 102, 159, 160, 172, 200

— у Гегеля и Фишера 101

Конкуренция 582, 714

Конституция 525, 538, 543—545, 551, 555

Красота 79, 121, 131, 132, 137

— есть проявление жизни 198

— действительная (к. действительной жизни, действительных предметов, событий и людей) 114, 122, 146, 147, 152, 154, 167

— индивидуальная 120

— истинная 120

— условие (признак, принадлежность) 77, 78

— элементы 132

— в искусстве (произведений искусства) 122, 129, 146—148, 154

— в природе (произведений природы) 129, 134

— понятия о к. 78

— гегелевская школа о к. 75, 80, 81, 116, 120, 124, 235
Круг Огарева 290—294, 296, 298
Кружок Станкевича 284, 285, 289—298

Легитимисты 432, 445

Либерализм (см. Партия либеральная)

Литература 216, 349

— немецкая 332—335, 341, 351
— история 260, 262, 264, 265
— назначение (л. в историческом развитии, процессе) 175, 245, 329—331, 333, 340, 341, 346, 347

Личность (личности, характеры, деятели, авторитеты)

— возвышенные (великие) 88
— исторические (сильные) 291, 332, 339
— в истории развития мысли 343
— в поэзии 342, 343

Математика 325

Материя

— неорганическая 612
— органическая 612

Монополия 678, 695

Мораль

— отвлеченная 316

Музыка 123—125, 162, 165, 190

— определение 139
— вокальная (искусственное и естественное пение, техника пения) 136—139
— инструментальная 136, 138, 139
— композитор 169
— опера 139, 169

Мысль (мысли)

— порождается действительностью 186
— отвлеченная (общие) 75, 82

Народ (масса, народные массы, низшие классы) 452, 464, 468, 481, 484, 532, 534, 536, 541—545, 547—549, 557, 559, 567, 576, 693, 715

— отставшие и передовые 639, 640

Народность 396, 397

Наука (науки) 71, 72, 95, 166, 201, 226, 329, 340, 349

— определение 170

— нравственные 325

— теоретическая (теория) 215, 217, 700

— методы 319, 324

— система (систематичность) 218

— и искусство 202

Образ

— поэтический (характеры, портреты, типическое лицо, живой, индивидуальный о.) 140—143, 153

Общество

— гражданское 480

— первобытное (первобытная форма) 621, 624

Община (общинное)

— владение 603—611, 625—628, 630, 636, 638, 641, 699, 720, 721, 723, 735, 736, 738, 740, 742, 746—749, 751, 752, 762, 763

— пользование 403

Организм

— животный 612

— общественный 619

Орлеанисты 431, 445, 488

Отношения

— материальные (экономические) 330, 331, 404, 446, 703, 705

— поземельные 610, 626—628

Партия (политическая п., партии) 330, 475, 480, 489

— демократическая (демократы) 446, 479, 532, 533, 536, 654—658, 670

— конституционная 533

— либеральная (либералы) 287, 477—489, 496, 498—501, 503, 504, 507, 514, 521, 526—532, 534—536, 538, 540—546, 548—552, 554, 556—559, 562—565, 659, 661, 670

— феодально-иезуитская 530

— бонапартистов 471, 488

— реформаторов 446, 447, 449, 450, 457, 463, 465, 473

— социалистов 426—428

(см. также Виги)

Племена (племенной быт) 619, 638

Польза

— общая (общественная) 408, 589

- Потребление 403, 404
 Потребности 648, 713, 714
 — материальные 203, 319
 — нравственные 203, 319
 — общественные (п. общества) 408, 409, 577, 649, 652, 689, 691, 718
 — умственные 319
 — человеческие (п. человека) 709—712, 726, 727, 731, 732
 — народа 482
 — частных лиц (п. индивидуальной самостоятельности) 689, 699, 700
 (см. Стремления)
 Поэзия (поэтическая деятельность) 72, 123, 124, 136, 139, 140, 145, 149, 162—166, 175, 190, 216, 236, 237, 357
 — есть драма жизни 352
 — есть распространительница знаний и образованности 227
 — дидактическая 232
 — драматическая 160, 352
 — описательная 232, 353
 — источник 228, 229
 — область 160
 — впечатление в п. 352, 353
 — предмет или событие в п. (поэтические картины) 165, 225, 231, 352, 353
 — преувеличение (идеализация, замысловатость, внешнее великолепие) в п. 146
 Правитель (государственный человек) 408, 409, 441, 590
 Правительство (правительственная власть) 499, 538, 545, 691, 699, 703, 705, 715, 716, 724
 Право (права)
 — гражданские 487, 701
 — индивидуальное 586
 — крепостное 743, 759, 760
 — общественное 586
 — феодальное 487, 523, 543
 — идея 589
 — свободной речи (свободы слова, свободы (парламентских) прений) 481, 482, 548
 — собственности 402, 521, 589
 — человеческой личности (частного лица) 724, 730, 731
 — на труд 418
 Практика 700
 — есть пробный камень всякой теории 184—185
 Прекрасное 72, 75, 76, 80, 89, 101, 118, 159, 160, 162, 170
 — впечатление 78
 — область 82, 120, 198
 — признак 120
 — формы: п. в объективной действительности (или природе) 102, 106, 110, 111, 113—117, 123, 126, 154, 155, 172, 190, 191, 198, 199; п. в искусстве 102, 123—125, 190; п. в фантазии 102
 — у Гегеля и Фишера 73—75, 80—82, 90, 102—106, 110, 111, 114, 115, 119—122, 124, 125, 127, 189, 190, 196
 — стремление к п. 128, 129, 154
 — и возвышенное 171
 Природа 97, 133, 134, 136, 140, 160, 186, 188, 201, 232, 611, 709, 712, 726, 752
 — внешняя 711, 727
 — материальная 638
 — человеческая 711
 — произведение 147
 — процессы физической 629, 637
 — явления 151
 — и жизнь 150
 Производство 403, 592, 628, 715
 — земледельческое 593, 742, 748
 — экономическое 710
 Пролетариат (пролетарии, работники, рабочий класс, рабочее население, наемные люди, класс, живущий наемной работой, мануфактурный работник) 398, 399, 402, 403, 417, 418, 427, 428, 431, 439, 442, 443, 466, 575, 576, 582, 584
 Промышленность (промышленный) 330, 403, 579, 580, 582, 622, 701, 715, 716, 719, 720, 742, 746, 747, 754
 — деятельность 639
 — кризис (кризисы) 420, 421, 423
 Просвещение 595, 712, 746, 753
 Протекционизм (протекционная система) 662, 638, 639, 715
 Протестанты 366, 367
 Радикализм (радикалы) 479—480
 Революция 536, 543, 659
 Религия 638
 Рента (поземельная р., поземельный налог, поземельный до-

ход, доход собственника, или чистый доход, прибыль) 453, 575, 578—580, 593, 606, 607, 627, 695

Республиканцы

- крайние 426—428, 457
- чистые, или умеренные 410, 417, 418, 422—424, 427, 428, 431, 437—457, 459—465, 468—474, 541, 547

Роман (романы) 160

- исторические 163
- современные 164

Романтизм (романтический, идеальное начало искусства) 180, 234, 258, 361, 362

- критика 263
- критика гоголевского периода о р. (о р. направлении в литературе и жизни) 256—260

Роялисты 483, 484, 486—492, 494—505, 507, 509—514, 516, 517, 519—531, 534—536, 538—544, 549—552, 556, 558, 565, 566

- крайние 554, 555
- умеренные 554, 557

Санкюлоты 487

Сантиментализм 362

Скульптура (ваяние) 124, 129—132, 136, 162, 165, 190

Славянофилы (славянофильство) 395—398, 400, 401, 404

Собственность 380, 695, 721, 750, 752

- государственная 704
- личная 407
- недвижимая 720
- поземельная 542, 609, 610, 626, 627, 704, 718, 749, 751, 754, 762
- частная 627, 704, 722

Совершенство

- приблизительное 116, 183
- фантастическое 184
- у Гегеля и Фишера 116
- стремление к с. (см. Прекрасное)

Сословия

- в Испании 384, 391

Справедливость

- и несправедливость 624, 625, 730—732

Стремления (желания, страсти, мечты, потребности)

- сознательные (преднамеренные, действительные, серьезные, истинные, законные) 122, 177—180, 184, 185, 397, 486
- фантастические (фантастически неумеренные, м. праздной фантазии, мнимые) 177—180, 182—184, 186, 397

Схоластика 600, 658

Сюжет (интрига) 143, 144

Теории (теория, школа)

- экономические
- Гурне 580
- невмешательства государства в экономические отношения (laissez faire, laissez passer, отсталая, старая, устарелая) 609, 674, 675, 677, 682, 690—695, 698, 699, 702, 705—707, 712, 715, 717—719, 725, 726, 729, 735, 736, 738, 740, 741, 747, 751, 753, 754, 762
- физиократов (физиократия, правление природы; чистого дохода, Кене, Тюрго) 573, 574, 578—583, 585—588, 590—596; Сэ 593, 594, 596
- эстетические
- гегелевская (господствующая) 81, 120, 121, 136, 161, 208, 219 (см. Красота, гегелевская школа) «искусство для искусства» 223, 224
- натуральная («критика гоголевского периода») 251, 256, 261, 262, 264, 273
- псевдоклассическая т. подражания природе (подделка под действительность, бессмысленное копирование) 156, 158, 159, 191, 193, 194, 219—222, 228, 231, 232
- трансцендентальная 216

Терроризм 698

Тираны

- в Греции 532

Торговля 580, 639, 701, 703, 719, 720, 742, 746, 747, 754, 755

- биржевая 622—623
- внешняя 622

Тори (см. Виги)

Трагедия 235

- классическая 96, 164, 236, 237

Трагическое 94, 97, 98, 100, 160,
171, 172, 199, 200
— у Фишера 91—93, 99, 101
Труд 378—381, 404, 627, 628,
688, 750
— крепостной 743
— материальный 761
— производительный 713
— рабов 582
Ультрамонтанцы 472, 518, 519
Феодализм (феодалный) 718
— зависимость 739
— устройство 523, 544
(см. Право)
Фетишизм 638
Филология 616
Философия (философское мы-
шление) 215, 365, 366
— немецкая 246—249
— история 364
— обязанность 280
Форма (формы) 624
— ответственность (смена) 628,
642

Химия 325
Христианство 638
Художник (поэт, поэтический ге-
ний) 142, 143, 160, 161, 163,
166, 167, 169, 191, 195, 225,
232, 361
— память 168
Эксплуататоры 399
Эпос (эпический) 160
— и драма 237, 238
Эпоха
— Реставрации 488, 489, 534,
543, 544, 558, 565—567
Эстетика (эстетический) 75, 214
— наслаждение 108, 119, 170,
224, 225, 228, 229
— понятия 76
— чувство 73, 108—110, 120, 134
— и история литературы 215
Язык
— грамматическое устройство
616, 617
Якобинцы 497

СОДЕРЖАНИЕ

<i>Пантин И. К.</i> Человек и действительность в философской концепции Н. Г. Чернышевского	3
Эстетические отношения искусства к действительности (Диссертация)	71
Эстетические отношения искусства к действительности. Соч. Н. Чернышевского, СПб. 1855 (Авторецензия)	174
Эстетические отношения искусства к действительности (Предисловие к третьему изданию)	205
О поэзии. Сочинение Аристотеля. Перевел, изложил и объяснил Б. Ордынский. Москва, 1854	214
Очерки гоголевского периода русской литературы	245
Статья пятая	—
Статья шестая	269
Сочинения Т. Н. Грановского. Том первый. Москва. 1856	303
Лессинг, его время, его жизнь и деятельность	329
Письма об Испании В. П. Боткина. СПб. 1857 г.	368
[«Русская беседа» и славянофильство]	395
Кавеньяк	406
Борьба партий во Франции при Людовике XVIII и Карле X	476
Предисловие к русскому переводу истории XVIII столетия Шлосера	568
Тюрго. Его ученая и административная деятельность, или начало преобразований во Франции XVIII века. Сочинение С. Муравьева. Москва, 1858 года	572
Критика философских предубеждений против общинного владения Г. Чичерин как публицист	603
Экономическая деятельность и законодательство	644
Суеверие и правила логики	674
Примечания	734
Указатель имен	764
Предметный указатель	781
	798

*Николай Гаврилович
Чернышевский*

СОЧИНЕНИЯ
В ДВУХ ТОМАХ
Том 1

Заведующая редакцией *Л. В. Литвинова*
Редактор *А. В. Матешук*
Младший редактор *К. К. Цатурова*
Оформление серии художника *В. В. Максина*
Художественный редактор *С. М. Полещицкая*
Технический редактор *Л. П. Гришина*
Корректоры *С. С. Новицкая, Г. С. Мизеева*

ИБ № 2929

Сдано в набор 25.11.85. Подписано в печать 18.08.86. Формат 84×108¹/₃₂. Бумага типогр. № 1. Обыкн. нов. гарн. Высокая печать. Усл. печатных листов 42,94 с вкл. Усл. кр.-отт. 42,85. Учетно-издательских листов 50,34 с вкл. Тираж 50 000 экз. Заказ № 160. Цена 3 р. 60 к.

Издательство «Мысль». 117071. Москва, В-71, Ленинский проспект, 15.

Ордена Октябрьской Революции, ордена Трудового Красного Знамени Ленинградское производственно-техническое объединение «Печатный Двор» имени А. М. Горького Союзполиграфпрома при Государственном комитете СССР по делам издательства, полиграфии и книжной торговли. 197136, Ленинград, П-136, Чкаловский пр., 15.

**ИЗДАТЕЛЬСТВО «МЫСЛЬ» ВЫПУСТИЛО
100 ТОМОВ «ФИЛОСОФСКОГО НАСЛЕДИЯ» *.**

Том 1. Древнеиндийская философия. Начальный период. М., 1963, 272 стр. Тираж 6 000 экз.

Составление, вступительная статья «У истоков индийской философии» и примечания В. В. Бродова.

Том 2. Поль Анри Гольбах. Избранные произведения в двух томах. Под общей редакцией и со вступительной статьей «Философские и социологические взгляды Гольбаха» Х. Н. Момджяна.

Том 1. М., 1963, 715 стр. Тираж 10 000 экз.

Примечания В. Н. Кузнецова.

Том 3. Поль Анри Гольбах. Избранные произведения в двух томах.

Под общей редакцией Х. Н. Момджяна.

Том 2. М., 1963, 563 стр. Тираж 10 000 экз.

Примечания И. С. Вдовиной.

Том 4. Иммануил Кант. Сочинения в шести томах.

Под общей редакцией В. Ф. Асмуса, А. В. Гулыги, Т. И. Ойзермана.

Том 1. М., 1963, 543 стр. Тираж 22 000 экз.

Редактор тома А. В. Гулыга. Автор вступительной статьи «Иммануил Кант — родоначальник классической немецкой философии» Т. И. Ойзерман. Примечания Б. Ю. Сливкера. Перевод Б. А. Фохта.

Том 5. Иммануил Кант. Сочинения в шести томах.

Под общей редакцией В. Ф. Асмуса, А. В. Гулыги, Т. И. Ойзермана.

Том 2. М., 1964, 510 стр. Тираж 17 000 экз.

Редактор тома А. В. Гулыга. Авторы вступительной статьи «Ранние работы Канта» А. Арсеньев и А. Гулыга. Примечания Б. Ю. Сливкера. Перевод Б. А. Фохта.

Том 6. Иммануил Кант. Сочинения в шести томах. Под общей

редакцией В. Ф. Асмуса, А. В. Гулыги, Т. И. Ойзермана.

Том 3. М., 1964, 799 стр. Тираж 22 000 экз.

Редактор тома и автор вступительной статьи «Главный труд Канта» Т. И. Ойзерман. Примечания Ц. Г. Арзаканьяна. Перевод Н. Лосского.

Том 7. Томас Гоббс. Избранные произведения в двух томах.

Том 1. М., 1964, 583 стр. Тираж 5500 экз.

Под редакцией и со вступительной статьей «Философская система Томаса Гоббса» В. В. Соколова.

Том 8. Томас Гоббс. Избранные произведения в двух томах.

Том 2. М., 1964, 748 стр. Тираж 5500 экз.

Под редакцией, со вступительной статьей «Социологическая доктрина Томаса Гоббса» и примечаниями Е. М. Вейцмана.

Том 9. Давид Юм. Сочинения в двух томах.

Под общей редакцией и со вступительной статьей И. С. Нарского.

Том 1. М., 1965, 847 стр. Тираж 5500 экз.

Примечания И. С. Нарского.

* Сквозная нумерация томов «Философского наследия» дается с т. 80.

- Том 10. Давид Юм. Сочинения в двух томах.**
Под общей редакцией И. С. Нарского.
Том 2. М., 1965, 927 стр. Тираж 5500 экз.
Примечания И. С. Нарского, Б. В. Мееровского.
- Том 11. Петр Лаврович Лавров. Философия и социология. Избранные произведения в двух томах.**
Под общей редакцией А. Ф. Окулова.
Том 1. М., 1965, 752 стр. Тираж 13 000 экз.
Авторы вступительной статьи «Ветеран революционной теории»
И. С. Книжник-Ветров и А. Ф. Окулов. Составление и примечания
И. С. Книжника-Ветрова.
- Том 12. Петр Лаврович Лавров. Философия и социология. Избранные произведения в двух томах.**
Под общей редакцией А. Ф. Окулова.
Том 2. М., 1965, 703 стр. Тираж 13 000 экз.
Составление и примечания И. С. Книжника-Ветрова.
- Том 13. Прогрессивные мыслители Латинской Америки (XIX — начало XX в.).** М., 1965, 431 стр. Тираж 4500 экз.
Составление и вступительная статья «Философия обновления»
А. Р. Бургете. Примечания А. В. Дерюгиной.
- Том 14. Иммануил Кант. Сочинения в шести томах.**
Под общей редакцией В. Ф. Асмуса, А. В. Гулыги, Т. И. Ойзермана.
Том 4, часть 1. М., 1965, 544 стр. Тираж 22 000 экз.
Редактор тома, автор вступительной статьи «Этика Канта» и составитель
примечаний В. Ф. Асмус.
- Том 15. Иммануил Кант. Сочинения в шести томах.**
Под общей редакцией В. Ф. Асмуса, А. В. Гулыги, Т. И. Ойзермана.
Том 4, часть 2. М., 1965, 478 стр. Тираж 22 000 экз.
Редактор тома, составитель примечаний В. Ф. Асмус.
- Том 16. Иммануил Кант. Сочинения в шести томах.**
Под общей редакцией В. Ф. Асмуса, А. В. Гулыги, Т. И. Ойзермана.
Том 5. М., 1966, 564 стр. Тираж 22 000 экз.
Редактор, автор вступительной статьи «Проблема целесообразности
в учении Канта об органической природе и в эстетике» и составитель
примечаний В. Ф. Асмус.
- Том 17. Иммануил Кант. Сочинения в шести томах.**
Под общей редакцией В. Ф. Асмуса, А. В. Гулыги, Т. И. Ойзермана.
Том 6. М., 1966, 743 стр. Тираж 22 000 экз.
Редактор тома Т. И. Ойзерман. Примечания Т. И. Ойзермана (общие
примечания) и Ц. Г. Арзаканьяна.
- Том 18. Русские просветители (от Радищева до декабристов).
Собрание произведений в двух томах.**
Том 1. М., 1966, 440 стр. Тираж 17 000 экз.
Под редакцией и со вступительной статьей «Просветительские доктрины
в России в конце XVIII — начале XIX в.» И. Я. Щипанова.
Примечания Л. Б. Светлова.
- Том 19. Русские просветители (от Радищева до декабристов).
Собрание произведений в двух томах.**
Том 2. М., 1966, 478 стр. Тираж 17 000 экз.
Под редакцией И. Я. Щипанова. Примечания Л. Б. Светлова.

Т о м 20. Фридрих Вильгельм Йозеф Шеллинг. Философия искусства. М., 1966, 496 стр. Тираж 22 000 экз.

Под общей редакцией М. Ф. Овсянникова.

Авторы вступительных статей: «Состав и генезис «Философии искусства» Шеллинга» — П. С. Попов; «Эстетическая концепция Шеллинга и немецкий романтизм» — М. Ф. Овсянников. Перевод П. С. Попова. Примечания А. В. Михайлова.

Т о м 21. Пьер Гассенди. Сочинения в двух томах.

Под общей редакцией и со вступительной статьей «Материалист Пьер Гассенди» Е. П. Ситковского.

Том 1. М., 1966, 431 стр. Тираж 9000 экз.

Перевод А. Гутермана.

Т о м 22. Английские материалисты XVIII в. Собрание произведений в трех томах.

Под общей редакцией и со вступительной статьей Б. В. Мееровского.

Том 1. М., 1967, 445 стр. Тираж 10 000 экз.

Примечания Б. В. Мееровского, А. Х. Горфункеля, И. С. Свенцицкой.

Т о м 23. Английские материалисты XVIII в. Собрание произведений в трех томах.

Под общей редакцией Б. В. Мееровского.

Том 2. М., 1967, 405 стр. Тираж 10 000 экз.

Примечания Б. В. Мееровского.

Т о м 24. Людвиг Фейербах. История философии. Собрание произведений в трех томах.

Под общей редакцией и со вступительной статьей «Людвиг Фейербах как историк философии» М. М. Григорьяна.

Том 1. М., 1967, 544 стр. Тираж 25 000 экз.

Примечания А. И. Ардабьева и И. М. Есина. Перевод П. С. Попова, Э. Н. Казаковой, Т. С. Батищевой, Б. И. Авербух.

Т о м 25. Людвиг Фейербах. История философии. Собрание произведений в трех томах.

Под общей редакцией М. М. Григорьяна.

Том 2. М., 1967, 480 стр. Тираж 25 000 экз.

Примечания А. И. Ардабьева.

Т о м 26. Людвиг Фейербах. История философии. Собрание произведений в трех томах.

Под общей редакцией М. М. Григорьяна.

Том 3. М., 1967, 486 стр. Тираж 25 000 экз.

Примечания А. И. Ардабьева.

Т о м 27. Пьер Гассенди. Сочинения в двух томах.

Под общей редакцией Е. П. Ситковского.

Том 2. М., 1968, 836 стр. Тираж 9000 экз.

Перевод Е. А. Берковой, Ц. Г. Гурвиц, А. Гутермана, Н. А. Федорова, С. Я. Шейнман-Топштейн. Примечания И. С. Шерн-Борисовой.

Т о м 28. Пьер Бейль. Исторический и критический словарь в двух томах.

Под общей редакцией и со вступительной статьей «Борец за свободу совести» В. М. Богуславского.

Том 1. М., 1968, 391 стр. Тираж 20 000 экз.

Перевод и примечания В. М. Богуславского и И. С. Шерн-Борисовой.

Том 29. Пьер Бейль. Исторический и критический словарь в двух томах.

Под общей редакцией В. М. Богуславского.

Том 2. М., 1968, 510 стр. Тираж 20 000 экз.

Перевод В. М. Богуславского и И. С. Шерн-Борисовой.

Том 30. Английские материалисты XVIII в. Собрание произведений в трех томах.

Под общей редакцией Б. В. Мееровского.

Том 3. М., 1968, 550 стр. Тираж 10 000 экз.

Том 31. Платон. Сочинения в трех томах.

Под общей редакцией А. Ф. Лосева и В. Ф. Асмуса.

Том 1. М., 1968, 623 стр. Тираж 35 000 экз.

Редактор тома, автор вступительной статьи «Жизненный и творческий путь Платона», вводных замечаний и статей к отдельным диалогам, помещенных в комментариях к тому, А. Ф. Лосев. Примечания А. А. Тахо-Годи.

Том 32. Американские просветители. Избранные произведения в двух томах.

Под общей редакцией и со вступительной статьей Б. Э. Быховского.

Том 1. М., 1968, 519 стр. Тираж 13 000 экз.

Составление и примечания Н. М. Гольдберга.

Том 33. Американские просветители. Избранные произведения в двух томах.

Под общей редакцией Б. Э. Быховского.

Том 2. М., 1969, 445 стр. Тираж 13 000 экз.

Составление и примечания Н. М. Гольдберга.

Том 34. Антология мировой философии в четырех томах.

Редколлегия: В. В. Соколов, В. Ф. Асмус, В. В. Богатов, М. А. Ды-
ник, Ш. Ф. Мамедов, И. С. Нарский, Т. И. Ойзерман.

Том 1 (в двух частях). М., 1969, 936 стр.

Редактор-составитель тома и автор вступительной статьи В. В. Соко-
лов.

Часть 1. М., 1969, 579 стр. Тираж 35 000 экз.

Составители и авторы вступительных текстов к отрывкам из произве-
дений философов: Н. П. Аникеев, Е. С. Семена, М. Л. Титаренко, А. Н. Ча-
нышев, В. Е. Тимошенко, В. Ф. Асмус.

Том 35. Антология мировой философии в четырех томах.

Редколлегия: В. В. Соколов, В. Ф. Асмус, В. В. Богатов, М. А. Ды-
ник, Ш. Ф. Мамедов, И. С. Нарский, Т. И. Ойзерман.

Том 1, часть 2. М., 1969, 357 стр. Тираж 35 000 экз.

Редактор-составитель тома и автор вступительной статьи В. В. Соко-
лов.

Составители, авторы вступительных текстов к отрывкам из произве-
дений философов: С. С. Аверинцев, С. С. Аревшатян, Ш. В. Хидашели,
Ш. Ф. Мамедов, Н. С. Козлов, А. В. Сагадеев, Г. В. Шевкина, А. Х. Гор-
функель.

Том 36. Антология мировой философии в четырех томах.

Редколлегия: В. В. Соколов, В. Ф. Асмус, В. В. Богатов, М. А. Ды-
ник, Ш. Ф. Мамедов, И. С. Нарский, Т. И. Ойзерман.

Том 2. М., 1970, 776 стр. Тираж 35 000 экз.

Редактор-составитель тома и автор вступительной статьи «Европей-
ская философия Нового времени» В. В. Соколов.

Составители и авторы вступительных текстов к отрывкам из произведений философов: З. А. Тажурзина, Н. В. Ревякина, Н. С. Козлов, В. М. Богуславский, И. Н. Неманов, И. С. Шерн-Борисова, В. Н. Кузнецов, Е. М. Вейцман, И. С. Нарский, Б. В. Мееровский, Н. М. Гольдберг, В. В. Богатов.

Примечания В. С. Розицына, И. С. Шерн-Борисовой, Г. А. Заиченко, Н. М. Гольдберга.

Том 37. Георг Вильгельм Фридрих Гегель. Наука логики в трех томах.

Редколлегия: Э. В. Ильенков, М. М. Розенталь, Е. П. Ситковский.

Том 1. М., 1970, 501 стр. Тираж 42 000 экз.

Ответственный редактор М. М. Розенталь.

Вступительная статья ««Наука логики» Гегеля и марксистская наука логики» М. М. Розенталя. Перевод Б. Г. Столпнера.

Том 38. Платон. Сочинения в трех томах.

Под общей редакцией А. Ф. Лосева и В. Ф. Асмуса.

Том 2. М., 1970, 611 стр. Тираж 35 000 экз.

Редактор тома, автор вводных замечаний к тому и вводных статей к диалогам, помещенным в комментариях, А. Ф. Лосев.

Примечания А. А. Тахо-Годи.

Том 39. Георг Вильгельм Фридрих Гегель. Работы разных лет в двух томах.

Составление, общая редакция и вступительная статья «Гегель. Вехи творческого пути» А. В. Гулыги.

Том 1. М., 1970, 671 стр. Тираж 33 000 экз.

Примечания А. В. Гулыги, А. В. Михайлова, И. С. Нарского.

Том 40. Георг Вильгельм Фридрих Гегель. Работы разных лет в двух томах.

Составление, общая редакция А. В. Гулыги.

Том 2. М., 1971, 630 стр. Тираж 33 000 экз.

Примечания А. В. Гулыги, А. В. Михайлова, А. П. Огурцова.

Том 41. Антология мировой философии в четырех томах.

Редколлегия: И. С. Нарский, В. Ф. Асмус, В. В. Богатов, М. А. Дыпчик, Ш. Ф. Мамедов, Т. И. Ойзерман, В. В. Соколов.

Том 3. М., 1971, 760 стр. Тираж 35 000 экз.

Редактор-составитель тома и автор вступительной статьи «Европейская домарксистская философия конца XVIII в.— первых двух третей XIX в. и начало кризиса буржуазной философии» И. С. Нарский.

Составители и авторы вступительных текстов к отрывкам из произведений философов: А. В. Гулыга, И. С. Нарский, В. Ф. Асмус, М. Ф. Овсянников, Б. В. Мееровский, И. Н. Неманов, В. Г. Карасев, И. С. Кон, А. С. Богомол, Н. М. Годер, П. П. Гайдено.

Примечания И. С. Нарского, Е. Г. Вайсберга, Б. В. Мееровского, В. Г. Карасева, Э. В. Переслегиной.

Том 42. Фрэнсис Бэкон. Сочинения в двух томах.

Составление, общая редакция и вступительная статья «Фрэнсис Бэкон и принципы его философии» А. Л. Субботина.

Том 1. М., 1971, 590 стр. Тираж 35 000 экз.

Перевод Н. А. Федорова и Я. М. Боровского. Примечания А. Л. Субботина и Н. А. Федорова.

Том 43. Георг Вильгельм Фридрих Гегель. Наука логики в трех томах.

Редколлегия: Э. В. Ильенков, М. М. Розенталь, Е. П. Ситковский.
Ответственный редактор М. М. Розенталь.
Том 2. М., 1971, 248 стр. Тираж 42 000 экз.
Перевод Б. Г. Столпнера. Примечания В. К. Брушлинского и
А. П. Огурцова.

Том 44. Платон. Сочинения в трех томах.

Под общей редакцией А. Ф. Лосева и В. Ф. Асмуса.

Том 3, часть 1. М., 1971, 687 стр. Тираж 35 000 экз.

Редактор В. Ф. Асмус.

Автор вводных замечаний к тому и вводных статей к диалогам
«Филеб», «Тимей» и «Критий», помещенных в комментариях, А. Ф. Лосев.
Автор вводной статьи к диалогу «Государство» В. Ф. Асмус.

Примечания А. А. Тахо-Годи.

Том 45. Платон. Сочинения в трех томах.

Под общей редакцией А. Ф. Лосева и В. Ф. Асмуса.

Том 3, часть 2. М., 1972, 678 стр. Тираж 35 000 экз.

Редактор тома, автор вводных замечаний к тому и вводных статей
к диалогам, помещенным в комментариях, А. Ф. Лосев.

Примечания и библиография А. А. Тахо-Годи.

Том 46. Антология мировой философии в четырех томах.

Редколлегия: В. В. Богатов, Ш. Ф. Мамедов, В. Ф. Асмус, И. С. Нарский,
Т. И. Ойзерман, В. В. Соколов, П. С. Шкуринов.

Том 4. М., 1972, 708 стр. Тираж 35 000 экз.

Философская и социологическая мысль народов СССР в XIX в.

Редакторы-составители тома и авторы вступительной статьи В. В. Богатов
и Ш. Ф. Мамедов.

Составители, авторы вступительных текстов к отрывкам из произведений
отдельных философов и составители примечаний: Н. С. Козлов,
П. С. Шкуринов, В. В. Богатов, Ш. Ф. Мамедов, В. С. Горский, А. И. Пашук,
И. В. Иванько, В. Н. Ермуратский, И. Н. Луцицкий, А. Гришка,
Б. К. Гензелис, И. А. Мацявичус, М. Н. Соичев, Т. Хадиров, Ю. В. Бабаев.

Том 47. Фрэнсис Бэкон. Сочинения в двух томах.

Составление, общая редакция А. Л. Субботина.

Том 2. М., 1972, 582 стр. Тираж 35 000 экз.

Примечания И. С. Нарского и А. Л. Субботина. Перевод З. А. Александровой,
А. Н. Гутермана, С. Красильщикова, Е. С. Лагутина, Н. А. Федорова.

Том 48. Георг Вильгельм Фридрих Гегель. Наука логики в трех
томах.

Редколлегия: Э. В. Ильенков, М. М. Розенталь, Е. П. Ситковский

Ответственный редактор М. М. Розенталь.

Том 3. М., 1972, 374 стр. Тираж 42 000 экз.

Перевод Б. Г. Столпнера. Примечания В. К. Брушлинского и
А. П. Огурцова.

Том 49. Георг Вильгельм Фридрих Гегель. Работы разных лет в двух
томах. Второе издание.

Том 1. М., 1972, 668 стр. Тираж 35 000 экз.

См. том 39.

Том 50. Древнеиндийская философия. Начальный период. Второе
издание. М., 1972, 271 стр. Тираж 26 500 экз.

См. том 1.

Том 51. Древнекитайская философия. Собрание текстов в двух
томах.

Редколлегия: В. Г. Буров, Р. В. Вяткин, М. Л. Титаренко.

Том 1. М., 1972, 363 стр. Тираж 55 000 экз.

Авторы вступительной статьи В. Г. Буров и М. Л. Титаренко. Составление Ян Хин-шуна. Примечания Е. П. Симицына, С. Кучеры, М. В. Крюкова, Ян Хин-шуна, В. А. Кривцова, М. Л. Титаренко, Л. И. Думана, Э. В. Никогосова, В. Г. Бурова, Р. В. Вяткина, И. С. Лисевича, В. Ф. Феоктистова, Л. С. Переломова, В. С. Спирина.

Том 52. Древнекитайская философия. Собрание текстов в двух томах.

Редколлегия: В. Г. Буров, Р. В. Вяткин, М. Л. Титаренко.

Том 2. М., 1973, 384 стр. Тираж 55 000 экз.

Составление Ян Хин-шуна. Примечания Е. П. Симицына, С. Кучеры, М. В. Крюкова, Ян Хин-шуна, В. А. Кривцова, М. Л. Титаренко, Л. И. Думана, Э. В. Никогосова, В. Г. Бурова, Р. В. Вяткина, И. С. Лисевича, В. Ф. Феоктистова, Л. С. Переломова, В. С. Спирина.

Том 53. Георг Вильгельм Фридрих Гегель. Работы разных лет в двух томах. Второе издание.

Том 2. М., 1973, 630 стр. Тираж 35 000 экз.

См. том 40.

Том 54. Дом Леже-Мари Дешан. Истина, или Истинная система. М., 1973, 532 стр. Тираж 25 000 экз.

Редколлегия: В. М. Богуславский, Л. С. Гордон, Б. Ф. Поршнев.

Автор вступительной статьи В. М. Богуславский. Перевод Е. Д. Зайцевой. Перевод «Разрешения загадки метафизики в вопросах и ответах» и переписки Дешана Л. С. Гордона. Примечания Л. С. Гордона.

Том 55. Григорий Сковорода. Сочинения в двух томах.

Редколлегия: В. И. Шинкарук (председатель), В. Е. Евграфов, В. Е. Евдокименко, И. В. Иванько, И. А. Табачников.

Том 1. М., 1973, 511 стр. Тираж 45 000 экз.

Авторы вступительной статьи «Философское наследие Григория Сковороды» И. В. Иванько и В. И. Шинкарук. Составление И. В. Иванько и М. В. Кашубы. Примечания И. В. Иванько.

Том 56. Григорий Сковорода. Сочинения в двух томах.

Редколлегия: В. И. Шинкарук (председатель), В. Е. Евграфов, В. Е. Евдокименко, И. В. Иванько, И. А. Табачников.

Том 2. М., 1973, 486 стр. Тираж 45 000 экз.

Составление И. В. Иванько и М. В. Кашубы. Примечания И. В. Иванько.

Том 57. Клод Адриан Гельвеций. Сочинения в двух томах.

Составление, общая редакция и вступительная статья Х. Н. Момджяна.

Том 1. М., 1973, 647 стр. Тираж 40 000 экз.

Примечания М. Н. Делограматика.

Том 58. Клод Адриан Гельвеций. Сочинения в двух томах.

Составление и общая редакция Х. Н. Момджяна.

Том 2. М., 1974, 687 стр. Тираж 40 000 экз.

Примечания М. Н. Делограматика.

Том 59. Бернард Мандевиль. Басня о пчелах. М., 1974, 376 стр. Тираж 45 000 экз.

Под общей редакцией, со вступительной статьей «Бернард Мандевиль и его «Басня о пчелах»» и примечаниями Б. В. Мееровского. Перевод Е. С. Лагутина.

Том 60. Людвиг Фейербах. История философии. Собрание произведений в трех томах. Второе издание.

Том 1. М., 1974, 554 стр. Тираж 50 000 экз.

См. том 24.

Том 61. Людвиг Фейербах. История философии. Собрание произведений в трех томах. Второе издание.

Том 2. М., 1974, 480 стр. Тираж 50 000 экз.

См. том 25.

Том 62. Людвиг Фейербах. История философии. Собрание произведений в трех томах. Второе издание.

Том 3. М., 1974, 486 стр. Тираж 50 000 экз.

См. том 26.

Том 63. Георг Вильгельм Фридрих Гегель. Энциклопедия философских наук в трех томах.

Ответственный редактор Е. П. Ситковский.

Редколлегия: Б. М. Кедров, М. М. Розенталь, Е. П. Ситковский.

Том 1. Наука логики. М., 1974, 452 стр. Тираж 120 000 экз.

Автор вступительной статьи «Философская энциклопедия Гегеля» и составитель примечаний Е. П. Ситковский. Перевод Б. Г. Столлнера.

Том 64. Георг Вильгельм Фридрих Гегель. Энциклопедия философских наук в трех томах.

Ответственный редактор Е. П. Ситковский.

Редколлегия: Б. М. Кедров, М. М. Розенталь, Е. П. Ситковский.

Том 2. Философия природы. М., 1975, 695 стр. Тираж 120 000 экз.

Автор послесловия ««Философия природы» Гегеля и ее место в истории философии науки» и составитель примечаний А. П. Огурцов. Перевод Б. Г. Столлнера и И. Б. Румера.

Том 65. Аристотель. Сочинения в четырех томах.

Том 1. М., 1975, 550 стр. Тираж 220 000 экз.

Редактор тома, автор вступительной статьи В. Ф. Асмус. Примечания А. В. Сагадева.

Том 66. Георг Вильгельм Фридрих Гегель. Философия религии в двух томах.

Под общей редакцией и со вступительной статьей «Философия религии Гегеля» А. В. Гулыги.

Том 1. М., 1975, 532 стр. Тираж 175 000 экз.

Примечания С. С. Аверинцева, А. В. Михайлова при участии А. В. Гулыги. Перевод М. И. Левиной.

Том 67. Давид Анахт. Сочинения. М., 1975, 262 стр. Тираж 27 000 экз.

Составление, перевод, вступительная статья «Давид Анахт и его роль в развитии древнеармянской философии» и примечания С. С. Аревшатиана.

Том 68. Петр Никитич Ткачев. Сочинения в двух томах.

Под общей редакцией А. А. Галактионова, В. Ф. Пустарнакова, Б. М. Шахматова.

Том 1. М., 1975, 655 стр. Тираж 27 000 экз.

Авторы вступительной статьи «П. Н. Ткачев — революционер, публицист, мыслитель» В. Ф. Пустарнаков и Б. М. Шахматов. Составление и примечания Б. М. Шахматова.

Том 69. Секст Эмпирик. Сочинения в двух томах.

Под общей редакцией и со вступительной статьей «Культурно-историческое значение античного скептицизма и деятельность Секста Эмпирика» А. Ф. Лосева.

Том 1. М., 1975, 399 стр. Тираж 125 000 экз.

Перевод А. Ф. Лосева. Примечания А. Ф. Лосева и Т. В. Васильевой.

Том 70. Секст Эмпирик. Сочинения в двух томах.

Под общей редакцией А. Ф. Лосева.

Том 2. М., 1976, 421 стр. Тираж 125 000 экз.

Примечания А. Ф. Лосева и Т. В. Васильевой. Перевод А. Ф. Лосева.

Том 71. Жюльен Офре Ламетри. Сочинения. М., 1976, 551 стр. Тираж 40 000 экз.

Под общей редакцией, с предисловием «Ученый, мыслитель, борец» и примечаниями В. М. Богуславского.

Том 72. Петр Никитич Ткачев. Сочинения в двух томах.

Под общей редакцией А. А. Галактионова, В. Ф. Пустарнакова, Б. М. Шахматова.

Том 2. М., 1976, 645 стр. Тираж 27 000 экз.

Составление и примечания Б. М. Шахматова.

Том 73. Фрэнсис Бэкон. Сочинения в двух томах. Второе, исправленное и дополненное издание.

Том 1. М., 1977, 567 стр. Тираж 80 000 экз.

См. том 42.

Том 74. Георг Вильгельм Фридрих Гегель. Философия религии в двух томах.

Под общей редакцией А. В. Гулыги.

Том 2. М., 1977, 573 стр. Тираж 175 000 экз.

Примечания С. С. Аверинцева, А. В. Михайлова при участии А. В. Гулыги.

Том 75. Георг Вильгельм Фридрих Гегель. Энциклопедия философских наук в трех томах.

Ответственный редактор Е. П. Ситковский.

Редколлегия: Б. М. Кедров, М. М. Розенталь, Е. П. Ситковский.

Том 3. Философия духа. М., 1977, 471 стр. Тираж 120 000 экз.

Автор послесловия «Учение Гегеля о человеке» и составитель примечаний Е. П. Ситковский.

Том 76. Аристотель. Сочинения в двух томах.

Том 2. М., 1978, 687 стр. Тираж 220 000 экз.

Редактор тома, автор вступительной статьи «Основы основания логики Аристотеля» и составитель примечаний З. Н. Микеладзе.

Общие примечания к отдельным произведениям «Органона» составлены И. С. Нарским и Н. И. Стяжким.

Том 77. Фрэнсис Бэкон. Сочинения в двух томах. Второе, исправленное и дополненное издание.

Том 2. М., 1978, 575 стр. Тираж 80 000 экз.

См. том 47.

Том 78. Джордж Беркли. Сочинения. М., 1978, 556 стр. Тираж 50 000 экз.

Составление, общая редакция и вступительная статья «У истоков субъективного идеализма» И. С. Нарского. Примечания И. С. Нарского и А. Ф. Грязнова.

Том 79. Диоген Лаэртский. О жизни, учениях и изречениях знаменитых философов. М., 1979, 620 стр. Тираж 200 000 экз.

Под общей редакцией и со вступительной статьей «Диоген Лаэртский и его метод» А. Ф. Лосева.

Перевод и примечания М. Л. Гаспарова. Приложение: Олимпиодор. Жизнь Платона. Порфирий. Жизнь Пифагора. Порфирий. Жизнь Плотина. Марин. Прокл, или О счастье.

Том 80. Николай Кузанский. Сочинения в двух томах.

Под общей редакцией В. В. Соколова и З. А. Тажуризиной.

Том 1. М., 1979, 488 стр. Тираж 150 000 экз.

Вступительная статья З. А. Тажуризиной. Составление и примечания В. В. Биbihина.

Том 81. Этьенн Бонно де Кондильяк. Сочинения в трех томах.

Том 1. М., 1980, 334 стр. Тираж 70 000 экз.

Под общей редакцией, со вступительной статьей «Философия Кондильяка и французское Просвещение» и примечаниями В. М. Богуславского.

Том 82. Николай Кузанский. Сочинения в двух томах.

Под общей редакцией В. В. Соколова и З. А. Тажуризиной.

Том 2. М., 1980, 471 стр. Тираж 150 000 экз.

Составление В. В. Биbihина.

Том 83. Аристотель. Сочинения в четырех томах.

Том 3. М., 1981, 613 стр. Тираж 220 000 экз.

Редактор тома, автор вступительной статьи «Естественнонаучные сочинения Аристотеля» и составитель примечаний И. Д. Рожанский.

Том 84. Готфрид Вильгельм Лейбниц. Сочинения в четырех томах.

Редколлегия издания: Б. Э. Быховский, Г. Г. Майоров, И. С. Нарский, В. В. Соколов, А. Л. Субботин.

Том 1. М., 1982, 636 стр. Тираж 75 000 экз

Том 85. Николай Федорович Федоров.

Сочинения. М., 1982, 711 стр. Тираж 50 000 экз.

Общая редакция А. В. Гулыги. Вступительная статья, составление, примечания С. Г. Семеновской.

Том 86. Этьенн Бонно де Кондильяк. Сочинения в трех томах.

Том 2. М., 1982, 541 стр. Тираж 70 000 экз.

Общая редакция тома и примечания В. М. Богуславского. Перевод с французского П. С. Юшкевича.

Том 87. Готфрид Вильгельм Лейбниц. Сочинения в четырех томах.

Том 2. М., 1983, 686 стр. Тираж 75 000 экз.

Редактор тома, автор вступительной статьи и примечаний И. С. Нарский. Перевод с французского П. С. Юшкевича.

Том 88. Жюльен Офре Ламетри. Сочинения.

Второе издание. М., 1983, 509 стр. Тираж 70 000 экз.

Общая редакция, предисловие и примечания В. М. Богуславского. Перевод с французского Э. А. Гроссман, В. Левицкого. См. том. 71.

Том 89. Этьенн Бонно де Кондильяк. Сочинения в трех томах.

Том 3. М., 1983, 388 стр. Тираж 70 000 экз.

Общая редакция тома и примечания В. М. Богуславского. Перевод с французского И. С. Шерн-Борисовой, Э. К. Манакиной.

Том 90. Аристотель. Сочинения в четырех томах.

Том 4. М., 1983, 830 стр. Тираж 80 000 экз.

Редакторы тома и авторы вступительных статей: А. И. Доватур, Ф. Х. Кессиди. Примечания В. В. Библихина, Н. В. Брагинской, М. Л. Гаспарова, А. И. Доватура. Перевод с древнегреческого Н. В. Брагинской, М. Л. Гаспарова, С. А. Жебелева, Т. А. Миллер.

Том 91. Иоанн Петрици. Рассмотрение платоновской философии и Прокла Диадоха.

М., 1984, 286 стр. Тираж 25 000 экз.

Редакторы тома Г. В. Тевзадзе, Н. Р. Натадзе. Вступительная статья и примечания Г. В. Тевзадае. Перевод с древнегрузинского языка И. Д. Панцхавы.

Том 92. Готфрид Вильгельм Лейбниц. Сочинения в четырех томах.

Том 3. М., 1984, 734 стр. Тираж 75 000 экз.

Редакторы и составители тома, авторы вступительных статей и примечаний Г. Г. Майоров, А. Л. Субботин. Перевод с латинского и французского Я. М. Боровского, Г. Г. Майорова, Н. А. Федорова и др.

Том 93. Джон Локк. Сочинения в трех томах.

Редакторы издания: И. С. Нарский, А. Л. Субботин.

Том 1. М., 1985, 621 стр. Тираж 50 000 экз.

Редактор тома и автор вступительной статьи И. С. Нарский. Примечания И. С. Нарского, А. Л. Субботина. Перевод с английского А. Н. Савина.

Том 94. Джон Локк. Сочинения в трех томах.

Том 2. М., 1985, 560 стр. Тираж 50 000 экз.

Редактор и составитель И. С. Нарский. Примечания И. С. Нарского, А. Л. Субботина, А. А. Макаровского. Перевод с английского Ю. М. Давидсона, Г. А. Резниковской, А. Н. Савина, А. А. Френкица, В. Л. Юхта.

Том 95. Александр Иванович Герцен. Сочинения в двух томах.

Том 1. М., 1985, 592 стр. Тираж 45 000 экз.

Общая редакция А. И. Володина, З. В. Смирновой. Составитель тома, автор вступительной статьи и примечаний А. И. Володин.

Том 96. Александр Иванович Герцен. Сочинения в двух томах.

Том 2. М., 1986, 654 стр. Тираж 45 000 экз.

Общая редакция А. И. Володина, З. В. Смирновой. Составитель тома и автор примечаний З. В. Смирнова.

Том 97. Дени Дидро. Сочинения в двух томах.

Том 1. М., 1986, 592 стр. Тираж 53 000 экз.

Составление, редакция, вступительная статья и примечания В. Н. Кузнецова. Перевод с французского П. С. Попова, И. Б. Румера, В. К. Сережникова и др.

Том 98. Платон. Диалоги. М., 1986, 607 стр. Тираж 100 000 экз.

Составитель, редактор издания и автор вступительной статьи А. Ф. Лосев. Автор примечаний А. А. Тахо-Годи. Перевод с древнегреческого С. Я. Шейнман-Топштейн.

Том 99. Диоген Лаэртский. О жизни, учениях и изречениях знаменитых философов.

Второе, исправленное издание. М., 1986, 571 стр. Тираж 100 000 экз.

Редактор тома и автор вступительной статьи А. Ф. Лосев. Перевод М. Л. Гаспарова.

См. том 79.